

Амон
ФЕЙХТВАНГЕР

6/3.

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

 Редколлегия:

А. С. ДМИТРИЕВ
Д. В. ЗАТОНСКИЙ
Н. С. ЛИТВИНЕЦ
Н. С. ПАВЛОВА



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1994

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ШЕСТОЙ
Книга третья

СЫНОВЬЯ

Роман

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Роман

Перевод с немецкого



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
1994

ББК 84.4Г

Ф36

LION FEUCHTWANGER

1884—1958



Комментарии
С. МАРКИША

Издание выпущено по Федеральной целевой программе
книгоиздания России

Ф $\frac{4703010100-21}{028(01)-94}$ подписное

ISBN 5-280-01861-9 (Т. 6. Кн. 3) © Переплет. Сальникова И. Г.
ISBN 5-280-00307-7 1994 г.

СЫНОВЬЯ

Роман

Перевод

В. СТАНЕВИЧ

DIE SÖHNE

Roman

1935



Книга первая

ПИСАТЕЛЬ

Когда писатель Иосиф Флавий узнал от своего секретаря, что император при смерти, ему удалось сохранить невозмутимость. Он даже принудил себя работать, как обычно. Хорошо, правда, что секретарь сидел у письменного стола, а Иосиф ходил взад и вперед позади него. Видеть перед собой нынче это спокойное, вежливо-насмешливое лицо ему было бы трудно. Но, как и всегда, он не потерял власти над собой, выдержал, только через час заявил, что на сегодня — довольно.

Однако едва Иосиф остался один, как взгляд его горячих, удлинённых глаз посветлел, он глубоко вздохнул, просял. Веспасиан при смерти. Его император. Он произнес вслух по-арамейски несколько раз с глубоким удовлетворением:

— Он умирает, император. Теперь он умирает, мессия, владыка всего мира, мой император.

Он имел право назвать его «мой император». Они были связаны друг с другом с первой встречи, когда после падения своей последней крепости Иосиф, пленный генерал повстанческой иудейской армии, изголодавшийся и обессиленный, предстал перед римлянином Веспасианом. При воспоминании об этой встрече Иосиф сжал губы. Он тогда приветствовал в этом человеке мессию, будущего императора. Мучительное воспоминание. Может быть, в нем говорила горячка жестоких лишений, или это был только хитрый маневр, внушенный чувством самосохранения? Тщетные вопросы. События подтвердили его пророчество, бог подтвердил.

Он мысленно видел его, этого старика, лежавшего теперь при смерти, видел жестокое выражение длинных губ, крупный голый крестьянский череп, хитрые, озорные, бес-

пощадные глаза. Любит ли он этого императора? Иосиф силится быть справедливым. Он, иудейский полководец, передался на сторону римлян, которые пошли войной на его страну. Он неустанно служил посредником между Римом и своими соплеменниками, несмотря на чудовищные поношения, которым подвергался с обеих сторон. Затем своей великой книгой об Иудейской войне он содействовал умиротворению евреев восточной части империи. И это было необходимо, ибо после разрушения Иерусалима и храма в них зародилось опасное стремление снова восстать против победителей. Вознаградил ли его умиравший сейчас человек за эти великие услуги? Он даровал Иосифу почетную одежду, годовое содержание, поместье, полосу пурпура, золотое кольцо знати второго ранга и право пожизненного пользования тем домом, в котором Веспасиан жил когда-то сам. Да, на первый взгляд кажется, что римский император Веспасиан уплатил еврейскому государственному деятелю, генералу и писателю Иосифу бен Маттафию весь свой долг до последнего сестерция. И все-таки теперь, когда Иосиф сводит счеты с умирающим, его взгляд мрачен, его худое лицо фанатика полно ненависти. Он приподнимает привешенный у пояса золотой письменный прибор — подарок наследного принца Тита, машинально постукивает им о деревянный стол. Император унижал его все вновь и вновь особенным, очень мучительным способом. Швырнул ему девушку Мару, которой сам натешился досыта, принудил его жениться на этом отбросе, хотя знал, что такая женитьба означает для Иосифа утрату иерейского сана и отлучение. Пока Иосиф был при нем, Веспасиан непрестанно мучил его грубыми, мужицкими, злыми шутками, может быть, именно потому, что Иосиф владел силами и способностями, которых Веспасиан был лишен, и император это знал. В общем, император обращался с Иосифом так же, как вел себя искони в отношении Востока высокомерный Рим. Восток был древнее, его цивилизация — старше, он имел более глубокие связи с богом. Востока боялись, — он влек к себе и внушал страх. В нем нуждались, его использовали, а в благодарность и в отместку — то благовольили к нему, то презирали.

Иосиф вспомнил свою последнюю встречу с императором. Он стиснул зубы с такой силой, что скулы его костистого, смугло-бледного лица выступили вдвое резче. Это было на торжественном приеме у Веспасиана, перед самым отъездом в его последнюю безуспешную лечебную поездку.

— Скоро мы получим новое издание вашей «Иудейской войны», доктор Иосиф? — спросил его тогда император, и многие это слышали. — Будьте на этот раз справедливее к вашим евреям, — добавил он своим хриплым скрипучим голосом. — Я разрешаю вам быть справедливым. Мы теперь можем себе это позволить.

Какова наглость! Попросту отбросить его, как продажное орудие, его книгу, как неуклюжую лесть! Лицо Иосифа покраснело, сильнее застучал он по столу письменным прибором. Он так и слышит высокомерно-добродушные интонации старика: «Я разрешаю вам быть справедливым». Хорошо, что рот, произносивший подобные слова, больше уже не найдет случая произносить их. Иосиф пытается представить себе, как мучительно искажен сейчас этот рот, может быть, он широко открыт, может быть, плотно сжат, но, во всяком случае, судорожно борется за последний вздох. Нелегко будет умирать его императору. Он так полон жизни, и ему, наверно, трудновато расставаться с этой жизнью. Да и нельзя было бы примириться, если бы ему была дарована легкая смерть.

«Я разрешаю вам быть справедливым». Хорошо, пусть книга Иосифа послужила к укреплению римского господства, удержала иудеев Востока от нового восстания. Разве это не было в высшем смысле «справедливо»? Евреи побеждены окончательно. Так изобразить их великую войну, чтобы безнадежность нового восстания стала очевидной каждому, — разве это не большая заслуга перед еврейством, чем перед римлянами? Ах, он слишком хорошо знает, какой это соблазн — отдаться национальному высокомерию. Он сам уступил этому чувству, когда вспыхнуло восстание. Но то, что он тогда понял бесполезность столь смелого и буйного начинания, растоптал в себе патриотическое пламя и последовал велениям разума, это было поистине лучшим деянием его жизни, и деянием в высшем смысле справедливым.

Кто еще, как не он, смог бы написать книгу об Иудейской войне? Он пережил эту войну и как сторонник Иерусалима, и как сторонник Рима. Он себя не щадил, он досмотрел всю войну до ее горького конца, чтобы написать свою книгу. Он не закрывал глаз, когда римляне сжигали Иерусалим и храм, дом Ягве, самое гордое здание в мире. Он видел, как его соплеменники умирали в Кесарии, в Антиохии, в Риме, как они терзали друг друга на арене, как их топили, сжигали, травили дикими зверями на потеху улюлюкающим зрителям. Он был единственным евреем, смотревшим, как входили в Рим триумфальным шествием разру-

шители Иерусалима и как они тащили за собой достойнейших его защитников, исполосованных бичами, жалких, обреченных на смерть. Он это вынес. Ему было предназначено записать все, как оно было, чтобы люди поняли смысл этой войны.

Можно написать ее чисторису смелее, яснее, независимее, нежели он написал. Он делал уступки, вычеркнул не одно резкое слово, не одно страстное исповедание, так как оно могло вызвать недовольство в Веспасиановом Риме. Но что было лучше: добиться при некоторых компромиссах хотя бы частичного успеха или сохранить верность принципам и не сделать ничего?

Какое счастье, что старик умирает и его место займет Тит, друг Иосифа, друг иудейки Береники! «Иудейка взойдет на Палатин, и тогда, — о ты, всеблагой и величайший император Веспасиан, знай, что только тогда моя «Иудейская война» окажет свое поистине «справедливое» воздействие». Иосиф бегаёт по комнате, заранее наслаждается успехом. Машинально хватается за густую черную треугольную бороду, которая спускается под его бритой нижней губой тугими, холеными завитками. Он мурлычет тот древний однообразный распев, на который в годы ранней юности, еще в Иерусалимском университете, его учили скандировать слова Библии. Его худощавое лицо сияет гордостью и счастьем.

Он может быть доволен достигнутым. Ему пришлось пройти через бесчисленные мытарства, судьба трепала его больше, чем кого бы то ни было, но, в сущности, каждая новая волна возносила его все выше. И теперь, в сорок два года, в полном расцвете сил, он знает точно, что он может. И это немало. Он был солдатом, был политическим деятелем; теперь он писатель, и к тому же — по призванию, он — человек, творящий мысли, которые ведут и солдата и политика. Ему передают язвительные, насмешливые отзывы его греческих коллег, они издеваются над его убогим греческим языком. Пусть издеваются. Его труд написан, мир признал этот труд. Когда он читает отрывки из своих книг, то, несмотря на плохой греческий язык, все лучшее римское общество теснится вокруг него, чтобы послушать. «К семидесяти семи обращено ухо мира, и я один из них», — слышатся ему древние высокомерные слова давно умолкшего священника. Он доволен.

Он недоволен. Его удлиненные горячие глаза мрачнеют. Он думает о тех, кто его не признает.

Прежде всего — о Юсте, своем друге-враге, о Юсте Тивериадском, который стоит на его пути как вечный укор со времени его первых попыток пробиться в жизни. Какова теперь, когда Иудея политически побеждена, задача иудейского писателя — это они оба прекрасно понимают. Победоносный Рим должен быть побежден изнутри, духовно. Показать дух иудаизма во всем его величии и мощному Риму, и этим прославленным, ненавистным грекам так, чтобы они преклонились перед ним, — вот в чем теперь миссия иудейского писателя. В ту минуту, когда Иосиф впервые взглянул с Капитолия на город Рим, он почувствовал это. К сожалению, не он один, — почувствовал и Юст. Да, этот Юст давно претворил свои ощущения в ясную мысль: «Бог теперь в Италии». Иосиф уже не помнит точно, кто именно впервые произнес эти слова: он сам или тот, другой. Но без Юста они вообще не существовали бы.

Как всегда, перед ними обоими стоит одна и та же задача: показать западному миру сущность иудаизма, его дух, столь трудный для понимания, столь часто скрытый под нелепыми на первый взгляд обычаями. Но только метод Юста гораздо жестче, прямолинейнее. Этот человек не желает понять, что без компромиссов — к римлянам и грекам не подойдешь. Когда Иосиф наконец благополучно закончил семь книг своей «Иудейской войны», Юст и тогда, среди бурного одобрения столицы, только улыбнулся убийственно дерзкой улыбкой: «Я не знаю никого, кто бы лучше умел находить трамплин для своей карьеры, чем вы», — зачеркнув этими словами труд всей жизни Иосифа. И затем этот дерзновеннейший человек, которого, если бы не Иосиф, уже и на свете-то не было бы, принялся писать заново Иосифову «Иудейскую войну», какой она виделась ему, Юсту. Пусть! Иосиф не боится. Книга будет такая же, как те несколько тощих книжонок, которые опубликовал Юст: резкая, ясная, отшлифованная и не оказывающая никакого воздействия. Его же собственная книга — хоть и на убогом греческом языке и с компромиссами — выдержала испытание. Она подействовала, будет действовать, останется.

Но довольно о Юсте. Он — далеко, в своей Александрии, и пусть там остается. Иосиф садится за письменный стол, берет рукопись Финея, своего секретаря. Как обычно, его раздражает беглый, неряшливый почерк этого субъекта. Разумеется, суть книги не в технике письма; но Иосиф привык к той тщательности, с какой обычно изготавливаются свитки священных еврейских книг, и он сердится.

Он быстро пробегает написанное. Да, безукоризненный греческий язык у Финея, что и говорить! Иосифу не обойтись без его помощи. Иосиф живо и свободно владеет арамейским и еврейским, а вот его греческому языку недостает нюансов. Он заплатил за раба Финея очень дорого и скоро понял, что второго такого сотрудника ему не найти. Никто лучше Финея не умел угадывать, чего именно хочет Иосиф. Однако Иосиф скоро увидел также и то, что Финей, гордый своим эллинизмом, в глубине души презирает все еврейское. И секретарь по-своему дает это понять. Как часто, почти издеваясь, показывает он, с какой гибкостью способен проследить все оттенки мысли Иосифа и затем придать какой-нибудь фразе окончательную шлифовку, которой жаждет Иосиф. Но потом, именно тогда, когда Иосиф со всей пылкостью стремится выразить мысль или чувство в наиболее отделанной форме, Финей отказывает ему в помощи, хитрец прикидывается дураком, ищет усердно и услужливо и ничего не находит, наслаждается его бессильным барахтаньем в поисках нужного слова и в конце концов оставляет его в полном замешательстве. Несмотря на все услуги, Иосиф охотнее всего выгнал бы его из своего дома.

Но этого нельзя. Он не в состоянии отвязаться от него, так же, как и от Юста. Дорион, жена Иосифа, уже не может обходиться без этого человека, она сделала его воспитателем маленького Павла, и мальчик тоже влюблен в грека по уши.

«Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них». Все называют его счастливецом. Он — великий писатель в стране, где, после императора, чтут больше всего писателя. Но этот великий писатель теперь уже не может достичь того, чего он достиг прежде, когда только начинал и был еще не искушен. Тогда у него нашлись силы, чтобы преодолеть отчужденность между ним и Дорион. Тогда, в Александрии, они были одно: он и Дорион, жена его.

Как далеко это прошлое! Сколь многое изменилось за эти десять лет! Она — снова та же египетская гречанка, что и прежде, а он — еврей.

Но теперь, когда на престол взойдет Тит и наступит великая перемена, разве не могут вернуться времена Александрии? Дорион любит успех, Дорион не умеет отделять мужчину от его успеха. Она, наверное, еще ничего не знает о том, что скоро император умрет. Сейчас Иосиф пойдет к ней и сам сообщит о счастливой перемене. Она будет

сидеть перед ним, узкая, длинная, — ее тело осталось нежным, оно не обезображено, хотя она и родила ему детей, — она закинет назад желто-бронзовую голову, чуть посапывая коротким носиком. Тонкими пальцами будет она машинально гладить своего кота Кроноса, своего любимого кота, которого Иосиф терпеть не может и которого она считает богом, как считала некогда богом благополучно околешшую кошку Иммутфру. Он пылко желает ее, представляя себе вот такой, с мелкозубым ртом, глуповато приоткрытым от удивления, задумчивую, в позе маленькой девочки. Дорион — ребенок, она сохранила способность неудержимо радоваться, словно ребенок. Видишь, как радость в ней рождается, как она растет, как начинает сначала радоваться рот, затем глаза, затем лицо, наконец, все тело. Она великолепна, когда радуется.

И все-таки он не пойдет к ней, чтобы сообщить радостную новость. Это было бы слишком дешевым торжеством, это было бы признанием того, насколько он в ней нуждается, а он должен быть с ней осторожен, он не смеет давать себе воли, у него есть желания, с которыми она не хочет считаться. Показать ей свою огромную жажду — значит показать свою подчиненность.

Все же ему стоит огромных усилий не пойти к ней. Он обладал бесчисленными женщинами, он моложав, в нем есть что-то особенное, он силен и элегантен, ему сопутствуют слава и успех, женщины бегают за ним. Но лишь с того времени, как он знает Дорион, он знает, что такое любовь и что такое желание, и все стихи «Песни песней» получают ныне свой смысл только через нее. Ее кожа благоухает, как сандаловое дерево; ее дыхание, доносящееся из выпуклого жадного рта, подобно воздуху галилейской весны. Мало существует женщин, которых он способен любить дольше, чем продолжается физическая близость с ними. От всех женщин в мире мог бы он отказаться, но он не представляет себе жизни без женщины по имени Дорион.

Они — одно целое. Она — его жена, созданная из ребра его, и она это чувствует. Чем только она не пожертвовала ради него! Сейчас же после свадьбы он был вынужден с ней расстаться, чтобы в свите наследного принца отправиться под стены Иерусалима и видеть падение города. А как мужественно она держалась, когда он наконец вернулся лишь для того, чтобы снова отослать ее! Никогда не забудет он, как она молча стояла тогда перед ним. Легко и чисто поднимались над крутой детской шеей очертания длинной, узкой головы с большим ртом. Она смотрела на него в упор

глазами цвета морской воды, постепенно темневшими. Он видел ее кожу, он знал, что эта кожа сладостна, шелковиста и очень холодна. В ней была вся сладость мира — в этой его жене Дорион, которая без конца ждала его, и вот он вернулся, и она стояла перед ним и была вся — желание. Но он помнил о своей книге, этой проклятой книге, ради которой столько взял на себя, и, если бы он не стал писать ее сейчас же, она исчезла бы из его памяти навеки. Он должен был сказать об этом Дорион, он должен был отослать ее. А она стояла перед ним, слушала его, не удерживала, не возразила ни единого слова. Она даже не сказала ему, что, пока он был под Иерусалимом, она родила ему сына.

Теперешняя Дорион была совсем иная, чем та. За пятнадцать месяцев, что он писал свою книгу, эту благословенную, проклятую книгу, она снова превратилась в насмешливую, высокомерную Дорион былых лет, в александрийскую девушку, холодную и любопытную, начиненную легковесными образами греческих басен. Такой пришла она к нему, когда он, закончив свою книгу, снова призвал ее. Она стала несговорчивой, придирчивой. Теперь, заявила она, когда введен постыдный налог на евреев, она отменила свой переход в иудейство и вовсе не намерена подвергнуть маленького Павла обрезанию. Между ними разгорелся бурный спор. Он не хотел допустить, чтобы его сына воспитывали, как грека, чтобы его сын оставался вне общины избранных, верующих в единого бога. Но его брак, как брак полноправного римского гражданина с женщиной, не имеющей права римского гражданства, считался только наполовину законным. Павел подлежал опеке матери, считался египетским греком так же, как и она. Без ее согласия Иосиф не мог сделать его евреем. Было бы нетрудно добиться узаконения брака, благодаря чему мальчик тоже был бы причислен к знати второго ранга, как и отец. Сколько раз он уговаривал Дорион согласиться на это. Он все подготовит, ей придется только один раз пойти в суд. Но Дорион отказывалась. Тогда, в Александрии, она требовала, чтобы он добился права римского гражданства. Она поставила условием их брака, чтобы он совершил невозможное и в десять дней стал римским гражданином. А теперь она предпочитала остаться неполноправной гражданкой, только бы мальчик и дальше находился под ее опекой и не сделался евреем.

Павел. Иосиф горячо привязан к нему. Но Павел — сын своей матери. Его сердце обращено к греку, к рабу, которо-

му он, Иосиф, дал свободу. Мальчик любит его, этого проклятого Финея. Когда Иосиф пытается подойти к сыну ближе, тот замыкается, становится вежливым и чужим: вероятно, он стыдится своего отца, оттого что тот — еврей. Сам он — грек, маленький Павел.

Но теперь, при Тите, все должно измениться, и разве Иосиф наконец не разрушит стены, стоящей между ним и мальчиком? Это должно ему удался. Он поднимется еще выше, окружит себя еще бóльшим успехом, и Дорион даст себя убедить, поможет ему. Она поймет, что теперь писатель Иосиф Флавий не может испортить будущее своего сына, даже если сделает из него еврея.

Иосиф полон надежд. Ему сорок два года, он в расцвете сил. Веспасиан умирает. Императором будет Тит, друг Иосифа. Иосиф добьется того, чего хочет, вытравит из своей жизни то, что ему мешает. Он напишет свою «Всеобщую историю еврейского народа», эту книгу, о которой он грезит, а Юст будет молчать и не найдет никаких возражений. И он, Иосиф, вернет себе Дорион и сделает своего сына евреем и гражданином вселенной, своим первым учеником и апостолом.

Иосиф развернул свиток пергамента, покрытый неряшливым почерком Финея. Финей, грек, ненавидящий евреев, стоит на его пути, его нужно убрать. Трудно будет Иосифу справиться без него. Иосиф написал «Псалом гражданина вселенной». Вполголоса бормочет он по-еврейски стихи «Псалма»:

О Ягве! Расширь мое зренье и слух,
Чтобы видеть и слышать дали твоей вселенной.
О Ягве! Расширь мое сердце,
Чтобы постичь вселенной твоей многосложность.
О Ягве! Расширь мне гортань,
Чтобы исповедать величье твоей вселенной!

Внимайте, народы! Слушайте, о племена!
«Не смейте копить,— сказал Ягве,— духа, на вас

излитого,

Расточайте себя по гласу господню,
Ибо я изблюю того, кто скуп,
И кто зажимает сердце свое и богатство,
От него отвращу свой лик.

Сорвись с якоря своего,— говорит Ягве,—
Не терплю тех, кто в гавани илом зарос,
Мерзки мне те, кто гниет среди вони безделья.
Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей,
И ноги для бега,
Чтобы он не стоял, как дерево на своих корнях.

Ибо дерево имеет одну только пищу,
Человек же питается всем,
Что создано мною под небесами.
Дерево знает всегда лишь подобие свое,
Но у человека есть глаза, чтобы вбирать в себя чуждое ему.
И у него есть кожа, чтобы осязать и вкушать иное.

Славьте бога и расточайте себя над землями,
Славьте бога и не щадите себя над морями.
Раб тот, кто к одной земле привязал себя!
Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я,—
Имя его — вселенная».

Это хорошие стихи, они выражают именно то, что он хочет сказать. Но они написаны по-еврейски, и в существующем переводе они звучат бедно и немusыкальнo. Свое воздействие на мир они могут оказать, лишь когда и в греческом тексте зазвучит музыка, музыка, лившаяся со ступеней храма Ягве. Триста лет тому назад Священное писание было переведено на греческий язык; тогда над переводом работали семьдесят два богослова, которым его доверили; они работали как затворники, строго разьединенные, и все же в конце концов текст каждого дословно совпал с текстом остальных и возникло великолепное произведение. Но таких чудес больше не происходит. Он не найдет семидесяти двух людей, которые перевели бы его псалом. Он не найдет ни одного, кроме, быть может, этого Финея, да и Финей должен был бы приложить всю свою добрую волю и все свои силы.

И все-таки псалом существует, хоть и на плохом греческом языке. Теперь, когда Тит станет императором, писатель Иосиф Флавий может себе позволить снова быть доктором Иосифом бен Маттафием. Он выразит свои чувства чище, глубже, более по-еврейски, хотя бы и на худшем греческом языке. Он откажется от Финея. Хватит с него Финея. Вопреки всему настанет час, когда все народы поймут его псалом.

Вечером этого дня император Тит Флавий Веспасиан лежал в спальне своего старомодного деревенского дома близ города Коссы. Когда он почувствовал, что его конец близок, он приказал отнести себя в полученное по наследству от бабушки этрусское имение, в котором вырос. Он любил этот крестьянский закопченный дом, который строили поколения и к которому каждое делало пристройки. Веспасиан ничего не изменил, оставил дом таким же неудобным и темным, каким тот был шестьдесят лет назад,

в дни его детства. Потолок был низкий, почерневший, дверь большой комнаты без окон широко распахивалась прямо на огромный, осененный древним дубом двор, по которому разгуливали свиньи с поросятами. Широкая кровать, возвышавшаяся всего на несколько ладоней над полом, была вделана в невысокую нишу. Это было каменное ложе, устланное толстым слоем шерсти, покрытое грубым деревенским холстом.

И вот теперь на эту простую спальню были устремлены взоры великого города Рима, и не только Рима, но Италии и ближних провинций, ибо весть о близкой кончине императора разнеслась словно на крыльях.

Возле императора находилось всего несколько человек: его сын Тит, лейб-медик Гекатей, адъютант Флор, камердинер, парикмахер; кроме того, Клавдий Регин, придворный ювелир, сын сицилийского вольноотпущенника и еврейки, великий финансист, с которым император охотно советовался по вопросам экономики. Веспасиан вызвал этого человека к своему смертному ложу. А своего младшего сына Домициана строго-настрого приказал не допускать.

Семь часов вечера, но сегодня 23 июня, и стемнеет еще не скоро. Император, лежавший на своей грубой кровати, казался страшно худым. Судороги и понос, мучившие его целый день, поутихли, но тем мучительнее было ощущение слабости. Он думал о том, что сейчас же после смерти сенат объявит его блаженным и причислит к сонму богов. Его длинные губы скривились усмешкой, он обратился к врачу, слегка задыхаясь, так как ему трудно было говорить:

— А что, доктор Гекатей, теперь уж ничего не попишешь, теперь я стану богом? Или вы думаете, мне придется подождать, пока стемнеет?

Все с тревогой посмотрели на доктора Гекатея, ожидая его ответа. Гекатей славился своей прямоотой. Он сказал и сейчас без всяких недомолвок:

— Нет, ваше величество. Я думаю, что вам не придется ждать ночи.

Веспасиан громко засопел.

— Ну, так вот,— сказал он,— действуйте, дети мои.

Он отдал приказ, когда приблизится смертный час, одеть его, побрить, причесать. Он не придавал особого значения внешнему виду человека, но считал, что сенат и римский народ имеют право требовать от императора, чтобы он умер прилично. Тит приблизился, широкое мальчишеское лицо тридцатидевятилетнего сына было озабочен-

но. Он знал, как трудно будет умирающему выдержать купанье и одевание. Но Веспасиан сделал отрицающий жест:

— Нет, мой мальчик, дисциплина необходима.

Он попытался улыбнуться адъютанту Флору. Дело в том, что Флор, всегда стоявший на страже приличий, страдал от пренебрежения императора к внешним формам, от его грубого диалекта. Еще три дня назад, когда Веспасиан назвал городок Коссу, куда хотел отправиться, «Кауза», Флор не удержался, чтобы его не поправить, сказав, что город называется не Кауза, а Косса, на что император ответил адъютанту Флору:

— Да, я знаю, Флаур.

— Дисциплина необходима,— повторил он с некоторым трудом на диалекте.— Не правда ли, Флаур?

Умирающего выкупали. Иссохший старик,— грубая, морщинистая кожа, покрытые грязно-белыми волосами живот и грудь,— висел, пытаясь, на руках своих приближенных. Его вытерли, парикмахер склонился над ним с бритвой. Это был хороший парикмахер, он учился у первоклассного египетского мастера, но в качестве придворного парикмахера бедняга имел мало возможностей показать свое мастерство. Вместо прекрасного галльского мыла ему приходилось пользоваться дешевой лемносской глиной, ибо император считал мыло слишком дорогим и после купания не позволял натирать себя настоящим нардовым бальзамом, а требовал ужасную неаполитанскую имитацию. Сегодня парикмахеру было разрешено употреблять все самое драгоценное. Из маленькой коробочки — алебастр и оникс — подарок провинции Вифинии, он вынул бальзам, ту драгоценнейшую в мире мазь, которую вывозили ничтожнейшими порциями из глубин Аравии. В мире существовали только две коробочки с таким бальзамом, и обе принадлежали еврейской принцессе Беренике. Одну из них она много лет назад подарила принцу Титу, и он отдал ее сегодня в распоряжение парикмахера. Низкая крестьянская горница была полна благородного аромата, к которому временами примешивался доносившийся со двора запах свиней.

— Ну, Флаур,— сказал император,— я надеюсь, что теперь от меня хорошо воняет.

Все вспомнили, как однажды, когда Тит возмущался введенным Веспасианом недостойным налогом на отхожие места, отец поднес к его лицу сестерций, уплаченный по этому налогу, и спросил: «Ну как, по-твоему, воняет?»

Наконец умирающий был выкупан, умащен благовониями и приказал надеть на себя пурпурную парадную одежду,

башмаки знати первого ранга на толстой подошве и с черными ремнями. Когда с этим было покончено, он глубоко вздохнул, велел уложить себя обратно в постель.

— Стакан ледяной воды, — приказал он. Веспасиан видел, что присутствующие колеблются. — Ведь теперь это уж не имеет значения, — обратился он к врачу. — Не правда ли, доктор Гекатей?

Доктор чистосердечно ответил:

— Это будет стоить вам не больше десяти минут жизни.

Ему принесли кубок снеговой воды. Вода закапала в его пересохший рот, она была очень сладкая. Вероятно, доктор Гекатей подмешал туда наркотическое средство, чтобы облегчить его страдания. Император слизнул шершавым языком последние капли с длинных потрескавшихся губ. Но теперь, пока он в сознании, он должен еще раз внушить ему.

— Смотрите же, поставьте меня на ноги, когда я сделаю знак пальцем. Я хочу умереть стоя. Пожалуйста, без ложной жалости. Обещайте мне. Обещайте именем Геркулеса.

Он сделал гримасу своему сыну Титу. Тот однажды заказал дорогое и подробное родословное древо их династии, возводя ее к Геркулесу. Но если Веспасиан в вопросах представительства и подчинялся своему сыну, тут он запротестовал. Его отец был податным чиновником, затем банкиром в Швейцарии, его дед держал откупную контору, прадед — контору по найму батраков. Дело обстояло именно так, а не иначе. Он решительно на этом настаивал. Геркулес тут ни при чем.

Он засопел, взглянул, прищурившись, во двор, расстилавшийся перед ним, серый и спокойный. С моря поднялся легкий вечерний ветер, было слышно, как он шумит листвою дуба. Скоро появятся звезды; вечернюю звезду, вероятно, уже видно.

Хорошо, что дело идет к концу. Пока что умирать сравнительно просто. Когда он, в угоду своему сыну Титу, взошел на триумфальную колесницу, чтобы отпраздновать победу над евреями, и должен был целый день разъезжать стоя, в тяжелых одеждах капитолийского Юпитера, это, милые мои, было куда труднее. А теперь ему придется простоять самое большее несколько минут.

Он много и без толку слонялся по свету. В Англии дрался с варварами, в Риме — с сенатом и военным кабинетом. В Иудее его ранили, в Африке забросали конским навозом, в Египте — селедочными головами. Жизнь его протекала бурно. Он был градоправителем Рима, консулом, триумфатором, но был также и экспедитором, посредником

по добыванию титулов, агентом по сомнительным финансовым операциям, несколько раз терпел банкротство. Если он не сдался, то это, в сущности, заслуга вон того дуба во дворе, старого священного Марсова дуба. Этот дуб, как неоднократно рассказывали мать и бабушка, дал при его рождении невероятно пышный побег, в знак того, что он, Веспасиан, предназначен судьбой для чего-то высшего. Правда, он достаточно долго срамился, этот священный дуб. Веспасиан кряхтел, когда сначала мать, а затем его подруга, госпожа Кенида, ссылаясь на дуб, мучили его все вновь и вновь, утверждая, что он не имеет права, как ему того хотелось, довольным крестьянином спокойно осесть в этом имении. Ну да, и он, проклиная, продолжал пробиваться вперед. В конце концов дуб все же оказался прав, и его мать и бабушка, чьи закопченные восковые бюсты стоят в сенях, могут быть довольны.

Смеркается. Его мысли затуманиваются и путаются, наркотик начинает действовать. Чья-то жирная рука отгоняет комаров, которые все вновь пытаются опуститься на потную твердую кожу его лица. Он щурится. Это Клавдий Регин отгоняет от него комаров. Полуеврей, но неплохой человек. Сорока миллиардов не хватало, когда Веспасиан взял в свои руки финансы. Сорок миллиардов! От такой суммы не отмахнешься. И этот еврей не отмахнулся. Без него Веспасиан ее бы не добыл.

Клавдий Регин — полуеврей, человек с Востока. Веспасиан знает, что без помощи Востока он никогда не стал бы императором. Но он — римлянин, Восток наводит на него страх, он не любит его. Нужно извлечь из Востока всю возможную выгоду, но особенно якшаться с ним не следует. Как только Восток стал ему не нужен, он от него отстранился. Он не стеснялся отнимать дарованные им привилегии у целых провинций, как, например, у Греции. И этот Иосиф тоже невыносим. Все литераторы невыносимы, а еврейские — вдвойне. К сожалению, без них не обойдешься. Биографии необходимы. Легче умирать, когда знаешь, что оставишь потомству приятный запах. Хорошая книга устойчивей, чем бюст. Книга этого еврея Иосифа проживет долго. И не дорого, в конце концов. Он не истратил на этого человека и миллиона. Смехотворная цена за несколько тысячелетий посмертной славы. Если, допустим, книга просуществует две тысячи лет, то во что же обойдется один день его посмертной славы? Сейчас сочтем. Во-первых, триста шестьдесят пять помножить на две тысячи, затем миллион разделить на произведение. Если бы только не

проклятый туман в голове... Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи. Нет. Не выходит. Но, во всяком случае, выгодное дельце.

У него в рукаве комар. То, что он это еще чувствует,— хороший признак. И он обязательно высчитает, во что ему обойдется один день посмертной славы. Надо бы выгнать комара. Но чтобы говорить, нужна сила, а он приберегает свои силы для приличного последнего слова. Римский император должен умереть с приличным последним словом. «Выгоните комара», конечно, неплохо, но в этом мало достоинства.

Комар улетел. Удачная у него, Веспасиана, смерть. Здесь, в старой уютной горнице, выходящей во двор, где дуб и свиньи, можно умереть легко, честь честью, респектабельно.

Его Тит — хороший сын. Пожалуй, слишком честолюбив. Если бы он за ним так зорко не следил, Тит, наверное, уже много лет, как убрал бы отца с дороги. Тит все время пытался навязать ему своего врача Валента. Может быть, он все-таки велел отравить его? Нет. Доктор Гекатей вполне надежен: это просто болезнь кишечника. Две тысячи лет посмертной славы, в общем, за один миллион сестерциев. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи. Впрочем, он не сердился бы на Тита, если бы тот и подсыпал ему маленькую дозу яда. Шестьдесят девять лет, один месяц и семь дней — хороший возраст, таким возрастом можно довольствоваться. Сорок миллиардов долга тоже погашены. Конечно, это было бы не по-дружески, не по-сыновнему, если бы Тит дал ему яду: ведь во время их совместного правления Веспасиан почти никогда не мешал ему. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи... А ведь он всегда так легко считал в уме!

Хорошо, что он отдал приказ не допускать к себе своего сына Домициана. Ему не хотелось, чтобы тот сейчас был здесь — Домициан, «Малыш», «этот фрукт»! Веспасиан не любит его. И зачем проклятый Тит так изблудился? А теперь у него только одна дочь, и он не может отшить Малыша. Братец нужен для династии.

Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи... Нужно было бы иметь здесь философа. Но философов он выгнал из Италии. Есть четыре вида философов. Во-первых, те, которые молчат и философствуют про себя; они плохи и внушают подозрение, потому что молчат. Во-вторых, те, которые читают регулярные лекции; они плохи и внушают подозрение, потому что говорят. В-третьих, те,

которые разъезжают с докладами; те особенно плохи и внушают подозрение, потому что говорят очень много. В-четвертых, нищенствующие философы, циники; эти самые худшие, потому что они ходят даже среди пролетариев и говорят. Несмотря на его неприязненное уважение к литературе, он всех этих типов выгнал из страны. Правда, некоторые задирающие нос аристократы заявили, что это плебейство. Ну что ж, он не салонный шаркун: он старый крестьянин. Больше всего разорился тогда сенатор Гельвидий. Дьявольски смелый тип этот Гельвидий. До самого конца не желал признавать за ним императорского титула. Такая дерзость даже импонирует. Но она неразумна, если не имеешь за собой двадцати полков. Много было злобы, когда его убрали. Однако в биографии Веспасиана эта история все равно не оставит пятна. Ведь когда он увидел, какую бурю вызвал смертный приговор, он его тотчас же отменил. Правда, лишь после того, как его сын Тит отдал распоряжение о казни; так что при всем желании весть об отмене приговора не могла не опоздать. Ловко он тут смакетировал. В подобных вещах они с Титом всегда понимали друг друга без слов. Они честно вели себя в отношении друг друга. Большую часть радостей, доставляемых властью, он всегда уступал Титу. Зато Тит должен был брать на себя все неприятные обязанности, дабы основатель династии не сделался слишком непопулярным. Ну, популярным он все равно не стал. Когда ведешь себя разумно, трудно приобрести популярность. Но если династия продержится достаточно долго, то она может приобрести популярность, даже если будет разумна.

Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи... Он никак не может высчитать. А ему еще нужно сказать Титу, чтобы тот убрал и младшего Гельвидия, и Сенециона, и Арулена, как бы мудро и молчаливо они ни держались, и еще целый ряд других философствующих господ из оппозиции. Теперь можно себе позволить решительные действия. Династия сидит достаточно прочно. И умирающий хитро улыбается: на его собственной биографии уже не появится ни одного пятна.

Ликвидировать этих господ необходимо. Оппозиция доставляет большое удовольствие тому, кто ее создает. Но нужно, кроме того, знать, чем ты рискуешь, и быть готовым поплатиться за это. Если бы только не было так трудно говорить. Он должен зрело обдумать: отдать ли ему остаток своего дыхания на этот совет Титу или на приличное последнее слово.

Жаль, что у Тита нет сына. Юлия, его дочь, премиленькая девушка. Белая, толстененькая, такой аппетитный кусочек, и она носит свою искусную прическу так, будто ее предок действительно Геркулес, а не владелец посреднической конторы. Настоящий крепкий тип римской женщины — это лучшее, что может быть и в обществе и в постели. И тут у старых родов есть чем похвастаться. Нельзя не признать, «фрукт» обнаружил неплохой вкус, когда с такой энергией притащил Луцию к себе в постель.

Огромного труда стоило тогда, восемь лет назад, оторвать Тита от его еврейки. Если бы его самого захотели оторвать от его Кениды, он бы тоже стал брыкаться. Но есть вещи, которых делать нельзя. Вводить такие жирные налоги и вместе с тем держать руку евреев — невозможно, мой милый. Если ты с финансами сел в лужу, нужно натравливать массы на евреев. От этого правила отступать не приходится. У Тита нередко бывает взгляд его матери, и в глазах — то странное, дикое, безответственное, то, откровенно говоря, немного безумное, что Веспасиана всегда пугало в Домитилле. К тому же мальчик помешан на аристократизме. Он, вероятно, только потому с таким неистовством втюрился в еврейку, что она древней царской крови. Нужно надеяться, что после его смерти Тит не спутается с ней опять.

Ветер усиливается, слышно, как он шумит листвою дуба. Славный старый дуб. Он оказался прав. Стало немного свежее: благовония, которыми умащен Веспасиан, улетучились. Свиньи ушли в свой закуток. Веспасиан — старый крестьянин: настал вечер, и все дела кончены, он может спокойно умереть. До сих пор он немного боялся, как бы у него опять не заболел живот и он не обмарал свои драгоценные погребальные одежды. Но сейчас он уверен, что за те несколько минут, пока это еще протянется, с ним больше ничего не случится. Он честь честью доведет свое дело до конца. И когда в его похоронной процессии перед ним будут шествовать его отцы и праотцы, его мать и бабушка, он тоже не ударит лицом в грязь. Все, что сделано его предками — банкиром, владельцем конторы, посредником, а также трудолюбивыми землевладельцами с материнской стороны, — все это влилось в него, как реки в широкое море. Он управлял имением, он поставил его превосходно, оно процветало, оно стало огромным, оно распространилось за море, стало всем миром, — море только часть его имения, — оно охватывает Азию, Африку, Англию. Его имение называется Рим.

Уже почти стемнело. Его сын стоит на пороге широкой двери, которая ведет во двор. Он невысокий, но крепкий и статный, у него круглое, открытое лицо, короткий, круто выступающий треугольником подбородок. Веспасиан видит своего сына, он слышит, как шумит ветер в ветвях дуба, его заросшие волосами уши полны этим ветром. Издали, сквозь ветер, он слышит звуки труб, — так же они гремели, когда он в Англии или в Иудее отдавал приказ идти в атаку. У его Тита, к сожалению, нет чувства юмора, но зато в его голосе иногда слышится отзвук этих труб. Веспасиан может спокойно дать обожествить себя, спокойно войти в число богов. Если Геркулес и не был его предком, он все же может позволить себе говорить с ним, как мужчина с мужчиной. Они будут подталкивать друг друга в бок, Геркулес рассмеется и опустит свою палицу, они сядут рядышком и будут рассказывать друг другу анекдоты.

Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи... Туман в его голове вдруг рассеивается, и наступает острая ясность. Триста шестьдесят пять помножить на две тысячи — очень просто: это будет семьсот тридцать тысяч. На круг — он истратил на этого Иосифа миллион. Значит, один день посмертной славы обойдется ему меньше чем в полтора сестерция. Прямо даром!

Он испытывает легкость и полную удовлетворенность. Сейчас уже будет пора. Еще немного, еще две минуты, еще одна... Он должен выдержать. Он должен сохранить достоинство ради дуба.

Он делает рукой условный знак, слабый, едва приметный. Но они замечают, они приподнимают его. Не надо! Ему страшно больно. Он чудовищно слаб, пусть они оставят его на кровати. Но у него нет сил это сказать. Он ведь должен что-то сказать. Но что? Он же знал совершенно точно. Много дней готовился он к своему последнему слову. Они приподнимают его еще выше. Это невыносимо, но у них нет жалости.

Снаружи долетает ветер. Становится немного легче. Пусть не жалеют его. Нужна дисциплина. Он хочет умереть стоя, — так он решил.

И действительно, он стоит, или, вернее, виснет, обхватив за плечи своего сына Тита и своего советчика Клавдия Регина, которые поддерживают его. Он тяжело повисает, клонясь вперед, он жалостно пыхтит, по твердой коже его лба стекает пот, капли пота выступили на огромной лысине.

Невозможно. Зачем эти мучения? Полуеврей Клавдий Регин решается, он делает Титу знак. Они дают ему опуститься.

И вот старик, владыка мира, так долго и упорно тащивший, ругаясь и остря, этот мир на своих плечах, опускается на ложе. Огромная тяжесть сваливается с него. Он видит дуб, он ощущает ветер, ощущает, какое блаженство опускаться, не сопротивляясь. Он лежит на жестком ложе, гордый, счастливый. О, теперь ему не нужно экономить, он может расточать свое дыхание. Он может позволить себе в последнем слове достойно сообщить ловкачу Регину, какая была его, Веспасиана, самая ловкая сделка. Задыхавшись, с жуткой игривостью шепчет он ему на ухо:

— А знаете, во что мне обходится один день посмертной славы? Один сестерций, один асс и шесть с половиной унций. Даром, верно? — И лишь после этого, собрав последние силы, с невероятным трудом поворачивая голову от одного к другому, отрывисто произносит: — Цезарь Тит и вы, господа, скажите сенату и римскому народу: император Веспасиан умер стоя.

Так, с ложью, лежа, он испускает дух.

На второй день после этого тщательно набальзамированное тело было перевезено в Рим, уложено на высокие носилки и выставлено в Палатинском дворце, в зале, где вдоль стен стояли восковые бюсты предков. И вот он лежал, мертвый Веспасиан, ногами к выходу, в пурпурном императорском облачении, под языком — медная монета с надписью: «Побежденная Иудея» — плата, приготовленная для лодочника в царстве мертвых; на голове — венок, на пальце — перстень с печатью; перед ним — ликторы в черных одеждах с опущенными связками прутьев. И ежедневно приходили Тит, Домициан, Юлия, Луция, громко называли его всеми именами и титулами. Впрочем, официально он был еще жив, ибо сенат постановил причислить его к богам. Поэтому до сожжения он еще считался живым: ему приносили кушанья, клали перед ним документы на подпись, приходили врачи, исследовали его, публиковали бюллетени о его здоровье.

Но уже во вторую половину дня потянулось мимо его ложа бесконечное шествие, — прощаясь с императором, шли сенаторы и римский народ: сотни представителей знати первого ранга, тысячи — второго и многие сотни тысяч из двухмиллионного населения города Рима.

Никто не решался уклониться от этого; было известно, что полиция составляет списки. Явилась также и высшая

знать из оппозиции с сенатором Гельвидием во главе. Император приказал умертвить его отца, так как тот смело защищал права сената как законодательного корпуса. Эти господа не были похожи на своих отцов, они не говорили, как те, много и громко, они смирялись. Но они не забывали. Настанет день, когда они смогут говорить и действовать.

Поэтому они сейчас и выказывали свои верноподданические чувства, подходили к телу в траурных одеждах, как того требовал обычай. Они смотрели на императора: даже в смерти, с закрытыми глазами, его мощный череп казался им мужицким и грубым. Старик Гельвидий в свое время гордо протестовал, когда Веспасиан приписал себе честь восстановления разрушенного Капитолия. Они, молодые, были хитрее, они голосовали в сенате за то, чтобы мертвого парвеню причислили к богам. Пусть ему воздвигают храмы и статуи, он все равно останется мертвым. Вот он лежит, и его длинные тонкие губы не кривятся злобной усмешкой, он не может больше осыпать их грубыми шутками, к которым эти благородные, знатные господа совсем не привыкли. С ненавистью и насмешкой в сердце смотрели они на тело, скорбным почтительным жестом накрывали голову, подобно другим кричали: «О наш император Веспасиан! О ты, всеблагий, величайший император Веспасиан!»

Явился и сенатор Юний Марулл, знаменитый адвокат и красноречивый оратор, один из богатейших людей города. Он не был политическим противником умершего, но он являлся конкурентом императора в его деловых операциях, и между обоими шла скрытая, долгая, ожесточенная борьба. Когда Веспасиан увидел, что не может одолеть соперника экономически, он попытался уничтожить его политически: исключил из членов сената за то, — аргумент, шитый белыми нитками, — что тот когда-то перед публикой на арене боролся со спартанкой. Элегантный, утонченный Марулл принял это изгнание с тем же равнодушным и насмешливым жестом, как и другие мероприятия императора-мужлана. Разжалование, после того как он вкусил все наслаждения жизни, явилось для пресыщенного сноба только новым острым ощущением. Насмешливо обменял он широкую полосу пурпура и обувь высшей аристократии на одежду отречения, на волосяной плащ, страннический посох, нищенскую суму стоика и на строжайшее воздержание философа. Правда, его волосяной плащ был сшит у лучшего портного, его страннический посох инкрустирован золотом и слоновой костью, его сума — из тончайшей кожи. И его теперешний стоицизм был ему не менее к лицу,

чем прежняя пышность. Никто не умел элегантнее обосновать положения стоической школы, и когда в своей роскошной библиотеке он рассуждал о философии, то все мало-мальски выдающиеся люди в городе стремились его послушать.

Юний Марулл явился и сегодня в своей одежде философа. Было явным неприличием, что он, бывший сенатор, приблизился к телу в подобном наряде, но чиновники, ведавшие церемонией, не смогли найти достаточно убедительного повода, чтобы его не допустить. Держа у бледно-голубого глаза увеличительный смарагд, он разглядывал умершего слишком обстоятельно и долго и сказал громким гнусавым голосом:

— Я хочу рассмотреть подробно нашего всеблагого, величайшего императора, прежде чем он станет богом.

Стоику разрешено многое, что сенатору, быть может, и не подобало бы.

Деметрий Либаний, придворный актер-иудей, также пробыл у тела неприлично долго. Глаза всех были устремлены на прославленного артиста, когда он проработанной поступью, искусно выражавшей достоинство, скорбь и почтительность, приблизился к носилкам. На должном расстоянии этот невысокий человек остановился, настойчиво устремил немного тусклые, серо-голубые глаза на закрытые глаза императора. У него свои счета с Веспасианом. Последние годы были для него тяжелыми, и в этом вина умершего. Именно он лишил Либания возможности играть перед своей публикой, он принудил его уступить другим свой титул первого актера эпохи. Разве теперь не кажется уже почти сказкой, что приходилось прибегать к помощи полиции и войск, чтобы успокоить волнения, вызываемые его игрой? При новом императоре, при Тите, друге иудейской принцессы, будет иначе. Все эти бездарности — Фаворы и Латины — лишатся возможности затирать такого актера, как Деметрий Либаний.

Вот он лежит мертвый, его враг. Веспасиан не знает, какое зло причинил ему. Вероятно, не знал и при жизни. Для него дело было очень просто: массам не нравится, что наследный принц связался с еврейкой, — поэтому император показывает, что он этой связи не одобряет, евреев не любит и не дает ходу еврейскому актеру. В искусстве он ничего не смыслил, этот мужик, выскочка. Вероятно, он даже не подозревал, какое зло причинил ему, Деметрию. Да и откуда такому чурбану знать, что он натворил своей идиотской политикой! Никогда бы он не понял, что это

значит: видеть, как другой калечит ту роль, которую ты сам мог бы сыграть мастерски. Задыхаешься от скорби об упущенных возможностях. Каким пришлось подвергаться опасностям, чтобы получить хоть какую-нибудь роль! Так, однажды ныне казненный старик Гельвидий, вождь антиимператорской партии в сенате, написал дерзкую пьесу «Катон» и захотел, чтобы эта вещь была сыграна в его доме, перед приглашенными им гостями. Какую борьбу пришлось выдержать ему, Деметрию, пока он решился в ней выступить! Играть в этой пьесе, враждебной существующему режиму, значило рисковать жизнью, а он не был храбрецом, да, кроме того, и роль ему мало подходила.

Спокойно, сдержанно, почтительно стоял он перед умершим, но в душе бурно с ним препирался. «Теперь ты, мертвец, не можешь больше мешать мне, теперь я опять выплыву. Я уже не молод, мне пятьдесят один год, а наша профессия изнашивает. За четыре долгих года я сыграл всего пять больших ролей,— а ведь без практики отвыкаешь, теряется контакт с публикой. Но я тренировался, соблюдал диету, и я смогу. Ты мертв, ты «бог», но я — живой актер Деметрий Либаний, и если уж на то пошло — у меня статуи будут смеяться, как однажды сказал про мою игру старик Сенека. Берегись, твой сын, новый император, больше смыслит в искусстве, чем ты; он даст мне подняться. Двенадцать лет назад в похоронной процессии Поппеи я играл карикатуру на Поппею. Вот это была игра, это было мастерство! Теперь меня допустят к тебе. И я вас сыграю, ваше величество, на ваших похоронах,— я, а не Фавор. Это еще не решено, я не должен был бы говорить этого, даже думать. К сожалению, здесь нет ничего деревянного, обо что постучать. Может быть, подойти к носилкам и постучать? Нет, нельзя, да они, впрочем, и не деревянные. Но мне дадут эту роль. Теперь, когда ты умер, больше нет причин мне ее не давать. Никто не сыграет ее лучше меня, роль принадлежит мне, это ясно, все это видят. Нужно быть моим врагом, чтобы этого не видеть, а Тит мне не враг. И уж как я тебя сыграю, что я из тебя извлеку — увидишь, ты, император, ты, бог, ты, мертвец, ты, юдофоб».

Актер Деметрий Либаний созерцает умершего, накрыв голову, почтительно. Но в его глазах нет почтительности. Испытующе рассматривают они лицо императора, подстерегают в нем то, что может вызвать смех, подмечают то, чего другие не видят: признаки беспощадной скупости, резкий контраст между доморощенными повадками, рас-

четливостью, мужицкой грубостью и церемонной пышностью его сана. «Как долго затираю ты меня в мои лучшие годы, не давал мне развернуться. Но теперь уж мой черед. Таким, каким я тебя изображаю, будешь ты жить и в памяти людей. Я определю ту маску, ту форму, в которую облечется воспоминание о тебе».

Накрыв голову, он, подобно другим подняв руку с вытянутой ладонью, приветствует умершего и вместе с другими восклицает: «О наш император Веспасиан! О ты, всеблагий, величайший император Веспасиан!»

Уже огневая сигнализация разнесла по отдаленнейшим провинциям весть о смерти императора, а с нею вместе — страх и надежду.

В Англии губернатор Агрикола выдвинул пограничные войска до самой реки Таус, опасаясь, чтобы смена императора не побудила северных пиктов к новым набегам на усмиренную область. На Нижнем Рейне зашевелились хатты, батавы. В провинции Африка губернатор Валерий Фест поспешно снарядил второй отряд всадников на верблюдах; он хотел своевременно показать гарматам, племенам южной пустыни, склонным к разбойничьим набегам, что они и при новом повелителе будут иметь дело с не менее бдительными властями, чем при старом. На Нижнем Дунае между вождями даков носились взад и вперед курьеры: следовало ли сейчас рискнуть и снова перейти римскую границу? На Кавказе, на Азовском море аланы поднимали голову, старались учуять, настало ли уже их время.

Весь Восток был охвачен волнением. Скупой Веспасиан отнял у провинции Греции ее привилегии, дарованные ей поклонником искусств Нероном. Новый император моложе, он вырос на греческих идеях, на греческой культуре. Он, наверное, вернет благороднейшей из народностей, входящих в состав государства, похищенные у нее права.

В Египте губернатор Тиберий Александр вызвал всех офицеров и солдат из летнего отпуска. Его резиденция Александрия — второй по величине и самый оживленный из городов населенного мира — была словно в лихорадке. Тамошние евреи, составлявшие почти половину всех жителей, богатые и могущественные, некогда показали первыми свою преданность новой династии и поддержали тогдашнего претендента на престол, Веспасиана, деньгами и влиянием. Он их за это не отблагодарил. Наоборот: введя особый постыдный налог, как бы заклеил их и не препятствовал

белобашмачникам, антисемитской партии Египта, руководимой некоторыми профессорами Александрийского университета, становиться все наглее. Теперь, надеялись евреи, когда Береника будет императрицей, белобашмачникам — крышка.

Сама провинция Иудея доставляла правительству немало забот. Генерал-губернатор Флавий Сильва был человек справедливый, но его положение становилось все труднее. Немало евреев погибло во время войны, многих продали в рабство, многие эмигрировали. Их города опустели, тогда как греческие — процветали и основывались все новые греко-сирийские поселки. Соперничество между угнетенными, озлобленными евреями и привилегированными греческими иммигрантами приводило к кровавым столкновениям. Смена императора ободрила евреев, пробудила в них надежду, что на опустошенной иерусалимской земле, где теперь единственными строениями были грозные военные бараки, голые и унылые, вскоре снова засверкают их город и их храм.

Летнее спокойствие всей Сирии было нарушено. При дворе персидского царя принцы Коммагены — Магн и Каллиник, земли которых аннексировал Веспасиан, зондировали почву и выжидали. Повсюду устраивались демонстрации в честь этих принцев, и губернатору Траяну пришлось прибегнуть к решительным мерам, чтобы обеспечить порядок.

Вплоть до отдаленного Китая оказала свое действие весть о смерти старого императора. Налогами на роскошь Веспасиан чрезвычайно стеснил торговлю китайским шелком и китайской бронзой. Города на побережье Красного моря ждали, что с воцарением молодого императора для них наступит новый расцвет; желая восстановить старые связи, они отправили посольство к генералу Пан Чао, великому маршалу династии Хань.

Так отовсюду, с надеждой и страхом, люди взирали на Палатин, на нового владыку, на Тита.

Тит же на четвертый день после смерти Веспасиана сидел в своем кабинете и обсуждал с церемониймейстером и интендантом зрелищ устройство траурного празднества. Церемониал похорон императора, причисленного к богам, был неясен, и приходилось уточнять его до мельчайших подробностей, ибо Тит знал, что при малейшей оплошности сенат и народ будут осыпать его злыми насмешками. Впро-

чем, теперь обсудили все, и эти господа могли бы удалиться, — чего же они ждут?

В глубине души Тит знает, чего они ждут. Об одном еще не переговаривали, об одной подробности, несущественной, но которой интересуется весь Рим, а именно о том, кто в шествии будет воплощать умершего. Деметрия Либания публика любит, но все-таки остается щекотливый вопрос: можно ли дать еврею сыграть роль умершего императора? Тит смотрит прямо перед собой, подняв глаза на портрет Береники. Чтобы не сердить отца, он до сих пор держал портрет в своем маленьком кабинете; теперь он перенес его в эту комнату, куда имеют доступ и официальные посетители. Удлиненное, благородное лицо иудейской принцессы смотрит на него, белеет большая прекрасная рука, портрет похож до жути, — это один из шедевров художника Фабуллы. Тит, рассматривая портрет, слышит ее чуть хриплый, вибрирующий голос, видит ее царственную поступь.

— Что же касается исполнителя для роли Веспасиана, — бросает он в заключение все еще медлящим собеседникам, — то я в течение дня сообщу вам свои предложения.

И вот он наконец остается один. Он откидывается назад, закрывает глаза; широкое, круглое лицо обвисает. Через четверть часа здесь будет его брат, «этот фрукт», Домициан. Объяснение предстоит не из приятных. Тит искренне готов пойти навстречу желаниям брата; но именно то, что Домициан об этом знает, делает Малыша особенно дерзким.

Новый император открыл глаза, смотрит перед собой почти глуповатым, мечтательным взглядом, выпятив губы, словно надувшийся ребенок. Еще пять минут. Он ужасно устал. Остаться ли ему в домашнем платье, как он есть? Домициан, наверное, явится в полном параде. Что бы Тит ни сделал, брат все равно сочтет это за оскорбление. Если он примет его в императорском одеянии, тот увидит в этом вызов; если в домашней одежде — пренебрежение. Тит решил остаться, в чем был.

Офицеры охраны, стоящие у двери, со звоном берут на караул: Домициан приближается. Так и есть, он одет по всей форме. Тит встает, вежливо идет навстречу брату, который моложе его на двенадцать лет. Рассматривает его внимательно, словно постороннего. В сущности, брат выглядит лучше, чем он сам. Его лицо не такое мясистое, рост выше. Правда, его локти странно и неуклюже отставлены назад. Но, в общем, он держится хорошо, кажется силь-

ным, юным. И только вздернутая верхняя губа, думает Тит, выдает его наглость.

— Здравствуй, Малыш! — говорит Тит и целует брата, как того требует обычай. Домициан холодно принимает поцелуй. Но его красивое лицо против воли вспыхивает. И он, конечно, потеет. Тит констатирует это с удовлетворением. Все оттого, что Малыш, несмотря на жару, облекся в такие тяжелые официальные одежды.

Не только жара угнетает Домициана. От этого разговора для него зависит больше, чем для его брата. Правда, он хорошо подготовился. Сенатор Марулл, искони не любивший старого императора и потому друживший с Домицианом, сошелся с ним после своего разжалования еще теснее, и с этим-то дьявольски умным советчиком Домициан подробно обсудил ситуацию. Дело обстоит так: старик не любил младшего, и Тит его не любит. Охотнее всего они бы от него избавились. Тит легко мог бы это сделать, ему дана власть. Но он не сделает, Марулл с очевидностью доказал это Домициану. Тит, наоборот, будет предлагать ему во время их разговора всевозможные компромиссы. Ибо для Тита и династии — весь смысл его жизни, а сейчас династия держится им, Домицианом. Правда, у Тита есть дочь, Юлия, но, сии он хоть с тысячью женщин, у него больше нет надежды родить сына.

Прежде чем начать, Домициан колеблется. Ему хочется наговорить резкостей и колкостей, но он считается с правилами вежливости. Он знает также, что от волнения, когда он говорит громко, его голос срывается, а он хочет быть спокойным, тихим. Он прощает брату, произносит наконец Домициан, что тот уже сегодня не титузует его как подобает, но к этому, вероятно, надо еще привыкнуть.

Внимательно смотрит Тит на губы брата прищуренными глазами, взгляд которых словно обращен вовнутрь.

— Не объяснишь ли ты мне, какие титулы? — спрашивает он, искренне удивленный.

Он убежден, отвечает Домициан, что человек, чье тело покоится внизу, в зале, назначил его единственным наследником. Веспасиан часто с ним об этом говорил, он знает наверно, что был составлен соответствующий документ. Из страха, чтобы это завещание не обнаружилось, Тит и не допускал его к смертному одру отца. Он произносит эти слова тихо, краснея, изредка запинаясь, очень вежливым тоном.

Тит слушает его по-прежнему спокойно и внимательно; он даже делает записи, стенографирует по своей привычке

некоторые фразы. Так как Домициан все еще не может договорить свою мысль, то старший машинально сглаживает стилем воск, стирает написанное.

— Послушай-ка, Малыш,— приветливо обращается он к Домициану, когда тот наконец умолкает,— я пригласил тебя сюда, чтобы высказаться откровенно. Разве мы не можем поговорить друг с другом, как взрослые разумные люди?

Он твердо решил не поддаваться тому вздору, который только что выложил брат. Все же, против воли, покраснел и он. Эта неспособность скрывать свое волнение у них от матери.

Домициан ждал с боязливым любопытством, как отнесется Тит к его дерзкому заявлению. Он опасался, что Тит накричит на него звенящим голосом, ибо этот солдатский металлический голос всегда нервировал его и вызывал робость. Спокойствие брата ободрило его. Метод, которого ему посоветовал держаться Марулл, оказался, как видно, правильным. Поэтому, продолжал Домициан все так же вежливо, он счел своим священным долгом поставить брата в известность относительно занятой им позиции. Он готов подтвердить и при свидетелях свое мнение насчет утаенного завещания. Если Тит хочет избежать неприятностей, то пусть сделает его хотя бы соправителем.

Тит устал. К чему вся эта долгая, ненужная болтовня, когда так много дела? Министры требуют от него решений, сенат, губернаторы провинций, генералы. Церемонии траурной недели, приготовления к похоронам утомительны, отнимают время. Неужели Домициан действительно не понимает, что Тит искренне хочет с ним договориться? Ах, как охотно разделил бы он с ним власти! Но, к сожалению, работать с братом невозможно. Малыш такой неуравновешенный и зловредный, что он разрушит в три недели созданное десятью годами тяжелого труда.

Теперь глаза Домициана устремлены на портрет, на большой портрет Береники. А Тит имеет кое-какие основания, заявляет он с тем же вежливым коварством, ладить с ним. Ему будет нелегко отстоять эту даму вопреки сенату и народу. Он не желает обидеть брата, но все же считает, что он, Домициан, пользуется у римлян бóльшей популярностью. Да будет ему позволено напомнить, что, если бы он в свое время не удержал города, они, пожалуй, сейчас не сидели бы здесь.

Тит внимательно слушает эту дикуую, бредовую болтовню. Правда тут только то, что, когда десять лет назад он

с Веспасианом и армией были еще на Востоке, Домициан бежал переодетый из осажденного Капитолия.

— Разреши спросить, — отозвался он, и теперь в его голосе был тот металлический звон, которого так не любил Домициан, — что общего между Береникой и твоим тогдашним бегством из Капитолия?

Малыш заливается краской. Это Марулл посоветовал ему, если спор станет очень горячим, упомянуть имя Береники, задеть Тита. Вообще-то он считает, что в отношении Береники права за ним: ведь он защищает интересы Рима. Разумеется, Тит может спать со своей Береникой, сколько ему угодно. Но то, что отношения брата с еврейкой носят столь официальный характер, вызывает недовольство, а династия, именно потому, что она молодая, должна избегать скандала. Долго и многозначительно рассматривает он портрет. Затем еще вежливее и церемоннее заявляет:

— Вам не удастся сделать еврейку римской императрицей. Если вам ее и простят, то при условии, чтобы была и римская императрица. Может быть, вашу Беренику будут терпеть рядом с моей Луцией. Как видите, простейший здравый смысл требует, чтобы вы сделали меня хотя бы соправителем.

Это верно. Династия непопулярна. Береника вызовет раздражение. А с Луцией, женой Домициана, дочерью чрезвычайно популярного фельдмаршала Корбулона, можно показаться, Рим любит ее. Но зачем Титу спешить? Разве за ним не стоит армия? Если только не торопиться, то массы в конце концов проглотят все что угодно. Однако именно потому, что это первый обоснованный довод Домициана, Тит начинает сердиться. Он смотрит на брата жестким взглядом прищуренных глаз; его круглое открытое лицо теперь очень красно.

— А уж это мое дело, — властно заявляет он. — Поверь, что я найду способы стать популярным при всех условиях.

Домициан, страдая от металлического звона его голоса, вздрагивает, робеет.

— Может быть, вы разрешите мне принять участие в похоронах отца? — спрашивает он с напускным смирением.

— Что это значит? — сердится Тит. — Конечно, ты пойдешь рядом со мной за носилками.

— Очень любезно с вашей стороны, — благодарит Домициан все с тем же напускным смирением. — А вы приказали, чтобы в шествие были включены и трофеи из триумфа над Иудеей? — заботливо осведомляется он. Этот

вопрос задан неспроста: в погребальное шествие обыкновенно включается то, что напоминает о заслугах покойника; трофеи же, взятые в Иудейской войне,— это заслуга Тита, а не Веспасиана.

Тит стоял теперь у письменного стола. Он был гораздо меньше ростом, чем Домициан, но сейчас он разозлился и так презрительно посмотрел снизу вверх на Малыша, что тот не выдержал его взгляда. Тит вспомнил об умершем, который лежал внизу, в зале, одетый в пурпур триумфатора; мимо его пышного ложа проходили теперь бесконечной вереницей римляне. Что ответил бы он, что ответил бы отец «этому фрукту»? — старался себе представить Тит. И он нашел ответ:

— Мне положили на стол твои счета,— сказал он холодно, деловито.— На одном твоём имении у Альбанского озера миллион двести тысяч новых долгов. В утерянном отцовском завещании было что-нибудь и о твоих долгах?

Домициан поперхнулся. Отец всегда давал ему денег в обрез, так что пришлось бросить в самом начале недостроенными виллу и театр на Альбанском озере, роскошные здания, начатые им для Луции.

— Не поговорить ли нам наконец серьезно? — начал снова, уже другим тоном, Тит.— Я хочу мира с тобой, я хочу дружбы. У тебя будут деньги. У тебя будет возможность строиться, у тебя будет для Луции все, что ты захочешь. Но будь благоразумен. Дай мне покой.

Домициан испытывает сильный соблазн согласиться. Но он знает, что нужен Титу, на нем держится династия, Марулл уверил его, что можно выжать из брата гораздо больше.

— Не забывайте, пожалуйста, о том,— отвечает он,— что мне по праву принадлежит весь мир. Разве вы на моем месте отступились бы за горсть сестерциев?

Тит, улыбаясь, выписал чек и квитанцию.

— Словом, берешь ты деньги или не берешь? — спрашивает он.

— Разумеется, беру,— бурчит, нахмурившись, Малыш, подписывает квитанцию и прячет чек за широкую пурпурную кайму своей парадной одежды.

Тит чувствует, что обессилел. Все последние годы таилась в нем эта усталость. Он ждал власти так долго. Сколько раз он тешил себя мыслью о том, чтобы взять эту власть силой; ему было очень трудно принудить себя к ожиданию, но он был благоразумен, он переборол себя. Он надеялся, что, когда станет по праву и закону владыкой мира, его

усталость исчезнет, ее смоем огромное чувство счастья. И вот это время наступило, старик лежит внизу, в зале. Но усталость не исчезла, он охвачен, как и прежде, глубоким равнодушием; этот первый шаг к желанной цели разочаровал его. Теперь во всем мире для него существует только две приманки. Одна — быть с Береникой, с Никион, связать себя с нею навеки; другая — завоевать этого человека, своего брата. Неужели Тит действительно не в силах этого добиться? Сумел же он привлечь к себе армию, сделать так, что даже трезвый, скрытный отец по-своему любил его, что Никион, несмотря на преданность своему древнему народу, простила ему разрушение храма и любит его. Неужели он бессилен перед этим мальчишкой? Для чего их мелочная, жалкая грызня?

Он встает, подходит к сидящему Домициану, обнимает его за плечи.

— Будь благоразумен, Малыш, — снова просит он. — Не нужно глупостей, которые в конце концов повредят тебе же. Не вынуждай меня быть с тобой суровым.

Он делает ему новые предложения, желая доказать искренность своих намерений. Чтобы окончательно привлечь симпатии народа к династии, он решил начать постройку роскошных общественных зданий, он будет устраивать общественные игры, каких еще не видели. Пусть Малыш, в качестве зрителя игр и строительства, утверждает планы и пожинает славу.

Домициан еще выше вздернул верхнюю губу. Он сидит прямо и неприступно. Наверно, все это западни, которые ему расставляет Тит. Он хочет окончательно привлечь симпатии народа к династии? Ага, брат понимает, как мало он популярен! Домициан нужен ему, ему нужно имя младшего брата! Он хочет возводить роскошные здания. Ага, он собирается переманить к себе лучших архитекторов, всех его Гровиев и Рабириев!

— Я хочу быть соправителем или ничем, — говорит он враждебно, упрямо.

Тит слушает его. В нем закипает гнев. Но он не должен дать ему волю. Если он вспылит, то испортит дело окончательно. Чтобы сохранить спокойствие, он повторяет про себя все, что можно сказать в оправдание брата. Ребенком его держали в ежовых рукавицах; затем, когда он едва достиг восемнадцати лет, ему вдруг пришлось стать заместителем отца в Риме, управлять половиной мира. Не удивительно, если у человека закружилась голова. Брат не лишен способностей. У него есть идеи, есть энергия. Та

страстность, с которой этот восемнадцатилетний юноша заставил молодую цветущую Луцию развестись и выйти за него, импонировала. Импонировало и молодечество, хоть и ненужное, с каким он отправился тогда в армию. Неужели нет способа заставить брата почувствовать, насколько нелепо его недоверие и не нужны его происки?

Такого средства нет. Домициан ничего не чувствует.

— Ты, конечно, привлечешь к участию в траурном шествии твоего Деметрия Либания? — спрашивает он злобно.

До того Тит колебался, сделать это или нет. Теперь, раздраженный тоном брата, он, несмотря на все усилия, не в силах сдержаться:

— Да,— говорит он резко,— я позволю себе привлечь этого артиста.

— Ты знаешь,— возражает ядовито Домициан, и теперь уже его вежливости конец, его голос срывается,— что отец выбрал бы Фавора. И никого другого. И, уж конечно, не твоего еврея с его вульгарным переигрыванием.

— А твой Фавор разве скромнее? — насмешливо отзывается Тит.— Разве куплет о свиньях скромнее?

Несмотря на металлический звук его голоса, Домициан на этот раз не робеет.

— Этого следовало ждать,— ответил он,— что твоему восточному вкусу свиньи не понравятся.

Тит злится на себя, что поддался мальчишескому задору брата, что не выдержал. Он делает последнюю отчаянную попытку помириться с ним.

— Я не могу тебя сделать соправителем,— говорит он; его измученный взгляд обращен вовнутрь.— И ты знаешь причины. Все остальное я тебе дам. Женись на Юлии.

Домициан поднимает голову. Это больше, чем он ожидал. Если Тит предлагает ему жениться на Юлии вместо того, чтобы прикончить его, это не пустяк. Кто знает, надолго ли хватит у Тита терпения, не решит ли он однажды освободиться от опасного соперника, устранить его. Будь он, Домициан, на его месте, он давно бы это сделал. Если он женится на Юлии, то жизнь и право на престол ему обеспечены. Кроме того, Юлия красива. Белокурая, упитанная, с белой кожей, полная томной, пленительной лени. С минуту он колеблется. Но скоро к нему возвращается прежнее недоверие. Брат хочет, чтобы он женился на Юлии, развелся с Луцией? Ага, Тит желает иметь Луцию для себя, хочет показать, что женщина, на которой женился его брат, должна считать за честь стать его подругой.

Ошибся, мой милый! На эту удочку он, Домициан, не попадется.

Он представляет себе, как будет рассказывать своим друзьям, сенатору Маруллу и адъютанту Аннию, об этом разговоре, как он прежде всего, торжествуя, расскажет о нем своей дорогой Луции. До мельчайших подробностей опишет он ей беспомощные усилия брата уговорить его и то, как он, Домициан, угадал его хитрость и отшил его. Луция будет смеяться; она хорошо смеется, и когда ему удастся ее рассмешить, от нее многого можно добиться. Он очень недоверчив, люди — дерьмо, он в этом глубоко убежден, но когда Луция смеется, он счастлив. Может быть, если она посмеется хорошо и одобрительно его рассказу, то позволит ему поцеловать шрам под своей левой грудью, прикасаться к которому она так часто ему запрещает.

— Я отдаю должное вашим добрым намерениям, брат, — заявляет он наконец очень вежливо, — но это ничего не меняет в вопросе о моих правах. Соккрытие завещания остается преступлением, его, быть может, можно простить, но нельзя искупить подобными предложениями. Я оставляю за собой свободу действий, — заканчивает он, кланяется, уходит.

Когда он затем, 30 июня, шагал за носилками отца, нельзя сказать, чтобы он испытывал недовольство. То, например, что в шествии несли столы для хлебов предложения и золотой семисвечник, взятые в качестве военной добычи в Иудейскую войну, и что таким образом восторжествовала правда и покорителем Иудеи был признан Веспасиан, а не Тит, — этого добился он, брату пришлось согласиться. Чем дольше продолжалась церемония, тем большее удовлетворение испытывал Домициан. Хорошо, что старику уже крышка. Тит прав, теперь достоинство династии можно поддержать совсем иначе. Правда, покойный отец, который полулежит там, в позе живого, на высоких носилках, опершись щекою на руку, не отличается особым достоинством, несмотря на императорские пурпурные одежды. Но процессия предков, идущих впереди, являет собой в высшей степени внушительное зрелище. Теперь у Тита и у него наконец развязаны руки. Актеры, движущиеся впереди бесконечной вереницей на конях, пешком, лежа на носилках и воплощающие предков в их масках, изображают отнюдь не владельца откупной конторы и не посредника, но полководцев, верховных судей, президентов, и их шествие завершает Геркулес, родоначальник династии. Пусть доказательства, подтверждающие таких предков, до-

вольно сомнительны, но если их показывать массам достаточно часто, в них поверят, — он сам уже начинает в них верить.

Рядом с более крепким младшим братом Тит кажется несколько усталым. Время от времени он бормочет вместе с хорами:

— О Веспасиан, о отец мой, Веспасиан! — Но это только машинальное движение губ. Он страдает от жары, от своей вялости. Может быть, Малыш подсунил ему яд, ползучий, медленно действующий? Правда, его врач Валент это отрицает, а Валент достоин доверия. Может быть, действительно его усталость — результат бурной, беспокойной жизни. Может быть, последствие болезни, которой его заразила женщина. Может быть, не яд и не болезнь, а просто кара еврейского бога.

Девять лет прошло с тех пор, как сожгли дом этого бога. Не он — они. Он обещал Беренике пощадить храм и сделал, что мог. Если в конце концов вышло иначе, он в этом повинен не больше, чем его отец, и если он приказал нести в траурном шествии захваченную тогда храмовую утварь, то он по праву уступает умершему честь этого триумфа, но тем самым сваливает на него и всю ответственность за оскорбление еврейского бога.

Он отчетливо помнит, как отдал тогда первому центуриону Пятого легиона приказ на роковое 29 августа: «Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке, его следует энергично отбросить, однако сохраняя постройки, поскольку таковые входят в состав самого храма» — так сформулировал он свой приказ. Он застраховался. Военный суд тогда все выяснил. Первая когорта Пятого легиона получила от военного руководства выговор за то, что не предотвратила пожар. Чтобы оправдаться, он даже не нуждается в хорошем адвокате.

Правда, остается другой вопрос: смог ли бы лучший оратор и хитроумнейший адвокат, будь то сам Марулл или Гельвидий, оправдать его перед проклятым хитрым восточным богом, перед этим невидимым Ягве? Центурион Пятого легиона повторил, согласно уставу, полученный приказ. Тит видит его перед собой, этого капитана Педана, как он стоял тогда перед ним, мясистый, с голым, розовым лицом, массивными плечами, мощной шеей, с одним живым и одним стеклянным глазом. Он еще будто слышит, как капитан, повторяя приказ, произносил его своим пискливым голосом. Затем, сейчас же после того как Педан кончил, наступила крошечная пауза. Тит и теперь хорошо

помнит ощущение, испытанное им во время этой крошечной паузы, — нужно разрушить вон то белое с золотым, храм этого жуткого невидимого бога, его нужно растоптать; вот что он тогда почувствовал. Иерусалим должен погибнуть, Hierosolyma est perdita, начальные буквы этих слов, — хеп, хеп, — вот что он тогда почувствовал совершенно так же, как и его солдаты. Но что он почувствовал — это его дело. Мысли невидимы, отвечать нужно только за свои дела. Возможно, конечно, что этот хитрый Ягве придерживается другой точки зрения, он, который, несмотря на свою незримость, решительно все замечает. Может быть, он поэтому сейчас и мстит ему, насылает на него болезнь и лишает всякой радости и энергии. Может быть, умнее было бы вместо доктора Валента посоветоваться с хорошим еврейским священником. Надо это обсудить с евреем Иосифом.

Ах, если бы он мог это обсудить с Береникой! Если бы она была здесь! Ведь это ради нее он устроил огневую сигнализацию. В Иудее, наверно, давно уже известно, что старик умер. Вероятно, узнала об этом и Береника в своих уединенных иудейских имениях. Наверно, она понимает, как нужна ему, и давно отправилась в путь.

— О Веспасиан! О отец мой, Веспасиан! — произносят его губы. Но его мысли заняты Береникой. Он высчитывает, что при попутном ветре она может быть здесь уже через десять дней.

Наконец шествие достигло Форума. Останавливается перед ораторской трибуной. Тит всходит на трибуну. Он хороший оратор, надгробные речи — благодарная задача, он хорошо подготовился. На скрытой в складках рукава табличке он сделал стенографические заметки. Итак, вполне уверенный в себе, он начинает говорить даже с известным удовольствием. Однако, как ни странно, он скоро отклоняется от того, о чем хотел сказать. Он почти не упоминает об английском походе умершего и говорит очень мало о спасении государства и стабилизации народного хозяйства, но металлическим голосом командующего, в длинных фразах прославляет он взятие и разрушение Веспасианом Иерусалима, этого никем до тех пор не завоеванного города. С удивлением слушали его римляне, Домициан откровенно ухмылялся. Удивлены были и евреи: почему новый император не желал признать себя разрушителем храма? К добру это или к худу, что новый владыка словно хочет сжечь свои деяния вместе с останками прежнего императора?

На Марсовом поле был сложен огромный костер в виде пирамиды в семь все уменьшавшихся кверху этажей. Пирамида эта была покрыта затканными золотом коврами; барельефы из слоновой кости и картины прославляли деяния человека, который вот-вот станет богом. Дары, принесенные умершему сенатом и народом, были разложены на этих семи этажах: кушанья, одежда, драгоценности, оружие, утварь — все, что на том свете могло ему пригодиться или доставить удовольствие. Далеко разносились вокруг ароматы смол, курений, благовонных масел, которые должны были заглушить смрад костра.

Крыши окружающих зданий — театров, бань, галерей — были усеяны зрителями. Для тех, кто не мог принять участие в процессии, ибо расстояние между Паластином и Марсовым полем оказалось недостаточным, чтобы вместить всех, имевших на это право, были возведены четыре большие трибуны.

На одной из них отвели места для представителей семи иудейских общин Рима. К ним присоединился и Клавдий Регин. Места были очень хорошие, и иудеи рассматривали это как благоприятный знак.

Давно пора повеять более дружелюбному ветру. Правительство в свое время не заставило римских евреев нести кару за Иудейское восстание. И все-таки разрушение их государства и их храма причинило им тяжкое горе. Хотя многие семьи жили в Риме уже полтора века, они не переставали считать Иудею своей родиной и через каждые несколько лет, полные благочестивой радости, совершали паломничество на праздник пасхи в Иерусалим, к дому Ягве. Теперь они навеки утратили свою истинную родину. И, помимо того, изо дня в день им напоминали особенно унижительным образом о разрушении их святыни. Именно этот человек, тело которого проносили теперь мимо них, не пожелал подарить им те небольшие отчисления, которые они делали раньше в пользу Иерусалимского храма. Наоборот: злорадно издеваясь, отдал он приказ, чтобы все пять миллионов евреев, живших в Римском государстве, отныне вносили этот налог на культ Юпитера Капитолийского. Под страхом смертной казни им было запрещено приближаться к развалинам храма ближе чем на десять миль; и вместе с тем в насмешливом великолепии перед ними вздымалось обновленное на их деньги святилище Капитолийской троицы, дом того самого Юпитера, который, по мнению римлян, победил их Ягве и поверг его во прах.

Их угнетал не только этот постыдный налог. Существовал еще вопрос об иммигрантах из Иудеи. Война вымела из Иудеи огромное множество евреев. Большие города восточных провинций, Антиохия и Александрия, поглотили сотни тысяч; но около тридцати тысяч все же добрались до столицы. В Риме были евреи, обладавшие огромным богатством и влиянием, но большинство состояло из пролетариев; они влачили жалкое существование в добровольном гетто на правом берегу Тибра, своей нищетой и обособленностью они вызывали досаду и насмешки, и новый прилив, по большей части обнищавших иммигрантов, был для старожилов нежелателен. Кроме того, множество евреев в результате войны превратилось в рабов; до сих пор большая часть человеческого материала, служившего для травли зверями и других кровавых игр на арене, состояла из иудеев. Разумеется, соотечественники старались выкупать из рабства как можно больше народу, но это требовало больших средств, и выкупленных приходилось содержать. К тому же еврейские общины Александрии и Антиохии посылали все новых делегатов, чтобы уговорить римских иудеев наконец внести большие суммы в общий комитет помощи. Правда, восточные общины делали несравненно более крупные взносы в пользу жертв войны, чем Рим. Но Рим большего дать не мог; и это постоянное напоминание о том, насколько восточные иудеи богаче и влиятельнее западных и с каким высокомерием они смотрят на своих западных соплеменников, было очень мучительно.

Но сегодня эти мысли преследовали евреев города Рима меньше, чем обычно. Веспасиан умер. На трибунах Марсова поля сидели представители их семи общин — их председатели, старейшины и ученые, и ждали, чтобы он вступил в число богов. Они возлагали немало надежд на то время, когда Веспасиан наконец станет богом, а Тит — императором. Портрет Береники открыто висел в приемной нового властителя, — очень скоро иудейская принцесса взойдет на Палатин. Она, как новая Эсфирь, спасет свой народ от унижения, которому его подвергают враги.

Семь общин не любили друг друга. Одна была более модернистична, либеральна, в состав другой входили только рабы и вольноотпущенники, в третью — только римские граждане и знатные господа, но все они, знатные и пролетарии, свободомыслящие и строго ортодоксальные, были связаны общей болью о своем погибшем государстве, общим унижением, причиняемым особым налогом на евреев

и внесением в особые налоговые списки, а теперь — и общей надеждой на перемену.

Евреи сидели на трибуне тесным кружком. Гай Барцаарон, председатель наиболее многочисленной Агрипповой общины, настроен не так оптимистически, как остальные. Он много пережил и многое видел. Ягве — добрый бог и довольно терпим, но император, каждый император, очень часто присваивает себе права Ягве, и тогда евреям живется трудновато. Старик покачивает умной головой. Трудно быть одновременно хорошим иудеем и хорошим римлянином. Ему самому трудно держать на высоте свою мебельную фабрику, первую в Риме, и вместе с тем выполнять законы Ягве. Все последние годы жизни его отца, которого он очень любил, были омрачены внутренними конфликтами, связанными с этой ситуацией. И на этот раз, заявил он, все будет не так просто, как они себе представляют. Вероятно, еще много воды утечет в Тибре, пока принцесса Береника станет императрицей, а если она действительно станет ею, кто знает, насколько ей придется поступиться для этого своим иудаизмом. Примеры налицо.

Все знают, кого имеет в виду этот умный, покачивающий головой старик. Писатель Иосиф бен Маттафий служит для иудеев постоянным предметом ссор и раздражения. Этот человек, его жизнь, его книга, его многократные измены и многократные заслуги перед еврейством продолжают оставаться загадкой. Правящая Иерусалимская коллегия в свое время приговорила его к отлучению. Некоторые из римских богословов считают, что теперь, после разрушения храма, эта мера потеряла свой смысл. Но для большинства римских иудеев Иосиф все же отщепенец, и они, встречаясь с ним, соблюдают расстояние в семь шагов, как будто он прокаженный. Соблюдает его и Гай Барцаарон.

— Я думаю, — говорит финансист Клавдий Регин, и его хитрые сонные глаза под выпуклым лбом смотрят прямо и неотступно в хитрые, бегающие глаза торговца мебелью, — я думаю, теперь выяснится, что доктор Иосиф бен Маттафий не забыл того, что он еврей.

Он намеренно называет Иосифа его еврейским именем и титулом. Ему хочется использовать этот случай и хоть несколько обелить Иосифа в глазах евреев. Вероятно, этот многоопытный человек знает лучше, чем находящиеся здесь, на трибуне, обо всех противоречиях личности Иосифа и нередко дает ему это понять с присущей ему ворчливостью. Вместе с тем в глубине души Регин испытывает к не-

му симпатию,— он помогает ему, где может, и, будучи издателем, в значительной мере способствовал славе Иосифа.

Как только Клавдий Регин заговорил, евреи на трибуне стали внимательно прислушиваться. Правда, он всегда подчеркивает, что не принадлежит к их числу, что, к счастью, его отец-сицилиец не уступил настояниям матери-еврейки и не позволил сделать ему обрезание. Но все знают, что если у евреев есть друг, то это именно Клавдий Регин.

— Я думаю,— продолжает он,— что было бы хорошо оказать доктору Иосифу бен Маттафию поддержку, если он хочет доказать свою приверженность иудаизму.

— Какую же можно тут оказать поддержку? — протестующе ворчит Гай Барцаарон.

Но Клавдий Регин знает, что евреи на трибуне примут его слова к сведению.

Шествие приблизилось, обошло вокруг Марсова поля. Находящиеся на трибуне встали, подняли руку с вытянутой ладонью, приветствуя мертвого императора. Но тот, кого все они ждали с нетерпением,— это был не мертвый, это был живой Веспасиан, актер, их актер Деметрий Либаний, еврей. И вот он уже приближается, они издали узнают об этом по возвещающим о нем бурным взрывам смеха. Процессия шла между сенатом и группами знати второго ранга, все траурное шествие предков было повторено танцорами и актерами, но здесь маски и жесты были характернее — и порой искажены до гротеска. И вот, наконец, замыкает шествие Веспасиан. Наш Деметрий Либаний.

Нет, это не был Деметрий, это был действительно Веспасиан. Какая жалость, что покойник не мог сам себя увидеть,— это доставило бы ему огромное удовольствие. Крупными, энергичными шагами шествовал Деметрий — Веспасиан; его рот был, может быть, чуть-чуть больше, его морщины чуть жестче, чуть шире его лоб, чуть обыденнее, вульгарнее лицо, чем у умершего — там, впереди. Но именно потому это был Веспасиан вдвойне. Перед сотнями тысяч зрителей получил наглядное воплощение контраст между достоинством и мистической природой римской императорской власти и мужицкой расчетливостью последнего ее носителя. Ликуя, приветствовали толпы своего императора, когда он шагал среди них, расточая насмешки, осыпаемый насмешками. Он доволен, говорил он народу, толпившемуся по обе стороны улицы, сегодня жаркий денек, а жара вызывает жажду, это хорошо для налога на отхожие места.

Но главный номер Деметрия Либания был еще впереди. Решится ли он на него вообще? Все вновь и вновь охватывал его страх перед собственной дерзостью. Вот он увидел на одной из трибун своего коллегу Фавора — первого актера эпохи, эту бездарность, ради которой умерший оттеснял Либания на второй план. И тут он не выдержал, — слова сами собой готовы были сорваться с губ. Грузными, решительными шагами подошел он к интенданту зрелищ, дождался, пока все кругом стихло, и, указывая на костер и пышное шествие, спросил громким скрипучим голосом:

— Скажите, вы сколько выбросили на всю эту бутафорию?

— Десять миллионов, — добросовестно ответил застигнутый врасплох интендант.

Тогда Деметрий — Веспасиан хитро ухмыльнулся всем своим грубым мужицким лицом, толкнул интенданта в бок, протянул ему руку, прищурился, предложил:

— Дайте мне сто тысяч и швырните меня в Тибр.

На мгновение все оторопели, потом прыснули со смеху — зрители по обеим сторонам улицы, сенаторы на трибунах, даже солдаты лейб-гвардии, стоявшие шпалерами, не могли удержаться от смеха. Оглушительный хохот прокатывался от одного конца поля до другого.

Но евреи на трибуне, хоть и зараженные общей веселостью, тотчас же призадумались. Либаний — великолепный актер, говорили одни, его шутка превосходна, и он может ее себе позволить. Нет, заявляли другие, иудей должен быть осторожен, это будет иметь неприятные последствия. Словом, и да и нет, — они восхищались Деметрием и восхваляли его, и они же озабоченно покачивали головами и бранились.

Процессия подошла к костру. Поднялись на пирамиду, поставили носилки на верхнюю площадку. Тит открыл покойному глаза, он и Домициан поцеловали его, они остались подле него, пока внизу в последний раз проходил гвардейский полк с трубами и рогами. Затем они спустились вниз и, отвернувшись, подожгли костер. В то мгновение, когда вспыхнуло пламя, с верхнего карниза в воздух взлетел орел.

Через несколько минут вся пирамида была охвачена огнем. Воспламенившиеся массы благовоний распространяли сильный одуряющий запах. Но зрители, невзирая на запах и жару, стремились вперед, прорывали шпалеры гвардии.

— Прощай, Веспасиан! Прощай, всеблагой, величайший! Привет тебе, бог Веспасиан! — кричали они, бросались к костру, кидали в огонь последние дары, венки, одежду, отрезанные пряди волос, драгоценности. Их охватило безумие, полунапускная, полуискренняя скорбь, они кричали, рога и трубы гремели, в воздухе еще парил орел.

Со своего места на трибуне толстый финансист Клавдий Регин смотрел из-под выпуклого лба тяжелыми сонными глазами на всю эту суету. Среди сотен тысяч людей, может быть, он один испытывал настоящую скорбь. Римский император, никому не доверявший своих радостей и забот, сделал своим поверенным именно этого полуеврея. Вероятно, никто лучше его не знал слабостей покойного, но никто не знал лучше, какой мудрой деловитостью, каким сухим, острым умом и глубоким пониманием всего человеческого был он наделен. Клавдий Регин потерял в нем друга. Быстро и с трудом заковылял он с трибуны на толстых ногах прямо в жар костра, кричал с остальными, сорвал с себя башмаки, бросил их в огонь.

Жара, вопли, безумие возрастали. Даже величая римлянка Луция не сдержалась: она разодрала свою черную одежду, бросила лохмотья в пламя, левая грудь с маленьким шрамом под ней обнажилась.

— Прощай, император Веспасиан! Приветствую тебя, бог! — кричала она вместе с другими.

Пирамида догорела очень быстро. Рдеющие угли были залиты вином, останки Веспасиана собраны, омыты молоком, вытерты полотняною тканью, и их сложили, перемешав с благовониями и мазями, в урну. Одновременно в маленьком углублении, приготовленном в мавзолее Августа, был погребен вместе с перстнем на нем средний палец императора, который отрезали перед сожжением.

Несмотря на гнетущую жару, Иосиф работал с утра и до глубокой ночи. Речь шла не только о стилистической обработке. Он хотел теперь, после смерти Веспасиана, выявить проиудейскую направленность книги так же отчетливо и в греческой версии, как в первоначальной, арамейской.

Финей сидел за столом, молчаливый, замкнутый, Иосиф стоял за его спиной. Наверное, секретарь, убежденный грек, презирал иудейские тенденции книги и в душе издевался над ней. Но его большое бледное лицо с крупным носом оставалось услужливым, вежливым, невозмутимым. Иосиф требовал от него не меньше, чем от самого себя, и Финей

без единого возражения подчинялся ему. Иосиф видел крепкий затылок грека, его поредевшие волосы, слышал глубокий, равнодушный, благозвучный голос. Вся комната, казалось, насыщена его непроницаемой насмешкой. Правда, насмешка Иосифа была лучше, глубже; его решение расстаться с этим человеком давало ему превосходство.

Так работал он, затравленный, озлобленный, почти не замечая множества трудностей, пока наконец переработка всех семи книг «Иудейской войны» не была закончена. И вот из его груди вырвался вздох облегчения. До сих пор он не позволял себе ни единой мысли о том, что не касалось его работы. Теперь он вынырнул на поверхность. Теперь он откроет глаза, теперь он посмотрит, что за эти недели произошло вокруг него.

Он бродил по городу. Было приятно после тишины и сосредоточенности последних недель ощущать простор Рима, его кипучую жизнь.

Иосиф дошел до форума, носившего имя покойного императора. Белый и гордый вздымался перед ним храм Мира. По средам здесь обычно происходили публичные чтения. Иосиф имел обыкновение избегать подобных собраний. Но сегодня ему захотелось послушать греческого оратора, не рассматривая каждое слово, каждый оборот как материал, могущий пригодиться для его работы. Он вошел в храм, направился в зал.

Слишком большое число литературных чтений стало сущим наказанием; те, что происходили в храме Мира, считались очень малодоступными и непопулярными, так что обычно просторный и величественный зал оставался пустым. Но сегодня Иосиф едва нашел себе место. Читал некий Дион из Прусы, который в последнее время, и прежде всего благодаря покровительству Тита, быстро выдвинулся, а его тема «Греки и римляне» явилась крайне актуальной. Хотя хитрый император Веспасиан и отнял у греческого Востока многие экономические и политические привилегии, однако он подсластил эту пилюлю ластивыми прославлениями греческого просвещения и культуры и почетными стипендиями, назначенными им ряду греческих художников и ученых. Увеличение налогов, связанное с отнятием привилегий, дало около пяти миллиардов, почетные же стипендии обошлись меньше чем в четверть миллиона. Этот жест все-таки произвел на честолюбивых греков известное впечатление. А римские сенаторы-оппозиционеры, лишенные возможности оказать императору серьезное сопротивление, но постоянно старавшиеся хоть чем-нибудь

его кольнуть, тем сильнее давали чувствовать «гречишкам» свое исконное древнеримское презрение. Дион, сегодняшний докладчик, любимец Тита, являлся лидером обитавших в Риме греков, и слушатели с любопытством ждали, что он скажет и что ему возразят.

Знаменитый оратор сказал мало нового, но это немногое было преподнесено слушателям в блестящей форме. Прежде всего, явно иронизируя над оппозиционерами из сената,— а их было среди слушателей немало,— он принялся восхвалять ту духовную свободу, которую дала монархия и которую греческий Восток ценил особенно высоко. Политическая свобода, доказывал он, это цинический предрассудок. Если таким колоссальным организмом, как Римская империя, будет управлять не единая воля, а целая корпорация, то государство очень скоро придет к анархии и варварству. Упорядоченное целое является предпосылкой подлинной свободы, свободы духа. Поэтому, как это ни кажется парадоксальным, духовная свобода может осуществиться лишь при единовластии. Духовная же свобода была искони альфой и омегой эллинской культуры, почему монархия и есть наиболее подходящая для греков форма правления. Римская монархия соответствует тому понятию государства, которое создавали себе лучшие представители греческого народа с времен Гомера. Это не восточная тирания, но просвещенная монархия; ее постоянно имели в виду эллинские классики, создавая свою политическую идеологию. Не удивительно поэтому, что со времен Августа начался новый расцвет греческой культуры. Теперь римская мощь и греческая духовность находятся на пути к вечному гармоническому единству.

Члены аристократической оппозиции, выделявшиеся широкой полосой пурпура на белой парадной одежде и высокой красной обувью с черными ремнями, слушали оратора с неудовольствием. Они были заранее уверены, что любимец Тита воспользуется своей темой для выпадов против них. Они продолжали упорно держаться за фикцию власти в государстве, верить в то, что власть принадлежит шестистам сенаторам, а император — только первый среди равных; чем же иным был доклад Диона, как не нападением на их точку зрения? Когда оратор кончил, они стояли все вместе, вызывающей группой. Иосиф со многими другими подошел к этой группе. Все были заинтересованы, затеют ли они дискуссию. Иосиф смеялся в душе над их утопическими притязаниями. Эти господа с высокими титулами и должностями были ничем не лучше «Мстителей Израи-

ля», которые в свое время продолжали Иудейское восстание, когда оно уже давно было подавлено.

Но вот действительно заговорил один из более молодых сенаторов. Он не посмел напасть на монархические теории Диона, он предпочел излить свой гнев в издевательствах над эллинством. Если на Востоке постоянно возникают трения, заявил он, то это доказывает, что причина только в самомнении греков. Они хотят предписывать римлянам, что те должны делать и чего не должны, что римлянину подобает и что нет. Каковы же в действительности эти люди, почитающие себя солью земли? Правда, у них на все готовы быстрые, меткие суждения,—этого нельзя отрицать, их красноречие ошеломляет,—но они крайне неразборчивы в выборе аргументов. Их легко возбудимая фантазия мешает им отличать истину от лжи. Кроме того, долгое рабство воспитало в них лъстивость, развило их комедиантские таланты. Разумеется, можно и эти особенности оценить положительно, назвать их приспособляемостью, гибкостью натуры и речи, изобретательностью, оборотистостью. Но если греки хотят серьезно столкнуться с Римом, то им очень полезно увидеть себя такими, какие они есть на самом деле.

— Мы здесь,— закончил он,— конечно, считаем преимуществом хорошо говорить и писать или рисовать прекрасные картины. Но способность организовать государство и армию кажется нам ценнее. И мы не желаем,— добавил он, намекая на высокое покровительство, которым пользовался Дион при дворе,— чтобы человек, занесенный в наш город тем же ветром, что и сливы из Дамаска и фиги из Сирии, сидел за столом выше нас. То, что мы с детства дышали воздухом Авентина и питались сабинскими плодами, мы считаем преимуществом и не променяем этого ни на какие ухищрения греческого красноречия.

Несмотря на всю неуместность этой прорвавшейся римской гордости, Иосиф слушал с удовольствием, как римлянин высокомерно отделал грека. Многие собрались вокруг споривших, греки и римляне,— они тоже внимательно слушали. Оратор Дион стоял перед молодым аристократом, высокий, элегантный, очень уверенный, с любезной улыбкой на тонких губах. Казалось, он бесстрастен, но все видели, как за его высоким и крутым лбом работает упорная мысль, и ждали с интересом, чем оплатит этот греческий профессор, этот свет с Востока молодому, задорному римлянину за его дерзость.

Не успел, однако, Дион открыть рта, как другой оратор взял на себя эту задачу; у него была крупная умная голова и худая элегантная фигура. Лицо было болезненно-бледное, руки худые, несоразмерной длины. Но как только он начал говорить, публика перестала замечать его бледность, его большие худые руки, она слышала только его глубокий, благозвучный, гибкий голос. Иосиф испытал это на себе. Как ни противен был ему его секретарь Финей, он не мог не поддаться очарованию его речи. Но он не знал до сих пор, что Финей участвует в подобных дискуссиях, и слушал его внимательно, с удивлением.

То, что, сказал Финей, было смело до риска.

— Совершенно неизвестно, — начал он особенно вежливым тоном, — были бы греки побеждены, если бы они направили всю свою энергию на сохранение политической свободы. Всякий, кто внимательно прочтет Исократа, увидит, что во все времена среди нас существовали люди, сознательно готовые пожертвовать нашей политической свободой ради сохранения свободы духовной. В этом мудрый и славный господин Дион из Прусы, безусловно, прав. Но мы не для того отказались от нашего политического господства, чтобы нас теперь третировали люди, которые не разбираются в причинах и следствиях. Мы стремились к созданию всемирной империи. Рим, по крайней мере, вчерне, создал эту универсальную империю. Все же мы не можем согласиться, чтобы наше участие отрицалось. Мы отдаем Риму то, что принадлежит Риму, — пусть признают принадлежащее нам. А наше участие — немалое. Отнимите у римской культуры ее греческие основы — и все рухнет. Цицерон немыслим без Демосфена, Вергилий — без Гомера. И если Рим в области политики и хозяйства, бесспорно, предписывает миру свои законы, то так же бесспорно несет на себе вся духовная жизнь отпечаток эллинизма. Император Веспасиан отнял у нас свободы, дарованные нам одним из прежних монархов. Мы на это не жалуемся. И мы не особенно ликовали, когда нам дали эти свободы. Как ни могуществен римский император, все же те ценности, которыми мы, греки, дорожим превыше всего, никем не могут быть нам ни даны, ни отняты. В лучшем случае он может их от нас получить. И пусть молодой человек, взирающий с высоты своих сенаторских башмаков на нас, «гречишек» в серебряных сандалиях, пусть он знает, что мы, при всей нашей приспособляемости, ни ради кого никогда не предадим и не оклеветаем в себе одного: нашей гордости быть греками. Власть — великая вещь, политика — великая

вещь, но в области духа, с точки зрения систематической философии, политики — это всего-навсего полицейские, исполнительные органы единодержавного духа. Без Аристотеля, без греческой идеологии Александр был бы невозможен. И что такое эта Великая Римская империя, как не повторение в уменьшенном масштабе того, что первым создал Александр?

Иосиф стоял далеко позади. Финей был ему плохо виден, и Иосиф надеялся, что и тот его не видит. Голос этого человека проникал ему в душу. Финею незачем было говорить громкие слова, — достаточно было легкой модуляции голоса, и противник оказывался погребенным под целю горою сарказма. С изумлением замечал Иосиф, что даже римские аристократы, с их ледяным высокомерием, не могли противиться действию речи Финея. Они сделали вид, что уходят, но они остались, они слушали, они смотрели на большую бледную голову этого человека, из уст которого рождались окрыленные слова. Иосиф понимал всю глубину этого успеха. Финей говорил перед людьми, которые относились к нему неприязненно, он, вольноотпущенник, говорил перед высшей знатью. Вероятно, он не раз выступал при подобных же обстоятельствах; так не говорит человек, выступающий в первый раз. Почему же он ни разу не похвастался перед Иосифом своим талантом? Какая гордость со стороны этого вольноотпущенника, какой укор для Иосифа, что Финей не считал нужным хотя бы сообщить ему об этом!

Но больше всего поразило его содержание сказанного, врожденная гордость грека и уверенность в своем превосходстве. Разве он не узнавал здесь собственные мечты о превосходстве еврейства, лишь перенесенные в эллинизм? Если, как правильно говорит Финей, Великая Римская империя не что иное, как подражание однажды уже достигнутой Александром всемирной монархии, то не была ли судьба еврейства, даже поднятая на те высоты, о которых грезил Иосиф, просто неумелым оттиском в миниатюре с судьбы греков? И неужели цель жизни Иосифа — в имитации уже давно достигнутого?

Разумеется, гордость римлянина тем, что он — римлянин, смешна. Нет сомнения, что Финей выше, чем этот набитый предрассудками молодой человек, смешавший с грязью эллинизм. Финей хорошо ему ответил, но и его доводы, если к ним присмотреться, рассыпались бы в прах, как и доводы противника. Когда один считает себя выше другого лишь потому, что предки людей, в среде которых он

вырос и на чьем языке говорит, совершали некогда великие деяния, то это нелепо и достойно презрения.

Дойдя до такой мысли, Иосиф испугался. Если это верно в отношении римлян и греков, то разве оно не верно и в отношении его, еврея? Быстро подытожил он достигнутое им. Хорошо, он написал «Псалом гражданина вселенной». И, понятно, его конечная цель в том, чтобы все племена мира слились в один народ, объединенный в духе. Но пока это не достигнуто, разве не следует поддерживать собственный народ хотя бы уже потому, что лишь он один стремится к этой цели?

Так пытался он подпереть сильно пошатнувшееся здание своей национальной гордости, но это ему не удалось. Он не додумал своих мыслей, не дослушал Финея. Он выскользнул из зала, быстро сбежал вниз, по высоким ступеням храма Мира, удрученный, в великом смятении, — это было почти бегство.

Но вечером того же дня, когда он пошел к Клавдию Регину, своему издателю, чтобы передать ему законченную рукопись, Иосиф, этот легкомысленный человек, уже успел похоронить в себе утренние впечатления и мысли.

Знаменитый финансист, пообедав, лежал на кушетке, небрежно и дурно одетый, и маленькими глотками пил вино; он мог пить его только подогретым, у него был слабый желудок. Поведение Тита разочаровало его, сказал он Иосифу. Император погружен в странную апатию. Он не расстается с врачом, с этим доктором Валентом. Даже когда речь идет о суммах в сорок, в пятьдесят миллионов, он и тогда рассеян, что очень странно для сына Веспасиана. Он все время откладывает свои решения. Не может он также никак решиться на серьезную защиту иудеев, хотя ему этого очень хотелось бы. Вероятно, причина в тех слухах, которые распространяет Домициан, «этот фрукт». Раньше Тит был равнодушен к уличным сплетням. Теперь он настолько их боится, что даже не решается показать свои симпатии к еврейству. Хорошо, если бы наконец приехала Береника!

Хотя Иосиф и был высокого мнения о жизненном опыте своего издателя, но внутренняя уверенность, родившаяся в нем в то мгновение, когда он впервые услышал о близкой кончине Веспасиана, была настолько сильна, что ее не могли поколебать даже слова Клавдия Регина.

Издатель развернул рукопись Иосифа.

— Прочтите начало шестой книги, — попросил Иосиф. — Главу о штурме храма.

— «Римляне,— прочел Клавдий Регин,— чтобы добыть нужное дерево для укреплений и валов, вырубili рощи в окрестностях города на девяносто стадиев в окружности. Местность, до того утопавшая в зелени роц и садов, превратилась в пустыню. В каждом чужестранце, видевшем раньше великолепные окрестности Иерусалима, эта картина вызвала бы горестное изумление. Каждый, знакомый с этой местностью и неожиданно перенесенный сюда, не узнал бы ее, он стал бы искать город, хотя город и был перед ним».

Иосиф ждал с тревогой, что скажет Регин, он знал, что этот человек — один из лучших знатоков литературы.

— Я рад,— сказал наконец издатель,— что вы усилили проиудейскую тенденцию. Ваша книга, доктор Иосиф, бесспорно, лучшая книга о войне.

Сердце Иосифа забилося. Но Клавдий Регин еще не кончил.

— Меня интересует,— продолжал он,— что скажет Юст, когда она выйдет.

Вечером в ближайшую пятницу Иосиф направился через Эмилиев мост на правый берег Тибра, где жили евреи. Он испытывал глубокое удовлетворение. Гай Барцаарон, председатель Агрипповой общины, обдумав слова, сказанные Клавдием Регином на похоронах императора, пригласил Иосифа провести канун субботы у него в доме. Итак, Иосиф направился к воротам Трех улиц, где находился дом Гая.

С удовольствием увидел он опять знакомую столовую. Сегодня, как и тогда, пятнадцать лет назад, когда он пришел сюда впервые, комната была освещена ради наступления субботы не по римскому обычаю, а по обычаю Иудеи,— с потолка спускались серебряные лампы, обвитые гирляндами фиалок. Сегодня, как и тогда, стояла на буфете старинная столовая посуда с эмблемой Израиля — виноградной лозой. Но больше всего тронул Иосифа вид завернутых в солому ящиков-утеплителей. Так как в субботу не полагалось стряпать, то приготовленные накануне кушанья сохранялись в этих ящиках, и знакомый запах наполнял комнату.

Гай Барцаарон непринужденно пошел ему навстречу, словно виделся с ним в последний раз только вчера.

— Мир вам, доктор и господин мой Иосиф бен Маттафий, священник первой череды,— почтительно обратился

он к гостю с еврейским приветствием и подвел его к средней кушетке, к почетному месту.

Сейчас же вслед за этим, — видимо, ждали только Иосифа, — он произнес над кубком иудейского вина, вина из Эшкола, субботнюю молитву. Затем благословил хлеб, преломил его, роздал, все сказали «аминь» и приступили к трапезе.

Пока за столом присутствовали женщины и дети, серьезный разговор не ладился. Но вот трапеза окончена, Иосиф, Гай и зять Гая, доктор Лициний, остались одни. Трое мужчин сидели вместе за вином, конфетами и фруктами. Хитрый, старик, торговец мебелью, стал значительно менее осторожен, вел себя непринужденнее. Не будь известных событий, начал он, ему не пришла бы мысль пригласить Иосифа к себе, но ведь ничего не сбылось из того, что иудеи ждали от нового правления; наоборот, предположение, что император женится на иудейке, только усилило антисемитские настроения. Император против этого не борется, а Береника все не едет. Гай слышал, что Иосиф, в связи с окончанием переработки своей книги, будет иметь случай обстоятельно поговорить с императором. Он просит Иосифа тогда напомнить Титу, что угнетенные римские евреи ждут от него милостивого слова.

Иосиф отнюдь не обольщался относительно причин, побудивших Гая Барцаарона пойти с ним на мировую. При всем презрении, которое иудеи выказывали Иосифу, они и раньше все же неоднократно обращались к нему, когда нужно было подать жалобу или добиться при дворе какой-нибудь милости. Но та откровенность и беззастенчивость, с какой этот человек высказал свои побуждения, рассердила Иосифа. Он слушал, высоко подняв брови.

— Я сделаю, что смогу, — ответил он коротко.

Находчивый доктор Лициний заметил недовольство Иосифа.

— Я прошу уделить мне ваше внимание еще по одному вопросу, — сказал он быстро, очень любезно.

Иосиф почти против воли отметил, как сильно изменился к лучшему этот когда-то несколько аффектированный человек. Вероятно, его отшлифовала Ирина. Иосиф чуть было сам не женился на дочери богатого фабриканта мебели; она относилась к нему с пламенным обожанием во время его первого пребывания в Риме, когда он, солдат Ягве, обретший милость его, хотел идти сражаться за свою страну. Насколько иначе сложилась бы вся его жизнь, если бы его женой стала Ирина. Он, вероятно, остался бы тогда

в Риме, никогда бы не командовал армией и не привел бы ее к гибели. Никогда не сидел бы он за одним столом с императором и принцем. Он жил бы теперь в Риме, богато, спокойно, был бы писателем, имел бы умеренные грехи и умеренные заслуги, пользовался бы всеобщим уважением, так же как этот доктор Лициний. Тихая, серьезная Ирина оберегала бы его от сумасбродных поступков, он совершал бы свои подвиги в воображении вместо действительности и довольствовался бы тем, что их описывал. Может быть, он даже немного завидует доктору Лицинию, но в глубине души он доволен, что именно Лициний женился на Ирине, а не он.

— Теперь уже решено окончательно, — пояснил свои слова доктор Лициний, — моя Велийская синагога будет снесена, когда император там начнет строиться. Я слышал от стеклодува Алексия, что вы не оставили вашего намерения построить для тех семидесяти свитков торы, которые вы спасли из Иерусалимского храма, особую синагогу. Конечно, и мы собираемся возвести новую модельню на левом берегу Тибра вместо Велийской. Так вот мое предложение: давайте строить вместе. Было бы очень хорошо, если бы эта новая синагога носила имя Иосифа.

Иосиф слушал его изумленно. Как, евреи с левого берега Тибра, самые знатные евреи Рима, действительно желают, чтобы новая синагога носила его имя? Они серьезно хотят с ним помириться? Правда, доктор Лициний хороший человек, он, в сущности, всегда сражался на одном фронте с Иосифом, он сам пишет теперь по-гречески трагедии, заимствуя для них сюжеты из Библии, и ортодоксальные богословы прощают ему эту опасную затею только оттого, что он зять Гая Барцаарона. Разумеется, было бы замечательно, если бы Иосиф стал главой аристократической римской синагоги. Но все же не следует торопиться. Может ли он, если даже даст согласие, уклониться от обрезания своего сына Павла и от того, чтобы сделать его иудеем? И не одно это; где ему взять средства для достойного взноса на постройку такой синагоги? Из славы писателя денег не выжмешь.

— Могу я подождать с ответом недели две-три? — спрашивает он нерешительно. — Но ваше предложение, — добавляет он поспешно, и в его лице и голосе появляется то сияние, которое привлекает к нему все сердца, — доставило мне огромную радость. Благодарю вас, доктор Лициний! — И он протягивает ему руку.

В эти дни, после окончания своей работы, он был счастлив. Он забыл о том, что ему предстоит еще урегулировать свои отношения с секретарем Финеем, забыл о том, что жена и сын от него отдалились. Ибо все остальное складывалось именно так, как ему хотелось. Евреи помирились с ним, и на Палатине его встречали радостно. Аудиенция была ему назначена на один из четвергов, день, оставленный императором для приема друзей и близких, и Тит к официальному приглашению собственноручно написал, что рад возможности опять обстоятельно поговорить с Иосифом.



Теперь, окрыленный своим успехом, Иосиф был достаточно вооружен и в подходящем настроении, чтобы начать с Дорион тот разговор, на который так долго не решался.

По извилистому коридору он прошел на ее половину. Он стосковался по ней, по ее овальной голове и глазам цвета морской воды, по ее тонкому телу, звонкому детскому голосу, которым она произносила свои нежные колкости. Он оделся по-домашнему, но элегантно. Густые волосы спадали недлинными черными кудрями, узкие выразительные губы были тщательно выбриты, борода спускалась твердым строгим треугольником. Он шел легкой походкой, как в лучшие годы своей юности, он был полон мужественной нежности к Дорион и радовался, что может сообщить ей приятную новость.

Она была не одна. У нее сидели гости: несколько мужчин и дама, а ряд пустых кресел указывал на то, что недавно здесь находилось довольно большое общество. Она лежала на кушетке в одежде из легкого, как воздух, флера, ее любимый черный с зеленоватым отливом кот Кронос, которого Иосиф терпеть не мог, лежал рядом с ней.

Когда Иосиф вошел, по ее желто-смуглому лицу промелькнула вспышка, в которой были и возмущение и торжество. Она протянула ему руку.

— Как жаль, что ты не пришел раньше, Иосиф! — сказала она. — Сенатор Валерий читал нам отрывки из своей «Аргонавтики».

— Да, жаль! — отозвался довольно сухо Иосиф и обернулся к сенатору.

Старик Валерий сидел выпрямившись, с достойным видом. В империи осталось теперь только тридцать два семейства, принадлежавших к чистокровной аристократии, и уж

если какое-нибудь из них могло доказать бесспорное происхождение от троянца Энея, то именно его семейство. «Кв. Туллий Валерий Сенецион Росций Мурена Целий С. Юлий Фронтин Силий Г. Пий Августан Л. Прокл Валент Руфин Фуск Клавдий Рутилиан». Каждое из этих имен подчеркивало его связь с людьми благороднейшей крови. Но, к сожалению, состояние сенатора Валерия не соответствовало его знатности. И сенатором его называли только из вежливости; ибо Туллий Валерий не имел даже того миллиона сестерциев, который являлся минимальным имущественным цензом для знати первого ранга. Поэтому император Веспасиан и вычеркнул Валерия из списка сенаторов. Но, смягчая эту отставку, он дал ему право пожизненно пользоваться домом, в котором прежде жил сам. Там-то, в верхнем этаже, и обитал Валерий, тогда как Иосифу были предоставлены оба нижних этажа. Разжалованный сенатор с достоинством нес бремя своей судьбы. В новых комнатах не хватало места даже на то, чтобы расставить восковые бюсты его высоких предков, и ему пришлось отправить некоторые из них на склад. Но он не жаловался. В этом доме со множеством закоулков на одной из улиц шестого квартала он и вел уединенную жизнь со своей дочерью, двадцатидвухлетней строгой, белолицей Туллией, среди реликвий, изъеденных молью парадных одежд, пропыленных ликторских связок, увядших триумфальных венков своих предков. Он отдался теперь литературной деятельности и писал большой роман в стихах об аргонавтах, с которыми, разумеется, тоже был в родстве. Но он не мог простить парвеню Веспасиану свою унижительную отставку и тайно вынашивал смелый бунтарский эпос, который должен был прославить деяния его предка Брута и был полон разжигающих республиканских сентенций. Несмотря на то что это предприятие держалось в великой тайне, весь город знал о нем, и римляне, улыбаясь, передавали друг другу замечание Веспасиана: именно для того и предоставил он старому Валерию даровую квартиру, чтобы тот мог спокойно сочинять свои гимны республике; ибо всякий, кто хоть раз услышит республиканские стихи этого надутого старого осла, уже никогда без зевоты не сможет слышать слово «республика».

Иосиф поздоровался с гостями Дорион. Туллия сидела белая и замкнутая и коротко ответила на его приветствие. И художник Фабулл, высокомерный тесть Иосифа, отвечал односложно. Тем громогласнее приветствовал Иосифа ближайший друг Дорион, полковник Анний Басс. Но его шум-

ливая вежливость не обманула Иосифа, и он понял, что своим появлением помешал. Было ясно, что до прихода Иосифа гости дружески и оживленно беседовали; теперь же разговор лениво переходил с одной неинтересной темы на другую. Иосиф силился быть занимательным. Гости этого не оценили, скоро удалились.

Дорион охотно осталась с Иосифом вдвоем. Всегда, даже в часы слияния, он по-прежнему казался ей волнующей загадкой, ей всегда хотелось узнать, что еще взбрело на ум этому странному человеку. Разве другой молчал бы так долго о столь чреватом последствиями событии, как смерть императора? И разве найдешь другого, который, доверяя жене, не почувствовал бы потребности в подобном случае поговорить с ней?

Лениво повернулась она к нему своим нежным тонким телом, посмотрела ему прямо в лицо. Как жаль, заметила она, что он не пришел пораньше. Старик Валерий читал вовсе не из «Аргонавтики», а из «Брута»; удивительно, какие смелые выражения позволяет себе этот человек!

— Насколько я знаю его стихи, — ответил, улыбаясь, Иосиф, — они такие же потные, как и он сам.

Дело в том, что старик Валерий всегда ходил в торжественной старомодной тоге, притом надетой прямо на голое тело, как того требовал обычай триста лет назад; в семье Валериев это было законом, так как они принадлежали к столь древнему роду.

Дорион приподнялась, опираясь на локоть, широкие рукава упали назад, открывая длинные смуглые руки. Ее забавляло, когда Иосиф высмеивал ее друзей. Но сейчас она не подхватила его слов. Что с Финеем? — спросила она. За последнее время он совершенно забросил маленького Павла.

Иосиф был доволен, что она заговорила о Финее. Он решил расстаться со своим секретарем, но это нужно сделать исподволь, без громких слов и жестов, холодно, вежливо, благородно, насмешливо. Этот человек хорошо для него поработал, спору нет. Но он не отдавался работе, его отношение к ней оставалось чисто внешним. Поэтому внешней должна быть и награда — щедрой, но не сердечной.

За эти недели он отнимал у Финея очень много времени, сказал Иосиф. Но теперь с этим покончено. В общем, Финей добросовестно поработал, наградить его следует. Каково ее мнение, если он пополнит и обновит гардероб секретаря? Его одежда изнасилась. Одеваться, как подоба-

ет греку, стоит денег. Не займется ли она этим? Она в этом больше знает толк.

Дорион смотрит ему в лицо, приоткрыв рот, улыбаясь. Прекрасно, отвечает она, она займется этим. И хорошо, что у Финея опять будет время для мальчика. Если бы полковник Анний время от времени не заботился о воспитании Павла, он был бы совсем заброшен.

— Анний, — сказал Иосиф пренебрежительно, — Анний Басс. — И он сделал рукой движение, словно вычеркивал его.

Все в этом офицере раздражало: его смех, его шумливость, откровенность и добродушие. Этот Анний Басс был в Иудейскую войну адъютантом и несколько раз отличился. Все же Иосиф не забыл одной его антисемитской выходки и в своей книге умолчал об его храбрости. Но, к его досаде, полковник, казалось, совершенно не замечал его враждебного молчания, он обращался с Иосифом по-прежнему, с бурным дружелюбием рассказывал ему пикантные анекдоты о полковых товарищах, хлопал его по плечу. Иосифа это злило, его оскорбляло вдвойне, что Дорион, едва заходила речь о ее дружбе с офицером, не поддавалась никаким уговорам.

И сегодня она возмутилась против презрительного жеста Иосифа. Хорошо, заявила она, что не ему одному дано судить о качествах людей. Старый император, например, как видно, не разделял мнения Иосифа. Иначе он едва ли произвел бы Анния в полковники гвардии и не доверил бы ему весьма сложной задачи — быть гофмаршалом и адъютантом принца Домициана.

Это было правдой. Анний сумел найтись даже в этом трудном положении, он добился дружбы молодого принца, не теряя при том доверия старика.

При Тите полковнику будет нелегко, заметил Иосиф сухо и с некоторым злорадством. Впрочем, ему, Иосифу, это безразлично. Для него этот человек больше не существует. Война дала Аннию возможность выдвинуться, но он ее прозевал. Он держался при осаде Иерусалима не так, чтобы о его деяниях стоило хотя бы упомянуть.

Дорион улыбнулась, придвинулась к нему.

— Конечно, это только твое дело, — заметила она, — что ты считаешь достойным упоминания, что нет. Я знаю, ни один художник не может работать, не будучи в себе уверенным. Мой отец тоже не мог бы. Но уж не слишком ли ты горд, мой Иосиф?

Он слушал ее колкости. Она лежала, опираясь на локоть. Он видел ее покатый, высокий лоб, легкий чистый

профиль; ее большой дерзкий рот произносил изящные колкости, но они не причиняли ему боли. Он очень любил ее.

— А ты вполне уверен, — продолжала она, — что твое суждение окончательное и твоя оценка будет последней?

— Да, — сказал Иосиф; он произнес это убежденно, без тщеславия. Он сел рядом с ней, взял ее голову в обе руки, положил к себе на колени, заговорил, глядя на нее сверху вниз: — Видишь ли, в вашей Александрии вы верите в суд мертвых. Осирис сидит на престоле, Анубис и Гор стоят у весов, их окружают сорок два судьи со страусовыми перьями на голове, с мечом в руке и судят умершего, а Гермес с птичьей головой возвещает приговор. У меня весы, и я же произношу приговор. Я не нуждаюсь ни в Осирисе, ни в сорока двух судьях.

Дорион слушает его. Кажется, этот человек сошел с ума, у него мания величия. Но его голос приятен, ласкает слух и сердце. Ее голова лежит у него на коленях, она гладит рукой своего большого длинношерстого кота Кроноса, жесткая треугольная борода Иосифа щекочет ее. Как часто за последнее время чувствовала она себя чужой Иосифу. Как часто именно в присутствии милого мужественного полковника Анния она удивлялась, как могла броситься на шею этому странному еврею, который в течение долгих месяцев, а иногда и лет, не находил для нее минуты. Но как только он опять с ней, снова смотрит на нее своими страстными, неистовыми глазами, обнимает ее своими страстными, неистовыми руками, — она любит его, она ему принадлежит.

— Я знаю, мой Гермес, — говорит она, все еще улыбаясь, перебирая тонкими подвижными пальцами его искусно заплетенную бороду, — я знаю, что тебе нужен только твой невидимый бог.

Иосиф не был склонен обсуждать с ней этот вопрос. Он крепче обнял ее, наклонился к ней, заговорил своим прекрасным покоряющим голосом. Он жестоко забросил ее в эти последние недели, это стоило ему больших усилий, но ему хотелось быть только с ней, нераздельно. А это было невозможно, пока он не закончил одной работы. Теперь она кончена. И оказалось, что это удачная работа. В четверг он вручит книгу императору. Затем, в ближайшее же время, будет читать публично отрывки из нее. Но прежде чем отдать ее Титу, он хотел бы дать ее жене. Первый экземпляр пусть получит она.

Дорион долго молчит. Ей хорошо лежать вот так, головой на его коленях, перебирать его бороду. Затем нежиз-

данно своим звонким детским голосом она, улыбаясь, спрашивает:

— Скажи, мой Иосиф, раз теперь наш Тит стал императором, будут ли у нас наконец деньги?

Иосиф не переменял позы. Он сидит, наклонившись над нею, одной рукой поддерживает ее голову. «Деньги,— думает он,— что такое деньги!» Он находит, что на его шестьдесят тысяч сестерциев годового дохода жить можно. Дорион, видимо, другого мнения.

— Деньги? — спрашивает он, продолжая улыбаться. — Что тебе нужно? Драгоценности, новую прислугу? Тебе приходится очень экономить? Скажи мне, в чем ты нуждаешься?

— Я? — лениво и мечтательно отвечает Дорион и медленно потягивается. — Мне ничего не нужно, кроме того, может быть, чтобы мною немного интересовались. Но нам,— я разумею тебя, себя и мальчика,— нам нужна вилла, загородный дом, если уж мы не можем строиться в городе. — Она сразу поднимается, сидит по-ребячьи в несколько деревянной позе, с котом на коленях.

К этому Иосиф не был подготовлен. Правда, он знал, что мрачный дом в Риме никогда не нравился ей. Жить в том доме, в котором некогда жил сам император, было почетно; но нельзя отрицать, что дом этот старомоден, темен, затхл, в нем множество закоулков. Со времени первого успеха Иосифа Дорион мечтала о том, чтобы жить в Риме в собственном доме. Но можно было бы построить только очень скромный домик, мещанский, отнюдь не соответствующий избалованному вкусу дочери придворного живописца. Иосиф действительно слишком мало думал и заботился о Дорион. Иначе он предвидел бы, что изменившаяся ситуация снова воскресит ее мечты.

Она продолжала говорить. Она уже обдумала, как и где. Когда дело касалось ее прихотей, эта лентяйка могла быть весьма деятельной. Ее отец в дружбе с архитектором Гровием, любимцем Домициана. Принц затеял в своем альбанском имении роскошные постройки. Архитектор Гровий, при поддержке принцева друга — нашего Анния добьется разрешения купить там недорого участок или снять его в долгосрочную аренду. Он уже набросал план дома, — конечно, это их ни к чему не обязывает. Недорогой, скромный, как раз подходящий для писателя, но светлый и просторный. Господский дом, два флигеля для слуг — вот и все. У ее отца Фабуллы давно есть идея фрески, которая удивительно подойдет для галереи загородного дома. Он

мог не раз воплотить эту идею, многие его просили, но он согласился сохранить ее для дочери. Сейчас это можно осуществить. Дорион, сияя, посмотрела на Иосифа.

Он слушал ее планы с неприятным чувством. Ему этот старый дом не мешал, не мешал и темный рабочий кабинет. Стройка обойдется «дешево». Что разумеет Дорион под этим? Меньше трехсот тысяч все равно не обойдется. Придется занять, а проценты сейчас берут большие. И чего только не понадобится, когда Дорион переедет в новую виллу. Новые экипажи, новые слуги. Эти современные светлые дома требуют статуй и фресок. «Не сотвори себе кумира», сказано в Писании. Как ни мало придерживается Иосиф еврейского закона, все же он ненавидит всякие изваяния, они вызывают в нем отвращение.

А Дорион продолжает болтать, счастливая. Разъясняет ему план архитектора Гровия. Она вытаскивает у него из-за пояса золотой письменный прибор, набрасывает несколькими штрихами план дома. Здесь — большая летняя столовая с видом на озеро и на море. Здесь — крытые переходы на случай дождя. Иосиф может прогуливаться в них, и пусть его невидимый бог вдохновляет его на деятельность загробного судьи. Здесь вот, — ее голос затрепетал от гордости, — будет фреска ее отца Фабулла, его лучшее произведение, которое навеки прославит ее виллу на Альбанском озере, — фреска «Упущенные возможности»: молодой человек смотрит вслед молодым женщинам, по-видимому, богиням, уходящим от него длинной вереницей; они уходят, они еще оглядываются через плечо и улыбаются ему, они очень красивы, в их улыбке легкое сожаление и очень явная насмешка, а молодой человек сидит, смотрит им вслед.

Иосиф не особенно заинтересован деталями фрески «Упущенные возможности». Дорион принесла ему большие жертвы, огромные, но она и много требовала от него — больше, чем обычно может дать человек. Если он подарит ей виллу, у него не останется денег на синагогу. Все вновь и вновь ставит она его перед подобными дилеммами. «Не сочетайся с дочерью греха...» Она — полугречанка, полугиптянка, отпрыск именно тех двух народов, которые особенно мучили его народ. Священник Пинхас, увидев, что один из членов общины Израиля блудит с мадианитянкой, последовал за ней в ее логово и проколол обоим — и мужчине и женщине — живот. Не сочетайся. Это очень большой грех. С другой стороны, Моисей женился на мадианитянке, Соломон — на египтянке. Иосифу же, на которого возложена миссия из гражданина маленького государства

стать гражданином вселенной, должно быть дозволено многое. До сих пор это удавалось: он остался иудеем — и сделался римлянином. Он сочетался с дочерью Эдома и продолжает быть Иосифом бен Маттафием.

Иосиф очнулся от своих грез и увидел женщину, ее нежное, надменное, чувственное лицо, ее гибкое тело. Он часто обижал эту женщину. Сейчас он не может отказать ей, когда речь идет о такой малости, как деньги. Он сочетался с ней, но она ему очень чужда, в ней — кровь ее праотцев, древних идолопоклонников, ее предки, мучившие и угнетавшие его предков, спят под островерхими, высокими горами с треугольными гранями, она полна нелепых суеверий, она считает книги, которые для него священны и дороже всего на свете, глупыми и презренными, а труд его жизни — пустой забавой. Только что, когда он ей рассказывал о том, что поставлен судьей над мертвыми, она его высмеяла. И все-таки она — часть его, и он — часть ее, он, иудей, и она, чужеземная женщина. Он написал «Псалом гражданина вселенной». «Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я, — имя его вселенная». И вот перед ним эта женщина, он не может сказать ей «нет», когда речь идет о деньгах.

Он схватил ее так, что кот Кронос удрал быстрыми скачками. Он откинул ее голову и сказал ей в полуоткрытые губы:

— Если я дам тебе виллу, Дорион, ты отдашь мне Павла?

Дорион рассмеялась — громко, резко, зло.

— И не подумаю, мой Иосиф, — отозвалась она, но в ее голосе была нежность.

В следующее мгновение она вырвалась, бросилась за одно из пустых кресел, на которых раньше сидели слушатели старого Валерия. Он — за ней своим упругим шагом. Он схватил ее еще крепче, еще властнее.

— Я получу свою виллу? — спросила она, защищаясь, но ее глаза уже затуманились.

Иосиф не сказал ни «да», ни «нет». Взял ее. Кругом стояли пустые стулья. Из угла смотрел кот Кронос, тихонько пофыркивая, выгнув спину.

Триста пятьдесят писцов-невольников, разделенные на семь групп, писали «Иудейскую войну» под диктовку семи специалистов. За два дня до аудиенции Клавдий Регин уже мог вручить Иосифу предназначенный для императора эк-

земплар. Это был прекрасный большой свиток; стержень и ручки из драгоценной старинной слоновой кости, материал — великолепнейший пергамент. Начальные буквы каждой главы были искусно разукрашены, перед текстом помещен цветной портрет автора.

Иосиф рассматривал его очень внимательно, словно это был портрет постороннего. Темная удлиненная голова, горячие глаза, густые брови, высокий, с мощными выпуклостями лоб, нос длинный, с легкой горбинкой, волосы густые, блестящей черноты, тугая борода в виде острого треугольника, бритые, тонкие, выразительные губы. «Иосиф Флавий, римский всадник», гласит подпись под портретом; но это голова доктора и господина Иосифа бен Маттафия, священника первой череды, кузена принцессы Береники, из рода Давидова. Написана книга по-гречески, но это еврейская книга. Это еврейская книга, но ее дух — это дух гражданина вселенной.

«Иосиф Флавий, римский всадник». Иосиф все еще рассматривает портрет. Евреям не положено брить виски, бороду и волосы на голове. Так сказано в Писании. А римляне выбривают все лицо. Пока их черты еще не вполне сложились, они носят бороду; но когда они находят, что их лицо определилось, они показывают его нагим. Он достаточно поработал и над собой, и над своей книгой. Он может рискнуть и ходить с нагим лицом.

Но разумно ли это — в первый раз идти к Титу без бороды? Титу нужен еврей, а не римлянин.

Иосиф разворачивает свиток. Он написал еврейскую книгу. И его еврейство не в волосах и не в бороде. Он может себе позволить идти к императору бритым.

Тит ждет его в приятном нетерпении. Уже давно испытывает он потребность видеть Иосифа; только странная вялость, сковывавшая его в последние недели, помешала ему позвать Иосифа раньше, чем тот заявил о себе.

Первые недели царствования дались Титу нелегко. Он чувствовал в себе какую-то тупость, отсутствие мужества, бодрости. Его мучило, что римский народ, вопреки всем его усилиям, враждебно замыкается от него, что массы видят в нем тирана, выскочку, эксплуататора. И вообще все шло вкривь и вкось. Раздражение против евреев, соплеменников его возлюбленной Береники, росло, а он, отравленный мучительной апатией, не мог принудить себя к решительным мерам.

Хоть бы уж скорее приезжала Береника! Ему необходим человек, перед которым можно высказаться до конца. Врач Валент пронизывает его насквозь тяжелыми и медлительными испытующими взглядами; и это мучительно приятно. Он старается, чтобы Валент бывал с ним как можно больше; он у него и сейчас. Но о главном, чего ему недостает, Тит все же не может говорить со своим врачом; Валент — римлянин, а недостает ему именно другого — Востока.

Итак, он ждет Иосифа с большим нетерпением. Иосиф знает о его уловках и о той борьбе, которыми он старался завоевать Беренику, знает о его колебаниях, предшествовавших разрушению храма, знает о его споре с невидимым еврейским богом. Размягченный, с открытым сердцем, ждет он своего еврейского друга.

Он встал, увидев Иосифа, и пошел ему навстречу. Но вдруг смутился. Что за бритое лицо? Разве это его еврей Иосиф? Он замедляет шаг, разочарованный. Неужели и эта радость обманет? Он ищет в лице Иосифа знакомые черты, узнает выпуклый, мощный лоб, горячие глаза, длинный нос с легкой горбинкой, жадные изогнутые губы, узнает всего этого восточно-западного человека. Но так скоро его отчужденность исчезнуть не может. Правда, он обнимает Иосифа и целует его, как принято между друзьями; но его жесты остаются холодными, официальными.

— Я рад видеть вас, Иосиф Флавий, — говорит он. Он называет гостя его римским именем, в его голосе нет и тени той интимности, которой так ждал Иосиф.

Но Иосиф не падает духом. Он быстро учел ситуацию. Портрет Береники и эти странные, вопрошающие, страдальческие глаза Тита, императора, его друга. Что Тит не сразу освоится с его новым лицом, к этому Иосиф был готов. Надо ему дать время. Своим звучным, теплым голосом говорит он о том, как рад поднести императору переработку своего труда. Затем он представляет ему человека, несущего свиток, — своего секретаря Финея. Он многословно объясняет, каким превосходным помощником был для него этот господин. Так отплачивает он греку великодушием за его ненависть и одновременно дает императору возможность поговорить о безразличных вещах и привыкнуть к его новому лицу.

Тит обращается к секретарю с несколькими дружелюбными, ничего не значащими словами. Затем берет у него тяжелый свиток «Иудейской войны», разворачивает его, видит портрет Иосифа. Долго рассматривает он портрет,

переводит глаза с изображения на оригинал, его взгляд оживляется, по его мальчишескому лицу проходит усмешка.

— Тут ты еще с бородой, Иосиф,— заявляет он дружелюбно, с коротким смехом.

Иосиф, отвечая императору таким же открытым и доверчивым смехом, говорит:

— Пожалуйста, прочтите книгу, ваше величество, и скажите мне, могу ли я уже показываться бритым или мне нужно опять отращивать бороду?

— Будь уверен, что я откровенно выскажу тебе свое мнение,— отвечает Тит.

Его тон становится все более сердечным и довольным; он продолжает разворачивать свиток, затем осторожно свертывает его и почти с нежностью кладет на стол. Всю его вялость как рукой сняло. Он обнимает Иосифа за плечи, что-то говорит ему, уводит его прочь от остальных, ходит с ним по просторной комнате, говорит оживленно, с облегчением, но слегка понижая голос, чтобы остальные не слышали.

Он напоминает Иосифу о долгих месяцах, проведенных под стенами умирающего от голода, гибнущего Иерусалима.

— А ты помнишь еще, мой Иосиф, как мы тогда стояли над Ущельем мертвых? Ты помнишь, о чем мы тогда говорили? — Иосифу ли не помнить! Это было то ущелье перед стенами, куда жители города обычно сбрасывали трупы, каждый день по многу тысяч. Тогда был конец июля, прошло почти девять лет. Царило огромное безмолвие, вокруг них расстилалась страна — некогда столь живописная и плодородная страна, а теперь опустошенная, наполненная острой, удушливой вонью. У их ног лежало ущелье, в котором разлагались тела единоплеменников Иосифа; за ними, перед ними, рядом с ними стояли кресты, на которых были распяты единоплеменники Иосифа, весь воздух, вся обнаженная, унылая окрестность была полна хищников, ожидавших поживы. Это было очень тяжелое лето для Иосифа, очень мучительным было оно и для римлянина, несмотря на всю испытываемую им гордость и радость.

— А ты помнишь,— продолжал император,— о чем мы тогда говорили, когда я пришел к тебе, а ты лежал раненный стрелами евреев?

Иосифу ли не помнить! «Ты наш враг, мой еврей?» — спросил его тогда Тит. «Нет, принц»,— ответил Иосиф. «Ты с теми, кто по ту сторону стены?» — спрашивал Тит дальше настойчиво. «Да, принц»,— ответил Иосиф. Он помнит

очень хорошо, каким взглядом посмотрел на него Тит, — без ненависти, но с горестной задумчивостью, ибо и Береника принадлежала к этим непонятым, ослепленным фанатикам, и никогда он ее не поймет до конца.

— А ты помнишь, ты помнишь... — продолжал спрашивать император.

Да, Иосиф помнил, и сейчас они понимали друг друга. Они стали старше. Лицо одного, теперь бритое, носило следы трудов, отпечаток нового жизненного опыта; лицо другого ожирело, казалось утомленным, полным отречения. Но сердца их раскрылись, они перенеслись в прошлое, между ними оживала прежняя глубокая близость. Иосиф прошел дальше — по своему пути на Запад; Тита влекло дальше — по пути на Восток. Иосиф надеялся, предчувствовал, что настанет день, когда он сможет говорить с этим человеком совершенно открыто о своих сокровеннейших целях, о победоносном слиянии Востока и Рима. И в этот день римский император и еврейский писатель будут одно: они будут первыми гражданами вселенной, первыми людьми грядущего тысячелетия.

— Впрочем, я должен тебе рассказать, — доверчиво продолжал Тит, — что мне однажды посоветовал отец. «Не слишком сближайся с евреями, — убеждал он меня. — Иногда, конечно, очень полезно помнить, что на свете существуют не только идеи Форума и Палатина. И невредно, если тебе еврейские женщины иногда пощечкуют кожу, а еврейские пророки — душу, но поверь мне, римский строевой устав и «Руководство для политического деятеля» императора Августа — это вещи, которые пригодятся тебе в жизни больше, чем все священные книги Востока».

— И вы будете этому следовать, ваше величество? — спросил Иосиф.

— Ты же видишь, — довольно ухмыляясь, ответил Тит и взглянул на портрет Береники. Ее овальное, благородное лицо, необычайно живое, смотрело на них золотисто-кари-ми глазами.

— Твой тесть Фабулл создал шедевр, — продолжал Тит задумчиво. — А что тут? Дерево и краска. Где ее голос? Ты помнишь, в ее голосе всегда была легкая хрипота. Сначала она мне совсем не понравилась. А где ее походка? Когда мы стояли под Иерусалимом, как часто грезил я о том, что она спустится по ступеням храма, выйдет из того, белого с золотом... Никион, Никион, моя дикая голубка, мое сияние! — произнес он с некоторым трудом по-арамейски, глядя на портрет. Это было в первый раз, что он при по-

стороннем обращался к изображению Береники, называя её уменьшительным именем. — Как нам будет хорошо, — продолжал он восторженно. — Конечно, трудноато отстоять нашу Никион, но мы этого добьемся.

Он был полон уверенности, это говорил солдат, которого так хорошо знал Иосиф, — короткий, упрямый подбородок, прищуренные глаза, устремленные на свою цель. А в его голосе был прежний воинственный металлический звон; Финей и Валент удивленно подняли глаза.

Они тоже успели побеседовать — секретарь Финей и лейб-медик Муций Валент, носивший золотое кольцо знати второго ранга, один из наиболее видных и могущественных людей в государстве. Он совершил переворот в медицине, этот Валент, он изобрел новый метод диагностики, он узнает характер любой болезни по глазам пациента, и его искусство доставило ему громкую славу и немало денег. Он — жесткий человек, лейб-медик Валент, реалист, в сущности, его интересуют только нажива да карьера. И он не открывает себя собеседнику. Греку Финею, которого так расхваливал еврей, он тоже ничего не скажет, он его выслушает, но ничего не даст сам, он только хочет получить то, что может ему дать другой. Однако Финей искусней в беседе, чем римлянин. Он мало рассказывает о себе, говорит с презрением о врагах Валента, ловко льстит его тщеславию; и вот он расшевелил его: самодовольно, с большой откровенностью сообщает ему Валент свои медицинские взгляды.

У обоих мужчин достаточно времени, чтобы друг друга обнюхать, ибо император продолжает беседовать с евреем. Оба констатируют это с нетерпением, завистью и злобой. Проходит целая вечность, прежде чем император и Иосиф о них вспоминают.

— Теперь мы будем видаться очень часто, Иосиф, — заканчивает император интимный разговор. Затем он выпрямляется, хлопает в ладоши, вызывая секретаря, возвещает: — Мы рады, Иосиф Флавий, что вы закончили вторую редакцию вашего большого труда. Гораций требует, чтобы книга созревала в течение девяти лет: девять лет работали вы над этим исследованием. Ваша книга — достойный памятник нашему отцу, божественному Веспасиану, это почестъ для нас самих, и мы ее приветствуем. Мы хотим предоставить вам и в будущем возможность творить, посвящать ваши знания и мастерство нашим интересам и интересам империи. Разрешите мне, в знак нашей благодарности и признательности, вручить вам указ о выплате

субсидии из научных фондов.— Он берет из рук секретаря указ и передает его Иосифу.

Иосиф, обычно не жадный до денег, в эту минуту очень хотел бы знать точные размеры суммы. Многое для него от этого зависит. Но пришлось сунуть указ в рукав, не поглядев на него. Он начал было благодарить императора. Тот смотрел ему прямо в лицо с едва уловимой улыбкой, затем вдруг,— решение, вероятно, возникло внезапно, и теперь его голос был лишен металла, это был голос друга, доставляющего своему другу радость,— добавил:

— Кроме того, Иосиф, я хочу, чтобы твоя книга хранилась в библиотеке храма Мира и чтоб тебе там воздвигли почетный памятник.

У Иосифа перехватило дух, быстрый румянец залил его бритое лицо. Он сделал над собой усилие, чтобы не схватиться за сердце. Даже Валент и Финей не могли скрыть своего изумления. Бюст в почетном зале храма Мира! В Риме существовало много статуй, но бюст в этом зале оставался высочайшей мечтой каждого писателя, ибо из писателей всех эпох, произведения которых имелись на греческом и латинском языках, только сто девяносто семь были признаны достойными, чтобы их книги хранились в почетном шкафу этого зала, и только семнадцать живых было среди них: одиннадцать греков и шесть римлян. Нередко, когда Иосиф проходил мимо таблиц, на которых были высечены в бронзе имена этих великих писателей, он мысленно делал завистливые и высокомерные замечания. Кто установил, что из всех живущих ныне эти одиннадцать греков и шесть римлян действительно останутся в веках? Уже триста лет лежала здесь Библия в греческом переводе, почему же на таблицах не было имен Исаяи, Иеремии, Иезекииля? Разве псалмы царя Давида хуже, чем оды Пиндара? Но чтобы ему самому, ему, первому чужестранцу, первому «варвару» очутиться в столь изысканном обществе,— об этом он из страха перед изменчивостью судьбы не позволял себе даже грезить в самых сокровенных думах. Словно трубы и рога зазвучали у него в голове, он чувствовал себя так, как чувствовал мальчиком, когда впервые услышал пение одетых в белое людей на ступенях храма. Ему пришло на ум древнее изречение: «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них»,— и счастье оглушило его.

Но раньше чем он успел поблагодарить императора и друга, заливающее его блаженство омрачила забота: «Не сотвори себе кумира». Он некогда допустил, он оказался

причиной того, что дворец царя Агриппы был разрушен и сожжен из-за находившихся в нем произведений искусства. И будет смертным грехом, если он сейчас допустит, чтобы в языческом храме была поставлена его собственная статуя. Многие евреи, большинство, будут втайне гордиться почестью, выпавшей на долю соотечественнику. Но официально, в синагогах и молельнях, его снова будут проклинять, и всюду, по всей империи и даже за ее границей, у евреев далекого Востока, его имя станет презренным. К этому примешивалась и другая тайная забота. Сможет ли он, если ему самому воздвигнут памятник, отказать Дорион в фресках Фабуллы? И где ему взять денег на все это? Быть может,— подобные случаи бывали,— ему придется оплатить свою статую из собственных средств?

Однако эта последняя забота была очень скоро с него снята. Едва успел он пробормотать благодарность, как Тит заявил,— ради своего друга он говорил по-арамейски, с трудом извлекая из своей памяти слова:

— Итак, я в ближайшие дни пришлю тебе скульптора Василия. Но обдумай,— прибавил он, улыбаясь,— не лучше ли все-таки, чтобы тебя изобразили с бородой?

Около сорока друзей провожали Иосифа на Палатин. Они ждали его у входа. Когда он снова вышел, сияющий, их стало уже шестьдесят. Со сверхъестественной быстротой распространился по городу слух о том, что частная аудиенция Иосифа у императора продолжалась более двух часов. Иосифа встретили шумно и радостно. Когда же он с полускрытой, полунапускной скромностью рассказал, какие почести ему оказал император, его друзья, ликуя, стали обнимать его, целовать. Всех шумнее выражал свою радость актер Деметрий Либаний. Он поднял руку с вытянутой ладонью, опустил ее, поцеловал ладонь, послал Иосифу воздушный поцелуй, накрыл голову, и так, в позе человека, поклоняющегося божеству, одновременно трогательный и смешной, повторял снова и снова:

— О ты, всеблагий и величайший еврей Иосиф!

Но он думал о том, что если император так почтил этого человека, то окажет ему, Деметрию, несравненно более высокие почести.

Друзья с триумфом проводили Иосифа домой.

— Что случилось? — спрашивали прохожие.

— Это писатель Иосиф Флавий, еврей,— отвечали им.— Он написал новую книгу. Император подарил ему миллион и ставит ему памятник. Теперь крышка! Посадят нам императрицей еврейку.

Всего через два дня скульптор Василий пригласил Иосифа к себе, чтобы подробно обсудить с ним модель его статуи. Иосиф был в великом смущении. Не отклонить ли ему эту почесть? Как относиться к древним обычаям — оставалось для него вечной мучительной проблемой. К Ягве вело несколько путей. Самому Иосифу эти обычаи не нужны, он нашел собственный путь к богу. Но для широких масс они необходимы. И теперь, когда государства уже не существует, человеку, желающему исповедовать духовные принципы иудаизма, едва ли остается иной путь, кроме древнего обычая. Терпеть вокруг себя изваяния какого бы то ни было рода — это больше чем нарушение одного из многих запретов, это отречение от духовного первопринципа, от невидимого бога.

А разве можно отказаться от этой почести? Можно. Например, заявить, что он будет чувствовать себя достойным ее, лишь когда закончит второй, более значительный труд. Но это жертва, это невероятная жертва. И даже если он решится, имеет ли он право на нее? Не повредит ли подобная жертва всему еврейству? Иосиф спросил совета у Клавдия Регина. Издатель оглядел его с головы до ног тяжелым взглядом сонных глаз: его толстые, неряшливо выбритые губы улыбались. Он знал, что сердце Иосифа жаждет этой почести; он знал, что Иосифу хочется, чтобы его уговорили. Но он доставил себе удовольствие не уговаривать его, пусть выпутывается сам. Конечно, еврейству повредит, лениво проговорил он, если Иосиф откажется. Но евреи вынесли уже так много, например, — разрушение храма; может быть, они перенесут и то, что памятник Иосифу не будет поставлен. Иосиф попросил его говорить серьезно. Иосиф совершал некоторые поступки, возразил Рegin, которых сам не хотел бы совершать.

Но решать, что лучше: будут ли из трехсот шестидесяти пяти запретов Писания, вымудренных богословами, нарушены сто семьдесят восемь или сто восемьдесят один и какие из этих трехсот шестидесяти пяти запретов весят больше и на сколько унций, — решать эти вопросы скорее пристало доктору Иерусалимского храмового университета, чем занятому финансисту. В этой области Иосиф, безусловно, больший специалист, чем он, и пусть уж разрешит этот вопрос для себя сам. Впрочем, он рад сообщить ему, что «Иудейская война» в новой редакции расходуется отлично. Особенно многочисленны заказчики-евреи. Вероятно, оттого, что новая редакция, ну, скажем, менее осторожна. Может быть, этот факт послужит Иосифу указанием.

Иосиф, крайне рассерженный, пошел к Гаю Барцаарону. Здесь он встретил больше понимания.

— Если вы хотите знать мое мнение, — сказал старый фабрикант мебели, — то я могу привести в пример только самого себя. Я, как вам известно, пошел на то, чтобы делать орнамент изготовляемой мною домашней обстановки в виде фигур животных, иначе мне бы не справиться с конкурентами. Несколько уважаемых богословов любезно выдали мне свидетельство о том, что в моем случае изготовление таких орнаментов — допустимый грех и даже вообще не грех. Но я прекрасно понимаю, что все эти уступки сомнительны: ведь в Писании сказано совершенно недвусмысленно: «Не сотвори себе кумира». Во всяком случае, я причинил моему старику отцу — да будет благословенна память о праведном! — уже перед самой его смертью немало горя таким либерализмом, и я иногда спрашиваю себя: может быть, кораблекрушение, во время которого погиб мой старший сын Корнелий, явилось наказанием за мои грехи? Я пытаюсь искупить мою вину. Я внес на выкуп еврейских рабов втрое больше установленной десятой доли. И все-таки меня мучит сомнение, дозволено ли, даже когда тратишь деньги на такую цель, добывать их сомнительным путем. Ваше положение, доктор Иосиф, еще менее благоприятно. Согласиться на то, чтобы сделали ваш бюст, противоречит духу вероучения. В вашем случае — ямнийские богословы едва ли найдут смягчающие обстоятельства.

— Значит, вы не советуете мне делать бюст? — спросил Иосиф.

— Нет, я, наоборот, советую вам, — медленно выговорил Гай Барцаарон, глядя перед собой, — это в интересах всех нас. Вы совершали более тяжкие грехи, и они были менее в наших интересах. Примите оказываемую вам честь. — Он вдруг посмотрел ему прямо в лицо, прибавил с неожиданной настойчивостью: — Но докажите, что вы еврей, доктор Иосиф. Сделайте наконец вашему сыну обречение.

Гай Барцаарон рассуждает. Ему легко рассуждать. Он же знает, что у Иосифа нет юридического права принудить своего сына стать евреем без согласия Дорион. Словно угадав его мысли, Гай Барцаарон добавил:

— Если ваша жена вас любит, она не будет противиться тому, чтобы мальчик был воспитан согласно вашим желаниям.

Иосиф ничего не ответил. Безнадежно объяснять, что Дорион его любит и все же не захочет, чтобы ее сын стал евреем.

В сущности, он прав. Чем больше Иосиф бен Маттафий становится Иосифом Флавием, тем более обязан он сделать своего Павла евреем. Он согласится на статую и сызнава начнет борьбу за сына. Когда Береника будет здесь, ему, может быть, даже удастся добиться устранения юридических препятствий и Павел сможет стать евреем и без согласия Дорион.

Пока что приехала не принцесса Береника, а губернатор провинции Иудея, Флавий Сильва. Он привез с собой конспект книги о евреях, которую собирался написать, и докладную записку для императора. Теперь, когда Беренику ждали в Рим, он считал свое присутствие в столице необходимым и радовался, что приезд принцессы так долго откладывался.

Губернатор Флавий Сильва, веселый, шумливый господин, приходился двоюродным братом полковнику Аннию Бассу и очень был с ним схож. После того как генералы Цереалий и Луцилий не справились, пост наместника в этой весьма трудной провинции доверили ему. И он решил во что бы то ни стало усмирить и латинизировать Иудею. За его шумной, веселой манерой держаться скрывалось немало упорной хитрости.

Страна была опустошена, знаменитый город Иерусалим разрушен, большая часть еврейского населения перебита или продана в рабство. Новый губернатор старался, и не без успеха, снова заселить страну. С согласия центрального правительства в Риме он расселил сотни тысяч евреев своей провинции по всей стране, облегчал иммиграцию, привлекал возможно больше неевреев-колонистов в Иудею, отстроил заново множество разрушенных иудейских городов, но теперь это были уже греко-римские поселки, основал новые города, — например, Неаполь Флавийский, — и быстро добился их расцвета. Через девять лет после разрушения Иерусалима он мог доложить Риму, что в его Неаполе уже сорок тысяч жителей, а население столицы, приморского города Кесарии, возросло на шестьдесят тысяч.

Флавий Сильва был человек справедливый и не чувствовал антипатии к евреям. Но он был римлянином до мозга костей, состоял в родстве с императорским домом и твердо решил насаждать римский мир и римский порядок в соб-

ственной провинции, так же как император Веспасиан насаждал их во всей империи. Он образумил своих сирийцев, когда они вообразили, что могут безнаказанно задирать евреев, но не мог допустить и того, чтобы евреи, охваченные нелепым религиозным рвением, совращали сирийцев и греков в свою веру. Рим отличался веротерпимостью, иудейская религия была разрешена законом. После многих кровопролитий Рим решил больше не принуждать еврейское население оказывать почести статуям обожествленных императоров. Даже еженедельная обязательная раздача зерна в городах Александрии и Антиохии была, в знак внимания к еврейскому населению, перенесена с субботы на пятницу. Но если евреи его провинции пытались, кроме того, отвратить греков и римлян от их исконной веры в государственных богов, это уж переходило все границы, и Флавий Сильва отнюдь не собирался терпеть враждебный государству еврейский прозелитизм.

Правда, евреи посылали к нему в его дворец все новые делегации из ученых и юристов, доказывавших в длинных речах, уснащенных многословными цитатами, что они и не думают совращать неевреев в свою веру. Однако факт оставался фактом, — множество нищенствующих философов продолжали бродить по его провинции, они произносили пламенные проповеди перед сирийцами и греками и громогласно восхваляли свое еврейское царство небесное. Когда он указал на это еврейским богословам, они объяснили ему, что эти нищенствующие философы и циники — крошечная кучка отщепенцев, называемых минеями, или христианами, незначительная секта с ложным, безответственным учением. Однако губернатор был не такой человек, которого можно было обмануть дешевыми уловками. Что? Как? Но ведь эти так называемые христиане ничем не отличаются от остальных евреев, они делают то же самое, учат тому же самому, признают то же Священное писание, те же праздники, говорят так же плохо по-латыни и так же капризны. В глубине души Флавий Сильва считал всех евреев варварами, а их религию — диким суеверием. Насколько он мог понять из запутанных объяснений богословов, речь шла о секте так называемых минеев, или христиан, считавших, что мессия уже появился сорок или пятьдесят лет назад, тогда как остальные евреи утверждали, что он придет только через двадцать или тридцать лет. Совершенно ясно, что обе гочки зрения в равной мере — нелепые суеверия; ибо в действительности мессия появился десять лет назад в лице импе-

ратора Веспасиана, и законный представитель еврейского священства, писатель Иосиф Флавий, сам признал это. Во всяком случае, губернатор провинции, ответственный за порядок в стране, не мог вдаваться в подобные хитроумные различия между минеями и остальными евреями. Поэтому Флавий Сильва продолжал обвинять еврейство в целом в прозелитизме и твердо решил бороться против этих бесчинств всеми способами.

И поэтому, вооруженный богатым материалом, собранным его помощниками, он и приехал в Рим. Он хотел, пока еще не прибыла принцесса Береника и еще не сказалось ее влияние, добиться законодательных мер против недопустимого поведения евреев. Он хотел опираться на закон, который угрожал бы рабством или смертью каждому, кто пытается отвратить приверженцев государственной религии от веры их отцов и склонить в другую веру, путем ли обрезания или погружения в воду.

Губернатор ездил по министрам и сенаторам. Он был опытным политиком и разговаривал с членами императорского кабинета совсем иначе, чем с сенаторами. Министрам он заявлял, что может водворить порядок в своей провинции лишь в том случае, если наконец императором будет издан эдикт о строгой наказуемости безбожников. Опираясь на такой эдикт, он мог бы активно защищать сторонников государственной религии от религиозного рвения евреев, не слишком угнетая последних. Сенаторам же он рассказывал, насколько усилились, особенно после смерти старого императора, незаконные действия евреев. Он шутиливо заявил, что если так будет продолжаться, то скоро по всем сирийским городам Иудеи будут бегать евреи с ножами, ища, кому бы сделать обрезание. Пусть сенат наконец издаст против этого особый закон или хотя бы расширит существующие законы о телесных увечиях и кастрациях, распространив их и на обрезание неевреев.

Жизнерадостность и прямодушные губернатора всем понравились. Правда, сам Тит все еще откладывал аудиенцию, на которой Флавий Сильва должен был сообщить ему о положении в Иудее и передать свою докладную записку. Сенаторам же, и прежде всего членам оппозиции, эта мысль пришла очень по душе, и они решили внести в законодательный орган предложение в духе высказанного губернатором. Если даже император потом и наложит свое veto, по крайней мере, будет ясно, что в вопросах государственной политики они вовсе не намерены считаться с этой еврейкой Береникой.

Впрочем, многочисленные политические заботы не мешали Флавию Сильве после лишений, испытанных в провинции, наслаждаться шумной, веселой жизнью в столице. Его можно было увидеть и на празднествах, и в аристократических виллах Антия, и на склонах Альбанской горы.

Его двоюродный брат Анний ввел его в салон госпожи Дорион. Анний подробно рассказывал ему о тех жертвах, на которые решилась эта прелестная женщина, чтобы уберечь сына от обрезания. Ведь только из-за этого отклонила она возможность сделаться полноправной римской гражданкой; ибо если она стала бы пользоваться правом гражданства, ее связь с Иосифом превратилась бы из полузаконного брака в законный, и тогда уже зависело бы только от Иосифа определить вероисповедание своего сына. Флавий Сильва был в восторге от стойкости Дорион и не преминул показать ей чисто по-солдатски свой энтузиазм.

Тот факт, что жена величайшего еврейского писателя с таким упорством и самоотвержением противится обрезанию сына, подтверждал мысли губернатора о том, насколько противны каждому нормальному подданному империи еврейские суеверия и насколько поэтому правильны намеченные им мероприятия. Борьба Дорион стала его собственной борьбой.

Быстро распространилась также и на правом берегу Тибра весть о приезде губернатора и о его намерении добиться новых суровых мер против побежденного еврейского народа. Оставалось одно утешение, что император его до сих пор не принял. Однако тревога и страх росли.

А Береника все не ехала.

Гай Барцаарон еще раз явился к Иосифу и просил его больше не предаваться угрызениям совести. Он должен в общих интересах пересилить себя и согласиться на стацию. Доктор Лициний уговаривал его, стеклодув Алексий, даже, слегка ухмыляясь, Клавдий Регин. Деметрий Либаний пускал в ход все свое испытанное красноречие. Все они убеждали Иосифа. Но он заставил просить себя все вновь и вновь, долго колебался, пока наконец не сделал то, что решил сделать с самого начала.

Смущенный, шел он через девятый квартал, где находилась мастерская скульптора Василия. В этом районе жило большинство каменотесов. Тут были расположены одна возле другой многочисленные мастерские, в которых фабричным способом изготавливались памятники

и бюсты, необходимые для удовлетворения огромного спроса Рима и всей империи. Теперь, например, после вступления Тита на престол, одних его бюстов и статуй потребовалось до тридцати тысяч. Здесь можно было увидеть нового императора в самых разнообразных видах — триумфатором, на коне, на троне. Его голова с широким, мальчишески задумчивым лицом, с короткими, свисающими на лоб кудрями размножена в сотнях комнатных статуэток. О художественности заботились мало. В свое время были, например, изготовлены про запас четыреста статуй Веспасиана во весь рост, но теперь, после смерти императора, они только занимали место; поэтому было решено просто использовать торсы, насадив на них голову нового властителя.

Иосиф ненавидел девятый квартал. Серdito шагал он среди горячего, пыльного, шумного леса, состоявшего из гигантских и крошечных, каменных и бронзовых изображений богов, императоров, героев, философов. С отвращением проходил он мимо то серьезных, то игривых произведений прикладного искусства — зеркал, подсвечников, треножников, ваз, украшенных пьяными Силенами, танцующими нимфами, крылатыми львами, мальчиками с гусем и другими многообразными порождениями ребячливо-легкомысленной фантазии.

Наконец он увидел дом скульптора Василия. Дом был расположен в самой гуще мастерских с их шумом и суетой. Когда Иосиф переступил порог прихожей, его почти испугала внезапная тишина. Сама мастерская представляла собой большой светлый зал. В нем было расставлено несколько статуй, вероятно, древних, — Иосиф в этом ничего не смыслил. Художник Василий стоял посреди большой комнаты — маленький, неряшливый, слегка растерянный.

Он попросил Иосифа присесть, стал, тараторя, ходить вокруг него.

— Конечно, меня радует, Иосиф Флавий, — начал он, изучая его светлыми, неприятно пронизывающими глазами, — что император поручил мне эту работу. Но лучше бы он сделал это через полгода. Вы не можете себе представить, как много дела в данное время у нашего брата. В одной только нашей фирме наняли пятьсот новых рабочих. Ну, — вздохнул он, переходя наконец к делу, — подумаем, как нам сделать из вас что-нибудь очень красивое. Ты хорошенько рассмотрел господина, Критий? — обратился он к довольно неотесанному парню, вероятно, рабу или вольноотпущеннику. — Мой помощник, — объяснил он

Иосифу. — Он вставит вам глаза, когда до этого дойдет. Это его специальность.

Парень тоже рассматривал Иосифа очень пристально. Иосифу казалось, что сам он — скотина на рынке или раб на аукционе.

Тем временем маленький суетливый Василий непрерывно расхаживал вокруг сидевшего в напряженной позе Иосифа, продолжая свою веселую болтовню.

— Как вы себе это представляете, Иосиф Флавий? — спросил он. — Что вы скажете, например, о группе, — вы сидите с книгой в руке, а рядом два-три ученика, поднимающие на вас глаза? Не плох был бы также и бюст на резном цоколе или колонна. Характерная у вас голова. Впрочем, я всегда представлял вас с бородой. Знаете, вы ведь тоже не римлянин, с вами я могу говорить откровенно: в сущности, они ничего не понимают в искусстве, эти римляне. Только с портретами приходится быть осторожным, в них они разбираются. К сожалению. Ну, так что вы скажете? Группа или бюст? Группу было бы легче. Скажите же хоть слово, прошу вас, — ободрял он его, так как Иосиф продолжал сердито молчать. — Расскажите мне что-нибудь из вашего прошлого, чтобы ваше лицо ожило. Я уж вижу, — обратился он к Критию, — господин хочет всю ответственность возложить на меня. Остановимся тогда на бюсте, — решил он, вздохнув. — Против этого есть кой-какие возражения, говорю вам откровенно, Иосиф Флавий. Правда, у вас превосходная голова, но с нашей точки зрения — это не голова писателя. Слишком много энергии и слишком мало созерцательности. И тебе тоже будет нелегко, друг Критий. Передать эти живые глаза — трудно. Надо вам сказать, Иосиф Флавий, что если художник довольствуется классической манерой, то есть статуей с закрытыми глазами, — он сберегает и время, и труд, и душу. Ну, да уж сделаем. Начнем-ка, Критий.

Иосифу пришлось занять место на возвышении. Василий хлопнул в ладоши, созвал нескольких учеников, затем, не обращая внимания на недовольство Иосифа, стал разбирать лицо и позу своей модели.

— Перед вами, мальчики, — приступил он к объяснениям, — господин Иосиф Флавий, как говорят, один из самых выдающихся писателей, — я сам, к сожалению, еще не удосужился прочесть его книги, — которого его величество удостоил почетного памятника в библиотеке храма Мира. Это — высокое задание, и нам нужно внимательно изучить нашу модель, прежде чем начать. На первый взгляд госпо-

дин Иосиф Флавий как будто мрачен, но мы не будем этого подчеркивать: его мрачность кажется мне случайной. Глаза посажены глубоко, что уже само по себе придает лицу довольно мрачное выражение. Побольше блеску глазам, Критий! Ты видел сейчас злой огонек, блеснувший в его глазах? Это ты, пожалуйста, запомни. Философ, вероятно, заключил бы на основании тонких губ о несколько отрешенном от мира умонастроении. Но наш брат видит, что господин все же прекрасно ориентируется в мире. Мы должны обратить внимание, мальчики, на то, как энергичны губы, несмотря на всю их тонкость. Мы слегка повернем голову к плечу. Это эксперимент, это против академических правил. Но таким приемом мы сдвинем глаза к углам. Это придаст им такое выражение, словно он хочет охватить глазами весь мир. И тогда мы передадим также гордое, страстное движение, которое так пристало господину. Подлинный жест писателя, мы уже по одному этому обязаны его передать. Мы позволим себе изобразить господина без книги, да и само лицо не слишком литературно, что, между прочим, за исключением данного случая, не недостаток. Вглядитесь хорошенько в худую, костистую голову, мальчики, в этот превосходный лоб с выпуклостями над глазами, взгляните в выпуклости у начала волос, вот в эти бугры и впадины, в резкий рельеф лица, в его складки. Коллега Диодор подчеркнул бы каждую из этих черт. Мы этого не сделаем. Мы будем стремиться к характерности, а не к карикатурности. Нам предстоит сделать голову еврея. Господин Иосиф Флавий — еврей. Вообразите его себе с бородой, тогда это станет еще яснее. Мы должны добиться того, чтоб зритель, сам того не замечая, видел его как бы с бородой. Раскройте глаза, мальчики. Хорошенько рассмотрите голову, вот такой, какая она сейчас перед вами. Когда я сделаю с него модель, вы его уже увидите только таким, каким его видел я.

Он отослал учеников, а за ними и Крития.

— Эта подготовка несколько скучна, — обратился он опять к Иосифу. — Но я не могу начать работу, пока не уясню себе каждой детали. Это удастся мне лучше всего, если я объясняю модель своим ученикам. Как же мы решим насчет пьедестала? — спросил он задумчиво. — Если бы господин Фабулл, ваш тесть, согласился расписать его, вот это было бы замечательно.

— Мне бы не хотелось затруднять господина Фабулла, — кратко отклонил его предложение Иосиф.

— Фабулл — великолепный мастер, — настаивал Василий, — и в таких работах, бесспорно, первый художник эпохи. Я охотно работаю с ним.

— Мне не хотелось бы привлекать к этому господина Фабулла, — повторил Иосиф еще тверже.

— Ну, если вы решительно отказываетесь, — вздохнул Василий, — нам придется покрыть цоколь барельефами. Я слышал, что вы были генералом. Тогда лучше всего, если мы изобразим на барельефе некоторые из ваших военных подвигов.

Иосиф собирался резко отказаться и от этого предложения, но в мастерскую, мимо низко склонившихся рабов, энергичным шагом вошла молодая дама, статная, красивая, надменная. У нее случайно выдалось два часа свободных, заявила она явно польщенному скульптору, и она хотела бы посмотреть сейчас свою статую, пока та еще не закончена. Она не очень помешает им? — прервала себя дама, сделав легкое движение головой в сторону Иосифа. Иосиф все время спрашивал себя, чьи черты напоминала ему стоявшая в мастерской огромная модель Юноны. Теперь он узнал ее, — конечно, это были черты молодой дамы, жены последнего принца, Луции Домиции Лонгины. Скульптор с присущей ему небрежностью ответил, что нет, она не помешает, ибо, само собой разумеется, он сначала закончит свое дело с господином. Потом охотно покажет ей статую.

— Но сам господин, кажется, сердится, — заметила принцесса, рассматривая Иосифа без стеснения и слегка забавляясь его неподвижным, замкнутым лицом.

Василий представил его. Ей сразу показалось, заявила Луция, что это лицо ей знакомо. Она уже несколько раз видела его. И отметила. Но что-то в его лице изменилось.

— Интересная книга эта ваша «Иудейская война»! — продолжала она, настойчиво и беззастенчиво рассматривая его. — Обычно в таких книгах страшно врут. Даже в мемуарах моего отца, фельдмаршала, кое-что кажется мне подозрительным. А от вашей книги у меня было впечатление, что вы лукавите, только когда дело касается вас самих. На это у меня есть нюх.

Лицо Иосифа утратило свою мрачность. Когда он видел Луцию на официальных приемах, она всегда казалась ему строгой, торжественной, настоящей Юноной, как на модели. Никогда не подумал бы он, что эта Юнона может держаться так непринужденно и любезно. Его досада исчезла.

С подобными женщинами он чувствовал подъем и уверенность. Возможно, объяснил он ей, что в его книге кое-что звучит искусственно и малоубедительно. Но это оттого, что ему пришлось излагать свои мысли на чуждом ему языке. Теперь же, в новом издании, многое оказалось гораздо удачнее.

— Так как же,— прервал его Василий,— остановимся на барельефах?

Иосиф снова почувствовал досаду. Что из его прошлой жизни хочет воспроизвести этот навязчивый человек? Его подвиги во время Иудейской войны? Не очень-то они украсят его в глазах римлян. Может быть, его встречу с Веспасианом, эту двусмысленную, мучительную для него встречу, запятнавшую его в глазах евреев? Неужели ее следует высечь в камне?

Тем временем маленький юркий Василий,— «белочка», как назвала его Луция,— продолжал весело болтать.

— Обычно жизнь писателя дает мало материала для цоколя,— заявил он,— но у такого героя, как Иосиф, трудность, наоборот, в выборе.

Иосиф остановил его.

— Видеть свое поражение увековеченным мало радости,— сказал он. Он просит, чтобы колонна осталась гладкой, без рисунков и без барельефа. Может быть, это сомнение, но он полагает, что его собственное описание событий передает их достаточно наглядно.

— Хорошо,— согласился Василий.— Мне же будет меньше работы.

Луция слушала молча.

— А вы капризный,— улыбаясь, обратилась она к Иосифу.— Странно, после всего пережитого человек может быть еще таким щепетильным!

Затем они отправились смотреть статую-колосс. Луция пригласила Иосифа пойти с ними. Среди шума и пыли высилась гигантская Юнона, еще в значительной части своей скрытая камнем. Левая рука выступала, Василий взобрался на нее. Стоя на огромной каменной руке, он объяснял свою работу. Этакая Юнона — неблагодарная задача. Юнона остается пресной и торжественной, даже если моделью служит такая женщина, как Луция. Ему хотелось бы сделать настоящую Луцию, не официальную, не парадную.

— Какой же вы представляете себе настоящую Луцию? — спросила снизу принцесса, смеясь.

— Например,— ответил, прячась, от нее, Василий,—

в виде танцовщицы Фаиды, верхом на спине философа, в состоянии приятного опьянения. Вот это была бы интересная задача.

Рослая Луция встала на цыпочки, схватила его, стащила с руки статуи. Ей лично уважения не нужно, заявила она миролюбиво, но Малыш рассердился бы, если бы услышал столь непочтительные речи.

— Особенно теперь, — обратилась она к Иосифу, — когда здесь скоро будет ваша еврейка, ваша Береника, я должна быть тем безупречнее. Вы, евреи, причиняете нам очень много хлопот, — вздохнула она. — Впрочем, он принадлежит к приятному сорту евреев, не правда ли, белочка? — обратилась она к Василию.

Иосифа рассердило, что она говорит о нем, словно его здесь нет. Все же, когда она села в носилки, он спросил, настойчиво глядя на нее своими горячими глазами:

— Можно мне принести вам новую редакцию моей книги?

— Принесите, мой милый, — отозвалась она.

Эти слова тоже были сказаны вскользь. Но когда слуга хотел затянуть занавески, она жестом остановила его и из двинувшихся в путь носилок посмотрела на Иосифа, улыбаясь закрытым ртом, немножко насмешливо, очень призывно. Ее лоб под высокой прической, сложенной из множества локонов, был чистым и детским, выражение широко расставленных глаз над длинным крупным носом — бесстрашным и жадным. Иосиф же улыбался про себя и уже не сердился.

В неурочный час в доме Иосифа появился стеклодув Алексей, которого из всех иерусалимских евреев Иосиф считал своим лучшим другом. Когда-то, во время осады Иерусалима, Алексей остался в нем ради старика отца, не желавшего покидать родной город. Он пережил там незабываемые ужасы, вся его семья погибла жестокой смертью, его самого Иосиф в последнюю минуту вызволил из лагеря военнопленных, где содержались евреи, предназначенные для травли зверями и для военных игр. Этот многоопытный человек со своими передовыми методами производства сумел выдвинуться и в Риме. Правда, его статная полнота и свежий румянец исчезли навеки, черный блеск бороды поблек, и все, что он говорил и делал, было овеяно тихой и мудрой печалью. Иосиф чрезвычайно дорожил этим дру-

гом. Его жизнь служила примером того, как можно без особой внутренней борьбы быть одновременно и хорошим евреем, и хорошим римским подданным.

Сегодня этот обычно столь спокойный человек казался взволнованным, его тусклые, печальные глаза оживились. Два неожиданных гостя появились в его доме: девушка из Иудеи, вернее, женщина, в сопровождении десятилетнего мальчика, причем обоих он раньше не знал. Это была первая жена Иосифа, Мара, со своим сыном Симоном.

Алексию женщина и мальчик очень понравились. Но Иосиф казался смущенным, недовольным. Почему эта женщина приехала именно к Алексию? — спросил он. Оттого, что она слышала уже в Иудее, будто он друг Иосифа. Зачем она оказалась в Риме, продолжал рассказывать Алексей, этого она ему не открыла, на все его вопросы она отвечала кроткой, таинственной и лукавой улыбкой. Она только попросила его пойти к доктору Иосифу бен Маттафию, священнику первой череды, другу императора, ее господину и бывшему супругу, чтобы он, хотя некогда и отверг ее, допустил пред лицо свое сына своего Симона, Яники, первенца.

В течение всех этих десяти лет Иосиф не видел ни первой жены, ни сына и мало о них думал. Он довольствовался тем, что высылал обещанную ренту. Мара жила сначала в деревне, в его имениях, затем перебралась в город, в приморский город Кесарию, чтобы маленький Симон мог поступить в школу. Мара охотнее отвезла бы его в Ямнию, этот центр иудейской учености. Но Иосиф опасался, что там его сын будет плохо принят, и поэтому пожелал, чтобы Мара жила с мальчиком в столице страны, в Кесарии, население которой состояло почти из одних греков и римлян. Евреям въезд туда был затруднен; требовались особые паспорта. Но управляющий Иосифа, Феодор бар Феодор, очень быстро добыл для Мары и для мальчика нужное разрешение. В этом городе она и прожила последние годы — тихо, покорно, не беспокоя его. Каждый год на праздник кушей она в смиренном письме сообщала ему, что они с сыном здоровы и благодарят его за доброту.

Теперь, впервые с тех пор, как он знал ее, она приняла самостоятельное решение и приехала, не спросясь его, в Рим. Он с ней развелся, он подвергся публичному бичеванию, чтобы получить этот развод. Жена, созданная из ребра его, — это Дорион; первенец его сердца — это Павел. Зачем вдруг появилась Мара? Что взбрело

ей на ум? Чего она хотела? Самое лучшее — отправить ее обратно в Иудею, не повидавшись, сделав ей строгое внушение.

Он пытался вновь представить себе, как она, после объятий Веспасиана, пришла к нему, униженная, похожая на раскрашенный труп. Как она расцвела потом, когда римлянин принудил его жениться на ней! Ей было тогда четырнадцать лет, у нее было чистое, овальное лицо, низкий, детский, сияющий лоб. Смиренно звучали слова, произносимые ее полногубым, выпуклым ртом, кротко и нежно скользила она вокруг Иосифа, предупреждая его малейшее желание. И он это принимал. Мара, из которой, правда, против ее воли, плен и связь с римлянином сделали шлюху, была некогда приятна его сердцу и его телу. Но недолго. Никогда от нее не исходил тот манящий соблазн, который исходил от Дорион.

И вот она теперь здесь. Как любовница она была из тех женщин, которых забывают через три недели, но она, наверное, хорошая мать. Он находился в Александрии, когда она родила ему сына, первенца, которого он никогда не видел. Иосиф отчетливо помнит, как она ему об этом сообщила. Письмо было написано писцом, но можно было сразу узнать ее интонации:

«О Иосиф, господин мой! Ягве увидел, что не угодила тебе служанка твоя, и он благословил мое чрево и удостоил меня родить тебе сына. Он родился в субботу и весит семь литр шестьдесят пять зузов, и его крик отдавался от стен. Я назвала его Симоном, что значит «сын услышания», ибо Ягве услышал меня, когда я была тебе негодна. Иосиф, господин мой, приветствую тебя, стань великим в лучах императорской милости, и лик господень да светит тебе.

И не ешь пальмовой капусты, ибо от этого у тебя делается давление в груди».

Это письмо шло морем из Кесарии в Александрию, а одновременно шло письмо из Александрии в Кесарию, в котором он извещал ее о разводе.

Он не хочет возвращаться к прошлому. Он любит своего сына от брака с Дорион. О, как сильно он любит его, своего сына Павла! Но его Павел не принадлежит к общине верующих, он замыкается перед Иосифом, он любит Финея, коварного лицемера, пса. Павел — греческий мальчик, надменный, полный отчужденности и презрения к своему еврейскому отцу. И вот теперь здесь — его другой, еврейский сын. Но этот сын, будучи плодом брака между священником и военнопленной, незаконнорожденный, «мамзер».

Конечно, тяжело, что у него нет законного сына-еврея. Почетный бюст в храме Мира — большая честь, которой не удостоился еще ни один еврей. Доктор Лициний предложил ему основать синагогу. Было бы хорошо, если бы спасенные свитки торы из Иерусалимского храма находились в синагоге Иосифа, а его статуя стояла бы в храме Мира! Римские евреи только тогда признают Иосифову синагогу, если у него будет сын-еврей. Тогда он сможет спать спокойно, крепко и без тревог.

В сущности, «мамзер» издавна пользовался всеми правами еврейского гражданства. Теперь, после разрушения храма, было разрешено не так уж строго придерживаться закона о незаконнорожденных. Правда, они лишены права вступать в брак. Но это всегда можно обойти. Хорошо бы иметь здесь, в Риме, еврейского сына! Хорошо бы иметь синагогу Иосифа! С другой стороны, если он допустит Мару пред лицо свое, могут сразу возникнуть тысячи неприятностей и осложнений. Если он построит свою синагогу и его статуя будет стоять в храме Мира, тогда он может спать спокойно.

— Благодарю вас за ваше известие, дорогой Алексий,—заканчивает он ход своих мыслей.— Скажите Маре, что я завтра приду.

На другой день, идя к ней, он повторял себе, что главное — не попасться врасплох, не дать выманить у себя какое-либо обещание. Он просто взглянет на обоих, вот и все. Никаких обязательств он на себя не возьмет.

Когда он вошел, Мара низко перед ним склонилась. На ней была простая одежда, которую носили женщины северной Иудеи: четырехугольная, из одного куска, темно-коричневая, с красными полосами. Он услышал знакомый запах,—она все еще любила душить свои сандалии.

— О господин мой,—произнесла она,—ты пожертвовал своей бородой, но лицо твое мужественно, прекрасно и лучезарно и без бороды.

Мара была смиренна, как всегда, но полна большой уверенности, которой он раньше в ней не замечал. Своей маленькой, крепкой рукой указала она на мальчика, обняла его за плечи, подвела к Иосифу. Он увидел, что мальчик широкоплеч и хорошо сложен; овал лица — как у Мары, но решительный рот, крупный нос, удлиненные живые глаза — как у Иосифа. Иосиф возложил руку на спутанные густые волосы сына и благословил его: да уподобит его бог Ефрему и Манассии!

Мальчик рассматривал чужого господина без смущения, но отвечал односложно. Они говорили по-арамейски. Мара предложила сыну говорить по-гречески.

— Он хорошо говорит по-гречески, — заявила она с гордостью.

Но Симон упрямылся: он не понимал, зачем ему говорить по-гречески, раз этот господин говорит по-арамейски.

Когда Иосиф стал расспрашивать его о путешествии, он немного оттаял. «Виктория» — хороший корабль, правда, не очень большой. Едва они отошли от Александрии, как начался шторм, почти все заболели морской болезнью, а он — нет. На корабле был также транспорт диких зверей — для арены. Во время шторма они ужасно ревели. На корабле было еще два орудия, из-за морских разбойников. Правда, морских разбойников уже нет, но закон о том, чтобы каждый корабль шел вооруженным, не отменен. Орудиями Симон особенно интересовался. Матросы объяснили ему подробно их устройство, он даже сам смастерил маленькую модель орудия. Мара настояла на том, чтобы он показал ее Иосифу. Его не пришлось упрашивать. Лицо мальчика посветлело, когда он рассказывал о своей модели, оно стало веселей, чем не раз омрачавшееся лицо Иосифа. По-видимому, он мастер на такие вещи.

— Вот такими вещами Симон интересуется, — заметила Мара, — тут он внимателен, тут он может говорить по-гречески. Но в школе он учится неважно.

Он слишком отвлекается от учения, не слушает ее увещаний, слишком много бегает по улицам Кесарии, где от «гойских» мальчиков научается только дурному. Но когда она жаловалась на своего Симона-Яники, ее низкий голос звучал мягко, она вместе с тем гордилась своим смышленным мальчиком, который проявлял такой интерес к окружающему.

Иосиф осторожно, все время говоря, как взрослый со взрослым, пытался вызнать у мальчика, чему он научился в школе. По-видимому — немногому. Все же Иосиф был взволнован до боли, когда слышал из уст своего сына еврейские слова, древние, знакомые звуки, интонации обитателей Израиля. Мальчик защищался против жалоб матери. Зачем ему учить наизусть все эти трудные правила храмовой службы и жертвоприношений, если храм, к сожалению, разрушен? Кесарийская гавань, корабли и зернохранилища интересуют его гораздо больше, он же в этом не виноват.

Мара боялась, что Иосиф будет сердиться на мальчика за его непочтительные речи. Но Иосиф не сердился. Сам он был усердным учеником и послушно отсиживал в школе уроки. Но затем он стал солдатом, вел бурную жизнь, и это солдатское начало, по-видимому, сидело в нем глубже, чем он думал. Теперь оно возродилось в сыне. Иосиф заговорил с ним об орудиях, объяснил ему конструкцию «Большой Деборы», знаменитого орудия иудеев, которое римлянам удалось захватить только после долгих усилий и которое они с особенной гордостью, хотя оно и было наполовину разбито, везли в триумфальном шествии. Мальчик слушал его с горящими глазами. Иосиф и сам увлекся. Он дал классическое описание этой машины в своей книге, невольно перешел на греческий язык, и оказалось, что Симон-Яники отлично его понимает. Мара, довольная, слушала, как отец и сын оживленно болтают друг с другом.

Затем мальчик стал расспрашивать отца о достопримечательностях Рима, о которых он много слышал.

— Ваш Рим очень большой,— сказал Симон задумчиво,— но наша Кесария тоже не маленькая,— добавил он сейчас же с гордостью.— У нас есть губернаторский дворец и огромные статуи в гавани, и большой ипподром, и четырнадцать храмов, и большой театр, и малый театр. Вообще — мы самый большой город провинции. Мать не позволяет мне ходить на бега, но я разговаривал с чемпионом Таллум, который взял тысячу триста тридцать четыре приза. Он заработал свыше трех миллионов и разрешил мне поездить верхом на своей первой призовой лошади, Сильване. Вы когда-нибудь ездили на первой призовой лошади?

Теперь мальчик опять заговорил по-арамейски, и Иосиф нашел, что он держится свободно и приятно. «Незаконно-рожденный ученый выше невежественного священника» — гласит изречение богословов. Правда, едва ли это можно было применить к Симону, тем не менее Иосифу нравился его сын. Мара была счастлива, что Иосиф не сердится на мальчика за его невежество. Ведь не ее вина, если в нем нет данных, чтобы стать ученым и знатным. Она сделала все от нее зависящее. Еще во время своей беременности ела она краснорыбицу, чтобы ребенок вышел удачный.

— В сущности, это тоже помогло,— заявила она с кроткой гордостью.— Он очень буйный, бегают по улицам, ругается нехорошими словами, и мне пришлось приехать сюда, в Рим, оттого что в Кесарии я уже не могла с ним справиться. Но он сметливый, и у него ловкие руки, и люди

благоволят к нему. Нет, я могу сказать без преувеличения — и мы не обсевов в поле.

— А здесь тоже говорят «обсевов в поле»? — несколько пренебрежительно осведомился Симон. — У нас, в Кесарии, говорят: «Не ударим лицом в грязь». Мне это больше нравится. Но правильно говорят только матросы, я слышал на корабле. Они говорят: «И мы не зас...»

— И всегда у него на уме нехорошие слова, — пожаловалась Мара.

— А мне нравится: зас... — настаивал Симон.

— Если уж тебе не по вкусу «обсевов», мой мальчик, — посоветовал Иосиф, — тогда ты, может быть, предпочтешь говорить: «И мы не ходим под себя».

Симон с минуту подумал.

— Не очень хорошо, — решил он. — То — лучше. Но если мать непременно настаивает, я буду говорить: «под себя». — И он обменялся с Иосифом понимающим взглядом, словно взрослый, считающийся с капризами женщины.

Иосиф спросил сына, много ли у него в Кесарии друзей. Оказалось, что он дружил с несколькими греческими мальчиками. Когда они нахальничали, он с ними дрался. У него были приятели и среди полицейских, они защищали его от озорников-мальчишек. Сначала он, видимо, хотел употребить более энергичное слово, но из мужского снисхождения к матери удержался.

Мара через некоторое время отправила мальчика на улицу — он уже и тут успел обзавестись друзьями. Когда они остались одни, Иосиф принялся рассматривать Мару. Она была более зрелой, чем раньше, впрочем, чуть-чуть толстовата, в ней чувствовалась спокойная, твердая, скромная удовлетворенность. Он же оказался несостоятельным перед своим сыном Павлом. Он, жаждавший просветить весь мир духом иудаизма, не мог вдохнуть его даже в собственного сына. И вот перед ним сидит эта женщина, легкая довольная улыбка играет вокруг ее полногубого, выпуклого рта. Ее сын не был наделен способностями, чтобы стать знатоком Писания, он несколько вульгарен, многое в нем напоминает его деда, театрального служителя Лакиша. Но все же он был настоящим иудеем, развитым, смышленным.

Тем не менее уверенность этой женщины рассердила Иосифа. Более сурово, чем он собирался вначале, спросил он ее, что ей здесь нужно и что ей от него нужно.

Его гнев не испугал ее. Она считала, ответила Мара, что Симон-Яники немного распушен. Кесария, где он гонял

с греческими мальчишками, может быть, не вполне подходящее место для него, в Ямнии он был бы под лучшим присмотром. Она надеется здесь, в Риме, найти достаточно твердого воспитателя, чтобы обуздать его. Иосиф смотрел прямо перед собой, не отвечая. Но не это одно, продолжала Мара: у нее были и более серьезные основания. То, что Иосиф, ее господин, не пожелал воспитывать своего сына в Ямнии, лежало тяжелым камнем у нее на сердце все эти годы, ибо ей кажется, что она, несмотря на свою глупость, угадала истинную причину его нежелания. И вот она отправилась в Ямнию одна, взяв с собой посох странника, мех с водой и роговой сосуд для пищи, как ходили некогда паломники в Иерусалим, и, придя, стала расспрашивать ученых Ямнийского университета, нет ли какого-нибудь способа освободить ее сына Симона-Яники, который вышел таким удачным, от лежащего на нем проклятия; ведь пока он всего только «мамзер», незаконнорожденный. Она добралась до самого мудрого из всех людей, впрочем, перед самой его кончиной, до верховного богослова Иоханана бен Заккаи, да будет благословенна память о праведном. Он говорил с ней кротко и взвесил ее слова, точно они исходили не от нее, глупой телки, и посоветовал ей отправиться в Рим и сказать Иосифу, что ее прислал Иоханан бен Заккаи. Тут она принялась откладывать из тех денег, которые Иосиф по своей доброте давал ей, и как раз в тот момент, когда нужная сумма была собрана, для иудеев забрезжила заря новой жизни, ибо в Риме будет императрицей иудейская женщина. И вот Мара приехала и надеется, что Иосиф, ее господин, не гневается. Все это она сообщила кротко, непритязательно, с той же легкой, тихой, немного лукавой улыбкой.

Иосиф, услышав имя Иоханана бен Заккаи из уст этой женщины, был потрясен. Он полагал, что она приехала по собственному почину, из любопытства, желая что-то пронюхать, навязаться. А теперь оказывалось, что ее послал Иоханан бен Заккаи, его высокочтимый учитель, этот хитрец, который с благословенным сверхчеловеческим упорством трудился в своем Ямнийском университете над тем, чтобы заменить разрушенное иудейское государство учением Моисея и обрядами, установленными богословами. Этот человек верил в Иосифа до конца, когда другие давно его оплевали. И вот он, в заботе об Иосифе, находясь уже на краю могилы, послал ему эту женщину и мальчика, и они приехали именно сейчас, когда Иосиф в таком смятении из-за своей статуи.

Женщина продолжала говорить. Ее заботила тысяча вещей: следят ли за его питанием, дают ли ему достаточно редьки и листьев сладкого стручка, не кормят ли слишком острым соусом из каперсов. Это ему всегда шло во вред. Она привезла ему немного исopa и майорана, а также хорошей соли из Мертвого моря: говорят, римская соль очень плоха.

Она извлекла на свет свои скромные дары, счастливая, что может дышать одним воздухом с этим человеком, рассказывать ему о своем, об их ребенке, об этом умнейшем и храбрейшем из всех сыновей, Симоне-Яники. Иосиф слушал ее тихие речи, видел ее узкий сияющий лоб, думал о великом старце Иоханане бен Заккаи, о его трудной вере и борьбе за нее, которую он вел окольными путями. Бог не умалится, говорил он ему, если верующие придут к нему даже по запутанным тропинкам. Великим подарком было для Иосифа, что Иоханан бен Заккаи послал ему женщину и мальчика.

Мара придвинулась к нему.

— Ты гневаешься на меня, господин мой, что я приехала? — спросила она, так как он продолжал молчать.

— Ты должна была написать мне и спросить моего согласия, — возразил он. Но сейчас же милостиво добавил: — Но если уж ты здесь, пусть так и будет.

Скульптор Василий показал Иосифу тот кусок металла, из которого собирался отлить его голову. Это была коринфская бронза, тот особенно благородный металл, который образовался вот уже двести двадцать шесть лет назад, когда при разрушении города Коринфа художественные произведения из золота, серебра и меди расплавились и их потоки слились воедино, в не поддающийся повторению сплав чудесной красоты. Скульптор возлагал большие надежды на то бледное, странное сияние, которое будет исходить от головы Иосифа, сделанной из такого металла.

Закончив восковую модель, Василий работал теперь над моделью из глины. Иосиф сидел на возвышении в просторной мастерской и слушал, как этот человек говорил об очень чуждых ему вещах. Например, о бесчисленных подделках, которые пытаются навязать в Риме коллекционерам. А почему бы, в конце концов, и не надуть богатых людей, придающих больше значения древности произведения и именам полузабытых сомнительных художников, чем художественной ценности самой вещи?

— На днях, — рассказывал он, — я обедал у коллекционера Туллия. Собралось большое общество, все друзья Туллия. На столе стояло свыше трехсот серебряных кубков и другой столовой утвари, одна вещь драгоценнее и древнее другой, с почти стертой резьбой. И уверяю вас, Иосиф Флавий, что в этих художественных произведениях было так же мало подлинного, как и в друзьях. Там была, например, ваза: лев, разрывающий антилопу, а под ним — древними письменами едва различимое имя великого Мирона. Мирон умер больше пятисот лет тому назад, но если вы спросите моего доброго Крития, то он расскажет вам подробно, с какой ноги встал сегодня этот самый Мирон.

Юркий человечек болтал, а Иосиф смотрел с удивлением и тайным страхом, как под руками скульптора рождается его лицо.

К его великой досаде, оказалось, что этот неприятный человек хвалился не зря: то, что рождалось сейчас для мира, — это была поистине голова Иосифа, не менее живая, чем голова из крови и плоти, и в будущем будет трудно, даже для самого Иосифа, не видеть эту голову именно такой. Его губы, его ноздри, его лоб. И все же это была чужая и жуткая голова. Он сделал над собой усилие, он хотел ясности. Неужели эти губы отдали когда-то приказ снять с креста Юста, его друга-врага, который теперь пишет «Иудейскую войну», бессовестный? Неужели эти ноздри вдыхали гарь и вонь рушившихся стен Иерусалима и храма? Неужели за этим лбом жила твердая решимость продержаться в крепости Иотапата семижды семь дней? Да, это было его лицо и все же не его, как и те деяния были его и не его, ибо теперь он бы не совершил их или совершил бы иначе. Он смотрел на себя, живой Иосиф, — на глиняного. Многое, что тот человек, обладавший его лицом, совершил, нравилось ему, многое не нравилось, большая часть оставалась непонятной. Какой Иосиф настоящий: глиняный или живой? Какой Иосиф настоящий: совершавший те деяния или этот, сидящий здесь? И что определяет человека: то, что он есть теперь, или то, что он когда-то совершил?

Его мысль напряженно работала. И он пришел к выводу: человек, по имени Иосиф Флавий, проживавший в городе Рима в 832 году после основания города, в 3839 году после сотворения мира, не имеет ничего общего с человеком по имени Иосиф бен Маттафий, бывшим некогда генералом в Галилее. Писатель Иосиф Флавий рассматривал с чисто литературным, научным интересом то, что некогда совершил доктор Иосиф бен Маттафий, священник

первой череды. Он живописал историю Иосифа бен Маттафия с тем же холодным любопытством, с каким описал бы историю царя Ирода, полную превратностей жизнь чужого, исчезнувшего человека. И когда он пришел к этому выводу, Иосиф Флавий почувствовал свое превосходство над прежним Иосифом, тем умершим, отжившим человеком!

Но вдруг блеснула ужаснувшая его мысль: что такое теперешний Иосиф по сравнению с будущим? Он взвесил все, что им сделано и что еще предстоит сделать, и почувствовал, что задыхается.

Вот он написал книгу об Иудейской войне, она нравится римлянам, римляне прославляют теперешнего Иосифа и отливают его статую из драгоценнейшего в мире металла. Одна часть его задачи лежит уже позади, легкая часть, благодарная. Но перед ним высится горой угрожающая, еще не начатая, истинная его задача, дело будущего — великая история его народа, которую он обязался написать, которую он обязался поведать западному миру. Ради этого совершил он столько грехов, причинил столько зла. А написал он, теперешний Иосиф, всего-навсего «Иудейскую войну». Начало ли это? Искупление ли его чудовищной вины? Нет. Это ничто. Он взвешивает, взвешивает, считает, отбрасывает. Его охватывает оглушающее чувство своего бессилия. Он был лжецом, когда десять лет назад провозгласил Веспасиана мессией. Он лжец теперь, считая, что призван написать эту книгу, и ради этого призвания разрешая себе грехи, которые должны раздавить человека. В нем вдруг зазвучал ясный, укоряющий голос, он уже давно не слышал его. «Ваш доктор Иосиф — негодяй», — говорит голос; этот голос принадлежит Юсту из Тивериады, другу-врагу. Он негромок, но он заглушает болтовню скульптора, наполняет всю обширную мастерскую, от него качается и тает глиняная модель, он давит ему сердце своим презрением, своей обреченностью, своим плохим арамейским выговором. Иосиф делает невероятное усилие, чтобы здесь же, перед скульптором Василием, не ударить себя в грудь и не покаяться: «Суета! Все, что я делал, суета! Я не достоин своей задачи. Я отвергнут».

Однако работа над его бюстом, почетным бюстом, подвигалась успешно. И скоро бюст был готов, — сначала пробный, из обыкновенной бронзы; нерешенным оставался только вопрос о глазах. Но помощник Критий тоже обещал

к завтрашнему дню выполнить свою часть работы и приготовить глаза.

Когда Иосиф пришел на другой день в мастерскую, чтобы взглянуть на бюст в законченном виде, он застал там принцессу Луцию. Это был третий раз, что он встречал ее у Василия. Когда она слышала, зачем он здесь, она осталась.

С волнением следил Иосиф, как Критий примеряет к бронзовой модели два сверкающих овальных камня. Пугающе смотрели камни с бронзового лица. Это были уже не заурядные полудрагоценные камни, вставленные в заурядную бронзу, — это были поистине его глаза. С изумлением увидел Иосиф, что зловещий, неуклюжий Критий проник в его затаенные мысли, угадал его грехи, его страсти, его гордость, его бессилие. Он ненавидел грека Крития, и он ненавидел грека Василия за то, что они подсмотрели наготу его души. Он не мог вынести вида своего бюста и отвернулся.

Иосиф увидел, как Луция, высоко подняв брови, внимательно рассматривает бюст. И чтобы ускользнуть от своих смятенных чувств, он ухватился за мысль о ней, об ее смелом, ясном лице. «Эти римляне не знают, что такое грех. Отсюда, вероятно, их сила, их грандиозные успехи. Не тревожимые внутренними препятствиями, воздвигали они свою империю и разрушили наше царство. Разве мы не потому проиграли наше первое большое сражение, что никак не могли решиться принять бой в субботу и предпочли, чтобы нас перебили, беззащитных? Теперь я стал мудрее. Я кой-чему научился. Я знаю, что такое грех, но я совершаю его. Из моих грехов во мне вырастает сила. «Люби бога даже дурным влечением». Легко быть сильным, когда сознание не сковывает твоих влечений. Быть грешным сознательно и не спастись под сень благочестия и смирения, — вот величайшая победа».

И он снова обратил свой взгляд на бюст. Стал рассматривать его, полный упрямого самоутверждения. Чуть повернутая к плечу бронзовая голова, смотревшая на зрителя и на мир, была вся как бы проникнута глубоким, умудренным любопытством, алчным и опасным, и Иосиф сказал «да» и этой алчности, и своим грехам. Может быть, в поблескивающих глазах было что-то отталкивающее, но эти глаза были полны силы и жизни, это были его глаза, и он был рад, что они такие, какие есть.

Все собравшиеся рассматривали бюст с глубоким вниманием: взволнованный, упрямый Иосиф, жадная до всего

сильного и живого Луция, самоуверенный, скептический Василий, тихий, презирающий людей подручный Критий.

— Клянусь Геркулесом, — произнесла наконец принцесса — она пыталась говорить легким тоном, но ее голос звучал подавленно, — вы же нечестивец, Иосиф Флавий!

Удивленно обернулся к ней Иосиф, мрачный, надменный. То, что она говорила, звучало как одобрение. Но кто позволил ей читать его мысли? То, о чем он дерзал думать сам, отнюдь еще не разрешалось говорить другому. Он ничего не ответил.

— Ты превзошел себя, друг Критий, — заявил наконец Василий; да же он, против обыкновения, был изумлен. — Но я полагаю, — добавил он, и его обычный веселый тон прозвучал несколько натянуто, — что мы все-таки сделаем голову без глаз.

— Хорошо, пусть будет так, — нерешительно согласился Иосиф.

— Жаль! — заметила Луция.

Сейчас же после того, как бюст был закончен, император снова пригласил к себе Иосифа. На этот раз он был один, и Иосиф сразу увидел, что апатия первых недель исчезла. За это время массы придумали для Тита странное прозвище: они называли его «Кит». Вероятно, они хотели выразить этим словом всю огромность его власти в сочетании с нерешительностью и медлительностью. Как бы то ни было, но сегодня он ничуть не напоминал кита. Наоборот, казалось, он в отличном настроении, очень общителен, и он не утаил от Иосифа причин происшедшей в нем перемены.

Страх, вызванный промедлением Береники, исчез. Не потому она задержала так долго свой приезд, что, как он боялся, тени его старых деяний вновь встали между ним и ею, — разрушение храма, дерзкий по-мужски обман, каким он заманил ее к себе и взял насильно. Наоборот, все разъяснилось самым благоприятным образом: ее удерживают наивные, даже трогательные побуждения. Она, глупенькая, в своем благочестии, хочет, прежде чем надолго поселиться с ним в Риме, поладить со своим богом, построить будущее счастье на жертве, — она занимается умерщвлением плоти, самоотречением и покаянием. Во славу Ягве она остриглась и дала обет приехать в Рим, только когда волосы снова отрастут. Из страха божьего, как она пишет, отказывается она от радости скорой встречи. Может быть,

замечает он доверчиво и подталкивает Иосифа локтем, при этом играет роль и то, что она не хочет показаться ему с короткими волосами. Глупенькая! Как будто он будет меньше любить ее, даже если она обреется наголо. Сначала, чтобы сделать жертву еще труднее, она даже не хотела сообщить ему причину своего промедления, — она считала, что этот обет касается только ее и ее бога. Но в конце концов все-таки решила написать ему об этом. Он рад до глубины души, что все объяснилось такой ребячливой затеей.

Иосиф слушал с удивлением, недоверчиво. Он знал Беренику и знал еврейские правила и обычаи. Отказывались от вина и стригли себе волосы лишь в том случае, когда Ягве спасал человека от большой непосредственной опасности. Нет, это не могло быть настоящей причиной ее задержки, здесь было что-то другое, загадочное. Римлянина она может обмануть, но не его. Как бы то ни было, она придет, а Тит увлечен ею так же, как тогда, в Александрии. Все это мелькает в голове Иосифа во время рассказа счастливого императора, но он не обнаруживает перед ним своих сомнений.

Император продолжает болтать, весело говорит о сюрпризе, который он ей готовит. А вот и сюрприз. Он вызвал к себе астронома Конона, чтобы принять его в присутствии Иосифа. Пусть ученый расскажет ему о новом, открытом им созвездии. Оно находится вблизи созвездия Льва, семь очень маленьких звезд, — люди с острым зрением видят от десяти до двенадцати. Далекое нежное сияние, тонкое, как волосы.

— А придумали-вы название для вашего созвездия? — спросил император.

— Я хотел просить ваше величество дать ему имя, — ответил смиренно ученый.

— Назовите созвездие «Волосы Береники»! — приказал, улыбаясь, Тит. — Дело в том, что принцесса Береника пожертвовала свои волосы небу, — объяснил он. — Думаю, что небо приняло ее дар и сохранит его.

Весь Рим толпился у храма Мира, когда в библиотеке устанавливали бюст Иосифа, первого еврея, удостоившегося от императора этой милости. Самому Иосифу едва удалось достать двадцать пропусков, которые Дорион потребовала для своих друзей.

Рабы с трудом притащили бюст и поставили его на гладкий мраморный цоколь. Многочисленные приглашен-

ные молча выстроились широким полукругом. Худошавая, странно поблескивающая голова Иосифа, безглазая и все же исполненная мудрого любопытства, гордо и свысока смотрела через плечо на пышную толпу.

Юний Марулл, которому Иосиф просил поручить торжественную речь, встал перед бюстом. Он говорил о писателе, о писателе-историке, он восхвалял человека, который увековечивает деяние, преходящее. Правитель преходит, и преходит дело его. Полководец умирает, и его победа забывается. Реальны ли они, эти деяния? Не изменяются ли они даже во время своего свершения? Они многосмысленны, для каждого их участника означают они нечто иное, каждый видит их со своей точки зрения. Но вот писатель берет эти события и придает им единый смысл, так что они стоят перед всеми проясненные, понятные. Могушественнее смерти — великий писатель-историк. Он владеет тайной повелевать волной, чтобы она не растеклась, но застыла навек.

Иудеи рано это поняли. Они с древних времен пытались закрепить свою историю в преданиях, которые открыл им их бог. Они, как показывает перевод их канона семьюдесятью учеными, великие историки. Поэтому кажется двойным триумфом, что император Тит не только победил иудеев, но и дал превосходному писателю, иудею Иосифу Флавию, возможность написать историю этой победы.

Если сегодня всеблагой величайший Тит принимает своего историка, первого писателя-иудея, в число тех, чьи произведения сохраняются в зале бессмертных, то эта высокая награда все же не слишком высока, ибо только благодаря книге нашего Иосифа деяния Рима в Иудее будут жить для далекого потомства.

Вот лежит в своем шкафу книга нашего друга. Она — ничто. Она только книга: пергамент, тушь, чернила. Но этот в высшей степени хрупкий материал является вместе с тем твердейшим материалом на свете, не менее прочным, чем коринфская бронза, из которой отлит бюст, ибо написанное слово — это высшее, что боги дали нам, людям.

Так говорил Юний Марулл. Затем выступил вперед император, надел на статую венки, обнял Иосифа, поцеловал его. Обширный, строгий зал наполнился бурей возгласов и рукоплесканий.

— О наш император Тит! О ты, великий писатель Иосиф Флавий! — раздавалось со всех сторон. Восклицали сенаторы в белых одеждах с полосой пурпура, в красных

башмаках на толстой подошве, с черными ремнями, восклицали, несколько кисло, коллеги Иосифа, восклицали гордо и взволнованно те немногие евреи, которые были приглашены: доктор Лициний, Гай Барцаарон.

— О наш император Тит! О ты, великий писатель Иосиф Флавий! — счастливая, кричала, вместе с другими, Дорион. Ей порой удается на несколько мгновений сделать вид перед старым Валерием и Аннием Бассом, что весь этот праздник — пустяк, и разыгрывать ироническое превосходство, но ненадолго. Оба ее спутника и сами не могут противиться впечатлению, которое производит на них церемония. Итак, Дорион стоит, преисполненная гордости, ее тонкое, чистое лицо слегка покраснело, большой рот по-детски полуоткрыт. Для всех — для Анния, и Валерия, и Флавия Сильвы — Иосиф отныне перестанет быть презренным евреем, но будет великим писателем, чья почетная статуя торжественно высится здесь, в храме Мира. Дорион издевалась над ним, когда он говорил о себе как о человеке, чья власть безгранична и безоговорочна, как решение судящего мертвых. Но разве теперь о нем не сказал нечто подобное даже насмешник Марулл? Она переводит взгляд с его худощавого, красивого лица на бледный, благородный блеск бюста, и перед ней теперь новый Иосиф, вокруг него загадочное сияние, такое же, какое исходит от коринфской бронзы, его живая голова гордо и чуждо взирает поверх других, так же как и голова из бронзы. И она чувствует, как в ней возрождается ее бывшая неудержимая страсть к Иосифу, ее влечет к нему, как некогда в Александрии, когда она с ним соединилась.

Сам Иосиф стоит, окруженный всеми этими почестями, в скромной и достойной позе. Но за высоким, выпуклым лбом бурлят мысли. Вот он, благословенный день, день исполнения, столь долгожданный. Это — вступление Израиля через первые открывшиеся врата в почетный зал народов. Но разве его почести не добыты обманом и лестью? Вот его бюст: под темно-зеленым венком — бледное, благородное поблескивание бронзы. Но сам он сделан из плохого материала. Какой жалкой кажется ему его книга, когда он сравнивает ее с тем, что он призван создать! И даже эту жалкую книгу он смог закончить только с помощью Финея. Прошли времена, когда он, дописав книгу о Маккавеях, гордился своим греческим языком. Теперь он видит, что ему повсюду нужны подпорки и поправки. Даже сына своего Павла не удалось ему увлечь своей идеей, — как же он увлечет за собою мир? Его охватывает растерян-

ность, он полон сознания собственного ничтожества. Он слышит праздничный, почетный шум; но сквозь этот шум, тихо и все же без усилий покрывая его, опять звучит укоряющий, презрительный голос, голос его друга-врага, обесценивая, заранее уничтожая всякое возражение: «Ваш доктор Иосиф — негодяй!». Он смотрит на лица окружающих, — разве они не видят, как он жалок? Ощущение своего бессилия грозит задушить его, сейчас он упадет. Он оглядывается, ища помощи. Но нет никого, кто бы оказал ему эту помощь. Нет даже Алексия, стеклодува. Если бы он мог хоть положить руку на голову своего сына-еврея, Симона-Яники! Но нет никого.

С его бледного худого лица все еще не сходит та же скромная и гордая улыбка. Может быть, оно стало только чуть-чуть бледнее. Окружающие находят, что это человек, умеющий нести бремя своего счастья, достойный своего успеха.

Книга вторая

МУЖ

После мучительной жары этого месяца сегодня, 27 августа, наконец подул прохладный ветер, и Иосиф, направляясь в носилках на Палатин, всем существом наслаждался легким, свежим воздухом. Он был счастлив. То, что Тит, даже сейчас, во время пожара, нуждается в нем, было для Иосифа большим торжеством. Ибо сегодня, на четвертый день, все еще не был затушен пожар, величайший со времен Нерона. Может быть, бедствие было на этот раз еще более жестоким. Тогда огонь разрушил лишь тесные, уродливые кварталы старого города; теперь же он добрался до красивейших районов — Марсова поля, Палатина. Сгорел дотла Пантеон, бани Агриппы, храмы Исида и Нептуна, театр Бальба, театр Помпея, Народный зал, Управление военными финансами, сотни лучших частных особняков. Но, главное, был вторично разрушен Капитолий, едва отстроенный заново, этот центр римского мирового могущества.

Являлось ли это знамением богов, направленным против Кита? Враждебные толки усиливались. Особенно волновались евреи. Они сами пострадали от пожара, их лучшая синагога, Велийская, та, что на левом берегу Тибра, была разрушена. Все же они с удовлетворением смотрели на пожар. Ведь это на их деньги, предназначенные для храма Ягве, отстроил заносчивый победитель храм Капитолийской троицы. И вот, простояв так недолго, он уничтожен вторично, этот Капитолий, один вид которого вызывал в них столь горькую злобу и страдание! Это — рука Ягве, торжествовали они, рука Ягве карает человека, который испепелил его дом и унижил его народ. В их кварталах стали повсюду появляться уличные пророки, возвещали конец света, раздавали трактаты о мессии, мстителе, принесшем меч.

Правда, сам Иосиф смотрел на вещи с другой точки зрения. Он испытывал глубокую удовлетворенность. Несмотря на то, что Тит сейчас же — и притом с несвойственной ему за последнее время энергией — принял решительные меры, рассылал повсюду пожарные и уборочные команды, прекращая всякие попытки грабежа, организовал пристанища для оставшихся без крова, он все же нашел время вызвать к себе Иосифа.

Тихо покачиваясь в носилках и предаваясь приятным мыслям, вдыхал Иосиф свежий ветер. Все складывалось по его желанию. После того как ему воздвигли бюст, Дорион стала совсем другая, она — одно с ним, как в первые, лучшие времена в Александрии. Он рад, что может исполнять ее желания, или — зачем лицемерить? — ее прихоти. Правда, это не легко. Он вторично проверил смету на постройку виллы. Несмотря на неожиданно большую сумму, подаренную ему императором, придется все же занимать, если он хочет сделать хоть сколько-нибудь приличный взнос на построение синагоги его имени и одновременно строить виллу для Дорион. Клавдий Регин, его издатель, не откажет ему в необходимых деньгах, но это послужит Регину желанным поводом для неприятных замечаний. Однако именно то, что исполнение жениных прихотей стоит ему жертв, и привлекает Иосифа. Сегодня ночью он обещал ей виллу. Он улыбается, вспоминая, как хитро она выманила у него согласие. Теперь, после пожара, деловито пояснила она, начнется новое большое строительство. Многие, жившие до того в центре, начнут строиться в окрестностях, участки вокруг Альбанского озера и строительные материалы вздорожают. Но она предвидела это и сговорилась с архитектором Гровием. Он сдержит слово, оставит для нее участок, не превысит сметы.

Иосиф знает жизнь. Он знает, что архитектор все равно выйдет за пределы сметы, знает, что обещанная вилла обойдется недешево. Но он вспоминает, как лежала Дорион подле него, положив голову ему на грудь, и тонким, совсем детским голосом уговаривала его; он и сейчас, днем, не жалеет о данном согласии. Он может себе позволить быть великодушным. Человеком умеренным его никак нельзя назвать. Он никогда не был умеренным, он всегда жаждал еще больше жизни, больше успеха, труда, наслаждений, любви, мудрости, бога. Но сейчас он добился своего, сейчас он собирает жатву.

Тит быстрыми шагами пошел ему навстречу, сердечно приветствовал его. С тех пор как императору известна

причина, из-за которой откладывается приезд Береники, с тех пор как ему стало известно, что не он тому причина, он бодр, деятелен, его вялость исчезла. Пожар не может поколебать его уверенности. За счастье нужно платить жертвами, — к этой мысли он привык. Разве мудрая Береника не сделала этого добровольно, заранее? Кроме того, пожар даст ему возможность показать свою щедрость, в противоположность скупости отца. Собственно говоря, пускается он в полную откровенность с Иосифом, пожар случился очень кстати. Тит всегда имел намерение строить. Гибель старого Рима для него лишь подтверждение того, что небо одобряет его планы. Он подробно, с увлечением, рассказывает Иосифу о том новом Риме, картину которого носит в себе, — насколько величественнее будет новый Капитолий, как много прекрасного и нового он создаст на месте плохого и старого.

Но больше, чем новое строительство Рима, больше, чем все другое, занимает его, как и прежде, Береника. Доверчиво, и уж не в первый раз, расспрашивает он еврея Иосифа, своего друга, удастся ли ему разрушить стоящую между ним и ею преграду?

— Ты сам, мой Иосиф, женился на египтянке, — говорит он. — Я знаю, что многие это сочли грехом. И моим римлянам не понравится, если я женюсь на чужестранке. Скажи мне откровенно, как относитесь вы, евреи, к браку с чужестранкой? Это грех перед вашим богом?

Иосифу было приятно, что император с ним так откровенен. Терпеливо, как уже делал не раз, объяснял он ему:

— Иосиф, наш герой, чье имя я ношу, взял себе в жены египтянку, наш законодатель Моисей — мадианитянку. Царь Соломон спал со многими чужестранками, как со своими женами. И мы, евреи, почитаем и превозносим Эсфирь, супругу персидского царя Артаксеркса.

— Это утешительно, — задумчиво отозвался Тит. — Я должен тебе признаться, мой Иосиф, — добавил он, близко подойдя к нему, обняв его рукой за плечи и улыбаясь по-мальчишески смущенно, — я всегда чувствую себя перед ней маленьким мальчиком. Она — чужая и на недостижимой высоте, даже когда я беру ее. Я хочу, чтобы она стала со мной одно, я хочу слиться с ней. Но она замыкается от меня, даже когда отдается мне. У вас, евреев, есть для этого акта дьявольски умное выражение: мужчина познает женщину. Я до сих пор не познал ее. Но, когда она теперь придет, она, я в этом уверен, передо мной раскроется. Дело в том, что я нашел причину, почему не мог до сих пор

подойти к ней ближе. Меня сковывали остатки нелепого предрассудка, мое римское высокомерие разделяло нас, как панцирь. Но за эти недели я стал мудрее. Теперь я знаю, что империя нечто большее, чем расширенная Италия. Может быть, эта катастрофа — предостережение вашего бога. Теперь предостережение уже излишне. Допускаю, я ничего не делал, мои руки были праздны, не выполняли того, к чему меня побуждали мое сердце и мой мозг. Но теперь конец праздности. Этот Флавий Сильва не внесет в сенат своего законопроекта относительно обрезания. Белобашмачники в Александрии будут укрошены. Скажи об этом своим евреям. Пусть верят в меня. Я в ближайшие же дни подробно все это обдумаю с Клавдием Регином.

Собственно говоря, Иосиф собирался после аудиенции вернуться домой. Но он с самого начала испытывал ребяческое желание показаться в парадной одежде Маре и Симону. Теперь, после милостивого приема у Тита, он уже не мог подавить в себе этого желания. Он отправился к стеклодуу Алексию.

События и внутренние и внешние подчинялись ему. Исчезло гнетущее чувство своей неполноценности, охватившее Иосифа тогда, в минуту его, казалось бы, высшего торжества. Хорошо, пусть его жизнь сложна, сложны отношения с Дорион, не просты и отношения с Марой. Но у него свой метод. Женщина, которую он любит и без которой не могут обойтись ни его сердце, ни его чувственность, отказывает ему в сыне. Ну, так он возьмет сына другой, той, которой не любит, но которая ему ни в чем не отказывает.

С устройством маленького Симона в Риме дело пошло не так гладко, как Мара себе представляла. В строго ортодоксальной школе, на правом берегу Тибра, куда мальчик поступил сначала, ему, как незаконнорожденному, как сыну презренного Иосифа, приходилось выслушивать много неприятного. Мара взяла его оттуда, отдала, по совету стеклодува Алексия, увлеченного умным мальчуганом, в более либеральную школу. Там Симон чувствует себя хорошо, ему не колют глаза тем, что он — сын Иосифа. Но его мать, которая боязливо цепляется за старые обычаи, недовольна. Ее Симон-Яники учатся в этой аристократической школе сомнительным вещам. Никто не запрещает ему, даже в субботу, вместе с мальчиками-язычниками предаваться шумным уличным играм. Его ближайший друг — маленький Константин, сын отставного полковника Лукриона. Однажды оба мальчика вздумали задирать жрецов Исиды, произо-

шел скандал, даже полиция вмешалась. Обоих видели в ресторане «Стойло под оливами». Ел ли там Симон запрещенные кушанья или нет — этого из него не вытянешь; на вопросы Мары он молчит, как каменный; но что с ним будет, если вдруг он там отведал свинины, которую вывеска ресторана восхваляет как главное свое блюдо?

Иосиф не находит в этих проделках ничего страшного. Он видел маленького Константина, приятеля Симона, буйного, грязного парнишку. Они дерутся, но привязаны друг к другу; маленький Константин даже почитает Симона после того, как тот показал его отцу, отставному полковнику, одну из своих моделей орудия и полковник пробурчал: «Недурно. Для еврейского мальчика даже удивительно!» Но воспитание Симон получает, конечно, не идеальное, в этом с Марой нельзя не согласиться, и уже пора бы попасть ему в хорошие руки. Конечно, желания Мары легче осуществимы, чем желания Дорион, и они больше совпадают с его собственными. Итак, он решился. Он предоставит Павла Дорион, а сам займется воспитанием Симона; может быть, если мальчик оправдает его надежды, Иосиф возьмет его к себе в дом. Это ему кажется удачным разрешением вопроса, оно всех удовлетворит. Даже иудеи столицы примирятся с его греческим сыном, если он предъявит им своего сына-иудея. С Дорион он о своем намерении еще не говорил. Но какие у нее могут быть возражения? Он улыбнулся расчетливо, с добродушным цинизмом. Он подарил ей виллу, она у него в долгу. Так великодушие само несет в себе награду.

Хвастливо, в своей блестящей парадной одежде, предстает он пред Марой. Мара восхищена; даже Симон, несмотря на весь свой критицизм, деловито констатирует, что Иосиф выглядит замечательно.

Собственно говоря, Иосиф предполагал сначала договориться с Дорион относительно своего плана. Но он в хорошем настроении, и ему хочется дарить радость. Мара может совсем остаться в Риме, возвещает он милостиво, мальчика он устроит у высокопоставленных друзей, позднее, может быть, даже возьмет к себе.

Обычно Мара соображает очень медленно, но сейчас, когда речь идет о ее мальчике, она понимает сразу, какую резкую перемену в ее жизнь внесет решение Иосифа. Если ее сын будет воспитываться у друзей Иосифа или даже в его доме — это значит, что ей придется с Симоном расстаться. Тогда ей, вероятно, очень редко удастся видаться с ним. Ее господин и повелитель Иосиф очень мудр. Но разве она, мать, не знает о мальчике многое из того, чего не

знает Иосиф? И не забудет ли Симон добрые старинные обычаи? Все же она счастлива. Ее Симон-Яники завоевал сердце отца, он станет таким же великим человеком, как и тот, пусть даже не богословом и не мудрецом во Израиле. Она целует руку Иосифа, она велит мальчику поцеловать ему руку, она сммренна, горда, счастлива.

Иосиф решает в этот великий день, когда он согласился на постройку виллы, уладить вопрос и с закладкой синагоги. Он сообщает доктору Лицинию, что хочет участвовать в постройке новой синагоги. Лициний искренне обрадован. Тактично, чтобы не задеть Иосифа, приступает он к финансовому вопросу. Синагога Иосифа не будет особенно роскошной. Ориентировочно,— это ни к чему не обязывает,— набрасывает он смету в миллион семьсот тысяч сестерциев. Иосиф испуган. Больше двухсот тысяч он не в состоянии дать на это дело, и может ли он согласиться, чтобы при таком ничтожном взносе синагога называлась его именем? Лициний не дает ему слова вымолвить, продолжает говорить. Он предлагает Иосифу поделить расходы следующим образом: Иосиф жертвует семьдесят драгоценных свитков, спасенных им при разрушении Иерусалима, Лициний оценивает их примерно в семьсот тысяч сестерциев. Тогда Иосифу останется добавить только каких-нибудь сто пятьдесят тысяч наличными. Ведь эти свитки торы явятся существеннейшей частью нового дома божия. Если же вместилище, то есть само здание, обойдется дороже, чем предположено, то это уже дело Лициния и его друзей внести излишек.

Какое великодушное предложение, какой счастливый сегодня день! Иосиф почти не в силах скрыть свою радость,— там, в храме Мира, стоит перед глазами римлян его бюст, а перед глазами иудеев его синагога примирит с ним невидимого бога.

С гордостью, многословно, рассказывала Дорион своему отцу, придворному живописцу Фабулле, что Иосиф наконец-то дал согласие на постройку виллы в Альбане. Массивный старик сидел очень прямо, по своему обыкновению, особенно изысканно одетый; к нему, как к живописцу-профессионалу, относились в обществе с пренебрежением, и поэтому он тем более старался иметь корректный, истинно римский вид. Когда Дорион, к которой он был страстно привязан, в свое время стала женой еврея, этот удар по-

разил его в самое сердце. С тех пор он сделался еще суровее и молчаливее.

И вот Дорион, оживленная, счастливая, тонким детским голосом хвасталась тем, как ловко она все устроила. Уже несколько лет назад сговорила она с архитектором Гровием относительно необычайно дешевой цены за участок и за постройку. Нелегко было все эти годы удержать Гровия при его решении. Но ей это удалось. И даже теперь, после пожара, хотя цены растут буквально не по дням, а по часам, архитектор остается верен своему слову.

Фабулл слушал с непроницаемым видом. Вначале, сейчас же после замужества Дорион, он не испытывал по отношению к этому еврею, негодяю, псу, которому его дочь так постыдно отдалась, ничего, кроме ненависти и презрения. То, что Иосиф был к тому же писателем, еще усиливало эту ненависть; Фабулл знать не хотел о литературе, он был озлоблен тем, что Рим ценил писателей, а не художников. Однако он был великим портретистом, привыкшим читать по лицам людей; он многое прочел по лицу Иосифа о его сущности и судьбе, он не смог скрыть от себя значительность этого человека, и с годами между ними произошло как бы примирение. Постепенно в живописце Фабулле росло даже особое, полное ненависти, восхищение. Этот Иосиф изображал в своей книге людей, ландшафты, события так живописно, словно смотрел на них взором художника; при этом он ненавидел всякую живопись. В конце концов, Иосиф стал внушать Фабуллу даже какой-то страх: этот человек, видимо, обладал магической силой. Он околдовал не только его дочь, но и старого императора и молодого. И ему просто навязали общественное признание, которого так мучительно недостает Фабуллу. Гнев его еще возрос, когда он узнал от скульптора Василия, что Иосиф отклонил его предложение — поручить Фабуллу раскраску цоколя для Иосифова бюста. Его славе этот отказ повредить не мог. Фабулл считался первым живописцем эпохи. Но вся его неразумная злоба против зятя снова проснулась при этом сообщении.

Когда дочь рассказала ему о новой удаче Иосифа и о том, что теперь его богатство позволяет ему подарить ей долгожданную виллу, злоба художника удвоилась. Сам он был человек состоятельный и отнюдь не скупой, он охотно подарил бы загородный дом своей дочери, которую любил, и не сделал этого, только желая показать ей, что Иосифу, несмотря на его кажущийся блеск, не хватает самого существенного. Мысль, что ей приходится за свою любовь

к этому человеку хоть чем-то платиться, давала ему некоторое удовлетворение.

С привычной молчаливостью слушал он ее длинный радостный рассказ. Он подумал, что в одном, по крайней мере, его Дорион отказала этому человеку — она не дала ему превратить своего сына Павла в еврея. Это служило ему утешением. Внук окажется таким же бесправным, как и он сам, его поведение и взгляды будут такими же строго римскими, и он будет так же проникнут греческой культурой. Однако эта мысль мало способствовала смягчению его злобы. Но когда Дорион обхватила наконец руками его торжественную голову и прошептала: «Я так рада, папочка, что ты наконец напишешь для меня «Упущенные возможности», — старик осторожно, но решительно высвободился из ее милых рук и своим очень мужественным голосом коротко заявил:

— Мне жаль, Дорион, но я для твоего еврея фресок делать не стану.

Дорион, обиженная, возмущенная, спросила с удивлением:

— Что это значит? Ты же мне обещал? Ведь уговорить Иосифа было нелегко.

— Охотно верю, — отозвался с ненавистью старик. — Вот почему я этого и не хочу. Император не так разборчив, как твой еврей, — продолжал он. — Император поручил мне расписать большой зал Новых бань. Я думаю, что «Упущенные возможности» найдут там более компетентных и, уж во всяком случае, более благосклонных, зрителей, чем в загородном доме Иосифа Флавия.

— Но ты ставишь меня в смешное положение, — вскипела Дорион, — а я-то перед ним из кожи лезла! Ты еще никогда не нарушал своего слова, — упрашивала она.

— Ситуация изменилась, — возразил Фабулл. — Иосиф Флавий решительно отклонил мою работу. Когда скульптор Василий предложил, чтобы я расписал цоколь, он отказался.

Дорион замолчала, удивленная, — об этом она ничего не знала. А ее отец продолжал:

— Ты боишься оказаться в смешном положении перед ним, — заметил он иронически. — Он же ставил себя в смешное положение перед целым миром, и сколько раз... Он дал себя высечь, расхаживал в цепях раба. И если даже они поставили его бюст в библиотеке, он остается смешным, он остается замаранным. Он — собака, отброс.

Никогда еще не приходилось Дорион слышать из уст отца столь несдержанные речи. На миг она была готова

признать его правоту, но сейчас, когда все это хлынуло из него, ее чувства изменились. Десять лет назад, сообщив ему о своем решении сойтись с евреем, она ждала от него жестких, насмешливых слов, но он ничего не сказал, он сжал губы так, что они вытянулись в нитку, его глаза непомерно округлились и выступили из орбит; ей было очень тяжело, и она поспешила уйти из дому, к Иосифу. Отец тогда промолчал, он продолжал молчать, и она была крайне поражена, что теперь, спустя десять лет, он вдруг заговорил.

Сперва она, обычно столь находчивая, от удивления не знала что ответить. Затем мысленно увидела бюст, стоявший в почетном зале, его бледное благородное поблескивание, загадочное сияние вокруг головы Иосифа, услышала праздничный шум чествования, и ее изумление обратилось в негодование.

— Я не позволю оскорблять его, — вскипела она. — Даже тебе. Он — собака? Он — отброс? Ему дана власть судить мертвых, — продолжала она своим тонким голосом. Это звучало довольно нелепо, она сама смеялась, когда Иосиф этим хвалился, но теперь она повторяла его слова, и ее глаза светились буйно, экзотично. — Он судит живых и мертвых. Ему дана власть. Он — Гермес с птичьей головой, возвещающий приговор по своей табличке.

Она была почти рада, что упреки отца, столь долго таимые и все накоплявшиеся, теперь наконец нашли выход в словах и она может против них защищаться.

А он продолжал говорить, продолжал браниться — жестко, грубо, точно конюх. Он жалел, что дал себе волю. Он любил свою дочь, любил за ее мать-египтянку, за ее художественное чутье, за ее сына, которого она воспитывала в его духе. Он знал, что с каждым словом все больше отталкивает ее от себя, и сам страдал от своих слов: совсем не в его натуре говорить так жестко и грубо. Но когда он вспоминал этого человека, негодяя, этого пса, то терял всякую власть над собой, забывался и говорил больше, чем хотел сказать. Все, что он так долго носил в себе, вырвалось наружу, грязно, низменно, вульгарно.

Лицо Дорион побледнело, как всегда, сначала вокруг губ, потом побелели и щеки. Неужели это ее отец, к которому она так привязана, ходит взад и вперед по комнате и так гадко бранится и ругается, он — величайший художник эпохи? Один раз ей уже пришлось выбирать между ним и Иосифом, и она выбрала мужа. Затем все уладилось, у нее были и муж и отец, и она так радовалась, что в доме, который ей подарил муж, с ней будет одновременно и лучшее

произведение отца — трогательные и насмешливые «Упущенные возможности». И вот все кончилось дикой, грубой руганью. Но тут ничего не поможет, она тоже не в состоянии сдержать себя.

— Уходи,— вдруг прервала она его тонким, пронзительным голосом; лицо ее было теперь без кровинки, некрасивое, искаженное.— Уходи,— повторила она.— И пиши свою картину для кого хочешь, для императора или для римской черни.

Фабулл сидел, сжав рот, выкатив глаза, как десять лет назад, когда она впервые сказала ему о своей связи с евреем. И он опять молчал, как тогда. Ей очень хотелось, чтобы он сказал хоть одно слово, которое прозвучало бы как раскаяние или как извинение. Но он ничего не сказал, ничего не взял обратно. Фабулл просто сидел, может быть, чуть-чуть, совсем незаметно, он покачнулся. Его молчание кольцом ложилось вокруг нее и так сжимало, что все тело ломило. Но она тоже не взяла своих слов обратно, и когда он наконец поднялся, она не стала его удерживать. Он ушел, слегка пошатываясь, не такой прямой, как обычно.

Вот в каком состоянии была Дорион, когда Иосиф пришел к ней, чтобы сообщить о своих намерениях относительно Симона. Он выбирал пустые, безразличные слова. В глубине души он гордился своей идеей, и ему не приходило в голову, что у Дорион могут возникнуть серьезные возражения.

Пока он говорил, ее смугло-бледное лицо оставалось неподвижным. От своих друзей она знала о присутствии в Риме первой жены Иосифа: над провинциалкой посмеивались,— дескать, грех молодости,— Дорион сама посмеялась и скоро забыла об этой истории. Сейчас, пока Иосиф говорил, дело представилось ей в другом свете. Она все принесла в жертву Иосифу, а он принимал это как нечто вполне естественное и подвергал ее новым и новым унижениям. Теперь он пожелал приравнять этого ублюдка от провинциальной мещанки к ее Павлу, привести его к ней в дом. Неужели он так туп, что не понимает, чего от нее требует? Или, несмотря на все, его связывают с его первой женой более прочные нити? Ей рассказывали, что эта женщина — глупая, толстая еврейка, ничтожество; но кто знает, что приковывает к ней этого странного человека? Еврей остается евреем, еврея тянет к еврейке, как волка к волчице и кобеля к сучке. А она только вчера так горячо защищала его перед отцом, защищала зубами и ногтями; ради мужа выгнала от себя отца, единственного человека,

которого она любит. И вот что он предлагает ей взамен отца, — своего байстрюка. Но она обузда поднимавшиеся в ней злобу и горечь, не высказала ничего, она только заявила жестким, тонким голосом:

— Нет, я не согласна, чтобы ты приравнял этого мальчика к нашему Павлу.

Иосиф был обманут ее бесстрастным тоном. Вполне понятно, что не обойдется без некоторых пререканий, прежде чем она согласится. Поэтому он продолжал совершенно спокойно:

— Нашему Павлу? — возразил он. — Но в том-то и беда, что, к сожалению, Павел только *твой* Павел, а не *наш* Павел. Ты же должна понять, что я хочу наконец иметь настоящего еврейского сына. Пожалуйста, обдумай спокойно, Дорион, моя умная, добрая Дорион, справедливо ли мое требование.

Дорион все еще притворялась равнодушной.

— Не я, — сказала она злобно, но сдержанно, — не даю тебе мальчика, он сам не дается тебе; и он прав, потому что он все-таки не еврей. Тебе это удалось, ты поднялся над своим презренным народом. Зачем моему сыну опять спускаться к твоим евреям? То, что он этого не хочет, — признак здорового инстинкта. Присмотрись к нему, поговори с ним: он не хочет. Попытайся, возьми его, если можешь.

Ее спокойная издевка взорвала его. Разве не она мешала мальчику соприкасаться с еврейскими учениями и с евреями? Разве не она навязала ему этого Финея? А сейчас она смеет издеваться над ним потому, что мальчик не еврей? Он представил себе Павла, сравнил его с Симоном. Павел был строен, прекрасно сложен, у него были мягкие, приятные манеры, как у Финея. Не могло быть сомнения в том, что если поставить его рядом с Симоном, то сравнение будет не в пользу шумливого, необузданного еврейского мальчика. Но имеет ли она право высмеивать Иосифа за то, что он не смог сделать Павла своим еврейским сыном? «Я сам виноват, что она теперь так дерзка, — подумал он. — Перицут¹, эмансипированность, — худшее свойство, каким может обладать женщина, учат богословы, и больше всего предостерегают они от женщин эмансипированных». В его памяти встали строки из Библии: «и нашел я, что горше смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки, руки ее — оковы. Угодный Богу спасется от нее,

¹ Распущенность (евр.).

а грешник уловлен будет ею». Тихо, почти беззвучно, как в школьные годы, когда он заучивал их, произнес Иосиф эти слова.

— Что ты сказал? — спросила Дорион.

Но он уже успел овладеть собой. Он должен быть терпелив с ней. У женщин логика отсутствует. Бог отказал им в конструктивном мышлении. Даже еврейке и той едва доступна логика, — чего же требовать от этой гречанки?

— Тебе бы не следовало так говорить, Дорион, — ответил он спокойно. — Не ты ли сама сделала все, чтобы он стал греком, и противилась, когда я хотел хоть немного ознакомить его с иудаизмом? Я говорю не для того, чтобы упрекать тебя, но будь и ты, пожалуйста, благоразумна и не препятствуй, если я хочу иметь сына-еврея.

Однако она стояла на своем. Ее сын — грек, всем своим существом он — грек. Прививать ему еврейство — преступление. Да, она думала, и не без труда, чтобы Павел облагородил свои врожденные способности знаниями и культурой Финея. И она гордится этим; ибо это наименьшее, что может сделать хорошая мать для такого сына.

Ее упорство рассердило Иосифа.

— А скажи мне, — спросил он насмешливо, — чего ты, самое большее, можешь добиться методами твоего Финея? Чтобы Павел, когда вырастет, стал всеобщим любимцем и таким же пустоголовым, как твой Анний и вся твоя компания?

Еще не успев договорить, он пожалел о своих словах. Но было поздно. Она встала. Она стояла теперь перед ним — тонкая, стройная, бледная. Сначала, правда, ей удалось сдержаться.

— Ты не понимаешь мальчика, — сказала она. — Все-таки он — грек, а ты еврей, как бы тщательно ты не сбивал себе бороду.

Но затем, словно она только сейчас осознала в полной мере сказанное им, ее охватила неистовая ярость. И он смеет, обрушилась она на него, попрекать ее Аннием, когда сам он так слеп и неразборчив в своем сластолюбии? Кто она, эта женщина, сына которой он так горячо отстаивает? О, она прекрасно знает кто, — ей рассказали. Мещанка из провинции, грязное ничтожество, толстая, глупая еврейка, которая даже старику Веспасиану надоела после первой же ночи. И ее-то ублюдка он намерен приравнять к ее ухаживенному, воспитанному Павлу? Из-за этого ублюдка он оскорбляет ее? И откуда он знает, что этот уличный мальчишка — именно его сын, а не сын Веспасиана?

Она бранилась визгливо, злобно, вульгарно и в то же время с горечью и раскаянием вспоминала, как горячо еще вчера на этом же месте восхваляла его. Ведь она его все-таки любила. Она же показала, что готова пойти навстречу его желаниям, быть ему покорной, даже если не понимала его. Почему он совсем не хочет с ней считаться? Почему требовал так много и давал так мало? Почему вынуждал ругаться с ним низко и отвратительно? Она была очень бледна, пока бранилась, ее гнев мог с трудом устоять против ее большой любви.

Слова Дорион хлестали Иосифа, и его бритое лицо покраснело. Ему хотелось наброситься на нее, бить ее тонкое, дерзкое, хрупкое тело кулаками, письменным прибором. За ее лицом ему виделось вежливое, насмешливое лицо Финея; за ее пронзительным голосом слышался голос Финея, благозвучный, изысканный. Но несмотря на весь свой гнев, он понимал, что теперь из нее кричит наболевшая многолетняя обида. Он подумал обо всем, что она дала ему; он, казалось, чувствовал за ее словами невысказанные, затаенные мысли. Он вспомнил, как она стояла перед ним, когда он оттолкнул ее, стояла молча, даже не упомянув о сыне, об этом Павле, которого она вправе называть своим, ибо это и был ее сын, не его. Разве не вина Иосифа, что она так изменилась? Не нужно придавать ее словам слишком большого значения. Она вне себя. Эта брань,— она очень скоро в ней расклется. Он не знал, что она раскаивалась в своих словах, уже произнося их, нет, еще до того, как произнесла их.

Он подошел к ней, сел, привлек к себе, заговорил мягким, убеждающим тоном. Она права. Он — еврей, она — гречанка, и они могут сливаться воедино только в свои лучшие, счастливейшие минуты. Такова воля неба. Но именно этим и вызвано его предложение. Пусть она подумает о том, что ведь и для Иосифа это жертва — отказ от Павла. Это неправда, что он всегда только берет и ничего не хочет дать взамен. Взять хотя бы виллу, которую он разрешил ей строить, она тоже достанется ему нелегко.

Этого не следовало говорить. Она вскочила, отодвинулась от него. Жестко, холодно, голосом, спокойствие которого больше испугало и рассердило его, чем ее гнев, заявила, что знает многих мужчин, которые с радостью поднесли бы ей не только такую виллу, но и гораздо лучшую, не попрекая потом подарком. Что же касается фресок «Упущенные возможности», то он напрасно принуждал себя. Ее

отец отказался писать их для Иосифа, он пишет их для императора.

Глаза Иосифа стали почти глупыми от изумления. Он не понимал причин, не понимал, в какой все это связи, он не понимал этих людей. Он безмолвствовал. Она же, вероятно, подстегиваемая воспоминанием об отце, становилась все резче, все несдержаннее.

— Отправь эту женщину, — потребовала она вдруг без всякого перехода, жестко, властно. — Женщину и ублюдка.

Иосиф взглянул на нее с глубоким изумлением. Его предположения оказались ошибочными, он теперь это видел. Он знал ее хорошо, но не до конца. В прошлом он требовал от нее так много, что теперь, как видно, даже законное требование повергало ее в ярость.

— Отправь эту женщину, — настаивала Дорион, и ее глаза стали неистовыми, побелели. Она потеряла всякую власть над собой.

Иосиф же, как всегда, когда его постигало что-нибудь неожиданное, какое-нибудь несчастье, стал холоден как лед, подавил свои чувства, призвал на помощь разум.

— Обдумай спокойно мое предложение, Дорион, — просил он, и его голос звучал бесстрастно. — Подождем два-три дня. Что же касается виллы, то не допускай задержки, требуй, чтобы к постройке приступали как можно скорее. Я уплатил два взноса. Обдумай все хорошенько, Дорион. — Он взял ее узкую, длинную голову обеими руками, ее кожа была нежна и очень прохладна. Он поцеловал ее. Равнодушно приняла она поцелуй, и он ушел.

Иосиф потребовал от Клавдия Регина аванс под будущие работы, сто пятьдесят тысяч сестерциев. Как Иосиф и предвидел, произошел тягостный разговор. Правда, Регин дал деньги, но у него была пренеприятная манера сопровождать вручение аванса ворчливыми и ироническими замечаниями общего характера. Сегодня он был особенно резок. После смерти Веспасиана, заявил он Иосифу, наступила эпоха мотовства. Если бы старик видел, с какой легкостью Тит растрачивает капитал, который Веспасиан сколотил с таким трудом, его палец угрожающе высунулся бы из гроба.

— Веспасиан, — скрипел он, — за новую редакцию «Иудейской войны» такой суммы не выбросил бы. Госпожа Дорион пожелала иметь собственную виллу, ну конечно! Но разве все дамские капризы надо исполнять? Мне не нравит-

ся, что вы теперь строитесь. Теперь все строятся. Наш Тит всадил еще двенадцать с половиной миллионов в свой Амфитеатр. Сто дней должны продолжаться игры в честь открытия. Каждый день стоит чуть не полмиллиона. У старика бы глаза на лоб полезли. С помощью Юпитера и моей он оставил после себя несколько миллиардов. Но если мы будем так продолжать, то скоро все растранижим.

Дело не в какой-нибудь отдельной сумме. Она чувствительна, но ее можно раздобыть. Дело в жизненном уровне. После бань и Амфитеатра наши милые римляне пожелают иметь крытую галерею, после крытой галереи — храм; в банях люди моются, но стодневные игры нельзя устраивать каждый год. Вы это еще испытаете, доктор Иосиф. На себе самом. Вашей жене понадобятся для виллы десятки новых рабов, и лошади, и экипажи. Мы цены снизили, верно. Четверик пшеницы стоит теперь только пять сестерциев, и всего за четырнадцать можно купить пару приличных башмаков. Портной берет поденно только семь сестерциев, а писец довольствуется тремя с половиной за сто строк. Все это расходы, от которых вы не разоритесь, — их вы можете себе позволить. Но вы удивитесь, как вырастет ваш бюджет, когда госпожа Дорион заживет на своей вилле. Взгляните на меня: этому платью четыре года, башмакам — три. Я мог бы позволить себе новые, но не считаю разумным повышать свой жизненный уровень наобум.

Мне не нравится, доктор Иосиф, что вы засоряете себе мозги финансовыми заботами, вместо того чтобы беречь их для вашей «Истории иудеев». Я немало всадил в вас, доктор Иосиф. Я в вас всадил, — постойте, дайте сообразить, — приблизительно на две тысячи процентов больше, чем в вашего коллегу Юста из Тивериады, а жизнь в Риме всего на тридцать семь процентов дороже, чем в Александрии. Ну, что ж, — вздохнул он и выписал Иосифу аванс.

«Не я, — сказала Дорион, — не даю тебе Павла. Он сам не дается тебе. Попытайся — возьми его, если можешь». Эти слова терзали Иосифа. Ибо Дорион сказала правду, между ним и Павлом всегда существовала отчужденность. Но в чем ее причина? Допустим, дети не интересуют Иосифа, ему трудно проникать в их душу. Сам он развился рано, быстро стал взрослым и неохотно вспоминал о своей ранней юности. Лишь с годами начал он чувствовать себя свободнее, счастливее, ощутил радость роста, созревания. Но все-таки, когда он всерьез хотел этого, он умел под-

ходить к людям, даже к очень молодым; правда, он был высокомерен и редко этого хотел. Ему хотелось бы завоевать привязанность своего сына Павла, так как он любил его. Почему он терпит неудачу именно здесь, почему не может выразить свою любовь? Строго говоря, этот мальчик — единственное существо, перед которым он испытывает неловкость. Всегда чувствовал он себя с Павлом неуверенно, не сможет он преодолеть своей отчужденности и теперь. Дорион права.

При этом он убеждался с горечью и радостью, что Павел такой сын, которого стоит любить и которым можно гордиться. Тело девятилетнего мальчика было нежным и все же крепким, его движения легки и уверенны. Голова на длинной шее была смугла, с тонкими чертами. Голова матери, но горячие глаза были отцовские, они властно пылали на узком, изящном лице.

В школе Никия, которую он посещал, у него было среди мальчиков мало друзей. Не только потому, что он не имел права носить одежду римского гражданина, — из восьмидесяти учеников Никия десятка два не имели на одежде полосы, свидетельствующей о римском гражданстве, — но его считали гордецом. Когда его принимали в игру, когда он участвовал в петушиных боях товарищей и приносил собственных петухов, дело нередко кончалось не только дракой, — в этом ничего особенного не было бы, — но резкими, злыми словами, которые потом долго не забывались. При этом товарищи относились к Павлу с уважением, он был храбр, этого никто не оспаривал, им даже нравилось его высокомерие, и когда его козий выезд — лучший на их улице — останавливался перед школой Никия, они даже гордились им. Это не мешало им смеяться над тем, что от него постоянно воняет конюшней; но если хочешь иметь хороший выезд, нельзя доверять уход за животными рабу, нужно самому смотреть за ними. А от козьей вони было недалеко и до обидных ругательств — насчет еврейской вони и тому подобного. Павел отлично знал, что только зависть толкает его товарищей на эту ругань, зависть к его выезду и к его отцу, но насмешки задевали его от этого не менее глубоко. Правда, он не показывал и виду — римлянин должен уметь скрывать свой гнев. Он сжимал губы и высокомерно смотрел поверх остальных. Он был не такой, как все, это и окрыляло и мучило его.

Говоря по правде, ему страстно хотелось поиграть с другими мальчиками. Когда они лепили восковых и глиняных зверей или примитивные карикатуры на преподава-

телей, товарищей, знакомых, он охотно присоединился бы к ним, но он был вспыльчив и знал, что дело легко может дойти до ссоры, а он не переносил, когда его называли евреем. Если они начинали его дразнить этим, он не знал, что отвечать. Так, вопреки собственному желанию, ему приходилось все больше сближаться со взрослыми. Он проводил немало времени в обществе матери, восхищался старым, чопорным, страшно аристократичным Валерием, издали робко поклонялся белой, строгой Туллии, любил болтать с шумливым, самоуверенным полковником Аннием, с которым сразу чувствуешь себя так просто, все крепче привязываясь к своему учителю Финею. Время, которое он проводил с ним или занимался своими козами, было для него самым приятным.

Ему жилось хорошо. Учение давалось легко; в греческом, в истории он без труда обгонял товарищей. Как единственный сын состоятельной семьи, он имел деньги, был хорошо одет, у него были самые лучшие манеры и самый лучший выезд. Следует отметить, что в широких рукавах своей одежды он частенько припрятывал воск и мастику, чтобы лепить животных, и что опрятность его платья от этой привычки несколько страдала. Все же он, бесспорно, принадлежал к самым аристократическим и шикарным мальчикам в школе Никия. И хотя он не хотел в этом признаться, единственное, что омрачало его жизнь, было еврейство отца. Отец его был римским всадником, великим писателем и другом императора. Павел любил его и гордился им. Но отец был евреем. Что, собственно, это значит, ему никто хорошенько объяснить не мог. Наверно, что-нибудь хорошее, иначе его отец не был бы евреем, но вместе с тем, наверно, и что-то очень плохое, иначе мать разрешила бы и ему стать евреем, а тем самым и римским всадником. Когда он задавал вопросы, его утешали тем, что вот он станет постарше, и ему все объяснят, но он отдал бы даже свой козий выезд за то только, чтобы как-нибудь выйти из этого запутанного положения.

Нередко, когда он бывал с отцом, то робко разглядывал его, стараясь сблизиться с ним. Рассматривал его руки, нагую кожу его ног, — все это было чужое, и все-таки это был его отец, и он ласково и с любопытством гладил его кожу. Отец едва замечал это или тотчас от него отодвигался, слегка удивленный. Больше всего занимала мальчика отцовская борода, искусно закрученная в кольца, треугольная, черная борода. Когда он был маленьким, он не раз пытался ею играть, дергать ее. Позднее ему сказали, что

только люди Востока носят такие бороды. В самое последнее время борода исчезла. Но голое лицо отца показалось ему еще более чуждым, чем с бородой, и он иногда скучал по этой строгой, искусной бороде.

Случалось, что отец рассказывал ему еврейские предания или описывал величие храма. Но, хотя Иосиф все это прекрасно описывал в своих книгах, сделать эти вещи занимательными для своего сына он не мог. Сказания греческого мира, которым его учил Финей, были лучше, изысканнее. К тому же отец говорил по-гречески с ошибками, а когда Павел так произносил слова и делал такие ударения, Финей строго поправлял его. Павел вежливо слушал отца, но бывал рад, когда тот смолкал.

Однажды он прямо спросил дядю Анния: кто такие евреи и не варвары ли они? На миг дядя Анний как будто растерялся, затем с присущей ему шумной чистосердечностью объяснил мальчику, в чем тут дело. На войне евреи показали себя храбрыми солдатами, спору нет. Чтобы они, как все утверждают, поклонялись в своем храме ослу или убивали греческих мальчиков, это он считает неправдоподобным. Вообще же они напичканы суевериями. Эти суеверия толкают их, например, на то, что они каждый седьмой день недели, следовательно, седьмую часть своей жизни, бездельничают. И это не просто лень. Он сам был свидетелем того, как из-за этого суеверия они в один из седьмых дней дали себя перебить, не защищаясь. Приходится их принимать такими, какие они есть. Истинный римлянин должен уметь обходиться с любым живым существом населенного мира. Варвары? В известном смысле — да, но они принадлежат к высшему, более совершенному виду. Их никак нельзя поставить на одну доску, например, с германцами или британцами.

Павел часто и подолгу думал об этом разговоре, охотнее всего — в козьем хлеву, когда задавал козам корм. Добывание и правильное приготовление корма для коз было делом нелегким. Они были очень прихотливы, особенно Паниск, отличный холощеный козел, которым Павел гордился. Им нужно было давать сухие, полезные травы, точные, определенные порции соли и очень много свежей зелени, которую в городе не всегда достанешь. Павел резал и смешивал травы, козы теснились вокруг него, щипали корм, шумно жевали, а он предавался своим мыслям. И тут однажды его осенило. Если евреи — варвары и если его отец — еврей, то, значит, хорошо быть варваром, и тогда он должен гордиться своим происхождением от варвара. Его

работа была кончена, но он не уходил из хлева. Он присел на корточки в уголке. Вокруг него шумно жевали козы, а он продолжал обдумывать свою мысль.

— Да, так-то, мой Паниск,— сказал он наконец с удовлетворением и почесал усердно жующее животное за острым маленьким ухом.

Иосиф, конечно, понимал, что мальчику из-за отца-еврея приходится выслушивать всякие неприятные замечания, но в какой мере это мучит Павла, он не догадывался, а Павел ничего ему не говорил. Даже в эти дни, когда в сознании Иосифа звучали жесткие слова Дорион, он не подозревал о том смятении, которое переживает его сын.

Как раз в это время он неожиданно встретил Павла на Марсовом поле. Мальчик правил своими козами. Иосиф обрадовался случаю. Сам он был в носилках и предложил Павлу состязаться с ним, кто скорее будет дома: мальчик со своими козами или Иосиф со своими ловкими каппадокийскими носильщиками, и был почти так же горд, как и Павел, когда тот немного обогнал его.

Он пригласил сына пройти с ним в его кабинет. Он делал это редко, и Павел почитал это за большую честь. Отец и сын болтали. Грациозный, сильный мальчик сидел перед отцом в непринужденной позе, озаренный косым лучом яркого вечернего солнца. Иосиф снова мысленно сравнивал сына Мары с сыном Дорион, и его еврейский сын показался ему топорным.

Из расспросов он узнал, что Павел теперь читает «Одиссею», как в школе, так и с Финеем, а именно, пятнадцатую песнь. Сам Иосиф ревностно изучал Гомера еще во время своего первого пребывания в Риме. И вот он добродушно, с непривычным смущением и вместе с тем с гордостью процитировал Павлу несколько стихов. Мальчик вежливо слушал. Тяжеловесно прозвучали в устах отца благородные греческие слова. Евреи — варвары. Они портят греческий язык своим произношением; конечно, раз его отец варвар, то надо гордиться, что принадлежишь к варварам, но когда отец кончил, Павел все же не мог устоять перед искушением тоже процитировать несколько стихов с тем безукоризненным выговором и той элегантною модною напевностью — не то проза, не то песнь, — как его научил Финей. Иосиф, отнюдь не обиженный, с радостью слушал прекрасные строки, столь благозвучные в устах сына. Да, уж греческий-то он знает, этот Финей. Как гордился своим греческим языком сам Иосиф, когда он писал книгу о Мак-

кавях! Теперь он понимает, насколько его язык был убог. Финей следовало бы перевести его «Псалом гражданина вселенной». Как жаль, что этот грек так коварен!

Мальчик продолжал цитировать: «Странствую также и я... меж людей бесприютно скитаться удел мой...» Павел кончил, стихи еще реяли в воздухе. Иосиф слушал только их звучание, теперь он вдумался в их смысл и почувствовал их горечь.

— У меня плохое произношение, — сказал он вдруг, без видимой связи, это прозвучало как просьба и как извинение.

Он спрашивал себя, каким комментарием к Гомеру пользуется Финей; существовало четыре или пять очень хороших комментариев, один из них был полон антисемитских выпадов, а именно — комментарий Апиона. «Если он пользуется Апионом, — решил Иосиф, — я вышвырну его вон». Но он не осмелился спросить сына.

Тем временем Павел в тайнике своего широкого рукава машинально мял мастику, которую там припрятал.

— Что ты там возишься? — спросил Иосиф.

Мальчик, который только что был преисполнен гордости и чувства превосходства над отцом благодаря столь великолепному греческому произношению, теперь густо покраснел. Иосиф добродушно рассмеялся, он смеялся редко. Но при этом подумал: «Они его учат всему, о чем знают, что мне это ненавистно и запрещено. Если Финей пользуется комментарием Апиона, я вышвырну его».

Несколько дней спустя он вошел в комнату Павла, когда Финей давал урок. Иосиф тихонько сел и стал слушать. Финей обстоятельно разбирал стихи, подробно анализировал их, не отступая ни перед какими трудностями, умел все преподнести ребенку понятно и занимательно. Иосиф был заинтересован, — Гомер был для греков тем же, чем для иудеев Библия. Гомер состоял весь из красивых, ярких выдумок и фантазий, но эти фантазии можно было комментировать очень остроумно. Это был другой метод, но он являлся хорошей школой. Было бы забавно прощупать Гомера теми методами, которые применялись в иудейских университетах при комментировании и толковании Библии. Так он попытался бы объяснить Павлу Гомера. Жаль, что этого нельзя.

Иосиф перебирал рукописи, лежавшие на столе, улыбаясь, с интересом взрослого к детской забаве. Вдруг, небрежно перелистывая открытую книгу, — это был один из

тех модных папирусных томов, которые можно было листать и которые Иосиф терпеть не мог,— то ли дело старые солидные свитки пергамента! — у него замерло сердце и мысль. Неужели? Он перелистал начало. Да, это был комментарий Апиона.

«Спокойствие! — сказал себе Иосиф. — Держать себя в руках, не показывать своего гнева в присутствии сына. Я должен его вышвырнуть. Если он осмелился на это, я не могу его больше щадить; это было бы безумием. Но интересно, хватит ли у него наглости при мне читать мальчику книгу этого пса». Иосиф с трудом следил теперь за словами Финей, его горячие глаза были затуманены гневом, он тяжело дышал. Но он был уверен, что до сих пор Финей еще не цитировал Апиона. Он молча слушал, ждал.

Смышленный Финей давно приметил, в чем дело. После своей последней работы с Иосифом он был уверен, что когда-нибудь, и даже скоро, Иосиф откажет ему в месте и куске хлеба. Однако это мало его тревожило. Потребности у него были скромные, а закон обязывал Иосифа обеспечить своему вольноотпущеннику прожиточный минимум. Правда, Финею было бы жаль, если бы у него отняли возможность влиять на мальчика, которого он полюбил. Но он отнюдь не намерен был ради этого отречься от своего эллинизма и своей эллинской истины.

И очень спокойно, — прошло не больше получаса с тех пор, как Иосиф вошел в комнату, — он сказал:

— Апион по этому поводу замечает. — И он берет книгу и начинает из нее цитировать.

Иосиф прерывает его.

— Вы действительно хотите ознакомить мальчика с этими комментариями? — спрашивает он. — Моего мальчика? — Его голос звучит хрипло, он понижает его, чтобы не всплыть, он говорит тихо, но в слове «моего» — целый мир негодования.

— Разве вы считаете комментарий Апиона к Гомеру плохим? — спокойно отвечает Финей вопросом на вопрос, между тем как Павел с любопытством, удивленно переводит глаза с одного на другого. — Но об этом мне незачем спорить с писателем Иосифом Флавием, — продолжает Финей любезно. — Кого вы знаете, кто нашел бы более удачные слова для похвалы писателю, чем этот Апион? Обратили вы внимание на то, что сенатор Марулл в торжественной речи перед вашим бюстом нечаянно сослался именно на слова Апиона? Я думаю, едва ли существует лучший способ

объяснить нашему Павлу, — он чуть-чуть подчеркнул слово «нашему», — как высока и благородна профессия его отца.

Он снова положил книгу на стол. Иосиф невольно схватил ее, обычно он обходился очень бережно с написанным, но тут не мог сдержаться и схватил книгу так неосторожно, что попортил ее. Но он все еще говорил, понизив голос, негромко.

— И вы действительно даете читать мальчику весь тот грязный вздор, которым этот египтянин оскорбляет народ его отцов?

Говоря так, он думал: «Теперь минута настала, теперь я его вышвырну. Но я должен это сделать спокойно, без раздражения. А все-таки мне жаль, что не он переводит мой космополитический псалом. И учитель он хороший. Как жаль, что он так коварен. Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я — один из них. Но ухо моего сына мне не принадлежит. Оно принадлежит ему. И он отравляет моего мальчика, он крадет его у меня навеки, он марает его дерьмом этого прокаженного египетского пса. И я его вышвырну».

Очень большая, бледная голова Финей стала еще бескровнее. Но когда он ответил, его голос продолжал, как всегда, звучать спокойно, изысканно и холодно.

— Я не знаю, пропустил бы я в комментарии к Гомеру антисемитские места или нет, — ведь они не существенны. Но я должен сказать: через два или три года я намеревался прочесть с нашим Павлом труд Апиона «Против евреев», а также «Историю Египта» жреца Манефона. — Это были самые яростные антисемитские труды, известные эпохе.

«Спокойствие», — сказал себе Иосиф.

— Вы в школе тоже читаете комментарий Апиона? — обратился он к Павлу.

Его голос звучал сдержанно. Все же в нем был такой угрюмый гнев, что Павел поднялся и, — было это бегством или исповеданием веры, — встал рядом с Финеем.

— Да, — ответил за него Финей, так как мальчик молчал, — они и в школе Никия читают комментарий Апиона. И правильно делают. Я считал бы ошибкой, — добавил он, с бесстрастием естествоиспытателя рассматривая серыми ясными глазами бритое, страстное лицо Иосифа, — не давать мальчику произведений Манефона и Апиона. То, что эти авторы говорят о евреях, может быть, в незначительной своей части и верно, а в значительной — ложно. Я, например, считаю, разумеется, бессмыслицей допущение, чтобы вы когда-нибудь участвовали в убийстве греческого мальчи-

ка, но это мнение разделяется многими выдающимися людьми, и его нельзя просто обойти молчанием. Я не ставлю себе задачей воспитывать нашего Павла так, чтобы он, когда сможет приступить к изучению «Иудейской войны», читал это произведение без критики. Он, вероятно, вдвойне оценит ее достоинства, если будет знать и мнения других.

Судорожное спокойствие Иосифа не устояло перед этой холодной, вежливой иронией.

— Вы коварно злоупотребили моим доверием, Финей, — сказал он, — вы — негодяй, вольноотпущенник Финей, — и с подчеркнутой осторожностью положил книгу Апиона на место.

Его голос тоже оставался тихим, но в этом тихом голосе невольно прозвучала бесконечная ненависть, и лицо его исказилось. «Что за нелепость я делаю, — подумал он. — Как можно в присутствии мальчика допускать такую нелепость? Вы — негодяй, — сказал я. Это просто безумие, и не сказал ли кто-то обо мне в моем присутствии, что я негодяй? И разве Павел не смотрит на нас? Да, Павел смотрит мне в лицо. Павел слышит мой голос. Павла учили, что человек должен владеть собой и что тот, кто не владеет собой, достоин презрения, варвар. В глазах Павла я достоин презрения. Я для Павла — варвар. Теперь я сам воздвиг стену между собой и Павлом, гигантскую стену. Я — глупец. Правда, Финей — негодяй, но он единственный, кто может научить Павла понимать Гомера, и единственный, кто мог бы перевести мой псалом. И как он стоял тогда в храме Мира, после речи Диона, когда тот обращался к сенаторам! Я — глупец. Я не должен был пускаться с ним в спор».

Мальчик стоял рядом со своим учителем. Засунув одну руку в рукав, он нервно мял кусок мастики, другой схватил Финея за руку. Бледный, высоко подняв брови, смотрел он на отца, до такой степени потерявшего над собой власть.

— Вы были моим господином, Иосиф Флавий, — сказал Финей. — Я ваш вольноотпущенник и, по закону, обязан повиноваться вам и уважать вас. Кроме того, гнев не приличествует мужу, я всегда старался внушать это нашему Павлу, и я не хочу быть тем, кто действует вопреки собственным словам. Что же мне ответить вам, Иосиф Флавий? Не думаю, чтобы я злоупотребил чьим-нибудь доверием. К сожалению, вы сами никогда не говорили со мной о Павле, но госпожа Дорион не раз давала мне возможность беседовать с ней о моих педагогических методах. Она одобряла их.

На этот последний дьявольский аргумент грека Иосифу нечего было ответить. Нет, ему нельзя тягаться с Финеем. Пусть его бюст из коринфской бронзы стоит в храме Мира, пусть он написал книгу, прославленную и Востоком и Западом, но он не мог взять верх над своим вольноотпущенником, он оказался в смешном и глупом положении у себя в доме, ему не дано освободить сына, которого он любит, от лжеучений грека.

— Я ваших методов не одобряю, Финей,— сказал он наконец сухо, это было более или менее удачным отступлением, и его голос не выдал ничего из его горьких, беспомощных мыслей. — Я больше не нуждаюсь в ваших услугах ни в качестве преподавателя моего сына, ни в качестве секретаря.

Он несколько раз провел рукой по книге Апиона, улыбнулся Павлу, который стоял бледный, очень близко к своему учителю, и вышел.

На другой день явилась горничная Дорион и официально спросила от имени своей госпожи, может ли Иосиф принять ее. Иосиф ответил:

— Да, конечно,— но при этом чувствовал смущение, неуверенность.

Затем тут же явилась Дорион, холодная, вежливая. Иосиф не любил прозрачные, как воздух, платья, которые она обычно носила дома. Все же сегодня он предпочел бы увидеть ее в таком платье, а не в выходном туалете. Дорион сразу же, без обиняков, приступила к делу. Выходка Иосифа, заявила она, которую он допустил в присутствии сына, истощила ее терпение. Финей — идеальный воспитатель для мальчика, именно такой, какой Павлу настоятельно необходим. Она больше не желает жить с мужем, отнимающим у ее сына такого воспитателя. Она знает, что этого повода для суда недостаточно, однако — ее друзья разъяснили ей — тот факт, что Иосиф выписал в Рим свою бывшую наложницу и ее сына, — достаточный повод для развода. Поэтому она просит сообщить ей в течение трех дней, соглашается ли он на развод добровольно или хочет довести дело до процесса.

Иосифа охватила бессильная злоба. Он знал, что намерение Дорион не серьезно. Угрозой о разводе она просто хотела принудить его вернуть Финея. Но ни разу еще до сих пор не применяла она столь грубых приемов. Кроме того, она рассказала о нем всем своим друзьям, выставила

его, в связи с этой несчастной историей, в самом неприглядном свете перед этим нахалом, перед невыносимым Аннием, перед тупым, выжившим из ума Валерием, перед всей отвратительной кликой. Притом она же сама довела его до ссоры с Финеем. Разве она, насмехаясь, не предлагала ему вернуть себе Павла? Мрачно, не прерывая, слушал он ее и, когда она кончила, после небольшой паузы, сухо ответил:

— Хорошо, я подумаю.

Еще до наступления ночи он уже раскаивался. Подумает? Вздор. Он же не намерен от нее отказываться. Что? Неужели он расстанется с Дорион и с Павлом только потому, что какой-то там Финей считает Апиона и Манефона хорошими писателями? Он же давно это знал. А что Финей занимается с Павлом не Библией и пророками, а Гомером и Апионом, можно было тоже давно сообразить. Он слишком распускается, он все чаще следует своим порывам, а не голосу разума. Нужно принимать ванны похолоднее, тогда он не так легко будет терять власть над собой. Он вел себя недостойно. Его сын, так хорошо владеющий собой, воспитанный на провозглашенных стоиками принципах самообладания, не скоро простит ему.

Надо все это дело исправить.

Не долго думая, без доклада, идет он к Дорион, отворяет дверь. Она лежит на кушетке, не подкрашенная, исходит злобой и слезами, ее глаза уже не светлые и неистовые, они тусклые, — обиженные детские глаза. Он садится рядом с ней, обнимает ее за плечи, уговаривает.

Между двумя объятиями они заключают соглашение. Все остается по-старому. Он отменяет отставку Финея. Она больше не будет требовать изгнания Мары и скажет Финею, чтобы он избавил ее сына от чтения Апиона и Манефона.

Принцесса Береника только что плавала в небольшом бассейне своего афинского дворца; теперь массажист, под надзором лейб-медика, умащал ее благовониями и массировал. Когда она откидывала голову, кожа на ее шее казалась гладкой и эластичной, но когда держала голову прямо, то, несмотря на весь косметический уход, на шее намечались морщинки.

Пока вокруг нее хлопотали лейб-медик, массажист и камеристка, она болтала со своим братом, царем Агриппой. С детских лет брат и сестра были очень дружны. От него

у нее не было тайн, она не стыдилась своей наготы, деловито расспрашивала его, не выглядит ли она старой и дряблой. Зеленоватый, водянистый свет наполнял низкие своды купальни и гимнастического зала, в нем царила приятная прохлада.

— Следовало бы увеличить бассейн,— заметила Береника, но тон ее был рассеянный.

— Почему бы и нет? — отозвался так же рассеянно Агриппа.

Брат и сестра, самые богатые из восточных властителей, были известны всему миру своей страстью к строительству; однако сегодня ни ему, ни ей не до строительных проектов.

— Крепче разминай, крепче,— поощряла Береника македонского массажиста, теперь работавшего над ее ногой.

— Не слишком крепко, ваше высочество,— предостерег врач.— Вы этим только хуже сделаете, и вам будет больно.

Лицо Береники было действительно слегка искажено. Но все присутствующие отлично знали, что она пошла бы на удесятеренную боль, если бы только это могло хоть чуточку ускорить срастание ее ноги.

— В самом деле, никто ничего не заметил? — тревожно спрашивала она уже третий раз у брата.

— Я бы тебе сказал, Никион,— успокаивал ее Агриппа.— Разве я от тебя скрыл бы? Подтвердите, доктор,— обратился он к врачу.— Разве мы не уговорились ни при каких условиях не обманывать Никион? Она должна знать все совершенно точно, каждую деталь.

— Вы мне сегодня дали так мало повода, ваше высочество, беспокоиться за вас,— заявил врач,— что у меня действительно была возможность изучать лица и на трибуне и на улице. Никому и в голову не пришло, что у вас что-то неладное с ногой.

— Когда я в длинном платье,— соображала вслух Береника,— то теперь, вероятно, уж почти незаметно, ну, а когда нога видна?

— Я прислушивалась к разговорам,— вмешалась камеристка,— в Греции так же, как в Сирии и в Египте, все думают, что принцесса медлит со своим отъездом в Рим только из-за волос и своего обета.

Береника была мужественна, она привыкла во всех случаях справляться с трудностями сама. Но ей не терпелось слышать все новые подтверждения того, что ее нога заживет вполне. Она требовала все новых заверений. Сегодня утром ей здесь, в городе Афинах, воздвигли почетную арку; церемония, с которой она недавно возвратилась, была

долгой и утомительной,— говорил губернатор провинции, афинский градоправитель, глава Академии, она отвечала, и все это время ей пришлось стоять. Она устала, она чувствовала, что выдержала испытание.

— Крепче разминайте, крепче,— снова сказала она. Несмотря на мнение врача, она все же считала — чем больше тренировки, чем сильнее боль, тем скорее можно добиться выздоровления.

Она одарила город действительно по-царски. Выстроила большую галерею для прогулок, роскошные бани. Сегодня вечером градоправитель еще раз явится к ней. Она знает зачем. Греция прославляет ее страстную любовь к греческой культуре. Она — единственная женщина, которой Афины воздвигли почетную арку. Теперь греки надеются, что под ее влиянием Тит вернет городу и провинции права и привилегии, дарованные им Нероном и отнятые Веспасианом. Береника готова ходатайствовать за них, она рада, что ее так уверенно считают будущей императрицей; но не без тревоги думает она о том, что сегодня вечером на аудиенции ей придется во второй раз взять себя в руки и представительство. Правда, речи она может слушать сидя, но когда придется отвечать, она будет вынуждена подняться и стоять довольно долго. Дисциплина. Тогда, перед самым отъездом Тита в Иерусалим, на большом прощальном банкете в Александрии, Тит говорил о римской дисциплине; он говорил с глубоким убеждением, и Береника очень любила его тогда за эти слова. Теперь ей дана возможность показать свою выдержку. До сих пор она, кажется, держалась неплохо.

Еще три недели — это крайний срок, больше откладывать отъезд в Рим нельзя.

— Справимся мы, Стратон,— обращается она к врачу в сотый раз,— за три недели?

— Ваше высочество,— в сотый раз заверяет ее врач,— вы справитесь, даже будь у вас половина вашей энергии.

Массаж кончен. С помощью камеристки врач Стратон обкладывает распухшую сломанную ногу целебными травами и забинтовывает, затем они оставляют Беренику и ее брата одних. Она лежит на кушетке в зеленоватом свете наполненного водяными парами зала, лежит нагая, машинально поднимает и опускает больную ногу, она приучила себя тренироваться непрерывно, вопреки всем уговорам врача.

Но теперь, после того невероятного напряжения, которого от нее потребовала сегодняшняя церемония, и перед

аудиенцией, которая снова утомит ее, Береникой, несмотря на все, овладевает огромная усталость. Перед братом она может дать себе волю, излить душу, пожаловаться. Она лежит обессиленная, закрывает глаза, под тонкими, подбритыми бровями лиловеют морщинистые веки. Она не видит брата, но чувствует, что он смотрит на нее, он с ней одно, этот человек, любящий ее больше всех на свете. И шепотом, по-арамейски, как в давние годы, она начинает бессвязно бормотать. Она уверена, что он понимает ее, она должна высказать то, что передумала бесконечное число раз, должна пожаловаться, обвинить бога и мир за то, что с ней случилась эта нелепость.

— О Агриппа, о брат мой,— жалуется она,— и зачем губернатору надо было устраивать эту охоту в мою честь? Если кто мне друг, так это Тиберий Александр. И почему дал он мне этого проклятого коня Саксиона? И почему со мной случилась такая бессмысленная беда? Скажи мне, брат мой, объясни. Я от этого с ума сойду. Когда старик умер, я была так уверена, что стану второй Эсфирью. Ты сам перестал звать меня Никион и всегда звал только Эсфирь. Теперь ты давно не звал меня Эсфирью. Да, я знаю, это было счастьем в несчастье, и все сделали всё, что было в их силах. Счастье, что я на охоте смогла выдержать боль. Счастье, что только девять человек знают о моем падении с лошади и что они надежны, все девять. Тиберий Александр не проговорится, это не в его интересах, а остальные от нас зависят,— я знаю,— и ты им дал понять, что они получают свободу и богатство, если будут молчать до конца, и что они не укроются от тебя и будут устранены, если проболтаются. Твоя идея с обетом была тоже благословенной идеей. Ты — мой мудрый брат, и ты знаешь жизнь. Да, все сойдет благополучно, должно сойти благополучно,— повтори мне это еще раз, повторяй как можно чаще.

Но как бы часто ты мне ни говорил и я сама себе ни говорила, все равно червь сидит во мне и продолжает подтачивать меня. Благополучно не сойдет. Это — кара, и от нее нельзя уклониться. Мы хотели быть греками и хотели быть иудеями, а этого нельзя. Ягве этого не разрешает. Мы хотели слишком многого, были слишком горды. Есть только один-единственный грех, за который греческие боги карают совершенно так же, как Ягве, и это — гордыня. Мы впали в этот грех, и вот — кара.

Да, Тит любил меня, любит и сейчас. Но даже если мне посчастливится, даже если мне удастся уничтожить все

внешние следы и не хромать, разве не исчезнет то неуловимое, из-за чего так прославляли мою походку? Да, повтори мне еще раз, повторяй сотни раз, что не за мою походку полюбил меня Тит. Но спроси себя сам, не всегда ли мужчину привлекает какая-нибудь нелепая мелочь, и если ее уже нет, — причем он может даже не замечать ее отсутствия, — всему очарованию конец? О Агриппа, о брат мой, все напрасно! Все, что мы делаем. Как бы хитро ты это ни придумал, все напрасно. Виной — наша гордыня, и вот — кара.

Однако три часа спустя, принимая градоправителя и магистратов города Афин, она была ослепительна и царственна, как всегда. И Афины радовались, что будущая императрица удостоивает такой благосклонности делегатов города.

Принц Домициан показывал своему другу Марулле большие строительные работы, производившиеся им в альбанском имении. Виллу с ее бесчисленными хозяйственными постройками, театр, павильон на озере. Архитекторы Гровий и Рабирий показывали и объясняли, принца сопровождала большая свита: интендант принца, старший садовник, затем Силен, толстый, волосатый карлик, купленный принцем за большую сумму ради его нелепой, отталкивающей внешности и отпускавший злобные шутки пронзительной фистулой.

С тех пор как «фрукт» убедился, что может выжимать из Тита деньги в любом количестве, он уже не знал удержу своим расточительным прихотям. То, что он строил, не должно было уступать государственному строительству. Тем более эта вилла, которая предназначалась для Луции, а разве можно найти для Луции достаточно драгоценную рамку? Прихоти принца заставляли архитекторов и инженеров изобретать все новые сюрпризы, причудливые машины, благодаря которым стены зала по желанию раздвигались бы, потолок исчезал бы, словом, все подчинялось бы капризам Луции. В африканских пустынях, в азиатских степях и джунглях люди охотились за странными, страшными и смешными зверями, чтобы населить ими сады Луции.

Было жарко, осмотр всех утомил, Марулл обрадовался, когда он был закончен, и в маленьком сумрачном зале им подали напитки со льдом. Домициан попросил друга честно высказать свое мнение. А тот и не собирался молчать, он в меру похвалил и в меру покритиковал. Марулл понимал

мрачный, величественный юмор принца, в какой бы неуклюжей форме он иногда ни проявлялся. Вначале Марулл сблизился с Домицианом из чисто внешних побуждений, — после того как Веспасиан изгнал Марулла из сената, он хотел отомстить императору дружбой с его нелюбимым сыном. Но постепенно, хотя Марулл ясно видел все недостатки принца, это чисто внешнее сближение превратилось в почти искреннюю дружбу.

Когда Малыш ему так усердно демонстрировал свои новые постройки, Марулл сразу почувствовал, что принц ждет от него чего-то большего, чем простое одобрение. Его предположения вскоре оправдались. Домициан нуждался в его помощи для осуществления оригинальной затеи. Он намеревался на открытии театра при вилле поставить фарс, в котором было бы показано завоевание македонцами восточной варварской провинции.

— Да? — насторожившись, спросил Марулл, причем его колючие светло-голубые глаза пристально рассматривали принца сквозь увеличительный смарагд. Лицо Домициана слегка покраснело, вздернутая верхняя губа растянулась в злобной улыбке. Конечно, продолжал принц, он не имеет в виду какую-нибудь заплесневелую историческую постановку, теперешняя ситуация должна и без особого подчеркивания сразу стать ясной всем.

— Если бы вы, милый Марулл, одолжили мне для спектакля, например, вашего Иоанна Гисхальского, мой братец сразу понял бы, о чем идет речь.

Марулл задумчиво постучал об пол своим элегантным странническим посохом. Он перепробовал все, что только может вкусить избалованнейший человек эпохи, и охладел ко всему. Сенсации развлекали его только в том случае, если они были очень далеки от современности. Может быть, единственный человек, к которому он чувствует привязанность, это именно Иоанн Гисхальский, его раб. Иоанн был в Иудейскую войну полководцем, после командующего войсками Симона бар Гиоры — самая значительная фигура; он побудил галилейских крестьян воевать, он предводительствовал ими. Симона бар Гиору казнили, а Иоанна Гисхальского Маруллу удалось за большие деньги и пустив в ход все свои связи приобрести для себя. Теперь Иоанн всюду сопровождал его и должен был, пользуясь своей превосходной памятью, нашептывать ему имена и характеристики всех встречаемых, которых сам Марулл не мог припомнить. Но Марулл был к нему привязан не ради его памяти. Он хотел, этот стойкий, иметь его подле себя как постоянный

символ судьбы, могущественной и неизбежной, одаренной высшим видением и непостижимой, как символ человеческого величия и человеческого падения, постоянно, насмешливо предостерегающий.

Когда принц попросил одолжить ему Иоанна для спектакля, Марулл заколебался. Все то человеческое тепло, которое в нем еще сохранилось, он отдал этому Иоанну. Сначала он относился к нему как к забаве, ждал, что Иоанн, после стольких суровых и потрясающих переживаний, будет мрачным и патетичным, полным хмурого презрения к людям. Но ничего подобного не произошло. Иоанн, несмотря на свою исключительную память, обнаружил удивительную способность — он как бы без остатка переварил свое собственное прошлое. Некогда он вложил весь свой внутренний пыл в иудейскую кампанию, посылал на смерть десятки тысяч людей, несчетное число раз сам рисковал жизнью, вершил судьбы, а затем и над ним свершилась судьба. Он шел рядом с Симоном бар Гиорой в триумфальном шествии, был подвергнут бичеванию, отдан во власть Марулла. Этим иудейская кампания для него завершилась, пафос этого похода угас. Предприятие не удалось, Иоанн взял на себя все последствия, ликвидировал его. С этими событиями покончено — точка. Начинается новая жизнь.

Только сухого, сдержанного отчета и добился Марулл от Иоанна, — ничего более интересного, как бы умно и осторожно он его ни выпрашивал. Сначала Марулл думал, что этот человек хочет его провести каким-нибудь особенно хитрым способом. Но становилось все очевиднее, что поведение Иоанна вполне искреннее. Какими бы патетическими ни казались римлянам причины войны, этот главный зачинщик поистине затеял ее не из патетических побуждений. Иоанн Гисхальский был раньше мелким галлейским помещиком. Он любил свое имение, в нем жила чисто крестьянская смекалка и практичность, он хотел продавать свое масло с прибылью, увеличивать свои владения и не мог примириться с тем, что из-за моря явились какие-то римляне и вмешиваются в его дела. Против этого нужно было что-то предпринимать, против этого нужно было бороться, если иначе нельзя, против этого нужно было идти войной. Пошли войной, Иоанн был против воли вовлечен в патетику этой войны, он поверил, как поверили сотни тысяч, что она ведется за Ягве и против Юпитера. Но война не удалась, и в глубине души этот трезвый человек был рад отбросить свой пафос. Он пришел к выводу, что

войной дела не поправишь. Значит, следовало искать других методов. Во всяком случае, его ближайшей задачей было снова владеть землей и выгодно торговать маслом.

Такая точка зрения была Маруллу совершенно чужда, но именно поэтому и нравилась ему. Он по-своему любил этого человека. Не раз подумывал он о том, чтобы отпустить его на свободу, хотя боялся, что весьма оборотистый Иоанн найдет способ вернуться в свою Галилею и Марулл лишится его навсегда. Иоанн стал для Маруллы больше, чем прихотью сноба, он относился к нему почти как к другу и очень не хотел бы потерять его.

Когда Домициан выдвинул теперь свое предложение, Марулл был охвачен противоречивыми чувствами. Выступление полководца в пародии на войну, в которой он сам участвовал, может быть, и забавная шутка, однако только в том случае, если пародируемый является победителем, а не побежденным. Иудейская война была чем угодно, но не шуткой, и недостойно теперь, десять лет спустя после победы, высмеивать эту войну. Марулл ничего не имел против, когда людям показывали их слабости в обидной, язвительной форме. Но евреи держались храбро, и если высмеивать их войну, то стрела не попадет в цель. Его еврейские друзья — Иосиф Флавий, Деметрий Либаний, даже сам Иоанн Гисхальский, несомненно, вправе воспринять эту шутку как нечто весьма неудачное, а всю затею — как пошлость и глупость.

Поэтому он пустился на вежливые увертки. Разумеется, идея принца превосходна, но достойна ли она такого торжества? Не отдаст ли она слегка богемой?

Именно колебания Маруллы и раззадорили Домициана. Он сделал из них только тот вывод, что его план очень дерзок. Кроме того, его соблазняла мысль заставить Маруллу сделать то, чего тому не хотелось. Он сам не раз подвергался унижениям и радовался, когда мог унижить другого. Марулл от него зависел. Противник Веспасиана и друг Домициана по необходимости являлся врагом Тита, и поэтому он, Домициан, был его главной опорой. Итак, принц вежливо и злобно продолжал настаивать. Его альбанский театр должен быть достойным Луции, должен заткнуть за пояс все другие театры империи. Не беда, если в его плане есть что-то от богемы, как угодно было заметить, и, быть может, с некоторым правом, его доброму и строгому другу Маруллу. Его театр не предназначен для широких масс. Ему, До-

мициану, важно услышать смех Луции. Для этого ему необходим Иоанн Гисхальский.

- Он упорствовал. Маруллу не оставалось ничего другого, как после некоторых колебаний согласиться. Впрочем, с одной оговоркой: Иоанн Гисхальский, мол, себе на уме. Человека можно заставить умереть, но нельзя заставить сыграть роль.

На обратном пути в Рим он сердился, что Домициан все-таки выманил у него обещание. Разве унижение бес- сильных евреев, которое замыслил «этот фрукт», не является гораздо менее остроумной выдумкой, чем борьба со спартанкой, после которой Веспасиан выбросил его из сената? Эти мужики, эти Флави — вот истинные парвеню; и Домициан — не меньше, чем старик. Старику Марулл не подчинился, он его не боялся, но сейчас он чувствует, что молодой опаснее. Не следовало с ним сближаться.

Но раз уже так вышло, отступать нельзя. Разговор с Иоанном Гисхальским будет не из приятных.

Поэтому Марулл долго ходит вокруг да около, прежде чем приступить к делу. Он, как всегда, с насмешкой говорит о ценах на римские земельные участки. После большого пожара цены продолжают расти. Во всем, что касается земельных участков, у Иоанна необыкновенный нюх, он чувствует, какая часть Рима станет в будущем наиболее населенной, а именно — северная. Спокойно сидит он против Маруллы, поглаживает усы и подкрепляет свое мнение вескими доводами. Но у него нюх не только по части земли, он чувствует также, что у Маруллы сегодня другая забота. Он рассматривает его своими узенькими, хитрыми глазами, настораживается.

Наконец Марулл прерывает разговор о земельных участках и деловито объясняет ему, чего от него желает принц. Сам он находит эту шутку довольно плоской, заканчивает Марулл, и считает, что со стороны принца это дерзость по отношению к нему, Маруллу. Но Иоанн знает, каков «фрукт», и знает его, Маруллу, положение. Вполне возможно, что другой вождь освободительной войны, будучи на месте Иоанна, предпочел бы убить себя или принца, причем, вероятно, удалось бы лишь первое. Иоанн умен и не склонен к неразумному пафосу. Поэтому-то Марулл и выложил ему все без обиняков.

— Мы знаем друг друга, Иоанн, — закончил он. — И тебе известно, что ты для меня больше, чем хороший по-

мощник. Но чтобы ты был хорошим актером, в этом я сомневаюсь. И я считаю нелепой шуткой вынуждать тебя быть им. Мне незачем объяснять тебе, как все это отвратительно.

Пока Марулл говорит, перед Иоанном, перед его хитрым неподкупным крестьянским взором проходит все, что он пережил во время этой войны. Бои в Галилее. Ужасы осажденного Иерусалима, этой опустевшей вонючей клоаки, бывшей за несколько месяцев до того красивейшим городом мира. Яростное соперничество с Симоном бар Гиорой. Как они ссорились, он и Симон, словно петухи, связанные друг с другом за ноги, когда их, связанных вместе, уже несут резать, а они все еще задирают друг друга и клюются. Та вечеря, когда он взял последних ягнят, предназначенных для жертвоприношения, и съел их, и принудил священника обглодать кости. А теперь он должен и все это, и самого себя осмеять в фарсе, на потеху римлянам.

Внимательно смотрит он на тонкие губы Маруллы, дает ему кончить. Затем, не колеблясь, заявляет:

— Хорошо, я согласен. Но я ставлю одно условие: вы наконец дадите мне свободу и сто тысяч сестерциев для покупки участка на севере. Роль-то ведь нелегкая, — добавляет он, и теперь он даже улыбается. — Деметрий Либаний взял бы, по крайней мере, двести тысяч.

Дело в том, что, когда он вызывал в своей памяти картины осажденного Иерусалима, он делал это не с душевным подъемом и не со скорбью, но с удовлетворением. Да, его душу наполняло удовлетворение, все растущее удовлетворение тем, что он пережил эти ужасы не напрасно, что они будут служить средством для его нового возвышения. И пока Марулл говорил, он уже увидел другое, а именно — себя вольноотпущенником, сидящим в римской конторе по земельным делам, где он зарабатывает деньги, чтобы приобрести в Галилее новые оливковые деревья и новые земельные участки. Ибо он родился крестьянином, и его жизнь была бы хороша, если бы он до конца прожил ее крестьянином и крестьянином умер бы в Галилее.

Марулл удивился быстрому согласию Иоанна. Он поистине недооценивал его, этого Иоанна. Он полагал, что Иоанн просто национальный герой, а теперь герой ведет себя, как разумный человек.

— Хорошо, — сказал он, — идет. Но для начала хватит и пятидесяти тысяч.

Домициан, держа в руках письмо, в котором Марулл сообщал ему о согласии Иоанна, побежал к Луции. Она занималась своим туалетом, парикмахер и камеристки трудились над ее прической, стараясь соорудить из бесчисленных локонов некую искусную башню. Домициан был радостно возбужден. Его красивое лицо покраснело, самоуверенно стоял он перед горячо любимой женой, угловато закинув за спину одну руку и держа в другой письмо. Его толстый волосатый карлик Силен неуклюже проковылял за ним; карлик старался также угловато закинуть руку за свой горб, подражая своему господину. Принц заговорил быстро и хвастливо, он не обращал внимания на то, что его голос срывается, не мешало ему и присутствие многочисленных рабов — он считал их за собак. Он думал, что веселая Луция так же будет забавляться его планом, как и он сам, он ждал от нее громкого, веселого смеха. В глубине души он надеялся, что после того как он проявил столько изобретательности, чтобы доставить ей удовольствие, она наконец опять позволит поцеловать шрам под своей левой грудью.

— И этот еврей согласился, — закончил он торжествующе. — Я только что получил письмо от Марулла. На открытие театра должен явиться и Кит. Он не может этого не сделать, иначе он смертельно оскорбил бы тебя и меня. Представь себе его лицо, когда он все это увидит.

И он засмеялся резким, высоким, срывающимся смехом, которому карлик шумно вторил высокой, блеющей фистулой.

Луция обернулась к нему. Сначала парикмахер и камеристка продолжали работать над возведением башни из локонов, но они скоро заметили, что безобидный утренний визит принца грозит превратиться в жестокую ссору, и пугливо удалились со своими инструментами в угол. Луция так круто обернула к принцу свое страстное лицо, что наполовину возведенная прическа рассыпалась. Нет, ей отнюдь не нравится идея Домициана.

— Ты с ума сошел, — накинулась она на него. — Удивляюсь, как мог Марулл согласиться на такую нелепую, дурацкую затею.

Она подумала об еврее Иосифе и о том, что она читала у него про этого Иоанна. Ее большие, широко расставленные глаза смотрели на супруга гневно, презрительно.

Домициан не понимал, чем его план ей не понравился. Он невольно вспомнил и колебания Марулла. Марулл сказал, что это отдает богемой. Или это только более вежливая

замена слова «безвкусица» и «нелепость»? Нет, его идея хороша. Луция просто не в духе. Опять все словно сговорились испортить ему удовольствие. Карлик Силен выступил вперед, его гротескное лицо выражало идиотскую надменность, он пародировал горделивый гнев Луции. Пинком ноги принц швырнул его в угол. Затем к нему тотчас же вернулась привычная вежливость. Сильно покраснев, но с любезной, почти примирительной улыбкой он сказал:

— Вы сегодня немилостивы, принцесса. Может быть, вы слышали только наполовину то, что я вам рассказывал. Кажется, ваши рабы неловко обошлись с вашей прической. Вам следовало бы, может быть, держать их строже. Теперь мы поговорим о другом, вы позволите мне позднее спокойно объяснить вам мою идею.

Но Луция, вспыхивая и прямая, отнюдь не постеснялась унижать его и дальше перед рабами.

— Можешь не трудиться, Малыш,— сказала она резко.— Замаринуй свою пошлятину, пусть она полежит, пока найдется кто-нибудь, кому она понравится. Я не приеду в Альбан, если там будет исполняться что-нибудь из того, о чем ты говорил.

Домициан вспотел. Он вовсе не собирался отказываться от своего плана, но считал разумным принимать Луцию такой, какая она есть. Он сел, начал вежливо и непринужденно болтать о пустяках. Позвал даже карлика из его угла и предложил ему действовать дальше. Но Луция отвечала односложно и в конце концов заявила, что она сегодня не в настроении и была бы ему очень благодарна, если бы он ушел и дал слугам спокойно одеть ее. Домициану поневоле пришлось принять это за шутку, и он вежливо и с достоинством удалился.

Однако Луция знала, что, если он вбил что-нибудь себе в голову, его не легко переубедить. Она была добродушна, и она любила своего Домициана. Она решила, хотя бы и против его воли, уберечь его от скандала.

Всего несколько дней спустя, 4 сентября, при открытии больших двухнедельных игр в театре второго квартала, она нашла случай выполнить свое намерение. Луция сидела в императорской ложе. Тит казался добрым и особенно хорошо настроенным. Взгляд его уже не был таким тусклым и затуманенным, как в первые недели его правления,— нет, теперь он смотрел на нее зрячими глазами, и, когда говорил, в его голосе был легкий металлический звон, как в лучшие времена. Она никогда не одобряла происков Домициана против Тита; она любила развлечения, любила

блеск, но принадлежала к слишком высокому роду, чтобы быть честолюбивой. Кроме того, она чувствовала в отношении Тита к Беренике подлинную страсть, и постоянство этой привязанности импонировало ей. Она впервые встрети-лась с Титом после происшедшей в нем перемены, он по-нравился ей, в нем действительно уже ничего не осталось от Кита, и она решила тут же пресечь в корне безвкусный и коварный план Домициана.

Тит словно угадал ее мысли. Ибо в антракте он спросил ее, как подвигаются дела с ее виллой в Альбانه и скоро ли можно надеяться на открытие театра. Она посмотрела смелыми, большими, широко расставленными глазами прямо в его более тусклые, жесткие, узкие глаза и ответила, что открытие театра зависит не от окончания постройки, а скорее от того, что она разошлась с мужем во взглядах на самую постановку. И она откровенно рассказала о плане Домициана.

Тит внимательно посмотрел на нее, заметил, что это очень интересно, поблагодарил, улыбнулся. Она нравилась ему, она была истинной дочерью фельдмаршала Корбулона, который сумел прожить так достойно и весело и так до-стойно и бесстрашно умереть. Его удивляло, как это До-мициан ухитрился завоевать ее сердце и удержать ее, он завидовал ему. Он завидовал и ей, ее самоуверенности, ее силе, ее истинно римской натуре.

На сцене спектакль продолжался. Тит смотрел сбоку на Луцию, которая сидела рядом. Она и ее род не такие, как он и его родичи, скованные тысячью оговорок и сомнений. Они сами себе судьи, к мнению света они равнодушны. Они любят жизнь, они не боятся смерти и именно поэтому могут наслаждаться жизнью. Она, по-видимому, уже за-была свой разговор с ним и была всецело поглощена про-исходившим на сцене. Не будь Береники, эта женщина была бы единственной, способной увлечь его. Врачи сказали ему, что он навсегда утратил способность иметь сына. Он погрузился в себя, размышлял, грезил. Он видел щеку Луции, ее локоть и руку, на которую она оперлась щекой. В нем проснулась слабая, безрассудная надежда, что, не-смотря на приговор врачей, эта женщина все-таки могла бы родить ему сына.

Два дня спустя, к его удивлению, появился Домициан. Малыш держался вежливо, почти покорно. Вероятно, ре-шил Тит, провалившийся план спектакля и недовольство

Луции сделали сегодня буйного братца таким смиренным. Сам Тит сиял, он чувствовал себя бодрым, подтянутым, — предстоял приезд Береники, и то, что брат явился к нему с таким смирением, вызвало в нем еще больший подъем.

Правда, вскоре выяснилось, что принц явился не только побуждаемый сознанием своей вины. Он очень осторожно, но для Тита вполне очевидно, преследовал какую-то определенную цель. Все вновь и вновь заводил он разговор об одном законе, проведенном на днях императором через сенат и значительно усугублявшем наказание за ложные доносы, обвиняющие в оскорблении величества. Очевидно, принца весьма заботило применение и действие этого закона. Но почему — Титу сначала было неясно.

Сам он издал этот закон потому, что в Риме не умолкали голоса людей, считавших, что небо не одобряет его союз с Береникой и пожар — знак этого неодобрения. Нужно было показать массам, как он благочестив и милостив. Этот новый закон был хорошим средством. Меры против оскорбления величества были ненавистны, доносчиков презирали. Тем, что он усилил наказание за ложные доносы, он угождал массам и служил богам.

Правда, ни двор, ни судебные власти не отнеслись к этому новому закону вполне серьезно. Наказания за оскорбление величества были исключительно суровы: смерть, изгнание и в любом случае — конфискация имущества, ибо конфискованные таким образом земли и деньги составляли существенную часть доходов государственной и императорской казны. А тот, чей донос приводил к осуждению обвиняемого, получал большую долю конфискованного имущества. Тит и его министры рассчитывали на то, что из-за такого вознаграждения доносов, невзирая на новый закон, будет столько же, сколько и раньше.

Он как бы играл с Домицианом, на его замечания о новом законе давал поверхностные ответы, отклонялся от темы, оживленно болтал о том о сем. Но Домициан все вновь и вновь искусно возвращался к эдикту против доносчиков, так что Тит спрашивал себя, все больше удивляясь, что, собственно, ему надо.

Наконец Домициан назвал одно имя — имя Юния Маруллы. Он назвал его осторожно, как будто мимоходом. Все же едва оно было произнесено, как Тит сразу догадался, в чем дело. Он усмехнулся, тихо, злобно, удовлетворенно. Оказалось, что, сам того не зная, он создал себе верное оружие против наглости братца.

Дело в том, что исключение из сената оказалось для дел сенатора Маруллы чрезвычайно выгодным; он компенсировал себя за свое социальное падение огромной коммерческой удачей. Пока он был сенатором, ему запрещалось делать доносы. После своего исключения он мог себе позволить обвинить того или иного из своих прежних коллег в оскорблении величества. Марулл был опытным юристом, превосходным оратором и имел полную возможность утолять свой ненасытный финансовый аппетит. Он выступил с девятью доносами, это были сочные доносы. Веспасиан, вечно озабоченный приумножением государственного и собственного имущества, не препятствовал ему, и каждый из таких процессов немало способствовал экономическому преуспеянию как самого Веспасиана, так и его врага Маруллы. Только один-единственный раз, по ничтожному случаю, Веспасиан, ради поддержания своего престижа, оправдал обвиняемого; но при этом экономном императоре наказания за ложный донос были мягкие, и Марулл отделался денежным штрафом.

Когда теперь были введены более строгие меры против доносчиков, Марулл, при его догадливости, сейчас же сообразил, что император, не внося нового предложения в сенат, при некотором желании мог объявить, что закон имеет обратную силу, и применить его против Маруллы. Когда он сообщил об этом Домициану, — впрочем, вскользь, как и подобало стоику, элегантно и беззаботно, — в уме всегда подозрительного и мрачного принца тотчас же возникла уверенность, что при внесении этого закона единственной целью Тита было погубить Маруллу, его друга Маруллу.

Принц считал себя искренним другом Маруллы, хоть и не мог удержаться, чтобы иной раз его не помучить. Именно сейчас, когда рухнул план спектакля, он снова почувствовал, что есть на свете только три человека, к которым он привязан: Луция, Анний, Марулл. Если бы другой так неожиданно предал его, как это сделала сейчас Луция, он стал бы ненавидеть и преследовать его до самой смерти; ее же он любил за предательство тем сильнее. Если бы другой человек стал намекать на то, что его план нелеп, и осмелился обнаружить более тонкий вкус, чем у него, он никогда бы ему этого не простил; Маруллу он любил за это тем сильнее.

Когда Марулл сказал ему об опасности, которая таится для него в новом законе, Домициан тотчас решил спасти

своего друга от интриг брата. Ничего не сказав Маруллу, он отправился к Киту.

У того и в мыслях не было применить этот закон против Маруллы. Но когда он заметил страхи и опасения Малыша, у него хватило хитрости не успокаивать его. Он не сказал ни слова о Марулле. Но упомянул мимоходом, что его советники еще окончательно не решили, следует или не следует придать закону обратную силу. Домициан полагал, что этого делать не следует, тогда пришлось бы тронуть весьма видных людей, которым государственная и императорская казна многим обязана; едва ли следует подогревать эти старые истории, они мало способствовали престижу династии. Довольно слабый аргумент. Домициан и сам это знал, и когда Тит небрежно возразил, что с его стороны очень любезно так оберегать популярность брата, он не смог ничего возразить и ушел недовольный, с трудом сохраняя привычную вежливость.

Сенатор Марулл стоял перед трудной проблемой — следует ли ему действительно отпустить раба Иоанна Гисхальского на волю, как он ему обещал в связи с злосчастным планом Домициана. Никто, конечно, не мог его заставить выполнить свое обещание, а умный галилеянин обладал достаточной выдержкой и не напоминал об этом. Но Иоанн не был для Маруллы просто рабом, и если он хотел, чтобы узы дружбы между ними не порвались, то Марулл не мог оставить его навсегда в этом недостойном звании. Было еще кое-что. Хотя Марулл и не верил в непосредственную опасность, все же, при странных отношениях между Титом и Домицианом, Киту могло вдруг прийти в голову, воспользовавшись законом против донощиков, погубить Маруллу, и было бы досадно, если бы Иоанн попал тогда в руки первого встречного. Итак, Марулл решил отпустить своего Иоанна на волю.

Но перед тем он хотел с его помощью еще раз позабавиться. Марулл, который в последнее время страдал зубами и, следовательно, все усиливающейся мизантропией, находил, что Иосиф со времени выпавшей на его долю высокой чести нежится, особенно сытом самодовольстве, а Либаний, казалось ему, чересчур важничает. Он решил проучить этих своих двух высокомерных друзей, и так как знал, что они считают, будто именно их личности и их деятельность в Риме послужили поводом к Иудейской войне, то счел своего столь низко павшего раба Иоанна

Гисхальского самым подходящим человеком для выполнения этого намерения.

Потому он пригласил к себе Иосифа и Либания, а также Клавдия Регина и несколько других друзей. Актер облегчил ему задачу. Едва только Марулл заговорил после трапезы об Иудейской войне и ее причинах, Деметрий Либаний начал, по своему обыкновению, подчеркнуто просто и тем более многозначительно рассуждать о том, как странно Ягве и рок играют людьми; можно было бы сказать вместе с поэтом: «Так ветер каплями воды играет на широких листьях». Когда он исполнял роль Апеллы, разве он не думал, что оказывает услугу всему еврейству и разве, — это может подтвердить присутствующий здесь доктор Иосиф, — именно это не ускорило решение вопроса о Кесарии и тем самым не положило начало войне? Иосиф молчал. Он не любил вспоминать об этом эпизоде. Но Марулл обратился к нему:

— Выскажитесь, Иосиф, этого хочет наш Деметрий. Неужели действительно вы оба оказались причиной войны?

— Непосредственным поводом — да, — пожал Иосиф плечами, несколько раздраженный.

— А что думаешь ты на этот счет, мой Иоанн? — вдруг обратился Марулл к галилеянину, скромно стоявшему в углу вместе с другими слугами.

Деметрий и Иосиф невольно подняли головы. Марулл отлично знал, что с тех пор, как началась Иудейская война, между Иоанном и Иосифом существовала ожесточенная вражда, актеру же галилеянин всегда был антипатичен. У национального героя должен быть вид вдохновенный, романтический, интересный. А назначение великого актера, его назначение — с помощью остроумной исторической пьесы создать обратный образ. И вот этот Иоанн осмеливался быть тем, кого Деметрий непременно хотел сыграть. Со стороны Марулла — грубая невоспитанность призывать в качестве свидетеля против таких людей, как Иосиф и Деметрий, человека, подобного Иоанну, к тому же раба.

Иоанн скромно приблизился.

— Что вам угодно? — спросил он вежливо.

— Ты слышал, — ответил Марулл, — мнение наших друзей, Иосифа Флавия и Деметрия Либания, о причинах Иудейской войны? Ты ведь тоже принимал участие в этой войне, Иоанн. Не скажешь ли ты нам, как ты на это смотришь?

— Великий актер Деметрий Либаний заявляет, — деловито начал Иоанн, — что причиной войны послужил спор

из-за мест в кесарийском магистрате, но ученые богословы Ямнии утверждают, что виною — грехи Израиля, а еврейские националисты — что произвол римских губернаторов. С другой стороны, «верующие», так называемые «миней», или «христиане», придерживаются того взгляда, что и начало войны, и ее исход зависели от процесса против некоего лжемесии. Как видите, господа, мнения расходятся.

Он умолк, задумчиво погладил короткие усы и снова скромно обвел серыми лукавыми глазами всех присутствующих.

— Вот и наш Иосиф Флавий, — любезно заметил Марулл, — приводит в своей знаменитой книге целый ряд патристических и религиозных мотивов. Но, — ободряюще повторил он, — что думаешь именно ты, Иоанн?

— Я думаю, — сказал Иоанн и взглянул Иосифу прямо в лицо, — что, по сути дела, причины войны гораздо проще и гораздо глубже.

Иосиф решил не участвовать в недостойном споре со своим давним врагом Иоанном; все же против воли он заговорил.

— Что же это за таинственные причины? — спросил он надменно, язвительно.

— Я вам сейчас скажу, доктор Иосиф, — миролюбиво отозвался Иоанн. — Лучше бы, конечно, по-арамейски: ведь мы оба говорим по-арамейски свободнее и не раз беседовали на хорошем арамейском языке. Но это было бы невежливо, думается мне, по отношению к остальным господам. Итак, давайте говорить хоть и плохо, но по-латыни. Я сам в начале войны знал ее причины не лучше, чем вы, может быть, и не желал их знать. Во всяком случае, когда я подстрекал своих крестьян к восстанию, я, так же как и вы, чтобы поднять их настроение, твердил им тысячи раз, что это — война Ягве против Юпитера, и я в это верил. Я был, как вы пишете, одним из зачинщиков ее и вождей, участвовал в ней от начала и до конца, был неоднократно близок к смерти. И я мог бы подохнуть, даже хорошенько не узнав, из-за чего, собственно, ведется война.

— А теперь вы знаете? — спросил все с той же язвительной холодностью Иосиф.

— Да, — ответил спокойно, почти дружелюбно Иоанн Гисхальский. — После войны, находясь на службе у милостивого сенатора Марулла, я имел время все обдумать. И я понял, в чем дело.

— Да выкладывай же наконец! — ободрил его Марулл.

— Тогда,— продолжал Иоанн,— вопрос был не в Ягве и не в Юпитере: вопрос был в ценах на масло, на вино, на хлеб и на фиги. Если бы ваша храмовая аристократия в Иерусалиме,— обратился он с дружеской назидательностью к Иосифу,— не наложила таких подлых налогов на наши скудные продукты и если бы ваше правительство в Риме,— обратился он так же дружелюбно и деловито к Маруллу,— не навалило бы на нас таких гнусных пошлин и отчислений, тогда Ягве и Юпитер еще долго отлично бы друг с другом ладили. Здесь, в Риме, можно было продавать литр фалернского вина за пять с половиной сестерциев, а мы должны были отдавать наше вино за три четверти сестерция, да притом еще драли с нас полсестерция налога. Если этого не понять и не сравнить наши довоенные цены на хлеб с ценами здесь, в Италии, то о причинах войны, выражаясь, как у нас, в Галилее, нельзя знать ни хрена. Я прочел вашу книгу очень внимательно, доктор Иосиф, но цен и экономических данных я там не нашел. Разрешите мне, простому крестьянину, сказать вам: может быть, ваша книга и художественное произведение, но когда ее прочтешь, о причинах войны не узнаешь ни на йоту больше, чем раньше. К сожалению, главное-то вы и упустили.

Регин поднялся с кубком в руке,— из-за больного желудка он пил вино подогретым,— и принялся ходить по комнате, издавая время от времени неясное ворчание, звучащее как одобрение. Иосиф, чтобы показать свое равнодушие, невежливо жевал конфету. Лицо Либания выражало высокомерную иронию, лицо Марулл — наслаждение. Никто не говорил, все напряженно ждали, что скажет Иоанн.

— Я считаю Иудею,— продолжал тот без видимой связи,— хорошей, здоровой страной, а ее учение — высоким и замечательным, достойным того, чтобы его защищать. Я имею в виду не невидимого бога и не великие слова пророков. Это, конечно, нечто возвышенное, но скорее относится к области нашего доктора Иосифа. Для меня лучшее в нашем учении — аграрные законы, и прежде всего закон о субботнем годе. Исключительное, мудрое мероприятие, и жаль только, что из-за жадности иерусалимской аристократии его так часто саботировали,— язвительно добавил он, повернувшись к Иосифу.— Я думаю,— обратился он опять к остальным,— что этот наш субботний год будет способствовать тому, что мы перекроем Рим. Вы позвольте мне, сенатор Марулл, высказать мое мужицкое мнение откровенно. «Побежденные диктуют победителям

свои законы», — цитируете вы, негодуя, изречение вашего Сенеки. Наш доктор Иосиф, как я слышу, хочет этого добиться с помощью духа. Это все воздушные замки. Но благодаря конкуренции нашего сельского хозяйства мы в недалеком будущем, мне кажется, сможем действительно диктовать вам законы, и весьма осязательные. Дело в том, что сельское хозяйство Италии разрушено, сенатор Марулл. Вы, из политических соображений, импортируете в Рим хлеб и, чтобы раздавать безвозмездно или по очень низким ценам, заполняете склады таким количеством зерна, что раз и навсегда сделали нерентабельным все сельское хозяйство Италии. Взамен вы специализировались на высокосортных винах. Вначале такое плановое хозяйство было неплохо, оно даже было замечательным. Но рынок стал давно уже слишком тесным для ваших вин. В Африке перепроизводство вина. Испания уже сейчас покрывает восемьдесят процентов своих потребностей продуктами собственного производства. Галлия — сорок, пол-Азии снабжаем мы, иудеи; скоро мы будем снабжать всю. Неужели вы думаете, что сможете жить спросом на вино одной Англии и обеих германских провинций? Во всех отраслях вы энергично взялись за дело. Но к этой проблеме вы не решаетесь подойти уже в течение столетия. А теперь поздно перестраивать сельское хозяйство Италии, и сделать его жизнеспособным вы тоже не можете. Не от эллинского духа, не от иудейского и не от варваров погибнет Рим, но из-за разрухи в своем сельском хозяйстве. Это я говорю вам, сенатор Марулл, я, Иоанн Гисхальский, галилейский крестьянин. Одной спекуляцией земельными участками да мировым владычеством долго не проживешь. Без разумно организованного сельского хозяйства не обойдешься. Этим я отнюдь не хочу умалить художественные достоинства вашей книги, — закончил он сухо, вежливо обращаясь к Иосифу.

— А не кажется ли вам, что ваша точка зрения немного слишком аграрна? — спросил Деметрий, так как Иосиф молчал. В его голосе прозвучала едва уловимая ирония. Но пока Иоанн говорил, у него было время так препарировать эту иронию, что в ней прозвучало все презрение идеалиста к грубому материализму человека земли.

— Мы, галилеяне, — миролюбиво заявил Иоанн, — убежденные крестьяне. Поэтому ученые господа в Иерусалиме, — улыбнулся он, — и заменили слово «дурак» словом «мужик», или «галилеянин».

Все смотрели на Иосифа, ожидая, что он возразит. Но Иосиф оставался верен своему решению и не возражал ничего. Доводы Иоанна были смешны — настоящие мужицкие доводы, доводы черепахи против орла: «цены на хлеб», «цены на вино», «цены на масло». И от этого якобы зависит политика, из-за этого происходят войны? О, он сумел бы ответить Иоанну! «Вы, пожалуй, захотите,— мог бы он ему сказать,— объяснить исход из Египта, странствование в пустыне, создание царств Иудейского и Израильского, борьбу с Вавилоном, Ассирией и Элладой тоже ценами на хлеб и вино?» Но он сделал над собой усилие и промолчал. Ему предстоят более широкие возможности изложить свою точку зрения. В своей «Всеобщей истории евреев» ему придется все время ссылаться на причины и следствия, и именно там он покажет, что судьбу народов всегда создавала мысль, религиозная идея, — духовное. «Цены, статистика... — думал он. — Я объяснил возникновение войны ходом развития целого столетия, а не несколькими случайными цифрами. Разве в исторических книгах Библии мы находим цены и статистические данные? Разве есть цены и статистические данные у Гомера? Какой он дурак, какой мужик, этот галилеянин! И чего он хочет? Ягве давно осудил его. Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них. А чье ухо открыто ему? Марулли хочется развлечься, поэтому он и выпускает его против меня с этими цифрами. Но я отнюдь не намерен попасться на удочку этого римлянина».

Все же его против воли грызло воспоминание о том, что и Юст из Тивериады в немногих тоненьких книжечках своего исторического исследования приводил цены и статистические данные.

Тем временем Деметрий Либаний злился, что на него перестали обращать внимание. Не для того взял он на себя вину в разрушении храма, чтобы дать Иоанну возможность прочесть целый аграрно-экономический доклад. Что он воображает? Хочет пересадить сюда свою Галилею? Здесь еще, слава богу, не утрачено понимание искусства, и та интонация, с которой актер Деметрий Либаний произносит какое-нибудь слово, все еще интереснее римлян больше, чем цены на масло во всех провинциях, вместе взятых.

Так как Иосиф молчал и Либанию тоже нечего было сказать, то Клавдий Регин в конце концов задумчиво проговорил своим высоким, жирным голосом:

— Жаль, что вы не писатель, Иоанн Гисхальский. При ваших взглядах вы могли бы написать весьма интересную книгу.

Две недели спустя сенатор Марулл, Клавдий Регин и раб Иоанн Гисхальский явились в Большой судебный зал Юлия и предстали перед одной из камер «Суда ста». В землю воткнули копье в знак того, что разбирается имущественная тяжба: этот суд разбирал исключительно гражданские дела.

Судебная процедура совершалась весьма торжественно. Ее возглавлял сам председатель суда, один из восемнадцати верховных судей империи, ликторы были в полной форме, с топорами и пучками прутьев. Но странно противоречило этой торжественности то, что суд решал одновременно множество дел. Восемь камер заседали в большом зале; они были отделены друг от друга только занавесками, так что время от времени можно было сразу слышать разбирательство нескольких дел.

Очень скоро были вызваны стороны мнимого процесса «Клавдий Регин против Юния Марулла».

Регин тронул «удлиненной» рукой, то есть маленькой палочкой, плечо Иоанна и произнес формулу: «Я считаю этого человека свободным».

Судья спросил Марулла:

— Имеете ли вы что-нибудь возразить на это?

Марулл молчал. Тогда ликтор коснулся «удлиненной» рукой плеча Иоанна и сказал:

— Этого человека считают свободным. Кто имеет возражения?

Марулл снова промолчал.

Тогда судья сказал:

— Я заявляю, что этот человек, согласно римскому праву, свободен.

Когда процедура была закончена, Марулл обратился с горькой усмешкой к Иоанну:

— Так, Иоанн, а теперь я тебе дам пятьдесят тысяч сестерциев, и когда их будет пятьсот тысяч, ты, если тебе угодно, можешь отправляться в Иудею.

Иоанн сказал:

— Дайте мне десять тысяч и отпустите меня, когда будет сто тысяч.

Клавдий Регин внимательно слушал.

Марулл подумал, что с его стороны, пожалуй, было неосторожно начать этот разговор в присутствии издателя. Но теперь ему не оставалось ничего иного, как согласиться.

После трудов, связанных с принятием власти и большим пожаром, Тит уехал на короткое время отдохнуть в сопровождении одного только врача Валента в свое имение возле Коссы.

Но отдых оказался еще короче, чем он предполагал. Уже по истечении первых дней из города прибыла весть о новом несчастье. Эпидемия, поглотившая в Египте и Сицилии столько жертв, теперь, в конце лета, достигла Рима. За вчерашний день медицинской помощью было зарегистрировано сто восемнадцать смертных случаев.

— Не вернуться ли нам в Рим, Валент? — спросил Тит своего врача и доверенного.

Валент запротестовал. Он привел немало доводов. Эпидемия разразилась очень некстати. Правда, он великий диагност, но при чуме диагносты не нужны, ее симптомы до того очевидны, что их узнает сразу и ребенок. Нет, теперь он в Риме никакой особой славы не пожнет. Город и так предпочитает египетских, еврейских и греческих врачей. А что греки и египтяне более опытни в борьбе с чумой, с этим спорить не приходится.

Лейб-медик Валент — холодный, усталый человек, реалист. Он достиг того, чего мог достигнуть, у него бесчисленные последователи, он создал новую школу. Правда, карьера далась ему нелегко. Несмотря на свои новые методы, он едва ли возвысился бы, если бы ему не удалось сделать нескольким дамам-аристократкам в критическую минуту удачный аборт. Да и потом возникали трудности; хотя он получал самые высокие гонорары в Риме, но прошло еще немало лет, пока он добился полного признания, и многие задирающие нос еврейские и греческие коллеги совершенно открыто считали его шарлатаном. Лишь после того, как Тит сделал его своим лейб-медиком, сплетни прекратились. Теперь у него были деньги и слава, и, кроме того, он был доверенным Тита, в известной степени — как бы его соправителем. Он достиг вершины.

Но тому, кто забрался очень высоко, бывает трудно на этой высоте удержаться. Разве не намечается уже некоторое нисхождение? За последние недели с Титом произошла перемена — очень лестная для доктора Валента, но для человека Валента — весьма опасная. Тит стал бодрее, самостоятельнее, грозил от него ускользнуть. А теперь еще эта эпидемия, которую некоторые личности, наверное, используют, чтобы выдвинуться на первый план.

Уже на следующий день выяснилось, что предчувствия Валента имели под собою почву. Когда приехал Клавдий

Регин, император долго совещался с ним, не пригласив Валента. За этот день умерло триста сорок три человека, на следующий день — свыше четырехсот. Чума эта была несколько иного вида, чем известная до сих пор, ее признаками были не черные шишки, а сильный понос и ужасающее охлаждение кожи, а также всего тела. Еврейские и греческие врачи хвалились тем, что им удалось в некоторых случаях добиться исцеления. Они применяли также новые профилактические меры, и, как видно, с успехом. Валент был озлоблен.

Многие из состоятельных римлян, хотя они сейчас, в конце лета, только что вернулись в город из своих имений, снова покинули его. Тит, несмотря на совет врача, вернулся в город. Клавдий Регин сказал ему, что его враги истолковывают мор как новое знамение богов, и поэтому он тем более должен показать себя по отношению к римлянам добрым отцом.

В городе его ждало письмо от Береники. Она находила, что не следует праздновать их встречу, пока в Риме неистовствует чума. Она надеется, что в течение двух-трех недель эпидемия несколько утихнет, и тогда она сможет приехать. Когда до Тита дошла весть об эпидемии, его первой мыслью было именно то, что ему теперь придется еще дольше ждать Беренику. Получив письмо, он подумал было, не поехать ли ей навстречу в Грецию. Но в следующее же мгновение отверг этот план. Он был уверен в себе, был уверен в Беренике, он не хотел, чтобы его римляне считали своего императора трусом. Эпидемия — хороший повод, он даст ему возможность показать себя.

И действительно, римляне на этот раз вполне оценили его поведение; да, они даже нашли, что после приезда Кита эпидемия приутихла.

Как только слухи о поветрии дошли до ушей Дорион, она предложила Иосифу уехать из города, ибо, несмотря на присутствие императора, бежали все, кто мог себе это позволить. Вилла у Альбанского озера еще недостроена, но, на худой конец, можно жить и там, а потом — они все равно будут большую часть дня на воздухе. Иосиф нашел разумным ее намерение вместе с мальчиком уехать из зачумленного Рима. Но он ненавидел альбанскую виллу и предложил поехать в Кампанию. Она настаивала, дело дошло до резкостей, и стало ясно, насколько их примирение непрочное. Наконец он заявил, что чувствует себя вне

опасности в руке своего бога, и остался в Риме, а она с Павлом и Финеем уехала на виллу.

Дорион было тяжело, что она в ссоре с отцом. Она любила своего мужа горячее, чем отца, но ее отношения с отцом были ровнее; они с отцом понимали друг друга, с Иосифом — нет. Она решила, несмотря на размолвку, отправиться к отцу и еще раз попросить его исполнить ее заветное желание и расписать альбанскую виллу. Ведь он же все равно не может оставаться в зачумленном Риме.

Дорион уже отдала приказ приготовить носилки, но вдруг ей вспомнились вульгарные, недостойные слова, сказанные отцом об ее муже. Нет, она не может поехать к нему. Сама она имеет право бранить Иосифа, поносить его при посторонних, но только она одна, и больше никто, даже ее отец. Все же она попыталась преодолеть себя. Ведь любит же она отца, а между ней и Иосифом отношения становятся все хуже. Как ей жить дальше, не примирившись с отцом? Она приказала своим ногам идти, но они не шли. Не повидавшись с отцом, она уехала на виллу.

В Альбане было чудесно. Благородные очертания горы вздымались к небу, вширь и вдаль раскинулось море, прелестью было озеро, воздух легок. Постройка быстро двигалась вперед, и Дорион с увлечением давала все новые указания. Но стены оставались пустыми; она не могла принудить себя поручить роспись другому, хотя архитектор Гровий рекомендовал ей столько прекрасных живописцев. Она видела пустые стены, и ее мучило, что они пусты.

Иосиф остался в Риме. Он сказал правду. Он был действительно преисполнен высокомерной, фаталистической уверенности. Мор не коснется его. Но исчезла всякая надежда, что отношения между ним и Дорион наладятся. Он унижался перед ней, он отказался от своего сына Павла, разрешил ей постройку виллы. И это бесполезно, он ничего не добьется, она хочет иметь все или ничего. Он может удержать ее, лишь целиком подчинившись ее воле и отказавшись от самого себя.

В эти дни он часто ходил в Субуру, к Маре, к своему сыну Симону. Он советовал ей тоже уехать из Рима, но она привыкла в Галилее относиться к эпидемиям как фаталистка. Мара хотела остаться там, где был Иосиф; втайне она радовалась, что из-за эпидемии видела Иосифа чаще. Она теперь почти всегда носила свои плетеные надушенные сандалии; ей хотелось быть для него в праздничной готовности.

Иосиф сидел в уютной комнате, которую стеклодув Алексей предоставил в распоряжение Мары. Даже сейчас, несмотря на эпидемию, в Субуре царило такое движение, что шум проникал в комнату. Иосиф читал, иногда разговаривал с Марой или занимался со своим сыном Симоном-Яники, своим еврейским сыном. Из-за мора Симон не мог, как обычно, гонять по улицам; разве у Мары действительно не было достаточных причин считать мор небесным даром? Чтобы избежать заразы, мальчик был вынужден сидеть дома и волей-неволей занялся книгами. Иосиф принес ему «Иудейскую войну». Это была арамейская версия, первоначальная, с меньшими компромиссами, чем греческая. Симон заинтересовался книгой, он был смышленным мальчиком, и Иосиф испытывал раскаяние и горечь, когда замечал, как его маленький сын все вновь и вновь ломает себе голову над теми местами, где Иосиф из политических соображений что-нибудь пропустил или затушевал. Впрочем, в этих случаях Иосиф начинал мысленно пререкаться с Иоанном Гисхальским и Юстом из Тивериады и высмеивать их за их цифры и статистику.

Мара сидела тихая и довольная, когда Иосиф, ее господин, беседовал о своей книге с мальчиком, которого она ему родила. Верховный богослов Иоханан бен Заккай был поистине святым человеком, его голосом говорил Ягве.

Больше всего интересовало Симона-Яники в «Иудейской войне» описание всего относящегося к оружию, в частности — к военным орудиям. Он не мог наслушаться, когда отец рассказывал об артиллерии, осадных машинах, камнеметах, таранах, катапультах и балистах. Коренастый мальчик сидел против отца, быстрые глаза на овальном лице глядели на него внимательно, Симон неукротимо расспрашивал о каждой детали. Скоро он твердо усвоил разницу между оксиболом и петроболом, между прямолинейным натяжным приспособлением, эвтитоном, и угловым натяжным приспособлением, палиноном. Он знал, как строится орудие, натяжное приспособление которого проходит только раз между стяжными болтами, орудие, у которого стержень натяжного приспособления после первого оборота проходит вторично тот же путь между стяжными болтами. Он так заинтересовался всем этим, что, поборов свою лень, стал записывать самое важное и по несколько раз прочитывал записи вслух, чтобы запомнить. И Мара радовалась за своего умного сына.

Пока тянулись эти праздные чумные недели, в голове мальчика Симона возник хитрый план. Иосиф рассказывал

ему о замечательном орудии евреев — о катапульте, прозванной «Большая Дебора». По-видимому, это было гениально сконструированное орудие. Изобретателю пришла смелая мысль соединить с помощью полиспаста горизонтальный вал задней части регулятора с тетивой лука. Длина снаряда этой военной машины составляла 1,36 метра; диаметр снаряда — 0,148 метра, дальность — 458,20 метра. И вот Симон решил употребить вынужденное безделье этих скучных дней, когда он был прикован к дому, на то, чтобы сконструировать модель «Большой Деборы», и притом с одним усовершенствованием, — он надумал пристроить особый рычаг, благодаря которому орудие можно было пустить в ход очень быстро и без всяких усилий. Этой моделью он хотел сделать отцу сюрприз.

Но когда он приступил к работе, то вынужден был признать, что своими двумя руками ему не обойтись, их нужно было, по крайней мере, четыре. Он доверился матери, она стала помогать ему по мере сил, но от ее усердия было мало толку; женщины не годились для таких чисто мужских дел. Вот если бы тут был его друг, его товарищ Константин.

Но тот, с тех пор как началась эпидемия, не показывался. Так как Симону было внушено, чтобы он, из опасения заразы, общался с другими людьми как можно меньше, то, вероятно, его другу Константину сделали такое же внушение. Все же теперь, когда речь шла о «Большой Деборе», Симон решил, что эти страхи преувеличены, и пустился в путь, чтобы повидать своего товарища. Матери, пытавшейся удержать его, он заявил, что должен раздобыть мягкое дерево для своей модели.

Однако в доме друга его ждала неприятность. Дело в том, что отец Константина, полковник Лукрион, находясь в действующей армии, пережил несколько пренеприятных эпидемий, его люди мерли, как мухи в холодный день, — и теперь, когда в Риме разразился мор, он очень нервничал. Средства не позволяли ему покинуть город; но, по крайней мере, в своем доме он принял все меры предосторожности. Два раза в день приносил он жертвы на маленьком домашнем алтаре, неизменно держал перед носом пропитанный уксусом платок, жег сандаловое дерево, чтобы дым уничтожал заразу, избегал всего, что могло бы разгневать богов, и строжайшим образом запретил своему сыну Константину встречаться с Симоном, чтобы тот не осквернил себя общением с евреем, с безбожником. Поэтому, когда полковник увидел Симона, он отпрянул в ужасе и гнев

и стал осыпать удивленного мальчика неистовой бранью. Пусть он убирается вон, он отравляет воздух своим дыханием, и каждый, кто приблизится к нему, схватит заразу. Это все старая еврейская свинья, — он имел в виду Беренику, но этого Симон не понял, — виновата в эпидемии. Если Симон не удалится со скоростью преследуемого зайца, то он, полковник Лукрион, по всем правилам сделает из него рагу. Симон удалился, но его изумление было, пожалуй, сильнее, чем его стыд и гнев.

Ни отцу, ни матери не сказал он о странном поведении Лукриона. Дело касалось только их двоих. Но тем усерднее размышлял он о полковнике, о его ярости и его словах. Что Лукрион грубый человек, Симон знал; он и раньше не слышал от него антисемитские выпады. Но он не был злопамятным, Симон и сам имел обыкновение часто и крепко ругаться. Кроме того, будучи мальчиком умным и с жизненным опытом, он сообразил, что, вероятно, Лукрион разнервничался по случаю мора. Все-таки у всякого есть гордость, и не очень-то приятно, когда тебе говорят, что ты отравляешь воздух и разносишь заразу. Симон решил спросить у полковника о причинах, побудивших его к столь оскорбительным речам. Правда, он сделает это, когда эпидемия кончится и с полковником можно будет разговаривать по-человечески.

Впрочем, посещение друга, несмотря на чисто солдатскую вспышку Лукриона, все же привело к цели. Его товарищ Константин, как порядочный мальчик и добрый друг, устыдился поведения своего отца. Еще когда старик бранил Симона, Константин, присутствовавший при этом, красный и беспомощный, делал ему за спиною отца успокаивающие знаки. Через два дня ему удалось тайком обратиться к Симону. Мара не располагала таким запасом крепких слов, как полковник Лукрион, но при виде Константина она ужаснулась не меньше, чем полковник при появлении Симона. Симон же, когда его мать хотела выгнать долгожданного друга, который наконец пришел, начал так ругаться, что чуть не превзошел полковника Лукриона. Прежде всего он несколько раз употребил выражение «Клянусь Геркллом», — придуманное им сокращение «Клянусь Геркулесом». Он знал, что этим упоминанием одиозного языческого бога крайне напугает мать, и она действительно тотчас же замолчала и удалилась.

Когда они наконец остались одни, Константин, запинаясь, попытался извиниться за отца, оправдать его. Однако Симон находил сейчас несвоевременным сообщать Кон-

стантину, что он за последние два дня думал о полковнике Лукрионе, он просто был рад присутствию друга, и его сейчас больше всего интересовала «Большая Дебора». Поэтому он решительно остановил Константина и стал рассказывать ему о своей модели. Константин, обрадованный, что Симон не вымещает на нем зла за поведение отца, горячо принялся за модель, и работа закипела.

Скоро Константин пришел вторично. И с тех пор, к ужасу Мары, мальчики стали бывать вместе все чаще, подстрекаемые трудностью и таинственностью своего предприятия, и в то время, как город вокруг был поглощен страхом заразы и молитвами, они мастерили «Большую Дебору».

Мару мучили сомнения, не обязана ли она сказать Иосифу об этих посещениях. Но такой неприятности она все же была не в силах причинить своему Яники. Кроме того, ее радовало, что она как бы участвует в заговоре сына. Тихо сидела она и слушала, когда Симон осторожно, обвиняком расспрашивал отца о конструкции «Большой Деборы», и она с трудом могла удержаться от того, чтобы время от времени заговорщически не подмигнуть сыну.

Иосиф не замечал их секретов. Он часто приходил в Субуру, и ему нравился его еврейский сын. Это был славный, смысленный мальчик, правда, слишком приверженный ко всему чувственно-материальному. Но Иосиф не очень много о нем думал. Все вновь и вновь, болтая с ним, представлял он себе своего сына Павла, разъезжающего по альбанским холмам в экипаже, запряженном козами, — стройного, смугло-бледного, надменного. Иосиф терпеливо отвечал на вопросы своего сына Симона, смотрел на круглое, ясное, довольное лицо Мары и очень любил своего сына Павла.

Вследствие пожара и усиленного строительства живописец Фабулл был буквально завален заказами. Он работал. А когда он не работал, то ждал свою дочь, представлял себе, как она придет к нему и будет просить прощения, и это ожидание терзало замкнутого, гордого человека. Она знала, как сильно он любит ее, она тоже его любит, и она придет. Он ждал. Работал все более безудержно, чтобы не ждать.

О чуме он не думал. Ему казалось немыслимым заболеть, прежде чем он не напишет свою главную картину

и не помирится с любимой дочерью. Он работал. Как всегда, одевался с присущей ему безупречной тщательностью, писал только в парадной одежде. Он работал или ждал свою дочь. Так проводил он дни и ночи. Солнце еще вставало рано и поздно садилось, он мог писать долго.

Постройка гигантского здания новых бань настолько подвинулась, что он мог начать свою большую фреску «Упущенные возможности». Долгие годы был он занят этой картиной. Он мечтал написать ее для дочери, и его глубоко огорчало, что этого не будет. Но как художник он вынужден был признать, что размеры зала, который ему теперь предстояло расписать, более благоприятствовали фреске, чем любое частное здание. С озлобленным рвением принялся он за свою задачу. «Упущенные возможности» — это будет хорошая картина. И его назовут не только первым живописцем династии Флавиев, но первым живописцем всех императоров. В Рим натащили лучшие картины, написанные шесть-семь столетий тому назад, но тот не сможет похвалиться, что видел Рим, кто не увидит его фрески.

Едва успел он установить леса и сделать первые мазки, как заболел. Болезнь бросила его на ложе, вызвала у него, столь педантично опрятного и корректного, понос и рвоту, спустя несколько часов врачи заключили, что он безнадежен. Он лежал с ввалившимися глазами, мясистые черты опали, нос заострился, лицо и руки стали синеватыми, кожа холодной, точно кожа трупa. Вокруг него дымились курения, чтобы уменьшить опасность заразы и заглушить исходившую от него вонь. Его икры сводила судорога, и, хотя сознание оставалось ясным, в ушах шумело, его одолевало головокружение, он пытался представить себе свою картину, но глаза заволакивало плотным мраком. Его мучила нестерпимая жажда, он видел и сознавал все, что вокруг него происходит. Он знал, что за каждый глоток поплатится рвотой, болями, слабостью, и для врачей, знавших его почти болезненную опрятность и корректность, самым пугающим было то, что он все же требовал пить, пить — вновь и вновь. Все вокруг стало ему безразличным: сначала его друзья, затем его картины, наконец, его дочь. Предстоящая смерть тоже стала ему безразличной, он требовал только одного — воды, воды.

Когда на третий день вечером скульптору Василию сообщили, что его друг Фабулл умер, он сказал, обращаясь к своему помощнику Критию:

— Видишь, Критий, чего стоит все это? Он хотел написать свои «Упущенные возможности» и из-за этого умер. Изводишься, рассчитываешь, берешь еще заказ и еще один. Знаешь, что хватит тех денег, которые есть у тебя. И знаешь, что создал лучшее, что мог создать. Но хочешь иметь еще больше денег, хочешь сделать еще лучше, хочешь еще большей славы, хочешь, чтобы продукция фабрики на будущий год дошла до двухсот тридцати тысяч бюстов вместо двухсот десяти тысяч. Мы — идиоты, Критий. Мне следовало купить себе маленькое красивое именье на берегу Ионийского моря, работать, только когда захочется, — раз в четыре-пять дней, — и никого к себе не пускать, кроме нескольких хорошеньких женщин. И, может быть, тебя, в те дни, когда ты не очень упрямый. Нужно бы лежать на солнце и пить вино и время от времени читать хорошие книги. И прежде всего бежать без оглядки из этого проклятого города. Я вовсе не так тщеславен, чтобы умирать в упряжке, как этот смешной и торжественный Фабулл. Вот. Ну, а как ты распределил мой завтрашний день?

Дорион, узнав о смерти отца, потеряла сознание. С тех пор как она выгнала его из своего дома, она больше о нем ничего не слышала и предполагала, что он бежал из зачумленного города. Когда ей сказали, что он умер от эпидемии, она ощутила почти физически, как чувство вины опустилось на нее, придавило ее, тяжело, уничтожающе: это она убила его.

Когда Дорион пришла в себя после долгого обморока, в ней произошла потрясающая перемена, лицо ее стало бескровным, все в пятнах. Напрасны были усилия служанки, Павла, Финея. Она приказала отвезти себя в город. Когда ее убеждали, что труп, наверное, был сожжен тут же после смерти, она ничего не возразила, настояла на своем, вернулась в город.

Она даже не заехала домой. В том же платье, в каком была, когда получила весть о смерти, неумытая, непричесанная, отправилась она в мастерскую отца, к его врачам. Она хотела получить его пепел. Ей отвечали уклончиво. Согласно предписанию, он был сожжен вместе с другими трупами, но ей не решились сообщить об этом. Ей стали многословно объяснять, что пепел могут выдать только по специальному разрешению санитарной охраны. Она пошла к старшим врачам, добралась до Валента. Она хочет получить хотя бы пепел. Наконец ей выдали наполненную пеплом урну.

Может быть, она в глубине души и догадывалась, что это чей-то чужой пепел, но она не хотела этого знать. Это был пепел ее отца, убитого ею, которого безбожно сожгли, так что его душа, его «ка», уничтожена навеки, и она дала этому совершиться.

С горстью пепла в дешевой, жалкой урне вернулась она в дом Фабулла. Ее хотели увести, так как дом, несмотря на дезинфекцию, считался все же небезопасным в отношении заразы. Но она воспротивилась. С урной сидела она в мастерской Фабулла, кругом нее стояли начатые картины, наброски «Упущенных возможностей» и другие. Она сидела на полу, говорила с урной.

Дорион была просвещенной женщиной, она понимала жизнь, но во всем, что касалось смерти и потустороннего мира, она была полна древних темных верований Египта, привитых ей матерью с самого раннего детства. Тело матери было набальзамировано согласно строгому древнему ритуалу; навеки законсервированное, лежало оно в маленьком домике, который для нее выстроил Фабулл на александрийском кладбище. Но ее отец не только погиб по ее вине, он уничтожен навеки из-за ее чудовищного невнимания. Она допустила, чтобы его святое тело было варварским образом сожжено, так что он уже никогда не сможет вступить в свой дом, взойти на корабль, ожидавший его, чтобы везти в страну блаженных.

Она сидела на земле, худая, грязная; ее глаза цвета морской воды одичали, тонкими руками прижимала она к себе урну. Дорион нашла в мастерской «Книгу мертвых», книгу заклинаний и магических формул, одну из тех, какие кладут вместе с набальзамированным телом, чтобы отвести опасности, угрожающие страннику в потустороннем мире. Бессмысленно глядя перед собой, произносила она дребезжащим голосом древнеегипетские заклинания.

Вдруг она умолкла, уставилась, полная ненависти и страха, прямо перед собой. Она дошла до главы о суде мертвых. И вот в ней прозвучали, вызывая ужас, таинственные слова Иосифа, надменные слова о том, что он имеет власть произносить приговор над умершими. Его слова мгновенно приобрели для нее неожиданный, ненавистный смысл. Это он, это его жажда мести навеки погубила ее отца.

На третий день он пришел. Она вскочила, издав короткий крик. С таким ужасом отпрянула от него, гнала его прочь, проклиная, с такой ненавистью, что он не осмелился остаться.

Он послал к ней врачей, сиделок. Лишь много дней спустя вернулась она домой.

Когда он, еще через много дней, пришел в ее покои, она была еще более тонкой и хрупкой, чем раньше, но тщательно одета и ухожена, как всегда; на ней было даже одно из тех прозрачных, как воздух, одеяний, которые она любила, и ее кот Кронос был подле нее. Она овладела собой, у нее были свои планы. Теперь ей оставалось совершить только две вещи. Первое — воспитать сына в духе деда; второе — отплатить еврею за то зло, которое он причинил ей и ее отцу. И то и другое требовало спокойствия и хитрости — качеств, которыми она не обладала. Теперь в этом весь смысл ее жизни, и она сумеет быть спокойной и хитрой.

Тихо и вежливо заявила она ему, что уедет в Александрию. Душа, «ка» ее отца уничтожена, но все же она хочет отвезти его пепел и поставить в предназначенный для него склеп в Александрии. Она возьмет с собой Павла, чтобы воспитывать его в Александрии. Если Иосиф разрешит ей взять с собой и Финея, она будет ему очень благодарна. С материальной стороны это даст ему облегчение, а ей это тоже не трудно, ибо средства отца после его смерти перешли к ней.

Иосиф понял давно, что ему Дорион не удержать, что жить с ней он больше не сможет. Но с тем, что признал его разум, не хотело согласиться чувство. Он просил ее, заклинал остаться в Риме. Убеждал, что ее отец хотел видеть мальчика, воспитанного как римлянин, а не как александриец. Торжественно обещал ей больше не вмешиваться в воспитание сына. Пусть только останется.

Дорион рассчитывала, что он скажет именно это. С молчаливым удовлетворением констатировала она, что может слушать его совершенно холодно, — ни в нем, ни в его голосе, ни в его глазах ничто больше не затрагивает ее чувства. Она сможет довести до конца свой план, не боясь, что былая привязанность вдруг овладеет ею.

Она решила с самого начала остаться в Риме; но хотела дорого продать свое решение, заставить Иосифа заплатить за него. Медленно, шаг за шагом, умно и осмотрительно уступала ему. Она останется в Риме, но при определенных условиях. Теперь она вернулась к своему прежнему требованию. Сдерживая свой тонкий голос, блестя холодными, светлыми, буйными глазами, заявила, что настаивает — он должен выслать из Рима эту женщину, эту провинциальную еврейку.

Иосиф вспомнил историю Авраама. «Тогда Сарра сказала Аврааму: «Прогони эту рабыню Агарь и сына ее, ибо не должен наследовать сын рабыни сей вместе с сыном моим Исааком». И очень жаль было Аврааму. Но он встал рано утром и взял хлеб и мех воды и дал Агари, положил ей на плечо, и отрока дал ей, и отослал ее. И она пошла».

Иосиф дал Дорион согласие отослать Мару из Рима.

На другое утро он отправился в дом в Субуре, к Маре. Она просияла, когда увидела Иосифа; на ее круглом, ясном лице, теперь слегка пополневшем, отражалось малейшее волнение. Мальчик тоже, видимо, обрадовался. Его модель подвигается, скоро он сможет показать ее отцу. Мара озабоченно засуетилась. Она приготовила Иосифу холодную ножную ванну. Она знала, что когда он приходит пешком, то любит вымыть ноги. Она пыталась сделать так, чтобы ему было уютно, принесла скамеечку, ледяные напитки.

Иосиф все это милостиво принимал. Но пока она бегала туда и сюда, он не сводил с нее глаз. За эти десять лет она слегка расплылась, но теперь он этого не видел, вернее, видел ее такой, какой не видел за все время ее пребывания в Риме, такой, какой она была некогда в Кесарии. Его воображение стерло пухлость с ее щек — он видел ее лицо таким же чистым, продолговатым, ее лоб таким же сияющим, как тогда; видел удлинённые глаза, полногубый, выпуклый рот, все ее смиренное, юное, сладостное галилейское лицо, подчеркнутое в своей чистоте темно-коричневым четырехугольным платьем с красными полосами, какие носят на севере Иудеи. И в нем проснулось желание, как в первое время, в Кесарии.

«И очень жаль было Аврааму». Он дал Дорион обещание. Теперешняя Дорион и малости ему не уступит. Он любит своего сына Павла, и он привязан к Дорион. Может быть, это несчастье для него, что он к ней привязан, но, как всегда, он не в силах от нее оторваться. Нужно взять себя в руки, нужно сказать Маре.

Он мнялся, ему трудно было начать, трудно разрушить мир этого дома. Кругом свирепствовала эпидемия, но здесь, в комнате, все было безмятежно. Коренастый мальчик, Симон-Яники, его еврейский сын, сидел против него, усердно читал «Иудейскую войну», медленно, но успешно доискиваясь смысла. Мара тихо слушала, непонимающая и счастливая; и вот он должен все это разрушить.

Он сделал над собой усилие. Решительно заявил, что теперь, после того как заболел и умер его тесть, он считает неподходящим для Мары и мальчика оставаться в Риме. Симон удивленно взглянул на него.

— Как же так? — спросил он. Ведь мор до сих пор его не трогал, он не боится его. Скоро, подумал он, можно уже будет показать отцу модель. Все эти недели трудился он над ней, неужели все пропадет даром? Где найдет он такого усердного помощника, как его друг Константин?

Мара не была умной женщиной, но когда дело касалось Иосифа, она отличалась большой чуткостью. Сегодня она с самого начала поняла, что Иосиф намерен ей что-то сообщить, — что-то неприятное, и сейчас, когда он заговорил, она очень испугалась. Сразу угадала, в чем тут дело. Она много расспрашивала про госпожу Дорион, знала, что она, Мара, для нее как бельмо на глазу. Вероятно, предложение Иосифа подсказано Дорион. Иосиф так долго терпел Мару в Риме, за последнее время ей даже казалось, что присутствие ее и мальчика служит ему поддержкой. Откуда эта внезапная забота — теперь, когда эпидемия начинает стихать? Наверное, Дорион требовала, чтобы она уехала. А когда она уедет, Дорион уж сумеет помешать ей вернуться. Ах, она это прекрасно понимала. Будь она сама на месте Дорион, она, вероятно, тоже не потерпела бы присутствия второй жены Иосифа и ее ребенка.

Все это Мара поняла в одно мгновение, и радость на ее тихом, милом лице угасла. Но она не стала приводить длинные ненужные возражения. Она приказала замолчать и мальчику и сама покорилась. В глубине души она никогда не верила в прочность теперешнего своего счастья, и именно тогда, когда Иосиф обещал ей, что воспитает мальчика у друзей, она начала сомневаться. Если Иосиф, ее господин, желает, чтобы она уехала, она, конечно, уедет. Да, он желает этого, он желает, чтобы она вернулась в Иудею.

— В Иудею? — спросил мрачно и строптиво Симон. Но мать взглянула на него с упреком, печалью и мольбой, и он умолк.

Когда она осталась с мальчиком одна, ее настроение изменилось. Она понимает Дорион: та почитает и любит своего мужа Иосифа. Но на этот раз Мара не покорилась безропотно. Если бы речь шла только о ней, тогда — конечно; но речь идет об ее мальчике. Каждому видно, как расцвел он в Риме, как город и присутствие отца способствуют его расцвету и преуспеванию. В Иудее он одичает. Неужели

она должна из света вновь увести его в тень? Нет, она и не подумает.

Мара открыла свои мысли их общему другу, коренастому стеклодуву Алексию. Тот выслушал ее, не прерывая. Он был многоопытен, испытал больше горя, чем многие, потерял всех, кто ему был дорог. Теперь он привязался к этой женщине из Иудеи и к ее мальчику; вместе с веселым, смышленным Симоном в его пустынный дом вошел необычный радостный шум, Алексей не хотел, чтобы они уехали и в его доме опять все замерло. Он знал по опыту, как скоро исчезает радость. Он считал, что недостойно отпускать без борьбы эту радостную жизнь, и не понимал, как мог Иосиф отсылать их прочь.

Алексий размышлял всю ночь. На другой день ему показалось, что он нашел выход. Он женится на Маре. Он знал, конечно, почему Иосифу хотелось удалить Мару из Рима. Но если Мара станет женой другого, то чем ее присутствие может помешать Дорион?

Когда Иосиф в следующий раз пришел в дом на Субуре, чтобы обсудить с Марой подробности ее отъезда, он был неприятно удивлен, застав у них Алексия, который сообщил ему о найденном им выходе. Казалось, Иосифу план не понравился. Он знал, увы, что удовлетворить Дорион не так легко, как думает его друг Алексей. Дорион была настойчива и, наверное, не согласится с таким решением. Иосиф потеряет ее, если Мара останется в Риме. С другой стороны, он не осмеливался противоречить своему другу. Если тот хочет жениться на Маре, то какое право имеет он, Иосиф, препятствовать этому? Никто не называл имени Дорион, но все знали, что дело только в ней. Говорили и так и этак, но ни к чему не пришли.

Мара видела колебания Иосифа. Дружба Алексия, его предложение казались ей новой, неожиданной удачей. Однако теперь она поняла, что если останется в Риме, то ее присутствие будет только вызывать гнев Иосифа, ее господина, и она, как жена Алексия, будет в Риме дальше от него, чем в Иудее. Но разве речь идет не о мальчике? Разве не нужно было во что бы то ни стало оставить Симона-Яники в Риме, в крепких руках? Она не находила выхода.

Алексий наконец нашел его. Если его друг, Иосиф, так озабочен здоровьем Мары, то, может быть, самое разумное Маре вернуться на время в Иудею и окончательно устроить там свои дела и дела Симона. Мальчику же действительно нечего бояться чумы, она очень редко нападает на таких молодых. Поэтому он предлагает, чтобы Мара пока что

одна вернулась в Иудею, а Симон-Яники остался в его доме, так сказать, в залог.

Мара сидела немая и угасшая. У Алексия были добрые намерения, но таким образом она теряла и мужа и сына. Однако она понимала, что другого выхода нет, если она не хочет вызвать гнев Иосифа. Мара уцепилась за мысль, что решение это только «временное», и подчинилась.

Иосиф и мальчик проводили ее на корабль. Путешествие продолжалось три дня, и она была очень тронута вниманием Иосифа, так как он не любил утруждать себя, а теперь к тому же был простужен.

Удивительно, как быстро она во время путешествия превратилась в прежнюю Мару. Она совершенно забыла то немногое, что знала по-гречески и по-латыни. Восхищалась своим мальчиком, который был настолько взрослее и смысленнее ее. Долго и смиренно просила Иосифа заботиться о нем. Алексей — хороший человек и очень любит ее милого Симона-Яники, но как может быть сыну хорошо без отцовской любви и благословения? Пусть Иосиф два раза в неделю, ну хотя бы раз, допускает его пред лицо свое, — это он должен ей обещать. Иосиф обещал, обещал еще больше. Он был готов сдержать свое обещание, он был привязан к своему еврейскому сыну. Симон-Яники был его первенцем. Но первенцем его сердца останется все же его сын Павел.

Когда сходни были уже сняты и корабль отчалил, Мара еще успела крикнуть Иосифу: пусть сейчас же возвращается домой и пусть, ради бога, смешает ромашку, свеклу и толченый кресс со старым вином, все это выпьет и хорошенько пропотеет. И пусть непременно напишет ей с ближайшей почтой, как его простуда. В душе она упрекала себя за то, что согласилась, чтобы он проводил ее, как бы теперь он не стал более доступен заразе.

Затем корабль вышел в открытое море. Она долго стояла на корме. Иосиф и Симон исчезли быстро, берег Италии — медленно. Но она долго стояла и после того, как берег уже давно исчез.

Симон-Яники любил мать, он чувствовал себя по отношению к ней мужчиной, словно он — взрослый, а она — несовершеннолетняя. И все же в первые недели после ее отъезда он должен был честно признаться себе, что рад ее отсутствию. Ибо он был все это время чрезвычайно занят и мать ему бы мешала.

После того как эпидемия пошла на убыль и землевладельцы возвратились из поместий в город, даже официальные «Ежедневные ведомости» наконец сообщили о том, что принцесса Береника через две недели прибудет в Рим. Уже император сообщил сенату о своем решении ознаменовать открытие нового, начатого его отцом Амфитеатра, самого большого в мире, стодневными играми небывалой пышности. Правда, в его извещении не упоминалось о том, что игры устраиваются в честь Береники, но все в империи знали об этом.

Город снова окунулся в прежнюю веселую жизнь, подготовка к играм вызвала всеобщее оживление. У мальчиков Симона и Константина хлопот было по горло, они не могли себе представить, чтобы без их помощи все прошло гладко. Даже работа над моделью «Большой Деборы» была забыта.

Они постоянно околачивались в конюшнях, среди тренеров, коннозаводчиков, доставлявших материал для ристалищ, сновали среди «голубых» и «зеленых». Вся империя разделилась на эти две партии. Ибо уже сто лет, — с тех пор как римляне были лишены возможности заниматься политикой и угасли их политические страсти, — весь свой пыл они перенесли на ипподром и с бешеным азартом следили за каждой победой и каждым поражением своей партии. Даже «верующие», — минеи, или христиане, как их иногда называли, — приверженцы кроткой и строгой аскетической секты, не смогли устоять против всеобщего увлечения. Например, Трифон, торговец земельными участками, последователь этой секты, земляк и друг вольноотпущенника Иоанна Гисхальского, больше интересовался теперь шансами «голубых», чем ценами на северные участки или отклонением его веры от установленных богословами толкований. Когда Иоанн удивленно спросил, разрешает ли ему вообще учение его секты присутствовать на ристалищах, этот «верующий» ответил с неожиданным либерализмом, что не следует пренебрегать удовольствиями, которые бог в милости своей дарует нам. И когда Иоанн все же продолжал качать головой, христианин Трифон сослался на Священное писание и на пророка Илию. Так как Илия вознесся на небо на колеснице, то, по его мнению, искусство править лошадьми не может быть неуютно богу.

Симон был «зеленый», Константин — «голубой». «Голубым» удалось заполучить для своей главной четверки знаменитого призового жеребца Виндекса. Это было событием,

перед которым отступал на задний план даже предполагаемый брак Кита с еврейкой. Полковник Лукрион был, например, «голубым» и почти забыл о своей антипатии к восточной даме, оттого что теперь конь Виндекс будет бежать на стороне «голубых».

Обоих мальчиков ежедневно вышвыривали из конюшен, но они находили все новые предлоги, чтобы туда пробраться. Фантазия Константина скоро иссякла. Но Симон был изобретательнее. Он подкупал привратника амулетами, которые должны были принести победу наездникам данной партии и поражение противникам; он сам изготовлял эти амулеты — египетские заклинания, причудливо исцарапанные монеты с профилем Александра, маленькие волшебные колокольчики для лошадей. Ему удавалось вступать в беседу с некоторыми наездниками. Расставив ноги, стоял он с важным видом и цитировал слова, которые чемпион Талл, взявший тысячу призов, сказал ему однажды в Кесарии; с видом знатока похлопывал лошадь по шее и крупу, сравнивал ее с жеребцом Сильваном, на котором однажды ездил, а Константин стоял рядом, полный завистливого восхищения.

Константину как-то удалось добыть у одного товарища серенькую белку, случайно забредшую в город Рим, и он обещал Симону эту белку, если Симон устроит так, чтобы он хоть разок сел на Виндекса. Симон с присущим ему задором обещал. Однако существовало препятствие. Виндекс бежал на стороне «голубых», а Симон был «зеленый». Он был «зеленым» с тех пор, как чемпион Талл выказал ему внимание, и даже ради самого Виндекса не отрекся бы он от своих «зеленых» убеждений. Но, к счастью, никто не спрашивал его, к какой партии он принадлежит. В конце концов он стал вхож к «голубым» так же, как и к «зеленым», и добился того, что Авилий, лучший наездник «голубых», разрешил ему самому посидеть на Виндексе. Маленький, коренастый Симон с такой гордостью сидел на пятилетнем чистокровке, что казалось, вот-вот лопнет.

— Клянусь Герклом, — заявил он, — с таким конем можно Индию завоевать!

Сначала, однако, предстояло завоевать белку. Но когда он уже собирался попросить Авилия, чтобы тот разрешил и его другу Константину покататься разок на Виндексе, произошло несчастье, взволновавшее весь город. Авилий, наряду с Таллом, был лучшим наездником, он взял тысячу призов, тысячу и семь побед имел он за собой. Он жил в Галлии и приехал в Рим, чтобы заблаговременно начать

тренировку лошадей в Большом цирке. И вот за две недели до своего выступления и перед самым концом эпидемии он вдруг заразился и умер, не успев посадить Константина на Виндекса.

После смерти их друга Авилия мальчики перестали ходить в конюшни. Тем чаще посещали они теперь казармы гладиаторов. Здесь было, пожалуй, еще оживленнее, чем у наездников. Впрочем, и доступ в помещение гладиаторов был не труден. Господа, которым была поручена организация выступления гладиаторов, вели бешеную вербовку, и всякое проявление интереса к гладиаторам было для них только желательным. Перед ними стояли сложные проблемы: Для этих стодневных игр нужно было чудовищно много материала, что-то около пятнадцати тысяч человек; кроме того, большинство имен, занесенных в список участвующих, нужно было заранее пометить черным «Р», первая буква слова «Periturus», что означает «Вероятно, погибнет»; они были предназначены к тому, чтобы на арене подохнуть. Правда, из добычи, взятой десять лет назад во время Иудейской войны, еще оставалось около восьми тысяч рабов. Но не будет ли бестактным употребить такой материал для празднества, организованного в честь еврейской принцессы и к тому же будущей императрицы? Как бы то ни было, на случай если придется отказаться от этого резерва, полезно было запастись другим материалом в достаточном количестве. В большом городе всегда найдутся люди, умирающие от голода и готовые идти в гладиаторы. Правда, их несколько страшил строгий режим казарм, а также клятва, которую они должны были произнести при вербовке, в том, что они обязуются «дать себя сечь розгами, жечь огнем, убивать железом». С другой стороны, казармы славились харчами, там кормили на убой, а перспектива дважды в жизни быть центром всеобщего внимания, точно ты какой-нибудь сенатор, — первый раз на большом публичном банкете для гладиаторов, который устраивался перед их выступлением, и второй раз — на самой арене, — вознаграждала многих за страх смерти. Гладиаторы имели также успех у женщин; было известно, что некоторые дамы из высшей аристократии очень охотно проводят ночь с гладиатором, особенно перед самым выступлением, что хотя и уменьшало его шансы спасти свою жизнь, но все же имело некоторую привлекательность. Несмотря на все эти соблазны, организаторам удалось только благодаря невероятной энергии завербовать нужное число гладиаторов, и они обнаружили при этом большую изобретательность.

Однажды Симон и Константин со жгучим интересом присутствовали при том, как директор школы гладиаторов демонстрировал репортеру «Ежедневных ведомостей» новый завербованный материал — все свободнорожденные. Директор прежде всего указал на одного, правда, довольно хилого, молодого человека, из хорошей семьи. Этот юноша объяснил, что поступил в гладиаторы, чтобы заработать деньги и спасти от сожжения тело своего отца, — одну из последних жертв мора, — и похоронить его согласно завещанию; должно быть, этот отец был так называемым «верующим», или христианином. Репортер рассчитывал, что столь романтическая история произведет сильное впечатление.

Большинство гладиаторов были, впрочем, обходительными парнями, и когда они не тренировались, не ели и не спали, то легко вступали в разговор с мальчиками. С важностью знатоков обсуждали Симон и Константин их технику, осматривали оружие, щупали мускулы, давали советы.

До сих пор любимой игрой римских мальчиков была игра в «англичан и солдат». Со времен последней войны память, оставленная о себе дикими англичанами, еще не изгладилась в Риме, и прежде всего — их голубая варварская воинственная татуировка; к досаде матерей, мальчиков никак нельзя было отучить раскрашивать себя голубой краской и играть в «англичан». Теперь, не без инициативы Симона, эта игра была заменена игрою в гладиаторов. Мальчики кололи и рубили друг друга деревянным оружием, и по улицам разносились их пронзительные крики и завывания, когда они хором повторяли клятву гладиаторов: «Дать себя сечь розгами, жечь огнем, убивать железом». О, как жалели они о том, что еще не достигли положенного возраста, не могли принести эту клятву всерьез и стать гладиаторами.

Вся подлость состоит в том, что если тебе еще не исполнилось четырнадцати лет, то нет даже надежды попасть на скамейки Амфитеатра. Правда, Симон хвастался, что это ему удастся. Константин опять обещал ему серую белочку, если Симон ухитрится провести и его.

— Клянусь Герклом, — заверял его Симон с величественной небрежностью, — уж что-нибудь состряпаем.

Но это легкомысленное обещание стоило ему нескольких бессонных ночей. Даже днем он нередко погружался в задумчивость. Иногда, помня, что матери здесь нет и поэтому никто не будет приставать к нему с долгими, надоедливymi вопросами относительно вкушения запретной

пищи, покупал он себе намазанную медом колбасу из ослиатины и усаживался, маленький и коренастый, на высоких ступенях какого-нибудь храма, мечтательно уплетал колбасу и изобретал планы, как бы ему с Константином пробраться во время игр в Амфитеатр.

— А что вы скажете, Деметрий, — вдруг прервал Марулл свою работу над рукописью «Пират Лавреол», — а что, если мы сделаем пиратов беглыми рабами?

Актер Деметрий Либаний поднял голову.

— Как так? — спросил он. Его недовольство вдруг исчезло, отяжелевшее лицо оживилось.

И для него эти недели перед играми были знаменательны. С похорон умершего императора он не выступал публично. Он хотел сберечь себя для какого-нибудь великого случая; теперь, благодаря этим стодневным играм, такой случай представился. С самого детства его сокровенной мечтой было сыграть пирата Лавреола, любимого злодея эпохи, героя старой народной драмы Катулла. Уж много раз отказывал он себе в этой роли, чувствуя, что до нес не дорос. Теперь, после стольких испытаний, он внутренне созрел, теперь он мог вдохнуть в старый, полугасший образ свежее дыхание, дыхание своего времени. Но работа пошла не так удачно, как он надеялся. Казалось, и у Маруллы, писавшего для него пьесу, нет подъема. Они мучились уже три недели, однако дело, — они оба чувствовали это, хотя и не признавались друг другу, — не ладилось. Это был не тот Лавреол, о котором они мечтали.

И вот когда Марулл вдруг бросил среди их дебатов эту новую идею о рабах, актер почувствовал прилив новой надежды.

— Вы увидите, Деметрий, что так будет хорошо, — продолжал Марулл с воодушевлением и уверенностью. — Пересмотрим то, что нам следует сообщить в прологе, — сказал он с той деловитостью, к которой его приучила юридическая деятельность. — Если мы используем мою новую мысль — то вот: объединилась чернь, дезертиры, по большей части беглые рабы. Они уже совершили свое первое дело — захватили корабль и теперь укрылись в потаенной бухте, чтобы спокойно поделить добычу. Они довольны, они рисуют себе, как употребят эту первую пиратскую добычу. У большинства выжжено «Е» — клеймо рабов, приговоренных к принудительным работам.

— Я уже понимаю,— сказал Деметрий,— превосходно. А теперь пусть появится лоточник, у которого эти парни покупают большое количество снадобья Скрибония Ларга, чтобы свести клеймо.

— Да,— согласился Марулл,— притом они, конечно, не доверяют снадобью. Они боятся, что продавец всучит им подделку, как обычно в наши дни.

Секретарь усердно стенографировал.

— Не находите ли вы,— спросил Марулл,— что моя мысль о рабах очень удачна? Вы чувствуете, к чему я клоню?

Еще бы Либанию не чувствовать! Вот он, гвоздь, вот оно, решение. Теперь они наконец нашли горячо желанную актуальность. Уж если что актуально, так это проблема рабства. Десятилетиями стремились современные философы и юристы облегчить участь рабов. Разумеется, никто, будь то грек или римлянин, еврей, египтянин или христианин, будь то теоретик или практик-политик, и не помышлял о том, чтобы совсем упразднить рабство. Совершенно ясно, что тогда должны были бы погибнуть организованное производство, цивилизация и общественный порядок. Все же ряд современных писателей и политиков твердил о том, что необходимо смягчить зависимость рабов,— это разумнее и больше соответствует теперешним гуманным взглядам. И за последнее десятилетие они добились некоторых успехов. Например, к великому гневу консерваторов и группы «Истинных римлян», уже запрещено особым эдиктом убивать рабов без суда; либералы даже добились от сената постановления, запрещающего владельцам просто так, по прихоти, продавать рабынь в бордель. Марулл пошел дальше; он, когда еще сидел в сенате, внес законопроект, по которому запрещалось выбрасывать на улицу отслуживших и уже непригодных рабов, обрекая их на голодную смерть; наоборот, владельцы старых, негодных рабов должны были, если тех не брали для игр на арену, давать им ежедневно кусок хлеба и два раза в месяц немного чесноку и луку. Разумеется, его проект был отвергнут, как слишком радикальный. Все же это — великая идея, и никто лучше Либания не оценит план Марулла — со сцены, воспользовавшись образом Лавреола, снова привлечь внимание римлян к вопросу о рабстве.

— Да,— отозвался Либаний,— это выход. Теперь вы нашли его, сенатор Марулл. Продолжайте, пожалуйста. Скажите, как вы представляете себе дальнейшее развитие действия?

Марулл вдохновился, он импровизировал, импровизировал удачно:

— Наши пираты пьют. Пьют много. Под влиянием вина они болтают о своем прошлом, они перечисляют все страдания и обиды, перенесенные ими во время рабства; никто не хочет допустить, что другой страдал больше него. Они спорят, они входят в азарт. «Кто страдал больше всех? — кричат они друг другу. — Ты? — подумаете — раскаленные щипцы! Об этом и говорить не стоит!» И они набрасываются друг на друга, дерутся кулаками, веслами, крючьями.

— Я вижу, — сказал с энтузиазмом Деметрий, — я понимаю, где все ясно. — И его быстрое сценическое воображение дополняет идею Марулла: — Они поют куплеты, что-нибудь вроде: «Я изведаль кнут, я изведаль железо, я изведаль огонь и ошейник, а я — я висел целый день на кресте». Он стал насвистывать и напевать куплеты.

— Да, — сказал Марулл. — Прекрасно! Что-нибудь в этом роде. И тогда являетесь вы, Лавреол, и жестоко избиваете самых буйных пиратов.

— Затем я медленно выхожу на авансцену, — усердно разрабатывал дальнейший план Деметрий, — и рассказываю, что я сам выстрадал. Как меня сначала бросили на галеру, потом в копи, потом в каменоломни, потом приставили к водокачке для бань, потом к ступальной мельнице.

— Да, — подхватил Марулл. — Но, конечно, вы, Либаний-Лавреол, не придаете всему этому особого значения. Все это вы перенесли очень легко и без особых неудобств и охотно допускаете, что любой из ваших коллег выстрадал больше, чем вы.

— Замечательно, — согласился Деметрий и уже видел себя дающим с уничтожающей простотой подобные объяснения. — Тогда они, конечно, должны провозгласить меня своим вождем, — радостно закончил он.

— Сейчас мы посмотрим, — соображал Марулл, — не запутаемся ли мы дальше с этой идеей о рабах...

И он опять, пока секретарь стенографировал, деловито пересмотрел все развитие пьесы: как знаменитый пират, старый, жирный и омещавшийся, под чужим именем живет на покое и как он, теперь выгодно женившись, занимает в своей деревне почетные должности. Тут появляется нищий, беглый раб, и чтобы окружить себя романтикой и набрать побольше денег, потихоньку рассказывает женщинам, что он великий, пропавший без вести пират Лавре-

ол, которого полиция все еще тщетно разыскивает. Сейчас же вокруг него возникают слухи, страхи, восхищение. Этого настоящий Лавреол не в силах выдержать. Он шепчет своим друзьям, своим коллегам в магистрате, кто он такой. Но все принимают это за шутку, никто ему не верит, даже собственная жена. Над ним просто смеются. Толстяк, все более озлобленный, настаивает на том, что он и есть великий пират, в нем закипает ярость. И так как ему не верят, то в конце концов он приводит доказательства. Он созывает своих старых товарищей — рабов, сам отдается в руки полиции, суда. Он умирает на кресте, но он доказал, что он — это он. И когда остальные поют куплет: «Я изведаль кнут, я изведаль железо, я изведаль огонь и ошейник», то он может с полным правом ответить им с креста: «А я — я вишу целый день на кресте».

С почти поглупевшим от напряжения лицом слушал Деметрий, как Марулл излагал содержание пьесы. Да, вот оно наконец, вот та пьеса, о которой он мечтал, его пьеса. Теперь из сентиментально-патетической фигуры старого пирата получилось именно то, что он хотел сыграть — символ современного Рима.

— Да,— глубоко вздохнул он, когда Марулл кончил,— это то самое. Теперь вы нашли,— вежливо поправился он.— Всей моей жизни не хватит, чтобы вас благодарить,— прибавил он с проникновенной радостью.

— А знаете,— спросил Марулл и задумчиво постучал элегантным странническим посохом по полу,— кого по-настоящему вы должны благодарить? Нашего друга — Иоанна Гисхальского. Я знаю, вы его не любите. Но поразмыслите и скажите сами, додумались бы мы без него до нашего Лавреола?

Однако Деметрий Либаний, преисполненный радости, был вовсе не склонен размышлять о сходстве судьбы Лавреола, по крайней мере в первой ее части, с историей национального героя Иоанна Гисхальского. Он облегченно вздохнул, вздохнул несколько раз. С него свалилась огромная тяжесть,— Ягве отвратил от него лицо свое, а отсутствие вдохновения в работе за последние недели подтверждало, что бог продолжает на него гневаться. Ибо счеты между ним и Ягве еще не кончены. Уже не говоря о случае с евреем Апеллой, он ни разу до разрушения храма не исполнил своего обета совершить паломничество в Иерусалим. Правда, он всегда намеревался это выполнить и ему было чем оправдаться. Разве в Риме он не делал больше для славы еврейства, а тем самым и для славы Ягве? Разве не исполь-

зовал он свое влияние и часть своего дохода на служение еврейству? Кроме того, он был подвержен морской болезни и отказывался даже от весьма соблазнительных гастролей в сравнительно близкой Греции. Разве не обязан он ради своего искусства сохранять бодрость тела и духа? Все это вполне уважительные причины. Но удовольствуется ли ими Ягве, в этом он в глубине души сомневался. Ибо если бы Ягве удовольствовался ими, то едва ли послал ему столько испытаний. Теперь тучи рассеивались. Очевидно, Ягве снова обратил к нему лицо свое, и Либаний благодарил своего бога всем существом за то, что тот послал Маруллу великолепную идею о рабах.

«Пошли нам успех,— молился он в сердце своем,— сделай так, чтоб это удалось, а я, как только сыграю Лавре-ола, поеду в Иудею. Поверь мне, Адонай, поеду. Я непременно поеду, хотя храма твоего уже нет. Прими мой обет. Да не будет поздно».

Он думал об этом с таким усердием, что хотя обычно владел собой, но теперь шевелил губами, и Марулл смотрел на него с веселым изумлением.

Очень многие и очень разные люди, жившие в городе Риме, готовились к ожидавшемуся прибытию принцессы Береники.

Квинтилиан, один из наиболее известных ораторов и адвокатов, обладатель золотого кольца знати второго ранга, работал день и ночь над шлифовкой своих двух защитных речей, с которыми он, в качестве поверенного принцессы, выступал когда-то перед сенатом. Его побудил к обработке этих речей не какой-либо непосредственный процессуальный повод. Они давно оказали свое действие, одну речь он произнес три года назад, вторую — четыре. Но Квинтилиан в вопросах стиля был крайне щепетилен, стенографы же без его ведома опубликовали его речи в защиту принцессы Береники, и они были полны грамматических и фонетических ошибок. Если малейший неправильно употребленный предлог или не на месте поставленная запятая лишали его сна, то он буквально заболел, когда его речи вышли под его именем в столь искаженном виде. Теперь иудейская принцесса приезжает сюда, и он решил поднести ей свои две речи в такой редакции, за малейшие детали которой готов был отвечать.

Предстоящий приезд принцессы отозвался даже на жизни и ежедневных делах капитана Катвальда, или, как

он себя теперь называл, Юлия Клавдия Катуальда; сын вождя одного из германских племен, он был в раннем возрасте взят в качестве заложника ко двору императора Клавдия, а когда отношения между его племенем и империей были урегулированы, принц все же остался в Риме. Ему понравилась жизнь в этом городе, его испытали и поручили ему командование отрядом германской лейб-гвардии императора. Теперь Тит отдал приказ, чтобы отряд Катуальда был прикомандирован в качестве почетной стражи к принцессе Беренике на время ее пребывания в Риме; германские солдаты считались столь же надежными, сколь и тупыми. Они не понимали местного языка, были дикарями и поэтому хорошо вымуштрованы. Но капитан Катуальд знал, что существует один сорт людей, действовавших им на нервы: это евреи. В германских лесах и болотах люди рассказывали чудовищные небылицы о восточных народах, особенно о евреях, которые якобы ненавидят белокурых людей и охотно приносят этих белокурых людей в жертву своему богу с ослиной головой. Эти измышления оказывали свое действие на германские войска, стоявшие в Риме; уже не раз, если им приходилось иметь дело с восточными народами, их охватывала паника. Когда, например, Август, основатель монархии, послал иудейскому царю Ироду в качестве почетного дара германских телохранителей, то царь очень скоро под вежливым предлогом отослал их обратно. Поэтому капитан Юлий Клавдий Катуальд и был теперь преисполнен забот и сомнений и проклинал богинь судьбы, которых называл то Парками, то Норнами за то, что именно его отряду поручена столь двусмысленная задача.

Среди самих иудеев царила радость и надежда. Это проявлялось в самых различных формах. Были евреи, которые поставили своей задачей собирать деньги на выкуп государственных рабов, взятых во время Иудейской войны. Их пожертвования, особенно перед большими играми, текли обычно очень обильно. Но теперь сборщикам приходилось туго. Им заявляли все вновь и вновь, что едва ли во время игр в честь еврейской принцессы будут пользоваться для арены еврейским материалом, и им почти повсюду отказывали.

С другой стороны, сейчас, когда выяснилось, что намерения Кита серьезны и он, видимо, действительно решил возвести еврейку на престол, изменилось и поведение римлян. Многие, считавшие до сих пор евреев низшей расой,

теперь вдруг стали находить, что, при ближайшем рассмотрении, евреи мало чем отличаются от них самих. Многие, до сих пор избегавшие общения со своими еврейскими соседями, искали с ними знакомства. Евреи же почувствовали, что Ягве, после стольких испытаний, наконец снова обратил лицо свое к своему народу и послал ему новую Эсфирь.

Многие из них, и главным образом те, кто больше других выказывал страх и раболепство, теперь весьма быстро освоились с новой ситуацией и стали заносчивы. Бого-словы, озабоченные этой заносчивостью, распорядились, чтобы в течение трех суббот подряд во всех синагогах империи читалась та строгая глава из книги пророка Амоса, которая начиналась словами: «Горе беспечным на Сионе, тем, что покоятся на ложах из слоновой кости и едят лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища, ибо им грозит страшнейшая кара». Впрочем, председатель Агрипповой общины, фабрикант мебели Гай Барцаарон, был несколько обижен, что выбрали как раз главу о «ложах из слоновой кости».

Когда корабль приближался к Остийской гавани, Береника стояла на передней палубе. Она стояла выпрямившись, ее золотисто-карие глаза смотрели на приближающуюся гавань, полные желанной уверенности. Ягве был милостив, он послал мор, чтобы дать ей, принцессе, возможность еще раз отсрочить свой приезд. Врачи и собственная энергия действительно излечили ее. Все твердили ей это. Не может быть, чтобы все лгали.

Огромные толпы встречали ее, когда она вместе с братом Агриппой вступила на сходни. Римляне, подняв руку с вытянутой ладонью, приветствовали ее сотысячеголосым приветом; сенат выслал ей навстречу большую делегацию; всюду были возведены триумфальные арки. Она проследовала между шпалерами войск; капитан Катуальд представил ей германскую лейб-гвардию, предназначенную для ее личной охраны. Как триумфатор, проехала она в Рим, к Палатину.

Тит стоял под высоким портиком, Береника поднималась по ступеням рядом с братом, улыбаясь. Вот сейчас, именно сейчас, надо было выдержать. Ради этих минут жила она долгие годы, ради них перенесла в последние месяцы невыносимые муки. Ступени были высокие. Не идет ли она слишком быстро? Или слишком медленно? Она

чувствует свою больную ногу, она не должна ее чувствовать, не должна о ней думать.

На верху лестницы стоял он, на нем были знаки его сана. Она знала его лицо — это круглое, открытое, мальчишеское лицо, которое она любила, с выступающим треугольным подбородком и короткими, уложенными на лбу кудрями. Она знала в этом лице каждую легчайшую тень, знала, как эти глаза становятся жесткими, узкими и тусклыми, когда он сердится, как быстро и вяло могла отвисать эта губа, когда он бывал разочарован. Нет, она не отвисает. Правда, его глаза тусклы. Но когда они бывали совсем ясные? Они, конечно, полны ею, довольны. И вот он уже идет ей навстречу, теперь ее усилиям конец, она победила, она, несомненно, победила, ее жизнь, несомненно, имела смысл. Боль, которой она себя обрекла, нестерпимая боль души и тела, очевидно, все же имела смысл.

Да, Тит шел ей навстречу. Сначала, как того требовал обычай, обнял он и поцеловал Агриппу, затем — ее. Он сказал несколько шутливых слов о том, как быстро у нее отросли волосы; казался молодым, радостным. Зашептал ей на ухо старые ласкательные имена на своем убогом арамейском языке, как в первое время их любви:

— Никион, моя дикая голубка, мое сияние.

Повел в ее комнаты. Пока германцы, гремя, брали на караул, он спросил ее, отдохнет ли она за час настолько, что он сможет посетить ее, и простился.

За этот час Береника искупалась, приказала себя умастить благовониями. Сосредоточила все мысли на своем туалете и драгоценностях. Она не хотела думать ни о чем другом. Она примеряла драгоценность за драгоценностью, потом приказала снова все их снять и оставила только одну-единственную жемчужину. Она надушилась теми редкостными духами, тем ароматом, единственный флакончик которого остался теперь во всем населенном мире.

Тит в течение этого часа выслушивал доклады. Ему сообщили о ходе стройки, в первую очередь Новых бань, — она близилась к окончанию; доложили о подготовке к играм. Казалось, он слушал, но слышало только его ухо, он сказал рассеянно:

— Отложим это. После я решу.

Что же случилось? Ведь все эти годы он безмерно радовался, что увидит, как эта женщина восходит по ступеням; сотни раз его воображение украшало пустые ступени обра-

зом поднимающейся Береники,— и вот она приехала, но почему же все так тускло и пусто? Куда делось очарование, исходившее от нее? Разве она стала другой? Разве он стал другим? Вероятно, такова судьба каждого человека, что даже самое прекрасное свершение не может заполнить той чудовищной пустоты, которую создало ожидание. Или, может быть, человек слишком хрупкий сосуд и не в силах принять в себя чрезмерно большую радость? Или, может быть, ему пришлось ждать слишком долго, и случилось то, что бывает с очень старым, благородным вином, которое уже нельзя пить?

Затем нас истек, и он был опять с Береникой. Это была та же Береника, та женщина, которую он желал так яростно,— далекая, восточная, недоступная, древней царской крови, это был ее густой, волнующий, слегка хриплый голос, это были ее глаза. Но это все-таки была не та Береника, прежний блеск исчез навсегда, это была красивая, умная, привлекательная женщина; но красивых, умных и привлекательных женщин много. Он повторял себе все, что значила для него эта женщина, но напрасно. Его радость иссякла, он испытывал огромную пустоту и разбитость.

Он ужинал с братом и сестрой, старался казаться радостным. Агриппа был весел и умен, как всегда, Береника была красива и ослепительна, она была самой желанной женщиной на свете. Но он не желал ее...

Он пил, чтобы разжечь желание.

Потом, когда снова остался с ней наедине, Тит нашел для нее прежние влюбленные слова, но, бормоча их, он в то же время мучительно сознавал, что это были лишь за-тасканные банальные слова. Он спал с ней. Он испытал наслаждение. Но он знал, что и другие женщины могут доставить ему такое же наслаждение.

Удивительно, как Береника, обычно столь проницательная, за весь долгий ужин не заметила, в каком состоянии Тит. Ее брат тотчас это понял, но он не мог заставить себя разрушить ее иллюзии. Поэтому ей только ночью самой пришлось догадаться об истине. И догадалась она очень не скоро. Ей не хотелось сознаваться в том, что случилось, и когда наконец пришлось сознаться, она поняла нечто новое — что есть муки более горькие, чем ее муки последних месяцев.

Когда Тит еще до полуночи ушел от нее с ласковыми, слегка влюбленными словами, оба знали, что между ними все и навсегда кончено.

Остаток ночи Береника пролежала без сна, опустошенная. Теперь, когда напряжение последних месяцев исчезло, ее охватило глубокое изнеможение, все тело ныло, казалось, она никогда уже не освободится от этого мучительного изнеможения. Горела лампа. Береника думала: «Эти коринфские лампы в ходу уже несколько десятков лет, они всем надоели, они банальны, карфагенские гораздо лучше, нужно сказать Титу, чтобы он коринфскими больше не пользовался». К этой мысли она возвращалась несколько раз. Затем ее вновь охватило чувство гнетущей усталости, нога болела нестерпимо. Она хотела принять снотворное, но ее пугала необходимость сделать усилие и позвать камеристку. Наконец она заснула.

На другое утро, довольно рано, пришел брат. Он нашел ее вполне овладевшей собой. В ней не чувствовалось и следа той судорожной напряженности, с которой она до сих пор старалась держать себя в руках. Наоборот, она была полна какого-то большого спокойствия. Но блеск исчез — то очарование, которого не отрицали даже ее враги.

Агриппа остался завтракать. Береника ела с аппетитом. Она сообщила брату о своем решении. Она хочет возможно скорее вернуться в Иудею, чтобы провести зиму в своих тамошних поместьях. Она думает, что император устроит для нее прощальное празднество. В первый раз в тот день она упомянула Тита, и Агриппа почувствовал щемящую боль, когда она назвала его «император». Вообще, продолжала она, ей хочется здесь повидаться только с двумя людьми: с ее поверенным Квинтилианом и ее летописцем Иосифом бен Маттафием. Она говорила так решительно, что было бы бессмысленно с нею спорить.

— Хочешь, я провожу тебя, Никион? — спросил Агриппа.

Но Береника, должно быть, предвидела такой вопрос.

— Это было бы, конечно, хорошо, — отозвалась она, — но мне по многим причинам кажется, что лучше для нас обоих, если ты останешься в Риме на открытие Амфитеатра.

Агриппа был мудрый, много выдавший человек. Он был свидетелем того, как судьбы менялись и завершались; он видел падение отдельных людей и целых народов; ему казалось, что он знает людей, а с Береникой он был тесно связан с ее рождения. Он ко многому был готов, но все же не ждал этих холодных, спокойных рассуждений. Неужели это Никион, его сестра?

Он взял ее руку, погладил ее; она не отняла руки. Нет, это была не Никион с ее великой страстностью, для которой высшая цель никогда не была достаточно высока. Это была не та женщина, которая всего несколько недель тому назад лежала перед ним обнаженная и изливала свою неизмеримую скорбь и свои еще большие надежды. Это была чужая женщина: Береника, иудейская принцесса, властительница Халкиды и Киликии, одна из первых дам империи, мудрая, благоразумная и очень далекая от тех горячих грез, которыми она увлекала и его.

Осанисто сидел адвокат перед Береникой и Агриппой; взгляд его карих выпуклых глаз переходил с сестры на брата. Он был отпрыском одного из тех испанских семейств, которые поселились в Риме с начала монархии и быстро заняли почетные места в обществе и в литературе. Несмотря на короткий срок, он добился своего: речи, произнесенные им некогда по иску Береники, были теперь отшлифованы до мельчайших деталей и достойны служить эпохе примером безукоризненной прозы. В данный момент, вежливо заметил он, протягивая Беренике оба тома, она уже не нуждается в его деловых услугах; с ее приездом в Рим дело можно считать законченным. Поэтому ему остается только поблагодарить ее за то, что она доставила ему случай показать стольким людям, что такое хорошая латынь.

Он ошибается, отвечала Береника, ей теперь больше, чем когда-либо, нужна его помощь. Дело в том, что она в ближайшие дни покинет Рим.

Лишь с трудом удалось осанистому и почтенному мужу скрыть, насколько эта весть ошеломила его. Он только потому взял на себя ведение дел принцессы, этой «еврейской Венеры», как он называл ее в тесном кругу друзей, что видел здесь соблазнительную возможность блеснуть высоким ораторским искусством. Притязания Береники имели длинную историю. Именно это и соблазнило его; он славился своей способностью бросать свет на непроницаемое. Логичность латинского языка давала возможность излагать запутаннейшие обстоятельства совершенно понятно, а латинский язык и соблюдение его благородных традиций были ему дороже всего. Само дело не слишком его занимало, в сущности, тот факт, что исход предрешен, явился тем молчаливым условием, при котором он согласился взять на себя ведение дела.

Вопрос шел о том, в какой мере титул владетельной принцессы Халкиды и Киликии связан с фактическим вла-

дением, и прежде всего с взиманием налогов. По сути дела, притязания принцессы были законны. Правда, несколько десятилетий назад один из ее предшественников-властителей совершил ряд проступков, которые римский суд мог бы рассматривать как мятеж и покарать аннулированием права на взимание налогов. Но так как сенат и римский народ в свое время этого не сделали, то притязания Римской империи за давностью потеряли силу, и Береника с полным правом пользовалась этими привилегиями. С другой стороны, дело шло о больших суммах, а толкование прав было растяжимо.

Весь город считал, что раз «еврейская Венера» пользуется благосклонностью Тита, то процесс — простая формальность и должен кончиться несомненной победой Береники. И если дело так затянулось, то лишь потому, что скупой Веспасиан никак не мог решиться на формальный отказ от столь ценных прав, хотя фактически давно их лишился, ибо налоги все время текли в казну Береники. Теперь, когда власть перешла к Титу, не могло быть сомнения в том, что Рим в ближайшее время утвердит Беренику в ее правах.

Такова была ситуация, когда Квинтилиан приветствовал принцессу. Теперь, после короткой фразы Береники, ситуация эта резко изменилась. За какие-нибудь четверть минуты процесс из литературной проблемы превратился в угрожающую, политическую. С того мгновения, как Тит уже не поддерживал принцессу, стало весьма сомнительным, чтобы Рим отказался от такой крупной и легкой добычи.

Квинтилиан, стараясь сохранить непринужденность и найти подходящий ответ на столь неожиданное заявление, с судорожной поспешностью взвешивал последствия того, что Береника впала в немилость. Перед ним возникало множество вопросов. Не будет ли правительство соблазнять его предложением предать свою доверительницу? Не захочет ли, с другой стороны, император, именно потому, что он порывает их отношения, вознаградить ее за это? Он явился сюда, намереваясь просто преподнести ей, как топи-кому знатоку, несколько страниц превосходной прозы. Вместо этого он оказался вдруг перед необходимостью ответственных решений. Выступать от лица такой доверительницы — дело сомнительное, может быть, даже опасное. Не умнес ли заявить, что он издавна лелеял мечту посвятить себя только литературе, — что, впрочем, соответствовало истине, — и так как вследствие внезапного отъезда

принцессы дело грозит снова запутаться, он вынужден с искренним сожалением от него отказаться.

Квинтилиан никогда не любил евреев и относился неприязненно к влиянию «еврейской Венеры» на римскую политику. Его крайне соблазняла мысль воспользоваться случаем и с ней развязаться, но Квинтилиан был страстным стилистом. Показать, что латынь ни в чем не уступает греческому, а во многом и превосходит его,— в этом состоял для него весь смысл жизни. Ему дорога была прежде всего латынь, а потом уже Рим. И он был убежден, что человек и его стиль — тождественны, что неблагопристойность неизбежно выражается и в стиле и что если он в этом испытании поведет себя недостойно, то пострадает его латынь. Поэтому он решил поступить благородно.

В то время как Квинтилиан колебался и обдумывал решение, Береника излагала ему свои притязания и свои доводы. Она говорила поразительно логично, без всякой горячности. Логика и разум были ей необходимы. Береника, пользуясь благосклонностью Тита, римская императрица, могла пойти на уступки. Береника же, покинутая Титом, владетельная принцесса Халкиды и Киликии, не собиралась отступать ни на йоту от своих требований. Она происходила от великих царей, которые, будучи зажаты между самыми могущественными державами мира, всегда нуждались в особенно большой государственной мудрости и способности принимать быстрые решения. Она была достойной внучкой этих царей. Перед нею новое поприще, на котором она должна себя проявить, и она проявит себя. Она заставит Тита еще не раз вспомнить о ней. Береника знала не хуже Квинтилиана, что решающее слово принадлежит императору. Она заставит его показать свое истинное лицо.

Квинтилиан был поражен остротой ее ума. Еще больше изумлялся Агриппа:

— Что ты предпочитаешь, Береника, — сказал он, когда Квинтилиан ушел; он больше не называл ее Никион, — что ты предпочитаешь: чтобы Тит отнял у тебя привилегии или оставил их тебе?

Береника взглянула на брата без улыбки; она знала, что он имеет в виду.

— Я предпочитаю открытую ненависть, — сказала она, — равнодушной справедливости.

Когда пришел Иосиф, она в последний раз дала себе волю. Ведь ее кузен был свидетелем того, как началась ее

дружба с Титом, сам помогал и содействовал им. И вот она хотела, перед тем как навсегда распрощаться с Римом и своими мечтами, предстать перед ним, историком эпохи, такой, какой она желала, чтобы ее увидели потомки. Но когда он пришел, она забыла о цели, ради которой позвала его. Она некогда издевалась над этим человеком за то, что он гнул спину перед римлянином, встречаясь с ним, она соблюдала семь шагов расстояния, словно он прокаженный. А чем она лучше его? Разве она сама в течение всего последнего десятилетия не делала то же самое, только с меньшим успехом? Мысли и чувства последней мучительной ночи вырвались наружу, она винилась и каялась.

— Все было ошибкой,— говорила она в порыве самообличения.— Все, что мы делали, брат и я, было ошибкой. Конечно, война не могла не кончиться неудачей, даже если бы мы и помогли, и хорошо, правильно, что мы предостерегали. Но ошибка, что мы, когда восстание все-таки вспыхнуло, не стали во главе его. Мы должны были погибнуть вместе с остальными. Мы поступили подло. И вы тоже вели себя подло, Иосиф, но вы, по крайней мере, добились успеха. А я даже успеха не добилась. Если бы мы поддержали восстание,— добавила она страстно и озлобленно,— то мы, быть может, в своей гибели увлекли бы за собой и Тита.

Иосиф слушал ее. С первых слов, с первого взгляда на нее он понял, что все то, о чем он мечтал для себя после смерти Веспасиана, рухнуло. Он шел к ней гордый, полный надежд и торжества,— великий писатель к императрице, которая к нему благоволит. И вот перед ним уже не императрица, перед ним увядающая, разочарованная женщина, и он значит больше, чем она. Ибо было так, как она сказала: он хоть добился успеха.

Тем временем она продолжала свои сетования:

— Они не могут нас понять. У них холодное сердце. Мы чувствуем то, что чувствует другой, им это не дано. Но, может быть, это дар, что они не чувствуют, и в этом причина их успеха.

В тот же день небрежным и приветливым тоном сообщила она императору, что на этот раз ей очень трудно переносить климат и праздничную суету Рима. Она чувствует себя крайне утомленной и, принося ему пожелания счастья по поводу восшествия на престол, выражает свое глубочайшее почтение и просит разрешить ей вернуться в тишину ее иудейских имений.

О, как Тит огорчился, какие он нашел пленительные

и равнодушные слова, чтобы выразить свои сожаления. Он был поистине весьма вежливым господином, и надо было иметь очень тонкий слух, чтобы расслышать за его словами вздох облегчения. Впрочем, Береника, хотя и не собиралась этого делать, на той же аудиенции заговорила о своем процессе. Она полагала, что так как теперь надолго покидает Рим, то целесообразно, быть может, обсудить с ним вопрос о ее привилегиях в Халкиде и Киликии, ибо в конце концов этот вопрос придется решать ему. Еще не кончив, она уже пожалела о своих словах. Она слишком облегчила ему испытание. Он будет очень доволен столь легким способом «расплатиться» с ней. Сейчас ей не следовало этого касаться. Но слишком велика была жажда узнать, как он к этому отнесется.

Он, казалось, даже обрадовался, что они начали сразу разговор об этой тяжбе. Само собой разумеется, заявил он, пора покончить навсегда с этим нелепым недо-разумением. Его министры и юристы — медлительные бюрократы. Для него это дело давно решено, и он очень благодарен ей, что она ему о нем напомнила. Разумеется, все ее требования вполне справедливы, но его отец, бог Веспасиан, как ей известно, имел свои странности и в некоторых вопросах был неподатлив. Он распорядится, чтобы дело было урегулировано в кратчайший срок.

— В кратчайший срок? — поправился он с подчеркнутым рвением. — Нет, сегодня же, сейчас мы приведем это в порядок. — И, ударив в ладоши, вызвал секретаря и отдал совершенно точный приказ.

Береника сидела, улыбаясь; улыбаясь, слушала веселые, деловитые распоряжения императора, закреплявшие за ней и ее братом столь долго оспариваемые права на миллионы. Она и ее брат, последние потомки Хасмонеев, истратили большую часть своих богатств на финансирование государственного переворота, возведшего на престол этого человека и его отца. Ее терзало то, что Тит теперь так щедро расплатился с ней. Она его любила, а он откупается от нее.

Три дня спустя Тит дал прощальный банкет в честь отъезжающей. В прекрасной речи прославлял он великую, обаятельную восточную принцессу и выражал сожаления, что она так скоро покидает его Рим, не дав ему возможности показать ей свой новый театр и игры. Береника заметила с горьким удовлетворением, что для этой речи он сделал себе предварительные стенографические записи, которые скрыл в рукаве.

Потом она уехала. Из той же Остии, куда она прибыла. Агриппа, Клавдий Регин, Квинтилиан, Гай Барцаарон, капитан Катуальд со своим отрядом германской лейб-гвардии провожали ее на корабль. Две римских военных галеры следовали за ее судном, пока берег не скрылся из виду. Еще раньше капитан Катуальд со своими германскими солдатами весело вернулся в город. Евреи оставались на берегу, пока не исчез корабль, а с ним вместе и все их надежды.

Как только корабль вышел в море, Береника удалилась к себе. Никто в Риме так и не заметил, что она повредила себе ногу.

Никогда еще император не отпускал гостя с большими почестями. Кроме того, в день отъезда Береники был опубликован эдикт, по которому за Береникой утверждалось владение Халкидой и Киликией и титул царицы. Как и прежде, в приемной императора висел ее большой портрет. Ни один человек, кроме Иосифа и Агриппы, не узнал о том, что произошло между нею и Титом. И все же, притом очень скоро, об этом узнали и город и империя. Те, кто всего несколько недель назад быстро и ревностно убедились в выдающихся качествах обитателей правого берега Тибра, теперь с еще большей быстротой и рвением вернулись к своим старым взглядам и с удвоенной грубостью давали евреям почувствовать их неполноценность. Евреи, расхаживавшие еще неделю назад с заносчивым и уверенным видом, снова стали приниженными и несчастными, и богословы приказали во всех синагогах империи три субботы кряду читать ту прекрасную главу из пророка, которая начинается словами: «Утешайте, утешайте, народ Мой».

В конторах, организующих гладиаторские игры, вдруг исчезли всякие сомнения относительно того, можно ли использовать пленных, оставшихся от Иудейской войны. Плата добровольцам упала на сорок процентов. И уже решительно никто не интересовался молодым человеком из хорошей семьи, заявившим о своем желании стать гладиатором, чтобы заработать деньги на погребение отца.

Даже в лагерях военнопленных знали о положении дел. Пленные посылали душераздирающие просьбы иудейским общинам, умоляя помочь, выкупить. Господа, собиравшие пожертвования, работали теперь с большим успехом. И все-таки шансы каждого в отдельности на выкуп были ни-

чтожны, пленных было чересчур много, а в лагерях царила атмосфера безнадежности и мрачной тревоги. Иные просили противников не щадить их так же, как и они не будут их щадить; ибо тот, кто одерживал победу над многими противниками, еще имел некоторые шансы остаться в живых. Однако все знали, что эти шансы очень невелики, что против большинства имен в списках стоит роковое «Р», и, тренируясь, люди в то же время готовились к смерти, каялись в грехах, писали завещания, молились.

После отъезда Береники Тит нередко погружался в глубокую задумчивость. Он останавливался перед ее портретом и размышлял. Он не мог понять, что же, собственно, произошло. Ведь Береника осталась той же женщиной, что и прежде. То же лицо, грудь, осанка, то же тело и душа, которые он любил на протяжении десяти лет. Как могло столь сильное чувство, самое неодолимое из испытанных им за всю его жизнь, вдруг так мгновенно исчезнуть? Может быть, это наказание бога Ягве, отнявшего у него высшее счастье? А может быть, наоборот, это милость Юпитера Капитолийского, открывшего ему глаза и указавшего его подлинную задачу? Однако второе, более утешительное, предположение все же не могло совершенно уничтожить первого, пугающего.

Как бы то ни было, разрыв с еврейкой создал Киту у римлян первый большой успех. Любовь народа, которой он так долго и тщетно добивался, пришла теперь сама собой. Он спокойно наслаждался ею. Слишком долго разрешал он себе всякие изысканные причуды, эзотерическое влечение к Востоку. Теперь он облегченно вздохнул, освободившись от дорого стоящих чувств.

Он упивался любовью своего народа. Изобретал все новые утонченные способы подогревать ее. Стал расточительным. Только теперь вкусил он в полной мере радость строительства, грандиозных приготовлений к играм. Все реже допускал к себе вечно каркающего Клавдия Регина. Без свиты, без маски, как частное лицо, гулял он по улицам, впитывал в себя то, что о нем говорили массы. Ибо когда они теперь называли его Китом, то делали это с любовью, и нежностью, и уже не было особенно большой разницы между этим прозвищем и тем, которое дня него изобрели придворные поэты и риторы: «Любовь и радость человеческого рода».

Вопреки совету своего интенданта, он не отпраздновал открытие Новых бань торжественным освящением в присутствии одной только знати, но с первого же дня дал

доступ массам. Сам он явился в этот день в гигантское, великолепное заведение без охраны, как простой посетитель, среди тысяч других. Разделся среди них, с ними плавал в бассейне с теплой и в бассейне с холодной водой, вместе с ними массировался, разговаривал с соседями на диалекте — какой-то смеси сабинского и римского, говорил, к их великой радости, «Раума» вместо «Рома», шутил с ними насчет того, сколько давать банщикам на чай. Он постоял вместе с другими в большом зале перед фресками, — правда, вместо шедевра «Упущенные возможности» там красовалась довольно банальная мифологическая мазня — «Венера, выходящая из морской пены». Как бы то ни было, эта фреска служила подходящим поводом для непристойных шуток. Его шутки были самые непристойные. Все узнали императора, но с готовностью принимали участие в игре и делали вид, что не узнают его.

И все-таки минутами его охватывала глубокая отчужденность.

Неужели это он среди гулких криков бросается вниз головой в воду? Неужели это он говорит вместо «Рома» — «Раума» и отпускает шуточки по поводу стыдливости Венеры? Весело слоняется из зала в зал, хлопая своих римлян по животам, позволяя им трепать себя по плечу, пользуется огромной популярностью? Он спросил наконец прямо, рады ли они, что среди них Кит. В ответ раздался оглушительный хохот, бурное ликование. Но в то время, как он шумел и смеялся вместе с ними, мысленно даже стенографируя собственные слова, он почувствовал, что самое большое — это Кит смеется и шутит, но подлинного Тита здесь нет. Подлинный Тит далеко отсюда, не в Новых банях; он смотрел вслед кораблю, которого никогда не видел, на котором едет Береника и который он не смог бы догнать на своем самом быстром корабле.

Деметрий Либаний принес интенданту зрелищ рукопись «Пирата Лавреола». Либаний был очень горд. Текст обозрения удался блестяще; это была действительно такая пьеса, о какой он мечтал с самого детства, и она появилась в нужный момент. Он в зените своих сил, он созрел, чтобы сыграть эту роль, которая содержит в себе всю эпоху.

С глубоким удовлетворением рассказывал он интенданту, как представляет себе постановку и интерпретацию этой вещи. Но обычно столь вежливый и легко воодушевля-

ющийся интендант на этот раз сохранял ледяное равнодушие. Он полагает, заявил интендант, что постановка нового обозрения едва ли сейчас возможна. Нужно поискать что-нибудь актуальное, например, вроде фарса «Еврей Апелла»; при дворе, в очень влиятельных сферах, было выражено желание еще раз посмотреть этот фарс, а римская публика будет ему особенно рада именно теперь.

Деметрий Либаний широко раскрыл тусклые бледно-голубые глаза, почти поглупевшие от изумления. Не сон ли это? С интендантом ли он говорит? И сейчас действительно 833 год от основания Рима? Что плетет этот человек? Ведь Деметрий пришел к нему, чтобы сыграть пирата Лавреола! А что он сказал об «Еврее Апелле»? Как? Почему? Это шутка? Или он хочет испортить его радость напоминанием о кошмаре, пережитом пятнадцать лет назад, — страхи и сомнения, связанные с этим рискованным фарсом, который в настоящее время не может не вызвать погромы и беды?

— Император хочет увидеть «Еврея Апеллу»? — пробормотал он. И тогда с ним случилось то, чего не случалось вот уже тридцать лет: его изысканный греческий язык вдруг перешел в диалект, в тот полуарамейский диалект, из-за которого римляне издевались над обитателями правого берега Тибра.

— Еще определенных указаний пока не дано, — осторожно ответил интендант, — но я считаю в высшей степени сомнительным, чтобы захотели вернуться к «Пирату Лавреолу».

На этот раз Либаний расслышал. Это не было сном, это были слова — трезвые, сказанные вполне серьезно. Каждое слово было как удар по голове: они потрясли его до самого нутра. Шатаясь, с блуждающим взглядом, он удалился.

Он отослал домой каппадокийских носильщиков; ему хотелось идти пешком, двигаться. Он спустился с Палатина к Форуму, спотыкаясь, что-то бормоча про себя. Прохожие с удивлением смотрели ему вслед. Многие узнавали его. Некоторые шли за ним — празднующиеся, дети, их становилось все больше. Он их не видел. Он вдруг почувствовал смертельную усталость, охая, присел на ступени храма Мира. Так сидел он, раскачивая верхнюю часть тела, тряся головой, старый еврей. Друзья отвели его домой.

Горькие, покаянные мысли точили его. То, что произошло, не могло быть случайностью. Так долго ждал он этого

свершения, и вот когда оно наступило, когда роль созрела в нем, когда текст удался и создана подходящая рамка, тут в последнюю минуту, в ту самую минуту, когда он хотел выйти на подмостки, эти подмостки рухнули у него под ногами. Это была кара Ягве.

Взгляд его серо-голубых тусклых глаз стал совершенно тупым, бледное, слегка отекшее лицо посерело, сморщилось, словно неравномерно наполненный мешок. Он терзал себя, он опустил ся.

Таким нашел его Иосиф. Иосифа, может быть, меньше всех коснулась перемена; то, чего он мог достигнуть, он достиг уже раньше. Когда он увидел отчаяние актера, его поразила мысль, что ведь и с ним легко могло случиться то же самое. Он вспомнил также все, что Деметрий Либаний для него сделал, когда он в первый раз приезжал в Рим. Хотя Иосиф в своей книге и не приводил цифр, все же он отлично умел считать. Он не забывал обиды, но не забывал и сделанного ему добра. И теперь, когда актер сидел перед ним, такой маленький и несчастный, когда Деметрий рассказал, что от него требуют сыграть еврея Апеллу вместо пирата Лавреола, Иосиф решил помочь своему другу, он отважился на смелый шаг. Он пошел к Луции.

Иосиф понимал женщин. С первой минуты, как он увидел Луцию, он уже знал, чем ее взять. Она была жадна до жизни, восприимчива к сильным страстям, не ведала страха. Марулл рассказал ему, что она порицала Тита за разрыв с Береникой, хотя этот разрыв и был в прямых интересах ее и Домициана. Если Иосифу удастся объяснить ей, как некрасиво поступили с актером, тогда — он был в этом уверен — она вступится за Деметрия.

Луция не скрывала радости, что видит Иосифа. Он заговорил с ней откровенно, как с хорошей, чуткой подругой. Он говорил о Беренике, рассказал о ее прошлом то, чего еще никому не рассказывал. О Тите он отозвался тепло, сожалел, что тот порвал с ней, но оправдывал его и увидел с радостью, что Луция страстно возмутилась такой чисто мужской точкой зрения. Теперь ему было легко действовать. Быстро, даже без помощи особенно выразительных слов добился он того, что она стала осуждать поход против евреев в Риме, и в особенности против актера. Было неблагородно сначала с этими людьми носиться, убаюкивать их сотнями надежд — а затем одним пинком ноги отшвырнуть прочь. Да, таково ее мнение. И она этого

мнения скрывать не будет, даже перед деверем, перед Титом. Рослая, с резко очерченным носом и широко расставленными, смелыми глазами, сидела она перед Иосифом, высокая башня ее искусно завитых локонов слегка дрожала. Иосиф был убежден, что Тит серьезно отнесется к ее мнению.

Увидев Луцию, Тит просиял. Он видел ее по-новому. Правда, он уже в последние недели замечал, как она прекрасна и полна силы, но тогда он еще был зачарован еврейкой. Только теперь увидел он ее по-настоящему, как бы впервые, — ее смелое, беззаботное, чувственное лицо. Эта — умела жить. В дураках-то остался он, а Малыш оказался прав. Встретить он, подобно брату, еще в ранние годы такую женщину, то едва ли стал бы блудить во всех частях света, все пошло бы хорошо и он не потерял бы способности иметь детей. И тогда не подпал бы под чары еврейки и не шел бы мучительными окольными путями.

Но что говорит Луция?

— То, что вы сделали, недостойно вас. Если женщина вдруг перестает нравиться — это бывает, это в природе вещей, тут ничего не поделаешь. Но, по-моему, некрасиво вымещать перемену ваших вкусов на пяти миллионах людей. Мне лично, за редкими исключениями, ваши евреи не симпатичны, вероятно, еще менее симпатичны, чем вам. Но то, как вы сейчас поступаете, Тит, не годится. Если бы Малыш сделал что-нибудь подобное, я бы дала ему отставку.

— Знаете, Луция, — вдруг сказал Тит таинственно и словно под влиянием внезапного озарения, — в очаровании, исходившем от нее, не было ничего естественного, здорового. Только иноземное, проклятый Восток. Лишь сейчас увидел я ее настоящими римскими глазами. Это — старая еврейка, мои римляне правы. Я вдруг выздоровел, может быть, слишком внезапно, а в таких случаях легко хватить через край. Вероятно, вы правы. Я слежу за тем, чтобы не заходили слишком далеко.

Он взглянул на нее, она взглянула на него, и он понравился ей. По-своему она любила Домициана, но Тит был интереснее. Юпитер свидетель, это вовсе не кит, это резвый дельфин. Как он очаровательно неуравновешен, то повоенному подтянутый, то помальчишески игривый, то в глубоком раздумье о своей тоске по Востоку, погруженный в нее. Сегодня он беззаботно, по-детски показывал, как он рад приходу Луции. Он нашел верные слова, не навязчи-

вые, но и не робкие. Это был не император, не брат ее мужа, это был просто мужчина, который ей нравился и которому она нравилась.

Доложили о приходе Клавдия Регина. Император не принял его, назначил аудиенцию на следующий день. Луция хотела уйти, он удержал ее, и когда они наконец расстались, они испытывали друг к другу сильное и приятное влечение. Только сейчас, казалось Титу, исцелился он вполне от еврейки, и снова в душе мелькнула нелепая суеверная надежда, что Луция могла бы, пожалуй, родить ему сына.

На следующий день он распорядился убрать портрет Береники. Теперь в Риме ничто больше не напоминало о ней, кроме созвездия вблизи Льва, — это далекое, тонкое сияние, нежное, как прядь волос, носившее ее имя.

Интендант с удовольствием отметил испуг и унижение Деметрия Либания. Так как актер нередко раздражал его своими повадками «звезды», он с радостью воспользовался случаем отплатить ему. На ближайшем своем докладе у Тита он пытался получить от него разрешение на постановку фарса «Еврей Апелла».

Но, едва приступив к делу, он сразу увидел по тому, как держался император, что ему не удастся добиться согласия так легко, как он надеялся. Он имел дело с Китом, животным неуклюжим, но опасным своими чудовищными размерами, так что охота требовала хитрости и уловок. Поэтому интендант искусно отклонился от темы, но через некоторое время снова, и на этот раз гораздо более туманно, вскользь вернулся к желанию римлян опять посмотреть «Еврея Апеллу». Он знал слабости Кита, знал, как тот дорожит одобрением масс. Он подчеркнул, что и сам не очень любит «Еврея Апеллу» и что «Лавреол» Марулла очень хорош. Но он считает своим долгом поставить императора в известность относительно того, насколько массы желают именно теперь постановки «Еврея Апеллы».

Станным отсутствующим взглядом смотрел Тит на интенданта, стоявшего перед ним в позе почтительного ожидания. Неужели отказать своему народу в том, что, по существу, так легко исполнимо? Правда, он обещал Луции. Обязался следить за тем, чтобы «не заходили слишком далеко». Кроме того, он вовсе не намерен обижать Деметрия.

Раздосадованный, сидел он перед интендантом, стенографируя на своей дощечке бессмысленные слова. Он охотно избегал решений, он любил компромиссы.

— А что,— сказал он,— если дать Либанию сыграть своего Лавреола, а еще кому-нибудь,— например, Латину или Фавору,— еврея Апеллу?

Интендант пожал плечами.

— Боюсь,— ответил он,— что тогда весь спектакль потеряет свою остроту. Римляне будут удивлены, что еврея играет не еврей. Кроме того, подобное решение оскорбило бы и Либания не меньше, чем народ, ибо он играл эту роль мастерски.

Видя, что император все еще колеблется, он пошел на уступки. Монарх не хочет оказывать недостойного давления на актера,— это вполне соответствует его кроткому характеру. Но он лично полагает, что есть средний путь. Можно было показать народу любимую и актуальную пьесу, не обижая актера. Что, если, например, предложить Либанию сыграть Апеллу сейчас, во время игр, твердо пообещав ему за это дать потом сыграть Лавреола?

Тит обдумывал предложение. Но хотя он и колебался, интендант увидел сейчас же, что Кит попался на удочку. Так оно и было. И если император медлил, то лишь из приличия. В душе он был рад компромиссу, предложенному интендантом. Так он сдержит и свое обещание, данное Луции, и не вызовет неудовольствия своих римлян.

— Хорошо,— сказал он.

Либаний проклинал свою судьбу. Все вновь и вновь ставила она его перед подобными горькими альтернативами. Когда он в тот раз, после мучительных колебаний, все же сыграл еврея Апеллу, это было, по крайней мере, событием, коснувшимся всего еврейства. То, что это принесло вред, и, может быть, даже из-за этого погибли государство и храм, не его, Либания, вина. Теперь же проблема касалась не всего еврейства, а его одного, но она угнетала его не меньше. Если он не выступит, если допустит, чтобы его на стодневных играх обошли, ему уже не выплыть никогда. Император отныне едва ли будет служить ему прикрытием. Несомненно, Тит, может быть, сам того не сознавая, хотел выместить на всех евреях разочарование, которое угото-вила ему Береника. Если он теперь откажется играть еврея Апеллу, это послужит для Тита желанным предлогом навсегда его отстранить. А ему пятьдесят один год.

На самом деле ему было пятьдесят два, но он себе в этом не признавался.

В тот раз, когда он впервые играл еврея Апеллу, он запросил мнения богословов. Мнение оказалось двусмысленным, оно в конце запрещало то, что разрешило в начале. Теперь он их не запрашивал. Актер знал, что, сыграв он еврея Апеллу сейчас, богословы единодушно и без всякой казуистики объявят это смертным грехом. Богословы были люди ученые, и он почитал их. Но в данном деле они не смогли бы дать ему совет,—их принципы были недостаточны гибки.

Он советовался с Иосифом, с Клавдием Регинем. Смеет ли он взять на себя ответственность сыграть еврея Апеллу и тем самым высмеять еврейство, как этого от него хотят? Смеет ли он, с другой стороны, поскольку Ягве одарил его столь выдающимся талантом, отказаться от этой роли и навсегда закрыть себе доступ на сцену? Ни Иосиф, ни Регин не могли сказать ни «да», ни «нет», они ничего не могли придумать.

В конце концов Деметрий Либаний решил за большие деньги выкупить пятерых евреев из лагеря военнопленных, предназначенных для игр, и выступить в «Еврее Апелле».

— Я не сентиментальна, но шрам под левой грудью я тебе целовать не позволю,— сказала Луция Титу, смеясь большими ровными зубами.— Ему я тоже не позволяю.

Это была ночь перед открытием Амфитеатра Флавиев, первая ночь, которую она провела с ним.

— Зачем ты возбуждаешь мою ревность, Луция? — спросил Тит.— Зачем мучаешь меня?

Она лежала сытая, крупная, нагая.

— Я тебе всегда говорила, что люблю его,— ответила она.— Но какое тебе до этого дело? Какое нам до этого дело? Не говори о нем. Ты совсем другой, мой Тит. Хорошо, что боги создали мужчин такими разными.

— Мне кажется,— сказал Тит, тоже сытый, счастливый, шепотом, таинственно,— мне кажется, теперь я очистил свою кровь от этого проклятого Востока. Через тебя, Луция. Теперь я — римлянин, Луция, и я люблю тебя.

Он был вполне счастлив, когда на другой день вошел в театр и его встретили бурным ликованием, и он знал на этот раз, что оно не организовано полицией. Он испытал большой соблазн назвать театр своим именем, однако пересилил себя, уступил всей династии честь этого грандиозно-

го дела и назвал здание Амфитеатром Флавиев. Но для него было торжеством и знаком милости богов, что открыть этот театр дано именно ему, а не Веспасиану, так долго его строившему. Ясным и радостным взглядом обводил он гигантское здание, кишевшее людьми; он знал число зрителей — их было восемьдесят семь тысяч; три тысячи мраморных статуй терялись в массе живых людей.

Игры начались. Они начинались рано утром и продолжались до захода солнца. Для первого дня были сделаны особенно пышные приготовления, и за один этот день на арене умерло девять тысяч зверей и около четырех тысяч человек. В антрактах массам тоже давали чувствовать, что они в гостях у поистине щедрого императора. Они не только получали даром вино, мясо и хлеб, но среди них еще разбрасывали выигрышные билеты, и те, кому удавалось захватить их, получали право на земельные участки, на деньги, на рабов, а самые маленькие выигрыши давали право бесплатно провести ночь с одной из многочисленных, специально предназначенных для этой цели блудниц.

День был великолепный, не слишком жаркий и не слишком прохладный, и не сврейка сидела в ложе рядом с императором, а Луция, Луция Домиция Лонгина, римлянка, сильная, пышная, смеющаяся; массы были счастливы. На скамьях аристократии, даже в императорской ложе, царила радость по поводу того, что опасность восточного владычества миновала.

— О ты, всеблагод, величайший император Тит! — раздавалось все вновь и вновь со всех сторон. — О ты, любовь и радость рода человеческого. — И с подлинной нежностью: — О ты, наш всеблагод, величайший китенок!

Все же во время игр, — а они продолжались очень долго, — вскоре после полудня, с Титом случился один из припадков, характерных для первых недель его царствования. Он как бы ушел в себя, вяло смотрел в одну точку — и вдруг заплакал. Никто не знал отчего, едва ли знал он сам, и очень многие из восьмидесяти семи тысяч заметили это, ибо императорскую ложу было видно с большинства мест.

Впрочем, это случилось во время комической интермедии, называвшейся «Опыт Дедала». Искусные машины поднимали с арены людей с привязанными крыльями, так что казалось, будто они действительно летают. У каждого система канатов была другая, но все устроены так, что при определенных движениях, — при каких, пленные не зна-

ли, — канаты рвались. Тот, кому удавалось перелететь через всю арену, был спасен хотя бы на сегодня, но многие канаты рвались раньше, и крылатые существа разбивались насмерть. Было смешно наблюдать, как странные люди-птицы, особенно в последней части своего полета, старались достигнуть цели, но именно вследствие увеличения скорости многие падали. Организаторы возлагали на этот номер особые надежды. И он действительно произвел впечатление. Но оно пропало в значительной мере оттого, что зрители делили свое внимание между крылатыми существами и императорской ложей, с изумлением или, во всяком случае, с любопытством, спрашивая себя, что же такое приключилось с Китом. Направление полета этих человекоптиц было, впрочем, таково, что они все время видели императорскую ложу. И, может быть, для некоторых из них все же было утешением, что человек, взявший их в плен и обрешивший на смерть, плачет.

Книга третья

ОТЕЦ

Пропозжа Дорион проводила теперь большую часть времени на своей альбанской вилле; дом настолько отстроили, что в нем вполне можно было жить. Правда, вилла еще далеко не была закончена, ибо Дорион придумывала все новые усовершенствования. Средств у нее хватало, после отца ей досталось значительное состояние. Однако все счета за отделку виллы она посылала Иосифу. Дело было не в деньгах, но Дорион знала, что для Иосифа плата по счетам связана с жертвами, а она только и подстерегала возможность унижить его. Когда же он наконец придет и заявит, что больше платить не будет? Она готовилась к этому дню. Рисовала себе, как его надменное лицо исказится, когда ему придется сказать ей об этом. Тщательно обдумывала, что ему ответить. О, теперь он ее уже не проведет! Теперь уж не заговорит ее этот красноречивый, судья мертвых, обманщик, лжеясновидец, еврей. Теперь она устоит против его чар. Память об отце — амулет, который защитит ее от всех искушений, идущих от Иосифа.

Но Иосиф не искушал ее. Он жил в Риме, она — на альбанской вилле, они виделись редко, и тогда он бывал вежлив, почти весел, но избегал всякого мало-мальски интимного разговора. Единственной радостью для нее при этих встречах был тот голодный взгляд, который он, полагая, что за ним не наблюдают, иногда бросал на своего, на их сына Павла. Но, как видно, отнюдь не считал себя побежденным. Он держал слово — оплачивал счета по постройке дома и не давал ей повода высказать все, что она так тщательно подготовила.

За эти недели Дорион изменилась. Взгляд ее глаз на узком лице стал более буйным, светлым, требовательным, ее широкий мелкозубый рот раскрывался с большей жадностью, она была красива, гибка и опасна. Но то нежное и дет-

ское, что жило в ней раньше, исчезло. А когда рассказывали анекдоты о все возраставшем антисемитизме римлян, она смеялась с такой злобной радостью, что пугала даже своих друзей.

Иосиф жил в своем темном, неудобном доме, в шестом квартале. Он ходил в Субуру к Александрию, беседовал с маленьким Симоном, не чуждался друзей. Но его не радовали ни работа, ни беседы и книги, ни женщины, ни почести, ни город Рим, ни греки и римляне, ни евреи. Ему не хотелось размышлять о боге, а то, чем был занят император, его решительно не интересовало. Может быть, ему недоставало его секретаря Финия, но он в этом себе не признавался. Что ему недостает Дорион и сына Павла, — это он знал. Он предвидел, что его жертва — изгнание Мары — будет напрасной. Но он ничуть не раскаивался; если бы Дорион сейчас снова потребовала этой жертвы, он снова принес бы ее.

Деньги на постройку виллы он давал беспрекословно, с каким-то сладострастным озлоблением. Сначала он едва проглядывал счета, потом заметил, что в каждом отдельном случае смета оказывалась превышенной. Затем Дорион обходились все дороже. Но он молчал. Он понимал, что именно это молчание должно злить Дорион и толкать на все новые требования, которые в конце концов он все-таки не сможет удовлетворить. И все-таки он молчал.

Стройка постепенно достигла той стадии, когда оставалось доделать пустяки. Одного вопроса Дорион никак не могла решить: как быть с росписью крытой галереи, где, по первоначальному плану, должны были быть фрески «Упущенные возможности». Наконец она решилась эту галерею, некогда предназначавшуюся Иосифу, чтобы он мог там спокойно предаваться своим размышлениям, превратить в место, посвященное памяти ее отца. Она хотела поставить здесь, под бюстом Фабулла, его урну, а вдоль стен должны были тянуться картины из его жизни, как постоянное напоминание о дорогом усопшем, чье тело и душа были уничтожены коварством Иосифа.

Она долго взвешивала, кто наиболее достоин извлекать бюст Фабулла и изобразить его жизнь. Она обратилась к Василию. Переутомленный скульптор сначала стал многократно отказываться. Но Дорион благодаря ее упорству и испытанному уменью нравиться мужчинам удалось переубедить его; после бесконечных разговоров он наконец со вздохом заявил, что из любви к покойному другу готов взять на себя эту задачу. Правда, лишь после того, как она

намекнула, что ради увековечения памяти отца она ничего не пожалеет. Она уговорила Василия, и ей удалось добиться того, чтобы роспись галереи взял на себя очень известный и высокооплачиваемый живописец Теон.

Когда эти господа потребовали от Иосифа общий гонорар в размере почти пятидесяти тысяч сестерциев, он побледнел. Что еще придумает эта женщина, чтобы уязвить его до глубины души? Уж, наверно, Дорион затеяла все это не столько чтобы почтить память отца, сколько чтобы досадить ему, Иосифу. Что общего между бюстом Василия, росписью Теона и обещанием Иосифа построить для Дорион виллу? Впрочем, если бы он даже захотел, то не смог бы добыть такие деньги без содействия Клавдия Регина. Он решил поговорить с Дорион откровенно и рассудительно.

Дорион слышала от обоих художников, что Иосиф платить отказался. Когда он велел доложить о себе, Дорион насторожилась. Это будет первым блюдом на ее роскошной трапезе мщения. Она радовалась, предвкушая, как он признается в своей бедности и бессилии, в неспособности сдержать обещание.

Когда он предстал перед нею, она холодно смерила его взглядом, жадно полуоткрыв рот, слегка посапывая широким носом. Иосиф признался про себя, что даже сейчас желает ее. Она выслушала его до конца. Затем сказала, и ее голос звучал резко, но спокойно: она сразу же поняла, что сказанное им после смерти ее отца — только громкие фразы. Он отослал эту женщину не ради Дорион, а чтобы уберечь свою потаскушку от заразы, своего ублюдка, которому эпидемия не опасна, он оставил в Риме. Для нее нет ничего неожиданного в том, что он преследует своей ненавистью ее отца даже после его смерти и пытается помешать ее планам почтить его память.

Удивленный, подавленный, с тяжестью на сердце, слушал Иосиф эти полубезумные речи, полные вызова и горечи. Прошло много времени, пока они через его уши проникли в сердце. Ее терпению конец, торжествуя закончила Дорион, и теперь, ссылаясь на оскорбление, которое он ей недавно нанес, она начнет бракоразводный процесс.

Иосиф выслушал и это. Он видел Дорион, и он понял. Он ничего не ответил. Поклонился, попрощался, ушел. Она с удовлетворением констатировала, что он шел нетвердой походкой и держался не так прямо, как обычно, — шел так, как шел ее отец, когда она видела его в последний раз.

Иосиф спросил совета у Маруллы. Правда, он не мог не признать, что Дорион для него навсегда потеряна. Но в его голове не укладывалась мысль, что он должен вместе с нею потерять и своего сына Павла. По еврейскому праву, вся власть принадлежала мужу. Иосиф считал бессмыслицей, что отец, желающий поднять сына до своего сословия, вынужден из-за чисто формальных соображений оставлять его в низшем.

— Мировое владычество Рима, — горячился он, — опирается на здравый человеческий разум. То, что хочет сделать по отношению ко мне эта женщина, явно идет вразрез с разумом, с понятием права. Неужели римский суд принудит меня покориться?

Сенатор Марулл рассматривал через свой увеличительный смарагд взволнованного, исстрадавшегося Иосифа. Зубы Маруллы все больше расшатывались, врачи не могли ему помочь, боль усиливала его скептическое недоверие к людям и их правовым институтам.

— Меня удивляет, — возразил он Иосифу, — что такой умный человек так мало продумал сущность права. Законодательство и судопроизводство — это попытка задним числом идейно обосновать и оправдать некогда сложившиеся политические и экономические отношения. Но так как эти отношения текучи и постоянно находятся в движении, право же и закон лишены гибкости и очень медлительны, то полное соответствие права с действительностью и ее требованиями никогда не может быть достигнуто. Умный судья или умный адвокат для того и существуют, чтобы защитить человека, заслуживающего этого, от закона. — После этих поучений общего характера он перешел к данному конкретному случаю: — Ваша жена принесла вам значительное приданое? — спросил он.

— Мне об этом ничего не известно, — отозвался с некоторой горечью Иосиф. — Ее отец был не скуп, но он меня не любил. Кроме платьев, кое-каких безделушек да весьма неприятного кота, Дорион не принесла ничего. Кот за это время сдох.

— И все-таки госпожа Дорион, — заметил Марулл, — будет озлобленно требовать оставшиеся от этих платьев лохмотья, и нам придется когтями и зубами защищать их. И только после того, как она путем гражданского иска добьется возвращения своего приданого, она может подать на вас в суд нравов, а цензор — лишить вас титула. В таком случае, — и он тихонько постучал по полу элегантною посохом, — вы, конечно, никогда бы не смогли получить власти

отца над вашим сыном. Но госпожа Дорион еще не у цели,— закончил он ободряюще.— К счастью, законы о разводе чрезвычайно сложны. Мы можем бесконечно затянуть процесс, на два года, на три.

Иосиф горестно уставился перед собой; какой мрачностью могло веять от его выпуклого лба! Что касается Маруллы, то его этот случай интересовал больше с психологической стороны, чем с юридической. Он удивлялся тому, что Дорион даже ради такой цели, как принадлежность к знати второго ранга, не хотела пожертвовать крайней плотью сына. За ее сопротивлением он видел своих старых врагов, этих сторонников догматической веры, этих ослон из сената. Это, конечно, они поддерживали Дорион в ее неразумии. Таким образом, борьба за сына еврея Иосифа становилась показательной борьбой между закостенелой аристократией старого Рима и либералами, стремившимися внести в мировую империю подлинный космополитизм. Кто победит — предсказать было трудно. Роли распределялись крайне своеобразно. Ибо возможно, что после падения Береники либеральная династия, либеральный монарх окажутся на стороне консервативных поборников республиканской националистической традиции. Если он, Марулл, возьмется за дело Иосифа, то, бесспорно, поставит себя в опасное положение,— над его головой все еще висел угрозой закон о доносчиках. Но именно это и привлекало его в предстоящей борьбе.

Вдруг у него возникла идея:

— А что, если бы вы усыновили вашего сына,— предложил он Иосифу.

Тот удивленно поднял голову, но, искушенный в казуистике Иерусалимского университета, тотчас оценил предложение римлянина.

— Усыновление,— продолжал Марулл медленно и назидательно,— есть включение в семью нового члена путем выбора. Так как в вашем случае факта отцовства недостаточно, чтобы сделать вашего сына членом семьи, то мы восполняем эту недостаточность свободным привлечением путем выбора. Понятно? Может быть, вашему еврейскому праву незнакомо понятие усыновления? — вежливо осведомился он.

Иосиф был почти обижен. Разумеется, в еврейском праве тоже существует нечто подобное. Когда Лия и Рахиль приводили своих рабынь к Иакову и он потом признавал рожденных от них детей, разве это не было усыновлением? И разве Эсфирь не была приемной дочерью

Мардохея? А законы о женитьбе на вдове брата? Еврейский юрист со знанием дела растолковал римскому юристу очень ясные, по его мнению, положения этого института:

— У нас есть чрезвычайно своеобразный закон,— пояснил Иосиф.— Когда человек умирает, не оставив после себя детей, то его брат должен жениться на вдове и назвать рожденного от нее сына именем покойного. Следовательно, здесь речь идет именно о том, чтобы будущего ребенка бездетной вдовы, родившегося от ее брака с братом покойного, рассматривать как фиктивно усыновленного им ребенка.

— Это-то очень просто,— согласился римский юрист.— Наше право сложнее. Но не самое судопроизводство. В нем два основных момента: освобождение ребенка из-под прежней опеки и отдача его под новую. Освобождение совершается троекратной мнимой продажей в рабство. Таким образом, в данном случае ваша жена должна была бы продать мальчика какому-нибудь третьему лицу, например мне. Я отпускаю его на волю, и он опять поступает к матери. Она мне вторично продает его, я снова его отпускаю, и он опять попадает к ней. Она продает его в третий раз и тем самым наконец теряет право, при дальнейшем его освобождении, на опеку над ним, ибо, согласно Законам двенадцати таблиц, это право опеки теряется только после троекратной продажи. Затем начинается второй этап усыновления — принятие ребенка под опеку новым отцом. Вы, Иосиф Флавий, выступаете в мнимом процессе истцом и требуете передачи мальчика Павла под вашу опеку. Мать, в качестве ответчицы, молчит, признавая тем самым ваше требование, и Павел достается вам. Как видите, все это сравнительно просто.

— Но Дорион была бы сумасшедшей,— возразил Иосиф,— если бы согласилась на все это.

— Она была бы сумасшедшей,— отозвался Марулл с хитрой, чисто юридической улыбкой,— не согласившись. Если госпожа Дорион будет противиться тому, чтобы сын-провинциал, не имеющий гражданских прав, был причислен к знати второго ранга, мы будем оспаривать ее право воспитывать своего ребенка. Кроме того, это дает вам великолепный повод для развода.

— Но ведь Дорион,— размышлял вслух Иосиф,— все время отказывалась от права гражданства для себя и Павла и от признания нашего брака законным.

— Вы мыслите слишком примитивно и не юридически,— упрекнул его Марулл.— Ведь вам, Иосиф Флавий,

только по протекции и незаконным путем удалось бы добиться права гражданства для вашей жены.

Иосиф задумался.

— Понимаю, — сказал он, хотя у него слегка шла кругом голова.

— Вот видите, — довольным тоном закончил Марулл свое наставление, — при некоторой ловкости здравый человеческий рассудок может настоять на своем даже с помощью римского права.

Пока Иосиф говорил с Маруллом, план усыновления не казался ему столь безнадежным. Но когда он остался один, у него снова возникли сомнения, и план Марулла показался ему все же слишком фантастичным. Смысл полузаконного брака в том и состоял, что дети принадлежали матери, смысл же усыновления заключался в том, чтобы внедрять в семью чужих детей, не своей крови. Эти римляне и сейчас еще полуварвары, а их закон и право создавались частично в эпоху полного варварства; но все-таки не могла же их судебная практика дойти до такого цинизма, чтобы придать закону прямо противоположный смысл.

Однако Иосиф недолго задерживался на этих мыслях. Это был замкнутый круг. Если правое могло стать неправым, то почему с помощью хитроумных толкований не превратить его снова в правое? Весь вопрос в том, удастся ли и в зале суда нравов так же ловко повернуть дело, как в покоях Марулла.

Спустя несколько дней Марулл пригласил к себе Иосифа. На этот раз он привлек также некоего Оппия Котту, ученого-юриста. Обычно для защиты какого-нибудь дела старались сочетать хорошего адвоката с хорошим законоведом, последний изобретал формальные юридические аргументы, первый обрабатывал их как оратор. Таким образом, Марулл всесторонне обсудил этот случай с Оппием Коттой. Тот считал, что враждебная сторона, конечно, будет пытаться всевозможными способами оттянуть усыновление до совершеннолетия Павла. Поэтому следовало медлить возможно дольше с разводом и спешить с усыновлением. Все зависит от того, кто сделает первый ход: госпожа Дорион или Иосиф Флавий.

Иосиф должен был признать, что Марулл своим предложением дал ему в руки хорошее оружие. Но в отношении Дорион его страсть всегда побеждала разум. Вместо того чтобы выждать и посмотреть, что предпримет Дорион, он

решил сделать последнюю попытку помириться с ней. Конечно, было неразумно обращать ее внимание на тот юридический метод, которому Иосиф собирается в данном случае следовать. Конечно, Марулл будет настойчиво отговаривать его от этого свидания с Дорион. Но Иосиф не хотел, чтобы его отговаривали, он скрыл от Марулла свое намерение. Ему нужно было видеть Дорион, слышать ее голос. Он поехал в Альбан.

Белый и легкий стоял дом на холме. Привратник повел его в крытую галерею. Пахло краской. Фрески еще не были закончены, но Иосиф уже трижды видел на стене гордую, мясистую голову Фабулла. На искусно украшенном цоколе стояла урна с пеплом. Все вокруг казалось специально предназначенным для того, чтобы вызвать гнев Иосифа. С насмешкой подумал он о том, что в урне, наверно, не пепел Фабулла, а чей-то чужой, может быть, даже пепел животного.

Вот и Дорион. Когда ей доложили об Иосифе, ею овладело злорадное торжество. Теперь она может его принять. Она удивлена, начала Дорион, что видит его здесь. Разве они оба не сказали последнего слова? Нет, ответил он просяще, убеждающе. Ему пришла в голову новая мысль, он предлагает расстаться мирно, не на глазах всего Рима. Она ничего не ответила, она ждала с холодным выражением лица.

Смущенно стоял Иосиф в крытой галерее, окруженный только что написанными головами Фабулла. Здесь не могло возникнуть никакого контакта, здесь каждое слово, каждое движение становилось деревянным и неестественным. В глубине галереи был разбит тщательно ухоженный сад с каменными скамьями и сиденьями. Он охотно сел бы, но она не предложила ему. Она стояла, заставив стоять и его. Четко и стройно выступали в чистом воздухе контуры ее фигуры. Оба были словно на сцене. Он ненавидел ее, он ненавидел себя, напрасно он не посоветовался с Маруллом, напрасно пришел. Но он здесь, и должен говорить.

Он готов, сказал Иосиф, согласиться на развод и выплачивать ей содержание, удовлетворять ее благоразумные требования. Он имеет в виду ренту в сорок тысяч сестерциев. Это составит две трети его доходов. Кроме того, он готов, — ему было очень трудно выговорить вслух это предложение, — также оплатить бюст, сделанный Василием, и эти вот фрески Теона. Правда, он не сможет сразу добыть нужную сумму, но относительно сроков можно договориться.

— Хорошо, — сказала Дорион, наслаждаясь выражением борьбы и унижения на его бритом, взволнованном лице.

— К тебе же у меня только одна просьба, — продолжал он. — Мои друзья советуют мне усыновить Павла. Прошу тебя дать свое принципиальное согласие. Это значительно упростит процедуру и сделает ее менее неприятной.

Дорион посмотрела на него холодными светлыми глазами. Ее губы медленно скривились. Она улыбнулась. Она засмеялась. Она расхохоталась звонким, дребезжащим, насмешливым, злым смехом, громким, долгим. Она наслаждалась предложением Иосифа и наслаждалась своим смехом. Наверно, ее смех был приятен ее отцу Фабуллу, наверно, его три головы на стенах тоже наслаждались им.

На другой день Дорион рассказала своему другу Аннию, как беспомощно и по-мальчишески вел себя Иосиф, каким жалким и ничтожным он стоял перед ней. Она была полна огромной, буйной радости и снова начала смеяться. Анний вторил ей. Смеясь, рассказал он своему кузену Флавию Сильве о нелепом предложении Иосифа усыновить Павла. Флавий Сильва сначала тоже рассмеялся. Но затем он сообразил, что евреи — ужасные фанатики и, кроме того, дьявольски хитры; когда дело коснется их суеверий, они ухитряются белое сделать черным.

Дорион рассказала о намерениях Иосифа и старому Валерию, поэту. Валерий тоже смеялся, но его смех звучал угрюмо. Ведь в наш век разложения следует ждать самого худшего. Все может случиться в такие времена, когда еврей величает себя римским всадником, а подлинные римляне, потомки Энея, лишенные своего сана, вынуждены подчиняться экспедитору и унижать восковые бюсты своих предков. Его не удивит, продолжал он, если римский суд удовлетворит требование еврея сделать обрезание римлянину. Еще старик Сенека, впрочем, дурной человек, но иногда находивший удачные формулировки и искупивший свою распутную жизнь достойной смертью, справедливо заметил, что побежденные евреи диктуют победившим римлянам свои законы.

Старик Валерий отнесся к сообщению Дорион настолько серьезно, что обратился к Гельвидию, вождю сенатской оппозиции, особенно строго требовавшему соблюдения принципов традиционной национальной юстиции. Гельвидий не смеялся над притязаниями Иосифа, наоборот, он разразился по поводу приходящей в упадок знати и оевреившегося сената рядом горестных сентенций, которые были приятны сердцу Валерия. Но и Гельвидий не слишком серьезно

отнесся к делу. Он посоветовал старику обратиться к его юрисконсульту. Он не думает, чтобы ему пришлось самому выступать на суде в качестве адвоката по этому делу, и считает, что бракоразводный процесс Дорион будет победоносно закончен, прежде чем противник успеет продвинуть дело об усыновлении.

Однако оказалось, что целый ряд ловких и влиятельных лиц работают над тем, чтобы затянуть бракоразводный процесс. Адвокатом Иосифа выступил некий Публий Нигер. Вскоре друзьям Дорион удалось докопаться, что за Публием Нигером стоит некий Кальпурний Сальвиан, а за Кальпурнием Сальвианом — некий Клиний Макрон. Прошло долгое время, прежде чем из-за всех этих имен вынырнул Оппий Котта и канцелярия Юния Марулла. Когда друзья Дорион это обнаружили, никто уже не смеялся над притязаниями Иосифа усыновить мальчика Павла.

Модель «Большой Деборы» подвигалась, но требовала больше времени и труда, чем оба мальчика предполагали. А когда наконец она была готова, выяснилось, что ее нельзя практически использовать. Правда, ее можно было передвигать вверх и вниз под любым углом, но при выстреле она делала неопределенный своевольный поворот и не желала слушаться. Мальчики испробовали и то и се, — безуспешно. Уже товарищи, пронюхавшие об их опыте, начинали насмешливо спрашивать, не провалилась ли модель в клоаку.

Наконец оба должны были признать, что им одним не справиться, что им необходимо обратиться за советом к специалисту. Иосиф исключался, — они хотели сделать ему сюрприз, показав уже готовую модель. Оставался отец Константина, полковник Лукрион.

После первой робкой попытки оправдать отца Константин больше никогда не заговаривал с другом о грубой обиде, нанесенной полковником Симону. Но он не мог отделаться от некоторого чувства вины. Тем временем Симон не раз имел случай показать свое превосходство; ему действительно удалось протащить своего друга во время игр в Амфитеатр и заработать серую белку. И теперь Константину хотелось уладить тогдашнее глупое недоразумение. Поэтому их беспомощность перед «Большой Деборой» была ему до известной степени на руку. И вот однажды, когда Симон, после бесчисленных и тщетных попыток, уселся на деревянную подставку орудия и покорно констатировал: «Клянусь Геркллом, дерьмо», — Константин со-

брался с духом, ударил Симона по плечу и сказал с напускной уверенностью:

— Ну, брат, пошли к моему старику.

Симон не забыл той неистовой брани, которой его некогда осыпал полковник Лукрион, и своего решения объясниться с капитаном по поводу этой оскорбительной болтовни. Он тоже только ждал подходящего случая. Поэтому, когда товарищ предложил пойти к отцу, он покосился на него, медленно поднялся, постоял, расставив ноги, подбоченясь, как делал это обычно перед тем, как принять какое-нибудь решение, и заявил после короткого раздумья:

— Идет.

Мальчик и отправились к полковнику Лукриону. «Большую Дебору» они тащили на веревке, гордые интересом, который возбуждала странная машина. Симон не мог насладиться этим вниманием. Он был занят соображениями о том, как надлежит молодому человеку в его положении держаться достойнейшим образом с полковником. После отъезда Береники антисемитские настроения в Риме усилились; теперь повсюду распевали куплет с припевом: «Хеп, хеп», с которым некогда римские солдаты шли на приступ Иерусалима и храма, — первые буквы оскорбительного возгласа: «Hierosolyma est perdita» — «Иерусалим погиб». На всех углах и перекрестках раздавалось:

Что у евреев в храме?
Свинья, хеп, хеп, свинья.
Зачем же она в храме?
Она воняет, как еврей.
Хеп, хеп, Апелла, хеп.

Даже Симон, как ни был он любим в своем районе, все же испытывал на себе возрастающую ненависть к евреям. Но это не очень задевало его. Его отец Иосиф имел кольцо знати второго ранга и, наверно, даже за столом Кита был не из последних. Поэтому, когда Симона называли еврейской свиньей, он отругивался: «А ты сын живодера и старой шлюхи», или нечто в этом роде — и считал, что полностью отплатил и что инцидент исчерпан. Для него еврейская проблема сводилась к предстоящему объяснению с полковником Лукрионом, он решил выйти с честью и из этого спора.

Сам полковник Лукрион, как ни были ему противны евреи, скучал по ловкому и смышленому Симону; он, как и все, в глубине души любил этого мальчика. Что ж, этот парнишка исключение, говорил он обычно себе и другим. И все же полковник находил вполне естественным, что во

время чумы грубо обошелся с мальчиком. Это было просто долгом самосохранения, ибо во время эпидемии не следует раздражать богов и он, Лукрион, не виноват, что Симон — еврей.

Когда оба мальчика явились к нему, он шумно приветствовал их. Модель увлекла сердце старого артиллериста. Очень скоро он нашел ошибку в конструкции. Он сам помогал им стругать и вырезать. Теперь можно будет испытать модель. Это было сделано на улице, перед домом Лукриона. Он сам катал пули из хлеба, собрались зрители, он командовал, как во время боя: «орудие — готовься» или «орудие — пли». И смотри-ка, «Большая Дебора» заработала! Они стреляли по голубям и воробьям, убили одного голубя, это было необыкновенным торжеством.

Однако ни уважение к артиллерийскому таланту полковника, ни его свирепость не могли помешать храброму Симону потребовать объяснений. Поэтому, когда пробная стрельба была окончена, он четко завершил эту первую половину их встречи, удовлетворенно заявив:

— Отлично, значит, все в порядке, — затем воинственно повернулся к Лукриону, поднял на него глаза и спросил вызывающе: — А теперь, полковник Лукрион, объясните, как это я заражаю своим дыханием воздух и почему это каждый становится прокаженным, кто ко мне приближается?

С минуту полковник растерянно смотрел на мальчика, сидевшего на деревянной подставке «Большой Деборы». Затем он вспомнил, что именно эти упреки он делал Симону во время эпидемии, и ответил, шумно расхохотавшись:

— Ну, это же ясно. Оттого что ты еврей.

— Почему это ясно? — настаивал Симон. — Разве вы видели кого-нибудь, кто заразился бы от прикосновения к еврею?

— Но ведь и чума-то вся, — наизидательно и высокомерно заявил полковник, — только потому и пришла к нам, что Кит вознамерился жениться на еврейке. Если одно только намерение вызвало мор, то какая же должна наступить эпидемия при действительном соприкосновении!

Сначала Симон не знал, что ответить на подобный аргумент.

— Как же так, — продолжал он задумчиво расспрашивать, — вы считаете, что евреи вызывают небесный гнев?

— Да не ломайся, — рассердился Лукрион. — Это всем известно. Во-первых, потому что они банда пакостников и,

во-вторых, потому что они придерживаются нечестивых, злобных суеверий.

— Как это мы банда пакостников? — спросил вежливо и настойчиво Симон.

Лукрион покраснел.

— Вы — лентяи, — начал он детализировать свое обвинение. — Каждый седьмой день вы лентяйничаете и наживаетесь деликатесов. К тому же вы имеете нахальство называть это бездельничанье субботой, что значит «Смерть, Убийство и ОТрава», потому что ведь это вы заразили город чумой. Кроме того, вы похотливые, похотливее самого похотливого козла. Но еще больше в вас самомнения. Поэтому вы не прикасаетесь ни к одной нееврейке.

Симон, озлобленный, сидел на своем оружии и напряженно думал.

— Я не похотлив, — сказал он наконец воинственно.

— Я и не имел в виду тебя, — уклонился полковник.

Симон соображал. Он любил обстоятельность и не мог так скоро удовлетвориться разъяснениями полковника.

— А почему суеверие? — спросил он.

— Потому что вы воздаете божеские почести ослу, — крикнул рассерженный таким притворным невежеством полковник. — Потому что вы убиваете греческих мальчиков. Потому что у вас любая свинья может быть спокойнее за свою жизнь, нежели порядочный нееврей.

— Клянусь Геркллом, — сказал Симон, — что-то не замечал до сих пор.

Лукрион недоверчиво посмотрел на мальчика. Но у Симона был такой вид, что его действительно невозможно было заподозрить в притворстве.

— Может быть, они тебе пока не говорили, — заметил полковник, — потому что ты еще слишком молод. — И чтоб прекратить всякие дальнейшие возражения, добавил: — В Иудее стояло восемьдесят тысяч настоящих римских солдат. Они видели все это своими собственными, римскими глазами. Кроме того, ведь ясно: кто исповедует истинную религию — побеждает. Может быть, вы победили? Ну так, значит, у вас не религия, а суеверие. Понятно?

К сожалению, Симон сразу не мог придумать удачного ответа.

— Вы великолепный офицер, полковник Лукрион, — возразил он. — Но все-таки иудаизм — замечательная штука.

Этот разговор испортил Симону всю радость, доставленную ему оружием. Аргументы полковника уязвили его гордость. Если человек так хорошо разбирается в орудиях, то

должна же быть какая-то правда и в его доводах. Он хотел было спросить своего отца. Интерес, проявленный Иосифом к «Большой Деборе», ободрил его. Два-три раза собирался он поделиться с отцом своими гнетущими сомнениями, но не мог преодолеть робости перед этим важным, серьезным господином. Он чувствовал, каким замкнутым остается Иосиф, несмотря на всю свою приветливость. Если бы Иосиф больше раскрывал перед ним ум и сердце, мальчик, наверное, решился бы заговорить с отцом; он был настолько поглощен своими мыслями, что даже посторонний заметил бы, как его гнетет тайная забота. Но Иосиф был захвачен борьбой за своего сына Павла, он ничего не заметил, он оставил своего сына Симона наедине с его тревогами.

Тот обратился наконец к Алексию. Рассказал ему, в чем полковник обвиняет евреев, и просил «под честным словом» сказать, есть ли в этих обвинениях относительно ослы и убийства греческих мальчиков хоть какая-нибудь правда. Алексей в глубине души сердился на Иосифа, что тот так забросил сына. В мягких, спокойных словах он объяснил Симону, что это глупая и убогая клевета. Божества других народов легко постижимы, это божества определенной группы и каждому зримы, также и глупцам; их можно одаривать, когда они помогают, бранить и бить, когда они отказывают в помощи. Но бог Ягве незрим и понятен только тем, кто хоть немного напрягает свою мысль. Это не такой бог, которого просто последуешь от отца. Это бог всего мира, но понятен лишь тем, кто дает себе труд понять его. Поэтому лентяи и глупцы охотно оскорбляют его почитателей. Но и среди римлян и греков многие уже признали его. Это бог для людей, взгляд которых проникает в будущее, и скоро наступят времена, когда все познают его, и тогда не будет различий между римлянами, греками, египтянами или евреями. И теперь уже совершенно не к чему делать подобные различия, и настанет время, когда будут считать глупцами тех, кто утверждает, будто один человек лучше или хуже другого, потому что он принадлежит к тому или иному народу.

Симон это обдумал, понял и решил, что, собственно, все это мог бы сообразить и Лукрион. Такой умный человек, и к тому же артиллерист, в сущности, обязан трижды высморкаться, прежде чем поверить в подобный вздор о евреях, да еще распространять его. Он решил наказать полковника за его наглое и ленивое легковерие.

Среди сокровищ, привезенных им из Иудеи, был корень, обладающий особым свойством. Этот корень он растер в порошок, а порошок потихоньку всыпал своему товарищу Константину непосредственно перед его уходом домой в завернутый рукав его верхней одежды. Он знал, что Константин, придя домой, немедленно переоденется, а его платье будет вывернуто, проветрено и тщательно убрано.

Все случилось так, как хотел Симон. Когда полковник Лукрион собрался сесть за стол, его жена начала чихать, потом он сам, потом Константин.

— Да будет нам во благо! — воскликнул полковник, ибо чихание считалось хорошей приметой.

Но хорошая примета длилась слишком долго. Пришел раб и подал кушанья, а хорошая примета все продолжалась. Полковник помахал рабу, чтобы тот опять унес кушанья и подогрел их, но раб не понял его, а потом сам стал принимать участие в хорошей примете. Кушанья остывали, а примета не прекращалась.

Измученные, они в конце концов все прикорнули, кто на стульях, кто на полу. Все еще задыхаясь, полковник без видимой связи спросил Константина:

— Ты виделся с Симоном?

Константин был не слишком хитер, но даже он понял ход мыслей отца.

— Считал ты, по крайней мере, — спросил полковник, все еще учащенно дыша, — сколько раз ты чихнул?

Дело в том, что, если число чиханий делилось на шесть, это считалось особенно хорошей приметой.

— Восемьдесят пять, — сказал Константин наугад; он не считал.

Сам полковник насчитал сто тридцать два чихания, но он был не вполне уверен и хотел получить подтверждение от Константина.

— Я тебя научу, — закричал он, — как мне портить мою хорошую примету, — схватил Константина за шиворот и высек, насколько хватило его истощенных сил.

Константин, встретив своего друга на следующий день, ничего не сказал ему о происшедшем. Но внезапно, без всякого видимого повода, выругался:

— Дерьмо, еврейская свинья, — и пребольно ткнул под ребра миролюбиво шагавшего рядом с ним товарища.

Тут Симон понял, что все вышло согласно его желанию, и в драке, завязавшейся после удара Константина, обошелся с ним снисходительно и великодушно.

В течение этих недель Иосиф не раз пытался серьезно приняться за работу по отбору огромного материала для «Всеобщей истории еврейского народа». Но ему не удавалось сосредоточиться. Мысли все время возвращались к сыну Павлу. Все вновь и вновь представлял он себе с горечью, каким уверенным он был бы в своей тяжбе, если бы Береника восседала на Палатине. Потом ему опять начинало казаться, что если его надежды на Беренику рухнули, то это даже хорошо, это значит, что провидение печется о нем. Его мечты о духовном господстве Израиля стали грубо материальными, ему понадобились суетные, аляповатые символы, как, например, его бюст в библиотеке храма Мира,— теперь со всем этим надолго покончено, и это хорошо.

Работа не двигалась с места. Новый секретарь, сириец Магон, больше мешал ему, чем помогал. Его греческий язык был безукоризнен, но лишен музыки. Фразы, которые строил с ним Иосиф, точно воспроизводили мысли, но в них не доставало той напевности, которую им придавал Иосиф на арамейском и еврейском языках. Иосиф мучительно страдал от собственного неумения, ему не доставало Финея.

Все же в течение некоторого времени он принуждал себя к планомерной работе в определенные часы. Но настал день, когда он не выдержал. Уже много недель он не видался со своим сыном Павлом. Мысленно он рисовал себе стройного, смугло-бледного, нежного и сильного мальчика, слышал его голос. Он больше не мог отдаваться безрадостной работе. Нужно вырваться из города, подышать воздухом.

Добраться до Альбана было ближе всего по Аппиевой дороге. Но он миновал Латинские ворота и приказал провезти себя большой кусок пути по Латинской дороге. Только перед самым Ферентином велел он кучеру свернуть к Альбанскому озеру. В его намерения не входило увидеться с Дорион или с Павлом, но кто мог помешать ему, по крайней мере, дышать одним воздухом с сыном?

Он прогуливался по холмистой местности. Перед ним расстилалось прелестное озеро, вдали поблескивало море, а здесь пышно высились обширные белые здания принца. Иосиф был городским жителем, красивый ландшафт мало говорил ему. Стоял уже конец лета, было довольно прохладно, скоро начнет темнеть. Он шел вперед, задумавшись, полный усталой горечи.

А вон там вила Дорион. Если бы спросили его совета, он предложил бы построить дом выше, величественнее,

с большим числом террас. Но, вероятно, Дорион лучше разбиралась в этом. Во всяком случае, он узнал это на горьком опыте, — такая простота обходилась гораздо дороже. Какое бы она сделала лицо, если бы он сейчас появился перед ней? О, он отлично знал, зачем ему еще одна проверка!

Он пошел обратно, в сторону, где его ждал экипаж. Вдруг на гребне холма появился козий выезд, хорошо ему знакомый. Он почувствовал, что только этого и ждал все время, хоть и не желал себе признаться. Ибо зачем, как не за этим, приехал он сюда, зачем бродил по этой местности в такой час, когда его сын Павел обычно выезжал на прогулку? Очень высокий в чистом воздухе, ярко озаренный светом, ехал по гребню холма Павел; он стоял выпрямившись, в маленьком экипаже, небрежно и ловко, очень серьезный. Иосиф исключительно отчетливо видел каждую деталь, каждую складку на слегка развевающейся одежде мальчика, каждый волосок на спине козла Паниска.

Сам он стоял против света на склоне. Мальчик мог его видеть, но он не должен его видеть. Если он будет стоять совсем неподвижно, легко может случиться, что Павел его не заметит. Но если он шевельнется, а тем более пойдет дальше, то Павел наверное обратит на него внимание. Иосифу стало стыдно, и он замер на месте.

Павел ехал по узкой тропинке, тянувшейся вдоль гребня. Он смотрел прямо перед собой на дорожку. Он ехал медленно, элегантно, непринужденно. Вдруг он забеспокоился, в нем появилась неловкость, поза стала неестественной. Иосиф продолжал стоять неподвижно. Поедет ли он дальше? Павел поехал дальше.

Иосиф за его спиной все еще не шевелился. По телу пробежал озноб. Его мальчик проехал мимо него. Его мальчик видел его и проехал мимо.

Вдруг выезд неожиданно повернул. Поворот был нелегко, но Павел справился с ним очень искусно. Извилистыми линиями спустился с холма, козел Паниск осторожно переставлял ноги, выезд приблизился к Иосифу. Павел переложил в левую руку маленький хлыст, опустил ее и поднял правую, вытянув ладонь и приветствуя Иосифа, словно наездник на арене во время поездки. Сердце Иосифа замерло, забилось толчками. Мальчик подъехал, остановился перед ним, слегка улыбнулся, с трудом преодолевая смущение.

Иосиф заговорил, его голос звучал глухо, слова давались ему нелегко:

— Теперь ты так хорошо правишь, что можешь выступать на арене.

— Да, мой Паниск сейчас отлично объезжен, — ответил Павел.

Когда он заметил отца, им овладело волнение, робкая радость и нежность. Обычно Иосиф не имел привычки выезжать за город и разгуливать по горам. За последнее время, с тех пор как умер дедушка Фабулл, мать и Финей отзывались об отце крайне недружелюбно, и та несдержанность, с которой Иосиф в присутствии Павла сделал выговор его любимому учителю Финею, осталась словно шип в сердце мальчика. Но когда он теперь увидел отца, в нем все же проснулось теплое чувство к нему. Его смутило, что этот человек, его отец, великий писатель и друг императора, как беглый раб, скитается по окрестности, бродит вокруг их дома в смутной надежде увидеть его. Вместе с тем он вспомнил об обиде, нанесенной матери, и об обиде, нанесенной Финею, он испытывал неловкость и досаду, и первая мысль его была — сделать вид, что он не заметил отца, просто проехать мимо. Но затем он сказал себе, что уклоняться от встречи — трусость. Не следует избегать трудностей и неприятностей, нужно идти им навстречу, — так учат принципы «прекрасного и доброго», это твердит ему Финей каждый день. И хотя он испытывал досаду на отца, но все же был горд, что тот совершил такой далекий путь только ради того, чтобы, может быть, его увидеть; больше всего он гордился тем, что отец встретился с ним как раз в ту минуту, когда он мог показать ему свое мастерство в полном блеске. Этот поворот наверху, на гребне холма, был — Геркулес свидетель — адски труден. Тут многие отступили бы, и он был рад, что в присутствии отца так ловко справился. Но, уже не доезжая до Иосифа, мальчик опять стал думать о том, как сильно рассердились бы мать и Финей, увидев его вместе с Иосифом, и решил не пускаться в долгий разговор с отцом. От небрежной элегантности, с которой он ехал по холму, не осталось и следа, теперь он стоял в своем маленьком шатком экипаже принужденно и неловко, терзаемый противоречивыми чувствами.

Иосиф обычно не отличался особой чуткостью, когда дело касалось Павла, но на этот раз он угадал мысли мальчика совершенно точно. Он охотно спросил бы, что делает мать и закончена ли вилла, но боялся тем самым коснуться собственного слабого места и сделать сына еще пугливее. Поэтому он произнес только несколько общих фраз: как приятно в это время года еще жить за городом и как хоро-

що Павел может здесь совмещать учение и спорт. Павел несколько вяло возразил, что ему недостает товарищей, что он скучает здесь, в одиночестве. Необходимо сореживание, заметил он резонерским тоном.

В последних словах мальчика Иосиф услышал мысли Финея. В нем жила радость оттого, что Павел не проехал мимо него, как он вначале с замиранием сердца опасался, он еще наслаждался видом сына, радовался его развевающимся волосам, его голосу, но он уже говорил себе: «Всем этим я обязан проклятому Финею, Финей учит его самообладанию, учит не избегать трудностей. Финей посвящает его в учение стойков. А какая цена этому учению? Пошлым и убогим кажется оно, если сравнить его с мудростью Проповедника, Кохэлета. С Кохэлетом хотел бы я познакомить мальчика. Не теперь, конечно, позднее. Это дьявольски трудная книга. Кохэлет понимал греков, но грекам трудно понять его. Ах, Павел, мой сын, понял бы эту книгу, если бы я только имел возможность раскрыть перед ним ее смысл! Можно просто с ума сойти, оттого что даже этим коротким разговором я обязан Финею».

Иосиф понимает, что неразумно дольше затягивать свидание. Он хорошо знает принципы прекрасного и доброго, которым учит мальчика Финей, знает о хваленном самообладании, знает, что Павел ставит ему в упрек то, что он медлит, обнаруживает свои чувства, не может с ним расстаться. Ему следовало бы сказать: «Там, внизу, меня ждет экипаж. Желаю тебе и дальше успешно изучать Гомера и править твоим выездом. Привет матери и Финею». Он должен был бы сказать это самым легким тоном, но он не может, он просто не в силах, наоборот, он продолжает болтать какой-то праздный, ненужный вздор судорожно, на плохом, даже для него, греческом языке.

— Да, Гомер,— говорит он.— У Гомера много чепухи. Но он понимает, что такое красота и мудрость. Пусть Одиссей убивает всех женихов, насильников, людей действия, но он щадит поэта. Они знают, что такое писатель, греки.

Что он говорит? Какое мальчику до этого дело? Что Павел подумает о нем? И все-таки он продолжает некоторое время в том же роде. Наконец он умолкает, просто стоит перед мальчиком и смотрит на него. А между тем уже наступили сумерки, ему следовало бы в самом деле подумать о возвращении домой. Но он все-таки стоит и смотрит на сына.

Он ждет до тех пор, пока Павел сам не прекращает свидание. Уже темнеет, замечает он, ему пора домой. Тогда Иосиф наконец делает над собой усилие и говорит торопливо и довольно бессвязно:

— Да, совершенно верно, и мой экипаж ждет внизу. Потом мальчик уезжает.

Иосиф, хотя и это тоже неправильно, продолжает стоять и смотреть ему вслед, пока тот не скрывается из виду. Затем, слегка спотыкаясь, охваченный смятением, возвращается на дорогу.

Симон, послав полковнику Лукриону столь ощутимое чихательное знамение, считал вопрос о взаимоотношениях с полковником исчерпанным. Симон-Яники не был философом. Ему хотелось показать полковнику, а еще больше своему товарищу Константину, что одиннадцатилетний еврейский мальчик может совершенно так же маневрировать предсказаниями счастья и несчастья, как и взрослые римские прорицатели, гадающие по внутренностям, по полету птиц, и что религиозные убеждения полковника, очевидно, оставляют желать многого. Понятно ли это для других, его мало трогало, может быть, ему и самому было не совсем понятно. Во всяком случае, он был уверен, что покончил с этой историей честно и по-мужски.

Константин не так легко это переварил. Его мучило, что Симон подшутил над его отцом. А снисходительность Симона в последовавшей за этим драке обидела его еще больше. Порвать с товарищем он был не в силах, но глухо и беспомощно выказывал ему свою злобу. Когда шла игра в солдат и разбойников, он присоединялся теперь не к той партии, в которой был Симон, чего раньше никогда не случалось, и если Симон шел в разбойники, то он шел в солдаты. Симона это сердило, но еще больше удивляло. Однажды он спросил Константина прямо, в чем дело и что он, ради Геркулеса, имеет против него. Константин уклонился от ответа, Симон решил, что это, вероятно, из-за серой белки. Он добродушно предложил Константину на месяц одолжить ему зверька. Но после некоторого колебания Константин мужественно отказался:

— Договор есть договор,— сказал он, белки не взял и продолжал дуться и молчать.

Однажды, когда Константин был солдатом, а Симон — разбойником, борьба приняла особенно ожесточенный характер. Вполне понятно, что «Большой Деборой» владели

солдаты, а не разбойники. Но вовсе не понятно, почему солдаты должны были запеть песню с припевом «хеп, хеп»:

Что у евреев в храме?
Свинья, хеп, хеп, свинья.

Напротив, это было нахальством, так как, в конце концов, «Большую Дебору» изобрели евреи, и со стороны пользовавшихся ею было очень нехорошо петь эту песню. Поэтому возмущенный Симон считал делом чести отбить со своими разбойниками у солдат это орудие. Но первая атака была неудачной, неприятельское войско оказалось лучше. Разбойники отступили довольно далеко, чтобы с разбегу захватить «Большую Дебору» в решительной схватке. Само орудие было пущено в ход, Константин обслуживал его, он стрелял быстро, метко. Он предвидел заранее, что атака разбойников удастся и что следующий его выстрел будет последним. Он направил жерло на Симона, выстрелил, попал. Он попал очень метко, Симон, бежавший на приступ, упал и остался лежать. Сначала остальные думали, что это игра, разбойники продолжали наступать, а солдаты защищаться. Но, увидев, что Симон продолжает лежать, они вернулись и обнаружили, что снаряд, сразивший его, не из теста, а из камня. Заряжал не Константин, другие помогали ему, и теперь нельзя было даже установить, кто заложил камень в жерло, — случилось ли это по неосторожности, из любопытства или со злым умыслом. Во всяком случае, Симон лежал на земле и не шевелился; заряд попал ему в лоб, как раз над глазом. Мальчики стояли вокруг, молчаливые, пораженные, пока наконец не вмешались прохожие. Тогда мертвого мальчика отнесли в дом Алексия.

Алексий тотчас же послал за Иосифом. Когда он рассказывал ему все, что знал, Иосиф стоял совершенно спокойно, только его челюсти странно двигались, словно он что-то пережевывал. Одна мысль наполняла его, наполняла всего, вытесняя все остальные: «Я старался, чтобы другой сын мой не стал гоем; тем временем гои убили моего еврейского сына». Он думал об этом неотступно.

Алексий умолк. Иосиф ничего не сказал, он стоял среди комнаты, слегка пошатываясь.

— Разве вы не хотите видеть Яники? — спросил в конце концов Алексий хриплым, глухим голосом.

Иосиф как будто не слышал. Затем вдруг неожиданно спросил:

— Что?

И Алексий повторил враждебно:

— Разве вы не хотите видеть Яники?

После некоторой паузы Иосиф сказал, и его слова прозвучали почти робко:

— Ведь это не полагается.

Алексий изумленно поднял глаза, затем сообразил, что Иосиф, вероятно, имеет в виду запрещение, по которому священник не имеет права приближаться к трупу ближе, чем на четыре шага.

— Ах, так,— отозвался он, и в его голосе прозвучало презрение и разочарование.— Вы же можете видеть его из соседней комнаты,— продолжал он.

— Да, так можно,— нерешительно ответил Иосиф и последовал за Алексием.

Он сел в комнате, рядом с той, где лежало тело. В открытую дверь рассматривал он своего мертвого сына. Тот лежал на опрокинутой кровати. Алексий опрокинул ее, как полагалось, в знак скорби. Алексий оставил его наедине с мертвым, так Иосиф провел всю ночь.

Он размышлял в ту ночь о многом, над чем раньше никогда не задумывался, и когда наступило утро, он стал на много ночей старше. Обычно он боялся погружаться в собственные глубины, он был для этого слишком ленив. Но теперь все его глубины были разверсты, и он вынужден был туда спуститься. В эту ночь он думал не по-гречески, не по-латыни и не по-еврейски, все его мысли складывались на арамейском языке — языке его ранней юности, казавшемся ему всегда безобразным и презренным.

Он спорил сам с собой, хитроумничал, то сваливал всю вину на себя, то на судьбу, на бога, на Дорион. Его скорбь была безмерна, безмерно его раскаяние, безмерны самообличения.

Слишком мало любил он своего еврейского сына. Он обещал Маре беречь его, но оказался плохим стражем, и если она спросит его: «Где Яники, дитя мое, твой сын?» — он ничего не сможет ей ответить. Он прилепился сердцем к сыну гречанки, он гордился этим сыном своего сердца, его он берег, хранительницу же своего еврейского сына он отослал, а сам плохо хранил его; поэтому смерть его сына — заслуженная кара.

Бывал ли когда-нибудь человек столь смешон в своем самомнении? Едва Мара повернулась к нему спиной, эта презренная, дважды отосланная, как ее плохо охраняемый сын уже погиб, убитый теми гоями, которых она так боя-

лась, но среди которых сам Иосиф ходил с небрежным высокомерием, как властелин среди ничтожеств. А теперь он сидит здесь, куча дерьма. Он, человек востоко-запада, человек, написавший космополитический псалом. Он захотел быть одновременно римлянином и евреем, гражданином вселенной. Хорош гражданин вселенной! Если гражданин вселенной тот, кто всюду дома и поэтому — нигде, то Иосиф именно таков. Он ничто. Ни римлянин, ни еврей. Ничто.

Иосиф Флавий. Великий писатель. Его бюст стоит в храме Мира. Он написал прославленную книгу. Он работает над «Всеобщей историей иудеев». «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них». Куча дерьма.

Он рылся в глубинах своей души и не нашел ничего. Стал рыться глубже — и нашел сладострастие, еще глубже — и нашел суетность. Еще глубже — и не нашел ничего. Еще глубже — и опять нашел суетность. Тогда он устранился в сердце своем и исполнился боязни.

Он искал прибежища в книжной мудрости. Но она не дала ему утешения. «И познал я: все, что ни делает бог, пребывает вовек; ничего не прибавить к тому и ничего не убавить. Что было, то есть и теперь, что будет, то давно уже было. И еще видел я под солнцем: место кротости, а там злоба, место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: это ради сынов человеческих так учинено богом, дабы видели они, что стоят не более скотов. Потому что участь сынов человеческих и участь скотов — одна участь: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и преимущества у человека пред скотом нет, и все суета. Все идет в одно место, — все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли в небеса и дух скотов сходит ли вниз, в землю». Так сказал человек по имени Кохэлэт несколько столетий назад, и кто мог бы сказать лучше? На что нужен он, Иосиф Флавий, и его «Всеобщая история»?

Тот, кто это сказал, Кохэлэт, был умный человек. Они его не любили, не любят его и теперь — ни его, ни его книгу. В течение столетий спорили они в Иерусалиме, следует ли включать его книги в число священных книг, они еще и теперь спорят в Ямнии. Он слишком умен и слишком насмешлив, этот Кохэлэт. «Нет иного блага для человека, как есть и пить и услаждать душу свою от труда своего». И вот результат, вот последний вывод того, кто больше всех изучал эту землю. Шестнадцать различных способов изучения применял он, и шестнадцать верных слов для этих

шестнадцать способов нашел он, и вот результат: «все суета и затей ветреные» и «нет иного блага для человека, как есть и пить».

Затем Иосифом вновь овладевал гнев. Бог смеется над ним, бог, подобно морю, бросает его вверх и вниз, играет им, словно море кусочком пробки. Разве не он всего несколько недель назад шел к Титу — торжественно, в зените своего счастья, и внешне и внутренне все было блеск и свершение? А теперь Ягве позволил себе по отношению к нему эту нелепую шутку. Единственно, чему он научил своего сына Симона, были кой-какие сведения по орудийной технике, и, как нарочно, с помощью нелепой пародии на военную машину, которую он с такой гордостью описывал сыну, Ягве и гои погубили его.

Какое преступление совершил он, что бог наказал его этой нелепой шуткой? Он хотел привести своего греческого сына к богу. Разве это преступление?

Он встал, его дыхание прерывалось, он кошунствовал. Пусть так, на каком бы месте его ни раскрыть, слой за слоем рассыплется, обнаружится одна пустая оболочка за другой. Сверху он римлянин, но если немного поскрести, вылезет гражданин вселенной, еще немного поскрести — еврей, а если поскрести еще глубже, то сойдет и это. Но одно останется, одно нельзя соскрести, и это одно: Иосиф бен Маттафий, Иосиф Флавий, может быть, только крошечный сгусток суетности, но все же некто, некое «Я». Пусть это его позор, но еще больше его гордость. Он, например, не рассказывает о цифрах, этого он не делает, не хочет, он рассказывает только о таких людях, как он сам, только об отдельных «я». В этом утверждает он себя перед богом. Бог не имеет права так обращаться с этим «я». Или тогда не следовало создавать его таким.

Как Иов, восставал он против бога и вызывал его на спор. «Я был суетен, я был высокомерен, — каялся он перед невидимым судьей. — Я ничего не скрываю. И все же Ягве несправедливо обижает меня и несправедливо убил моего сына. Если я был суетен, разве не Ягве создал меня таким? Если я был суетен, то разве не во имя Ягве? Я хотел показать, что слуга Ягве человечнее, божественнее, чем слуга Юпитера. Вот в чем было мое тщеславие. И я защищаю его. А теперь слово за Ягве: пусть говорит».

Но после этого взрыва гнева и гордости он весь поник, вдвойне почувствовав свое ничтожество. Он понял совершенно отчетливо, что слишком мало любил своего сына Симона и был за это через него наказан. Его сердце было

лениво, его чувство убого, в этом состояла его вина. Большая вина.

До сих пор все его деяния и его муки проходили сквозь него. Он встряхивался, и все исчезало, можно было начинать сызнава. На этот раз нельзя. Это никогда не исчезнет. Через все его будущее неотступно пройдет с ним образ Симона, и с ним будет его обвинение.

Иосиф провел всю ночь в комнате рядом с той, где лежало тело; Алексей не обращал на него внимания. Ночи стояли уже довольно холодные. Иосиф был измучен и, вероятно, голоден, но он об этом не думал.

Утром, позднее, к нему привели двух посетителей: полковника Лукриона и его сына Константина. Оба смущенно переминались с ноги на ногу. Они не знали, что им говорить бледному, одинокому, небритому человеку.

— Я не виноват, — сказал наконец Константин; его голос звучал хрипло и срывался, нелегко давались ему слова. — Там был камень. Я не знаю, кто положил его в жерло. Но я это еще выясню и переломаю ему кости. Клянусь Геркллом, — добавил он, это выражение он перенял у своего друга Симона.

Иосиф молчал. Так, значит, они пришли, убийцы. Он силился понять слова Константина, это было нелегко. Наконец удалось. Разве он не сказал, что не виноват? Вероятно, оно так и есть, во всяком случае, он в этом убежден. Но кто без вины? Они все помогали, они все травили его еврейского сына. Наконец Иосиф открыл рот, ему удалось заговорить:

— Да, — сказал он, — конечно, ты не виноват, клянусь Геркллом. — Он даже улыбнулся, правда, с чудовищным трудом.

Это посещение стоило полковнику Лукриону больших усилий. Он считал, что его присутствие здесь — благородный поступок, а Иосиф, по-видимому, недостаточно оценил это благородство. Правда, Иосиф Флавий был римским всадником и имел доступ к императору, но, в конце концов, он все же только еврей. Это явствует хотя бы из того, как он вел себя. Сидеть в соседней комнате, опрокидывать кровать — какие варварские, суеверные обычаи. Лукрион, старый солдат, любил все выкладывать начистоту, и ему хотелось высказать сейчас свое мнение. Но так как, из-за неблагоприятного стечения обстоятельств, его сын Константин убил Симона и так как, кто знает, не слушает ли

умерший и не отомстит ли впоследствии, он предпочел промолчать.

Вместе с сыном подошел Лукрион поближе к телу. Полковник с самого начала предчувствовал, что дружба с евреем добром не кончится. А вот теперь этот Симон лежит мертвый на опрокинутой кровати, и виноват его Константин. На всякий случай, чтобы предотвратить месть умершего, он возьмется за Константина и хорошенько его выпорот. Закон повелевает хорошо относиться к мертвым, а к тому же еще этот мальчик — для еврея — был необычайно мил и очень смышлен. Кровать они опрокинули, эти суеверные люди, но о самом главном, наверно, позабыли. И Лукрион вытащил из кармана медную монету и положил ее Симону под язык, дабы ему было чем заплатить перевозчику мертвых, Харону.

Подавленный стыдом и раскаянием, косился Константин на тело. Какого он сваял дурака. Вероятно, его товарищ даже не знал, почему, собственно, Константин с ним рассорился. Чудесный парень был его друг Симон. Как искусно он соорудил «Большую Дебору», — это не шутка, — и под конец даже предложил ему серую белку. Если бы Константин поговорил с ним откровенно, они бы не разлучились, будь то в разбойниках, будь то в солдатах, и этот ужас не случился бы.

Так стояли они перед телом, а Иосиф сидел на полу в соседней комнате. Затем, пробыв, сколько полагается, полковник трижды поднял руку, прощаясь с умершим, как должен делать в подобном случае каждый римлянин, то же самое сделал и его сын, и они воскликнули:

— Прощай, Симон!

Затем хмуро, еле поклонившись Иосифу, Лукрион с Константином удалились.

Среди дня пришел Алексей. Этот обычно спокойный и вежливый человек продолжал относиться к Иосифу так же вызывающе, как и накануне.

— Мы с доктором Лицинием все устроили относительно погребения, — сказал он. — Завтра мы предадим его земле, возле Аппиевых ворот.

Иосиф сидел на полу, он казался опустошенным до последних глубин. Перед его глазами стояла пелена, как тогда, в пещере, когда он умирал от жажды. Он слышал агрессивный тон Алексея, понял, что тот тоже считает его не без вины. Но это его не трогало. В нем все еще звучали стихи из книги Кохэлета: «Всему свой час, и время всякой вещи под небом: время рождаться и время умирать; время

насаждать и время вырывать насажденное; время убивать и время врачевать; время разрушать и время строить; время искать и время терять; время обнимать и время удаляться от объятий; время войне и время миру. Что же за польза работающему от того, над чем он трудится?» Это вспоминал, продолжая сидеть на полу, упрямый, одичавший Иосиф. Его руки и ноги, вероятно, онемели, но он не двигался.

Приходили друзья провести его. Деметрий Либаний, Клавдий Регин, доктор Лициний. Ему прислали в ивовой корзинке траурное кушанье из чечевицы. Но хотя закон и предписывал утешать скорбящих, евреев пришло немного. Иосиф упустил время сделать умершего своим сыном, а своего другого сына он не сделал евреем. Они считали, что смерть мальчика — кара Ягве.

На другой день Симона-Яники похоронили. Лишь немногие провожали его. Среди римлян у него было много друзей, и до костра они бы, конечно, его проводили. Но то, что его не сожгут, а заруют в землю, возмущало их. Еврейская религия была разрешена, и евреям не запрещали хоронить по их ритуалу. Но все жалели мальчика, тело которого будет столь варварским образом отдано на съедение червям, и никто не хотел участвовать в таком погребении.

Поэтому процессия, сопровождавшая Симона к вечному дому его, была очень малолюдной, но привлекала всеобщее внимание. Сам Иосиф немало этому способствовал. Он шел за носилками, по иерусалимскому обычаю, небритый, в разорванном платье, до ужаса одичавший. Он топал ногами, сорвал с себя сандалии, бил себя ими. И римляне, встречавшиеся на пути, говорили:

— Это писатель Иосиф Флавий, еврей. Боги наказали его. Сначала император отослал его еврейскую принцессу, теперь боги преисподней отняли у него сына.

И они качали головой, глядя на этого одичавшего, оборванного человека; многие смеялись, праздношатающиеся примыкали к шествию и наслаждались зрелищем скорбящего еврея.

Иосиф же громко выкрикивал свои жалобы, странные жалобы. Хоть и было разрешено преувеличивать, восхваляя умершего, но только тем, кто шел впереди носилок. Те же, кто шли сзади, должны были строго придерживаться истины, и в Иерусалиме это правило соблюдалось с удвоенной строгостью. Поэтому Иосиф восклицал:

— Горе, горе мне через моего сына Симона, моего первенца, незаконнорожденного. Он умел обходиться с оружием, с маленькими орудиями, точно римлянин, и от орудия погиб он, словно во время войны, и я научил его владеть этим орудием. Горе мне, горе через моего первенца Симона, незаконнорожденного, и где же император, которому этот мальчик, быть может, приходился братом.

Он хотел этим сказать, что осталось невыясненным, не был ли Симон сыном старика Веспасиана, так как он первый спал с военнопленной Марой. Однако видевшие мальчика знали, что между ним и Веспасианом не было ни малейшего сходства, но что он во многом походил на Иосифа.

Те, кто понимал слова Иосифа, удивлялись его иступлению и самоистязанию. Римляне же смеялись все громче. Ему это было безразлично. Он кричал:

— О, горе, горе мне, только теперь вижу я, слишком поздно, что он был сыном моего сердца.

И он топал ногами и бил себя сандалиями, не обращая внимания на то, что некоторые качают головой, слыша его странные речи, а другие смеются над его нелепым поведением. Так, вероятно, смеялась Мелхола, жена Давида, над своим мужем, когда он плясал перед ковчегом Ягве; но Давид не обращал на это внимания.

На могилу мальчика Симона мало кто приходил. На третий день явился мальчик Константин и принес с собой серую белку, которую выпросил у Алексия. Очень взволнованный, с большим трудом он убил зверька, принес его в жертву, чтобы товарищу было чем поиграть в Аиде. Он долго решал, отказаться ли ему ради своего мертвого друга от «Большой Деборы» или от белки, и наконец все же принес в жертву зверька. И вот он стоял над могилой, белка искусала и исцарапала его, руки его были залиты кровью, кровью белки и его собственной, и ему стоило больших усилий не потерять сознание. Все же он был теперь бесспорным и законным наследником «Большой Деборы».

Сам Иосиф, как того требовал закон, в течение семи дней оплакивал сына, сидя на полу, в разорванной одежде, и за эти дни он взборонил и вспахал свою душу. Потом он сел за стол и написал псалом «Я есмь»¹.

Отчего ты столь двойствен, Ягве,
Как столб путевой, у которого мальчишки, из озорства
Вырвав дощечку одну, на другой переделали надпись.

¹ Перевод Юлиана Анисимова.

Так что теперь лишь одна доска
Указует на восток и на запад.
Почему ты людям не даровал Вавилонской башни
И смешил их языки?
И один теперь греком зовется, другой — евреем
И римлянином третий,
Хотя они созданы единым дыханием,
Из одного ребра.
У меня тяжба с тобой, Ягве,
И хороший повод для спора,
Иосиф бен Маттафий против Ягве, — так именуется

тяжба.

Почему я, Иосиф, должен быть
Римлянином, или евреем, или тем и другим,
И хочу быть Я, Иосифом **быть** хочу,
Таким, как я выполз из материнского лона,
Не расщепленным в народах,
Принужденным искать, от тех или от этих я родом.

И из великого моего расщепления
Кричу я тебе:
Дай мне быть Я, Ягве!
Или отбрось меня снова в пустоты пустот,
Из которых ты вырвал меня
В сияние этой земли.

В эти семь дней траура Иосиф упорно обдумывал, какой долг возложила на него смерть сына. Он не верил в случай. Ягве и судьба — это одно. Он был готов допустить, что смерть Симона — наказание, но в чем должно было состоять действенное искупление, которого от него требовал Ягве? Он верил, что все происходящее вокруг сплетено воедино. Все было одной цепью, и подобно тому, как ни одна буква Священного писания не стояла на своем месте случайно, и подобно тому, как последовательность законов и повествований, несмотря на отсутствие видимой связи, была все же глубока и полна смысла, так, должно быть, полно смысла и то, что Симон погиб как раз тогда, когда Иосиф горячее всего добивался Павла.

Смерть Симона — указание, что он должен воскресить Симона в Павле.

Мрачно, с удвоенным рвением, продолжал он борьбу за Павла. Дорион сказала неправду, будто сын уклоняется от него. Хотя Дорион и Финей и натравливали его на отца, Павел не отвернулся от него в Альбане, не проехал мимо. Только эти двое не допускают к нему сына. Если ему удастся вырвать Павла из их рук, мальчик будет принадлежать ему.

Прежде всего предстояла борьба в суде. Марулл был хорошим адвокатом. Иосиф нравился ему. Несчастье

с мальчиком смыло с этого человека его высокомерие, и то, что открылось под ним, казалось любящему эксперименты римлянину интересным. Марулл считал, что острый ум обычно убивает в человеке страсть; но этот Иосиф был одновременно и умен и страстен, — редкое сочетание. И Марулл со всем пылом бросился в бой за Павла.

Он разъяснил Иосифу, как обстоит дело с его процессом. Правомочным и для решения вопроса о разводе, и для усыновления, был Суд ста. Председателем этого суда был сенатор Арулен, верховный судья империи. Он — член консервативно-республиканской оппозиции и, видимо, будет склонен отказать Иосифу в мальчике. Но именно потому, что Арулен все же политически скомпрометирован, ему приходится особенно тщательно взвешивать свои приговоры, чтобы они не подверглись исправлению со стороны государственных юристов. Все зависело от того, какой политики по отношению к иудеям будет придерживаться Тит теперь, после падения Береники. Правда, за последнее время он многое спускал их врагам, но, с другой стороны, губернатору Флавию Сильве до сих пор еще не удалось продвинуть желанный эдикт против обрезания. И царя Агриппу Тит почитал так же высоко, как и прежде, и как раз в последнее время особенно благоволил к иудею, фельд-маршалу Тиберию Александру, после того как тот, по старости лет, ушел в отставку со своего поста в Египте. Во всяком случае, ни один человек еще не мог сказать, относится ли император к иудеям враждебно, дружественно или просто безразлично, и пока это не выяснится окончательно, верховный судья Арулен поостережется вынести приговор. Старания Маруллы затянуть бракоразводный процесс Арулену очень на руку.

Дорион мотивировала свое требование развода тем, что Иосиф, ей в обиду, вызвал в Рим свою бывшую жену и сожительствовал с ней, несмотря на то, что развелся с ней из-за ее ничтожности и даже заплатил за этот развод собственным унижением. Суд потребовал доказательств, и защитники Иосифа затянули дело. Наконец был все же назначен срок, когда истица и ответчик должны были в первый раз вместе предстать перед судом.

Процессом Иосифа интересовался весь город, и так как стало известно, что сенатор Гельвидий, лидер оппозиции, будет выступать самолично со стороны истицы, то собралось много любопытных. Понадобился весь огромный зал Юлия, чтобы вместить всех желающих.

Иосиф явился на суд не только в сопровождении адвокатов Публия Нигера, Кальпурния Сальвиана, Клинция Макрона и Оппия Котты, но и самого Юния Маруллы. Он не постеснялся облечься в одежды унижения и скорби. Может быть, он сделал это по случаю смерти своего сына. Но вернее всего хотел показать, что аргументация Дорион имеет целью обвинить его в уголовщине, а обвиняемому приличествует такая одежда. Он добился своей цели; его худощавое, скорбное лицо вызвало сочувствие к нему и возмущение против истицы.

Для сенатора Гельвидия и его сторонников процесс являлся прежде всего средством политической пропаганды. Благодаря разрыву с еврейкой Тит приобрел популярность, и он тратил громадные суммы, чтобы эту популярность еще усилить; Новые бани, стодневные игры покорили сердца римлян. Может быть, процесс даст повод посбить спесь с этой «любви и радости человеческого рода». Если бы удалось показать, что при его правлении еврей в состоянии добиться с помощью римского суда обрезания нееврея, то, может быть, «любовь и радость» превратился бы опять в Кита. Правда, на открытом заседании суда можно было лишь намекать на политические точки зрения, но сила риторики Гельвидия состояла в ее медленно разворачивающемся, как бы угрожающем издали мрачном пафосе.

— Ответчик Иосиф Флавий, — развивал он свою мысль, — сначала вступил в брак, который сам считал постыдным. Он подвергся публичному бичеванию только затем, чтобы освободиться от женщины, с которой связал себя в состоянии некоего ослепления. Однако в прошлом году, когда дерзость Востока все росла и стала безмерной, этот человек Востока, по-видимому, снова впал в былое ослепление. Хотя он в долгом и счастливом браке как будто окончательно сбросил владевшие им чары, он все же призвал ту женщину в наш город, заставил ее совершить долгое путешествие через море, несчетное число раз посещал ее и тем самым публично и глубочайшим образом оскорбил ту, которая ради него бросила своего прославленного и любимого отца и с которой он прожил много достойных и благословенных лет. Она выказала беспримерное терпение. Долгое время она довольствовалась тем, что мягко уговаривала его прекратить постыдные сношения. Но он продолжал упорствовать и, снова подпав ослеплению и безнравственности Востока, продолжал беспутство, пока наконец разгневанные небеса не послали ему очевидную кару. Неу-

жели вы, судьи и присяжные римского суда, захотите обречь эту женщину на дальнейшую жизнь с мужчиной, так грубо с ней поступившим? Неужели вы хотите обречь ее на то, чтобы ее столь удачный сын рос в доме человека, который следует нравам и обычаям, оскорбляющим чувство каждого римлянина? Пусть ответчик, как утверждают, великий писатель, — здесь дело не в сочинительстве. Сочинительству научить нельзя, искусству научить нельзя. Чему можно научить, чему учится ребенок в родительском доме — это нравственности и безнравственности, правде и кривде. А ответчик, может быть, и великий писатель, но нечестный, порочный человек. До сих пор истице удавалось почти чудом воспитывать своего сына в чистоте и подлинно римском духе. Помогите ей, судьи и присяжные, преуспевать в этом и впредь. Присудите ей то, о чем она просит, возвратите ей ее приданое, дабы она могла разлучить своего сына с этим человеком и сделать из него достойного римлянина.

Время для речей адвокатов всегда весьма ограничено, это время на водяных часах Гельвидия истекло раньше, чем он кончил свою речь. Но его слушали со страстным интересом, и когда по истечении положенного срока судья обратился к присяжным с дозволенным, но очень редко задаваемым вопросом, желают ли они, чтобы адвокат продолжал свою речь, то все воскликнули единодушно:

— Пусть говорит! Пусть Гельвидий говорит!

Потом, после краткого обеденного перерыва, выступил Марулл. Правда, в Риме знали, что Веспасиан позволил себе по отношению к Иосифу несколько грубых шуток, но подробнее история, предшествовавшая его первому браку, была неизвестна, и чтобы Иосиф, а тем более Марулл осмелились привлечь особу умершего императора к столь сомнительному делу, друзья и советчики Дорион считали невозможным. Однако Марулл осмелился. За последнее время его испорченные зубы частенько мешали ему говорить; но сегодня у него удачный день, и отчетливо, дерзко, ясно, слегка гнусавым голосом он провозгласил:

— Заявление противной стороны граничит с оскорблением величества, и тому, кто на основании этого обвинил бы сенатора Гельвидия в оскорблении величества, даже теперешние суровые меры против ложных доносов были бы не страшны. Ничего не стоит доказать, что брак римского всадника Иосифа Флавия, друга императора, брак, который эти люди называли постыдным, состоялся согласно настоящему и определенно выраженному желанию бога Вес-

пасиана и что бог Веспасиан сам принял в нем участие и заменил невесте отца. Как можно называть брак, заключенный отцом отечества, по-видимому, ко благу империи, постыдным и обосновывать этим иск госпожи Дорион, — доброму римлянину непонятно. Разве человек — негодяй только потому, что он выполнил желание бога Веспасиана? И если римский всадник Иосиф Флавий позднее расторг свой брак, то это произошло по причинам, одобренным его величеством императором Титом, и они лучше чем кому бы то ни было известны именно противной стороне. Господину адвокату противной стороны нужно было для обоснования своих требований больше времени, чем позволяют водяные часы. Мне же, чтобы опровергнуть его, понадобится гораздо меньше времени. Я удовольствуюсь тем, что назову обвинения, направленные против моего доверителя, абсурдной клеветой и в доказательство передаю судье предварительный список шестисот сорока четырех свидетелей, видевших собственными глазами, как бог Веспасиан, с величавой веселостью, принимал участие в бракосочетании всадника Иосифа Флавия, видимо, одобряя его. Затем я представляю и кладу под копые список тридцати трех свидетелей, готовых подтвердить под присягой, что этот брак был заключен по настоящему желанию бога Веспасиана.

Заявления Маруллы вызвали сенсацию в переполненном зале Юлия. Верховный судья поспешил отложить дальнейший разбор дела.

Таким образом, Иосифу удалось ценою своего прошлого, ценой глубочайшего унижения отвести от себя первый удар, направленный против него Дорион и ее друзьями. За последние годы в Риме ходили относительно этой старой истории только смутные слухи, теперь она была опять у всех на устах. Однако ни Гельвидий, ни его сторонники не дали Маруллу запугать себя дерзкой угрозой. В вопросе об усыновлении смелый Гельвидий, не страшась обвинения в оскорблении величества, построил свой отвод на тех же аргументах, что и требование развода Дорион, — он поставил под сомнение добропорядочность Иосифа. Верховный судья Арулен тоже не отступил перед Маруллом. Несмотря на заявление Маруллы, что выпады против человека, бюст которого поставлен императором в библиотеке храма Мира, просто абсурдны, и несмотря на то, что он защищал первый брак Иосифа на тех же основаниях, какие приводил в деле о разводе, суд решил проверить доводы Гельвидия. В Иудее следовало произвести расследование,

действительно ли бог Веспасиан одобрял женитьбу Иосифа.

Напряжение росло. Разве было не опасно ворошить события, столь близко касавшиеся династии? Все взоры были боязливо устремлены на Палатин. Верховный судья Арулен с трудом убедил одного из министров упомянуть о процессе в своем докладе императору. Но Тит никак не отзывался. Ни малейшим изъявлением своей воли не вмешивался он в ход обоих процессов.

Возвращаясь верхом с официального заседания корпорации знати второго ранга в сопровождении друзей и рабов, Иосиф неожиданно встретился с губернатором Флавием Сильвой. Это происходило на Марсовом поле. Флавий Сильва был тоже на коне. Он остановил лошадь. По обыкновению, шумно и весело приветствовал он Иосифа, восхитился мускулистой головой его благородной арабской кобылы. Затянул разговор. Проводил удивленного Иосифа часть пути.

Медленно ехали они рядом. Худощавый, мрачный Иосиф в официальном плаще с пурпурной каймой был очень красив, несколько тучный Флавий Сильва проигрывал рядом с ним. Но губернатора это не огорчало. Он нашел благоприятный случай сообщить кое о чем Иосифу. До сих пор в борьбе за свое начинание он подвигался вперед крайне медленно, теперь же процессы Иосифа вдруг ускорили его дело, и он считал долгом чести довести об этом до сведения Иосифа.

Вот как обстоит дело. Сенаторы-республиканцы наконец внесут законопроект, столь необходимый Флавию Сильве для управления Иудеей; и как раз тяжбы Иосифа подтолкнули на это Гельвидия и его друзей. Уже в февральскую сессию бывший верховный судья Антистий поставит на обсуждение законопроект, совершенно ясно запрещающий обрезание нееврея, и тем самым раз навсегда положит конец дерзкому прозелитизму евреев. Гельвидий имеет точные сведения, сообщил губернатор Иосифу, что сенат примет законопроект подавляющим большинством голосов.

Иосиф старался скрыть свою угнетенность. Ради этого закона Флавий Сильва и приехал в Рим. Что ему удастся убедить своих друзей в сенате внести этот законопроект, было очень вероятно с самого начала. После падения Береники это стало бесспорным. Все же известие сразило Иосифа. Он не потерял самообладания, всеми способами старал-

ся умерить свое волнение, говорил себе, что, каково бы ни было решение сената, в первое время оно, во всяком случае, останется только чисто теоретическим пожеланием, и все будет зависеть от того, применит ли император право «вето» или нет.

Губернатор продолжал. Он гордится тем, что является инициатором законопроекта. Для него важно, чтобы евреи поняли, насколько этот закон желателен именно в их интересах. Только так можно провести в Иудее твердую границу между политикой и религией, а без такой четкой границы управлять провинцией нельзя. Он разгорячился.

— Я всячески охраняю, — заверил он Иосифа, — еврейскую религию, поскольку она дозволена. Я щажу чувства ваших единоверцев. Я энергично напомнил военным учреждениям о запрещении выставлять бюсты императора в городах с преобладающим еврейским населением. Я поощряю, насколько в моих силах, автономный еврейский суд. Я освободил Ямнийский университет, его богословов и учеников от уплаты налога. Уж если кто терпим, так это я. Но в ту минуту, когда еврейская религия превращается в политику, я становлюсь ее жесточайшим противником. Счастье для евреев, что как раз их невидимый бог и его законы — это только религия, далекая от всякой политики.

— Боюсь, господин губернатор, — сказал Иосиф, — что даже если новый закон пройдет, то вам не удастся, как вам хочется, совершенно отделить еврейскую религию, как нечто исключительно идеологическое, от реальной политики. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Надеюсь, я достаточно показал на собственном примере, что человек может быть одновременно хорошим евреем и хорошим римлянином. И все-таки — иудаизм нечто большее, чем точка зрения, чем идеология. Дело в том, что Ягве не только бог, он и царь Израиля.

— Титул, имя, — пожал плечами Флавий Сильва. — Так же и Юпитер — владыка Рима.

— Почему император и объявил себя первым жрецом Юпитера.

Флавий Сильва улыбнулся:

— Ничто не мешает вам объявить императора первосвященником Ягве.

— Увы, это невозможно, — с сожалением сказал Иосиф.

— Знаю, — ответил Флавий Сильва. — Император должен был бы сначала подвергнуться обрезанию. Нет, — продолжал он, — вы играете словами. Я должен от вас же

защищать ваш иудаизм. Это религия, ничего больше. И радуйтесь, что это так. Если бы вы были правы, я должен был бы сегодня же отдать приказ о закрытии Ямнийского университета.

Он пустил свою лошадь шагом и посмотрел Иосифу в лицо.

— Мне кажется,— сказал он неожиданно резким голосом,— что вы считаете нас глупее, чем мы есть, Иосиф Флавий. У кого нет власти, тот должен довольствоваться отвлеченной религией, довольствоваться невидимым богом. Мы позаботимся о том, чтобы кое-какие честлюбивые замыслы не прокрались в политику окольными путями религии. Мы разрешаем целый ряд чужих религий и допускаем их, поскольку они религии. Но в ту минуту, когда они вступают в конфликт с господствующей религией, они перестают ими быть. Ибо господствующая религия есть не только идеология, она — составная часть политического аппарата. Поэтому мы заботимся о том, чтобы людей, рожденных в этой религии, не отвращали от нее.

Иосиф взглянул на ехавшего рядом с ним губернатора. Его приветливое, добродушное лицо было суровым, в нем не осталось и следа веселости,— это было беспощадное лицо Рима, обрекающего на уничтожение все, в чем он усматривает малейшую угрозу своему могуществу.

Губернатор продолжал:

— Так как мы сильны, то можем спокойно допустить, чтобы желающие придерживались суеверий. Но мы не можем допустить, чтобы эти суеверия угрожали господствующей религии. Ибо она является политическим средством, оружием. Попытка отнять у римлянина его веру равносильна попытке отнять у Рима его оружие. Это государственная измена. Поэтому мы караем рожденного в римской вере, если он впадет в безбожие. Поэтому же необходимо, чтобы обрезание было запрещено. И поэтому я добился, чтобы мои друзья внесли этот законопроект в сенат.

Затем Флавий Сильва переменил тему разговора, его лицо разгладилось, и когда они прощались, это был опять прежний шумливый, сердечный боевой товарищ.

Ни одним словом не коснулись они тяжб Иосифа, но Иосиф отлично понял, что все сказанное губернатором относилось к его процессам. Несмотря на это, он не хотел

признать, что противной стороной в его деле является не отдельное лицо, а Рим как таковой. Наоборот, сказанное ему Флавием Сильвой только усилило его гнев против Дорион и Финея.

Он вызвал к себе своего вольноотпущенника Финея, как имел на то право по закону. Когда грек явился, Иосиф был с ним особенно вежлив. Иосиф не мог скрыть от себя, что, несмотря на всю его ненависть к Финею, в самой глубине души он испытал даже некоторую радость, увидев опять эту крупную бледную голову. Он старался подавить в себе все, что имел против Финея, почти дружелюбно разговаривал с ним, ~~не~~ стыдился своего беспомощного греческого языка.

— Меньше всего, — объяснил он Финею, — я собираюсь посягать на эллинизм мальчика. Я хочу только прибавить к нему нечто новое. Не мешайте мне сделать эту попытку объединить в нашем Павле эллинизм и иудаизм. Вы воспитываете моего сына в принципах стоиков. Вы знаете нашу книгу «Кохэлэт»? Разве нельзя попытаться сочетать Кохэлета с Зеноном и Хрисиппом, с Сенекой и Музонием? Не закрывайте мне пути к Павлу. Вы владеете его сердцем. Оставьте мне частицу его.

Он унижался, подошел совсем близко к Финею, как проситель.

К сожалению, возразил тихо и вежливо Финей, он должен в этом деле отказать Иосифу. Он считает преступлением подвергать мальчика Павла еврейскому влиянию. Доктор Иосиф упомянул о философе Кохэлете. В его книге много превосходного, но много и абсурдов; и даже превосходное только повторяет сказанное задолго до него некоторыми греками. Да, он должен заявить прямо: чем больше еврейских книг читал он, состоя на службе у Иосифа, тем явственнее видел, насколько правы многочисленные греки, считающие, что иудаизм — не что иное как собрание бессвязных суеверных представлений. Он ничего не имеет против, если образованный человек все же не свободен от кое-каких суеверий. Когда, например, госпожа Дорион время от времени высказывает взгляды, относящиеся еще к миру представлений ее египетской няньки, то это кажется ему привлекательным и прелестным. Но именно только в устах госпожи Дорион. Если же юный ум Павла будет напичкан еврейскими догматами, то, по его мнению, это отнюдь не приумножит природное обаяние, ниспосланное ему небом, а скорее привет красивому и способному мальчику робость и мрачность, которую приходится

наблюдать у очень многих обитателей правого берега Тибра.

Иосиф бегал по комнате. Как ни странно, отказ Финей меньше возмущал его, чем дерзкая болтовня о Кохэлете. Этот человек чувствовал ритм каждого самого незначительного греческого автора, но глубокая музыка Кохэлета не доходила ни до его уха, ни до его сердца. Все же Иосиф взял себя в руки, — не станет он спорить с каким-то Финеем о Кохэлете. Кто такой этот Финей? Убогий ум. Ведь его ограниченный эллинизм мешает ему воспринимать великое, если оно не открывается в каком-нибудь греке. Но как бы то ни было, убожество ли это или злоба, между этим человеком и его Павлом не должно быть ничего общего.

Секретарь еще не кончил говорить, а Иосиф уже остановился, слегка расставив ноги, заложив руки за спину. Деловито, после короткой паузы, он констатировал:

— Хорошо, Финей. Значит, вы не хотите мне помочь?

— В этом случае — нет, — подтвердил тот.

— Тогда я вменяю вам в обязанность, вольноотпущенник Финей, — сказал Иосиф, слегка повысив голос, — остаться здесь, в моем доме. Я попрошу вас взять из перевода Семидесяти книгу «Екклесиаст» и отметить мне те места, где греческий язык этого перевода кажется вам жестким и устарелым. Будьте добры предложить мне исправления.

Молча и вежливо склонил Финей свою крупную голову.

Через несколько дней Дорион написала Иосифу, прося его приехать к ней на виллу. Значит, на этот раз он задел ее за живое, гордячку. Как этот грек, этот пес говорил о ней! С какой нежностью, несмотря на тон превосходства.

Дорион опять приняла его в крытой галерее. Но сегодня она предложила ему сесть, и они сидели в саду, за каменным столом, и она была вежлива. Несчастье, пережитое Иосифом, смерть его сына, его неистовая, безудержная скорбь — все это дало ей глубокое, горькое удовлетворение. Значит, он проиграл свою тяжбу против богов, гордец, судья мертвых. Пускай теперь оказывает своему ублюдку загробные почести, в которых отказал ее отцу. Она знает точно, как глубоко должна была ранить Иосифа смерть его еврейского сына, после того как она навсегда отняла у него его греческого сына.

Так как она приняла его не с прежней холодной сурово-

стью, Иосиф дал себе волю. Ну какой смысл, спрашивал он, на глазах у всех терзать друг друга? Пусть она разрешит ему сделать Павла евреем. Разве смерть его сына Симона не есть указание неба, что Павла следует сделать евреем? Он охотно будет оставлять с ней мальчика на большую часть года, — пусть они с Финеем прививают ему греческий дух; но на короткое время, на четыре, три месяца, она должна отдавать Павла ему.

Ах, вежливость Дорион была слишком поверхностна! Она уже издевается над ним. Разумеется, смерть его Симона — знак богов. Но Иосиф неверно истолковывает его. Только одно хочет показать ему небо — насколько он зазнался. Против него и против его воззрений направлено это знамение, не против нее и Павла.

Иосиф сказал:

— Как хочешь, Дорион. Я пришел не затем, чтобы спорить. Дай мне покой, Дорион. Я смертельно устал.

Дорион увидела, что он изменился, сильно постарел. Она хорошо знала эту усталость. Такую же усталость и бессилие испытывала она, когда сидела в мастерской своего умершего отца, окруженная эскизами к «Упущенным возможностям». В ее мозгу звучали древние египетские стихи:

Ныне стоит предо мною смерть,
Как благоухание мирт,
Как плавание под парусом при попутном ветре.
Ныне стоит предо мною смерть,
Как дорога под милым дождем, как возвращение мужа
на военном корабле,
Ныне стоит предо мною смерть,
Как образ родного дома
Для того, кто много лет пробыл в плену.

— Мне очень жаль, — сказала она, — что тебе пришлось столько перенести. На мою долю тоже кое-что выпало. Но повторять одно и то же не имеет смысла. Я пригласила тебя, оттого что хотела договориться с тобой. Я хотела предложить тебе нечто вполне разумное. Мне сказали, что ты строишь еврейский молитвенный дом и тебе нужны для этого деньги. У меня есть деньги. Я хочу выкупить у тебя твоего вольноотпущенника Финея.

Иосиф смотрел на ее узкое лицо. Светлые глаза были совершенно спокойны. Если это издевка, то Дорион играет свою роль мастерски. Он ушел.

Возвратившись домой, он тотчас же приказал Финею отправиться в Альбан в распоряжение Дорион.

Издатель Клавдий Регин неожиданно явился к Иосифу и осведомился о том, как подвигается его работа.

— Я сейчас не могу работать, — заявил раздраженно Иосиф.

— А я нахожу, — возразил своим жирным голосом Регин, — что работа — это единственное, что можно делать в такое время. Но, конечно, у вас нет вашего Финея, — зло добавил он.

Иосиф нашел, что его гость толст, стар, обрюзг. Он удержался от резкого ответа, уже готового сорваться с языка. Правда, он всегда сердился на Регина, но знал, что тот — один из немногих, действительно желавших ему добра.

Регин продолжал недовольно брюзжать:

— Мы на работу скуповаты. А на кое-что другое мы очень щедры. Мы делаем госпоже Дорион подарки; если она хочет заново обить стул, то мы даем на обивку кусок собственной кожи. Мы говорим себе: когда дело станет совсем дрянью, старик Регин найдет выход. И правильно. В конце концов платит он, старый дурак. А знаете ли вы, что вот этой одежде пятый год? — И он сердито указал на свое изношенное платье. — С императором тоже нельзя разговаривать, — продолжал он браниться. — Этот человек страдает просто болезненной расточительностью. Я уж даже и не знаю, как мне сбалансировать бюджет. Охотнее всего я уехал бы с Иоанном Гисхальским в Иудею и занялся бы там сельским хозяйством.

Они уныло сидели друг против друга.

— Вы знаете, — начал наконец Иосиф, — как обстоит дело с моими процессами? Правда, я парализовал своих противников, но и сам не двигаюсь с места. Мне никак не удастся выцарапать мальчика. Можете вы мне что-нибудь посоветовать?

— Очень досадно, — отозвался Регин, — что Тита нельзя теперь толкнуть ни на какое решение. От него невозможно получить ни одной подписи. Империя продолжает двигаться вперед. Денежки, которые мы с Веспасианом накопили, не так-то легко растратить; но колеса катятся все медленнее и скрипят все громче. Все дело в этом. Поэтому вы и не можете выцарапать вашего Павла.

— Что-то туманно, — пожал Иосиф плечами.

— Вы туго соображаете для человека, который учился в Иерусалимском университете, — упрекнул его Клавдий Регин. — Разумеется, верховный судья Арулен с величайшим удовольствием отказал бы вам в вашем Павле. Но он

боится решить не в вашу пользу и боится решить в вашу пользу. Ибо как он ни прислушивается, с Палатина не доносится ни «да», ни «нет». Ему ведь тоже нелегко, верховному судье Арулену.

— Вы думаете,— спросил Иосиф,— что мне следует сделать попытку вызвать Тита на изъявление его воли?

— Вы неверно поняли вашего ничтожного слугу и ученика, доктор и господин мой,— язвительно сказал Клавдий Регин, применяя многословную арамейскую формулу вежливости.— Я только анализировал ситуацию, никакого совета я вам не давал. А вы знаете, какова будет воля императора? Я не знаю. И ваши противники тоже не знают.

— Я не думаю, чтобы Тит был мне врагом,— сказал задумчиво Иосиф.

— А вы уверены, что он вам друг? — спросил Регин.

«У него, наверное, совесть не чиста перед евреями», — раздумывал Иосиф.

— Луция теперь часто бывает в его обществе,— веско, заметил своим жирным голосом Регин.

— Принцесса Луция очень ко мне расположена,— заявил Иосиф.

— Как посчастливится, смотря в каком настроении будет император,— заметил Клавдий Регин.

— Я верю в свое счастье,— сказал Иосиф.— Я теперь имею право на счастье,— заявил он высокомерно.

Клавдий Регин насмешливо посмотрел на него тусклыми, сонными глазами.

— А вы хорошо ориентированы в бухгалтерских книгах Ягве,— съязвил он.

— Можете вы мне устроить аудиенцию? — попросил Иосиф.

— Я-то мог бы,— ворчливо проквалил Клавдий Регин,— но я теперь редко вижу императора и не думаю, чтобы для вас было выгодно, если вы получите аудиенцию именно через меня.

— Благодарю вас за совет,— сердечно отозвался Иосиф.

— Пожалуйста, не благодарите,— сердито буркнул Клавдий Регин.— Никакого совета я не давал вам. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что подобная аудиенция может иметь крайне неприятные последствия.

В конце концов аудиенции добилась для него Луция. Ей нравилось то фанатичное упорство, с каким этот человек боролся за своего сына. Кроме того, что, вероятно, и по-

служило решающим моментом,— Дорион была ей в той же мере несимпатична, в какой Иосиф — приятен.

Когда император принимал Иосифа, он находился в плохом расположении духа. Он был простужен, глаза слезились, лицо отекло, он часто и подолгу сморкался. Тит встретил Иосифа отчужденно, сухо, но милостиво. Во время беседы он оживился, рассентиментальничался.

— Я слышал,— сказал он,— что тебя постигло несчастье. Я должен был бы, может быть, больше интересоваться тобой. Но, поверь, нелегко и мне. В душе я все так же привязан к тебе, мой Иосиф. Мы прошли вместе большой кусок жизненного пути,— это, вероятно, была лучшая часть. И уж, наверное, самая легкая.

Иосиф наконец заговорил о своем процессе. Марулл считал эту аудиенцию крайне опасной: император непроходим, неуравновешен, кроме того, прихварывает и зачастую бывает в дурном настроении. Марулл знал по опыту, как легко физические страдания могут предопределять решения не в пользу просителя. Хотя Луция и подготовила императора, все же это вопрос удачи. Так как Иосиф настаивал на своем желании, то Марулл постарался облечь просьбу, с которой Иосиф хотел обратиться к императору, в наиболее подходящую форму. Поэтому Иосиф просил императора о милости дать его дело на заключение одному из государственных юристов, лучше всего Цецилию, как лицу наиболее осведомленному в вопросах семейного права. Цецилий же был близким другом и сотрудником Марулла, а заключения государственных юристов были для суда обязательны.

Тит высморкался, улыбнулся, заговорил:

— Процессы. Вы, евреи, ведете множество процессов. Значит, у тебя теперь тоже процесс. Даже, собственно, два.— Он улыбнулся шире, развеселился.— Наш друг Марулл ведет его, твой процесс. Мой отец не любил его, твоего Марулла. Малыш любит его. Я рад, что он вкладывает столько горячности в твое дело. Я слышал, у него голова полна собственных забот; над ним висит закон о ложных доносчиках. Во всяком случае, интересный человек, дьявольски умный. Может быть, он и негодяй. И уж наверное он и мой Цецилий состряпают потрясающее заключение. Ну, ладно.— И он отдал приказ поручить заключение своему юристу Цецилию.

Раньше Иосиф рассердился бы оттого, что император ни одним словом не упомянул о его книгах. Но сегодня он был просто счастлив. Неумеренно и от чистого сердца

благодарил он всех, кто помог ему, — Тита, Луцию, Регина, Маруллу.

Впрочем, Тит вовсе не собирался из-за этой милости, оказанной им еврею Иосифу, рисковать своей популярностью. Он хотел остаться «любовью и радостью человеческого рода». Поэтому в тот же день, когда был отдан приказ поручить заключение юристу Цецилию, он известил консула Поллиона, что в случае, если сенат примет закон против движения безбожников и обрезания, император не наложит своего «вето».

Формальности усыновления были очень длительны, но верховный судья Арулен вдруг помчался к цели во весь опор. Хотя об этом не было сказано ни слова, но все соответствующие инстанции вдруг поняли, в чем дело, — император уступил оппозиции закон об обрезании, но он хотел, чтобы на его еврея Иосифа этот закон не распространялся. Для оппозиции это было необыкновенно выгодной сделкой; предоставление мальчика Павла еврею тысячекратно окупалось отказом императора от «вето». После того как Арулену все стало ясно, он не допустил ни одной оттяжки.

Дорион бесновалась. Она не понимала, что происходит. Еще две недели назад друзья заверяли ее, что дела обстоят как нельзя лучше, а теперь — со дня на день все должно пойти прахом? Когда ее вызвали в Суд ста для продажи ее сына Павла, она кипела яростью. Потом расплакалась. Потом заявила, что больна. Но ничего не помогло. Настал день, когда она, несмотря на все, была вынуждена предстать вместе с Павлом в Юлиевом зале.

Копье было воткнуто, медь и весы приготовлены, ненавистный Марулл был тоже здесь. Ее спросили, продает ли она по обряду «меди и весов» вот этого своего сына Павла Юнию Маруллу. Марулл прикоснулся к плечу мальчика маленькой палочкой — «удлиненной рукой» и принял его под свою опеку. Трижды повторялась эта недостойная процедура, трижды должна была глубоко возмущенная женщина переносить ее. Бледный, с трудом скрывая внутреннюю дрожь, стоял подле нее Павел. Он бесконечно страдал от той шумихи, которую вызвал процесс, его гордость восставала против нелепой комедии, в которой он теперь был вынужден играть главную роль.

Когда эта процедура была кончена, Иосиф выступил в качестве истца. Он заявил иск о передаче в его власть

мальчика Павла. Судья спросил Дорион, имеет ли она что-нибудь против передачи мальчика Павла присутствующему здесь Иосифу Флавию. Дорион молчала. Ликтор следил по водяным часам, когда пройдет одна минута. Всю эту минуту Дорион должна была стоять и молчать. Иосиф наслаждался этим молчанием. Для него было безмерным торжеством, что Дорион стоит здесь и должна молчать, когда он требует себе своего сына; это свершилось благодаря его разуму и божьей милости. Но он не позволил себе, — и, может быть, это было его наибольшим торжеством, — взглянуть на Дорион, когда она стояла и молчала.

Затем ликтор констатировал:

— Спрошенная молчит. — И заявил: — Поэтому я поддерживаю требования истца и передаю в его власть мальчика Павла.

Иосиф коснулся плеча Павла «удлиненной рукой» и увел мальчика, который стоял со сжатыми губами, весь бледный, в свой дом в шестом квартале.

Заседание сената, на котором должен был обсуждаться законопроект о запрещении обрезания, «закон против евреев», как его называли массы, состоялось 1 февраля. Был ясный холодный день, и в предвидении того, что заседание продлится долго, решили созвать сенат с самого раннего утра, ибо его решения имели законную силу лишь в том случае, если они выносились между восходом солнца и закатом.

Было еще темно, а перед величественным зданием храма Мира, где в особо важных случаях заседал сенат, уже собралась большая толпа. Прежде всего пришли тысячи людей с правого берега Тибра. Даже те, кто до разрушения храма мало заботился о соблюдении ритуалов, теперь вдруг стали их приверженцами. Так как дом Ягве уже не существовал, то обычаи стали для еврейства тем же, чем тело для духа; исчезнут обычаи, исчезнет и иудейство. Обрезание же, плотское закрепление союза между Ягве и его народом, являлось для евреев основным признаком их национальности и их сущности. Обрезание, учил Филон, величайший еврейский философ эпохи, сдерживает плотское вожделение, дабы обуздать влечения человеческого сердца. Ибо как виноградной лозе, так и человеку предназначено возвысить и облагородить свою природу; обрезание же показывает готовность человека преобразовать сырец своей прирожденной воли в соответствии с высшей волей Ягве. Все, даже самые равнодушные, были согласны в том, что обрезание возвышает избранный богом народ над обык-

новенными людьми. И разрушение государства и храма не казалось им таким бедствием, как намерение разрушить теперь их союз с Ягве.

Итак, в сильном волнении стояли они перед храмом Мира. Что закон пройдет, было вне сомнений; но все существование их как нации зависело от того, какие ограничения или дополнения примет сенат. Император заявил, что в принципе одобряет этот закон, а найти правильную формулировку — это уж дело «избранных отцов». Однако никто не мог предвидеть, на какой формулировке они остановятся. Отношения партий и отдельных сенаторов странно сместились и перепутались. Государственная власть стояла на этот раз на стороне традиционной, республиканской оппозиции, тогда как либеральные приверженцы монархии являлись противниками закона.

Белое и величественное, постепенно выступало в утренних сумерках окруженное колоннадами гигантское здание храма Мира. Люди, толпившиеся перед ним, кутали головы в капюшоны своих плащей, разводили на улицах и в крытых галереях костры. Становилось все холоднее. Даже статуи перед зданием были укрыты толстыми одеялами, чтобы мрамор не треснул.

В храм имели доступ только те, у кого были особые пропуска. Стали собираться сенаторы, дрожа от холода, неся в рукавах маленькие грелки с горячей водой, без носилок: согласно обычаю, они должны были прийти в сенат пешком. Иным из них слуги и полицейские с трудом прокладывали дорогу к зданию. Многих массы узнавали, их приветствовали дружескими, а иногда и ядовитыми возгласами; не всякому было легко пройти с подобающим достоинством через эту критическую зону.

Хотя внутренние залы также были полны людьми, но после шума на форуме Флавиев казалось, что в них тихо и просторно. Всюду стояли жаровни с горящим углем. Но они мало грели, тепло уходило вверх, пол оставался холодным, и сенаторы в своих высоких неудобных торжественных башмаках переминались с ноги на ногу и тосковали по центральному отоплению своих домов. Холодные, полные зловещей угрозы, стояли вокруг изваяния, висели картины, которыми Веспасиан украсил громадное, возведенное во славу ему здание, колоссальная статуя Нила с шестнадцатью гениями, обвитый змеями Лаокоон, картина, изображающая битву Александра, ценнейшее произведение искусства, увековечившее победу, которую Европа одержала над Азией. Ледяным блеском золота сверкали на

самых видных местах трофеи великой войны Флавиев, Иудейской войны, девяносто три священных сосуда Иерусалимского храма, столы для хлебов предложения, семи-свечник. Все в этих залах должно было напоминать сенаторам о том, что Веспасиан и его сын завершили победу Запада над Востоком, что на земле мир и что мир этот римский,— и что его создали Тит и его отец.

Каждый из сенаторов, прежде чем войти в зал заседания, подходил к статуе богини Мира, чтобы принести ей в дар курения и вино. В безмолвной славе своей высилась богиня Мира, но по обе стороны ее стояли статуи старого императора и Тита, дабы каждый, приносивший ей жертву, видел воочию: эти мужи были хранителями богини, без них она была бы одинока и беззащитна. Многие из сенаторов-республиканцев завидовали еврейскому вассальному царю Агриппе, старику Тиберию Александру, бывшему египетскому губернатору, и остальным четырем сенаторам-евреям, которые могли себе позволить пройти мимо изображения богини, не принося ей жертвы.

Сенаторов было шестьсот восемьдесят один. Пятьсот семьдесят семь из них имели право голоса. Еще задолго до восхода солнца почетный зал храма уже был полон «избранными отцами». И вот, в пурпурных плащах и пурпурных одеждах, освещенные трепетным светом многочисленных жаровен и еще горевших светильников, они переминались с ноги на ногу, болтали, покашливали, зябли. Строго стояли вдоль стен бюсты великих писателей и мыслителей. Все вновь выплывая из тени в свет, взирала на пышную толпу голова Иосифа, повернутая к плечу, высокая и высокомерная, худощавая, странно поблескивавшая, безглазая, полная мудрого любопытства.

Сейчас же после восхода солнца особо назначенные для этого чиновники установили число присутствующих. Оказалось, что налицо пятьсот шестнадцать сенаторов — счастливое число, ибо оно делилось на шесть. Затем дежурный консул Поллион Вер приказал широко распахнуть все двери здания, подчеркивая этим гласность заседания, и открыл его предписанной формулой: «Да принесет оно римскому народу счастье и успех». Он объявил, что налицо две трети членов сената, — следовательно, собрание правомочно, и что оно открылось после восхода солнца. Он попросил начальника императорской канцелярии принять это к сведению.

В первую очередь было заслушано заявление бывшего министра финансов Квинта Педона, в котором он предлагал

в дальнейшем не пользоваться для возведения построек особой машиной, изобретенной архитектором его величества Ацилием Авиолой. Квинт Педон мотивировал свое предложение. Будучи сам восхищен техническим совершенством этих машин, сберегающих труд десятков тысяч человеческих рук, он, с другой стороны, убедился на опыте, что эти машины вызывают в строительном деле опасную безработицу. Его величество повелел выдать гениальному архитектору и инженеру награду, но запретил применение этих машин на императорском строительстве. Квинт Педон ходатайствует перед сенатом о соответствующем заключении. Это дело не вызвало особого интереса. Кто-то сострил, что лучше бы вместо запрещения машин Авиолы ввести в законодательном порядке во всех общественных зданиях благодетельное изобретение инженера Сергия Ораты, а именно — центральное отопление. Предложение Педона было принято без прений. Во время скучной процедуры голосования сенаторы непринужденно болтали между собой о законе против евреев.

Наконец дошло и до него. Консул прочел «избранным отцам» текст законопроекта верховного судьи Антистия, гласивший: «Тот, кто из побуждений любострастия или с корыстной целью подвергнет кого-нибудь осклоплению, будь то свободный или раб, несет наказание, предусмотренное законом Корнелия о нанесении телесных увечий. Побуждающий к осклоплению или способствующий ему несет то же наказание». Затем консул стал опрашивать сенаторов, каждого поодиночке, в порядке древности их рода:

— Каково ваше мнение?

Все знали, что Антистий для того и придал законопроекту столь общую форму, чтобы не выступать открыто против иудейской религии, разрешенной конституцией. Но первый же из опрошенных республиканских сенаторов разоблачил подлинный смысл законопроекта, заявив, что он просил бы зачеркнуть слова: «из побуждений любострастия или с корыстной целью» — и, кроме того, уточнить понятие осклопления примерно такими словами: «кого-нибудь подвергнет осклоплению, либо увечию, или обрезанию детородного члена».

Либеральная партия знала, что бессмысленно отклонять законопроект в целом. Их лидер предложил принять его в редакции его инициатора, однако рассматривать не как самостоятельный закон, а лишь как дополнение к законам о телесном увечье, как они изложены у Лабедона и Корнелия.

Из всех ораторов наибольший интерес, бесспорно, вызвал царь Агриппа. С отъезда его сестры положение Агриппы в Риме стало весьма сложным. Правда, Тит, как и раньше, выделял его, относясь с особенной сердечностью, но избегал бывать с ним наедине и ничего не предпринимал, чтобы оградить от нападок общественного мнения, которые становились все яростнее. Со сцены, в стихах моралистов, в куплетах, распевавшихся на улицах и в кабаках, говорилось, иногда остроумно, иногда нет, о его безнравственных отношениях с сестрой, его изысканном щегольстве, его пагубном влиянии на императора, и нужно было все светское самообладание Агриппы, чтобы выдержать эти толки.

Ему было холодно, и он не любил привлекать внимание такого рода, какое ему выпало сегодня на долю. Но он был хорошим, опытным оратором, его гибкий голос без труда наполнял весь зал сената и сквозь глубокую тишину долетал до площади перед храмом. Агриппа собрал все свои силы. Он знал, что выступает не только ради себя, но и ради всех пяти миллионов иудеев империи, он — последний внук царей, правивших Иудеей в течение столетий. Он начал с комплимента докладчику. В основе законопроекта лежит глубоко этическая идея, поистине достойная великого Рима. Но, заметил он, не следует искажать благородных намерений докладчика, облегчив злонамеренным ораторам возможность своими формулировками превратить на практике моральный смысл этого закона в нетерпимость, недостойную империи. Двум великим народам Востока предписано религией обрезание — египтянам и евреям, народам, религия которых не только разрешена империей, но чьих богов империя чтит. Разве до последних дней, пока стоял храм, римский генерал-губернатор в Иудее не посылал невидимому богу Ягве очередную жертву? Неужели империя хочет принудить верующих в этого бога Ягве к нарушению законов, которым они следовали в течение тысячелетий? Закон Антистия в своей четкой редакции вызовет сочувствие всех тех, кто исполнен римского духа, но необходимо, путем как можно более ясной формулировки, избежать искажений его основного этического смысла. И он просил высокое собрание исключить из этого закона как египетских священников, которым обрезание предписывает их вера, так и евреев.

Царь Агриппа говорил тепло, но все же с большим спокойствием; пока он говорил, покашливание, шелест

и шарканье озябших ног прекратились. Только с улицы доносился шум толпы, возбужденные, насмешливые возгласы противников, страстные голоса евреев.

После речи Агриппы консул Поллион продолжал опрос «избранных отцов»; но внимание сенаторов уже угасло. Большинство ограничилось чисто формальными заявлениями вроде: «Я присоединяюсь к Антистию», или «к Агриппе», или «к Корвину». В конце концов консул смог закрыть прения. С помощью своих чиновников и стенографов он констатировал, что предложено пять редакций законопроекта. Он зачитал эти редакции и дал членам сената час времени на то, чтобы еще раз зрело обдумать, к которой из версий каждый из них присоединяется.

Господа сенаторы были рады встать и поразмять ноги. Они воспользовались свободным часом, чтобы подкрепиться горячим супом или еще чем-нибудь. После возобновления заседания консул предложил авторам пяти различных версий подняться со своих скамей, а сенаторам — сгруппироваться возле того из них, с чьей редакцией они согласны. Оказалось, как можно уже было предугадать во время перерыва, что большинство «отцов-сенаторов» собралось вокруг Агриппы.

В окончательной письменной формулировке его версия звучала следующим образом: «Тот, кто подвергнет оскотлению кого-либо, будь то свободный или раб, то есть подвергнет увечию или обрезанию его детородный член, несет наказание, предусмотренное законом Корнелия о нанесении увечья. Такому же наказанию подлежит побуждающий к оскотлению или способствующий ему. Закон не распространяется на египетских священников, которым их вера предписывает обрезание, а также на людей, принадлежащих к еврейской нации, которые, согласно законам своей религии, делают обрезание находящимся под их опекой сыновьям».

Председатель предложил назвать этот закон именем его инициатора — Антистия. Все выразили свое согласие. После этого он заявил, что решение сената состоялось, притом до захода солнца, и просил начальника императорской канцелярии принять это к сведению. Затем он поднялся, приветствовал собрание, подняв руку с вытянутой ладонью, и отпустил их, произнеся обычную формулу: «Я больше не задерживаю вас, господа сенаторы». Сенаторы поспешно разошлись, чтобы скорее очутиться в своих нагретых домах.

Служащие при храме еще долго были заняты проветри-

ванием и уборкой здания. До глубокой ночи работали они при факелах и светильниках. Одиноко стояли в большом пустом зале бюсты писателей и мыслителей, и смотрела в зал голова Иосифа, худощавая, странно поблескивающая.

Текст закона и его одобрения императором были выгравированы в бронзе, и утром десятого дня, до истечения которого ни один закон не мог вступить в силу, бронзовая таблица с этим «законом Антистия», снабженная номером две тысячи двести семнадцать, помещена в государственный архив. Копии закона на греческом и латинском языках были тотчас разосланы по всем провинциям, и в каждом городе градоправитель сообщил магистратам, что пришел приказ от императора и сената. Он показал написанное каждому из присутствующих, чтобы они могли убедиться в подлинности печати, и все магистраты, включая евреев, должны были, как того требовали правила, стоя и обнажив голову, прижать к груди документ и поцеловать его. Лишь после этого он был прочитан.

Императорские министры и члены законодательного корпуса были хорошими психологами и придали закону мягкую формулировку. Все же закон Антистия заклеил как варварство обычай, который был дорог египтянам, и хотя евреям и впредь разрешалось включать в их союз с богом рожденных в лоне еврейской нации, но они были лишены возможности распространять этот закон по всей земле, как повелели им пророки. Волнение было вызвано огромное. В Александрии, столице Востока, впервые за все существование города состоялся митинг, на котором евреи и египтяне совместно протестовали против римского закона.

Еще дальше на Восток, в Евфратской области, где жило много евреев, враждебность к Римской империи усилилась. Новый режим, говорили там, новая династия стремится подавить свободу и местные обычаи. Появился человек, утверждавший, что он император Нерон, ему будто бы удалось двенадцать лет тому назад спастись от преследований сената, и он намеревается теперь возвратиться в Италию и в Рим и вернуть своим римлянам свободу, которую у них отняли новая династия и деспотическая аристократия столицы. У этого человека нашлось немало сторонников, и при дворе парфянского царя серьезно обсуждался вопрос, не следует ли официально признать его, так что губернатору провинции Сирия пришлось выслать против него значительный контингент войск.

Одним из немногих евреев, на которого закон против обрезания не произвел никакого впечатления, был актер Деметрий Либаний. Его настолько переполняли профессиональные заботы, что остальной мир для него не существовал.

Дав себя уговорить и сыграв на стодневных играх еврея Апеллу, он сделал ошибку. Не только совесть его пострадала, но и мастерство. Хотя он стал теперь более зрелым, чем шестнадцать лет назад, все же Апелла удался ему хуже, чем тогда. Страх перед политическими последствиями этой постановки сковывал его, и он не осмеливался дать себе волю. Он играл без увлечения, не смешил и не волновал, римлянам было скучно, евреи сердились, у Деметрия хватило ума сознаться себе в том, что правы были и те и другие.

Но хуже всего было то, что интендант попытался лишить его награды, купленной этой жертвой. Он отвиливал от своего обещания дать ему наконец сыграть пирата Лавреола. С многословной, ехидной любезностью доказывал он, что в собственных интересах актера подождать с Лавреолом, пока не забудется провал Апеллы. Своими вечными шпильками, своими слащавыми речами о том, как бережно нужно относиться к славе актера, он доводил Деметрия до бешенства.

Выход нашел Марулл. Он работал над Лавреолом с любовью и не был настолько долготерпелив, чтобы мириться с тактикой затягивания, принятой Палатином. Он вызвался уговорить Домициана, чтобы тот открыл «Лавреолом» свой Альбанский театр. Деметрий колебался. Предложение было рискованное. Если он выступит с Лавреолом не в спектакле, организованном Палатином, а у Домициана, он может легко и надолго навлечь на себя немилость Тита. Видимо, такова уж его судьба: служение искусству он всегда покупал ценою опасностей. Когда он выступал в пьесе «Катон» старого бунтовщика Гельвидия, он рисковал чуть ли не головой. Но Деметрий был слишком измотан бесконечным ожиданием Лавреола. Пусть будет, что будет, он принимает предложение Марулла.

Пока Тит оказывал Деметрию предпочтение, Домициан отзывался о нем презрительно. Но когда Тит, по всей видимости, охладил к нему, Домициан тут же заявил о своей готовности открыть «театр Луции» «Лавреолом».

Деметрий, разглядывая публику, собравшуюся в Альбане, поздравил себя, что он играет для Домициана, а не для Тита. «Театр Луции» не был особенно велик, он вмещал не

больше десяти тысяч зрителей, но отличался роскошной простотой в стиле современных греческих театров и очень подходил для «Лавреола», поскольку был так удачно расположен, что являлся как бы органической частью пейзажа и из него открывался чудесный вид на море и на озеро. Деметрий радовался и тому, что ему придется играть не для толпы крикливой римской черни, а для избранного общества.

Приехал император, состоялась церемония освящения. Жрецы окропили двери и алтарь кровью свиньи, барана и быка. Наконец занавес опустился, открывая сцену.

Это было 19 марта, стоял ясный день, не слишком теплый, не слишком холодный, публика была хорошо настроена, заинтересована, восприимчива. Зрители слушали внимательно и от души смеялись над первыми сценами и песенками. Но вскоре внимание стало ослабевать. Никто не смог бы объяснить почему; пьеса была отличная, из всех ролей, сыгранных Деметрием, ни одна так не подходила ему. А зрители скучали; шутки оставались бескрылыми, куплеты замораживали, почти все пропадало даром. Утомить римскую публику такой благодарною ролью, как Лавреол, было бы трудно даже бездарному актеру, а вот великому актеру Деметрию это удалось.

Марулл, стойкий, воспитавший в себе неуязвимость к удачам и неудачам, сердился. Дело не в пьесе. Он знал, что написанная им едкая и элегантная комедия хороша. Знал также, что каждая театральная постановка зависит от тысячи случайностей и что если бы изменить какие-нибудь ничтожнейшие, невесомые детали, этого было бы достаточно, чтобы та же публика, теперь благонаравно скучавшая, ликовала. Все это он знал и давно с этим примирился. И все-таки провал постановки и Деметрия Либания огорчили его больше, чем что-либо за многие годы. При этом Деметрий, видимо, ничего не замечал. Этот актер, обычно отвечавший на малейшее движение публики, не хотел видеть холодности своих зрителей. Он знал одно: то, что он дает,— это искусство, и если никто другой не хочет им наслаждаться, то наслаждаться им будет он один. Он не падал духом, не сдавался. Он вкладывал в игру всю свою душу, свою мужественную, боязливую, усталую, терзаемую тщеславием душу. Наконец он дошел до сцены, когда Лавреол предъявляет суду доказательства, что это именно он; Деметрий выступил вперед, исполнил свой куплет: «Да, вот моя кожа, вот мои волосы, вот весь разбойник Лавре-

ол» И тут он наконец увлек и эту публику, которая уже давно произнесла свой приговор и готова была бранить и пьесу, и игру, и театр; она потребовала, чтобы куплет был исполнен второй раз, и третий, и во время третьего раза слышен был громкий, искренний и звучный смех принцессы Луции. Но теперь все это было уже бесполезно.

Деметрия — Лавреола казнили. Он висел на кресте. В горестных стихах рассуждал он, умирая, о том, не лучше ли было отказаться от чести быть разбойником Лавреолом, а кончить жизнь в сельской тиши, но вместе с тем в последний раз хвастал перед товарищами тем, что мера его страданий все же превосходит их страдания. И только теперь наконец, разыгрывая все это перед публикой, сознался он в тайниках своей души, что хотя его игра — высокое искусство, но его карьере пришел конец.

Принц Домициан долго не желал признать, что открытие «театра Луции» провалилось. Ему самому спектакль не очень понравился. Но так как Луция и Марулл находили, что пьеса удалась и что Деметрий Либаний превзошел самого себя, он приписывал провал не спектаклю, а злонамеренности зрителей. Да и не удивительно, что они не дерзнули веселиться, видя скучающую рожу, которую соизволил корчить его уважаемый братец.

Они сидели в ложе все в ряд: он, Тит, Юлия и Луция. Домициан смотрел через плечо на лица остальных, видел заинтересованное, веселое лицо Луции, видел вялые черты брата. Домициан, конечно, догадывался, а может быть, и знал об отношениях между ней и Титом, но не хотел этого знать. Как ни мучило его, что Луция выбрала именно этого человека, он не позволил себе даже перед самим собою объяснить растущую в нем с каждым днем ненависть к Киту иными побуждениями, чем раньше. Теперь, видя усталое, скучающее лицо Тита, он сказал себе только, что брат, должно быть, так глубоко его ненавидит, что отравил ему даже безобидную радость по поводу открытия театра своим очевидным для всех равнодушием. Все сильнее жалила его злоба. Уже одним видом своим запрещал Тит его, Домициана, гостям веселиться, повелевал выказывать скуку, неодобрение, только потому, что они сидели в театре Домициана. И в то время, как Лавреол, вися на кресте, вызывающе предлагал своим товарищам найти человека, чьи страдания могут сравниться с его страданиями, Домициан постепенно приходил к убеждению, что во вселенной ему и его брату вместе тесно.

Непосредственно за спиной Тита сидел лейб-медик, доктор Валент. Домициан, угловато отставив локти, выпятив верхнюю губу, внимательно рассматривал бледное длинное лицо этого человека. Марулл рассказывал ему, как глубоко был оскорблен Валент тем, что во время эпидемии Тит обращался к египетским и еврейским врачам. Лицо Тита отекло, казалось болезненным, и он мало чем походил на «любовь и радость рода человеческого». Может быть, Валент со своим методом диагноза по глазам — и полезный человек. Он сумел завоевать доверие Тита и чувствует себя теперь обиженным. Марулл постоянно жалуется, что врачи не могут вылечить его зубы. Что, если бы Марулл посоветовался с Валентом и, воспользовавшись этим предложением, обмолвился словечком о болезни Тита? Может быть, такое словечко и упало бы на благоприятную почву.

Мальчик Павел продолжал жить в доме Иосифа. Теперь этот дом казался ему ещё мрачнее; с ним не было больше ни матери, ни его учителя Финея. Иосиф разрешал ему каждые две недели уезжать на Альбанское озеро, чтобы повидаться с Дорион. Однако Финей, — Иосиф поставил это условием, — не должен был в это время там присутствовать. Обычно Иосиф сам провожал мальчика в Альбан. В течение тех двух часов, когда Павел находился в доме матери, Иосиф бродил по холмистой местности, ожидая, когда наконец истекнут эти два часа, а мысль об ожидавшем его отце лишала мальчика непосредственной радости свидания с матерью.

Иосиф отдал сыну Павлу всю свою душу и все свои силы. Он учился тому, что мальчик изучал в школе. Работал над усовершенствованием своего греческого произношения. Разговаривая с сыном, больше заботился о чистоте своего греческого языка, чем когда выступал перед Титом и римскими литераторами. Ел всегда вместе с Павлом. Интересовался его вкусами, увлечениями. Пытался, впрочем, без успеха и таланта, лепить фигурки из глины. Написал управляющему иудейскими имениями, прося сообщить во всех подробностях, как там питают и содержат коз, ибо иудейские козы были самыми красивыми и сильными. Козлы Иова боролись с волками, а козлы книжника Хамая побеждали медведей. Но Павел слушал эти истории с вежливым недоверием, а листья коричневого дерева, присланные управляющим, будто особенно полезные для коз и при-

бывшие в довольно увядшем виде, он принял с вежливой благодарностью, но без особой радости.

Редкие и осторожные попытки Иосифа ввести мальчика в еврейскую богословскую науку были малоудачны. Ах, он не смел и подумать о том, чтобы изучать с ним вместе книгу Кохэлета, слышать из его уст знакомые еврейские слова. Павел вежливо и внимательно читал в большой книге те места из истории еврейского народа, которые ему рекомендовал отец: историю Давида и Голиафа, или Самсона, или Эсфири, или Иосифа, первого министра египетского фараона. Перевод Семидесяти читался легко, Павел быстро схватывал, у него была хорошо развитая память. Но за последние месяцы мать и Финей глубоко внедрили в него убеждение, что учение евреев — варварство. Он увлекался рассказами об Одиссее и Полифеме и противился историям о Давиде и Голиафе. Он восхищался дружбой Ниса и Эвриала и подвигами Геркулеса, но был равнодушен к Давиду и Ионафану и к подвигам Самсона.

Он чувствовал, как отец всеми силами своей души старается завоевать его. Иногда он гордился этим и пытался отвечать отцу на его любовь. Но безуспешно. Он всегда был высокомерным, а Финей и мать только поддерживали в нем его аристократическую гордость. Павел не мог понять, почему бы его отцу не перейти к грекам или римлянам? Почему именно ему, Павлу, хотят навязать унижительный переход к евреям? И почему мать и Финей, любившие его, не могли его уберечь от такой участи? Все более чуждым казался ему отец, все больше находил он в нем недостойных черт, и как бы чисто ни говорил Иосиф по-гречески, Павлу казалось, что он слышит в его речи ненавистный говор обитателей правого берега Тибра.

Правда, как-то раз Иосифу показалось, что он завоевал сердце сына. Тот, преодолев свою робость, однажды заговорил о том, что у него ведь был брат Симон, так почему же отец ни разу не свел его с братом, и попросил его рассказать о Симоне. Иосиф охотно согласился. Уже то, что Павел спросил о Симоне, показалось ему великой победой, и он рассказал живо и с увлечением о своем погибшем еврейском сыне. Он не знал, что Павел из зависти спрашивает об умершем. Павел завидовал мертвому.

Финей учил его, согласно принципам стоиков, что человек может силой своего духа побеждать страдания и выносить даже самое невыносимое. Если человек уже не имел на то сил, у него оставался достойный выход, делавший его

могущественнее самих богов,— в его власти было предать себя смерти. Многие великие мужи поступали так, это был достойный конец, и мысль об этом все более утешала Павла. Не раз он, когда уходил в козий хлев, чтобы замешать корм в должных пропорциях, погружался в размышления, сидя в уголке, и даже блеяние козла Паниска не могло вывести его из задумчивости. Он старался представить себе, как это будет, когда он сам себя убьет. В школе их заставляли писать сочинения об Аррии, которая, предшествуя своему супругу в смерти, протянула ему кинжал со словами: «Мой Пет, это не больно». Он представлял себе, как в будущем ученики будут писать сочинения: «Павел, принужденный сделать выбор и либо стать варваром, либо умереть, предпочитает смерть. Каковы его мысли перед кончиной?» Прежде, он знал это, достать яд было нетрудно. Теперь не так-то легко. Но он мог, например, вскрыть себе вены во время купанья. Или,— и это казалось ему особенно привлекательным,— он мог купить золотой пыли и вдыхать ее. Если он продаст своих коз, то может купить много золотой пыли. А когда он будет лежать мертвым, его отец увидит, чего он добился. Каждый поймет величие подобной смерти, и, как ни тяжело будет матери и Финею, они будут с гордостью приносить жертвы его просветленному гению.

Ни Иосиф, ни мальчик не говорили о том, что угнетало их. Иосиф за столом цитировал Гомера, говорил о путешествиях, о книгах, о городских новостях, о школе Павла и его товарищах. Он видел, что бледное, смуглое лицо сына становится все бледнее и худее. Он видел, что ему не удастся подойти к Павлу. Его победа была бесцельна. Дорион оказалась права: сопротивление шло из внутреннего мира Павла, мальчик был греком и не хотел становиться иудеем. Все, что Иосиф мог ему дать, было тому не нужно. Иосиф добился лишь того, что Павел начал хиреть. Есть животные и растения, питающиеся веществами, которые убили бы человека, но они не могут жить без этих ядовитых веществ. Так же не может жить его мальчик без Дорион и Финея.

Подолгу в бессонные ночи размышлял Иосиф о смысле, скрывавшемся за всем этим. Если он не мог добиться того, чтобы его сын, его плоть и кровь, воспринял в себе хотя бы искру его духа, что это означало? Неужели он переоценил свои силы? Неужели он, стремившийся распространить дух иудаизма во всем мире и не сумевший передать его даже собственному сыну, отвергнут богом за бессилие? Или

смысл этого знамения иной? От римлян и греков он требовал смело и решительно, чтобы они отказались от того, что считали лучшей частью своих национальных особенностей, но не держался ли он сам, быть может, слишком крепко за свое иудейство? Может быть, в этом смысл знамения? Может быть, неудача, постигшая его с собственным сыном, — указание, чтобы он больше поступался своим иудаизмом?

Нет, такого смысла не могло быть. Иного пути к мировому гражданству, как через еврейское учение, не существовало. Боги Рима и Греции имеют разнообразные лица, но у всех — лица национальные, и лишь невидимый бог Ягве — бог, стоящий над отдельными народностями, он всех призывает к себе. «Мало того, что ты просветишь сынов Иакова; я поставил тебя светочем и для язычников». Ягве никого не отвергал — ни греков, ни римлян, ни презренных египтян, ни арабов. Устами своих пророков он возвещал — единственный из всех богов — вечный мир между всеми народами, возвещал такую вселенную, где волки будут лежать рядом с агнцами и земля будет полна мирной мудростью, как море — водою. Не было иной лестницы на вершину этой мысли, кроме иудаизма. Пока второй, более счастливый Дедал не изобрел машины, заменяющей крылья, нужно, чтобы достичь вершины горы, подняться на нее и нельзя избежать этого подъема. Но в данный момент и в этом мире гора и подъем на нее называются иудаизм.

И все же это только софистика, которой он хочет прикрыть собственный национализм. Преисполненный духом, написал он некогда свой «Псалом гражданина вселенной», но ведь нетрудно быть смелым и быть космополитом, сидя за письменным столом. Нетрудно быть космополитом, пока требуешь жертв только от других, не от самого себя.

Авраам должен был принести в жертву своего сына. Было ли то, что Иосиф переживал теперь, испытанием?

Славьте бога и расточайте себя над землями,
Славьте бога и не щадите себя над морями,
Раб тот, кто к одной стране привязал себя.
Не Сионом зовется царство, которое я вам обещал:
Имя его — вселенная.

Смелые стихи. Но стихи. А его мальчик существо из плоти и крови. В первый раз еврею Иосифу надо было доказать, что он нечто большее, чем еврей. Нетрудно воз-

выситься в духе над остальными и затем, когда нужно, пойти на отречение, послушно и лениво отдаться унаследованному чувству, вместо того чтобы идти за своими лучшими, мучительными, новыми убеждениями. Нет, он не будет уклоняться.

Но если он теперь уступит мальчика, то никто, даже Алексей и Лициний, не поймет его. Все следили с таким вниманием, как он борется за Павла,— это была борьба ради высоких принципов, и он победил. Если же он теперь добровольно откажется от плодов своей победы, если уступит и не сделает своего сына евреем, то в глазах всех окажется не героем, но комической фигурой или явится не примером, а только посмешищем. Евреи подумают, что он захотел своим отказом подольститься к грекам и римлянам. Греки просто сочтут его сумасшедшим. Коллеги заявят, что он хочет этим снобизмом создать рекламу для своих книг.

Он должен иметь силу следовать своему внутреннему голосу, не голосу других.

Он пересилил себя. Он сказал Павлу, что тот может возвратиться к матери и продолжать жить в Альбане. В первый раз с тех пор, как мальчик находился в его доме,— Иосиф увидел это с мучительной болью в сердце,— его лицо просияло. Он взял руку отца и горячо пожал ее.

Отказ Иосифа от сына, завоеванного столь ожесточенной борьбой, вызвал ту бурю, которую он и ожидал. Его называли то дураком, то негодяем, то тем и другим. Все это он предвидел; и все же его охватил гнев и отчаяние. Он твердил себе, что безнадежно работать над тем, чтобы иудеи и греки поняли друг друга,— такого понимания быть не может. Затем с той же пылкостью останавливал себя,— это говорит в нем мелочная обидчивость. Его собственная судьба, этот ничтожный отрезок быстротечного времени, еще ничего не доказывает. Слияние, о котором он грезит, не дело десяти — двадцати лет, оно может быть только результатом столетий.

Однако эти мысли не могли ему помочь преодолеть свою злобу. Он был почти всегда один в эти дни, не выходил из дому, никто его не навещал.

Через неделю он пошел к Клавдию Регину. Ему хотелось на ком-нибудь сорвать свою злобу на людей и на самого себя. Стоял мягкий, весенний день, но обычно столь

расчетливый Регин, чувствительный к холоду, велел протопить весь свой снабженный центральным отоплением дом. Иосиф был рад. Это противоречие между проповедями Регина о бережливости и его очевидным мотовством дает ему возможность опять разжечь свой гнев. Прежде всего он вызывающим, дерзким тоном потребовал денег — крупную сумму. Деньги нужны ему, заявил он, на постройку синагоги Иосифа. Он сказал неправду. В связи с последними событиями было вообще сомнительно, примут ли от него эту синагогу. Поэтому Иосиф ожидал насмешливого возмущения издателя, что при теперешнем положении дел Иосифу пристойнее было бы жертвовать на храм Юпитеру или Минерве, чем Ягве. Но Регин воздержался от всяких колкостей. Он удовольствовался коротким «ладно», сел и выписал деньги.

Потом он сказал:

— Бранитесь, Иосиф, проклиняйте, облегчите себе душу. Вы поистине побитый человек.

Он сказал это без насмешки, полный искреннего сочувствия. Иосиф удивленно взглянул на него. Что разумел под этим Клавдий Регин? Финансисту было не свойственно пускаться в сентиментальные излияния по поводу такого факта, как отказ от Павла. Что он имел в виду?

— Я не понимаю вас, — сказал Иосиф зло, недоверчиво.

— Я горько упрекал себя, — сказал Регин, — что не отговорил вас от аудиенции. Я должен был предвидеть, что подобное предприятие не может не обернуться бедой. Вы действительно облегчили этому человеку решение, казавшееся ему до сих пор таким трудным. Можно было ожидать, что сын Веспасиана за одолжение, оказанное вам лично, заставит жестоко поплатиться все еврейство.

Иосиф тотчас же понял. Но он стоял растерянный и беспомощный; удар был слишком неожиданный. То, что сказал Регин, совершенно верно, и бессмысленно не признавать этого. После того как Тит даровал ему Павла, он почувствовал себя вправе даровать своим римлянам закон против обрезания.

— И он поспешил, — продолжал Регин, словно желая подчеркнуть свои слова. — Еще в тот день, когда Тит поручил Цецилию дать заключение, он уведомил консула о том, что не наложит на законопроект Антистия «вето».

Да, это было так ясно, что просто глаза резало. Все произошло в точности, как некогда в деле трех старцев.

Иосиф со своей злосчастной пылкостью облегчил Риму возможность сохранить маску благородного беспристрастия. Ему оказали маленькую услугу, которой он добивался, и за это получили от всего еврейства то, чего хотели. Тогда Иосиф заставил целый народ поплатиться за свое честолюбие, теперь народ платил за его любовь к сыну.

Почему только посылались ему такие испытания? Почему все, что бы он ни предпринимал, обращалось во зло? Бесполезно об этом размышлять. Даже этот сидящий против него дьявольски умный человек ничего не может на все это сказать ему. «Ибо мои мысли не ваши мысли и ваши пути не мои пути».

— Объясните мне одно, Клавдий Регин,— попросил он как будто без всякой связи, и его голос звучал хрипло.— Вы же знаете, что Ягве для меня действительно не национальный бог, но бог всей земли. Объясните же, почему меня так терзает то, что я должен отказаться от еврейства моего сына Павла.

— Вы хотите, чтобы вам все давалось даром,— просипел Регин своим обычным брюзжащим голосом.— Вы не хотите ничем платить за свои знания. Разве вы до сих пор не заметили, что голова умнеет быстрее, чем сердце? Вы думаете, что лучшие, новые убеждения так легко способны стереть старые чувства, рожденные прежним познанием? И это хорошо,— продолжал он сердито,— что за познание надо платить. Мы чтим только то, за что дорого заплатили. Теперь не много людей, стремящихся к новым познаниям, но кто раз заплатил за них, в том они сидят крепко.

— Что же мне делать? — спросил Иосиф покорно, почти беспомощно.

Регин долго молчал, затем, как всегда, лениво выговаривая слова, но с непривычной бережностью, ответил:

— Лучше всего, может быть, если бы вы, больше не думая ни о евреях, ни о греках, приступили к своей «Истории иудеев». В еврейской истории вы найдете достаточно аналогий с событиями и ситуациями вашей личной жизни. Приступите ли вы к изображению Авраама или Иосифа, Иуды Маккавея или Иова, во внутреннем понимании у вас недостатка не будет.

Иосиф почти испугался чуткости Регина. Было что-то жуткое в том, что этот полуеврей высказывал и уточнял то, о чем Иосиф едва решался подумать. Авраам, изгоняющий Агарь, Иосиф, становящийся любимцем фараона, Иуда

Маккавей, ведущий свой народ на войну, Иов, все потерявший, и опять Авраам, приносящий в жертву сына. Поистине, ему предназначено пережить всю горечь событий и ситуаций Библии в новом, странно искаженном виде.

Но Регин не хотел дать ему тщеславно додумать до конца эту мысль.

— Всегда все будут вас понимать превратно, — продолжал он. — Пишите так же без компромиссов, как вы впервые в жизни поступили сейчас. Впрочем, я допускаю, что писать без компромиссов труднее, чем поступать. Но попытаться вам следовало бы. Я всади́л в вас так много денег, что вправе требовать от вас подобного эксперимента.

Иосиф хорошо знал, что этот человек, несмотря на свою грубую шутливость, относится к нему благожелательнее и лучше понимает его, чем кто-либо другой. Все же он колебался.

— Я не в силах сейчас работать, — защищался он. — Мои мысли спорят друг с другом. Вы, может быть, и поймете меня, Клавдий Регин, но боюсь, что никому другому я их объяснить не смогу.

Регин сказал:

— Вы так далеко зашли, что возврата нет. Вам остается два пути: либо окончательно отбросить все, что в вас осталось еврейского, — это не так уж много, — и окончательно стать греческим писателем. Хотите жениться на девице из хорошей римской семьи? Такой брак можно бы устроить. Отнюдь не оригинальное решение, но оно бы имело свои преимущества, а я вернул бы свои деньги.

Иосиф ждал, что Регин заговорит о втором пути. Но тот ограничился одним «либо» и, кряхтя, нагнулся, чтобы завязать ремень сандалия. Поэтому после паузы Иосиф заговорил сам:

— Я не могу работать здесь, в Риме. Я ничего не вижу. Я ничего не чувствую. Мне не удалось объяснить моему сыну еврейскую историю — как же я объясню ее другим? Было время, когда я *видел* историю: Моисея, Давида, Исайю. Теперь что-то мне застилает глаза, я уже ничего не вижу.

Регин внимательно слушал его, но молчал. Спустя минуту Иосиф продолжал:

— Может быть, лучше поехать в Иудею?

Только теперь Регин наконец заговорил. Все еще продолжая возиться со своим ремешком, он процитировал

Горация, и странно зазвучали благородные слова на его толстых губах:

Злая сдается зима, сменяясь вешней ласкою ветра.
Влекут на блоках высохшие днища.

— Я хочу снова увидеть Галилею,— сказал с возрастающей решительностью Иосиф,— новые греческие города и старые еврейские. Я хочу увидеть опустошенный Иерусалим. Я хочу видеть Флавия Сильву и ямнийских богословов.

— Правильно,— сказал с удовлетворением Регин.— Это и есть второй путь, который я имел в виду.

Книга четвертая

НАЦИОНАЛИСТ

Робко жались побежденные иудеи в стране, дарованной им богом Ягве, где их теперь едва терпели и где всего полпоколения назад они были хозяевами. Большую часть из них убили или обратили в рабство, а имущество объявили собственностью императора. То одного, то другого все еще подозревали в причастности к восстанию, и каждого угнетала забота, как бы злонамеренный конкурент или сосед не возвели на него подобного обвинения. Многие эмигрировали. Поселки иудеев нищали, их становилось все меньше, страну все гуще населяли сирийцы, греки, римляне. Языческие города Неаполь Флавийский и Эммаус стали первыми городами страны, и в то время, как в Иерусалиме царило запустение, в новой столице, Кесарии Приморской, было множество роскошных зданий, святилищ чужеземных богов, правительственных дворцов, бань, стадионов, театров; иудеи же без особого разрешения не имели доступа ни в Иерусалим, ни в новую столицу.

Вместо священников Иерусалимского храма и аристократов, большинство которых погибло в этой войне, руководство взяли в свои руки ученые-богословы и юристы. Верховный богослов, Иоханан бен Заккай, для того чтобы сохранить единство нации, изобрел хитроумный и смелый план: он решил заменить государство вероучением; его преемник, Гамалиил, трудился энергично и осторожно над осуществлением этого плана. Свод ритуалов, до мельчайших деталей разработанный им и его коллегией в Ямнии, связывал иудеев друг с другом крепче, чем прежнее государство.

Однако эта система вынуждала ученых все более суживать учение и пожертвовать лучшей его частью — универсализмом. «Как единоплеменник ваш пусть будет среди вас пришлец, и люби его, как самого себя», — повелел Ягве

устаи Моисея, и устаи Исая: «Мало того, что ты просветишь сынов Иакова, я поставил тебя светочем для язычников». От этой космополитической миссии, которой они были верны ряд столетий, иудеи начали отречься. Уже не всей земле несли они теперь свое благовестие, но многие утверждали, что после разрушения храма обитель божия — это народ Израиля и что бог принадлежит только этому народу. Гнет римлян, и прежде всего закон об обрезании, побуждали все большее число членов ученой коллегии примыкать к этой националистической концепции. Они пропускали те места, где Писание напоминало иудеям о их всемирной миссии, и неустанно повторяли те, где возвещалось о союзе Ягве с Израилем, как со своим любимым народом. Пользуясь сводом ритуалов, они придали жизни иудеев национальную замкнутость. Они запретили им изучать наречия язычников, читать их книги, признавать их свидетельство на суде, принимать от них подарки, смешиваться с ними через половые связи. Нечистым считалось вино, которого коснулась рука неиудея, молоко, которое надоила рука иноверца. В суровом, слепом высокомерии отделяли они все более высокими стенами народ Ягве от других народов земли. Этого придерживались почти все иудейские вожди, а также сектанты — ессеи, эбиониты, минеи, или христиане. Например, человеку, которого минеи считали мессией, Иисусу из Назарета, некоторые из его учеников, в частности — известный Матфей, приписывали слова: «На путь к язычникам не ходите и в город самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева».

И за короткое время иудеи, которые были первыми, возвестившими населенному миру, что их бог принадлежит не им одним, а всей земле, стали самыми фанатичными партикуляристами. Богословы все непреклоннее монополизировали учение, все нетерпимее запрещали всякие возражения. Правда, многие противились этому. Иудеи были искони своевольны — не единообразная масса, а народ, состоящий из множества отдельных индивидуумов и множества точек зрения. Среди них имелись традиционалисты и новаторы, фарисеи, саддукеи, ессеи, люди терпимые и нетерпимые, последователи Гиллеля, Шаммая, люди, признававшие только священников, и люди, признававшие только пророков. С исчезновением государства и храма исчезло немало сект, но расщепление внутри иудейского народа продолжалось.

Всегда существовали иудеи, жадно интересовавшиеся познаниями других людей и исследовавшие науку других народов. И теперь они не желали лишаться этого права. Некоторые вожди иудеев, во главе с великим мыслителем Филоном, в течение столетий трудились над тем, чтобы органически сочетать греческую образованность с их собственным учением: «Поселить красоту Иафета в шатрах Иакова». Как, и это стало вдруг преступлением? И многие отказывались подчиниться, не хотели признавать авторитета богословов, предпочитали подвергнуться изгнанию, покинуть страну, чем отречься от греческих примесей в своих познаниях.

Но богословы не отступали от своего плана. Чтобы евреи не растворились среди других народов, учение должно было оставаться ясным, единым до последних деталей. Должен был существовать *единый* обряд и *единый* обычай, по которым можно было бы отличить иудеев от остальных. Следовало всю жизнь подчинить закону, не допускать никаких отклонений.

В вопросе о мессии существовало до сих пор множество точек зрения. Одни верили в то, что он принесет меч, другие — пальму мира. Разные люди видели мессию в разных лицах, и им не препятствовали в этом. Теперь богословы предписывали верить в одного-единственного мессию, который должен скоро прийти, вышвырнуть римлян из страны, восстановить Иерусалим и заставить все народы признать бога Израиля.

Но существовали люди, минеи, или «верующие», называвшиеся также христианами, которые утверждали, что мессия уже пришел; правда, его царство — не от мира сего, он, наоборот, пришел показать всему народу путь благодати, так чтобы не только ученые, но всякий, даже нищий духом, мог познать Ягве. Но мессии не поверили, его отвергли и в конце концов убили.

Некоторые пророчествовали об этом еще до разрушения храма, но привлекли мало последователей. Теперь они говорили: «Вот видите, священники и богословы убили мессию, поэтому Иерусалим и разрушен». И многие задумывались: «Разве они не правы? Разве действительно священники и богословы не преисполнены всезнайства и высокомерия? Иначе трудно понять, почему Ягве разрушил свой храм и отдал свой народ во власть язычников».

Дальнейшее учение минеев тоже легко находило доступ к мыслям и чувствам людей. Богословы подчиняли жизнь закону, шестистам тринадцати основным повелениям и за-

претам, каждое из которых распадалось на множество более мелких предписаний; согласно этим сотням маленьких, но обязательных обрядов и молитв, был распределен весь день, с утра до поздней ночи, и за каждое нарушение грозила кара на том и на этом свете. Минеи, наоборот, учили, что, конечно, хорошо жить по закону, но достаточно верить в мессию, давшего людям искупление, чтобы за лишения в этой жизни получить награду в сладостной жизни за гробом, и очень многие следовали новому, более мягкому учению.

Богословам приходилось со всем этим бороться, бороться против греческих, космополитических тенденций людей образованных, против кроткой веры нищих духом в уготованное им спасение. Они боролись с упорством и гибкостью, то мягко, то сурово, не упуская из виду своей цели — единства закона.

Они боролись успешно. Огромное большинство иудеев доверяло им, признавало их руководство, подчиняло всю свою жизнь их ритуалам и предписаниям — от первой минуты утреннего пробуждения до вечернего сна. Ели и постились, молились и проклинали, работали и отдыхали, когда им было приказано. Отрекались от любимых грез и убеждений, замыкались от неиудеев, с которыми до сих пор дружили. Друг сторонился друга, если он был неиудей, сосед — соседа, возлюбленный — возлюбленной. Они взяли на себя ярмо этих шестисот тринадцати повелений и запретов, сделали свою жизнь убогой и унылой, поддерживали себя мыслью, что они — единственный, избранный народ Ягве, и горячей надеждой на то, что скоро придет мессия во всей своей славе и подчинит слепые народы народу-боговидцу — Израилю. Они обращали свои взоры к разрушенному Иерусалиму, и этот Иерусалим, которого уже не существовало, связывал иудеев страны Израиля с иудеями, рассеянными по всей земле, теснее, чем тот же Иерусалим, в котором, белый и золотой, зримый для всех, стоял некогда храм Ягве.

Еще задолго до рассвета толпились евреи на передней палубе «Глории»; им сказали, что в это утро они увидят берега Иудеи, и они напряженно вглядывались в светлеющий Восток. Большинство набросило четырехугольные с черными полосами молитвенные плащи, затканые драгоценными пурпурными и голубыми нитями, и надело на руку и на голову молитвенные ремешки. Долго не видели они ничего,

кроме клубящегося тумана. Затем мягко проступили высокие фиолетовые контуры: да, это была фиолетовая горная цепь Иудеи. И теперь можно уже было различить и зеленую вершину горы Кармил. Они заволновались, их сердца застучали громче. Воздух, всявший с берегов их страны, был иным, чем где бы то ни было, — мягче, глубже, чище, он придавал мыслям быстроту, глазам — блеск. С трепетом произнесли они благословение: «Благословен ты, Ягве, боже наш, давший нам вкусить, изведать, пережить этот день».

Тяжело далось актеру Деметрию Либанию путешествие. Он почти все время пролежал в своей каюте, позеленевший, страдая от приступов морской болезни, призывая смерть. Но теперь, когда цель была перед ним, он чувствовал, что заплатил за свое паломничество в страну Ягве не слишком дорогой ценой.

Иосиф держался в стороне от прочих, но не подчеркивал этого. Однако и он смотрел не менее пламенным взглядом вдаль, на бледное фиолетовое сияние, впивал не менее жадно легкий, волнующий воздух. О вы, ломкие очертания гор, о ты, яснейший свет, прекрасное побережье, зеленая гора Кармил, о ты, страна моя, обольстительная, волшебная страна Израиля, божья страна!

Находившиеся на корабле римляне и греки, высшие чиновники, офицеры, богатые купцы тоже постепенно собрались на палубу, чтобы смотреть на приближающийся берег. Надменно улыбаясь, поглядывали они на группу оживленно жестикулировавших иудеев, на «аборигенов».

Когда «Глория» наконец вошла в Кесарийскую гавань, на борт поднялась портовая полиция и отделила греков и римлян от иудеев. Первые могли беспрепятственно высаживаться на берег, иудеи же должны были ждать и сначала пройти через множество надоедливых формальностей. Лишь под строжайшим контролем имели они право сойти на берег — их имена записали, большинству разрешили провести в Кесарии не больше одной ночи.

Иосиф и Деметрий Либаний предъявили такие паспорта, которые должны были побудить чиновников к особой снисходительности. Однако их также не сразу выпустили из здания портовой полиции и на их жалобы отвечали только грубостями. Иосиф был во время этого путешествия одет очень просто; бороду он снова отпустил, она не была, как раньше, завита и заплетена, и он выглядел вполне евреем.

Наконец появился адъютант губернатора и принял в них участие. Он был чрезвычайно вежлив и сделал портовым чиновникам выговор за их грубость. Когда он удалился, они принялись ворчать и тем грубее третировали оставшихся иудеев.

Вечером, за столом, за которым присутствовал еще ряд высших чиновников и офицеров, губернатор держался шумно и игриво, как всегда. Для своей книги о евреях он за последние месяцы внимательно изучал сочинения Филона Александрийского, великого еврейского философа.

— Он весьма гуманен, ваш Филон, этого нельзя отрицать, — сказал губернатор, — еще гуманнее, чем наши стоики. А вы заметили, что обычно громче всего кричат о гуманности те, кто проигрывает? — Он засмеялся с присутствующим ему чистосердечием и похлопал Иосифа по плечу. — Он сводит, этот Филон, все ваше учение к одному золотому правилу: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». Звучит неплохо. Но как вы думаете, куда привели бы *меня* такие правила? Если бы я не делал по отношению к вам того, что строжайше должен запретить вам делать в отношении меня, то не думаете ли вы, что завтра уже у нас вспыхнуло бы второе восстание, и на этот раз — победоносное? Быть может, лет через сто тот, кто будет сидеть здесь в качестве моего преемника, и разрешит себе быть гуманным. Но если я буду гуманным, то через сто лет никакого преемника у меня вообще не будет. Впрочем, в одном пункте я проявил по отношению к вам столько гуманности, что могу серьезно поплатиться за нее перед Палатином. До сих пор еще в этой стране есть люди, участие которых в восстании выясняется только теперь. Их мы, конечно, арестовываем и конфискуем их имущество. И знаете ли вы, что богословы в Ямнии отдали приказ бойкотировать аукционы, на которых мы продаем с молотка эти конфискованные земли? Они не хотят признавать нашего права на конфискацию. Не находите ли вы, что это подрывает авторитет власти? Но я молча терплю. — Он улыбнулся хитро, многозначительно. — Благодаря бойкоту евреев мои римляне и греки могут здесь купить землю по дешевке. На месте ваших ученых я бы этого бойкота не объявлял. В данном случае они не могут пожаловаться на недостаток гуманности.

Спустя некоторое время он продолжал:

— Может быть, мы иногда действовали слишком круто, но это дало результаты. Чего мы только не сделали из вашей Иудеи, Иосиф Флавий! Мне интересно, что вы скажете как специалист. Вы, Деметрий,— обратился он к актеру,— должны прежде всего посмотреть старый Сихем. Он называется теперь Неаполь Флавийский, и через два месяца там будет закончен театр; в сентябре состоится освящение. Празднества, которые я хочу устроить по этому поводу, должны перевернуть вверх дном весь Восток, мы должны превзойти Антиохию. Было бы замечательно, Деметрий, если бы вы решились выступить на них. Конечно, мы не Палатин, но что касается гонорара,— соблазнял он актера грубо и беззастенчиво,— вы уж остались бы довольны. А публика у нас не менее отзывчива, чем римская. Мы умеем быть благодарными. Мы страшно изголодались. Не правда ли, господа? — обратился он за поддержкой к своим чиновникам.

Деметрий дал уклончивый ответ, но губернатор не отставал от него:

— Вы оба должны поехать со мной как-нибудь в Неаполь Флавийский,— настаивал он,— и позволить мне самому показать вам мой город. Неаполь Флавийский, это я могу сказать уже сейчас, станет культурным центром не одной только Иудеи, но всей Сирии.

С бурной любовью добивался он расположения этих двух людей.

Иосиф давно уже против воли восхищался той уверенностью, с какой римляне умели подчинять себе завоеванные страны, и первый день в Кесарии дал этому новое доказательство. Скрепя сердце ему пришлось признать и то, что Флавий Сильва как раз подходящий человек для латинизации провинции. За полтора тысячелетия их владычества иудеи сделали меньше для освоения страны, чем Сильва за восемь лет своего правления.

Иосиф начал странствовать и наблюдать. Сначала, избегая местностей, населенных преимущественно евреями, он проехал через населенную сирийцами Самарию на северо-восток, через Десятиградие — до границ Авранитиды. Здесь жил Иов. Задумавшись, Иосиф машинально подбирал те круглые фиолетовые камешки, которые местное благочестивое население считало окаменевшими червями, выпавшими из язв Иова.

— Да, человеце, — сказал погонщик его осла, — собирай их. Возьми с собой на память. И пусть помогут они тебе не забывать Ягве в счастье, а в несчастье — на него не роптать.

А когда Иосиф ранним утром ехал через гористую пустыню, то увидел, что местами почва покрыта теми сладкими зернистыми лишайниками, которые на далеком юге многие почитали за манну.

Он снова повернул на запад, поехал через область вассального царя Агриппы, вступил наконец на Иудейскую землю — Галилею. Здесь он достиг высочайшего взлета, здесь испытал глубочайшее унижение. Как и тогда, когда он впервые прибыл сюда в роли комиссара иерусалимского правительства, его до глубины души потрясла красота Галилеи. Богатая и плодородная, лежала она перед ним во всем разнообразии ее долин, гор, холмов, с Геннисаретским озером, двумястами городов, овеванная волшебным светлым воздухом, поистине — сад божий.

Правда, иудеев здесь стало гораздо меньше. Название этой страны означало: «край язычников»; она долго противилась господству иудеев, и теперь Флавий Сильва сделал все возможное, чтобы вернуть этому имени его прежнее содержание. Страна была латинизирована. Густая сеть превосходных дорог соединяла между собой ее многочисленные поселки, это были римские дороги, окаймленные статуями, посвященными Меркурию, богу торговли. Прокладка дорог все еще не была закончена, и этот тяжелый труд выполняли главным образом евреи, приговоренные к принудительным работам и оставшиеся от военной добычи. Губернатор, как объяснил Иосифу главный инженер, рассчитывал на следующее: иудейские общины, увидев, что пленных не очень-то балуют, тем усерднее будут собирать деньги для выкупа. Выкупные же деньги с избытком покроют расходы на строительство и содержание дорог.

Итак, пользуясь этими прекрасными дорогами, Иосиф разъезжал по стране на ослах и наемных лошадях. Он скрывал свое имя, — оно пользовалось здесь дурной славой. По этой местности проезжал он тринадцать лет назад на своем коне Стрела, впереди — знамя повстанцев с девизом Маккавеев. Здесь он вел великолепную и бессмысленную войну. Теперь все миновало — и его слава, и его унижение, от войны не осталось и следа. Разрушенные города и крепости были отстроены заново и казались еще лучше; хитроумная система орошения сделала страну еще более плодородной, чем до войны. Иосиф не отличался особой восприимчивостью к красотам ландшафта, но этот все снова

очаровывал его. Это был «край язычников», Галилея, и все же еврейская страна, его страна, родина,— лучезарная, сладостная, благоуханная. Жадно вдыхал он чистый воздух, кроткий, ясный свет.

С двойственным чувством удовольствия и злобы отмечал он, как хорошо налажено управление страной. Методы латинизации были хитры и просты, и римские чиновники, с которыми он говорил, не делали из этого тайны,— правительство даровало городам с греко-римским большинством населения права колоний. Благодаря связанному с этим уменьшению налогов и другим привилегиям эти общины скоро достигали большего благосостояния, чем еврейские поселки, и иудеи стали, таким образом, второстепенными гражданами в собственной стране.

И все-таки экономическое положение галилейских иудеев после поражения улучшилось. Римляне были хорошими организаторами. Но можно ли сказать, что евреи теперь более довольны? Когда Иосиф обращался к богословам и старейшинам общин, ему редко удавалось что-нибудь узнать,— большинство соблюдало семь шагов расстояния и не хотело с ним разговаривать. Однако мелкий люд, с которым он вступал в беседу, случайные знакомые, трактирщики охотно и откровенно высказывали свое мнение. Они не отрицали, что римляне управляют страной неплохо, но все же ненавидели их. Чужестранцы оставались для них непонятными. Люди, поселившиеся здесь теперь,— по большей части ветераны, которым земля предоставлялась даром, или сирийские капиталисты, покупавшие участки по дешевке,— не признавали бога и не любили говорить о религиозных вопросах. У них была техника, но не было души. Иосиф с насмешкой и торжеством вспомнил о статистических данных Иоанна Гисхальского. Новые хозяева способствовали повышению цен, более удовлетворявшему иудеев; и все-таки те предпочитали теперешним — прежних, собственных, корыстолюбивых господ.

Правда, когда они доверяли кому-нибудь и переставали сдерживаться, то начинали жаловаться на строгость духовных наставников — богословов Ямнийского университета. Их закон был суров, их суд жестоко карал за малейший промах. Людям хочется придерживаться веры отцов, но господ в Ямнии это делают дьявольски трудным. Они осложняют и жизнь и хозяйство. При этом они высокомерны, смотрят на обыкновенных людей свысока, не подпускают их к вероучению.

Иосиф убеждался, что патриотическая суровость и ученое высокомерие богословов побудило довольно многих галилеян перейти к минеям, иначе — христианам.

Он ездил по стране, и так как был историком, то собирал сведения о человеке, почитаемом минеями за мессию. Он полагал, что осведомлен обо всех, кто за последние десятилетия был привлечен к суду как лжепророк; но об Иисусе минеев он ничего не знал. По слухам, этот Иисус был распят при губернаторе Понтии Пилате. Но если он был распят, то никакой еврейский суд не мог его приговорить к этому; распятие являлось наказанием, к которому могли присуждать только римляне. Будь он осужден как лжемессия самими евреями, они же привели бы и приговор в исполнение, а именно — побили бы его камнями, как того требовал закон. Понтий Пилат действительно распял одного самаритянина, выдававшего себя за потомка Моисея, законодателя, и за мессию и заявившего, что ему принадлежат древние священные сосуды, которые его пращур зарыл на священной горе Гаризим. Может быть, минеи и перенесли черты других мессий на этого человека.

На всякий случай Иосиф, историк, использовал свое пребывание в Галилее, чтобы отыскать следы этого Иисуса минеев. Он расспрашивал то тут, то там. Он расспрашивал в Назарете, где, по слухам, этот человек родился, расспрашивал на берегах Геннисаретского озера. Но и в Назарете, и на берегах Геннисаретского озера люди говорили: «Здесь ничего не известно», и в Магдале они говорили: «Здесь ничего не известно», «Здесь ничего не известно», — говорили они и в Тивериаде и в Капернауме.

В Капернауме Иосиф однажды проходил мимо харчевни, помещавшейся в полуразрушенном доме, на котором был вывешен флаг в знак того, что получено вино нового урожая. Иосиф вспомнил, как он много лет назад был в этой харчевне и говорил с галилеянами о мессии. Он вошел.

Та же низкая, закопченная, душная комната, и, как тогда, люди сидели за большим столом. Хозяин был другой, и люди были другие, но спорили они все о том же.

Они говорили тяжеломерно и неуклюже по-арамейски, слова медленно выходили из их уст, но они все же казались взволнованными. Один — остальные звали его «Сыр», — прозвище, очевидно, данное ему в насмешку, — рассказывал, что старостой общины получено новое строгое предписание

от богословов из Ямнии, в субботу оно будет оглашено. В Ямнии хотят теперь вполне официально запретить варить птицу в молоке, — а это праздничное и любимое кушанье галилеян.

Люди, сидевшие в харчевне, бранились. Уже в течение ряда столетий тянется спор о том, распространяется ли запрет варить мясо в молоке и на птицу или птица, подобно рыбе, совсем другой продукт питания. Иерусалим много раз хотел запретить галилеянам есть курицу с подливкой из сливок; но как ни строго соблюдали галилейские крестьяне все другие обычаи, в этом пункте они продолжали упорствовать. Это была старая привилегия, они не хотели от нее отказываться, сколько бы их за это ни обзывали глупыми деревенскими пентюхами. И неужели то, что они упрямо отстояли от посягательств Иерусалима, они теперь дадут отнять у них Ямнии? Законники ничего не хотят слышать. С тех пор как за ними не стоит ни храм, ни государственная власть, их требовательность все растет. Сыр велел хозяину сейчас же приготовить курицу в сливках.

— Две курицы, — поправился он. — Я вас тоже приглашаю, господин, — обратился он с настойчивым гостеприимством к Иосифу. — Или господин, может быть, из Ямнии? — спросил он угрожающе. — Или он заодно с законниками? И презирает нас, галилейских тупоголовых мужичков?

Иосиф поспешил возразить, что чувствует себя польщенным его приглашением, и подсел к остальным.

Те продолжали возмущаться богословами.

— История с запрещением есть курицу в молоке, — говорили они, — это только начало. Они будут запрещать все больше. Дойдет еще до того, что они запретят нам разговаривать о религии. Возлагать на человека все больше обрядов, и все более строгих, они могут, но они не хотят, чтобы народ рассуждал о Ягве. Они ревнуют своего Ягве, эти господа из Ямнии, они хотят взять на него монополию, они окружают его сплошными тайнами и отлучают нас от лица его. Они выражаются так, что их нельзя понять. Кто может, например, понять, когда они объясняют человеку гибель Иерусалима? Есть другие люди, которые объясняют это гораздо понятнее. Не правда ли, Тахлифа? — обратился он к молчаливому молодому человеку с длинными прямыми волосами.

Иосиф, заинтересованный, взглянул на молодого человека. Это был, по-видимому, один из минеев, из христиан, —

сильный, жилистый, худой человек, у него было добродушное лицо, мощный кадык, мягко очерченный подбородок и большой полуоткрытый рот с испорченными зубами.

— Так скажите мне, пожалуйста, господин Тахлифа, — вежливо обратился к нему Иосиф, — почему же был разрушен Иерусалим?

Молодой человек приветливо обернулся к чужому господину и ответил:

— Он был разрушен потому, что убил пророка божия и не узнал помазанника.

Тахлифа хотел продолжать. Но тот, кого они называли Сыр, неуклюже хлопнул Иосифа по плечу и заявил:

— Да, чужой господин, если вы хотите что-нибудь знать, держитесь за нашего Тахлифу. Хорошо, когда бога и божественные вещи иной раз объясняет свой брат, а не только книжники. Ведь они так много воображают о себе, что каждый свой чих считают святым изречением мудрости. Разве не правда? — спросил он Иосифа и замахал огромными руками. — Можете вы поумнеть от того, что говорится в Ямнии?

И, дохнув на Иосифа винным перегаром, вплотную приблизил к нему лицо. Иосиф подавил желание отодвинуться и сдержанно ответил:

— Иногда мне кажется, я понимаю, иногда нет.

Пьяный успокоился. Иосиф попросил Тахлифу продолжать свое объяснение.

— Наши отцы, — деловито продолжал Тахлифа, — не узнали мессии. Он являл знамения и совершал чудеса. А богословы не хотели этого видеть, они жадничали и не хотели допустить, чтобы насчет их Ягве было возведено всему миру. Они хотели упрятать Ягве, как ростовщик прячет свои динарии да векселя. Чтили видимый дом Ягве больше, чем невидимого бога, которому этот дом принадлежит. Поэтому-то Ягве и дал изойти из себя мессии. Но книжники все еще не хотели видеть. Тогда Ягве, чтобы видели все, разрушил храм, который опустел и потерял смысл, точно кокон куколки, когда уже вылетела бабочка. И поэтому мы исповедуем: мессия пришел. Он дал умертвить себя, чтобы снять с нас грех, который тяготеет над нами со времен Адама, и он снова воскрес. Имя его — Иисус из Назарета.

Тут опять вмешался Сыр.

— Ясно или не ясно? — крикнул он вызывающе. — Ведь просто. Это может понять каждый и вы тоже, чужой господин. У книжников черви завелись в мозгах. Они гово-

рят, будто верят в воскресение. Почему же тогда не мог воскреснуть мессия? Скажите, пожалуйста? — задорно обратился он к Иосифу и снова придвинулся к нему вплотную.

— Оставь господина в покое, Сыр,— старались его удержать другие.— Он же не сказал ни слова против.

— А когда его умертвили? — спросил Иосиф минея.

— Они говорят, что семижды семь лет тому назад,— ответил Тахлифа.

— Я слышал,— продолжал Иосиф,— что он провел свою юность здесь, в Галилее. Еще должен быть жив кто-нибудь из знавших его. Но я никого не нашел.

— А когда признают пророка в его отечестве? — заметил миней.— Да тут еще была война, и многие из знавших его могли умереть или уехать.

— Он был галилеянин,— сказал один из присутствующих,— и мы можем этим гордиться. А ученые не признают его именно потому, что он был галилеянин. Они не признают ничего, что из Галилеи.

— Поэтому они запрещают нам есть и птицу под соусом из сливок,— гневно сказал другой.

А какой-то старик добавил:

— Ученые не хотят допустить, что один человек может снять грех с других. Они только стараются навязывать человеку все новые и новые тяготы и запреты.

Сыр, находившийся в это время как раз по другую сторону стола, перегнулся через него с мрачным видом и угрожающе, в упор процитировал Иосифу пословицу:

— «Если ноша чересчур тяжела, то верблюд больше не встанет».

— Увидишь, Тахлифа,— сказал кто-то минею,— скоро они запретят нам встречаться с тобой. Они и так все время уговаривают нас, чтобы мы больше не рассуждали с вами о вашем мессии и вашем учении.

Миней пожал плечами.

— Мне было бы очень жаль, братья мои и господа,— ответил он с присущей ему мягкостью,— если бы я не смог больше встречаться с вами.

— Что? — надвинулся на него Сыр.— Так ты не хочешь с нами водиться, жалкая тварь?

— Если бы пришлось выбирать между словом помазанника,— ответил скромно, но твердо миней,— и словами книжников, я последовал бы за словом помазанника.

— Я тебе покажу, кому следовать,— напустился было на него Сыр, но остальные удержали его.

— Пожалуйста, скажите мне, господин Тахлифа,— снова обратился к нему Иосиф,— чем отличается ваше учение от учения, которое исповедуют вот они?

— Я верю в то,— отвечал Тахлифа,— что мессия своей смертью снял грех со всех нас. Так он облегчил доступ в царство небесное и тем, кто не учен, как богословы, кто нищ духом и подробно не знает закона.

— Но вы продолжаете соблюдать закон? — осведомился Иосиф.

— Наш Иисус, помазанник,— ответил Тахлифа,— пришел не нарушить закон, но исполнить. Да, мы строго соблюдаем закон.

— Значит,— спросил Сыр, снова придвигаясь к нему,— ты не станешь есть курицы в молоке, пес ты этакий, если я угощу тебя?

— Я не хочу вводить тебя в соблазн раздражения,— сказал, помолчав, с добродушной шутливостью молодой человек, и все рассмеялись.

Они медленно пили черное, густое вино. От очага шел удушливый дым,— хозяин затопил, чтобы варить кур,— и наполнял тесную комнату.

— Мы все еще ищем единства вероучения,— сказал Иосифу пожилой человек.— Но если они там, в Ямнии, будут и дальше так затруднять нам жизнь, то и я, пожалуй, еще перейду к минеям. Закон хорош, но у человека есть только два плеча для ноши, а вера минеев легка. И дело не только в молочной подливке. Хуже то, что ученые не позволяют нам покупать участки на римских аукционах. Как же нам угнаться за сирийцами, раз земля все дешевеет, а мы не имеем права покупать ее?

Иосиф вспомнил с неприятным чувством о цифрах и статистических данных Иоанна Гисхальского. Но он не успел продолжить своих расспросов, так как хозяин поставил кур на огонь и мужчины, прекратив разговоры о богословах и мессии, подошли к очагу, стали нюхать воздух, причмокивать и давать хозяину советы.

Когда Иосиф приехал в Гисхалу, он услышал, что люди говорят об Иоанне с озлоблением. Вольноотпущенник Иоанн Юний не только наплевал на бойкот аукциона, предписанный богословами, он стал без зазрения совести скупать конфискованные римлянами земли. Галилеяне видели циничный вызов в том, что человек, когда-то вовлек-

ший в войну всю провинцию, теперь в качестве римского вольноотпущенника пользуется военной добычей римлян.

Иосиф знал, что его давний враг вернулся в Галилею. Его тянуло повидать Иоанна. Он колебался. В конце концов он решился.

Увидев его, Иоанн ухмыльнулся. Он повел его показывать свои владения. Конечно, было бы выгоднее купить земли на юге, в самой Иудее, где находились и имения Иосифа. Но Иоанн издавна привержен к Гисхале. И он приобрел обширные земли. Пока еще его владение не устроено, но почва здесь плодородная, дарит хлеб, масло, фрукты, вино. Он заранее радуется тому, каким оно станет через три года. И, кроме того, он купил его баснословно дешево. Люди здесь — дураки, им следовало уже давно перехватить у правительства лучшие участки. Бойкот земельных аукционов — идиотизм. В результате страна все больше заселяется чужестранцами. Если так будет продолжаться, то сирийцы и римляне скупят за сухой стручок всю Иудею. Нет, тут ему, Иоанну, с богословами не по пути; он свое сделал; позор, конечно, что другие не последовали его примеру. Он собирается в ближайшее время поехать в Ямнию и поговорить по душам с тамошними учеными. Эти господа — оторванные от жизни теоретики. В цифрах они ничего не смыслят. Он покосился на Иосифа и усмехнулся.

— Какой им толк, — заметил он через минуту, — на травливать и дальше массы на римлян? Их гнев останется чисто теоретическим гневом. Умнее было бы бороться с римлянами ловкой конкуренцией — экономически, а не политически. Если мы не можем с ними ужиться, ущерб от этого только нам. Ведь вся страна кишит чужеземцами, и каждый принужден считаться со своим римским, сирийским или греческим соседом.

Взять хотя бы эту историю с волами. Ученые запрещают холощение быков. Но если у тебя есть только коровы и больше никакого рабочего скота, как тут быть? До сих пор держались соседом — сирийцем или римлянином, его просили, чтобы он украл у тебя быка и вернул его волон. Сирийцы охотно оказывали это одолжение, и дело было сделано. А теперь? Меньше чем за сорок сестерциев никто у вас не украдет быка, да еще эта шваль пользуется случаем подшутить над вами и возвращает быка быком. Что тут делать? Даже жаловаться нельзя. Ведь холостить — противозаконно.

Иосиф слушал. Конечно, Иоанн прав. Но если бы он, никогда не побывав за границей, сидел вместе с богословами, в Ямнийской коллегии, он, вероятно, действовал бы так же, как и они. Вероучение необходимо оградить, вопрос в том — где ставить ограду? Вся страна уже была однажды эллинизирована, и иудаизму грозила серьезная опасность раствориться в эллинизме.

Иосиф двинулся на юг и наконец прибыл в Иудею. Теперь, вступив на землю, населенную по преимуществу иудеями, он стал еще сдержаннее. В прекрасном городе Тамне, например, в горах Ефремовых, он скромно поселился у торговца маслом, с которым управляющий его имениями имел деловые связи. Иосиф попросил своего хозяина не открывать его имени. Но скоро его стали узнавать то один, то другой, и на четвертый день к Иосифу явился глава еврейской общины с двумя помощниками, — у них было к нему дело.

Оно состояло в следующем: между греческим градоправителем Тамны и огромным иудейским большинством магистрата издавна существовала вражда. И вот когда грек-градоправитель, перед тем как прочесть документ, в котором сенат сообщал городу Тамне закон Антистия об обрезании, передал его отдельным членам магистрата для целования и оказания почестей, вспылчивому городскому советнику Акибе показалось, что грек насмешливо улыбается, он потерял самообладание и вместо того, чтобы поцеловать документ, плюнул на него и разорвал в клочья. За оскорбление величества городского советника Акибу отправили в Кесарию, и римские судьи под председательством губернатора приговорили его к казни через распятие. Однако Акиба использовал свое право римского гражданина и обжаловал решение перед государственными юристами Рима. Теперь он ждал, когда его отправят в Рим. Евреи же города Тамны послали тем временем депутацию к Флавию Сильве, заявили, что поступок Акибы был совершен в припадке внезапного помешательства, и пытались добиться от губернатора помилования.

И вот они пришли к Иосифу и просили его употребить свое влияние в Кесарии для защиты одного из своих сограждан. Эти господа держались одновременно смущенно и нагло. Они просили и требовали. Иосиф понял из их речей, что после того горя, которое он причинил своим

соплеменникам, они считают его обязанным помогать каждому иудею.

За время своего путешествия он стал смиреннее. То, что они обратились к нему, не щекотало его тщеславия, а их требовательный тон не задевал его. Он сказал только:

— Я попытаюсь что-нибудь сделать для вашего согражданина.

— Вы хотите от нас отделаться, доктор Иосиф,—сказал враждебно один из членов депутации.— Вы обращаетесь с нами, как с докучными просителями. Я вижу, вы ничего не забыли. Я боялся с самого начала, что мы покажемся вам навязчивыми, и советовал не идти к вам.

Еще год назад Иосиф надменно ответил бы ему. Теперь он промолчал. Он даже не улыбнулся наивному подозрению этого господина, считавшего, что такой человек, как Иосиф Флавий, может срывать свою злобу за враждебность всего еврейства на каком-то Акибе. Он сказал только:

— Я видел многих людей, умиравших на кресте. Мне хотелось бы облегчить участь вашего Акибы. Но мне хотелось бы облегчить участь и многих других,— а моя сила невелика.

Председатель сказал:

— Мы объяснили вам суть дела. Речь идет не только об Акибе, но и обо всех иудеях города Тамны, одного из немногих городов этой страны, оставшихся иудейскими, но которому, может быть, уже недолго оставаться иудейским. Поступайте так, как сочтете нужным, доктор Иосиф. Именно я советовал обратиться к вам и продолжаю считать, что мое предложение удачно.

Прошло больше месяца, и Иосиф наконец решился поехать в свои имения. Это были три больших поместья между городами Газарой и Эммаусом. Они охватывали горные местности, поросшие ясенем, холмы, поросшие сикоморами, равнины, поросшие пальмами.

Управляющий Феодор бар Феодор, спокойный, хитроватый старик, обрадовался Иосифу. Он приказал заколоть особенно жирного барана и предложил своему хозяину лучший кусок от хвоста. Его лукавая сдержанность напомнила Иосифу Иоанна Гисхальского.

Вместе с управляющим проезжал Иосиф верхом по своим владениям, по плоскогорьям с оливковыми рощами и виноградниками, среди финиковых пальм, по полям пшеницы, среди гранатовых, ореховых, миндальных, фиговых деревьев. Наверху лежал древний и неприступный город Газара с его фортами, которые заново отстроили римляне.

Имения, казалось, были в образцовом порядке, там работали двести семьдесят рабов, среди них — много чернокожих, они имели сытый вид, их работа была отлично организована. Жаль, что при таком труде и умении из этих плодородных земель не удавалось извлечь больший доход.

Феодор бар Феодор объяснил своему господину, от чего это зависит. Имения принадлежали к ведомству города Газары, не имевшему колониальных прав, там налоги и подати были очень высоки. Город Эммаус, населенный почти исключительно римскими ветеранами Иудейского похода и пользовавшийся привилегиями колониального города, не хотел приписать к себе имения Иосифа. Причины этому были весьма основательны. Так, например, сосед Иосифа, капитан Педан, выйдя в отставку, взял себе земли, всюду врезавшиеся клиньями во владения Иосифа и в большей своей части расположенные гораздо ближе к городу Газаре, чем к Эммаусу. И все-таки имение капитана числилось за Эммаусом; поэтому, будучи меньше и хуже поместий Иосифа, оно давало, благодаря меньшим налогам, больший доход. Капитан Педан мог без пошлины сбывать свои продукты в Эммаус. Феодор бар Феодор должен был возить их в Газару или в Лидду, где приходилось платить огромный налог. Кроме того, большинство иудейского населения не желало покупать продукты из Иосифова имения, потому что он был отлучен в Иерусалиме, а греки и римляне Газары и Лидды этим пользовались. С двойственным чувством смотрел Иосиф на родную землю, кормившую своим маслом, туком и вином завоевателей страны.

Иосиф ехал на своем осторожно ступавшем осле рядом с управляющим, а тот продолжал повествовать о многочисленных трудностях, возникавших из-за соседства капитана Педана. Взять хотя бы вопрос о водопроводе. Продолжить прекрасный акведук из Эммауса в Газару было бы выгодно для обеих сторон. Эммаусская община сэкономила бы немало денег, а сами помещики — тем более. Но городское управление Эммауса не соглашается. Виноват капитан Педан. Этот обладатель травяного венка и любимец армии ведет себя в Эммаусе как хозяин. Его возражения против проекта о продолжении акведука носят чисто личный характер, так как он, будучи главным потребителем воды, получил бы от него наибольшую выгоду.

Иосиф ответил, что сам как-нибудь съездит к Педану. Не столько из-за дела, о котором рассказал управляющий,

сколько потому, что его тянуло взглянуть на человека, рука которого подожгла храм и чьего имени он в своей книге не упомянул, ибо имя это следовало предать забвению.

Лишь на третий день пребывания в своих поместьях поехал Иосиф на хутор «Источник Иалты», где жила Мара. По словам управляющего, хутор был очень запущен, но Мара поставила себе целью привести его в цветущий вид.

Иосиф встретил Мару в винограднике, она была в рабочей одежде, широкополая шляпа защищала ее от солнца, ноги были босы и выпачканы землей. Он не предупредил ее и не знал, осведомлена ли она о его приезде. Она сидела на корточках, копая сточные канавки вокруг лоз. Когда она увидела его, она не встала, она откинула голову, ее круглое лицо под загаром побледнело, глаза расширились, и она крикнула ему голосом, сдавленным от гнева и страха:

— Ты пришел, палач господень? Ты осмелился явиться ко мне? Что тебе от меня нужно? Не подходи ко мне, презренный!

Он стоял с беспомощным видом. Что мог он ей ответить? С точки зрения здравого общечеловеческого рассудка он был прав. Он мог бы сказать: «Разве устережешь одиннадцатилетнего мальчика? Разве можно все время водить его на помочах? Даже если бы ты осталась в Риме, ты ничего не смогла бы предотвратить». Но если он это и скажет, какой смысл? Даже перед собой не смел он оправдываться. Он знал, что виноват в смерти Симона. Правда, судья не обвинил бы его, если бы его дело разбиралось в Риме или в Зале совета Иерусалимского храма. И все-таки он был виноват. Он знал это твердо. А она, глядя на него обезумевшими карими глазами, с гневом, которого он никогда в ней не знал, заявила:

— Ты сделал меня бесплодной ветвью! Я хотела остаться около него, но ты оторвал меня от него и угасил огонь его жизни!

И Иосифу нечего было ответить.

В конце концов он все-таки заговорил. Он стоял в ярком свете солнца. Он пересилил себя. Он мягко успокаивал ее, но видел, что его слова до нее не доходят. Она не отвечала. Тогда он повернулся и ушел.

На повороте дороги он обернулся и увидел, что она смотрит ему вслед. Теперь у нее было совсем другое лицо, Иосиф не прочел на нем ни гнева, ни испуга, только огромную скорбь.

Среди рабов Иосифа был миней, который, по рассказам управляющего, хорошо умел излагать основы учения этой секты и обращал многих в свою веру. Иосиф попытался вступить с ним в беседу. Это оказалось нелегко. Хотя Иосиф все время старался не забывать, что сам некогда был рабом, он не мог говорить вполне непринужденно с этим бесправным человеком; невольно в его тоне звучало некоторое высокомерие. Отношение богословов к рабам как к неодушевленным предметам вошло у него в плоть и кровь.

Однако, когда он разговорился с этим рабом-самаритянином, натянутость скоро исчезла. Как звали этого человека раньше, Иосиф не знал; управляющий дал ему одну из кличек, распространенных среди рабов: Самуил, то есть «Послушный», и заставлял его, как и других рабов, носить колокольчик, являвшийся принадлежностью порабощенного существа, уподобленного скоту. Несмотря на всю его услужливость, у этого Самуила были манеры и вид свободного человека. Если верить его словам, то, когда жители самарийского города Эсдраэлы в начале восстания перебили иудеев, он вступился за них, был схвачен своими согражданами как участник восстания, выдан римлянам и продан в рабство. Возможно, что дело так и обстояло, но поверить в это было неприятно. На всякий случай Иосиф решил приказать управляющему обращаться с Послушным как с рабом-иудеем, то есть одеждой и жилищем приравнять к хозяину, согласно закону, гласившему: «Пусть твой раб не ест черного хлеба, когда ты ешь белый, пусть он не пьет молодого вина, когда ты пьешь старое, пусть не спит на соломе, когда ты спишь на матраце, не живет в городе, когда ты уезжаешь в деревню, и в деревне, когда ты живешь в городе». Правда, управляющий будет этим не очень доволен.

А пока Иосиф беседовал с Послушным об учении христиан. Оказалось, что этот самаритянин лучше разбирается во всем, чем Тахлифа в капернаумской харчевне. Если его и нельзя было назвать ученым-богословом, то все же он был достаточно сведущим и в Писании, и в устном предании. Поэтому Иосиф спросил его:

— Так как ты, Послушный, понимаешь вероучение богословов, скажи мне, что побудило тебя не удовольствоваться этими вероучениями, а принять веру минеев?

Послушный ответил:

— Богословы — стяжатели в духе. Они забыли слова древнего пророка о том, что Ягве бог всего мира. Они думают, что взяли его учение на откуп и одни имеют право изучать его. Поэтому-то они и возревновали, когда Иисус

из Назарета назвал себя пророком господя, и поэтому они убили помазанника. Но теперь подтвердилось, что Ягве не бог священников и ученых. Почему же иначе разрушил бы он Иерусалим — их местопребывание и дом свой? На это они не знают что ответить. Они много говорят о вине других и уверяют, что Ягве снова выстроит Иерусалим. Но это только чаяние, не ответ.

Вот он опять, этот аргумент, который Иосиф слышал еще в Галилее и который христиане считали, по-видимому, самым убедительным. Миней еще уточнил его:

— Ягве, — сказал он, — разбил сосуд, в который некогда вливалось учение — Иерусалим и храм. Невозможно сделать отсюда иной вывод, кроме того, что он хочет, чтобы учение излилось на весь мир, на невежд и на ученых, на язычников и на иудеев. Он хотел показать, что обитает всюду, где живет вера в него.

Послушный говорил низким голосом, тихо, но отчетливо и твердо. Это был сильный человек, смуглый от солнца. Когда он двигался, его колокольчик звенел.

Иосиф продолжал расспрашивать. Больше всего привлекало Послушного в учении Иисуса из Назарета — презрение к богатству и почитание бедности, скромный образ жизни, братство.

— «Люби ближнего, как самого себя», говорит Писание, — продолжал он, — а богословы возвещают как золотое правило: «Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе!» Мы предъявляем к себе более высокие требования. Мы учим, что любить, как самого себя, надо не только ближнего, но и врага, и если тебя ударят по одной щеке, подставить и другую. — Добродушно улыбаясь, он добавил: — Я думаю, доктор и господин мой, что рабовладельцам должно быть только приятно, если их рабы становятся христианами. Ибо христианское учение отменяет завет, который дал Ханаан — исконная страна рабов-язычников: «Любите друг друга и ненавидьте господ ваших. Любите воровство, любите надувательство и ненавидьте правду».

Иосиф ответил, что моральные принципы братства и презрения к богатству близки ему еще со времен его ессейства и упражнений в нравственности. Они, по существу, не расходятся с положениями богословов.

— Тогда в чем же, — спросил он, — разница между учением минеев и учением остальных?

— Насколько я, человек неученый, могу понять, — смиренно ответил Послушный, — дело сводится к двум основ-

ным положениям: мы считаем, что мессия уже пришел и не следует ожидать, что Иерусалим снова возродится из камней во всем своем внешнем блеске. И мы стоим еще вот за что: познание и дела — это хорошо, но вера лучше. И вера доступна каждому, не только ученому, но и нищему духом и образованием, как, например, Послушному, слуге твоему.

Иосиф спросил:

— Не можешь ли ты рассказать мне подробнее о делах и изречениях твоего Иисуса из Назарета?

— Недалеко от города Лидды, — отозвался Послушный, — в деревне Секанья живет некий Иаков. У него есть книжечка, там записаны поучения и притчи нашего помазанника божьего, а также его жизнь и странствования по Галилее и Иудее. Этот Иаков, хоть и владел тремя большими имениями, отказался от них и стал таким же, как мы, бедняком. Он совершает чудеса, исцеляет больных и изгоняет бесов из одержимых. Сначала доктор бен Измаил очень гневался на него. Но после нескольких разговоров он изменил свое мнение. Теперь доктор бен Измаил сам ищет общества Иакова из Секаньи и часто проводит время в кругу верующих, хотя его коллегам в Ямнии это не нравится.

Иосиф решил повидать Иакова из деревни Секанья.

До войны университет в городе Лидде пользовался большим уважением. Но теперь он утратил свои привилегии, установление иудейских ритуалов и право суда перешло исключительно в руки богословов Ямнии, ибо только тамошний университет был признан римлянами. Но из-за строгости верховного богослова Гамалиила многие ученые, разгневавшись, вернулись в Лидду, и возле них образовался круг учеников, хотя последние и не могли получать там ученых званий. Постепенно город Лидда стал центром всех приверженцев греческих или минейских вероучений.

Наибольшей известностью из всех этих бунтующих богословов пользовался молодой Яннай, по прозванию Ахер — «Иной», «Отщепенец». Единственный сын, потомок древнего аристократического рода священников, он еще студентом привлек своими способностями внимание коллегии и выдержал экзамен с высшим знаком отличия. Но вскоре после этого двадцатипятилетний Яннай порвал с учением богословов, отказался от лежавшей перед ним широкой и надежной карьеры, и теперь его видели с несколькими старшими и более молодыми товарищами, они разгуливали по улицам Лидды и высмеивали словом и делом обычаи и заветы ученых. Его многосторонние позна-

ния, его элегантно красноречие, свет и тени его воззрений на бога ослепляли многих. Он написал по-гречески стихи о Страшном суде, которые издал в ограниченном количестве экземпляров, но прочитавшие их были захвачены волнующими, глубокомысленными строками. Они цитировали с почтением, страхом и восторгом мрачные, еретические строфы, в которых изображался ужас всего мира перед Страшным судом и которые рождали сомнение: «Если мессия действительно придет, кто знает, будет ли человечество иметь силу после стольких мук принять его?» Ямния вызвала молодого богослова на духовный суд, он не явился. Его стихотворение было запрещено, сам он — подвергнут отлучению. Верховный богослов доктор Гамалиил собственноручно стер его имя с доски, содержавшей списки богословов, куда он незадолго перед тем внес его, и нарек его новым именем, именем «Ахер» — «Иной», «Еретик». Но Ямнай стал отныне с гордостью сам называть себя так и требовал, чтобы другие называли его этим именем, и сердца молодежи по-прежнему устремлялись к нему.

Иосиф знал об Ахере, что тот пытается сочетать простоту христианского учения, строгость богословов и красоту греческой культуры. Он прочел одну из редких копий его произведения и, как ни был чужд всякой мистике, не мог не поддаться мрачному блеску этих стихов. Из всех богословов города Лидды Иосиф первым посетил Ахера.

Доктор Ямнай принял его с радостью, с интересом, слегка насмешливо. Он говорил по-гречески, медленно, но изысканно, и был, очевидно, удивлен плохим произношением Иосифа. Для своих лет он был тучноват, над маленькими глазками вздымался широкий и массивный лоб. У него были мясистые губы, плоский нос; но его движения были быстры, почти стремительны, он не мог усидеть на месте и сильно жестикулировал до странности узкими руками.

Иосиф вскоре понял, что этот молодой, страстный, красноречивый человек, будь он в Риме или Александрии, нашел бы себе немало единомышленников среди иудеев, которые охотно признали бы в нем вождя, и прямо спросил, почему же он остается в маленьком провинциальном городке, в побежденной стране, презираемый победителями, отвергнутый побежденными. Массивное лицо Ахера расплылось в медленной улыбке.

— Я ничего не хочу облегчить себе, доктор Иосиф, — сказал он. — Быть гражданином вселенной среди римлян и греков не кажется мне особой заслугой, — я хочу быть

гражданином вселенной, оставаясь иудеем среди иудеев. Люди этого не любят, они этого не прощают. Но, видите ли, доктор Иосиф, я думаю, что лишь после того, как я это выдержу, я могу считать, что выполнил свою задачу.

Потом он заговорил о включении «Песни песней» и «Кохэлета» в канон Священного писания, целых десять лет коллегия законников в Ямнии никак не могла решить этот вопрос. Оказалось, что из всех книг Святого писания Ахер, как и Иосиф, любит больше всего «Кохэлета». Он говорил о том, как опошлены в греческом переводе Семидесяти благородные стихи оригинала, и цитировал то или иное место в собственном переводе на греческий. Когда они беседовали, в комнату лениво и непринужденно вошла молодая, очень красивая темно-смуглая женщина, одна из его вольноотпущенниц, как пояснил Ахер. Она с любопытством, без всякого смущения, рассматривала гостя, села на пол, томная, пышная.

— Она нам не помешает, — заметил Ахер. — Если говоришь не о самых обыденных вещах, она ничего не понимает. Она тогда просто сидит на земле, и на нее приятно смотреть. Меня, конечно, порицают и проклинают на все лады за то, что я отношусь к своей бывшей рабыне так, словно она моя жена. Но почему бы мне этого не делать? Она нравится мне больше тех женщин, за брак с которыми меня бы никто не осудил. Моя мысль работает острее и лучше, когда она тут и когда я смотрю на нее.

Он приказал принести вина и конфет. У него был красивый дом, самый красивый в Лидде, отделанный с дорого стоящей простотой, вдоль стен тянулись барельефы. Смуглая красавица прикорнула на своем ложе. Ахер продолжал говорить о «Песни песней» и «Кохэлете».

— Не понимаю, — иронизировал он, — почему господа в Ямнии так долго медлят с окончательным изъятием этих книг из Священного писания. Что понимают они в «Песни песней», если считают грехом, когда я, в присутствии моей смуглой Тавиты, читаю Писание? Что понимают они в «Кохэлете», если запрещают мне толковать по-моему сатану и Страшный суд? Даже в его теперешнем виде ученым нелегко согласовать Писание с их доморощенными правилами националистической морали.

— И все-таки, — спросил Иосиф, — вы же потратили всю вашу молодость на изучение этих богословов и их догматов?

Мясистое лицо молодого человека, живо отражавшее все его чувства, стало озлобленным и печальным.

— Да я и по сей час не развязался бы с ними. Моим учителем был доктор бен Измаил. Он пытался удержать меня, и не без оснований. Ему было больно, что я отвратил лицо свое от Ямнии. Причем это произошло из-за него. Вы знаете доктора бен Измаила? — прервал он себя. И так как Иосиф ответил отрицательно, он сказал горячо: — Большой человек. Вы должны увидеть его. Вы должны его услышать. Он единственный стоящий человек в этой стране.

Яннай вскочил, забежал по комнате.

— Мне рассказывали, — осторожно заметил Иосиф, — что доктору бен Измаилу нелегко ладить с верховным богословом доктором Гамалиилом, хотя он и женат на его сестре.

— Вам рассказывали? — насмешливо спросил, в свою очередь, Ахер, ухмыляясь всем своим массивным лицом. — Слышишь, Тавита? — И он слегка потрепал ее по плечу. — Этому господину говорят, что доктору бен Измаилу нелегко ладить с Гамалиилом.

Смуглянка, обсасывая конфетку, улыбнулась и взглянула на него. Ахер снял руку с ее плеча.

— Вас правильно информировали, доктор и господин мой, — снова обратился он насмешливо и веско к Иосифу, — ему нелегко...

— Я слышал о ссоре, — продолжал Иосиф нащупывать почву, — которая имела место между ним и верховным богословом в день очищения.

— Да, — насмешливо согласился Ахер, — это можно назвать и ссорой. — Его маленькие глазки под широким лбом уставились на Иосифа. — Бен Измаил — мудрый человек, — сказал он, — самый ученый человек в Ямнии. А верховный богослов — политик. — Удивительно, сколько ненависти и насмешки вложил Ахер в слово «политик». — Между мудрецом и политиком дело не могло обойтись без распри.

Он снова сел, он, по-видимому, старался сохранить спокойствие и начал рассказывать:

— С тех пор как доктор Гамалиил занимает свой пост, он и его коллегия все время расходятся в вопросе о том, кому надлежит устанавливать праздники и ведать календарем, — одному только верховному богослову или всей коллегии в целом. В этом году, в начале месяца тишри, дело дошло до открытого конфликта. Большинство совета, во главе с бен Измаилом, объявило, что лунные исчисления Гамалиила сомнительны. Гамалиил продолжал настаивать, определил первое тишри, день Нового года, день очищения

и праздника кушей, исходя из своих оспариваемых данных, и объявил их по всей стране как обязательные. Бен Исмаил — не борец. Он покорился и выполнял ритуал Нового года в установленный Гамалиилом день. Правда, и в тот день, который был намечен им самим. Но Гамалиил не соглашался на компромиссы, ему хотелось уточнить этот вопрос раз и навсегда. Он не довольствовался тем, что бен Исмаил показал свою готовность праздновать день очищения десятого тишри, согласно вычислениям Гамалиила. Он хотел большего: чтобы тот день, который он сам и его друзья утвердили как десятое тишри и субботу из суббот, бен Исмаил вновь сделал будничным, не священным. Он обязал его пройти в этот день часть дороги пешком и предстать перед ним в одежде странника, с посохом, котомкой и сумой. Верховный богослов хотел, чтобы бен Исмаил тем самым признал перед всем народом, что его день очищения — это мнимое десятое тишри, на самом деле — согласно решению Гамалиила — обыкновенный будний день. Вся коллегия взволнованно убеждала Гамалиила не настаивать на своем требовании. Он не уступил. Он ссылался, конечно, как и всегда, на «единство учения». Израилю нужно показать, настаивал он перед коллегией дерзко и упорно, что есть только одно угодное богу толкование учения, его толкование. Бен Исмаилу пригрозили отлучением и изгнанием, если он не подчинится.

Ахеру больше не сиделось на месте. Он вскочил, отер пот со лба, снова забегал по комнате.

— Все мы, — продолжал он рассказывать, — уговаривали бен Исмаила, и больше всех — его жена, родная сестра верховного богослова. У нас были основания надеяться, что, если бен Исмаил не подчинится, на его сторону встанет большая часть членов коллегии. Тогда, может быть, удастся сместить Гамалиила. Если бы бен Исмаил и его друзья вышли из коллегии, это могло бы пресечь пагубную националистическую диктатуру верховного богослова. Бен Исмаил стонал. Все его существо противилось. Мы подстрекали его, приставали к нему. Но дьявольское слово о единстве вероучения сковывало его. Он не отважился на раскол. Он покорился.

Ахер остановился перед Иосифом, он тяжело дышал, его массивное лицо было мрачно, печально.

— Как сейчас, вижу бен Исмаила, — продолжал он, — когда он, запыленный, пришел в Ямнию и казался — этот сильный человек — вконец измученным, точно его легкая котомка весила центнеры. Жители Ямнии вышли из домов

и стояли по сторонам дороги. Никто не говорил ни слова, все были подавлены, а бен Исмаил тащился по ступеням в учебный зал, где его дожидался верховный богослов. Когда мне было пятнадцать лет, я видел, как Иерусалим сгорел и пал. Но я скорее забуду это, чем вид затравленного, печального человека с посохом и котомкой. Ради проклятого единства вероучения взял он на себя смертный грех, он стал всеобщим козлом отпущения, видно было, как его прямо придавливает гнет этой тяжести, так что ему дышать трудно. Но он все же нес его и тащил. Тогда я простился с коллегией и покинул Ямнию.

Ахеру, видимо, стало неловко за свой пафос.

— Передай мне, пожалуйста, конфеты, Тавита, — попросил он и взял конфету. — Господа в Ямнии охотно удержали бы меня, — закончил он свой рассказ. — Они пошли бы даже на то, чтобы в виде исключения и негласно разрешить мне заниматься моим Филоном и Аристотелем. Они готовы на такие компромиссы — надо только молчать о них, и если человек нашел собственную истину, то пусть она его собственностью и остается, он не должен ни в каком случае передавать ее дальше. — Он выплюнул конфету. — Единство вероучения — это *единый бог, единая нация, единое* толкование. Богословы Ямнии не разрешают дискутировать о книгах греков, об эманациях бога, о сатане, о святом духе. Этой сплошной централизацией и сужением до национализма они лишают учение его смысла. Этим *единым* толкованием они выключают из Писания весь мир и подменяют его глупым, одержимым манией величия народишком. Если Ягве — не бог всего мира, то кто же он? Один из многих богов, национальный бог. Они возвещают узость, эти господа в Ямнии, они хотят, чтобы была нация, и изгоняют бога. Они ссылаются на Иоханана бен Заккаи. Но ставлю вот эту мою Тавиту против иссохшего стручка, что Иоханан охотнее отказался бы от иудаизма, чем увидел, как он у них засыхает и костенеет. Иоханан хотел наполнить мир духом иудейства, Гамалиил изгоняет дух из иудеев. Массы не понимают, в чем здесь дело, но они чувствуют, что между Ягве и богословами — нелады. Они чувствуют, что тот Иерусалим, который богословы строят в духе, еще теснее, еще высокомернее, чем был Иерусалим из камня, ныне разрушенный. Поэтому столько людей и уходят к минеям.

Ахер наконец овладел собой.

— Я увлекся, — извинился он. — Вы, наверное, думаете: в нем говорит одна мстительность. Этот молодой человек,

мол, преувеличивает, потому что его отлучили и изгнали. Может быть, я и преувеличиваю, но, думается, не очень. Довольно об этом. Кушайте, пожалуйста, пейте, смотрите на мою Тавиту. Я плохой хозяин. Мне приятнее, чтобы вы считали меня свиньей из эпикурова стада, чем патетическим ослом.

Его мясистое лицо расплылось в улыбке. Но Иосиф уже не мог отделить от этого лица его печали, даже когда оно смеялось.

У Ахера Иосиф встретил и mineя Иакова из деревни Секаньи, чудотворца, о котором ему рассказывал его раб Послушный. Mineей Иаков был иным, чем себе представлял Иосиф, — без всякой рисовки и позы, безбородый, простой, вежливый господин; в Риме его приняли бы за банкира или адвоката. Иаков согласился прочитать Ахеру и его друзьям биографию и собрание изречений Иисуса из Назарета, записанные одним из его единоверцев.

Ахер пригласил и своих друзей — доктора бен Измаила с женой Ханной. Бен Измаил, долговязый господин, с глазами, в которых были и кротость и фанатизм, с мощным лысым лбом, говорил спокойно и мало, низким, заполняющим всю комнату голосом; несмотря на производимое им впечатление силы, он казался бесконечно уставшим. Тем живее была Ханна, молодая, красивая, пылкая, она горячо и красноречиво отстаивала веру своего мужа.

Mineей Иаков вскоре приступил к чтению.

— Я намерен, — начал он в виде предисловия, — прочесть историю и изречения Иисуса Назорея, сына человеческого, как их записал мой друг для нашей маленькой общины в Риме со слов некоего Иоанна Марка, еврея.

И, слегка нараспев, как было принято в еврейских школах, стал читать по-гречески, но с сильным арамейским акцентом, краткое повествование о жизни Иисуса, плотника из Галилеи, одаренного чудотворной силой. Этот Иисус исцеляет прокаженных, слепым возвращает зрение, изгоняет злых духов из бесноватых. Так завоевывает он доверие простого народа. Он вступает в борьбу с надменными богословами, и намеренным пренебрежением к субботе и законам о пище вызывает их гнев. Затем он отправляется в Иерусалим и спорит с саддукеями, утверждающими, что никакого воскресения не существует, и с «Мстителями Израиля», которым он говорит, что отныне кесарево надо отдавать кесарю. Дело доходит до того, что его вызывают на суд. Великий совет приговаривает его к смерти и передает губернатору Пилату. Лишь против воли, под давлением

иудеев, приказывает римлянин казнить сына человеческого, Иисус умирает на кресте, некий Иосиф из Аримафеи предаст его погребению, Иисус воскресает и дарует своим ученикам силу творить чудеса и проповедовать его откровение всей твари.

В рассказ были вкраплены похвалы бедности, притчи. Иосиф слушал внимательно. Этот человек с будничным лицом и будничным голосом был, видимо, сам взволнован тем, что он читал. Странно, в сущности, ведь это было простым собранием фантастических историй, какие Иосиф слышал не раз,— агитационные нападки на ученых-богословов, варьируемые на сотню ладов, и уже опровергнутые сведения о людях, выдававших себя за мессию. Учение минеев показалось Иосифу действительно предназначенным только для очень простых сердец. С удивлением увидел он, что остальные не разделяют его отношения, они, наоборот, взволнованно слушают с несколько отсутствующими, но благоговейными лицами, так, как люди слушают хорошую музыку.

— Вот благая весть, которую мой друг сообщил братьям минеям в Риме,— заключил Иаков из Секаньи, скатал книжечку и сунул ее обратно в футляр.

Все долго молчали. Слышалось только шумное дыхание Ахера. Иосифу казалось, будто все ждут, чтобы он, приезжий, заговорил первым.

— Многое здесь, по-моему, прекрасно,— начал он наконец, и хотя миней Иаков и читал без всякой декламации, собственный голос прозвучал в ушах Иосифа особенно жестко и трезво.— Но что же нового в этом учении и благовестьи? Разве почти все это не имеет своим источником Писание или изречения богословов?

Миней Иаков спокойно обратил к нему гладко выбритое лицо, и Иосифу показалось, будто по этому лицу скользнуло едва уловимое легкое сострадание к столь поверхностному критиканству. Но Иаков из Секаньи ничего ему не ответил. Вместо него заговорил Ахер.

— Это провозвестие, конечно, не совсем ново,— согласился он.— Но разве здесь все не проще, свободнее, мягче, чем то, что мы слышали раньше? Разве вы не чувствуете, какой волнующей сладостью веет от этого учения о непротвлении? Больше не бороться против римлян, против всего мира, отказаться от власти в этой жизни, раствориться в боге, просто верить.

Иосиф угадывал, что именно привлекает Ахера в благовестьи Марка, но на него это не действовало. Он продолжал

воинственно, так как его сердило, что другие, может быть, считают его тупым:

— И разве в самом жизнеописании нет ряда противоречий? Если Иисус был приговорен к смерти иудеями за кощунство над именем божьим, то почему же его тогда не побили камнями? Если же его приговорили к смерти римляне, как царя иудейского, то есть за мятеж и преступление против императора, зачем тогда понадобилось его судить иудеям? И если тысячи выходят его встречать и кричат: «Осанна»,— следовательно, его знает весь народ; зачем тогда понадобилось первосвященнику и его слугам предательство Иуды? Разумеется, эти возражения крайне прозаичны, если относиться к целому как к поэтическому вымыслу. Но разве вы не утверждаете, что это правда?

— Я не утверждаю, и никто из нас не утверждает,— спокойно возразил миней Иаков,— что рассказ Марка, как его записал мой друг,— *правда* в юридическом понимании этого слова. Однако я знаю по личному опыту, что только тогда имею в себе силу совершать исцеления, когда вся моя душа преисполнена единой веры в сына человеческого, Иисуса Назорея.— Это было сказано так просто, словно он говорил: «За этот золотой дарик я могу дать вам шестьсот двенадцать сестерциев, один ас и две унции».

— Если этот рассказ, несмотря на свое неправдоподобие, все же звучит как правда,— попытался Ахер объяснить Иосифу,— то, вероятно, именно потому, что одного принципа и одной правды недостаточно, чтобы постигнуть мир. Пусть Иоанн Марк повествует о делах и учении многих мессий, которые слились в единый образ. Может быть, утверждать это, с точки зрения исторической правды, было бы неверно, но также неверно было бы говорить и о поэтическом вымысле. Здесь и то и другое объединено в чем-то третьем, большем.

Доктор бен Исмаил спросил низким, кротким голосом:

— Пожалуйста, объясните мне, почему умер ваш Иисус из Назарета?

— Это произошло,— деловито пояснил Иаков из Секаньи,— чтобы освободить людей от греха Адама, от первородного греха. Ибо написано: «Помыслы сердца человеческого греховны от юности его» и «Во грехе я был рожден и в скверне зачат матерью».

— Это, может быть, и верно,— вслух размышлял бен Исмаил,— что козел, которого мы отсылаем в пустыню,

и рыжая корова без единого пятна, которую мы приносим в жертву, являются слишком легким искуплением.

— Богословское искупление,— насмешливо бросил Ахер.

А бен Измаил закончил:

— По-видимому, это должен быть действительно живой человек.

Все, в том числе и Иосиф, вспомнили тот день очищения, когда бен Измаил с котомкой и посохом тащился вверх по ступеням учебного зала.

Миней Иаков, не повышая голоса, но решительно заявил:

— Иисус Назорей принял на себя грехи всего мира, не только отдельного народа.

— Это опасное учение,— задумчиво сказала Ханна,— оно все строит на святости. Оно многое предоставляет самому человеку. Разве оно не ставит святого выше справедливого? И разве не бывает иной раз труднее справедливо жить, чем свято умереть?

— Как видно,— сухо возразил Иаков, и только очень чуткий слух уловил бы в его тоне насмешку,— вы с вашей справедливостью достигли немногого. Разве не ради справедливости умертвили вы святого? И разве не эта справедливость привела к тому, что на ваших глазах Иерусалим был разрушен?

Иосиф с досадой подумал: «И всегда эти минеи говорят о разрушении Иерусалима. Без разрушенного Иерусалима их самих не существовало бы».

Иаков вскоре удалился, он хотел вернуться в свою деревню Секанью. После его ухода Иосиф спросил бен Измаила:

— Что привлекает вас, доктор и господин мой, в учении минеев? Ибо то, чему учил этот человек, крайне убого, и все же вы слушали его с благоговением.

Бен Измаил ответил:

— Мне кажется, доктор Иосиф, что мы слишком много воображаем о себе, мне стыдно того, как мы гордимся своими познаниями. Эти люди ищут бога в простоте сердца и на прямом пути. Иногда мне кажется, что они ближе к Ягве, чем мы, с нашей сложной ученостью. И потом, эти люди держат дверь к Ягве открытой для всего мира, тогда как наши обряды все более ограничивают и затрудняют доступ к нему.

— Я, кажется, понимаю, что вы имеете в виду, — размышлял вслух Иосиф. — Но ведь действительно, как им там, в Ямнии, держать себя, после того как римляне запретили обрезание? Как быть с язычником, который хочет перейти в нашу веру? Советовать ли ему обойтись без обрезания и допустить смертный грех? Или следует совершить над ним обрезание, в результате чего римляне убьют и обращенных и обращающих? Разве не под давлением извне обряды становятся все строже и националистичнее?

— Есть люди, — сказал Ахер, — которым запрещение обрезания пришлось весьма к стати. Так, например, нельзя сказать, чтобы верховный богослов был им очень недоволен. Это послужило для него поводом сузить пределы вероучения.

— Я убеждена, — горячилась пылкая Ханна, — что он сам попросил бы римлян издать этот закон. Он боится прозелитов. Ему хочется держать их подальше. Он боится всего нового, что может влиться в учение. Пока он допустит в него новое, он выхолостит из него все, что там еще есть живого, плодотворного. Он хочет, чтобы учение стало унылым и убогим, так — кое-что. Верующие должны быть одним большим стадом, которое удобно пасти, все, как один, все бесцветные, хорошие, приглаженные, прилизанные. И он — пастырь, а коллегия — сторожевой пес, и кто не повинуется, будет уничтожен.

Бен Исмаил провел длинной рукой по лысому лбу, машинально подергал брови, разглаживая их.

— Не преувеличивай, милая Ханна. Должность верховного богослова — нелегкая. У нас есть стремление растекаться по всей земле. Кто-то должен удерживать нас вместе.

— Нет, вы только послушайте его, доктор Иосиф, — жаловалась Ханна, — он еще защищает того, кто его бьет. Да, единство учения — железный обод, сдерживающий закон, но обод этот так тверд и тесен, что, сжимая, убивает в учении все живое. Вы знаете об этом дне очищения, доктор Иосиф... В этот день бен Исмаилу пришлось ощутить гнет железного обода.

— Будь благоразумна, Ханна, — уговаривал ее низким голосом бен Исмаил. — Нет иного средства удержать еврейство от распада, кроме строгого единообразия обычаев и действий. Каждому нужно неустанно напоминать с утра до вечера о том, что сейчас одновременно с ним пять миллионов его соплеменников молятся тому же богу. Он должен постоянно чувствовать, что он — частица этих пяти

миллионов и их духа. Если же этого не будет — народ распадется и исчезнет.

— А теперь за обычаями и делами исчезли их смысл и вера,— с горечью констатировал Ахер.

— Не забудьте,— убеждал его бен Исмаил,— что до сих пор Гамалиил ни разу не высказался против минеев. Они празднуют праздники вместе с нами, ходят в наши синагоги, ничто и никто не становится нечистым от их прикосновения. Всякий раз, когда коллеги Хелбо, или Иисус, или Симон Ткач поднимают в совете вопрос о том, кого можно подвести под понятие «отрекающегося от принципа», Гамалиил никогда слова не проронит, чтобы поддержать их. И если учение христиан до сих пор расценивается как «отклонение», а не «отречение от принципа», то только благодаря ему; ибо каждому известно, что речи его коллег метят исключительно в минеев. Но он не дает им говорить и не делает из их слов никаких выводов. Гамалиил не любит христиан, но у него нельзя отнять, что в вопросах догматов он мыслит либерально, может быть, даже либеральнее, чем я.

— Потому, что ничего в этом не смыслит,— констатировал Ахер.

Ханна выпрямилась.

— Я вам точно скажу, как это будет,— заявила она.— Вам, доктор Яннай, и тебе, мой бен Исмаил, а доктора Иосифа я призываю в свидетели, чтобы он подтвердил мои слова, когда они исполнятся. Господа Хелбо, и Иисус, и Симон Ткач будут еще не раз вести в коллегии дискуссии о том, где начинается «отречение от принципа» и где оно кончается, и все будут знать, что метят они в минеев, и никто не станет относиться к их словам серьезно и извлекать из них выводы. Но когда Гамалиил доделает свой обод вокруг закона, то он начнет с помощью этого обода убивать и те точки зрения, которые ему не нравятся. И тогда вдруг эти дискуссии об «отречении от принципа» окажутся чем-то бóльшим, чем теоретическая болтовня. Я знаю своего брата, знаю его лучше, чем вы. Знаю его с тех пор, когда он был маленьким мальчиком, и я видела, как он дрался с каждым, кто не подчинялся ему. Минеев он не любит. Не знаю, что он против них предпримет. Но что-нибудь предпримет, в этом я уверена, и это будет совсем не то, чего все от него ждут.

Ханна говорила негромко, подчеркивая каждое слово.

— Все мои друзья,— ответил несколько резче бен Исмаил,— радуются тому, что на свете есть минеи. Хорошо,

что Ягве принадлежит не только ученым-богословам, и хорошо, что Ягве принадлежит не одним иудеям. И что благодаря учению христиан знание об этом останется в мире. Мы никогда не допустим, чтобы был внесен запрос о минеях.

— Конечно, вы будете противиться, мой милый,— ответила с мрачным спокойствием Ханна,— вы будете противиться очень горячо и с помощью убедительных аргументов. Но когда Гамалиил снова заговорит об единстве учения, ты тоже в результате отпразднуешь день очищения второй раз.

— Никогда,— сказал бен Исмаил.

В его прекрасных кротких глазах блеснул фанатизм, и его убежденное «никогда», казалось, еще долго звучало в комнате.

— Когда слышишь твой голос,— с упреком возразила Ханна мужу, но сквозь этот упрек слышалось ее восхищение и любовь,— то веришь, что ты останешься непоколебимым. Но в конце концов все будет так, как захочет Гамалиил. Этот вот,— обратилась она к Иосифу, указывая на Ахера,— слишком вспыльчив, и, кроме того, он знает слишком много, а излишек знания делает неспособным к сопротивлению. Мой брат ничего не понимает, но он знает, чего хочет, и всех их обведет вокруг пальца.

— Из семидесяти двух членов коллегии не найдется и двадцати, которые поддержат запрос относительно минеев,— спокойно сказал бен Исмаил.

— Потому что его еще не поддержит сам Гамалиил,— горячилась Ханна,— потому что пока он сохраняет нейтралитет. Дайте ему показать свое настоящее лицо, и вы увидите...

Иосиф перевел взгляд с мощного лысого лба бен Исмаила на выразительное лицо Ханны. В его ушах все еще звучало убежденное «никогда» бен Исмаила. И все-таки ему показалось, что Ханна в своей озлобленности видит дальше, чем ее кроткий супруг.

Ханна обратилась к Иосифу:

— Существует одно средство сохранить смысл и всю сложность учения и уберечь его от вредных националистических тенденций. И вы можете нам в этом помочь, доктор Иосиф. Так помогите же нам.

Иосиф сделал вежливое лицо, но в душе ему стало неприятно. Как может он помочь этим людям? Чего они хотят от него?

Ханна продолжала:

— Римляне терпят наши школы здесь, в Лидде, но не признают авторитета нашей веры и наших постановлений. Ямния может со дня на день закрыть наши школы. Вы имеете влияние на губернатора, доктор Иосиф. Добейтесь того, чтобы Рим признал высшую школу в Лидде столь же авторитетной в религиозных вопросах, как и университет в Ямнии. Тогда деспотизм моего брата будет сломлен, для образованных евреев будут спасены греческая поэзия и мудрость, а для масс — учение минеев.

Испытанное Иосифом в первую минуту ощущение неловкости сменилось подавленностью, почти испугом. Опять ему подсовывают какие-то решения, навязывают ответственность. Он приехал в Иудею затем, чтобы набраться новых сил для своей деятельности на чужбине. А теперь Иудея требовала всех сил от него, изнемогающего.

Они долго пробыли вместе, стены уже исчезли в надвигавшихся сумерках, и лица стали неясными.

— Как было бы хорошо, — прозвучал в сумраке голос Ахера, — основать здесь, в Лидде, высшую школу, где бы спорили не о законах и обычаях, а о боге и учении. Где бы властвовали не священник и юрист, но пророк, где бы не нужна была формалистическая аргументация, где люди старались бы сочетать виденье и мышление, где бы они исследовали смысл древних обрядов и не торговались из-за их внешней формы. Где бы ясного Филона дополняли загадочный Кохэлэт и загадочный Иов. Мне кажется, что тогда отсюда действительно можно было бы влиять на мир в духе иудаизма и расширять смысл учения, вместо того чтобы его сужать. Это была бы такая школа, которая благовествовала бы о Ягве не как о наследии Израиля, но как о боге всего мира и которая сочетала бы иудаизм, минейство и эллинизм в некое триединство.

Мясистое печальное лицо Ахера почти утонуло во мраке, и в его речах не чувствовалось и тени той напускной иронии, которой он обычно прикрывал свой внутренний пафос. Иосиф думал о прочитанных им стихах, об этом загадочном горьком пророчестве Страшного суда. Этот пророк, этот поэт и одержимый был не таким, каким обычно бывают пророки. Он не носил одежды из грубого войлока, не питался ягодами и саранчой, наоборот, он насыщал свое жирное тело изысканными кушаньями, холил его ваннами и благовониями и держал для постели прекрасную темно-смуглую женщину. Но то, что говорило из него, было не менее бурно и пламенно, чем голос вопиющих в пустыне. Иосиф почувствовал, как пламенно этот молодой человек

пытался его убедить, как жаждал он его согласия похлопотать об университете в Лидде. Он чувствовал, с каким волнением бен Исмаил ждет его ответа. Было бы чудесно поработать с такими людьми! И как было бы хорошо обогатить свою ясную трезвость волнующей загадочностью этого юноши, кроткой мудростью этого более зрелого человека. Ему так и хотелось сказать: «Да, откроем здесь университет для евреев, греков и римлян, высшую школу для граждан вселенной. Я останусь здесь. Позвольте мне с вами работать».

Но он недостаточно молод. Сомнения, усталость, скорбь о покоренной стране — все это не подстегивало его, но ослабляло и угнетало. Встретиться он с Ахером или бен Исмаилом на несколько лет раньше, он, вероятно, дал бы свое согласие. Теперь он молчал.

Молчание его длилось недолго. Но ведь на такой настойчивый призыв можно было только ответить немедленным горячим «да», каждое колебание уже равнялось отказу. Пламенные, мечтательные слова Ахера, казалось, еще звучали в воздухе, когда все почувствовали, что Иосиф отказывается.

Бен Исмаил избавил его от необходимости отвечать и прервал мучительное молчание.

— Вернитесь к действительности, Яннай,— обратился он к Ахеру.

Затем внесли свет, и они стали говорить о повседневных вещах.

Когда Иосиф приехал в имение Педана, ему сказали, что капитан отправился на ежегодную ярмарку в Эммаус. Иосифу не хотелось дольше откладывать своего посещения, и он тоже поехал в Эммаус.

В его памяти остался хорошенький маленький курорт; теперь он увидел довольно большой, шумный город. В нем Флавий Сильва поселил большую часть тех солдат-фронтовиков, которые по окончании войны вышли в отставку и не пожелали покидать страну. Целебные источники были окружены модными греческими банями, рынок и площадь перед ним — центр ярмарки — были такие же, как в любом греческом городе. Иосиф искал знаменитую колонну, напоминавшую о победе, одержанной здесь некогда Иудой Маккавеем. Но он не нашел колонны; ее заслоняла будка фокусника, заставляющего верблюда танцевать на барабане.

Иосиф приказал доложить о себе Педану. Он услышал, как тот сипло и шумно стал обсуждать с одним из своих рабов, не вышвырнуть ли ему этого еврея. В конце концов

Иосифа ввели в большую неряшливую комнату. Капитан, полуголый, с интересом рассматривал его своими подмигивающим голубым живым глазом и мертвым — стеклянным, под которыми дерзко торчал нос с широкими ноздрями.

— Иосиф Флавий, — просипел он, — господин сосед, собственной персоной. До сих пор я имел удовольствие быть знакомым только с вашим управляющим. Невыносимый господин, этот ваш управляющий. Все время пристает ко мне со своим проклятым водопроводом. Я рад, что наконец познакомился и с вами. То есть мы, собственно говоря, знаем друг друга в лицо со времени войны. Но вам, должно быть, неприятно вспоминать об этом. Мне говорили, что в вашей книге, которая наделала столько шума, вы ни словом не обмолвились о капитане Педане. Ну, вам виднее. Я и Кит, мы, конечно, тоже понимаем, в чем дело. Уж как-нибудь да переживу это. Никогда не был большим любителем книг. Слово-то можно вывернуть как хочешь. Вся суть в поступках, не правда ли? Поступок остается. Откровенно говоря, приехали вы не очень кстати. Когда человеку перевалило за шестьдесят, кто знает, долго ли он еще протянет? И на такой ярмарке хочется тоже получить свое удовольствие. Хочется полакомиться вином, девочками. Я тут приказал оставить мне одну рабыню; бесовестно дорого, но я, кажется, все-таки куплю ее. Спина у нее, доложу вам, первоклассная. Впрочем — ваша соотечественница. Садитесь, дайте-ка на вас поглядеть. А вы не очень изменились, насколько я помню ваше лицо. За это время мы оба кой-чего достигли. Я, по крайней мере, живу здесь в почете и достатке. Когда чувствуешь себя господином страны, то приятно знать, что ты и себе обязан немалым в этом господстве. Ну, а теперь расскажите, Иосиф Флавий, как вы себя чувствуете, когда смотрите опять на «то самое»?

«То самое», сказал этот человек. Можно ли представить себе более наглую насмешку! «То самое» — так солдаты называли храм, то белое и золотое, что так долго высилось перед ними, гордое и недоступное. Жажда сокрушить его, растоптать доводила их до безумия, и в конце концов красная, неуклюжая рука этого капитана Педана действительно сокрушила «то самое».

Иосиф взглянул на его руку. Широкая, красно-бурая, заросшая густыми белесыми волосами, безобразная, гнусная. Но она была живая, эта рука; она, вероятно, и сейчас еще превосходно умеет хватать и бить. Иосиф рассматривал человека, который принадлежал этой руке. Педан ходил

перед ним взад и вперед, раскачиваясь, широкий, кряжистый, с голым красным лицом и белокурыми, сильно поседевшими волосами. Он был в одной нижней одежде, может быть, он только сейчас обнимал женщину. Педан, обладатель травяного венка, этого высшего знака отличия, который удавалось заслужить солдату, мог себе позволить принимать гостя в таком виде; может быть, он принял бы так и самого губернатора. Он считал себя первым человеком в своей провинции, — вероятно, он и был им. Тайнственная и мрачная слава, окружавшая его со времени войны, еще больше, чем травяной венок, выделяла его среди прочих, ибо, несмотря на то, что военный суд оправдал Педана, всему миру было известно, что именно он бросил горящую головню в храм.

И вот. Педан уже десять лет разгуливает по стране и нагло греется в лучах этого деяния. Как могли выносить иудеи Эммауса, Газары, Лидды это сипенье, вид этой руки, этого бритого лица? Как мог он сам, Иосиф, выносить их?

— Насколько я могу судить, капитан Педан, — сказал Иосиф, стараясь сохранить хладнокровие, — эта местность кажется мне плодородной и климат хорошим. Наши поместья, ваше и мое, видимо, процветают. Правда, мой управляющий говорит, что они могли бы процветать еще больше, если бы мы наконец разумно разрешили вопрос о водопроводе.

Знаменитый центурион Пятого легиона расхохотался оглушительно, звонко.

— Что касается этого, то ваш управляющий, вероятно, прав, Иосиф Флавий, — ответил он добродушно. — Но, видите ли, я не хочу, чтобы вопрос о водопроводе был разрешен разумно. Я от этого выиграл бы, правильно. Но ваш знаменитый управляющий выиграл бы еще больше. И, представьте себе, меня это не устраивает. — Он подмигнул Иосифу живым голубым глазом, уставился на него большим грозным стеклянным глазом — его сделал Критий, лучший из специалистов, делавших глаза для статуй. — Мне говорили, — продолжал он, — что вы кое-что понимаете в римских военных делах, Иосиф Флавий; но капитана Педана, вы, должно быть, не понимаете. Старый император Веспасиан и Кит не раз настойчиво приглашали меня вернуться в Италию. Город Верона, в котором я родился, — прекрасный город, и поселись в нем носитель травяного венка, да еще с недурным капиталцем, то, клянусь Геркулесом, он жил бы там чертовски приятно. И как вы думаете, Иосиф Флавий, знаток и историк римской армии, почему

капитан Педан предпочитает оставаться в вашей вшивой Иудее и торговаться с вашим управляющим, которого он даже не может истинно по-римски отколотить по голове тростью из виноградной лозы? Вот вы стоите передо мной, вы, ученый господин, и не знаете что ответить.

Он подошел к Иосифу и настолько приблизил к нему голое розовое лицо, что Иосиф почувствовал запах его дыхания, испарения его мясистого тела.

— Я здесь, — сказал он, — потому что хотя «то самое» и повергнуто во прах, но все же от вас сохранилось еще слишком многое. Там, в Риме, они недавно выдумали новое слово, которое называется «гуманность». Глупое слово, я не люблю его, с ним далеко не уедешь. В особенности когда дело имеешь с вами. Вас следовало растоптать еще тогда. Но они там, в Риме, посягают с их проклятой гуманностью и говорят «нет», и лепечут, что нужно различать между государством и религией и что религия разрешена. Это вы внушили им столь ядовитые мысли, ваша банда. Вы дьявольски хитры. Помните, как завывали вы от торжества, когда ваша Береника явилась в Рим, чтобы подцепить Кита на удочку? Ну, к счастью, по милости богов, это вам боком вышло. Но вы столь же упорны, как и хитры, и с вами никогда нельзя быть достаточно осторожным. И вот, видите ли, поэтому-то я здесь и остался. Дело в том, что я не за гуманность. Я за то, что если ты чего-нибудь терпеть не можешь, то его надо вырывать, выкорчевывать, истреблять, растаптывать. И чтобы вы нам опять сейчас же не сели на шею, здесь должен быть такой человек, как я. Посмотрите-ка на наш Эммаус. В нем живет множество моих товарищей из Пятого легиона, офицеры и солдаты, парни что надо. Но с такими хитрыми тихонями, как вы, им не справиться. Если бы не я, вам, может быть, удалось бы надуть их и вы построили бы совместно водопровод, так как, дескать, мы на этом сэкономим в год полмиллиона. Но что вы сэкономите на нем полтора миллиона и через десять лет опять оседлаете нас — этого мои добродушные товарищи из Пятого сами понять не в силах, их нужно сначала ткнуть носом. Ради этого-то, уважаемый Иосиф Флавий, я и сижу в этом вшивом Эммаусе, а не в моей прекрасной Вероне. Поняли? Я не люблю вас, я надеюсь, что настанет день, когда вас растопчут, и я хочу в этом участвовать.

Капитан засопел. Он произнес длинную речь, хорошую речь, и ему доставило облегчение, что он швырнул ее этому молчаливому типу в его худое, бородатое, еврейское лицо.

Снизу доносился шум приехавших на ярмарку гостей. Где-то вдали раздавалась знаменитая песенка Пятого легиона

На что наш Пятый легион?
Легионер все может:
Войну вести, белье стирать,
Престол свалить и суп сварить,
Возить навоз, царя хранить,
Детей кормить, коль есть нужда.
Должны солдаты все уметь.
И Пятый все умеет.

Иосиф знал всегда, что в этом человеке как-то воплотилась вся ненависть Исава против Иакова. Какое дело Педану до той воды, которая будет орошать его деревья и поля? Он ненавидел эту воду только потому, что она должна орошать деревья и поля евреев. Нелегко было слушать, как этот человек, сипя, выкрикивал свое гнусное торжество. Но, по крайней мере, стало ясно, какой долгий путь должен быть пройден, чтобы столкнуться с людьми, подобными Педану, и понять это — весьма полезно.

— Очевидно, — сказал Иосиф, и в его словах даже не было насмешки, — пройдет еще некоторое время, пока мы столкнемся в вопросе о водопроводе.

— Очевидно, — отозвался, осклабившись, капитан Педан.

Римский часовой на холме «Красивый вид» в северной части той местности, где десять лет назад стоял Иерусалим вдруг перестал зевать и пристально посмотрел вдаль. Да, всадник не останавливался, он приближался. Теперь было уже отчетливо видно, что его лицо — ярко выраженного еврейского типа. Может быть, предстоит развлечение, может быть, если с ним нет достаточно убедительных документов, удастся его подвергнуть осмотру и выяснить, цела ли у него крайняя плоть. Ибо, как гласила находившаяся рядом надпись по-латыни, по-гречески, по-арамейски, евреям не разрешалось вступать на территорию бывшего Иерусалима и идти дальше этого места было запрещено под страхом смерти. Иногда солдаты развлекались тем, что предоставляли людям, в которых они подозревали евреев, идти дальше и уже потом осматривали их. За эти десять лет, как удалось установить, евреи дважды действительно проникали на запретную территорию.

Тем временем всадник приближался, ему было лет под сорок, резко выраженные еврейские черты лица, одет про-

сто. Он ехал прямо на часового. Что он — дурак? Вот он остановил лошадь и приветствовал часового. Солдат был добродушно настроен.

— Стой, человек, — сказал он, кивая головой на каменную плиту с надписью.

Тем временем из караульного барака вышли остальные. Незнакомец вытащил из кармана бумагу и протянул ее солдату.

— Позовите вашего начальника, — сказал он.

Так как на бумаге стояла печать губернатора, они позвали начальника. Прочтя бумагу, тот оказал приезжему соответствующие почести.

— Разрешите проводить вас к полковнику, Иосиф Флавий? — спросил он.

Солдаты переглянулись. Это имя было им знакомо. С тех пор как они были здесь расквартированы, еврею впервые разрешалось ступать по этой земле.

Губернатор предписывал, чтобы Иосифа пропускали повсюду, куда он захочет пройти на территории разрушенного Иерусалима, и оказывали ему всякое содействие. Начальник лагеря, полковник Геллий, хорошенько не зная, как ему быть с этим знатным и неудобным гостем, предложил дать ему в провожатые офицера, но Иосиф вежливо отказался.

И вот он брел по жаре через заброшенные пустоши, один. Когда десять лет назад ему пришлось присутствовать при том, как, согласно обычаю, часть полуразрушенного города опахали вокруг плугом, ему показалось, что плуг прошел сквозь его собственное тело. Но это запустение и заброшенность, которые он видел теперь, были еще хуже. События, происходившие здесь десять лет назад, как бы возносили человека, прежде чем низвергнуть его в бездну; теперь эта местность, расстилавшаяся перед ним, словно хотела поглотить человека своей пустынностью и безжизненностью, и никто из видевших ее уже не смог бы освободиться от обессиливающей скорби этого зрелища.

Все медленнее тащился Иосиф с холма на холм. От огромного города остались только башни Фасаила, Мариамны и Гиппика и часть западной стены, Тит приказал сохранить их в знак того, как великолепно был укреплен этот Иерусалим, который все же не устоял перед его счастливой судьбой. Все остальное было искусно и энергично сровнено с землей, в полном смысле слова, киркам, лопатам, машинам римлян пришлось немало поработать, чтобы начисто раздробить гигантские плиты храма и много-

численных дворцов. Но они выполнили свою работу добросовестно, до конца, это следовало признать. На целый фут лежал повсюду желтовато-серый пепел; тонкая пыль, проникая через одежду, набивалась в нос, рот, уши, пепел был повсюду, и над ним дрожал яркий знойный воздух. Взгляд и нога Иосифа тщетно искали хотя бы клочок земли, обыкновенной голой земли. Он не находил ничего, кроме желтовато-серой, желтовато-белой пыли. Лишь изредка пробивался сквозь нее стебелек сорняка или между осколками камней дерзко вылезало тощее фиговое дерево.

С трудом, подавленный, шаг за шагом, нерешительно погружая ноги в эту пыль, отыскивал Иосиф дорогу. Он ли не знал свой Иерусалим; но нельзя было даже отыскать русла былых улиц; Иосиф мог ориентироваться только по холмам и долинам да по редким водохранилищам, которых солдаты не засыпали, ибо сами нуждались в них.

Он взобрался наверх, в район храма, спотыкаясь о многочисленные неровности почвы, опустив голову. Наверху он присел. Здесь некогда властвовали наместники фараонов, затем князья иебуситов, затем царь Давид завоевал крепость и город. Много раз стены были сровнены с землей, последний раз их разрушил Вавилон, но никогда за много тысячелетий город не представлял собой такого безнадежного пустыря, как сейчас. В потрясавшей наготу вздымалась скала, на которой Авраам хотел принести в жертву Исаака. Пуп земли, откуда эта скала выросла, святая святых, куда в течение веков из года в год никто не смел вступать, кроме первосвященника в день очищения. Теперь скала снова была нагой, какой она была, вероятно, две или три тысячи лет назад, и над ней — ничего, кроме пустого синего неба, и вокруг — ничего, кроме пепла да римских солдат, охранявших эту пустыню, чтобы она пребывала пустыней во веки веков.

Стояла гнетущая жара, воздух дрожал, комары звенели. По пеплу пробежала безобразная собака, вероятно принадлежавшая одному из солдат, она направилась к святой святых и злобно залаяла на одинокого путника.

А он сидел, полураскрыв рот, с отяжелевшим телом, весь покрытый пылью. И в нем звучали безмерные жалобы Иеремии:

«Горе, горе! Как спокойно пребывала столица, некогда многолюдная, а теперь подобная вдове, некогда владелица народов. Непрестанно плачет она ночью, и слезы ее на ланитах у ней, никто из друзей не утешает ее.

Удались, нечистая, кричат ей, и удаляются от нее, не прикасаются к ней.

Разинули на тебя пасть свою все враги твои, свистят и скрежещут зубами, говоря: мы поглотили его.

Горе, горе! Словно тать в ночи, ворвался Ягве в собственный дом свой и разрушил его».

Не каждому дано, чтобы древние стихи превратились для него в картины и стали частью его души. Но в этот час отзвучавшая жалоба пророка стала для Иосифа образом и вечным достоянием, неотделимым от его собственного существа.

Запыленный, среди бесцветного пепла, он словно съеживался и все больше уходил в себя, все глубже проникала в него пустынность этого места. Мучительно вопрошал он: почему? Почему ворвался Ягве, словно тать в ночи, в свой собственный дом? Иосиф знает, как все произошло. Он знает точно, насколько Тит желал разрушения храма и все же не желал. Поэтому ясно, что Тит был только орудием. И смешно допустить, чтобы этот капитан Педан, чтобы эта гнусная рука, поджегшая храм, были чем-то большим, чем простое орудие. Так почему же? Ответ римлян ничего не стоит, и ничего не стоит ответ ученых, и ничего — ответ минеев. Чья-то вина здесь была, это ясно: вина Рима и Иудеи, вина ученых-богословов и народа и вина, чудовищная вина, его самого. «Да и да, согрешил я, да и да, преступал я, да и да, я виновен». Но где начиналась вина и где она кончалась?

Резкое завывание заставило его опомниться. На одно безумно короткое мгновение ему почудилось, что это Магрета, стозвучный гидравлический гудок, некогда возвещавший отсюда своим ревом о начале храмового служения, слышный даже в Иерихоне. Но потом он понял, что это рога и трубы, возвещавшие конец военного дня. Они зазвенели над пустыней, последовал некоторый шум, смена часовых, слова команды. Затем стало темнеть. Иосиф пустился в обратный путь разбитый.

Полковник Геллий и его солдаты были рады, увидев, что странный гость сел на коня и уезжает.

Только теперь, повидав большую часть страны, решился Иосиф поехать в Ямнию, город, считавшийся после падения Иерусалима столицей иудеев, ибо здесь находился иудейский университет и Великий совет.

Приезд Иосифа взволновал и ученых-богословов и население. Как быть? Действительно ли еще отлучение, к которому его когда-то приговорил Иерусалим? Разумеется, было известно, что в городе Лидде он поддерживал дружеское общение с Измаилом, Ахером и мнимым Иаковом. Он совершил многое, из-за чего мог бы быть судим судом богословов и отлучен от иудейской общины. Если доктор Яннай был заклеен как «ахер», как отщепенец, то этот Иосиф бен Маттафий являлся архиотщепенцем. С другой стороны, он неоднократно и успешно выступал в Риме в защиту всего еврейства и в защиту университета. Его присутствие в Ямнии волновало и будоражило.

Верховный богослов разрешил проблему быстро и энергично. С необычайной вежливостью и сердечностью пригласил он Иосифа отужинать с ним.

Иосиф испытывал тревожное и напряженное любопытство: каким окажется этот Гамалиил, которого иудеи избрали своим вождем и которого римляне вождем признали. Отец верховного богослова был вице-канцлером того национального иерусалимского правительства, которое тщетно пыталось отозвать Иосифа в бытность его комиссаром в Галилее. Впоследствии властный доктор Симон погиб ужасной смертью: фанатично настроенная чернь, которой он казался все еще недостаточным патриотом, замучила его до смерти. Гамалиил был тогда еще почти ребенком, он только что принял таинственное посвящение, которое получали те, кто предназначался в первосвященники; ибо, как отпрыск древнего знатного рода и потомок Гиллея, величайшего из богословов, он с малолетства воспитывался для власти. Иоханану бен Заккай удалось тогда благодаря энергии и хитрости получить для него у римлян пропуск и спасти его из осажденного города. Само собой разумелось, что после смерти Иоханана бен Заккай к нему перешло председательство в Ямнийской коллегии. Слухи о деятельности нового верховного богослова, доходившие до Иосифа, были крайне противоречивы. Многие ненавидели его, немногие любили, почти все относились с уважением.

Быстрыми шагами пошел Гамалиил навстречу Иосифу, почтительно приветствовал его, обнял, поцеловал, назвал его «доктор и господин мой».

— Вы с моим отцом враждовали, — сказал он. — Я с удовольствием прочел, как по-рыцарски благородно и объективно вы отзываетесь о моем отце в вашей книге. Благодарю вас.

Иосиф был рад, что не позволил себе увлечься и написать с большей резкостью о властолюбивом докторе Симоне.

Гамалиилу было за тридцать. Иосиф удивился, как необычайно молодо он выглядит. Рослый, движения приятные, сдержанные, открытое, темно-смуглое лицо, живые, глубоко сидящие карие глаза; короткая бронзовая борода, четырехугольная, аккуратно подстриженная, не могла скрыть резко выступающего подбородка и выпуклого рта с крупными редкими зубами.

Занавес, отделявший столовую, был поднят, присутствующие сели за стол. Комнаты были большие, мебель, сервировка прямо княжеские; на стенах, на мозаике пола, на тарелках и мисках — всюду виднелась эмблема Израиля, виноградная лоза. Верховный богослов и его обстановка подходили друг к другу; Иосиф должен был признать, что Гамалиил был бы достойной фигурой и в римском сенате.

— Я слышал,— обратился Гамалиил с шутливым простодушием к Иосифу, которому он предложил почетное место на среднем застольном ложе,— что мои богословы при вашем приезде чинили вам всякие препятствия. С моими богословами иногда трудно ладить,— вздохнул он, улыбаясь, не обращая внимания на то, что некоторые из этих господ присутствовали при разговоре.— Никто не знает этого лучше, чем человек, которому приходится быть их председателем. У них на все и в каждой ситуации найдутся готовые аргументы. Они еще докажут мне, пожалуй,— процитировал он по-гречески Аристофана,— что «сын учить отца имеет право розгой».

— Объясните мне, пожалуйста,— вежливо сказал Иосиф,— мне, человеку, который за десять лет отсутствия отвык от своего отечества, каким образом вы, запрещая сочинения греков, сами цитируете греческие стихи?

— Уважаемый Иосиф Флавий,— возразил на изысканном греческом языке верховный богослов,— политика вынуждает нас постоянно сноситься с греками и римлянами. Поэтому мы не только разрешаем нашим политикам — мы вменяем им в обязанность изучать греческий язык. Правда, не всегда легко определить, кому именно дать это разрешение. Но мы не мелочны. И поэтому мы были, например, рады, что ваш друг Яннай, по прозвищу Ахер, усвоил греческую культуру. Весьма вероятно, что мне в скором времени самому придется с несколькими из членов коллегии отправиться в Рим, чтобы выяснить при дворе некоторые неотложные дела, касающиеся университета. И, по-

моему, было бы нежелательно, если бы мы говорили только по-арамейски. Впрочем, некоторые из моих богословов уже и сейчас прожужжали мне уши насчет того, что грех плыть в субботу по морю. Но я полагаю, что воссоздание Иудеи стоит двух или даже трех суббот, проведенных на море.

Когда по окончании трапезы Иосиф хотел удалиться вместе с остальными, верховный богослов с настойчивой вежливостью удержал его. Иосиф остался.

— Скажите мне, доктор Иосиф, — попросил его Гамалиил с той искренностью, с какой высокопоставленное лицо обращается к равному, — вам уже нажаловались по поводу моего деспотического правления? Что я еврейский Калигула, еврейский Нерон?

— Многие говорят о вашей тирании, — осторожно ответил Иосиф.

— Не разрешите ли вы мне, — отозвался верховный богослов, — после других тоже высказаться о моих деспотических принципах? Мне не хотелось бы именно перед вами предстать в ложном свете. Я знаю, что, собственно, не имею права считать вас одним из своих; если бы я следовал букве закона, то должен был бы судить вас как еретика. Но я не дурак, я вижу людей такими, какие они есть, и мне хотелось бы, вместе с греческим царем, сказать вам: «Так как ты таков, какой ты есть, то мне хотелось бы видеть тебя в наших рядах».

Он поднялся, попросив Иосифа не вставать с ложа, прислонился к косяку двери, произнес речь. Он говорил настолько просто, что сказанное им не звучало как речь оратора, но воспринималось как объяснение с глазу на глаз.

— Мои противники ставят мне в вину, — начал он, — что я отказываюсь от того универсализма, который предписывается нашим учением. Я не отказываюсь. Но я знаю, что в данное время невозможно претворить этот универсализм в жизнь. В нашем учении есть предписания столь идсального свойства, что их можно будет выполнять, только когда появится мессия и волк будет пастись рядом с ягненком. Я внимательно изучил волка: он не обнаруживает пока никакой склонности к этому. Значит, ягненку следует быть настороже.

Я хорошо знаю Филона и знаю, что конечная цель — это наполнить весь мир духом иудаизма. Но прежде чем это можно будет осуществить, следует позаботиться о том, чтобы сберечь дух иудаизма от исчезновения, ибо ему угрожают большие опасности. Ягве сказал Исае: «Мало того, что ты поднимешь племена Иакова и сохранишь

верных сынов Израиля. Я поставил тебя светочем и для язычников, дабы ты распространял мою славу по всей земле». Я не Исайя. Я довольствуюсь малым. Для меня это не мало, мне очень трудно. «Возведите ограду вокруг закона», — учил Иоханан бен Закааи; в этом состоит моя миссия, и я хочу возвести ограду, и помимо этой ограды я ничего не вижу и видеть не хочу. Я поставлен здесь не для того, чтобы творить мировую историю. Я не могу думать о ближайших пяти тысячелетиях. Я рад, если помогу еврейству пройти через ближайшие тридцать лет. Моя задача состоит в том, чтобы пять миллионов евреев, живущих на земле, могли и впредь почитать Ягве, как почитали до сих пор, чтобы народ Израиля сохранился, чтобы изустное предание не было искажено и было передано позднейшим поколениям таким же, каким оно было передано мне. Но не мое дело заботиться о том, чтобы Ягве господствовал во всем мире. Это уж его личное дело.

Иосиф слушал. Он силился представить себе мудрое и печальное лицо бен Измаила, большой лысый лоб, кроткие глаза фанатика. Но его заслоняло темно-смуглое энергичное лицо верховного богослова, и Иосифу не удавалось также услышать внутренним слухом низкий голос бен Измаила. Он слышал, наоборот, только звонкий голос Гамалиила, напоминавший ему голос Тита, когда тот говорил о военных делах.

— Я политик, — продолжал этот голос, — и мне это ставят в вину. Да, я такой. Я иду прямо к цели, организация коллегии интересует меня больше, чем вопрос о том, можно ли или нельзя есть яйцо, снесенное в субботу. Мне важно, чтобы силу закона получили в этом отношении не шесть или хотя бы только две точки зрения, но одна. Я хочу, чтобы было разрешено есть такое яйцо или везде — и в Риме, и в Александрии, и в Ямнии, или нигде; но не так, чтобы доктор Перахия это запрещал, а доктор бен Измаил — разрешал. К сожалению, в наших богословах это единство может воспитать только деспотизм. Когда пастух хром, гласит пословица, козы разбегаются. Я не даю своим козам разбегаться.

Я сказал бен Измаилу: я вовсе не собираюсь предписывать тебе, как ты должен веровать. Представляй себе Ягве, каким ты хочешь, веруй в сатану или веруй во всеблагого. Но свод обрядов должен быть один, здесь я не потерплю никакого разномыслия. Учение — это вино, обряды — сосуд, если в сосуде образуется трещина или даже дыра, то учение вытечет наружу и исчезнет. Я не допущу никакой

бреши в сосуде. Я не дурак, чтобы предписывать человеку, как он должен верить, но его поведение я ему предписываю. Предопределите поведение людей, и их мнения определятся сами собой.

Я убежден, что нация может быть сохранена только через единообразное поведение, только путем строгого соблюдения свода ритуалов. Евреи диаспоры тотчас откололись бы, если бы они не чувствовали авторитета. Я должен сохранить за собой право авторитарного регулирования такого свода. Каждый может иметь свой индивидуальный взгляд на Ягве, но кто хочет при этом творить собственный ритуал, того я в общине не потерплю.

Лицо его вдруг преобразилось, исчез налет любезности, оно стало сильным, жестким; такие лица Иосиф видел в Риме, когда друзья его из любезных и либеральных господ внезапно превращались в римлян.

— Я выполняю завет Ибханана бен Заккаи, — продолжал верховный богослов, — и только. Я заменяю погибшее государство учением. Говорят, мой свод ритуалов националистичен. А как же иначе? Если государство нужно заменить богом Ягве, то бог Ягве должен примириться с тем, что мы защищаем его теми средствами, какими защищается государство, то есть политическими средствами, он должен мне разрешить сделать его национальным.

Мои коллеги говорят мне, что нельзя приказать отдельному человеку именно за два часа до заката солнца переживать благодать божию, да еще по предписанному тексту. Может быть, самая проникновенная молитва и должна быть чисто индивидуальной, не связанной ни с определенным временем, ни с определенной формой. И все же я предписываю всем пяти миллионам евреев молиться в один и тот же час и одними и теми же словами. Постепенно все большее число их научится не только произносить слова, но и ощущать их, и у всех будет чувство, что они народ единого бога, созданный по одному и тому же образу и подобию, исполненный одной жизнью и идущий одним путем.

Верховный богослов овладел собой, его суровость исчезла, он снова стал прежним вежливым, светским человеком. Он подошел к Иосифу совсем близко, положил ему руку на плечо, улыбнулся так, что среди бронзово-рыжей четырехугольной бороды блеснули крупные, редкие зубы.

— Извините меня, доктор Иосиф, — попросил он, — за то, что я произнес перед вами речь, словно вы мой зять, бен Измаил. Впрочем, поверьте мне, — поспешно добавил он, —

что никто так не любит и не уважает этого бен Исмаила, как я. И мне было не менее тяжело, чем ему, когда пришлось заставить его отречься от его дня очищения. Будь я на его месте, я был бы не в силах это сделать, признаюсь откровенно. Он достойнее меня. Как жаль, что он теоретик.

И когда Иосиф собрался уходить, он еще раз заверил его.

— Среди тех, кто толкует учение, бен Исмаил в данное время самый глубокий и самый ученый. Вы должны встречаться с ним как можно чаще, доктор Иосиф. Никто не изучал нашего Филона глубже и не понял его лучше, чем бен Исмаил. Даже Ахер, уже не говоря обо мне. Но у Филона есть фраза, которую я понимаю лучше, чем они оба.—Он засмеялся простодушно, искренне и процитировал: — «То, что не согласно с разумом, безобразно».

Когда Иосиф вторично пришел к верховному богослову, чтобы разделить с ним трапезу, он встретил, к своему удивлению, Иоанна Гисхальского. Значит, Ибанн действительно приехал в Ямнию, чтобы заставить опомниться этих оторванных от жизни теоретиков.

Верховный богослов улыбался.

— Я знаю, господа мои,— сказал он,— что вы тогда в Галилее друг с другом не ладили. Но с тех пор утекло немало воды в Иордане, и доктор Иосиф, наверно, успел с вами помириться. Прошу вас, говорите откровенно в его присутствии. Я, кажется, знаю, о чем вы намерены побеседовать, и я могу только пожелать, чтобы доктор Иосиф, вернувшись в Кесарию, передал губернатору этот разговор. Я не сторонник дипломатических секретов.

Тогда Иоанн Гисхальский устремился прямо к цели. Он считает, заявил он, что предложенный богословами бойкот римских земельных аукционов нелеп. Этот бойкот мыслится как протест и попытка отстоять свои права, так как правительство, уже четыре года назад заявившее, что война окончена, восстание ликвидировано и страна умиротворена, все еще продолжает выискивать участников восстания и конфисковать их земли. Такая аргументация убедительна. Но все-таки власть в руках римлян, и если даже богословы и не признают конфискации, то на практике это сводится к детски беспомощной демонстрации, последствия которой обращаются против тех же иудеев. Богословы могли бы с тем же успехом заявить, что они не признают разрушения храма. Бойкот иудеями земельных аукционов

приводит лишь к тому, что римляне и греки скупают земли по еще более низким ценам. К своим многочисленным заслугам перед еврейством верховный богослов прибавит еще одну, если убедит коллегию наконец стать на почву фактов, вместо того чтобы парить в облаках отвлеченного национализма.

— По-видимому, вы правы, господин мой, Иоанн, — сказал верховный богослов, поднялся, попросил остальных не вставать, принялся по привычке ходить взад и вперед. — Но вы же знаете умственный склад моих законников. Они упрямы, как козлы. И они действительно не хотят признавать разрушения храма. Чуть ли не на каждом заседании кто-нибудь произносит длинную речь относительно того, что потеря власти является только промежуточной стадией и что было бы ошибкой легализовать это временное состояние, то есть римское господство, сужением религиозных законов. А на следующем заседании с огромным напряжением умственных сил обсуждается вопрос о том, нужно ли и как именно регулировать жертвоприношение в Иерусалимском храме, хотя этих жертвоприношений уже не существует. А еще на следующем возникают бурные прения о разновидностях казни через побивание камнями, хотя мы лишены судебной власти. Но мои ученые-богословы находят, что если мы разрешим иудеям участвовать в аукционах, то тем самым признаем законность конфискации имений, а такое отношение являлось бы предательством Ягве и иудейского государства. Если я иногда позволяю себе мягко напомнить этим господам о том, что ведь государства-то *de facto* не существует, я вызываю их негодование. Для них достаточно, если оно существует *de jure*.

— Но ведь сирийцы и греки, — горячо заговорил Иоанн, — смеются над нами и скупают наши земли за гроши. Я говорю не о себе. Мне лично этот бойкот только выгоден, ибо я принимал участие в запрещенных аукционах, буду участвовать в них и впредь.

— Ради бога, — прервал его верховный богослов и рассмеялся, показав все свои крупные зубы, — я не должен этого слышать. Мне, разумеется, это известно. Ко мне беспрестанно поступают жалобы и требования подвергнуть вас отлучению. Но тут я становлюсь на точку зрения *de jure* моих богословов и отказываюсь считаться с фактом. Когда об этом заговаривают, я прикидываюсь глухим, я просто не слышу, а пока я не слышу, факта *de jure* не существует. — Высокий, статный, молодой, стоял он, смеясь, перед своими

гостями, прислонившись к дверному косяку.— На то я и деспот,— заметил он шутливо.

— Ну, так и будьте деспотом в полной мере,— стал вновь убеждать его Иоанн Гисхальский,— чтобы спасти страну от дальнейшего опустошения, которое ей грозит из-за отвлеченных теорий ваших богословов.

— Я очень рад,— уже серьезно заметил верховный богослов,— что вы пришли и в убедительных словах разъяснили мне положение дел. Я еще не вполне продумал вашу докладную записку. Вы приводите много цифр и статистических данных, заслуживающих серьезнейшего изучения. И я благодарен вам от всего сердца, что вы дали мне так много убедительных материалов. Боюсь, правда, что пройдет немало времени, пока я добьюсь отмены. Вы знаете, как обстоятельно работает моя коллегия. Каждому хочется десять раз изложить свою точку зрения и застраховаться перед самим собой, перед всем Израилем, перед богом. Если нам повезет, то мне удастся провести отмену постановления в течение года.

Однако пророчество верховного богослова оказалось чересчур мрачным. Непредвиденное обстоятельство дало ему возможность гораздо скорее аннулировать закон, который он считал столь губительным.

Было много разговоров о том, ради чего крестьянский вождь Иоанн Гисхальский приехал в Ямнию. Об этом услышал некий Эфраим, галилеянин, служивший во время Иудейской войны под началом у Иоанна. Он был ранен, попал в плен к римлянам, александрийские евреи выкупили его из лагеря военнопленных, откуда брали материал для гладиаторских игр. Этот Эфраим все еще продолжал придерживаться убеждений «Мстителей Израиля». Он не желал признавать владычества римлян. Предательство Иоанна, его измена идее, которую он раньше проповедовал, преисполнили Эфраима гневом. Он последовал за Иоанном в Ямнию, и однажды, вскоре после аудиенции у верховного богослова, когда Иоанн возвращался ночью домой, напал на него из-за угла и нанес два удара кинжалом в плечо. Прохожие спасли Иоанна, прежде чем Эфраим успел завершить свое дело.

Покушение крайне всех взволновало. До сих пор Флавий Сильва по поводу объявленного коллегией бойкота только ухмылялся, ибо, как он уже говорил Иосифу, этот бойкот лишь способствовал тому, что земля переходила в руки неевреев, и содействовал намеченной им латинизации страны. Но теперь ему уже нельзя игнорировать бой-

кот, ибо он являлся нарушением суверенитета римской власти. Таким образом, негодование, вызванное покушением Эфраима, и страх перед римлянами помогли верховному богослову провести отмену закона на кратком, но бурном заседании коллегии, состоявшемся две недели спустя после разговора с Иоанном.

Гамалиил сам посетил больного Иоанна, чтобы сообщить ему о состоявшемся решении. Галилеянин был слаб и говорил с трудом, но все же преисполнился большой радости. Он подшучивал над этим Эфраимом, ранившим его: римляне, должно быть, затратили немало денег и труда, чтобы сделать из парня хорошего борца, а теперь покушение показало, что его рука так же слаба, как и его мозги.

— И еще раз,— закончил Иоанн философически,— подтвердилось, что существует предопределение и премудрость судьбы. Без нелепого поступка Эфраима нелепый закон не был бы так скоро отменен. Откуда явствует, что в высшей степени неразумный поступок все же совершился в согласии с высшим разумом.

И пока он это говорил, вольноотпущенник Иоанн Юний думал о том, что нужно написать об этом Марулли и что подобный ход мыслей доставит тому удовольствие.

Ученые Хелбо бар Нахум, Иисус из Гофны и Симон, по прозвищу «Ткач», снова подняли в коллегии вопрос о том, какие взгляды следует отнести к категории «отречения от божественного принципа». Отречение от принципа, убийство и кровосмешение считалось у иудеев тягчайшими преступлениями, но отречение от принципа было самым страшным из них. До сих пор учение минеев рассматривалось как отклонение, коллегия опасалась распространять на это учение понятие «отречения от принципа», а дискуссии на столь щекотливую тему не пользовались популярностью. Только трое: Хелбо, Иисус и Симон Ткач продолжали все снова копаться в этой проблеме. И на этот раз остальные члены коллегии предоставили им говорить, но до настоящих прений дело не дошло, никакого запроса внесено не было, никакого решения не последовало.

Иосиф, помня разговор в Лидде, воспользовался нападками трех ученых, чтобы расспросить Гамалиила о его отношении к минеям.

— Учение минеев,— сказал верховный богослов,— не имеет ничего общего с политикой. Я не принимаю его в расчет. Эти люди думают, что мы, ученые, оставляем им

слишком маленький кусочек Ягве, и хотели бы по собственной мерке отхватить от него большую часть. Почему бы мне не доставить им этого удовольствия? Кроме того, к минеям идут люди, в огромном большинстве не пользующиеся никаким влиянием, мелкие крестьяне, рабы, и они не посягают на привилегию ученых — комментировать закон и устанавливать ритуал. Они занимаются догматическими вопросами, которые не имеют отношения к жизни, — мечтами. Это религия для женщин и рабов, — закончил он пренебрежительно.

Иосиф слушал его недоверчиво и удивленно.

— Вы спокойно предоставляете этим людям верить в их мессию? — спросил он. — Вы ничего не предпринимаете против их пропаганды?

— А почему я должен это делать? — спросил, в свою очередь, верховный богослов. — Однажды один из моих коллег предложил развернутый проект контрпропаганды. Согласно его плану, повсюду, где минеи проповедуют свое учение, им должны оппонировать с точки зрения разума наши странствующие проповедники. Он особенно рассчитывал на тот аргумент, что пророка минеев, Иисуса из Назарета, вообще не существовало.

— Ну и что же? — спросил с интересом Иосиф.

Верховный богослов засмеялся.

— Я, разумеется, выпроводил этого наивного господина вместе с его проектом. Разве можно выступать в народном собрании, в собрании верующих или жаждущих веры с доводами разума? То, что утверждают минеи, не имеет никакого отношения к разуму, оно по ту сторону разума, с помощью логических аргументов его нельзя ни оправдать, ни опровергнуть. Эти христиане не интересуются документальным подтверждением того, что Христос существовал. Так как они решили верить в него, то подобные доказательства им не нужны. Обратите внимание на этого человека, который теперь восстал в Сирии и заявляет, что он покойный император Нерон. Его приверженцы хотят верить, что Нерон жив, и вот он уже не мертв. Десятки тысяч следуют за ним, губернатору пришлось уже послать целый легион, чтобы с ним расправиться.

— Как странно, — размышлял Иосиф вслух, — что столько людей уклоняются от принятия вещей вполне очевидных и все же слепо верят тому, что явно не существует.

— Утверждать категорически, доктор Иосиф, — задумчиво заметил Гамалиил, — что этого Иисуса Назорея не существовало, нельзя. — И в ответ на удивленный взгляд

Иосифа он нерешительно продолжал: — Вы помните процесс, который вел первосвященник Анан против лже-мессии Иакова и его товарищей?

— Конечно, помню, — отвечал Иосиф. — Сам по себе этот случай малоинтересен, и я думаю, что первосвященника тогда интересовал вовсе не лже-мессия; ему хотелось воспользоваться промежутком между смертью Феста и назначением нового губернатора, чтобы восстановить автономию религиозного еврейского суда.

— Было бы лучше, — сказал верховный богослов, — если бы он не пытался этого делать.

— Да, — согласился Иосиф, — его попытка не удалась, и первосвященнику пришлось дорого за нее поплатиться.

— Я имею в виду не это, — медленно, с необычной для него нерешительностью произнес верховный богослов. — Но чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь: без этого процесса мессии минеев не существовало бы.

— Вы, наверно, были еще мальчиком, — соображал Иосиф, — когда разбиралось это дело.

— Да, — отозвался верховный богослов, он продолжал говорить медленно, — но дело мне известно. Когда первосвященник посвятил меня в тайну имени божьего, он разрешил мне ознакомиться и с этими протоколами.

— Не расскажете ли вы мне обо всем этом подробнее? — попросил Иосиф. В нем проснулся интерес историка, а нерешительность обычно столь живого и уверенного Гамалиила только подстрекала его.

Верховный богослов колебался.

— Я еще ни с одним человеком не говорил об этом, — ответил он задумчиво. — Имеет ли смысл расследовать вопрос о возникновении веры минеев? Это ни к чему не приведет. — И полушутя, полусерьезно процитировал заключительные стихи из «Кохэлета»: — «Сверх всего этого, сын мой, прими наставление: составлять много книг — конца не будет, и много читать — утомительно для тела».

Иосиф, охваченный еще большим любопытством и все же смущенный колебаниями Гамалиила, продолжал пытаться:

— Зачем цитируете вы эти стихи? Вы же знаете, что они подложные? И разве вы такого низкого мнения о науке?

— Я не хотел вас обидеть, — примирительно ответил верховный богослов. — И, вероятно, было бы лучше, если бы мы забыли об этом несчастном процессе.

— Но раз уж вы заговорили о нем...— продолжал настаивать Иосиф с возрастающим любопытством и смущением.

— Я думаю,— решил наконец Гамалиил,— что падение храма снимает с меня обязанность хранить тайну, и я имею право поднять перед вами завесу того, что происходило тогда.

— Этот Иаков,— начал он свой рассказ,— проник вместе со своими товарищами в храм — был ли среди них некий Иисус, я уже теперь не помню,— и изгнал торговцев жертвенными предметами. Он сослался на то, что, согласно словам пророка, во время пришествия мессии в доме Ягве не должно быть ни одного торговца и что мессия — он. В подтверждение этого он назвал при всем народе тайное имя божие, произносить которое разрешено только первосвященнику, да и то в день очищения. И когда он остался цел и невредим и никакой огонь с неба не поразил его, многие убежали в страхе, многие поверили в него.

— Это я помню,— сказал Иосиф, когда Верховный богослов умолк,— и первосвященник Анан приказал арестовать его и привлечь к суду. Но больше я ничего не знаю. Так как это был процесс о богохульстве и так как свидетели должны были произнести там имя божие, то дело слушалось при закрытых дверях. Я знаю только конец, когда суд приговорил этого Иакова и его товарищей к смерти и их побили камнями.

Иосиф умолк и, странно взволнованный, ждал, что ему расскажет дальше Верховный богослов.

Гамалиил медленно, неохотно, как бы все еще сомневаясь в своем праве разглашать то, что ему было известно, продолжал:

— Согласно протоколу, было так: когда первосвященник Анан спросил Иакова: «Действительно ли, как ты утверждаешь, ты мессия, едиnorodный сын божий?» — то обвиняемый вместо ответа еще раз выкрикнул тайное имя божье прямо в лицо священнику. Но это и было ответом, ибо имя это означает, как мы знаем: «Я есмь!» И тогда священники и судьи испугались в сердце своем и встали, как того требовал закон при подобном богохульстве, и разодрали на себе одежды. В свидетелях не было нужды. Пророк повторил свое богохульство судьям в лицо.

Гамалиил дал Иосифу время обдумать его сообщение. Иосиф же вспомнил о том, что читал миней из деревни Секаньи в доме Ахера. Значит, все это не только празд-

ная болтовня; как видно, правда и вымысел здесь тесно сплетены.

— Это был последний процесс против лжемессии, — продолжал верховный богослов, он говорил теперь оживленной, свободной. — За многие десятки лет это был единственный процесс в таком роде, и лучше было бы, если бы он не состоялся вовсе. А теперь сопоставьте такие данные, — предложил он Иосифу. — Некто, выдавший себя за мессию, был распят губернатором Пилатом как царь Иудейский — это факт, и факт, что другой такой же Христос был казнен нами. Имеет ли при подобных обстоятельствах смысл спорить с минеями о том, верен ли в деталях рассказ о жизни и страданиях мессии? Он не настолько точен, как донесение римского генерала, но это они знают сами. И мне кажется, для них суть не в этом. — И он деловито резюмировал: — Пусть эти христиане верят, во что хотят. Я предоставляю каждому иметь свою личную точку зрения на Ягве и на мессию, пока он не нарушает свода ритуалов. Минеи выполняют ритуал; я не знаю ни одного случая, чтобы они уклонились от этого. Успокойте же своих друзей, — закончил он, улыбаясь, — я не вижу никакого повода выступать против христиан. Пока они не трогают моего устава, я не трону их.

Иосиф рассказал в Лидде о своем разговоре с верховным богословом. При этом присутствовал и Иаков из деревни Секаньи.

Ханна нашла заверение верховного богослова вовсе не утешительным.

— Я знаю брата, — сказала она, — он искренний лицемер. Все, что он говорит, — всегда правдиво, но правдиво только на словах. Он так выбирает слова, чтобы оставить за собой свободу действия. «Кто не трогает устава, того и я не трону». Ну, а что, если он настолько сузит устав, что тронуть придется? Разве мы не знаем таких примеров? Он великодушен, он предоставляет богословам и мирянам свободу мнения, но лишь потому, что не имеет пока еще власти ее отнять. Когда он решит, что время настало, он заявит, что христиане покушались на устав, и отнимет свободу мнений.

Бен Измаил длинной рукой разгладил брови под мощным лысым лбом.

— Ах, Ханна, — сказал он, — для тебя всегда все просто! Гамалиил вовсе не лицемер, я этого не думаю. Во всех

его поступках одна цель — это Израиль, и только. Он говорит: «Ягве — единственное наследие Израиля; если Израиль его потеряет, если слишком легкомысленно покажет его другим и даст похитить его у себя, что же тогда останется?» И поэтому Гамалиил ревниво стережет своего, нашего Ягве. Правда, он лишает учение его глубины. Но так он понимает свою миссию, и для этой миссии он вполне подходящий человек.

Миней Иаков сказал:

— Мне кажется, Ханна права, и я считаю, как и она: слова верховного богослова сомнительны. Мы — иудеи, мы добросовестно выполняем устав ритуалов, мы общаемся с другими и будем общаться. Но что, если к нам придет неиудей и скажет: «Я хочу перейти в вашу веру»? Можем ли мы преградить ему путь к нам, потому что римляне запретили обрезание? «Отложи свое обрезание, пока римляне не разрешат его»? Разве может верховный богослов потребовать, чтобы человека, пришедшего к нам, мы лишили благовестия? Дела важны, но не менее важна и вера. Не лучше ли допускать и язычников, не соблюдая устава ритуалов, чем исключать их? — И так как бен Исмаил не отвечал, то он прибавил: — Даже нищие духом чувствуют, что недостаточно, если Ягве будет богом одной только нации. Поэтому-то они и приходят к нам. Народу нужно не богословие, ему нужна религия. Народу нужна не иудейская церковь, он ищет иудейского духа.

— Это так, — сказала Ханна.

— Да будет так, — сказал Ахер.

Но бен Исмаил молчал, и Ахер стал смеяться над ним:

— От Гамалиила вы требуете столь малого, доктор и господин мой, а от нас столь многого. Если верховный богослов прав, то почему и мы не довольствуемся тем, чтобы охранять нашего Ягве? Почему мы берем на себя великий и горький труд сделать его богом всей вселенной?

— Потому, — возразил бен Исмаил, — что мы менее сильны и менее хитры, чем Гамалиил, но, быть может, мудрее. Ему надлежит возводить стены, а нам — врата. Он стережет закон, чтобы в него не проникло никаких лжеучений, мы должны заботиться о том, чтобы доброе не оставалось замкнутым, но изливалось наружу и распространялось среди людей. Я не могу отказаться от Израиля, и я не могу отказаться от мира. Бог хочет того и другого.

Он говорил горячее, чем обычно, почти с болью.

Иосиф заговорил медленно, ибо мысли рождались в нем по мере того, как он произносил слова:

— Я не совсем понимаю вас, брат и господин мой. Вы говорите, что средства, применяемые верховным богословом, чтобы сохранить иудаизм, правильны. Но если иудаизм примет тот облик, который ему хочет придать Гамалиил, разве этот облик не станет только национальным, себялюбивым, враждебным миру? Вы говорите, что у нас есть некое «и». Боюсь, что если Гамалиил возьмет верх, то у нас останется только «или»: Иудея или вселенная. И не лучше ли, до того как иудаизм станет тем, что из него может сделать Гамалиил, сказать миру «да», а Иудее — «нет»? — И он смело довел до конца эту мысль, которую все боялись довести, и произнес вслух: — Не лучше ли тогда пожертвовать нашим иудаизмом ради того, чтобы быть гражданами всего мира?

Ошеломленные, они молчали. Затем Ахер первый резко произнес:

— Нет!

И еще горячее — Ханна:

— Нет!

И «нет» сказал бен Исмаил. И «нет» сказал в конце концов, правда нерешительно, даже миной Иаков.

Через минуту Иосиф спросил:

— Почему же нет?

Бен Исмаил ответил:

— Я не вижу иного пути к наднациональному, кроме иудаизма; ибо бог Израиля не есть национальный бог, подобно богам других народов, но бог невидимый, сам мировой дух, и настанет время, когда этот лишенный образа дух не будет нуждаться ни в какой форме, чтобы люди могли постигать его. Но чтобы сделать его хоть скольконибудь постижимым, мы должны пока придать ему известную форму, и Ягве без иудаизма пока не представим. Иначе он меньше чем через поколение исчезнет, превратится в ничто. Разве не лучше, если мы временно придадим Ягве национальные эмблемы, чем позволим исчезнуть его идее? Не в первый раз вселенская идея иудаизма вынуждена скрываться под неуклюжей национальной маской. Средства, применявшиеся, например, Ездрой и Неемией, чтобы сохранить иудаизм, в высшей степени сомнительны. Но их обман был священен, и их успех показывает, что бог одобрял их. Священное писание обременено многим, что служило только тактическим задачам минуты; но лишь таким способом могло быть спасено самое существенное — идея

наднационального. Я считаю даже, что многое, казавшееся смешным в национализме прошлого, теперь восстает перед нами облагороженным великой идеей наднационального.

— Вы защищаете Гамалиила,— сказал Ахер, и в его словах была скорее печаль, чем упрек.

— Приходится,— сказал бен Исмаил,— так как вы чересчур на него нападаете. Мы не должны уничтожить национальной традиции; вместе с телом, воплощающим идею, погибнет и сама идея. Нам кажется противоречием, что наднациональный дух может быть передан людям только в национальном облики; тем не менее это так. Вы как историк должны меня понять, доктор Иосиф,— настойчиво обратился он к Иосифу.— Кто бы из нас ни обратился к истории наших предков, он чувствует, как оттуда к нам притекают новые силы, берущие начало вне нашей индивидуальной жизни, наших индивидуальных мнений, и эти силы больше чем национальны; ибо история иудаизма есть история борьбы, которую духовное начало непрерывно ведет с недуховным, и кто приобщается к истории иудеев, тот приобщается к самому духу. Если мы трижды в день исповедуем нашу веру в иудейского бога, то мы трижды в день исповедуем духовный принцип: ибо Ягве есть дух в себе.

Миней Иаков сказал:

— Я допускаю, что даже чистейший дух нуждается в форме. Но то, что вы говорите, доктор бен Исмаил, скорее подтверждает мои слова, чем их опровергает. Разве из того, что вы говорите, не вытекает наша обязанность принимать именно тех, кто хочет приобщиться духу? Имеем ли мы право отказывать им только потому, что римляне запретили обрезание, только потому, что сделали для нас временно невозможным придать духу телесную форму? Мне казалось, что именно вы, доктор бен Исмаил, должны были бы понимать тот выход, который указывает один из наших братьев, некий Павел.

— А какой же выход предлагает этот Павел? — спросил бен Исмаил.

И миней Иаков ответил:

— Этот Павел учит: для рожденного в еврействе обрезание остается обязательным. Но если к нам хочет прийти язычник, братья мои, тогда откажитесь от обрезания.

— Опасная точка зрения,— сказал бен Исмаил.

— Правильная точка зрения,— сказал Ахер.

— Точка зрения, — сказала Ханна, — из которой верховный богослов непременно сделает определенные выводы, если вы попытаетесь осуществить ее на практике.

Иосиф же, который не произвел обрезания над своим сыном, не знал, соглашаться ему с этой точкой зрения или отрицать ее. Хорошо, что существует такой Гамалиил, но хорошо и то, что существуют миней Иаков, и Ахер, и служащий звеном между ними и верховным богословом бен Измаил.

Иосиф покинул Ямнию и Лидду и отправился в Кесарию, так и не решив, ходатайствовать ему об университете в Лидде или нет.

В Кесарии Флавий Сильва встретил его шумными выражениями дружбы и долго во всех подробностях расспрашивал о впечатлении, которое на него произвела провинция Иудея. Иосиф многое хвалил, но многое и порицал. Видимо, это почти вынужденное признание больше всего обрадовало Флавия Сильву.

Губернатор был в хорошем настроении. У его коллеги в Сирии возникали все большие трудности с Лженероном. Для подавления беспорядков ему нужны были солдаты и деньги, а в Риме уже начинали удивляться тому, что он так долго не может расправиться с этим смехотворным претендентом на престол. В сожалениях Флавия Сильвы по поводу столь печальных обстоятельств было нетрудно уловить удовольствие, которое ему доставляла неудача коллеги.

Он предложил своим еврейским гостям сопровождать его в давно задуманную инспекционную поездку по Самарии. Ему прежде всего хотелось показать свой город, Неаполь Флавийский.

И можно было действительно удивляться, видя, во что превратился за несколько лет прежний захудалый самарянский городок Сихем. Губернатор наслаждался восхищением еврейских гостей, был весел, очень прост. Иосиф понял, что настала подходящая минута действовать в интересах евреев. Теперь нужно было поднять вопрос об университете в Лидде.

Будучи хорошим психологом, он отлично знал, с какой стороны за что приняться. Он мог, например, изобразить губернатору значение, которое получила бы его провинция, если бы у них был университет, где преподавались бы одновременно греческие и еврейские дисциплины. Высшая

школа в Антиохии, до сих пор крупнейшая в Азии, мало интересовалась потребностями евреев и не считалась со стремлением Востока изучать иудаистское мировоззрение. Современный университет, который пошел бы навстречу этим потребностям, быстро опередил бы Антиохию и стал бы культурным центром всего Востока. Он привлек бы толпы богатых молодых людей со всего мира в эту провинцию. Аргументы подобного рода едва ли не оказали бы своего действия на губернатора.

Но когда Иосиф собрался заговорить с Флавием Сильвой об университете в Лидде, перед его умственным взором вдруг возникло энергичное загорелое лицо Гамалиила с короткой четырехугольной бородой и выступающими зубами, и он услышал властные и циничные фразы верховного богослова относительно свода ритуалов, который один только мог сохранить еврейство как целое. И когда Иосиф после этого заговорил, то, к своему крайнему удивлению, понял, что говорит не о городе Лидде и его университете, но о городе Тамне и городском советнике Акибе.

И пока он говорил, он уже досадовал на себя и бранил себя за то, что уклоняется от высокой задачи и пользуется благоприятной минутой, чтобы ходатайствовать о таком ничтожном деле, как дело Акибы.

Впрочем, он говорил без всякого подъема, и потому губернатору было нетрудно отклонить его просьбу.

— Кто позволяет себе роскошь, — заметил спокойно Флавий Сильва, — показывать свои чувства с такой несдержанностью, как ваш Акиба, тот должен быть готов заплатить за это. Если я отпущу этого субъекта, то через полгода вы оплуете все указы правительства, а через два года разобьете мне на площадях каменные доски с указами.

Однако, обычно столь верный своим принципам, губернатор в деле Акибы скоро сдался. Причиной этой перемены был жеребец Виндекс. Жеребец должен был участвовать в бегах на открытии стадиона в Неаполе Флавийском, но при разгрузке корабля в Яффе он погиб. Весть об этом дошла до губернатора в Неаполь Флавийский вскоре после разговора с Иосифом. Губернатор был взбешен. Эта неудача лишала его главного аттракциона на праздничных играх. Он тотчас отдал приказ предать распятию тех рабов, которым была поручена выгрузка лошади; но от этого программа празднеств не обогатилась. Он должен, должен был найти нечто заменяющее жеребца Виндекса. И он возвратился к своему прежнему плану — убедить Деметрия

Либания, до сих пор упорно сопротивлявшегося его настойчивым приглашениям, все же, чего бы это ни стоило, выступить в его провинции. И вот за ужином в присутствии Иосифа он снова заговорил о деле городского советника Акибы, еще раз повторил все доводы против его помилования, а затем неожиданно перешел в решительное наступление.

— Но я не хотел бы, — подбирался он к своей цели, — чтобы евреи считали меня своим врагом. Мне хотелось бы прежде всего показать вам, господа мои, насколько я ваш друг. От вас будет зависеть, Деметрий, спасти этого Акибу. Докажите мне на деле свою дружбу, и я вам докажу свою. Примите участие в моих празднествах, и я подарю вам жизнь вашего сдиноверца.

Либаний побледнел. Желание показать провинциалам, что такое настоящий художник, уже давно соблазняло его, но он мужественно боролся с этим соблазном. Он не хотел нарушать обета, хотел отказаться ради Ягве от своего искусства, и разве не в тысячу раз больший грех выступать на сцене в стране Израиля, да еще во время покаянного паломничества? Но это предложение опрокинуло все его доводы. Теперь речь шла уже не о нем, но о жизни другого человека, о его единоплеменнике, за которого боролся весь Израиль. Что это, указание Ягве или опять искушение сатаны? Как бы то ни было, предложение означало новую борьбу с собой.

— Может быть, мне сыграть еврея Апеллу? — с горечью спросил он.

Но только Иосиф понял всю горечь этих слов. Губернатор был несведущ в театральных делах и тотчас же, придравшись к его словам, радостно и наивно заявил:

— Все, что хотите, Деметрий. Играйте все, что вы хотите!

Однако этот ответ приблизил его к цели гораздо больше, чем он ожидал; ибо этот ответ обрушил на актера целую лавину соблазнительных планов. Губернатор предоставил ему сыграть все, что он захочет. Что, если он еще раз попытается выступить в роли Лавреола? Может быть, ему удастся обходным путем, через провинцию, добиться успеха в Риме и загладить ужасный провал в Альбане? Очевидно, это воля Ягве, чтобы он играл в стране Израиля. Разве иначе Ягве поставил бы жизнь еврея Акибы в зависимость от его выступления? Вероятно, Ягве при его посредстве хочет показать язычникам, на что способны евреи, и тем вызвать у них большее уважение и мягкость в отношении

всего еврейства. Вот какие мысли и грезы беспорядочно толпились в мозгу актера, пока он наконец милостиво и величественно не заявил:

— Трудно устоять перед таким ретивым поклонником искусства, как вы, господин губернатор. Может быть, я и решусь сыграть пирата Лавреола. Знаете, я играл его для его величества и принца Домициана на открытии «театра Луции».

Сильва, конечно, ничего не знал.

— Это было бы замечательно,— воодушевился он.

— Я подумаю,— сказал Либаний, прикидываясь побежденным.

Иосифу же было стыдно, что он так и не поговорил об университете в Лидде, и он не осмелился даже в душе посмеяться над актером.

Вскоре после этого губернатор спросил у Иосифа его мнение о верховном богослове. Сам он чрезвычайно ценил Гамалиила. Вот это человек, с которым можно говорить начистоту, без обиняков. Он хитер, знает, чего хочет, всегда практичен: он заслуживает того, чтобы стать римлянином. И в том, что он этого не желает,— его единственная ошибка. Тут обнаружилось нечто, что еще усилило восхищение Иосифа перед мудростью верховного богослова. Оказалось, что губернатор предложил Гамалиилу сделать его римским гражданином и добыть для него золотое кольцо знати второго ранга. Но Гамалиил вежливо и решительно отклонил это предложение и, кроме того, скрыл его от своих иудеев, иначе Иосиф узнал бы о нем от бен Измаила или Ахера. Верховный богослов поступил умно, пожелав остаться только иудеем, но еще умнее было то, что он не хотел раздражать римлян публичным отказом и даже не сказал иудеям о представившейся возможности получить римские почести. Иосиф сознался себе, что он на месте Гамалиила не устоял бы перед соблазном хотя бы рассказать о своей непреклонности.

Вопрос Флавия Сильвы об отношении Иосифа к верховному богослову имел свои основания. Гамалиилу, сообщил он, будет скоро предоставлен случай доказать свою прославленную практичность. Он, губернатор, вынужден будет поставить верховного богослова перед трудной проблемой. Надежда на то, что иудеи после закона об обрезании наконец дадут ему покой и прекратят свой несчастный прозелитизм, к сожалению, не осуществилась. Напротив, за

последнее время они пытаются еще усерднее, чем раньше, совращать в свою веру сирийцев, греков и римлян; странствующие проповедники усердствуют и вызывают всеобщее возмущение. До сих пор еще не представилось юридического повода прибрать к рукам этих господ, ибо они, конечно, остерегаются предлагать своим слушателям обрезание, а еврейская религия как таковая разрешена. Но теперь ему сообщили, что нищенствующие пророки отнюдь не правоверные евреи, они принадлежат к какой-то новой сомнительной секте, последователей которой называют минеями, или христианами. Правда, они сами это яростно оспаривают и утверждают, что еврей останется евреем, фарисей он или миней, совершенно так же, как мальтийский шпиц может быть с равным правом назван собакой, как и молосский дог. Еврейские законники до сих пор занимались по этому вопросу только скучной богословской болтовней, не говоря ничего конкретного, ни «да» ни «нет». Но с него, Флавия Сильвы, хватит. И поэтому он теперь официально предложил верховному богослову и коллегии в Ямнии высказаться ясно и точно относительно того, считать ли минеев евреями или нет.

Иосиф был поражен. До сих пор Ямния была к минеям чрезвычайно терпима, хотя большинство богословов относилось к ним, по существу, весьма отрицательно. Но если Рим предложит коллегии отречься от христиан, то устоят ли богословы под этим двойным давлением и не отмежуются ли от своих опасных, враждебных государству попутчиков? Они наверняка сделают это.

Особенно потрясло Иосифа то, что слова Ханны так скоро сбылись.

Он торопливо и мучительно обдумывал, есть ли какой-нибудь путь, чтобы отклонить опасность, угрожавшую минеям. И увидел, пока губернатор еще говорил, что путь только один. У минеев было мало друзей среди членов коллегии, но их голоса все же имели вес. Они потому не могли взять верх, что за ними не было никакого признанного государством авторитета. Что, если им создать этот авторитет? Пусть признанный Римом университет в Лидде выскажется за минеев, тогда в Ямнии едва ли осмелятся подчеркнуть своим заключением о минеях, что раскол среди евреев коснулся даже идеологических руководителей.

Если можно сохранить иудейство, только сделав его национальным и отказавшись от его космополитической миссии, то следует ли вообще его сохранять? Этот во-

прос, казавшийся в Лидде еще смутной, далекой теоретической проблемой, вдруг приобрел угрожающую актуальность. Высказаться за минеев - значило вызвать рассерженный Рим на репрессии. Если же отречься от минеев, то еврейский народ еще строже и еще надменнее обособится от остального мира. Вопрос о том, будет ли Иосиф ходатайствовать теперь за университет в Лидде или нет, приобрел огромное значение. Губернатор считается с ним, ситуация сейчас благоприятная, его аргументы должны звучать для такого человека, как Флавий Сильва, убедительно.

Вся та смутная жажда религии, которая жила в Иосифе, побуждала его вступить за минеев, за бен Измаила, за Ахера. Но в нем звучал и ясный голос Гамалиила: «Что не согласно с разумом, то безобразно». Цель, парившая перед умственным взором бен Измаила и Ахера, была неразумна. Если она и достижима через тысячу лет, сейчас она является утопией, и гнаться за нею значило бы ставить под угрозу существование всего еврейства. Тот, кто признает, что мессия уже пришел, кто отказывается от надежды на восстановление храма, предает всю еврейскую традицию. Если Иосиф будет ходатайствовать за университет в Лидде, то он принимает разрушение Иерусалима и храма как нечто данное раз и навсегда и сам выключает себя из царства грядущего мессии.

Иосиф промолчал. Он не заговорил об университете в Лидде. Он не знал, что сам Гамалиил, через посредников, побудил губернатора поднять перед Ямнией вопрос о минеях.

Иосифа снова влекло на юг. Сначала он отправился в свое имение. Ему хотелось до встречи со своими друзьями в Лидде и Ямнии спокойно обдумать, что ответить им на вопрос: «Почему ты нас покинул?»

Едва он прожил в имении два дня, как прибыл неожиданный гость: Юст из Тивериады.

Иосиф не видел его шесть лет. Но не было на свете человека, с которым он был бы так связан и к которому относился бы так враждебно. Он вел с ним вечный спор, объяснение, начавшееся шестнадцать лет тому назад в Риме, когда они встретились впервые, объяснение, которое не было кончено и которое составляло смысл его жизни. И всегда в этом объяснении Юст был нападающим, он преследовал Иосифа насмешкой и злобой, пронизывал не-

навидящим взглядом, и Иосиф, со своей стороны, тоже ненавидел этого человека, так хорошо знавшего его слабости и так безжалостно их вскрывавшего; но жил он только для того, чтобы показать этому человеку, кто он, Иосиф; и если он дважды спас Юсту жизнь, сняв его даже один раз с креста, то это не было удовлетворительным ответом, на этом их объяснение не закончилось. Однако и Юст отнюдь не стал уступчивее, наоборот, когда все прославляли книгу об Иудейской войне, он назвал ее двусмысленной, лживой, поверхностной и принялся писать другую, чтобы ее вытеснить. Все эти годы Иосиф ждал продолжения их диалога. Но сейчас, когда этот человек внезапно перед ним предстал, он испугался, как маленький мальчик, которого неожиданно вызвал учитель и который не знает, что отвечать.

Многословно, желая скрыть свою тревогу, приветствовал он гостя, а тем временем сам всматривался, сначала украдкой, затем все смелее, в это желтое лицо. Юсту было, как и ему самому, сорок три года, и когда они шестнадцать лет тому назад впервые встретились в Риме, то были поразительно похожи друг на друга. Теперь это сходство исчезло. Лицо Юста стало жестче, суше, морщинистее, его желтизна переходила в сероватость. Он был без бороды, тщательно выбритый, голова его сидела на ужасающе тонкой шее. Юст выглядел старым, истрепанным; он держался очень прямо, но было видно, какого труда ему это стоит. Тогда, после снятия с креста, пришлось ампутировать его левую руку выше локтя, и Иосиф невольно искал глазами культю.

Во время трапезы Юст был молчалив и почти не приглядывался к тем вкусным кушаньям, которые Иосиф велел подать. Он был в курсе решительно всего, что Иосиф за весь этот промежуток времени делал и переживал. Юст язвительно заметил, что Иосиф остался последовательным в своей непоследовательности и решительно пошел дальше своим извилистым путем. Очевидно, не без успеха. Окончившаяся победой борьба за его сына Павла необычайно напоминает его победоносную борьбу за трех старцев, спасенных им некогда с помощью императрицы Пoppей. Похожи и последствия. Тот же характер, очевидно, порождает те же ситуации и ту же судьбу. И Юст захихикал, — неприятная привычка, приобретенная этим раньше столь выдержанным господином лишь за последние годы.

Презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи,

наступала ночь, принесли светильники, а они все еще спрашивали, и Послушный неустомимо отвечал им.

Когда они наконец отпустили его, Иосиф предложил Юсту немного пройтись. Юст согласился, они вышли; ночь была теплая, и Иосиф находил, что его несговорчивый друг в необычайно размягченном настроении. Он решил использовать это настроение, чтобы побеседовать о мучивших его вопросах.

Они сели на край водоема. Смутен был свет месяца в первой четверти, плывшего по мглистому сине-черному небу, время от времени доносился сквозь ночь отрывистый крик птицы. Иосиф открыл Юсту свое сердце, свои сомнения, свою смятенность. Вот неученые, нищие духом, вдруг требуют, чтобы и им дали приобщиться к Ягве и к религии, как и образованным. Имеют ли они право это требовать? Идти ли навстречу их требованиям? С одной стороны, на него влияют терпимость бен Измаила и насмешливые нападки Ахера, с другой — подсказанные реальной политикой доводы Гамалиила. Да, Иосиф спрашивает себя иной раз вполне серьезно: может быть, вся его ученость, весь его добытый с таким трудом научный метод — это просто дым, и не обладают ли люди, подобные минею Иакову или даже этому Послушному, благодаря своей вере и своей интуиции более глубоким познанием Ягве и мира?

Юст был одет по-летнему, он был страшно худ, и обрубок его руки с сухой, сморщенной кожей безобразно торчал из-под хитона. Так сидел он на краю колодца, рядом с Иосифом, тощий, худой, озаренный неверным светом.

— Ах, Иосиф, — сказал он и захихикал, но на этот раз в его насмешке не было горечи, — не беспокойтесь об этом. Даже ваша ученость, хотя она мне и не кажется особенно глубокой, стоит большего, чем возникшее из «благочестивого видения» знание вашего раба или вашего минейского чудотворца. Не раз пытался я извлечь из этой пресловутой неиспорченной души профанов хоть какое-нибудь познание, но, несмотря на всю объективность моих исследований, интуиция профанов меня никогда ни к чему не приводила. Если нужно смастерить стол, построить деревенский дом или вылечиться от запора, можно обойтись обычным человеческим рассудком; но если я хочу иметь настоящий письменный стол, то, поверьте, я пойду к искусному столяру, и если я хочу иметь хороший дом, то я пойду к архитектору, и если у меня гангрена, то я пойду к хирургу. Не вижу, почему я должен за более глубоким познанием

Ягве непременно обращаться к нищим духом, а не к специалистам, изучавшим книги Ягве. Я не могу примириться с теми, кто ополчается на интеллект и восхваляет интуицию. Ведь не с помощью же интуиции открыл Пифагор, что сумма квадратов катетов равняется квадрату гипотенузы, и, положись инженер Сергей Ората на свою интуицию, вероятно, центральное отопление никогда не было бы изобретено. Если быть рационалистом — значит предпочитать богатых духом нищим духом, то я рационалист.

Юст машинально дергал цепочку, приводившую в движение колесо водоема. Вдруг раздался такой громкий скрип, что он испуганно выпустил цепочку из рук. Потом сел поудобнее и продолжал тихим, но внятным голосом:

— Наши праотцы были немногочисленны, они странствовали в пустыне, оседлая жизнь была им неведома, они сражались с дикими зверями, с трудностями сурового климата, они убивали друг друга, у них было мало времени на исследования, им поневоле приходилось прибегать к интуиции. Но с тех пор мы размножились, мы научились жить в деревнях и городах, мы нашли методы познавать логическим путем неоспоримые факты. Теперь интуиция нам больше не нужна, у нас есть наука. И я рад, что мы живем в эпоху городов и более сложных общественных связей, меня не тянет обратно в пустыню, к временам интуиции пророков. И если в наши дни кто-нибудь выдает себя за пророка, я его считаю или шарлатаном, или дураком, и если кто-нибудь пытается противопоставить недоказуемую интуицию моим доказуемым фактам — я раздражаюсь. Я рассматриваю людей, пытающихся запретить мне мыслить, как своих врагов. Я не вижу, почему человек, обладающий рассудком, менее способен познавать бога, чем тот, кто его не имеет.

За последние недели духовное высокомерие Иосифа испытало немало щелчков; слова Юста действовали на него благотворно, ему хотелось, чтобы тот говорил еще. Он сказал:

— Вы не хотите понять, Юст, к чему стремятся эти люди. Они считают, что человек, если только он в достаточной мере углубится в себя, будет вдыхать бога, как воздух; они считают, что чрезмерное доверие к собственному знанию как бы заковывает сердце в броню, оно замыкается и уже не может принять бога, когда он приходит. Я знаю очень образованных людей, изошрившихся в методах логического исследования, которые, однако, не гнушаются учиться у минеев.

Ночь была так тиха, что резким звуком казался даже легкий хруст ветки, голубоватый мрак был еще темнее от множества смутно мерцающих насекомых.

— Эта песенка давно мне знакома,— захихикал тощий Юст.— Назад, в пустыню, прочь от цивилизации, прочь от мышления, назад, к чистому видению,— тогда вы найдете бога. Все те, кому бог отказал в способности суждения, вдохновенно проповедуют подобные вещи. Но те, кто проповедуют их и в то же время не лишены способности мыслить, из трусости становятся предателями духа, потому что они боятся собственных познаний.

Помолчав немного, Иосиф продолжал. В том состоянии двойственности, которое его сейчас особенно угнетало, ему действительно хотелось услышать именно мнение Юста; ибо из всех людей только его признавал он правомочным судьей.

— Недавно,— сознался он, и его голос прозвучал непривычно мягко и нерешительно,— от меня зависело сделать для минеев нечто чрезвычайно важное. Я этого не сделал. Иногда мне кажется, что это было ошибкой; иногда мне кажется, что я не должен был уклоняться от этого.

Он боязливо ждал, словно все для него зависело от ответа Юста. Но тот рассмеялся и сказал почти добродушно:

— Вы глупец, Иосиф. Что вы в данном случае уклонились, это ваш первый разумный поступок за всю жизнь.

Иосиф обрадовался, что тот оправдал его, он чувствовал себя счастливым и очень расположенным к Юсту.

Но Юст продолжал. Надменно, сурово, резко звучал его голос в теплом ночном воздухе:

— Нет, мой милый, не ждите ничего от плоскогрудой, хилой доктрины минеев. Их учение рассчитано только на слабых. Нетрудно надеяться на сладостную загробную жизнь, которую можно заслужить одной только верой. То, что один пострадал за всех и остальные освобождены от своей доли обязательного страдания, кажется мне слишком дешевым. И насколько проста догма минеев, настолько же заносчива их мораль. И мы хотим немало. Требование относиться без ненависти к своему ближнему — суровое требование; но все же большим напряжением воли это можно в себе воспитать. Но подставлять левую щеку, когда вас бьют по правой,— это сверхчеловечно, нечеловечно и поэтому обречено оставаться лишь отвлеченным теорети-

ческим идеалом. Нет, Иосиф, не говорите мне об удобной мудрости неделания и отречения.

— И все же вы должны согласиться, Юст,— возразил после паузы Иосиф,— что среди иудеев, не считая нескольких эллинистов, в настоящее время минеи — единственные, кто еще придерживается космополитических тенденций Писания.

— Универсализм этих людей,— пренебрежительно возразил Юст,— это дешевый товар, как и все, чему они учат. Они отдают за универсализм великие, мощные традиции иудаизма, всю его ставшую духом историю. Всемирное гражданство должно быть завоевано. Нужно сначала испытать, что такое национализм, чтобы понять, что такое космополитизм. И если выбирать между законниками и минеями, я предпочту законников. Пусть их хитроумный узкий национализм отвратителен, но они, по крайней мере, не сдаются, они борются. Они требуют, чтобы мы жили в ожидании активного, грозного мессии, приход которого, кроме того, зависит от нашего собственного поведения, могущего ускорить его или замедлить. Минеи же ограничиваются тем, что просто отказываются. Задача состоит в том, чтобы не закоснеть в национализме и вместе с тем не раствориться в бесцветной гуще человечества. Ученые этой задачи не разрешили, а минеи — еще меньше.

Он умолк. Они встали. Молча шли они сквозь ночной мрак. Когда они были уже почти около дома, Иосиф спросил своего гостя о том же, о чем спрашивал однажды, много лет назад, в Риме:

— Что должен делать в настоящее время еврейский писатель?

Но тощий уже ничего не ответил. Он только пожал плечами; странно было видеть, как поднялось левое плечо без руки, и Иосиф не был уверен, что это не жест безнадежности. Однако уже в дверях Юст, прощаясь и, может быть, вспомнив слова, сказанные им Иосифу при их первой встрече, произнес:

— Странно. С тех пор как храм разрушен, бог опять в Иудее.

Было ли это ответом?

На другой день пришло разрешение на въезд Юста в Кесарию, и Юст отбыл.

Иосиф же, в память их ночного разговора у водоема, написал в этот день «Псалом трех уподоблений»¹.

¹ Перевод Юлиана Анисимова.

Всем из моей породы
Ягве повелел
Быть солью земли своей.
Но как же нам солью быть,
Когда воды слишком много,
И мы можем раствориться в воде,
Навсегда уйдем в ничто,
И от нас не будет ни следа и ни вкуса,
И наше предназначение останется втуне.
— Я не хочу исчезнуть,
Я не хочу быть солью.

О, радость пламенем быть!
Оно может отдать от силы своей,
И меньше не будет, и не потухнет.
— Свет блажен, пламя блаженно,
Но неопалима лишь купина.
Даже сам Моисей, прикоснувшись к огню,
Опалил свои уста,
Стал тяжел на слова, стал заикой,—
Как же, ничтожному, мне мечтать о даре таком?
Я не могу быть огнем.

Пусть бесполезна переливчатая радуга,
Когда сквозь дождь пробивается солнце.
Радует она лишь мечтателей и детей,
И все же именно эту дугу
Ягве избрал как знак
Связи своей с преходящей плотью.
Позволь же мне этой радугой быть, Ягве,
Быстро меркнувшей и рождающейся снова и снова,
Многоцветно мерцающей, но из единого света.
Мостом от твоей земли к твоему небу,
Смесью из воды и солнца,
Возникающей всякий раз;
Когда вода и солнце слились.

— Я не хочу быть солью,
Я не могу быть огнем.
Дай мне быть радугой, Ягве.

В своем поместье Иосиф начинал чувствовать себя дома. Разговор с Юстом принес ему успокоение. Он много бывал один, совершал долгие одинокие прогулки, но не замыкался от людей. Он вел спокойные беседы со своим управляющим Феодором, с Послушным, с другими слугами и служанками.

Однажды, в эту пору своих размышлений, отправился он на хутор «Источник Иалты», где жила Мара. Мара вспыхнула ярким румянцем, увидев его, но это уже не был злой и гневный румянец их первого свидания.

— Хвала тебе, Мара,— приветствовал он ее обычной арамейской формулой.

— Мир тебе, господин мой, — отозвалась она. Но затем она спросила, как и Дорион: — О чем нам еще говорить? — И так как он молчал, она добавила: — У меня много работы. Виноградники запущены, и оливки погибли. Вавилонская ослица светлой масти беременна. Она нуждается в тщательном уходе. Она стояла очень дорого.

— Позволь мне здесь сесть и смотреть на тебя, — попросил он.

И он сидел и смотрел на нее. Он вернулся в страну Израиля, чтобы обрести ясность, но его пребывание в Кесарии и в Галилее, в Самарии и в Эммаусе, в Лидде и в Ямнии вызвало только еще большее смятение. Нужно ему спокойствие, силу для работы он мог найти только здесь, в своем имении.

Он сидел на освещенной солнцем низкой каменной ограде и смотрел, как Мара работает, босая, в широкополой соломенной шляпе, защищавшей ее от солнца. Он сидел и предоставлял своим мыслям блуждать.

До начала зимних бурь и прекращения навигации он должен быть снова в Риме; так он решил. Но не мудрее ли было бы остаться и спокойно писать здесь историю Израиля? А если он будет работать в этой стране, не помешает ли ему сама страна, слишком большая близость людей и предметов, волнения еще проносящегося потока событий? Разве, чтобы писать историю, не нужно известное расстояние, даже пространственное?

Вероятно, так смотрел Вооз на Руфь, как он сейчас сидит и смотрит на Мару. Руфь была моавитянкой, чужеземкой, нееврейкой, но именно она, повествует Писание, стала праматерью рода Давидова. Писание не узко и не националистично. Ягве, повествует оно в другом месте, разгневался на Иону и наказал его, потому что он хотел возвещать слово божье только Израилю и отказывался распространять его среди неевреев великого города Ниневии. Таково Писание. Он, Иосиф, женился на нееврейке, как Моисей — на мадианитянке. Но он не Моисей, и его брак не привел к добру.

Левират — странный обычай. Если человек умирает, не оставив своей жене сына, то его брат обязан жениться на его вдове и прижить от нее детей. Насколько же больше обязательства мужчины по отношению к женщине, чей сын погиб по его вине? Многие из ученых-богословов считают возобновление брака с разведенной женой добродетельным, похвальным поступком. Если бы здесь, на солнце, вокруг этой работавшей женщины играли его де-

ти, какое это было бы радостное зрелище! Гамалиил — умный человек и к нему расположен; если бы Иосиф вновь женился на Маре, верховный богослов нашел бы способ узаконить их брак.

Так сидел Иосиф до вечера и не принуждал свои мысли к последовательности, но предоставлял им приходить и уходить по их желанию. Когда наступил вечер, Мара позвала своих слуг и служанок ужинать. Он ждал, не предложит ли она ему остаться. Она не предложила. Тогда он поклонился серьезно, вежливо и ушел.

В городе Лидде еще ничего не было известно о том, что губернатор хочет, как он сказал Иосифу, запросить Ямнию относительно минеев. Ни Ханна, ни Ахер, ни даже бен Измаил не приставали к Иосифу с докучными вопросами о том, говорил ли он Флавию Сильве об их университете. Однако та откровенность, которая существовала между ними и Иосифом до его поездки, исчезла. Правда, после разговора с Юстом к нему в значительной мере вернулась его уверенность; и все-таки ему было жаль, что его друзья в Лидде теперь держатся с ним, как с чужим. Наверно; несмотря на всю ее внешнюю вежливость, пылкая Ханна считает его тряпкой.

Странно вел себя Ахер. Он пригласил Иосифа к себе, они вместе поужинали — двое мужчин и прекрасная, смуглая Тавита. Ахер был сегодня менее разговорчив, чем обычно. Иосиф, смущенный этой молчаливостью, был тем оживленнее, рассказывал о губернаторе, о Неаполе Флавийском, о Либании, о городском советнике Акибе, даже о Юсте. Ахер медленно повернул к нему свое мясистое лицо, прищурил печальные, знающие глаза, сказал откровенно:

— Вы многое делали в своей жизни, много говорили и много писали, больше, чем другие. И вы, наверно, всегда стремились согласовывать ваши слова и ваши поступки. Странно, что это удавалось вам так редко.

Иосиф был изумлен этим внезапным смелым выпадом. Если бы не его разговор с Юстом, он, вероятно, ответил бы резкостью. Но сейчас он предпочел горькие слова молодого человека молчанию остальных. В отношении прошлого, может быть, он и прав. Но в отношении будущего — наверное нет. И он промолчал.

Смуглая Тавита лениво вытянулась на своем ложе, прекрасная и сонная. Ахер сказал:

— Впрочем, я перевел ваш космополитический псалом греческими стихами.

Иосиф был охвачен жгучим любопытством, он жаждал услышать, как звучат его стихи на греческом языке этого Ахера; однако он не решился просить его прочитать их. Ахер, заставив Иосифа немного подождать, прочел их сам.

— Слушайте,— сказал он, встал подле стола, оперся об него руками, опустил глаза и начал медленно и сдержанно читать на своем безупречном греческом языке.

Ему удалось передать в переводе все колебания ритма, все звуковые особенности еврейских стихов Иосифа. Так, именно так выразил бы Иосиф свои чувства, будь он рожден греком. Красота стихов захватила его, их звучание на этом чужом, ненавистном, любимом, вожделенном языке пленяло его слух и сердце. Он вскочил, обнял Ахера, поцеловал его.

— Вы должны поехать со мной в Рим, Яннай,— пылко заявил он.— Мы должны вместе работать. Мы должны вместе написать «Всеобщую историю иудеев». Вы и я. Вы не имеете права оставаться здесь. Это было бы преступлением перед самим собой, передо мной, перед Израилем, перед всем миром.

Смуглянка была разбужена громкими, горячими словами Иосифа, с любопытством взглянула она на него. Ахер сказал, ласково поглаживая ее:

— Спи, спи, моя голубка.— Иосифу же он сухо ответил: — Вы забываете, Иосиф Флавий, что я стремлюсь согласовать мою жизнь с моими поступками. Но меня радует, что перевод вам понравился.

Едва Иосиф приехал в Ямнию, как верховный богослов тотчас же вызвал его к себе. Гамалиил, видимо, знал, что Иосиф, будучи в Кесарии, не ходатайствовал об университете в Лидде.

— Мне нетрудно себе представить,— сказал Гамалиил,— что наши общие друзья приставали к вам со своей старой просьбой. Для автора космополитического псалма явилось, наверно, большим искушением противопоставить университету в Ямнии наднациональный университет.

— Так и было,— сознался Иосиф откровенно.

— Я рад,— ответил Гамалиил,— что мои доводы нашли в вас отклик. Это облегчит мне просьбу, с которой я хочу обратиться к вам.

— Я к вашим услугам,— ответил Иосиф, как полагалось.

— Вы знаете,— начал верховный богослов, решительно приступая к делу,— что Флавий Сильва требует от меня заключения по вопросу о минеях?

— Да,— ответил Иосиф.

— Я слышал,— продолжал Гамалиил,— что губернатор собирается помиловать городского советника Акибу. Этого вы добились?

— Я говорил с ним. Губернатор делает это ради Деметрия Либания.

Верховный богослов сел рядом с Иосифом, заговорил с ним, как младший друг со старшим, сердечно, откровенно:

— Есть много неразрешенных вопросов между Ямнией и правительственными чиновниками в Кесарии. Было бы хорошо, если бы у нас там был постоянный представитель. Поддерживать единение между законниками и народом требует огромного напряжения сил; а еще при этом представлять от имени еврейства в Риме — тут одному человеку не справиться.— И совсем мимоходом, словно разговор шел о погоде, он предложил: — Не хотите ли снять с меня бремя внешней политики, доктор Иосиф? Вы в этих вопросах опытнее, чем я, и из всех иудеев вы пользуетесь в Риме наибольшим уважением. Я уверен, что если столь опытное лицо будет защищать наши интересы, то Рим через пять или шесть лет даст нам такие привилегии, при которых коллегия в Ямнии постепенно из религиозного центра еврейства снова станет политическим центром. Я всегда говорил с вами откровенно, доктор Иосиф, и я думаю, вы считаете меня честным человеком. Разделите со мною власть. Оставьте мне внутреннюю политику и будьте нашим посланником в Кесарии. Будьте нашим представителем в Риме. Только вы один можете быть им.— И вдруг, переходя в шутливый тон, закончил: — Вы должны это сделать хотя бы ради того, чтобы избавить моих законников от новых распрей. Если вы откажетесь, мне придется скоро самому ехать в Рим. Подумайте только, какие тут возникнут дебаты: смею ли я ехать морем в Рим и нарушить закон о субботе?

Иосиф был человеком минуты, его худощавое лицо отражало каждое душевное движение, и Гамалиилу было нетрудно заметить, как взволновало его это предложение. Множество мыслей проносилось в голове Иосифа. Пост, предложенный ему Гамалиилом, даст ему в жизни опреде-

ленную опору и все же оставит достаточно времени для работы. Сладостна и дорога ему родина. Когда он сидел на низенькой ограде на хуторе «Источник Иалты», греясь в солнечных лучах, он мечтал о том, чтобы остаться в этой стране, на этой земле, по которой так долго ступали его праотцы, в этом воздухе, которым они так долго дышали. Заманчивая должность. Он мог бы служить посредником между Лиддой и Ямнией. С Гамалиилом ему легко сговориться, и с друзьями в Лидде он тоже найдет общий язык. Вот была бы чудесная жизнь: полгода в Кесарии, полгода в своем имении, с Марой. Он мог бы дать себе волю говорить по-арамейски, не чувствовать себя чужим, как в Риме. Только здесь понял он, чего ему не хватает в Риме. Когда он общается с такими людьми, как Гамалиил, как Ахер, как бен Исмаил, он чувствует, что здесь его корни и что даже тяжеловесное раздумье галилейских крестьян и нелепые дискуссии богословов, их напевная речь, их смешной задор — часть его самого. Несомненно, все это придаст ему новые силы. Не гордыня ли отказаться от этой силы, опираться только на самого себя?

А что будет с его работой, с его «Историей»? Если он напишет ее здесь, не окажется ли она тенденциозной? Не ляжет ли на нее против его воли отпечаток мелких, скучных, провинциальных будней?

Гамалиил, словно угадав его мысли, продолжал:

— Вам удалось так написать историю войны, что евреи читают ее без горечи, а римляне — с радостью. Но я боюсь, — и он указал на мозаику пола, где была изображена виноградная лоза, эмблема Израиля, — что еще не настало время, когда человек сможет одновременно пить и виноградный сок, и молоко волчицы. Бог наделил вас большой силой, но нужно иметь мощь древних пророков, чтобы всю жизнь переваривать и то и другое. Рим велик; когда человек живет в нем, страна Израиль кажется ему далекой и очень ничтожной. Котлы Рима доверху полны мясом, здесь же оскудело даже молоко и мед.

Он встал, но не подошел к дверному косяку, чтобы произнести речь; наоборот, он остался рядом с Иосифом и принялся дружески, тепло уговаривать его, он даже положил ему руку на плечо.

— Я моложе вас и, быть может, кажусь вам навязчивым. Допускаю, до сих пор вам удавалось оставаться одновременно и римлянином и иудеем. И когда нам всем казалось, что вы уже не можете выдержать, что вы должны

наконец самоопределиться, вы все еще находили возможность нести на плечах двойную ношу. Но если вы теперь сядете на корабль, чтобы ехать в Рим, я боюсь, это будет вашим последним решением, окончательным. Предпочитаете ли вы быть греческим писателем или еврейским? Должны ли будущие поколения видеть в вас историка еврейского народа или историка Палатина?

Гамалиил говорил настойчиво, убедительно, он нашел правильный тон. Иосиф чувствовал большое искушение. Эта страна влекла его к себе, влекли люди, дело, которое ему предлагали, сам этот человек, его молодость, его сила, его хитрая прямота, его молчание, его речи. Было бы замечательно работать бок о бок с ним, руководить общественными делами еврейства. Но не лучше ли, вместо того чтобы вершить малую историю евреев, писать великую историю иудеев?

Гамалиил почувствовал, что каждое лишнее слово теперь только ослабило бы впечатление от его речи. Он не настаивал на ответе.

— Обдумайте спокойно мое предложение,— закончил он.— До зимы и прекращения навигации времени достаточно.

Перед тем как официально сообщить коллегии требования Рима, верховный богослов призвал к себе тех членов коллегии, которые были за минеев, чтобы посоветоваться с ними.

Ошеломленные, сидели бен Измаил и его друзья в кабинете Гамалиила. Они сразу поняли, что если встанут на защиту минеев и их странствующих проповедников, то это вызовет новые притеснения Израиля со стороны Рима. Они смотрели друг на друга, смотрели на верховного богослова и не знали что же делать.

В конце концов Гамалиилу пришлось самому ободрять этих растерявшихся людей. Его главная забота, сказал он, в том, чтобы не допустить раскола среди еврейства. Прежде всего, конечно, христиане должны, чтобы еще сильнее не раздражать Рим, прекратить свою пропаганду среди неевреев, ставшую особенно опасной после запрещения обрезания. Если они это сделают, то есть еще слабая надежда, что они останутся в лоне еврейства. Хотя они иной раз и высказывали точки зрения, весьма близкие к «отречению от принципа», все же большинство минеев лишь незначительно отступает от учения о Ягве. Он, Гамалиил, считает за

лучшее, чтобы вожди минеев открыто и спокойно обсудили с богословами спорные вопросы. Он очень надеется, что такой диспут облегчит коллегии возможность дать заключение в том смысле, что христиане принадлежат к еврейству.

Даже те богословы, которые до сих пор считали Гамалиила, несмотря на его нейтральность, скрытым врагом минеев, должны были признать, что его предложение исключительно благородно. Ведь и сами христиане соглашались с тем, что в их учении много путаницы. Такой диспут, как предлагал Гамалиил, дал бы возможность вождям минеев, не отрекаясь от самого существенного, согласовать основы своей веры с догматами богословов. Предложение верховного богослова указывало христианам выход из трудного положения, он великодушно предоставлял решение вопроса об их дальнейшем пребывании в среде еврейства им самим. Сочувствующие минеям члены коллегии прославляли мудрость и кротость Гамалиила и поддерживали его.

Доктор бен Исмаил взялся передать предложение Гамалиила чудотворцу Иакову из деревни Секаньи — признанному вождю минеев в районе Лидды и Ямнии. Но случилось именно то, чего бен Исмаил втайне опасался. Иаков, не задумавшись ни на минуту, тотчас отклонил предложение. Его гладко выбритое, деловитое лицо банкира чуть покраснело, он сохранил спокойствие, но это было напускное спокойствие.

— Мы не отзовем наших странствующих проповедников, — заявил он, — это было бы самым большим преступлением, поистине отречением от принципа. Ибо для нас Ягве остается не только богом Израиля, но и всего мира, и мы не можем допустить, чтобы у нас отняли право распространять его учение среди язычников, как он повелел нам, хотя Рим и запретил обрезание. Мы проповедуем наше вероучение, мы радуемся, когда его принимает все большее число людей, ибо мы знаем по опыту, что эта вера дает великое утешение и что тот, кто живет в ней, защищен от невзгод.

Спорить с богословами о своей вере мы тоже отказываемся. Мы не смогли бы, этого, даже если бы захотели. Никто из нас не может взять на себя смелость говорить за другого, — только за себя. Этим мы как раз и отличаемся от богословов, что никого не хотим связывать определенными догматами. Мы не сопоставляем различные логические и теологические аргументы, мы погружаемся в жизнеописа-

ние нашего спасителя. Из его слов и из нашего сердца черпаем мы нашу веру. Мы разрешаем каждому понимать слова спасителя по-своему. Никто не связан пониманием другого. Потому-то многие из нас и называют себя «верующими», что мы не просто принимаем предписанные нам точки зрения, но каждый из нас должен извлечь свою веру из собственной груди.

У нашей веры нет границ, и мы не хотим их иметь. У нас даже нет общего имени. Мы называем себя то верующими, то бедняками, то христианами. Мы предоставляем богословам определить нашу веру; они больше доверяют своей мудрости, чем мы. Мы сами не можем точно назвать того, что связывает нас, да и не хотим этого, — мы слишком смиренны.

Мы считаем себя иудеями. Мы верим в то, во что веруют богословы, мы выполняем обряды, как нам предписывают богословы, но мы веруем в нечто большее, и мы подчиняем свою жизнь более строгим принципам. Мы веруем не только в священников, мы веруем в пророков. Мы отдаем кесарево кесарю, но мы не думаем, чтобы запрещение кесаря освободило нас от обязанности исполнять заповеди Ягве. И мы считаем, что мы не только дети иудейского бога, а бога вообще. Мы никого не хотим выманить из его границ, если ему хорошо в их тесноте, но на нас возложена задача прославить широту Ягве. Мы не против богословия, но превыше всего хотим мы религии. Мы не против иудейской церкви, но превыше всего хотим мы иудейского духа.

Разве не видите вы, доктор и господин мой бен Исмаил, вы, относящийся к нам так доброжелательно, вы, столь близкий к нашей вере, разве вы не видите, что верховный богослов своим предложением только готовит нам ловушку? Нам будут задавать вопросы, на которые мы не сможем ответить ни «да», ни «нет», будет вестись протокол, и вместо заключения этот протокол передадут римлянам, в результате чего римляне объявят христианство запрещенной религией. Члены коллегии не отлучат нас, они предоставят это римлянам, так же, как они в свое время подсунили римлянам убийство мессии, и невинно умоют руки.

Если вы меня спрашиваете, доктор бен Исмаил, во что я верую, то я охотно исследую свое сердце и показываю то, что в нем нахожу. Если к нам приходит честный и бесхитростный человек и просит объяснить ему нашу веру, мы будем искать день и ночь, пока не найдем правдивые и простые слова. Но я бы счел богохульством, если бы выступил

в Ямнии и пререкался с богословами о деталях моей веры. Сами ли они отлучат нас или заставят римлян это сделать — я не хочу купить терпимость богословов тем, что буду возвещать одну половину правды, а другую половину утаю. Лучше пусть меня презирают и преследуют, но я буду возвещать всю правду целиком. Кто говорит полуправду, того господь изблюет из уст своих. Блаженны гонимые за всю правду.

Очень скоро доктору бен Исмаилу пришлось убедиться в горькой истине, что лояльность Гамалиила только прикрытие. Нападение оказалось решительным и внезапным.

Существовала древняя молитва, которую с незапамятных времен все евреи были обязаны произносить трижды в день и которая со времени разрушения храма заменяла жертвоприношение, — это были восемнадцать молений. Некоторые из этих молений, относившиеся ко благу целого народа, потеряли после разрушения храма свой смысл и стали противоречить нынешнему положению дел. Их временно заменили моления из эпохи Иуды Маккавея. Но и они, хоть и взятые из времен, когда евреи были в рабстве и храмовое служение нарушено, все же мало соответствовали теперешним обстоятельствам.

И вот во время дебатов по поводу пересмотра благословений, произносившихся при преломлении хлебов, доктор Хелбо бар Нахум стал настаивать на том, чтобы тексту трех общенациональных молений была придана единая редакция, соответствующая теперешнему политическому положению. Прежде всего молитва о восстановлении Иерусалима в своей теперешней нечеткой формулировке дает повод для многих неправильных толкований. Он слышал своими ушами, как верующие наполовину и даже совсем неверующие вкладывали в это моление свой собственный, еретический смысл. Люди, упрямо и коварно утверждавшие, что мессия давно пришел и что разрушение каменного Иерусалима — заслуженная кара и благословение, даже эти люди необдуманно произносят великую и потрясающую молитву о восстановлении Иерусалима и говорят «аминь», когда ее произносит священник. Они заявляют дерзко и просто, что здесь идет речь о восстановлении Иерусалима «в духе». Доктор Хелбо был тучный господин, с мощным мясистым подбородком и низким голосом, раскаты которого заполняли всю комнату.

— Что вы скажете на этот счет, господа богословы? — закончил он свою речь и выжидательно окинул взглядом присутствующих.

Обычно коллегия слушала безучастно дебаты об «отречении от принципа», которые все вновь затевали он, доктор Иисус и Симон Ткач. Доктор Хелбо знал, что коллегия будет стараться как можно дольше оттянуть решение щекотливого вопроса о том, считать ли минеев евреями. Но решится ли она и теперь, после запроса правительства, уклониться от прений? Он посмотрел туда, где сидели друзья минеев, — те смущенно переглядывались. Они не понимали, куда клонит доктор Хелбо. И предпочитали молчать.

Так как никто не просил слова, то встал и заговорил доктор Иисус из Гофны. Это был спокойный господин, он привык взвешивать свои слова. И ему, заявил он, кажется богохульством, когда его молитвы доходят до слуха Ягве, смешанные с молитвами отрекающихся от принципа. Собственная молитва кажется ему оскверненной, если кто-то рядом с ним произносит те же слова, злонамеренно придавая им обратный смысл. Тут не скажешь от чистого сердца «аминь» в ответ на молитву о восстановлении города, слыша рядом с собой «аминь» из уст человека, считающего разрушение города благословенным, то есть извращенный «аминь», ересь. Невольно в сердце даже самого спокойного человека закрадется гнев на богохульника, и вместо того чтобы снискать милость своей молитвой, впадаешь в грех.

Все ждали, что теперь последует запрос. Но нет, и доктор Иисус удовольствовался одной констатацией. Неужели, спрашивали себя минеи, даже эти прения имеют целью только подогреть настроение или враги нашли момент подходящим для нанесения удара?

Они нанесли удар. Симон Ткач взял слово. Он спросил доктора и господина Хелбо, знает ли тот какое-нибудь средство, чтобы освободить богослужение от злого яда, о котором говорил он и его коллега Иисус.

Оказалось, что доктор Хелбо знает такое средство. При беглом пересмотре восемнадцати молений, десять лет тому назад, одно из молений просто выпало, не будучи ничем заменено, и, таким образом, основной ритм молитвы был нарушен. Теперь число молений не доходит до восемнадцати, а это, как известно, священное число жизни. Можно было бы, наконец, предложил доктор Гельбон, восстановить первоначальное число молений, а именно — прибавить

к трем молениям о воссоздании храма и нации еще одно, проклинающее тех, кто растлеивает слово, кто подменяет прямой смысл молений «воссозданием в духе». Такая поправка не только вернет молитве ее первоначальный вид, но и устранил опасность, о которой говорил и он, и его коллеги, ибо такое моление еретики едва ли будут в состоянии произнести, в ответ на такое моление они едва ли смогут сказать «аминь».

Теперь бен Исмаил и его друзья знали, куда он метит. Никто не называл минеев, но было ясно, что эти трое хотели превратить восемнадцать молений в орудие борьбы, чтобы исключить христиан из синагог и из еврейства. Минее дорожили участием в общем богослужении. Они охотно цитировали слова пророка: «Молитва лучше жертвы»,— древние восемнадцать молений были им так же дороги, как и остальным иудеям. Они всем сердцем любили благочестивый, безыскусный напев этих молений, во многих общинах они исполняли роль провозгласителей молитвы. Если, по предложению доктора Хелбо, будет введено еще проклятие, явно направленное против минеев, то им уже нельзя, согласно предписанию, говорить «аминь», ведь они же не могут сами просить Ягве, чтобы он их изгнал. Они должны будут удалиться из молитвенных домов.

Предложение было построено очень ловко. Если его примут, то не только навяжут минеям решение, от которого они до сих пор уклонялись, но избегнут также неприятной необходимости вынести такое заключение, которое дало бы римлянам основание для преследования минеев. Флавию Сильве можно было просто объяснить: есть очень легкий способ установить, кто еврей, а кто нет. Наше учение изложено в восемнадцати молениях. Кто произносит их вместе с нами, кто отвечает на них «аминь», тот еврей. Кто этого не делает, тот не принадлежит к еврейству. Минеям было предоставлено решить самим, могут они произносить «аминь» в ответ на проклятие еретикам или не могут.

Бен Исмаил быстро понял опасность, кривуюся в предложении доктора Хелбо. Обойти мучительное для них заключение чисто литургическим путем — это должно было показаться членам коллегии благословенным решением вопроса. Но вместо того чтобы обдумать способы, как парировать удар, бен Исмаил мучился одним: является ли изобретение этого маневра делом трех богословов или оно придумано его зятем Гамалиилом. Ему было бы больно, если бы Гамалиил оказался с ними в заговоре.

Верховный богослов быстро рассеял его сомнения. Он взял слово, заявил кратко и сухо, что выход, найденный доктором Хелбо, кажется ему справедливым и мудрым; он присоединяется к его предложению.

В крупной голове бен Измаила проносились вихрем сотни горьких мыслей — обвиняющих, возмущенных, смиренных. Лишь недавно он говорил Ханне, что никогда его друзья не примут предложения, направленного против минеев. Теперь сюда замешался запрос римлян, и никого нельзя обвинять за то, что он примкнет к дьявольски хитрому предложению Хелбо; наоборот, того, кто восстал бы против него, следовало считать врагом еврейства. Бен Измаил был настолько ошеломлен, что не находил слов для возражения трем ученым и Гамалиилу.

Вместо него выступил с возражениями один из его друзей. Молитва, заявил он, существует для того, чтобы испрашивать у бога милости для себя, а не мести для других. Предоставим Ягве самому наказывать богохульников и отщепенцев.

Из-за этих слов доктор Симон, по прозвищу Ткач, встал вторично, и теперь, после поддержки верховного богослова, уверенный в своей победе, он казался еще массивнее и решительнее. Нужно, заявил он, заставить еретиков показать свое подлинное лицо, — этих двуличных людей, которые утверждают, будто они евреи, а на самом деле, словно идолопоклонники, стоят на коленях перед полубогом, который якобы снял с них бремя их грехов. Точек зрения много, одни из них лучше, другие — хуже, у Ягве обителей много, но у него нет места для тех, кто ради своей веры в полубога отрицает единственное исповедание иудейской религии: «Слушай, Израиль, Ягве — бог наш, Ягве один».

Если бы верховный богослов сейчас же перешел к голосованию, то предложение Хелбо поддержали бы шестьдесят из семидесяти членов коллегии. Но Гамалиил, как всегда, остался лояльным. Ему кажется, заключил он заседание, что некоторые из присутствующих раздражены, поэтому он предлагает перенести голосование на следующий день. Ибо не подобает принимать столь важные решения, когда человек взволнован.

Бен Измаил не спал в эту ночь. С ним были друзья, миней Иаков тоже поспешил в Ямнию из своей деревни Секаньи. Все они сидели вокруг бен Измаила, растерянные и печальные.

Миней Иаков сказал:

— Вы знаете, что мы — евреи и что мы не хотим нарушать закон. Наш мессия пришел, чтобы исполнить закон. Мы миролюбивые люди. Не отлучайте нас. Есть старое учение, и есть новое учение. Мы веруем в новое, но мы не отрицаем и старого. Если вы нас исключите, то к нам будет приходить все больше язычников и в нашу веру будет проникать все больше новое учение и все меньше оставаться от старого. Не принуждайте нас отказываться от старого учения ради нового.

Мрачная и гневная сидела Ханна среди мужчин. Она заклинала их отклонить предложение и в случае, если они окажутся в меньшинстве, выйти из коллегии. В народе у них много сторонников, пусть минеи объединятся, и можно будет дать Ямнии отпор.

Бен Исмаил был в страшной тревоге. Он знал одно: если предложение будет принято, минеи постепенно отстанут от ритуалов, а если предложение не будет принято, евреи подвергнутся новым преследованиям со стороны Рима. Минеи были ему дороги, многое из их учения было близко его сердцу. Но Израиль и его целостность были ему дороже.

Он явился на заседание коллегии, не приняв никакого решения. Но тем обдуманнее подготовились противники. Они настаивали на том, чтобы сначала уточнить содержание нового моления, а не его словесную форму. Было решено, что проклятие Ягве должно призываться на две категории отрекающихся от принципа: на тех, кто не верит, что Ягве един, но верит также в мессию, служащего посредником между Ягве и человечеством и уже пришедшего, и на тех, кто считает, что может толковать закон из собственного сердца, без помощи устного предания и без посредства избранных богом провозвестников его.

Бен Исмаил и его сторонники во время голосования не высказались ни «за», ни «против». Предложение было принято огромным большинством. Заседание продолжалось недолго, но бен Исмаил так устал, словно тяжело потрудились физически. Он рвался в свою Лидду. В Ямнию он, наверное, уже никогда не вернется. Он выйдет из состава коллегии без ненависти, но утомленный многими ненужными речами, в Лидде он будет продолжать работать над учением, не полемизируя с богословами, без учеников, для себя, для Ханны, для своего друга Ахера.

Когда он и его друзья уже собрались уходить, доктор Симон, по прозвищу Ткач, еще раз взял слово. Бен Исмаил, заявил он, промолчал и воздержался от голосования. Как он, Симон, ни уважает такую кротость, все же в наши дни необходимо избегать даже видимости того, что член коллегии сочувствует богохульникам, на которых коллегия решила призвать проклятие божие. Если бы такой ученый человек, как бен Исмаил, был заподозрен в сочувствии минеям, это сильно подорвало бы авторитет Ягве. Нужно прежде всего показать миллионам иудеев за границей, что в Ямнии проповедуется только одно учение. Он очень сожалеет о том, что бен Исмаил промолчал, и просит коллегию найти способ загладить подобный промах.

Наступило смущенное молчание. Затем встал доктор Хелбо. И опять-таки именно он предложил выход. Ягве, заявил он, наделил бен Исмаила, больше, чем других членов коллегии, даром слова, и его молитвы обладают особенной глубиной и горячностью. Поэтому следовало бы возложить на бен Исмаила редактирование нового моления. Если он отредактирует его, то можно быть уверенным, что он найдет настоящие слова и, кроме того, весь мир получит документальное доказательство единодушия Ямнии и единства учения.

Хелбо говорил довольно долго. Во время его речи бен Исмаил смотрел прямо перед собой, его бледное лицо словно окаменело. Только уже под конец он поднял глаза, но смотрел не на оратора, а на своего зятя, верховного богослова. Долго сидели они друг против друга, в их глазах не было угрозы, эти глаза скорее наблюдали и настойчиво вопрошали. Когда бен Исмаил понял, куда клонит Хелбо, его вдруг охватило ледяное спокойствие, но в этом ледяном спокойствии вихрем пронеслись мысли. Он не сомневался, что последнее предложение Хелбо согласовано с верховным богословом. Однако он не испытывал, как вчера, смешанной с презрением ненависти. Козел, которого посылали в пустыню, чтобы освободиться от грехов, не освободил людей, и Иисус минеев, пожелавший быть этим козлом, быть агнцем, взявшим на себя грехи мира, тоже не освободил их, ибо почему же тогда возложил Ягве на него то, что он возложил?

Больше всех здесь присутствующих жаждет он пощадить минеев, ибо понимает всю широту и мягкость их учения. А теперь члены коллегии хотят, чтобы именно он проклял минеев и изверг их из ложа еврейства.

Мучительный выбор. Ему предстоит выбрать между иудейским духом и иудейской церковью, а он понимает, что иудейский дух без этой церкви невозможен.

Он отлично знает, на чем построена вся аргументация Гамалиила: мы вынуждены пожертвовать частью истины, чтобы не пожертвовать всей истиной. Однако останется ли истина истиной, если мы отречемся от ее части? Но в одном Гамалиил прав: может ли истина сохраниться, если нет ничего, в чем бы она воплощалась?

Медленно поднимает он руку, проводит ею, все еще не спуская глаз с Гамалиила, по лысому лбу. Машинально дергает брови, разглаживая их. Дьявольски ловко придумали они это, Гамалиил и его товарищи! Если он выполнит их требование, если проклянет тех, кому желает добра, то минеи справедливо обвинят его в том, что именно он отлучил их. Если же он этого не сделает, то его отлучат другие и будут правы, ибо тогда римляне найдут новый повод для недоверия к учению и для преследований. Сделает он это или не сделает — в Израиле все равно опять произойдет раскол.

Он все еще сидит совершенно безмолвно, этот статный человек. Но его гнетет чудовищное бремя, как тогда, в день очищения, когда он после странствия, с посохом, котомкой и сумой всходил по лестницам учебного зала, испытывая безмерную тяжесть и усталость, неукротимое желание больше ни о чем не думать, упасть, забыться в обмороке. Но, как и тогда, знает он и сегодня, что не смеет дать волю своему желанию, что должен сидеть здесь, дослушать противника до конца, ответить.

Доктор Хелбо умолк. Все смотрят на бен Исмаила. После бесконечного молчания Гамалиил заявляет:

— Прошу доктора и господина бен Исмаила высказаться.

Бен Исмаил не встает, он спокоен, по его виду не скажешь, что он не в силах встать. Но его крупная голова с лысым лбом необычайно бледна, и его глубокий голос звучит глухо и хрипло, когда он наконец отвечает:

— Я составляю это моление.

Иосиф, озлобленный до самых глубин своего существа той грубостью, с какой коллегия принудила бен Исмаила предать свое дело, пошел к верховному богослову. Он испытывал жгучее раскаяние, что не поднял в Кесарии вопроса

сариин? — спросил Гамалиил, не скрывая своего разочарования.

— Я восхищаюсь последовательностью вашей политики, — возразил Иосиф, — но мне становится не по себе, когда я вспоминаю, что чуть не дал вам своего согласия.

В число восемнадцати молений, после прекрасной одиннадцатой молитвы: «Посади, как прежде, наших судей и, как некогда, князей наших», — было вставлено новое моление, начинавшееся словами: «Пусть еретики не надеются» — и кончавшееся: «Хвала тебе, Ягве, тебе, который посрамил еретиков и поразил возомнивших о себе».

Включение этого текста в ежедневную молитву имело ожидаемые последствия. Правда, многие отвернулись от минеев, отреклись от новой веры и говорили «аминь», когда произносилась молитва об отлучении еретиков, веровавших в уже пришедшего мессию. Однако многие, большинство, остались верны новому вероучению. Они вышли из еврейства, решились на разрыв со своими соплеменниками. Многие эмигрировали, среди них и чудотворец Иаков из деревни Секаньи.

Последователи нового учения теперь уже решительно приступили к выполнению той миссии, которую раньше иудеи считали для себя основной: распространению веры в Ягве среди язычников. Правда, в иных минейских книгах еще попадалось старое изречение: «Не ходите по дороге язычников, не входите в города самарян, но идите только к заблудшим овцам Израиля», однако основой пропаганды стало теперь учение Савла, или Павла, утверждавшего, что благовестие Ягве и его миссии должно прежде всего служить светом и просвещением язычников. В то время как иудеи под давлением закона об обрезании все больше отказывались от пропаганды, минеи, несмотря на преследования, продолжали благовествовать о своем мессии.

И все резче отделяли себя христиане от тех, из чьей среды они выросли. Они начали отрицать устав ритуалов, который был прежде для них обязателен. И в своем провозвестии о спасителе заняли по отношению к староверческому еврейству резко враждебную позицию. Навеки откололось от старого, ставшего теперь националистическим, новое, космополитическое учение, чтобы в этой новой форме завоевать мир.

После беседы с верховным богословом Иосиф вернулся в свое имение. Там он посиживал, мирно беседовал со своим управляющим, обдумывал, не отпустить ли ему на волю раба Послушного. Через двенадцать дней отплывает корабль «Счастье», который доставит его обратно в Италию, а через четыре дня он должен быть в Кесарии.

Он поехал верхом на хутор «Источник Иалты». Он сел на маленькую каменную ограду, которую любил, но на этот раз Мары не было. Притихший, сидел он в солнечных лучах, но они уже не были такими горячими. Теперь, когда он решил уехать, он испытывал тем более сильное желание остаться в этой стране.

Если бы у него в Риме были хоть сыновья. Сыновья по духу и по плоти. Но Симон умер, а Павел для него потерян.

Много обязательств у человека перед женщиной, единственный сын которой погиб по его вине. Но не явится ли это для него наградой, а не карой? Правда, Мары сейчас здесь нет, но он видит ее перед собой, босую, в большой соломенной шляпе, видит, как она сидит, как она ходит по саду, как стоит на коленях, копает жирную черную землю.

Многие из ученых-богословов считают вторичную женитьбу на разведенной жене поступком, заслуживающим похвалы. Как стали бы смеяться в Риме, если бы он, после всего пережитого, снова приехал со своей первой женой. Правда, людям свойственно ошибаться. Но он никогда не думал, что здесь, в стране Израиля, его встретят так приветливо. Гамалиил поистине великий человек. Никто не мог бы лучше него руководить в настоящий момент евреями.

Хорошо было бы иметь сына от Мары, от этой женщины с босыми ногами, в соломенной шляпе. Ему все равно, признают ли евреи такого сына. Важно только с самого начала воспитывать его самому вместе с женщиной, у которой босые ноги.

Когда он на другой день снова приехал на хутор, Мара была тут. Она работала. Он стоял около нее и убеждал ее. Он рассказал ей о замечательном обычае левирата. Объяснил, что это не следует понимать слишком узко, что он чувствует себя в долгу перед ней, что выполнение этого долга ему желанно. Пока он говорил, она продолжала работать, не поднимала головы, так что он не знал, слушает ли она его и как относится к его словам, ибо широкополая

шляпа закрывала ее и он не мог угадать выражение ее лица.

Он продолжал говорить и сказал больше, чем предполагал сказать. Он спросил ее, не поедет ли она вместе с ним в Рим и не согласится ли жить в его доме. Он добьется для нее права гражданства, и если они не смогут пожениться по еврейскому обряду, то он, во всяком случае, сделает ее своей женой по римским законам. Их сын должен носить его имя Иосиф Флавий, и пусть она решит сама — называться ли ему еще Лакиш, по ее отцу, или, по его отцу, Маттафий; и пусть он будет римлянином, но прежде всего евреем. Они вместе будут охранять его и воспитывать.

Он говорил не очень связно, хотя был опытным оратором; иногда его слова прерывались учащенным дыханием.

Мара перестала работать, она сидела на земле в ярком солнце, ослепительном, но все же не знойном, ее голова была склонена, широкополая шляпа совсем скрывала ее. Долго сидела она неподвижно, не говоря ни слова. Наконец Иосиф спросил:

— Ты слушала меня, Мара? — И так как она слегка кивнула, он подошел к ней ближе, наклонился, схватил ее огрубевшую руку и спросил: — Разве ты не хочешь показать мне своего лица, Мара?

Тогда она подняла голову, улыбнулась из-под соломенной шляпы и спросила, в свою очередь:

— А откуда ты знаешь, что это будет сын?

Но он преисполнился великой радости и воскликнул:

— Мара!

И она ответила:

— Здесь я!

И он привлек ее к себе и подвел к ограде, и они сели там в солнечных лучах.

Она же заявила серьезно и решительно:

— Но я должна сначала привести в порядок этот виноградник, потому что он одичал, и я должна подождать, пока светлошерстая вавилонская ослица разрешится от бремени и выкормит осленка. Весь хутор должна я сначала привести в порядок.

— А сколько это продлится? — спросил он.

— Я думаю, что через год я кончу, — ответила она.

— Это очень долго, — сказал Иосиф. Но тем временем уже соображал вслух: — Я все приготовлю в Риме, чтобы тебе осталось только явиться к судье и получить право гражданства.

На другой день Иосиф попытался уговорить ее все-таки поехать с ним в Рим теперь же. Но она воспротивилась. Она вложила так много материнского труда в одичавшую землю и не хотела бросить ее, пока не будет уверена, что хутор начнет процветать. Иосифу пришлось уступить.

Однако он не хотел покидать Иудею, не закрепив своего нового союза с Марой. Он спал с ней. Он хотел, чтобы его сын был зачат в Иудее.

На четвертый день, как Иосиф и решил, он покинул имение, чтобы ехать в Кесарию, а затем в Рим. Мара же положила между грудей куриное яйцо, чтобы узнать, выведется ли петух или курица.

Праздничным играм в Неаполе Флавийском, правда, не удалось затмить сирийские, но, в общем, губернатор мог быть доволен. То, что главный аттракцион, жеребец Виндекс, отпал, произвело неприятное впечатление, но «Лавреол» имел огромный успех. Гости, даже сирийцы, — а в данном случае это было главное, — не переставали хохотать, восхищаться, аплодировать.

Деметрий Либаний жаждал этого успеха, как олень воды. Однако он был достаточно умен, чтобы знать ему цену. Публика была исключительно восприимчива, но не способна к серьезной критике. В тех местах, где зрителям надо было ликовать, они хранили мертвое молчание, а там, где надлежало плакать, смеялись. Но смеялись они, по крайней мере, от всего сердца. Временами казалось, что сотрясаются даже мощные каменные ступени театра. Неужели вернулись времена, когда Деметрий Либаний «заставлял смеяться даже статуи»?

С нечистой совестью играл он Лавреола; то, что он имел успех, было незаслуженной милостью Ягве. Теперь его обязанность — остаться в этой стране. Впрочем, для этого имелись и внешние причины: губернатор, чтобы удержать его, предложил ему большие поместья и привилегии, так что, согласись он остаться в Иудее, он жил бы по-княжески.

Но он никак не мог решиться. Именно после успеха в Неаполе Флавийском его особенно жестоко терзала досада за провал в «театре Луции». Это был незаслуженный провал. Теперь он доказал, что его Лавреол имеет успех даже у наивной публики, неспособной оценить всех тонкостей. Нет, он не хочет сойти в могилу, не смыв позора своего римского провала. Пусть Ягве гневается на него,

пусть новое морское путешествие принесет ему новые мучения, — он заставит римлян признать его Лавреола. Он стал искать судно, сулившее ему более спокойное путешествие. После многих колебаний он заказал наконец каюту на корабле «Арго». «Арго» была старая посудина, но широкая и вместительная. И он не пускался, как тот корабль, чье имя носил, в неизведанные странствия, наоборот, он боязливо избегал открытого моря и держал курс, все время придерживаясь берегов. Путешествие продлится долго, но актеру уже не предстоят такие страдания, как в первый раз.

Он ошибся. На третьей неделе сильный шторм отогнал корабль от берегов, рулевой уже не мог управлять им. Беспомощно носилось судно по морю, его заливали серо-белые холодные волны. Матросы посыпали пеплом голову, пассажиры взывали к своим богам, прикованные в трюме рабы-гребцы выли от страха за свою жизнь. Несмотря на все это, капитан уверял, что судно не могло отойти слишком далеко от берегов.

Деметрий Либаний лежал в своей каюте, его лицо было серым, его руки и ноги оледенели. Он чувствовал ужасающую слабость; весь вчерашний день его рвало, еда вызывала в нем отвращение; он лежал, закрыв глаза и призывая смерть. Да и как спастись? Судно обречено, говорят они, а двух лодок, конечно, не хватит. По доброй воле они не возьмут его в лодку, а он недостаточно силен, чтобы отвоевать себе место. Сначала с ним обходились с большим уважением, а теперь он для них не больше, чем кусок дерева, и они дадут ему погибнуть. Хоть бы уж скорей конец. Он стал призывать Ягве, хотел надеть молитвенный плащ и молитвенные ремешки, но слишком обессилел.

Вдруг раздался ужасный треск и снова крики с палубы. Его охватил нестерпимый страх. Еле двигаясь, пополз он на верхнюю палубу. Он не раз падал. Но на верхней палубе его не замечали и не хотели замечать, каждый был занят только собой. Его страх все возрастал. Увидев, что другие стригут себе волосы, чтобы принести их в жертву Нептуну, он попытался вырвать клочок собственных волос, прося одновременно у Ягве прощения за свое идолопоклонство.

Волны были огромные: они шли, казалось Деметрию, со всех сторон. Разве ветер изменил направление? Кто-то сказал, что судно теперь ближе к берегу; бросили лот и нашли, что вода здесь не глубока, есть опасность наскочить на мель, но на лодках можно добраться до берега. Приготови-

ли лодки, но пока не решались спустить их. Сначала Либаний нашел опору в каком-то уголке, затем волны оторвали его, и он покатился по палубе, словно неодушевленный предмет.

«Теперь конец, — думал он. — Я не хочу обнадеживать себя, я никого не хочу призывать, ни на что не хочу надеяться. Но если ты мне в этот раз опять поможешь, Ягве, только еще в этот единственный раз, тогда я откажусь играть в Риме Лавреола, откажусь ради тебя. Нет, лучше не помогай мне, но сделай так, чтобы скорей пришел конец. Утонуть — ужасно, становится нечем дышать, а я не умею плавать. Это хорошо, что я не умею плавать, так скорее придет конец. Или, может быть, лучше вскрыть себе вены? Но у меня ужас перед кровью. И если Ягве в милосердии своем все же решил спасти меня, то я не хочу слишком поспешно действовать наперекор его воле. Умерсть в открытом море — это самое страшное, у человека нет могилы. Своему злейшему врагу желают: «Чтоб ты умер в открытом море», — но богословы запретили желать этого даже язычникам. Утопленника пожирают рыбы. Сначала они съедают глаза, разве в «Персах» у Эсхила нет такого места? Нет, это не оттуда, но теперь все равно, дай мне скорее умереть, Ягве... а как холодно! Может быть, один из матросов или рабов убьет меня, если я заплачу? Да и да, согрел меня. Да и да, преступал я, да и да, я виновен. «Слушай, Израиль, предвечный бог твой», — но я не должен говорить «слушай, Израиль», ибо если я думаю сам, что это час моей смерти, то я призываю ее и прошу Ягве погубить меня. Если я буду спасен, то нужно захватить с собой кусок дерева от этого корабля, чтобы мне поверили, какая ужасная была буря. Люди никогда не верят, если человек совершил героический поступок. Мне следовало бы наголо обрить голову, — пусть видят, что я принес свои волосы в жертву Нептуну, но это было бы опять оскорблением Ягве. Ни при каких обстоятельствах не должен я думать сейчас о том, что есть какая-то возможность погибнуть. Если я буду играть в Риме Лавреола, то в третьей сцене я сделаю ударение на слове «крест», а не на слове «ты». А маска должна быть на полсантиметра длиннее. Надо равномерно дышать, тогда тошнота меньше. Если я буду делать глубокие вздохи и вытягивать руки, то меня будет меньше катать по палубе. О, вот опять волна. Мы слишком просто представляли себе, я и Марулл, что значит быть пиратом. Подумать только, ведь они в такую бурю должны были еще сражаться. Скорей бы уж конец»

Едва Либаний подумал об этом, как почувствовал страшный толчок и услышал чудовищный треск. Корабль наскочил на мель. Раздались вопли. Люди спешно стали спускать лодки. Деметрий, хотя и знал, что это безнадежно, все же закричал, чтобы его захватили. Лодки отчалили без него.

На «Арго» осталось несколько десятков человек: рабы, больные, беспомощные. Волны теперь уже окончательно покрыли сильно поврежденную корму корабля. Деметрий с некоторыми другими переполз на то место, которое они считали самым безопасным, и там за что-то ухватился. Буря как будто несколько утихла, но все снова надвигались валы, перекатывались через него, грозили унести с собой; он задыхался.

Раньше, чем корабль окончательно погрузился в воду, подошли лодки с людьми. Деметрий решил, что теперь он спасен, а может быть, он этого и не подумал, его мысли путались. Разве эти приехавшие люди не Лавреол со своими пиратами? Они очень спешили, они не теряли времени на разговоры, поспешно снуя взад и вперед, тащили они все, что только можно было. На людей им было наплевать; может быть, им казалось, что эти люди не стоят того, чтобы увезти их в качестве рабов и откармливать, может быть, считали, что их опасно превращать в рабов. Люди с лодок были по-своему добродушны; то одному, то другому из потерпевших кораблекрушение отрубали они голову, чтобы он не слишком страдал. На Деметрия они не обратили никакого внимания. У прибрежного населения было в ближайшие дни немало работы. Волны прибывали к берегу всевозможные вещи. Так, например, на берег был выброшен ларец из эбенового дерева с драгоценными украшениями из слоновой кости, изображавшими туалет какого-то полубога, и с инициалами «Д. Л.». Этот ларец казался прибрежному населению чрезвычайно драгоценным; назначения его они, правда, так и не узнали и долго о нем спорили. Деметрию Либанию он служил для его грима. Прибило также и футляр с инициалами «Д. Л.», он выглядел очень ценным и возбуждал большие надежды; но когда они с жадностью открыли его, в нем не оказалось ничего, кроме увядшего венка.

Иосиф был рад, что еще застал Юста в Кесарии.

Они сидели на набережной; перед ними стоял корабль «Счастье», который должен был послезавтра увезти Иосифа

в Италию. Вокруг них — шум и люди. Но Иосиф видел только тощее, резкое желто-смуглое лицо Юста.

Юст одобрил решительные действия, наконец предпринятые Гамалиилом против минеев.

— Истина, — констатировал он, — не может быть преподнесена людям без примеси лжи. Но ложь, которую богословы примешивают к правде, менее опасна, чем ложь минеев. Отказ от всемирного гражданства искажает идею иудаизма, но отречение от грядущего мессии искажает ее еще сильнее. Ибо появление мессии должно быть завоевано праведной жизнью каждого отдельного человека, так что вера в уже пришедшего мессию равносильна отречению от идеи внутреннего совершенствования. Тот, кто считает, что тысячелетнее царство уже настало, может позволить себе больше не бороться за него. Хорошо, что Гамалиил выступил против учения, побуждающего его последователей отказаться от борьбы за совершенствование.

Иосиф, глядя на него сбоку, все еще обдумывал его первые слова.

— Вы серьезно считаете, — спросил он, — что любая истина может быть передана людям, только если приме- шать к ней ложь? Значит, по-вашему, то, чему суждено остаться, должно состоять из истины и лжи? Вы хотите, чтобы я считал это чем-то большим, чем афоризм?

Юст обратил к нему насмешливое лицо:

— Вы слывете великим писателем, Иосиф Флавий, а в сорок три года еще не постигли элементов нашего ремесла! Вглядитесь в эту легенду о мессии минеев. То, что рассказывают минеи, полно явных противоречий; каждый беспристрастный человек должен понять, что так не могло быть, и до сих пор еще есть старожилы в Галилее и в Иерусалиме, которые должны были бы видеть то, о чем повествуют минеи, но они этого не видели. Разве это не доказывает, насколько жизнеспособнее легенда, которая людям удобна, чем неудобная для них историческая правда? Действительность — это только сырой материал, мало-доступный человеческому восприятию. Она становится пригодной, лишь когда перерабатывается в легенду. Если какая-нибудь истина хочет жить, она должна быть сплавлена с ложью.

Шум вокруг них усилился. Знакомые кивали Иосифу. Он же, отвечая на их приветствия, неотступно смотрел на Юста, который сидел перед ним, тощий, неподвижный, странный своей однорукостью, неприятно хихикая по привычке последних лет. Иосиф напряженно слушал его, но не мог

так быстро понять его слов и спросил, слегка озадаченный:

— Что вы сказали, Юст?

И Юст, словно ребенку, которому трудно объяснить, подчеркивая каждое слово, повторил по-арамейски, хотя до сих пор говорил по-гречески:

— Если какая-нибудь истина хочет жить, она должна быть сплавлена с ложью.

Однако Иосиф, и страстно увлеченный, и сильно разгневанный, возразил ему:

— И это говорите мне вы, Юст, вы, так зло смеявшийся над компромиссами?

Но Юст нетерпеливо возразил:

— Да вы что, притворяетесь? Вы решительно не хотите меня понять? Разве я говорю о компромиссах? Чистая, абсолютная истина невыносима, никто не обладает ею, да она и не стоит того, чтобы к ней стремиться, она нечеловечна, она не заслуживает познания. Но у каждого своя собственная правда, и каждый знает точно, в чем его правда, ибо она имеет четкие очертания и едина. И если он отклонится от этой индивидуальной правды хотя бы на йоту, он чувствует это и знает, что совершил грех. А вы нет? — спросил он вызывающе.

— К чему же, — спросил с горечью Иосиф, — возвещать какую-либо истину, если она только субъективная истина, а не Истина?

Юст покачал головой, удивляясь такому неразумию. Затем с легким нетерпением заявил:

— Истины, которые политик сегодня претворяет в дела, — это истины, которые писатель возвестил вчера или третьего дня. Разве вам это неизвестно? А истины, которые писатель возвещает сегодня, будут завтра или послезавтра претворены политиком в жизнь. Истина писателя при всех обстоятельствах чище, чем истина человека действия, политика. У человека действия, у политика тоже, даже в лучшем случае нет шансов на осуществление его концепции, его истины во всей их чистоте. Ведь его материал — это другие люди, массы, им он постоянно должен делать уступки, с ними работать. Поэтому политик работает с самым неблагодарным, недостойным материалом, — ему приходится, бедняге, сочетать свою истину не только с ложью, но и с глупостью масс. Поэтому все, что он делает, ненадежно, обречено на гибель. У писателя больше шансов. Правда, и его истина является смесью фактов окружающего мира, действительности, и его собственного непостоянного, об-

манчивого «я». Но эту его субъективную правду он может, по крайней мере, чистой вынести на свет, ему даже дана некоторая надежда на то, что эта истина постепенно превратится в постоянную, хотя бы в силу давности; ибо если человек действия непрерывно экспериментирует над теоретической правдой писателя, то имеется некоторая надежда, что когда-нибудь, при благоприятных обстоятельствах, действительность все же подчинится этой теории. Дела проходят, легенды остаются. А легенды создают новые дела.

Грузчики бегали взад и вперед, они грузили корабль «Счастье». Иосиф смотрел на них, но их видел лишь взор его, он был занят тем, что сказал Юст. Тот повернулся к нему лицом и продолжал не то с сожалением, не то со злостью.

— Правда, великому писателю не всегда легко оставаться верным своим истинам. По большей части — это неудобные истины, и они мешают его успеху и популярности. Популярности писатель обычно достигает лишь тогда, когда подмешивает в составные части своего познания глупость масс.

Иосиф чувствовал себя весьма неприятно. Юст же очень вежливо и теперь снова по-гречески добавил:

— Не думайте, пожалуйста, Иосиф, что я смеюсь над вами. Почему бы вам и не писать ради успеха? Тем, что вы иногда писали непристойную ложь, вы заработали себе бюст в храме Мира. Почти каждый найдет, что дело стоило того.

И еще раз лицо его изменилось, на нем проступило лукавое и смиренное выражение, и он пододвинулся к Иосифу:

— Я хочу сообщить вам один секрет, — сказал он. И среди шума Кесарийской гавани, словно они были совсем одни, этот тощий, убогий, изувеченный человек, приблизив свой рот к лицу Иосифа, сказал ему на ухо свою тайну: — Даже распространение чисто субъективного познания не может радовать человека больше, если он понял следующее: всякое познание возникает только из стремления найти доводы, оправдывающие твою индивидуальность, всякое познание — только средство сформировать твою собственную сущность, отстоять себя против целого мира. И если какое-нибудь познание не приспособлено для того, чтобы утвердить твоё «я», ты будешь трудиться над ним до тех пор, пока его не приспособишь. — И, хихикая, он запел на мотив модной уличной песенки слова, вероятно, только сейчас возникшие в его уме:

Только то можешь ты усмотреть,
Что желаньям твоим угождает
И что право твое подтверждает
Тем, чем был ты, остаться и впредь.

Иосиф не решался взглянуть в глаза этого человека.

— Почему принижаете вы нашу работу, Юст? — жалобно сказал он.

— Вздор, — отрезал Юст, — я не считаю свою работу неценной.

Иосиф же, хотя его глубоко ранили слова другого, почувствовал потребность слышать такие слова все вновь и вновь. Он взглянул на корабль «Счастье»:

— Поедемте со мной в Рим, Юст, — попросил он его. — Я нуждаюсь в вас.

— Хорошо, — резко ответил Юст.

Когда Иосиф и Юст приехали в Рим, было холодно, пасмурно и ветрено. Но уже в носилках, в которых его несли домой, Иосиф почувствовал глубокую радость оттого, что он опять в Риме. Он уже не понимал, как мог всего восемь месяцев назад приветствовать Иудею, словно свою единственную родину, как мог бояться, что почувствует себя в Риме чужим. Правда, все здесь холоднее и бескрасочнее, чем в Иудее. Но ведь нельзя жить постоянно в атмосфере, которая так утомляет и волнует, как атмосфера его родины, нельзя превращать свое существование в непрерывный день покаяния и суда. Его путешествие в Иудею было большой героической интермедией. Здесь, в Риме, его будни, деятельные, трезвые, грязные. Он принадлежит Риму, он принадлежит всему миру, а не маленькой страстной провинции Иудее.

В тот же день он уговорил Юста прогуляться с ним по городу. Теперь он еще глубже вкушал свое возвращение домой. Ему хотелось приветствовать каждое здание, каждый камень. И люди, вплоть до орущих уличных торговцев, и даже храмы и статуи богов были с ним как бы одно, были частью его. Он благодарен Иудее, что она заставила его так глубоко почувствовать, до какой степени он принадлежит Риму и всему миру.

Юст был молчалив. Он шел по городу, как сторонний наблюдатель; давно он здесь не был. В его Александрии больше жизни и движения. Однако новая династия, Веспасиан и Тит, сумели выразить даже во внешнем облике Рима то, что здесь — центр мира. Иосиф показывал своему молчаливому спутнику белые с золотом постройки Флавиев, словно это он возвел их, хвастал разрастанием и великолепием города. Когда они дошли до Форума, как раз выглянуло солнце, и под трибуной для ораторов можно было

разглядеть время на солнечных часах, считавшихся сердцем мира; лицо Иосифа сияло, как у ребенка.

Но когда они пришли на Марсово поле, небо вновь затянуло тучами, пошел дождь впереमेжку со снегом, стало холодно совсем по-зимнему, и они поспешили укрыться под новыми, восстановленными после пожара аркадами. Люди зябли в своих плащах, кашляли, плевали, носы их покраснели. Иосиф останавливал знакомых. Они неохотно вступали в разговор, старались отвечать кратко, нетерпеливо переминались с ноги на ногу, стремились уйти из этого холода. Но Иосиф затягивал беседу, расспрашивал о том и о сем, представлял им Юста. Звуки латинской речи, которые были ему так неприятны в Иудее, здесь ласкали слух, его взор радовали римские лица, римские одежды. Эти люди были ведь римскими гражданами, и он был тоже римским гражданином.

Юст был все так же молчалив, но он не смеялся над Иосифом. Теперь они шли через форум Веспасиана. Перед ними выросло величественное белое здание.

— Храм Мира? — спросил Юст, это было скорей утверждение, чем вопрос.

По поводу других новых зданий Иосиф давал обстоятельные объяснения, мимо этого ему хотелось пройти молча. Но Юст остановился. Слегка поеживаясь, стесненный отсутствием руки, он кутался в свой войлочный плащ, рассматривал здание.

— Может, зайдём? — предложил он Иосифу.

Тот подозрительно покосился на него, трепеща перед той минутой, когда Юст увидит его почетный бюст. Однако худощавое лицо Юста не выражало насмешки, только одно любопытство. Иосиф пожал плечами, они взойшли по ступеням. Прошли мимо богини мира, стоявшей спокойно и кротко под защитой двух императоров, мимо пышных картин и статуй, мимо трофеев Иудейской войны, семисвечника, стола для хлебов предложения. Юст шел медленно, рассматривая все очень внимательно, дыша порывисто. Ни один из них не сказал ни слова.

Они прошли через библиотеку. Широкий и тихий открылся перед ними зал.

— Почетный зал? — спросил Юст.

Иосиф кивнул. Нередко приходилось ему при самых нелепых ситуациях стоять перед лицом людей, от которых зависела его судьба, но никогда еще не испытывал он такой мучительной неловкости, как сейчас, в ожидании той минуты, когда они подойдут к его бюсту.

Обширен и спокоен был зал, немногие посетители, решившиеся прийти в этот день, терялись в нем; в углу, съежившись от холода, прикорнул слуга. Они вошли. Остановились перед бронзовыми таблицами, на которых были выгравированы имена ста девяноста восьми, почитаемых величайшими писателями всех времен. Долго простоял Юст перед этими таблицами, бережно читал имя за именем, его губы шевелились, когда он читал. Иосиф тревожно следил за ним, он дрожал от холода и вместе с тем покрывался испариной от волнения, его сердце колотилось о ребра. Юст стоял и читал. Иосиф смотрел на него, и Юст не улыбался. И снова Иосифом овладело унижительное чувство школьника, который не выучил урока.

Наконец Юст оторвался от таблиц. Они принялись осматривать бюсты — один за другим, в том порядке, в каком они стояли вдоль стен овального зала. Дошли до бюста Иосифа. Повернутая к плечу, поблескивала эта голова из коринфской бронзы, худошавая, чуждая, безглазая и все же полная знающего любопытства, высокая и высокомерная. Живой Иосиф отнюдь не выглядел теперь высокомерно, уже давно никто не видел его таким смиренным. Зачем его бюст стоит среди всех этих бюстов? Он прокрался к славе сомнительными путями, и теперь, когда Юст рассматривал его изображение, Иосиф чувствовал себя словно вор перед обворованным.

Но Юст, после бесконечного молчания, сказал только:

— Этот Василий — большой мастер. — И когда они уходили из зала, он добавил: — Одного бюста здесь не хватает, может быть, и для вас было бы хорошо, если бы он был поставлен раньше вашего.

— Да, — сказал смиренно Иосиф, сам не постигая, как мог он допустить, чтобы его бюст поставили в этом зале раньше, чем бюст Филона.

Он спрашивал себя, что могло происходить в Юсте, пока он разглядывал его бюст. Юст не знал зависти, он был для этого слишком горд, но было бы чудом, если бы изменчивость мира не наполнила его горечью. Юст, против своего обыкновения, не высказывался и только заметил, когда они покидали храм:

— Нелегко еврею оставаться смиренным. Не нужно иметь особого дара пророчества, а лишь небольшой литературный вкус, и тогда станет ясно, что из всех, кто в наш век писал по-гречески, только трое переживут свою эпоху: еврей Филон, еврей Юст из Тивериады, еврей Иосиф Флавий.

Он не хихикал, в его голосе не было насмешки. На другой день он принес Иосифу маленькую книжку, первые двести страниц своего повествования об Иудейской войне. Этот подарок Юста был для Иосифа и признанием и поддержкой. Он просидел всю ночь напролет над рукописью. Сначала он хотел прочесть ее в один присест, но из этого ничего не вышло — острый, насыщенный стиль книги заставлял читателя продумывать каждое слово. И поэтому он читал медленно ясные, отточенные фразы Юста, уснащенные цифрами и датами, и в то время как он читал и восхищался, он ощущал с особой болью собственную скрытую за ложным блеском беспомощность.

Все же труд Юста не подавлял его. Ему самому не доставало многого, чем обладал Юст, но и у него было многое из того, чего не доставало Юсту. У Юста был более острый ум, он шире смотрел на вещи, но то, что переживал Иосиф, сгущалось для него в картины и образы большей наглядности. Труд Юста стал для него жалом, однако это жало не ранило, а лишь подстрекало.

Своих римлян Иосиф приветствовал с радостью, но с тем большей тревогой ждал он первой встречи с римскими евреями. Вопрос о синагоге Иосифа оставался до сих пор невыясненным. После бури негодования и насмешек, вызванной его отказом от мальчика Павла, было весьма сомнительно, удастся ли доктору Лицинию осуществить свое намерение и назвать синагогу его именем. Поэтому, когда к нему явились Гай Барцаарон и доктор Лициний, он принял их с неприятным чувством.

Но вскоре выяснилось, что эти господа считали себя более виноватыми перед Иосифом, чем он перед ними. Во время обмена приветствиями жизнерадостный Гай Барцаарон испытующе скользил хитрыми глазками по лицу Иосифа, стараясь угадать его мысли, и Иосиф скоро заметил, что почетный прием, оказанный ему в Ямнии, произвел в Риме благоприятное впечатление. Красноречиво восхвалял старик, председатель Агрипповой синагоги, мудрость верховного богослова Гамалиила. После стольких бедствий иудеям в лице этого человека наконец послан великий вождь, подобный Ездre и Неемии. Сначала римские общины опасались, что председатель, столь молодой и на столь трудном посту, даст увлечь себя легкомыслию. Однако в Гамалииле сила молодости сочеталась с мудростью старика. Какой твердой рукой сдерживает он стремящихся в разные стороны иудеев! Какой искусной тактикой удалось ему вытеснить из еврейства этих минеев, чья бессмысленная

пропаганда вновь восстанавливала римлян против евреев! С какой гибкостью умеет он, при всей своей строгости, согласовать теорию с требованиями действительности! И Гай Барцаарон рассказывает случай, пережитый им самим. Так как Гамалиил особенно настаивал на выполнении ритуалов, то ортодоксальные фанатики в Риме осмелились сделать новый выпад против него, Гая Барцаарона, они снова откопали старую историю о его мебели с орнаментами в виде животных и попытались свергнуть его обходным путем, через Ямнию. Но молодой мудрец Гамалиил быстро положил конец их проискам. Разумеется, лучше, чтобы первая в Риме мебельная фабрика оставалась в руках иудеев, даже и с орнаментами в виде животных, чем если во главе влиятельного цеха столяров встанет гой. Мудрый законодатель, великий политик.

Больше не было и речи о былых сомнениях, можно ли назвать новую синагогу на левом берегу Тибра именем Иосифа. Наоборот, доктор Лициний настойчиво приглашал его посмотреть, как растет прекрасное здание.

Тяжелая забота свалилась с плеч Иосифа. Судя по теперешнему положению дел, римские евреи, вероятно, не будут чинить препятствий к его новому браку с Марой.

Он пошел к Алексию. Нелегко было ему сообщить этому человеку, с которым он дружил, то, на чем они порешили с Марой. Стеклодур принял его с большим волнением, расспрашивал о мельчайших деталях жизни в Иудее, но он не решался завести речь о Маре, очевидно, боялся этого; смущен был и сам Иосиф.

Долго просидели они вместе. Когда же все об Иудее было рассказано, они заговорили о Риме. Алексей передал Иосифу слухи, распространяемые на правом берегу Тибра, среди евреев, относительно императора Тита. Иосиф уже слышал о том, что здоровье императора оставляет желать лучшего. Евреи по-своему истолковывали его все возрастающий упадок сил и шептались о том, что рука Ягве поразила разрушителя храма. Тит некогда хвастался, что Ягве является владыкой только на воде, поэтому он мог уничтожить египетского фараона лишь во время перехода через Красное море; на суше же он, Тит, с легкостью одолел бога. Чтобы наказать его за дерзость, Ягве послал одно из своих самых маленьких созданий, крошечное насекомое, чтобы погубить Тита. Оно проникло через нос к нему в мозг, там живет, растет, пугает императора днем и ночью и, наконец, убьет его.

Что бы ни лежало в основе этих слухов, Иосиф был уверен в одном: разрушитель Иерусалима не был счастлив. Но и Алексей, этот мудрый, благоразумный человек, стремившийся к прекрасному и доброму, тоже ведь не был счастлив. Он любил своего отца, он любил свою жену и детей, только ради отца остался он в городе Иерусалиме, гибель которого предвидел раньше и яснее других; но сам он чудесным образом спасся, а погибли именно те, ради спасения которых он остался. Теперь он возложил все свои надежды на Мару. Иосиф не мог заставить себя рассказать ему о своем предстоящем браке.

Алексий предложил ему пройти с ним на фабрику. С обычной энергией принялся стеклодув за работу; перенес лавки под аркады Марсова поля, таким образом все здание в Субуре освободилось для мастерских. Он импортировал на кораблях кварцевый песок с реки Бел и с помощью этих материалов и своих сидонских мастеров успешно конкурировал с местными промышленниками. Теперь он изготовлял в самом Риме то роскошное художественное стекло, которое до сих пор приходилось выписывать из Египта и Финикии.

Он стал показывать Иосифу фабрику. Долго и внимательно следил Иосиф за работой гигантских плавильных печей. Он садился перед ними, смотрел на пестрое, питаемое многообразными веществами пламя. Алексей предупреждал его, что надо быть осторожным, сам он привык к этому пламени, но глаза непривычного человека с трудом выдерживают его. Однако Иосиф не мог отвести взгляда. Он видел пламя, он видел песок и соду, видел, как эти вещества плавилась в чудовищной жаре, смешивались и превращались в новую массу.

И когда он так сидел, уставившись на пламя, он вдруг почувствовал, что может рассказать Алексею о Маре. И он рассказал ему, как встретился с ней и на чем они порешили.

Алексий слушал его уныло и смиренно. Его любимой мечтой было вернуться в Иудею, жениться на Маре и дожить свою старость вместе с ней в стране Израиля. Он хотел дать Маре год или два, чтобы рана после смерти сына немного затянулась, и затем снова собирался предложить ей стать его женой. Но у него было слишком много такта, вот в чем дело. С тактом далеко не уедешь. Если бы римляне были тактичны, они никогда не завоевали бы мир. Иосиф тоже не был тактичен. Поэтому он добыл себе Мару.

Алексий сидел перед ним на корточках; и хотя его плечи были опущены, он все же был широк и статен. Он опять

немного оброс жирком. «Как странно,— думал Иосиф,— что этот стеклодув к старости становится похожим на отца; хотя тот, в сущности, до самой своей смерти был доволен и полон надежд, а на Алексия с ранней юности как бы упала тень от сознания скорби, живущей в мире, и бренности всего человеческого».

Впрочем, Алексей и сейчас не испытывал злобы против Иосифа. Он грузно поднялся, несколько раз поклонился Иосифу, все еще смотревшему в многоцветный огонь; его тень, то причудливо удлиненная, то укороченная трепещущим пламенем, кланялась вместе с ним, и он сказал:

— Желать вам, доктор Иосиф, «вечного блага» или «бог да благословит тебя» — излишне. Поистине вы от рождения благословенны.

Иосиф тоже поднялся, слегка потягиваясь онемевшим телом. Ему было нелегко принять слова Алексия с должным смирением и так же на них ответить. Он был исполнен гордости: Алексей прав.

Когда Иосиф пришел к Маруллу, чтобы посоветоваться относительно римского гражданства для Мары, тот был в желчном настроении. С приходом зимы он начал больше страдать от зубной боли. К тому же корабль «Арго», на котором его друг Деметрий Либаний возвращался из Иудеи, сильно запаздывал. Его немного утешала мысль, что грандиозная спекуляция на пшенице, предпринятая им вместе с Клавдием Регином, принесла исключительный доход; самое приятное при этом было, что многие республиканские сенаторы, его враги, здорово погорели. К сожалению, нельзя было долго наслаждаться этой упоительной мыслью, дух охотно все вновь и вновь вызывал образы попавшихся врагов, но плоть немощна, зубная боль быстро разъедала скудные минуты покоя и наталкивала ум на невеселые размышления, хотя бы о корабле «Арго» и его друге Деметрии Либании.

Он подробно стал распространяться перед Иосифом относительно того, как ему не везет на друзей. Сначала его покинул Иоанн Гисхальский, только для того, чтобы нарваться на это нелепое иудейское покушение, от последствий которого, как говорили Маруллу, он вряд ли вполне оправится. А теперь, по-видимому, Деметрий исчез в еще более далеком краю, чем Иоанн; «Арго» пропал без вести, и мало надежд на то, что Либаний когда-нибудь появится.

Еще на обратном пути из Эфеса актер написал ему о своей радости: он сможет теперь в Риме вторично сыграть Лавреола, и у Маруллы пропадал аппетит при мысли, что писавший письмо, быть может, стал уже добычей рыб, когда оно достигло адресата.

Иосиф, испытывая легкие угрызения совести, сознался самому себе, что за все эти недели почти не замечал отсутствия актера. А ведь его жизнь была тесно сплетена с жизнью Либания. Никогда без него не встретился бы он с императрицей Пoppеей; кто знает, как и где, без его встречи с актером, началась бы Иудейская война, а Деметрий, в свою очередь, не поехал бы без него в Иудею и не погиб бы.

Марулл все еще продолжал говорить. Если, высказывал он вслух свои соображения, Деметрий действительно когда-нибудь вернется, то его шансы сыграть Лавреола теперь особенно высоки. Уже не говоря о той сенсации, какую вызовет возвращение актера, считающегося погибшим, теперь, с тех пор как весь мир знает, что Тит никогда уже вполне не оправится, пьеса, находящаяся под покровительством принца Домициана, провалиться не может. Подробно расспрашивал он Иосифа о частностях постановки во Флавийском Неаполе. Его особенно интересовало, сделал ли Деметрий в третьей сцене ударение на слове «крест» или на слове «ты». И был очень разочарован, когда Иосиф не смог ответить на этот вопрос. Теперь он этого, вероятно, никогда не узнает.

Наконец он прекратил свои воспоминания о Деметрии, и Иосиф смог заговорить о своих собственных делах. Марулл, очевидно, забавлялся запутанностью и противоречивостью желаний Иосифа. Как же: сначала Иосиф с помощью жертв добился развода с Марой, а теперь он тратит время, деньги, нервы, жизнь на то, чтобы снова на ней жениться; ибо включение в число граждан совершеннолетней еврейки — вещь сложная и длительная. Правда, есть способ сократить процедуру и избежать вероятных трений и предстоящего скандала. Так как император, видимо, питает к нему слабость, то не обратиться ли, как в прошлый раз, прямо к нему?

Иосиф ответил с сомнением: судя по всему, что он слышал, император болен, раздражителен и доступ к нему очень труден. Марулл внимательно посмотрел на него сквозь увеличительный смарагд.

— То, что вы слышали, Иосиф, верно, — подтвердил он. — Странности его величества за время вашего отсут-

вия усилились. Император все чаще уходит в себя, перестает видеть и слышать, что делается вокруг. Принцесса Луция — единственная, чье присутствие он способен выносить подолгу.

И затем, к изумлению Иосифа, оказалось, что люди с правого берега Тибра не так уж далеки от истины.

— Вы знаете,— продолжал Марулл,— я из-за своих зубов вынужден иной раз советоваться с доктором Валентом. И вот он, пока ковыряется у меня во рту, рассказывает странные истории. У императора бывают продолжительные приступы бурных слез. Потом он вдруг начинает требовать, чтобы был шум. Однажды среди ночи он отправился прямо в арсенал, поднял всех на ноги, пустил в ход все фабрики. И это — среди ночи. Он пожелал, и притом немедленно, чтобы вокруг него был оглушительный шум. Удивленному Валенту он объяснил полушутя, полусерьезно, что когда козявка в его мозгу слышит шум, она пугается и оставляет его в покое.— После небольшого молчания Марулл деловито закончил: — Во всяком случае, Иосиф, вы хорошо сделаете, если позаботитесь об аудиенции возможно скорей.

— Клянусь Геркулесом, мой мальчик,— воскликнула Луция, когда Иосиф вошел к ней,— где это вы раздобыли себе такую красивую бороду?

Иосиф все еще носил бороду, как в Иудее, четырехугольную, довольно короткую, но не завитую и не заплетенную, как прежде. Луция ходила вокруг него, рассматривала со всех сторон.

— А знаете,— удивленно сказала она,— что вы гораздо лучше с бородой? Вы выглядите больше евреем, но не слишком, зато не таким лощеным, как наш Агриппа.— Ее глубокий смех, который так любил Домициан, наполнил комнату. Она уселась против Иосифа, высокая, статная, с огромной башней локонов, Иосиф казался маленьким рядом с ней.— Расскажите об Иудее,— попросила она.— Теперь, после того как мы отделались от вашей Береники,— созналась она весело,— я опять чувствую большую симпатию к вашей стране.

Иосиф начал. Он старался рассказывать как можно нагляднее и интереснее. Луция действительно заинтересовалась, пододвинулась к нему ближе, похлопывала его по руке.

— Вы хорошо умеете рассказывать,— похвалила она его.— И руки у вас тоже красивые.

Иосиф был в расцвете сил и отнюдь не презирал радостей жизни; но перед Луцией и ее избытком сил он казался себе бедняком. Вероятно, она, как и прежде, по-своему любит Домициана, вероятно, испытывает подлинную привязанность и к Титу; но весь Рим полон рассказами о том, с каким бесстыдством она выражает свои чувства к Парису, молодому, только что входящему в моду танцору. В присутствии императора и Домициана, на глазах у десяти тысяч зрителей она позвала Париса в ложу и обняла его за плечи. Она принадлежала к роду, никогда не боявшемуся смерти, сама была бесстрашна, брала от каждого мгновения все, что оно давало. И в то время как большинство старинных семейств с ростом Рима приходило в упадок, словно отдав всю свою силу городу и империи, род Луции вырос вместе с Римом, и в ней Рим и ее род достигли своей вершины. Она была поистине воплощением этого Рима Флавиев — цветущая, ненасытная, все более жадно пожиравшая жизнь.

Когда Иосиф рассказал ей о своем проекте жениться на Маре и сделать ее полноправной римской гражданкой, она нашла это таким же забавным, как и Марулл. Однако, несмотря на явное благоволение к Иосифу, она колебалась, допустить ли его к Титу.

— Сомневаюсь,— заявила она прямо,— умно ли это будет, если я вас приведу к нему. Восток оказался ему вреден, он проник слишком глубоко ему в кровь, и когда Тит наконец его вырвал, осталась рана, которая не заживает. Император Тит не вынес Иудеи.— Она обратила к Иосифу большие, смелые, широко расставленные глаза, ее лоб под высоким сооружением из волос казался чистым и детским.— Другие, может быть, лучше вынесли бы Иудею,— сказала она медленно, задумчиво, неотступно глядя на него. Иосиф бурно схватил ее руку.— Нельзя,— сказала она и так сильно ударила по пальцам, что ему стало больно.

Не прошло и трех дней, как его вызвали на Палатин.

В передней, перед тем как он был допущен к Титу, к нему подошел лейб-медик Валент.

— Вас просят, Иосиф Флавий,— сказал он очень вежливо,— оставаться у его величества не больше двадцати минут.

Иосиф, испытывая некоторую неловкость под холодным, рассеянным, но все же испытующим взглядом врача, спросил:

— Кто просит меня?

— Некто, имеющий на это право, — сказал загадочно Валент.

Тит заметно постарел. Его круглое лицо отекло, глаза под широким лбом казались еще уже, еще более обращенными внутрь. Короткие, спадающие на морщинистый лоб кудри придавали ему вид состарившегося ребенка. Он, видимо, обрадовался встрече с Иосифом.

— Наконец-то, мой еврей, — сказал он. И попросил: — Расскажи мне о нашей Иудее!

Иосиф рассказывал. Он сообщил, что страна цветет и преуспевает. Губернатор, несмотря на некоторые неприятные черты, вполне подходящий человек; его мероприятия так согласуются с мудрыми мероприятиями Гамалиила, что римляне и евреи все же кое-как ладят между собой.

Император казался разочарованным. Не это хотелось ему услышать. Очевидно, он ждал чего-то определенного и только боялся спросить. Иосиф ломал себе голову над тем, что же хотел бы знать император, и ничего не находил. Двадцать минут, о которых ему говорил Валент, уже почти истекли. Тит на глазах становился все более вялым, он едва слушал то, что говорил Иосиф, пристально смотрел туда, где некогда висел портрет Береники.

— Ты был там? — решился он вдруг на прямой вопрос.

Взгляд Иосифа последовал за взглядом императора.

— Где «там»? — спросил он нерешительно, он думал, что император, может быть, хотел спросить, был ли он у Береники.

— В Иерусалиме, конечно, — ответил с некоторым нетерпением Тит, он понизил голос почти до шепота.

— Да, я был там, — ответил наконец Иосиф.

— Ну? — жадно спросил Тит.

— Там бараки Десятого легиона, несколько водоемов и стены башен Гиппика, Фасаила и Мариамны.

— Это мне известно, — насмешливо ответил император.

Иосиф же вспомнил о великом запустении, он не мог дольше оставаться благоразумным, он сказал, не повышая голоса, но отчеканивая каждое слово:

— Больше там ничего нет.

Тит смотрел перед собой странно ищущим, измученным взглядом. Он говорил теперь так тихо, что Иосиф с трудом понимал его.

— Мы не должны были этого делать, — сказал он. — Мы не должны были трогать «того самого». Я же обещал ей, и я всегда мечтал о том, как она восходит по ступеням. И вот она вместо тех ступеней взойшла по ступеням Палатина, и это было не то. — И, словно Иосиф возражал, он подхватил с еще большим жаром: — Повторяю тебе, мой сврей, это было не то. Потому все и пошло прахом. Ты помнишь, как в первый раз мы увидели город. Тогда из вашего храма донеслось чудовищное гудение. У меня иногда бывает теперь тоска по гудению, но то было неприятное гудение, оно не выходит у меня из головы, оно вызывает у меня головную боль. Кстати, я никак не могу припомнить, как называлась эта штука, которая гудела.

— Это была Магрефа, — сказал Иосиф, — стозвучный гидравлический гудок. — Слова императора взволновали его до глубины души; не то, что говорил этот человек, а как он говорил, его тихий, таинственный, угасший шепот.

— Совершенно верно, — сказал Тит, — Магрефа. У вашего бога Ягве могучий голос. А теперь, когда ты был в Иерусалиме, ты ничего больше не слышал? — осведомился он с интересом.

— Слышал, — отозвался нерешительно Иосиф. — Голос Ягве я слышал.

— Вот видишь, — император кивнул крупной тяжелой головой. Добавил почти радостно, словно ждал этих слов от Иосифа с самого начала. — Почему ты не сказал мне этого сразу? Кстати, — продолжал он, — ты знаешь, что капитан Педан умер? Да, — пояснил он, когда Иосиф изумленно поднял глаза, — умер внезапно, во время банкета. Он был ведь не так стар. Крепыш, я думал, он проживет еще долго. Он заслужил травяной венок, но он был злой человек. Мы не должны были этого делать, — вернулся он к своим прежним мыслям. — И я ведь совсем не хотел этого... — раздумывал он вслух. — И если бы ваш бог Ягве был справедливым богом, он не должен был бы возлагать вину на меня. Но я думаю, что он несправедливый бог, и я долго не проживу. Мой добрый Валент знает свое дело, он утешает меня и обнадеживает, но что может он сделать, если ваш бог Ягве так несправедлив?

Иосифа бросило в дрожь, когда он услышал слова этого владыки мира. Он вспомнил капитана Педана, его широкую, грубую, поросшую белесыми волосами руку, которая уже не могла теперь хватать и бить. Мимоходом подумал он также и о том, что теперь город Эммаус, вероятно, больше не будет возражать против включения в общину его имений,

и радовался, что использовал благосклонность Флавия Сильвы не ради личных целей, но ради пользы евреев.

— Нет, я этого не хотел,— еще раз уверил его император.— И почему вообще ваш бог Ягве не защитил своего дома, почему допустил, чтобы в тот день именно Педан был назначен принимать приказ? Я нахожу, что ваш бог поступил некрасиво по отношению ко мне. Даже если Валент прав и я выздоровею, ваш Ягве испортил мне жизнь. Она должна была взойти по ступеням *его* храма, а он сделал так, что они оказались ступенями Палатина. Довольно об этом,— прервал он себя вдруг и попытался заговорить другим тоном.

Иосиф, услышав этот изменившийся тон, очнулся от своих мыслей и взглянул на водяные часы. Двадцать минут давно истекли. Но пусть тот, кто имеет на это право, делает, что ему угодно: пока что он у Тита, и он еще не сказал ни слова о собственном деле.

— Вы уже видели принцессу Луцию? — заговорил более веселым и легким тоном император.— Разве она не замечательна? Разве она — не сам Рим? Вот крепкая опора.— Он снова взглянул на то место, где некогда висел портрет.— Конечно, она не Береника,— улыбнулся он. И, снова изменив тон, серьезно, деловито, решительно констатировал: — Слушайте, Иосиф Флавий, мой историограф, правда, я заслужил доверие моих римлян, я «любовь и радость рода человеческого», но собственная моя радость, величайшая удача моей жизни меня покинула.

Затем вежливо, милостиво спросил он Иосифа, что ему угодно. Закивал, улыбнулся, рассмеялся, ударив в ладоши, вызвал секретаря, и в одну минуту дело о включении в число римских граждан Мары, дочери Лакиша, в настоящее время проживающей на хуторе «Источник Иалты», близ города Эммауса, было улажено так, как этого хотели Иосиф и Марулл.

Однако Иосиф, уходя с Палатина, едва мог отдаться своей радости по поводу удачного исхода дела. Еще долго смущали его странные речи императора.

Дни Дорион были заполнены. Она посещала вместе со своим другом Аннием Бассом все те места, где полагалось бывать светской женщине. Она продолжала постройку альбанской виллы, славившейся своей архитектурой и внутренним устройством. Дорион любила комфорт, красивые вещи доставляли ей глубокую радость, и когда она вспоминала

мрачный, запущенный дом в шестом квартале, то находила, что имеет все основания почитать себя счастливой. Неплохо было также заменить, в качестве друга и защитника, неустойчивого, неуравновешенного Иосифа полковником Аннием Бассом. Теперь, наверно, осталось ждать недолго. Тит скоро освободит место для брата, и есть все основания думать, что Анний станет начальником гвардии и после Домициана самым влиятельным человеком в империи.

И все же, со времени своего развода с Иосифом, Дорион стала более нервной, раздражительной и прежде всего выказывала меньше благосклонности своему другу Аннию. Анний любил эту женщину и спокойно принимал ее капризы. Но ему, как человеку, любящему также порядок, было неприятно, что она до сих пор не имеет римского гражданства, и он настаивал на том, чтобы оформить их отношения. Однако Дорион все не могла решиться на выполнение тех формальностей, которые были необходимы для заключения законного брака, и под тем или иным предлогом уклонялась от исполнения его просьбы.

То, что Иосиф вернул ей сына, вывело ее из равновесия, и в течение многих месяцев не проходило дня, чтобы она не испытывала к нему бешеной ненависти и жгучей любви. Она облегченно вздохнула, когда он затем уехал в Иудею. Пусть возвращается в свою нелепую, варварскую провинцию — там ему и место. Ее отношения с Аннием стали ровнее, сердечнее, и когда он в конце лета преподнес ей свой маленький городской дворец, она приняла этот подарок и переехала на зиму в Рим.

Однажды, вскоре после возвращения Иосифа, во время выступления Диона из Прусы в храме Мира, она увидела своего бывшего мужа. Он показался ей изменившимся, более евреем и более молодым; таким стоял он некогда перед ней в Александрии, когда она увидела его в первый раз, и желание, толкнувшее ее тогда к нему, вспыхнуло в ней снова. Она заметила, что после окончания речи Иосиф пытается протиснуться к ней, но, опасаясь этой встречи, упорно уклонялась от его взгляда и не давала ему возможности заговорить с ней. С этого дня она стала вновь раздражительной по отношению к Аннию и, как только наступила весна, настояла на том, чтобы покинуть Рим и вернуться в Альбан.

В связи с ее переездом в Альбан Анний поднес ей подарок для ее гостиной. Это была фигура из коринфской бронзы, предназначенная служить подставкой для светиль-

ни, статуэтка нагого обрезанного еврея. Изящная вещичка, смелая и слегка непристойная, художественное произведение в жанре тех, которыми дамы любили украшать свои комнаты; статуэтка вышла из мастерской Терма, великого соперника Василия. Анний был очень удивлен, когда Дорион не только не поблагодарила за подарок, но принялась резко упрекать его за безвкусицу. Обычно при таких вспышках он отделялся шуткой; на этот раз он рассердился. Он заявил ей прямо в лицо, что она все еще любит Иосифа. Она ответила, что у Иосифа есть некоторые качества, которым может позавидовать любой мужчина. Действительно, она начинала смотреть на Анния глазами Иосифа; его дружба с будущим императором, его военные таланты, его уверенность в том, что он будет командовать всей армией империи, несколько не увлекали ее, его шумная, прямодушная игривость и солдатская грубость раздражали ее. Дело дошло до неприятных взаимных характеристик. Анний несколько дней держался вдали от Дорион.

Павел не спрашивал о причинах внезапного исчезновения Анния. Сближение с сыном всегда было делом нелегким, но Дорион знала его, знала, что с тех пор как Иосиф его вернул, он теперь не так слепо любит ее. Она, как и раньше, продолжала нежно любить сына, но ее отношение к нему было неровное, и оно колебалось в зависимости от колебаний ее чувства к Иосифу. То она без всякого видимого повода осыпала его доказательствами своей материнской любви, то, когда он нуждался в ней, замыкалась перед ним. Она сознавала свою неуравновешенность, сердилась на себя, когда бывала холодна с мальчиком, но не могла себя пересилить. Она знала также, как страдает Павел от неопределенности ее отношений с Аннием. Пережитый мальчиком процесс, внимание, которое он вызвал, сделало Павла крайне чувствительным ко всему двусмысленному. Она знала, что он, став через усыновление полноправным римским гражданином, пламенно желает этого гражданства и для матери. Она знала, как охотно он признал бы Анния своим отцом, ему нравилась его мужественность, его воинственность, и он радовался перспективе — самому как можно раньше поступить на военную службу.

Все это Дорион обдумала в те дни, когда Анний держался вдали от нее; кроме того, ей казалось, что Иосиф был бы удовлетворен, если бы между нею и Аннием произошел окончательный разрыв. Она написала Аннию коротенькое

шутливое письмецо, которое он при желании мог принять за извинение.

Когда он снова приехал в Альбан, подсвечник стоял в ее гостиной.

Отказ Иосифа от Павла произвел в мальчишке глубокий переворот. До сих пор у него для всего на свете существовало одно бесспорное мерило: мнение его учителя Финея. Поступок отца доказал, что Финей был несправедлив по отношению к этому человеку. Мальчик продолжал почитать своего учителя, но он больше не был для него великим верховным жракулом.

И теперь ему было неприятно, что благороднейшее поведение его отца не встречало должной оценки со стороны матери и Финея. Ничего унижительного не было бы, например, в том, чтобы изредка с ним встречаться.

Поэтому он был радостно удивлен, когда однажды за столом Дорион в присутствии Финея прямо спросила его, не хочется ли ему повидаться с отцом. Обычно столь владевший собой Финей положил обратно на тарелку кусок, который только что поднес ко рту, его большая, бледная голова побледнела еще сильнее; Дорион ему не сообщила о своем решении. Павел переводил глаза с матери на учителя, оба ждали его ответа.

— Я охотно поеду к отцу, — ответил он.

Смущенно, не без радостного волнения вошел он в дом в шестом квартале, где так долго чувствовал себя пленником. Он решил держаться с Иосифом по-мужски, сердечно, как Анний, но отец, когда они встретились, был уже не тем, каким он его знал, это был чужой господин с незнакомой бородой.

Иосиф, видимо, обрадовался, когда приехал его Павел, но радость эта была очень спокойной, вовсе не бурной. Разговор не клеился. Иосиф осведомился об успехах Павла в управлении козым выездом, об его козле Паниске. Но в настоящий момент Павел больше интересовался другим спортом, а именно — сложными видами игры в мяч. В игре с кожаным мячом — это можно сказать, не хвастая, — он уже сделал большие успехи, скоро он решится приступить к игре со стеклянным мячом. Это возможно только после долгой тренировки, ибо стеклянные мячи стоят дорого, и промах обходится в целое состояние. Игру в мяч издавна любил и Иосиф, он сам был большим мастером этого дела, и некоторое время отец и сын оживленно беседовали. Но

скоро разговор снова иссяк, и Павел машинально потянулся к своему рукаву, где еще недавно лежала глина для лепки фигурок. Несколько недель назад, в день своего рождения, он дал себе клятву отвыкнуть от этой детской привычки.

Иосиф смотрел на стройного, аристократического мальчика, своего сына, он нравился ему, и он был очень к нему расположен. Но неужели его действительно когда-то волновал до мозга костей тот факт, что он не может найти пути к сердцу этого мальчика?

Павел же ломал себе голову над тем, как показать отцу, что он считает его тогдашнее поведение благороднейшим. Однако Иосиф ни одним словом не коснулся прошлого,—это было очень тактично, но ничуть не облегчило мальчику его намерения. Никто не учил Павла быть ласковым, наоборот, Финей внушал ему, что мужчина должен скрывать свои чувства. В конце концов он сказал, запинаясь:

— Не дашь ли ты мне ту книгу с рассказами о силаче Самсоне? Я охотно перечел бы ее еще раз.

Иосиф взглянул на него слегка удивленно. Но сказал только:

— Конечно, я ее дам тебе,—и не заметил, какого труда стоило мальчику преодолеть себя и просить у него книгу.

В общем, эта встреча с отцом разочаровала Павла; все же ему было приятно, когда Дорион настояла на вторичном посещении. Таким образом, вошло в обычай, что он каждую неделю ездил в гости к Иосифу. Но они не сближались. Сдержанного мальчика влекло к отцу, Иосиф очень к нему благоволил, был очень дружелюбен, но окончательной, подлинной близости между ними не возникало.

В одно из своих посещений Павел спросил отца, как уже однажды спрашивал, о своем покойном брате Симоне. Покойный брат занимал его мысли. Вопрос взволновал Иосифа. Но этот человек, столь ярко живописавший людей и сражения Иудейской войны, не сумел оживить образ своего еврейского сына. Он рассказывал многое, но не рассказал ему, как Симону удалось протащить своего друга Константина на арену и тем добыть себе белочку, не рассказал о любви Симона к коню Сильвану и о его усилиях изготовить модель «Большой Деборы», не рассказал о его пристрастии ругаться «клянусь Герклom». Наоборот, он тщательно выписывал бледный идеализированный образ

Симона-Яники, который Павлу не очень понравился. И мальчик больше не спрашивал о покойном брате.

Когда Павел приходил к Иосифу, его порой сопровождала Дорион. Предлогом служило ее знакомство с Валерием. Разумеется, она заходила не к Иосифу, а к старому ворчливому сенатору. Валерий жил в верхнем этаже, и его раб, согласно обычаю, спускал со стороны фасада подъемную корзину, чтобы знатная посетительница не утруждала себя восхождением по лестнице. Однако Дорион заявила, что раб старика Валерия такая старая развалина, что она боится довериться ему, и пользовалась лестницей.

Но она никогда не встречала своего бывшего мужа Иосифа. Павел же, когда его мать бывала у старика Валерия, нередко заходил за ней наверх. Разжалованный сенатор участвовал в спекуляции пшеницей против Маруллы и Клавдия Регина, стоившей стольких денег многим членам республиканской партии и поглотившей остатки состояния Валерия. Теперь в его доме оставалась только самая необходимая утварь, обстановка сводилась главным образом к наставленным повсюду восковым бюстам предков, пропыленным ликторским пучкам, изъеденным молью парадным одеждам, истлевшим триумфаторским венкам; весь его персонал состоял из одного старого, дряхлого раба.

Сам Валерий стал теперь еще чопорнее и суше. Вместе с бедностью росла его важность. Как и прежде, он отказывался носить изнеживающую нижнюю одежду, введенную в обиход три столетия тому назад, и придерживался грубого простого одеяния своих предков. Его нисколько не тревожило, что за свои консервативные убеждения приходилось платить простудами, мучившими его большую часть года. От своих многочисленных пышных имен, однако, он отказался. С тех пор как благодаря послаблениям правительства чернь все чаще присваивала себе имена старинных родов, он, единственный живой потомок Энея, считал для себя неподобающим носить больше двух имен; из своих двадцати одного имени он вычеркнул девятнадцать и назывался просто Валерий Туллий.

Дорион была для него желанной гостьей. Он сочувствовал тому, что она восстала против его мерзкого соседа, Иосифа Флавия — выскочки из варварской провинции Иудеи, которому покровительствовала эта проститутка Фортуна. Он с удовольствием видел у себя стройного, гордого Павла, которого Дорион вырвала из рук евреев и отдала римлянам. Но эта радость по поводу посещений Дорион и мальчика не делала его обходительней; даже в их

присутствии он был все такой же важный, язвительный, неразговорчивый. Его дочь, белокожая, черноволосая Туллия, едва ли была словоохотливее его. Дорион приходилось дорого платить за свои попытки увидеть Иосифа.

Однако Павел чувствовал себя хорошо в суровой атмосфере Валериева дома. Так как связь между ним и матерью и между ним и Финеем уже не была столь тесной и крепкой, как раньше, и так как сближение с отцом подвигалось туго, то Павел очень ценил всякое проявление симпатии к себе и вскоре, несмотря на молчаливость старика, почувствовал, что тот привязался к нему. Его гордости льстило, что Валерий видит в нем подрастающего римлянина, и когда старик время от времени называл его и Туллию своими детьми, — это было для Павла праздником.

«Девочке» Туллии было как-никак двадцать два года, но кто-нибудь со стороны скорее принял бы ее за внучку, чем за дочь Валерия. Ее длинная голова по-детски чопорно возвышалась над хрупкой шеей и узкими покатыми плечами, а белое лицо под высокой, очень черной искусной прической казалось необычайно нежным. Иосиф, столь же мало любивший своих соседей из верхнего этажа, как и они его, и охотно подшучивавший над ними, как-то сказал Маруллу, что Туллия в свои двадцать два года уже старая дева, и когда Марулл возразил, что находит в строгой, чопорной грации девушки известную прелесть, Иосиф с видом бонвивана процитировал Овидия: только та целомудренна, которую никто не желает. Однако Марулл не мог с этим согласиться. Он находил, да и не он один, что Туллия хоть и застенчива, но отнюдь не пресна, и считал ее высокомерие только маской, скрывающей робость. И где было ей, вынужденной упрямым, сварливым отцом вести замкнутую жизнь, развить в себе светские таланты?

Как раз в это время происходил ремонт храма богини Рима. Династия Флавиев усердно поддерживала культ этой богини, и Тит поручил именно скульптору Василию отлить новую бронзовую статую богини. Ворча, подчинился перегруженный работой скульптор требованию императора и никому не показывал своего произведения до тех пор, пока храм не был заново освящен. Тогда, к всеобщему недоумению, вдруг оказалось, что богиня имеет совсем другой вид, чем раньше. Теперь на цоколе стояла не та мощная героиня, которую привыкли видеть, но тонкая, строгая девичья фигура с трогательным, серьезным и детским лицом, и атрибуты ее власти — венец, рог изобилия, копье и щит — лишь служили контрастом, подчеркиваю-

щим строгую нежность ее фигуры и лица. Своевольный модернизм статуи вызвал в художественных кругах Рима ожесточенные споры. Финей тоже поспешил со своим воспитанником посмотреть статую.

Ему, давнишнему почитателю Василия, новое произведение особенно понравилось, и он с увлечением принялся объяснять Павлу достоинства статуи. Павел долго стоял перед бронзовым изображением, внимательно рассматривал его, захваченный, но не сказал ни слова. Финей находил, что черты богини необычайно живы, наверное, это портрет, оно даже напоминает ему чье-то лицо. Долго старался он припомнить — чье, но напрасно.

— Ну конечно, — вспомнил он наконец, — это же наша Туллия. — Но тут до сих пор молчавший Павел вдруг оживился. Решительно покачал он узкой смуглой головой.

— Нет, это не наша Туллия, — заявил он, — это не наша Туллия, — продолжал он настаивать, когда Финей стал указывать ему на сходство отдельных черт.

При следующем посещении Валерия Дорион была очень удивлена, когда ее Павел, воспользовавшись одной из многочисленных пауз, внезапно, по-мальчишески, брякнул, обращаясь к Туллии:

— Нет, а все-таки он сделал вас непохожей...

Сначала Дорион не поняла, что он хотел сказать: но Туллия поняла сейчас же, и ее узкое нежное лицо слегка порозовело.

— Что это значит, Павел, — укоризненно заметила Дорион. — Кто сделал нашу Туллию непохожей?

— Скульптор Василий, конечно, — ответил Павел, немного смущенный своей выходкой, и с важностью знатока заявил: — Все говорят, что богиня Рима похожа на Туллию. Не правда ли, Финей, и вы это сказали. Но только неверно, она совсем не похожа.

В глубине души сенатору льстило, что его дочь избрали моделью для богини Рима, но — «оно и лучше», — проворчал он теперь, между тем как Туллия сидела белая, строгая и недоступно высокомерная. Дорион с едва заметной улыбкой выговаривала мальчику:

— Вечно ты что-нибудь придумаешь, Павел. — И, обращаясь к Валерию, добавила извиняющимся тоном: — Павел воображает, что если он внук художника Фабулла, то он прирожденный знаток искусства.

Когда Дорион уже собралась уходить, Павел еще решительнее поборол свою робость. Невольно покраснев, бурно дыша, он спросил Туллию, не приедет ли она как-нибудь

в Альбан посмотреть его козий выезд. Дорион была приятно удивлена тем, что обычно столь замкнутый мальчик, несмотря на пропыленную музейную атмосферу этого дома, все же держался так смело, а когда он к тому же предложил Туллии поиграть с ним в Альбане в мяч, она поддержала его:

— Он и вправду неплохой игрок. И вы найдете в нем серьезного противника, Туллия.

Девушка ответила, что она играла в мяч только в детстве, когда у них еще было имение в Кампанье, с тех пор она многое перезабыла.

— Достаточно взглянуть на вас, — порывисто сказал Павел, — и сразу видишь, что вы прирожденный чемпион. Вот сыграете раза два, и я вам спокойно доверю мои стеклянные мячи.

— Мы не смогли бы возместить их тебе, Павел, — ответила девушка, и от улыбки, с которой она говорила о своей бедности, она казалась еще более гордой.

Павел ходил теперь часто в храм богини Рима, хотя ему было не по пути, а жрецы и сторожа радовались благочестию молодого почитателя.

Впрочем, Туллии действительно удалось вырваться из дома в шестом квартале и поехать в Альбан. Во время игры в мяч она несколько оттаяла и оказалась довольно искусной партнершей. Однако Павел и в четвертый раз все еще предпочитал играть кожаными мячами и беречь стеклянные.

Отцу он ничего не сказал о своей новой дружбе. Иосиф открыл ее благодаря случайности. Однажды, когда мальчик в одиночестве дожидался его, Иосиф, вернувшись, застал Павла увлеченным, как в былые дни, лепкой какой-то глиняной фигурки. В Иосифе жило до сих пор глубокое отвращение ко всякого рода изваяниям, и его сердило, что Павел опять принялся за старое.

— Что это ты делаешь? — спросил он и взял наполовину готовую фигурку в руки.

— Я хотел сделать богиню, — ответил с некоторым смущением Павел.

Иосифу было неприятно, что сын в его доме лепит изображения богов. Но он скрыл свое недовольство и спокойно спросил: — Какую богиню?

Павел не умел лгать. Весь пунцовый, он пояснил:

— Это богиня Рима. Собственно, не богиня, это твоя соседка, Валерия Туллия.

Иосиф удивился, он продолжал расспрашивать, и Павел рассказал с некоторой нерешительностью, но честно, про Туллию, богиню Рима и игру в мяч.

Иосиф, конечно, понимал, что эта дружба между его маленьким сыном и Туллией не что иное, как одно из тех мальчишеских увлечений, которые он сам нередко испытывал в возрасте Павла. Все же ему было неприятно, что его сын влюбился именно в эту пресную, старозаветно-римскую Туллию. По-видимому, преклонение художника Фабулла перед всем по-римски суровым, традиционным передалось и мальчику. Это сердило Иосифа. Ему хотелось, чтобы из его сына вышло нечто большее, чем римлянин. Впервые усомнился он, правильно ли поступил, возвратив его До-рион.

Он горячо принялся за Павла. Сразу же, поспешно, настойчиво, стал он бороться за него. Но он опоздал. Слова, которые так недавно осчастливили бы мальчика, теперь оставались для него пустым звуком. Не всегда удавалось Иосифу сдерживать свой гнев против греко-римского воспитания Павла. Стена между отцом и сыном не исчезала.

Однажды, когда Павел был у Иосифа, в комнату вошел Юст; он думал, что Иосиф один. Он оглядел мальчика, но без любопытства. Это Павлу понравилось. После его процесса большинство людей, узнав, кто он, упорно и нагло рассматривали его. Юст же сидел перед ним худой и строгий, мало обращая на него внимания, вел непринужденную беседу с его отцом, часто возражал ему спокойно и, по-видимому, со знанием дела. Этот однорукий человек с неуступчивыми взглядами производил на Павла все более сильное впечатление, и он был поражен, узнав из разговора, что Юст еврей. Но когда он узнал, что Юст висел на кресте и был снят с него живым, он забыл всю свою стоическую выдержку. С мальчишеской настойчивостью стал выпрашивать его, слушал, разинув рот, его рассказы.

Да, этот еврей Юст с его изысканным греческим языком, этот искатель приключений, не придававший никакого значения своему героизму, но говоривший о нем с сухой иронией, уже с первой встречи пленил сердце мальчика. Павел едва мог оторваться от его художавых черт, от пустого рукава, и когда наконец позднее, чем обычно, собрался уходить, он взволнованно осведомился, застанет ли он в следующий раз Юста у отца.

Иосиф был удивлен, что его сын сразу раскрылся перед незнакомым человеком. Ему было приятно, что мальчику так импонирует еврей, и его уязвляло, что этим евреем был

именно Юст. Когда Павел стал подробно расспрашивать, кто и что этот Юст, Иосиф чуть не поддался искушению рассказать о его отрицательных чертах. Но он переборол себя и заявил, что, по его убеждению, этот человек — величайший из современных писателей. Его немного покорило, что Павел принял это без всяких возражений и даже не вспомнил о бюсте Иосифа в храме Мира.

С противоречивыми чувствами замечал он, как его сына все сильнее влечет к однорукому. Насколько с ним Павел был молчалив, настолько же охотно болтал с Юстом. Римская Туллия была, по-видимому, вытеснена из сердца и воображения Павла евреем Юстом. Иосиф находил, что это хорошо, и все-таки это уязвляло его. Но больше всего его раздражало, что Юст только-только допускал пылкую любовь Павла. Он прекрасно видел, как обстоит дело: именно Павел домогался дружбы Юста, а Юст скорее отстранял его, чем поощрял; все же, вопреки здравому смыслу, в нем росла уверенность, что Юст — корыстный соперник и отнимает у него сына. Затаив злое чувство, он стал выпрашивать Павла, не восстанавливает ли его Юст против отца. Оказалось, что Юст никогда плохого слова не сказал о нем, но это не утешило Иосифа. Разве чуткий мальчик не поймет без слов, какого мнения Юст об Иосифе? Разве может вообще тот, кто почитает Юста, уважать Иосифа?

Однажды он прямо и злобно завел разговор о Павле.

— Нравится вам мой Павел? — спросил он.

— Ничего, нравится... — ответил простодушно Юст.

— Вы, вероятно, находите его очень непохожим на меня? — продолжал допытываться Иосиф.

Юст пожал плечами, возразил шутливо:

— «Не уподобляйтесь отцам вашим», сказано в Писании.

— Слова, мало беспокоящие того, у кого нет сына, — заметил Иосиф.

— Едва ли, — отозвался Юст задумчиво, — я поставил бы своему сыну в вину, что он не похож на меня. Современное поколение, — продолжал он, как всегда, обобщая, — имеет мало оснований подражать своим отцам. Они затеяли эту чудовищно нелепую войну и были — по заслугам — жестоко разбиты. Можете ли вы требовать, чтобы ваш сын держался за своего еврейского отца, а не за свое греческое наследие? Очень хорошо, — продолжал он почти с теплотой, — что вы предоставили его самому себе и не старались насильно выправить его.

Иосиф помолчал. Затем, тихо и мрачно, сказал:

— Я жалею, что был тогда слишком мягок.

Юст удивленно взглянул на него.

— Но подумайте,— возразил он с непривычной мягкостью,— чему может в наше время научиться еврейский сын у своего отца, как не делать обратное тому, что делал отец, и верить в обратное тому, во что верил отец? Отцы восстали против Рима. Сыновья больше не верят в действие. Они не доверяют ему. Они начинают следовать минеям и их учению о неделании и отречении.

— Я вспоминаю одну ночь,— сказал Иосиф с иронией,— и один разговор у водоема, когда некий Юст отзывался весьма насмешливо о неделании и отречении.

— Разве я когда-нибудь говорил,— горячо запротестовал Юст,— что правы те, кто верит в неделание и отречение? Никогда я этого не говорил и сейчас не собираюсь. Я не защищаю сыновей. Они из того же гнилого дерева, что и старики. У отцов не было доверия к собственным силам, они чувствовали себя, каждый в отдельности, слабыми, поэтому они создали себе костыль, изобрели учение о нации, вообразили, что сила и величие нации поддерживают отдельного человека. Чтобы подпирать собственную слабость, сыновья создали себе другой костыль, они воображают, что им может помочь какой-то мессия, умерший за них на кресте. Вера в нацию, вера в мессию — и то и другое ошибка, результат собственной слабости.

— Все это мудрые абстракции,— насмехался Иосиф,— и они утешали бы меня, не имея я сына. Но у меня есть сын, и он грек, а не еврей, и ваши обобщения мне не помогут.— И он мрачно закончил: — Вы великий писатель, Юст из Тивериады, гораздо больший, чем я. Моему греческому языку вы можете помочь и, может быть, моей философии; но с моей сущностью и моей жизнью, с ее действительностью, я, к сожалению, должен справиться сам.

Иосиф бросил Юсту эти горькие слова не только из-за своего сына Павла. В нем говорила досада на то, что новая книга не удастся. Присутствие Юста скоро перестало подстегивать и подгонять его, теперь оно служило ему укором, как и прежде. С какой стороны он ни подходил к своей «Всеобщей истории», дело не ладилось, в его фразах, как и в нем самом, не было подъема, и работа все меньше радовала его.

Юст, наоборот, говорил о том, что последнее путешествие в Иудею и в Рим исцелило его от давних обид, укрепило

индивидуалистическую гордость и веру в назначение писателя. Он снова убедился в том, насколько люди зависят от колебаний цифр, от тех политических и экономических соотношений, которые называются судьбой; но лишь тогда возникает другая картина жизни, когда отдельный человек воспримет сердцем своим эти сухие цифры и даты и оплодотворит их своими соками. Над этой истинной картиной жизни он теперь работает, и, видимо, с радостью и успехом.

Иосиф это видел, и зависть грызла его. С волнением просил он своего врага показать ему, что тот сделал со времени своего приезда в Рим. Юст минуту колебался, одно короткое мгновение, затем дал ему свою рукопись. За эти несколько недель он написал именно те пятьдесят страниц об осаде Иерусалима, которые были впоследствии признаны знатоками лучшей прозой века.

Иосиф читал. Как ясно и отчетливо было здесь изложено то, что происходило в стенах и за стенами Иерусалима, мнимые и истинные побуждения евреев и римлян, весь клубок экономических, социальных, религиозных, военных интересов, верований и суеверий, политики и богоискательства, честолюбия, любви и ненависти. То, о чем Иосиф на трехстах страницах дал только смутное представление, было здесь, на пятидесяти, изложено ясно и четко. Иосиф читал, и сердце его радовалось, что человек мог так написать. Иосиф читал, и сердце его терзалось, что это написал другой, а не он.

Он вернул Юсту рукопись. Он сказал:

— Это лучшее, что вы когда-либо написали. Это лучшее, что написано в наше время. Теперь, раз и навсегда, о войне сказано все.

Его голос звучал хрипло, однако он заставил себя сказать правду.

Когда он остался один, он взвесил все. Его жизнь была полна превратностей. Он был не только писателем, но государственным деятелем и солдатом. Владыки мира почитали его, прекраснейшие женщины Рима любили его. Он написал великую книгу, его бюст стоит в храме Мира. Но то, что он тщетно пытался сказать своей трудной жизнью и своей толстой книгой, сказано Юстом на каких-нибудь пятидесяти страницах. И мальчик Павел, за которого он так долго и с такими жертвами боролся, сам открыл свое сердце Юсту.

Он ощущал в себе глубокую пустоту. После того как он прочел написанное тем, другим, ему казалось бесцельным самому работать дальше.

Иосиф написал Маре. Просил ее, заклинал приехать поскорее. Ее присутствие, думал он, даст ему новые силы для работы. Но он знал, что Мара не отступит от своего решения и не покинет хутора «Источник Иалты» до тех пор, пока не доведет там свою работу до конца.

Прошли зима и весна, но Дорион не удалось ни разу повидать Иосифа.

Настал день, когда она узнала о его плане вызвать к себе Мару, сделать ее римской гражданкой, снова на ней жениться.

Рассказал ей об этом Марулл. Пока Марулл был здесь, ей удавалось сохранять самообладание, улыбаясь, болтать о пустяках. Но потом, когда она осталась одна, эта весть обрушилась на нее всей своей тяжестью, она задыхалась, голова ее мучительно болела, с искаженным лицом лежала она ничком на диване.

Что Мара благодаря Иосифу станет полноправной римской гражданкой, тогда как сама она еще не была ею, казалось Дорион неслыханным унижением. Она забыла, что когда-то противилась тому, чтобы узаконить свой брак с Иосифом, и что теперь для римского гражданства ей достаточно сказать Аннию Бассу одно слово. Но она не хотела стать римлянкой благодаря Аннию, она хотела стать ею благодаря Иосифу, — она, а не та, другая. Что разделяло их теперь, с тех пор как он отослал ее мальчика? Хорошо, она ждала, чтобы он сделал первый шаг, а он считал, что его жертвы вполне достаточно. Ее точка зрения была правильной, но заслуживали внимания и его аргументы. Все это — недоразумение. Еще не хватало, чтобы она, Дорион, оказалась не в силах вытеснить эту провинциальную еврейку!

Но когда спустя два часа пришел Анний, она забыла о своем намерении вернуть Иосифа, и в ней кипела только ярость. На этот раз она начала всячески поносить Иосифа перед изумленным Аннием. Она не кричала, не шумела, как Анний, она говорила тихо и небрежно, но так злобно высмеивала своего бывшего мужа, как этого никогда бы не сделать Аннию. Она знала жизнь Иосифа и его самого до последних деталей, и из этого интимного знания извлекла те черточки и эпизоды, которые казались ей подходящими, чтобы выставить его в смешном или отвратительном свете и все это выложить Аннию. Тот смеялся, смеялся все сильнее, смеялся оглушительно. Но постепенно беспредельная

ненависть, которой веяло от нее, несмотря на всю элегантность ее выражений, оттолкнула его.

— Пожалуйста, пусть только Павел не знает об этом, — вот все, что он сказал после ее вспышки.

Но этой вспышкой ярость Дорион и кончилась, и в ней не осталось ничего, кроме решения вернуть Иосифа. Когда Павел в следующий раз отправился к отцу, она слегка сдавленным голосом поручила ему пригласить Иосифа осмотреть дом в Альбане, который был теперь наконец готов.

Два дня спустя Иосиф поехал в Альбан. Его не занимала ни прекрасная, волнистая, сияющая в весеннем воздухе местность, ни отлогие холмы, ни прелестное озеро, ни сверкающее вдали море, ни красивые виллы на склонах и вдоль берегов озера. Он приехал без всякого плана, он ничего не хотел от Дорион, но он был неуверен в себе, не знал, как подействует на него сейчас ее вид, ее речи, он был взволнован и полон тревоги.

На этот раз она ждала его у ворот имения. От радости, что она снова его видит, ее лицо сияло. Она протянула ему обе руки, привела его в дом, была, как в давние времена, ребячлива и остра. С любезным вниманием отметила она каждую перемену, происшедшую в нем, наговорила ему тысячу милых дерзостей, пыталась покорить его всеми способами, какие были в ее власти. Даже выгнала из комнаты кота Кроноса, когда ей показалось, что он раздражает Иосифа.

Она очень понравилась Иосифу, он вполне оценил всю ее прелесть. Но и только. Не без страха подверг он себя этому последнему испытанию; но он скоро и с радостью понял — испытание выдержано. Он исцелен отныне и навсегда от этой страсти, которая его так часто унижала и заставляла действовать против его воли и против его предназначения. Он мог быть дружен с этой женщиной, если она этого хотела, но никогда больше не поставит он ради нее на карту свою жизнь или свою работу. Он чувствовал в себе уверенность и спокойно наслаждался своей победой.

Даже с Финеем встретился он спокойно. Финей ожидал от Иосифа всяких колкостей, касающихся их прошлых отношений. Но Иосиф не говорил никаких колкостей, он не разрешил себе никаких проявлений дешевого торжества, он даже добродушно подшучивал над той борьбой не на жизнь, а на смерть, которая некогда велась между ними. Это спокойствие Иосифа раздражало Финея, действовало ему на нервы, его чувство превосходства исчезло, его крупная голова еще больше побледнела, мускулы лица напряг-

лись. Дорион же чувствовала, что эта уравновешенность в речах и поведении Иосифа унижает ее более глубоко, чем могла бы унизить любая насмешка.

Когда Павел и Финей удалились, она сделала последнюю попытку. Она рассказала Иосифу о том, как упорно настаивает Анний на том, чтобы она вышла за него замуж; однако он, Иосиф, был до некоторой степени прав, Анний слишком шумлив и часто действует ей на нервы, для очень многого, что ей дорого, у него нет внутреннего слуха. Она предала своего солдата и надеялась, что теперь Иосиф предложит ей выпроводить Анния и снова сойтись с ним.

Однако Иосиф не предложил ничего подобного. Больше того, он выказал к будущему Дорион спокойный интерес, заявил, что Анний, в качестве ближайшего друга принца, вероятно, получит со временем верховное командование армией и что Дорион должна хорошенько подумать, прежде чем отказываться из-за пустяков от подобных перспектив.

Когда Иосиф ушел, Дорион была бледна от ярости, ей казалось, что ее сердце не выдержит. Она вновь поставила на стол статуэтку обрезанного еврея, которую убрала перед приходом Иосифа, и когда Анний в следующее свое посещение просил назначить срок свадьбы, она больше не возражала.

В начале этого лета внешние обстоятельства Иосифа складывались неплохо. Он был здоров, Клавдий Регин не скупился, так что можно было выплатить долги, связанные с разводом; его литературная слава, после того как ему был поставлен бюст, стала неоспоримой, вражда евреев к нему заметно ослабела с тех пор, как стало известно, какой почет ему оказал Гамалиил. И все же то радостное чувство, которое он испытал при возвращении в Рим, давно исчезло. Он страдал от своей неспособности работать; ему всю жизнь не хватало времени, а теперь время тянулось слишком медленно.

Он проводил долгие часы в мастерских Алексия. И сам стеклодув, и его мастера вводили его во все тонкости своего искусства, показывали ему, как вырезать из застывшей стеклянной массы фигурки, как окрашивать массу всякими хитроумными и сложными методами, как делать из неподатливого хрупкого материала тончайшие нити, при помощи которых соединяют золотые пластинки. Но не эти тонкости привлекали Иосифа, ему больше всего нравилось сидеть часами, глядя в плавильную печь, где из песка и со-

ды возникало новое вещество, стекло; легчайшее изменение в дозировке делало состав этой массы более или менее благородным, и даже самый большой знаток дела не мог заранее с полной уверенностью предсказать результат. Иосиф наблюдал также подолгу изготовление простых стеклянных сосудов. Его интересовало, как рабочие выдувают незатейливые маленькие и большие сосуды, узкие или пузатые, с помощью длинных трубок, выдувая из них горячую массу на железную пластинку под таким углом, чтобы масса принимала ту или иную форму. Все вновь дивился он тому, что достаточно было одной капли воды, чтобы отделить стекло от трубки. Он смотрел, как двое рабочих, каждый со своей трубкой, соединяли выдутые детали: один — горлышко сосуда, другой — его нижнюю часть, — и он размышлял о том, что в каждом отдельном случае непременно должны сочетаться искусство и удача, чтобы возникла даже простейшая вещь. Ибо и у опытного работника могло случиться, что вследствие какого-нибудь непредвиденного обстоятельства в сосуде появлялось отверстие или выемка, которая лишала его всякой цены, или он лопался с опасностью для жизни рабочего еще во время выдувания.

Алексий давно заметил, что Иосиф уже не тот человек, который не нуждается в пожелании счастья. Он часто наблюдал за ним, присаживался рядом, толстый, унылый и молчаливый. Ему было очень жаль, что даже этот единственный известный ему счастливец, очевидно, уже не счастлив.

Иосиф же сидел и смотрел, как рождаются стеклянные фигурки; как желанная форма иногда удавалась, иногда нет, — лукавая, коварная игра, зависящая от искусства отдельного человека, но и не только от этого искусства, так же как и жизнь. Ибо чья жизнь не состояла из сочетания собственного существа с тем, другим, неизведанным, как бы ни называли то, другое, — экономическими отношениями, судьбой или Ягве. И кто из людей не подобен материалу, из которого выдувались эти формы, кто не состоит сам из смешения многих случайных частей, которые неотделимо слиты друг с другом, но в определенный день начинают действовать каждая порознь. Разве сам он, Иосиф, не состоит из высокого и очень низменного, из мелкой жажды славы и наслаждения и из чистой любви к добру и красоте, из слизи и кала — из божественного дыхания и учения, из истории своих отцов и собственных страстей, из частицы Моисея и частицы Корея, из частицы Кохэлета и даже из

частицы Педана? И в то время, как пламя, многообразное и многоцветное, взмывало и падало, отбрасывая причудливые тени, Иосиф думал о бесчисленных картинах, из которых состояла его жизнь, о запустении Иерусалима, о бюсте в храме Мира, о друге-враге Юсте, о сыне Павле, о книге, над которой ему предназначено работать и которую он, вероятно, никогда не закончит.

Иосиф вздохнул с облегчением, когда Юст покинул Рим, чтобы вернуться в Александрию и там завершить свою работу.

Корабль, который увез Юста, привез Иосифу ответ Мары. Она писала, что родила ему ребенка, девочку, и что ее зовут Иалта. Она приедет с ребенком в Рим, но, наверное, не раньше конца осени, с одним из последних судов.

В эти дни Иосиф написал «Псалом о стеклодуве»¹.

Подобны уродливой, бесформенной массе
В трубке стеклодува
Мы, и из нас не знает никто,
Чем он станет.
Выдох стеклодува делает из нас:
Порою малое, игрушечно милое,
Порою приятное взгляду, порою отвратное,
Порою большое и емкое, удобное к употреблению,
Порою же грубое и неуклюжее.
Так создается наша судьба,
Мир чисел и дат вокруг нас.

Но не всегда стеклодуву
Форма бывает
Покорна. Часто масса
Выдувается так, что она
Лопается, обжигая лицо стеклодува.

Значит, есть граница
У мира чисел и дат,
Над ними есть
Неисследимое — великий разум,
Имя которому: Ягве.

Высокий пример, когда внезапно
Из песка, из неприглядной смеси,
Расчисленный, но никогда
Не подчиненный расчету,
Взблеснет многоцветный великий блеск,
Радую мастера и каждого зрителя.

Но чем же был прежде
Великий блеск?

¹ Перевод Юлиана Анисимова.

Крупинкой песка, ничтожной
Частичкой массы, тупой, неприглядной.

Собой не гордись потому,
Все блестящее. Помни о том,
Чем ты было, — крупницей песка
И больше ничем, и никто
Предвидеть не мог того блеска, который
Из нее возблистал, и никто не предвидел
Из нее воссиявшую милость.

И потому, во-вторых, пусть ни одна из песчинок
Не теряет надежды. Именно ей,
Может быть, суждено
Когда-нибудь проблистать.

И потому, в-третьих, гордым не будь,
Мастер. Он дует и дует вновь
В сырую массу через трубку.
Но зависит не от него,
Удастся ли форма ему:
У одного — отчего, он не знает — испорчено
Пузырями стекло и напрасен
Был его труд. Но для другого
Светится — отчего, он не знает — милость; круглится
Прекрасно, как и хотел он, шар,
И стекло у него благородно
Мерцает и светится изнутри.

В конце августа Иосиф уехал на несколько дней в Кампанию, чтобы спастись от невыносимой городской жары, но в это время его известили, что постройка синагоги его имени значительно подвинулась и что туда можно перенести вывезенные из Иерусалима свитки торы.

Иосиф вернулся в Рим. Вместе с доктором Лицинием осмотрел молельню. Высокий белый четырехугольник здания гармонировал с окружающими домами и все же производил странное впечатление; дома вокруг него теснились друг к другу, ибо земля здесь была очень дорога, а здание строящейся синагоги гордо стояло среди пустого пространства, наискосок от улицы, ибо оно было так повернуто, чтобы молящиеся стояли лицом к востоку, к Иерусалиму.

Архитектор Зенон водил гостей. Подземный сводчатый зал, у восточной стены которого стоял большой шкаф, предназначенный для семидесяти свитков, был прохладен, сквозь многочисленные люки падал свет, подвал казался спокойным и в то же время полным тайны.

Спустя три дня торжественная процессия — Иосиф и знатнейшие римские иудеи перенесли свитки торы в новое место их хранения. Свитки были завернуты в драгоценные

вышитые ткани, украшены золотыми венцами, но сами они были растерзаны, запачканы кровью, истоптаны сапогами солдат, грабивших синагоги горящего Иерусалима. Иосиф вспомнил, как он спасал их из синагоги александрийских паломников. Он снова видел, как шел тогда через весь город с золотым письменным прибором у пояса, держа в каждой руке по свитку, сопровождаемый истерзанными, спотыкающимися евреями, несшими вместо балок креста, на которых они должны были умереть, свитки Священного писания. Он снова видел и слышал солдат, высмеивавших эту странную процессию. Теперь никто не смеялся над шествием почтенных господ, несших свитки в выстроенный им, Иосифом, дом. Наоборот, впереди процессии и замыкая ее шли императорские чиновники, солдаты лейб-гвардии в парадной форме составляли охрану и почетный караул, и прохожие, мимо которых шла процессия, кланялись, приветствовали ее, оказывали почести чужому божеству. И все же Иосиф испытывал неприятное ощущение незащитности и был рад, когда свитки наконец оказались в прохладном сумеречном зале, где они должны были отныне храниться.

Сам Иосиф, когда остальные ушли, остался здесь один со свитками. Он сидел перед большим простым шкафом, перед белым, затканым бледными золотыми буквами занавесом, смутно напоминавшим завесу Иерусалимского храма. Он знал, что в одном из поврежденных пергаментов было вырезано два куска в форме человеческих ступней, — какой-то солдат вырезал себе стельки для сапог, на месте вырезов были повреждены строки: «Пришельца не притесняй и не угнетай его; ибо вы сами были пришельцами в земле Египетской».

Иосиф вдруг почувствовал как бы физическое родство с этими свитками. Здесь, в этом шкафу, были собраны его отцы и праотцы, все они жили лишь для того, чтобы влиться в него. Он был смыслом и исполнением их жизней, истории которых лежали здесь, в шкафу.

«Египетские цари считали, что они могут победить смерть, если замкнут свои набальзамированные тела в огромные остроконечные горы с треугольными гранями. Нет, они не владели тайной, эти мертвецы, — мы владеем ею. Несколькими буквами, магией слов побеждаем мы смерть. В эти несколько маленьких свитков уложили мы жизнь Иудеи, так что она не угаснет вовеки. Царство Израиль могло погибнуть, и царство Иудея, и второе царство Иудея, и храм; но дух свитков нерушим».

Он вел беседу со свитками, замкнутыми в шкафу. Вырез в одном из свитков, в этом окровавленном свитке, зиял, словно огромный рот, говоривший с ним. И все они открывали рты, эти свитки, и говорили с ним. Сумрачные своды вокруг него были полны какими-то формами, они росли, ширились, уже не видно было стен. Израиль был вокруг него — бесчисленный, как песок морской, бесконечный в пространстве, бесконечный во времени.

Сказанное ему однажды Клавдием Региним об историях и ситуациях Библии, пережитых им, Иосифом, стало вдруг для него из слов реальностью. Он беседовал с невидимо присутствующими в зале, со своими давно умершими отцами, дядями и двоюродными братьями. Слушал их поучения. Спорил с ними. Шутливо грозил тем, кто, радея о своем народе, слишком много брал на себя, — Пинхасу, Ездre и Неемии. Качая головой, мудро беседовал он с умным Мардохеем о смысле и бессмыслице национализма. Он знал всегда, что величие и история нации умножает только силу того, кто сам силен от природы, но что слабому она помочь не может. Если слабый хочет опереться на свою нацию, она оказывается обманчивой опорой, а неразумное чванство ее силой — только лишает его понимания собственной слабости. Кто слаб сам, пусть не надеется, что может помочь себе, цепляясь за других. Каждому предъявляется счет, каждый должен платить за себя, сила укрепляет лишь сильного, слабого она окончательно сбрасывает вниз. Мудрый Мардохей одобрительно кивал слегка трясущейся головой, — он ведь всегда говорил, что не следовало после падения Амана убивать столько врагов еврейства, да их, между нами, было вовсе не так много, как указал составитель «Книги Эсфирь». А в глубине, исчезая в сумраке, стояла гигантская фигура Исаяи и кивала.

Иосиф слушал, спрашивал, отвечал и спорил с большим воодушевлением. Нет, никто не мог написать историю еврейства лучше, чем он, носивший в себе все ее «за» и «против». Как сын своей отчизны, он был сердцем с евреями, как гражданин вселенной, он стоял разумом выше их, и никто лучше его не знал границ, за которыми приверженность к отчизне становится нелепой крайностью.

Он встал, подошел к шкафу, поднес пальцы к губам, прикоснулся к белому, затканному бледными золотыми буквами занавесу, низко склонился перед ним. И когда он так стоял, он чувствовал все бремя своей задачи, но

вместе с тем — огромное желание работать и доверие к самому себе.

Окрыленный, полный видений, покинул он зал со свитками торы, чтобы вступить на тот путь, который видел перед собой до его последнего поворота.

Жирные пальцы Клавдия Регина хозяйничали среди бумаг, вытаскивали таблицы, его хриплый голос объяснял их. Вопрос, о котором он докладывал принцу Домициану, был очень сложен. Речь шла опять об отрезках, остававшихся при распределении земли между военными колониями и присвоенных, без всяких прав на то, распределяющими землю чиновниками или частными лицами. Этот обычай был освящен десятилетиями, и правительство терпело его. Однако Веспасиан уже принял меры к тому, чтобы конфисковать эту незаконно присвоенную собственность и таким образом получить земли стоимостью в двести шестьдесят миллионов. Предполагалось, что конфискации будут подлежать земли, захваченные после 9 июня 821 года от основания Рима — дня смерти императора Нерона. Но уже его кабинет склонялся к тому, чтобы отодвинуть этот срок еще дальше, а именно — до 13 октября 807 года, дня смерти императора Клавдия. Таким образом, ценности, подлежащие конфискации, достигли бы значительных размеров. Вопрос заключался лишь в том, не создаст ли себе новая династия в результате такого отчуждения слишком много политических врагов. Теперь Регин предлагал назначить еще более далекий срок, а именно — 24 января 794 года, день смерти императора Гая. С помощью многочисленных, хитро и осторожно составленных таблиц он старался доказать Домициану, что политический вред этой меры будет незначителен в сравнении с его экономическими преимуществами.

Домициан слушал его, крепко прижав вздернутую верхнюю губу к нижней, что придавало его лицу выражение напряженного внимания. Он терпеть не мог Клавдия Регина, но, несомненно, лучшего знатока в экономических вопросах не сыщешь. Не прошло и десяти минут, как Домициан решил последовать его совету и в этом деле.

Приняв решение, он почти не слушал дальнейший доклад, и его мысли отвлеклись в сторону. Как противно, в сущности, что приходится тратить столько времени с людьми, подобными Регину. Но они необходимы для

управления, его отец это хорошо знал, почему и связался с полуевреем, и он, Домициан, имел теперь все основания выработать себе определенный план на тот период времени, когда сам станет императором. Сведения о здоровье его брата, которые он получает окольным путем, через Маруллу, доказывают, что подготовиться уже давно пора.

Он улыбается, вспоминая, как меньше полугода назад тщательно разработал проект бежать из столицы, в которой его удерживала подозрительность Тита, в Галлию или Германию и заставить тамошний военный корпус провозгласить его императором. Теперь он может покончить с подобными фантастическими проектами, престол ему обеспечен. Впрочем, удивительно, что с тех пор, как у него появилась эта уверенность, детали, которые раньше ему казались скучными, вызывают в нем серьезный интерес. Вместе с растущей уверенностью, что он будет императором, в нем просыпается унаследованная от отца любовь к организации, и когда он выслушивает доклады Анния Басса о военных делах, доклады Маруллы о делах политических, даже когда говорит с противным Регином об экономических вопросах, он яростно спорит по поводу каждой частности их сложных выкладок.

Чтобы мыслить последовательно, ему нужны спокойствие и сосредоточенность. Нередко он запирается на целые часы; он знает, его противники сплетничают, будто он проводит эти часы, накалывая мух на булавки. Пусть болтают. Пусть распространяют самые нелепые слухи о его жажде власти, его беззастенчивой развращенности. Ему известно, что в кругах республиканской знати ходит по рукам его письмо, в котором он, еще будучи пятнадцатилетним мальчиком и получая от отца весьма скудное содержание, предложил сенатору Пальфурию Суре провести с ним ночь и требовал за это пятьсот сестерциев, позорно маленькую сумму. Конечно, Пальфурий Сура — болван, что дал выкрасть у себя это письмо, но еще большие болваны те, кто наслаждается его чтением. Совершенно безразлично — подлинное это письмо или фальшивка, оно становится с каждым днем поддельнее, и недалек тот день, когда оно окончательно станет подделкой.

Можно сколотить сто сорок три миллиона, заявляет Клавдий Регин, если отодвинуть, как он предлагает, предельный срок до 24 января 794 года. Тит, вероятно, отказался бы от этой суммы во имя своей популярности. Он, Домициан, и не подумает. Сто сорок три миллиона — большие деньги. Пока он был вынужден требовать денег от

отца и брата, он, услышав такую цифру, вероятно, только пожал бы плечами. Но теперь ему предстоит самому иметь с ней дело, и его отношение к ней меняется. Когда он будет у власти, ему понадобится много денег, он развернет большое строительство. Для Луции. Луция — единственный человек, мнением которого он дорожит. Правда, купить ее нельзя. Нельзя даже купить ее смех. Она смеется, когда хочет.

— Круг лиц, которых это коснется,— говорил Регин,— вовсе не так велик, как могло бы показаться. Их...

Домициан заставляет себя не думать о танцоре Парисе и о тех пяти-шести мужчинах, с которыми, по мнению Рима, спит Луция. Однако вовсе изгнать эти мысли ему не удастся. «Париса переоценивают,— мелькает у него в голове.— Это происходит оттого, что слишком немногие знают, что хорошо и что плохо. Еврея Иосифа тоже переоценивают. Его книга не плоха, вероятно, она даже хороша, но глупо так раздувать ее значение. Я терпеть ее не могу. Он еще менее симпатичен, чем Регин. Эти восточные люди фальшивы. Их не ухватишь, в них есть что-то скользкое, а Иосиф еще опаснее, чем еврейка, из-за которой Тит гибнет».

Он выпрямляется, сидит очень прямой, угловато отставив назад локти. «Да,— думает он,— Титу крышка. Счастье для него, если он скоро станет богом. Этого процесса затягивать не следует. Нужно, чтобы Марулл опять поговорил с Валентом».

— Следовало бы,— говорит в это время Регин,— по случаю передела обложить провинции Египет и Сирию новыми земельными налогами; давно пора.

«Мне уже давно было пора,— подумал Домициан,— наконец свести счеты с Титом. Иначе он улизнул бы к богам, не дав посчитаться с ним. Правда, дольше пяти лет он не протянул бы и без меня; но то, что он благодаря мне уберется на пять лет раньше,— это удачно. Одно только: он не знает, что ему приходится убираться благодаря мне, и я не должен показывать виду. А то еще вцепится. Нет, эта история с Юлией была единственным решением вопроса. Сначала отказаться от брака с ней, а потом переспать с ней и без брака,— это была удачная идея, и это должно сразить его. Прежде всего потому, что она этого не хотела, и если бы не мои упорство и сила, я бы ничего не добился. При этом она красива, бела, мясиста, и с ней приятно. Я бы дал несколько миллионов за то, чтобы узнать, как он к этому относится,

господин брат мой. Он, наверно, не выдал бы ее за этого скучного Сабина, если бы ничего не замечал. А его ледяное молчание только доказывает, как у него пухнет печенка от этой истории».

А что, по мнению римлян, у самого Домициана еще не так должна была пухнуть печенка из-за отношений Тита с Луцией, он знать не хотел, и он этого не знал.

«Мне придется немало выслушать речей,— продолжал он размышлять,— какой он был хороший правитель и какой я хороший правитель. Даже этот Иосиф, из предосторожности, несколько раз похвалил меня в своей книге. Конечно, все сплошная фальшь и подхалимство. Он подлиза, этот Иосиф, и вообще недостойно интересоваться тем, что о вас пишет какой-то еврей. Все же приятнее, что он отозвался обо мне неплохо. Когда Тит сделается богом, от него ничего не останется, кроме неуклюжей и довольно обшарпанной триумфальной арки и того, что написал о нем этот еврей. Я мог бы, собственно говоря, поставить ему и более приличную триумфальную арку, когда он станет богом. А эдакого типа, как тот еврей, раздражать не следует, чтобы он не написал плохого. Но я терпеть его не могу. Не понимаю, что в нем находит Луция.

Она любит книги; мемуары ее отца хороши — немного сухи, но очень ясны. В общем, мне кажется, что проза нашей эпохи лучше стихов. Мои собственные стихи тоже немногого стоят, мой роман в стихах об истории Капитолия — это просто юношеский вздор. Но моя проза недурна. Во всяком случае, когда я писал свою «Похвалу плещи», мне это доставило огромное удовольствие. И, уж конечно, лучше, чтоб я сам смеялся над своими жидкими волосами, чем другие.

Но я рад, что теперь мне больше не нужно сочинять стихи. Кто лишен возможности действовать, пусть ищет прибежища в стихах. Литература — хорошее препровождение времени для того, кто пишет,— всегда, а иногда и для тех, кто читает; когда я дорвусь, я буду широко покровительствовать литературе,— это стоит недорого. Литературное состязание, даже если его обставить первоклассно, не стоит и сотой доли того, во что обходятся приличные бега. Разумеется, литература дает и меньшую популярность. Но зато больше чести. Если от тех ста пятидесяти миллионов, которые я выжму из отчужденных земель, я уделю только три процента на литературные состязания и премии, то я просто буду купаться в почестях, и никакое твяканье по поводу отчуждения меня не проймет.

При императоре Домициане, милые мои, литературная жизнь будет выглядеть иначе, чем теперь. Я должен сделать так, чтобы на литературных состязаниях было не меньше азарта, чем на бегах. Но вот вопрос: кого в наше время назначить судьей? Все сволочи! Дрянь! Они не знают, что хорошо и что плохо. Их в одну минуту можно довести до того, что они назовут черным только что казавшееся им золотым. Не стоит быть их императором. Когда имеешь дело с цифрами этого противного Регина, по крайней мере, знаешь, с чем имеешь дело. Следовало бы думать, что литература, стихи — выше всей этой грязи. Но когда эти люди прикасаются к оливковому венку, он становится таким же замаранным, как и деньги.

Шутить старик умел. Но лучшие шутки, самые умные, самые тонкие, он упустил. Пакостное поколение. Людей нужно оскорблять и унижать, унижать как можно больше, — тогда, может быть, испытаете чувство, что вы сами велики».

Регин молчал уже несколько минут. Домициан вздрогнул, опомнился.

— Благодарю вас, Регин, за ваш доклад, — сказал он. — Когда настанет время, я последую вашему совету.

Регин удалился в хорошем настроении. Домициан — негодяй. У него мерзкая, развращенная душа. Но от отца он унаследовал талант организатора и расчетливость. Клавдий Регин чувствовал, что он оживает, он предвидел возможность снова претворить в жизнь свой чисто спортивный интерес к упорядочению государственных финансов.

В конце лета, когда жара спала, Тит внезапно ожил. 2 сентября было объявлено, что император, уже довольно давно не показывавшийся, будет присутствовать четвертого числа на открытии больших игр в Амфитеатре.

Рим радовался. Разговоры о болезни Тита тревожили город. Домициана не любили, и страх перед плохим преемником усилил любовь к правящему императору. Кроме того, город был полон слухами о Лженероне, с которыми никак не могли покончить. Каждую неделю появлялись новые прокламации, в которых самозванец, внук Августа, потомок Юлия Цезаря и богини Венеры, как он называл себя, вешал, что ему удалось избежать козней предательского сената и что в ближайшее время он ворвется в страну с востока, держа в руке молнию, чтобы уничтожить выскочек Флавиев. Вот уже почти год, как этот Нерон держал

под угрозой азиатские провинции, открыто поддерживаемый мощными соседями римлян — парфянами. Уже ходили слухи о новой Парфянской войне, и хорошо, что Тит наконец снова покажется своему народу.

Десятки тысяч присутствовали на торжественном жертвоприношении, которым император открыл игры. Ввели белого быка, уже верховный жрец занес нож, Тит уже приготовился собрать кровь в сосуд, чтобы излить ее перед алтарем. В это мгновение, перед самым ударом, бык вырвался и с веревкой на ноге и шее врезался в кричащую толпу. Поднялась паника, многие уверяли потом, что они слышали гром в ясном небе. Тит сделал вид, что дурной знак не испугал его. Правда, его широкое вялое мальчишеское лицо, за последние дни слегка порозовевшее, опять побледнело, узкие глаза, мутные и воспаленные, почти совсем исчезли под веками. Но он стоял спокойно и ждал, пока бык был пойман и жертвоприношение закончено. Затем, как и было возвещено, он торжественно проследовал в Амфитеатр.

Правда, там он сидел, изнемогая в своем огромном кресле, и ему стоило огромных усилий достойно благодарить массы за приветственные клики. Вид величественного здания, празднично настроенных зрителей, людей и животных, умиравших на арене в его честь и ради его развлечения, не доставляли ему никакой радости. В нем жило смутное предчувствие того, что он в последний раз сидит здесь и наслаждается дорогим купленной любовью масс. Неудача с жертвоприношением пугала его. Его огорчало, что до сих пор не удавалось вытравить в народе воспоминание о Нероне, хотя и Тит, и его предшественники все четырнадцать лет со дня падения императора Нерона старались уничтожить возведенные им здания и все оставшиеся после него видимые следы. Лишь с трудом выдержал Тит те четыре часа, которые он, согласно обычаю, должен был просидеть в Амфитеатре. Ему хотелось прочь из Рима, ему хотелось сейчас же после игр уехать в свое имение возле Коссы, он заранее предвкушал деревенскую тишину этого примитивного поместья, которое он оставил в том виде, в каком его получили отец и дед. Тит облегченно вздохнул, когда четыре часа наконец истекли и он сел в экипаж.

Но едва Рим остался позади, как он почувствовал сильную тошноту. Он так мечтал о той минуте, когда уже не нужна будет полная достоинства осанка, к которой он принуждал себя в течение этих четырех часов. Но и сейчас он не мог отдаться своей слабости. Его душили спазмы, трясла

бешеная лихорадка. Врач Валент послал в Рим курьера, вызывая дочь императора Юлию, Домициана, Луцию.

И вот в старомодном деревенском доме, в нише, на широкой кровати, подымавшейся всего на несколько ладоней над полом, на кровати, на которой умер его отец, теперь лежал император Тит. Целую неделю лежал он здесь и еще два дня, и он не знал, что лежит здесь.

Иногда он беседовал с Нероном. Правда, не вполне было ясно, с каким именно Нероном, — с юношей, неловким и застенчивым, с мужем, красивым и обаятельным, или с рано состарившимся человеком, жирным и капризным, как увядшая женщина. Титу очень хотелось выяснить, с каким, в сущности, Нероном и о чем он с ним говорит. Но это было трудно, ибо у Нерона была золотая голова, как у Колосса, и блеск этой головы все затемнял. Был ли это вообще подлинный Нерон? Ведь Тит сам отдал приказ заменить голову Колосса головою своего отца, а теперь у Нерона, несмотря на это, собственная голова. Невероятная дерзость, и она пугала Тита. Но как же отрубить такую мощную голову, когда она из золота и человек, которому она принадлежит, и без того уже мертв? Он обратился к Британнику, товарищу его детских игр, с которым он рос. К счастью, тот за долгое время, истекшее с его смерти, не изменился. Но и Британник ничего не мог ему сказать, и хотя их теперь было двое, им не удавалось отрубить Нерону его золотую голову. Наоборот, Нерон все время открывал рот и говорил: «Я, Клавдий Нерон, внук Августа, врываюсь с востока, держа в руке молнию».

Вдруг Тит понял, почему нельзя отрубить голову, — из-за стеклянного глаза. Но если у этого человека стеклянный глаз, то, значит, это уже не Нерон. Тит думал, думал и никак не мог припомнить, кто этот человек со стеклянным глазом. Речь шла об отдаче приказа, это он помнил хорошо, и приказ был опасен. Правда, Тит долго и хитро перестраивал текст, его ни в чем нельзя упрекнуть, но все же приказ оставался двусмысленным, и тот, со стеклянным глазом, прекрасно это понял, — он повел дерзким носом с широкими ноздрями и подмигнул императору. «Если противник будет препятствовать производству работ по тушению и уборке», — читал он, и теперь это был опять Нерон. Стеклянный глаз прекрасно гармонировал с золотой головой, весь человек производил впечатление чего-то порочного, но утонченно аристократического. Вздор. У него не было никакой золотой головы, у него было бритое красное лицо,

и вид вульгарный,— конечно, это не Нерон, ибо выглядели вульгарно они сами, Флавии, тогда как Нерон, даже в самом грязном распутстве своем, оставался аристократом, потомком великого Юлия и Венеры.

Если этот парень неправильно понял приказ, то все пойдет наыворот, тогда будут стрелять и новые дорогие постройки на Капитолии опять обвалятся. Он уже дочел до конца, сейчас он повернет. Тит должен отменить опасный приказ, немедленно, ведь через минуту будет поздно. Он и хотел бы это сделать, но не может; оттого так давит под ложечкой. А женщина уже восходит по ступеням храма. Это Священная дорога, а она — настоятельница весталок, и Тит провожает ее, ибо, как император, принял сан верховного жреца. Он слегка отстает, он хочет видеть, как она идет, нет, она не идет, она выступает, она «шествует»; чтобы определить ее походку, нет другого выражения, кроме гомеровского. Он не должен больше оставаться позади, должен идти рядом с ней, церемониал требует этого, и дело с приказом тоже необходимо уладить. Иначе они будут стрелять. Вероятно, они начнут стрелять, когда она будет на ступенях Капитолия, и тогда они прострелят ей ногу, а должен ли он позволить прострелить ее или нет? Его желание увидеть ногу весталки жжет его все сильнее, он должен видеть ее от ступни до бедра, он должен гладить ее, сжимать, разминать, давить. Пусть они стреляют, он рад увидеть, как будут простреливать ногу. Чего же они ждут? Да, конечно, они ждут этого субъекта, безымянного, с золотой головой и стеклянным глазом. Тот все еще стоит с его приказом в руках. Но вот он уже повертывается, сейчас будет уже поздно, и тогда он будет стрелять,— это капитан Педан.

Тит смеется, его лицо светлеет. Педан. Разумеется, как это ему не пришло сразу в голову? Всего сорок три года, а память уже ослабевает. Он стенографирует это имя в воздухе. Педан, капитан Педан из Пятого легиона. Он стенографирует несколько раз, чтобы удержать в памяти. Педан из Пятого легиона, обладатель травяного венка.

Тем временем женщина все еще шествует. Теперь она подобрала свои длинные одежды затворницы, словно танцовщица, и он видит всю ее ногу, до самого бедра, обнаженную. Зрелище приятное и в высшей степени непристойное. Кто бы подумал, что у весталки такая молодая и красивая нога танцовщицы?

Теперь он в святой святыни храма. Но где же статуя Юпитера? Разве Капитолийский Юпитер тоже не имеет

образа? Разве правы те, кто утверждает, что в святая святых ничего нет? Это было бы несчастьем. Тогда нельзя было бы приносить жертвы. Никакой жертвы и не приносят. Белый бык вырывается. Дурной знак. Но он не должен подавать виду, что это тревожит его. Ему ужасно скверно, однако он должен присутствовать здесь, поддерживать дисциплину и ждать.

Нет, вот что-то стоит в святая святых. В нем стоит нога, конечно, нога женщины, шествующая, великолепная, подлая нога, которая расстроила ему ум. Это невероятное преступление, что нога стоит в целле Капитолийского Юпитера. Ее нужно убрать, он должен растоптать ее, раздробить на куски, сровнять с землею. Это нужно убрать, «вон то» — ногу. Хеп, хеп, это нужно выбросить.

Вдруг за его спиной появляется отец; конфиденциально, скрипучим голосом дает он ему совет. Это очень просто. Нужно только разрубить ногу, тогда голова Нерона упадет сама собой. Старик, конечно, прав, как всегда. Каждый согласится с тем, что легче перерезать жилы человеческой ноги, чем металлическую голову. Он кивает отцу, заносит меч.

Он вскакивает. В него врезается что-то острое, болезненное и вместе с тем благотворное. Его тело растирают снегом, жгучий мороз успокаивает жар, обуздывает бред.

Он узнает место, где находится, — имение возле Коссы. Он улыбается. Сюда он стремился. Все произошло именно так, как он хотел. Он выдержал, он открыл игры, его римляне были довольны. «О ты, любовь и радость рода человеческого!» — кричали они ему, и их нежные интонации еще звучат в его ушах. «О ты, всеблагий, величайший китенок!» А теперь он в своем имении, и он выдержал испытание. Он даст себе две недели отдыха, три недели, во время которых ничего не будет делать и ни о чем не будет думать. А затем, когда, отдохнувши, возвратится в Рим, он снова пересмотрит проект о налогах, который ему предложил Клавдий Регин, и займется подготовкой войны против парфян.

Вот и Малыш. Малыш смирился, Титу удалось сделать его тихим и покорным. Правда, это стоило денег. Если сравнить имение под Коссой со строительством Домициана в Альбане, то недешево обошелся ему братец. И нельзя сказать, чтоб он стал совсем ручным. Эта история с Юлией, — он, конечно, хотел только ему напакостить. Но пакость вышла убогая, удивительно, что Малыш не при-

думал ничего лучшего; во всяком случае, этой проделкой он здорово промахнулся. Тит не особенно обижен. Если Малышу нравится его Юлия, пусть они развлекаются на здоровье. Правда, белая, мясистая Юлия несколько привередлива, и очень сомнительно, чтобы ей нравился Домициан. Как бы то ни было, проделка, которой Малыш хотел «показать ему», вышла грубой и бездарной. И что это за «месть»? Луция, Луцию Тит отбил у него, выхватил из-под носа, и хотя Юлия его собственная плоть и кровь, никто не может всерьез сравнивать ее с Луцией. Кроме того, Юлия, видимо, не хотела, а Луция хотела, и Тит смеется, он смеется высоким и тонким голосом — хи-хи, — смеется над убогой, бессильной местью брата.

Мысль о том, что он, может быть, лежит здесь потому, что этого захотел Домициан, не приходит ему в голову.

Наоборот, он устремляет свой взгляд, — головы он повернуть не может, только глаза, — на Луцию. Вот она, Луция, думает он. Если бы он встретился с нею раньше, его жизнь сложилась бы иначе. Но хорошо и так. Римляне любят его, династия сидит крепко, никакой Нерон ему теперь не страшен. Вот он лежит и потеет. Это здоровый пот, его болезнь — кризис, и вместе с потом Восток окончательно выйдет из его крови. В будущем уже никакая еврейка не введет его в соблазн.

Но почему, собственно, они все здесь: Малыш, Юлия и Луция? Ага, из-за его болезни. Он был, должно быть, очень болен. Но теперь все прошло. Какое разочарование для Малыша. И Тит улыбается ему весело, насмешливо, всем лицом своим чуть ли не прося прощения за то, что он не стал богом.

Одного здесь нет. Одному должен он сказать, что теперь выздоровел и вместе с потом изгнал Восток из своей крови. Именно этот один должен узнать, это важно, и как можно скорее, еще до своего возвращения в Рим он скажет ему об этом. Он посылает курьера в Рим, в дом в шестом квартале, чтобы доставили Иосифа Флавия.

Но вскоре после этого, еще задолго до приезда Иосифа, императора схватил новый приступ лихорадки, хуже прежнего. Домициан обратился к доктору Валенту. Тот посмотрел на него холодным, испытующим взглядом и сказал:

— Я сделаю его величеству снежную ванну. Если обойдется благополучно, больной еще раз придет в сознание. Но мало надежды, что он переживет сегодняшний день.

— Вы думаете, — спросил деловито Домициан, — что

император Тит Флавий четырнадцатого сентября станет богом?

— Думаю, что да, — отозвался врач и под вопросительным взглядом принца продолжал: — Я в этом уверен, — и прибавил, — ваше величество.

Когда лихорадка становилась угрожающей, врачи обычно сажали пациента в снеговую ванну. Правильно назначить время пребывания больного в такой ванне было очень трудно, и это служило пробным камнем для искусства врача. Нередко снеговые ванны спасали пациента от верной смерти; но бывало много случаев, когда пациенты в снеговой ванне умирали.

В выложенном камнем погребе дома возле Коссы снег держался долго и не таял. Под наблюдением врача Валента тяжелое пылавшее тело императора глубоко зарыли в снег. Дамы, Луция и Юлия, — Домициан уехал, — стояли, поеживаясь, в погребке, узкое окно и снег распространяли бледный свет, дамы смотрели с отвращением и напряженным вниманием, как императора зарывают.

Тит пришел в себя. Он очень волновался, что Иосифа все еще нет. Кожа посинела; он стискивал зубы, чтобы они не стучали. Ему влили в рот приготовленный Валентом напиток, который должен был подстегнуть его угасающие силы. Он молчал, молчали и обе женщины, было мрачно и холодно. Сначала ушла Юлия, затем ушла и Луция. Когда явился Иосиф, он никого не застал возле императора, только Валента.

Тит отослал врача. Иосиф стоял один перед умирающим, лежавшим в снегу, с окоченевшими членами. Иосиф еще раз низко склонился перед ним и повторил приветствие: — Я здесь.

Но что-то в нем произнесло: «Нет мудрости, кроме мудрости Кохэлета: у человека нет преимущества перед скотом. Как те умирают, так умирают и эти, и все суета суег».

Тит казался бесконечно слабым, он дрожал от холода и боли, но, может быть, под влиянием напитка находился в полном сознании. Унаследованная и воспитанная в нем римская выдержка была достаточно сильна, чтобы победить страх твари в минуту умирания. Правда, он не стремился умереть стоя, как отец. Но и он хотел, чтобы в последние минуты не было ничего низменного, и он хотел, чтобы как раз этот человек с Востока был при его смерти и свидетельствовал: римский император Тит умер достойно. С трудом

разжал он синеватые губы, но его голос был довольно внятен, в нем даже зазвучали остатки той звонкой повелительности, которую Иосиф часто слышал под стенами Иерусалима; и он заговорил:

— Я вызвал тебя сюда, Иосиф Флавий, чтобы ты это записал. Я тебе поставил бюст, — запомни для потомства то, что я тебе скажу. Я старался быть радостью и любовью рода человеческого, я был всеблагим, величайшим китенком, и в тот день, когда мне не удавалось сделать никакого добра, я говорил: этот день потерян. Но не это должен ты записать. Я умертвил многих людей, и это было правильно, я не раскаиваюсь. Но одно только было нехорошо. Запиши это, мой еврей, ты, великий летописец: император Тит не раскаивался ни в каких деяниях своей жизни, кроме одного. Ты слышишь меня? Запиши это, мой еврей, мой историк.

Так как Тит умолк, то Иосиф спросил:

— В каком деянии, мой-император?

Но Тит вместо ответа с обращенным внутрь угасающим взглядом спросил:

— Почему Иерусалим был разрушен?

Тогда Иосиф ощутил ледяной ужас в сердце своем, и он стоял неподвижно и не знал, что ему говорить. Император же продолжал и просил его:

— Ты не хочешь ответить мне, мой еврей? Так долго ждал я ответа, и никто не мог дать мне его — только ты, и если ты не ответишь мне сейчас, то будет слишком поздно.

Тогда Иосиф, собрав все свои силы, овладел собой и ответил, и это была правда:

— Я не знаю.

Но Тит, зарытый в снег, жалобно продолжал:

— Я вижу, ты не хочешь мне сказать. У вас, евреев, хорошая память. Вы, как ваш бог, мстительны, вы не прощаете причиненное вам зло и не забываете ничего до самого конца. — И, как дитя, он продолжал жаловаться и ныть: — Я никогда не был тебе врагом, мой еврей, и не мстил тебе за то, что эта женщина мне причинила. Я оставался твоим другом, даже когда она ушла. Но ты не хочешь ответить мне.

Иосиф был глубоко потрясен бредом умирающего. На пороге самой смерти пытался тот солгать ему и себе, внушить, что женщина, которую он прогнал, покинула его по доброй воле, и он говорил это, чтобы получить ответ на вопрос, почему разрушен город Иерусалим, который он сам разрушил. Ужас перед брэнностью человеческого разума охватил Иосифа с такой силой, что он забыл о холоде

и темноте жалкого погребца и о страшном одиночестве этого умирающего. Значит, евреи с правого берега Тибра были правы: Ягве послал императору мушку в мозг, она жужжала там, никакой шум арсенала не мог успокоить ее. Тит был только орудием, не больше, чем красная волосатая рука капитана Педана. Теперь он ссылался на то, что был лишь орудием, но тогда, когда он действовал, он не хотел в этом признаться. Он слишком много взял на себя. Он знал, что дело шло о соединении Востока и Запада, но он повернул обратно на полпути, и вместо того чтобы привлечь к себе Восток, он его разрушил и стал опять тем римлянином, каким был с самого начала, только римлянином, ничем иным, убогим завоевателем, жалким человеком действия, глупцом, знавшим о тщете действия и неспособным от него отступить. Теперь он получил возмездие. Вот он лежит, и у него лицо его отца, лицо старого крестьянина, — но старик мирился с этим и был этим горд, этот же стыдился. Владыка мира, император, римлянин, неудавшийся гражданин вселенной, и он же — кучка дерьма, человек, который умирает так же, как скот.

И когда человек в снегу еще раз пошевелил синеватыми губами, — Иосиф уже ничего не мог разобрать, но он знал, что Тит повторил свой вопрос и настаивает на его ответе, — его сразило глубочайшее убожество этого вопроса и удручающее сознание ничтожности его самого и всякой твари. Он был почти не в силах выносить вид умирающего, приходилось делать усилие, чтобы не броситься вон, чтобы не бежать от вопрошавшего, и он вздохнул с облегчением, когда вошел врач Валент.

— Сегодня, — сказал Валент, — я, нарушая все приличия, решаюсь помешать вам уже через четверть часа. — Он приблизился к человеку в снегу. — Император Тит Флавий скончался, — констатировал он деловито.

Тем временем Домициан спешно возвращался в Рим верхом, без свиты. Наступала ночь. Скудно светил месяц, и было очень темно. Домициан не щадил своего коня. Теперь, когда минута настала, он не хотел верить, что власть, которой он так долго и страстно жаждал, действительно попадет в его руки, и он рисовал себе все, что могло еще встать между ним и исполнением его желания. А вдруг этот Валент предаст его и расскажет Титу о разговорах с Маруллом? Тит слабый человек и одержим нелепым желанием во что бы то ни стало сохранить престол за

династией. Но если даже он забыл Юлию и все предшествующее, он не настолько одержим, чтобы стерпеть подобное предательство и не послать к нему и к Марулле палача.

Вздор. И без всякого врача видно, что Тит умирает, будь снеговая ванна или не будь ее. Даже если Валент ошибся и Тит проживет еще один день, если он даже проживет целую неделю, против Домициана он бессилён. Домициан сейчас же, как только возвратится в Рим, просто станет во главе гвардии, — все подготовлено. А с помощью гвардии, что бы ни случилось, он продержится, пока Тит не умрет.

Но он уже умер, он уже стал богом, его нет среди живых, Домициан чувствует это в глубине души. Он умер, тот, другой, его брат. Никогда больше не услышит он неприятного звона его повелительного голоса, не услышит его спокойных, насмешливых увещаний. Конец. Это хорошо и для Луции. Она, наверное, обрадуется. Домициан скачет во весь опор в темноте, краснеет. Она *должна* обрадоваться.

Как странно, что женщина, подобная Луции, не презирает Тита, глупца и труса. О чем он на прощание еще разговаривал с этим евреем? Ему нужна популярность и после смерти, ему нужен историк, он умирает для историка, так же как для него жил. Ему нужны искусственные подпорки, вот в чем дело, ему недостаточно самого себя. А все же было бы интересно знать, о чем он говорил с евреем. Не об Юлии? Жаль, что он сам, Домициан, не заговорил сегодня об этом. А теперь — конец, и он больше никогда не узнает, почувствовал ли его брат, что они — квиты? Откроет ли еврей то, что ему доверил Тит?

Ему самому, когда он будет умирать, не понадобится ни еврей, ни историк. Он в себе уверен. Единственное, чего ему не доставало, это обеспеченной, законной власти. Теперь, когда она у него есть, ему не нужны никакие историки. Не велеть ли ему умертвить Иосифа?

Этот человек знает многое, чего лучше не знать. Но Луция будет недовольна, если этого человека не окажется в живых. У кого есть власть, тому достаточно знать, что он может уступать своим желаниям; уступать в действительности вовсе не нужно. Пусть этот Иосиф живет.

Домициан въехал в Рим. Он направился, — хотя была глубокая ночь, — в палатинские казармы лейб-гвардии. Потребовал к себе командира. Сообщил испуганному офицеру, что император скончался. Приказал объявить тревогу. Еще не очнувшись от первого сна, люди собирались во дворах. Им сообщили о том, что Тит умер; первое распоряжение

нового императора — выдать всем награду, по восемьсот сестерциев каждому. Тот же приказ был прочитан в других казармах города. Офицеры и солдаты приносили присягу императору Флавию Домициану. Гремя оружием, довольные, приветствовали они нового владыку и охотно остались всю ночь на карауле.

По всем улицам города мчались курьеры. Улицы ожили; факелы, патрули; дома светились. Многие сенаторы, не дожидаясь вызова консулов, поспешно и взволнованно направились в зал Юлия. Они нашли здание занятым войсками; войсками были также заняты все стратегические пункты города. Каждому сенатору сообщалось, что император Домициан ждет его немедленно в библиотеке Палатина. Господа сенаторы были неприятно поражены, увидев, что каждого из них сопровождает отряд солдат, — отнюдь не в виде оскорбления, скорее как почетная стража. С неприятным чувством они отмечали, что войска находятся во всех важных общественных зданиях и что Палатин охраняется, как крепость.

По едва освещенным коридорам, по которым озабоченно сновали офицеры, растерянные слуги провели этих господ в библиотеку. Подавленные, стояли небольшими кучками «избранные отцы», поднятые со своих постелей, многие — едва успев одеться. Они сомневались в подлинности этого известия о смерти, но ни один не доверял другому, они осмеливались только шептаться о том, что всех волновало, вслух же велись немногословные разговоры о пустяках, о том, что, в сущности, пора бы начать топить, и тому подобное. Наконец, встреченный дежурными офицерами, оказавшими ему почести как императору, появился Домициан. Угловато отставив локти, тщательно одетый, но без внешних знаков власти, кроме знаков senatorского достоинства, но также и без знаков траура, расхаживал он между отдельными группами, изысканно вежливый, даже притворно робкий и смиренный. Было неясно, чего он, собственно, хочет. Не могло быть сомнения в том, что ему присягнут, незачем было для этого вызывать войска. Но господ сенаторов мучили сомнения, утвердит ли он привилегии каждого в отдельности; прежде всего боялись друзья Тита, что он понизит их в должности и сократит их доходы. И вообще — как будет держать себя этот новый владыка, как отнесется к памяти брата? Чего он хочет? Радоваться ли им тому, что они удостоены столь благословенного императора, или тому, что утратили столь благословенного импера-

тора? Все, конечно, знали, как Малыш ненавидел и презирал своего брата. Но не пожелает ли он, чтобы повысить уважение к династии, причислить брата, как и отца, к сонму богов? Эта неизвестность настолько удручала сенаторов, что они не решались теперь называть Домициана Малышом: даже мысленно или признать, что у него начинает расти брюшко и что его угловатая манера держаться только подчеркивает его брюшко.

Домициан, спокойный под защитой своей гвардии, скоро почувствовал, сколь многое он может себе позволить в отношении сената. И он начал забавляться неуверенностью господ сенаторов. Он вспомнил ту ночь 20 декабря, когда Веспасиан и Тит стояли в Иудее, а в Риме сторонники Вителлия и Веспасиана боролись друг с другом за власть. Тогда он, его дядя Сабин и сенаторы, приверженцы Веспасиана, были осаждены на Капитолии, Капитолий взят приступом. Сабин и большинство убиты, а сам он, переодетый жрецом Исиды, спасся только с большим трудом. И вот он вспоминал о страхе, пережитом в ту ночь, и ему доставляло удовольствие наслаждаться теперь страхом Титовых друзей, усиливать его мрачными шутками.

— Не кажется ли вам, Элиан,— спрашивал он одного,— что моего умершего брата следует причислить к сонму богов, так же как и моего отца? — Но когда Элиан торопливо и стремительно сказал «да», он посмотрел на него озабоченно и возразил почти покорно: — Не думаете ли вы, что заслуги государя следует взвешивать весьма тщательно, прежде чем оказывать ему такую честь? Как вы думаете, мой Рутилий? — обратился он к другому. А когда растерянный сенатор Рутилий не знал что ответить, Домициан удивился вежливо, но с явным неодобрением: — Как странно, что даже вы, мой Рутилий, такой близкий друг покойного, не подумали сами о том, чтобы оказать ему эту честь.

Несчастный Рутилий что-то забормотал, а Домициан уже заговаривал с третьим.

Все вздохнули облегченно, когда новый владыка ушел. Они должны были ждать восхода солнца, — только тогда начнется заседание. И какое нужно вынести решение? Малышу доставляло удовольствие держать их в неизвестности. До утра еще далеко, они озябли и переутомлены, многим негде было присесть. Некоторые сиделись на пол или даже ложились, чтобы немного вздремнуть.

Наконец появился Анний Басс и сообщил: император ожидает, что сенат окажет его брату те же почести, какие были оказаны его отцу. Теперь, по крайней мере, было известно, какой линии держаться, и можно подремать до начала заседания. Но эта ночь надолго останется у всех в памяти.

Тем временем Домициан заперся в своем рабочем кабинете с карликом Силеном. Карлик, одетый в негнувшийся, тяжелый красный шелк, прикорнул в углу. «Пусть думают, что я насаживаю мух на булавки», — подумал Домициан с мрачным удовлетворением, щелкнул языком, стал ходить по комнате. Карлик передразнил его, щелкнул языком, заходил по комнате.

Домициан отдал приказ, чтобы в эту ночь к нему не допускали никого, кроме Луции и Иосифа Флавия. Он не хотел услышать о смерти Тита и о том, что сам стал императором, ни от кого, кроме этих двух людей. Возле дома Иосифа он поставил курьера, который должен был тотчас же по возвращении Иосифа привести его на Палатин, и Домициан держал пари с самим собой, кто первый принесет ему желанную весть, — Луция или Иосиф. Если Луция — это будет хороший знак, если Иосиф — плохой.

За час до рассвета пришла Луция.

— Он умер, — сказала она. — Нелегкая у него была смерть.

— Я император, — сказал Домициан. — Я император, Луция. — Он засмеялся, его голос сорвался, при ней он давал себе волю.

— Мы император, — закукарекал карлик.

Домициан наслаждался своим торжеством.

— Это то, к чему я стремился еще с того времени, когда удерживал Капитолий против Вителлия. Путь был очень крут, я прошел его без извилин, прямо вверх, как стрела. Я прошел его ради тебя, Луция. Я сделал тебя императрицей, как обещал.

Луция села; последние часы Тита, ночное путешествие в Рим утомили ее, она чувствовала большую усталость. Она смотрела на бегающего по комнате Домициана, зевала:

— Тебе нужно больше заниматься спортом, Малыш, — сказала она. — Клянусь Геркулесом, у тебя растет брюшко.

— Ты не понимаешь, что значит быть императором, Луция, — сказал Домициан. — Ты бы видела, как они ползали передо мной.

— Для меня не новость, что в Риме осталось мало настоящих мужчин,— сказала Луция; в ее словах прозвучала покоробившая его компетентность.

— В сенате их не много,— согласился Домициан с удовлетворением и с досадой.

— А я теперь пойду спать,— сказала Луция,— очень устала.

— Побудь еще немного,— попросил Домициан.— До восхода солнца они не могут причислить Тита к сонму богов, а меня возвести на императорский престол. Я хочу позвать сюда еще кой-кого — пусть попляшут.

— Это меня не интересует,— сказала Луция.

— Но это же очень забавно,— заметил Домициан,— останься, моя Луция,— просил, настаивал он.

Он вызвал к себе из библиотеки некоторых сенаторов. Не сгибая ног, угловато откинув локти, выставив брюшко, разыгрывал он любезного хозяина, переходя от одного озабоченного судьбой своих привилегий сенатора к другому. Заводил беседу на литературные темы.

— Читали вы мой этюд о лысине, Элиан? — спросил он.

Сенатор посмотрел на покрытую редкими волосами голову нового владыки; он смутно вспомнил об этом этюде, он назывался «Похвала плечи», был написан в модном юмористическом стиле, и трудно было понять, что в нем серьезно, что шутка.

— Да, ваше величество,— ответил он неуверенно, он уже предчувствовал, что Домициан опять посадит его в лужу.

— Ваше мнение? — спросил с коварной любезностью император.

— Я нахожу ваш этюд великолепным,— решил на-конец восторженно ответить Элиан.— Одновременно веселый и глубокомысленный. Я и плакал и смеялся над ним до слез.

— А по-моему, он никуда не годится,— сухо констатировал Домициан.— Мне стыдно в век Силия Италика, в век Стация писать подобный вздор. Как вы относитесь к Силию Италику, Вар? — обратился он с вопросом к ближайшему сенатору.

— Это величайший римский писатель,— ответил с подъемом сенатор Вар.

— Но скучен,— заметил Домициан и посмотрел на сенатора задумчиво, чистосердечно, с сожалением,— очень скучен. Так и несет скукой. Мое произведение «Похвала

плеши», по крайней мере, занимательно. А вы что предпочитаете, Рутилий? — приставал он снова к любимцу Тита. Рутилий попытался спрятать свои беспомощные птичьи глаза от пристальных глаз Домициана.

— Ну, ну, ну, — настаивал карлик.

— Я предпочитаю Силия Италика, — решился наконец заявить с кривой лукавой улыбкой Рутилий.

— Вот каковы наши сенаторы, — сказал Домициан и прищелкнул языком. — Даже такую скуку, как Силия Италика, они предпочитают моим шуткам.

Он обернулся, он думал, что говорит с Луцией. Но за ним стоял только карлик, Луция ушла.

— Светает, — сказал император подавленным сенаторам, — и вам пора искать нового вождя для сената и римского народа. Трудный день для вас. Трудный день и для меня, так как мне придется решить, чьи привилегии я поддерживаю, чьи нет. Да просветят боги меня и вас, избранные отцы, — отпустил он их.

Перед самым рассветом явился Иосиф. Домициан узнал от Луции, что этот человек был последним, с которым говорил его брат. Вероятно, этот еврей был и единственным, кто знал, действительно ли его проделка с Юлией, эта оплата старого счета, была известна Титу и насколько она задела его.

— Вы ведь, кажется, живете в шестом квартале, — начал император, — на улице Гранатов?

— Я почитаю себя счастливым, — ответил Иосиф, — что милостью императора Тита мне был оставлен дом, назначенный мне богом Веспасианом.

— Известно ли вам, что я родился в этом доме? — спросил Домициан.

— Конечно, ваше величество, — ответил Иосиф.

— И вы охотно работаете в этом доме? — продолжал расспрашивать Домициан. — И ваша работа вам там удастся?

— Я очень люблю этот дом, — ответил Иосиф, — и работаю в нем охотно. А хороша ли моя работа, об этом судить не мне.

— Я жалею, — сказал Домициан и странно бесшумными шагами подошел к Иосифу очень близко на своих негнущихся ногах, — что мне приходится вас выселять. Но этот дом, в котором мой отец, бог Веспасиан, прожил так долго и из которого исходило так много счастья для

империи, я хочу посвятить богам и сделать там национальный музей его памяти.

Иосиф ничего не ответил. Он знал о том влиянии, которое имел Марулл на Домициана, знал также о влиянии Анния Басса, знал, как капризен Домициан, знал, что и сам теперь под угрозой. Но он не испытывал страха, он чувствовал странную уверенность. Тщеславие, торжество, поражение, боль, наслаждение, ярость, печаль, Дорион, Павел, Юст — все это уже позади, а перед ним была только его работа. Все происходившее до сих пор в его жизни пригодились для его работы, и оно приобретало смысл, только когда он связывал его со своей работой. Ягве, он в этом уверен, прострет над ним свою руку, дабы с ним не случилось ничего, что могло бы угрожать этой работе.

Поэтому он ждал со спокойным любопытством, чего от него потребует Домициан.

— Вы имели счастье, — сказал тот наконец, — присутствовать при смерти и преображении моего брата, императора Тита. Чего потребовал мой брат от вас напоследок? — Домициан старался говорить спокойно, но он не мог совладать с собою, его лицо покраснело, голос сорвался.

— Император Тит, — сообщил Иосиф, — хотел дать мне поручение. — Домициан смотрел ему в рот почти со страхом. — Он просил меня, — продолжал Иосиф, — записать для потомства, что сожалеет об одном-единственном поступке своей жизни.

— О каком? — спросил Домициан.

«Ага, — подумал он, — история с Юлией все же достигла цели. Он, наверно, сказал ему о своем сожалении, что не отправил меня на тот свет». И, открыв рот, Домициан ждал, что ответит Иосиф.

— Он уже был не в силах сказать мне, о каком.

Вот все, что мог сообщить ему Иосиф.

Домициан облегченно вздохнул. Но уже в следующее мгновение он почувствовал разочарование. Значит, он так никогда и не узнает, какое впечатление произвела на Тита история с Юлией. «Разумеется, — подумал он, — Тит сказал ему, а этот хитрец не хочет мне это открыть». Вслух же он заявил:

— Среди нас не много людей, которые могли пожалеть только об одном своем поступке. Мой брат был добродетельный человек. Мой брат, — продолжал он с легкой злобющей улыбкой, — был, кроме того, счастливый человек. — И с двусмысленной, опасной откровенностью пояснил: — Он умер на вершине своей славы. Умри он позднее, кто

знает, удержал ли бы он славу, а он придавал ей очень большое значение. Те, кто дал ему слишком рано умереть, — заключил он, и его наглая, мрачная усмешка стала резче, — сделали это ради его блага.

Когда он с этими словами отпустил Иосифа, солнце уже взошло и римский сенат приступил к тому, чтобы возвести Тита в сонм богов, а Домициана — на императорский престол.

Три дня спустя, 1 тишири, то есть в первый день нового 3842 года по еврейскому летосчислению, Иосиф стоял в синагоге, носившей его имя. Бараний рог, резко, пронзительно и безобразно призывавший к покаянию, потряс его до глубины существа, взрыл его душу. Это было благое потрясение, оно словно вспахало его душу для приятия посева. Когда он во второй половине дня подошел к берегу реки Тибр, чтобы, согласно предписанию, стряхнуть с себя грехи в реку и дать текучей воде унести их в море и там утопить, он чувствовал себя действительно очищенным.

Первого тишири Ягве бросает жребии, но только десятого, в великий день очищения, в субботу из суббот, закрепляет он их; этот срок он дал мужам своего народа, чтобы они могли покаянием отвратить от себя суд. Более других обладали в те времена евреи даром покаяния; они прошли через большие грехи и большие несчастья, они знали, что вина и несчастье — не конец, но лишь возможный путь к новому началу. Иосиф в особенности, этот «вечно изменчивый», мог стряхнуть с себя прошлое, как воду — гладкая кожа, и подобно тому, как новорожденный наследует от отцов и праотцев их сущность, но не их судьбу, мог он теперь, в начале своего нового большого труда, начать новое существование так, чтобы прошлое не обременяло его. Для него не пропало то, что было в нем полезного, а что было дурного — он зачеркнул.

Десятого тишири стоял он, как и другие, в своей синагоге в простой белой одежде, в той льняной одежде, в которой он после смерти будет положен в гроб, ибо человек должен в этот день предстать перед лицом Ягве, как бы готовый к смерти.

Коллегия в Ямнии приказала, чтобы великая жертва, приносившаяся, когда храм был цел, в день очищения, теперь была заменена описанием этого жертвоприношения. Левит Иувал бен Иувал, один из немногих певцов и музы-

кантов храма, спасшихся при разрушении Иерусалима, был приглашен кантором в синагогу Иосифа. И вот он пел, чередуясь с общиной, о храмовой службе. Он хорошо знал старинные мелодии, и в соответствующих местах, рассказывая о покаянии в грехах или о том, сколько раз первосвященник кропил жертвенной кровью, он вводил в свой рассказ дикий, монотонный напев, сохраненный левитами с тех древних времен, когда иудеи еще странствовали в пустыне.

«Хвала глазу,— пел он,— видевшему двадцать четыре тысячи священников, утварь храма, великолепие службы; когда наше ухо теперь слышит об этом, наша душа печалится. Хвала глазу, видевшему первосвященника, когда он выходил из святой святых, примиренный, в тишине, возвещая, что красная нить греха отмыта добела милостью Ягве. Хвала глазу, видевшему его в эту минуту; когда наше ухо слышит об этом, наша душа печалится.

Ибо мы,— пел он дальше,— мы, ах, благодаря чрезмерности наших грехов, лишены искупления. Отдана осквернителям наша страна, чужестранцы стали ее главой, мы — ступнями. Без пророков идем мы на ощупь, подобно слепым, без предсказаний. И никакое новое очищение не ждет нас. Нет у нас больше первосвященника, приносящего за нас жертву, нет козла отпущения, чтобы отнести наш грех в пустыню».

И он говорил и пел о подробностях этой великой жертвы искупления. О том, как первосвященник за семь дней воздерживался от всякого соприкосновения с миром, направив все свои помыслы лишь на свое святое служение. Как он проводил ночь перед великим днем очищения без сна и пищи, занятый чтением и слушанием Писания. Как он затем утром, в белых одеждах, сверкая храмовыми драгоценностями, шел на восточную сторону переднего двора, где, охраняемые священниками, стояли оба козла, совершенно схожие друг с другом ростом и сложением и на которых каждый в Израиле тратил часть одного динария. Как он затем вынимал из урны золотые жребии и решал, какой из двух козлов должен быть отдан Ягве, а какой — пустыне. Как он затем, возложив руки на голову козла, каялся перед всеми в грехах, совершенных им, его семьей, его родом, всем Израилем, и возлагал их затем на голову козла и привязывал грехи в образе красной нити к его рогу и отсылал прочь, чтобы он унес их в пустыню. Как он в заключение входил в святой святых и призывал Ягве его настоящим высочайшим, страшным именем, которое больше никто и никогда не смел произносить, и как весь народ,

когда это имя исходило из уст первосвященника, падал ниц.

Так рассказывал и пел левит Иувал бен Иувал. Иосиф все это пережил, о чем он пел, всю службу, — ведь некогда и он стоял во время этой службы на ступенях храма в первой чередѣ, и если чьи-нибудь глаза были блаженны оттого, что все это видели, то это были его глаза, и если у кого душа была печальной, слушая теперь об этом, так это его душа. Кроме того, он видел ближе, чем кто-либо из живых, как храм и его святая святых были разрушены и его священники убиты. Он видел, наконец, единственный среди иудеев, это место уже во всем его запустении, сровненное с землей. Он видел ныне утраченное, он пережил утрату, и он выдержал лицемерие утраты. Но когда он теперь услышал повествование об утраченном, он не выдержал. Его сердце замерло, остановилось, глаза, видевшие пожар и падение храма, померкли, уши, слышавшие треск и грохот горевшего храма, не могли слушать описания храмового служения, и гражданин вселенной, Иосиф Флавий, под пенье левита об утраченном величии его народа, рухнул наземь и лежал без сознания, в простой белой одежде, в которой его когда-нибудь похоронят.

После того как император выселил его из его дома, Иосиф жил в квартале Общедоступных купален, не слишком аристократической южной части города, в маленьком домике, зажатом между двумя высокими доходными домами. Он жил здесь среди деятельных, шумных людей, очень уединенно. Юст уехал, Павел, вероятно по настоянию матери, больше не приходил. Иосиф был чаще всего один, он работал, ждал Мару. Ему работалось неплохо в новой квартире; ведь такому, как он, все равно, где стоит его письменный стол.

А потом приехала Мара с ребенком.

Решительно, не тратя слов попусту, взяла она ведение дома в свои руки, и через две недели все было налажено так, словно она жила здесь всегда.

Проходили недели, проходили месяцы. Люди мало интересовались Иосифом, он мало интересовался людьми, он работал и был в согласии со своей судьбой.

Однажды ему пришла охота увидеть снова свое прежнее жилище, которое Домициан, так как оно было долго жилищем его отца, бога Веспасиана, и он сам родился в нем, приказал переделать в храм, посвященный роду Флавиев. Иосиф собрался и пошел в шестой квартал.

С любопытством и легкой, слегка насмешливой неловкостью смотрел он на дом, где столько пережил. Фасад мало изменился, его простой стиль хотели, видимо, сохранить. Иосиф вошел. Ему навстречу повеяло сладким, приторным запахом курений. Близился вечер, скоро храм закроют, и сейчас в нем очень мало народу. Перегородки, потолок и пол были удалены, и образовалось высокое, просторное помещение. Но этот сумрак, так долго огорчавший Дорион, остался, вероятно, потому, что его нашли подходящим для храма, и Иосифу понадобилось некоторое время, прежде чем он, перейдя со светлой улицы в полумрак, смог что-нибудь разглядеть. Но потом он увидел.

В трех больших нишах стояли изображения богов, которым этот дом был посвящен. В средней нише — богиня Рима, на этот раз в своем традиционном образе, мощная, героическая. Справа — грузный, в военных доспехах, Веспасиан; голова медузы на его нагруднике странно контрастировала с его кряжистой фигурой и хитрым крестьянским лицом. Левая ниша, место, где раньше стоял письменный стол Иосифа, была превращена в часовню Тита. Статуя нового бога, смелая и своеобразная скульптура, заполняла всю нишу. Тит сидел верхом на орле. Повернув налево и вверх клюв, птица вытянула мохнатые когти, распростила крылья; ее окутывало пышное оперение. Бог Тит сидел на ней, его ноги были наполовину скрыты оперением, его коренастое тело сливалось с телом птицы.

Иосиф был поражен. Эта голова была головой Тита, которую он хорошо знал: круглое лицо, короткий, резко выступающий треугольный подбородок, локоны на лбу. Это были его узкие, обращенные внутрь глаза, столь часто искавшие его глаз. И все же эта голова, смотревшая на Иосифа, едва возвышаясь над головой птицы, была другая. Справедлива ненависть Писания ко всяким статуям, и прав был художник Василий, когда он перед тем, как сделать модель головы Иосифа, предупреждал своих учеников: «Хорошенько рассмотрите голову, которая сейчас перед вами; когда я сделаю с нее модель, вы ее уже увидите только такой, какой ее видел я».

Проклятая статуя. Отталкивающая и в то же время манящая, высилась она перед ним. Так, страшась и соблазняясь, вероятно, стояли некогда его предки перед изображением медного змия или золотого быка, которого их пророки в насмешку называли тельцом. Он попытался вызвать в своей памяти лицо живого Тита, с которым он так часто бывал вместе. Но это уже не удавалось ему. Насмеш-

ливо-торжествующая голова бога Тита, летящего на Олимп верхом на орле, уже вытесняла голову подлинного Тита — Тита, стоявшего над пропастью с трупами, Тита на Палатине, Тита в снеговой ванне.

Но Иосиф не хотел признать себя побежденным. Он сделал над собой усилие. Попытался заговорить с этим человеком, как делал часто.

— Не странно ли, император Тит, — спросил он медную голову, — что на том месте, где я писал книгу о ваших деяниях, вы теперь стоите сами, и ближе ли вы теперь к решению проблемы, почему разрушен Иерусалим?

Но на этом беседа и кончилась; он испугался собственной дерзости. Робко, словно остальные могли услышать его мысли, оглянулся он вокруг. Все разошлись, он был один с богом Титом. Хрупкий, незначительный, стоял он перед массивной статуей, смотрел на ее голову, и голова смотрела на него, насмешливая, медная, немая. Нет, для этого Тита гибель Иерусалима, конечно, больше не была загадкой. Иерусалим восстал, и Рим уничтожил его; ведь в этом миссия Рима — править миром, защищать покорных, поражать дерзких. Так, вероятно, гласил ответ бога, сидевшего на птице. Ибо этот Тит был не тот, который задавал Иосифу робким шепотом вопросы и который позволил Иосифу убедить себя в том, что Рим не мир, что нужно сначала объединить Рим, Грецию, Иудею. Нет, этот Тит опроверг его: Рим — это мир. Медная немота умершего возвещала об этой правде громче, чем мог бы возвещать звенящий, повелительный голос живого. Рим поглотил мир и переварил его, мощь Рима и его телесность смеялись над пустыми, нелепыми притязаниями духа. Он, Иосиф, стремился обрести весь мир, но был глупцом и обманутым, — он обрел только Рим.

Он хотел уйти, но не мог оторваться от медного облика Тита, сидевшего верхом на птице. Это был поистине бог; никогда не могло лицо смертного выразить такую гордость и силу. Напрасно возмущалось все существо Иосифа против чудовищной дерзости статуи. Юст был прав: искусная смесь правды и лжи сильнее действительности. И перед этим проклятым, лживым, гротескным и волшебным образом бледнел образ жалкого человека, которого он так хорошо знал, и превращался даже для него, Иосифа, в далекого римского императора.

Разбитый вернулся он домой и был рад, когда вокруг вместо молчаливого, наполненного благовониями храма был снова шум, люди и запахи этой части города.

Однажды в квартале, где он жил, внимание было возбуждено появлением двух императорских курьеров с возвещающим радость лавром на жезлах. Они торжественно направились к дому Иосифа, вошли в него и, в то время как перед домом собралась несметная толпа, передали ему, по древнему обычаю, приглашение императора присутствовать на четвертый день от сегодняшнего, в пятый час после восхода солнца на торжестве, когда император будет передавать городу триумфальную арку, воздвигнутую им в честь бога Тита.

Иосиф испугался. Но он тотчас же склонился, как того требовал обычай, и ответил:

— Я слышу, благодарю и повинуюсь.

Он ни с кем не говорил об этом событии, и никто не говорил с ним о нем. Но он был уверен, что все знают. Тот способ, каким ему было передано приглашение, доказывал, что Палатин заинтересован в том, чтобы весь город узнал об этом. Очевидно, там собирались позабавиться его участием в церемонии.

Злобно следили евреи за ростом нового монумента, которым Домициан хотел заменить старую, облупленную арку в Большом цирке. Новая триумфальная арка была воздвигнута на высокой части Священной дороги, против Капитолия, в центре города, и предназначалась для того, чтобы запечатлеть навек память о поражении евреев, нанесенном Титом. В течение тех месяцев, пока арка строилась, евреи избегали Священной дороги, главной артерии движения через Форум, и предпочитали делать крюк, только бы не проходить мимо этого памятника их позора. Значит, через три дня ему, Иосифу, придется вслед за владыками Рима пройти под аркой и склониться перед богом и победителем Титом. Домициан долго не вспоминал о нем, по этому случаю он соизволил вспомнить и теперь радуется тому, а с ним попутно весь город, как Иосиф склонит выю под иго.

Когда дело касалось исполнения какого-нибудь из его злых и насмешливых капризов, император обычно подготавливал все очень тщательно. Вслед за курьерами в тот же день к Иосифу явился лейб-медик, доктор Валент. Поговорили о том о сем, и попутно Валент заметил, что рад видеть Иосифа в столь добром здоровье; императору также будет приятно убедиться самому при освящении триумфальной арки, что Иосиф здоров. Нетрудно было расслышать в его словах предостережение.

Иосиф и без посещения врача едва ли уклонился бы под

предлогом нездоровья. Даже если бы он лежал при смерти, он собрал бы последние силы и участвовал бы в этом шествии. Еще не успели курьеры кончить свою речь, как ему стало ясно, что он должен во что бы то ни стало принять приглашение и пройти вместе с другими, склонив голову, под аркой. Если он не пожелает, если он воспротивится, то выкажет лишь тот ложный патриотизм, который мешает понять, что политическая миссия Иудеи кончена и что никто от подобного отказа не выиграет, кроме последователей «Мстителей Израиля», тех безумцев, которые вновь зашевелились при вступлении на престол Домициана. Помимо этого, Иосиф, воспротивившись или хотя бы уклонившись, повредил бы собственному положению. Сейчас он, великий писатель, еще пользуется славой при дворе и в мире. Но Домициан не любит его, многие только и ждут, как бы отделаться от неудобного талантливой конкурента, и Иосиф был бы глупцом, если бы сам дал им все шансы в руки. Его путь ясно предначертан. Через четыре дня от сегодняшнего он, как того желает император, примет участие в торжественном шествии.

Иосиф мало работал в этот день и плохо спал ночью.

Но если в первый день возложенная на него задача показалась ему тяжелой, то на следующий день он нашел ее невыносимой. Он решил поститься, как обычно, когда ему предстояло трудное испытание. Он прочел у Ливия описание того, как пленные проходят под игом: втыкали в землю два копья, сверху клали третье, так низко, что пленник, проходивший под ним, должен был склониться до земли. Пройти под игом казалось для римлян самым позорным, чему можно подвергнуть человека, и те редкие случаи, когда римлянам пришлось пройти под игом, жгли память теперешних завоевателей мира, как клеймо глубочайшего позора. Но он не римлянин, а перед разумом, перед богом, «честь» человека мерится другой мерой, чем на римском Форуме.

Хорошо рассуждать, сидя здесь, за письменным столом. Но когда он послезавтра будет стоять перед триумфальной аркой, перед игом позора, ему придется до боли стиснуть зубы. Он знал по опыту, что ему легче переносить испытания, если он заранее мысленно переживает всю их горечь; и он рисовал себе яркими красками картину своего унижения — свист и смех римлян, ненависть и бешеное презрение евреев. Ибо среди евреев найдутся очень немногие, которые его поймут, и даже эти немногие, как мудрые политики, не станут защищать его.

Он сидел перед своим письменным столом неподвижно. Он не чувствовал голода, — гораздо острее, почти физически, мучили его картины того, как он будет ненавидим и презираем. Он знал его, это ледяное презрение своих евреев, а презрение проникает даже сквозь панцирь черепахи.

Тогда, после войны, он был единственным евреем, смотревшим на триумф Тита. Он видел, как мимо него прошли вожди восстания: Симон бар Гиора, Иоанн Гисхальский, связанные, обреченные на смерть, один в венке из крапивы и сухих прутьев, другой — в шутовских жестяных доспехах. Он хорошо помнил гнетущий, сдавивший ему горло страх, как бы они не взглянули на него. Он пережил много тяжелого — голод и нестерпимую жажду, бичевание, все виды унижения и не раз стоял перед лицом смерти. Но вот это — худшее из пережитого им; оно выше человеческих сил. Неужели ему еще раз суждено этому подвергнуться?

Тогда у него была надежная внутренняя опора: он был историком, он должен видеть, он должен присутствовать, это его долг — видеть. Разве теперь его основания менее убедительны? Нет, наоборот: его убежденность еще крепче. Общее благо и его собственное требуют, чтобы он покорился. Разум требует этого, а он существует для того, чтобы служить разуму. Если он не покорится, он утратит смысл всей своей жизни, предаст все то, что до сих пор сделал, написал, пережил.

Он проводит ладонью по воздуху, отстраняет все сомнения. Его решение твердо, это правильное решение, единственно возможное. А теперь он больше не будет думать об этой мучительной истории. Он вынимает свою рукопись. Работает.

Полчаса, целых тридцать минут это удастся ему. Потом, как он ни противится, перед ним возникают манящие картины того, что будет, если он откажется, если ослушается приказа императора, не покорится, останется стоять в стороне, мрачно и гордо. «Это было бы сладостно и великолепно, — думает он. — Я вздохнул бы полной грудью, как тогда, когда я ехал во главе повстанцев на коне Стрела, за знаменем Маккавеев. Какое блаженство пережить это еще раз! Что бы потом ни случилось — подобное счастье стоит того. И навсегда осталась бы тогда в истории евреев повесть об Иосифе бен Маттафии, мученике, а историку Иосифу Флавию это не повредило бы. Даже сам Домициан, если он и велит меня казнить, не сможет не восхищаться мной. А среди евреев даже те, кто не одобрит моего поступка, — Алексей, Гай Барцаарон, Гамалиил, — будут вспоминать

обо мне с глубоким уважением». Правда, на одну долю секунды перед ним возникает смугло-желтое, худое, суровое лицо, отнюдь не выражающее уважения, но он быстро отстраняет его от себя. Тем больше думает он о Финее. «Как будет смущен этот человек, услышав о моем подвиге, он скажет несколько уклончивых слов, но он не сможет не уважать мой стоицизм. А Павел, — мертвый отец заслужит ту преданность, которой так и не мог завоевать живой.

И разве это уж так бесспорно, что если я повинуюсь внутреннему чувству и не уроню своего достоинства, то это повлечет за собой дурные последствия? Если я послушаюсь императора, разве это не произведет впечатления и на римлян? Они издеваются над евреями, над их трусостью, над их подхалимством, над отсутствием собственного достоинства. Если я не склонюсь, разве я не покажу римлянам величаво и наглядно: можно бить евреев, можно их уничтожать, но сломить их нельзя. Две вещи славят истории всех стран и народов — успех и собственное достоинство. Хрестоматии полны успешных и достойных деяний: о разумных поступках говорится мало, и разум еще не прославлялся ни одним историком».

Но уже в то время, когда он это думает, ему становится стыдно. Он не хочет быть тщеславным, не хочет строить ложные близорукие теории. Он не хочет быть героем их хрестоматий.

Вторую ночь он тоже проводит без сна. Под утро он читает Филона. «Все, что против разума, — читает он, — безобразно, разум, — читает он, — логос, первородный сын божий».

— Совершенно верно, — говорит он громко, — но разве не написано: «Возлюби бога твоего всеми добрыми и всеми дурными твоими влечениями»?

Он вызывает своих друзей — Юста, Гамалиила, бен Измаила, Ахера. Мысленно спорит он с ними, спрашивает и отвечает.

— В наше бедственное время, — начинает своим ясным, любезным голосом верховный богослов Гамалиил, — легче, чем в другие эпохи, поддаться дурному влечению, глупому патристическому инстинкту. Поэтому я не виню никого, кто дает волю своему патристизму, не повинуетя римскому императору и отстаивает свое еврейство. Но разве некий Иосиф бен Маттафий не обязан больше других противиться этому побуждению?

Гамалиил молчит, но едва он умолк, как его враг Ахер подхватывает его слова и говорит, шумно дыша:

— Разве упомянутый доктор Иосиф в течение долгой и не всегда легкой жизни не пришел к выводу, что не Ягве — защитник государства Иудеи, но логос, великий разум?

И как только Ахер кончает, жестко и четко, как всегда, добавляет Юст:

— Генерал, трехгрошовый государственный деятель может соблазниться и сделать красивый патриотический жест: вы, Иосиф, писатель.

И все их слова заключает глубокий, звучный голос бен Измаила:

— Если вы, мой доктор Иосиф, решаетесь на красивое и дешевое неподчинение, то вы отрицаете принцип. Вы предаете идею, ради которой взяли на себя и потребовали от других столько невыносимого.

— Я еще не настолько стар, — защищается Иосиф, — чтобы следовать только разуму. Не стоит жить, если следовать только разуму.

— Вам все же сорок пять лет, — заявляет вежливо и насмешливо Ахер, — вы достаточно долго служили богу своими дурными влечениями.

И Юст снова поддерживает его:

— Что касается достоинства и тому подобных роскошеств, то вы, коллега Иосиф, столько их вкусили в вашей жизни, что хватило бы на Мафусаилов век. — И он неприятно хихикает.

— Я сейчас единственный, — возражает Иосиф, — кто может показать римлянам, что и у еврея есть чувство собственного достоинства.

— А что вы выиграете, — спрашивает вежливо Гамалиил, — если вы это римлянам покажете? «Мстители Израиля» примут вашу демонстрацию за сигнал к новому восстанию. Разве вы считаете, что подобное восстание теперь более осмысленно, более целесообразно, чем пятнадцать лет назад?

И нетерпеливый Юст резко констатирует:

— Своим красивым жестом вы, вероятно, доставите себе полчаса глубочайшего удовлетворения и будете казаться себе великим человеком. Но десяткам тысяч придется поплатиться за это получасовое счастье писателя Иосифа смертью или целой жизнью, полной несчастий.

Так спорил Иосиф со своими друзьями. Но надолго заглушить их голоса ему не удавалось. И снова день тянулся бесконечно. Хоть бы уж скорей конец! Он вынесет это унижение, как вынес многое. И как бы долго ни продолжа-

лась церемония, каким бы далеким окольным путем они ни шли от Палатина к арке, больше часа они смогут тащить его за собой, а пройти под аркой — это ничтожная доля минуты; но теперь ждать завтрашнего утра — это вечность.

И как он говорил вечером: «О, если бы наступило утро!» — так он говорил этому утру: «О, если бы наступил вечер!»

Когда наконец подкрался вечер этого упорного, свинцового дня, он уже не мог молча носить в себе свою муку, он пошел к Маре. Говорил с ней.

Она сидела молча, с ребенком на коленях, а он ходил по комнате, и вся его накопившаяся боль изливалась наружу. Он подыскивал самые простые слова, бесхитростные, арамейские, но слов стало много, и он никак не мог кончить. Он сказал ей, чего от него требуют, и почему он это должен выполнить, и почему все в нем против этого возмущается.

— Те, кому я должен сказать «да» и перед кем я должен склониться, — негодовал он, — это те люди, которые сожгли храм и искромсали двадцать четыре тысячи священников. И весь холм вместе с храмом был охвачен пламенем, и все высоты были полны крестов, и под землею, в потаенных ходах, люди убивали друг друга из-за куска заплесневелого хлеба. Тот, перед кем я должен склониться, сын того человека, того распутного старика, который лишил тебя девственности и который, чтобы насмеяться над нами обоими, устроил нашу первую нелепую свадьбу. Неужели я должен спустя тринадцать лет еще раз почтительно сказать всему этому «да»? Бог хочет, чтобы я это сделал, разум требует этого. Но вся кровь ударяет мне в голову, когда я думаю о том, что должен пройти под аркой, что я должен проглотить это, и я почти задыхаюсь, я не в силах этого сделать. И римляне будут издеваться надо мной, и евреи возненавидят меня. Разум хорош и прекрасен, и за него когда-нибудь получишь награду, через пятьсот лет. Разум — первородный сын бога, но бог награждает за него лишь тогда, когда ты уже мертв, а пока ты жив, за него получаешь только пинки и дерьмо.

Он ходил по комнате перед Марой, худой и сгорбленный, его одежда волочилась за ним, глаза на осунувшемся лице были большие, мутные и лихорадочные, поседевшие выющиеся волосы и борода беспорядочно торчали, и голос был таким же потускневшим, как и его лицо.

Мара сидела молча, она следила за ним глазами, пока он ходил по комнате. Ей было теперь двадцать семь лет, она была немного толстовата, но упруга, полная сил и отнюдь не увядающая. Правда, робкое лунное сияние ее первой

юности исчезло. Она много пережила, видела жизнь и смерть, ликование и отчаяние, старцев и детей, Иудею и мир. И этого доктора и господина Иосифа бен Маттафия видела она, когда от него исходило великое сияние и цветение. Целый народ воспринял это сияние, был через него вознесен и осчастливлен. До сих пор сотни тысяч считают его великим евреем и великим человеком, в Иудее перед ним склоняются; он священник первой череды, избранник божий и вместе с тем римский всадник, сотрапезник трех императоров, и его бюст стоит в почетном зале. И вот он бегает перед нею по комнате, такой жалкий, и выкрикивает свою муку, как затравленный зверь. Бог послал ему более тяжкие испытания, чем другим. Она не все понимает, что он говорит, но она понимает, что он очень несчастлив. Она всегда его любила, теперь она знает, что любила, даже когда ей казалось, что она ненавидит, и сейчас все ее тело наполняет сладостная, мучительная жалость. Пламенно желает она, чтобы ее доктор и господин Иосиф сиял, как прежде, вознесенный над другими, как был вознесен Саул над всеми другими в Израиле. Она чувствует вместе с ним, как благородно и прекрасно было бы послушаться римского императора, врага иудеев, преступника, пса. Но если она и не находит настоящих слов, она отлично знает, в чем дело, понимает, что богу угодно, чтобы он отказался от сияющего подвига и принял на себя ярмо унижения.

Этот мужчина, ее муж, продолжает говорить, и его голос, некогда полный такого очарования и убедительности, пуст и ржав.

— Что мне делать, Мара? — спрашивает он. — Если я покорюсь и поступлю разумно, то окажусь как бы предателем своего народа и сотни тысяч будут ненавидеть и презирать меня. Если я не покорюсь, я буду предателем истинного Израиля, предателем бога и самого себя. Дай мне совет, Мара.

Он замолчал, сел на пол, закрыл глаза, обессиленный. Мара сказала:

— Трудно, должно быть, лизать руку гордецам, целовать прах их ног, и я, Мара, не смогла бы этого. Было бы хорошо и сердцу моему радостно, если бы ты сказал «нет» и плюнул бы римскому императору его же насмешкой в лицо; ибо он сын человека, опозорившего меня и лежавшего со мной на своем ложе разврата. Но ты мудр, а я, Мара, не мудра, и когда ты говоришь: «Моя воля хочет этого, но мой разум запрещает», то тебе должно быть одинаково трудно и подчиниться и не подчиниться, ибо

твоя воля сильна, о господин, и твой разум очень велик. Я, Мара, жена твоя, слышала тебя, и я горда, что ты говорил со мной. Но я ничего не могу тебе сказать,— только то, что твое бремя гнетет мое сердце, как если бы это бремя было моим. Иди направо, возлюбленный господин мой, или иди налево: ты останешься господином моим и возлюбленным.

Иосиф слушал ее, и ему стало стыдно. Он высказал ей все, что угнетало его. Об одном лишь он умолчал: о том, что, подчиняясь, он боится лица только одного человека, своего сына Павла, и что, не подчиняясь, он боится лица только одного человека, своего друга Юста.

На следующее утро Иосиф встал очень рано. Он искупался, умастил свое тело и надушил его благовониями, парикмахер причесал ему бороду и волосы. Он тщательно оделся,— парадная одежда знати второго ранга с полосой пурпура, золотое кольцо, красный плащ. Так пошел он на Палатин, где должна была строиться процессия.

Церемониймейстер указал ему его место в процессии. Медленно стала она спускаться по Палатину и поднялась на маленькую возвышенность, ведущую к триумфальной арке. Повсюду были люди. Тесной толпой стояли они в подъездах, на крышах домов, висели, цепляясь с опасностью для жизни за колонны, за выступы. Иосиф был бледен, но держался непринужденно и с достоинством; короткая еврейская борода казалась странной при римской парадной одежде. Золотой письменный прибор, подаренный ему Титом, висел у пояса.

Он высоко держит голову, смотрит прямо перед собой. Видит целое море голов, новые волны при каждом шаге. Он не может различить ни одного лица, но ему кажется вновь и вновь, что он видит лицо своего сына Павла, его узкую, смугло-бледную голову на длинной шее, его страстные, горячие глаза, глаза Иосифа, теперь потемневшие от гнева из-за унижения, которому подвергает его отец, потемневшие от презрения. Все будут презирать Иосифа: сенаторы-республиканцы, Финей, Дорион и, может быть, несмотря на весь свой разум, даже Марулл. Но больше всех его будет презирать его сын Павел.

Процессия уже дошла до триумфальной арки. Леса сняты; гордая и белая, изгибается арка из паросского мрамора, не очень высокая, но благородной формы, украшенная барельефами из мастерской скульптора Василия. Василий, как всегда, охал и ругался по поводу недостойной и антихудожественной спешки, к которой его принуждал монарх; но все же его работа, как видно, удалась. Во всяком

случае, Рим вот уже несколько недель говорит о его барельефах, и Иосиф знает давно, что они изображают: триумфальное шествие Тита, трофеи Иудейской войны, храмовую утварь; может быть, этот насмешник Василий даже изобразил на барельефах голову Иосифа.

Медленно поднимается процессия на небольшой холм. Перед Иосифом мерцает арка. Она достаточно высока, чтобы под ней можно было пройти с поднятой головой, но Иосифу кажется, что она так же низка, как иго поражения и позора: два копья, воткнутые в землю, третье сверху, так низко, что нужно нагнуться до самой земли. Он должен нагнуться. Снова должен он праздновать поражение своих иудеев, склониться перед победителем, отречься от своего народа. И если даже его унижение поможет этому народу, кто это увидит? Но то, что он отрекается от него, видят все, все эти десятки тысяч кругом на крышах, и его сын тоже видит.

Иосиф шагает в процессии, шаг за шагом. Он шагает по твердым плитам красивой формы, отполированным, по ним легко идти, дорога не длинна; до арки осталось, вероятно, не больше пятидесяти шагов. Трудные это будут пятьдесят шагов. Но он их пройдет, он склонится. Таково его решение, он со всех сторон обдумывал его в течение истекших трех страшных дней,— такова его миссия, и он взял ее на себя. Теперь он осуществляет ее, он идет для того, чтобы унизиться и отречься от своего народа.

Приятная погода, не жаркая, но Иосиф весь в поту, он очень бледен, все его тело словно опустошено. Он думал, что самое трудное — это ожидание. Он ошибся. Сколько шагов еще осталось? Сорок пять. Нет, теперь сорок. Поднять ногу,— разве у него свинец в подошвах? И он поднимает ногу. Он сжимает челюсти, скрипит зубами. Этого нельзя, окружающие могут услышать.

Вдруг в его воображении возникает человек по имени Валаам, великий волшебник и пророк среди язычников, который хотел проклясть народ Израиля, но Ягве перевернул слова в устах его так, что он должен был благословить этот народ. «Я — Валаам наоборот,— думает он.— Я иду, желая сделать добро моему народу, а всем кажется, что я предаю его». Чтобы легче было идти, он цепляется за стихи, за древние строки, которые Писание вложило в уста Валаама, за их ритм.

«Как проклянута я (шаг). Не проклинает его бог (шаг). И как изреку зло (шаг). Не изрекает зла господь (шаг). Вот с вершины скал вижу народ (шаг). Он живет отдельно

(шаг) и между народами не числится (шаг). Кто исчислит песок Иакова (шаг) и множество Израиля (шаг). Как прекрасны шатры твои, Иаков (шаг), жилища твои, Израиль (шаг). Благословляющий тебя благословен (шаг). И проклинающий тебя проклят (шаг). Я вижу его (шаг), но он придет не сейчас (шаг). Я увидел его (шаг), но он далеко (шаг). Восходит звезда от Иакова».

Теперь осталось, самое большее, двадцать шагов.

И вдруг,— это, конечно, указание сверху,— вокруг него образуется пустота, и в тесной процессии он идет совсем один. Ноги, до самых бедер, мертвенно-тяжелы; сейчас, как бы сильно он ни хотел этого, он уже не сможет поднять ногу. Но он поднимает ее. Его лицо при этом остается совсем спокойным; правда, он стискивает зубы с такой силой, что на щеках выступают желваки. И он поднимает ногу еще раз и еще раз, перед ним пустое пространство, и пустое пространство позади него.

Однако нет. За ним на небольшом расстоянии, передразнивая каждое его движение, идет карлик императора, толстый, волосатый, злобный, нелепый Силен.

Иосиф знает, все эти тысячи людей смотрят теперь только на него, ждут с иасмешливым нетерпением, как он склонит шею под иго. Через мгновение поднимется пронзительный чудовищный свист и понесется по всему Риму. Точно ураган издевательства и смеха. «Как он согнулся! Как низко и по-рабски он согнулся! Какие пакостники и трусливые псы эти евреи! Какой трусливый пес этот еврей Иосиф!» И у ста тысяч евреев в Риме, а через две недели — у пяти миллионов евреев во всем мире исказятся лица, и все они будут проклинать его: «Как этот негодяй, Иосиф бен Маттафий, снова осквернил иудаизм и все еврейство! Какой негодяй и трусливый пес этот Иосиф бен Маттафий». И все, евреи и римляне, будут хихикать, издеваться, проклинать: «Хо, Иосиф, этот пес, хо, Иосиф, этот негодяй!»

Перед ним латинские буквы надписи на арке, скромная надпись вместо прежней, роскошной: «Сенат и народ римский — богу Титу, сыну бога Веспасиана». Он читает латинские слова, но одновременно возникает мысль по-арамейски: «Если бы можно было теперь остановиться, повернуть обратно. Как счастливы были те, кто некогда поднял оружие против Рима и убил Цестия Галла и его легион. Безумны были они и счастливы. Блаженны нищие духом, блаженны неразумные. Как счастлив был я сам, когда скакал по Галилее во главе повстанцев на своем коне Стрела.

О моя сила, о моя радость, о моя молодость, и ведь я еще не стар».

Теперь его отделяет от арки только несколько шагов. Он уже видит на внутренних стенах ненавистные изваяния, оба прославленные барельефа, с одной стороны — взятая из храма утварь, очень высоко, с другой — Тит на триумфальной колеснице. Уже за аркой открывается Капитолийский храм на другом конце Священной дороги, вновь воздвигнутый в честь Юпитера на деньги побежденных евреев; Рим торжествует победу над Иудеей.

В это мгновение он замечает на трибуне, перед узким зданием «Новой монеты», лицо своего сына Павла. Оно тут же исчезает в потоке других лиц, но Иосиф видел его вполне отчетливо, смугло-белое, узкое, почти прозрачное и при этом искаженное ненавистью и презрением. Он видел и то, что рот Павла, против обыкновения, широко открыт. Да, так и есть, его сын Павел кричит вместе с остальными. Нет, не то, что остальные. Они ликуют: «О ты, всеблагой, величайший император и бог Тит!» Его же сын Павел, — Иосиф знает это наверное, — кричит: «Мой отец негодяй, мой отец пес!» И его лицо искажено и ужасно.

Иосиф стоит перед аркой. На мгновение крики кругом стихают; и процессия, и тысячи зрителей застыли в ожидании. Иосифа охватывает непреодолимое желание остановиться, повернуть обратно, ударить письменным прибором по отвратительной роже карлика: «Бог потребовал, — говорит в нем что-то в это бесконечно долгое мгновение, — чтобы Авраам принес в жертву своего сына. Принести своего сына в жертву можно. Но совершать такие поступки, чтобы лицо собственного сына исказилось, как исказилось лицо Павла, — это превосходит человеческие силы, этого нельзя требовать ни от одного отца».

«Нет, — говорит что-то в нем, — я этого не могу. Все мое тело горит, передо мной огонь, и за мною вода, и я больше не пойду вперед, я сейчас поверну обратно».

Вздор, откуда я знаю, что Павел кричал? Он кричал потому, что кричали все остальные, и каждое лицо исказится от крика. Я внушаю это себе, потому что ищу оправдания, потому что мне хочется повернуть обратно. Замечательно было бы повернуть обратно. Исцелением и прохладой было бы это; сладостно и почетно было бы это».

«Преступным неразумием было бы это, — резко отвечает он себе. — Нелегко быть разумным, и за это не получаешь награды. Но разум — первородный сын божий, и я привержен ему».

И вот гражданин вселенной, Иосиф бен Маттафий, прозванный Иосифом Флавием, зная, что он навсегда растоптал уважение римлян и евреев и навсегда растоптал любовь своего сына Павла, взял свое сердце обеими руками, собрал всю свою волю и сделал последний шаг. Низко, как того требовал обычай, склонил он покрытую голову, поднес руку к бородатому еврейскому рту, послал изображению обожествленного Тита воздушный поцелуй и прошел под сводами арки,— над ним и по обе стороны его были видны торжествующая богиня Рима, триумфальная колесница императора, опозоренные пленные евреи.

А за ним шел карлик Силен и передразнивал каждое его движение.

Здесь кончается второй из трех романов об историке Иосифе Флавии.

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Роман

Перевод

В. СТАНЕВИЧ и С. МАРКИША

DER TAG WIRD KOMMEN

Roman

1942/1945



Книга первая

ДОМИЦИАН

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Нет, то, что Иосиф здесь написал, едва ли можно будет оставить. Снова перечитывает он строки, в которых повествует о Сауле, царе древней Иудеи, о том, как Саул, хотя его и предупреждали, что он умрет и погубит всех своих сторонников, все же решительно пошел в бой. «Саул это сделал,— писал Иосиф,— и тем показал, что стремящийся к вечной славе так и должен действовать». Но им так действовать нельзя. И именно сейчас ему этого писать не следует. Ведь его соотечественники, в первые же десятилетия после гибели их государства и разрушения храма, и без того склонны затеять новую нелепую военную авантюру. Тайный союз «Ревнителй грядущего дня» приобретает все больше единомышленников и все большее влияние. Иосиф не имеет права своей книгой еще подстегивать их тщетную храбрость. И, как ни влечет его мрачное мужество царя Саула, он обязан подчиняться голосу разума, а не чувств и не имеет права выставлять этого царя в глазах своих евреев героем, достойным подражания.

Иосиф Флавий, римский всадник, великий писатель, чей бюст установлен в библиотеке храма Мира, вернее — доктор Иосиф бен Маттафий, иерусалимский священник первой череды, отшвыривает стиль, бегаёт по кабинету и наконец забивается в угол. И вот он сидит в полумраке, масляная лампа освещает только письменный стол, несколько книг на нем и свитков да золотой письменный прибор, некогда подаренный ему покойным императором Титом. Вздрагивая от озноба, ибо огонь любого очага бессилен перед сырым холодом первых декабрьских ночей, смотрит Иосиф отсутствующим взглядом на матовый блеск прибора.

Как странно, что именно он написал эти пламенные строки о бессмысленной храбрости Саула. Или и у самого Иосифа сердце опять не выдержало? Или оно, это пятидесятилетнее сердце, все еще никак не хочет уgomониться и ограничить себя той полной глубокого покоя созерцательностью, которая одна должна звучать в его будущей великой книге?

Как писатель он теперь все реже теряет власть над своим пером или своим стилем. Он все-таки добился того бесстрастия, без которого невозможно создать его великий труд, его «Всеобщую историю иудейского народа». Он отрекся от суеты, он уже не тоскует о былой бурной жизни. Сам он некогда пылко ринулся в великую войну своего народа, участвовал в ней и на стороне евреев, и на стороне римлян, в роли политика и в роли солдата. Глубже, чем почти все его современники, понимал он особенности этой войны. Пережил великие события, находясь среди приближенных первого и второго императоров из династии Флавиев, был лицом действующим и лицом страдающим, римлянином, евреем, гражданином вселенной. В конце концов он написал классическую историю этой Иудейской войны. Его прославляли, как очень немногих, поносили и унижали, тоже как очень немногих. Теперь он устал и от успехов и от поражений, пылкая деятельность кажется ему пустой, он понял, что его задача и его сила — в созерцании. Он предназначен богом и людьми не для того чтобы творить историю, а чтобы внести ясность в историю его народа и сберечь ее, исследовать ее смысл, показать ее деятелей — как пример и предостережение. Вот для чего он предназначен, и он доволен.

Доволен ли? Возвышенные и безрассудные слова о царе Сауле доказывают, что нет. Ему почти пятьдесят, но желанного бесстрастия он все еще не обрел.

А ведь чего он не делал, стараясь достичь его! Никаким стремлениям к внешнему успеху не давал отвлечь себя от своего труда. Никакие сведения о нем самом за эти четыре года не проникали в публику. Веспасиан и Тит относились к нему дружелюбно, но теперь он пальцем не пошевелинул, чтобы приблизиться к императору, к недоверчивому Домициану. Нет, в Иосифе последних лет, ведущем тихую, уединенную жизнь, ничего не осталось от прежнего Иосифа, пылкого, деятельного.

Написанные им строки об угрюмой отваге царя Саула захватывают, и «Ревнители грядущего дня» прочли бы их

с восторгом. Но увы, именно этого им делать нельзя. Им следует растить в себе не восторженность, а благоразумие, лукавос долготерпение. Они должны покориться и во второй раз уже не поднимать столь безрассудно оружие против Рима.

Почему именно сегодня из-под его пера вылились эти возвышенные и проклятые строки о царе Сауле? Иосиф знал почему, еще когда писал их; не хотел знать, но сейчас уже не может скрывать свое знание от самого себя. И все потому, что вчера он встретил Павла, своего шестнадцатилетнего сына от разведенной жены. Иосиф не пожелал заметить этой встречи, не захотел себе признаться, что молодой человек, проехавший мимо него верхом, — это его Павел. Он приказал себе не оборачиваться, не смотреть мальчику вслед, но сердце его дрогнуло, и он понял: это Павел.

С уст сидящего в полумраке человека срывается тихий стон. Как он в свое время боролся за своего сына Павла, полуеврея, сына гречанки, какое тяжелое бремя вины взял на свои плечи ради него. А мальчик уничтожил в себе все, что Иосиф с такой благоговейной настойчивостью старался вложить в него, и теперь сын испытывает к нему, отцу-еврею, только презрение. Иосиф вспоминает о том страшном часе, когда ему пришлось пройти под игом победителей, под аркою Тита, он вспоминает, как перед ним тогда, на какую-то долю секунды, мелькнуло лицо его сына Павла. Среди многих тысяч злобно-насмешливых лиц, замеченных им в тот мрачный час, оно навсегда запомнилось ему, словно врезалось в сердце, — смугло-бледное, худощавое, враждебное лицо его сына. И только воспоминание об этом лице, только потребность защитить себя от этого лица водила его пером, когда он писал те строки о еврейском царе Сауле.

Ведь как легко, увы, пойти в бой, даже на верную гибель, как это легко в сравнении с тем, что тогда взял на себя Иосиф. Разве не сгораешь со стыда, не разрывается сердце, если приходится выказывать восхищение перед дерзким победителем только потому, что подобное самоуничтожение — единственная услуга, какую ты еще в силах оказать своему народу?

Позднее, через сто, через тысячу лет, это поймут. Однако нынче, 9 кислева, в 3847 году от сотворения мира, для него слабое утешение, что когда-нибудь какие-то далекие потомки будут восхищаться им. Его слух не улавливает отзвука будущей славы, в его душе живо только воспо-

минание о вопле сотен тысяч глоток: «Негодяй, предатель, пес!» — и надо всем беззвучный и все же заглушающий их голос его сына Павла: «Мой отец, этот негодяй, мой отец, этот пес».

Именно потому, что Иосиф хотел защититься от этого голоса, он и написал о мрачной отваге Саула. Писать эти строки было сладостно и возвышало душу. И было сладостно, и возвышало душу бездумно отдаваться увлекающему тебя мужеству. Но адски трудно и тягостно оставаться глухим, противиться искушению, ничего не слышать, кроме спокойного, вовсе не увлекающего голоса разума.

Вот он сидит, еще не старый человек, в сумеречной комнате, где свет от масляной лампы озаряет только письменный стол, и этого человека переполняют несвершенные деяния, которых он жаждет. А столь превозносимые им спокойствие и тишина здесь, среди шумного, блистательного Рима, буквально не вмещающего такого обилия деяний, это спокойствие и эта тишина — искусственные, судорожные, они — обман. Все в нем изболелось и истомилось от жадного честолюбия и потребности действовать. Вызвать подъем, страсть к действию — это уже немало. Так рассказать историю царя Саула, чтобы молодежь всего народа восторженно приветствовала Иосифа и вдохновенно пошла бы на смерть, как тогда, когда он, еще молодой и неразумный, захватил ее своей книгой о Маккавеях, — это немало. Так написать историю Саула и Давида, и царей, и князей Маккавейских, чья кровь течет и в его жилах, так написать ее, чтобы его сын Павел почувствовал: мой отец мужчина и герой, — это уже немало. А одобрение собственного разума, восхищение потомков, грядущих поколений — все это пустой звук.

Он не смеет допускать этих мыслей. Он должен отогнать видения, которые подстерегают его здесь, в темноте. Иосиф хлопает в ладоши, вызывая слугу, приказывает: «Огня! Огня!» Пусть зажгут все лампы и свечи. С облегчением чувствует, как в освещенной комнате он снова становится самим собой. Теперь он может следовать голосу разума, своего истинного водителя.

Иосиф снова садится за письменный стол, заставляет себя сосредоточиться. «Чтобы не показалось, будто я намеренно восхваляю царя Саула больше, чем подобает, я продолжаю рассказ о его деяниях». И он продолжал, рассказывал точно, деловито, сдержанно.

Он проработал около часа, когда слуга доложил ему, что пришел какой-то незнакомец и настаивает, чтобы его впустили, — некий доктор Юст из Тивериады.

За последние годы Иосиф редко виделся со своим главным литературным противником и ни разу не оставался с ним с глазу на глаз. То, что Юст явился к нему в столь неурочный час, не предвещало ничего хорошего.

Когда Юст вошел в комнату, внося с собой сырость и холод ночи, оказалось, что его лицо стало еще более суровым, сухим и морщинистым, чем оно жило в памяти Иосифа. Старообразная, поблекшая голова словно едва держалась на невероятно тощей шее. Хотя Иосиф с глубоким волнением ждал, что ему скажет Юст, он машинально бросил взгляд на обрубок его левой руки, которую пришлось отнять еще в те времена, когда Иосиф снял его с креста. Тем самым он как бы снял с креста сурового критика, прогнавшего беспощадно зорким взглядом в каждый подгнивший закоулок его души, человека, которого Иосиф всегда боялся, но без которого не мог бы обойтись.

— Что вам угодно, мой Юст? — спросил он сразу после первых же приветствий.

— Мне хотелось бы дать вам очень важный совет, — ответил Юст. — Будьте в ближайшие недели внимательнее к тому, что вы говорите и кому говорите. Постарайтесь также припомнить, не наговорили ли вы за последнее время чего-нибудь такого, что люди неблагоприятные могут истолковать не в вашу пользу; и подумайте, как бы обезвредить подобные толки. Среди приближенных императора у вас есть недоброжелатели, а вы, говорят, иногда принимаете у себя людей сомнительной благонадежности.

— Разве нельзя видаться с людьми, — возразил Иосиф, — если они имеют римское гражданство и никогда не были на подозрении у начальства?

— Нет, почему же, можно, — отозвался Юст, скривив тонкие губы, — но в мирные времена. А сейчас нужно получше смотреть, с кем говоришь, и думать не только о том, обвиняли его когда-нибудь или нет, но и о том, не обвинят ли впредь.

— Вы считаете, что мир на Востоке... — Иосиф не договорил.

— Я полагаю, что миру на Востоке еще раз наступил конец, — отозвался Юст. — Даки перешли Дунай и вторглись в пределы империи. Весть эта идет с Палатина.

Иосиф встал. Ему стоило большого труда скрыть от гостя, как сильно взволновала его эта вестъ. Новая война, угрожавшая Риму, могла иметь для него и для Иудеи непредвиденные последствия. Если восточные легионы будут втянуты в борьбу, если допустить возможность вторжения парфян, — разве тогда и «Ревнители грядущего дня» не нанесут удара? Не рискнут поднять восстание, заведомо обреченное на провал?

А он всего какой-нибудь час назад прославлял царя Саула, человека, который, предвидя верную гибель, все-таки пошел в бой? Он, Иосиф, в свои пятьдесят лет еще больший глупец и преступник, чем был в тридцать.

— Ну что мы можем сделать, мой Юст? — сказал он, уже не скрывая глубокой тревоги, хриплым от волнения голосом.

— Слушайте, Иосиф, вы это знаете лучше меня, — ответил Юст и насмешливо продолжал: — «Семидесяти семи принадлежит ухо мира, и я один из них». Ваш голос должен быть услышан. Вы должны составить манифест и в нем совершенно ясно предостеречь от всяких необдуманных шагов. И чем проще, тем лучше. Это-то вы можете. Вы знаете, как надо говорить с простым человеком, вы умеете произносить звонкие и дешевые фразы.

Его резкий голос звучал особенно неприятно, тонкие губы кривились. Потом Иосиф опять услышал то язвительное хихиканье, которое так его раздражало.

Все же он не отступил перед иронией Юста.

— По-вашему, можно словами укротить столь сильное чувство? — спросил он. — Да мне самому хотелось бы в Иудею, — невольно вырвалось у него, — хотелось бы участвовать в этом восстании, чем бы оно ни кончилось, быть убитым в этом восстании.

— Охотно верю, — насмешливо отозвался Юст, — ведь это на вас похоже. Когда тебя бьет сильнейший, ты просто отвечаешь на удары, пока его не разозлишь и он тебя не убьет. Но если у «Ревнителей» есть хоть какое-то оправдание — у вас нет никакого. Вы недостаточно глупы. — И так как Иосиф смотрел перед собой неподвижным, беспомощным, угрюмым взглядом, Юст добавил: — Напишите манифест! Вам многое надо искупить.

Когда Юст ушел, Иосиф сел за стол, чтобы выполнить его совет. Нужно куда больше мужества, писал он, чтобы побороть себя и отказаться от восстания, чем поднять его. Пусть даже начнется война на Востоке — для нас, иудеев, пока важно одно: строить и дальше государство закона

и обычаев и посвятить все наши силы лишь этой задаче. Мы должны положиться на бога и избрать своим вожатым разум, а они позаботятся о том, чтобы этому государству закона и обычаев — этому Иерусалиму в духе — стало возможным обрести зримые формы и фундамент, воплотиться в Иерусалим из камня. Но день еще не настал. Начатые же не вовремя военные действия могут лишь отодвинуть этот день, которому мы все спешим навстречу.

Он писал. Он старался проникнуться восхищением перед разумом, старался до тех пор, пока вода разума не обрела вкус вина, а истины, которые он возвещал, не стали казаться не только заботами рассудка, но и заботами сердца. Дважды приходил слуга менять свечи и подливать масла в лампы, прежде чем Иосиф остался доволен черновым наброском.

На следующий вечер у Иосифа собралось четверо гостей: фабрикант мебели Гай Барцаарон, председатель Агрипповой общины, представитель римского еврейства — уравновешенный, благоразумный человек, чье имя пользовалось доброй славой и в Иудее. Затем Иоанн Гисхальский, некогда один из вождей Иудейской войны, человек хитрый и отважный. Теперь он обосновался в Риме, торговал земельными участками, вел дела по всей империи; но в Иудее еще и сейчас «Ревнители дня» живо помнили его деятельность во время войны. Третьим был Юст из Тивериады. И, наконец, Клавдий Регин, министр финансов, рожденный матерью-еврейкой, никогда не скрывавший своего сочувствия евреям, издатель Иосифа, не раз выручавший его в трудные минуты.

При теперешнем одержимом подозрительностью императоре Домициане люди вынуждены были придавать своим встречам самый безобидный характер, иначе их тут же обвинили бы в заговоре, ибо у министра полиции Норбана соглядатаи были почти в каждом доме. Поэтому за ужином велись самые случайные разговоры о событиях дня. Конечно, говорили о войне.

— В сущности, — заметил Иоанн Гисхальский, и на его смуглом благожелательном лице появилась довольная, немного двусмысленная ухмылка, — в сущности, для Флавиев наш император недостаточно воинствен.

Клавдий Регин повернулся к нему, он небрежно возлежал за столом, глаза с опухшими веками под выпуклым лбом смотрели сонно и насмешливо. Он знал, что без него

императору не обойтись, и мог поэтому время от времени позволить себе раздраженно-шутливую откровенность. Он и сегодня не пожелал считаться с присутствием слуг, подававших кушанья.

— Да,— ответил он Иоанну Гисхальскому,— воинственности у нашего DDD нет.— «DDD» называли императора по трем начальным буквам его имени и титула: Dominus ac Deus Domitianus — владыка и бог Домициан.— Но, к сожалению, он считает, что триумфальное одеяние Юпитера ему весьма к лицу, а такой костюм дороговат. Дешевле чем за двенадцать миллионов я не могу устроить триумф, и это, разумеется, не считая расходов на войну.

Наконец ужин был окончен, теперь Иосиф мог отпустить слуг и поговорить о деле. Первым высказался Гай Барцаарон. Едва ли, пояснил этот жизнерадостный господин с хитрыми глазами, им, римским евреям, предстоящая война угрожает непосредственно. Но, разумеется, в такое трудное время надо сидеть смирно и ничем не привлекать к себе внимания. Он уже отдал распоряжение, чтобы в его Агрипповой общине служили особые молебствия о здравии императора и о даровании победы его орлам, и, разумеется, остальные синагоги последуют этому примеру.

Его речь показалась всем туманной и никого не удовлетворила. Барцаарон мог бы выступить так в союзе мебельщиков, где был председателем, или в крайнем случае перед членами совета общины; но когда он говорил здесь, перед ними, не было никакого смысла закрывать глаза на опасность.

Поэтому Иоанн Гисхальский покачал крупной смуглой головой. К сожалению, возразил он с добродушной иронией, не все еврейство так послушно и благоразумно, как дисциплинированные члены Агрипповой общины. Существуют, например, далеко не безызвестные уважаемому Гаю Барцаарону «Ревнителю грядущего дня».

А эти «Ревнителю», поддержал его в своей обычной сухой манере Юст, могли бы, увы, сослаться на многое, сказанное верховным богословом Гамалиилом, главой университета и коллегии в Ямнии, признанным вождем всего еврейства. При всей своей умеренности, продолжал Юст, Гамалиил, чтобы «Ревнителю» не выбили у него оружие из рук, вынужден неустанно поддерживать надежду на скорое воссоздание Иудейского государства и храма и порой даже прибегать к весьма сильным выражениям.

— Сейчас фанатики вспомнят об этом. И верховному богослову будет нелегко,— заключил он.

— Не надо обольщаться, господа,— как бы подытожил все сказанное с присущей ему бесцеремонностью Иоанн Гисхальский.— Конечно, «Ревнители» нанесут удар, можно не сомневаться.

В сущности, присутствующие ничего нового для себя не узнали; однако, услышав трезвые слова Иоанна, они слегка вздрогнули. Иосиф окинул внимательным взглядом этого самого Иоанна, его не крупное, но кряжистое и сильное тело, смуглое добродушное лицо с короткой бородкой клином, приплюснутый нос, серые хитрые глаза. Да, Иоанн настоящий галилейский крестьянин, он знает свою Иудею изнутри, среди зачинщиков и вождей Иудейской войны он был самым популярным, и, как ни чужд Иосифу весь его образ действий, он не может отрицать, что у этого человека любовь к отчизне рождается из недр его существа.

— Нам здесь, в Риме,— пояснил Иоанн Гисхальский ту решительность, с какой он высказался,— даже трудно себе представить, как война на Востоке должна взбудоражить население Иудеи. Мы здесь, так сказать, на собственной шкуре чувствуем силу Римской империи, эта сила везде вокруг нас, ощущение этой силы вошло в нашу плоть и кровь и парализует всякую мысль о сопротивлении. Но если бы я,— продолжал он размышлять вслух, и на лице его появилось выражение задумчивости, сосредоточенности и какой-то тоскливой жажды,— если бы я сидел не здесь, в Риме, а в Иудее и там услышал бы о какой-то военной неудаче римлян, я бы за себя не поручился. Я, конечно, знаю с математической точностью, что такая неудача ничего бы не изменила в конечном исходе войны: я ведь на своей шкуре узнал, к чему приводит подобное восстание. Да и годы не те. А все-таки и меня тянет нанести удар. Говорю вам: «Ревнители» не утерпят.

Слова Иоанна затронули других за живое.

— А что мы можем сделать, чтобы отрезвить их? — наконец прервал молчание Юст. Он говорил с холодной, почти недопустимой резкостью; но серьезность его побуждений и неподкупность оценок придавали вес его словам, а то, что он участвовал в Иудейской войне и ради Иерусалима висел на кресте, доказывало, что не трусость заставляет его столь презрительно отвергнуть новое военное выступление.

— Пожалуй, можно было бы,— осторожно предложил Гай Барцаарон,— поговорить с императором об отмене подушной подати. Ему надо бы объяснить, что в столь тревожное время следует щадить чувства еврейского на-

селения. Может быть, тут за нас замолвит словечко наш Клавдий Регин.

Дело в том, что из всех антиеврейских мер особенное недовольство вызывала именно подушная подать: не только то, что двойную драхму, которую некогда каждый еврей вносил в пользу Иерусалимского храма, римляне теперь отбирали на храм Юпитера Капитолийского, воспринималось как издевательство и напоминание о поражении, — оскорбительным было и само составление списков облагаемых евреев, и опубликование этих списков, и взимание налога, которое всегда сопровождалось грубостями и унижениями.

— В наше время, господа, — ответил, помолчав, Клавдий Регин, — чтобы выказать вам свое сочувствие, требуется известное мужество. Однако я, может быть, все же набрался бы смелости и похлопотал бы у императора о деле, что предложил сейчас наш Гай Барцаарон. Но не думаете ли вы, что DDD, если он решится отказаться от двойной драхмы, потребует за это какое-нибудь чудовищное возмещение? В лучшем случае такое возмещение оказалось бы налогом, менее оскорбительным для ваших чувств, но тем более чувствительным для вашего кошелька. Я не знаю, Гай Барцаарон, что вы предпочтете: вашу мебельную фабрику или освобождение евреев от налога? Что до меня, то я предпочел бы стерпеть некоторые обиды, но сберечь свои деньги. У богатого еврея, даже если он обижен, остается известная доля власти и влияния, а бедный еврей, если его и не обижают, — все-таки ничто.

И банальные назидания Клавдия Регина, и невыполнимые проекты Гая Барцаарона Юст словно отстранил легким движением руки.

— Мы можем сделать безнадежно мало, — сказал он. — Мы можем только произносить слова, и больше ничего. Это весьма убого, я знаю. Но если слова рассчитаны очень умно, они все-таки окажут некоторое действие. Я рекомендовал доктору Иосифу написать манифест.

Все посмотрели на Иосифа. Иосиф молчал, он не пошевелился: он ощутил таившуюся в речах Юста язвительную иронию.

— И вы составили такое послание? — наконец спросил Иоанн, обращаясь к Иосифу.

Иосиф извлек рукопись из своего рукава и стал читать.

— Что ж, манифест впечатляющий, — сказал Юст, когда Иосиф кончил, и, кроме Иосифа, никто не расслышал насмешки в замечании Юста.

— На «Ревнителей» оно впечатления не произведет,—сказал Иоанн.

— Да, их ничто не удержит,—согласился Юст,— а единомышленники верховного богослова в увещаниях не нуждаются. Но есть люди, стоящие между этими двумя лагерями, есть колеблющиеся, и те, может быть, поддадутся нашему влиянию, так как мы живем здесь, в Риме, и лучше способны оценить положение. Некоторое действие этот манифест все же произведет,—настойчиво заключил он. Юст говорил с каким-то раздражением, словно старался убедить не только других, но и самого себя. Затем точно увял и уныло добавил: — И потом, что-то мы должны сделать, хотя бы ради нас самих. Разве вы не изведетесь, если будете сидеть в сторонке и смотреть, как другие спешат навстречу своей гибели?

Юсту вспомнилось, как он тогда, перед войной и в самом ее начале, тщетно предостерегал своих соотечественников. И в этот раз предостережения будут тщетны, он знал заранее. И если пройдет еще двадцать лет, и повторится то же самое, и он опять решится предостерегать, это будет только гласом вопиющего в пустыне, он был в этом глубоко убежден.

— Я считаю,— настаивал он,— что нам следует поставить свои подписи под этим обращением и подумать, кому еще предложить его для подписи.

Скорбная горячность этого обычно столь сдержанного человека захватила и других. Правда, мебельщик Гай Барцаарон смущенно промямлил:

— Мне кажется, дело не в количестве подписей, а в том, чтобы подписи были авторитетными для молодежи в Иудее. Какой, например, толк, если под манифестом будет стоять подпись старого мебельщика?

— Может быть, толк и небольшой,—отозвался Юст, и досада едва сквозила в его тоне.— Но для того, чтобы остальным подписавшимся ничто не угрожало, на документе должны быть подписи лиц, стоящих вне подозрений.

— Это верно,—согласился Клавдий Регин и совсем загнал в тупик испуганного Барцаарона.— Людям нашего министра полиции Норбана везде мерещатся подвохи, и если к ним в руки попадет манифест, они заявят, что подписавшие знали о какой-то подозрительной возне в Иудее; чем меньше сомнений будут вызывать подписи под манифестом, тем меньше будет опасность для каждого в отдельности.

— Перестаньте упираться, Барцаарон,— заметил Иоанн Гисхальский и погладил бородку.— Подписать вам все-таки придется.

Затем стали обсуждать, как доставить воззвание в Иудею. Сейчас, зимой, с нею не было регулярного сообщения по морю; существовали и другие опасности. Документ можно было доверить только очень надежному человеку.

— Право, не знаю,— возразил снова Гай Барцаарон,— стоит ли выгода, которую мы в лучшем случае получим от этого послания, того огромного риска, которому мы подвергнем себя и свою общину. Кто бы сейчас, зимою, когда так трудно путешествовать, ни поехал в Иудею, он должен будет привести важные причины, иначе чиновники непременно в чем-нибудь заподозрят его.

— Вы всё об одном, мой Гай Барцаарон,— не отставал от него хитрец Иоанн Гисхальский.— А я вот знаю человека, у которого есть весьма важные причины, чтобы ехать сейчас в Иудею, причины эти будут понятны и римским чиновникам. Война, безусловно, вызовет в Иудее падение цен на землю. Значит, неплохо, что среди нас есть торговец землей, а именно я. У моей фирмы там большие участки. И она, уверенная в быстрой победе легионов, пожелает воспользоваться конъюнктурой и округлить свои владения. Разве это не основательная причина? Я пошлю в Иудею своего агента Гориона, он толковый малый. Доверьте мне послание. Оно будет в надежных руках.

Присутствующие начали подписываться. В конце концов и Гай Барцаарон неуверенно поставил свою подпись под Иосифовым манифестом.

А через три дня они с удивлением узнали, что не Горион отбыл в Иудею, а сам Иоанн Гисхальский.

Иосиф поднялся по лестнице в комнаты, в которых жила Мара с детьми. Лестница была тесная, неудобная, весь его дом был тесный, неудобный, полный закоулков. Еще тогда, когда Домициан выселил его из красивого здания, предоставленного ему для жилья прежним императором, все дивились, почему столь уважаемый писатель выбрал себе такой невзрачный, старомодный домишко в отнюдь не аристократическом квартале Общественных купален. С тех пор как Мара с маленькой Иалтой приехала к нему и родила ему двух сыновей, дом действительно стал тесен; однако Иосиф, упорствовавший в какой-то непо-

мерной скромности, ограничился тем, что надстроил один этаж. Так и стоял этот дом, тесный, узкий, ветхий, перед ним — несколько лавчонок, где торговали всякой вонючей дрянью, — жилище, отнюдь не подобающее человеку его ранга и с его именем.

Мара, при всей своей скромности, с самого начала чувствовала себя в этом доме неуютно. Ей хотелось видеть над собой широкое небо; уже одно то, что приходилось жить в большом городе, между каменных стен, было противно ее природе. А здесь, в душной каменной коробке, в низкой комнате под закопченным потолком, ей становилось особенно тоскливо. Будь ее воля — они давно вернулись бы в Иудею, в одно из поместий Иосифа.

Сегодня был пятый день, как пришло известие о вторжении даков. Теперь Иосиф много бывал с Марой, они часто садились вместе за стол, он подолгу с ней беседовал. Но о предстоящей войне на границе речь не заходила. Вероятно, Мара даже не подозревала, какое неожиданное влияние могли оказать на Иудею события на Дунае. Однако она, зная характер Иосифа до мельчайших черточек, не могла не чувствовать, что его гложет тайная тревога, скрываемая под маской невозмутимости.

Когда он теперь поднялся к ней, то сам удивился, ради чего так долго старался скрывать от нее эту тревогу. Ведь она — единственный человек, перед которым он может без стыда предстать в истинном своем виде. Когда другая женщина потребовала от него отослать Мару, Мара покорилась. Когда он ее опять позвал, она к нему вернулась. Если Мара нужна ему, она всегда тут, если мешает ему, она умеет стать незаметной. Ей он все может открыть — свои сомнения, свою гордыню, свою слабость.

Иосиф откинул занавес и вошел к ней. Низенькая комнатка была битком набита всевозможными вещами, даже с потолка, как принято в провинциальных городках Иудеи, свисали корзины с провизией и бельем. Мару окружали дети — девочка Иалта и оба мальчугана — Маттафий и Даниил.

Иосиф охотно предоставил воспитание дочери и сыновей Маре, он не умел обращаться с детьми. Но и сегодня, как обычно, он смотрел, растроганный и удивленный, на Маттафия, на своего третьего сына, — в сущности, старшего, ибо Симон был мертв, а Павел — для отца больше чем мертв. С этим сыном, Маттафием, Иосиф связывал новые надежды и желанья. В мальчике отчетливо были видны черты отца, отчетливо и черты матери, но их сочетание дало

нечто совершенно новое, многообещающее, и Иосиф надеялся, что в этом сыне Маттафии он завершит себя, сын достигнет того, чего сам Иосиф не смог достичь: он будет иудеем и вместе — греком, гражданином вселенной.

И вот Мара сидела перед ним. С помощью рабыни она шила какую-то одежду и что-то рассказывала детям. Иосиф сделал ей знак, чтобы она не прерывала своего рассказа. Она продолжала болтать, и Иосиф понял, что это — благочестивая, но глуповатая сказка. Мара говорила о реке, чью речь понимают только те, в ком живет страх божий; и река дает им советы, что они должны делать и чего не должны. Река эта — красивая, и течет она по красивой земле, по ее родной земле Израиля, и настанет время, когда она туда с детьми поедет, и если дети будут вести себя хорошо, река заговорит с ними тоже и будет давать им советы.

Пока Мара рассказывала, Иосиф рассматривал ее. В свои тридцать два года она несколько расплнела и слегка увяла. От лунного сияния ее первой молодости не осталось и следа, и сейчас ей уже не грозит опасность, что какой-нибудь римлянин дерзко потребует, чтобы она пришла к нему на ложе, как некогда потребовал старик Веспасиан. Но для Иосифа она была все такой же, овал ее лица по-прежнему казался ему нежным и ясным, низкий лоб — блистательным.

Когда он вошел, Мара просияла. Все последние дни его что-то угнетало, она чуяла это и ждала, чтобы он открыл ей причину. Обычно он говорил с ней по-гречески, но когда чувствовал ее особенно близкой и дело было важное, он говорил по-арамейски, на языке их родины. Отослав детей, Мара с волнением ждала, на каком языке он сейчас обратится к ней.

Оказывается — по-арамейски. Он выглядит уже не так, как раньше. Лицо покрылось морщинами, борода не подвита тщательно и не уложена, — словом, это пятидесятилетний мужчина, видно, что он немало пережил. И ей он немало принес страданий, забыть этого окончательно она так и не смогла. Но, несмотря на все, от него и теперь исходит то же сияние, как в былые годы, и ее сердце переполнено гордостью оттого, что он говорит с ней.

А он говорит о встрече с Юстом и остальными, о своей тревоге, как бы не вспыхнуло восстание. Он раскрывается перед ней весь, и только во время этого разговора ему становится вполне ясно, сколь многое подняла со дна души новая опасность, угрожающая Иудее. Позади была бурная жизнь, вершины и пропасти, он надеялся, что наконец

обрел покой, наконец сможет погрузиться в свои книги, что начинается тихий вечер его жизни. А вместо этого накатывают валы новых горестей и испытаний. Восстание в Иудее, хоть оно и бессмысленно, все-таки вспыхнет, Иосиф будет против него бороться, и ему опять придется принять позор и поношение, так как он подавит свои чувства во имя разума.

Эту песню Мара уже слышала от него и раньше. Но если раньше она целиком оправдывала его, ибо он был мудр, а она не мудра, то сейчас ее сердце восставало против него. Если он испытывает те же чувства, что и другие, — то почему же поступает иначе? И не лучше ли было бы для всех них, если бы он был менее мудр? Разумеется, он очень великий человек, доктор и господин Иосиф, ее муж, и она гордится им, но порой, вот и теперь опять, ей кажется, что стало намного бы лучше, не будь он так велик.

— Твое бремя гнетет меня, как мое собственное, — сказала она, ее спина как-то бессильно сгорбилась, и Мара добавила: — Земля Израиля, бедная моя земля Израиля.

«Земля Израиля», — произнесла она по-арамейски. Иосиф понял ее и позавидовал ей. Несмотря на свое всемирное гражданство, он расколот надвое. Она же цельна и едина. Она срослась с почвой Иудеи, она — часть Иудеи, ее место — под небом Иудеи, среди живущего там народа, и Иосиф почувствовал, что если она, пусть и кротко, по своему обыкновению, но не раз звала его вернуться туда, то она была права, и он не прав, отказывая ей в этом.

Он вспомнил многочисленные искусные аргументы, построенные им, чтобы оправдать свой отказ. В Иудее, заявил он, слишком большая близость событий будет затуманивать его зоркость, страсти других увлекут его, он не сможет там работать над своим исследованием с той объективностью, в которой заключен основной залог успеха. И все-таки оба понимали, что это только отговорка. И все причины, якобы удерживающие его в Риме, тоже отговорки. В Иудее он, может быть, написал бы свою книгу лучше, чем здесь, она стала бы, в хорошем смысле слова, более иудейской. Может быть, Мара и в том права, что для детей было бы лучше расти в поместье, на вольном воздухе, а не в тесных улицах города Рима. Последнее, впрочем, весьма сомнительно: если его маленькому Маттафию предстоит сделаться таким, как Иосиф задумал, то мальчику следует оставаться в Риме.

Во всяком случае, Иосиф упорствовал и был глух к тихим просьбам Мары. Пусть он избрал уединенную жизнь,

но он хочет, чтобы вокруг него кипел город Рим, от этого он не намерен отказываться. В провинции ему было бы тесно; в Риме, если он даже сидит запершись, его утешает мысль, что достаточно сделать сто шагов, и он окажется на Капитолии, там, где бьется сердце мира.

Но в самой глубине души он испытывал неловкость, даже какое-то чувство вины за то, что держит Мару здесь, в Риме.

— Бедная земля Израиля, — подхватил он вздох Мары и закончил: — Зима эта будет полна тревог.

За ужином, перед своей женой Дорион и пасынком Павлом, Анний Басс, военный министр Домициана, давал себе волю. При этих двух он может говорить откровенно, а присутствие учителя Павла, грека Финея, — это не помеха. Ведь Финей — вольноотпущенник и в счет не идет. Конечно, и отношения Анния с женой и пасынком, как ни велика его близость с ними, не оставались безоблачными. У него бывало такое ощущение, словно Дорион, несмотря на его головокружительную карьеру, считает его посредственностью и, несмотря на свою ненависть, все же мечтает вернуться к своему Иосифу Флавию, к этому мерзкому еврейскому интеллигенту. Совершенно ясно и то, что она не слишком привязана к мальчику, которого родила от Анния, к маленькому Юнию, а вот Павлом, своим сыном от Иосифа, восхищается и балует его. Впрочем, Анний и сам невольно поддавался обаянию Павла.

Да, он любит Дорион и любит Павла. И хотя они, наверное, менее привязаны к нему, чем он к ним, все же это единственные люди, перед кем он может выложить все свои заботы, рассказать о подтачивающих его неприятностях, неизбежных на службе у скрытного человеконенавистника Домициана. Вместе с тем Анний искренне привязался к Домициану, он почитал его, и DDD, хоть и не был прирожденным солдатом, все же кое-что смыслил в делах армии. Но недоверчивость императора не имела границ, и его советникам приходилось нередко отзывать полезных людей с должности, где они были на месте, и заменять их менее полезными, которые отличились только тем, что не внушали императору недоверия.

Вот и сейчас, говорил Анний, Дакийский поход с самого начала осложнился мрачными подозрениями Домициана. Кажется — естественнее всего было доверить верховное командование Фронтину, который так искусно заложил

и возвел линии укреплений на нижнем Дунае. Однако император опасался, что Фронтин вообразит, будто он незаменим, и возгордится. Поэтому ему пришла в голову несчастная мысль поручить командование противнику Фронтину, генералу Фуску, этому сорвиголове.

Дорион, как видно, не слишком интересовали эти детали, ее светло-зеленые глаза смотрели с отсутствующим выражением то на Анния, то прямо перед собой. Да и Финей, фанатичный грек, которому все трудности, возникавшие перед римским государственным управлением, должны были бы доставлять тайное удовольствие, казался равнодушным. Но тем более был заинтересован Павел. Ему исполнилось шестнадцать лет, и еще не прошло года с тех пор, как он впервые торжественно надел тогу взрослого гражданина. Матери очень хотелось, чтобы он в сопровождении учителя начал посещать один из греческих университетов. Однако сам Павел старался подавить в себе те греческие влияния, которые были ему привиты обоими; он жаждал быть римлянином, и только римлянином. Поэтому он сблизился с одним из друзей Анния, полковником Юлианом, превосходным солдатом, проводившим в Риме свой отпуск. Юлиан занялся мальчиком и познакомил его с военной наукой; все же осенью ему пришлось возвратиться в Иудею, в свой легион, в Десятый. Павел все бы отдал, только бы сопровождать его, да и отчиму, который сам был солдатом по призванию, доставило бы большую радость, если бы Павел стал настоящим офицером. Но тут воспротивилась Дорион. И Финей, по своему обыкновению, тихо и благородно и потому особенно убедительно, разъяснял Павлу, каким грубым сделает его солдатская жизнь в глухой провинции, если он до того не проникнется греческим духом; и Павлу пришлось в конце концов покориться. Теперь, однако, благодаря дакийской смуте его надежды возродились. Возможность научиться ремеслу офицера во время войны представляется слишком редко, и упускать такой случай никак нельзя.

Поэтому он с увлечением слушал рассказ Анния о трудностях предстоящего похода. На Дунае, разумеется, нужен полководец крупного масштаба, именно Фронтин, а никак не Фуск, этот тупица и сорвиголова. Теперь дакийцы уже не варвары, их царь Диурпан настоящий стратег, тут он себя еще покажет, а все наши силы там — какие-то три легиона, их не хватит, чтобы удержать границу протяженностью почти в тысячу километров, а суровая зима в этом году еще затрудняет оборону, ибо она дает нападающему врагу воз-

возможность перебрасывать по льду Дуная все новые подкрепления. Кроме того, дакийский царь Диурпан — ловкий политик, нити его интриг протянулись по всему Востоку, он имеет все шансы добиться даже интервенции парфян. При всех обстоятельствах надо быть готовыми к тому, что отдельные восточные провинции, которые едва терпят господство Рима, зашевелиятся, например, Сирия и особенно Иудея, так до конца и не замиренная.

Едва Анний все это разъяснил, как равнодушные Дорион исчезло. Она давно ничего не слышала об Иосифе, человеке, который больше всех определил ее судьбу. Ведь восстание в Иудее — такое событие, которое заставит и его снова выйти на свет из неизвестности.

Вихрем проносились воспоминания о пережитом вместе с ним. Как он принял бичевание ради того, чтобы развестись со своей первой женой, этой нелепой еврейкой, и жениться на Дорион, как они погрузились в свою любовь, утонули в ней там, в скромном домике, подаренном им Титом, как вспыхнула между ними вражда, как Дорион боролась с ним за своего сына, вот этого самого Павла, каким был Иосиф в пору его торжества, когда ему поставили бюст в храме Мира и Рим, ликуя, приветствовал его, — все пережитое, вместе с ее неистовой ненавистью и неистовой любовью, стало неотъемлемой частью ее самой.

Едва Анний заговорил об Иудее, перестал прикидываться равнодушным и Финей, его крупный бледный лоб покраснел. Будет великолепно, если в Иудее начнутся волнения и ее наконец усмирят, эту варварскую страну. Пусть суеверные евреи еще разок почувствуют, что такое римский кулак. Пусть прежде всего один почувствует — этот Иосиф Флавий, его бывший господин. Финей презирает этого Иосифа Флавия, он все в нем презирает — его дурацкую борьбу за Павла, его великодушие и его смирение, его дешевые успехи, его убогий греческий язык, все, все. Как было бы чудесно, если бы этому Иосифу Флавию, — он мысленно называл его римским именем, — еще разок показали, как ничтожна его Иудея, дали бы почувствовать, каково быть рабом.

Лихорадочные мысли Финей и Дорион были прерваны голосом Павла:

— Тогда кое для кого возникнут кое-какие трудности.

Простые слова, но голос, который их произнес, был настолько переполнен ненавистью и торжеством, что Дорион испугалась и даже Анний Басс удивленно посмотрел на пасынка. Он тоже терпеть не мог Иосифа Флавия; про-

стодушному, шумливому солдату этот еврей казался тихоней и пронирой. Если он, римский офицер, сражавшийся с евреями в открытом бою, принимался порой ругать Иосифа и смеяться над ним — ему это было дозволено. И даже Финею, вольноотпущеннику Иосифа. Но он не мог позволить этого двум другим — ни женщине, которая была когда-то женой этого еврея, ни его сыну. Анний восставал против этого не только из солдатской порядочности, он догадывался, что слишком пылкая ненависть Дорион к Иосифу основана на смятенности ее чувств. Она, правда, не раз говорила о нем несправедливые, порой даже непристойные слова, но иногда ее глаза подозрительно затуманивались. Аннию хотелось бы, чтобы его жена и пасынок внутренне совсем освободились от власти этого сомнительного человека, не испытывали бы к нему ни любви, ни ненависти.

А Павел тем временем продолжал изливать свою ненависть: если бы Иудея взбунтовалась, это было бы превосходно, наконец-то ее утомили бы. А как было бы замечательно поехать туда, принять участие в карательной экспедиции, под руководством Юлиана, столь опытного наставника. Какой это был бы удар для отца, для еврея.

— Вы должны меня отпустить в Иудею! — вырвалось наконец у Павла.

Дорион повернула к нему длинную узкую голову, и ее глаза цвета морской воды, блестевшие над тупым носом, задумчиво остановились на нем.

— В Иудею? Тебя в Иудею? — спросила она.

В ее голосе звучало неодобрение, но Павел чувствовал, что она тоже ненавидит еврея, его отца.

— Да, — продолжал он, и взгляд его светлых глаз выдержал испытующий взгляд матери, — я должен поехать в Иудею, раз там началось. Я должен очиститься. — Как загадочно прозвучали они, эти страстные, отрывистые слова «я должен очиститься»; однако даже простодушный солдат Анний понял их скрытый смысл. Павел стыдился своего отца, у него была потребность как-то искупить свое рождение от этого отца.

Хватит! Анний больше не желал слышать их ужасные разговоры, он вмешался:

— Мне не нравится, когда ты говоришь такие вещи, — упрекнул он Павла.

Павел почувствовал, что зашел слишком далеко, но продолжал, хотя и в более умеренных выражениях:

— Полковнику Юлиану просто будет непонятно,— сказал он,— если я, при теперешних обстоятельствах, не поеду в Иудею. Мне не хотелось бы потерять дружбу полковника Юлиана.

Дорион сидела, тонкая и хрупкая, в небрежной и все же строгой позе, ее несколько крупный рот, дерзко выступавший на высокомерном лице, чуть улыбался загадочной улыбкой. Несмотря на то что Анния раздражала ее улыбка, он чувствовал, как сильно любит эту женщину, любит навсегда. Дорион же посмотрела на учителя своего сына и спросила:

— А что думаете вы, Финей?

Этот обычно столь спокойный, элегантный человек с трудом скрывал свое волнение. Он нервно сгибал и разгибал длинные пальцы тонких болезненно-бледных рук, даже ноги его в греческих башмаках беспокойно дергались. Его терзали противоречивые чувства. С одной стороны, ему было больно при мысли, что он окончательно потеряет Павла. Он так любил красивого, одаренного мальчика, так горячо старался привить ему свой эллинизм. Правда, Финей видел, что Павел понемногу ускользает от него, но ему, Финею, будет очень тяжело, если тот окончательно и навсегда станет римлянином, а когда он вступит в римский гарнизон, этого не избежать. С другой стороны, для него было большим утешением представлять себе, как больно ранен будет Иосиф, узнав, что его родной сын, его Павел принимает участие в борьбе против его народа на стороне римлян. Своим глубоким, благозвучным голосом Финей сказал:

— Мне было бы очень тяжело, если бы наш Павел отправился в Иудею, но, должен признаться, в этом случае я бы понял его.

— И я понимаю его,— заявила госпожа Дорион и добавила: — Боюсь, сын мой Павел, что не смогу долго отказывать тебе в этом.

Путешествие в Иудею, в такое время года, было делом нешуточным, даже опасным. Павел готовился усердно и обстоятельно. Он был по-юношески счастлив; в нем не осталось и следа резкости, страстности, столь часто пугавших его близких. Совершенно стерлись и те еврейские взгляды и черты, которые старался ему привить отец. Исчез и эллинский дух, которым так жаждали пропитать его душу мать и учитель. Победила среда, где он жил, время, в котором он жил: сын еврея и гречанки окончательно стал римлянином.

Деревянной, неуклюжей походкой прогуливался император мимо клеток зверинца в своем Альбанском имении. Дворец должен был служить только летней резиденцией, но Домициан нередко приезжал сюда и в холодное время года. Он любил это поместье больше всех своих владений, и если, еще принцем, начал строить здесь обширный и роскошный дворец, не имея на то достаточно средств, то теперь, завершая строительство, старался сделать все как можно роскошнее. Без конца тянулся искусно спланированный парк, всюду вырастали беседки и павильоны.

Нескладный, в войлочном плаще с капюшоном и меховых туфлях, вышагивал, словно журавль, долговязый император вдоль клеток, а позади него — карлик Силен, весь волосатый, толстый, недоросток. День был сырой и холодный, с озера поднимался туман, обычно столь красочный пейзаж казался бесцветным, даже листья на оливах утратили свой блеск. Время от времени император останавливался перед одной из клеток и смотрел на зверя отсутствующим взглядом.

Он был рад, что решился оставить Палатин и уехать сюда. Ему нравился этот по-зимнему мгlistый ландшафт. Вчера были получены подробные депеши с дунайской границы, вторжение даков имело худшие последствия, чем он предполагал, — теперь уже нельзя было называть это пограничными инцидентами, разгоралась настоящая война.

Он прижал вздернутую верхнюю губу к нижней. Видимо, ему теперь самому придется участвовать в походе. Приятного мало. Он не любит торопливых путешествий без удобств, не любит долго сидеть на коне, а сейчас, зимой, все это будет особенно утомительно. Нет, по натуре он не солдат, он не такой, как его брат Тит и отец Веспасиан. Они были только солдатами, фельдфебелями, выросшими до гигантских размеров. В ушах его все еще гремит металлический голос Тита, и по лицу Домициана пробегает гримаса отвращения. Нет, он не жаждет блистательных побед, которые потом ни к чему не ведут. Он стремится к прочным и надежным результатам. Кое-где он и достиг надежных результатов — в Германии, в Британии. Он — венец рода Флавиев. И он согласился принять от сената титул «владыка и бог Домициан» лишь потому, что титул этот заслужен.

Он остановился перед клеткой волчицы. На редкость красивое, сильное животное! Император любил эту волчицу, любил в ней постоянное беспокойство, причуды хищника, силу и хитрость, он любил эту волчицу как символ города

Рима и империи. Вытянувшись, угловато отставив назад локти, выпятив живот, стоял он перед клеткой.

— Владыка и бог, император Флавий Домициан Германник, — произнес он вполголоса свое имя и титул, а за его спиной карлик, стоя в той же позе, повторял его слова перед клеткой волчицы.

Пусть его отец и брат одерживали более блистательные победы. Дело не в блистательных победах, а только в конечных результатах любой войны. Есть полководцы, которые умеют выигрывать лишь сражения, а не войны. То, что он, вместе со своим осмотровительным строителем крепостей Фронтином, сделал в Германии — возвел вал для защиты от германских варваров, — в этом нет блеска, но это стоит десяти блестящих и бесперспективных побед. Фельдфебели Веспасиан и Тит никогда бы не смогли оценить идеи этого Фронтина и, уж конечно, не осуществили бы их.

Жаль, что нельзя взять с собой Фронтина на Дунай и сделать его верховным главнокомандующим. Это противоречило бы его, Домициана, принципам. Нельзя никого слишком возвышать, нельзя давать повод к высокомерию. Боги не любят высокомерия. Бог Домициан не любит высокомерия.

Конечно, очень жаль, что пятнадцатый армейский корпус уничтожен, но это имеет и свою хорошую сторону. Если вдуматься, это даже счастье, что история с даками приняла такой оборот и вызвала настоящую войну. Ибо эта война начинается как раз вовремя, она кое-кому заткнет рот, без этого так скоро болтунов бы не унять. Эта война наконец даст ему, императору, желанный повод принять и во внутренней политике некоторые непопулярные меры, а без войны их пришлось бы отложить еще на годы. Теперь, под предлогом войны он может заставить своих строптивых сенаторов пойти на уступки, на которые они ни за что не согласились бы в мирное время.

Он решительно отворачивается от клетки, перед которой все еще стоит. Нет, он не поддастся соблазну, не будет мечтать, фантазия слишком легко увлекает его. В вопросах управления он методичен до педантизма. Его потянуло к письменному столу. Надо кое-что записать, привести в порядок.

— Носилки! — бросает он через плечо, и карлик визгливо подхватывает его распоряжение и передает дальше:

— Носилки!

Император возвращается во дворец. Расстояние немалое. Сначала дорога идет между олив, посаженных терраса-

ми, затем через платановую аллею, затем — мимо теплиц, клумб, крытых галерей, павильонов, беседок, гротов, водоемов и водометов всякого рода. Парк велик и красив. Император его очень любит, но сегодня ему не до парка.

— Быстрее! — властно подгоняет он носильщиков, Домициану не терпится поскорее сесть за письменный стол.

Наконец он добирается до своего кабинета, приказывает его не беспокоить, запирает дверь, и вот он один. Он злобно усмехается, вспоминает все дурацкие сплетни по поводу того, что он якобы вытворяет, когда проводит в уединении целые дни. Он будто бы насаживает мух на булавки, отрезает лапки лягушкам и тому подобное.

Император принимается за работу, аккуратно, пункт за пунктом записывает он все, что намерен выжать из сената под предлогом войны. Прежде всего он наконец-то осуществит свой давно лелеемый план, — заставит облечь его пожизненно властью цензора: ведь цензура — это и верховный надзор над государственными расходами, правом и нравами, и контроль над сенатом, а также полномочия исключать из этой корпорации неугодных ему лиц. До сих пор он брал на себя эти обязанности только каждый второй год. Сейчас, в начале войны, которая неизвестно сколько продлится, сенаторы едва ли откажут ему в упрочении его власти. Он уважает обычаи, он, конечно, и не думает изменять конституцию, предусматривающую разделение власти между императором и сенатом. Он не намерен упразднить это мудрое деление: он только хочет сам контролировать корпорацию-соправительницу.

Война дает и желанную возможность внести больше строгости в законы о добрых нравах. Нелепые, высокомерные, строптивые аристократы из его сената опять будут издеваться над тем, что он запрещает другим малейший проступок, себе же разрешает любой каприз, любой «порок». Болваны! На него возложена судьбою миссия защищать железной рукой римскую дисциплину и римские нравы; но откуда ему, богу, знать людские пороки, чтобы за них карать, если сам он время от времени не будет сходить к людям, подобно Юпитеру?

Тщательно формулирует он намеченные предписания и законы, нумерует, уточняет, добросовестно подыскивает обоснования для каждой статьи.

Затем переходит к самой приятной части своей работы — к составлению списка; список этот невелик, но чреват последствиями.

В сенате сидят примерно девяносто господ, которые не скрывают, что они его враги. Они смотрят на него свысока, эти господа, возводящие свой род к временам основания Рима и еще дальше — к разрушению Трои. Они обзывают его выскочкой. Если его прадед держал откупную контору, дед тоже еще не был ничем знаменит, они воображают, что и он, Домициан, не способен понять, в чем истинная сущность римлянина. Но он им покажет, кто истинный римлянин, — правнук мелкого банкира или потомки троянских героев.

Имена этих девяти десятков ему известны. Девяносто — большое число, столько он не сможет внести в свой список, к сожалению, — лишь немногих из этих неприятных господ удастся устранить за время его отсутствия. Нет, он будет осторожен, он враг всякой поспешности. Но кое-кого — семерых, шестерых, ну, скажем, хотя бы пятерых все же можно будет внести, а мысль о том, что, когда он вернется, они уже не будут больше мозолить ему глаза, согреет ему сердце вдали от Рима.

И все-таки он записал — пока, предварительно — целый ряд имен. Потом принялся вычеркивать. Эта задача оказалась не из легких, и порой, выбрасывая чье-нибудь ненавистное имя, он горестно вздыхал. Но он — добросовестный правитель, он хочет, чтобы в его окончательных оценках им руководили не симпатия и антипатия, а только государственные соображения. Тщательно обдумывает он, насколько опасен тот или другой сенатор, чье устранение привлечет больше внимания и чье конфискованное имущество принесет больше пользы казне. И только если чаши весов стоят ровно, решает его личная антипатия.

Так он обдумывает одно имя за другим. С огорчением вычеркивает из списка Гельвидия. Жаль, но нельзя, пока что приходится его щадить, этого Гельвидия Младшего. Гельвидия Старшего убрал еще старик Веспасиан. Но придет час, — нужно надеяться, он не за горами, — когда следом за папашей можно будет отправить и сынка. Жаль также, что император не может сохранить в своем списке Элия, у которого он некогда отнял супругу, Луцию, ставшую теперь его императрицей. Этот Элий имел обыкновение называть его не иначе, как «Фузан», из-за того, что у него, Домициана, начинает расти живот, и еще из-за того, что он не всегда чисто выговаривает букву «П». Ладно, пусть Элий еще некоторое время зовет его «Фузаном», но и для него настанет час, когда ему будет уже не до острот.

В конце концов в списке остаются пять имен. Но теперь императору кажется, что и этих пяти слишком много. Он удовольствуется и четырьмя, да еще посоветуется с Норбаном, своим министром полиции, когда будет решать, кого все-таки отправить в Аид.

Так, он выполнил свой урок, он свободен. Домициан встал, потянулся, направился к двери, отпер ее. Он проработал все обеденное время, его не осмелились побеспокоить. Теперь он голоден. Он вызвал сюда, в Альбанское имение, чуть не весь двор и половину сенаторов, почти всех, кому был другом или врагом; прежде чем покинуть столицу, он хотел здесь, в Альбане, привести в порядок дела империи. Устроить себе развлечение? Пригласить кого-нибудь из них к столу? Он вспомнил о множестве людей, которые прибывают сюда непрерывным потоком, представил себе, как их терзает мучительная неизвестность,— что же решит на их счет бог Домициан. Он улыбнулся многозначительной злой улыбкой. Нет, пусть остаются в своей компании, лучше предоставить их самим себе. Пусть подождут весь день, ночь, потом, может быть, еще день и даже еще ночь,—ведь бог Домициан будет медленно обдумывать свои решения и отнюдь не намерен спешить.

Может быть, в Альбанскую резиденцию уже прибыла и Луция, Луция Домиция, императрица. Мысль о Луции согнала улыбку с лица Домициана. Долго был он для нее всего лишь мужчиной Домицианом, затем пришлось и перед ней показать себя владыкой и богом Домицианом,— он устранил ее любимца Париса и за нарушение супружеской верности заставил сенат сослать ее на остров Пандатария. Три недели назад он очень кстати дал указание своему сенату и народу, чтобы они осаждали его просьбами вернуть их обожаемую императрицу. И он позволил им смягчить его сердце, вернул Луцию. Иначе ему пришлось бы отправиться в поход, не повидав ее. Интересно, здесь ли она? Если путешествие прошло без помех — она уже должна быть здесь. Он не хотел показать, как ему важно знать о ее прибытии, и отдал приказ его не беспокоить, ни о чем приезде не докладывать. Но сердце подсказывает, что она приехала. Спросить? Пригласить ее отобедать с ним? Нет, он останется владыкой, останется богом Домицианом, и он делает над собой усилие, не спрашивает о ней.

Он обедает один, торопливо, рассеянно, глотает наспех куски, запивает вином. Быстро заканчивает одинокую тра-

пезу. А чем заняться теперь? Что ему сделать, чтобы изгнать мысли о Луции?

Домициан вызывает скульптора Василия, которому сенат поручил сделать гигантскую статую императора. Скульптор давно просил посмотреть его работу.

Молча разглядывал он модель. Он был изображен на коне, со знаками императорской власти. Скульптор Василий сделал добротного, героического, царственного всадника. Императору нечего было возразить против этой вещи, но и удовольствия она ему не доставила.

У всадника были, правда, его, Домициановы, черты, но это император вообще, не император Домициан в частности.

— Занятно, — проговорил он наконец, но таким тоном, который не скрывал его разочарования.

Маленький, подвижной скульптор Василий, все время внимательно следивший за лицом императора, отозвался:

— Значит, вы недовольны, ваше величество? Я тоже. Конь и корпус всадника поглощают слишком много пространства, остается мало места для головы, для лица, для духа. — И так как император безмолвствовал, продолжал: — Очень жаль, что сенат поручил мне изобразить ваше величество именно верхом. Если ваше величество разрешит, я предложу господам сенаторам другое. У меня есть замысел, который мне кажется крайне привлекательным. Мне рисуется колоссальная статуя бога Марса, но у него черты лица вашего величества. Конечно, я имею в виду не обычное изображение Марса в шлеме — шлем отнял бы у меня слишком большую часть вашего львиного лба. Мне же рисуется отдыхающий Марс. Ваше величество разрешит показать модель? — И так как император кивнул, он приказал принести другую модель.

На ней скульптор изобразил человека мощного телосложения, но сидящего в спокойной позе. Оружие отложено в сторону, правая нога небрежно выдвинута вперед, колено левой приподнято, он небрежно обхватил его руками. У ног его вытянулся волк, дятел дерзко уселся на лежащий сбоку щит. Модель явно представляла собой только первую попытку, но голова была уже вылеплена, и эта голова, это чело — оно Домициану понравилось. В очертании лба было в самом деле что-то львиное, как и сказал скульптор, напоминавшее лоб великого Александра. А прическа — короткие кудри — придавала лицу сходство с некоторыми, широко известными, изображениями Геркулеса, мнимого предка Флавиев. Это сходство непременно разозлит некоторых господ сенаторов. Резко выступает нос с горбинкой. Разду-

вающиеся ноздри, приоткрытый рот так и дышат отвагой, властностью и страстью.

— Представьте себе, ваше величество,— объясняет художник, ободренный тем, что его замысел явно понравился императору,— какое впечатление должна производить статуя, когда она будет завершена. Если вы разрешите мне выполнить мой проект, ваше величество, эта статуя будет даже больше богом Домицианом, чем богом Марсом. Здесь главное внимание зрителя привлечет не традиционный шлем и не мощное тело, здесь каждая деталь рассчитана так, чтобы направить все внимание на лицо, ведь именно выражение лица и возносит бога над человеческой мерой. Это лицо должно показать всей земле, что означает титул — владыка и бог.

Император молчал, но своими выпуклыми близорукими глазами рассматривал модель с явно возраставшим благоволением. Да, удачная будет статуя. Марс и Домициан как бы сливаются в один образ. Даже волосы, которые он слегка отпустил на щеках, даже этот намек на бакенбарды, вполне подходят для бога Марса. А грозно сдвинутые брови, гордый и вызывающий взгляд, мощный затылок — все это обычные черты Марса, и вместе с тем по этим чертам каждый легко узнает Домициана. Да еще решительный подбородок, единственное, что у Веспасиана было хорошего, и единственное, что, к счастью, Домициан от него унаследовал. Он прав, скульптор Василий. В этом Марсе каждый увидит смысл титула, который Домициан позволил дать себе, титула владыки и бога. Он, Домициан, хочет быть подобен спокойному Марсу, он такой и есть: именно в своем спокойствии он угрюм, богоподобен, опасен. Таким его ненавидят римские аристократы, таким его любит народ, любят солдаты, и то, чего не мог добиться Веспасиан, несмотря на всю свою общительность, и не мог добиться Тит, несмотря на металлический звон в голосе,— а именно, популярности, ее Домициан добился своим угрюмым величием.

— Интересно, очень интересно,— заметил он на этот раз уже одобрительным тоном и добавил: — Вот это вы сделали неплохо, мой Василий.

Теперь у него впереди долгий вечер, и император не знает, чем ему заняться до того, как он ляжет спать. Когда он представляет себе лица людей, приглашенных им сюда, в Альбанское имение, то, хотя их очень много, он не на-

ходит никого, чье общество было бы ему желанно. Одной-единственной жаждет он; но позвать ее мешает гордость. Поэтому лучше уж он проведет вечер один,— более приятного общества, чем свое собственное, Домициан не находит.

Император приказывает зажечь все светильники в большом зале для празднеств. Вызывает и механиков, обслуживающих хитроумные машины, благодаря которым стены зала могут быть, по желанию, раздвинуты, а потолок убран вовсе, так что над головой открывается небо. В свое время все это было задумано им как сюрприз для Луции. Она не оценила его по достоинству. Многие его подарки она не ценила по достоинству.

В сопровождении одного лишь карлика Силена входит император в просторный, сияющий огнями зал. В своем воображении Домициан рисует себе толпы гостей. Он садится, принимает небрежную позу, невольно подражая статуе Марса, и представляет себе, как его гости в многочисленных покоях дворца сидят, лежат, ждут, полные страха и тревоги. Для забавы он заставляет уменьшать и увеличивать зал, убирать и опускать потолок. Затем некоторое время ходит взад и вперед, приказывает погасить большую часть светильников, так что видны только отдельные, слабо освещенные части зала. И снова шагает по огромному покою, за ним скользит его гигантская тень и крошечная фигурка карлика.

Приехала Луция или нет?

И тут же — ведь он еще бодр и готов работать дальше — Домициан вызывает к себе своего министра полиции Норбана.

Норбан уже лежал в постели. Когда Домициан вызывал к себе министров в неурочное время, большинство из них, в смущении, не знало, в каком виде им следует являться. С одной стороны, император не желал ждать, с другой — считал оскорбительным для своего сана, если явившийся по его зову не был одет с величайшей тщательностью. Однако Норбан знал, насколько он необходим своему владыке и насколько благосклонность императора неизменна, поэтому он просто набросил поверх сорочки парадную одежду и этим ограничился. Норбан был невысок, но статен; от его крепко сбитого тела еще веяло теплом постели, когда он явился к императору. Мощная квадратная голова, сидевшая на еще более мощных, угловатых плечах, была непричесана, энергичный подбородок небрит и казался от этого еще грубее, а локоны очень густых черных как смоль волос,

хотя и жирно смазанные, все же не лежали на лбу, как того требовала мода, а беспорядочно и нелепо свисали на топорное лицо. Однако император простил своему министру полиции эту небрежность, может быть, он ее даже не заметил. Напротив, сразу же доверительно обратился к нему. Рослый человек сразу обхватил рукою плечи низенького, стал с ним ходить по сумеречному залу, заговорил вполголоса, намеками.

Заговорил о том, что войной и отсутствием императора можно воспользоваться и слегка прочесать сенат. Еще раз, теперь уже вместе с Норбаном, просмотрел имена своих врагов. О каждом он был хорошо осведомлен, и память у него была отличная, но в крупной голове Норбана хранилось гораздо больше фактов, предположений, доказательств и доводов «за» и «против». Император продолжал ходить с ним взад и вперед деревянной походкой, тяжело опираясь на него, все так же обнимая его за плечи. Выслушивал, вставлял вопросы, высказывал сомнения. Он, не задумываясь, раскрывал перед Норбаном свои мысли и чувства, ибо питал к нему глубокое доверие, доверие, возникшее из тайников души.

Норбан, конечно, тоже упомянул Элия, первого мужа императрицы Луции, он-то и прозвал Домициана «Фузан»,— Домициану так хотелось оставить его в списке. Этот Элий был жизнерадостным человеком. Он любил Луцию, вероятно, любит и теперь, любил также и многие другие приятные дары судьбы: свои титулы и почести, свои деньги, свою привлекательность и веселый нрав, благодаря которым у него всюду появлялись друзья. Но превыше всего любил он свое остроумие и охотно выставлял его напоказ. Уже при первых Флавиях у Элия из-за его остроумия бывали неприятности. При Домициане, отнявшем у него Луцию, ему тем более угрожала опасность и надо было бы вести себя с особой осторожностью и держать язык за зубами. Он же развязно объявлял, что знает в точности болезнь, от которой ему суждено умереть, и болезнь эта — меткая острота. Вот и сегодня Норбан рассказал императору о некоторых новых непочтительных остроумиях Элия. Передавая последнюю, он, однако, вдруг осекся.

— Ну, продолжай! — сказал император; Норбан колебался. — Продолжай же! — потребовал император.

Домициан побагровел, стал осыпать бранью своего министра, кричал, грозил. В конце концов Норбан сдался. Это была тонкая и вместе с тем непристойная острота насчет

той части тела Луции, которая, так сказать, породнила Элия с императором. Домициан побелел.

— У вас слишком длинный язык, министр полиции Норбан,— наконец проговорил он с трудом.— Жаль, но ваш язык вас погубит.

— Вы же сами мне приказали говорить, ваше величество,— отозвался Норбан.

— Все равно,— возразил император и вдруг визгливо закричал: — Ты таких слов и повторять-то не смел, собака!

Однако Норбан был не слишком напуган. Император тоже скоро успокоился, и они продолжали деловито обсуждать кандидатов из списка. Как опасался и сам Домициан, за его отсутствие едва ли можно будет ликвидировать больше четырех врагов государства; увеличить их число — дело рискованное. Да и вообще Норбан был не вполне согласен со списком императора и упрямо настаивал на том, что надо отложить ликвидацию еще одного сенатора, внесенного в этот список. В конце концов императору пришлось вычеркнуть два имени из пяти, зато Норбан согласился включить еще одно, так что все-таки осталось четыре. К этим четырем именам Домициан мог наконец добавить букву М.

Это многозначительное «М» было первой буквой имени некоего Мессалина, а Мессалин слыл самой темной личностью в городе Рима. Так как он состоял в родстве с поэтом Катуллом и принадлежал к одному из древнейших родов, все ожидали, что он примкнет к сенатской оппозиции. Вместо этого он стал на сторону императора. Мессалин был богат и, обвиняя кого-либо в оскорблении величества — даже своих друзей и родственников, он делал это не ради выгоды: у него была страсть губить людей. И хотя Мессалин был слеп, никто лучше его не мог выследить тайные слабости людей, превратить простодушную болтовню в зловерные речи и безобидные поступки в преступные действия.

Если слепой Мессалин пускался по чьему-нибудь следу — человек этот считался погибшим; обвиненный им был заранее обречен. Шестьсот членов входило в состав сената, и в этом Риме императора Домициана они стали толстокожими, ибо знали, что тот, кто хочет отстоять себя, должен иметь весьма выносливую совесть. Но когда произносилось имя Мессалина, даже эти прожженные господа кривили губы. Коварный слепец требовал, чтобы ему не напоминали о его слепоте, он научился находить дорогу в сенат без

проводника, один пробирался между скамьями на свое место, словно видел его. Каждый мог предъявить счет опасному и злобному слепцу; у одного он погубил родственника, у второго — друга, и всем хотелось, чтобы он на что-нибудь наткнулся и вспомнил о своей слепоте. Но никто не решался дать волю этому желанию, все уступали ему дорогу и убирали препятствия с его пути.

Итак, император наконец поставил после четырех имен букву «М».

С этим делом было покончено, и Норбан считал, что DDD мог бы, собственно говоря, спокойно отпустить его спать. Но император продолжал его удерживать, и Норбан догадывался почему: DDD очень хотелось услышать что-нибудь относительно Луции, уж очень хотелось узнать, что подделывала Луция на острове Пандатарии, куда ее сослали. Но тут император сам все испортил. Не надо было вначале так кричать на Норбана. А теперь Норбан будет настороже, он больше не даст обвинить себя в оскорблении величества. Он в достойной форме научит своего императора владеть собой.

Домициан же действительно сгорал от желания расспросить Норбана. Но как ни мало было у него тайн от этого человека, раз дело касалось Луции, он испытывал стыд и был не в силах задать ему вопрос о жене. Норбан, со своей стороны, продолжал назло ему упорно молчать.

И так как император не отпускал его, то вместо разговора о Луции Норбан принялся пересказывать ему всякие светские сплетни и мелкие политические новости. Упомянул и о подозрительном оживлении в доме писателя Иосифа Флавия, замеченном после того, как начались беспорядки на Востоке, он даже может показать копию составленного Иосифом манифеста.

— Интересно, — отозвался Домициан, — очень интересно. Наш Иосиф! Знаменитый историк! Человек, описавший и сохранивший для потомства нашу Иудейскую войну, человек, обладающий правом раздавать славу и позор. Чтобы прославить деяния моего божественного отца и моего божественного брата, он нашел очень много выразительных слов, обо мне же он упомянул весьма скупно. Значит, он теперь стал писать двусмысленные манифесты? Так-так!

И он приказал Норбану продолжать слежку за этим человеком, но пока его не трогать. Вероятно, Домициан до отъезда еще сам займется этим евреем Иосифом; ему давно уже хочется еще разок с ним побеседовать.

Луция, императрица, действительно прибыла под вечер в Альбанское имение. Она ожидала, что Домициан выйдет ей навстречу, чтобы приветствовать ее. Но она ошиблась, и это не столько рассердило ее, сколько показалось забавным.

Сейчас, пока шло совещание между Домицианом и Норбаном и ее имя все время вертелось у них на языке, хоть и не было названо, Луция ужинала в интимном кругу. Не все приглашенные рискнули явиться. Хотя Домициан и вернулся Луцию, но еще неизвестно, как он отнесется к тем, кто сядет за ее стол. От грозных сюрпризов никто не застрахован; сколько раз бывало, что император, решив кого-нибудь окончательно погубить, перед тем выказывал обреченному особенную благосклонность.

Но те, кто ужинал у императрицы, притворялись веселыми, да и сама Луция была в отличном настроении. Невзгоды изгнания как будто не оставили на ней никаких следов. Молодая, статная, пышущая здоровьем, сидела она за столом, широко расставленные глаза под детски чистым лбом смеялись, все ее смелое, ясное лицо сияло. Ничуть не смущаясь, говорила она о Пандатарии, острове изгнания. Домициан, вероятно, потому назначил ей этот остров, чтобы ее пугали тени высокопоставленных изгнанниц, которых туда ссылали до нее, — тени Агриппины, Нероновой Октавии, Августовой Юлии. Но тут он просчитался. Когда она думала об этой Юлии, она думала не о ее смерти, а о ее дружбе с Силаном и Овидием и о тех наслаждениях, из-за которых она, в сущности, и погибла.

Она во всех подробностях рассказала о своем пребывании на острове. Там было семнадцать ссыльных, а местных уроженцев около пятисот. Конечно, приходилось во многом себе отказывать, и потом, очень надоедало видеть все тех же людей. Скоро они знали друг друга до последних черточек. Совместная жизнь на голой скале, когда кругом только бескрайнее море, повергла некоторых в меланхолию, они становились раздражительными, возникали трения; временами между ссыльными разгоралась такая ненависть, что они, как пауки в банке, готовы были сожрать друг друга. Но в этой жизни была и хорошая сторона, — по крайней мере, не мелькают вокруг, как в Риме, бесчисленные лица, не надо быть все время на людях, живешь предоставленная самой себе. Она лично в этих беседах с самой собой сделала немало интересных наблюдений. Кроме того, бывали и сильные переживания, о которых в Риме и понятия не имеют, например, волнение, когда каждые шесть недель

приходит корабль с почтой и газетами из Рима и со всякой всячиной, заказанной оттуда. В общем, закончила она, неплохое было время, а так как сама Луция была весела и полна жизни, то ей охотно поверили.

Оставался вопрос, как пойдет теперь ее жизнь в Риме и как сложатся ее отношения с императором. Об этом говорили без стеснения; особенно откровенно высказывались Клавдий Регин, сенатор Юний Марулл и бывший муж Луции Элий, которого она, не задумываясь, пригласила на этот ужин. Завтра же, заявил Элий, Луции станет совершенно ясно, чего ей в будущем ждать от Фузана. Если он сразу пожелает увидеться с ней с глазу на глаз, это плохой знак, значит, он намерен объясняться. Но вероятнее всего Фузан так же боится объяснений, как боялся их в свое время он, Элий, и потому постарается разговор оттянуть. Да, он, Элий, готов держать пари, что император завтра же пожелает обедать в кругу семьи, так как сначала захочет увидеться с Луцией на людях.

Что касается Луции, то она, видимо, не испытывала страха перед предстоящим объяснением с императором. Без робости называла она Домициана его прозвищами и в присутствии всех заявила Клавдию Регину:

— Вы должны потом уделить мне пять минут наедине, мой Регин, и посоветовать, что мне следует потребовать от Фузана, прежде чем с ним помириться. Если он, как мне говорили, действительно потолстел, пусть платит больше.

Как и большинство его гостей, Домициан плохо спал в эту ночь. Он все еще не осведомился, здесь ли Луция, но внутренний голос уверенно подсказывал ему, что она здесь и они опять спят под одной крышей.

Он раскаивался в том, что обидел Норбана. Если бы не это, он уже наверняка знал бы, чем Луция занималась на острове Пандатарии, куда была сослана. Она видела там немногих мужчин, и трудно себе представить, чтобы хоть один из них заслужил ее благосклонность. Правда, поручиться за нее никак нельзя, она способна на все. Может быть, она все-таки спала с кем-нибудь из этих мужчин, даже с рыбаком или просто с кем-нибудь из того сброда, который жил на острове. Но узнать правду он мог только от Норбана и сам же так глупо зажал ему рот.

И если бы даже он знал все, что происходило на Пандатарии, знал бы каждую минуту ее жизни, это едва ли повлияло бы на него. Волнуясь и ощущая неловкость и желание, ожидал он предстоявшего завтра объяснения с Луцией, оттачивал фразы, которыми хотел сразить ее, — он, велико-

душный Домициан, бог,— ее, грешницу, милостиво им прощенную. Но он знает заранее, что, какие бы фразы для нее ни приготовить, она только улыбнется, а в конце концов расхохочется своим звонким загадочным смехом и ответит что-нибудь вроде: «Ну, иди сюда, иди, Фузан, будет тебе!» — и что бы он ни говорил, что бы ни делал, ему никак не удастся внушить ей страх. Уж такая у нее натура. И если другие — его дерзкие аристократы,— может быть, именно из-за своей принадлежности к древнейшим родам, стали как-то уж слишком слабонервными и хилыми, в ней, в Луции, действительно еще живут здоровье и сила старых патрициев. Он ненавидел эту ее гордую силу, но Луция была ему нужна, он скучал по ней в ее отсутствие. Напрасно он уверял себя, что Луция — воплощение богини Рима и только поэтому нужна ему, только поэтому он и любит ее. Домициану была необходима просто Луция, женщина Луция, и только. И он чувствовал, что не сможет отправиться в поход, пока не поцелует маленький шрам под ее левой грудью; если она ему разрешит — это будет для него подарком. Ах, ей ничего нельзя приказать, она только смеется; среди всех известных ему живых людей она одна не боится смерти. Она любит жизнь, берет от каждого мгновенья все, что оно может дать, но именно потому ей и незнаком страх смерти.

На следующее утро, чуть свет, Домициан, созвал своих министров на тайное совещание кабинета. Пять человек собралось в Гермесовом зале, они не выспались и предпочли бы еще полежать в постели, но если и случалось, что император заставлял ждать себя бесконечно долго — горю тому министру, кто осмеливался быть неточным.

Анний Басс, с присущей ему шумной откровенностью, выложил Клавдию Регину свои опасения по поводу предстоящего похода; он, видимо, хотел, чтобы Регин поддерживал его перед императором. С одной стороны, говорил Анний, DDD считает, что скаредность недостойна бога, так что содержание двора и особенно постройки обходятся даже в его отсутствие очень дорого, с другой, — и это перешло к нему от отца, — он требует, чтобы при любых обстоятельствах избегали ненужных расходов. А такое урезывание скажется прежде всего на ведении войны. И Анний боится, что генералам, командующим на Дунайском фронте, не будет предоставлено достаточно войск и военных материалов, и верховный главнокомандующий Фуск будет стараться — здесь-то и кроется главная опасность — вос-

полнить нехватку вооруженных сил и боевых средств храбростью сражающихся.

— Да, вести государственное хозяйство не простое дело,— вздыхая, ответил Регин,— уж мне-то, Анний, незачем это объяснять. Вот я вчера получил стихи, посвященные мне придворным поэтом Стацием...— Ухмыляясь всем своим мясистым, кое-как выбритым лицом и иронически щурясь сонными глазами с набухшими веками, он извлек рукопись из рукава парадного платья; держа драгоценное стихотворение в толстых пальцах, Регин громким жирным голосом прочел: «Тебе одному доверены управление священными сокровищами императора, богатства, созданные всеми народами, доходы, поступающие со всех концов земли. Все, что таится, сверкая, в недрах Далматинских кряжей, все, что неизменно приносит жатва ливийских пажитей, все, что растет на землях, удобренных нильским илом, все жемчуга, что извлекают на свет ныряльщики Восточного моря, и слоновая кость, добытая охотниками Индии,— все это доверено лишь твоему попечению. Бдителен ты и зорек и с уверенной быстротой исчисляешь то, в чем ежедневно нуждаются под нашим небом армии государства, пропитание города, храмы, водопроводы, поддержание гигантской сети улиц. Ты знаешь цену и вес до последней унции, тебе ведомы сплавы металлов, которые превращаются в огне в образы богов, в образы императора, в римские монеты». Это обо мне здесь говорится,— усмехаясь, пояснил Клавдий Регин, и действительно было немного смешно, что этому небрежному, скептическому и не жадному до почестей господину посвящены такие пышные стихи.

Гофмаршал Криспин нервно шагал по маленькой комнате. Молодой элегантный египтянин был, несмотря на ранний час, одет очень тщательно, он, видимо, тратил уйму времени на свой туалет, и от него, как всегда, несло благоуханиями, словно от погребального шествия какого-нибудь вельможи. Министр полиции Норбан с явным неодобрением следил за ним спокойным зорким взглядом. Норбан терпеть не мог молодого щеголя, он чувствовал, что тот наверняка издевается над его неуклюжестью, и все-таки Криспин — один из тех немногих, кто для Норбана недосягаем. Правда, министру полиции известны кое-какие неблагоприятные проделки, с помощью которых этот мот Криспин добывает деньги. Однако император питает необъяснимое пристрастие к молодому египтянину. Он видит в этом человеке, издевавшем все утонченные пороки своей Алек-

сандрии, зеркало элегантности и хорошего тона. Домициан, в роли стража строго римских традиций, презирал подобные ухищрения, но Домициан-мужчина весьма интересовался ими.

Криспин, все еще продолжая ходить по комнате, заметил:

— Вероятно, опять будем обсуждать новые, более строгие законы в защиту нравственности. DDD из всех сил старается превратить наш Рим в Спарту.

Никто не ответил. Зачем в тысячный раз пережевывать одно и то же?

— А может быть,— заметил, неудержимо зевая, Марулл, который сегодня не выспался,— он собрал нас опять из-за какой-нибудь камбалы или омара?

Это был намек на злобную шутку, которую недавно позволил себе император, когда он, подняв среди ночи своих министров, вызвал их в Альбан, чтобы опросить, каким способом приготовить необычайно большую камбалу, которую ему поднесли.

Глаза всеведущего Норбана, в досье у которого были точно отмечены поступки и высказывания каждого из них, продолжали следить за бегающим по комнате Криспином; глаза эти были карие, коричневатыми были и белки, и своей спокойной пристальностью они напоминали глаза сторожевого пса, готового к прыжку.

— Вы опять что-то выведали о моих делах? — наконец спросил египтянин, которого этот упорный взгляд выводил из равновесия.

— Да,— скромно ответил Норбан.— Ваш друг Меттий умер.

Криспин сразу остановился и обратился к Норбану длинное, худое лицо, тонкое и порочное. Оно выражало и ожидание, и радость, и озабоченность. Старик Меттий был весьма богат, и Криспин преследовал его, хитроумно сочетая изъявления дружбы с угрозами, пока старец наконец не завещал ему весьма значительные суммы.

— Ваша дружба пошла ему не впрок, мой Криспин,— продолжал министр полиции; теперь к его словам прислушивались и остальные.— Меттий вскрыл себе вены. Впрочем, непосредственно перед этим он завещал все свое состояние,— Норбан чуть подчеркнул слово «все»,—нашему возлюбленному владыке и богу Домициану.

Криспину удалось сохранить на лице спокойствие.

— Вы всегда приносите радостные вести, мой Норбан,— вежливо отозвался он.

« Если уж не ему достался жирный кусок, то лучше пусть этот кусок получит император, чем кто-нибудь другой. Хотя Домициан и позволял себе с ними злые шутки, пятеро мужчин, собравшихся в маленьком зале, все же искренне были преданны ему. DDD, несмотря на свои мрачные причуды, умел производить впечатление не только на массы, но и на тех, с кем допускал известную близость.

Клавдий Регин сначала слушал с легкой гримасой. Затем он снова обмяк и сидел в кресле, развалиясь, раскисший, сонный.

— Им-то легко,— сказал он вполголоса Юнию Маруллу, кивая на трех остальных министров,— они молоды. Зато, Марулл, только у нас с вами есть преимущество, которого не было пока что ни у кого из друзей императора,— наш возраст: ведь и вам и мне уже за пятьдесят.

Тем временем Норбан остановил Криспина в каком-то углу. Спокойно, слегка угрожающим тоном, понизив грубый голос, чтобы другие не слышали его слов, он сказал:

— У меня есть для вас еще одна приятная новость: на Палатинских играх будут присутствовать весталки, так что вы сможете увидеть вашу Корнелию.

Смугловатое лицо Криспина стало почти глупым, настолько он растерялся. Он несколько раз говорил о весталке Корнелии нагло и похотливо, но только в кругу ближайших друзей, ибо император требовал самого строгого уважения к его сану верховного жреца и не терпел ни малейшей непочтительности к своим весталкам. Сейчас Криспин точно вспомнил те слова: «Будь эта Корнелия хоть с головы до пят зашита в свое белое одеяние, я все равно буду с ней спать»,— хвастливо заявлял он. Но какими дьявольскими путями дошло это опять до проклятущего Норбана?

Наконец министров попросили в рабочий кабинет императора. Домициан сидел у письменного стола на высоком кресле, облаченный в подобающий только ему наряд императора, и даже обут он был в неудобные башмаки на высокой подошве, хотя его ноги заслонял стол. Он желал быть богом во всем и с почти жреческой величавостью ответил гордым кивком на подобающий богу церемониал смиренных приветствий.

Тем резче противоречила этой манере держаться та деловитость, с какой он повел совещание. Хоть и проникнутый сознанием своей божественности, он трезво проверял своим человеческим рассудком аргументы и возражения, приводимые его министрами.

Обсуждался в первую очередь проект закона, по которому верховный надзор за нравами и сенатом навсегда передавался в ведение императора, а права корпорациисоправительницы сводились к пустым формальностям, и, следовательно, единодержавие становилось реальностью. Каждый аргумент, обосновывающий это предложение, разработали до мельчайших стилистических тонкостей. Потом занялись вопросом о том, как сочетать основные требования войны и мирной жизни. Тут надо было, с одной стороны, предоставить в распоряжение военного инженера Фронтинна большие суммы, чтобы он мог продолжать возведение вала для защиты от германских варваров, с другой — найти деньги для раздачи наград и повышения жалованья частям армии, отправляющимся на фронт. Вместе с тем нельзя было просто-напросто приостановить крупное строительство, начатое в Риме и в провинциях. Это могло повредить престижу императора. На чем же можно было сберечь деньги? Где и на что еще повысить налоги, не слишком обременяя подданных? Затем было решено, какие меры следует принять против беспокойных провинций, какие привилегии нужно им предоставить и какие отнять. Подробно обсудили, допустимо ли несколько смягчить предписания, ограничивающие разбивку новых виноградников за счет пашен. Нельзя, чтобы эта необходимая реформа стала уж слишком непопулярной. В заключение особенно долго остановились на давно задуманных законах в защиту нравственности: распоряжениях, сдерживающих все возрастающее стремление женщин к эмансипации, установлениях, ограничивающих роскошь в одежде, предписаниях, допускавших более строгий контроль над зрелищами. И опять советникам Домициана пришлось признать, что, когда он говорил о своей миссии верховного жреца — самыми суровыми мерами восстановить староримскую дисциплину и традиции, — это не было с его стороны лицемерием. И если он безрассудно отдавался собственным страстям и желаниям, то вместе с тем был глубоко проникнут верой в свою миссию — вернуть народ на путь добродетели и к религиозным истокам древних традиций. Римская дисциплина и римская мощь едины, одна не может существовать без другой, строгая добродетель — основа империи. Неподвижно и царственно сидел он за своим столом, вершил дела — и казался говорящей статуей. От него как бы исходила глубокая убежденность в своей миссии, и хотя министры слышали эти откровения бога До-

мициана уже не раз, им становилось жутко от его одержимости.

Но, впрочем, они деловито обсудили все вопросы под деловитым руководством императора и без всяких обид друг на друга. Домициан сумел слить себя и своих советников в единый организм, думавший единым мозгом. Собрание затянулось, все мечтали об отдыхе, но император не разрешал ни себе, ни своим советникам никакого перерыва.

И даже когда он наконец отпустил выбившихся из сил министров, Норбана он все-таки задержал. Правда, он поступил бы разумнее, дав себе немного передохнуть. Ведь впереди предстоял еще нелегкий семейный ужин. Знаток людей, Элий оказался прав: император решил сначала увидеться с Луцией в кругу семьи, а уже потом должно было последовать то объяснение с глазу на глаз, которого он так желал и так боялся. Именно из-за этого объяснения Домициан и решил предварительно побеседовать со своим министром полиции. Ведь только Норбан мог дать материал против Луции, такой материал, который пригодился бы императору для решительного разговора. Однако Норбан был молчалив и сегодня, а у Домициана и сегодня вопрос не шел с языка. Он ждал, чтобы Норбан заговорил сам. Это низость, что тот не дает по собственному почину сведений своему государю. И все-таки Норбан упрямился и молчал.

Император со вздохом отказался от надежды что-либо узнать о Луции. Но поскольку Норбан был здесь, начал выспрашивать его о Юлии. Его отношение к племяннице было двойственным и изменчивым. В свое время Тит, его брат, предложил ему в жены свою дочь Юлию, но Домициан, стремившийся тогда стать соправителем брата, решил, что от него хотят слишком дешево откупиться. Потом, отчасти из ненависти к брату, отчасти потому, что его привлекало полное ленивой прелести пышное тело Юлии, он уговорами и силой добился ее покорности. После того как Тит выдал Юлию за их двоюродного брата Сабина, даже именно поэтому, Домициан продолжал скандальную связь с ней. Теперь Тит мертв, Домициану незачем больше его бесить, но он успел привыкнуть к светловолосой, белокожей, медлительной Юлии. Она, видимо, полюбила его, а он искал в этой любви прибежища, когда его особенно терзал гнев на неприступную гордость Луции. И в зависимости от того, как с ним обращалась Луция, менялось и его отношение к Юлии.

И вот Юлия забеременела. Несколько времени тому назад он запретил ей спать с ее мужем Сабиним, его двою-

родным братом, и она клялась, что ребенок — от Домициана, не от Сабина; Домициан-мужчина очень хотел бы этому верить, но император Домициан недоверчив. Или, может быть, император Домициан тоже верит, ведь его, бога, не надуешь, но недоверчив Домициан-человек? Говорить об этих своих сомнениях с Норбаном он не стеснялся. Луция родила ему ребенка, но тот умер в двухлетнем возрасте, и лейб-медик Валент считает, что на потомство от Луции надеяться нечего. Вот если бы Юлия родила ему ребенка — это было бы замечательно. Но кто скажет, действительно ли плод, который она носит, — его дитя? Никогда он не будет вполне в этом уверен; ведь если даже у ребенка обнаружится фамильное сходство с Флавиями, оно может быть унаследовано и от нее самой, и от него, и от Сабина. Кто рассеет его сомнения?

Норбан не только был глубоко предан своему государю, он был ему искренним другом. И как он обрадовался бы, если бы у Домициана родился сын, которому тот завещал бы престол.

— У меня надежные люди в доме принца Сабина, — заявил Норбан, — люди зоркие. Они следят не за принцессой Юлией, а за принцем Сабиним. И мои люди решительно утверждают, что между принцем и принцессой отношения чисто родственные, а не супружеские.

Император устремил взгляд слегка выкаченных глаз, мутных и неподвижных, на министра полиции.

— Тебе хочется утешить владыку и бога Домициана, Норбан, — ответил он, — оттого что ты друг Домициану-мужчине.

Норбан многозначительно пожал широкими плечами:

— Я только передаю то, что мне сообщают верные люди.

— Во всяком случае, досадно, что Сабин, этот заносчивый дуралей, существует, — размышлял вслух Домициан. — Дурак он по натуре, а вот в том, что он так занесся, виноват Тит. Уверяю тебя, Норбан, мой брат Тит был в глубине души сентиментален, несмотря на металлический звон в голосе. Он этого Сабина набаловал из семейной чувствительности. То, что он выдал за него Юлию, — просто идиотизм.

— Мне не подобает критиковать бога Тита, — ответил Норбан.

— А я тебе говорю, — нетерпеливо возразил император, — что он частенько вел себя как идиот, этот самый бог Тит. Высокомерие Сабина действительно невыносимо. Оно уже почти граничит с государственной изменой.

— Он упорно держится в стороне от политики,— вставил министр полиции почти с сожалением.

— В том-то и дело,— сказал Домициан.— Зато он строит из себя Мецената для всяких снобов-интеллигентов, которые, конечно, настроены оппозиционно.

— Можно ли считать это государственной изменой? — задумчиво спросил Норбан.— Боюсь, этого недостаточно.

— Он нарядил своих слуг в белые ливреи, а это — привилегия императорского дома,— продолжал Домициан.

— Тоже недостаточно,— настаивал Норбан.— Потом он белую ливрею отменил, как вы ему приказали. Нет, всего этого недостаточно,— заключил он.— Но положитесь же на вашего Норбана, мой владыка и бог,— уговаривал он Домициана.— Против принца Сабина непременно возникнет какое-нибудь обвинение, уж такой он человек. А как только дойдет до этого, может быть, уже к вашему возвращению из похода, мой владыка и бог,— я вам сейчас же доложу.

Вечером император сначала поужинал один, он ел торопливо и много, ибо хотел быть сытым, чтобы за семейным ужином еда не отвлекала его от наблюдений за остальными. А остальные тем временем собрались в малом парадном зале Минервы. Здесь были: Луция, оба кузена императора — Сабин и Клемент с женами — Юлией и Домитиллой, а также два мальчика-близнеца — сыновья Клемента.

Караульные звякнули копьями об пол, Домициан вошел. Увидел Луцию, ее обращенное к нему смелое, ясное, смеющееся лицо, веселое, слегка насмешливое. О нет, пребывание на пустынном острове не укротило ее, не изменило. Он был рад, что они не вдвоем.

Своим деревянным тяжелым шагом подошел он к ней и поцеловал,— как должен был, следуя церемониалу, поцеловать каждого из присутствующих. Поцелуй был коротким и формальным, его губы едва коснулись ее щеки. Однако она почувствовала, как под его парадной одеждой забилося сердце. А он отдал бы целую провинцию, только бы узнать, спала она с кем-нибудь там, на своем острове, или нет. Почему он не расспросил Норбана? Неужели он боится его ответа?

Его охватило неистовое, едва укротимое желание увидеть шрам под ее левой грудью, нежно провести по нему пальцем. Да, он поистине великий властитель, истинный

римлянин, если может, испытывая столь яростное желание, все же обуздать себя и явить окружающим лик, полный спокойствия.

Итак, он обнимает своего двоюродного брата Сабина и целует его, как предписывает обычай. Препротивный мужчина этот Сабин, и глуп, и мнит о себе. Но на своего министра полиции Домициан может положиться. Настанет день, когда он уже не будет вынужден касаться своей щекой щеки Сабина.

Он повернулся к Юлии. Ее беременность еще не была заметна, но все присутствующие о ней уже знали. Наверное, слышала и Луция и тоже начнет теперь гадать, от кого ребенок: от Фузана или от дуралея Сабина? Когда император направился к Юлии, угловато отставив назад локти, слегка втянув живот, все лицо его пылало; но это еще ничего не доказывало, он краснел часто от всякого пустяка. Большие, широко раскрытые серо-голубые глаза Юлии были вопрошающе устремлены на него. За последние месяцы ей меньше пришлось страдать от его капризов, но ее ясный и трезвый ум подсказывал, что, как только он снова сойдется с Луцией, все будет по-прежнему. И вот Юлия стоит перед ним, эта истинная дочь Флавиев, крупная, земная. Но не кажется ли она несколько вульгарной рядом с Луцией? Домициан поцеловал ее, ее тонкая белая кожа, которая еще на днях так нравилась ему, потеряла для него всякую прелесть.

Затем он обнял и приветствовал поцелуем своего младшего двоюродного брата Клемента, ленивого тихоню, как он называл его, издеваясь. Ибо Клемент не интересовался политикой, в нем не было ни капли честолюбия, его сквозившая во всем ласковая небрежность раздражала императора, считавшего себя блюстителем истинно римских нравов. Большую часть времени Клемент проводил в деревне, с женой Домитиллой и близнецами. Там он изучал ханжеские догматы одной еврейской секты, а именно — нелепое учение минеев, или христиан, которые ожидали всяческого блаженства в загробной жизни, ибо считали, что жизнь земная не стоит трудов. Домициан находил эти догматы отвратительными, расслабляющими, бабьими, глупыми и совершенно недостойными римлянина. Нет, свидетель Геркулес, он и Клемента терпеть не может. Но кое в чем Клемент имеет перед ним преимущество, а в одном Домициан просто завидует ему: у него два сына-близнеца, четырехлетние принцы Констант и Петрон, львята, как Домициан любил называть этих послушных, ласковых

и крепких мальчуганов. Династия должна быть продолжена,— он этого горячо желает,— ни Сабин, ни Клемент для престола не годятся, кого произведет на свет Юлия — еще неизвестно, поэтому близнецы пока все, на что Домициан может рассчитывать, и в душе он лелеет мысль усыновить их. Только из-за них мирится он с присутствием кузена Клемента. Впрочем, Клемент на неприязнь отвечал неприязнью и с явным усилием перенес объятие и поцелуй Домициана.

Особенно злила и забавляла императора жена кузена, Домитилла; она была последней, кого он приветствовал поцелуем. Домитилла была дочерью его покойной сестры и унаследовала некоторые характерные черты Флавиев — белокурые волосы, крутой подбородок. Но она была щуплая, во всех смыслах щуплая, и вдобавок скупая на слова. Правда, светлые глаза Домитиллы выдавали ее пылкие, даже фанатические чувства. К Домициану она относилась с презрением, называла его не иначе как «этот», считая даже прозвище «Фузан» слишком для него лестным; он казался ей воплощенным принципом зла, и чтобы об этом догадаться, императору не нужен был его Норбан. Конечно, это она и поддерживала в своем слабовольном супруге пассивную враждебность и упорство его тихого и кроткого сопротивления. Конечно, это она вовлекла его в подозрительную еврейскую секту. Целуя сейчас Домитиллу, император обнял ее крепче, чем остальных. Она была ему совершенно не нужна, но именно для того, чтобы позлить ее, он не ограничился обычным официальным поцелуем, а долго и сердечно сжимал ее в объятиях.

За столом он был разговорчив и явно пребывал в отличном настроении. Правда, не отказал себе в удовольствии, как обычно, подразнить кузенов Сабина и Клемента, а также Домитиллу. Но не обиделся, когда Луция стала насмешливо хвалить его за умеренность и с одобрением признала, что живот у него вырос не намного. Юлии он с притворной озабоченностью посоветовал, чтобы она в своем положении соблюдала осторожность,— такое-то блюдо ела, а такое-то нет. Но больше всего шутил он с близнецами. Ласково гладил их по светлым мягким волосам, называл «мои львята». Принцы охотно принимали эти знаки внимания, видимо, они тоже любили дядю.

— Народ, солдаты и дети любят меня, с удовольствием отметил император.— Все, у кого здоровые инстинкты, меня любят.

— Разве у меня нездоровые инстинкты? — спросила Луция.

А Юлия ласково и непринужденно осведомилась:

— Значит ли это, что вы нашего бога Домициана не любите, моя Луция, или любите, несмотря на нездоровые инстинкты?

Но вот ужин окончен, все разошлись; Домициан почувствовал себя лучше вооруженным для объяснения с Луцией. Однако, когда они остались одни, он никак не мог начать. Луция это поняла, и на лице ее появилась широкая улыбка. Она сама начала разговор и благодаря этому все время направляла его.

— Я, собственно, должна была бы поблагодарить вас за ссылку, — сказала Луция. — Когда я узнала, что местом изгнания вы предназначили мне даже не Сицилию, а пустынный остров Пандатария, я, признаюсь, рассердилась и боялась, что там будет очень скучно. Но эта ссылка была таким переживанием, что жаль было бы не изведать его. Общаясь с десятком таких же ссыльных, как и я, и с местным пролетарским населением, я убедилась, что для внутренней жизни гораздо полезнее находиться на таком вот пустынном острове, чем в Альбанском поместье или на Палатине.

«А я все-таки спрошу Норбана, — злобно подумал Домициан, — спала ли она там с кем-нибудь и с кем именно».

— Когда вы сообразовали вернуть меня, — продолжала Луция, — я почти жалела об этом. Но я вовсе не отрицаю, что теперь, когда я вернулась, мне после пустынной Пандатарии очень нравится здесь, в Альбанском имении.

— Мне следовало применить закон о прелюбодеянии во всей строгости, — заметил, побагровев, Домициан. — Я должен был бы уничтожить вас, Луция.

— Вы капризны, мой владыка и бог, — ответила Луция, все так же улыбаясь. — Сначала вы зовете меня обратно, а потом говорите грубости. А не считаете ли вы, что несколько примитивно в любом случае прибегать к таким кровавым решениям? — Луция подошла к нему вплотную — она была выше Домициана — и слегка погладила его редкие волосы. — Это дурной вкус, Фузан, — сказала она, — и не свидетельствует о благородстве крови. Впрочем, я ведь смерти не боюсь. Полагаю, вам это известно. И если бы мне теперь пришлось умереть — смерть не слишком высокая плата за то, что я получила от жизни.

Да, от жизни она умела взять все, что можно, Домициан должен это признать. И смерти она действительно не боит-

ся, он в этом удостоверился. И в том, что она извлекла нечто ценное даже из своего изгнания, он тоже не сомневался. Нет, ее нельзя укротить, невозможно стать ее господином. Он возмущался все вновь и вновь той дерзостью, с какой она отстаивала свою правоту, и всякий раз эта дерзость сызнова покоряла его.

Он пытался найти в себе силы, чтобы устоять против нее. Ведь в отсутствие Луции он убедился, что ее можно заменить. Разве Юлия не стала ему больше чем наложницей? Разве он не ждет от Юлии ребенка? Разве и в его жизни не было всяких событий, пока Луция отсутствовала?

— Я тоже кое-чего достиг, когда тебя не было, Луция,— сказал он злобно.— Рим стал более римским, Рим стал более могущественным, сильным, и теперь в Риме больше дисциплины.

Но Луция просто рассмеялась в ответ.

— Не смейся, Луция! — остановил он ее, это были и просьба и приказ.— Это правда.— И добавил мягче, почти умоляюще: — Я ведь и ради тебя это делал, я для тебя старался, Луция.

Луция сидела молча и смотрела на него. Она замечала в нем все мелочное и смешное, но видела также его силу и способность властвовать. Одно она понимала: если у кого-нибудь в руках сосредоточена такая чудовищная полнота власти, как у ее Домициана, нужно быть очень большим человеком, чтобы не злоупотреблять ею. Будничной трезвости рассудка она от него не могла требовать, да и не требовала. Временами даже любила его за то, что он так одержим уверенностью, будто его рукою действует и его устами говорит бог. Ей казалось достойным презрения то, что он не может себя пересилить и убить ее, вместе с тем в изгнании Луция не раз тосковала по нем. Сейчас она смотрела на него задумчиво, затуманенным взглядом: она радовалась, что будет спать с ним. И все же Луция сознавала ясно: нужно не медля потребовать от него все, что она задумала, и заранее добиться согласия. Потом, после, будет уже поздно, и ей придется вести с ним борьбу целые годы. Она четко определила для себя то, что должна от него потребовать, и благоразумный Клавдий Регин ее одобрил.

— Вам следовало бы наконец передать мне монополию на производство кирпича,— сказала она вместо ответа.

Домициан был разочарован.

— Я говорю вам о Риме и о любви, а вы отвечаете мне словом «деньги»,— жалобно отозвался он.

— А я в изгнании поняла,— продолжала она,— какая важная вещь деньги. Даже на моем пустынном острове я могла бы деньгами многое облегчить и себе и другим. Нехорошо было с вашей стороны накладывать арест на мои доходы. Ну как, Фузан, получу я монополию на кирпич? — спросила она.

А он думал о шраме под ее грудью и был полон гнева и желания.

— Молчи! — властно приказал он.

— И не подумаю! Я говорю о монополии на производство кирпича,— продолжала она настаивать.— И ты ничего не добьешься, пока не скажешь «да». И не воображай, что сломил меня своей Пандатарией. Ты, наверно, думал, что я буду все время вспоминать судьбу Октавии или Юлии, жены Августа...

Тут он покраснел, так как добивался именно этого.

— Но ты ошибся. И если ты меня опять туда сошлешь, я все равно другой не стану, и так же, как я с весельем вспоминала о той Юлии, так и другая изгнанница на этом острове будет вспоминать обо мне скорее с завистью, чем со страхом.

Слушая эти намеки, Домициан убедился в полной мере, как бессилен он перед этой женщиной. Он искал слов, желая возразить ей. Но не успел их найти, ибо она возобновила свой бурный натиск и опять стала требовать:

— Думаешь, тебе одному нужен блеск? Если уж ты хочешь строить больше, чем твои предшественники, то и я хочу что-то от этого получать. Ну как, отдашь ты мне монополию на кирпич?

Пришлось все-таки уступить, и в ту ночь он даже ни разу не пожалел об этом.

Решения, одобренные императорским кабинетом министров, чтобы стать законами, подлежали еще утверждению сената. А потому — все эти решения были изложены в виде четырех законопроектов, и всего через несколько дней после заседания кабинета был созван сенат, чтобы их обсудить.

И вот, не выспавшись, избранные отцы собрались в белом величественном, огромном зале храма Мира, где они должны были совещаться. Одни сидели, другие стояли; было еще очень рано, заседание полагалось открыть точно с восходом солнца, ибо сенат имел право заседать только между восходом и закатом, а для того, чтобы обсудить

четыре законопроекта и принять решения, следовало не терять времени.

День был очень холодный, жаровни с углем не могли нагреть просторного зала. Сенаторы ждали, переминаясь с ноги на ногу, в своих пурпурных плащах и отороченных пурпуром туниках, озаренные мерцающим светом множества светильников и жаровен с углем, болтали, откашливались, поеживались, разминали ноги, обутые в неудобные парадные башмаки на высокой подошве, пытались отогреть руки грелками с горячей водой, которые они прятали в широких рукавах парадной одежды.

Большинство чувствовало себя дьявольски униженными тем, что им приходится теперь испытывать еще и все эти мелкие неудобства только ради того, чтобы на торжественном заседании утвердить законы, которые навсегда лишали их власти и подчиняли произволу этого Домициана, этого беспредельно наглого правнука мелкого конторского служащего. Но даже самые храбрые не решились уклониться.

То там, то здесь недовольные разговаривали вполголоса.

— Нет, все это стыд и позор,— вдруг не выдержал сенатор Гельвидий — тощий долговязый, морщинистый старик, и хотел было покинуть зал.

Публию Корнелию с трудом удалось удержать его.

— Я вполне понимаю, мой Гельвидий,— сказал он, все еще держа его за рукав,— что вы не хотите иметь никакого дела с подобным сенатом. При таком императоре нам всем хотелось бы сорвать с туники пурпурную кайму. Но чего вы достигнете, если сделаете красивый жест и уйдете отсюда? Император сочтет это за дерзкое упрямство, и рано или поздно вас ждет расплата. Та робкая, приниженная жизнь, которую мы вынуждены вести, это не жизнь, и сколь многие из нас предпочли бы ослепительную и величественную смерть. Но демонстративное мученичество бессмысленно. Сохраните благоразумие, мой Гельвидий. Важно, чтобы те, кто любит свободу, уцелели в такое время. Важно, чтобы они остались жить, даже если их жизнь и убога.— Корнелий был гораздо моложе Гельвидия, он был одним из самых молодых сенаторов, но, несмотря на молодость, на лице его залегли глубокие, угрюмые морщины. «Это он должен бы уговаривать меня,— думал Корнелий, мягко оттесняя Гельвидия на его место,— а не я его. Правда, мне легче, чем ему. Я живу для того, чтобы записывать все происходящее при нынешнем тиране. Если бы я постоянно не повторял себе этого, то, вероятно, тоже не имел бы сил выносить такую жизнь».

Наконец, за несколько минут до восхода солнца, прибыл Домициан. Двери здания распахнули настежь, чтобы заседание могло считаться публичным, и весь народ увидел императора, блистающего на своем возвышении. Облаченный в пурпур и золото, торжественно восседал он, готовый сохранять до конца ту же величественную позу. Он желал, чтобы те четыре закона, которые подлежали сегодня рассмотрению, его законы, были обсуждены и утверждены со всей возможной помпой.

Самый важный из этих законопроектов, дававший императору пожизненную цензуру и право исключать сенаторов из состава сената, стоял в повестке дня третьим. Необходимость такого закона была обоснована сенатором Юнием Маруллом, чье имя он и должен был носить. У этого элегантного старика выдался сегодня удачный денек, он чувствовал себя помолодевшим. Марулл, который с такой страстью задолго подготавливал себе всякие острые ощущения, теперь наслаждался предстоящей местью своим пуритански настроенным коллегам за враждебную иронию, с какой они нередко нападали на него, на этого «легкомысленного, утонченного сластолюбца». Сидя в торжественных позах и снедаемые гневом, эти республиканцы-консерваторы вынуждены были выслушивать, как их коллега Марулл, прославленный адвокат, с напускной деловитостью разъясняет им, что в целях устойчивости государственного управления сенату просто необходимо передать императору пожизненную цензуру и что если право верховного контроля не будет признано за владыкой и богом Домицианом — это грозит подорвать самое существование империи.

Сенатор Приск слушал, засунув руки в длинные рукава одежды. Своими глубоко сидящими маленькими глазками глядел он на разглагольствующего Марулла, прищурившись, закинув круглую, совершенно лысую голову. О, он говорил убедительно, этот Марулл, очень убедительно, защищая в высшей степени постыдное дело. Как охотно Приск, и сам обладавший даром слова, возразил бы Маруллу, а возразить можно было очень многое и очень метко, он сделал бы это с блеском. И все-таки сенатор Приск вынужден молчать, при императоре Домициане он обречен молчать. Ему оставалось единственное жалкое утешение: после заседания он вернется домой и все, что хотел бы высказать, запишет. А потом, когда-нибудь позднее, при удобном случае, он осторожно прочтет это шепотом в кругу

надежных друзей, и если чтение пройдет удачно, как будто случайно подсунет свою рукопись Марулли. Жалкое возмездие!

Сенатор Гельвидий, сын того Гельвидия, которого казнил отец нынешнего императора, скрипел зубами и кусал губы, вынужденный слушать позорные, но элегантные фразы Маруллы. Наконец он был уже не в силах сдерживаться. Он забыл предостережения Корнелия, поднялся — высокий, тощий, морщинистый старик, и зычным голосом крикнул Марулли:

— Это наглость! Это наглая ложь!

Марулл остановился на полуслове, устремил светлые серо-голубые глаза на прервавшего его Гельвидия, даже поднес к глазу увеличительный смарагд. Сам император, багровея, медленно повернул голову к подавшему реплику. Однако Корнелий уже успел одернуть Гельвидия, тот снова сел и больше не говорил ничего.

Когда Марулл кончил, перешли к прениям. Председательствующий консул выкликал имя каждого сенатора в порядке старшинства и спрашивал:

— Ваше мнение?

И не один охотно ответил бы: «Этот закон погубит империю и весь мир», — но ни один не дал такого ответа. Наоборот, каждый послушно заявлял: «Я согласен с Юнием Маруллом», — и разве только тон, каким это говорилось, выдавал стыд, горечь, негодование.

Во время перерыва, после голосования третьего законопроекта, Гельвидий сказал Корнелию:

— Если нашим пращурам было дано время от времени наслаждаться свободой в самой полной мере, то теперь мы терпим рабство в самой полной мере.

При обсуждении четвертого, последнего, вопроса — проекта более строгих законов о нравах, император сам взял слово. Когда дело касалось дисциплины и традиций, он просто не мог не выступать. И на этот раз он нашел достойные, решительные, очень римские выражения, чтобы еще раз сказать о своей убежденности в глубочайшей связи между дисциплиной и мощью. Нравственность, утверждал он, — это основа государства, поведение гражданина определяет его образ мыслей, и, принуждая человека вести себя достойно и нравственно, влияешь и на его душу, на его взгляды. Дисциплина и нравственность — условия существования всякого государственного строя, повиновение граждан — основа империи. Даже оппозиционно настроенные сенаторы вынуждены были признать, что потомок

мелкого чиновника говорит с достоинством, как истинный император.

Вдоль стен овального зала строгой шеренгой стояли изображения великих писателей и мыслителей, среди них — и бюст Иосифа Флавия, еврея, — этот бюст приказал поставить здесь император Тит. Слегка повернутая к плечу, высоко поднятая и надменная, худая и странно поблескивающая, безглазая и полная мудрой любознательности, присутствовала голова Иосифа на этом собрании сенаторов.

Десять дней спустя четыре медных таблицы, которые должны были навеки сберечь точный текст новых законов, были, как требовал обычай, сданы на хранение в государственный архив, и, таким образом, эти четыре закона вступили в силу. Начиная с этого дня император цезарь Домициан Август Германик получил пожизненное право по своему усмотрению исключать из сената его членов.

В невзрачный дом Иосифа, к великому удивлению соседей, явился императорский курьер. Он вручил Иосифу приглашение быть на следующий день на Палатине.

Сам Иосиф скорее удивился, чем испугался. За последние годы император лишь изредка удосуживался мимоходом бросить ему несколько слов. Не странно ли, что сейчас, перед своим отъездом, среди множества неотложных дел, Домициан все же пригласил его к себе. Быть может, это приглашение, или, вернее, приказ связан с событиями в Иудее? Все же Иосиф старался, на пути к Палатину, подавить в себе всякий страх. Бог не допустит, чтобы с ним случилась беда до того, как он закончит свой великий труд, свою «Всеобщую историю иудейского народа».

Когда Иосифа проводили к Домициану, он увидел, что на императоре поверх доспехов надет пурпурный плащ: сейчас же после разговора со своим евреем он намеревался принять депутацию сенаторов и генералов. И вот он стоял, прислонившись к колонне; жезл, знак императорской власти, лежал рядом, на столике. Комната была небольшой; тем величественнее казалась фигура императора. Иосиф отлично знал Домициана еще в те времена, когда тот был ничтожеством и лодырем и брат называл его не иначе, как «этот фрукт». Однако сейчас в сознании Иосифа против его воли образ этого человека слился с многочисленными скульптурными портретами, стоявшими вокруг; и теперь перед Иосифом был уже не «этот фрукт», но сам державный Рим.

Император был очень благосклонен.

— Подойдите поближе, мой Иосиф,— сказал он.— Нет, еще ближе, подойдите совсем близко! — Потом стал разглядывать его своими большими близорукими глазами.— О вас давно уже ничего не слышно, Иосиф,— начал он.— Вы что-то совсем притихли. Вы все время живете в Риме? Занимаетесь только вашей литературой? А над чем вы сейчас трудитесь? Продолжаете писать историю нашего времени? — И, не дав Иосифу ответить, добавил с легкой злорадной усмешкой: — А вы опишете, какое действие оказали на вашу Иудею мои меры?

Император сказал все, что хотел, но рот его остался приоткрытым, как у большинства его статуй. Спокойно и задумчиво смотрел Иосиф ему прямо в глаза. Он знал, с каким презрением относились к этому человеку отец и брат, и Домициан знал, что Иосиф это знает. У него, у Домициана, круто выступающий вперед подбородок, как у отца. Юношей он производил гораздо более внушительное впечатление, чем отец и брат, но сейчас достаточно приглядеться повнимательнее, чтобы увидеть, как мало в нем сохранилось сходства с его статуями. Если отнять у него атрибуты власти, если представить его себе не облеченным властью, а просто голым мужчиной, что тогда останется? Если за ним не будет стоять Рим, гигантский, мощный, то Домициан окажется обыкновенным человеком средних лет, толстогубым, с тощими ногами, преждевременным брюшком и преждевременной лысиной. Просто Фузаном. И все же он был императором Домицианом Германиком, и доспехи, пурпур и жезл оживали только благодаря ему.

— Я работаю над подробной историей моего народа,— с бесстрастной вежливостью ответил Иосиф.

Когда бы он с императором ни встретился, тот обращался к нему все с тем же вопросом и Иосиф давал тот же ответ.

— Иудейского народа? — мягко и с затаенным коварством спросил Домициан и этим задел Иосифа глубже, чем мог ожидать. И продолжал, снова не дав Иосифу ответить: — Возможно, что последние события окажут влияние и на вашу Иудею. Как вы думаете?

— Император Домициан прозревает суть событий глубже, чем я,— отозвался Иосиф.

— Событий — может быть, но людей — едва ли,— ответил император, играя жезлом.— Вы — трудный народ, и вряд ли хоть один римлянин может похвастаться, что знает вас. Мой губернатор Помпей Лонгин толковый чело-

век и неплохой психолог, он сообщает мне обо всем регулярно, добросовестно и обстоятельно. И все-таки,— согласись, что это так, еврей,— ты понимаешь больше, чем он, и знаешь лучше, как обстоят дела в Иудее.

Легкий страх закрался в душу Иосифа несмотря на то, что он напряг всю свою волю.

— Да, Иудею трудно разгадать,— ограничился он осторожным ответом. Тогда Домициан улыбнулся медленной, многозначительной и злой улыбкой, которую собеседник должен был заметить непременно.

— Почему вы так скрытничаете перед вашим императором, Иосиф? — спросил он.— Вам, очевидно, известны некоторые события, происходящие в моей провинции Иудее, о которых мой губернатор ничего не знает. Иначе вы едва ли написали бы некое послание. Сказать вам, что это за послание? Прочитировать из него отдельные места?

— Раз вы знаете это послание, ваше величество,— ответил Иосиф,— значит, вам известно и то, что в нем содержатся лишь призывы к осторожности. А призывать к осторожности людей, которые могут быть неосторожны, это, по-моему, в интересах империи и императора.

— Может быть, так,— задумчиво сказал император, все еще играя жезлом,— а может быть, и не так. Во всяком случае, ты,— и его пухлые губы насмешливо скривились,— как видно, считаешь нужным, чтобы среди этих мятежников в Иудее опять восстал какой-нибудь пророк и объявил полководца из дома Флавиев мессией. Разве вам, евреям, кажется, что Флавии все еще сидят на престоле недостаточно прочно?

Крупное багровое лицо императора стало теперь явно враждебным. Покраснел и Иосиф. Значит, Домициан считал, что в тот давний решительный час, когда Иосиф приветствовал Веспасиана как мессию, это был заранее подстроенный обман? Значит, он считал Иосифа продажным, предателем? Но сейчас нельзя об этом думать, ведь речь идет о более важном и неотложном.

— Мы полагали, что действуем в интересах империи и императора,— повторил он настойчиво, уклончиво.

— И немножко в интересах ваших евреев, мой еврей, и в ваших собственных? — спросил Домициан.— Разве нет? Иначе вы прямо обратились бы к моим чиновникам и генералам, предупредили бы их, предостерегли. Ведь в подобных случаях вы очень легко находите этих господ. Но я вполне представляю себе, что за этим кроется. Вам хотелось все это сгладить, смягчить, спасти виновных от

наказания.— Он слегка ударял жезлом по столику.— Вы ловкие заговорщики и интриганы, это известно.— Голос у него сорвался. Лицо налилось кровью. Но он взял себя в руки и закончил начатую мысль.— Та быстрота,— сказал он вкрадчиво и злобно,— с какой ты тогда включился в игру моего отца, свидетельствует о большом искусстве.

Иосиф был потрясен тем, что Домициан опять вернулся к тому моменту, когда он приветствовал Веспасиана как мессию. Тот эпизод он замуровал в своей памяти и неохотно о нем вспоминал. Насколько он тогда действительно верил? Насколько приказал себе верить? Иосиф отчетливо увидел, как он стоит перед Веспасианом, захваченный в плен, закованный в цепи, вероятно, обреченный на распятие. Словно заклинанием вызвал он в душе свое тогдашнее смятение и память о том, как что-то поднялось внутри и у него вырвались пророческие слова, в которых он приветствовал Веспасиана как мессию. Все увидел он вновь до малейших подробностей, увидел императора, разглядывавшего его светло-голубыми, пытливыми мужицкими глазами, видел наследного принца Тита, стенографировавшего их разговор, Кениду, подругу Веспасиана, подозрительную, враждебную. Нет, он как будто верил тогда в свои слова. А может быть — все-таки разыграл комедию, чтобы спасти свою жизнь?

Как бы глубоко он ни заглядывал в себя, он и сейчас не смог бы сказать, где в том, что он тогда возвестил, кончалась правда и начинался вымысел. И разве вымысел это не та же правда, только более высокая? Взять хотя бы рассказ минеев о мессии, умершем на кресте. Он, историк Иосиф Флавий, видит все нити этой легенды, он может всю ее распутать, показать, из каких разрозненных черт минеи создали образ своего мессии. Но чего он этим достигнет? Что останется у него в руках? Только крохи мертвого знания! И не является ли этот выдуманный, пригрезившийся мессия правдой более высокой, чем его фактическая, всего лишь историческая правда? По той же причине никто никогда не сможет сказать с уверенностью, в какой мере образ мессии, возникший в тот миг у него в душе, образ мессии Веспасиана, ставший впоследствии реальностью, в какой степени этот пригрезившийся ему мессия был для него с самого начала реальностью. Он и сам не смог бы этого сказать, а уж тем более император Домициан, который сейчас сидит перед ним и с издевкой смотрит на него.

— Что ты в конце концов имеешь против меня, мой еврей? — продолжал свои вопросы император Домициан тем же высоким, кротким голосом. — Моему отцу и моему брату ты служил хорошо, что же ты думаешь, я плачу хуже? Считаешь меня скрягой? Этого я еще ни от кого не слыхал. Я в самом деле плачу щедро, Иосиф Флавий, и за доброе и за худое, учтите это при своем историческом исследовании.

Иосиф слегка побледнел, но продолжал спокойно смотреть императору в лицо. Одетый в золото и пурпур, тот деревянным шагом подошел к Иосифу вплотную. Казалось, к Иосифу приближается пышная движущаяся статуя. Затем этот золотой и пурпурный человек дружелюбно, доверчиво обхватил рукой плечи Иосифа и вкрадчиво стал уговаривать его:

— Если б ты действительно хотел оказать мне услугу, мой Иосиф, сейчас тебе представляется удобный случай. Поезжай в Иудею! Возьмись руководить восстанием, как ты руководил им двадцать лет назад. Риму суждено властвовать над миром, ты знаешь это не хуже меня. Противиться предопределению бесполезно. Помоги же судьбе! Помоги нам, чтобы мы могли ударить в нужное время, как ты помог нам тогда. Помоги в нужную минуту, как ты тогда в нужную минуту узнал своего мессию. — Во вкрадчивом тоне, каким это было сказано, слышалась дьявольская издевка.

Иосиф, безмерно униженный, почти автоматически ответил вопросом:

— Вы желаете, чтобы Иудея восстала?

— Да, желаю, — вполголоса отозвался император, очень деловито, все еще обнимая Иосифа за плечи. — Желаю этого и в интересах твоих евреев. Ты ведь знаешь, они глупцы и в конце концов все-таки восстанут, как бы настойчиво их ни отговаривали благоразумные. Поэтому для всех будет лучше, если они восстанут поскорее. Лучше, если мы прикончим сейчас пятьсот вожаков, чем позднее не только пятьсот вожаков, но и сто тысяч их последователей. Я хочу, чтобы в Иудее наступило спокойствие, — заключил он жестко и резко.

— Разве спокойствие можно купить только такой большой кровью? — спросил Иосиф вполголоса, с тоской.

Но тут Домициан отстранился от него.

Я вижу, ты меня не любишь, — заявил он. — Вижу, что ты не хочешь оказать мне услугу. Ты хочешь записывать всякие старые истории, чтобы умножить славу твоего народа, но ради моей славы не хочешь и пальцем пошевелить

нута.— Домициан опять сидел перед ним, взмахивая жезлом.— А ведь ты очень дерзок, еврей, знаешь ты это? Воображаешь, что, если тебе дано право распределять славу и позор, ты можешь многое себе позволить? Но кто тебе сказал, что мне так уж важно мнение потомков? Берегись, мой еврей! Не загордись от того, что я так часто был к тебе великодушен. Рим могуществен и может позволить себе большое великодушие. Но помни, мы следим за тобой.

Иосиф был не из пугливых, и все же, когда его несли в носилках домой, он дрожал всем телом и во рту у него пересохло. Не только в предвидении беды, на которую его мог обречь Домициан, но еще и потому, что император пробудил в нем воспоминание о двусмысленном приветствии, с которым он некогда обратился к Веспасиану. Тогда, в страшную минуту, грозившую ему смертью, было ли то, что он возвестил, искренне или это был дерзкий и рискованный обман? Он этого не знал и никогда не узнает, а то, что пророчество его исполнилось, ведь еще ничего не доказывает. С другой стороны, ничего не доказывает и то, что Домициан нагло и без обвиняков назвал его обманщиком. И все же уверенность его исчезла, и если страх, что полицейские Норбана вот-вот придут и заберут его, скоро рассеялся,— теперь, после разговора с императором, ему понадобятся недели и месяцы, чтобы снова подавить воспоминания о той первой встрече с Веспасианом. Лишь очень медленно пришло успокоение, и он не скоро смог возвратиться к своей работе.

На другой день после встречи с Иосифом Домициан приказал отпереть храм Януса — в знак того, что империя снова ведет войну. Со скрежетом распахнулись тяжелые двери, открыв изображение двуликого бога, бога войны, бога сомнений: начало известно, но исхода не знает никто.

Впрочем, римляне пока отнеслись к этой войне не слишком серьезно. С искренним воодушевлением стояли они шеренгами вдоль улиц, по которым гарцевал император, уезжая из города на войну. Он знал, что римляне ждут от него зрелища, смутно жил в нем образ всадника, модель которого показывал скульптор Василий, и он хорошо сидел на коне.

Но в душе Домициан был рад, что скоро скроется с их глаз и сможет пересесть в свои носилки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Во время войны было трудно получать точные сведения с дакийского театра военных действий. Только в начале весны сообщения стали поступать чаще, хотя и были противоречивыми. В начале апреля в Риме была получена депеша: император подробно излагал своему сенату, как до сих пор протекал поход. Ему удалось, говорилось в этом сообщении, вместе со своим полководцем Фуском окончательно изгнать дакийских варваров с римской территории. Их государь Диурпан запросил перемирия. Но император не дал согласия на перемирие, напротив, чтобы отомстить за дерзкое вторжение во владения римлян, он поручил Фуску продвинуться на территорию врага. Поэтому Фуск с четырьмя легионами переправился через Дунай и вторгся в землю даков. Сам же император, после того как римляне достигли таких успехов, возвращается в Рим.

Еще более непонятными были вести, приходившие в эту зиму из Иудеи. Власти уверяли, что там началась «смута», но губернатор Помпей Лонгин быстро положил ей конец своей столь испытанной властной рукой. У евреев, а также у Клавдия Регина сложилось впечатление, будто в Кесарии, столице провинции Иудеи, стараются сделать вид, что все это пустяки.

Тем с большим волнением ждали вестей римские евреи, когда торговец земельными участками Иоанн Гисхальский вернулся из Иудеи. И вот они опять, как раньше, в тот тревожный вечер, сидят в доме у Иосифа, и Иоанн рассказывает. В Иудее все произошло именно так, как они опасались. Никакие предостережения не помогли, «Ревнителю дня» нельзя было удержать. Они увлекли за собой и значительную часть населения, и многие, прежде всего в Галилее, надели повязку с боевым лозунгом «Настанет день!». Но очень быстро выяснилось, что день еще отнюдь не настал, и за несколькими победами, одержанными в самом начале, последовал жестокий ответный удар; губернатор наконец получил повод, которого давно искал, чтобы принять решительные меры, и напустил своих легионеров даже на ту часть населения, которая ни в чем не участвовала.

— Вот как, — господа! Дошли до того, что стручками питались, — мрачно заключил он словами, которыми в Иудее обычно определяют крайнюю нужду.

Потом перешел к подробностям. Рассказал о бойне

и грабежах, сожженных синагогах, о тысячах распятых на кресте, о десятках тысяч проданных в рабство.

— Та задача, господа,— закончил он,— которую мы себе поставили, была все равно заранее обречена на провал. Вы не представляете, господа, как мучительно все время совать другому под нос трезвые возражения, когда на самом деле ты ему всем сердцем сочувствуешь и тебе хочется его обнять. Эти «Ревнители» — замечательные парни, вернее — были замечательными парнями.

Состоятельные, сытые, тщательно одетые господа, сидевшие в кабинете Иосифа, молча слушали взволнованного рассказчика и его горькие сетования. Они смотрели в пространство, но их взгляд был устремлен внутрь, и они видели, что все, о чем он говорил, ими однажды уже было пережито. Самым тяжелым в этом новом поражении было то, что из первого восстания, которое было подавлено, Иудея не извлекла, видимо, никаких уроков, что молодое поколение с тем же отважным, благородным и преступным безрассудством ринулось навстречу гибели, как и пятнадцать лет назад.

Наконец мебельщик Гай Барцаарон с присущей ему осторожностью выразил те опасения, которые испытывал каждый.

— В Иудее,— сказал он,— все кончено. Я спрашиваю себя, что ждет нас здесь.

Иоанн подергал узловатой мужицкой рукой свою бородку клином.

— Я всю дорогу дивился,— как это мне удалось вернуться домой целым и невредимым. Впрочем,— мрачно добавил он,— меня прямо-таки вынуждали зарабатывать деньги. Чтобы не привлекать к себе внимания, приходилось время от времени заниматься делами, а земли так сами и плыли в руки. Вы бы видели, что творилось на аукционах, на которых продавались конфискованные или выморочные участки. Как это было смешно и страшно! Когда я об этом вспоминаю, вспоминаю о происходившем в Иудее, мне кажется непостижимым, что я теперь спокойно сижу в своей конторе и занимаюсь делами.

— И я,— подхватил Гай Барцаарон,— просыпаюсь каждый день с одним и тем же ощущением: так дальше не может продолжаться. Сегодня они накинута на нас. Но факт остается фактом: мы живы, мы крутимся и суедемся, как раньше.

— При этом на Палатине известно,— хмуро проговорил Иосиф,— что автор того манифеста — я, и император

туманно и коварно угрожал мне. Почему меня не допрашивают? Почему не допрашивают никого из нас?

Все посмотрели на Клавдия Регина, словно именно от него ждали разъяснения. Министр пожал плечами.

— Император приказал, — отозвался он, — дожидаться его возвращения. Хорошо это или плохо — никто не знает, — вероятно, и сам DDD тоже.

Они устали перед собой. Надо было ждать все унылое утро и весь унылый день, всю унылую неделю и весь унылый месяц.

Вскоре после этой встречи Иоанн снова явился к Иосифу. Иосиф удивился такому гостю. Было время, когда они двое свирепо боролись друг с другом; потом их отношения постепенно смягчились, хотя дружескими так и не стали.

— Я хотел бы дать вам один совет, доктор Иосиф, — сказал Иоанн. — Как вы знаете, я интересуюсь земельными участками и, когда был в Иудее, воспользовался случаем, чтобы слегка сунуть нос и в ваше хозяйство. Доход с ваших владений под Газарой очень отстает от среднего дохода с таких же поместий. Это происходит потому, что ваши земли находятся в чисто иудейском районе и иудеи бойкотируют вашу продукцию, так как не могут простить вам вашего поведения во время Великой войны. Я говорю все как есть, это известно каждому, кто этим делом занимается. Ваш управляющий — неплохой хозяин, но уж если он, бедняга, начнет ныть и причитать, что все так запутано, то и не кончит никогда. Он мне подсчитал, сколько мог бы получать дохода с ваших земель, если бы они находились в местности, где живут разумные люди.

— Но ведь они находятся не там, — хмуро отозвался Иосиф.

— Разве нельзя помочь делу? — возразил Иоанн, и на его смуглом, хитром лице появилась широкая насмешливая улыбка, даже приплюснутый нос наморщился. — К сожалению, как я уже говорил вам, в Иудее после восстания осталось много свободной земли. Взять хотя бы имение Безр Симлай. Оно расположено поблизости от Кесарии, недалеко от самаритянской границы, стало быть, в районе со смешанным населением. Скот не так хорош, как в ваших имениях под Газарой, зато земля превосходная. Она дает масло и вино, финики, пшеницу, гранаты, орехи, миндаль, смокву. Второй раз такой товар нелегко найти даже по

теперешним временам, и ваш управляющий затянул бы великий галлель, если бы ему дали в руки имение Безр Симлай. Я закрепил за собой право преимущественной покупки. И я предлагаю вам это имение, мой Иосиф. Не упускайте его. До следующего еврейского восстания такого случая не представится.

Это была правда. Когда в свое время Веспасиан, а потом Тит предлагали ему земли в Иудее, он сделал неудачный выбор. Он действительно обосновался в осином гнезде, и то, что ему предлагал Иоанн — отказаться от земли под Газарой и переселиться в места со смешанным населением, — было всего правильнее. Но почему Иоанн предлагает имение Безр Симлай именно ему? Спекулянты земельными участками в Риме сейчас, когда смута прекратилась, с особым рвением занялись Иудеей, и, разумеется, нашлись бы тысячи желающих приобрести поместья в этом районе со смешанным населением. По какой же причине Иоанн, который так часто враждовал с Иосифом, хочет оказать ему эту дружескую услугу?

— Почему вы предлагаете именно мне это предходное имение? — спросил Иосиф напрямик, и в его вопросе чувствовалась прежняя неприязнь.

Иоанн посмотрел ему в глаза с притворным простодушием.

— Для евреев, которые не пользуются особым покровительством, кесарийские власти делают приобретение недвижимости в местностях со смешанным населением почти невозможным. Если тамошние земли попадут в руки язычников, то за какой-нибудь год из многих округов еврейское население совершенно исчезнет. И каждый, кто сохранил в себе хоть частицу, от духа иудейства, должен с этим бороться. Вы, мой Иосиф, римский всадник, вы связаны с Палатином, вам власти в Кесарии едва ли будут чинить препятствия. Поэтому лучше уж я раздобуду поместье Безр Симлай для вас, чем, например, для полковника Севера.

— И другой причины нет? — спросил с тем же недоверием Иосиф.

Иоанн добродушно рассмеялся.

— Есть, — откровенно признался он. — Больше я не буду играть с вами в прятки. Я намерен честно заключить с вами мир и хочу это доказать дружеской услугой. Иной раз вы бывали несправедливы ко мне, иной раз — я к вам. Но головы наши седеют, мы становимся ближе друг другу, а времена теперь такие, что людям, между которыми столь-

ко общего, лучше протянуть друг другу руку. — И так как Иосиф молчал, Иоанн попытался ему объяснить свою мысль: — Мы сидим в одном челноке, прошли через одни испытания. У меня единственная мечта — вернуться в Иудею, стать там крестьянином и выращивать маслины. И я мог бы это сделать. Но я удерживаю себя, я торчу здесь, в Риме, зарабатываю до ужаса много денег и не знаю, куда их девать, а сердце мое разрывается от тоски по Иудее. Я только потому туда не уезжаю, что там не смог бы совладать с собой и снова принялся бы возмущать народ против римлян, а это безнадежно и преступно. И с вами происходит в точности то же самое, мой Иосиф. Мы оба понимаем, что действовать уже слишком поздно или еще слишком рано. Мы оба испытываем ту же несчастную любовь к Иудее и к разуму, и разум нам обоим доставляет страдание. Многое в вас не нравится мне, и многое во мне, вероятно, не нравится вам, и все-таки я считаю, что между нами большое сходство.

Писатель Иосиф задумчиво разглядывал лицо крестьянина Иоанна. Когда-то они яростно боролись друг с другом. Иоанн видел в нем предателя, а он в Иоанне — дурака. Позднее, когда война давным-давно кончилась, Иосиф презирал Иоанна и считал идиотом за то, что тот объяснял войну ценами на масло и на вино, а Иоанн считал Иосифа идиотом за то, что Иосиф видит ее причину лишь во вражде Ягве с Юпитером. Теперь и глупец-писатель и умница-крестьянин понимали, что правы и не правы были оба и что причиной войны между иудеями и римлянами послужили как цены на масло и вино, так и вражда между Ягве и Юпитером.

— Вы правы, — согласился Иосиф.

— Конечно, прав, — горячо подтвердил Иоанн и, уверенный в своей правоте, добавил: — Впрочем, и на этот раз дело не дошло бы до восстания, если бы привилегированные сирийские и римские землевладельцы так гнусно не сбивали цены на продукты местного иудейского населения. Без этого «Ревнителям» не удалось бы поднять в стране восстание. Но мы не хотим разжигать этот давний спор, — прервал он себя. — Лучше пожмите мне руку и поблагодарите меня. Если я предлагаю вам имение Беэр Симлай, то действительно оказываю вам дружескую услугу.

Иосиф улыбнулся той грубоватой манере, с какой Иоанн предлагал ему свою дружбу.

— Вот увидите, — продолжал Иоанн, — сколько вопросов разрешатся сами собой, когда вы станете владельцем

Беэр Симлая. Конечно, невелика радость ехать в Газару, чтобы евреи там косились на вас. А когда вы обоснуетесь в Беэр Симлае, у вас перед самим собой будет оправдание, чтобы время от времени ездить в Иудею. Только не оставайтесь в Иудее, не давайте соблазнить себя! Не делайте этого, ради господа бога! Ведь искушение пуститься в опасные предприятия для нас слишком велико. Но ездить туда каждые два года, особенно когда есть внутреннее оправдание, и там отдохнуть от двух лет вынужденного благоразумия, — уверяю вас, Иосиф, это хорошо.

Иосиф схватил узловатую руку Иоанна.

— Благодарю вас, Иоанн, — сказал он, и в его голосе было то сияние, которое некогда привлекало к молодому Иосифу людские сердца. — Дайте мне два дня на размышление, — попросил он.

— Ладно, — согласился Иоанн. — А потом я пришлю к вам моего честного Гориона, он обсудит с вами все подробности. И напишите сейчас же вашему управляющему Феодору. Горион, конечно, попытается что-нибудь выговорить и в нашу пользу: это справедливо, и вам обойдется недорого. Но я позабочусь о том, чтобы неподходящей цены он вам не назначал. А если бы даже и так, все равно деньги останутся у нас, евреев.

Иосиф отправился к Маре.

— Послушай, Мара, жена моя, — сказал он, — я должен кое-что сообщить тебе. — И добавил: — Я продаю свое имение в Иудее.

Мара стала мертвенно-бледной.

— Пожалуйста, не пугайся, милая, — попросил он. — Вместо него я куплю другое, недалеко от Кесарии.

— Ты отказываешься от нашего имения, которое находится среди евреев, — спросила она, — и покупаешь другое, среди язычников?

— Выслушай меня внимательно, — продолжал Иосиф. — Я никогда не хотел возвращаться в Иудею и никогда не кривил душой, приводя этому причины. Но была еще одна, более глубокая причина. Я не хотел жить между Лиддой и Газарой. Жить в Риме, жить на чужбине, конечно, плохо. Но еще хуже жить чужаком на родине. Жить под Газарой, где евреи смотрят на тебя как на римлянина, — я бы этого не вынес.

— Значит, мы все-таки вернемся в Иудею? — спросила Мара, просияв.

— Не сейчас и не через год, — ответил Иосиф. — Но когда я закончу свой труд, — мы вернемся.

Иоанн привез Иосифу книгу, которая этой зимой, во время восстания, была анонимно выпущена в Иудее.

— Может быть, книга вам покажется несколько примитивной, мой Иосиф,— заметил он,— но мне она нравится, вероятно, оттого, что я и сам — человек примитивный. Все в Иудее были страшно увлечены этим героическим романом. С тех пор как вышла ваша книга о Маккавеях, доктор Иосиф, ни одно сочинение не пользовалось в Иудее таким успехом.

Иосиф прочел книгу. Фабула казалась невероятной, почти ребяческой, и к искусству эта вещь имела мало отношения. Однако и его она взволновала, и его воспламенил фанатизм «Книги Юдифь». Ах, как он завидовал анонимному поэту! Ведь он писал не ради славы, вернее всего и не ради самого произведения, он просто дал излиться своей ненависти к угнетателям. «Убивайте врагов, где бы вы с ними ни встретились», — возвещал он. «Поступайте, как поступила Юдифь. Хитрость, отвага, коварство, жестокость — хороши все средства! Отрубите ему голову, мордастому язычнику: этим вы послужите богу. Следуйте законам богословов и обрушьте на врагов. Кто служит богу, с тем и справедливость. Вы победите».

Вероятно, он был очень молод, этот человек, написавший «Книгу Юдифь», должно быть, он был религиозен и наивен, его жизни и смерти можно только позавидовать, — погиб-то он наверняка. Наверняка он не остался сидеть дома, а вместе с другими бил врагов и умер с верой на устах и в сердце. Если бы смотреть на жизнь так же просто и доверчиво, как он! Нет ничего выше, чем народ Израиля. Его мужи храбры, его женщины прекрасны, Юдифь — прекраснейшая из женщин на этой земле, она ни на миг не ведает сомнений, — так же, как и сам автор, — и даже маршал Великого царя забывает о войне, увидев эту женщину. Вообще автора этой книги никогда не грызли сомнения. Все для него нерушимо, как утес, и он твердо знает, что хорошо и что плохо. В чем состоит благочестие? Надо соблюдать законы богословов. А героизм? Идешь и сносишь врагу голову. Любой шаг в любом положении предписан заранее.

И все-таки — какая захватывающая книга! Когда эта женщина, эта Юдифь возвращается, торжествующая, неся отрубленную голову и полог, снятый с постели, — никто этого не сможет забыть. О, благословенная уверенность поэта: «Горе народам, восстающим против рода моего.

Вседержитель отмстит им в день суда, он пошлет в плоть их пламя и червей, и они будут выть от боли веки вечные».

Да, только такому и писать книги. А Иосифу это не так просто. В седую старину существовала у его народа героиня Иаиль, которая загнала спящему врагу кол в висок. Эта Иаиль и древние бурные и величественные песнопения поэтессы Деборы и навеяли, без сомнения, образ Юдифи. Он, Иосиф, тоже рассказывал в своем историческом труде об этой Иаили. Как он старался сохранять благоразумие и душевную трезвость, как укрощал себя, чтобы подавить воодушевление! А хоть бы раз дать себе волю, как этот молодой поэт! Все вновь и вновь перечитывает он небольшую книжечку, и она зажигает пожар в его крови. Восстание провалилось, но эта книжечка останется жить.

Через несколько дней он встретил Юста. Юст тоже прочел книгу о Юдифи. Какая примитивная стряпня! Народ, которого может увлечь эта нелепая сказка, заслуживает своих «Ревнителей грядущего дня», заслуживает своих римлян, и такого губернатора Лонгина, и такого Домициана. До чего же добропорядочный автор! Как стыдлива его Юдифь, даже переспать не может с этим ужасным Олоферном. Автор уберег ее от этого, она достигает цели раньше. С какой справедливой последовательностью Ягве у этого автора вознаграждает добро и карает зло. Вы только представьте себе, мой Иосиф, как бы повел себя на месте Олоферна реальный римский губернатор или даже реальный римский фельдфебель! Является к нему такая Юдифь в сопровождении прислужницы, которая несет за ней кушанья, приготовленные, разумеется, в строгом согласии с предписаниями наших богословов, чтобы она и в лагере врагов, боже упаси, не съела чего-нибудь запретного. Ее сейчас же пропускают к фельдмаршалу, — а как же иначе, ведь она такая красавица. А других красивых женщин фельдмаршалу предложить не могут — он вынужден ждать прихода красивой еврейки. И едва она появляется, он не только сразу же забывает начисто про войну, он напивается, в точности как было предусмотрено, и не прикасается к столь же благочестивой, сколь и прекрасной еврейке. Он просто-напросто ложится и дает ей отрубить ему голову. После чего все легионы тут же удирают. Увы, такими наши «Ревнители» представляют себе римлян, такой они представляют себе жизнь.

Этими словами, полными высокомерия и горечи, отзывался Юст о «Книге Юдифь». Иосиф не мог не признать, что его критика точно обнаружила все слабые места в кни-

ге. Но именно в этих слабостях крылась ее сила, они не портят книгу, по-прежнему вставал перед Иосифом образ Юдифи во всем ее величии и благородстве, когда она приносит своим голову Олоферна: «Вот голова Олоферна, вождя ассирийского войска, и вот полог его, под которым он лежал в опьянении!»

И Иосиф чувствовал, что он должен как бы смыть с книги и с мертвого автора насмешку Юста, и он взял книгу и отнес ее Маре, жене своей.

Мара принялась читать. Глаза ее засверкали, она выпрямилась, вдруг стала совсем молодой. И она произнесла вслух слова из песни Юдифи: «Не от юношей пал сильный их, не сыны великанов сразили его, погубила его Юдифь, дочь Мерарии, красотой лица своего погубила его». Ах, как жалела Мара, что она в Риме, а не в Иудее!

Упростив сюжет книги, она рассказала детям историю Юдифи. Потом дети затеяли игру. Иалта была Юдифью, Маттафий Олоферном, Иалта вытащила из какой-то корзины капустный кочан и торжествующе пропищала: «Смотрите, вот голова Олоферна, ассирийского военачальника!»

Иосиф видел, как они играют, и спрашивал себя, прав ли он, ибо сам раздул кошунственное пламя, хотя и самым невинным способом. Потом он улыбнулся: воодушевление Мары согрело и его.

А евреи города Рима переживали мрачные дни и мрачные недели. Ибо император путешествовал медленно, император не давал больше никаких указаний, император заставлял евреев ждать.

Никаких новых чрезвычайных мер против евреев города Рима пока не предпринималось. Только изданные до сих пор законы, ограничивающие их права, стали применяться с большей строгостью. Например, подушная подать, которой облагались только иудеи, стала взиматься с придирчивым педантизмом. Каждый еврей должен был самолично являться к квестору и вносить две драхмы, предназначавшиеся раньше для Иерусалимского храма, — теперь же правительство, ради издевки, определило эти деньги на содержание храма Юпитера Капитолийского.

Но в остальном будничная жизнь евреев не изменилась: по-прежнему следовали они своим обычаям и совершали богослужения. По слухам, кое-где в провинции население пыталось, воспользовавшись неблагоприятным

для евреев настроением, учинить погромы. Но власти тут же вмешались.

И вот наконец император прибыл в Рим. Стоял ясный, не слишком знойный июньский день, и вместе с гвардейцами, любившими своего щедрого полководца, сенат и народ приветствовали возвратившегося владыку, которого в этом походе его войска провозгласили императором в четырнадцатый раз. Для Рима лето начиналось ясно и празднично. Повсюду ликование, яркий солнечный свет, огромный город, казавшийся столь часто мрачным, ожесточенным, злобным, теперь был светел, добродушен, весел.

Но над иудеями как бы нависла туча. Несмотря на угнетавшую их память о разрушении храма, они могли, вот уже несколько десятилетий, жить в относительной безопасности, если бы не эти ужасные «Ревнителю грядущего дня», которые своим нелепым фанатизмом вновь и вновь навлекали на все еврейство беду. Самим «Ревнителям» пришлось жестоко поплатиться. А что ждет их, ни в чем не повинных евреев города Рима?

Однако с римскими евреями ничего не случилось, все по-прежнему было спокойно.

— Император никогда слова не скажет ни за, ни против вас, — сообщил Клавдий Регин своим еврейским друзьям.

— Да, император никогда против вас слова не скажет, — успокаивал их Юний Марулл.

Но Иоанн Гисхальский заявил:

— А я чувствую, я носом чую — что-то назревает. В душе Домициана что-то назревает. Конечно, мой Регин, конечно, мой Марулл, Домициан не говорит о евреях; может быть, он и сам еще не знает, какие именно планы в нем зреют. Но я, Иоханан бен Леви, крестьянин из Гисхалы, который чует заранее, что в этом году зима придет раньше, чем обычно, — я знаю.

Тот же корабль, прибывший из Иудеи, привез и письма Павла Финею и Дорион. Многословно, с наивным восторгом расписывал юный офицер, как губернатор Лонгин, не жалея сил, очищает страну. С увлечением рассказывал он о множестве мелких карательных экспедиций, предпринимавшихся против разрозненных групп «Ревнителю».

Финей и Дорион дали прочесть друг другу его письма. Оба искренне радовались тому, что наконец-то евреи наказаны за свою дерзость, но оба были встревожены: они не понимали, как может утонченный, стройный, элегантный Павел — их Павел — с явным удовольствием описывать во

всех подробностях эти неизбежные на войне мерзости и почему он так легко приспособился к солдатской жизни.

— Он не считает евреев за людей,— жаловалась Дорион,— он видит в них каких-то зловредных животных, которые годятся только как мишени на охотничьих состязаниях. Он находит жизнь в Иудее «забавной», вы заметили это слово, Финей? Он даже написал его по-гречески.

— Значит, мои уроки хоть на что-то пригодились,— мрачно отозвался Финей.— Нет, его письма меня не радуют.

Крупная болезненно-бледная голова Финея поникла, словно была слишком тяжела для тощего тела; горестно сидел он, не двигаясь, бессильно опустив тонкие, чересчур длинные руки.

— Надолго удержать его здесь мы все равно не смогли бы,— сказала Дорион, стараясь говорить спокойно.— Он и так ускользнул бы от нас. Все-таки лучше, если он станет настоящим римлянином, а не настоящим евреем. И утешительно, что для Иосифа это будет еще большим ударом, чем для нас.— Ее певучий голос стал твердым, ведь она заговорила о муже, ненавистном и любимом.— Его Иудея погибла окончательно, и его сын помог ее растоптать.

Дорион вдруг оживилась, она торжествовала. Финей поднял голову.

— Разве Иудея погибла? И вы считаете, Дорион, что для Иосифа было неожиданностью, когда «Ревнителей грядущего дня» так скоро разбили? Неужели вы считаете, что «Ревнители» и Иудея — одно и то же в его глазах?

— Письмо Павла причинило мне боль, сознаюсь,— сказала Дорион.— Не отнимайте же у меня утешения, что Иосиф ранен еще сильнее. Судьба Иудеи должна ранить его мучительнее, чем нас — письма Павла.

Она почти боязливо взглянула на него своими глазами цвета морской воды.

— Вы слишком умны, госпожа Дорион,— ответил Финей низким звучным голосом,— чтобы тешить себя иллюзиями. И вы отлично знаете, что Иудея Иосифа не имеет ничего общего с реальной провинцией Иудеей. До того, как хозяйничают сейчас в этой реальной Иудее наш Павел и его товарищи, Иосифу едва ли есть дело. Поверьте мне, его Иудея — это нечто абстрактное, недостижимое для огня и меча. Он безумец, как и все евреи. Только вчера я опять беседовал с капитаном Бэбием, который участвовал в сражении под Себастой. Он подтвердил то же, что рассказывали уже многие до него: Бэбий видел собственными глазами, как евреи в разгаре сражения бросали оружие. Это кажется

невероятным, и сами очевидцы долго не могли этому поверить: дело складывалось для евреев совсем не плохо, напротив, у них было преимущество, еще немного — и победа была бы за ними. Но они бросили оружие — потому, что их богословы запретили им сражаться в субботу, а суббота как раз наступила. Они просто-напросто дали себя перебить. Это сумасшедшие. И вы еще хотите, чтобы нынешние события в Иудее их задевали! А ведь Иосиф Флавий — их глашатай, их писатель.

— То, о чем вы говорите, Финей,— ответила Дорион,— вся эта битва при Себасте — единственный случай. Сам Иосиф рассказывал мне об этом, он побледнел от гнева при одном воспоминании. Но ничего подобного больше не происходило, это история, это изжито.

— Может быть,— согласился Финей,— теперь они сражаются и в субботний день. Но остались они все такими же сумасшедшими, только проявляется это по-иному. Взгляните на евреев хотя бы здесь, в Риме. Многие из них преуспели, они богаты, они причислены к знати, среди них найдется тысяч десять честолюбцев, которые жаждут признания римского общества. Но они не могут продвинуться дальше, не могут подняться по общественной лестнице, потому что они евреи, потому что, несмотря на всю терпимость наших законов, они в глазах общества покрыты бесчестьем. Почему, Зевс свидетель, эти богатые евреи не могут пойти и отречься от своего еврейства? Ведь достаточно принести жертву статуе какого-нибудь императора из рода Флавиев или другого божества,— и самое тяжелое препятствие устранено с их пути. А известно ли вам, сколько из восьмидесяти тысяч римских евреев это сделали? Мне это было любопытно, и я постарался установить точную цифру. Хотите знать, Дорион, число отрекшихся от своего иудейства? Их семнадцать. Семнадцать человек из восьмидесяти тысяч! — Финей поднялся; длинный, тощий, в светло-голубой одежде, стоял он перед ней, закинув крупную бледную голову и многозначительно подняв длинную тонкую руку.—И вы полагаете, госпожа Дорион, что людей такого склада удастся поколебать, если убить несколько тысяч из их числа? Вы полагаете, что можно ранить сердце и подорвать жизненную силу нашего Иосифа, если напустить Павла и его легион на «Ревнителей грядущего дня»?

— Вы сказали «нашего Иосифа»,— подхватила Дорион,— и вы правы. Он наш Иосиф. Он связан с нами той ненавистью, которой мы ненавидим его. И жизнь казалась

бы беднее, не будь у нас этой ненависти.— Дорион наконец овладела собой.— Только зачем вы все это мне говорите? — продолжала она.— Почему так ясно и беспощадно даете понять, что мы никакими средствами не можем его задеть?

Тошая спина Финей выпрямилась еще больше, он встал на носки серебряных башмаков, снова опустился, в его голосе прозвенела едва сдерживаемая ликующая ненависть.

— Теперь я нашел настоящее средство, единственное,— сказал он.

— Средство взять верх над Иосифом и его евреями? — спросила Дорион; ее узкое, хрупкое тело подалось навстречу Финею, высокий, тонкий голос от волнения звучал пронзительно.— И какое же это средство?

Финей сначала насладился ее нетерпением. Затем, с притворной сухостью, возвестил:

— Надо вырвать с корнем их бога. Надо уничтожить Ягве.

Дорион глубоко задумалась, разочарованная, сказала:

— Все это слова.

А Финей, будто не слыша ее замечания, продолжал:

— И существует верный путь, чтобы этого достичь. Послушайте меня, госпожа Дорион. Римляне разрушили государство евреев, их армию, их полицию, храм, правосудие, их суверенитет; но на религию покоренных, на их «культурную жизнь» они в своей высокомерной терпимости не посягнули. Важнее всего то, что евреям оставили маленький университет, это гнездо называется Ямния, и, по просьбе евреев, римляне даровали этому университету кое-какие невинные привилегии. В религиозных делах Ямнийской коллегии принадлежит верховная власть, а стало быть — и призрачное право вершить правосудие. Теперь слушайте дальше, моя Дорион. Будь наши римляне истинными государственными деятелями, какими они себя воображают, они с самого начала раскусили бы, в чем тут дело с этой коллегией в Ямнии, и сейчас же растоптали бы этот невинный университетик. Если бы не было никакой Ямнии, то и никакого Ягве не было бы и никаких еврейских мятежников, тогда пришел бы конец и нашему Иосифу с его иудейским духом, его книгами и его невыносимой гордыней.

Дорион ответила задумчиво, насмешливо, но ее насмешка звучала так, словно она готова была согласиться с любым опровержением:

— Вы так рассуждаете, мой Финей, словно души евреев вам известны не хуже, чем улицы города Рима. Не объясните ли вы подробнее, почему именно эта Ямния имеет для них такое значение?

— Охотно.— И Финей начал поучать ее с торжествующей невозмутимостью: — Я никогда не стал бы говорить так уверенно о моем плане сломить Иосифа и его евреев, если бы предварительно не проверил, в чем суть дела с этой Ямнией. Я расспрашивал сведущих лиц, чиновников и офицеров из администрации и из оккупационных войск в Иудее, прежде всего, конечно, губернатора Сальвидия, и тщательно сопоставлял мнения этих людей. Дело обстоит так: этот нелепый университет не обладает никакой властью, да и не ищет ее. Это действительно всего-навсего нелепая школка для подготовки богословов. Но во всей провинции не найдется ни одного еврея, который бы не делал взносов, точно установленных в соответствии с его средствами, на этот университет, и ни одного, кто бы не подчинялся его решениям. И обратите внимание — все это добровольно. Они повинуются государственной власти, но лишь по необходимости, а вот власти своей Ямнии они повинуются добровольно. Они приходят со своими тяжбами — не только религиозными, но и гражданскими — не в императорские суды, а к богословам Ямнии и подчиняются их решениям и приговорам. Бывали случаи, когда богословы приговаривали обвиняемого к смерти, мне со всей очевидностью доказали, что такие случаи бывали нередко. Разумеется, эти приговоры не имеют законной силы, они носили чисто академический характер и являлись заключениями теоретическими, ни для кого не обязательными. Но вы знаете, что сделали евреи, приговоренные таким способом к смерти? Они умерли. Действительно умерли. Мне об этом рассказывал губернатор Сальвидий, а Невий, верховный судья, подтвердил, и капитан Опитер тоже. Как эти евреи умерли — сами ли они себя прикончили или их прикончили,— этого я установить не смог. Но ясно одно: достаточно им было отдаться под защиту римлян, и они могли бы преотлично жить дальше в назидание всем. Но они предпочли умереть.

Дорион молчала. Словно застыв, сидела она, неподвижная, смуглая, узкая, как фигуры на древних суровых и угловатых египетских портретах.

— Уверяю вас, Дорион,— продолжал Финей,— университет в Ямнии — это крепость евреев, надежная крепость, она неприступнее, чем был Иерусалим и храм; наверное, это

самая неприступная твердыня на свете, и взять ее невидимые стены труднее, чем самые хитроумные ворота, построенные нашим Фронтином. Господа римляне этого не знают, губернатор Лонгин не знает, император не знает. А я, Финей, знаю, — оттого что я ненавижу Иосифа и его евреев. Маленький дурацкий университетик в Ямнии, семьдесят один богослов — вот центр провинции Иудеи! Отсюда правят евреями, а вовсе не из губернаторского дворца в Кесарии. И если нашего Павла еще трижды пошлют против евреев и если перебыют сто тысяч «Ревнителей грядущего дня», все будет бесполезно. Иудея остается жить, она живет в этом университете!

Дорион слушала с волнением. Ее дерзко выступавший на нежном надменном лице большой рот был полуоткрыт, придавая ей почти глупое выражение, мелкие зубы белели, глаза не отрывались от губ Финея.

— Значит, вы уверены, — медленно заговорила она, подводя итог, обдумывая каждое слово, — что центром еврейского сопротивления, так сказать, душой еврейства, является университет в Ямнии? — Госпожа Дорион была на вид очень хрупкой; но сейчас она взвешивала его слова, ее узкая каштановая голова и желтоватое лицо с выступающими надбровными дугами, тупым, слегка приплюснутым носом и приоткрытыми губами — все в ней казалось жестким, недобрым, даже опасным. — И сразить и обезвредить еврейство и Иосифа можно только тогда, когда будет разрушен университет в Ямнии, — закончила она свою мысль.

Глубоким, звучным голосом Финей согласился с нею и, стараясь скрыть мстительное и радостное волнение, подтвердил сухим, бесстрастным тоном:

— Разрушен, истреблен, уничтожен, растоптан, раздавлен, сровнен с землей.

— Благодарю вас, — сказала Дорион.

Университет в Ямнии, который в Риме до тех пор и по названию-то знали немногие, вдруг стал излюбленной темой разговоров, и люди яростно спорили, действительно ли центром непокорной провинции Иудеи является Ямния.

И побежали среди евреев смутные слухи о невыразимой, надвигавшейся на них беде. То, что, видимо, задумал Рим, было страшнее всего, что могли себе вообразить самые боязливые, из всех мыслимых ужасов это было самое ужасное. До сих пор враги нападали на тела евреев, на их

землю, их добро и имущество, на их государство. Они разрушили царство Израиля, они разрушили царство Иуды и храм Соломона. Веспасиан разрушил второе царство, а Тит — храм Маккавеев и Ирода. Планы, которые вынашивает третий Флавий, идут глубже, они направлены против самой души иудейства, против Книги, против Учения. Ибо носителями и хранителями Учения были богословы. Только коллегия в Ямнии не дает ему испариться и вернуться на небо, откуда оно пришло. Учение давало внутреннюю спаянность, и если угроза была направлена против коллегии в Ямнии, — тем самым ставились под угрозу душа и смысл иудаизма.

Однако до сих пор всегда находились великие и разумные мужи, которым удавалось спасти учение. Поэтому и сейчас все взоры устремились на человека, возглавлявшего коллегия и университет в Ямнии, на Гамалиила, верховного богослова. Верховный богослов был посланцем Ягве на земле, главою евреев не только в провинции Иудее, но и во всем мире. Стоявшие перед ним задачи были трудны и многообразны. Он должен был представлять перед римлянами свой народ и учение, сводить к единству разноречивые мнения богословов, должен был, не обладая внешними признаками власти, оберегать еврейские законы перед лицом масс. Его положение требовало энергии, такта, быстрых решений.

Гамалиил, рожденный и воспитанный для роли властителя, в очень молодых годах принял на себя наследственный сан и достоинство некоронованного царя Израильского; теперь ему как раз минуло сорок. Он оправдал возложенные на него надежды в борьбе с губернаторами Сильвой, Сальвидием, Лонгином. Мудро лавируя, он уберечь корабль учения и от тех, кто старался ввести его в гавань космополитического мессианизма. Уверенно и четко отсек он Закон от идеологии эллинизма — с одной стороны, и от верований минеев — с другой. Гамалиил достиг цели, только рисовавшейся Иоханану бен Заккаи, основателю коллегии в Ямнии: он укрепил единство иудеев законами об обрядах, в которых не допускал ни сомнений, ни колебаний. Власть погибшего государства он заменил властью обычаев и учения. Верховного богослова Гамалиила многие ненавидели, иные любили, и все уважали.

Он сразу понял, что судьба Ямнии, а тем самым и всего еврейства, будет решена не губернатором в Кесарии, но самим императором в Риме. Уже много лет делеял Гамалиил план поехать в Рим и выступить перед императором

в защиту своего народа. Но обрядовые законы запрещали путешествовать в субботу, и он, страж этого закона, не мог пуститься в путешествие, которое принудило бы его плыть по морю в субботний день. Он подумывал о том, чтобы поставить перед своей коллегией вопрос — не будет ли ему разрешено теперь, когда учению и всему еврейству угрожает опасность, все же преступить закон о субботе, как это допускается во время сражения. Однако богословы примутся, как обычно, спорить на этот счет, и спор затянется на несколько лет. А дело было срочное, и верховный богослов, не боясь вызвать их ропот, все решил единовластно, приказал некоторым из этих господ сопровождать его, и вот все^мером — число священное — они отплыли в Рим.

Торжественным и пышным было его прибытие в Рим. Иоанн Гисхальский отыскал для него дворец. Здесь когда-то иудейский царь Агриппа и принцесса Береника принимали приветствия римской знати. И здесь теперь остановился верховный богослов.

Из этого дома в Риме он правил теперь всеми евреями земного круга. Гамалиил не выставлял напоказ ни себя, ни своих целей. Он не давал блестящих празднеств, был приветлив без высокомерия. И все же он выглядел величественно, даже царственно, и сейчас, когда он находился в Риме, вдруг стало ясно, что еврейство, хоть и лишенное политической силы, все-таки оказывает воздействие на жизнь всего мира. Министры, сенаторы, художники, писатели искали встреч с Гамалиилом.

Но Домициан молчал. Верховный богослов доложил о себе, как полагалось на Палатине, и просил гофмаршала Криспина дать ему возможность выразить императору верноподданнические чувства евреев и их сокрушение по поводу безумия тех, кто дерзнул восстать против его гарнизона.

— Вот как? Он действительно этого хочет? — спросил император и усмехнулся.

Однако ответа не дал, не вспоминал и потом о верховном богослове и ни со своими доверенными советниками, ни с Луцией или с Юлией, ни с кем-либо еще не обмолвился больше ни словом ни о Гамалииле, ни о коллегии в Ямнии.

Тем более интересовались присутствием верховного богослова принц Флавий Клемент и его жена Домитилла.

Дело в том, что среди минеев города Рима, все чаще называвших себя теперь христианами, приезд Гамалиила вызвал большое волнение. Где бы этот человек ни появился, пояснил Иаков из Секании, вождь минеев, своему покровителю принцу, где бы Гамалиил ни появился, христианам

и их учению начинает грозить опасность. Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя, и хотя они очень хотели остаться евреями, изгнал их из общины и таким образом расколол еврейство на последователей старого и нового учения.

Принц Клемент внимательно слушал. Он был на два года старше императора, но казался моложе; волевого подбородка Флавиев у него не было, а приветливое лицо, бледно-голубые глаза и белокурые волосы придавали ему юношеский вид. Домициан любил высмеивать его и уверял, что он ленив духом. А на самом деле Клемент просто соображал медленнее других. Вот и сегодня он хотел, чтобы ему снова объяснили, в чем же, собственно, разница между старым иудейским учением и учением христиан, и хотя он спрашивал уже в третий или четвертый раз, Иаков из Секании терпеливо принялся ему объяснять.

— Гамалиил будет утверждать,— сказал он,— что мы не евреи, если верим, будто мессия уже явился, ибо такая вера есть «отречение от принципа». Но главная причина не в этом. Главная причина кроется в его желании сузить учение, сделать убогим и скудным, чтобы его можно было легко охватить одним взглядом. Он желает, чтобы верующие были как единое большое стадо, которое ему легко обозреть. Поэтому-то он и хочет запереть учение в стойло, в свой закон об обрядах.— Глядя на этого скромного бритого человека, скорее похожего на банкира или юриста, трудно было поверить, что его занимали почти исключительно вопросы религии.— Мы и сами вовсе не отрицаем этого закона,— продолжал он.— Мы протестуем только против утверждений верховного богослова, будто вся истина содержится в этом законе. А ведь там лишь половина истины, если же половина выдает себя за всю истину, то она хуже лжи. Каждый подлинный слуга Ягве считает своим священным долгом проповедовать дух Ягве среди всех народов, а не среди одних евреев. Но об этом Гамалиил умалчивает; и не только умалчивает, он борется против этого. Когда несколько лет назад ваш двоюродный брат Тит запретил производить обрезание над неевреями, мы были поставлены перед вопросом: от чего нам следует отказаться — от внешнего признака принадлежности к еврейству, от обрезания, или же от мировой миссии еврейства, от распространения его вероучения? Верховный богослов высказался за обрезание, за свой закон об обрядах, за национализм. Мы же, христиане, предпочитаем отказаться от обрезания, но хотим, чтобы весь мир приобщился к Ягве.

Верховный богослов отлично знает, что, по сути дела, мы — лучшие из евреев, ибо бог вдохнул в него острый ум и силу познания. Но так как он встал на сторону зла, он ненавидит нас и натравливает на нас римлян. Гамалиил уверяет, что причиной постоянных раздоров между Римом и евреями — наша страсть обращать людей в свою веру.

— Но ведь вы действительно стараетесь проповедовать ваше учение на всех углах и перекрестках,— задумчиво возразил принц Клемент.

— Да, верно,— согласился Иаков.— Так как верховный богослов из духовной скупости хочет, чтобы Ягве принадлежал только ему и его евреям, мы не можем допустить, чтобы изнемогли от духовной жажды те, кто ищет истины. Разве смею я сказать, например, вам, принц Клемент: нет, вы не можете приобщиться к Ягве, мессия умер не за вас? Имею ли я право скрыть от вас истину только потому, что императорский закон запрещает вам обрезание?

Иаков из Секании говорил хорошо, убежденность придавала жар его словам, хоть он их произносил очень спокойно, и Домитилла не отрывала взгляда своих серо-голубых, жестковатых и все же фанатичных глаз от его губ. Однако она была из рода Флавиев, а потому недоверчива.

— Почему же,— спросила она,— если вы владеете истинным Ягве, евреи идут за верховным богословом, а не за вами?

— Нет, и среди евреев все больше людей начинают понимать, где правда,— возразил Иаков,— они замечают, что богословы стремятся недозволенным образом неразрывно соединить Ягве с государством. А Ягве разрушил государство, допустил поражение евреев и во время последнего восстания, и это свидетельствует, что государство ему негодно, и среди евреев все растет число тех, кто не закрывает глаза на это свидетельство, растет число евреев, присоединяющихся к нам. Они больше не хотят государства, они хотят иметь только побольше бога. И они отвергают хитроумные и лицемерные рассуждения богословов, которыми те пытаются воскресить государство в законе об обрядах. Ибо этот закон — всего-навсего искусное прикрытие, а за ним стоит все то же старое государство, подчиненное священникам.

Домитилла, хотя и не противилась захватившей ее силе убеждения, с какой говорил Иаков, однако тотчас поспешила из мира абстракций перейти к близкой действительности, к сегодняшнему Риму. Она раскрыла тонкие губы и деловито подытожила:

— Значит, вы считаете верховного богослова своим злейшим врагом?

— Да,— ответил Иаков.— Так же точно враждуют между собой истина и ложь. Наш Ягве — Ягве пророков, он бог всего мира. Его Ягве — бог судей и царей, битв и завоеваний, это тень Ваала, которая всегда продолжала жить в Иудее. Гамалиил — человек умный, и он ловко спрятал своего Ваала. Но он служит Ваалу и ненавидит нас, ведь слуги Ваала неизменно преследовали слуг Ягве.

— И вы полагаете,— педантично настаивала Домитилла, упорно не желая покидать область конкретных фактов,— что верховный богослов воспользуется своим пребыванием здесь, в Риме, и постарается вам навредить?

— Конечно, постарается,— ответил Иаков.— Он будет спасать свой университет в Ямнии и свой закон об обрядах и приложит все усилия, чтобы император перенес свои подозрения на нас, христиан. Таким способом он действовал всегда. Изображал себя и своих евреев невинными агнцами; а бунтовщики — это мы. Мы проповедуем свою веру, мы хотим отвлечь римлян от Юпитера, пусть его заменит Ягве. В Кесарии он не раз добивался своего у губернатора, прибегая к такого рода доводам; почему бы ему не испробовать тот же способ, и с самим императором?

— Я знаю его,— отозвалась Домитилла,— знаю «этого».— Даже теперь она тоже назвала дядю, императора, «этот».— Я знаю «этого»,— сказала худая, белокурая, жесткая и фанатичная молодая женщина.— Конечно, он будет защищать Юпитера, своего Юпитера, Юпитера, как он его понимает. И, конечно, он таит злые замыслы против Ягве. Перед тем как нанести удар, он привык медлить, вероятно, он не делает различия между вами и евреями, и ему все равно, поразит ли удар верховного богослова и его Ямнию или вас. Но руку он уже занес и наверняка ударит. Все дело в том, на кого сейчас направлено его внимание.

Клемент внимательно слушал свою жену, как добросовестный, но медленно соображающий ученик.

— Если я тебя правильно понял,— сказал он, словно размышляя вслух,— то нам следовало бы, раз мы хотим спасти нашего Иакова и его учение, привлечь внимание DDD к университету в Ямнии. Надо, чтобы он нанес удар по верховному богослову и по университету.

Бледно-голубые глаза принца потемнели от волнения. Домитилла также ожидала, что ответит Иаков.

Но тот не хотел, чтобы его упрекнули, будто он затаил в душе жажду мщения. Если он идет против Гамалиила, то не из ревности, а лишь потому, что не видит иного способа спасти свою собственную веру.

— Я не питаю ненависти к верховному богослову, — произнес он спокойно и задумчиво. — Мы ни к кому не питаем ненависти. И если к нам относятся враждебно, то не потому, что мы враждебны. Мы вызываем вражду уже тем, что существуем.

— Так согласны вы или нет, что лучшее средство спасти вас — это запрещение университета в Ямнии и его деятельности? — настаивала Домитилла.

— К сожалению, это, вероятно, лучшее средство, — все так же задумчиво ответил Иаков.

Единственный доступный для Домитиллы путь к тому, чтобы заставить «этого» наложить запрет, вел через Юлию.

А в отношениях между Юлией и Домицианом произошли перемены. Сначала все сложилось так, как Юлия и опасалась: после возвращения Луции DDD стал с племянницей очень холоден. Он был весь полон Луцией, а на Юлию бросал иронические, даже ненавидящие взгляды. Когда она перед его отъездом на войну пришла к нему попрощаться, он, несмотря на спокойный характер Юлии, своими язвительными замечаниями довел ее до бешенства. Женщина с таким умом, как у нее, издевался Домициан, не способна постигнуть подлинное величие, и, наверное, она, несмотря на его запрещение, все-таки спала с этой хромой задницей, с Сабинном, она носит под сердцем ребенка от Сабина и пусть не воображает, что Домициан когда-нибудь усыновит ее балбеса. Но Юлия действительно не спала с Сабинном, не могло быть сомнения и в том, что ребенка она ждет от Домициана, и его злобное недоверие оскорбляло ее тем сильнее, что ей бывало отнюдь не легко, когда муж терзался возле нее, беспомощный и униженный. Для этой обычно столь спокойной дамы было крайне тягостно все время, пока отсутствовал император, жить рядом с укоризненно молчавшим Сабинном, она день и ночь мучилась тем, что не в силах рассеять нелепые подозрения DDD, и, когда незадолго до возвращения Домициана наконец родила мертвого ребенка, она приписала это тем волнениям, которым ее подвергал император своей низкой подозрительностью и чело-веконенавистничеством.

И вот, по возвращении из дакийского похода, Домициан увидел совсем другую Юлию. Она была уже не такой пышнотелой, ее белое, спокойно-надменное лицо казалось менее вялым, более одухотворенным. С другой стороны, и Луция встретила его не так, как он ожидал. Она не желала признавать в нем овечьного славой победителя, и он никак не мог ей внушить, что дакийская война, которая все еще тянулась, оказалась для римлян успешной. Его раздражала ее манера весело и снисходительно посмеиваться над ним; раздражало, что она догадывается почти обо всех его маленьких слабостях; что она столь многое, чем он гордится, ничуть в нем не ценит; что благодаря привилегиям, которые она так хитро у него выманила, ее кирпичные заводы приносят большие деньги, в то время как его казна опустошена войной. Поэтому Домициан иначе, более приветливо стал поглядывать на Юлию. Теперь он верил, что ребенка она родила от него, верил, что его несправедливые упреки послужили причиной смерти ребенка, и он снова желал ее; и оттого, что опечаленная и ожесточившаяся женщина не шла ему навстречу с былой ленивой ласковостью, еще более разгорались его желания.

Домитилла знала, что ее невестка и кузина Юлия снова пользуется благосклонностью императора. Иаков не раз внушал Домитилле, что если хочешь добиться победы правого дела, то нужно быть кроткой, как голубь, и мудрой, как змий. Она решила представить Юлии это дело с университетом в Ямнии так, чтобы Юлия приняла его близко к сердцу.

И ей удалось осторожно связать создание университета с завистью Домициана к Титу. Отец Юлии, Тит, захватил и разрушил Иерусалим, он был победителем Иудеи. Но с его славой «этот» не мог примириться. Он непременно желал доказать себе, Риму и миру, что Тит все же не справился со своей задачей, не победил Иудею, и ему, Домициану, осталось еще сделать немало — до конца подавить мятежную провинцию. И если Домициан, например, допускает, чтобы этот дурацкий верховный богослов Гамалиил здесь, в Риме, так важничал и задавался, то лишь из желания еще раз доказать всему городу, что евреи по-прежнему остаются определенной политической силой, что Тит не сломил их и покончить с ними — задача, предназначенная богами ему, Домициану.

Вот какие мысли мудрая Домитилла внушала Юлии, и когда Юлия оставалась потом одна, то продолжала разматывать их нить в том направлении, в каком хотелось

Домитилле. Совершенно ясно, что DDD только по злобе, только чтобы умалить память ее отца Тита, разрешает главному еврейскому попу столь дерзко разгуливать по улицам Рима. И то, что Домитилла подняла вопрос о запрещении университета в Ямнии, совсем неплохо. После всех обид, нанесенных ей DDD, она, Юлия, имела право на ощутимую милость. Она потребует, чтобы впредь он оставил те ловкие интриги, которые плед, желая опозорить память ее отца Тита. Пусть наложит запрет на Ямнию. И Домитилле удалось то, чего она добивалась, — сама того не ведая, Юлия стала защитницей минеев.

Когда Домициан в следующий раз пригласил ее к себе, она особенно тщательно занялась своей наружностью. Над белым лицом семью рядами локонов, перевитых драгоценными камнями, вздымались, подобно башне, ее чудесные пшеничного цвета волосы. Она чуть тронула краской свой энергичный чувственный рот — рот Флавиев, — чтобы он стал еще алее. Десятки раз проверяла она, как лежит каждая складка ее голубой одежды. Долго советовалась со своими служанками, какие из бесчисленных духов ей выбрать.

В пышном наряде явилась Юлия к Домициану. Он был хорошо настроен, приветлив. Она избегала, как обычно за последнее время, всяких фамильярностей; взамен она принялась рассказывать ему светские сплетни, как бы между прочим упомянула и о еврейском верховном жреце. Она находит его поведение здесь, в Риме, просто скандальным, он держится точно независимый государь. Считает свой дурацкий университет, — наверное, что-нибудь вроде сельской школы, где учат всяким суевериям, — центром земли, а так как среди римских снобов любое мнение тем скорее находит приверженцев, чем оно сумасброднее, то если никто этого еврейского попа не остановит, дело кончится тем, что молодые римляне еще будут ездить в Ямнию учиться.

Все это Юлия выложила со скрытой иронией. Но недоверчивый Домициан сейчас же заподозрил, что за ее спиной стоят его ненавистные кузены. И он ответил с кривой усмешкой:

— Итак, вы хотели бы, кузина Юлия, чтобы я показал этому еврейскому жрецу, кто здесь хозяин?

— Ну да, — ответила Юлия как можно равнодушно, — мне кажется, это было бы полезно, а меня позабавило бы.

— Рад слышать, племянница Юлия,— ответил с подчеркнутой вежливостью Домициан,— что вы так заботитесь о престиже дома Флавиев,— вы и, вероятно, ваши родственники.— Потом сухо закончил: — Благодарю вас.

Однако Юлия не отступилась от своего намерения. Когда он принялся расстегивать ей платье и распускать с таким искусством воздвигнутую прическу, она снова завела разговор об университете в Ямнии и потребовала заверений и обещаний. Домициан стал ее вышучивать. Она же, хоть и называла его «Фузаном», продолжала настаивать, окаменела в его объятиях и не спешила уступить, но полусуто-полусерьезно настаивала, чтобы он сначала обещал исполнить ее просьбу. Однако он пустил в ход силу, и она, покоренная именно этой грубостью, уступила и подчинилась его властным рукам.

Она уходила от него, получив лишь несколько часов наслаждения. Но в деле Домитиллы и минеев она не добилась ничего. Император ни единым словом не выдал, как он намерен поступить с университетом в Ямнии.

Советники Домициана тоже считали, что пора в это дело внести ясность. Вопрос о том, когда примет император верховного богоєлова и примет ли вообще, относился к компетенции гофмаршала Криспина. А тот, как египтянин, с детства питал глубокую неприязнь ко всему еврейскому. Он доложил императору просьбу верховного богоєлова об аудиенции, это была его обязанность. Но он был очень доволен, что из-за упорного молчания DDD положение Гамалиила в Риме становилось все более смешным и шатким.

В конце концов друзья евреев попытались поставить дело Гамалиила на рассмотрение кабинета. При обсуждении какого-то религиозного вопроса, касавшегося одной из восточных провинций, Марулл заявил, что ему кажется вполне уместным выяснить сейчас и вопрос об университете в Ямнии. Клавдий Регин подхватил это предложение с обычным сонным мужеством. Разве вообще поднят вопрос об университете в Ямнии? — удивился он. А если бы даже такой вопрос и возник, то не служит ли на него ответом то обстоятельство, что император разрешает так долго жить в Риме верховному иудейскому жрецу и не вызывает его к себе на суд? Несмотря на его столь продолжительное пребывание здесь, против университета ничего не предпринимается, и это может быть истолковано только как про-

явление терпимости, даже как новое подтверждение прав университета на существование. Другое решение немислимо, оно было бы возможно, только если бы Рим захотел покончить со своей исконной политикой в области культуры. Свобода вероисповедания — один из столпов, на которых покоится Римская империя; посягательство на такое религиозное учреждение, как школа в Ямнии, было бы, конечно, воспринято всеми покоренными народами как угроза для всех центров их культа. Закрытие университета в Ямнии явилось бы опасным прецедентом и вызвало бы ненужные волнения.

Клавдий Регин весьма искусно надергал фраз из официальной доктрины императора и апеллировал к Домициану, как к хранителю римских традиций. При этом он украдкой следил за лицом императора. Но тот несколько секунд смотрел на него своими выпуклыми близорукими глазами молча, задумчиво и рассеянно, потом медленно повернул голову к другим господам. Однако Регин, наблюдавший его много лет, понял, что его слова произвели на DDD некоторое впечатление. Так оно и было. Домициан подумал про себя, что в доводах Регина есть смысл. Но они прились совсем некстати. Ибо он хотел принять решение совершенно независимо от каких-либо подсказок, хотел сохранить свободу действий, — пусть вопрос останется открытым. И вот он сидел, ничего не говоря, ждал, когда кто-нибудь из его советников возразит Регину.

Нет, он лично не может согласиться, начал Криспин, сюсюкая и пришепечывая (так говорили по-гречески снобы в университетах Коринфа и Александрии, и этот выговор считался аристократическим), — он никак не может согласиться с тем, будто бы государь своим молчанием что-либо подтвердил. И раньше случалось, что не только посланцев, даже царей варварских народов заставляли месяцами ждать аудиенции. Когда египтянин, дав волю своей ненависти, назвал евреев варварами, все подняли головы и украдкой взглянули на императора. Но тот был неподвижен.

Министр полиции Норбан поспешил на помощь Криспину.

— Уже сам по себе приезд в Рим еврейского верховного жреца, которого никто не звал, — это навязчивость и дерзость, — заявил Норбан. — Если у него есть какая-нибудь просьба или жалоба — пусть сообразовалит обратиться к императорскому губернатору в Кесарии. Мои люди в один голос сообщают мне, что с тех пор, как в Рим при-

был из Ямнии верховный жрец, евреи очень обнаглели. Заккрытие университета было бы хорошим способом умерить их дерзость.

Норбан старался, чтобы его широкое угловатое лицо с модными нелепыми завитками свисающих на лоб жестких иссиня-черных волос оставалось бесстрастным, а интонации — деловито-сдержанными. Но шитые белыми нитками возражения министра полиции, как видно, не могли в глазах императора лишить силы доводы Регина. Домициан сидел молча, насупившись, ждал. Ждал более удачных опровержений, которые вернули бы ему возможность свободно решать самому. И тут на помощь ему пришел советник, от которого он меньше всего мог этого ожидать, — Анний Басс. Госпожа Дорион терпеливо и искусно вдалбливала в голову простодушного солдата доводы, отточенные специально для того, чтобы оказать действие на Домициана; она повторяла их до тех пор, пока Анний не стал считать их своими собственными. Конечно, обстоятельно разъяснял он, согласно старинной римской государственной мудрости и традиции, следует щадить культурную жизнь завоеванных стран и оставлять побежденным народам их богов и их религию. Но евреи сами лишили себя такой привилегии. Преследуя свои коварные цели, они отняли у великодушного победителя возможность отделить их религию от их политики, ибо всю свою религию до самых сокровенных ее глубин они пропитали политикой. Даже если с ними обращаться иначе, чем с остальными покоренными народами, — те поймут это и не будут делать ложных выводов. Ведь евреи искони стремились быть избранным народом и сами враждебно исключили себя из мирного круга автономных в своей культуре наций, входящих в состав империи. Их бог Ягве тоже не такой, как боги других народов, он не настоящий бог, у него нет изображений, нельзя поставить его статую в римском храме, как ставят статуи других богов. Он лишен образа, это всего-навсего строптивый дух еврейской национальной политики. И если цель Рима — действительно подчинить себе евреев, то едва ли допустимо щадить их бога Ягве и его университет в Ямнии. Ибо Ягве — это просто-напросто синоним государственной измены.

Столь глубокомысленные речи от простого солдата Анния Басса советники императора не привыкли слышать. Марулл и Регин улыбались; они догадывались, в чем тут дело, — за этими рассуждениями явно стояла

госпожа Дорион. Однако император слушал военного министра с удовольствием. Кто бы все эти рассуждения ни придумал, они казались ему убедительным ответом на слова Регина и возвращали ему, императору, свободу решений.

Хватит разговоров про верховного богослова и университет. Одним движением руки он зачеркнул всю эту тему и заговорил о другом.

На следующий вечер Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы. Манекен, облаченный в одежды Юпитера, в искусно сделанной восковой маске, изображавшей лицо этого бога, возлежал на застольном ложе, а на высоких позолоченных стульях сидели манекены в масках обеих богинь. В этом обществе и ужинал Домициан. Слуги в белых сандалиях подавали и уносили кушанья; они служили усердно и неслышно, опасаясь помешать разговору Домициана с его божественными гостями.

Домициан решил посоветоваться с ними, как ему быть в трудном споре с чужим богом Ягве. Ибо разделились не только голоса его советников, но и голоса, звучавшие в его собственной душе. Ему хотелось и разрушить высшую школу в Ямнии, и властной рукой защитить ее. Он никак не мог принять решение.

С Митрой или Исидой можно поладить; им можно воздвигнуть статуи, известно немало способов их умилистить, если оскорбишь их почитателей; но как быть с этим богом Ягве, когда у него нет образа, нет лика, когда он лишен вещественности, подобен несущим лихорадку болотным испарениям и их блуждающим огонькам: их нельзя схватить, их можешь познать только по вредоносному действию.

Анний Басс как-то рассказывал ему, что дом этого Ягве, белый с золотом храм, «то самое», как называли его римские солдаты, одним своим видом угнетал души осаждающих, вызывал в них болезнь. Он тогда их чуть с ума не свел. Тит всю жизнь боялся мести бога Ягве, ибо оскорбил его, разрушил его дом. И последнее, что он сделал, он попросил прощения за эту обиду у еврея Иосифа.

Он, Домициан, не ведает страха, но он верховный жрец, он представляет на земле Юпитера Капитолийского, он почитает всех богов, и он избегает затевать ссору с чужим богом и его верховным жрецом. Он будет обращаться осторожно с этим богословом. Ведь евреи хитры. Подобно тому как отряды римлян идут на штурм «черепашей», спря-

тавшись под кровлей из щитов, так же прячутся и евреи под покровом своего невидимого бога.

Но, может быть, это все обман? Может быть, его совсем не существует, их невидимого бога?

Собственные боги должны ему помочь, дать совет. Поэтому-то он и облекся в торжественные одежды и пригласил их в гости, поэтому вкушает с ними пищу, поэтому на золотых тарелках перед ними лежат окутанные паром куски свинины, баранины и телятины.

Он старается быть достойным таких гостей, тянется вверх, силится придать своему лицу такое же выражение, как на его статуях: голова с львиным лбом чуть откинута назад, брови угрожающие сдвинуты, ноздри слегка раздуваются, рот полуоткрыт — и вот он погружает взгляд в глаза божественных сотрапезников, ожидая, что они просветят его, дадут совет.

Так как Юпитер молчит и Юнона тоже не подает голоса, он обращается к Минерве, своей любимой богине. Вот она перед ним. Он избавил ее от дешевой идеализации, от миловидности, которую скульпторы придавали ее изображению, и вернул ей совиные очи, которые были у нее искони; их вставил Критий, великий мастер. Да, для него, Домициана, она — совоокая Минерва. Он чувствует в ней зверя, как чувствует зверя в себе, — мощную первобытную силу. Своими большими, близорукими глазами навывкате смотрит он не отрываясь в большие, круглые совиные глаза богини. Он ощущает глубокую связь с ней. И он обращается к ней; вслух, не смущаясь растерянных слуг, которые стараются не слышать и все же вынуждены слышать, он заговаривает с ней. Он пытается придать своему резкому голосу мягкость, называет богиню всякими хвалебными и ласкательными именами — греческими, латинскими, всеми, какие ему только приходят на ум.

Покровительница града сего, говорит он ей, Хранительница ключей, Защитница, маленькая любимая Воительница, что всегда в первом ряду, моя Непокорная, Побеждающая, Захватчица добычи, Изобретательница звучных флейт, Помощница, Премудрая, Прозорливица, Искусница.

И — удивительное дело! — она наконец снисходит и отвечает ему. Этот Ягве, говорит она, лукавый бог, восточный бог, он ужасный хитрец. Он желает обмануть тебя, римлянина, со своим университетом в Ямнии. Он хочет вовлечь тебя в кошунство, чтобы получить повод покарать и погубить тебя. Ибо он мстителен, и так как твой брат уже у подземных богов, он примется за тебя и задаст тебе.

Держись спокойно, не поддавайся соблазну, наберись терпения.

Домициан усмехается своей долгой, мрачной усмешкой. Нет, богу Ягве не провести бога Домициана. Он и не подумает упразднить этот дурацкий университет в Ямнии. Но открывать свои планы верховному богослову он тоже не будет. Если бог Ягве требует от него, Домициана, терпения, то он, император Домициан, потребует терпения от его верховного жреца. Пусть этот Гамалиил покорчится от страха. Пусть растает, раскиснет от одного ожидания.

Весело, полный благодарности, прощается Домициан со своими богами.



И верховный богослов ждал.

Скоро ясной погоде конец, скоро наступит зима, и путешествие по морю станет невозможным. Если верховный богослов хочет вернуться в свою Иудею, пора собираться в дорогу.

Он не собирается в дорогу. Ему все равно, что его продолжительное пребывание в Риме производит уже странное, даже неприятное впечатление. Ни одним словом не обмолвился он о том, как его мучит молчание императора, дерзкое пренебрежение, которое тот выказывает всему еврейскому народу в его лице. Гамалиил по-прежнему окружен свитой, держится величественно и любезно.

Обычай требовал, чтобы Иосиф нанес верховному богослову визит. Иоанн Гисхальский старался уговорить его; но Иосиф все не шел. В Иудее он был свидетелем тех жестокостей, к которым иногда вынуждал Гамалиила его сан верховного жреца всего еврейства, и какие бы оправдания для этой суровости ни находил рассудок Иосифа, его сердце не принимало ее.

Невзирая на обиду, Гамалиил пригласил его к себе.

За те шесть лет, что Иосиф его не видел, верховный богослов очень постарел. В его коротко подстриженной квадратной рыжеватой бороде, скорее подчеркивавшей, чем скрывавшей рот и подбородок, уже блестели серебряные нити, и когда этот статный и крепкий господин полагал, что за ним не наблюдают, его плечи опускались, карие глаза в глубоких глазницах теряли свой блеск, а выступающий вперед подбородок — свою решительность.

Как будто за это время ничего не произошло, Гамалиил начал разговор с того, на чем он закончился шесть лет назад.

— Какая жалость,— сказал он,— что вы тогда отказались от моего предложения представлять нашу внешнюю политику в Кесарии и в Риме. Среди нас есть много людей, обладающих недюжинным умом, но мало таких, которые могли бы помочь человеку, обреченному руководить политикой евреев. Я очень одинок, Иосиф.

— А я считаю, что поступил тогда правильно,— ответил Иосиф.— Дело, которое вы хотели поручить мне, требовало и жестокости и гибкости. У меня нет ни того, ни другого.

Гамалиил и на этот раз держался с ним вполне доверительно. Ни словом не дал он Иосифу понять, что за это время тот во многом утратил уважение соплеменников. Наоборот, он говорил с ним, как с равноправным вождем еврейства. Он обхаживал Иосифа, казалось даже, будто он считает своим долгом отчитаться перед ним в своей политике.

Верховный богослов пытался доказать, что тот жестокий удар, которым он тогда отсекал минеев от иудеев, был оправдан всем дальнейшим ходом событий.

— В чем мы нуждались,— пояснил он,— так это в ясности. И теперь она у нас есть. Теперь установлен единственный, помимо веры в Ягве, конечно, критерий, по которому мы решаем — наш этот человек или нет, еврей он или нет. И этот критерий — вера в то, что мессия явится только в будущем. Тот, кто верит, что он уже явился, кто, таким образом, отказывается от надежды на возрождение Израиля, кто отказывается от восстановления Иерусалима и храма,— такой человек нам совершенно чужд. Откровенно признаюсь вам, Иосиф, я уверен, что страдания, которыми нас поразили господь, пошли на благо. Испытания помогают нам отличать тех, кто достаточно силен, чтобы сохранить надежду, от мягкотелых, от тех, кто готов отречься от себя, потому что их распятый мессия якобы принес себя в жертву. Пусть миней с их сладостным и соблазнительным Евангелием вербуют новых сторонников. Я не жалею о примыкающих к ним, они никогда не были настоящими евреями! Ягве минеев, этого так называемого всемирного Ягве, теперь спасать незачем, мы должны от него отказаться, нам не нужен бог, который ускользает, как только хочешь его ухватить, за него удержаться. А с помощью закона и обычаев мы спасем хотя бы Ягве Израиля.

Ах, Иосиф уже слышал эту песню. Он уже сотни раз убеждался на опыте, что если человек хочет заниматься

политикой, ему приходится подмешивать к своей истине немало лжи.

— Тому, кто идею не только возвещает,— сказал верховный богослов,— тому, кто за нее идет в бой, приходится кое-чем в ней и поступаться. Человеку, который пишет, нужны лишь голова да пальцы; а тот, кто послан в мир действия, нуждается и в крепких кулаках.

Нет, сказал себе Иосиф, я был прав, удалившись от мирской суеты и предпочтя ей созерцание.

— А нашу Ямнию мы должны спасти! — решительно перешел к делу верховный богослов.— Пусть о моей политике думают что угодно: Ямнию мы спасти должны! Если бы не семьдесят один богослов, которые сидят там, в Ямнии, еврейству пришел бы конец, Ягве исчез бы из мира. Не кошунство ли это? — обратился он к самому себе, испугавшись, что так широко распахнул свою душу перед Иосифом.— Но я верю, что каждый еврей в сердце своем думает так же,— успокоил он себя.

Иосиф смотрел в открытое, смуглое энергичное лицо этого человека. Успех служил Гамалиилу оправданием. Благодаря несокрушимой воле к действию ему удалось, с помощью смехотворно маленького университета, удержать Ягве в Иудее. Верховный богослов заменил Иерусалим своей Ямнией, храм — школой, синедрион — коллегией. Теперь существовало новое убежище, и, только уничтожив Ямнию, можно было уничтожить еврейство.

Гамалиил заговорил теперь совсем другим тоном, словно вел случайный, ни к чему не обязывающий разговор.

— Перед вами, Иосиф, я спокойно могу называть вещи своими именами. Конечно, и университет и коллегия в такой же мере учреждения политические, как и религиозные. Мы даже считаем необходимым, чтобы вероучение пропиталось политикой. Толкуя учение, мы просто не принимаем во внимание тот факт, что храм разрушен и нашего государства больше не существует. Мы ведем дебаты о каждой частности богослужения в храме так же усердно, как и о каждой частности повседневной жизни, и отводим им такое же место. Мы дискутируем с одинаковым жаром и о вопросах судопроизводства, которое у нас отнято, и о ритуальных правилах, которые нам разрешено устанавливать. Первые занимают в нашей учебной программе даже больше места, чем вторые. И пусть римляне попробуют указать нам, где кончается теория и начинается практика судопроизводства, где богословие переходит

в политику! Да, мы занимаемся только богословием. Но когда кто-нибудь предпочитает вместо императорского суда обратиться в высшую школу в Ямнии — разве это не его личное дело? Разве не наша обязанность дать разъяснения, если он хочет узнать, как подойти к его случаю, оставаясь на почве нашего учения? И если он подчиняется нашему приговору, что ж, разве мы должны разубеждать его? Не в нашей власти ни принудить его, ни запретить ему. Может быть, даже вероятно, он делает это, чтобы успокоить свою совесть. Нам это неизвестно, его побуждений мы не знаем. Они нас не касаются, и наши решения никогда не имеют ничего общего с судебными постановлениями римского сената и народа. Мы остаемся в границах нашего ведомства — богословия, учения, ритуала.

Его полные губы, обрамленные квадратной бородой, раздвинулись в хитрой улыбке и обнажили крупные редкие зубы.

Однако эта улыбка тут же исчезла, он вскочил, глаза его засверкали:

— Ну скажите сами, доктор Иосиф, — воскликнул он, и голос его ожил, — скажите сами, разве это не великолепно, разве не чудо, что народ, целый народ так небывало дисциплинирован? Что рядом с судом, установленным чужеземной властью, которой этот народ вынужден покоряться, он создает суд добровольный и покоряется ему по влечению сердца? Что, кроме высоких налогов, которые из него выжимает император, он платит добровольные налоги, чтобы императором для него по-прежнему был его бог? Разве такая самодисциплина не единственное в своем роде, великое и удивительное явление? Я нахожу, что наш еврейский народ, его неукротимое стремление не исчезнуть, не дать себя победить — это самое возвышенное и удивительное, что мы видим на нашей оскудевшей и померкшей земле.

Иосиф почувствовал все воодушевление этого человека, оно захватывало, но то, что Иосиф мог возразить ему, не теряло своей силы. Да, там было сделано великое дело, с удивительной проницательностью и неодолимой энергией был создан сосуд, чтобы удержать растекающийся дух. Но именно поэтому дух оказался теперь запертым в этом сосуде, его стеснили, сузили, чем-то в нем пожертвовали, а то, чем жертвовали, было Иосифу слишком дорого.

— Итак, римляне, — снова продолжал Гамалиил легким и веселым тоном, — конечно, чуют, какое опасное и мятеж-

ное начало таит в себе этот наш университет в Ямнии. Однако,— и теперь лицо Гамалиила выражало лишь веселое лукавство,— им никак не удастся нащупать, где именно кроется опасность. Римляне способны постигать мир лишь постольку, поскольку его удастся втиснуть в юридические формулы; иного рода духовность им недоступна, по сути своей — они варвары. Но достигнутое нами совершенно невозможно втиснуть в какую-либо юридическую формулу. Мы во всем покорны, мы услужливы, мы себя не компрометируем, сами подавили свое восстание. Словом, если не извращать римское право и римскую традицию, то наш университет неуязвим. А разве сам император Домициан не считает, что боги предназначили его быть хранителем римского права и римской традиции?

Однако нельзя забывать о наших врагах, их много, и они могущественны. Это принцы Сабин и Клемент и все их приверженцы, это военный министр Анний Басс и ваша бывшая супруга Дорион, это весь минейский сброд. Все эти враги настоятельно просят императора наложить на нас запрет, и он охотнее всего уступил бы их просьбам. Значит, единственное, что оберегает нас от гибели,— это благоговение императора перед традицией, перед римскими принципами. И он колеблется между своим... правосознанием, что ли, и неприязнью к нам, раздутой нашими врагами, он не решается, ждет, просто не желает нас выслушать, не допускает нас к себе. С его точки зрения, это лучшее, что он может делать. Таким способом он избегает решения, ему ненавистного, то есть закрытия университета в Ямнии, а вместе с тем, заставляя меня ждать здесь аудиенции, ослабляет наш престиж, делает Ягве и еврейство посмешищем, разрушает нашу Ямнию изподволя.

Иосиф вынужден был признать, что трудно изобразить положение яснее, чем это сделал верховный богослов.

А тот задумчиво продолжал:

— Я бы уж знал, как взяться за этого императора. Я бы постарался ухватиться за его поклонение традициям, за его религиозность. Ибо, как ни странно, для этого человека религия существует; иначе многого, что он делает или чего не делает, не объяснишь; пусть это религия очень темная, очень языческая, он наверняка верит во всяких Ваалов, но это все же религия, и с этой религии надо и начинать. Следовало бы пойти на хитрость, следовало бы для него сделать Ягве Ваалом, неуклюжим, опасным кумиром, божеством, как он его понимает,— страшным и угрожающим. А может быть, это тоже кощунство? Не звучат ли такие

слова богохульством, когда их произносит верховный жрец Ягве? Но в наше время он больше чем когда-либо должен быть политиком. Любое средство годится, если благодаря ему народ Израиля вынесет третий переход через пустыню и не погибнет. А народ этот должен жить! Ибо идея, ибо Ягве не может жить без своего народа!

Тут Иосиф испугался в сердце своем, последняя фраза Гамалиила была действительно кощунством и богохульством, именно потому, что ее произнес верховный богослов. Вот на какие опасные вершины политика заносила человека, не желавшего ничего, кроме бога и служения богу.

— Да, уж я бы знал, как взяться за императора, — продолжал Гамалиил. — Но вся беда в том, что он не допускает меня к себе. Признаюсь вам, — вдруг гневно воскликнул он, — порой я горю от нетерпения и ожидания! И не ради себя — я не тщеславен и умею переносить обиды. Но дело ведь идет не обо мне, а об Израиле. Наша встреча должна состояться. Однако наши друзья, несмотря на всю их ловкость и добрую волю, на этот раз бессильны. Регину это не удастся, Маруллу не удастся. Иоанну Гисхальскому не удастся. Есть только один человек, которому, может быть, это удалось бы, и этот человек — вы, Иосиф. Помогите нам!

После такого призыва Иосиф молчал, обуреваемый противоречивыми чувствами. Трудно было уклониться от настойчивой просьбы верховного богослова. Решительная политика этого человека, отрекшегося от бога всей земли, чтобы послужить богу Израиля, столь же сильно отталкивала Иосифа, сколь и привлекала. Гамалиил требовал от него действий, требовал активности, предприимчивости, то есть как раз всего, чего Иосиф за последние годы так тщательно избегал. Тот, кто хочет действовать, должен идти на компромисс; кто хочет действовать, должен заставить свою совесть молчать. Верховный богослов для того и предназначен, чтобы совершать деяния, в этом его задача, у него есть на то и ум и власть. Его же, Иосифа, сила только в созерцании, его дело — представить себе историю своего народа и осмыслить ее; а когда он начинал действовать сам, он оказывался обманщиком и пустозвоном.

То, что он, Иосиф, думает, говорит, пишет, даст возможность людям в далекие грядущие времена увидеть теперешние события такими, какими он, Иосиф, хотел их видеть, и это, быть может, определит деяния потомков. А то,

что говорит и думает Гамалиил, тут же становится историей, становится сегодня и завтра судьбою людей. Иосифа разрывали противоположные стремления. Стены, в которых он так искусно замкнулся, чтобы сберечь свой покой, рухнули. И он обещал верховному богослову исполнить его просьбу.

Когда Иосиф попросил аудиенции у Луции, она приняла его на следующий же день.

Луция разглядывала его с нескрываемым интересом.

— Должно быть, мы около двух лет не виделись с вами, — сказала она. — Но когда я сейчас смотрю на вас, мне кажется, прошло целых пять. Я ли так изменилась за время ссылки, или вы стали другим? И я разочарована, мой Иосиф, — продолжала она непринужденно. — Вы постарели. И на нечестивца вы больше не похожи.

Улыбка пробежала по лицу Иосифа, изборожденному морщинами; значит, она еще помнит возглас, вырвавшийся у нее при виде его незавершенного бюста: «Вы же нечестивец».

Ну, чем вы заняты? — снова заговорила Луция. — О вас уже давно ничего не слышно. Мне кажется, вас что-то печалит. — И она с явным сочувствием продолжала его разглядывать. — Но то, что делают с вами, евреями, действительно низость. Это отвратительное мелкое мучительство. Когда моя родственница Фаустина не выспится, она колет иголкой в руку или в спину служанку, которая завивает ее. Так может поступать Фаустина, но не Римская империя в отношении целого народа. Как всегда, мне жаль, что вы угнетены. За последние годы мне тоже пришлось пережить немало тяжелого. Но я ни в чем не раскаиваюсь и ни о чем не жалею. Жизнь была бы слишком однообразна без смены добра и зла.

Иосифа несколько обидело, что Луция нашла его столь изменившимся. Ему вспомнился первый разговор, который он вел когда-то со знатной римской дамой, разговор с Пoppеей, женой Нерона. Каким собранным был он тогда, как жаждал победы, как уверен был в ней. И сейчас в нем пробудилось что-то от прежнего Иосифа, его душевные силы напряглись.

— Охотно верю, императрица Луция, что вы приемлете и злое и доброе, — ответил он живо и, не смущаясь, пристально посмотрел ей в глаза с тем же дерзким восхищением, с каким смотрел тогда в глаза Пoppее.

Луция рассмеялась своим щедрым, полнозвучным смехом.

Скажите мне, пожалуйста,— откровенно спросила она, почему, собственно, вы захотели меня повидать? Ведь не для того же вы пришли, чтобы нанести мне визит вежливости? Правда, вы сейчас на меня так смотрели — ну просто бесстыдно, в вашем взгляде было что-то от бюста нечестивца Иосифа, и можно было подумать, будто вы в самом деле явились только из любопытства, будто вы посмотреть, похорошела я в изгнании или нет. Впрочем, я недавно в храме Мира опять рассматривала ваш бюст,— замечательная вещь; но все-таки это не портрет, ведь глаза отсутствуют. Когда Критий хотел их вставить, не надо было возражать. А теперь скажите поскорее, как вы находите мою новую прическу? Вот все крик поднимают!

Ее волосы были уложены рядами локонов, она отказалась от обычного сооружения в виде башни, которое предписывала мода.

Подвижность и живость этой женщины влили бодрость в Иосифа. Да, она стояла выше рока, ни доброе, ни злое не могло повлиять на нее, она пышет жизнью, изгнание придало ей еще больше жизненных сил.

— Вы правы, императрица Луция,— сказал он.— Меня действительно угнетает горе моих евреев, и я пришел просить для них вашего благоволения. За последнее десятилетие нам со многим пришлось примириться; но мы считаем милостью нашего бога, что он так нас испытывает. У нас есть мудрая и поэтическая легенда о некоем человеке по имени Иов, которого бог наказует, ибо хочет выделить среди прочих, навести на мысль, что живет в нем тайный грех, которого сам человек иначе бы не познал, а среди остальных лишь немногие сочли бы за грех.

— Какой же это грех? — спросила Луция.

— Высокомерие духа,— ответил Иосиф.

— Грех, гм,— задумчиво произнесла Луция.— Я тоже не раз подвергалась испытаниям, но из-за этого не начинала размышлять о своих грехах. Есть ли во мне высокомерие духа — не знаю. Говоря по правде, едва ли. Но поменяться характером я бы ни с кем не хотела, я довольна тем, какой есть. А вообще-то мне кажется, мой Иосиф, что вы гораздо вышекомернее меня.

— Писатель Иосиф Флавий,— ответил Иосиф,— надеюсь, не слишком вышекомерен. Еврей Иосиф бен Матта-

фий — да. Но одно дело — высокомерие отдельного человека, а другое — духовная гордость целого народа. Это не грех, если мы, евреи, гордимся своим Ягве и своей духовной жизнью. Я полагаю, что мир не может без нас обойтись. Мы миру необходимы. Мы соль земли.

Спокойная убежденность Иосифа развеселила Луцию.

— А какой народ не считает себя избранным? — возразила она, смеясь. — Так считают греки, египтяне, евреи. Только мы, римляне, ничего о себе не воображаем. Быть солью земли мы спокойно предоставляем другим, мы довольствуемся тем, что захватываем эту соль и господствуем над другими.

Однако Иосиф не улыбнулся, как она ожидала, он стал серьезен.

— Если бы это было так! — горячо ответил он. — Если бы вы удовольствовались этим! Дело обстоит иначе. Вы хотите большего, чем господствовать над нами. Против вашей власти восстают только глупцы. Так накажите их с какой хотите суровостью, мы жаловаться не будем. Но вы посягаете на нашу душу. Ради этого я и пришел к вам, императрица Луция. Попросите императора, чтобы он этого не делал! Оставьте нам нашу душу! Оставьте нам нашего бога! Оставьте нам нашу Книгу, наше Учение! Каждому народу Рим до сих пор оставлял его бога. Почему же он хочет отнять нашего?

Брови Луции над широко расставленными глазами удивленно поднялись.

— Кто хочет отнять у вас вашего бога и ваше учение? — спросила она недоверчиво.

— Очень многие хотят, — ответил Иосиф. — И прежде всего ваша кузина, принцесса Юлия. Наш университет в Ямнии, которому Веспасиан даровал привилегии, хотят закрыть. Это маленькая богословская школа, религиозный центр, и больше ничего. Помогите нам, Луция! — закончил он настойчиво, сердечно, не называя ее титула. — Мы, право же, не ищем ничего другого, кроме свободы в духе, свободы, которая Риму ничего не стоит и не направлена против Римского государства. Но как раз ее-то некоторые люди и не желают нам оставить. Из ненависти. Они мешают нам проникнуть к императору, ибо опасаются, что мы императора убедим. Вот уже несколько месяцев, как императора удерживают от встречи с нашим верховным жрецом.

— Ах, это тот верховный жрец, о котором так много говорят, — заметила Луция с легким презрением.

— Мы все предпочли бы, чтобы о нем говорили поменьше, — отозвался Иосиф.

И, значит, вам очень важно, чтобы император его принял? — спросила Луция.

Если бы вам удалось этого добиться, — ответил Иосиф, — вы бы оказали моему народу огромную услугу, и он сохранил бы ее в своей памяти с горячей благодарностью, как и любое оказанное ему благодеяние.

— Выразили вы все это элегантно и учтиво, мой Иосиф, — рассмеялась Луция, — но на меня такие доводы не действуют. Мне в высшей степени наплевать, какого мнения будут обо мне после моей смерти. Я не очень-то верю в жизнь под землей, в Аиде или еще там где-нибудь. Боюсь, что, когда меня сожгут, я уже едва ли буду ощущать вашу благодарность. — Она задумалась. — Впрочем, не знаю, смогу ли я вам помочь, даже если бы и захотела. Император сейчас несговорчив, — призналась она, — и не очень ко мне благоволит. Мы часто ссоримся. Я стою ему много денег. — И с дружеской откровенностью принялась рассказывать: — Знаете ли вы, что я становлюсь все жаднее до денег? Помоему, жизнь — великолепная вещь, но именно из-за этого, чем ближе подходит старость, тем больше мне хочется иметь. Мне нужны картины, статуи, все новые и новые драгоценности, толпы рабов, я желаю наслаждаться зрелищами, празднествами, не считаясь с расходами. За последнее время я адски много трачу. Впрочем, в деньгах вы, евреи, знаете толк, этого у вас не отнимешь. Например, Регин (он, правда, только наполовину ваш) или этот мебельщик, Гай Барцаарон, или еще один, с которым мне иногда приходится иметь дело, Иоанн Гисхальский, занятый, хитрый и отчаянный человек, — все они делают деньги, много денег, и притом — без труда. Иоанну даже удалось сбить цены, которые я установила. Вот видите, я способна отдавать должное вашим заслугам, вы мне во многом симпатичны. — Лицо ее стало серьезным. — Значит, вы говорите, Юлия хочет закрыть ваш университет?

— Да, Юлия, — подтвердил Иосиф; он назвал Юлию, ибо считал это полезным.

— Она в последнее время в большой чести у Фузана, — задумчиво сказала Луция. — Меня он будто вовсе не замечает. Что за человек ваш верховный жрец? — осведомилась она. — Он святой или он правитель?

— И то и другое, — ответил Иосиф.

— Гм, тогда он человек выдающийся, — отозвалась Луция. — Но как мне уломать Фузана?

— Может быть, вам самой захочется повидать нашего верховного богослова? — решился подсказать Иосиф. — Тогда его сначала должен был бы принять император. Ведь не может же верховный богослов засвидетельствовать свое почтение вам, императрица Луция, если до того не выразит свое глубокое уважение богу Домициану.

— Вам следовало бы, в самом деле, быть при дворе, — улыбнулась Луция. — И вы считаете действительно важным, чтобы я открыла вашему верховному богослову доступ на Палатин?

— Я был уверен, что вы поможете нам, моя Луция, — ответил Иосиф.

За те дни, что Домициан не виделся с Луцией, он вновь и вновь повторял себе все, в чем ее можно было обвинить. Она унижала его, издевалась над ним. И отнюдь не исключено, что она опять спит с кем-нибудь другим. Он не раз лелеял мысль о том, чтобы, согласно только что введенному им более строгому закону о прелюбодеяниях, вторично осудить ее или даже просто без суда и следствия сослать либо казнить. Но потом перед ним опять возникало ее смелое, гордое лицо, с чистым детским лбом и крупным носом, он слышал ее смех. Ах, Луцию не запугать, как сенаторов! Убить ее можно, запугать — нет. И если он отдаст приказ ее убить, то больнее накажет себя, чем ее; ведь она потом уже не будет страдать, а он будет.

Домициан был рад, что хоть Юлия, после некоторого сопротивления, снова допустила его к себе. Видимо, он все же оказался не прав, она любила его, и плод, который она перед тем носила под сердцем, был его ребенком. Но его злило, что, несмотря на обвинения, собранные Норбаном и Мессалином против мужа Юлии Сабина, этого, по мнению обоих, все еще было недостаточно, чтобы убрать Сабина; могли возникнуть нежелательные для императора кривотолки. А может быть, он и примирился бы с такими толками. Юлия этого стоит. Он, бесспорно, недооценивал ее. Она вовсе не глупа; например, недавно по поводу напыщенной и скучной поэмы придворного стихотворца Стация она сделала весьма милое и насмешливое замечание, — лучше и сам Домициан не смог бы сказать. И наружность ее нравилась ему все больше — теперь, когда она была не так полна. Пусть Василий вылепит ее, в третий раз. Юлия красивая женщина, настоящая римлянка, из рода Флавиев, она заслуживает любви. Она может заменить ему Луцию.

Никогда она не заменит ему Луции. Он понял это в ту же минуту, когда Луция к нему вошла. Весь его гнев против Луции как рукой сняло. Его поразило, какая она рослая и статная, несмотря на простую, невысокую прическу. А Юлия вдруг показалась ему нелепой. Неужели ему могло прийти в голову ради нее устранить Сабина, пренебречь своими обязанностями властителя и своей популярностью! Неужели он мог так долго выносить близость Юлии, ее по-детски надутые губы, ее чувствительность к малейшей мнимой обиде, ее вялое безразличие, ее нытье! А вот его Луция, отважная, гордая, все понимающая, — вот это римлянка, эта женщина ему под стать.

Луция же с обычной беззаботностью прежде всего заявила, что лысина у него увеличилась чуть-чуть, а живот совсем не вырос. Потом сразу устремилась к цели.

— Я пришла, — заявила она, — чтобы дать вам один совет. Здесь с некоторых пор находится главный жрец евреев, верховный богослов Гамалиил, утвержденный вами в этом звании. Вы держитесь с этим человеком не так, как следовало бы. Если вы хотите закрыть его университет, то я считаю, что вы, император Домициан Германик, должны набраться мужества и сказать об этом ему в глаза. Но вы и не допускаете его к себе, и не отсылаете из Рима, не говорите ни «да», ни «нет» и действуете методами, напоминающими времена, когда вас еще называли «Малыш» и «Фрукт». Я думала, что эти времена прошли. Я думала, что вы стали мужчиной, с тех пор как умер Тит и вы сделали императором. И я жалею об этом рецидиве.

Домициан усмехнулся.

— Вы что — не выпались, Луция? — спросил он. — Или огорчены невыгодной сделкой? Может быть, просчитались при поставках кирпича?

— Скажите, вы поживаетесь с верховным богословом? — продолжала настаивать Луция.

— Вас что-то очень интересует этот человек, — заметил Домициан, и его усмешка стала злой и угрюмой.

— Тогда я поживаюсь с ним сама, — решительно заявила Луция, подчеркнув слово «сама». — Конечно, если я при-
му его, это всем бросится в глаза. Да и верховный богослов, вероятно, найдет неподобающим явиться ко мне до того, как он будет принят вами.

— Это дело гофмаршала Криспина, — отозвался Домициан.

— Берегитесь, Фузан, — сказала Луция. — Не виляйте! И не делайте попыток покончить с этим неприятным делом

так, как вы покончили с некоторыми другими! Не отправляйте этого человека из Рима, пока вы не выслушаете его! Не избегайте встречи с ним. То, что вы меня сослали, не пошло мне во вред. Но если вы будете вести себя с верховным богословом недостойно — смотрите, как бы я сама себя не сослала.

Когда Луция ушла, император сказал себе, что ведь она со всеми своими грубостями ломилась в открытую дверь. Если он и хотел немножко проучить этот строптивый еврейский сброд, продержав его в страхе и неизвестности, то все же он, призванный быть защитником богов всех подвластных народов, на самом деле никогда серьезно не помышлял о том, чтобы лишить верховного богослова и его соплеменников религиозного центра. Однако и сейчас, после посещения Луции, Домициан никак не мог заставить себя принять Гамалиила и успокоить евреев, он продолжал хранить молчание, вынуждая их ждать, ничего не предпринимал.

Единственный, на ком сказались последствия этого вмешательства Луции, был гофмаршал Криспин. Когда он на другое утро после посещения Луции, как всегда надушенный и расфранченный, явился на Палатин, император спросил его:

— Скажи-ка, любезный, кого ты, собственно, разумеешь под словом «варвары»?

— Варвары? — переспросил, опешив, Криспин, и нерешительно закончил: — Ну, это люди, которым чужда римская и греческая цивилизация.

— Гм... — пробурчал Домициан, — а разве евреи в моем городе Риме не говорят по-гречески? А разве евреи в Александрии не говорят по-гречески? Как же так? — вдруг взорвался он, побагровев. — Значит, евреи больше варвары, чем, скажем, твои египтяне? И почему этот верховный богослов должен ждать аудиенции дольше, чем твой жрец Исиды Манефон? И ты воображаешь, негодяй этакий, что если ты тратишь пять талантов в год на духи, так ты цивилизованнее моего историографа Иосифа?

Криспин отпрянул; его стройное тело под белой парадной одеждой затряслось в ознобе, смазливое, наглое, порочное лицо, бронзовое от притираний, позеленело.

— Итак, я должен назначить верховному богослову время для аудиенции?

— Ничего ты не должен,— заорал на него Домициан срывающимся голосом. — Ты должен убратъся отсюда! Подумать должен!

Ошарашенный гофмаршал поспешно удалился, не зная, чем объяснить внезапный гнев императора, не зная, что же ему делать.

А верховный богослов все ждал, а Домициан все медлил, и положение оставалось прежним.

И вот на восьмой день после того, как Луция потребовала у императора объяснений, на Палатин прибыл курьер с пером, возвещающим несчастье; он привез депеши с дакийского театра военных действий.

Запершись в своем кабинете, Домициан изучал полученные сообщения. Его маршал Фуск потерпел жестокое поражение. Он дал дакийскому царю Диурпану заманить себя в глубь дакийской территории и там с подавляющей частью своей армии погиб. Двадцать первый легион, «Рапакс», был почти весь уничтожен.

Домициан машинально взял футляр, в который была вложена депеша, извещавшая о несчастье, поднял его, снова положил перед собой. Часть доставленных в нем бумаг была разбросана по столу, часть разлетелась по полу. Домициан с отсутствующим видом сгреб некоторые из них, скомкал, потом снова расправил и аккуратно положил на место. За этого Фуска, который дал себя разбить, ответственность несет только он, Домициан. Ведь это он доверил ему верховное командование, вопреки советам Фронтин и Анния Басса, предупреждавших его, что Фуск безрассудный смельчак и сорвиголова. Но он, Домициан, настоял на своем. Он считал, что отвага Фуска стоит осмотрительности Басса и Фронтин. Поражение в Дакии — это его, Домициана, вина.

И все-таки его расчет был правильным. Постоянным выжиданием тоже не достигнешь цели. Легионы были испытанные, хорошо вооруженные, риск мог бы привести к победе. Это низость со стороны судьбы, допустившей, чтобы война закончилась так неудачно.

Виноват ли тут случай? Или это злая каверза, подстроенная именно ему? Вдруг лицо Домициана словно окаменело, стало почти глупым. Нет, неудача там, на Востоке, — не случайность, это акт мести, это месть бога, месть Ягве. Нельзя было заставлять верховного жреца этого бога ждать так долго. На Востоке он могуществен, бог Ягве, и он, назло римскому императору, подсказал Диурпану его подлую и хитрую стратегию.

Сейчас остается одно: отступление, поспешное отступление. Он, Домициан, не так глуп, чтобы продолжать борьбу с богом Ягве. И спор с этим богом, который он затеял без всякой охоты, нужно как можно скорее и решительнее раз и навсегда прекратить! Он примет верховного богослова. Он скажет ему: пусть берет себе свой дурацкий университет в Ямнии и радуется!

Когда на другое утро явился Криспин, император спросил его с коварной любезностью:

— Ну что ж, вызвал ты ко мне верховного богослова и его приближенных?

— Я же не знал... — растерянno проговорил Криспин, — я не хотел... ваше решение...

— Как это ты не знал? Не хотел? — резко прервал его император. — Хочу я, этого тебе недостаточно? Клянусь Геркулесом, ну и болвана же я взял себе в министры!

— Итак, я вызову верховного богослова на завтра, — осторожно предложил Криспин.

— На завтра?! — воскликнул император в бешенстве. — Разве я успею придумать до завтра, как мне загладить ту обиду, которую ты из-за своей глупости нанес верховному жрецу и его богу? Вызывай верховного богослова на пятый день, — грубо приказал он гофмаршалу. — И в Альбан!

— В Альбан? — удивленно переспросил Криспин.

Официальные приемы иностранных послов происходили обычно на Палатине; то, что император приглашает еврейских господ в Альбанское поместье, противоречило всем обычаям.

— В Альбан? — еще раз осведомился Криспин, думая, что ослышался.

— Да, в Альбан, — подтвердил император. — Куда же еще?

Сам он выехал в Альбанское поместье на другой же день. Как унижительно, что он все-таки вынужден принять верховного богослова и его евреев, и они, конечно, усмотрят в этом признание его поражения! Он должен найти способ сбить с них спесь и отравить им радость по случаю спасения университета. Но действовать надо осторожно: ведь выяснилось, что этот их непонятный незримый бог Ягве адски мстителен.

Со своими министрами Домициан, к сожалению, на этот счет не может посоветоваться. Для немудрящего солдата Анния Басса, для пустозвона Криспина, для Норбана, при-

выкшего переть напролом, дело это слишком тонкое и сложное. Марулл и Регин скорее бы поняли, о чем речь, но они на стороне евреев. Нет, советоваться он может только с самим собой.

Деревянным шагом спускается он в альбанские сады. Долго стоит перед клеткой пантеры, красавец зверь, сощурившись, смотрит на него желтыми, сонными, коварными глазами. Однако воображение императора остается бесплодным. Его презрение к людям, порой подсказывающее ему в подобных случаях отличные идеи, на этот раз бесильно. Он не находит ничего, чем мог бы ранить евреев, не подвергая при этом себя заслуженному мщению их бога.

И тогда Домициан вызвал в Альбан Мессалина. Вместе с ним прогуливался по обширному, искусно распланированному парку. Он притворялся, будто крайне озабочен, как бы слепец не оступился, но наблюдал не без удовольствия, как тот порой спотыкается и как старательно это скрывает. Карлик Силен, шествуя сзади, передразнивал исполненные достоинства движения Мессалина, которым тот силился придать естественность.

Домициан повел своего гостя в подземное помещение, нечто вроде подвала; обширный дворец, над строительством которого работали вот уже десять лет, все еще не был закончен, и император не знал, для чего предназначили архитекторы этот недостроенный заброшенный подвал. В него вело несколько неотесанных ступеней, земляной пол был неровный, в углу белела куча песка. В подвале царил сырой полумрак, казавшийся отвратительным после парка, где воздух был полон особой прозрачной свежести, которая ощущается только поздней осенью.

Домициан прогнал карлика, подвел Мессалина к подобию ступеньки и предложил ему сесть. Сам он опустился на корточки на земляном полу. И вот оба сидели в этой затхлой, темной дыре, император и его слепой советник, и император просил помочь ему в трудной борьбе против Ягве. Да, перед этим слепцом, еще более мрачным человеком-ненавистником, чем он сам, Домициан может выложить все. И он без обиняков рассказывает о пожирающем его бешенстве. Он вынужден оставить евреям их университет, вынужден принять верховного богослова, от этого, к сожалению, нельзя уклониться. Но что можно сделать, чтобы испортить верховному богослову радость по поводу сохранения его университета и вместе с тем не навлечь на себя месть еврейского бога?

Мессалин сидит на ступеньке, как обычно, подставив ухо говорящему. В сумраке можно уловить лишь смутные очертания предметов, и его статная фигура кажется еще крупнее. Император наконец замолчал, но Мессалин по-прежнему сидит неподвижно, не размыкая губ. Домициан встает. Неслышными шагами, чтобы даже легким шорохом не спугнуть раздумье своего советника, принимается он ходить по неровному земляному полу подвала. Здесь бегают всякие твари — мокрицы, саламандры.

Спустя некоторое время Мессалин, начинает излагать свои мысли вслух.

— Нам не так легко, — начинает он, и голос этого тяжелого, мрачного человека кажется неожиданно звонким, дружелюбным и вкрадчивым, — понять суеверные представления евреев и их раздоры между собой. Насколько мне известно, наиболее яростных противников университета в Ямнии нужно искать не среди нас, римлян, а среди самих евреев. Это последователи одной еврейской секты, люди, которые видят своего бога в некоем распятом рабе, Иисусе; их называют минеями, или христианами, об этих людях вы, наверное, слышали, мой владыка и бог. Различие между суеверием так называемых христиан и суеверием остальных евреев, насколько я мог понять из их путаных рассуждений, состоит в следующем; одни — христиане — считают, что их спаситель, — они называют его на своем языке мессией, — уже пришел в образе того самого распятого раба, почитаемого ими за бога. Другие утверждают, что обещанный их богом спаситель еще только должен прийти. Нас эти споры мало интересуют, но, без сомнения, они и являются причиной враждебного отношения христиан к университету в Ямнии. Из всего этого можно заключить, что надежда на грядущее пришествие мессии является основой вероучения богословов в Ямнии. Утверждают, будто Ямния обладает и политическим влиянием. Если это верно, то и ее политика окажется связанной с учением о спасителе, который еще только должен прийти.

Вскоре после того как слепец заговорил, Домициан остановился, он слушал очень внимательно, потом снова сел.

— Если я тебя правильно понял, мой Мессалин, — сказал он задумчиво, — то именно этот спаситель, этот мессия и дерзнет оспаривать у меня мою провинцию Иудею?

— Именно это я и имел в виду, мой владыка и бог Домициан, — раздался в ответ звонкий и вежливый голос

слепца. — И никакой бог не сможет тебя упрекнуть, если ты будешь сопротивляться и защищать свою провинцию от этого мессии.

— Интересно, очень интересно, — согласился император. — И если бы можно было нанести удар такому мессии, — размышлял он вслух, — тем самым был бы нанесен удар и верховному богослову, и притом — безнаказанно. По-моему, ты попал на удачную мысль, мой догадливый Мессалин. — И так как Мессалину больше нечего было прибавить, Домициан продолжал: — Спаситель, мессия... Может быть, тут нам помог бы кое-что узнать еврей Иосиф, он когда-то провозгласил моего отца мессией, хотя я не знаю, не было ли все это подстроено заранее. Конечно, будет нелегко выжать что-нибудь из этого еврея насчет их тайного учения, — они ведь упрямые. И все-таки я чую в твоём совете кое-что очень ценное, мой Мессалин! Будешь и дальше помогать мне на этом пути?

— Если в этом мессии должно быть и незримое начало, — отозвался Мессалин, — такое же, как в самом боге Ягве, тогда, боюсь, я не смогу тебе помочь, император Домициан. Тогда мы идем по неверному пути, ибо это был бы уже не земной претендент и Ягве имел бы право защищать его, а с тобой бороться. Если же мессия окажется существом из плоти и крови, вполне уловимым, тогда у нас есть права над ним, тогда мы его отыщем, обезвредим и университет в Ямнии, и того, кто стоит за ним.

— Тише, тише, — испуганно остановил его Домициан, — не так громко, Мессалин! Думай, но не произноси вслух, — именно оттого, что ты, может быть, прав! Во всяком случае, я тебе благодарен, — продолжал он обрадованно. И, пожалуйста, подумай, сможем ли мы как-нибудь выследить этого мессию. Пусть тебя поскорее осенит удачная мысль, мой Мессалин! Не забудь, что эта история не дает мне покоя, я спать не могу, пока с ней не будет покончено!

Мессалин вернулся в Рим, но уже на третий день появился снова.

— Что-нибудь выяснил? — спросил Домициан.

— Я бы не осмелился предстать перед лицом владыки и бога Домициана, — отвечал Мессалин, — с пустой головой и пустыми речами. Я все разузнал. В том мессии, который должен восстановить Иерусалимский храм и еврейское государство и отнять у римского императора Иудею, нет ничего призрачного, он — из плоти и крови, и полиции

вполне можно его выследить. Кроме того, у него есть определенная примета. По воззрениям евреев, мессия, имеющий право притязать на еврейский престол, должен происходить из рода некоего Давида, древнего иудейского царя. Только такой человек может, согласно мнению богословов в Ямнии, да и всех евреев, стать их царем и мессией. Распятый еврейский раб, которому минеи поклоняются как богу, тоже, как утверждают, потомок этого древнего иудейского царя. И мне сообщили, что существуют еще потомки. Правда, точного числа назвать не могли. Их очень немного, и они принадлежат к самым разным сословиям, говорят, среди них может быть и рыбак, и плотник, и священник, и знатный господин. Во всяком случае, всех их нужно выследить и задержать, тем самым мы подорвем и теперешнее политическое влияние университета в Ямнии.

— Все это очень ценно, мой Мессалин,— одобрил его Домициан,— это важные сведения. Значит, ты считаешь, что достаточно было бы заполучить в руки потомков того еврейского царя, зажать им рот, и с университетом в Ямнии будет покончено, а может быть,— добавил он боязливо и жадно, — и с Невидимым, стоящим за ним?

— Я считал бы очень своевременным,— отозвался слепец своим вкрадчивым ясным голосом,— обезвредить этих людей. Тогда политическая напряженность в провинции Иудее наверняка ослабела бы.

— И вы полагаете, Мессалин мой, что было бы нетрудно нащупать тех людей, которые, согласно упомянутому вами непisanому закону, могут притязать на еврейский престол?

— Ну, не так уж легко,— задумчиво ответил Мессалин. — Ведь это тайная часть учения, она нигде не записана. И списков Давидовых потомков не существует,— усмехнулся он.— К тому же евреи сами не очень-то интересуются этими потомками, и сами они не то что скрывают свое предназначение, но не выставляют его напоказ. Ведь в них, в этих людях, есть и немало смешного. Да, все они, так сказать, призваны, но избранник, в конце-то концов, только один, да и то он лишь отец или далекий предок очень позднего потомка.

— Благодарю вас, мой Мессалин,— сказал император. — Я поручу Норбану и губернатору Помпею Лонгину заняться розысками. Но так как, по вашим словам, дело это нелегкое, было бы хорошо, если бы вы, Мессалин, сами

приняли в нем участие и постарались выяснить, кто же входит в эту категорию мессий.

— Я всегда в распоряжении моего императора,—ответил слепец.

Члены еврейской делегации отправились в Альбанское поместье в двух экипажах; с ними был также Иосиф, которого император пригласил в Альбан вместе с верховным богословом и его свитой.

В первом экипаже сидели Гамалиил и Иосиф, а также богословы бен-Измаил и Хелкия, представители более умеренного и терпимого направления в Ямнии. На Гамалииле была римская праздничная одежда. Хотя обычно он, невзирая на бороду, очень походил на римлянина, сегодня его римская внешность выглядела маскарадной. Он уже не казался тем многоопытным политическим деятелем, каким его знали Рим и Иудея, а скорее одним из тех погруженных в себя евреев-фанатиков, которые не видят окружающей действительности и заняты только Ягве, богом, живущим в их сердце. И верховный богослов во время этой поездки тоже искал бога внутри себя, заклинал его, был весь полон одной горячей молитвой: «Господи! Пошли мне в разговоре с этим римлянином нужные слова! Господи, дай мне успешно защитить дело твоего народа! Господи, не ради себя молю и не ради нас, а ради будущих поколений — даруй силу мне и моим словам!»

Но если ехавшие в первом экипаже хранили молчание, тем оживленнее шла беседа во втором. Здесь ораторствовали представители самого крайнего направления в учении Ямнии — богословы Хелбо и Симон, по прозвищу Ткач. В гневных словах давали они выход утрызениям, терзавшим их из-за того, что, несмотря на их протесты, поездка к императору состоялась именно сегодня, в канун субботы. Очень легко могло случиться, что обратный путь затянется до глубокой ночи, то есть уже начнется суббота, а путешествовать в субботу запрещено законом. Стало быть, с самого начала успех предприятия поставлен где под угрозу, так как есть опасность, что закон Моисея будет нарушен. Следовало сообщить императору, что делегация может явиться к нему лишь через два дня, таково их мнение. Но Гамалиил действовал самовластно, он злоупотребил своей властью и принудил их сесть в повозку, да еще приказал заменить привычную еврейскую одежду римской, парадной, предписанной в таких случаях. И вот они вели горячий теологический спор о том, который из трехсот шестидесяти

пяти запретов был этой поездкой нарушен и каким из двухсот сорока восьми повелений они были вынуждены пренебречь. Кроме того, верховный богослов Гамалиил взял с собой к императору этого еретика Иосифа бен Маттафия, предавшего Израиль Эдому. Поэтому им, богословам строгого направления, при данных обстоятельствах особенно необходимо сохранять твердость и не допустить, чтобы во время аудиенции Гамалиил поддался своей опасной склонности к компромиссам и опошлил принципы Ямнии.

Верховный богослов, удивленный уже тем, что его пригласили не на Палатин, а в Альбан, был еще больше изумлен приемом, который им оказали. Ему немало рассказывали о сложном и пышном церемониале императорских аудиенций. Однако здесь, в Альбане, его и его свиту не проводили ни в прихожую, ни в приемную, их повели через обширный парк, по изогнутым мостам и мостикам, мимо декоративных прудов, изящно подстриженных деревьев, цветочных клумб.

Стояла поздняя осень, погода была неустойчивая, по густо-синему небу плыли тяжелые белые облака. От долгого сидения в повозках у господ богословов затекли ноги. Одна дорожка сменялась другой, а они все брели, тяжело ступая, поднимались на террасы и спускались с них, взбирались по длинным извилистым лестницам.

Наконец они увидели императора. Его окружали несколько приближенных. Иосиф узнал министра полиции Норбана, военного министра Анния Басса и друга императора сенатора Мессалина. На Домициане был легкий серый плащ, от свежего воздуха лицо стало краснее обычного, он, видимо, был в хорошем настроении.

— А-а... вот и ученые из Ямнии, — оживленно сказал он своим высоким голосом. — Я не хотел, господин богослов, дольше откладывать наше знакомство, — обратился он к Гамалиилу. — Я не хотел ждать еще два часа, пока будет закончен осмотр моего нового строительства. Правда, вы должны мне разрешить во время нашей беседы заниматься моими собственными делами. Вот мои архитекторы Гровий и Ларина, — он жестом представил их, — имена эти вам, вероятно, известны. А теперь, пока мы будем болтать, я продолжу осмотр. Сначала взглянем на малый летний театр, который я строю для императрицы.

Пришлось опять пуститься в путь. Иудейские господа, ошеломленные таким странным приемом, неловко заковыляли дальше. Они совершенно не вписывались в такую

обстановку и чувствовали это. А император, ступая тяжелым деревянным шагом, беседовал через плечо с верховным богословом:

— Сейчас много толкуют о вашем университете в Ямнии. Жалуются, что это очаг мятежа. Я был бы вам признателен, господин богослов, если бы вы меня на этот счет просветили.

Верховный богослов был человек гибкий, он умел найтись в любом положении. И вот, стараясь держаться на полшага позади императора, он ответил:

— Не могу понять, как тихая научная работа в Ямнии могла вызвать такие толки. Единственная наша задача — разъяснять древние наставления нашего бога, приводить их в согласие с условиями новой жизни общины, чисто религиозной, стоящей вне политики, и устанавливать правила для такой жизни, где люди отдавали бы кесарю — кесарево, а нашему богу Ягве — божье. Наша руководящая идея такова: законы, по которым мы управляем, — это законы религии. Это основное положение раз и навсегда устраняет все споры о юридической компетенции и любой конфликт с совестью.

Император и его спутники дошли до строительной площадки. Фундамент домашнего театра уже был заложен; император остановился и принялся рассматривать его; неизвестно, слышал ли он слова верховного богослова и понял ли их. Пока он, во всяком случае, на них не ответил и обратился к своим архитекторам:

— Вид на озеро, который открывается позади сцены, еще красивее, чем я ожидал, — заметил он, — и все-таки, может быть, следовало, как я предлагал вначале, сделать сцену чуть пошире, хотя бы метра на два. — И вдруг сразу, без перехода, обернулся в верховному богослову: — А не остаются ли все эти красивые речи чистой теорией? Разве ваше учение по самой сути своей не враждебно государству? Разве ваш бог вместе с тем и не ваш царь? А если так, его законы сразу же упраздняют законы римского сената и народа. Разве вожаки вашего презренного мятежа не ссылались на вас и ваше учение?

— Если бы мы сделали сцену шире, — возразил архитектор Ларина, — то здание потеряло бы вид ларца для драгоценностей, какой владыка и бог Домициан повелел придать этому театру императрицы.

А верховный богослов сказал:

— Мы приговорили к отлучению тех, кто участвовал в мятеже.

Император же заявил:

— Я хочу взглянуть на здание сбоку. Мне все еще кажется, что вы ошибаетесь, Ларина.

Пока переходили на ту сторону площадки, Анний Басс со своей обычной шумной игривостью поддразнивал гостей:

— Да, уважаемые господа, вы отлучили мятежников, верно, но лишь после того, как мятеж был подавлен, а мятежники убиты.

Император продолжал разглядывать стройку.

— Вы правы, мой Ларина, — решил он, — а я ошибался. Театр потерял бы свой смысл, будь сцена пошире.

Доктор Хелкия вежливо возразил Аннию Бассу:

— Пришлось приговорить мятежников к отлучению уже после того, как они были убиты, иначе нельзя было поступить. Ведь оглашение и все прочие формальности, как их ни ускоряй, отнимают по меньшей мере шесть недель.

— Так, — сказал император, — а теперь покажите мне беседку.

Все снова не торопясь двинулись дальше и вскоре очутились перед небольшим, со всех сторон открытым павильоном.

— Вы представляете себе, господин богослов, — любезно обратился император к Гамалиилу, указывая на стройно вздымавшиеся колонны, — как это будет красиво, когда мы все закончим? Разве павильон не кажется кружевным — такой он легкий и тонкий? Вы представляете себе, как он будет выделяться на жарком синем летнем небе? Клянусь Геркулесом, мой Гровий, вы это отлично сделали. Да, так как же обстоит дело с вашим мессией? — вдруг, словно вспомнив, решительно обратился он к Гамалиилу. — Мне рассказывали, будто вы возвещаете какое-то двусмысленное учение насчет вашего мессии, который должен прийти, он будто бы станет вашим царем и восстановит ваше государство. Если слова еще не потеряли своего смысла, то понять это можно только так: назначение вашего мессии — отнять у меня мою провинцию Иудею.

Когда император неожиданно заговорил о мессии, богословы вздрогнули. Домициан говорил по-гречески из вежливости к восточным гостям, и все же некоторые из них с трудом понимали его. Однако последние фразы и их коварный смысл дошли до всех. И вот богословы стояли перед ним, бородатые, беспомощные, растерянные, и вид у них был довольно несчастный в этой непривычной обста-

новке. А рядом с их нескладными фигурами легкая беседка особенно изящно возносилась к небу.

Однако верховный богослов не терял самообладания. Приход мессии, заявил он, — пророчество, имеющее всеобщее значение и с политикой никак не связанное. Мессия есть раскрытие божества по ту сторону всяких реальных представлений, он относится к миру чистой духовности. Императору будет всего понятнее, если он его представит себе наподобие Платоновых идей. Есть, правда, люди, которые связывают с мессией вполне конкретные представления. Эти люди называют себя минеями, или христианами, последнее наименование идет от греческого перевода слова «мессия». Из этого пророчества они делают практические выводы и чтят воплощенного в некоей личности мессию.

— Мы же, — заявил он твердо и с достоинством, — мы, университет и коллегия в Ямнии, извергли из нашей среды этих людей, ибо они еретики. С верующими в такого мессию у нас нет ничего общего.

— А жаль, — заметил Домициан, — что мне редко придется пользоваться этой беседкой. Именно летом у меня отнимает очень много времени дурацкое представительство и приходится чуть не каждый день давать парадные обеды. Но беседка в своем роде чудо. — Затем обратился к верховному богослову и очень мягко сказал: — Ну, тут вы немножко приврали, господин богослов. Я осведомлен лучше, чем вы думаете. Ведь верующие в мессию, о которых вы упоминали, то есть ваши христиане, утверждают, что мессия уже умер; их распятый бог едва ли сможет отнять у меня провинцию Иудею, и в этом отношении христиане совершенно неопасны. А ваш мессия, поскольку вы его только ожидаете, остается на подозрении.

Богословы явно растерялись. Но ведь пророчество о мессии, попытался возразить Гамалиил, относится к очень далекому будущему. В том царстве, которое он должен основать, все оружие перекуют на орудия мирного труда, и лев, волк и медведь будут пастись вместе с ягненокм.

— Видите, ваше величество, — закончил он, — здесь речь идет о религиозной утопии, не имеющей ничего общего с реальной политикой.

Доктор Хилкия поддержал Гамалиила.

— Твердо установлено только одно, — сказал он, — мессия придет. Но когда он явится и какова будет его деятель-

ность — каждому предоставляется вообразить на свой лад.

Когда еще говорил Гамалиил, кое-кто из богословов начал перешептываться. Они, видимо, считали греховным и недопустимым, чтобы из уст призванного исходило столь двусмысленное толкование важнейшей части их верования, почти отрицание ее. Едва доктор Хелкия кончил, как доктор Хелбо стал поправлять и его, и, главным образом, верховного богослова. Своим низким, прерывистым голосом, беспомощно, на плохом греческом языке, он заявил:

— Может быть, в будущем, может быть, скоро, может, так, а может, иначе — но настанет день. Настанет день, — повторил он резко, угрожающе и устремил старые, пылающие гневом глаза сначала на верховного богослова, потом снова на императора.

Наступило неловкое молчание.

— Занятно, — произнес Домициан, — очень занятно. — Он уселся на ступеньках беседки, неуклюже закинул ногу за ногу, стал покачивать носком: было приятно ходить здесь не в парадной обуви на высокой подошве, а в удобной, похожей на сандалиии. — На этот счет мне хотелось бы узнать побольше, — продолжал он. И, обернувшись к верховному богослову и погрозив ему пальцем, все еще очень мягко сказал: — Вот видите, а вы утверждаете, будто ваш мессия — это утопия, Платонова идея! — Затем, снова обратившись к резкому старику Хелбо, продолжал: — Вы говорите — настанет день. Какой же это день? Объясните, пожалуйста. «Будет некогда день, и погибнет священная Троя», — процитировал он Гомера. — Что вы разумеете под Троей, господин богослов? Рим? — спросил он наконец в упор.

Богословы стояли теперь уже не кучкой, а врозь. Римляне смотрели на них, ждали ответа. Император же, не воспользовавшись их смятением, прервал тягостное молчание и с необычной для него игривостью заговорил снова:

— Вероятно, многие из вас представляют себе этого мессию не чисто духовной сущностью, а существом из плоти и крови. Вот, например, Иосиф Флавий в свое время объявил мессией моего отца, бога Веспасиана. Но вы, Иосиф Флавий, — он посмотрел на Иосифа в упор, мягко, насмешливо и угрожающе, — едва ли могли приписать моему отцу намерение настолько укротить волков и львов, чтобы они паслись вместе с ягнятами. Ну, да ладно, —

обратился он опять к богословам,— римский всадник Иосиф прежде всего солдат, писатель, государственный деятель и только потом богослов и пророк; оставим его толкование. Вы же, господа ученые, вы — призванные истолкователи еврейской веры, вы — доверенные Ягве. И я прошу вас дать мне ясный и недвусмысленный ответ: кто или что такое ваш мессия? Я прошу у вас объяснений, таких же ясных и четких, каких требую от моих чиновников в их докладах.

— В Писании сказано,— начал доктор Хелбо,— а именно, у нашего пророка Исайи: «От Сиона выйдет закон и слово Господне — из Иерусалима. И будет Он судить народы и обличит многие племена».

Гневно и угрожающе вырвались эти слова из его широкого рта. Однако его торопливо прервал доктор Хелкия:

— Да нет же! Нет же, мой брат и господин,— это лишь половина правды, ее истинный смысл открывается только из дальнейших слов, ибо у того же Исайи сказано: «Мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых. Но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли».

— Не извращайте Писания,— упорствовал доктор Хелбо,— не подчеркивайте второстепенного! Разве не сказано у пророка Михея: «И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в дальних странах»?

Но тут заупрямился и доктор Хелкия:

— Это вы искажаете Писание, и притом уже вторично, ибо опускаете то, что Михей говорит дальше: «И каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под своею смоковницею без страха».

Теперь, однако, на помощь доктору Хелбо ринулся его единомышленник, доктор Симон, по прозвищу Ткач.

— А как же понять слова о Гоге и Магоге, которых мессия сначала должен сразить? — вызывающе спросил он.

И все они пустились в спор. Они забыли, что находятся в Альбانه, в присутствии императора,— они были в Ямнии, в университетском зале, с греческого они перешли на арамейский, их голоса сливались, гневные, распаленные. Император и его свита слушали молча, не показывая вида, как их это забавляет.

— Должен признаться, ума я не набрался,— заявил наконец император.

Мессалин же сказал своим вкрадчивым голосом:

— Осмелюсь попытаться разъяснить этим господам, чего, собственно, хочет от них наш владыка и бог. Его величество желает, господа богословы, узнать от вас, как от самых сведущих лиц, следующее: существуют ли сейчас люди из плоти и крови, люди, носящие определенное имя, рожденные в таком-то году и проживающие в таком-то месте, которые притязали бы на то, чтобы их признали мессией? Мне как-то говорили, что существует одно основное условие для того, чтобы вы признали эти притязания: ожидаемый вами мессия должен быть отпрыском от корня вашего царя Давида. Скажите, меня верно осведомили или нет?

— Да, ¹ живо подхватил император, — это занятно. Значит, круг лиц, из среды которых должен появиться мессия, строго ограничен? Следует ли их искать только среди потомков вашего царя Давида? Прошу ответить мне точно, — обратился он к верховному богослову.

Гамалиил ответил:

— Это и так и не так. Наше Священное писание нередко пользуется поэтическими оборотами. Если тот или другой из наших пророков заявляет, что к нам придет мессия из рода Давидова, то они преднамеренно выражаются туманно и их следует понимать иносказательно. Весь мир представлений, окружающих мессию, поэтичен. Этот мир, — закончил он, улыбаясь по-светски любезно, — имеет очень мало общего с той реальностью, которую можно было бы уловить с помощью документов и списков.

Доктор бен Исмаил обратил благородное, цвета слоновой кости, морщинистое лицо к императору, его старые, усталые, запавшие глаза устремились прямо на Домициана, и он заявил:

— Да, речь идет о реальности более высокого порядка. Если кто говорит лишь об одном каком-нибудь качестве мессии, это в лучшем случае часть истины, а тем самым нечто ложное. Ибо учение о мессии есть истина многообразная, ее нельзя постичь одним рассудком, ее можно только почувствовать, узреть. И только пророку она зрима. Достоверно одно: мессия, который должен прийти, будет связью между богом и миром. Он будет послан не только к народу Израиля, но ко всему миру, ко всем его народам.

Тут доктор Хелбо, неистовый ревнитель, грубо заявил:

— Нет, это неверно, и вы, доктор бен Исмаил, знаете, что это не так. Откровение о мессии касалось и частно-

стей,—обратился он к Мессалину,— указаны столь ясные признаки, что их замалчивать нельзя, и даже вам, римлянам, они понятны. Мессия будет из дома и рода Давидова. Это истина, и вас осведомили правильно, господин мой.

— Благодарю вас,— отозвался Мессалин.

— Однако то, что вы, Иосиф Флавий, возвестили моему отцу, с этим не совпадает,— любезно заметил император.— Ибо, насколько я осведомлен о нашей родословной, она восходит к Гераклу, а не к этому Давиду.

Среди римлян пробежал смешок, совсем безобидный, и верховный богослов вздохнул с облегчением. Несмотря на унижение, облегченно вздохнул и сам Иосиф, радуясь, что опасность, угрожавшая Ямнии и учению, как будто миновала.

— Слыша эти разноречивые мнения уважаемых господ богословов,— сказал он в свою защиту,— владыка и бог Домициан может убедиться, что свидетельства о мессии темны, и главную роль здесь играет чувство. То чувство, что я испытывал, вознося хвалу владыке и богу Веспасиану, было искренним, события это подтвердили, и я горжусь своим провозвестием.

У доктора Хелбо вырвалось глухое гневное ворчание. Разве не богохульство уже одно то, что этот Иосиф бен Маттафий, все же еврей, величает императора язычников владыкой и богом? А теперь он вдвойне кощунствует, называя умершего императора Веспасиана — врага Ягве — мессией в присутствии богословов из Ямнии. Доктор Хелбо искал слова уничтожающие и в то же время способные вместить его усердие в вере. Однако ни Аннию Бассу, ни Норбану, ни Мессалину не понравилось, что разговор коснулся столь давних, забытых событий. Им было важно принудить богословов к таким уточнениям, которые можно было бы использовать для практических мер.

— Во всяком случае, следует считать установленным одно,— подвел итог Анний Басс,— любой среди евреев считает, что все происходящие из рода Давидова входят в число людей, из среды которых должен явиться истинный мессия.

— Так оно и есть,— согласился угрюмый доктор Хелбо.

— Что ж,— заявил явно довольный министр полиции Норбан,— теперь у нас есть, по крайней мере, нечто определенное, осязаемое, уловимое.

— А такие потомки Давида существуют? — сейчас же подхватил своим вкрадчивым голосом слепой Мессалин. — Известны они? Много их? И где их найти?

Кроме Иосифа и Гамалиила, никто из присутствующих евреев, должно быть, не знал о тайной деятельности сенатора Мессалина. И все-таки богословы вздрогнули. Они почувствовали опасную подоплеку его кроткого вопроса, поняли, что сейчас наступила самая опасная минута этого чреватого роковыми последствиями разговора, опаснейшая минута этой сомнительной поездки в Рим. Что отвечать? Выдать ли тайну имен этих потомков Давида и их головы злонамеренным язычникам и их императору? Нельзя сказать, чтобы их особенно почитали, тех, на которых ныне перст народа указывает, да и то без полной уверенности, как на потомков Давида; но уже много поколений прошло и многие были призваны. И все-таки потомки Давида были священны, ибо среди них находился избранник или праотец избранника. И надежда на этого избранника была самой светлой стороной учения. Да, великий свет погас бы навеки, если бы богословы легкомысленно пожертвовали потомками Давидовыми, а тем самым возможностью появления мессии, надежда на появление мессии была как бы овеяна тайною, окутана влекущей изначальной святостью; если вместе с родом Давидовым эта святость, эта таинственность исчезнет из жизни, то учение утратит свои глубочайшие чары.

Так что же делать? Уклониться от ответа на коварный кроткий вопрос слепца, скрыть имена, но тогда император наверняка обрушит свой гнев на университет в Ямнии. Значит, выдать потомков Давида?

Ветер усилился. Он пронесился порывами и раздувал парадные одежды. Блестели темно-зеленые листья самшита и тисовых деревьев, серебрились оливы, снизу посверкивало в лучах солнца, слегка волнуясь, озеро. Но никто на все это не обращал внимания. Император сидел на ступеньках беседки, остальные стояли вокруг. Все смотрели на верховного богослова, ответ был теперь за ним, а что он ответит? Даже архитекторы Гровий и Ларина забыли свою досаду на то, что показ их достижений испорчен присутствием этого варварского посольства. Что же ответит главный жрец евреев?

Однако он не успел ответить, как раздался надтреснутый и грубый голос доктора Хелбо. Разве этот Иосиф бен Маттафий не совершил только что новый грех кощунства и поэтому не обрек сам себя на гибель?

— Происходящие из рода Давидова призваны, — сказал доктор Хелбо, — но лишь немногие избраны. Вот вам, например, Иосиф бен Маттафий, бывший священник первой череды, ныне же отлученный еретик. Разве может такой человек быть избранником? И все-таки он из рода Давидова, правда, только со стороны бабки. Во всяком случае, его отец при мне хвалился этим.

— Интересно, — произнес император, — интересно.

Все взгляды устремились на Иосифа. Вокруг него образовалась пустота; в точности так же было и тогда, когда его приговорили к отлучению и каждый держался от него не ближе чем на семь шагов. А он стоял, охваченный странным безучастием, словно речь шла вовсе не о нем, парадная одежда с узкой полосой пурпура, прижатая ветром, облегла худое тело, отсутствующим взором смотрел он на свою руку с золотым перстнем — знаком принадлежности к знати второго разряда. Его душа была охвачена паническим страхом. «Из рода Давидова, — думал он про себя. — Так оно, вероятно, и есть. Царство рода и по отцу и по матери, из рода Давидова и из рода Хасмонеев. И это обрушилось на меня сейчас в наказание за то, что я тогда провозгласил римлянина мессией».

Тем временем верховный богослов все же нашелся, что ответить. С присущей ему высокомерной светскостью он заявил:

— Когда народ указывает на того или другого человека как на потомка Давида, это всего лишь суеверие толпы и не имеет под собой никакой почвы. Очень часто суеверие выдвигает весьма ничтожных людей, какого-нибудь рыбака, плотника. Разве отпрыск Давида мог бы пасть так низко?

Но его поправил человек, от которого никто этого не мог ожидать.

— Иногда от ничтожных людей исходит великое сияние, — раздался кроткий голос старика богослова бен Исмаила.

— Ну-ка, дай посмотреть на тебя, Иосиф мой, — улыбнулся Домициан, — исходит от тебя сияние или нет! — Он встал, подошел к еврею вплотную. — Во всяком случае, эта история с вашим мессией остается загадочной и подозрительной, — решил он, и его слова прозвучали как завершающий вывод.

Тут верховный богослов вспомнил все свои предположения о религиозности и богобоязненности императора и решил, что пора перейти в наступление.

— Я прошу ваше величество,— начал он,— не считать этот вопрос подозрительным. Учение о мессии таинственно, но разве боги многих народов не окутаны таинственностью? — Он стоял теперь лицом к лицу с императором, его голос звучал ясно, мужественно, громко, грозно.— Не годится человеку,— продолжал он,— проникать слишком глубоко в тайны божества. Может быть, именно за это наш бог так тяжело покарал нас.

Лицо императора чуть передернулось, почти неприметно, но Гамалиил заметил это. На большее он и не рассчитывал; если бы он продолжал угрожать императору, он только бы ослабил впечатление. И он ограничился смутным намеком, он даже сделал вид, будто вовсе и не предостерегал императора, а только оправдывался, и продолжал уже не так громко:

— Наш бог Ягве — не легкий, веселый бог, трудно служить ему, он очень обидчив.

Угроза верховного богослова вызвала в душе императора смятение именно своей неопределенностью и многозначительностью, металлические ноты в голосе Гамалиила мучительно напомнили голос брата Тита, а последний намек на обидчивость Ягве чрезвычайно встревожил. Чего ему нужно, думал он, этому еврейскому попу? Я и не собираюсь закрывать его университет. Их Ягве было бы только на руку, если бы я что-нибудь против него предпринял и дал бы ему повод причинить мне вред. Нет, я буду осторожен.

— Я слышал,— начал он, словно с разбега,— что вы опасались, как бы не закрыли ваш университет. Откуда вам пришла на ум такая чепуха? Как вы можете верить столь нелепой болтовне? — Домициан резко выпрямился, величественный и блистательный, стоял он под резкими порывами ветра.— Рим защищает богов тех народов, которые отдают-ся под его защиту,— торжественно заявил он. И продолжал дружелюбно: — Не бойтесь, я дам вам письменное распоряжение моему губернатору Лонгину, оно успокоит все ваши тревоги.— Легким, плавным движением он положил руку на плечо верховного богослова.— Нельзя, господин богослов, сразу же падать духом и отчаиваться,— сказал он с любезной иронией,— в то время как вами правит Домициан, которого сенат и народ римский называет своим владыкой и богом. И, пожалуй, надо больше доверять своим собственным богам.— Затем, обратившись к Иосифу с небрежным и величественным жестом, он добавил: — Вы довольны мной, Иосиф Флавий, историограф моего дома?

На следующей неделе, невзирая на опасное для мореплавателей время года, верховный богослов и его свита отплыли в Иудею. Иосиф и Клавдий Регин провожали их на корабль.

Гамалиил и тут в очень сердечных и почтительных словах выразил Иосифу свою благодарность за то, что тот устроил ему аудиенцию у императора.

— Вы опять оказали великую услугу делу Израиля, — заявил он. — Боюсь только, как бы в конце концов за наши привилегии расплачиваться не пришлось вам. Но так как до сих пор Домициан не сделал никаких выводов из необдуманных слов нашего доктора Хелбо, то будем надеяться, что он не сделает их и впредь.

Иосиф не ответил. Клавдий Регин озабоченно покачал головой и заметил:

— Домициан — медлительный бог.

Затем богословы взошли на корабль, радуясь, что у них в руках столь милостивое письмо императора. Все сердца были переполнены благодарностью к Иосифу. Только богословы Хелбо и Симон Ткач продолжали гневаться на него.

Вскоре сенатор Мессалин пригласил Иосифа к себе. Император оказал сенатору честь откусать у него и желал, чтобы Иосиф прочитал ему из рукописи своего исторического труда главу о еврейском царе Давиде.

Тогда Иосиф понял, что прав был Клавдий Регин, и медлительный бог Домициан не отказался от мысли принять меры против него, а только отсрочил их. И в сердце своем испугался. Вместе с тем он решил, что если господь действительно избрал его и он должен пожертвовать собой за Ямнию, то нужно не раптать, а, напротив, — пойти на эту жертву со смирением и гордостью.

Домициан лениво развалился на диване, а Мессалин открыл Иосифу, что императора интересуют некоторые стороны иудаизма, но так как богословы из Ямнии уже уехали, то он хотел бы получить разъяснения от Иосифа, лучшего знатока в этой области.

— Да, — лениво и благосклонно кивнул император, — с вашей стороны было бы очень любезно, мой Иосиф, если бы вы просветили нас.

Иосиф, обращаясь к одному Мессалину, спросил:

— Прикажете считать этот разговор вопросом?

— Что за выражения, мой Иосиф, — улыбаясь, упрекнул его со своей кушетки император.

А слепец еще раз любезно подчеркнул:

— Это только разговор на исторические темы. Владыку и бога Домициана, например, интересует, что вы, человек с Востока, думаете о судьбе Цезариона, сына Юлия Цезаря и Клеопатры.

— Да, — поспешил согласиться император, — интересуется. Цезарь его, как видно, любил, этого своего сына, — пояснил он, — если предназначил для роли властителя и посредника между Востоком и Западом. И, должно быть, Цезарион, когда вырос, оказался очень одаренным молодым человеком.

— О чем же вы хотите знать мое мнение? — смущенно спросил Иосиф.

Мессалин наклонился вперед, устремил на лицо Иосифа слепые глаза, словно видел ими, и спросил с расстановкой, очень четко:

— Считаете ли вы, что Август был прав, устранив Цезариона?

Иосиф наконец понял, чего от него добиваются. Перед тем как уничтожить потомков Давида, Домициан решил заставить одну из жертв еще и подтвердить, что он прав. И он осторожно ответил:

— Юлий Цезарь, наверное, представил бы суду истории веские и убедительные доводы для того, чтобы поступок Августа был осужден. И Август, со своей стороны, наверное, мог бы привести не менее основательные доводы, оправдывающие его поступок.

Домициан коротко рассмеялся. На лице слепца тоже мелькнула улыбка, и он сказал:

— Хороший ответ. Но сейчас нас интересует не мнение Цезаря и не мнение Августа, а только ваше собственное, Иосиф Флавий. — И медленно повторил, подчеркивая каждое слово: — Как вы считаете — прав был Август, устранив претендента на престол — Цезариона?

И он с нетерпением наклонил ухо к Иосифу.

Иосиф кусал себе губы. Бесстыдно и открыто говорил этот человек о самой сути их замысла — о том, чтобы устранить нежелательных претендентов, устранить его, Иосифа. Иосиф был человек находчивый, он мог бы и дальше уклоняться от ответов, избегая дешевых ловушек; но его гордость восставала против этого.

— Август поступил правильно, — заявил он смело и прямо, — устранив Цезариона. Дальнейшие его успехи подтвердили это.

— Благодарю вас,— ответил Мессалин, как он отвечал в суде, когда противник вынужден был признать, что слепец прав.— А теперь расскажите нам о своем царе Давиде,—весело продолжал он,— чьим потомкам предназначено стать некогда властителями.

— Да,— поддержал его Домициан.— Почитайте нам, что вы там написали об этом вашем предке! Для этого наш Мессалин и пригласил вас сюда!

В сердце своем Иосиф больше любил загадочного, буйного Саула, чем Давида, в судьбе которого столь многое так легко и счастливо складывалось, и он знал, что главы о Давиде — не самые удачные в его труде. Но сегодня, когда он читал, тема захватила его, и он читал хорошо. Он испытывал удовлетворение, повествуя римскому императору о великом иудейском царе, который был мощным владыкой и победителем народов. Иосиф читал хорошо, а Домициан хорошо слушал. Он понимал кое-что в истории, знал толк в литературе, его интересовал Иосиф, его интересовал Давид, он увлекся, и все это отражалось на его лице.

Один раз он прервал Иосифа:

— Наверное, он царствовал довольно давно, этот Давид? — спросил Домициан.

— Примерно в эпоху Троянской войны,— пояснил Иосиф и с гордостью добавил: — Наша история уходит в глубокую древность.

— А наша, римская, начинается только с бегства Энея из горящей Трои,— миролюбиво согласился император.— Значит, уже тогда у вас на престоле сидел этот великий царь. Но читайте дальше, мой Иосиф!

Иосиф продолжал читать, и когда он так читал римскому императору, ему начало казаться, что он и сам немножко похож на того Давида, который играл на арфе царю Саулу с разбитой душой. Читал он долго, но когда хотел остановиться, император потребовал, чтобы он продолжал.

Наконец Иосиф смолк, и Домициан сделал несколько очень здравых замечаний:

— Он, видимо, владел техникой государственного управления, ваш Давид,— хоть я и никак не одобряю его приступы великодушия. Например, он явно вел себя безрассудно, когда пощадил, и даже дважды, Саула, хотя тот был у него в руках. Это послужило для него уроком, и потом он уже действовал умнее. Но прежде всего в одном, кажется мне, он поступил правильно и по-царски: он по-

карал убийцу государя, хотя тот и убил его противника и, следовательно, действовал в его интересах.

Да, рассказ об этой мере Давида, казнившего человека, который убил Саула, казалось, оплодотворил воображение императора, и Иосиф с невольным содроганием почувствовал, как хитроумно и ловко Домициан сумел извлечь из столь давних событий пользу для себя.

— Император Нерон, — обратился он к Мессалину, — был, конечно, врагом нашего рода, хорошо, что он умер. И все-таки я не понимаю, как мог сенат оставить его убийцу Эпафродита безнаказанным. Тот, кто поднял руку на цезаря, не может остаться в живых. А ведь он и сейчас еще ходит по земле, этот Эпафродит? И живет в Риме? И разгуливает среди людей, как воплощенный призыв к цареубийству? Не понимаю, как может сенат терпеть это так долго!

Мессалин своим приветливым голосом стал извиняться за своих коллег:

— Многие из того, что делают и чего не делают избранные отцы, для меня непостижимо, мой владыка и бог. Однако в случае с Эпафродитом я укажу моим коллегам на пример древнего иудейского царя, и, надеюсь, небезуспешно.

На Иосифа повеяло чем-то угрюмым и скорбным. Он относился к Эпафродиту доброжелательно; это был хороший человек, он любил искусства и науку, покровительствовал им, Иосиф не раз приятно проводил с ним время. И вот сейчас он невольно навлек на него гибель.

Вскоре Мессалин под каким-то предлогом оставил Иосифа наедине с императором. Домициан приподнялся на своей кушетке и, улыбаясь Иосифу, доверительно, словно приглашая и его быть откровенным, сказал:

— А теперь, мой Иосиф, признайтесь чистосердечно: этот неуклюжий человек, один из ваших богословов, правильно утверждал, что вы — из рода и дома Давидова? Ведь это, как говорят и ваши ученые, скорее вопрос чувства, интуиции, чем документальных доказательств. Такой ход мыслей и я могу понять. Если я, например, сам верю в то, что я потомок Геркулеса, значит, я и есть потомок Геркулеса. Вы, наверное, уже поняли, мой Иосиф Флавий, к чему я веду. Дело вот в чем: хотите ли вы, чтобы вас считали отпрыском царя Давида, или не хотите? Все зависит от вас, отдаю решение в ваши руки. Мы ведь сейчас составляем списки. Мы вносим в них тех, кого следует считать потомками великого царя, чью деятельность вы так превос-

ходно описали. По некоторым техническим причинам, относящимся к управлению империей, мое правительство считает подобный список желательным. Так как же насчет вас, мой Иосиф? Вы пылко преданны своему народу. Вы гордитесь им, его древностью, великими достижениями его цивилизации. Вы исповедуете свою веру. Я верю Иосифу, исповедующему свою веру. Что бы вы ни сказали, я поверю вам и приму как правду. Если вы скажете мне: «Я отпрыск дома Давидова», — значит, так оно и есть. Вы скажете — «нет», и ваше имя не появится в списке. — Домициан встал, подошел к Иосифу вплотную. Улыбаясь, почти оскалась, с жуткой доверительностью спросил его: — Ну, как, мой еврей? Ведь все государи состоят в родстве между собой. Что ж, ты мой родственник? Ты потомок Давида?

Чувства и мысли Иосифа были словно подхвачены бурей. Когда простонародье уверяло, что тот или другой человек происходит из рода Давидова, это была пустая болтовня, ее не стоило и проверять. Да и сам он никогда не поднимал шума вокруг своего предполагаемого происхождения. Поэтому сейчас было бы бессмысленно выставлять напоказ свою храбрость и признаваться: да, я из рода Давидова. Никому такое признание не принесло бы пользы, и единственное, чего бы он добился, — это собственной гибели. Почему же тогда какая-то мощная сила побуждает его сказать «да»? Потому, что этот император язычников, как ни странно, все же прав? Он, Иосиф, знает чувством, то есть глубоким внутренним знанием, что он действительно принадлежит к избранникам, к потомкам рода Давидова. Император язычников хочет его унижить, склонить к отречению от лучшего, что в нем есть. И если он поддастся соблазну, если отречется от великого своего предка Давида, император будет презирать не только его, он будет презирать целый народ, и по праву. То, что происходит сейчас между ним и Домицианом, — это одна из многих битв в войне, которую его народ ведет против Рима за своего Ягве. Но где же правильный путь? Чего ждет от него божеество? Если он отречется от своей «призванности», это будет трусостью. Но не будет ли духовным высокомерием, если он, вопреки разуму, последует в своем признании смутному голосу чувства?

Он стоял перед императором безмолвный, тощий. Худое лицо ничем не выдавало его растерянности; жгучие глаза под высоким, смелым и выпуклым лбом были устремлены на императора, задумчивые, зоркие и словно

незрячие, и Домициан лишь с трудом выдерживал их взгляд.

— Я уж вижу,— сказал император,— ты не хочешь отвечать ни «да», ни «нет». Это мне понятно. Но если так, милый мой, есть и третий ход. Ты провозгласил моего отца, бога Веспасиана, мессией. Если ты был прав, что-то от мессии должно быть и во мне самом? Поэтому я спрашиваю тебя: являюсь я сыном и наследником мессии? Подумай хорошенько, прежде чем ответить. Если я наследник мессии, то все, что народ болтает о потомках Давида,— пустые разговоры, только и всего, тогда никакая опасность от этих потомков нам не грозит и не стоит моим чиновникам заводить всякие списки. Итак, не уклоняйся от ответа, мой еврей. Спаси своих потомков Давида и себя самого. Скажи эти слова. Скажи мне: «Ты мессия»,— и пади ниц, и преклонись передо мною, как ты преклонился перед моим отцом.

Иосиф смертельно побледнел. Ведь он все это уже пережил. Только вот когда? Когда и как? Пережил в духе. Так рассказано об этом в преданиях о чистом и о павшем ангеле и еще в писаниях минеев, где искуситель, клеветник диавол, призывает мессию отречься от своей сущности и преклониться перед ним, обещая за это все величие мира. Странно, как отражаются в его собственной судьбе легенды и предания его народа. Он настолько проникся прошлым своего народа, что сам перевоплощается в образы этого прошлого. И если он сейчас подчинится римскому императору, этому искусителю, и почитит его, как тот требует, он отречется от самого себя, своего дома, своего народа, своего бога.

Он все еще пристально смотрел на императора; его взгляд не изменился, в жгучих глазах осталась та же глубокая задумчивость, та же зоркая слепота. Но лицо императора изменилось. Домициан улыбался, усмехался с отвратительным, вызывающим ужас дружелюбием. Лицо его побагровело, близорукие глаза подмигивали Иосифу с притворной, лживой, увлекающей приветливостью; рука нелепо раскачивалась в воздухе взад-вперед, словно он куда-то зазывал Иосифа. Без сомнения, император, владыка и диавол Домициан, Dominus ac Diabolus Domitianus, хотел установить с ним взаимопонимание, такое взаимопонимание, какое, по его мнению, существовало между Иосифом и покойным отцом императора Веспасианом.

Несмотря на все его внешнее спокойствие, мысли Иосифа затуманились. Он не смог бы даже сказать с уверенно-

стью, действительно ли Домициан произнес вслух последние слова о том, что Иосиф должен пасть ниц и преклониться перед ним или это было только воспоминанием о падшем ангеле из древних преданий и о диаволе минеев. Как бы то ни было, искушение, которому его подверг Домициан, продолжалось очень недолго. И вот уже император снова стал всего только императором, угловато отставив назад локти, властно стоял он перед Иосифом и официальным тоном заявил:

— Благодарю вас за интересное чтение, всадник Иосиф Флавий. Что касается вопроса, который я вам задал — являетесь ли вы потомком описанного вами царя Давида, — то можете спокойно обдумать свой ответ. Жду вас в ближайшие дни на своем утреннем приеме. Тогда я спрошу вас еще раз. Но где же наш любезный хозяин? — Он хлопнул в ладоши и повторил вбежавшим слугам: — Где же наш Мессалин? Позовите сюда Мессалина. Мы хотим видеть его, я и мой еврей Иосиф Флавий.

В эти дни Иосиф написал «Псалом мужеству».

Славлю того, кто в битве бесстрашен и тверд.
Коней ураган,
Звон железа, свист стрел,
Взмахи топоров и мечей все ближе,
Они уже над ним.
Но он не отступит.
Видит смерть и, как богатырь, — тверд.

Это мужество. Но оно не больше,
Чем у того, кто по праву зовет себя мужем.
Быть храбрым в бою не так уж трудно,
От войны к войне переходит храбрость,
Разве ждешь,
Что именно в тебя метит смерти!
Никогда ты крепче не верил,
Что проживешь еще долгие годы,
Чем верил в бою.

Выше должна быть храбрость того,
Кто уходит к варварам, в глухие края,
Чтоб их исследовать,
Или же кто ведет корабль в пустынное море
Все дальше, дальше,
Чтоб разведать, нет ли новых земель
И новой суши.

Но как меркнет месяц на восходе солнца,
Так тускнеет слава и этих людей
Перед славой того,
Кто сражается за незримое.

Его хотят принудить:
Скажи одно слово, оно же бесплотное, невесомое,
Прозвучав, оно улетучится,
Уже не слышно его, его уже нет;
Но он того слова не скажет.

Или, напротив, он жаждет
Произнести другое, ясное,
Хоть знает — за него ждет смерть.
Наград оно не сулит,
Только гибель,
Он это знает, и все же
Произносит его.

Когда ты жизнью рискуешь
Ради золота, ради власти,
Тебе известна расплата,
Ты видишь ее, осязаешь,
И можешь взвесить.
А тут одно слово?

И я говорю:
Слава мужу, идущему на смерть,
Ради слова, что уста ему жжет.
И я говорю:
Слава говорящему то, что есть.
И я говорю:
Слава тому, кого не принудишь
Сказать то, чего нет.

Избирает он тягчайшую участь.
В свете трезвого дня видит он
Смерть — и манит ее и зовет: «Иди!»
Ради бесплотного слова
Готов он на смерть,
Уклоняясь от слова, если оно ложь,
Исповедуя его, если оно — правда.

Слава тому
Кто ради слова на гибель идет.
Ибо мужеству этому бог
Говорит — да будет! ¹

В один из ближайших дней Иосиф, выполняя приказ императора, велел отнести себя по Священной улице на Палатин в часы утреннего приема.

При входе во дворец его, как и всех посетителей, обыскали — нет ли при нем оружия, затем впустили в первый вестибюль: там находилось уже несколько сот человек, стража выкликала имена, чиновники гофмаршала Криспина записывали их, одних отправляли ни с чем, других

¹ Перевод В. Станевич.

допускали в приемную. В приемной толпились посетители. От одного к другому спешили церемониймейстеры и, по указанию Криспина, уточняли списки.

На Иосифа все обратили внимание. Он видел, что и Криспин встревожен его приходом, и с легкой улыбкой отметил про себя, что тот после некоторого колебания внес его не в список привилегированных посетителей — приближенных первого допуска, а лишь в общий список знати второго разряда. По пути сюда Иосиф был полон мужества и твердил себе, что чем скорее пройдут мучительные минуты встречи с Домицианом, тем лучше; а теперь был рад, что попал только во второй список, и ему, может быть, так и удастся уйти незамеченным, ничего не сказав.

Наконец раздался возглас: «Владыка и бог Домициан пробудился!» — и двери, ведущие в спальню императора, раскрылись. Все видели Домициана, он полусидел на своем широком ложе, гвардейские офицеры в полном вооружении стояли справа и слева. Глашатаи стали вызывать посетителей по первому списку, и те один за другим проследовали в опочивальню. Находившиеся в приемной жадно следили, как император приветствует каждого из них. Большинству он только протягивал руку для поцелуя, лишь немногих обнимал, согласно обычаю. Было ясно, что не может он изо дня в день целовать всех подряд: ведь уже не говоря об опасности заражения, многие были ему просто противны. Все же ни один император до него не показывал так откровенно, сколь тягостна эта обязанность; то, что именно Домициан, ревностный страж обычаев, все чаще уклонялся от этого доброго обычая, вызывало раздражение многих и обижало.

Очень скоро император сделал перерыв. Не считаясь с толпой ожидавших приема, он бесцеремонно зевал, потягивался, нетерпеливо рассматривал собравшихся, потом кивнул Криспину, пробежал глазами списки. Потом вдруг оживился. Хлопнув в ладоши, подозвал к себе карлика Силена, что-то шепнул ему. Карлик, переваливаясь, отправился в приемную, все взгляды последовали за ним; тот шел прямо к Иосифу. Среди полной тишины карлик глубоко склонился перед ним, сказал:

— Владыка и бог Домициан приказывает вам подойти к его ложу, всадник Иосиф Флавий.

Иосиф, на глазах у всего сборища, проследовал в опочивальню. Император заставил его сесть на край ложа, что считалось высоким отличием, сегодня никто,

кроме него, не был им удостоен. Домициан обнял Иосифа и поцеловал его, но не с отвращением, а неторопливо и серьезно, как того требовал обычай.

Однако в ту минуту, когда он прижался щекой к щеке Иосифа, он прошептал:

— А ты потомок Давида, мой Иосиф?

Иосиф же ответил:

— Ты сказал это сам, император Домициан.

Император разжал объятия.

— Вы смелый человек, Иосиф Флавий,— заявил он.

Потом карлик Силен, который все слышал, проводил Иосифа обратно в приемную, еще ниже склонился перед ним и сказал:

— Прощайте, Иосиф Флавий, потомок Давида!

Император же велел закрыть двери опочивальни, прием был окончен.

Еще несколько дней спустя в официальных ведомостях появилось следующее сообщение: император ознакомился с историческим трудом, над которым сейчас работает писатель Иосиф Флавий. Оказалось, что книга не способствует благу Римской империи. Таким образом, упомянутый Иосиф Флавий не оправдал надежд, которые возлагались на него в связи с его первым трудом «Иудейская война». Поэтому владыка и бог Домициан повелел изъять из почетного зала храма Мира бюст писателя Иосифа Флавия.

И этот бюст, где Иосиф, слегка повернув голову, смотрит через плечо и лицо у него худое и смелое,—был удален из храма Мира. Его передали скульптору Василию, чтобы тот употребил драгоценный металл — это была коринфская бронза, уникальный сплав, возникший при сожжении города Коринфа, когда слились воедино металлы многих статуй,— чтобы тот употребил его для бюста сенатора Мессалина, выполнить который ему поручил император.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

— Вы оговорились или я ослышался? — спросил Регин Марулла и так резко повернул мясистую голову, что, несмотря на все свое мастерство, парикмахер-раб чуть не порезал его.

— Ни то, ни другое,— ответил Марулл.— Обвинение против весталки Корнелии будет возбуждено, это решено твердо. Курьер из Полы доставил вчера предписание. Видимо, DDD придает этому делу большое значение. Иначе он не стал бы посылать приказ с дороги, а подождал бы, пока доедет до Рима.

Регин что-то пробурчал, тяжелый взгляд его сонных глаз под нависшим лбом казался еще задумчивее, чем обычно, и не успел парикмахер закончить свое дело, как он нетерпеливо кивнул ему, чтобы тот ушел.

Однако, оставшись с другом наедине, он ничего не сказал. Он только медленно покачал головой и пожал плечами. Да и незачем было говорить, Марулл и так понимал его, и ему весь этот случай казался невероятным. Разве с DDD недостаточно той бури, которая поднялась, когда он из шести весталок отдал под суд тех двух, сестер Окулат? Ведь настроение сейчас и так весьма неважное после отнюдь не блестящего Сарматского похода. И зачем, клянусь Геркулесом, DDD понадобилось вытаскивать на свет обветшалые жестокие законы и обвинять весталку Корнелию в нарушении целомудрия?

Юний Марулл, посасывая ноющие зубы, внимательно и спокойно оглядел зоркими серо-голубыми глазами пыхтящего друга. Он в точности угадал его мысли.

— Да,— отозвался он,— настроение неважное, тут вы правы. Для толпы результаты Сарматского похода выглядят не блестяще, хотя успех все же достигнут, и вполне солидный. Но, может быть, именно поэтому. Ведь наши дорогие сенаторы непременно все вывернут наизнанку и обратят победу в поражение. Весталка Корнелия в родстве и свойстве с доброй половиною знати. Может быть, Фузан поощряет, что эти господа будут осторожнее, если он не побоится обвинить даже самое Корнелию?

Бедная Корнелия! — произнес вместо ответа Регин.

Оба они представили себе эту Корнелию — нежное и веселое лицо двадцативосьмилетней весталки под копной почти черных волос, представили себе, как она улыбается, сидя в своей почетной ложе в цирке, или как она, с пятью другими весталками, поднимается во главе процессии к храму Юпитера,— высокая, стройная, девственная, прищипливая и бесстрастная, жрица, девушка, знатная дама.

— Надо признаться,— заметил наконец Марулл,— что после мятежа Сатурнина он считает себя вправе бороться против своих врагов любыми средствами, лишь бы они вели к цели.

— Во-первых, они не ведут к цели,— возразил Регин,— во-вторых, я не думаю, чтобы этот процесс был направлен против сената. DDD знает не хуже нас, что для этого существуют менее опасные пути. Нет, дорогой мой, его побуждения и проще и глубже. Он просто-напросто недоволен исходом войны и хочет иным способом доказать свое божественное предназначение. Я уже слышу, как он изрекает пышные фразы: «Благодаря таким образцам строгих нравов и благочестия сияние Домицианова века достигнет далей грядущего». Боюсь,— заключил Регин со вздохом,— что иногда он сам верит своей болтовне.

Некоторое время оба сидели молча. Затем Регин спросил:

— А известно, кто должен оказаться сообщником несчастной Корнелии?

— Вообще-то неизвестно, однако Норбану известно. Я полагаю — Криспин, он как-то замешан в эту историю.

— Наш Криспин? — недоверчиво спросил Регин.

— Ну, это всего лишь предположение,— поспешно отозвался Марулл.— Норбан, конечно, никому не обмолвился ни словом, у меня нет никаких оснований, кроме перехваченных мною взглядов и случайных жестов.

— Ваши предположения,— заметил Регин, задумчиво проводя языком по губам,— имеют ту особенность, что они осуществляются, а Норбан весьма изобретателен, когда кого-нибудь возненавидит. Было бы ужасно жаль, если бы Корнелия, это прелестное создание, погибла только потому, что Норбан приревновал ее к египтянину.

Марулл, отчасти потому, что не разрешал себе никакой сентиментальности, отчасти по старой привычке, заговорил с напускной флиртом.

— Жаль,— сказал он.— Как это мы сами не догадались, что Корнелия не только весталка, но и женщина. Все же, клянусь Геркулесом, когда она всходила на Капитолий, в тяжелой старомодной белой одежде и со старомодною прической, то даже такой прожженный материалист, как я, не думал о том, что у нее под платьем. А ведь я как раз охотник до таких вот запретных святынь. Однажды, в самую бурную пору моей жизни, я спал с дельфийской Пифией. Она была не очень красива и уже не так молода, удовольствие ни в какой мере не стоило той опасности, которой я себя подвергал; но разожгла меня именно святость. Такую девушку, как эта Корнелия, не следовало упускать, чтобы она досталась пакостнику вроде Криспина.

Но Клавдий Регин, обычно в подобных вопросах отнюдь не щепетильный, сегодня не отвечал ему в этом тоне. Кряхтя, он наклонился, чтобы затянуть ослабевший ремешок на башмаке, и сказал:

— Да, трудно оставаться другом такого человека, как DDD.

— Надо быть с ним терпеливее, — отозвался Марулл. — У него много врагов. Сейчас ему сорок два, — прикидывая что-то, продолжал он, стараясь встретиться своими зоркими глазами с сонными глазами друга. — Но боюсь, что мы, пожалуй, переживем его.

Регин испугался. То, что сейчас сказал Марулл, было так верно и полно такой отчаянной смелости, что даже среди самых близких друзей этого не следовало произносить вслух. Но раз уж Марулл зашел так далеко, не захотел себя сдерживать и Регин.

— Неограниченная власть, — сказал он, стараясь приглушить свой жирный высокий голос, — уже сама по себе болезнь, болезнь, которая быстро может подточить жизнь даже здорового и сильного человека.

— Да, — согласился Марулл, тоже переходя на шепот, — дух человека должен иметь очень крепкие опоры, иначе они треснут под бременем такой неограниченной власти. И DDD еще удивительно долго держался. Только после заговора Сатурнина он стал таким... — Марулл искал слово, — таким странным.

— При этом, — отозвался Регин, — как раз в этой истории он очень счастливо отделался.

— Вспомните Цезаря и его счастье, — назидательно заметил Марулл. — Столько счастья никто не выдержит.

— Цезарю минуло пятьдесят шесть, — задумчиво проговорил Регин, — когда счастье изменило ему.

— Жаль DDD, — довольно загадочно изрек Марулл.

А Регин добавил:

И жаль Корнелию.

— Он не посмеет, — вдруг вырвалось у сенатора Гельвидия. Говорили о предполагаемом усилении северо-восточных гарнизонов после заключения мира, и неожиданный позглас вспыльчивого Гельвидия не имел к этому решительно никакого отношения. Однако все отлично поняли, на что он намекал. Ведь даже когда разговор шел о совсем другом, их мысли возвращались все вновь и вновь к тому позору, которому император намеревался подверг-

нуть весталку Корнелию, а тем самым и всю старинную знать.

Сколько насилий уже совершал над ними Домициан, над этими четырьмя мужчинами и двумя женщинами, собравшимися у Гельвидия. Тут были Гратилла, сестра, и Фанния, жена Цепиона, которого он казнил. И все они были друзьями и близкими принца Сабина, Элия и остальных девяти сенаторов, которых умертвили вместе с Цепионом за участие в неудавшемся государственном перевороте, задуманном Сатурнином. Но если император казнил этих людей, если бы даже предпринял что-нибудь против собравшихся здесь — такие насильственные действия, с его точки зрения, имели бы смысл и цель. Преследование же Корнелии — это только свирепая, лишенная всякого смысла прихоть. Если император, если похотливый козел Домициан посягает на нашу Корнелию, нашу чистую, сладостную Корнелию, подобное бесстыдство немыслимо даже себе представить. Где бы она ни появилась — возникало чувство, что мир еще не погиб, раз существует она, Корнелия. И ее, ее-то и выхватил среди остальных весталок этот изверг!

Именно символичность этого дела глубоко потрясла находившихся в доме Гельвидия четырех мужчин и двух женщин. Слова тут были не нужны. Если Домициан, это двуногое воплощение порока, с помощью лжесвидетелей обвинит поистине благородную девушку Корнелию в нарушении целомудрия и позорно казнит ее — это будет наглядный образ всей нагло усмехающейся испорченности Рима. Ничто на свете не могло отпугнуть императора. Под его властью само благородство извращалось, становясь низостью.

— Он не посмеет, — утешали они себя с первого же дня, когда слухи дошли до них. Но сколько было таких же случаев, когда они утешали себя теми же словами. Как только заходила речь о новом постыдном намерении императора, они уверяли, скрежеща зубами: у него не хватит наглости, сенат и народ не допустят. Однако, — и в особенности после неудавшегося восстания Сатурнина, — у него, оказывается, на все хватало наглости, а сенат и народ все допускали. Смутно жили в них воспоминания обо всех их поражениях, но они не позволяли этим воспоминаниям всплывать на поверхность. «Он не посмеет». В этих словах, которые вырвались у сенатора Гельвидия с такой яростью и такой уверенностью, была выражена единственная надежда этих людей.

Но тут заговорил самый младший из них, сенатор Публий Корнелий:

— Он посмеет,— сказал Корнелий,— а мы промолчим. Стерпим и промолчим. И будем правы, ибо в такие времена это единственное, что нам остается.

— А я не хочу молчать и нельзя молчать,— возразила Фанния.

Она сидела среди них, старая-престарая, с темным, как земля, отважным и угрюмым лицом и бросала гневные взгляды на Публия Корнелия. Он был близким родственником весталки, находившейся под угрозой, ее судьба касалась его ближе, чем остальных, и он уже почти жалел о своих словах. Перед единомышленниками он мог себе позволить такие речи, но не перед этой старухой Фаннией. Она была дочерью того самого Пета, который при Нероне поплатился жизнью за то, что мужественно признал себя республиканцем, она была вдовою Цепиона, которого, после поражения Сатурнина, Домициан приказал казнить. И всякий раз, когда говорила Фанния, Корнелием овладевали сомнения,— быть может, в молчании, к которому он призывал, усиленно ссылаясь на доводы разума, нет ничего героического, быть может, в демонстративном мученичестве Фаннии куда больше доблести.

Медленно повертывал он свое молодое, но уже изборожденное морщинами лицо от одного к другому. Только уравновешенный Дециан ответил ему быстрым взглядом, втайне соглашаясь с ним. Итак, Корнелий без особых надежд на успех попытался объяснить, почему он считает любую демонстрацию в деле весталки Корнелии вредной. Народ любит и почитает Корнелию. В суде над нею, а тем более в ее казни народ не увидит, как того, наверное, хотелось бы Домициану, строгого служения богам, а просто бесчеловечность и кощунство. Если же мы будем возражать от имени сенатской партии, мы только низведем все дело из сферы общечеловеческой в сферу политики.

Дециан поддержал его.

— Боюсь,— сказал он,— что наш Корнелий прав. Мы бессильны, нам остается только одно — молчать.— Однако он произнес эти слова не как обычно, деловито и сдержанно, но с такой болью и безнадежностью, что остальные и смятение подняли головы.

Дело в том, что первым весть о Корнелии получил Дециан. Эту весть принесла вольноотпущенная Корнелии, некая Мелитта. Девушка сбивчиво сообщила ему,

что на празднике Доброй Богини в доме Волузии, жены консула, случилась страшная беда, но что именно произошло, Дециан так и не мог уловить из путаного рассказа Мелитты; ясно было одно: Мелитта тут замешана, а Корнелии угрожает серьезная опасность. А ведь этот сдержанный, уже немолодой сенатор Дециан любил весталку Корнелию и как будто убедился в том, что и ее улыбка становится ярче и ласковее, когда она видит его. Любовь эта была тихая, ненавязчивая, почти безнадежная. Приблизиться к Корнелии было очень трудно, почти невозможно, а когда ей разрешат покинуть храм Весты, он будет уже стариком. То, что она обратилась за помощью к нему, его глубоко взволновало. Мелитта, именем своей госпожи и подруги, заклинала его увести ее, Мелитту, из Рима, спрятать так, чтобы ее нельзя было найти. Он сделал все, что было в его силах, поручил надежным людям в потайности переправить вольноотпущенницу в его сицилийское поместье, и она жила теперь там, скрываясь, и, вероятно, в ее лице исчезла главная свидетельница, на которую могли бы сослаться враги Корнелии. Однако если Домициан действительно решил погубить Корнелию, то одним свидетелем больше или меньше — это дела не изменит, тут едва ли будет решать правосудие, а только ненависть и произвол. И в то время, как говорил Корнеллий, Дециан испытывал это чувство беспомощности и бессилия с удвоенной остротой, и в его словах ясно прозвучало горе.

На Фаннию не действовало ни горе Дециана, ни благоразумие Публия Корнелия. На ее темном, как земля, лице застыло выражение суровости и боли.

— Мы не имеем права молчать, — настаивала она, и голос ее был полновзвучным, несмотря на дряхлость ее облика. — Это было бы позором и преступлением!

«Ну, это все еще изречения для хрестоматии, — подумал, раздражаясь, Публий Корнеллий, — старуха непременно желает продолжить героические традиции их рода. А в моем сочинении она будет самое большее эпизодической фигурой, истории она не делает». Все же, несмотря на свою трезвую оценку, он не мог не восхищаться этой женщиной, которая так выделялась среди современников своим безрассудным героизмом, и жалел о собственном благоразумии.

Гратилла, сестра убитого Цепиона, спокойная, несколько располневшая аристократическая дама, поддержала невестку.

— Благоразумие, — иронизировала она, — осторожность, политика, все это очень хорошо. Но как может человек, если у него в груди бьется сердце, без конца терпеть все мерзости этого Домициана — и не противиться? Я просто женщина, я ничего в политике не смыслю, я не знаю, что такое честолюбие. Но у меня прямо желчь разливается, когда я подумаю о том, кем нас будут считать наши потомки, наши сыновья и внуки, если мы безропотно миримся с этим господством лжи и насилия?

— Когда будет готова ваша биография Пета, мой Приск? — снова заговорила Фанния. — Когда она выйдет в свет? Мне доставляет глубокое удовлетворение мысль о том, что хоть один заговорил, хоть один не прячет своего гнева.

Когда она обратилась к Приску, он высоко поднял совершенно лысую голову, обвел взглядом всех присутствующих, увидел, что все на него смотрят и с нетерпением ждут от него ответа. Приск считался крупнейшим юристом империи, он прославился тем, что тщательно взвешивал все «за» и «против». Поэтому он не мог не признавать заслуг Домициана в управлении государством, но не менее отчетливо видел произвол и безответственность этого режима единоличной власти, а также многочисленные и явные правонарушения. Однако о своих наблюдениях он мог говорить только в кругу тех, кому доверял, от всех остальных он вынужден был их таить, если не хотел навлечь на свою голову обвинение в оскорблении величества. Для себя лично он теперь нашел выход. Он молчал и все же не молчал. Он изливал свой гнев в историческом исследовании, в котором описывал жизнь славного Тразея Пета, отца Фаннии. Его пленяла возможность рассказать о жизни этого республиканца, которого Нерон казнил за свободомыслие, а легенда сказочно преобразила, — с особой конкретностью, стерева все легендарные черты, и так показать эту жизнь, чтобы Тразея Пет и без мистического ореола предстал перед людьми великим человеком, достойным высочайшего почитания. Фанния могла для этого исследования дать ему очень много материала, множество точных, до сих пор неизвестных деталей.

Однако этот почти законченный труд предназначался только для самого автора и для людей, которым он доверял, прежде всего — для Фаннии. Опубликовать его при домициановском режиме — значило рисковать не только своим положением и состоянием, но и самой жизнью.

И если сейчас Фанния заявила, что он, Приск, будто бы не молчит, что он не таит свой гнев, то она, мягко выражаясь, пересолила, это было явное недоразумение. Ибо на самом деле он, в известном смысле, добивался как раз обратного — затаить свой гнев, запереть книгу в ларь; его единственным желанием и целью было облегчить себе душу. От обнародования книги он не ждал ничего хорошего. Это был бы только демонстративный жест, и прав, трижды прав Публий Корнелий — такими вызывающими жестами ничего не достигнешь, они не в силах изменить положение вещей, да и как вообще литературе бороться с властью?

Вот каково было мнение Приска. Но тут он увидел, что взоры всех с ожиданием устремлены на него, он увидел строгое, требовательное лицо Фаннии и понял, что все будут считать его трусом, если он уклонится, а у него не хватало храбрости прослыть трусом. И хотя рассудок твердил ему: «Что ты делаешь, глупец?» — его уста произнесли решительно и резко:

— Нет, я не буду таить своего гнева. — И не успел он произнести эти слова, как уже пожалел о них.

«Зачем он хочет подражать Пету?» — с тревогой спросил себя Дециан; а Публий Корнелий подумал: «Он тоже глупец и герой!» — а вслух сказал:

— Мужчина должен уметь пересилить себя, мужчина должен перетерпеть эти времена молча, чтобы их пережить.

Древнее, темное, как земля, изборожденное морщинами лицо Фаннии казалось маской, выражающей иронию и негодование.

— Бедная Корнелия, — заявила она и вызывающим тоном обратилась к Публию Корнелию: — У вас хватит смелости хоть на то, чтобы присоединиться к нам, когда мы посетим вашего дядю Лентула?

Старик отец Корнелии уже давно удалился от света и тихо жил в своем сабинском имении; такой общий визит был бы демонстрацией против императора.

— Боюсь, — спокойно ответил Публий Корнелий, не обращая внимания на оскорбительный тон Фаннии, — что мы будем для дяди не слишком желанными гостями. Он в горе, и видеть людей для него — не большая радость.

— Значит, вы не поедете? — спросила Фанния.

— Я поеду, — ответил с деловитой вежливостью Публий Корнелий.

«Бедняга Приск вынужден опубликовать жизнеописание, — подумал он, — а я вынужден участвовать в нелепом посещении только потому, что так требует эта героическая дура. У нас — собственное достоинство, а у Домициана — армия и чернь. Какое мрачное бессилие!»

Когда Домициан вернулся, еще стояла зима. Он удовольствовался тем, что принес лавровую ветвь в дар Юпитеру Капитолийскому, от пышных публичных почестей он отказался. В сенате на этот счет ходили злые остроты. Марулл и Регин считали, что сейчас Домициану приходится нелегко. Если бы он справил триумф, смеялись бы над тем, как ловко он умеет поражениям придать вид победы; если он от триумфа отказывается, начнут смеяться над тем, что поражение, видно, велико, раз даже он сам признает его.

Будучи хорошим знатоком народа, Домициан вместо триумфа для себя назначил щедрую раздачу подарков, с тем чтобы покрыть их стоимость из своей доли сарматской добычи. Каждый постоянный житель Рима считал себя вправе получить подарок. В таких случаях император выказывал большую щедрость, его не смущало, если раздача поглощала не один миллион. А в данном случае он еще мог этим подчеркнуть, какой огромной была сарматская добыча.

И вот он восседал на престоле в колонном зале Минуция, в головах — его любимая богиня Минерва, вокруг — высшие чиновники, писцы, офицеры. Гигантскими толпами валил народ; каждый по очереди получал жетон из глины, жести, бронзы, а если его номер оказывался счастливым, — то даже из серебра или золота. Этими номерами обозначались весьма ценные подарки. И какое начиналось ликование, когда кому-нибудь доставался такой жетон! Как искренне воздавал такой счастливец хвалу владыке и богу Домициану за то, что он дарит счастье Риму и своему народу. Не только счастливец превозносил императора, но и его друзья и родственники, — все были счастливы, ибо каждый надеялся, что если не сегодня, то в следующий раз и ему, быть может, сверкнет золотой жетон. Так раздача подарков стала для Домициана еще более блистательным триумфом, чем самое пышное шествие.

А сам он, император, восседал на престоле у ног своей мудрой советницы Минервы. За эти семь лет он очень потолстел, лицо у него стало красное и отекавшее. Он сидел неподвижный, богоподобный, наслаждался ликова-

нием своего народа. Те, кому достались золотые жетоны, получали право облобызать ему руку. Он протягивал ее, не глядя; но никто не усматривал в этом обидной гордыни, люди и так были в полном восторге. Скрежеща зубами, сенаторы поневоле признавали: народ, или, как они его называли, чернь, любит своего владыку и бога Домициана.

На следующий день праздник раздачи подарков завершился представлением на арене Флавиев — в Колоссеуме, в самом большом цирке мира, построенном еще братом Домициана. В публику швыряли монеты; с помощью искусных механизмов над ареною пролетали веселые крылатые гении и разбрасывали над толпой подарочные жетоны, под конец появилась сама богиня щедрости, Либералитас, и стала сыпать из рога изобилия дары — это были подписанные императором дарственные грамоты на имения, привилегии, доходные должности. Беспредельным было ликование, и его нисколько не омрачило то, что в толчее задавили и растоптали немало женщин и детей.

Вечером того же дня Домициан устроил праздничный пир для сенаторов и своих друзей. Он удостоил многих ласковою беседой, однако его приветливые слова были для многих отравлены человеконенавистническими остротами. Так, верховному судье Аперу, двоюродному брату неудачливого мятежника, поверженного генерала Сатурнина, Домициан сообщил высоким, резким голосом о той радости, с какой массы встретили его щедрые подарки. Это стечение народа, сказал он, явилось, пожалуй, еще более достойным внимания зрелищем, чем в тот раз, когда на форуме по его приказу была выставлена голова казненного бунтовщика Сатурнина. Потом снова заговорил о своей баснословной удаче, которая, после поражения Сатурнина, даже начала входить в поговорку. Ведь тогда столь тщательно подготовленный государственный переворот сорвался в конце концов из-за погоды: внезапная оттепель помешала войскам варваров, которых Сатурнин сумел привлечь на свою сторону, перейти реку по льду и оказать мятежному генералу обещанную помощь. Да, констатировал Домициан, он может сравнивать свое счастье со счастьем великого Юлия Цезаря. Правда, и этот счастливец Цезарь в конце концов пал от кинжалов своих врагов.

— Нам, государям, — небрежно бросил он кучке словно окаменевших друзей, — нелегко. А если мы успеваем отправить на тот свет наших врагов своевременно, пока они еще

не нанесли удар, нас обвиняют, будто их преступные намерения — только предлог, чтобы их устранить. И в разговоры против нас люди начинают верить только тогда, когда нас уже благополучно прикончат. Как ваше мнение на этот счет, мой Приск? А ваше, мой Гельвидий?

Ни одним словом не обмолвился он пока о своих намерениях в отношении весталки Корнелии. Еще трудно было сделать какие-либо выводы из того факта, что по возвращении одной из первых его мер было наказание некоего маленького человека именно за преступление против религии.

Один вольноотпущенник, по имени Лид, в пьяном виде справил нужду в одну из тех небольших, похожих на колодцы шахт, какие обычно выкапывались, чтобы зарыть в них молнию. Каждую молнию, ударившую в какое-либо общественное место и в нем умершую, следовало предать погребению, как умершего человека, чтобы избежать еще более грозных последствий. Поэтому там, куда она ударила, выкапывали яму, жрец приносил в жертву — от трех живых царств природы — человеческие волосы, живых рыбешек и лук, затем на дне ямы складывали подобие гробницы, а над гробницей оставляли нечто вроде квадратной открытой шахты и делали надпись: «Здесь погребена молния». Такая старая могила молнии, еще со времен императора Тиберия, находилась у Латинских ворот, на этом священном месте Лид и справил нужду. Император, бывший по своему сану и верховным жрецом, отдал его под суд. Лид был приговорен к бичеванию и конфискации имущества; вода и огонь Италии были ему запрещены.

Спустя несколько дней Домициан созвал в своей Альбанской резиденции совет высших жрецов — Коллегию пятнадцати. Приглашения, как всегда, рассылались в величайшей тайне. Однако об этом узнали решительно все, — вероятно, такова была воля императора, и когда пятнадцать жрецов отправились в Альбан, весь Рим выстроился вдоль дороги.

Ибо эти высшие жрецы показывались нечасто, и люди взирали на них с робостью и любопытством. А жрец Юпитера был для римлян самой удивительной, самой старомодной фигурой, видеть его удавалось крайне редко. В тех особых случаях, когда он покидал свое обиталище, впереди шел ликтор и возвещал, чтобы каждый отложил свою работу, ибо приближается жрец Юпитера; всюду, где

он появлялся, его обязаны были встречать праздничным бездельем и священным благоговением, он не должен был видеть ни одного работающего человека. А также ни одного вооруженного и ни одного закованного в цепи. Трудной и святой была вся его жизнь. Едва проснувшись, он облачался в полный жреческий наряд и снимать его имел право, лишь укладываясь спать. А состоял этот наряд из плотной шерстяной тоги, которую должна была соткать жрецу его жена, на голову надевалась островерхая валяная шляпа с кистью на верхушке и обвитая оливковой ветвью и шерстяной ниткой. Никогда, даже в собственном доме, не имел он права снимать этот знак своего высокого сана; полагалось, чтобы на жреце не было ни одного узла, ни одной завязки, одежда держалась на пряжках, и даже кольцо с печатью он должен был носить рассеченное. Он постоянно держал в руке маленький жезл, чтобы отстранять людей, ибо был выше всех человеческих прикосновений.

И вот народ теснился, чтобы поглядеть на него и на других членов Коллегии пятнадцати. Люди волновались и переговаривались. Все знали, о чем пойдет речь на Коллегии, — будет решаться судьба Корнелии, весталки, любимицы римлян.

Когда собиралась Коллегия пятнадцати, всем становилось не по себе: во всех случаях преступлений против религии только от членов Коллегии зависело признать обвиняемого виновным или невиновным. Им не надо было допрашивать ни его самого, ни свидетелей, жрецы отвечали только перед богами. Обвиняемый, попав к ним в руки, был совершенно беззащитен. Правда, им надлежало решить вопрос лишь о виновности; меру наказания устанавливал сенат. Но так как опротестовать решение Коллегии сенат не мог, а законы совершенно ясно предписывали и формы наказания, на долю сената оставалась неблагодарная задача отдавать приказ о выполнении вынесенного Коллегией приговора.

Вечером римляне, перепуганные и взбудораженные, передавали друг другу на ухо решение Коллегии пятнадцати: весталка Корнелия признана виновной в нарушении целомудрия.

За это преступление — нарушение целомудрия весталкой — варварский обычай предков установил варварскую кару. Виновную должны были приволочь на ивовой плетке к Коллинским воротам и там бичевать, затем ее живой замуровывали в темнице и, оставив немного пищи и светильник, покидали, обрекая на медленную смерть.

До правления Домициана вот уже сто тридцать лет ни одной весталке не предъявлялось обвинение в нарушении целомудрия. Домициан первый вновь поднял такого рода дело против сестер Окулат; однако даже он не допустил, чтобы исполнили приговор, он смягчил его, предоставив сестрам самим избрать себе смерть.

Что он сделает теперь? Что будет со всеми любимой и почитаемой Корнелией? Неужели он осмелится?

Вечером, после того как господа жрецы из Судебной коллегии удалились, в обширном Альбанском дворце остались только император и гофмаршал Криспин.

Криспин сидел, ссутулившись, в своем кабинете, праздничный, терзаемый нестерпимой тревогой. DDD весь этот день не допускал его к себе, и теперь Криспин в страхе ждал, когда же император его вызовет. Обычно столь элегантный Криспин имел весьма жалкий вид. Куда делось его аристократическое надменное бесстрашие, та пресыщенность, которая придавала его тонкому лицу, худому и удлинённому, подчеркнутое высокомерие? Теперь это лицо было расстроенным и нервным, на нем был написан только страх.

Снова и снова возвращался он к случившемуся, не понимал его, не понимал самого себя. Какой злой дух внушил ему мысль пробраться переодетым на мистерии Доброй Богини? Ведь даже малый ребенок мог бы сказать, что при Домициане, несмотря на всю их дружбу, такая штука не пройдет. Любой порок простил бы ему император, но только не кошунство. При этом Криспин даже не помышлял об оскорблении богов, он только потому пробрался на праздник Доброй Богини, что не видел иного способа приблизиться к Корнелии. Так же поступил некогда и Клодий, знаменитый щеголь времен Юлия Цезаря, чтобы приблизиться к жене Цезаря, доступ к которой был очень затруднен. Клодию все сошло с рук. Но тогда была либеральная эпоха. К сожалению, наш DDD не понимает шуток, когда речь идет о религии.

Однако какие же можно найти против него, Криспина, улики? Никто его не видел, когда он в женском платье крался на праздник Доброй Богини, на котором не имеет права присутствовать ни один мужчина. Только Мелитта могла бы дать показания, эта вольноотпущенница, которая была с ним в сговоре. Но она исчезла, а сама Корнелия имеет все основания молчать. Нет, против него нет никаких улик. Или все-таки есть? У Норбана сотни глаз, а если дело

касается его, Криспина, то их зоркость еще обостряется ненавистью.

Криспин надеялся, что возврат императора как-то прояснит его положение. Но ничто не прояснилось, DDD обошелся с ним ласково и непринужденно, как обычно. Однако он знал своего DDD, понимал, что это еще ничего не доказывает, ужасная тяжесть угнетала его по-прежнему. Ему все время чудилось, что земля вот-вот разверзнется и поглотит его. Красивое лицо Криспина осунулось, он должен был держать себя в руках, чтобы вдруг не замолчать среди разговора, не уйти в себя. Самое вкусное кушанье, самая модная женщина, самый хорошенький мальчик — все потеряло для него свою прелесть. Он не смотрел на одежды, которые ему приготавливал камердинер; парикмахер мог перепутать духи — он бы и этого не заметил. Друзья уже не были друзьями, и когда он по ночам лежал без сна, ему представляло ужасное виденье — всегда одно и то же: он видел себя, его тащат на Бычий рынок в присутствии десятка тысяч зрителей, забивают в колоду и секут кнутами до смерти, как того требует закон. И, удивительное дело, у каждого из десяти тысяч зрителей было его лицо, — даже у чиновника, распорядившегося казнью, даже у палача было его лицо, — и все они говорили его голосом. Он слышал самого себя — это больше всего пугало его, — слышал, как он сам на своем элегантном греческом языке, пришепечывая, отпускает колющие шуточки по поводу невыносимых, смертельных мук, причиняемых этой жестокой пыткой медленного умирания.

Сегодня в Альбане весь долгий день, пока совещалась Коллегия пятнадцати, ощущение предстоящей гибели становилось все более гнетущим, словно надвигалась гора и медленно на него оседала, чтобы в конце концов раздавить его; это ощущение было настолько реальным, что он временами начинал задыхаться. Он бродил по бесконечным коридорам и переходам дворца, по громадному парку, по цветникам и теплицам, между клетками зверей, но ничего не видел; если бы его спросили, где он побывал, он не смог бы ответить.

Затем наступила ночь, и он тайком следил, как уезжали члены Коллегии. Прежний Криспин, какие-то остатки его, с озорной иронией отметил, как эти господа, садясь в экипажи, старались, чтобы их нелепые белые войлочные шляпы не слетели с головы. Но одновременно новый Криспин, которому угрожала смерть, думал: «К какому же они пришли решению?»

И вот он сидел, ссутулившись, в своем кабинете, охваченный бессильным гневом, сознавая, что от пустого произвола этих по-дурацки наряженных типов зависит приговорить его к позорной, мученической смерти,— его, прославленного Криспина, всемогущего министра императора. Сделали они это? Осмелились ли? Руки у него стали как у мертвеца, в голове вертелась одна мысль: «Приговорил он меня? Осмелился ли? Приговорил он меня? Осмелился ли?»

Наконец его позвали к Домициану. Камердинеру, прислуживавшему ему, он велел подать парадную одежду и башмаки на высокой подошве, он отдавал приказания резким и нетерпеливым тоном, но голос его не слушался, и когда он, следуя за слугами со светильниками, зашагал по длинным коридорам, колени у него дрожали. Он старался смотреть на свою угловато двигавшуюся тень, желая отвлечься, позабыть свой страх и предстать перед императором со спокойным лицом. Даже в мыслях Криспин больше не называл его DDD, а только «император».

Император лежал на широком диване, мясистый, вялый, утомленный. Он протянул вошедшему руку, и Криспин поцеловал эту руку осторожно, чтобы не запачкать ее губной помадой.

— Утомительный день был сегодня,— сказал Домициан, позевывая.— Да,— продолжал он,— нам пришлось признать ее виновной. Для меня это удар. Столица и империя были в запущенном состоянии, когда я принял власть. Это одичавший сад, выпалываешь, выпалываешь и видишь, как растут все новые сорняки. Отчего ты так молчалив, мой Криспин? Скажи мне что-нибудь утешительное! Владыка и бог Домициан жаждет сегодня услышать слова утешения от своих друзей.

Криспин не знал, как понять эти речи. Если Корнелию осудили, то лишь из-за того, что произошло на празднике Доброй Богини, а тогда, значит, он, Криспин,— соучастник преступления. Чего же хочет император? Может быть, это одна из его жестоких шуток?

— Я вижу,— продолжал Домициан,— у тебя язык отнялся. Это мне понятно. Со времен Цицерона ни одну несталку больше не казнили. А при мне,— подумай, сначала сестер Окулат, а теперь эту. Нет, боги не помогают мне в моем трудном деле.

Криспин спросил с усилием, и собственный голос покабался ему чужим:

Что ж, есть доказательства?

Император улыбнулся; это была долгая, многозначительная улыбка, и, увидев ее, Криспин понял, что погиб.

— Доказательства? — переспросил Домициан, пожал плечами и слегка протянул к Криспину руки, ладонями вверх. — Что ты хочешь, мой Криспин? Наш Норбан собрал ряд фактов, — косвенные улики, как они называются у юристов, решающие косвенные улики. Но что такое доказательства? Если бы допросили Корнелию и тех мужчину и женщину, которых Норбан обвиняет в соучастии, то эти трое обвиняемых, наверно, привели бы столько же контрдоводов, и не менее решающих. Что такое доказательства? — Он выпрямился, наклонился к Криспину, который сидел неподвижно, словно оледенев, и доверительно сказал прямо в лицо: — Существует одно-единственное доказательство. Оно перевешивает все, что Норбан мог бы сказать о Корнелии, и все, что Корнелия и ее соучастники могли бы привести в свое оправдание. И господа жрецы из моей Коллегии сочли эту улику достаточной. Дело в том, что я — тебе-то я могу сказать прямо, мой Криспин, — я недоволен результатами Сарматского похода. Боги не благословили моего оружия. А почему? Именно поэтому! — Он вскочил. — Потому, что город Рим погряз в грехах и распутстве. Когда Норбан сообщил мне о том, что произошло на празднике Доброй Богини, у меня открылись глаза. Я понял, почему Сарматский поход не принес той жатвы, на которую я надеялся. А что ты думаешь на этот счет, мой Криспин? Скажи честно, выложи все до конца: разве это не решающая улика?

— Да, — пробормотал Криспин; когда поднялся император, он тоже вскочил, и стоял теперь, слегка покачиваясь, его колени дрожали, худое, красивое, смуглое лицо позеленело под слоем румян. — Да, да, — бормотал он запинаясь, уже не в силах держать себя в руках, — но кто же, смею спросить, кто эти соучастники?

— А это уже другой вопрос, — ответил император хитро, но все тем же тоном дружеской искренности. — Речь, конечно, идет о том, что произошло на празднике Доброй Богини. Да это ты сам, наверно, знаешь, — заметил он словно мимоходом, как нечто само собой разумеющееся, и Криспин опять почувствовал дрожь ужаса, когда император бросил ему: «Да это ты сам, наверно, знаешь». — То, что натворил этот негодяй, опозоривший праздник, — продолжал император, — в сущности, только невероятно глупое подражание проделке Клодия во времена Юлия Цезаря. И потому я до сих пор не могу поверить расска-

зу Норбана, как бы ни были серьезны имеющиеся у него основания. Мне просто не верится, что в нашем Риме, в моем Риме, кому-нибудь могла взбрести в голову такая дурацкая затея. Не понимаю. Мужчины той эпохи могли простить Клодию, но моя Коллегия жрецов, мой сенат,— это должен был сказать себе каждый, у кого есть хоть капля ума,— я и мои судьи, мы такие преступления не прощаем.

Однако тут Криспин лишился сил, ноги у него подкосились, и он опустился на пол перед императором.

— Я не виноват, мой владыка и бог Домициан,— заскулил он, стоя на коленях; и повторял без конца, воя, ноя: — Я не виноват.

— Так, так, так,— отозвался император.— Значит, Норбан ошибся. Или он клеветник. Так, так, так. Занятно. Это занятно.— И вдруг, заметив, что Криспин, лобызая полу его халата, измазал ее краской с губ и щек, Домициан побагровел и разразился бранью: — И еще загадил мне платье своими подлыми губами, ты, проказа, ты, сын суки и пьяного ломового! — Он перевел дух, отошел от Криспина, продолжавшего лежать на полу, забегал по комнате, злобно забормotal себе под нос: — Вот благодарность тех, кого я вытащил из грязи. Моя Корнелия! Они готовы испакостить самое лучшее, что у нас есть. Они оскверняют наших дочерей. А ты, верно, не знал,— боги тебе дали пустое яйцо вместо головы, — что весталки — это мои дочери, дочери верховного жреца. Ты даже не понимаешь, египетский выродок, что ты натворил. Ты порвал мою связь с богами, ты, падаль, ты, трижды проклятый. Уже не раз ты восстанавливал против меня богов.— И тут этот медлительный мститель излил все, что в течение семи лет таил в своем сердце.— И это ты, зараза, отброс, жалкий шут, втянул меня в спор с богом Ягве тогда, семь лет назад! Только ты виноват в том, что я заставил верховного богослова так долго ждать! Разве не твое дело было указать мне, что следует его принять? А теперь ты испохабил мою весталку, ты, шакал, ты, египтянин!

Криспин забился в угол. Император, побряхтывая, двинулся на него, мясистый, грузный. Криспин прижался к стене, император пнул его ногой. Но эта босая нога в сандалиии не была сильна, пинок не причинил боли. Все же Криспин вскрикнул, и страх его был непритворным. Вздернутая верхняя губа императора изогнулась еще презрительнее.

Ни капельки мужества нет у этого шакала,— бросил он и отошел от Криспина.

Потом неожиданно опять вернулся, наклонился к скулившему министру и совсем тихо, шепотом, приблизив губы к самому его уху, спросил:

— Ну и как? Хоть получил удовольствие? Какая она была, эта девственница Корнелия? Очень было сладко? Вкусно? В самом деле у этих святых девственниц другой вкус, чем у остальных? Говори! Говори! — И так как Криспин лепетал: «Я же не знаю, я же...» — император снова выпрямился. — Ну ладно, конечно, — сказал он свысока, надменно. — Норбан тебя оклеветал, ты ни в чем не повинен, бедняга, ничего не знаешь. Ты мне уже все сказал. Ладно. — И вдруг, отвернувшись, бросил ему через плечо: — Можешь идти. Останешься в своей комнате. И советую принять ванну. Ты весь обмарался, трус.

— Подари мне жизнь, мой владыка и бог Домициан! — вдруг снова завыл египтянин. — Подари мне жизнь, и я отблагодарю тебя, как еще никто и никогда не благодарил.

— Такая куча навоза! — сказал Домициан, не глядя на него, с отвращением, с беспредельным высокомерием. — Смотри не вздумай сам себя прикончить, слышишь? — приказал он еще. — Да ты все равно на это не способен.

Криспин был уже в дверях, Домициан, снова обретя все свое величие, заявил:

— Что касается твоей жизни, это зависит не от меня. После того как выскажется Коллегия, будет решать сенат.

Но в то время, как император тоном судьи произносил эти бездонно иронические слова, вдруг появился карлик Силен, вероятно прятавшийся до сих пор в углу, и, встав позади императора, начал повторять его жесты. И когда Криспин в те немногие дни, которые ему еще осталось жить, представлял себе Домициана, то в мыслях своих уже не мог отделить карлика Силена от императора. Ибо это был последний раз, когда министру Криспину было дано лицезреть Домициана, и те торжественно-насмешливые слова оказались последними, которые он услышал из его уст.

Келья Корнелии была вторая налево от входа. Как и во всех шести кельях, обстановка в ней была очень простая: только занавес отделял ее от большого зала, в конце которого находилась трапезная. Уже несколько недель тому назад замещавший императора жрец Юпитера сообщил ей, что она отрешена от обязанностей и не имеет права выходить из кельи. Из-за плотно задернутого занавеса она

слышала, что обычная жизнь продолжается. Правила служения Весте были определены вплоть до ничтожнейших мелочей: как принести воду в кувшинах, которые никогда не должны были касаться земли и поэтому дно у них делали заостренным, как выливать эту священную воду, как поддерживать девственный огонь,— каждый шаг и жест в этом простом старинном святилище был предписан заранее. Поэтому Корнелия знала любой миг протекавшего мимо нее дня, ей было известно, кто из ее подруг сейчас несет стражу, кто совершит жертвоприношение, кто испечет священный хлеб. Она знала, что после ее исключения всех трех весталок, вступивших в святилище позже нее, повысили в ранге. Скоро, как только император вернется, двадцать девочек,— все моложе десяти лет, и у всех родители из древнейших родов,— будут представлены в качестве кандидаток, и одну изберут на место шестой весталки, взамен выбывшей Корнелии. Вступление в святилище Весты было одной из высочайших почестей, которыми могли награждать боги и империя. Девушки из самых древних родов добивались этой почести, вокруг той, на кого падет жребий, шла ревнивая борьба. Придется ли еще Корнелии узнать, кто заменил ее?

Но кто бы ни была эта новая, Корнелия заранее завидовала той жизни, которую будет вести она и которую раньше вела сама Корнелия,— эта жизнь была прекрасна. Ровно двадцать лет провела Корнелия в святилище; это были однообразные, строго размеренные годы, где были расписаны каждый день, час, минута. И все же — какими чудесно-волнующими были дни этой жизни; они текли тихо, равномерно и все же были непохожи друг на друга. Она чувствовала себя подобной реке — так плавно все шло, так все было направлено, налажено, подчинено высшему закону.

Тихое, благочестивое веселье, которое народ читал на лице Корнелии, когда по большим праздникам весталки шли вместе с процессией, это тихое, благочестивое веселье, за которое ее предпочитали остальным пяти весталкам и она стала любимицей всего города, отнюдь не было маской. С первого же дня, когда ее восьмилетней девочкой привели в храм Весты, она почувствовала себя здесь как дома. Подавленности, порой как будто угнетавшей других девочек в сумраке святого храма, она не испытала ни разу. И не ощутила никакого страха во время пышной торжественной церемонии, когда ее отец Лентул передал ее первому жрецу — им был тогда Веспасиан — и она

с детским усердием повторяла за хитро и приветливо улыбавшимся стариком формулу обета, который давала богине и империи,—сохранить душу чистой и тело непорочным. Затем в течение десяти лет ее наставницей была ласковая и серьезная Юния, старшая весталка. Обязанности, возложенные на нее, были нетрудны, но их оказалось очень много, ибо если государство хотело избежать гнева богини, то не следовало упускать даже самой ничтожной мелочи. Все же десять лет — долгий срок, и можно было настолько все изучить, что каждое движение становилось естественным, как вдох и выдох. К тому же Корнелия училась усердно; ей нравился нехитрый смысл, скрывавшийся в нехитрых обрядах. Девушки учились наполнять кувшины с заостренным дном, следить за пламенем в очаге и, следуя строгим правилам, поддерживать его, учились плести венки, чтобы на празднике Весты украшать ими ослов светло-серой масти, которых приводили мельники, учились готовить освященное тесто, охранявшее женщин от беды и болезней. Все эти обязанности были легки, но их следовало исполнять с достоинством и с грацией, ибо многие обряды совершались на глазах у всего народа. Когда девственницы, посвятившие себя Весте, поднимались на Капитолий, когда они занимали свои почетные места в театре или в цирке, всегда десятки тысяч людей смотрели сперва на императора, а потом сразу же на них.

Корнелия любила обряды, и ей было приятно показываться на людях. Она умела, как никто, служить богине с благоговейным и веселым видом, словно и не ведая, что на нее устремлены сотни тысяч глаз. В душе же испытывала глубокую радость оттого, что глаза эти устремлены на нее и что она, Корнелия, никого не разочарует. Сознание того, что она — центральная фигура прекрасного, священного и веселого зрелища, наполняло ее радостью, а мысль о том, что она совершает обряды собранно и строго, как того требует благо государства, согревала ей душу.

Они, эти шесть девственниц, посвященных Весте, как бы воплощали в себе простую торжественность и непорочное достоинство древнего римского дома, они были хранительницами очага, их защите был доверен палладий и важнейшие документы государства. Непорочность и бдительность стали для Корнелии естественными свойствами ее существа.

Весталки носили многие почетные титулы. Ей, Корнелии, дороже всего был титул *Amata*, Любимица, и она считала, что носит его по праву. Она чувствовала себя любимой не одним каким-нибудь человеком, но богами,

сенатом и народом Рима. Конечно, между шестью девушками, постоянно жившими вместе, не обходилось без вспышек ревности; но даже в кругу сестер весталок она была самой любимой.

Разве что одна Тертуллия будет чуть-чуть злорадствовать из-за случившейся с Корнелией беды. Тертуллия ее всегда терпеть не могла. Как она злилась, например, когда на Капитолийских играх ей, Корнелии, выпал жребий об руку с императором подняться по ступеням, ведущим к статуе Юпитера. И как раз эта церемония не доставила ей особой радости. Конечно, Домициан выглядел необычайно величественно и она почувствовала, что рядом с императором она особенно выделяется своей строгой и веселой грацией. И все-таки у нее не было радостно на сердце, и этот день оказался одним из немногих, когда она почувствовала, что ей не по себе; смятением, «омраченностью» назвала она в душе такое состояние. Рука человека, рядом с которым она всходила по ступеням, рука императора, верховного жреца, ее «отца», была холодной и влажной, и когда она вложила в нее свою, она ощутила страх и отвращение, — как на празднике Доброй Богини.

Да, это было предчувствием, предостережением, а не случайностью; всегда у нее вызывало эту «омраченность» все, что связано с праздником Доброй Богини. Для других весталок праздник Доброй Богини был вершиной года, Корнелия же всякий раз, когда приближался этот праздник, скорей боялась его, чем радовалась.

Праздник справляли ежегодно, зимой. Хозяйкой, принимающей гостей, бывала обычно супруга высшего должностного лица в государстве — консула: ему приходилось на два дня отдавать в распоряжение жены весь дом, сам же он не имел права переступить его порог, ибо консулу, как и любому мужчине, вход в этот дом был воспрещен под страхом смертной казни. На празднике произносились древние изречения, совершались странные жертвоприношения, исполнялись загадочные, волнующие обряды, и все — под руководством весталок. К концу ее ученичества, незадолго до того, как ей должно было исполниться восемнадцать лет, наставница Корнелии Юния открыла ей смысл и значение этих обрядов и обычаев. Оказалось, что Добрая Богиня — близкая родственница Вакха, она была богиней семейной плодovitости, и подобно тому как атрибутом Вакха служило вино, ей подобала виноградная лоза; однако ее напиток, хоть это и было вино, все же назывался иначе, а именно — «Молоко Доброй Богини».

Это молоко Доброй Богини было символом домашней плодovitости и чистых, но оттого не менее сладостных любовных утех. Все это открывалось посвящаемой, и ей становились понятными таинственные, волнующие обычаи мистерий Доброй Богини. Дом первой матроны империи, в котором она принимала гостей, украшался виноградными лозами; и несмотря на то, что это происходило в середине зимы, виноград был в изобилии, он выращивался в теплицах; старинными кувшинами с заостренным дном черпали весталки молоко Доброй Богини — вино, и все женщины украшали себя виноградными листьями. Они обнимали друг друга и целовались, сперва строго и чопорно, как того требовал церемониал, они исполняли священные танцы, где каждое движение было предписано заранее. Но постепенно, когда наступал второй час празднества, женщины сплетались все более страстно, поцелуи и объятия волновали все сильнее, молоко богини лилось все более щедро. И по мере того как шло время, праздник становился все необузданнее. Однако зимняя ночь была долгой, и когда перед рассветом весталки покидали этот дом, он был полон женщин, которые лежали по всем углам и закоулкам по две, а иногда и по три и уже не узнавали тех, кто с ними заговаривал.

Теперь, в своей одинокой келье, Корнелия пыталась восстановить в точности порядок событий, которые произошли во время последнего праздника богини и перевернули всю ее жизнь.

Мелитта, ее вольноотпущенная, дoloжила ей, что какая-то женщина ожидает ее в будуаре хозяйки дома, Волузии. «Какая женщина?» — спросила тогда Корнелия. «Необычная женщина, — ответила Мелитта, — она хочет поговорить о необычном деле и попросить необычной помощи». При этом Мелитта улыбалась особенной многозначительной улыбкой. Говоря по правде, именно из-за этой улыбки она теперь сидит одна в своей келье, отрешенная от служения богине. Итак, она направилась в будуар Волузии, ступая не со всегдашней своей невесомостью, ибо вкусила молока Доброй Богини, но все же легко. Ее белая одежда во время пляски разорвалась, видны были ноги, и она помнила, как старалась на ходу свести упорно расходившиеся края ткани.

Почему-то, идя в будуар Волузии, она вспомнила о сенаторе Дециане, об этом сдержанном, спокойном человеке, который всегда приветствовал ее так почтительно и даже больше чем почтительно. А между тем, что было общего у этого человека с празднеством и с мистериями Доброй Богини?

Женщина, ожидавшая ее в будуаре Волузии, понравилась ей. Она была высока и стройна, смугло-оливковая, с многоопытным взглядом и многоопытными губами; Корнелия это поняла, когда та приветствовала ее поцелуем Доброй Богини, и тотчас сознание у нее «омрачилось» сильнее, и опять возникло то особое ощущение страха, с которым для нее всегда был связан праздник Доброй Богини.

— Это большая дерзость с моей стороны, — сказала женщина, — но я вынуждена просить вас, именно вас, госпожа моя и Любимица Корнелия, посвятить меня подробнее в мистерии Доброй Богини. Я просто не смогу больше спать, если не узнаю об этих мистериях побольше.

— Знакомы ли мы, госпожа моя? — обратилась к ней, в свою очередь, с вопросом Корнелия.

— И да и нет, — ответила незнакомка, схватила Корнелию за руку, обняла и стала гладить, как было принято на празднестве Доброй Богини. И, очутившись в объятиях, Корнелия вдруг заметила, что грудь у незнакомки совсем плоская.

Весталка была наивна, в ее воображении жили образы древних времен, когда земной круг еще населяли боги и легендарные существа, и она сначала решила, что это уцелевшая амазонка. Поздно, слишком поздно поняла она весь ужас происшедшего в действительности. Все они, конечно, слышали про Клодия, который когда-то, во времена великого Юлия Цезаря, переодевшись арфисткой, пробрался на праздник Доброй Богини. Но это случилось в стародавние времена, столь же неправдоподобные, как век богов и полубогов. И чтобы такая же история могла повториться сегодня, в реальном и осязаемом современном Риме, невозможно было себе представить.

И когда это все же произошло, она словно оцепенела. И не могла стряхнуть оцепенения. До сих пор она не знала точно, что именно случилось, это было и реально и вместе с тем нереально, она все еще не могла понять происшедшее, но она ощущала, продолжала ощущать его каждый день, каждый час. Это не были образы или картины, накопившиеся в ней в результате совершившегося, а скорее чувства, волнения, смутная, мучительная, пугающая неразбериха — отталкивание, отвращение и крошечная капля любопытства, смешанные и перепутавшиеся.

Ее изнасиловали, в этом сомневаться не приходилось. Может быть, ей следовало закричать. Но если бы она закричала -- все бы узнали, что праздник Доброй Богини

осквернен, а столь злое предзнаменование могло стать источником великой беды для похода и империи. И лучше, что она защищалась молча, упорно, задыхаясь. Она защищалась изо всех сил, а она была сильная. Но все время чувствовала себя словно оглушенной этим чудовищным, немыслимым кошунством. Мешала ей также тяжелая старинная одежда. Когда все уже кончилось, ее сейчас же и больше всего испугало то, что священное одеяние на ней было осквернено следами преступления, осквернено в самом буквальном смысле слова, так же, как и ее кожа.

Ей казалось, что злодеяние продолжалось целую вечность, а на самом деле все произошло очень быстро. О внешних последствиях она в ту ночь еще совсем не думала. Заметили остальные ее отсутствие и потом ее смятение или нет — это ее не заботило. Лишь на другой день, когда явилась Мелитта и заклинала Корнелию ради собственного блага спасти ее, Корнелия поняла опасность, ей угрожавшую. Она послала с Мелиттой письмо Дециану. Результатов она не знала. Осталось только воспоминание о кратком и вечном объятии той «женщины» и несколько беспорядочных фраз Мелитты. Больше никто не говорил с ней о событиях той ночи и об их последствиях. И верховный жрец Юпитера также не объяснил ей, почему заточает ее за занавесом кельи.

Что с ней теперь будет? Как и все весталки, она всегда думала о далеком будущем только так: после кончины воздвигнут каменную статую с надписью: «Чистойшей, стыдливейшей, целомудреннейшей, неусыпно бодрствовавшей девственнице Пульхре Корнелии Коссе». А теперь ей придется спуститься в подземелье возле Ворот у холма; ибо когда она во время процессии вложила руку в руку владыки и бога Домициана, она почувствовала, что он ее не любит, и он, конечно, не допустит, чтобы она, как те милые и любимые сестры Окулаты, сама выбрала себе смерть. Ее, скорее всего, замуруют, оставят кувшин воды и немного пищи, над ее темницей, в которой она будет подыхать жалкой смертью, расстелют ивовую плетенку, и случайные прохожие будут со страхом и отвращением обходить ее могилу.

И все же она не нарушила своих обетов. Ведь того, что случилось, она не хотела, ее принудили, она неповинна. А может быть, ничего и не произошло, Корнелия не знает, может быть, все это она вообразила в своем «омрачении». Быть может, если она предложит суду жрецов подвергнуть ее испытанию, оно ей удастся, как некогда удалось весталке.

Тукции, и она сможет зачерпнуть решетом воду в Тибре и принести ее жрецам.

Нет, все это фантазии. Беда произошла в действительности, ее не допустят до испытания, сама Судьба ополчилась против нее, Судьба захотела этой беды, никто не спросит о ее намерениях, и ее замуруют в темнице.

Вдруг кто-то приподнял занавес, чья-то рука просунула в келью поднос с кушаньями и кувшин молока. Корнелия узнала заботливую руку, это была рука Постумии. Кушанья были приготовлены с любовью, ее любимые кушанья, их заботливо прикрыли крышками, чтобы они не остыли. Другие весталки любили ее, жалели. «Amata», «Любимица» — она носила этот титул по праву.

Нет, не воздадут ей жреческих почестей на Аттической улице, не поставят почетного памятника, ее имя будет стерто со всех камней и со всех бумаг. И все же остальные будут о ней вспоминать, часто, с любовью, даже ненависть Тертуллии окажется бессильной. Они будут вспоминать о ней, замешивая священное тесто, и первого марта, обновляя огонь богини; как бы ей хотелось дожить до этого первого марта! И, перешептываясь, они назовут ее имя, робко, тайком, с нежностью, когда будут черпать воду и потом освящать ее и когда будет сменяться стража у очага Весты.

Эта мысль немножко успокоила Корнелию, и она с удовольствием ела вкусные кушанья. Потом она заснула, и на ее молодое лицо легло то выражение серьезного и радостного покоя, которое снискало ей любовное почитание народа.

В первое время после Сарматского похода император мало бывал в Риме, он почти постоянно находился в своем Альбанском поместье. И если раньше он охотнее всего простаивал перед клетками зверей, то теперь предпочитал бродить по тому огромному участку парка, из которого его главный садовник-топиарий Феликс совершенно изгнал первобытную природу, превратив его в своего рода гигантский ковер. Клумбам, живым изгородям, аллеям были приданы очертания геометрических фигур. Изящные и чопорные, стояли самшиты и тисы, подстриженные в виде конусов и пирамид, высились сухощавые и прямые кипарисы, из всевозможных цветов и растений были составлены имена, фигуры, даже целые маленькие картины. Дорожки были тщательно посыпаны гравием, а оставшуюся незасаженной большую часть парка замостили. Тут были водоемы и фон-

таны, всевозможные уютные уголки для отдыха, круглые скамьи, искусственные гроты и руины, беседки, сложенные из камней пни, был даже лабиринт. Голубели пруды с лебедями и цаплями, на широких белых мраморных лестницах распускали хвосты павлины. Галереи с фресками там и сям пересекали сад. Террасы и лестницы связывали между собой отдельные части этого гигантского парка, раскинувшегося на холмах, деревянные и каменные мосты, изгибаясь, перекидывались через ручьи, и весь парк полого спускался к озеру. Все здесь было изящно, манерно, чопорно, торжественно, декоративно, пышно.

Когда Домициан прогуливался по своему саду, его восхищала мысль о том, что можно до такой степени изменить и укротить все живое, ввести его в предначертанные человеком границы. И если его топиарию Феликсу удалось совершать такие чудесные превращения с живыми цветущими растениями, то неужели ему, римскому императору, не удастся изменить людей согласно своей воле, ему, новому Прометею, вылепить их в соответствии с его волей и опытом?

Вот каким размышлениям предавался император, бродя по своим садам в Альбане. С ним был его карлик, в некотором отдалении следовал главный садовник, а еще подалее — рабы с носилками, на случай, если император устанет. Прогулка продолжалась долгие часы. Довольный, рассматривал он беседки, гроты, всю эту измельченную, вымуштрованную природу. Время от времени он ощупывал вьющиеся растения: плющ, лианы, вьющиеся розы, вынужденные расти так, как им приказывал человек. Потом подзывал главного садовника, требовал объяснить ему то-то и то-то, радовался, слушая описания того, как можно принудить даже высокие, мощные деревья принимать облик, который предписывает упорядочивающий человеческий разум.

Но охотнее всего он задерживался в оранжереях. Все там нравилось ему: искусственная зрелость, искусственная жара, хитроумное стекло, улавливающее солнечные лучи. С задумчивым удовлетворением узнавал он, что можно таким образом заставить деревья и кусты зимою приносить те плоды, которые обычно созревают только летом. В этом был некий успокоительный для него символ. В одной теплице он приказал поставить ложе, и однажды он лежал на нем и подремывал, когда к нему пришла Луция.

Отношение к ней императора снова стало угрожающим, в нем таились такие бездны, что она бы не удиви-

лась, если бы Фузан вдруг решился нанести ей второй, смертельный удар.

Началась эта перемена с того времени, когда он приказал казнить принца Сабина. Так как Домициан чувствовал себя виноватым перед Юлией, он долго щадил Сабина, хотя Норбан за много лет успел собрать против принца достаточно улик, чтобы провести через сенат смертный приговор. Но лишь после того, как участие Сабина в путче Сатурнина было неопровержимо доказано — в руки Норбановых агентов попало письмо, где этот безрассудный и высокомерный принц соглашался на предложение генерала стать императором вместо Домициана, — Домициан решился прикончить его. И тут Луция допустила грубую ошибку. Она не могла поверить, что Сабин сделал такую глупость, она все объяснила чистым произволом Домициана и упрекнула его в том, что он устранил кузена, ревнуя к нему Юлию. Это было с ее стороны явной несправедливостью, и потому он надолго получил преимущество перед ней.

Но по-настоящему опасными стали их отношения только после роковой кончины Юлии. А случилось это так: после смерти Сабина Юлия снова забеременела, причем, судя по срокам, всякое сомнение в отцовстве Домициана исключалось. Домициан намеревался ребенка усыновить и поэтому не хотел, чтобы тот родился на свет незаконным. Он предложил Юлии вступить в новый брак. Юлия же, которой и в первом браке немало пришлось вытерпеть от ревности Домициана, отказалась. Домициан хотел навязать ей мужа по своему выбору. Она воспротивилась. Императором овладел приступ ярости. До сих пор он терпел возмущения только от одного-единственного человека — Луции. Он не собирался мириться с тем, чтобы и Юлия, пользуясь своей беременностью, стала зазнаваться, словно вторая Луция. Скорее он откажется от сына. После двух бешеных объяснений он заставил Юлию вытравить плод. От этой операции Юлия и умерла.

Домициана мучила эта смерть, так как он был в ней повинен. Но он ни за что не хотел, чтобы это заметили, особенно Луция, и однажды спросил ее с иронией:

— Ну как, моя Луция, вы довольны, что отделались от Юлии?

Императрица всегда терпеть не могла Юлию и держалась с ней, хоть и непринужденно, но слегка насмешливо и высокомерно. Однако смерть Юлии возмутила ее, женщина в ней восстала против мужского произвола Домициана, а его дурацкий вопрос окончательно вывел ее из

себя. Она не пыталась скрыть свои чувства, ее ясное, крупное лицо выразило негодование, и она сказала:

— Твоя любовь, Фузан, как видно, не идет на пользу тем, кого она постигает.

Если в деле Сабина он простил Луции ее обвинения, оттого что они были нелепы и несправедливы, то замечание насчет Юлии ранило его тем глубже, что это была правда. Враждебность, таившаяся с самого начала в его отношении к Луции, обострилась, и с тех пор в его объятиях было столько же гнева, сколько желания. А Луции это нравилось. Домициана же грызло сознание, что он не в силах от нее оторваться; когда он бывал с нею, то казался самому себе ничтожеством; стараясь обуздать себя, брал ее в объятия все реже и в конце концов все-таки свел свои встречи с ней к тем случаям, когда им приходилось показываться вместе публично. Свидания становились все более формальными, настороженными, оба постоянно были начеку. И вот прошло уже немало времени, больше месяца, как Луция совсем не видела императора.

Поэтому было большой смелостью проникнуть к нему без доклада, и не очень-то легко она миновала многочисленных караульных и камергеров, а теперь с тревожным напряжением ждала, как он будет держаться с ней.

— Вы здесь, моя Луция? — приветствовал он ее, и она уже по его голосу заметила, что он удивлен скорее приятно, чем неприятно.

Так оно и было. Если Домициан за последние месяцы избегал объяснений с нею, то лишь из боязни, что она будет выкладывать ему истины, которые он не был склонен выслушивать. На этот раз он догадался, что она явилась из-за Корнелии, — они состояли в родстве, и Луция очень любила девушку, как и все римляне, — а в деле Корнелии он чувствовал себя уверенно; возможность объясниться с Луцией по этому поводу даже радовала его.

И действительно, после первых же фраз она заговорила о Корнелии. Не обращая внимания на сидевшего в углу Силена, она заговорила с Домицианом об этой истории с весталкой и даже слегка польстила ему; но ей надо было спасти Корнелию.

— Я допускаю, — начала она, — что вы хотите припугнуть сенат, показать, что как бы в империи кого-нибудь ни любили и ни почитали, вас это не остановит. Кроме того, ваша цель, вероятно, показать сенату, что вы, кто бы перед вами ни был, остаетесь строгим блюстителем римских традиций. Но вы слишком умны и, конечно, понимаете сами,

что в этом деле ставка и выигрыш несоизмеримы. Даже в лучшем случае вы выиграете меньше, чем потеряете в любом случае. Пощадите Корнелию!

Домициан осклабился.

— Занятно вы себе это представляете,— сказал он,— занятно. Но вы разгорячены, моя Луция, боюсь, что пребывание в теплице вам вредно. Разрешите предложить вам прогуляться по саду?

Они вошли в платановую аллею и были теперь совершенно одни, император резким движением разогнал всех окружающих.

— Я знаю, что в Риме именно так и толкуют о моих намерениях,— бросил он мимоходом,— но уж вам, моя Луция, не следовало бы повторять этот вздор. Ведь дело яснее ясного. Речь идет о религии, о нравственности — и только. Я отношусь к своему сану верховного жреца очень серьезно. Святыня Весты, ее очаг вверены моей охране. Я могу простить, когда дело касается моего собственного очага,—он взглянул на Луцию с вежливой и злобной улыбкой,— но я никак не могу этого сделать, если встает вопрос о чистоте очага, воплощающего в себе непорочность целого.

Домициан хотел было свернуть на боковую дорожку, но Луция предпочла пойти обратно по платановой аллее, и он послушно за ней последовал.

— А вы не замечаете,— спросила она, что ваши поступки... ну, скажем... противоречивы? Человек, ведущий такой образ жизни,— говорят, что совсем недавно вы забавлялись с несколькими женщинами сразу, да еще в присутствии слепого Мессалина, и что вы дразнили и изводили слепца, требуя от него, чтобы он угадывал, с какой и как... Так вот, человек, который ведет такую жизнь, производит довольно странное впечатление, если берет на себя роль судьи над весталкой Корнелией.

— А я еще раз советую вам, дорогая Луция,— мягко отозвался Домициан,— не прислушивайтесь к гнусным сплетням моих сенаторов. Уж вам-то лучше всех известно, что следует различать между Домицианом частным лицом, который в редкие свободные часы предается удовольствиям, и владыкой и богом Домицианом, цензором, поставленным богами, чтобы судить нравы, образ жизни и традиции империи. Не я преследую Корнелию, у меня нет к ней ни любви, ни ненависти, я к ней совершенно равнодушен. Ее преследует государственная религия, империя, Рим, чистый огонь которых она должна была ох-

ранять. Вы обязаны это понять, моя Луция, и вы, я уверен, понимаете. Судьбою и богами установлены определенные различия. Не все, у кого не растет борода и есть женское лоно, одинаковы: женщина, пользующаяся правом римского гражданства, *mater familias*, и тем более весталка, — это нечто совсем другое, чем все прочие женщины на свете. Прочие могут делать все, что им угодно, могут блудить, как мухи на солнце, могут уступать кому и когда угодно. Они живут только нижней половиною тела. Но римская гражданка и в особенности весталка живут только верхней своей половиной. Не следует стирать различия, путать меры и мешать веса. Пусть Домициана как частное лицо меряют хоть тою же мерой, что и любого каппадокийского носильщика; но я запрещаю, я протестую против того, чтобы мое времяпрепровождение в свободные часы бросали на одну чашу весов с деяниями бога Домициана.

Они все же углубились в боковую дорожку.

— Благодарю вас, — ответила Луция, — за то, что вы просветили меня и наставили. Удивляет меня только одно: почему вы не разрешаете римским гражданкам того, что разрешаете себе? Почему бы и римской гражданке не делать различия между ее времяпрепровождением в свободные часы и деяниями, совершаемыми в качестве римской гражданки? Почему бы и ей не разрешить себе раздвоения, как раздваиваетесь вы, и жить то как римская гражданка — одной верхней половиною тела, то как самка — одной нижней?

Но Домициан не уступал.

— Пойми же меня, моя Луция, — продолжал он молящим тоном. — Ведь только сознание своего долга, живущее в государстве, в верховном жреце, выносит Корнелии приговор, только оно. В этом обществе, в этой аристократии, растленной множеством дурных правителей, я хочу снова пробудить дух строгости, простоты, чувства долга, которые были у наших предков. Вернуть народ в лоно религии, семьи, к добродетелям, скрепляющим настоящее и будущее. И с большим правом, чем об эпохе Августа, скажут об эпохе Домициана:

Не бесчестит семьи любодейние.

Добрый нрав и закон — цепь для распутников.

Матери родовым сходством детей горды.

За виной кара следует.

Своим резким, высоким голосом он с некоторым пафосом цитировал Горация.

Но тут Луция уже не выдержала и разразилась своим грудным, звучным смехом.

— Извини, — проговорила она. — Я верю, что у тебя самые добрые намерения. Но право же, эти стихи звучат смешно в устах человека, который был любовником Юлии и поныне остается мужем Луции. — И так как Домициан густо покраснел, она продолжала: — Я не хочу тебя обижать, клянусь Геркулесом, я пришла сюда не для того. Но неужели ты воображаешь, что можно всякими административными мерами повысить нравственность римлян? И что наш нынешний Рим, нашу современность, эпоху Домициана — все это можно вернуть вспять и превратить в другую эпоху, по твоему желанию? Тогда тебе пришлось бы перервать весь Рим и запретить три четверти того, что в нем принято. Ты что же — хочешь убрать проституток, закрыть театры, запретить комедии о супругах-рогачах? Хочешь, чтобы соскребли с фресок в домах любовные похождения богов? Ты воображаешь, что, замуровав Корнелию, действительно что-то достигнешь? Я не знаю, в чем ты можешь ее обвинить; но знаю твердо — в одном мизинце моей кухни Корнелии больше непорочности, чем в тебе и во мне, вместе взятых. Когда Корнелии не станет, народ почувствует, что такое истинная непорочность. А когда он видит тебя, какие бы строгие законы ты ни издавал, боюсь, он этого не чувствует.

— Не думаю, чтобы ты была права, — отозвался он, стараясь подавить злобу и говорить сдержанно. — Но будь что будет, а я хочу проучить твоих сенаторов и показать им, что их знатность дает не только привилегии, но и накладывает определенные обязанности. Допустим, я разрешаю себе те или иные удовольствия; но человек, настолько мне близкий, как ты, должен бы знать, что император Домициан отказывает себе в тысяче наслаждений, разжигающих кровь, и берет на себя вместо того тысячекратное бремя. Ты думаешь — шутка этот Сарматский поход? Тебя даже здесь знобит, под римским солнцем; а побывала бы ты у сарматов, тогда узнала бы, что такое стужа. И ты бы поглядела на варваров, с которыми нам пришлось воевать. Бывало, увидишь трупы этих негодяев на поле боя или посмотришь на пленных, так мороз по коже подирает, и тогда понимаешь, какой ты подвергался опасности. Нужно иметь поистине мужественное сердце, чтобы смотреть, как на тебя мчится десять тысяч этих полулюдей со своими дьявольскими стрелами. Неужели ты думаешь, любовь моя, что я охотнее не оставался бы с тобой в постели, вместо

того чтобы ехать на оскальзывающейся лошади по сарматским обледенелым полям сражений? И если я требователен к себе, то буду требователен и к своим сенаторам.— Домициан остановился,— под изящно подстриженными деревьями он казался очень рослым,— и произнес целую речь: — Эти господа распустились. Вся их служба государству состоит в том, что они по жребию распределяют между собой провинции и дочиста их обирают. Но долго я с этим мириться не буду. Тот, кто принадлежит к знати первого ранга, не имеет права растрачивать свои силы на любовные похождения или на бабьи мечты и раздумья о суевериях минеев и им подобных, он должен беречь свои силы для государства. Человеку доступно лишь одно: или служить государству, или предаваться своим страстям. Только бог вроде меня может сочетать и то и другое. В обществе, которое будет вести себя так, как наша знать, в конце концов не останется ни чиновников, ни солдат, а одни только сластолюбцы. Империя погибнет, если ее знать будет разлагаться и дальше.

На смелом, ясном лице Луции появилось то выражение насмешки, против которого он был бессилен.

— И, значит, ради этого ты погубишь Корнелию? — спросила она.

— И ради этого тоже,— ответил он, но уже более миролюбиво.

Мягко и властно увлек он ее прочь из освещенной части сада в один из гротов, в его тень, подальше от ясного света весеннего дня.

— Я хочу кое-что сказать тебе, Луция,— заговорил он доверительно, почти шепотом.— Эти восточные боги, этот Ягве и бог минеев, ненавидят меня. Они опасны, и если я вовремя не приму мер, они меня погубят. Но чтобы устоять против них, мне нужна поддержка всех наших богов. Я не могу допустить, чтобы Веста сделалась мне врагом. Не имею права оставить безнаказанным ни одно преступление против нее. И если я хочу в нынешнем году отпраздновать Юбилейные игры, это может совершиться только в чистом Риме. И я не остановлюсь на полпути. Господа сенаторы, чьи мнения ты так охотно передаешь мне, в первые годы моего царствования говорили, что я — строгий император. После того как я покарал участников заговора Сатурнина, они стали говорить, что я жесток. А если они доживут до поздних лет моего царствования, им долго придется искать подходящее слово, чтобы выразить свое мнение обо мне. Но это не заставит меня свернуть с моего пути. Я обдумал

каждый шаг. Худую траву из поля вон. Сенаторы будут тщательно проверены. Я вытопчу восточное распутство. Кое-кто жестоко поплатится за свое заигрывание с восточными суевериями. В моем лице Юпитер обрел верного слугу.

Все это он говорил вполголоса, но от него исходила такая сила решимости, такая загадочная и властная вера в свое предназначение, что он нисколько не казался Луции смешным. Она поспешила выйти из грота на свет, и ему поневоле пришлось за ней последовать.

— Ну ладно, Фузан, ладно! — сказала она, слегка проводя крупной рукой по его все более редееющим волосам, и тоном, в котором звучали и уважение и ирония, добавила: — Во многом ты, может быть, даже и прав. Но все-таки в том, что ты задумал сделать с Корнелией, ты определенно не прав. Корнелия — первая любимица всей империи. Народ, который тебя любит, будет любить тебя гораздо меньше, если ты действительно прикажешь исполнить приговор над ней. Не делай этого! Ты за это поплатишься.

Она машинально попыталась разрыхлить башмаком еще по-зимнему твердую землю, это ей не удалось. По ее телу пробежала легкая дрожь. Лечь живой в эту землю, а сверху тебя накроют ивовой плетенкой!

Домициан улыбался своей угрюмой, надменной улыбкой.

— Не бойтесь, моя Луция, — сказал он. — Мой народ меня не разлюбит. Давайте биться об заклад? Разрешите мне вам напомнить о нашем разговоре, если я окажусь прав?

Сенаторы с большой неохотой собрались на заседание, где им предстояло вынести приговор Корнелии и ее сообщнику Криспину, ибо Коллегия пятнадцати признала обоих виновными. Им претила необходимость подтвердить своим авторитетом это сомнительное решение и ту варварскую кару, на которой, видимо, настаивал император. Однако Домициан довел до их сведения, что будет присутствовать на заседании, и это недвусмысленное предупреждение заставило сенаторов явиться почти в полном составе.

Весьма недовольным казался и народ. Возле курии, где должно было происходить заседание, собралась большая толпа, и даже императора не встречали, как обычно, почтительными приветственными возгласами, вокруг него слышался лишь взволнованный шепот или воцарялась враждебная тишина.

С самого начала заседания сенат вел себя слишком вольно. Первым взял слово Гельвидий. Он должен сделать избранным отцам некое сообщение, сказал Гельвидий, оно в корне изменит весь подход к тому делу, ради обсуждения которого они здесь собрались. Нет больше нужды выносить приговор гофмаршалу Криспину, министру императора. Получены точные сведения о том, что он не стал дожидаться приговора сената и умер, вскрыв себе вены.

Председательствующему консулу не удалось соблюсти порядок в ведении заседания. Сенаторы повскакали с мест, все что-то говорили, кричали, перебивали друг друга. Лучшего повода, чтобы уклониться от поставленной перед ними тягостной задачи, нельзя было придумать. Единственный свидетель, который мог бы показать против Корнелии, исчез, вердикт жреческого суда терял смысл, как же тут вынести приговор? Лишь с большим трудом удалось консулу восстановить порядок.

Мессалин попытался найти выход. Он был опытный оратор, он стал доказывать, что более ясное признание своей вины, чем это самоубийство, трудно себе представить, и именно после того, как один из виновных уклонился от кары, необходимо, чтобы смягчить гнев богини, еще строже наказать соответчицу перед лицом Рима и мира. Однако его речь не подействовала. Тревога только усилилась. С улицы, — двери были, согласно закону, раскрыты, чтобы народ мог следить за обсуждением, — с улицы доносились голоса спорящих и взволнованные крики толпы; и в стенах сената, и на улице люди горячо доказывали, что если кто и оскорбил богиню, так это Криспин, который сейчас таким сравнительно благополучным и угодным императору способом покончил с жизнью.

А в курии тем временем Мессалину отвечал Гельвидий. Совершенно непонятно, заявил он, каким образом Коллегия пятнадцати, арестовав Криспина, не установила более строгого надзора за ним, чтобы помешать самоубийству. Испуганные столь смелыми словами, сенаторы смотрели на императора. А тот сидел, побагровев, и в ярости сосал нижнюю губу; он злился на своих дерзких сенаторов и на самого себя, он хотел пощадить Криспина и облегчить ему самоубийство, но, как с ним бывало нередко в подобных случаях, он, скрытничая даже с самим собой, давал недостаточно ясные указания. А Гельвидий сделал вывод: «Теперь, — заявил он, — после столь загадочной смерти Криспина, сенату остается только возвратить дело весталки Корнелии в Коллегию пятнадцати для пересмотра».

Затем слово взял Приск, и после горькой и гневной речи Гельвидия деловитость и конкретность знаменитого юриста показалась вдвое убедительнее. Этот случай, рассуждал он своим высоким, резким и четким голосом, не имеет прецедентов. Дело было передано на рассмотрение сенату, поскольку обвинялся гофмаршал Криспин и его сотоварищи, и совершенно неправильно было бы теперь вдруг отрывать от целого вопрос о весталке Корнелии. Для этого понадобилось бы новое следствие и новые предписания от жреческого суда. А вообще он вынужден признаться, что, несмотря на свое уважение к приговору жрецов, он явился на это заседание с глубокими сомнениями. Его, человека, благоговейно взирающего на деяния божества и видящего высокий смысл и взаимосвязь во всем, что происходит, с самого начала смущало одно тягостное противоречие. Если бы какая-либо из весталок действительно совершила грех и тем самым навлекла гнев богов на сенат, народ и на императора, то как же тогда объяснить, рассуждал он с коварной последовательностью, что владыка и бог Домициан смог одержать столь блистательные победы в Сарматской кампании?

Этот ход как будто опирался на неуязвимую достоверность фактов, и вместе с тем трудно было представить себе более злобную и жестокую издевку над Домицианом, — каждый римлянин это понимал и радовался ей, и сам Приск с величайшим удовлетворением сообщил зычным, трубным голосом свои соображения сенаторам, а потом выкрикнул их на весь мир. Домициан услышал их, понял все, его сердце на миг перестало биться, но теперь самому Приску предстояла горькая расплата за его сладостную месть; ибо с этой минуты императору стало ясно, что скоро, очень скоро он отправит и Приска следом за Сабином, Элием и другими, осмелившимися над ним посмеяться.

Выступил Мессалин, он пытался опровергать Приска и вернуть в обычную колею разбушевавшийся сенат. Неужели, начал Мессалин, он вынужден напоминать высокому собранию, которое так ревностно защищает свои права, что оно стоит перед созданием опасного прецедента, намереваясь вмешаться в компетенцию не менее высокой и вполне самостоятельной корпорации? Конституция не дает сенату права рассматривать основания, по которым господа жрецы могут выносить свои приговоры. Сената эти основания ни в какой мере не касаются, хитроумные, формально юридические возражения, подобные тем, которые только что

привел уважаемый сенатор Приск, может быть, и имели бы вес по отношению к светским судьям, но они пусты и лишены содержания, если дело касается Коллегии пятнадцати, ибо она выносит свои решения, следуя воле богов и под их водительством. Решение Коллегии пятнадцати принимается навечно, оно не подлежит кассации, а сенаторам остается только на его основе вынести приговор.

С величайшей неохотой приступил сенат к рассмотрению этого ненавистного ему дела. Было заслушано несколько предложений, имевших целью снять с сената ответственность. В результате приговор был сформулирован так искусно, что вся ответственность действительно легла на императора. Приговор гласил, что весталка Корнелия подлежит такому же наказанию, как в свое время сестры Окулаты. Они же, хоть и были приговорены к предписываемой законом казни — к замурованию, однако императору сразу же была подана просьба о смягчении их участи, и фактически именно Домициан назначил им род смерти. Итак, сенат благодаря своему двусмысленному решению не сам приговорил Корнелию к жестокой каре, — он свалил ответственность за способ казни на императора.

Напуганные собственной смелостью, смотрели сенаторы на Домициана. Как того требовал закон, председательствующий консул спросил, одобряет ли император, в качестве верховного судьи и жреца, этот приговор и велит ли привести его в исполнение. Все с тревожным ожиданием глядели на крупное багровое лицо императора. Норбан, сидевший позади него и несколько ниже, повернулся к нему, готовый на лету поймать его ответ; но ему и не пришлось этот ответ сообщать сенату. Все увидели, как тяжелая багроволицая голова кивнула в знак согласия, еще до того как Норбан обратился к нему с вопросом.

Итак, консул объявил приговор, государь его утвердил, писцы записали, палач приготовился к казни.

До сих пор народные массы любили императора. Даже кровавая суровость, с какой он наказал участников заговора Сатурнина, встретила понимание. Но казнь Корнелии понимания не встретила. Римляне роптали. Норбан попытался вмешаться, однако римляне не давали заткнуть себе рот, они бранились и роптали все громче.

Рассказывали трогательные подробности казни Корнелии. Когда она спускалась по ступенькам в свою могилу, ее платье за что-то зацепилось. Один из палачей, приводивший приговор в исполнение, хотел было ей помочь отцепить его; но она оттолкнула его руку с таким омерзением, что каждо-

му должно было стать ясно, до какой степени ее чистое существо страшилось любого прикосновения мужчины. Этот рассказ настолько запечатлелся в сердцах людей, что две недели спустя, когда во время постановки «Гекубы» Еврипида прозвучал стих: «Она старалась умереть достойно», — публика разразилась бурными демонстративными аплодисментами. Впрочем, прошел слух, что друзья — называли даже имя самой Луции — успели сунуть Корнелии пузырек с ядом, и ее чистота и достоинство произвели на стражу такое впечатление, что они не решились этот яд у нее отобрать. Кроме того, оказалось, что Криспин перед смертью отправил многим друзьям письма, в которых утверждал, что умирает невиновным. Копии этих писем читались по всей стране. Уже ни один человек не верил в вину Корнелии, а императора считали бесноватым и безрассудным тираном.

День ото дня становилось все яснее, что Луция была права и за казнь Корнелии императору придется заплатить своей популярностью. До сих пор народные массы относились к оппозиционным сенаторам вполне равнодушно и даже враждебно. Теперь народ сочувственно приветствовал госпожу Фаннию и госпожу Гратиллу, где бы они ни появлялись. Была поставлена пьеса «Парис и Энона», полная намеков на отношения императора с Луцией и Юлией, и спектакль имел неслыханный успех. На улице с сенатором Приском заговаривали совершенно незнакомые люди и высказывали пожелание, чтобы он опубликовал свою речь, произнесенную в сенате в защиту Корнелии.

Правда, пойти так далеко Приск не решался. Однако он выполнил то, что обещал старой Фаннии, — больше не таить своего гнева и распространить «Жизнеописание Пета». Он вручил свой труд Фаннии, для которой и писал его, и согласился, чтобы она ознакомила с этой книжечкой других. Вскоре копии с нее ходили по рукам во всем государстве.

А в этой книжечке была описана красиво и ясно жизнь республиканца Пета. Как этот человек, воспитанный в строгом староримском духе, когда тирания Нерона стала уже нестерпимой, отказался посещать заседания сената, чтобы выразить свое отношение к ней. И хотя он молчал, молчал, молчал, но все его существо вместе с тем выражало глубокое недовольство порядками в государстве. Как Нерон в конце концов обвинил его и приказал казнить. И как он хладнокровно, даже радуясь, что ему уже не придется больше жить в этом опустившемся Риме, вскрыл себе вены

и умер, сохраняя мужество стойка. С тех пор прошло двадцать семь лет. В своей биографии Пета Приск не сказал худого слова про Домициана, он ограничился обстоятельным и точным изображением жизни своего героя, используя данные, которые получил от Фаннии, дочери Пета. И все же именно благодаря этой деловитости его труд стал единственным в своем роде чудовищным обвинением против Домициана, и так именно его и поняли, с таким ощущением и читали.

Если до сих пор такие дерзкие выпады совершались лишь отдельными лицами, то затем весь сенат в целом поднялся на открытую борьбу против императора. Толчком послужил случай с губернатором Лигарием.

Этому Лигарию, одному из своих любимцев, Домициан поручил управление провинцией Испанией, и тот употребил власть на то, чтобы беззастенчиво грабить страну. И вот в Рим прибыли представители этой провинции с жалобой сенату на бесчестного губернатора. Раньше, когда уважение к Домициану еще не было подорвано казнью Корнелии, сенат едва ли допустил бы такой процесс против любимца императора. Но теперь, когда сенат чувствовал, что с каждым днем его сила растет, он не только выудил у императора согласие на этот процесс, но предал его самой широкой гласности.

Выступить в защиту провинции Испании сенат поручил Гельвидию. Тот пустил в ход свое неистовое красноречие, сенат выслушал его и согласился почти со всеми приведенными им доказательствами. До мельчайших подробностей были вскрыты все вымогательства, которыми занимался в несчастной Испании Лигарий, друг и любимец императора. С тайным торжеством слушал сенат, как Лигария уличают и позорят. Когда расследование было закончено, то стало совершенно ясно, что сенат, собравшись через две недели на очередное заседание, приговорит любимца императора не только к возмещению награбленных денег и земель, но, помимо того, к конфискации имущества и к изгнанию.

Этот выпад был направлен уже прямо против Домициана, — а ведь всего несколько месяцев тому назад никто бы и помыслить об этом не смел. Правда, в государственном архиве лежали таблицы с текстом закона, предоставлявшим императору такие права, которые до сих пор, с самого основания города Рима, еще не были сосредоточены в руках одного человека, но Домициан понимал, что этой полнотою власти воспользоваться не смеет. Наоборот,

уже два поколения сенаторов не решались оказывать такое сопротивление государю, как нынешний состав сената.

Император находился в Альбане, он лежал, вытянувшись, на ложе, которое приказал поставить себе в теплице. Он обдумывал все, что произошло, и спрашивал себя, как могло это произойти. Уж не слишком ли он занесся? И Луция права? Нет, она не права. Нужно только найти силы, чтобы сдержать себя и не обрушить удар преждевременно, нужно набраться сил и выждать. А это он умеет. Он ждать научился. От убогой юности до высоты престола пришлось пройти долгий путь!

Многого можно добиться выдержкой. Многие растения можно заставить принять ту форму, которую им навязывают. А то, что не подчиняется, отсекают прочь, вырывают с корнем. В данный момент приходится себя сдерживать, но настанет день, когда он сможет вырвать сорную траву с корнем. Он знает, что действует в согласии с божеством! И в конце концов Луция окажется неправой.

Почему в Риме не хотят признать, что у него не было иного выхода, как приговорить Корнелию к смерти? Он понимает, что вина многих казненных им не была установлена вполне бесспорно. Но Корнелия-то действительно виновна! Почему именно в ее вину люди не хотят поверить? Нужно найти способ сделать вину Корнелии доказанной, очевидной и для его по-дурацки недоверчивых подданных.

Домициан вызвал к себе Норбана. Разве тот не упоминал о некоей Мелитте, вольноотпущеннице, будто бы знавшей о событиях на празднике Доброй Богини? Где она, эта Мелитта? На что он годен, его министр полиции, если он дал этой Мелитте ускользнуть и не задержал ее, — ведь она же могла понадобиться. Император то осыпал Норбана неистовой грязной бранью, то лыстил ему и умолял добыть исчезнувшую Мелитту, чтобы подвергнуть пытке и заставить во всем сознаться.

Однако Норбан так же невозмутимо слушал мольбы императора, как и его брань. Министр стоял перед ним, кряжистый, спокойный, мощная голова покоилась на угловатых плечах, нелепо свисал на низкий лоб завиток черных волос, глаза Норбана, коричневатые глаза верного, но не совсем прирученного пса, смотрели на императора проницательно, услужливо, чуть высокомерно.

— Владыке и богу Домициану известно, что он может положиться на своего Норбана. Совершившая кощунство

Корнелия, в наказание за вполне доказанную вину, лежит, обреченная забвению, под плетенкой из ивовых прутьев. Я дам вам в руки средство, мой владыка и бог, чтобы убедить в этой вине и глупую чернь.

Вскоре после этого Дециану, жившему очень уединенно в своем имении близ города Байи, доложили о неожиданном посетителе — сенаторе Мессалине. Дециан растерянно спрашивал себя, что нужно от него этому зловещему человеку, хотя в глубине души уже догадался, едва слуга назвал имя Мессалина: человек этот искал Мелитту.

И слепец действительно вскоре заговорил о весталке Корнелии.

— Какая жалость, — сказал Дециан, — что эту женщину погубили!

Весьма неосторожные слова, но он не мог молчать, он чувствовал потребность высказать свою скорбь об утраченной Корнелии.

— А разве не было бы еще горше, если бы она умерла без вины?

Вот оно! Вот ради чего и прискал сюда этот негодяй! Дециан решил ни за что не выдавать мертвую Корнелию; но в ту же самую минуту, когда он давал про себя этот обет, он уже чувствовал, что его нарушит.

Мессалин заговорил о том, что DDD стоило больших усилий согласиться на исполнение столь сурового приговора. А теперь некоторые упрямые республиканцы коварно уверяют, что давшаяся императору с таким трудом суровость напрасна и смерть Корнелии лишена смысла. Они распространяют слухи, будто Корнелия погибла безвинно, и, таким образом, подрывают значение этого поучительно-сурового приговора, цель которого — способствовать укреплению нравственности и религии. Каждый искренний друг империи не может не испытывать скорби, слыша столь безбожные и безрассудные разговоры.

Дециан знал, что рискует жизнью. И все-таки он на мгновение забыл о своем страхе и стал рассматривать слепца с любопытством и ужасом. Вот, значит, как подобные люди ухищряются с помощью изворотливой, лживой, дьявольской логики превращать собственные преступления в дела благочестия. Может быть, даже, они обманывают самих себя; по крайней мере, тот человек, от чьего имени явился Мессалин, считал все, что тут было насочинено, чистой правдой.

— Когда-то, — храбро ответил Дециан, — от Корнелии исходило то сияние, каким боги одаряют очень немногих, и поэтому, — заключил он с вежливой многозначительностью, — трудно будет оправдать ее смерть.

— Есть один человек, — отозвался Мессалин, — который в этом деле мог бы оказать помощь богу Домициану. И этот человек — вы, мой Дециан. — Словно видя притворное удивление и негодование собеседника и считая излишними все его возражения, Мессалин остановил его легким движением руки и продолжал: — Нам известно, где именно находится вольноотпущенница Мелитта. Однако мы не желаем, чтобы вокруг дела Корнелии поднимали лишний шум, и только поэтому не хотим захватить ее силой. Самое разумное с вашей стороны было бы выдать нам Мелитту. Тогда вы уберегли бы себя от больших огорчений, Мелитту от допроса под пыткой, а нас от ненужного шума. Мне кажется, это было бы также в духе нашей умершей Корнелии.

Дециан резко побледнел, он был рад, что хоть этой бледности слепец не мог увидеть.

— Не понимаю, что вам угодно, — сдержанно ответил он.

Мессалин сделал легкий вежливый, отрицающий жест.

— Вы же не такой твердолобый глупец, как некоторые ваши друзья, — возразил он. — DDD ценит вас, как человека мудрого и многоопытного. Мы понимаем, вам хотелось бы защитить Корнелию. Но что вам даст дальнейшее сопротивление? Вы думаете, что сможете заставить DDD по-смертно восстановить ее честь? Вы столько раз доказывали свою мудрость, докажите ее еще раз! Выдайте нам Мелитту, убедите ее быть благоразумной, вы на этом выиграете довольно много. Я не хочу обманывать вас: обвинение в том, что вы участвовали в сокрытии преступления Корнелии, все равно будет выдвинуто, даже если вы и выдадите нам Мелитту. Но каким бы ни было решение сената, я могу обещать вам, что вы отделаетесь просто недолгой ссылкой. Не давайте мне сейчас окончательного ответа, мой Дециан! Обдумайте хорошенько то, что я сказал вам! И вы придете к выводу, я в этом уверен, что другого разумного выхода не существует. Постарайтесь спасти Мелитту от пытки, а себя — от смерти и сегодня же отправьте всю свою движимость за пределы Италии на те два-три года, которые вам придется пробыть в изгнании! Могу вам обещать, что Норбан будет смотреть на это сквозь пальцы. Поверьте мне, я советую вам по-дружески!

Когда Мессалин удалился, Дециан сказал себе, что, вероятно, и императору, и его советникам нет никакого дела до погибшей Корнелии,— для них важно вернуть Домициану утраченную популярность. Ясно было и то, что сенат уже не сможет рассчитывать на поддержку широких масс, если ему придется снова отказаться от позиций, которые он за последнее время отвоевал в своей борьбе с императором. Это Дециан знал точно. Имеет ли он право помочь императору и снова обессилить сенат только ради того, чтобы спасти свою жизнь?

Он не имеет на это права. Но если он пожертвует собой, какая от этого будет польза? Он может сделать так, что Мелитта исчезнет окончательно. А какие меры примут тогда Мессалин и Норбан? Они его схватят, они пытками вырвут у него признание, как и почему он спрятал Мелитту. Нет, это ничего не даст. Победу над сенатом, которую император в конечном счете все-таки одержит, жертва Дециана лишь отсрочит на две-три недели, но отвлечь не сможет.

Дециан сообщил Мессалину, где находится Мелитта.

Дециану приказали молчать, он не имел права выезжать из своего поместья, за ним следили. Мелитта была сейчас же арестована.

Домициан многозначительно улыбался, довольный.

«У меня надежные друзья»,— сказал он Мессалину.

«У меня надежные друзья»,— сказал он Норбану, а в тесном кругу своих министров, куда входили теперь только Регин, Марулл, Анний Басс и Норбан, он заявил:

— Пусть это пока остается между нами. Мы еще не возбуждаем дела против Дециана. Пусть господа сенаторы спокойно продолжают действовать. Сначала посмотрим, в чем еще они будут обвинять Лигария и нас.— Его улыбка стала шире.— Пусть враги империи идут все решительнее навстречу своей гибели! Мы можем подождать!

Итак, господа из сенатской оппозиции и понятия не имели о происшедшем — о том, что император обладал теперь возможностью положить конец упорным толкам о невинности весталки, когда ему заблагорассудится. Наоборот, все они — Гельвидий, Приск и прочие участники сенатской оппозиции воображали, будто им удалось уже восстановить республику и действительно оттеснить императора на указанное ему конституцией место, будто он всего только первый среди равных, а они и в самом деле

первейшие из его подданных. Старик Гельвидий расхаживал с сияющим видом, его морщинистое лицо помолодело от гордости, рожденной этой победой. Он чувствовал себя великим республиканцем, защитником правого дела, он отомстил Лигарию и императору за угнетение испанцев, он сиял от самодовольства, а с ним и другие вожди сенатской партии, Приск и его единомышленники, семья казненного Пета — Фанния, Гратилла. Послезавтра сенат должен вынести приговор Лигарию, кровопийце Испанской провинции. Некоторым сенаторам хотелось бы, чтобы, наказывая Лигария, ограничились конфискацией имущества и ссылкой; но они, вожди оппозиции, не будут столь скромны и умеренны. Для преступного любимца тирана они потребуют смертного приговора, и они своего добьются.

Министры Марулл и Регин, конечно, знали обо всех этих разговорах. Это были пожилые люди, они много кое-чего повидали, у них на глазах неожиданная смерть постигала друзей и знакомых, и порой, когда этого никак не удавалось избежать, такая внезапная смерть приходила не без их содействия. И они устали, по характеру они были скорее добродушны, чем злы, они были миролюбивы, и им становилось немного жаль старика Гельвидия, когда он теперь так слепо и безрассудно стремился навстречу своей смерти. В конце концов спасти этого человека было невозможно, но почему бы ему еще не пожить на свете несколько лишних лет или хотя бы месяцев? Они были человечны, им хотелось удержать его — пусть не спешит так навстречу гибели.

Ничего удивительного, что эти два господина, чей либерализм был известен и противникам, считавшим его просто ленью, — иногда вели с этими противниками более или менее откровенные разговоры, правда — чисто отвлеченного характера. Марулл и Регин стали и сейчас искать случая для такой откровенной беседы. Накануне того дня, когда сенат должен был вынести приговор по делу Лигария, вышло так, что им все же удалось объясниться с Гельвидием, Приском и Корнелием.

— Вы помогли вашей Испании прийти к победе, мой Гельвидий, — заметил Марулл, — и свалить Лигария. Это очень много, и вас можно поздравить. Но чего вы хотите еще? Если бы человек, подобный нашему Корнелию, действовал столь по-юношески пылко, это было бы понятно. Но когда кто-нибудь так ведет себя в вашем возрасте, это противоестественно.

А Регин с присущим ему добродушием добавил:

— Зачем вы так кровожадны? Вы же знаете не хуже нас, что DDD может, самое большее, утвердить решение о конфискации имущества и ссылке, но не смертный приговор. Такое требование было бы просто комедией. Зачем вам это нужно? Вы только скомпрометируете вашу победу.

— Я хочу показать римскому сенату и народу, что нынешний режим без зазрения совести поручает важнейшие должности в государстве преступникам,— мрачно ответил Гельвидий.

— Милый Гельвидий,— отозвался Регин,— а не слишком ли это сомнительное обобщение? Ведь и при безраздельной власти сената время от времени какого-нибудь губернатора да судили за денежные махинации. Мы еще в школе кое-что на этот счет учили. У меня сохранилось в памяти несколько речей по такому же поводу, и без этих образцов вы не смогли бы даже произнести вашу превосходную обвинительную речь против Лигария.

— А если вы хотите быть честным,— подхватил Марулл,— то должны допустить, что как раз при нашем владыке и божественном Домициане управление провинциями значительно улучшилось. Согласен, Испания достался плохой правитель. Но ведь у империи в конце концов тридцать девять провинций, и с незапамятных времен ни при одном государе оттуда не поступало так мало жалоб, как при DDD. Нет, мой Гельвидий, то, что вы намерены сделать, это требование смертной казни,— не имеет никакого отношения к реальной политике, ваша цель уже не борьба со злоупотреблениями, а просто демонстрация против режима как такового.

Затем снова вмешался Регин:

— Отговорите вашего друга, мой Приск, и вы, мой Корнелий. Он никому не окажет услуги, внося такое предложение,— ни вам, ни нам, ни самому себе. Оно может привести только к беде.

Он говорил особенно спокойно, почти добродушно. Все же и Приск и Корнелий уловили в его тоне предостережение.

Но Гельвидий этого не расслышал; опьяненный своим успехом, он разглагольствовал еще более высокомерно.

— Конечно,— сердито ответил он,— я борюсь не с Лигарием как таковым; мне все равно, будет ли он сослан или казнен. Я борюсь,— и вы это отлично знаете,— против того, чтобы один-единственный человек воплощал в себе Рим, я борюсь за суверенитет сенатского правосудия. Борюсь за свободу Рима.— Это были опасные слова, даже теперь, и Корнелий попытался перевести разговор на другое.

— Вы уже произносите речь, мой Гельвидий,— заметил он,— вы отклонились от нашей темы.

Однако Регин успокоил его легким движением руки.

— Ничего,— сказал он, улыбаясь. Он не хотел, чтобы его самого лишили возможности тоже добавить несколько слов к разговору о свободе, о которой сенаторы с таким удовольствием несли всякую чушь.— «Свобода»,— повторил он сказанное Гельвидием слово и своим высоким жирным голосом заключил:— Свобода — сенаторский предрассудок. Сенаторы хотят, чтобы воплощением Рима был не один-единственный человек, а двести семейств, представленных в сенате, вот это сенаторы и называют свободой. Предположим, они достигнут своей цели на все сто процентов. И добьются для сената большей власти, чем ее имел император. Но что, клянусь Геркулесом, они при этом выиграют? В чем будет она состоять, их свобода? В диком хаосе, в беспорядочных действиях враждующих между собой семейств, которые будут спорить, договариваться и надувать друг друга, борясь за провинции, привилегии и монополии еще упорнее, чем сейчас. Если вы прислушаетесь к голосу разума, а не чувства, вы должны будете признать, что такая свобода для всего государства вреднее, чем прозорливое правление одного человека, которое вы стремитесь опорочить с помощью весьма удобного слова «деспотия».

Гельвидий хотел возразить, но Приск удержал его, у него самого было слишком много возражений.

— Вот вы пренебрежительно отзывались о «чувстве»,— начал он, и его резкий, ясный голос сейчас особенно отличался от высокого жирного голоса Регина.— Но вы забываете, вы не хотите понять, как может угнетать людей ощущение произвола одного-единственного человека. Сознание, что мои поступки подлежат суду и совести тщательно и по заслугам избранной корпорации,— это как свежий воздух, а чувство, что ты зависишь от произвола одного человека,—это как удушье.

Не мог уже себя сдерживать и Корнелий и своим низким, угрожающим голосом многозначительно добавил:

— Свобода — не предрассудок, Регин. Свобода есть нечто очень определенное, осязаемое. Если я вынужден сначала обдумать, могу ли я сказать то, что должен сказать,— то жизнь моя сужается, я становлюсь беднее, я в конце концов уже не могу размышлять независимо, я невольно заставляю себя все чаще думать лишь так, как «дозволено», я погибаю, я ограничиваю себя тысячей убо-

гих оговорок и опасений, и вместо того чтобы беспрепятственно смотреть вперед, вдаль и ввысь, мой мозг заплывает жиром. В рабстве человек только дышит: жить можно лишь в свободе.

Теперь и Гельвидий уже не хотел больше ждать.

— Император,— начал он,— старается изо всех сил снова внедрить в жизнь римлян дисциплину и добродетель. Он неистовствует, назначая наказания, которые не применялись уже в течение полутора веков. А чего он достиг? Когда правил сенат, в Риме было больше добродетели, нравственности, дисциплины, чем теперь.

Приск добавил:

— И больше справедливости.

Корнелий же уточнил, как бы подведя итог:

— И больше счастья.

— Все это, господа, одни слова,— добродушно отозвался Регин,— только красивые слова. Счастье? Вы требуете от правительства, чтобы оно сделало людей счастливыми? Этим вы только доказываете, что сами править страной не способны. Вы требуете от правительства морали? Добродетели? Справедливости? Согласен, однако наши пожелания гораздо скромнее. Мы, Марулл и я, считаем правительство хорошим, если ему удастся устранить из жизни как можно больше причин, способных вызвать несчастья: голод, чуму, войны, слишком неравное распределение благ. И если мне надо выбрать между тем или иным режимом, оценить, какой лучше, то плевал я на его название, мне в высшей степени безразлично, называют ли его свободой или деспотизмом, я задаю один-единственный вопрос: какой режим гарантирует лучшее планирование, лучший порядок, лучшее управление, лучшее хозяйствование. Требовать от правительства большего, требовать от него справедливости и счастья — это все равно что требовать от козла молока. Дайте населению любой страны хлеба и зрелищ, дайте немного мяса и вина, дайте судей и сборщиков налогов, которые не брали бы слишком больших взяток, и не допускайте, чтобы привилегированные сословия слишком жирели, и все остальное: справедливость, дисциплина и счастье — придет само собой. Будьте искренни: ведь вы знаете не хуже меня, что при Домициане на душу населения приходится больше хлеба, больше часов сна и больше удовольствий, чем это было бы возможно при правлении сената. Неужели вы думаете, что сто миллионов жителей империи согласятся отдать этот хлеб, сон и эти удовольствия ради вашей «свободы»? Среди этой сотни миллионов

даже и полумиллиона не наберется, которые желали бы другой формы правления.

Все жаждали возразить ему. Однако Маруллу надоели бесплодные рассуждения, и он заявил, как бы подытоживая сказанное:

— Во всяком случае, я советую вам одно, мой Гельвидий: радуйтесь своей победе над Лигарием, но не бросайте вызова богам.

— Мне кажется, это мудрый совет, — добавил сдержанно и добродушно, но все же очень настойчиво Клавдий Регин.

Все три сенатора были искренне возмущены цинизмом обоих министров, но, хорошо зная их, понимали, что предостережение сделано от души. Поэтому Приск и Корнелий все же стали уговаривать старика Гельвидия — пусть умерит свой пыл и удовольствуется ссылкой Лигария. Это и так неизмеримо больше того, на что можно было надеяться еще полгода назад. Настроение масс изменилось, императора не следует слишком раздражать, ведь в конце концов за ним стоит армия, а сенат продвинулся вперед в своей борьбе быстро, смело и чрезвычайно успешно, теперь следует перевести дух. Однако Гельвидий просто помешался на своих планах. Он рассказывал о них стольким людям, что теперь уже никак нельзя было удовольствоваться только ссылкой Лигария; он будет требовать для него смертной казни — его гордость не позволяет ему отступить. Он твердо решил осуществить свое намерение.

Так он и поступил. Предостережение советников Домициана только усилило его упорство, и он выступал горячее, резче, увлеченнее, чем когда-либо. Даже Корнелий и Приск забыли свои возражения, слушая его. Это была великая речь. Старые республиканцы затаили дыхание, их глаза блестели, голова кружилась от счастья, когда Гельвидий, все наращивая мощь своих обвинений, требовал для Лигария самой суровой меры наказания, предусмотренной законом, — смерти, смерти и еще раз смерти.

Уже много лет назад, с тех пор как на престол вступил Домициан, голос сенатской оппозиции совершенно умолк. И вот в последние месяцы он вдруг прозвучал снова, оппозиция одерживала победу за победой, и теперь один из ее участников дерзнул потребовать смертного приговора для друга и любимца императора. Неужели вернулись дни свободы? Речь Гельвидия и это требование были самой большой победой оппозиции.

Но и последней победой.

Это выяснилось тотчас, как только обвиняемый стал отвечать обвинителю. До сих пор Лигарий вел себя тихо и смиренно, как и подобает человеку, которого с полным основанием обвинили в столь тяжелом проступке. Ожидали, что после этой речи и этого требования он будет раздавлен окончательно и примется униженно умолять сенат о смягчении его участи. Но требование Гельвидия, казалось, ничуть его не сокрушило, напротив, когда Гельвидий заявил, что настаивает на смертной казни, Лигарий просиял, как будто только того и ждал. Из первых же его слов стала ясна его полная уверенность в том, что никогда ему не придется подвергнуться этой каре — присоединится ли сенат к мнению Гельвидия или нет. С первого же слова его речь звучала не как защита, а как обвинение.

Его вина, заявил Лигарий, известна Риму и миру, он в ней сознался, он выразил готовность раскаяться и понести то наказание, которое на него наложит сенат. Но он всеми силами возражает и протестует против таких требований, какие высказал сенатор Гельвидий. Он, Лигарий, все еще сенатор, имеет ранг консула. И, как сенатор и консул, должен защитить достоинство сената, ибо этому достоинству наносится ущерб, когда выступают с совершенно безрассудным требованием крайних мер, как только что выступил Гельвидий. В этом сказывается уже не справедливое возмущение виновным, а единственно и исключительно личная ненависть и преступная враждебность, неистовая, бессмысленная. Однако никаких оснований для вражды между ним и Гельвидием нет. Но кто же тогда тот человек, тот единственный человек, против которого только и может быть направлена подобная наглость? Вне всякого сомнения, — против той высокой особы, которой такая низменная враждебность не должна бы коснуться даже отдаленно, — против владыки и бога Домициана. В императора и только в императора хотел попасть Гельвидий, метя в него, Лигария. Требование смертной казни — это дерзкий вызов, это преступление против императора, поэтому он, Лигарий, обращается к избранным отцам, которые все еще являются его коллегами, с просьбой не оставлять безнаказанной наглость Гельвидия, но защитить достоинство сената и уважение к империи и обвинить Гельвидия в оскорблении величества.

Было совершенно ясно, что Лигарий не осмелился бы все это сказать, не будь он уверен, что советники императора не выдадут его. И было ясно, что Домициан нашел средство, чтобы с новой силой выступить против сената. Во

всяком случае, Домициан решил не допускать больше никаких вызовов со стороны сенаторов; должно быть, он отыскал и способ повлиять на настроение народных масс. Как обычно, было сочтено неразумным заходить в своей дерзости еще дальше,— лучше поостеречься. Поэтому требование Гельвидия было почти единогласно отклонено. Сенаторы не поддержали даже предложения о конфискации имущества и ссылке. В конце концов Лигария, друга и любимца государя, приговорили только к возмещению тех убытков, которые он противозаконно нанес Испании.

А вскоре выяснилось, что сенаторы правильно поняли речь Лигария и император располагает доказательствами, с помощью которых он может вернуть себе любовь народных масс и вновь повергнуть сенат в прежнее бессилие.

Всего несколько дней спустя после приговора Лигарию в сенат поступила жалоба на Дециана. Его обвиняли в том, что он пытался скрыть преступление казненной весталки Корнелии.

На разборе дела в сенате присутствовал сам император. Дециан не явился. Вместо него его защитник заявил:

— Сенатор Дециан отказывается от защиты. Я здесь присутствую скорее в качестве курьера, чем адвоката. Сенатор Дециан просил сообщить избранным отцам, что он признает себя виновным в том преступлении, в котором его обвиняют.

Было внесено одно-единственное предложение: преступника казнить, а память его предать позору. Никто не возразил. Тогда вмешался сам Домициан. Он попросил избранных отцов выказать мягкость к сознавшемуся и раскаявшемуся преступнику. Поэтому сенат ограничился изгнанием Дециана и конфискацией его поместий в Италии.

Удаляясь, император погрозил пальцем группе сенаторов, собравшихся вокруг Гельвидия и Приска, улыбнулся и сказал снисходительным тоном:

— Видите, господа, вот ваш друг Дециан и снял с меня некоторые обвинения.

Народ был ошеломлен, узнав, что Дециан, столь почитаемый за свою справедливость, дал показания в поддержку императора и против Корнелии. Свидетельствовала против нее и Мелитта, ее подруга и вольноотпущенница. Отсюда следовало, что люди были несправедливы к Домициану. И негодование против него быстро сменилось прежним энтузиазмом. Римляне укоряли друг друга за легковерие и кляли вслух весталку Корнелию, которая из-за своей похотливости чуть было не лишила империю

и доброго, великого императора поддержки богов. Хвалили Домициана за то, что он, не считаясь с происхождением виновной, так решительно ее покарал и отомстил за богиню. Как трудно, наверное, было доброму императору пережить себя и отдать под суд самое Корнелию и этим приговором навлечь на себя общую ненависть! Какой у нас великий император! В результате на казни Корнелии Домициан сэкономил новую раздачу подарков.

Домициан долго сдерживал себя, зато теперь в полной мере наслаждался своей мстостью. Быстро последовали один за другим несколько процессов, и в конце концов были снесены головы тем представителям аристократической партии, покуситься на которых не дерзали прежде ни его отец и брат, ни он сам.

Первыми, кому он приказал предъявить обвинение, были сенаторы Гельвидий и Приск и госпожи Фанния и Градилла. Их обвинили в оскорблении величества. Это обвинение было бесстыдной и лживой стряпней. Прощупали всю жизнь обвиняемых, и все, что они делали и чего не делали, было изображено как оскорбление императора. Каждую безобидную остроту, которую кто-нибудь из них себе позволил, до тех пор вертели и выворачивали наизнанку, пока она не превращалась в акт государственной измены. Осторожному Приску, из страха перед такой опасностью прожившему долгие годы в сельском уединении, как раз эту осторожность вменили в преступление: для императора-де оскорбительно, что человек столь деятельный и одаренный именно при Домициане уклоняется от государственной службы. И, разумеется, его биография Пета была признана гимном мятежу и славословием мятежнику, а тем самым — и замаскированным оскорблением императора. Обвинители хладнокровно и безнаказанно осыпали обвиняемых подлыми поношениями. А сенат не осмеливался протестовать. Курия, в которой он заседал, была оцеплена императорской гвардией. Впервые с основания города Рима правящая корпорация была вынуждена принимать решения под угрозой оружия.

Два эпизода из этого процесса особенно крепко засели в памяти римлян. Допрашивали Фаннию. Обвинитель заявил, что, согласно слухам, Приск написал свою подстрекательскую биографию Пета по ее, Фаннии, желанию и что она первая распространяла это сочинение; он спросил ее, правда ли это. Все знали, что, сказав «да», она лишится

всего своего состояния. Но она ответила «да». А давала ли она, продолжал допрос обвинитель, также и материалы для его книги? Все знали, что, если она вторично ответит «да», ее в лучшем случае вышлют из Рима, может быть, даже убьют. «Да»,—ответила Фанния. А ее золовка Гратилла знала об этом? — последовал вопрос. «Нет»,—ответила Фанния. Этими тремя простыми, бесстрашными и презрительными словами, этими двумя «да» и одним «нет» и ограничивались показания Фаннии, но они запомнились сенату и жителям Рима крепче, чем превосходная речь обвинителя.

Второй эпизод был такой: Гельвидий, знавший, что он погиб, воспользовался последней представившейся ему возможностью обратиться к римлянам и произнес мрачную, сильную и грозную речь, направленную против императора, обещая ему, что он не уйдет от мести Рима и богов. Его слушали в безмолвии. Однако слепой Мессалин поднялся с места и уверенным шагом, словно зрячий, направился между скамьями к Гельвидию, чтобы собственноручно расправиться с хулителем. Но тут (со слепцом это случилось впервые) остальные стали тащить его за одежду, кричать: «Этот человек во сто раз лучше тебя!» — и осыпать бранью, так что он в конце концов упал.

Все же эти взрывы негодования не помешали избранным отцам приговорить Гельвидия и Приска к смерти, Фаннию и Гратиллу к ссылке, а книгу Приска — к сожжению.

Два дня спустя был воздвигнут костер для сожжения книги, в которой ожидавший казни Приск описывал жизнь казненного Пета. Сожжение состоялось поздним вечером. Вспыхнувшее пламя сначала казалось бледным — было еще светло, но потом, по мере того как наступала ночь, оно становилось все ярче, и все громче звучали крики черни, толпившейся вокруг костра. Приску была предоставлена возможность увидеть сожжение своей книги. И он ею воспользовался. Совершенно неподвижна была его круглая лысая голова, глубоко посаженные маленькие глазки уставились на огонь, пожиравший его труд. Для сожжения были отобраны экземпляры, написанные на пергаменте,—старухе Фаннии самый драгоценный материал не казался слишком дорогим для этой книги, а пергамент горел медленно и неохотно, он противился уничтожению. Приск был человек хладнокровный и деловой, он нередко посмеивался над метафорами и сравнениями своего друга Гельвидия, но сейчас эта груда пепла вызывала и в нем самом множество патетических мыслей и образов. Огонь просветляет, огонь очищает, огонь вечен, огонь соединяет богов и людей и,

в известном смысле, делает человека могущественнее божества. Может быть, именно благодаря этому огню написанная им биография Пета переживет правление Домициана и тех деспотов, которые, возможно, придут после него; а может быть, больше не будет уже ни одного деспота...

Это был последний огонь, который видел Приск, это был его последний вечер и последняя ночь. В эту же ночь морщинистый, пылкий Гельвидий поплатился за то удовлетворение, которое он испытал, когда требовал смертной казни для Лигария и швырнул императору в лицо всю свою ненависть и презрение. В Аид он последует за своим отцом, и его, как и отца, толкнут туда насильно. А Домициан мог сказать себе, что теперь старик Веспасиан будет им доволен.

Неделю спустя отправились в ссылку и осужденные женщины. Назначенный им край оказался варварским и диким. Располневшей, по-дамски ленивой Гратилле, привыкшей, чтобы только за туалетом ей помогали три служанки, будет очень нелегко, когда она поселится теперь одна со старухой Фаннией в маленьком, неблагоустроенном домике на холодном, неприютном побережье Северо-Восточного моря. Правда, Фанния взяла с собой в ссылку прославляющее ее покойного отца сочинение Приска, которое и послужило причиной изгнания. Правда, когда обе женщины, покидая город, направились к Латинским воротам, вдоль их пути стояло много народу, но от этого их мертвые мужья не ожили, и Понт не стал от этого Тибром.

На их пути стоял и сенатор Корнелий, писатель. Он не желал участвовать в вынесении смертного приговора своим друзьям и не явился на заседание сената. Это было большой смелостью. Впрочем, не такой уж большой, ибо, конечно, он все предусмотрел и вызвал к своему ложу трех врачей, а те подтвердили, что у него воспаление легких. И сейчас этот рассудительный муж долго сомневался, следует ли ему замешаться в толпу, которая будет приветствовать изгнанниц, когда они в последний раз пройдут мимо. Но он поборол свой страх, отважился пойти, и вот он стоял на обочине дороги, упрекая себя за излишнюю смелость, и ждал, а когда показались женщины, вытянул правую руку, прощаясь с ними надолго, может быть, навсегда. В сердце же своем он думал: «Как все это нелепо и бессмысленно! Бедные, неразумные друзья! Зачем вы не хотели дожждаться, пока наступит более благоприятная минута, чтобы свалить императора? Тогда после его смерти вы могли бы сказать гораздо резче и яснее, чем сейчас, обо всем, в чем он виновен. Бедные, неразумные, мертвые

друзья, не захотевшие понять, что эти времена требуют от нас одного: выжить! Неразумные героические изгнанники, бедняги! Вам остается одна надежда — что я, менее неразумный, когда-нибудь смогу воздвигнуть вам памятник!»

После того как Домициан очистил город от людей, которые были врагами его и божества, он приступил к устройству Юбилейных игр. С основания города Рима прошло восемьсот сорок девять лет, и нужно было очень дерзко обойтись с хронологическими вычислениями, чтобы доказать, будто завершилось еще одно столетие. Однако Домициан был человек дерзкий, и он это вычислил.

Глашатаи созвали народ. Коллегия пятнадцати повелевала раздать средства, с помощью которых каждый мог очиститься, — факелы, смолу и серу. А народ, в свою очередь, приносил Коллегии жрецов первенцев от своего скота и начатки урожая со своих полей для жертвоприношений богам. Император сам совершил на Марсовом поле жертвоприношение Юпитеру и Минерве, в его присутствии женщины из старинных семейств молились Юноне; Земле принесли в жертву живую форель, хоры юношей и девушек распевали гимны, а император посвятил Вулкану земельный участок, чтобы тот в дальнейшем охранял город от огня.

В эту ночь император спал с Луцией.

— Ты помнишь, — спросил он, — что ты предсказывала мне, когда казнили весталку? Ну, моя Луция, кто же оказался прав?

Домициан был переполнен торжеством после своей победы над сенатом; она подтвердила, что он правильно понимает свои задачи жреца и государя и действует в согласии с богами. Это вдохновляло его, окрыляло, он был счастлив.

Он и раньше работал с удовольствием, а теперь стал относиться к своей работе и своим обязанностям еще серьезнее. Раньше этот порывистый, неутомимый человек, несмотря на все трудности пути, любил каждый год пересекать из конца в конец свое гигантское государство: то он посещал Британию, то отправлялся на Нижний Дунай. Теперь он проводил почти все время, советуясь с министрами или за письменным столом.

Он выбрал себе для кабинета маленькую комнатку; чтобы собраться, ему необходимо было чувствовать себя среди тесных, обступающих его стен. В уединении своей замкнутой комнаты ему удавалось совершенно погрузиться в себя. Иногда в минуты такой собранности он ощущал прямо-таки физически, что является сердцем и мозгом того

мощного и в высшей степени живого организма, который так неопределенно и отвлеченно называют Римской империей. В нем, только в нем одном, оживала эта Римская империя. Реки этой империи — Эбро, По, Рейн, Дунай, Нил, Евфрат, Тигр — были его, императора, артериями, горные хребты — Альпы, Пиренеи, Атлас, Гем — его костями, миллионы отдельных людей — порами, через которые дышала его собственная жизнь. Эта в миллионы раз приумноженная жизнь поистине делала его богом, поднимала выше всякой человеческой меры.

Но для того, чтобы мощное чувство жизни не растекалось, он должен был еще строже и педантичнее вводить все и вся в русло. Он с жестоким упорством осуществлял свою программу. Победа, одержанная над непокорным сенатом, была только первым этапом пути, который он себе четко наметил. Теперь, когда он убедился в поддержке своих богов, он мог приступить к труднейшей части этого пути. Теперь он мог поставить себе задачу — покончить с теми подспудными происками, которыми чуждый, злобный и грозный бог Ягве ему постоянно угрожал.

Не то чтобы он самолично намеревался напасть на Ягве. Отнюдь нет, — ему, защитнику религии, это совсем не подбало. Пусть доктрины Ягве продолжают жить, но только для народа Ягве. Если же эти доктрины переступают положенные им границы, если они начинают отравлять своим ядом его, Домициановых, римлян, то его прямая обязанность — защищаться, выжечь эти доктрины из сердца римлян.

Он совещался со своими министрами. Совместно с Регином, Маруллом, Аннием Бассом и Норбаном он выработал план, как вытеснить Восток из Рима, заставить его убраться в свои пределы.

В первую очередь шла речь об устранении Иакова из Секаньи, чудотворца. Иаков считался главою римских христиан. Весь город ему сочувствовал. Ему был открыт свободный доступ в дом принца Клемента. Многие сенаторы интересовались им и его идеями, и это был один из видов пока что безопасного протеста против императора. Народ смотрел на чудотворца с робким почтением. Семнадцать человек собственными глазами видели, как парализованная Паулина, вольноотпущенница, после того как он возложил ей на голову руку, пробормотав при этом несколько слов по-арамейски, встала и пошла. Правда, Паулина в тот же день скончалась; но исцеление это не перестало быть чудом, и человек, совершивший такое чудо, заслуживал великого почитания. Во всяком случае, и импе-

ратор, и его министр полиции почли за лучшее, чтобы Иаков из Секаньи в их городе Риме больше чудес не творил.

Но как можно помешать человеку творить чудеса?

Существует, весьма недвусмысленно заявил Норбан, одно вполне радикальное средство.

Молча принялись все обдумывать это радикальное средство. Наконец Регин заявил, что, наверное, в случае с чудотворцем применять это радикальное средство не очень уместно. Если им воспользоваться, то могут подумать, что сторонники государственной религии боятся бога, которому поклоняется чудотворец. А это не только не отрезвит его сторонников, но укрепит их суеверие.

Быть может, следует, предложил Марулл, вызвать чудотворца ко двору, пусть совершит свои чудеса перед императором. Тогда можно было бы его проконтролировать и разоблачить.

— А откуда вы знаете, — возразил Басс, — что чудо ему не удастся?

Однако император решительно заявил:

— Я бы не хотел брать под сомнение силу бога Ягве. Мне бы только не хотелось, чтобы чудотворец совращал римлян в свою веру.

Марулл, нисколько не обиженный этим замечанием императора, сказал, что сначала следовало бы уточнить, в каких пределах проповедь иудейского вероисповедания разрешена и где уже начинается вербовка сторонников, а тем самым и преступление.

— Если бы владыка и бог поведал нам свое мнение на этот счет, — сказал он, — для всех нас это было бы милостью!

Император любил всякие формально-юридические разграничения, и Марулл рассчитывал на то, что DDD приятно будет изложить свои взгляды на это дело.

Домициан действительно воспользовался случаем.

— Иудаизм, — начал он свои разъяснения, — был и остается религией разрешенной. Правда, я не забываю, что эта религия отрицает некий основной принцип, связывающий между собой все остальные народности империи, а именно — принцип проявления божества в императоре. Остальные народы, например, приверженцы Исиды и Митры, а равно и поклоняющиеся варварским богам германцы и бритты, согласны в том, что изображению римского императора и знакам его достоинства подобают божеские почести, одни только евреи не желают признавать это

совершенно ясное учение. Конечно, Рим, со своей терпимостью, отнюдь не намерен насильно заставить признать правоту этого взгляда какой-то жалкий, упрямый народ, чье убожество подтвердилось его бесславными поражениями.—После такого предисловия Домициан не мог удержаться и не провозгласить еще раз свои любимые теории; словно выступая в сенате, он заговорил приподнятым тоном: — Рим не запрещает ничьих взглядов. Рим оставляет каждому его веру, даже если это не вера, а суеверие. Каждый может молиться своему богу, как бы облик этого бога ни был странен. И пусть у каждого народа остаются свои обычаи, лишь бы только они не мешали ему быть нам послушным,—декламировал Домициан; а Регин, так же как и Марулл, посмеиваясь про себя, заметил, что он даже заговорил стихами! — Но здесь,—продолжал Домициан,—именно здесь и проходит граница. Этого Рим не может разрешить, чтобы бог чужого народа вмешивался в дела римской государственной религии. И римский верховный жрец не может допустить, чтобы люди Востока осмеливались пропагандировать свои суеверия, склонять к ним римлян. Вы спросили, мой Марулл, в какой мере допускается иудейская религия. Я отвечаю: исповедовать эту веру и выполнять ее обряды разрешается совершенно беспрепятственно всем тем, кто имел несчастье родиться в этом народе и в этой вере. Но не дозволено распространять это суеверие ни словом, ни тем более делом. Тот, кто намерен обратить другого в иудаизм с помощью слов или обрезания, оскорбляет величие Рима и императора.

— Сформулировано совершенно ясно, сказал Марулл.

Однако Клавдий Регин осторожно заметил:

Если мы официально встанем на такую точку зрения, не упрекнул ли нас тогда опять в том, что мы боимся этого Ягве и убедительности его учения?

— Осторожность не есть страх,—сердито сказал Норбан.— Если я запираю дверь моего дома — это не страх, а разумная осторожность.

Однако простодушный солдат Басс храбро заявил:

— А я лично боюсь этой религии, она заразительна. Я побывал в Иудее. Испытал, какой страх распространяет вокруг себя бог Ягве и его учение. Мои солдаты очень боялись «того самого» Иерусалимского храма, он сковывал их. Нехорошо для армии, если допустят до нее проповедников этого учения.

Столь откровенное признание подействовало угнетающе.

— Не нравятся мне такие слова, мой Анний,— заявил Домициан.— Но как бы то ни было, я не желаю, чтобы учение Ягве распространялось, я хочу от него защитить моих римлян и проповедовать его запрещаю. Я сказал все.

— Так как же мы поступим с нашим чудодеем? — решительно и деловито вернулся Норбан к исходной точке разговора.

— Если я правильно понял владыку и бога Домициана,— отозвался Марулл с легкой улыбкой,— то пусть этот чудотворец и дальше совершает свои чудеса, но только среди евреев — в Иудее, а не в Риме.

— Благодарю вас, мой Марулл,— ответил император.— Мне кажется, это правильный путь.

Однако прямодушный Анний заворчал:

— Провинция эта недалеко, у многих римлян там дела, много судов ходят в Иудею. Я был бы спокойнее, если бы этого человека отправили подальше. Почему бы не выслать его за пределы империи? Пусть вытворяет свои чудеса перед скифами или парфянами, только не перед римскими подданными.

Все одобрили слова скромного солдата. Однако Домициан не хотел ограничивать дебаты судьбой Иакова из Секаньи. Господа советники должны знать, что акции против чудотворца — только первый шаг на пути к гораздо более важным действиям. И он заявил:

— Во избежание недоразумений, я уточню еще раз: есть три сорта евреев. Во-первых, те, кто, будучи евреями по рождению, ограничиваются тем, что выполняют требования своей религии. Они могут спокойно делать это, их преследовать не будут. Во-вторых, такие, которые занимаются пропагандой своего учения и совращают иноплеменников в свою веру. Им запрещается пребывание и в Италии, и в любой провинции империи, они имеют право жить только в Иудее, но и там они должны находиться под надзором полиции. И есть еще третья категория евреев,— продолжал он медленно, смакуя каждое слово,— и они, моему, хуже всех.— Он смолк, насладился ожиданием своих советников и наконец пояснил: — Я имею в виду тех, кто по рождению принадлежит к государственной религии, но потом от нее отрекается, предается богу евреев и ставит под сомнение божественность императора.

— Такое деление вносит необходимую ясность,— сухо заметил Марулл.

А практичный Норбан сейчас же сделал свои выводы: — Итак, нам, вероятно, придется прежде всего выслать Иакова-чудотворца, — сказал он, — во-вторых, предъявить обвинение сенатору Глабриону.

Остальные удивленно подняли головы. Сенатор Глабрион был миролюбивый человек, которого никак нельзя было упрекнуть во враждебном отношении к режиму; то, что он увлекался экзотической философией, и прежде всего именно христианским учением, большинство его коллег считало просто милым чудачеством. Басс попытался смягчить удар:

— Может быть, следует сначала отдать под суд несколько маленьких людей из народа, предавшихся еврейской ложной вере, — предложил он, — это послужило бы предостережением остальным.

— А я простых людей не стал бы преследовать, — задумчиво возразил Марулл. — Это только повредит престижу императора в глазах народных масс.

Домициан же с обычной злобной улыбкой решил:

— Глабрион достаточно мал.

— Итак, я буду собирать материал против сенатора Глабриона, ввиду его отречения от государственной религии, — сказал Норбан.

— Хорошо! — согласился Домициан и добавил почти скучающим тоном: — Собирайте сначала материал против Глабриона!

Всем было ясно, что означает это «сначала». Оно имело очень дальний прицел; мишенью был кузен императора, принц Клемент.

Если Сабин не мог устоять перед искушением и принял участие в заговоре Сатурнина, то принц Клемент был лишен всякого политического честолюбия. Он жил большую часть года вдали от Рима в своем этрусском поместье, неподалеку от городка Коссы, в старомодном деревенском доме, старейшем владении Флавиев.

Даже Норбан, отнюдь не считавшийся другом Клемента, мог доложить императору только о том, что принц по целым дням занимается восточной философией. Однако учение евреев и минеев рассчитано на внутренний мир маленьких людей, оно проповедует непротивление злу, лепечет о каком-то царстве, которое не от мира сего, почему со стороны Клемента и не приходится ожидать никаких опасных политических действий.

Домициан нашел, что такого рода заключение вполне естественно для его министра полиции; сам же он, цензор Домициан, должен оценить сущность и поведение этого Клементя совсем по-иному. Даже если кто-нибудь из знати второго ранга или какой-нибудь незаметный сенатор начинал сочувствовать христианскому мировоззрению, это уже было предосудительно, ибо христиане призывали отвести свой взор от мира сего, бездействие же не подобает мужу из старинного римского рода. А уж если принц Клемент, кузен императора и после него первый человек в империи, мудрой политической или военной деятельности предпочитал это суеверие и уклонялся от своих гражданских обязанностей — столь преступная лень служила пагубным примером для других. Как может он, властитель, воспитать своих сенаторов полезными слугами государства, если его собственный кузен от такого служения уклоняется?

Враждебность императора к Клементу вызывалась не только общими соображениями религиозного и национального характера. Гораздо сильнее было чувство личной обиды: этот ленивый, ни к чему не пригодный негодяй Клемент не желает признавать его, Домициана, божественность и гениальность. Не то чтобы Клемент начисто отрицал эту божественность, — он даже был готов приносить жертвы перед изображением императора, как того требовал закон; но Домициан постоянно ощущал сквозь замкнутую и небрежную вежливость принца все его неуважение. Домициану было все равно, когда, например, Домитилла, жена Клементя, смотрела на него буйным и сухим взглядом своих сверкающих глаз, это скорее забавляло его, чем сердило. Но пренебрежение Клементя его оскорбляло. Вероятно, прежде всего потому, что ведь этот Клемент был отцом «львят» — принцев Константа и Петрона. Близнецам минуло теперь по одиннадцати лет, и чем взрослее они становились, тем больше нравились Домициану. После смерти Юлии в нем крепло решение их усыновить. Мешал только Клемент. Все в этом увальне раздражало Домициана, он не устал попрекать кузена за его ленивый, вялый характер, находил для него все новые обидные выражения, обзывал неженкой, лежебокой, лодырем, тряпкой, рохлей, негодным, глупым, косным, небрежным, беспечным, слабым, дряблым, пустым, нерадивым, бездарным. Но именно от его равнодушия отскакивала любая брань императора. Когда император приглашал его к себе, Клемент являлся, вежливо выслушивал упреки, обещал исправиться, уезжал в свое поместье, и все оставалось по-прежнему. Домициан

скорее простил бы отцу своих «львят» заговор против его жизни, но этого пассивного сопротивления он вынести не мог.

Клемент же гораздо меньше интересовался императором, чем тот — Клементом. Принц не был выдающимся мыслителем. В свои сорок лет он казался очень молодым, нежная кожа и бледно-голубые глаза под пепельными волосами еще усиливали впечатление чего-то мальчишеского, недоразвитого. Но хотя принц и был медлителен в своих умозаключениях, поверхностным его нельзя было назвать. Если уж он что-нибудь понял, то до тех пор вертел, перевертывал и рассматривал со всех сторон эту мысль, пока она не проникала в глубины его души и не срасталась с его существом.

В учении христиан его сильнее всего поразили загадочные прорицания Сивилл. Боги, говорилось в этих глубокомысленных стихах, почитаемые ныне за богов, на самом деле только духи усопших древних царей и героев. Однако господству давно умерших приходит конец. Рим тоже поклоняется таким мертвецам, поэтому и Рим падет. На смену его царствованию придет царство мессии. Еще рука Рима сильна, сильно каждое сухожилие и каждая кость, но сердце этого мощного тела отмирает, каменеет и уже не может вдохнуть в его члены дыхание жизни. Хоть это и мощное существо, но от него веет глубокой скорбью. От его дыхания цепенеет весь мир, в этом мире больше нет ни покоя, ни радости, утоление желаний уже не утоляет, глубокая тоска о чем-то ином наполняет все живое.

Вот какого рода мысли и чувства занимали простую душу принца. По натуре он был приветлив, даже весел. Но то, что происходило на Палатине и в сенате, он видел глазами Сивиллы, оно казалось ему бессмысленным и мертвым; мертвое лежало грузом на всем мире, подавляло жизнь и счастье. А сознание того, что сам он составляет часть этого мертвого груза, настраивало его меланхолически. Все больше проникался он идеями чудотворца Иакова и Сивиллиных прорицаний, все труднее было ему нести бремя представительства и выполнять свои обязанности при дворе и в Риме, все сильнее жаждал он навсегда покончить с Палатином и жить тихо и незаметно в деревенском поместье с Домитиллой и детьми, со своими книгами и восточной верой.

Вот как обстояло дело с внутренней жизнью принца Клемента, когда Домициан, осмелев после своей победы

над сенатом, наконец решился положить конец широкому проникновению бога Ягве в его царство.

Прежде всего от Клемента оторвали его друга и учителя Иакова из Секаньи. Принц Клемент был свидетелем того, как многие его друзья и знакомые отправлялись в ссылку, но он никогда не видел, чтобы человек с таким спокойным упованием принял приговор о ссылке; а ведь жизнь в глухом местечке в провинции Иудее, которое он отныне не имел права покинуть, будет нелегкой. Иаков окажется там единственным христианином среди язычников и иудеев, ненавидимый и теми и другими; его ждет крайняя бедность, так как у него отнимут все имущество и запретят друзьям посещать его и делать подарки. Но он все переносил без протеста, пошел навстречу нужде и изгнанию, точно его ждало радостное будущее.

Затем последовали процесс и казнь сенатора Глабриона, и хотя Клемент и Домитилла мало интересовались римскими делами, они не могли не признать, что теперь опасность угрожает непосредственно им самим. Домитилла говорила об этом Клементу с присущей ей сухой ясностью. Сама она до сих пор считала себя сильной в вере, однако сейчас, когда ей недоставало присутствия и поучений Иакова, она не желала мириться с судьбой без возражений и решила всеми силами бороться против надвигающихся грозных событий. Тем более удивилась она, когда натолкнулась на решительное сопротивление Клемента. В нем ссылка Иакова и казнь Глабриона вызвали какую-то упрямую готовность к мученичеству. Не то чтобы он стал высокомерен — он не считал себя призванным собственной рукой стяжать венец мученика и демонстративным поведением навлечь на себя месть императора. Он охотнее жил бы, как прежде, императору не перечая, добровольно покоряясь ему, но вместе с тем твердо решил не пытаться спастись теми путями, которые ему предлагала Домитилла. Что бы ни случилось — он не будет уклоняться от судьбы, предназначенной ему божеством.

Поэтому он стал ждать. Он знал, что решения DDD созревают весьма медленно и что ему, быть может, предстоит ждать очень долго. Но случилось так, что не божество послало ему мученический венок, как он хотел, но сам он накликал на себя беду в разговоре с писателем Квинтилианом.

Произошло это так. Домициан хотел, чтобы его будущие приемные сыновья получили римское воспитание, и для этого назначил их учителем Квинтилиана, прослав-

ленного оратора и первого стилиста эпохи. Квинтилиан получил указание оберегать мальчиков от всего, что не подобает будущим владыкам Римской империи, но, с другой стороны, избегать столкновений с родителями. И как ни противоречивы были эти указания, Квинтилиану, представительному, вежливому, очень достойному, гибкому и все же решительному человеку, удавалось их выполнить. Между родителями мальчиков и их воспитателем происходила очень вежливая, очень благородная и молчаливая борьба, и хотя Квинтилиан в прямом смысле слова не встал между родителями и детьми, ему все же удавалось осторожно и незаметно внести некоторую отчужденность в отношения мальчиков к отцу и матери.

Клемент не раз пытался поговорить откровенно с воспитателем своих детей. Однако он никак не мог состязаться с этим многоопытным оратором и стилистом, и во время одного из их объяснений случилось так, что он невольно дал себя увлечь и произнес неосторожные слова, которые дали наконец императору повод для обвинения.

Квинтилиан заявил, что его задача — преподавать детям не столько истинное, сколько полезное. Хороший наставник, утверждал он, имеет бесспорное право питать своих учеников ложными утверждениями, если это ведет к благородной, то есть к латинской или римской, цели.

— Выступая перед судом, — сказал он, — я никогда не испытывал колебаний, допуская сомнительные утверждения, если не видел иного способа склонить судью к доброму делу.

— А вы всегда знаете точно, — не удержался от вопроса Клемент, — что такое доброе дело?

— В нашем случае я знаю это очень точно, — ответил Квинтилиан. — Я считаю добрым и правильным всякое утверждение, помогающее воспитать в принцах Константе и Петроне властителей из рода Флавиев. Доброе дело, которому я служу, — это укрепление и владычество династии Флавиев.

— Вашей уверенности можно только позавидовать, — отозвался Клемент. — Доброе дело, — задумчиво продолжал он, — как много людей вкладывают в это понятие совершенно разное содержание. Я, например, знаю твердо: царство Флавиев наверняка погибнет, и так же твердо знаю я, что есть другое царство, которое пребудет вовек.

Услышав эту в высшей степени не римскую мысль, да еще высказанную на неряшливой латыни, Квинтилиан ни-

чего не ответил. Клемент же тотчас спросил себя, зачем он ее высказал, — это было совершенно излишнее признание, одна из тех бесполезных демонстраций, которые Иаков-чудотворец и Домитилла строго осуждали. Ибо говорить о божестве и об истине имеет смысл только перед теми, кто может воспринять эту истину.

С чувством раскаяния поведал он Домитилле о происшедшем. Она испугалась. Как настойчиво внушал им Иаков, уходя в ссылку, чтобы они не добивались мученичества, пусть только будут мудры, как змеи, и стараются пережить господство «этого», антихриста. Но о наставлениях Иакова она ничего не сказала, не услышал он от нее и жалоб; тем сильнее потрясли Клемента немногие, полные покорности слова, которые произнесли узкие губы любимой жены.

Он искренне раскаивался в своем необдуманном признании. Но если из-за его нерасторожных высказываний его судьба свершится скорее, — а так оно, вероятно, и будет, — в глубине души он этому рад. Клемент все больше уставал от неистовой и мерзкой суеты вокруг него и без сожалений ушел бы из этого пустого и пошлого мира. Он был скромнен по природе и не считал себя призванным, но если бы его все же избрало божество для свидетельства о себе, то «ленивая, праздная жизнь» Клемента все же обрела бы больше смысла и сильнее светила бы в будущее, чем неутомимая, деятельная жизнь DDD. Эта мысль вызывала у него улыбку. Ожидание будущего решения DDD все больше сменялось в нем радостью и надеждой, и если сердце Домитиллы сжималось от страха, Клемент ждал с возвышенным бесстрашием.

Примерно через две недели после того разговора с Квинтилианом в имение под Коссой явился курьер и привез письмо, в котором Домициан с подчеркнутым дружелюбием просил Клемента поскорее прибыть на Палатин для доверительного разговора. Домитилла побелела, она растерянно уставилась перед собой светлыми глазами, узкий рот не был, как обычно, решительно сжат, губы пересохла и приоткрылись. Клемент знал совершенно точно, о чем она думает. Подобные интимные разговоры с императором редко кончались добром, и с Сабиним DDD имел особенно продолжительную и любезную беседу, перед тем как убить его.

Клемент очень жалел, что Домитилла ничуть не разделяет персполняющей его спокойной радости. Ясное, нежное лицо этого сорокалетнего человека казалось еще моложе;

когда он прощался с женою, в нем была почти веселая собранность. Он поцеловал близнецов в чистые лбы, погладил их мягкие волосы. «Мои львята»,— подумал он,— значит, даже Домициан его чему-то научил.

Домициан принял кузена в халате. Он поджидал его с нетерпением, предвкушая много приятных минут от этой беседы. Он любил подобные разговоры. Предположения Клемента и Домитиллы оправдались: после преступных высказываний кузена Домициан почувствовал, что и перед собой, и перед богами, и перед целым Римом он теперь вправе очистить атмосферу вокруг мальчиков, его будущих наследников, и потому решился умертвить Клемента, а Домитиллу отправить в ссылку. Но раньше он желал объяснить с кузеном. И так как часы, когда он объяснялся с теми, кого обрек на смерть, бывали для него самыми приятными часами его жизни, он позволил себе вполне насладиться встречей и принял Клемента очень тепло.

Прежде всего он стал расспрашивать гостя, как у него дела в поместье, как приспособились к переменам, связанным с его новым законом об ограничении виноградарства. Затем вернулся к своим обычным жалобам на то, что Клемент проводит так много времени у себя в имении и таким образом уклоняется от обязанностей, лежащих на римском принце. Еще раз напомнил о его «лености» и перечислил свои собственные занятия. Пять дней назад он присутствовал на открытии новой дороги, широкой проезжей дороги между Синуессой и ПUTEОЛАМИ. В нее было вложено немало труда и пота, в эту Виа Домициана, зато теперь она наконец готова и будет облегчать жизнь многим миллионам людей отныне и вовеки.

— Поздравляю вас,— ответил Клемент.— Но,— продолжал он без всякой иронии,— не думаете ли вы, что было бы лучше продолжить миллионам более легкий и быстрый путь к богу, чем в ПUTEОЛЫ?

Постепенно багровея, Домициан злыми глазами рассматривал кузена. Он уже готов был сразить его криком и молнией гнева, однако вспомнил, что остался в халате, именно желая не походить на Юпитера, а выглядеть по-человечески. Да и у Клемента, наверное, и в уме не было посмеяться над ним, эти слова ему подсказали его обычная тупость и глупость. Поэтому Домициан пересилил себя. Ведь он вовсе не ставил себе целью сломить сопротивление

кузена; ему хотелось одного: пусть Клемент признает, что Домициан прав. Ибо если император раньше гордился тем, что ему одному дано познание некоторых вещей, и считал эту исключительность особым отличием и милостью богов, теперь его угнетало всеобщее непонимание, которое он видел вокруг себя. Неужели невозможно приобщить и других к этому свету? Неужели невозможно переубедить хотя бы Клемента? Итак, Домициан пересилил себя и на дерзкий вопрос кузена ответил только:

— Бросьте ваши глупые шутки, Клемент! — и заговорил о другом. Удобно расположившись на диване — не то полулежа, не то полусидя, он начал: — Мне докладывали, что эти восточные философы, которыми вы в последнее время увлекаетесь, эти еврейские, вернее, христианские учителя мудрости, обращаются главным образом к черни; они стараются помочь униженному и обездоленному, их учение предназначено для широких масс, для нищих духом, для миллионов. Это верно?

— В известном смысле — да, — ответил Клемент. — Может быть, именно потому меня и привлекает их учение.

Император подавил свой гнев, вызванный столь неуместным замечанием, и, не поднимаясь, продолжал:

— Да, я устранил кое-кого из моих сенаторов, публика любит перечислять их имена. Но их, по существу, немного, всего около тридцати, больше тридцати не наберется, и если меня винят в гибели очень многих, то дело тут не в числе имен, а в древности рода, это она придает списку моих «жертв» такую значительность. С другой стороны, никто не станет отрицать, что огромную часть из состояния этих «жертв» я употребил на то, чтобы сотням тысяч, даже миллионам жилось гораздо лучше. С помощью этих денег я смягчил или даже совсем уничтожил голод, заразные болезни, нужду и лишения. — Он продолжал, пристально рассматривая свои руки: — Если бы не мой режим — сотни тысяч людей, а может быть, и миллионы уже умерли бы, а другие сотни тысяч просто не появились бы на свет без моих мер, которые оказались возможными лишь после ликвидации тех тридцати.

— Ну и?.. — спросил Клемент.

Ну и запомните это хорошенько, мой Клемент! — ответил император. — Вам, ставящим себе целью счастье нищих сословий, счастье масс, вам следовало бы понимать и мою деятельность, следовало бы почитать меня и любить. А вы что делаете?

— Может быть,— приветливо, почти смиренно отозвался Клемент,— может быть, мы понимаем жизнь и счастье несколько иначе, чем вы, мой Домициан. Мы понимаем их как стремление к божеству, как полную надежды подготовку к переходу в иной мир.

Тут, однако, спокойствию Домициана пришел конец.

— Иной мир! — язвительно отозвался он.— Аид.

Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать
мертвый,—

процитировал он слова Ахилла у Гомера.— Аид, иной мир,— горчился он все больше.— Вот за это я вас и порицаю. Вы не имеете мужества посмотреть жизни в лицо, идти вместе с жизнью, вы болтаете об ином мире, вы жметесь и мнетесь, вы удираете. Вы не верите ни в себя, ни в кого другого, не верите в прочность созданного людьми. Какая трусость, какое убожество, когда отпрыск дома Флавиев сомневается в прочности династии Флавиев! А она не погибнет, говорю тебе! — И тут он принял царственную позу, несмотря на халат, угловато отставил назад локти и своим высоким, резким голосом проверещал Клементу в лицо стихи:

Нет, не весь я умру! Лучшая часть моя
Избежит похорон.

Если уж поэт имел право это сказать про себя, насколько же больше права на такие слова имеет император из династии Флавиев! Нет, то, что не избежит похорон, что обречено гибели, ибо никогда не существовало по-настоящему,— так это царство твоего невидимого мессии. Вы поселяетесь в обителях снов, вы еще при жизни становитесь тенями. Рим — это жизнь, а ваше христианство — это смерти!

Неожиданно, с тем же мягким, шутивным дружелюбием, с каким он держался во все время беседы, Клемент вдруг заметил:

— Значит, ты хочешь отправить меня в христианство?

Этот спокойный, веселый и, как Домициану показалось, издевательский вопрос окончательно вывел его из себя. Он стоял перед Клементом, густо побагровев, яростно посасывая верхнюю губу. Но он еще раз сделал над собой усилие и, почти добродушно увещевая его, сказал:

— Мне хочется, чтобы ты понял: я обрекаю тебя на смерть по заслугам.

— Если твои боги существуют, — отозвался с тем же несокрушимым, неприступным и шутливым спокойствием Клемент, — то ты по справедливости обрекаешь меня на смерть. — И после очень короткой паузы, теперь уже с тихим покоряющим самообладанием, добавил: — А в общем, ты оказываешь мне услугу.

Уже когда Клемента давно не было на свете, Домициан нередко задумывался над этими словами, действительно ли Клемент верил в то, что говорил, или это была только поза?

Книга вторая

ИОСИФ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Повозок было три. В первой сидела Мара, пятнадцатилетняя Иалта, тринадцатилетний Даниил и один из рабов, во второй — четырнадцатилетний Маттафий с двумя рабами и большою частью багажа, в третьей — остальной багаж и отпущенница Мары Ярматия. Иосиф ехал верхом подле Мариной повозки, а замыкал поезд конюх Иосифа. Время от времени Маттафий брал лошадь конюха, уступая ему свое место в повозке.

Был славный осенний день, очень свежий, с моря тянул ветерок, несколько облаков ослепительно белели на яркой, светлой синеве неба. Иосиф был весел и оживлен. Тогда, девять лет назад, купив поместье Безр Симлай, он обещал Маре вернуться в Иудею, как только завершит свой труд. Теперь как будто срок пришел, «Всеобщая история» завершена. Но хорошо, что он нашел «компромиссное решение» и сможет остаться в Риме на зиму. Мара, Иалта и Даниил пусть едут вперед, а он с Маттафием присоединится к ним весною. Радостно ждет он этой зимы — зимы наедине с сыном, с Маттафием.

Он любит Мару, искренне любит ее, но они вместе уже двадцать пять лет (не считая коротких перерывов), и за эти годы нрав у нее сделался тяжелее, хотя он без возражений признает, что и сам не раз взваливал ей на плечи невыносимую тяжесть. Очень долгий понадобился срок, чтобы рассеялось слепое поклонение, привязывавшее ее к мужу, и в прежние времена Иосиф часто желал, чтобы она научилась судить самостоятельнее — обо всем, и о нем тоже. Но теперь, когда его желание сбылось, когда она с материнскою снисходительностью принимает и терпит его слабости, не скрывая, однако, что знает их все наперечет, — теперь он порою предпочел бы, чтобы все было, как раньше. Ибо порой ее осуждение, каким бы осторожным оно ни

было, больно его задевает. Настойчивость этого осуждения — вот что ему неприятно; в глубине души он убежден, что она права, хотя его изощренная диалектика без труда опровергает ее правоту.

И прежде всего она была права, когда все эти последние годы мягко, но неотступно настаивала на том, что в конце концов надо расстаться с Римом. С тех пор как император распорядился убрать его бюст из храма Мира, друзья снова и снова заклинали его бежать из этого страшного Рима, прочь с глаз императора, Мессалина, Норбана. Иоанн Гисхальский приводил ему сотни разумных доводов, перед которыми аргументы Иосифа уже не могли устоять, — не то что перед словами Мары, а когда затем последовали новые репрессии, даже Юст ему заявил, что оставаться теперь — это скорее позерство, чем мужество. Один раз Иосиф и правда съездил в Иудею; он внимательно осмотрел свое новое поместье Беэр Симлай, убедился, что под безупречным надзором его старого Феодора бар Феодора дело подвигается, во всяком случае, не хуже, чем оно могло бы подвигаться под присмотром самого хозяина, и с этим убеждением вернулся в Рим.

Теперь он доволен тем, как все сложилось, доволен, что эти тяжелые годы он прожил в Риме, в стороне от событий и вместе с тем в самой их гуще. Теперь его труд завершен, и предлог, которым он оправдывал перед самим собою и перед Марой свое пребывание в Риме, предлог, что вдали от Иудеи работа удастся лучше, отпал, приспел срок выполнить обещание. Но он просто не решался сразу же сесть на корабль, чтобы похоронить себя в Иудее. И вот найдено «компромиссное решение», новый предлог, чтобы остаться в Риме хотя бы еще ненадолго. Если он хочет, чтобы «Всеобщая история» оказала свое действие, лицемерно убеждал он себя и Мару, его присутствие при выходе книги в свет важно, почти необходимо: это его долг хотя бы перед Клавдием Регином, который положил столько любви, терпения и денег на то, чтобы он смог выполнить свою работу. Шаткий довод. Мара усмехнулась разочарованно и чуть-чуть горько, и Иосиф пережил несколько неприятных минут, когда предлагал, чтобы она ехала вперед, а они с Маттафием приедут позже, весною. Но теперь эти неприятные минуты позади. Уже шестой день они в дороге, завтра, самое позднее послезавтра будут в Брундизии, корабль выйдет в море и повезет Мару с детьми в Иудею, а потом настанет зима, и вплоть до весны ему не придется думать о переезде в Беэр Симлай.

Ветер румянит щеки Иосифа и разглаживает морщины на лбу. Сегодня никто бы не поверил, что ему далеко за пятьдесят. Он не выдерживает медлительной поступи упряжных коней и скачет вперед.

Звонко бьют копыта о мощенную плитняком дорогу. Да, в этом ему не откажешь, императору Домициану,— никто из его предшественников не содержал в таком порядке Аппиеву дорогу. Бесконечной вереницей тянутся в обе стороны повозки, носилки и всадники. Одних он обгоняет, другие движутся ему навстречу. Он протискивается между повозкой и носилками, и какой-то возница кричит:

— Эй, ты, потише! Или, может, за тобой полиция гонится?

И Иосиф весело откликается:

— Нет, просто я тороплюсь к своей девчонке!

И все смеются.

Он останавливает коня на пригорке, повозки далеко позади, он ждет. Появляется его мальчик, Маттафий, он снова не мог усидеть в повозке, он мчится галопом, весело погоняя смирного и невидного конька. Иосиф радуется, глядя на своего мальчика. Вот он уже совсем близко — крупный, высокий, в свои четырнадцать лет он почти догнал самого Иосифа. У его Маттафия такое же худое, костистое лицо, длинный, с легкой горбинкою нос, густые, иссиня-черные волосы. Щеки разругались, короткие волосы перебирает ветер, в горячих глазах светится наслаждение стремительной скачкой. Как он похож на него и как не похож в одно и то же время! В нем нет и следа той необузданности чувств, которая приносила Иосифу столько радостей и столько мук; зато он многое унаследовал от благодушной, приветливой натуры матери, от ее детскости, которую она сохраняет и по сей день. И приветливая открытость у него тоже от матери — он легко сходится с людьми, без малейшей, однако, назойливости. Нет, красивым его не назовешь, думает Иосиф, пока Маттафий скачет к нему, обдуваемый ветром, без шапки; по правде сказать, ни одну черту его лица не назовешь красивой, и все же как он обаятелен, как ясно отражается во всем его облике открытая, мальчишеская откровенность чувств, как в каждом движении сквозит безыскусственное и полное жизни изящество! Он уже юноша и тем не менее еще совсем ребенок, ничего удивительного, что дружелюбные взгляды тянутся к нему отовсюду. Иосиф завидует детской натуре сына и любит ее в нем. Сам он не знал детства, в десять лет он был рассудительным и взрослым.

Маттафий останавливается рядом с отцом на пригорке.

— Знаешь, — говорит он, и его голос звучит неожиданно низко и по-мужски на этих пунцовых губах, — просто невыносимо, повозка ползет, как черепаха. Вот будет замечательно, когда мы поедем назад, ты и я, вдвоем!

— Хотелось бы мне знать, — отвечает Иосиф, — что ты скажешь, когда увидишь корабль: наверно, пожалеешь, что не поплывешь вместе с матерью.

— Нет, что ты! — пылко протестует мальчик. — Мне не хочется проходить обучение в Иудее — ни военное, ни гражданское.

Видя оживленное лицо сына, Иосиф радовался, что решил оставить его в Риме. Молодость, ожидание, тысячи надежд светились в горячих глазах мальчика.

— Не говоря уже, разумеется, о придворном? — добавил Иосиф.

Необдуманное слово; он увидел это по силе впечатления, которое они произвели на мальчика. Обучение в армии, при гражданских властях или при дворе, — этот путь должен был пройти каждый мальчик из аристократической семьи. Однако обучение при дворе было доступно далеко не каждому, оно расценивалось как знак высокого отличия, и требовались крепкие связи на Палатине, чтобы прошение о приеме не встретило отказа.

— А это в самом деле возможно, ты не шутишь? — в свою очередь спросил Маттафий, и все лицо его просияло жадным блеском. — И ты мне позволишь? Ты сделаешь так, что меня примут?

— Не увлекайся, — поспешил Иосиф взять обратно свое необдуманное слово. — Я еще не решил окончательно и пока ничего не могу тебе сказать. Будь доволен, мой мальчик, что остаешься еще на одну зиму в Риме. Или, может, ты недоволен? Тебе этого мало?

— Конечно, нет! — торопливо и чистосердечно возразил Маттафий. «Но только, — подумал он, и глаза его широко раскрылись при этой радостной мысли, — какое это было бы торжество и что сказала бы Цецилия, если бы меня взяли ко двору!»

Иосифу недолго пришлось допытываться у сына, при чем тут эта Цецилия. Она была сестрой одного из школьных товарищей его Маттафия и однажды, в пылу спора, предсказала ему, что он окончит свои дни мелочным торговцем на правом берегу Тибра — там, где ютится еврей-

ская беднота. Это был первый случай, когда его еврейство причинило Маттафию боль. Иосиф отдал мальчика в школу, где других евреев не было, и случилось, что товарищи потешались над ним и его еврейством. Сам Иосиф мальчишкой вряд ли смог бы проглотить и забыть такие обиды. Он бы раздумывал над ними месяцы, годы, он бы возненавидел тех, кто над ним издевался. Маттафия глумление школьников скорее, видимо, изумляло, чем ранило, он не принимал его близко к сердцу, он дрался с ними и с ними веселился, а в общем, недурно ладил с товарищами. Только фраза, сказанная этой маленькой Цецилией, засела у него в памяти. Но, по сути дела, Иосиф очень доволен. По сути дела, он доволен, что его мальчик честолюбив.

Повозка поравнялась с всадниками. Некоторое время Иосиф едет рядом с Марой. Он полон нежности к жене, он любит и остальных своих детей — Иалту и Даниила. Как же это вышло, что он ощущает теперь такую глубокую привязанность к сыну Маттафию, более сильную, чем ко всем остальным? Еще год назад он почти не вмешивался в воспитание подростка. Теперь он сам не понимает, как это было возможно. Теперь в нем шевелится ревность, когда он вспоминает, что так надолго отдал мальчика матери, сердце переполняется при мысли, что эту зиму он проведет с ним наедине. Как это выходит, что один из детей вдруг становится тебе настолько дороже остальных? В былые дни господь благословил его Симоном, Мариным первенцем, но он упустил это благословение, безрассудно расточил милость господню. Тогда господь покарал его и проклял Павлом. Ныне он снова благословляет его — Маттафием, и на этот раз он не расточит господней милости. Этот мальчик, Маттафий, станет его свершением, его Цезарионом, безупречным сочетанием эллинства и еврейства. Ему не повезло с Павлом, но на этот раз ему повезет.

Они прибыли в Брундизий через два дня. Корабль «Феликс» был готов к отплытию — завтра рано утром он выйдет в море. Еще раз, в двадцатый раз, Иосиф говорит с Марою обо всем, что надо помнить и решить. Рекомендательные письма к губернатору в Цезарее он ей уже передал, свиток с ценными наставлениями Иоанна Гисхальского, над которыми ей предстоит еще раз поразмыслить вместе с управителем Феодором, — тоже. Главное — чтобы она помогла Феодору сделать из Даниила хорошего хозяина.

Даниил был спокойным мальчиком, не слишком глупым и не слишком умным, он с нетерпением ждал переезда в Иудею, в поместье Беэр Симлай; когда Иосиф сам придет в Беэр Симлай весною, он найдет там хорошего помощника. Но ни единого слова не было сказано в этот последний день о том, что касалось лишь их двоих, что привязывало Иосифа к Маре. Они так много пережили вместе — и хорошего и дурного; Мара не владела тем глубоким знанием людей, которым был одарен Иосиф, и не могла следовать его философии, но она знала его лучше, чем кто-либо другой в целом свете, и он это понимал, понимал, что она любит его женской и материнской любовью, которая видит все его слабости, исподволь с ними борется и мирится с ними.

Мальчик Маттафий сразу же облазил весь корабль. Славное судно, надежное и вместительное, но, по его мнению, слишком тихоходное. Он горячо объясняет это отцу и брату Даниилу; он очень надеется, что, когда весною они с отцом тоже отправятся в путь, у них будет корабль побыстрее, чем этот «Феликс». Мчатся вперед под ветром на всех парусах на стройном, узком, невероятно быстром судне — он думает об этом с восторгом, его глаза сияют.

На другой день «Феликс» уходил. Иосиф и Маттафий стояли на набережной, а Мара с детьми стояла у борта. По-прежнему дул приятный бодрящий ветерок, по-прежнему в небе хлопотливо бежали маленькие белые облака. Вокруг, на судне и на набережной, было шумно и оживленно. Потом бортовые перила стали медленно поворачиваться, удаляясь от берега, и с ними — лица Мары и детей. Иосиф стоял на набережной, он смотрел, пристально всматривался в эти три лица у борта, его взгляд впитывал их черты, и он думал обо всем хорошем, что пережил за многие годы своего союза с Марой. С корабля донесся ее голос.

— Приезжай весною с первым же судном! — кричит она по-арамейски, и слова ее уносит ветер, они тонут в гомоне толпы.

Но вот корабль уже далеко от набережной и, вопреки неблагоприятному суждению о нем Маттафия, быстро уходит с попутным ветром.

Иосиф смотрел ему вслед до тех пор, пока лица у борта не слились и глаз уже не улавливал ничего, кроме скользящего по воде контура, и все его мысли в это время были с Марой и полны нежности к ней. Но затем, едва только он

отвернулся, как вместе с очертаниями судна словно бы исчезла и она сама; в мыслях у Иосифа была лишь радостная зима в Риме, которая ждала его, — зима вдвоем с сыном Маттафием.

Весел и приятен был их обратный путь. Иосиф и его сын ехали быстро, конюх на дрянной наемной кляче остался далеко позади. Иосифу было легко и покойно, он не ощущал своих лет. Он болтал с мальчиком, и быстро, светло прилетали и улетали думы.

Как он любит его, этого Маттафия, теперь и в самом деле своего старшего! Да, ведь Симон мертв, а Павел еще более недосыгаем, чем мертвый. Иосифа пробирает дрожь при мысли, что Мара едет в ту землю, где живет Павел, теперь враг, злейший враг — злее не придумаешь.

Но у него есть его Маттафий, всю зиму Маттафий будет рядом с ним. Как сильно отличается открытая натура его Маттафия от его собственной, если говорить честно! Откровенность Маттафия словно отмыкает людей, завоевывает сердца; напротив, он, Иосиф, никогда не умел соблюсти меру и, изливая душу перед посторонним, иной раз убеждался, что этот посторонний отшатывается от него, неприятно задетый такою несдержанностью.

Как же все-таки вышло, что вся любовь Иосифа разом обратилась на него — на Маттафия? Все эти годы мальчик прожил бок о бок с ним, а он, Иосиф, собственно, его и не видел! Теперь он видит его, и он понимает, что Маттафий далеко не так одарен, как Павел или даже как Симон. Почему теперь, когда его план вырастить Павла продолжателем и свершителем своего дела позорно и жестоко провалился, почему он верит, что ему должно повезти с этим мальчиком, с Маттафием, и все свои надежды, всю любовь отдает ему?

Почему? Вот и Маттафий тоже все время задает этот вопрос, и очень часто ни один смертный не в силах на него ответить. Иосифу приходится тогда отделяться неопределенными, уклончивыми словами или же прямо признаваться: «Не знаю», — и, слыша этот ответ, Маттафий испытывает то же чувство, что когда-то так часто испытывал сам Иосиф в высшей школе в Иерусалиме. Там, если поднималась проблема, вызывавшая между учеными споры в течение десятков, а то и сотен лет, как часто тогда — и именно в тот миг, когда острота и сложность дискуссии достигали предела, — Иосиф должен был довольствоваться ответом: «Кашья». А это означало: проблема, нерешенная проблема, окончательных выводов нет, разъяснению не подлежит.

Они добрались до Рима быстрее, чем ожидали. Когда Иосиф принял ванну, перевалило далеко за полдень, но до заката оставалось еще два часа, ужинать было рано. Его отсутствие длилось совсем немного, и все же Иосифу казалось, будто он вернулся из далекого путешествия, и он решил до вечерней трапезы прогуляться по городу.

Довольный, брел он по оживленным улицам светлого, сверкающего под ярким солнцем города. После многих часов в седле приятно было как следует размять ноги. На душе было легко и привольно, уже много лет не знал он этого чувства. Его труд завершен, ни один долг больше не тяготеет над ним, и женщина с тихим, невысказанным упреком на устах больше его не ждет. Он был другим человеком, годы не ложились бременем на его плечи, ему чудилось, будто он оброс новой кожей и в груди у него новое сердце. Иными путями, чем все последние годы, шли его мысли. Иными глазами глядел он на этот в конечном счете столь близкий ему Рим.

Много лет прожил он в Риме, всякий день, всякий час его окружали эти дома, улицы, храмы, а он ни разу прежде не замечал, как поразительно все изменилось здесь с той поры, когда он увидел город впервые. Это было при Нероне, вскоре после пожара. Рим не мог тогда похвастаться ни такой четкой планировкой, ни такой чистотой, он был неряшливее, но зато свободнее, многообразнее, веселее. Он стал теперь более римским, чем в ту пору, Флавии, и в особенности этот Домициан, сделали его более римским. Теперь в нем было больше дисциплины. Ларьки торговцев уже не загромождали добрую половину улицы, носильщики и разносчики приставали к прохожим не так назойливо, меньше стала опасность споткнуться о лохань с помоями или попасть под душ из нечистот, льющийся откуда-нибудь с верхнего этажа. Дух Норбана, дух министра полиции, владычествовал над городом. Большой и сильный высился Рим, дерзко и ослепительно сверкали его здания, могучая рука сочетала воедино старину и модерн, город выставлал напоказ свое богатство и власть над целым миром. Но выставлал напоказ не с обаятельной хвастливостью неряшливого, вольнодумного нероновского Рима, а холодно и угрожающе. Рим — это значило: порядок и власть, но порядок только ради порядка, власть только ради власти, власть неодухотворенная, бессмысленная власть.

Иосиф в точности помнил те мысли и чувства, с которыми он глядел впервые на этот город Рим. Он хотел его завоевать, одолеть его хитростью. И в каком-то отношении

это ему удалось; правда, потом обнаружилось, что победа его с самого начала была скрытым поражением. Теперь позиции стали яснее. Этот домициановский Рим был жестче, обнаженнее Рима Веспасиана и Тита, в нем не осталось ничего от жизнерадостных повадок того Рима, который некогда завоевал молодой Иосиф. Теперь его труднее завоевать, тому, кто пожелает одолеть его, потребуется больше сил, но зато теперь он так откровенно выставляет напоказ свою мощь, что труднее и обмануться в размерах стоящей перед тобою задачи.

И вдруг Иосиф понял, что, как прежде, как в дни молодости, он полон безмерного честолюбия, жгучего желания покорить этот город. Быть может, поэтому он так упорно противился мысли оставить Рим. Кто знает: быть может, это щекочущая охота к борьбе удерживала его в Риме. Ибо только здесь можно довести борьбу до конца. То была борьба с владыкой города Рима — с Домицианом.

Нет, он еще далеко не исчерпан, их спор. И если император так долго безмолвствует, то вовсе не потому, что он забыл об Иосифе, он просто отодвинул срок великого состязания. Но теперь оно близились, надвигалось, и если не император, то он, Иосиф, сам назначит день. Он чувствовал, что выбрал время удачно: он завершил свой труд, «Всеобщая история» написана, и это его камень в праше, камень, которым маленький Иосиф свалит гиганта Домициана. И он чувствует в себе новые силы, они приливают к нему от сына, он обретает новую юность в юности своего Маттафия.

Он так погружен в свои думы, что уже ничего не слышит и не видит вокруг. Смех и веселая болтовня, доносящиеся из небольшого мраморного строения, возвращают его к действительности, и вот он уже больше не распаленный честолюбием воин, но обыкновенный прохожий: закончив многолетний труд, радуясь, что сброшено с плеч тяжелое бремя, он бредет по городу, который любит и который, несмотря ни на что, стал его родиной. Он тоже усмехается, прислушиваясь к смеху и веселому говору, вырывающимся из-за стен небольшого мраморного строения. В Риме чetyреста таких общественных уборных. Каждое сиденье снабжено великолепной спинкой и подлокотниками из дерева или мрамора, и римляне сидят друг подле друга и непринужденно болтают, облегчаясь. В комфорте они знают толк, ничего не скажешь. Устроились весьма удобно. Иосиф слушает благодушную болтовню испражняющихся

в этом красивом белом строении, и насмешливая, горькая улыбка у него на губах обозначается резче. Комфорт у них есть, изобилие тоже, власть тоже. Все внешнее есть у них, все, что не затрагивает сути вещей.

Да, Рим — это порядок и бездушная власть, Иудея — это бог, это раскрытие божества, это осмысление власти. Одно не может существовать без другого, одно дополняет другое. Но в нем, в Иосифе, они сливаются воедино — Рим и Иудея, власть и дух. Он избран для того, чтобы их примирить.

Ну, а пока хватит об этом. Сейчас он не хочет об этом думать. Долгий, тяжкий труд остался позади; он хочет отдохнуть.

Прогулка по городу его утомила. Какой он большой, этот город! Если идти пешком, до дому еще добрый час. Иосиф взял носилки. Опустил занавески, отгородился от пестрой толчеи улицы, которая так настойчиво на него насадала. Развалился в полу́мраке носилок, приятно утомленный, — не борец, но просто утомленный, проголодавшийся человек, который завершил большую и хорошо удавшуюся работу и теперь, в отличном настроении, нагуляв волчий аппетит, примется за ужин вместе с любимым своим сыном.

— Поздравляю вас, доктор Иосиф, — сказал Клавдий Регин и пожал ему руку. Это случилось нечасто: обычно он только вяло касался толстыми пальцами руки собеседника. — Это действительно всеобщая история, — продолжал он. — Я многое из нее узнал, хотя и прежде не был полным профаном в вашей истории. Вы написали превосходную книгу, и мы сделаем все возможное, чтобы мир ее узнал.

В устах Регина, всегда такого сдержанного и насмешливого, эта похвала звучала необычайно сердечно и решительно.

С живостью говорил он о том, что нужно предпринять, чтобы успешно выпустить книгу в свет. Техническая сторона дела — производство и сбыт — это в конечном счете вопрос денег, а Клавдий Регин не был скрягой. Но там, где техническая сторона кончалась, все сразу становилось сомнительным и неясным. Например, как быть с портретом автора, который, по заведенному обычаю, должен быть предпослан книге.

Я не хочу делать вам комплименты, мой дорогой Иосиф, — заметил Клавдий Регин, — но сейчас вы с виду совсем как я, а я — самый настоящий старый еврей. Мне

ваш нынешний вид нравится, но боюсь, что публика будет иного мнения. Что, если мы немного прикрасим портрет? Если мы попросту изобразим элегантного, безбородого Иосифа прежних дней, чуть-чуть постаревшего, разумеется? Мой портретист Дакон делает такие вещи бесподобно. Кстати сказать, было бы совсем недурно, если бы вы и в жизни больше разыгрывали роль светского человека и меньше — кабинетного ученого, повернувшегося к миру спиной. Если бы вы, например, снова предоставили цирюльнику соскоблить с ваших щек щетину, вреда от этого не было бы никакого.

Иосиф слушал бесцеремонные, пошловатые речи Регина без всякого неудовольствия, потому что различал за ними искреннее уважение, да и Регин знал, что говорит. Последнее время удача снова во всем сопутствовала Иосифу. Заинтересованность Регина почти наверняка обеспечивала «Всеобщей истории» внешний успех, а Иосиф жаждал такого успеха. Время, когда он равнодушно встретил весть о том, что его бюст выброшен из храма Мира, — это время миновало.

Иосиф воспользовался благодушием Регина, чтобы завести речь еще об одном деле, которое его теперь занимало, — об учении Маттафия. Было очень опрометчиво с его стороны подать мальчику надежду на обучение при дворе, но так уж случилось, и помочь ему не мог никто, кроме Клавдия Регина.

Иосиф объяснил Регину ситуацию. Уже больше года назад Маттафий отпраздновал *бар-мицва* — свое вступление в еврейское общество, теперь наконец ему пришло время облачиться в мужскую тогу и стать римлянином и римским гражданином. При этом принято было объявлять, какую карьеру избирает молодой человек. Иосиф хотел, чтобы его мальчику была открыта возможность пройти курс обучения не только в армии или при гражданских чиновниках, но и при дворе, он хотел этого и ради сына, и ради себя самого. И это желание побудило Иосифа рассказать Регину, в чьей дружбе он не сомневался, больше того, что требовалось обстоятельствами.

— Я чувствую, — объяснял он, — что привязан к моему Маттафию сильнее, чем к остальным детям. Он должен стать моим свершением, моим Цезарионом, идеальным сочетанием эллинства и еврейства. С Павлом у меня ничего не вышло. — Впервые он сознался в этом вслух и так откровенно. — Он слишком многое унаследовал от язычества, мой грек Павел, он восстал против моего пла-

на. Маттафий же — мой сын с головы до пят, он еврей, и он послушен.

Регин сидел, понуриив тяжелую голову с мясистыми, плохо выбритыми щеками, так что его сонные глаза под выпуклым лбом не были видны. Но слушал он внимательно.

— Вашим свершением? — подхватил он и с дружелюбной иронией продолжал: — Но какой именно Иосиф должен и намерен достигнуть своего свершения в этом мальчике Маттафии — кабинетный ученый или же солдат и политик? Он честолобив, ваш Маттафий? — И, не дожидаясь ответа, заключил: — Приведите мальчика ко мне на этих днях. Я хочу на него поглядеть. Тогда и решим, смогу ли я дать вам добрый совет.

Несколько дней спустя Иосиф с Маттафием стояли у ворот виллы Регина, куда их пригласил министр. Гостей встретил секретарь. Регина неожиданно вызвали к императору, но он рассчитывал, что не заставит Иосифа ждать слишком долго.

— Кстати, вот это, видимо, вас интересует, — говорит с подчеркнутой вежливостью секретарь и показывает Иосифу портрет, только что выполненный художником Даконом для «Всеобщей истории».

Сияющими глазами, немного испуганно и вместе с тем зачарованно, смотрит Иосиф на портрет. Но с еще большим любопытством глядит на портрет мальчик. Смуглая, продолговатая голова, горящие глаза, густые брови, высокий, изрезанный частыми морщинами лоб, длинный, с легкой горбинкой нос, густые, иссиня-черные волосы, тонкие, со вздернутыми уголками губы, — неужели это нагое, гордое, аристократическое лицо — лицо его отца?

— Если бы я не знал заранее, — говорит он, и голос, стекающий с его пунцовых губ, так глубок и по-мужски низок, так взволнован, что секретарь отрывает взгляд от портрета, — если бы я не знал заранее, я бы не мог сказать, ты ли это, отец. Так вот каким ты можешь быть, если хочешь.

— Мы все должны, пожалуй, представлять перед миром не совсем такими, какие мы на самом деле, — отвечает Иосиф, пытаясь отделаться шуткой, но чувствует себя неловко. Честолобивая страстность, с которой мальчик идеализировал отца, почти пугала его. Тем не менее он решил теперь действительно последовать совету Регина и сбрить бороду.

Секретарь предложил им погулять в парке, пока не вернется Регин. Это был широко раскинувшийся сад, еще

держалась теплая, ясная осенняя погода, прогулка была приятной. Свежий воздух бодрил; в обществе сына Иосиф оживлялся и молодел: он мог говорить с Маттафием, как со взрослым и в то же время — как с ребенком. Что за глаза у мальчика! Как жизнерадостно сияют они под широким, прекрасно вылепленным лбом! Счастливые, юные глаза, они не видели ничего из тех ужасов, которыми полны его глаза, они не видели, как горел храм. Доля еврейских страданий, доставшаяся Маттафию, ограничивается безобидной насмешкой одной маленькой девочки.

Они подошли к павлиньему садку. С детским восторгом рассматривал Маттафий великолепных птиц. Появился сторож и, видя интерес, с которым мальчик глядит на его павлинов, стал обстоятельно рассказывать гостям хозяина о своих питомцах. В первый год их было семь, пять происходили от знаменитого выводка Дидима, двух доставили прямо из Индии. Сейчас неудачное время — птицы потеряли шлейф. Только в конце февраля, когда они затокуют, можно будет полюбоваться на них в полном блеске.

Сторож рассказывал, а Маттафий слушал и не мог наслушаться. Он оживленно беседовал со сторожем, спросил, как его зовут. Оказалось, что родом он с Крита и зовется Амфионом; мальчик нетерпеливо задавал все новые и новые вопросы. Маттафий погладил одного павлина по лазоревой, сверкающей грудке; павлин смиренно стерпел ласку; видя это, стал доверчивее и сторож и рассказал, как трудно ходить за этими тварями. Они надменные, властные и ненасытные. И все-таки он без памяти любит своих птиц. Ему удалось заставить нескольких птиц разом распушить хвост. Маттафий восхищенно следил за игрою красок. «Словно цветы на лужайке!» — воскликнул он, тысячи глаз напомнили ему звездное небо, он захлопал в ладоши. Но тут павлины перепугались, дружно, все как один, свернули свое пышное великолепие и с противным, скрипучим криком бросились врассыпную.

Иосиф сидел на скамье и рассеянно прислушивался, погруженный в тихие, недобрые размышления. «Павлин, — думал он, — вот уж истинно римская птица — великолепная, крикливая, властная, нетерпимая, тщеславная, глупая и ненасытная. Внешность, видимость — в этом все для них, для римлян».

Что его Маттафий так живо заинтересовался павлиньим садком, Иосифа не тревожило. Ведь он еще мальчик, полный любопытства ко всему новому, что попадает к нему на

глаза, и насколько мало занимают его отвлеченные проблемы, настолько же остро волнует все предметное, живое. С удовлетворением и гордостью видел отец, как хорошо понимают друг друга его сын и павлиний сторож. Он чуть посмеивался над горячностью мальчика. Поглядеть на него со стороны — кажется, уже взрослый, но это только кажется, на самом деле он еще совсем мальчишка.

И еще: чуть усмехнувшись, Иосиф отмечает про себя, с каким невинным рвением старается Маттафий расположить к себе столь далекого от него человека, как этот сторож. Всерьез тщеславным он не был, но знал о впечатлении, какое производит на людей, и бессознательно старался всякий раз убедиться в этом снова.

Наконец вразвалку подошел Клавдий Регин, дела на Палатине задержали его ненадолго, и теперь, перед обедом, он хотел размять затекшие в носилках ноги. Он был хорошо настроен, и скоро стало ясно, что мальчик ему нравится. Он снова заговорил о труде Иосифа, о «Всеобщей истории», и спросил Маттафия, что он может сказать об этой великой книге отца. Своим низким мужским голосом, скромно и чистосердечно Маттафий объяснил, что читатель он довольно скверный: он очень долго просидел над «Всеобщей историей», но за живое его затронули лишь изображенные Иосифом события последнего времени. Вероятно, он еще слишком невежествен, чтобы постигнуть разумом дела, давно минувшие. Эти слова, произнесенные с милой, располагающей улыбкой, прозвучали как извинение, но в то же время мальчик и не пытался скрыть, что не принимает близко к сердцу этот свой недостаток. И так всегда: то, что говорил Маттафий, было вполне заурядным — ни особенно блестящим, ни особенно тупым, — но неизменно воспринималось как что-то незаурядное благодаря естественности и обаянию, с которым он выражал свою мысль.

Иосиф пришел к Регину, чтобы исхлопотать мальчику место при дворе, он одобрял планы своего сына, его честолюбие. К тому, чем были предки Иосифа — ученые, жрецы, писатели, интеллигенты, — к тому, чем был он сам, мальчик не способен, и это Иосиф понимает. И пусть он принял решение не стесняться ни в чем лишь созерцательное начало своей натуры, пусть беспощадно подавлял в себе волю к действию, так часто в нем пробуждавшуюся, — почему бы теперь не предоставить мальчику все средства и возможности беспрепятственно утолить эту жажду деятельности? Так говорил он себе, и это было справедливо и разум-

но. И все-таки теперь, когда он услышал, как плоско и бойко судит мальчик о «Всеобщей истории», как он признается, что не в состоянии оценить труд отца, ему стало грустно. Впрочем, он быстро утешился, заметив, как понравился мальчик Клавдию Регину. И тут же со своего рода наивной расчетливостью сказал себе, что именно естественность, свежесть и неиспорченность его сына произведут впечатление на Палатине.

Они пошли к столу. У Регина был знаменитый повар-александриец, Маттафий ел с завидным аппетитом, сам Регин ворчал, что вынужден сидеть на строгой диете. За столом много говорили, беседа была веселая, благодушная, и Иосиф дадовался, видя, как быстро покорила его сын даже старого, колючего и чудаковатого Регина.

После еды Регин начал без обиняков:

— Совершенно ясно, мой милый Иосиф, что ваш Маттафий должен пройти обучение на Палатине. Нужно только подумать, кому мы отдадим его в пажи.

Смуглое, разгоряченное лицо мальчика вспыхнуло от радости. Но радость Иосифа, хотя его желание исполнилось, была омрачена мыслью, что теперь, когда Маттафий, на правах молодого друга, войдет в дом и в свиту какого-нибудь знатного господина, он, Иосиф, сразу же снова его потеряет — после столь немногих дней, проведенных вдвоем.

Регин в своей обычной деловой манере уже продолжал:

— Я бы, пожалуй, взял его к себе, ему было бы здесь совсем не так плохо, а выучиться всякой всячине он бы мог и в моем доме. Император поручает мне много тонких и примечательных дел, и ваш Маттафий быстро убедился бы, что на Палатине нередко самый короткий путь — это окольный. Но, по совести говоря, я уже ни на что не годный старый хрыч. Или, может, ты другого мнения, мой мальчик? Что скажешь?

— Не знаю, — отвечал Маттафий, широко улыбаясь. — Все это так неожиданно... если вы разрешите мне говорить откровенно. Я уверен, что мы бы с вами отлично поладили, а дом и парк у вас просто замечательные... особенно павлины.

— Что ж, — заметил Клавдий Регин, — это, конечно, немаловажно, но решающего значения не имеет. Вторая кандидатура — Марулл, — продолжал он задумчиво. — У него ваш сын мог бы выучиться кое-каким полезным вещам, в которых я и сам слаб, например — хорошим манерам. Но

вообще-то Марулл такой же точно старый хрыч, как и я, и такой же плохой римлянин. Наш кандидат должен быть Приближенным первого доступа, — размышлял он вслух, — не очень старым и не антисемитом. Три качества, которые не так легко совмещаются в одном человеке.

Маттафий спокойно слушал, как обсуждают его будущее, живой взгляд мальчика доверчиво перебегал с одного из собеседников на другого.

— Когда он у вас должен надеть мужскую тогу? — неожиданно спросил Регин.

— Мы могли бы подождать месяца два-три, — ответил Иосиф, — ему еще нет пятнадцати.

— Он выглядит старше своих лет, — сказал Регин одобрительно. — Видите ли, — пояснил он, — есть у меня одна мысль, но тут нужно время, нужно прощупать почву, кое-что подготовить, не гнать сломя голову.

— Что вы имеете в виду? — нетерпеливо спросил Иосиф, и Маттафий, хранивший благовоспитанное молчание, тоже напряженно впился глазами в губы Регина.

— Пожалуй, можно было бы уговорить императрицу принять его в свой штат, — равнодушно проговорил Регин своим высоким, жирным голосом.

— Это невозможно! — ужаснулся Иосиф.

— Невозможного не бывает, — наставительно возразил Регин и погрузился в угрюмое молчание. Но ненадолго; потом оживился снова. — У Луции он бы выучился всему на свете, — продолжал он. — Не только манерам и придворному этикету, но и науке разбираться в людях, в политике и еще одному, чего теперь не сыщешь нигде, кроме как у Луции, — искусству быть настоящим римлянином. Не говоря уже об умении вести дела. Поверьте, мой дорогой Иосиф, эта женщина со своими кирпичными заводами заткнула за пояс меня, старика.

— Императрица! — восторженно воскликнул Маттафий. — Вы правда думаете, что это возможно, господин мой Клавдий Регин?

— Не хочу тебя обнадеживать, — ответил Регин, — но ничего невозможного в этом не вижу.

Иосиф смотрел на сияющее лицо Маттафия. Так, верно, сиял и он сам, давным-давно, почти целое поколение назад, когда ему объявили, что императрица Поппея его ждет. Его охватило что-то похожее на страх, но он тут же встряхнулся, прогнал это чувство. «Эта девочка, Цецилия, — подумал он, — как бы там ни было, а она ошиблась. Мой Маттафий не кончит правым берегом Тибра».

Вопреки всем усилиям Регина, «Всеобщая история» настоящего успеха не имела. Большинство еврейских читателей находило книгу слишком холодной. Они ожидали восторженного, вдохновенного рассказа о своем великом прошлом; вместо этого перед ними лежало сочинение, целью своею ставившее убедить греков и римлян, чтобы они соблаговолили принять евреев в круг цивилизованных народов с великим прошлым. К чему это? Разве они, евреи, не обладают историей, куда более древней и гордой, чем эти язычники? Им ли, избранному народу божию, смиренно просить о том, чтобы их не причисляли к варварам?

Однако римляне и греки тоже встретили труд Иосифа без всякого энтузиазма. Многие, правда, находили книгу интересной, но высказать свое мнение вслух не решались. Император приказал убрать бюст писателя Иосифа из храма Мира, и стало быть, увлекаться этим писателем было неблагоприятно.

Лишь одна категория читателей осмеливалась громко и открыто хвалить книгу, — люди, на чье одобрение Иосиф рассчитывал всего меньше: это были минеи, или христиане. Они привыкли, что если какой-нибудь автор о них и упоминает, то либо с насмешкою, либо с бранью. Тем сильнее были они изумлены, убедившись, что этот Иосиф не только их не хулит, но даже с уважением излагает жизнь и суждения некоторых предшественников их мессии. Они увидели в книге Иосифа мирское дополнение к священной истории их спасителя.

Человек, чьего приговора Иосиф ждал с величайшим страхом и нетерпением, молчал. Юст молчал. Наконец Иосиф позвал его в гости. Юст не пришел. И тогда Иосиф отправился к нему сам.

— За тридцать лет, что мы знаем друг друга, — сказал Юст, — вы не изменились, и я не изменился. Зачем же вы меня беспокоите? Ведь вы знаете заранее все, что я скажу о вашей книге.

Но Иосиф не уступал. Он почти желал этой боли, которую причинит ему собеседник, он настаивал до тех пор, пока Юст не высказался.

— Ваша книга равнодушна и нерешительна, она тепла, как и все, что вы делали и делаете, — объявил в заключение Юст, и Иосиф услышал тот неприятный нервический смешок, который всегда так его раздражал. — Скажите, пожалуйста, чего, собственно, вы добивались вашей книгой?

— Я хотел,— ответил Иосиф,— чтобы евреи наконец выучились глядеть на свою историю беспристрастными глазами.

— В таком случае,— обрушился на него Юст,— вы должны были писать гораздо холоднее. Но для этого у вас не хватило мужества. Вы боялись суждения еврейской массы.

— Я хотел далее,— озлобленно защищался Иосиф,— внушить грекам и римлянам восхищение перед великой историей нашего народа.

— В таком случае,— не замедлил безжалостно объявить Юст,— вам бы следовало писать горячее, гораздо более воодушевленно. Но на это вы не отважились, вы боялись суждения знатоков. Да, я сказал верно,— заключил он,— ваша книга не горяча и не холодна, это теплая книга, это плохая книга.— Мрачное упорство, написанное на лице Иосифа, подхлестнуло его, и он без обиняков и недомолвок выложил все свои возражения и упреки.— Никто лучше вас не знает, что нравственной или безнравственной может быть цель той или иной политики, но никоим образом не средства. Средства могут быть только полезными или вредными для достижения цели. Но вы произвольно смешиваете меры и веса, вы прикладываете мерку нравственности к политическим событиям, хотя совершенно ясно представляете себе, что это пустая, дешевая, банальная увертка, и ничего больше! Вы совершенно ясно себе представляете, что лишь отдельная личность подлежит моральной оценке, но группа, масса, народ — никогда! Армия не может быть храброй — она состоит из храбрецов и из трусов, вы это пережили, вы знаете это, но признать не хотите. Народ не может быть тупым или святым, он состоит из тупых и смывленных, святых и подонков, вы знаете это, вы это пережили, но признать не хотите. Вы все время смешиваете веса — ради дешевого эффекта, из мелочной осмотрительности. Вы написали не историческое сочинение, а книгу назиданий для дураков. Да только и это вам не удалось: вы захотели угодить и нашим и вашим и потому не отважились даже на демагогию, в которой вы так искушены.

Иосиф слушал и больше не защищался. Как бы безудержно ни преувеличивал Юст, этот друг-враг, в его нападках была доля истины. Одно, во всяком случае, неоспоримо: книга, в которую он вложил столько лет жизни, не удалась. Он заставил себя остаться холодным пред историей своего народа, смотреть в ее лик разумно и здра-

во, и тем самым изгнал жизнь из этих событий. Все полуправда и, стало быть, полная ложь. Перечитывая теперь свою книгу, он убеждается, что все в ней изуродовано, искажено. Скованные чувства мстят за себя, они восстанут вновь, с удвоенной силой, читатель Иосиф не верит ни единому слову Иосифа-писателя. Он допустил коренную ошибку. Он писал, подчиняясь только велениям разума, часто вопреки чувству,—и вот обширные части книги безжизненны, начисто обесценены; ибо живое слово рождается к жизни лишь там, где чувство и разум едины.

Все это Иосиф видел с жестокою ясностью, все это говорил себе сам — прямо и без обиняков. Но потом он расстался со своей книгой «Всеобщая история иудейского народа» — раз и навсегда. Удачно или неудачно, он дал то, что смог, он выполнил свой долг, он боролся, работал, во многом отказывал себе, теперь он отложил завершенный труд в сторону и, освободившись от него, будет жить дальше для себя. Портрет, помещенный Регином в начале книги, показал ему, до чего он состарился. У него не так уж много времени впереди. Он не желает растратить остаток сил на пустые мечтания. Пусть философствует Юст — Иосиф хочет жить.

И тысячи желаний и порывов поднялись в нем, а он-то думал, что они давно мертвы. И он радовался, что они не мертвы. Он радовался тому, что еще испытывает вожделе, снова испытывает вожделе к действию, к женщинам, к успеху.

Он радовался тому, что он в Риме, а не в Иудее. Он снял бороду, и миру открылось нагое лицо прежнего Иосифа. Черты стали тверже, резче, но лицо казалось моложе, чем во все эти последние годы.

Теперь, хотя Мара с детьми уехала, старый дом в квартале Общественных купален вдруг сделался для него слишком узок и тесен. Он навестил Иоанна Гисхальского и попросил присмотреть для него элегантный, в современном вкусе дом, который он мог бы нанять. Завязалась долгая беседа. Иоанн внимательно прочел «Всеобщую историю» и говорил о книге с интересом и пониманием. Иосиф знал, конечно, что Иоанн — судья отнюдь не беспристрастный. За плечами у него была бурная жизнь, так же как у самого Иосифа, по сути дела, он потерпел безнадежное крушение и потому склонен видеть историю еврейского народа в том же свете, что Иосиф, и так же не доверять любому энтузиазму. И все-таки похвала Иоанна была приятна и даже утешительна после непримиримых слов Юста.

Иосиф заговорил живее, охотнее: теперь, когда они остались в Риме вдвоем с Маттафием, он раскрывался гораздо легче, чем прежде. Рассказал Иоанну, какое будущее готовит своему Маттафию. Иоанн отнесся к его надеждам скептически.

— Не стану спорить, — сказал он, — времена пока такие, что еврей еще может потешить свое честолюбие. Вы достигли очень многого, Иосиф, можете без стеснения в этом признаться, Гай Барцаарон многого достиг, я достиг кое-чего. Но мне кажется более разумным не выставлять наших достижений напоказ, не мозолить другим глаза нашими деньгами, властью, влиянием. Это вызывает только зависть, а для зависти мы недостаточно сильны, мы слишком разобщены для зависти.

Когда Иосиф делился с Иоанном своими сомнениями и надеждами, его лицо светилось радостью, теперь оно помрачнело. Иоанн заметил это и, не настаивая на своем, добавил только:

— Так или иначе, но если вы хотите чего-то достигнуть для вашего Маттафия, вам надо отказаться от мысли уехать весной в Иудею. Я, разумеется, — закончил он любезно, — был бы рад узнать, что вы остаетесь в Риме еще на какой-то срок.

Иосиф подумал, что Иоанн хороший друг и что оба его соображения справедливы. Если он найдет Маттафию друга и покровителя на Палатине, тогда, конечно, придется прожить в Риме подольше; да и переезжать в новый дом нет никакого смысла, если он думает остаться только до весны. А в душе он был рад отложить свою поездку в Иудею, свое возвращение в Иудею, и тут годился любой предлог; ибо, как ни странно, ему казалось, будто, возвращаясь в Иудею окончательно, он отрекается от всего, для чего еще нужна хоть капля молодости, будто этим возвращением он сам, и уже навсегда, объявит себя стариком. Да и другое предостережение его друга Иоанна — что, дескать, неразумно домогаться внешнего блеска и почестей, — тоже, вероятно, справедливо; но Иосиф помнил, как сияло лицо мальчика, и теперь уже просто не мог предложить Маттафию отказаться от прежнего плана — ни Маттафию, ни самому себе.

Новый дом нашелся быстро, и Иосиф принялся его обставлять. Маттафий с увлечением помогал отцу, у него были тысячи разных предложений. Теперь Иосифа часто можно было встретить в городе, он искал общения с людьми. Раньше, бывало, он целыми месяцами сидел взаперти,

один-одинешенек, а теперь чуть ли не ежедневно показывался в кружке Маруллы или Регина. Благожелательно, чуть насмешливо и чуть-чуть озабоченно следили друзья Иосифа за его превращением. А Маттафий любил его и восхищался им еще больше прежнего.

Иосиф пересказал Клавдию Регину опасения Иоанна. Иоанн человек умный, ответил Регин, но он уже не в состоянии толком судить ни о новых временах, ни о еврейской молодежи, которая не видела, как горел храм, для которой храм и государство — не более чем историческое воспоминание, легенда. Он сам, Регин, в известном смысле пример тому, что даже предельно зримая власть не всегда доводит еврея до беды. Пример Иосифу не понравился, ни при каких условиях не хотел бы он, чтобы его Маттафий ушел от еврейства так далеко, как Клавдий Регин. Тем не менее он охотно позволил утвердить себя в прежнем намерении и жадно выслушал Регина, который сообщил, что советовался с несколькими доброжелателями на Палатине, и хотя сперва все были не на шутку озадачены дерзостью их затеи — сделать еврейского мальчика пажом императрицы, но в конце концов приходили к мысли, что необычность этой затеи сама по себе не может служить препятствием к ее осуществлению. Поэтому, продолжал Регин, пора приступить к делу. Регин посоветовал Иосифу отпраздновать совершеннолетие Маттафия публично, на римский лад, хоть это и не принято среди евреев, и, — чтобы заранее заткнуть рот всем остроловам, — пригласить императрицу, которая по-прежнему к нему расположена. Со стороны Иосифа — преступное легкомыслие так мало использовать расположение Луции, которое она неоднократно и неизменно подтверждала. Но теперь ему представляется прекрасная возможность наверстать упущенное, пусть преподнесет императрице свою новую книгу и, словно бы заодно, пригласит ее на праздник к Маттафию. На худой конец, он получит отказ, но, право же, ему случалось проглатывать обиды и погорше.

Это звучало убедительно, более того, предложение Регина соблазняло Иосифа. Ему было под шестьдесят, давно минуло то далекое время, когда он, весь словно туго натянутая струна, шел на прием к императрице Понпее и, однако, входя теперь со своею книгою в руке в покои Луции, он ощущал такое волнение, какого не знал уже много лет.

Клавдий Регин искусно подготовил почву, он сообщил Луции о преображении Иосифа. И все же она была изумлена, увидев его выбритое, помолодевшее лицо.

— Смотрите-ка,— сказала она,— бюст исчез, зато сам оригинал превратился в бюст. Рада видеть это, мой Иосиф. — Радость явственно отражалась на ее лице, безмятежном, свежем, хотя первая молодость была уже позади.— Рада, что книга появилась в свет и что снова появился прежний Иосиф. Я освободила для вас целое утро. Пора нам хоть раз наговориться всласть.

Иосифа восхитил этот теплый прием. В глубине души он, правда, чуть посмеивался над самим собой, говорил себе, что и старея остается тем же дураком, каким был в молодые годы, но все-таки сердце переполнилось восторгом, почти как тогда, перед императрицей Поппеей.

— Что мне в вас нравится,— начала Луция одобрительно,— так это то, что при всей вашей философии, при всем артистизме вы по самой сути своей авантюрист.

Нельзя сказать, чтобы похвала пришлась Иосифу по душе. Но Луция сразу же истолковала свои слова в таком смысле, который не мог ему не польстить. Одно дело, объяснила она, если авантюристом становится человек, который вышел из ничтожества и, стало быть, мало что теряет. Но если человек, смолоду богатый и надежно защищенный от любых превратностей, избирает для себя жизнь, полную приключений, это свидетельствует о живой и беспокойной душе. Такими авантюристами по зову души, а не в силу внешних обстоятельств были Александр и Цезарь. Что-то от авантюризма такого рода она ощущает и в себе самой, и существует тайное родство между этими аристократическими авантюристами всех времен.

Потом она попросила Иосифа почитать ей что-нибудь из его книги, и он согласился без церемоний. Он прочел ей историю Иаили, Иезавели, Гофолии. Еще он прочел ей истории о необузданных, гордых и честолюбивых женщинах, которые окружали Ирода и от одной из которых происходил он, Иосиф.

Замечания Луции изумили Иосифа. Для него люди, которых он изображал, не были реальными фигурами, они действовали на сцене, возведенной его руками, они были приукрашены и приподняты, были неосязаемыми фантомами. А Луция воспринимает его героев так, словно они расхаживают среди нас, созданные из плоти и крови, и это было для Иосифа совершенно неожиданным и встревожило его. Но в то же время он был восхищен,— будто некий бог в миниатюре, он сотворил, оказывается, целый мир. Они с Луцией отлично понимали друг друга.

Ему не пришлось преодолевать робость, чтобы перейти к делу. Он рассказал о своем сыне Маттафии, о том, что в ближайшее время ему предстоит облачиться в мужскую тогу.

— Я слыхала, что он славный мальчик, — сказала Луция.

— Он замечательный мальчик! — с жаром заявил Иосиф.

— Что за гордый отец! — отозвалась Луция с улыбкой.

Он пригласил ее на праздник, который собирается дать по этому случаю. Лицо императрицы, живо отражавшее все ее чувства, слегка затуманилось.

— Право же, я не антисемитка, — сказала она, — но не покажется ли несколько странным, что именно вы справляете этот праздник так демонстративно? Я не то, что Фузан, и не так уж хорошо разбираюсь в происхождении наших обычаев, но разве праздник совершеннолетия — не религиозная церемония прежде всего? Мне не кажется, что римский дух и служение римским богам — всегда одно и то же. Но я почти уверена, что к этой церемонии все же причастны и наши боги. Я никак не хочу вмешиваться в ваши отношения с единоплеменниками и все же боюсь, что евреи не слишком обрадуются, если вы поднимете вокруг этого столько шума. Я не отказываюсь от приглашения, — поспешно добавила она, заметив, что Иосиф, слушая ее, помрачнел, — но по-дружески прошу вас как следует взвесить, прежде чем решать окончательно.

Опасения Луции были совершенно того же свойства, какие высказывал Иоанн, и это поразило Иосифа. Однако решимость его осталась непоколебленной. Справив *бармицва*, он ввел сына в еврейскую общину, так почему теперь подобным же образом не ввести его в римскую, к которой он в конце-то концов уже принадлежит? С блеском справить обе церемонии представлялось ему символически многозначительным, а если это дает повод к превратным толкованиям — что ж, ему давно пора убедиться, что всякое его действие или бездействие толкуется превратно. Вдобавок он уже дал слово Маттафию, с наивным упоением ждет мальчик этого дня, Иосиф просто не в силах так жестоко его разочаровать.

Он отвечал уклончиво, поблагодарил Луцию за совет, обещал еще раз все обдумать, но в душе уже решил, твердо и бесповоротно. Дома, то ли шутя, то ли всерьез, он сказал Маттафию:

— Если бы тебя спросили, римлянин ты или еврей, что бы ты ответил?

Маттафий засмеялся своим низким, грудным смехом:

— Я бы сказал: «Не задавай таких глупых вопросов. Я Маттафий Флавий, сын Иосифа Флавия».

Ответ по душе Иосифу. Сомнения друзей бледнеют, исчезают из его памяти. Почему он, Иосиф, должен выказать меньше мужества, чем старик Клавдий Регин, который не видит никакой опасности в том, чтобы послать мальчика на Палатин?

День праздника был назначен. Маттафий не чуял под собою земли, он словно витал в облаках. Он пригласил девочку Цецилию. Она ответила одною из своих обычных колкостей. Он сообщил ей, что на его празднике будет императрица. Цецилия побелела.

Иосифу приходилось остерегаться всего, что могло быть истолковано как поклонение римскому божеству, как идолопоклонство, и потому он оказался вынужден во многом отойти от обычного церемониала. В его доме не было алтаря домашних богов, а Маттафий, в отличие от римских мальчиков, не носил на шее золотого амулета, который он мог бы возложить на этот алтарь, и праздничный обряд в самом доме ограничился лишь тем, что Маттафий сменил детскую тогу с каймой на мужскую, сплошь белую. Новый строгий наряд замечательно к нему шел, его юное и вместе с тем уже мужественное лицо над этой простою, чистой одеждой было разом и серьезно, и безоглядно счастливо.

Потом Иосиф в сопровождении огромной толпы друзей, с императрицею во главе, повел юношу на Форум, к южному склону Капитолийского холма, в Архив, чтобы торжественно внести его имя в списки полноправных граждан. Отныне и впредь он будет зваться Маттафий Иосиф Флавий. Императрица надела ему на палец золотое кольцо — знак его принадлежности к знати второго ранга. Потом, меж тем как нееврейские гости Иосифа отправились к нему домой, где была приготовлена праздничная трапеза, сам Иосиф, Маттафий и еврейские гости исполнили действие, которое не одну неделю было предметом разговоров не только в Риме, но и во всей империи. Обычай требовал, чтобы новый гражданин посетил храм Юности, принес дар богине монету и совершил жертвоприношение. Вместо этого еврей Маттафий явился с отцом и друзьями в надлежащую канцелярию казначейства, попросил включить себя в постыдный еврейский список и уплатил двой-

ную драхму, которую евреи прежде вносили в сокровищницу Ягве, а теперь, после разрушения храма, обязаны были платить Юпитеру Капитолийскому. Так позорный, по мысли победителей, взнос налога был превращен Иосифом в праздничный обряд, и это заставило многих евреев простить ему вызывающую демонстративность, с какою он объявил своего мальчика римлянином.

Императрице понравилась отвага Иосифа. Сын Иосифа ей тоже понравился. Она видела, с каким княжеским достоинством держался он в тот гордый час, когда она надела ему на палец кольцо знати второго ранга; теперь, за пиршественным столом, она услышала, что с тою же простотой и тем же достоинством он прошел через унижительную процедуру занесения в еврейские списки. Мальчик сидел с нею рядом. Его глаза были устремлены на нее с мальчишеским обожанием, однако обычная непринужденность не изменила ему и тут. Луция говорила с ним. Он знал, конечно, как идет к нему белая тога, он чувствовал на себе взоры всех собравшихся и все же оставался оживленным и непосредственным — как всегда.

Клавдий Регин предупредил Луцию, что Иосиф будет просить ее принять сына к себе на службу. Каждый видел, что мальчик нравится императрице, и, следовательно, Иосиф мог быть спокоен, что не встретит отказа. Однако он изложил свою просьбу без той уверенности, какая была ему свойственна в иных случаях, да и Луция выразила свое согласие удивительно сдержанным тоном, и какое-то непривычное замешательство было и в душе ее и в лице.

Сердце Иосифа таяло от счастья. Он возвысил любимого сына до того положения, о каком мечтал для него. Но у него был чуткий слух, и даже в самый разгар ликования в ушах его продолжали звучать предостерегающие голоса друзей.

С этих пор Маттафий был причислен к свите императрицы и большую часть времени проводил на Палатине. Все сложилось так, как и предвидел Иосиф: юный еврейский адъютант Луции, обаятельный в своей безмятежной серьезности и юпой мужественности, именно на Палатине производил впечатление чего-то небывалого. О нем много говорили, многие искали его дружбы, женщины старались его ободрить. А он сохранял непринужденность и простоту, все происходящее казалось ему лишь естественным и, пожалуй, не так уж много для него значило; но

окажись он меньше на виду, будь окружен меньшим вниманием — он ощутил бы это, и ощутил болезненно.

То, что Маттафий принадлежал теперь к свите императрицы, приблизило к ней и самого Иосифа. Их пути скрещивались уже не раз, но никогда еще не видел он Луцию так отчетливо, ясно и полно. Щедрое изобилие всего ее существа, ее безмятежная и смелая открытость, римская ясность и жизнерадостность, от нее исходившие, ее зрелая женская красота производили теперь на Иосифа впечатление несравненно более глубокое, чем когда-либо прежде. Ведь не за горами и старость, но, изумленно признается он себе, с тех далеких дней, когда он томился страстью к Дорион, ни разу близость женщины не волновала его так, как эти нынешние встречи с Луцией. Иосиф не скрывал своего волнения, и Луция принимала это без неудовольствия. Много из того, что говорилось между ними, было теперь многозначно, они перебрасывались недомолвками, и многозначны были их взгляды и их прикосновения. Он вкладывал глубокий и скрытый смысл в эту дружбу. Если Луция влечет его с такою силой, если и он, в свою очередь, ей небезразличен, — разве это не символ? Разве это не образ тайной дружбы меж победителем и побежденным? Однажды, не сдержавшись, он осторожно поделился с Луцией своими мыслями. Но она расхохоталась ему прямо в лицо и ответила:

— Вы просто хотите спать со мною, мой милый, а всякие мудреные объяснения придумываете только потому, что сами понимаете, какая это, в сущности, наглость.

Легко и радостно текла в ту пору жизнь Иосифа. Он наслаждался своей судьбой — великими (так думал он) ее дарами. Он виделся с Луцией ежедневно, все лучше понимали они друг друга, прощали друг другу слабости и радовались достоинствам друг друга. Что же касается сияющего, обожаемого сына Иосифа, то все желания его исполнялись. Ясный и чистый, проходил он по утопающему в грехах и бесчинствах Палатину; все любили его, ни зависть, ни вражда не смели его коснуться. Да, божество возлюбило Иосифа. И доказало свою любовь, даровав ему столько радостей именно теперь, пока он не переступил еще порога старости и сохраняет еще силу, чтобы от них вкусить.

В Риме много говорили об Иосифе и его сыне, слишком много, по мнению евреев. И вот они прислали к Иосифу депутацию — господ Иоанна Гисхальского и Гая Барцаарона. С тревогой просили они Иосифа подумать о том, что его счастье, блеск его успеха, столь открыто выставляемые напоказ, вызовут еще большую зависть и вражду к ев-

рейству в целом. А ведь ненависть и притеснения и без того растут по всей империи.

— Если еврей счастлив,— предупреждал Иоанн Гисхальский снова,— пусть прячет свое счастье в четырех стенах и не выносит его на улицу.

Но Иосиф замкнулся в своем упорстве. Просто-напросто сын его Маттафий сияет изнутри, а свет, как известно, светит во тьме, и мгла не обымет его. Прятать любимого сына? Это ему и в голову не приходило! Он был без ума от своего прекрасного, обаятельного сына и его успеха.

И он пропустил мимо ушей слова посланцев общины и продолжал наслаждаться выпавшей ему судьбой. Он ловил счастье, где хотел и сколько хотел. И лишь одно омрачало эту радость: его книгу, «Всеобщую историю», по-прежнему окружало молчание.

А тут вдобавок появилась в свет книга под названием «Иудейская война». Как и его труд, она была выпущена Клавдием Регином, а написана Юстом из Тивериады, работавшим над нею не один десяток лет.

Книга Иосифа об Иудейской войне стяжала самый громкий успех среди прозаических сочинений своей эпохи. Вся читающая публика империи прочла эту «Иудейскую войну» — и даже не столько ради изображенных в ней событий, сколько ради мастерства самого изображения, Веспасиан и Тит одобрили книгу и высоко оценили труд ее автора, и теперь, не прожив и человеческого века, она уже отмечена печатью образцового творенья. И было неслыханной дерзостью со стороны Юста опубликовать книгу на ту же самую тему.

Много лет назад Иосиф прочел часть этого сочинения: и он сам, и собственная работа показались ему ничтожными и убогими в сравнении с Юстом и его книгой. Со страхом, да, именно со страхом читал он теперь заверченный труд друга-врага. Юст педантично избегал высоких слов и любого внешнего эффекта. Его изложение отличалось строжайшей, кристальной объективностью. Ни о какой полемике с книгой Иосифа он и не помышлял. Однако он упоминал о деятельности Иосифа во время войны, о его поступках и распоряжениях на посту комиссара в Галилее, одним словом, — о деятельности Иосифа-политика и солдата. Он только излагал факты, он воздерживался от каких бы то ни было оценок. Но в этом наглом изложении, и как раз вследствие его наготы, Иосиф представал стопроцентным оппортунистом, жалким, тщеславным мальчишкой, губителем того дела, которое взялся защищать.

Иосиф читал. В свое время он построил радужно-пеструю легенду о собственной деятельности в Галилее, он искусно рассказал эту легенду в своей книге и в конце концов сам в нее поверил; и вместе с книгой легенда о его личности была постепенно признана исторической истиной. Теперь в книге Юста стареющий Иосиф увидел войну, какою она была доподлинно, увидел себя самого, каким он был; и еще увидел он книгу, которую когда-то так хотел написать, — но только Юст написал эту книгу, не он.

Он увидел все это. Но он не желает этого видеть, не смеет видеть, если только хочет продолжать жить.

В напряженной тревоге ждал он, что будет дальше, что станут говорить люди о труде Юста. Громкого шума вокруг книги Юста люди не подняли. Правда, некоторые сумели оценить ее по достоинству, и это были те, чье суждение Иосиф искренне уважал, но их было очень немного. И все же Иосифу приходилось признать, что в глазах этих немногих работа Юста затмила его собственное сочинение. Ему пришлось признать, что для тех немногих этот Юст, опорочивший его деятельность, был судьей праведным, неподкупным и неопровержимым.

Иосиф старался забыть горький вкус этого признания. Он говорил себе, что избалован успехом, как, вероятно, ни один из современных ему писателей, что мнение немногих ничего не значит в сравнении с его славой, такой прочной, несмотря ни на что. Но все было тщетно, горький привкус не исчезал. Наоборот, он стал еще горше. Иосиф был другом и любимцем императрицы, он доставил возлюбленному своему сыну положение, о котором мечтал и мальчик, и он сам, стоило ему пожелать — и он снова вышел в первые ряды, снова оказался в центре внимания. Но горький привкус отравлял ему всю радость этих удач.

Он твердил себе, что сделался старым ворчуном, что не способен больше замечать ничего, кроме неприятностей. Потом сказал себе, что всему причиной разнузданная, завистливая критика Юста, он не смог ей противостоять, и она разрушила его веру в себя и в свою работу. Он снова положил перед собой «Всеобщую историю», прочитал несколько глав — лучшие главы — и угрюмо, упрямо сказал себе, что обвинения Юста — вздор.

Но факт оставался фактом: «Всеобщая история», на которую он положил столько труда, настоящего успеха не имела, вопреки всем усилиям Регина. Иосиф хорошо знает всю случайность внешнего успеха и неуспеха, но именно теперь ему нужно подтверждение извне, именно теперь ему

нужен литературный успех. Все его прочие достижения сейчас не имеют цены. Единственно, что могло бы ему помочь, — это отклик на «Всеобщую историю», громкий отклик, который заглушит голос Юста. Он должен получить подтверждение, и не когда-нибудь, а теперь — хотя бы ради любимого сына, чтобы помочь ему двинуться дальше.

Тонем озлобленного упрека спрашивал он у Регина, чем объяснить, что успех «Всеобщей истории» остается таким тихим, незаметным. Регин без особой охоты отвечал, что главная помеха здесь — отношение императора к его книге. Люди сведущие и компетентные не решаются выразить какое бы то ни было мнение о работе Иосифа, покуда неизвестно, как судит о ней император. Даже если бы DDD обнаружил свое неудовольствие — даже это было бы удачей: тогда, по крайней мере, на их стороне оказалась бы оппозиция. А DDD, коварный, как всегда, молчит, он не высказывается отрицательно, он вообще не высказывается. Регин попытался нарушить это враждебное молчание. Он спросил Фузана, может ли Иосиф преподнести ему свою работу. Но Фузан пропустил вопрос мимо ушей, как только он один и умеет, и не ответил ни «да», ни «нет».

Мрачно и раздраженно слушал Иосиф Регина. Снова всплыли мысли, с которыми он вернулся в Рим, отправив Мару в Иудею. Тогда он радовался предстоящей борьбе с Домицианом, борьбе с Римом. Он ощущал в себе новые, молодые силы, и в завершенной книге он надеялся обрести новое оружие. Но император уклонился от борьбы. Он просто не принял вызова.

Регин продолжал, и, слушая его, Иосиф лишь убеждался в правоте своей догадки. DDD, рассказывал Регин, словно забыл, как произносится имя «Иосиф». И это неспроста. Он, без сомнения, слышал о новой дружбе Иосифа с Луцией, о дерзком вызове, с каким Иосиф внес сына в еврейский список, и о новом еврейском паже императрицы. И если за всем тем DDD не склонен применить силу и попросту уничтожить Иосифа, стало быть, с его точки зрения, эта тактика наиболее умна. Ибо его молчание, молчание DDD, ширит молчание вокруг книги, которое в конце концов должно ее задушить.

Иосиф раздумывал, что можно сделать, чтобы нарушить это коварное молчание, чтобы выманить императора, выманить врага из засады, заставить его принять вызов. Обыкновенно при появлении в свет новой книги автор выступал перед широкой публикой с чтениями. Иосиф не хотел следовать обычаю: внутренняя атмосфера, в которой

составлялась «Всеобщая история», еще не развеялась, а Иосиф, писавший «Всеобщую историю», презирал публику. Тому Иосифу было абсолютно безразлично, что думает или говорит о его книге Домициан. Но перед Клавдием Регином сидел совсем другой Иосиф.

— А что, если устроить чтение... если мне прочитать что-нибудь из «Всеобщей истории»?

Регин удивленно поднял брови. Если Иосиф после столь долгого молчания снова появится перед публикой, это вызовет настоящую сенсацию. Пожалуй, такое чтение — единственное средство расшевелить императора, если только это вообще возможно. Но хотя план Иосифа и соблазнял Регина, он не скрыл от собеседника, что его затея чревата опасностью, и немалой. Заставлять императора высказаться — дело рискованное. Однако Иосиф, видя, что Регин не отказывается ему в поддержке, уже загорелся своим планом. Как актер, жаждущий роли, он приводил Регину и самому себе все мыслимые доводы в пользу нового предприятия. Читает он совсем не дурно, легкий восточный акцент в его греческом выговоре скорее нравится слушателям, чем раздражает их, а теперь, когда он так давно не появлялся перед аудиторией, его выступление привлечет интерес всего Рима. И наконец, преодолевая неловкость, он признался Регину, старинному другу, в тайном желании, которое родилось в нем вместе с первой мыслью об этом чтении:

— И потом, какую радость было бы для меня блеснуть перед мальчиком, перед Маттафием.

Наивное тщеславие влюбленного отца покорило Регина.

— Все равно это адски опасная затея, — сказал он. — Но уж если вы, старый вы мальчишка, решили рискнуть, я не покину вас.

Иосиф с чрезвычайной тщательностью готовился к чтению. Долго обдумывал он с друзьями, где лучше выступить. Регин, Марулл и горячее всех Луция обсуждали этот вопрос так, словно речь шла о деле государственной важности. Выступить в доме самого Иосифа, перед узким кружком избранных? Или перед более широкой публикой, в доме Марулла или Регина? Или, может быть, даже на Палатине, в большом зале дома Луции?

Нет, подождите, у Луции есть одна идея. Что, если Иосиф будет читать в храме Мира?

В храме Мира? В том самом здании, откуда император приказал выбросить его бюст? Но это же чудовищный вызов! Огромный зал останется пуст — никто не дерзнет

принять участие в столь опасной затее! И не исключена возможность, что император прикажет арестовать Иосифа еще до выступления.

Но Луция говорит:

— Так мы далеко не уйдем. Куда ни повернись, каждый раз на пути только одна и та же преграда — DDD. Я не намерена дольше это терпеть. Он надеется измотать нас своей тактикой. Он надеется убить нашего Иосифа своим молчанием. Но это ему не удастся! Я хочу выяснить положение. Я пойду к нему.

Когда Луция велела доложить о своем приходе, Домициан сразу почувствовал, что предстоит разговор о евреях или о его сыне.

В последние месяцы он редко виделся с Луцией. Почти всегда он бывал скверно настроен; тело его становилось все более грузным и дряблым; он спал со многими женщинами, не получая ни с одной настоящего удовольствия. Ему регулярно доносили обо всем, что происходило у Луции. Подозрительно, злобно он размышлял: теперь, стало быть, она приняла ко двору молодого еврея, сына этого опасного субъекта, этого Иосифа. Иосиф стареет, он, видно, хочет, чтобы его заменил сын.

Император принимает Луцию учтиво, с холодной, иронической любезностью. Довольно долго беседа идет о незначущих предметах. Луция глядит на толстого, лысого, стареющего мужчину; ему не намного больше, чем ей, но он стар, а она молода. И вдруг ей кажется, что он совсем чужой, что прежняя власть ее над ним потеряна, и она спрашивает себя, не лучше ли отказаться от своего плана и ни словом не упоминать об Иосифе. Но потом врожденная отвага берет верх над осторожностью.

В последнее время, начинает она, устремляясь к намеченной цели, ей часто приходится слышать о гонениях на евреев в провинциях и о каверзах, которые им строят в самом Риме. У нее, как ему известно, есть друзья-евреи, и потому вопрос этот ей безразличен. Да и самому императору, по ее мнению, тоже следовало бы заняться этими делами.

— Однажды вы объяснили мне, господин мой Домициан, — напоминает она ему, — что между вами и восточным богом идет борьба. На вашем месте я бы десять раз подумала и примерилась, прежде чем решиться на какой бы то ни было шаг в этой борьбе. Сама я, как вам известно, — усмехнулась она, — довольно равнодушна к религиозным обязанностям, но я добрая римлянка и верю в богов. Я не

слишком стараюсь выразить им свое почитание, это верно, зато решительно избегаю всего, что может их разгневать. Ныне, вместе с ростом империи, выросло и число ее богов. Мне кажется, господин мой Домициан, мы с вами совершенно единомысленны в том отношении, что вы, как цензор, призваны охранять всех богов империи. Я не знаю, насколько полно вы осведомлены об этом трудном божестве Ягве, которого считаете своим врагом. Он трудный бог, и для вас было бы, видимо, полезно получить возможно более точные сведения о его природе и нраве.

— Вы хотите напомнить нам о нашем еврее Иосифе, моя Луция? — спросил Домициан с подчеркнуто учтивой улыбкой, и его близорукие, чуть выпученные глаза впились в ясное, крупное лицо императрицы.

— Да, — ответила она без околичностей. — Иосиф выпустил новую книгу, он писал ее много лет, и, на мой взгляд, это книга, которую нам, римлянам, следует прочитать с величайшим вниманием. Если вы прочтете эту книгу, господин мой Домициан, вы будете гораздо лучше осведомлены о нраве вашего врага, бога Ягве.

— А помните ли вы, моя Луция, — возразил все с тою же подчеркнутой учтивостью император, — что я уже читал часть этой книги и сразу вслед за тем распорядился убрать бюст нашего Иосифа из храма Мира?

— Отлично помню, — отвечала Луция. — Я еще тогда спрашивала себя, не слишком ли опрометчиво и поспешно нанесена эта тяжелая обида большому писателю, имеющему заслуги перед Римом. Теперь, прочтя его книгу, я в этом твердо убеждена. Советую вам, владыка и бог Домициан, прочтите эту книгу. Все дальнейшие шаги будут зависеть от вашего благосклонного суждения.

— Ну, смелей, Луция, договаривай до конца, — сказал император. Его улыбка сменилась ядовитой усмешкой, но говорил он тихо и еще более учтивым тоном, чем прежде. — Чего бы ты хотела? Что я должен сделать?

Да, сегодня ее власть над ним невелика, Луция это чувствует. И снова, на какой-то очень краткий миг, появляется мысль: не отступить ли? Но в конце концов она делает еще одну попытку, обращаясь к иному средству, испытанному своему средству. Она подходит к нему вплотную и ерошит остатки волос, которые все редеют и редеют.

По меньшей мере двадцать семь волосков вылезло с тех пор, как я в последний раз считала, — замечает Луция. — Есть очень простой способ, — продолжает она без всякого перехода, — загладить обиду, которую ты причинил это-

му писателю, а может быть, и его богу, и вместе с тем получить из надежного источника верные сведения об этом боге, о Ягве. Почему бы тебе, например, не посетить чтение, которое, если ты разрешишь, собирается устроить наш Иосиф?

— Занятно, — сказал Домициан, — очень занятно. Значит, мой Иосиф, наш Иосиф, твой Иосиф хочет читать отрывки из новой книги? И она тебе очень нравится, эта новая книга? Ты находишь, что она в самом деле очень хороша?

— Если бы не твое молчание, — отвечала она с уверенностью, — весь свет кричал бы, что она написана вторым Ливием. Его так называли еще при Веспасиане и Тите, когда вышла первая книга. И только теперь, когда ты велел пустить в переплавку его бюст, люди стали осторожнее.

Император поморщился.

— Да, — сказал он, — отец охотно с ним беседовал, и Тит любил его и ценил. Быть может, в этом есть и твоя заслуга — в том, что Тит любил и ценил его. А теперь ты хочешь наставить на путь истины и меня — чтобы я оказал честь новой книге твоего любимца. Так позволь сообщить тебе, если ты не знаешь, что с некоторыми частями этой книги я уже знаком. Они не скучны, но и не любопытны. И остальные части несколько растянуты, ни горячи, ни холодны — это мне говорили люди, не питающие, поверь, никакой злобы к твоему Иосифу.

Но Луция не уступала:

— А все-таки хорошо бы, если бы вы сами послушали и составили собственное мнение. Честное слово, вам ничуть не повредит узнать побольше про этого Ягве.

Это звучит предупреждением, и еле заметная тревога вкрадывается в душу Домициана. Он внимательно смотрит в открытое, смелое лицо императрицы — она не дает себе труда скрывать свою досаду или симпатию.

— Вы действительно принимаете горячее участие в своем любимце, моя Луция, — сказал он. — Более преданной защитницы ему не найти.

В язвительности его слов звучали недоверие и ревность, и Луция это уловила. Ах, вот оно что, Фузан думает, будто она спит с Иосифом? Она представила себе, как бы это выглядело. Потом улыбнулась. Потом посмотрела на Домициана и, уже не таясь, рассмеялась.

И тут он почувствовал облегчение. При всей своей подозрительности он никогда по-настоящему не верил в связь между Луцией и этим евреем. Она была истой

римлянок, хотя и на свой, особый лад, и этот бог Ягве и его народ ни при каких условиях не могли не казаться ей чуждыми и в чем-то смешными.

— Не угодно ли вам остаться отобедать со мною, моя Луция? — спросил он. — И тогда мы подумаем еще, как нам быть с вашим Иосифом.

В Риме любили публичные чтения. Считалось бесспорным, что живое слово проникает глубже и остается в памяти дольше, чем писаное, что оно полнее выражает личность автора. Но в последние годы такие чтения захлестнули Рим, в какой-то степени приелись слушателям, и автору обычно бывало нелегко собрать полный зал: в ход пускались все мыслимые предлоги и отговорки, чтобы уклониться от участия в подобного рода затеях. Однако выступление Иосифа было событием, которое привлекло весь город. В «Государственных ведомостях» было объявлено, что чтение почтит своим присутствием император. Издалека собирались люди, чтобы послушать Иосифа. Их манила не только сенсация: теперь, когда император обещанием прийти дал понять, что все претензии к этому автору впредь утрачивают силу, многие — римляне, греки и евреи — были рады открыто засвидетельствовать свою любовь к писателю и его книге.

Иосиф готовился к чтению с такою тщательностью, с какою не готовился еще ни к одному событию в своей жизни. Десять раз отбирал он главы — отбирал и отбрасывал, снова отбирал и снова отбрасывал. Нельзя было упустить из виду ни литературные, ни чисто политические соображения. Дерзость и робость сменяли друг друга. Он советовался с друзьями, читал им выбранные места — для пробы, как новичок.

И своей внешности уделял он немалое внимание. Слово актер или молодой хлыщ, он обдумывал наряд и прическу, решал, украсить ли перстнем или оставить без украшений руку, которая будет держать манускрипт. Он принимал лекарства и укрепляющие отвары, чтобы голос стал сильнее и гибче. Он и сам не знал, перед кем он больше хочет блеснуть — перед императором, перед Луцией, перед римлянами и греками, перед писателями, своими друзьями и соперниками, перед евреями, перед Юстом или перед Маттафием.

Зато потом, когда срок пришел, он почувствовал себя в форме, ощутил уверенность в своих силах. Его парик-

махер и косметист Луции долго хлопотали над его головой. Иосиф выглядел мужественно и внушительно, взор его, обращенный к слушателям, был горяч и вместе с тем спокоен. Здесь собрались все, кто пользовался в Риме влиянием и авторитетом, — друзья императора, ибо, разумеется, они не посмели не явиться туда, где присутствовал их государь, его враги, ибо в их глазах согласие императора посетить выступление писателя, назначенное в том самом храме, откуда он приказал выбросить бюст этого писателя, было равносильно признанию своего поражения. Иосиф видел их всех, видел и узнавал: Луцию, к которой испытывал глубочайшую признательность, императора, могущественного своего врага, юного, сияющего Маттафия, которого он любил, писателей, с нетерпением ждавших любой оплошности, которую он может допустить. Он видел перед собой это море светлых и мрачных лиц, он чувствовал себя уверенно, он радовался, предвкушая, как все они склонятся пред ним, пред его работой, пред его верой.

Сперва он прочел несколько глав из ранней истории своего народа — самые горячие и гордые главы, какие смог отыскать. Читал он хорошо, а то, что он читал, должно было увлечь непредубежденную публику. Едва ли его слушателей можно назвать предубежденными, но отозваться на прочитанное они не решаются. Все догадываются, что любой отклик — одобрительный или осуждающий — может обернуться бедою, они знают, что люди Норбана и Мессалина не дремлют, их слух и зрение прикованы к рукам и губам слушателей. Даже клакеры Регина получили приказ молчать и не шевелиться, пока не подаст знака сам император.

А Домициан не подавал никакого знака. Он сидел, выпрямившись, в императорском облачении, хотя и не в полном параде, угловато отставив назад локти, сидел, источая гнетущую важность. Своими выпуклыми, чуть близоруками глазами смотрел он то на Иосифа, то прямо перед собой; время от времени он жмурился или покашливал, он слушал вежливо, но вполне могло быть и так, что за вежливостью скрывается скука.

Поведение Домициана возмущало императрицу. Выступление Иосифа для нее все равно что собственное дело, и DDD это знает. Она напряженно ждала, останется ли реакция императора неизменной и во второй половине чтения. Иосиф хотел закончить несколькими главами из шестнадцатой книги своего труда, — в возвышенной и глубоко драматической манере там излагалась история семьи

Ирода. Жаль только, что он сможет прочитать лишь завязку и начало этой истории — о странных, запутанных отношениях иудейского царя и его сыновей, о том, как их очернили перед отцом, этих сыновей, и как он приказал заключить их под стражу и предать суду. А чем кончилось дело — как Ирод без всякой пощады казнил этих своих сыновей, — он, к сожалению, прочитать не сможет: прочти это Иосиф, и слушатели с болью вспомнили бы, как DDD велел казнить принцев Сабина и Клемента. Луции было жаль, что Иосифу приходится опустить самое лучшее — конец рассказа и особенно удавшуюся ему оценку царя Ирода.

Однако и события, предшествовавшие казни, изложены с подлинной силой, Иосиф читает замечательно, видно, что минувшее, о котором он читает, вновь волнует его самого, и Луция радуется, замечая, с каким сочувствием его слушают. Но поведение императора и выражение его лица неизменны. И тут Луция не выдерживает, она не желает дольше хранить придворно-льстивое, благовоспитанное молчание. Когда Иосиф заканчивает особенно патетическим и вместе с тем чрезвычайно сдержанным абзацем, она рукоплещет и своим громким, звонким голосом кричит слова одобрения. Некоторые к ней присоединяются, не жалеют ладоней и клакеры Регина. Однако большая часть зала оглядывается на императора, и так как он нем и неподвижен, они тоже немые и неподвижные.

Иосиф слышал рукоплескания, он видел лицо императрицы и любимое, восхищенное, счастливое лицо своего сына Маттафия. Но он видел и холодное, застывшее, неприязненное лицо Домициана, врага. Он знал: главная и единственная его задача — заставить эту неподвижную маску шевельнуться. Он понимал: этот человек, враг, решил продолжить свою тактику молчания, он не даст шевельнуться ни единому мускулу на своем лице и тем навеки похоронит его, Иосифа, работу. И тут безмерная ярость охватила его, он молча поклялся: «А все же я расшевелю ее, эту маску!»

И он не остановился там, где хотел прежде, — он читает дальше. Сперва в замешательстве, а потом с нарастающим возбуждением, слагавшимся из испуга перед таким безумием, восхищения перед такой отвагой и отчаянной тревоги и предчувствии грозной развязки, слушали Луция, Марулл, Регин — все, кто знали книгу Иосифа, слушали, как он читает дальше. Выразительно, в изящно отточенных фра-

зах, со спокойствием, полным ожесточения и вызова, повествовал он о том, как иудейский царь Ирод предал своих сыновей суду и без всякой пощады казнил.

Читая, он отчетливо сознавал, какая безумная дерзость — в присутствии нескольких тысяч слушателей бросить в лицо императору этот рассказ. За намеки, куда менее рискованные, философ Дион был предан суду, а сенатор Приск казнен. Но, напоминая себе об этом, Иосиф сохранял полную сосредоточенность, тон его оставался внушительным и сдержанным. С глубоким удовлетворением он увидел, как застывшие черты наконец дрогнули. Да, он добился своего: лицо императора покраснело, он с силою втянул верхнюю губу, глаза мрачно заблестели. Иосиф воодушевился, блаженное, упоительное чувство вознесло его к самому небу, и сознание, что, быть может, еще миг, один только миг — и он стремительно и страшно низвергнется в бездну, делало это чувство тем более сладостным. И он все читал, читал великолепную психологическую характеристику Ирода, мораль, которую он присовокупил к своему повествованию. Быть может, он заплатит жизнью за то, что сейчас читает. Но высказать эти слова, эту свою веру в глаза римскому императору, в глаза врагу — это стоит жизни.

Все отчетливее сознавал он, читая, что параллель между его Иродом и Домицианом ясна и безошибочна. Да, среди нескольких тысяч затаивших дыхание слушателей не было решительно никого, кто бы в этот миг не думал о принцах Сабине и Кlemente. Но именно потому и читал Иосиф дальше: «Если он чувствовал угрозу с их стороны, вполне достаточной мерой предосторожности было бы заключить их под стражу или изгнать из страны, чтобы не страшиться внезапного нападения или прямого насилия. Но убить их из ненависти, уступая единственно лишь чувству, — это ли не тираническое свирепство? Правда, царь долго откладывал исполнение своего плана, то есть самое казнь, но это скорее отягощает его вину, нежели оправдывает его. Ведь если кто совершит жестокий поступок в первом приступе гнева — нет спору, это ужасно, но хотя бы объяснимо. Когда же человек решается на такое зверство лишь по зрелом размышлении, после долгих колебаний, это не свидетельствует ни о чем ином, кроме дикости и кровожадности».

Иосиф закончил, он умолк, от собственной смелости у него перехватило дыхание. В огромном зале стояла такая тишина, что слышно было шуршание свитка, который он машинально принялся свертывать. А потом в гулкой тиши-

не прозвучал резкий, дребезжащий смех. Он даже не был злым, этот смех, и, однако, все испугались, точно в зал вошла смерть. Да, Домициан смеялся, он смеялся едко, не слишком громко и не слишком долго, и своим высоким голосом, тоже не слишком громко, вымолвил в широкую, глубокую тишину:

— Занятно, очень занятно.

Но этот смех отнял у Иосифа последние остатки благоразумия. Все равно ведь теперь ничего не поправишь, это чтение последнее в его жизни, так почему бы не показать собравшемуся здесь Риму, как встречают гибель на величественный, еврейский лад?

— А в заключение,— крикнул он в мертвое молчанье зала,— я прочту вам, мой владыка и бог Домициан, и вам, мои высокочтимые гости, оду, передающую смысл этой книги, настроение духа, в котором она создавалась, и то мироощущение, которым пронизана вся история еврейского народа. Стихи отнюдь не совершенные, они звучат коряво на языке, который для автора не родной, но я надеюсь, что ясность их содержания от этого не пострадала.

И он произнес стихи из «Псалма мужеству», он возгласил:

И я говорю:

Слава мужу, идущему на смерть

Ради слова, что уста ему жжет...

И я говорю:

Слава тому, кого не принудишь

Сказать то, чего нет.

Оцепенев, слушали тысячи этого еврея, который осмелился объявить в лицо Риму и его императору, что он их не признает. Оцепенев, глядели они на своего императора — неподвижного, внимательно слушавшего. Неподвижно сидели они, когда Иосиф произнес последние слова, с полминуты все собрание оставалось недвижимым, недвижим был бледный как полотно Иосиф, недвижим был император на своем возвышении.

Потом, все в той же беспредельной тишине, раздался голос Домициана:

— Ну, что скажешь ты, Силен, мой дурак? Мне кажется, ты можешь со знанием дела судить об этой оде.

И Силен, как всегда, подражая манере императора, угловато отставив назад локти, ответил:

— Занятно то, что здесь сказал этот человек, очень занятная точка зрения.

Потом, все еще среди глубочайшей тишины, Домициан повернулся к императрице:

— Вы говорили мне, что если я побываю на чтении нашего еврея Иосифа, то услышу много поучительного. Вы были правы.— И заключил: — Вы уходите, моя Луция?

Но Луция голосом, в котором не было обычной непринужденности, сказала:

— Нет, мой владыка и бог Домициан, я еще останусь.

Тогда император церемонно попрощался и, сопровождаемый своим шутом, пошел к выходу сквозь ряды безмолвных, склонившихся до земли слушателей.



Зал быстро опустел. Остались лишь близкие друзья. Но вскоре ушли и они. Сперва Гай Барцаарон, потом Марулл, потом Иоанн Гисхальский. Подле Иосифа были теперь только Луция, Клавдий Регин и Маттафий.

Полнота и напряжение воли, которые потребовались Иосифу, чтобы выстоять в этот час, еще не иссякли; он нашел в себе силу спокойно, даже с легкой усмешкой сказать друзьям:

— А все-таки хорошо, что мы устроили чтение.

Регин бросил взгляд на пустой цоколь, где прежде стоял бюст Иосифа.

— Едва ли вам поставят здесь новый бюст,— заметил он,— но читать книгу теперь будут, это уж верно.

— Какой был великий час! — наивно воскликнул Маттафий.— А что люди тебя толком не поняли, так это ничего не значит. Мне кажется, на таких чтениях,— произнес он не по годам наставительно,— может иметь успех только что-нибудь сенсационное, дешевое...

— Ну, сенсации было вполне достаточно,— отозвался Клавдий Регин.

— Я умею ценить храбрость,— не выдержала Луция,— но я все-таки не понимаю, что это на вас нашло, мой милый Иосиф? Как это вы вдруг решились один-одинешенек броситься в атаку на всю Римскую империю?

— И сам не знаю, что за муха меня укусила,— сказал Иосиф. Искусственное напряжение исчезло, он устало опустился на скамью, он сразу постарел — труды косметиста пропали даром.— Я сошел с ума,—сказал он, пытаясь объяснить случившееся.— Когда я увидел, что он и теперь намерен промолчать, увидел, как все они трусят и никто, госпожа моя Луция, не смеет поддержать вас, но все только смотрят на него, когда увидел на его лице насмешку

и враждебность — я просто потерял голову. С самого начала это была безумная дерзость — еще когда я впервые подумал об этом выступлении, еще когда я просил вас его пригласить, госпожа моя Луция. Вы могли не знать, друзья мои, какое это безумие, но я-то обязан был знать. У меня были с ним столкновения, и я должен был знать, что ничем другим дело кончиться не может. Я не имел права устраивать это чтение. Но я все-таки устроил. И бессильная ярость свела меня с ума.

— Чего вы все хотите, не понимаю! — недовольно сказал Маттафий своим юным, глубоким, невинным голосом. — Римский император пришел к Иосифу Флавию — да это поразительная, навеки памятная победа, по-моему! Ты говоришь, отец, что он твой противник. Тем грандиознее эта победа! Подумать только, император со своими ста миллионами римлян считает одного — одного! — человека, Иосифа бен Маттафия, врагом и, чтобы одолеть его, должен подняться сам, собственной особой. Но Иосиф бен Маттафий не боится императора и говорит ему правду. По-моему, это великая победа.

Трое взрослых, почти растроганные, усмехнулись про себя над неловкою попыткой мальчика утешить отца. Клавдий Регин и Луция обсуждали, на этот раз не без тревоги, какое решение примет теперь Домициан. Но заранее предвидеть никто ничего не мог, можно было только ждать. Бесплезны были бы и любые меры предосторожности. Вздумай Иосиф, например, уехать из Рима, это только увеличило бы опасность.

В глубине души Иосиф отлично сознавал, что корень его поступка — такое же точно безрассудство, какое десять лет назад толкнуло «Ревнителей дня» на их бессмысленный мятеж. Но что разрешено им, мальчишкам, двадцатилетним, ему, пятидесятивосьмилетнему, никак не разрешено. И все-таки это было славное поражение, поражение, наполняющее сердце побежденного гордою, высокою болью, стократ более прекрасное, нежели та пошлая победа разума, которая в последние годы сделала таким холодным и нищим его сердце. Он не был сломлен, напротив, он был горд своим поражением, и само ожидание грядущих событий дарило ему счастье.

К тому же первые плоды его безрассудства оказались сплошь радостными. Маттафий смотрел на него с безграничным восхищением и любовью, какие только и могли внушить ему столь громкий успех отца. Луция, правда, бранила его, но к словам осуждения примешивалось почти

что нежное сочувствие его пятидесятивосьмилетнему и все еще так молодо горевшему сердцу. А евреи — и теперь уже евреи всей империи — превозносили его до небес. Опасения немногих осторожных утонули в волне неслыханной популярности. Иосиф, который посреди многотысячной толпы бросил в лицо императору, ненавистнику евреев, правду Ягве, стал теперь самым дерзким бунтарем своего времени. Клавдий Регин был прав: вскорости у «Всеобщей истории» было еще больше читателей, чем когда-то у «Иудейской войны».

Первым, для кого обернулось бедою это достопамятное чтение, был не сам Иосиф, а Маттафий. Не считая лишь очень немногих близких друзей Иосифа, знать города Рима закрыла перед ним свои двери, и Маттафий ощутил это гораздо более, чем отец.

Как быстро померкло его сияние в домах большого света, Маттафию пришлось убедиться при ближайшей же встрече с девочкой Цецилией. В последние месяцы Цецилия смотрела на него с уважением, которое раз от разу заметно возрастало; о правом берегу Тибра и о будущем участии Маттафия в мелочной торговле уже не было и речи. Тем тяжелее оказалась теперь внезапная перемена. Цецилия читала Гомера, и учитель литературы рассказал ей про Апиона, великого египетско-еврейского толкователя Гомера. Разговор коснулся тогда и знаменитых книг Апиона против евреев, и некоторые из самых гнусных и злобных нападок Апиона Цецилия усвоила и запомнила. Краснея, с усердием выкладывала она свои новые познания перед Маттафием, она издевалась над его принадлежностью к дикому, грязному, чудовищно суеверному племени.

Маттафий рассказал Иосифу об их разговоре, и эта глупая история задела его неожиданно глубоко. Он не только огорчился, лишний раз убеждаясь, что его отчаянная выходка нанесла вред карьере сына, — гораздо больше растревожило его то, что он снова сталкивается с Апионом. С яростью вспоминал он о споре с Финеем, учителем Павла, когда без всякого толка и смысла осыпал его грубейшею бранью из-за этого Апиона. Теперь, когда Маттафий повторил ему слова девочки Цецилии, ненависть внезапно воскресила в его памяти этого мертвого Апиона. Много, много лет прошло с тех пор, как он видел его воочию, он был тогда еще совсем молод, а Апион был ректором университета в Александрии. Отчетливо, словно все происходи-

ло только сегодня утром, вспоминал Иосиф этого человека, — как он стоял чванный, надутый, важный, в белых башмаках — отличительный признак александрийских антисемитов. Снова и снова на протяжении своей пестрой жизни сталкивался Иосиф с Апионом, все враги евреев черпали яд из этого отравленного колодца. Образ фатоватого, подлого, самовлюбленного и в высшей степени удачливого противника, который наполнил целый мир своей дурацкой и злобной бранью, стал для Иосифа символом всего антисемитизма, более того — символом всей торжествующей глупости в мире, а для него, как и для Сократа, глупость была синонимом зла.

В своем новом, красивом, светлом доме он ходил взад-вперед по кабинету и спорил с Апионом, противником, чей язык был так гибок, а череп так пуст. Как несхож этот Иосиф, который ныне, одержимый богом своим, готовится к новой работе, как несхож он с тем, другим, автором «Всеобщей истории». Быть может, тогда цель его была выше, но то была цель, достигаемая лишь через веру в разум, какую владел Юст и подобные Юсту. Иосиф дерзко переоценил свои возможности, преследуя эту цель. Он взялся за чужое дело, и потому все вышло неверно, фальшиво. Но теперь он узнал самого себя, теперь он мудр, теперь он выеденного яйца не даст за эту возвышенную цель. Он возвращается на путь, с которого свернул когда-то. Многие годы потерял он даром, но еще не все потеряно. Он снова молод вместе со своим Маттафием.

С облегчением ощущал он, как спадает с плеч тяжкое бремя ответственности, бремя критической недоверчивости, гнетущая обязанность пропускать всякое чувство сквозь фильтр разума. Он думал о Юсте, и — удивительно! — в нем не осталось теперь и следа от грызущего сознания собственной неполноценности, от любовной ненависти к тому, кто выше тебя. Отныне он не станет оглядываться ни на каких судей, ни на какие грядущие поколения. Он даст себе волю. Он будет писать так, как требует душа, необъективно, с пристрастием и с гневом, со всею яростью, какой заслуживают его противники, их высокомерие, их пошлость, их глупость. Он рассчитается с ним, с этим мертвым Апионом, с его предшественниками и последователями, изливавшими свое дешевое остроумие на высокое, святое и для них непостижимое, — на Ягве и его народ.

И он сел за стол и написал книгу «Против Апиона, или О древней культуре евреев». И какая это была радость — свободным сердцем, сбросив тесную броню научности, петь

хвалу своему народу! Ни разу в жизни не испытывал Иосиф большего наслаждения, чем в эти две недели, когда он, единым дыханием, написал пять тысяч строк новой своей книги. Он видел их перед собою — белобашмачников, анти-семитов, этих огречившихся египтян, Манефонов и Апионов. Важные и надутые, стояли они перед ним, а он крушил их и громил, — их самих и их доводы, — расточал их в прах, и они исчезли без следа! Слова захлестывали его, он едва мог сладить с их потоком, и, записывая, одну за другой, эти блестящие главы, он думал о египетской гречанке Дорион и ее сыне Павле — их обоих похитили у него Апион и Манефон. Он ядовито высмеивал этих гречишек, пигмеев, которые не имеют власти ни над чем иным, кроме милых, легких, зыбких, элегантных, изысканных слов. И он противопоставлял им истинных греков, великих греков, таких, как Платон и Пифагор, которые знали евреев и ценили их, а в противном случае разве включили бы они в свою философию элементы еврейского вероучения?

Сокрушив, таким образом, своих противников, Иосиф поверх всех этих «нет» водрузил огромное, страстное, сияющее «да». Ни малейших следов не осталось от его всемирного гражданства. Все, что он с таким трудом подавлял во время работы над «Всеобщей историей», всей безмерно гордой любви своей к своему народу, он дал теперь излиться в этой книге. В пылких словах превозносил он благородство своего народа. Задолго до того, как греки еще только появились на свет, у него уже была своя мудрость, своя литература, свои законы, своя история. За тысячу лет до Гомера и Троянской войны у него уже был свой великий законодатель. Ни один народ не чтит божество чище, чем еврейский народ, ни один народ не питает столь глубокой любви к нравственности, ни один не владеет столь богатою литературой. Из десятков тысяч наших книг мы составили канон, только двадцать две отобрали мы из этих тысяч, тысяч и тысяч, и эти двадцать две книги мы соединили в одну. Но зато в какую книгу! В Книгу книг! И мы — народ этой Книги. О, как мы любим ее, как читаем, как толкуем! Эта Книга — все содержание нашей жизни, это наша душа и наше государство. Наш бог являет себя не в зримом обличии — он открывается в духе, в этой Книге.

Он закончил «Апиона» меньше чем за две недели. А затем, после порыва воодушевления, после буйного хмеля работы вдруг отрезвел. Его охватил страх: удалось ли ему облечь свой энтузиазм в такую форму, чтобы он передался другим, увлек читателя. Снова всплыла мысль о Юсте, ведя

за собою холодающее предчувствие: как-то будет выглядеть его «Апион» рядом с Юстовой «Иудейской войной»?

Нерешительно и настороженно понес Иосиф свою книгу Клавдию Регину. Регин и не пытался скрыть своего скептического отношения к труду, завершённому с такой быстротой. Не поднимаясь с дивана, он лениво попросил Иосифа почитать ему вслух. Он лежал, полузакрыв глаза, недоверчивый, и скоро прервал чтеца насмешливым замечанием:

— Нашему Юсту эта книга едва ли понравится.

Иосиф и сам думал так же, и ему стоило немалого труда продолжать чтение. Но постепенно снова накатил хмель, круживший ему голову во время работы над книгой, и вот уже Регин открыл глаза, вот он уже сел, выпрямился и, наконец, послушав с полчаса, выхватил свиток из рук Иосифа.

— Вы читаете слишком медленно, дайте-ка я сам, — сказал он, и Иосиф сидел молча, а Регин молча, жадно читал, а потом проговорил: — Мои писцы завтра же сядут за работу. — И с необычным для него оживлением добавил: — Будь у евреев свои Олимпийские игры, вот бы вам где прочесть эту книгу, как некогда Геродот читал грекам в Олимпии свою «Историю».

Таких восторженных слов Клавдий Регин не произносил уже много лет.

И то чувство, которое испытал Регин, испытывали все. Луция, увлеченная жаром и страстностью книги, объявила:

— Я не знаю, все ли у вас соответствует истине, мой Иосиф, но звучит это истиной.

Маттафий был в восторге. Теперь у него было в руках оружие, в котором он так нуждался, чтобы выстоять против девочки Цецилии и ее Апиона. Теперь он знал, почему так гордится своим народом, своей семьей, своим отцом. Весь свет, друзья и враги, были захвачены этой книгой, такого успеха Иосиф еще не знал никогда. Теперь уже никаких сомнений не оставалось, что Иосиф Флавий — первый писатель эпохи.

Выпадали, правда, часы, когда этот успех казался Иосифу пошлым, плоским. Он избегал встреч с Юстом, но временами, когда оставался один, особенно ночью, он вступал в спор с Юстом. Он слышал его насмешки, он пробовал защищаться, он ссылался на восторги других. Что проку? Он изменил своему предназначению. Он знал: прав Юст и не правы те, что превозносят его, Иосифа. И он ощущал усталость — усталость от успехов и усталость от поражений.

Но такие часы выпадали нечасто. Он жаждал успеха так долго, и теперь он наслаждался своим успехом. Он ликовал оттого, что евреи, так долго не признававшие и поносившие его, теперь должны увидеть его в подлинном свете, убедиться, что он самый действенный их защитник. Он ликовал оттого, что заставил своих врагов среди греков и римлян почувствовать силу этой книги. Наконец, долгожданная слава была для него еще одним, и очень отрадным, средством утвердить себя в глазах Луции и — прежде всего — в глазах Маттафия.

Мара тоже прочла «Апиона». В простых, наивных словах писала она об этом Иосифу, полная восхищения. Эта книга, которую она понимает от начала до конца, эта книга ей по сердцу. Потом, без всякого перехода, она сообщала о поместье Беэр Симлай. Управитель Феодор бар Феодор — человек разумный и преданный, обучение Даниила идет успешно: у него и способности, и тяга к работе на земле. Все чувствуют себя хорошо, хотя здесь, в Самарии, неподалеку от Кесарии, они живут среди язычников, и соседство нескольких евреев нисколько дела не облегчает: на все, что принадлежит Иосифу, евреи смотрят косо, главным образом — из-за льгот, которыми он пользуется по милости язычников. Но, может, теперь, после «Апиона», все изменится к лучшему. К их дочери Иалте сватается один молодой человек; Маре он очень нравится. Он получил в Ямнии докторскую степень, но ничуть не возгордился, а просто и усердно продолжает заниматься своим ремеслом — он серебряных дел мастер. Правда, работает он все больше на язычников, и она опасается, не помеха ли это к браку. Впрочем, на дворе уже весна, скоро Иосиф отправится в путь, а придет — все решит сам. И для Даниила будет полезен отцовский глаз, да и для Маттафия, конечно, лучше не оставаться в Риме слишком долго. Кстати, на «Феликсе» кормили обильно, но пища была нездоровая. Иосифу надо быть осторожным, чтобы не испортить желудок.

Иосиф читал и видел перед собой Мару, и грудь его наполнялась теплым, нежным чувством. Но об отъезде в Иудею он и не думал. Теперь больше, чем когда-либо, его место было здесь, в Риме. Именно теперь, после «Апиона». Он чувствовал себя счастливым, и счастье пришло как раз вовремя — в то время, когда он еще может радоваться ему, когда у него есть еще силы радоваться. А Рим — подходящее обрамление, единственно достойное обрамление для

этого счастья. Он чувствует себя призванным отныне писать только так, как велит сердце, он избран стать великим хвалителем и заступником своего народа. Но заступником и хвалителем он может быть только здесь — во вражеской столице.

И потом — оставить Маттафия одного? Увезти его из Рима, оторвать от службы у Луции он не может — это разбило бы все радужные мечты мальчика, разбило бы сердце мальчика. Нет, об этом и думать нечего! И о том, чтобы самому расстаться с сыном, тоже нечего думать. Самое дорогое, что есть у него, — это сияние, исходящее от Маттафия, любовь и восхищение сына. О, как он любит его, этого сына! Как праотец Иаков любил своего сына Иосифа — кощунственно, преступно, — так любит он Маттафия. И если Иаков подарил своему сыну пышное облачение, навлекшее на него ненависть и беду, — он, Иосиф, его понимает. Он бы поступил точно так же, чтобы украсить своего Маттафия всей красою земли. И в конце концов он был совершенно прав, окружив своего Маттафия блеском Палатина, — тут нечего и сомневаться. Чье сердце не откроется навстречу этому мальчику? Палатин еще слишком ничтожен для него. Одевание все еще недостаточно пышно. Впрочем, после «Апиона» даже Иоанн Гисхальский умолк, сомнения его отпали.

Правда, опасность отнюдь не миновала — опасность, которую он накликал сам своею дерзостью перед Домицианом. Но Иосиф об этом не тревожится. Даже если Домициан вздумает расправиться с автором «Иудейской войны», «Всеобщей истории», «Апиона», даже если покусится на его жизнь — что из того? Такою смертью Иосиф лишь принесет новое свидетельство в пользу Ягве и его народа, скрепит нерушимою печатью свой труд и утвердит бессмертие за собою самим и своими книгами.

Иосиф ходил по Риму счастливый, сияющий — будто старший брат своего Маттафия. Каждый день он бывал на Палатине, у Луции. Все более необходимой становилась для него эта женщина. Дружеская привязанность, которую он к ней испытывал, была смешана с желанием, и потому временами он, красноречивый, сбивался и умолкал. Они не говорили о своих отношениях: ясная, открытая Луция была так же мало расположена облекать в слова то, что их связывало, как и красноречивый Иосиф. Именно это отягощенное многими и смутными чувствами молчание было самым дорогим и самым чарующим в их дружбе.

Да, давно позабытые чувства и мысли пробуждались в нем, когда он бывал подле нее, мысли и чувства тех далеких лет, когда еще совсем молодым он удалился в пустыню, чтобы жить только для бога и для истины. И ему чудилось, будто бог вменит ему в заслугу, если он воздержится от Луции, будто ему прибудет сил, если он воздержится от Луции.

Однажды, когда они так сидели вместе, Луция с улыбкою, странно дрожавшею на губах, сказала:

— А что, если бы он узнал, мой милый Иосиф?

— Он взбесился бы, — отвечал Иосиф, — взбесился, и промолчал, и предал бы меня мучительной смерти. Но разве это мука — принять смерть из-за вас?

— Ах, — рассмеялась Луция, — вы думаете про Фузана. А я думала не о нем. Я думала о Маттафии. — И, внезапно посерьезнев, задумчиво глядя на него своими широко расставленными глазами, она сказала: — А вы знаете, Иосиф, что мы обманываем его, вашего сына Маттафия?

Да, случилось так, что мальчик Маттафий, подобно неисчислимому множеству других мальчиков и мужчин, влюбился в Луцию. Ее открытость, ее веселость, щедрость жизненных сил, ненасытность, с какою она давала и брала, ослепляли его. Быть таким, как она, — вот высшее, чего может достигнуть смертный! Она часто подшучивала над ним, безобидно и ласково, и это привязывало мальчика еще сильнее. Но она говорила с ним и всерьез, она прислушивалась к его словам. Он был горячо благодарен ей за то, что по его совету она завела павлиньи садки на своей вилле у Аппиевой дороги и в поместье близ Бай и поставила сторожами тех, кого указал ему его приятель Амфион, павлиний сторож у Регина. Он не знал, как назвать ту слепую нежность, что привязывала его к Луции. Назвать ее любовью, хотя бы даже только в мыслях, — но ведь это кошунство! И он испугался, ощутив, как в нем вздымается нечто, чему не было иного имени, кроме желания. Желать ее было такой же безумной дерзостью, как если бы римский юноша возжелал богиню Венеру.

Но все это не мешало ему временами почти завидовать отцу, замечая, как глядит на него Луция и как дозволено Иосифу глядеть на императрицу. Ни тот, ни другая, правда, не выставляли свою дружбу напоказ, но и не особенно заботились о том, чтобы ее скрыть. Маттафий запрещал себе всякую непочтительную мысль об отце или об императрице, но дерзкие сомнения не исчезали. Он старался их обуздать, пуще прежнего любуясь и восхищаясь отцом. Где

в целом свете сыщется другой такой человек, который единственно лишь словом своим зажигает сердца людей всех стран, всех состояний, всех вкусов, простых галилейских крестьян зажигает точно так же, как утонченных, порочных греков и эту великую, гордую женщину — императрицу?

А ей, Луции, он служил с удвоенным усердием — именно из-за своих недоверчивых мыслей о ней и об отце, которые, впрочем, посещали его нечасто и которые он тут же гнал прочь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Итак, он уехал, и она даже не очень об этом жалела. Разумеется, в душе осталась какая-то пустота, но, придирчиво проверяя свои чувства, она не жалела, что он уехал.

Надежды, которые она возлагала на своего Павла, не оправдались. Он вырос пошлым и заурядным. Все труды Финея и ее собственные пошли прахом. Он высокомерен, ее Павел, но это не эстетствующее высокомерие ее отца, великого художника Фабуллы, и не яростное, нервное высокомерие Иосифа, и не колючее, властное высокомерие, присущее ей самой. Нет, спесь ее сына Павла — не что иное, как тупая, безмозглая, грубая национальная спесь римлян, спесивое сознание своей принадлежности к тем, кто кровью и железом поработил мир.

Размеренно и плавно покачиваются носилки на плечах вышколенных носильщиков-каппадокийцев. Дорион возвращается от второго мыльного камня на Аппиевой дороге — до этого места проводила она своего сына. Да, носилки движутся почти без толчков: ей даны привилегии, и перед носилками бежит раб, высоко поднимая красновато-коричневый щит с золотым венком, и на коричневых занавесках носилок тоже золотой венок — знак того, что они принадлежат императорскому министру и все обязаны уступать им дорогу. Но мысли госпожи Дорион не становятся приятнее от мягкого хода носилок.

Итак, Павел возвращается в Иудею. Он уже кое-чего достиг, показал себя хорошим солдатом, служит адъютантом у губернатора Фалькона, к его мнению прислушиваются; отчим Павла, Анний, ее супруг, остался особенно доволен пасынком в этот его приезд. Он сделает карьеру. Он отличится в ближайшей кампании, а со временем — раз он

так этого хочет и раз у него есть энергия — будет губернатором Иудеи и покажет евреям, что такое настоящий римлянин. И совсем не исключено, что исполнится его заветная мечта и что в один прекрасный день он будет командовать войсками империи, как теперь Анний. Он очень римский, и время очень римское, и император очень римский, и Анний любит отличного офицера Павла; почему бы в конце концов ему и не стать преемником Анния?

А что будет, когда он достигнет всего этого? Он возмнит себя взошедшим на вершину жизни. И будет верить, что и она, Дорион, тоже безоговорочно удовлетворена тем, чего он достиг. Ах, как мало он ее знает, ее сын Павел!

Она с гневом вспоминает о злобных и вульгарных антисемитских выходках, от которых ее когда-то царственно невозмутимый Павел не мог удержаться даже за столом. Его сбивчивые и глупые речи были ей вдвойне противны потому, что незадолго до приезда сына она прочла «Апиона». Сперва она колебалась, читать ли ей эту книгу, но о ней говорил весь свет, и она прочла. И она испытала то же, что весь свет, ибо, читая, услышала голос Иосифа, этот голос, не умолкая, звучал в ее ушах, и нередко ей чудилось, будто книга обращена только к ней одной. Она читала, и жгучая злоба переполняла ее, и жгучий стыд, и — почему бы не признаться самой себе? — что-то от прежних чувств пробуждалось в ней, от прежних и властных чувств к человеку, который говорил с нею из этой книги так пылко и так буйно.

Она много раз думала дать книгу Павлу. Снова и снова будет она укорять себя за то, что так этого и не сделала. Но сейчас она рада, что не сделала. Ибо вполне вероятно, что и на «Апиона» он не сумел бы отозваться ничем иным, кроме пошлой, злобной болтовни, а ей было бы больно и тяжело его слушать.

Жизнь полна неожиданностей. Быть может, теперь, после того как она так жестоко разочаровалась в Павле, тем больше радости принесет ей Юний, второй ее сын. Впрочем, пока на то не похоже. Пока похоже на то, что он будет весь в отца, в Анния, будет честным, шумливым, самоуверенным, очень римским молодым господином и хорошо поладит со своим временем. Нередко она отказывается это признать, находит самые разнообразные качества в своем Юнии. Но теперь, возвращаясь в носилках от второго мыльного камня на Аппиевой дороге, она и здесь видит лишь мрак и безнадежность.

Снаружи сквозь опущенные занавески носилок врывается шум города Рима. Они расступаются перед ее носилками, граждане великого города, они дают ей дорогу и оказывают должные почести. Конечно, ей завидуют. Ведь она тоже взошла на вершину, она, дочь художника, которого снедало неутолимое и неутоленное честолюбие. Он был бы доволен, если бы узнал, чего ей удалось достигнуть. У нее есть муж, надежный, любящий, — Анний Басс, военный министр, вот уже много лет пользующийся неизменным благоволением императора. У нее двое... как это говорят?.. Ах да, двое цветущих сыновей, оба удались на славу. Она принадлежит к знати первого ранга, и ее сыновья — по всем доступным человеку расчетам — со временем займут высшие посты в империи. Чего же еще она хочет?

Она хочет многого, и если днем ей удастся отогнать дурные мысли, то ночи ее полны горечи. Где она, где тоненькая Дорион минувших дней, с легким, чистым профилем, с нежным и надменным лицом? Теперь, когда она смотрится в зеркало, на нее глядит сухое, брюзгливое, безрадостное лицо стареющей женщины, и не велико утешение, что ее бравый Анний не желает этого замечать и привязан к ней точно так же, как прежде. Пятый десяток ей идет, старость не за горами, но что взяла она от жизни? А ведь могла бы взять так много! Она испоганила свою жизнь, легкомысленно пропустила ее сквозь пальцы. Сама, со злым умыслом, оторвала себя от единственного на земле мужчины, которому она принадлежала. И если жизнь ее сына пуста, пошла и низменна, виновата она, и, главным образом, — из-за этого разрыва. Да, останься она с тем мужчиной — и Павел, верно, оправдал бы надежды, которые подавал вначале.

За последнее время — хотелось ей этого или не хотелось — она много слышала о своем бывшем муже. Где бы она ни появлялась, в ушах ее звучало его имя. Она услышала об отъезде Мары и детей Иосифа и пожала плечами. Она слышала о «Всеобщей истории» и прочла ее, и пожала плечами, и отложила книгу, и она слышала, что другие поступали точно так же. Это доставило ей какое-то удовлетворение. Он был хорошим писателем, пока был полон страсти, пока был вместе с нею и хотел ее, но когда она бросила его, он исписался. Потом она услышала, что он доставил сыну место на Палатине, в свите Луции, и она пожала плечами. Он всегда был карьеристом, этот Иосиф, а так как на литературном поприще ему больше не везет, он думает пробиться с помощью интриг. Пусть его! Она была

рада, что может задержать его образ пеленой легкого презрения и равнодушия. И снова она услышала о нем. Она услышала, что он намерен устроить чтение, и — как это ни странно — в храме Мира, и что на чтении будет присутствовать император. Она уже совсем было решилась пойти, но потом рассудила, что в зале станут шушукаться и перешептываться и Аннию будет неприятно, а она теперь, право, не так уж интересуется Иосифом, чтобы огорчать мужа ради удовольствия полюбоваться, как будет пыжиться и важничать этот человек. И она пожала плечами и не пошла в храм Мира.

Но потом она услышала совсем другое и горько раскаивалась, что не была на чтении. Нет, он и не помышлял о карьере, читая перед публикой в храме Мира, — этого уж никто не может отрицать; величественное, верно, было зрелище, когда в присутствии трех тысяч слушателей он бросил в лицо императору свою правду и свои обвинения. Нет, он не трус, совсем не трус. Конечно, ее Анний тоже не трус, и Павел тоже. Ни тот, ни другой в битве не дрогнут. Но храбрость Иосифа совсем другого рода, куда более заманчивая и привлекательная. Чуть-чуть показная, пожалуй, но тем не менее величественная. Если бы не это странное, показное, бесстыдное и величественное мужество, он бы, наверное, в свое время не принял и бичевания — ради нее, Дорион. Едва заметный румянец проступает на ее смуглых щеках, когда она думает об этом.

Она не хочет больше об этом думать, она не хочет больше быть одна, она хочет отвлечься, хочет видеть людей. Дорион останавливает носилки и велит поднять занавеси. И сразу пестрая толчая города обступает ее со всех сторон: масса лиц, многие приветствуют ее, время от времени она останавливает носилки и заговаривает с одним, с другим... Ей удастся заглушить дурные мысли.

Но, вернувшись домой, она застает гостя, который вынуждает ее опять, еще пытливее, чем раньше, обратиться к прошлому, к Иосифу. Ее ждет Финей, грек Финей, учитель ее Павла, враг Иосифа.

Он стоял совсем спокойно, когда вошла Дорион: большая, неестественно бледная голова неподвижна на тощих плечах, тонкие, длинные руки совершенно спокойны. Но Дорион знала, ценою какого самопреодоления куплено это спокойствие. Финей был привязан к Павлу. Хотя он без толку растратил много лучших лет жизни на то, чтобы сделать из своего любимого, царственного Павла настоящего грека, хотя юноша выскользнул у него из рук и стал тем,

к чему грек Финей питал глубокое отвращение, стал настоящим римлянином, — все же Финей по-прежнему был к нему привязан. Когда два года тому назад Павел был в Риме, Финей горячо старался снова завоевать его, восстановить добрые отношения со своим любимым учеником. Но Павел не поддавался, он держал себя сухо, чопорно, с равнодушной приветливостью, и у Дорион щемило сердце, когда она видела, как достойно, без дешевой иронии, как истинно по-гречески принимает это Финей. С каким же боязливым нетерпением должен был Финей ждать Павла и этот его приезд, ждать, когда Павел позовет его или придет к нему сам. Но Павел еще с прошлого раза был сыт неприятными беседами, он приехал и уехал, так и не показавшись своему учителю.

И вот Финей стоял, ожидая с жгучим нетерпением, что она расскажет ему о Павле. Однако нетерпения своего ни в чем не проявлял — непринужденно беседовал, вежливо говорил о разных пустяках.

Дорион понимала и разделяла его горечь. При всей внешней сдержанности их отношений они были очень близки, он знал о ее запутанных, противоречивых чувствах к Иосифу, их объединяло разочарование в Павле, отдалившемся, огрубевшем, отчужденном, и Финей был, вероятно, единственным, кто ясно сознавал, как мало удовлетворена Дорион и своею собственной блестящей жизнью, и своим блестящим сыном.

Она заговорила о Павле сама, не дожидаясь вопроса. Рассказала о своих беседах с ним, объективно, без всяких оценок, не жаловалась, никого не упрекала. Но, закончив, прибавила:

— А виноват во всем Иосиф,— и хотя выражение ее лица и голос оставались спокойны, в глазах цвета морской воды вспыхнула неукротимая ярость.

— Может быть, так,— отвечал Финей,— а может быть, и нет. Я не понимаю Иосифа Флавия — ни его самого, ни его поступков, он мне чужд, непонятен и непостижим, как дикий зверь. Иногда я как будто улавливаю его побуждения, но потом всякий раз оказывается, что все следует объяснять и понимать совсем по-иному. Вот, например, недавно мы восхищались мужеством, с каким этот человек бросил в лицо императору свои дерзкие и бунтовщические убеждения. Конечно, то, что он сказал и сделал и как он это сделал, представлялось нам смехотворным и противным разуму, но мужества, звучавшего в его нелепом поведении, мы не могли не признать. А теперь выясняется, что нашему

Иосифу для его геройской выходки вовсе и не требовалось той храбрости, которую мы записали ему в заслугу.

Глаза цвета морской воды впились в лицо Финей.

— Пожалуйста, продолжайте,— попросила Дорион.

— Ему не требовалось особого мужества,— объяснил своим глубоким, отлично поставленным голосом Финей,— по той причине, что он был уверен в очень сильной поддержке с тыла, в поддержке самой могущественной заступницы на всем Палатине.

— Вы разочаровываете меня, мой Финей,— заметила Дорион.— Сперва вы держите себя так, словно собираетесь рассказать какую-то совершенно неожиданную новость, а потом многозначительно сообщаете мне, что Луция питает слабость к евреям и в особенности к Иосифу. Кого это может удивить? И каким образом это обесценивает мужество нашего Иосифа? Дружеское слово нашей императрицы — слабый заслон против известных опасностей.

— Дружеское слово, пожалуй, и не заслон,— сказал Финей,— но сознание, что первая дама империи, женщина, без которой император жить не может, отдаст всю себя, чтобы защитить его, героя, от любой опасности...

Теперь Дорион побледнела.

— Вы не из тех болтунов, мой Финей, которые безответственно разносят сплетни Палатина. Вы, конечно, располагаете неоспоримыми доказательствами, если даете ход столь опасным слухам.

— Я не даю хода слухам,— мягко поправил ее Финей,— я просто вам рассказываю, госпожа Дорион. А что до неоспоримых доказательств...— Он усмехнулся и начал пространное объяснение.— Как вам известно, госпожа Дорион, я не согласен с очень многим из того, что изволит говорить и делать наш владыка и бог Домициан. Более того — ведь я всегда говорил с вами без всяких недомолвок,— по понятиям Норбана, я враг государства, я хочу гораздо более широкой автономии для Греции, я подрываю основы империи, вы и Анний Басс не должны бы, собственно, терпеть меня в своем доме, и в один прекрасный день я получу по заслугам, это уж верно. Удивительно, почему император еще не казнил меня или, по крайней мере, не сослал к самой границе, как моего большого друга Диона из Прусы...

— Вы слишком многословны,— нетерпеливо проговорила Дорион,— и отступаете от темы.

— Да, я слишком многословен,— подтвердил Финей, несколько не обидевшись,— все мы, греки, такие, мы раду-

емся удачному слову. Но от темы я не отступаю. Некоторым из недовольных сенаторов мой образ мыслей известен достаточно хорошо, они знают, что я враг нынешнего режима, а потому высказываются вполне откровенно в моем присутствии и не стараются выставить меня за дверь, когда ведут слишком вольные речи о делах на Палатине. И вот о чем рассказывал сенатор Прокул в кругу близких друзей. Ему трижды довелось наблюдать беседу еврея Иосифа с императрицей, когда госпожа Луция и еврей были уверены, что их никто не видит. Он заметил лишь особого рода взгляды, наклоны головы, легкие движения — и только, но он убежден (и убежден неопровержимо, чем если бы собственными глазами видел их рядом в постели), что госпожу Луцию с этим человеком связывает не просто расположение к талантливому писателю. Разумеется, для нас с вами не тайна, чего стоит сам сенатор Прокул, он твердолобый республиканец и по-римски ограничен, но в одном ему не откажешь: в житейских делах он отличный психолог — дар, присущий многим римлянам. Вот и все, госпожа Дорион, а теперь скажите еще раз, что я говорил не на тему.

Дорион бледнела все сильнее. Она никогда не ревновала к Маре, не ревновала ни к одной из многих женщин, с которыми спал Иосиф. Но связь между Луцией и Иосифом, которую, как видно, обнаружил сенатор Прокул... эта весть встревожила ее до глубины души. Ее собственная жизненная сила всегда была чем-то искусственным, Дорион приходилось собирать ее по крохам из всех уголков своего существа. Теперь она уже до конца истратила отмеренную ей долю этой силы, она была старой женщиной, но Анний все еще видел в ней прежнюю Дорион, и потому она до сих пор могла убедить себя, что и Иосиф, думая о ней, думает о прежней Дорион. Но Луция была тем, чем хотелось быть Дорион, — самую жизнью, буйною, бьющею ключом. Луция, хотя она и создана совсем на другой лад, — это совершенная Дорион, лучшая, более юная. И потом, Луция красивее, Луция живее, Луция императрица. Если то, что обнаружил сенатор Прокул, правда, тогда Луция вытеснит последнюю тень Дорион из сердца Иосифа. Тогда в Иосифе не останется ничего от Дорион.

Но это неправда! Все это не больше, чем выдумки недовольного сенатора, упрямого республиканца, ненависть заставляет его делать из мухи слона, и ненависть Финея тоже добавляет свое.

Ну, а если бы даже и правда, что из того? Разве она все еще любит Иосифа?

Конечно, любит. И всегда любила. И была дурой, что ушла от него. А теперь вместо Иосифа у нее Анний. А Иосиф, хитроумный, сын удачи, променял ее на Луцию. Нет, он даже и не хитроумен, он и не хотел этого, он хотел только ее, Дорион, а она сама вынудила его искать замену, сама загнала его в объятия Луции.

Но нет. Она этого не потерпит. Этому не бывать. Она и не подумает смиренно отступить в сторонку. Она ему испортит всю игру.

— А Домициан? — спрашивает она вдруг.

Финей взглянул на Дорион в упор, злобный, хитрый, ненавидящий, доверительный огонек сверкнул в его глазах. Он хотел, чтобы она задала этот вопрос. Ни на йоту не отступил он от темы и вел свою речь с большим искусством: надо было подвести ее к этому вопросу, план должен был возникнуть в ее голове. Как тогда, с университетом в Ямнии, он снова отыскивал у противника слабое, уязвимое место; приходится, правда, идти окольными путями, зато место очень уязвимое, и есть все основания надеяться, что на этот раз он наконец нанесет Иосифу, ненавистному, смертельную рану.

И он отвечает:

— Да, Домициан... В том-то все и дело: как допускает это Домициан?

Так же медленно, как Финей, Дорион проговорила своим тонким, ровным голосом:

— Он очень подозрителен. Он часто видит даже то, чего на самом деле нет. Как же он мог не раскрыть то, что есть?

Но Финей возразил:

— Кто способен заглянуть в душу императора? Он еще более непроницаем, чем еврей Иосиф.

— Удивительно,— задумчиво продолжала Дорион,— что он оставил Иосифа безнаказанным после этого чтения. Может быть, тут существует какая-то связь. Может быть, DDD что-то знает и просто не хочет принимать к сведению.

И Финей осторожно предложил:

— Вероятно, можно было бы заставить императора принять к сведению, что его супруга находится в скандально близких отношениях с евреем Иосифом.

Но Дорион,— и теперь в ее глазах цвета морской воды сверкали такие же едва заметные злые огоньки, как у Финей, — ответила:

— Как бы там ни было, благодарю вас, мой Финей. В вашем многословном сообщении вы не так далеко уклонились от темы, как мне показалось вначале.

С этого времени ходившие по Риму слухи о связи императрицы с евреем зазвучали громче, и вскоре их можно было уже слышать на каждом перекрестке.

Норбан, помня, как разгневался император, когда он пересказал ему остроту Элия, спросил у Мессалина совета, докладывать ли DDD об этих толках.

— Луция в Байях,— вслух рассуждал Мессалин,— еврей Иосиф провел в Байях несколько недель. Я не вижу никаких оснований скрывать это от DDD.

— DDD удивится, зачем ему об этом докладывают. И в самом деле, что странного, если еврей Иосиф хочет быть поблизости от своего сына, в Байях? DDD сочтет нелепым, что у кого-то по этому поводу могут возникнуть предосудительные мысли.

— Да, это нелепо,— подтвердил своим мягким голосом слепой.— И все-таки, пожалуй, было бы уместно осведомить DDD, что императрица покровительствует еврею и его сыну и что это вызывает всеобщее недовольство.

— Вполне уместно,— согласился Норбан,— но только дело уж очень щекотливое. Может быть, вы возьмете его на себя, Мессалин? Вы бы оказали услугу всей Римской империи.

— Пусть DDD обо всем узнает сам,— предложил Мессалин.— И мне кажется, друг мой Норбан, это входит в круг ваших обязанностей устроить дело так, чтобы DDD обо всем узнал сам.

— Если даже он и придет сам к такой мысли,— не сдавался Норбан,— Луции стоит только засмеяться, и эта мысль исчезнет, но зато останется в высшей степени опасное озлобление против человека, натолкнувшего его на эту мысль.

— Нехорошо,— поучительным тоном заметил Мессалин,— что владыка и бог Домициан так сильно и глубоко привязан к женщине. И все-таки, друг мой Норбан, вам придется, пожалуй, рискнуть и внушить ему помянутую нами мысль. Как-никак, а это входит в круг ваших обязанностей, и вы окажете важную услугу государству.

Норбан долго раздумывал над этим разговором. Он любил императора, он был ему предан, он считал его величайшим из римлян, и он ненавидел Луцию — по многим

причинам. Он чувствовал безошибочно, что она из другого теста, чем он, что она выше, благороднее, и приветливое равнодушие, с которым она при случае над ним подтрунивала, жестоко его озлобляло. Насколько было бы лучше, если бы она ненавидела его и старалась восстановить против него DDD! И потом, его задевало, что женщина, которую владыка и бог Домициан удостоил своей любви, по всей видимости, недостаточно ценит эту любовь. Он был искренне убежден, что ее влияние приносит вред императору и империи. То, что она возится с евреем, унижает DDD, подрывает его авторитет, и вдобавок, уж не спит ли она в самом деле с этим евреем? От Луции вполне можно этого ожидать.

Но как тут поступить ему, Норбану? Мессалину легко советовать: «Внушите императору, натолкните императора...» Как прикажете это сделать? Как поставить императора перед необходимостью предпринять наконец решительные действия против еврея и собственной супруги?

Однажды, меж тем как он терзался этими думами, он обнаружил, разбирая корреспонденцию, секретное донесение губернатора Иудеи Фалькона с отчетом о положении в провинции. В донесении, между прочим, сообщалось, что губернатор нашел в своем архиве список так называемых «отпрысков царя Давида». В свое время его предшественники получали в Риме строгий наказ держать этих людей под особым надзором, но в последние годы, по-видимому, дело это предано забвению. Все же он вновь произвел розыски и установил, что в Иудее из потомков древнего царя ныне остались в живых только двое — некий Иаков и некий Михаил. В последнее время вокруг обоих (к слову говоря, оба называют себя не иудеями, а христианами, или минеями) опять поднялась подозрительная возня. Поэтому он распорядился арестовать обоих и, считая полезным, чтобы они хоть какой-то срок побыли за пределами страны, доставить морем в Италию: пусть на Палатине займутся ими повнимательнее и решат их судьбу.

Так называемые «отпрыски Давида» Иаков и Михаил находились, стало быть, на пути в Рим.

Читая донесение губернатора Фалькона, Норбан все время отчетливо видел изящный летний павильон в альбанском парке и перед ним неуклюжие фигуры богословов из Ямнии; и вдруг он сообразил, что ведь еврей Иосиф — тоже так называемый отпрыск Давида, и, следовательно, по верованиям иудеев, и он сам, и его сын Маттафий могут претендовать на господство над миром. И сразу же в совершенно

инном, гораздо более опасном свете открылся министру полиции «Псалом мужеству», который Иосиф с небывалою дерзостью прочитал, обращаясь прямо к императору; равным образом и дружба Иосифа и его сына с Луцией сразу приобрела совсем иное, гораздо более угрожающее значение. Это было объявлением войны императору и империи. Широкое, квадратное лицо Норбана расплылось в улыбку, открывшей его крупные, здоровые, желтые зубы. Он нашел средство, как, не подвергая опасности себя самого, указать своему владыке на опасность, которою чреваты отношения Иосифа и Луции. Если напомнить ему о еврейских предрассудках, связанных с потомками Давида и мессией, мысли императора, бесспорно, примут то же направление, что и его собственные. Стоит лишь назвать или, лучше, показать ему обоих «отпрысков», Иакова и Михаила, и DDD непременно вспомнит, что то же звание носят Иосиф и его сын, а потом, осторожный, подозрительный, он непременно задумается, и глубоко задумается, о еврее Иосифе, о его сыне и об отношениях их обоих к Луции.

Он послал в Альбан гонца с запросом, соблаговолит ли владыка и бог Домициан допустить его в ближайшие дни пред свое лицо.

Владыка и бог Домициан снова проводил большую часть времени в Альбане, в полном одиночестве. Стояло раннее лето, погода была прекрасная, но императора ничто не радовало. Он празднично лежал в своих оранжереях, стоял перед клетками своего зверинца, но не замечал ни плодов, поспевших раньше срока благодаря искусству садовника, ни пантеры, которая сонно щурилась на него из угла клетки. Он пытался заставить себя работать, но мысли разбегались. Он звал своих советников и прислушивался к их речам краем уха, а потом и вовсе переставал слушать. Он звал женщин и отпускал их, даже не притронувшись к ним.

Он не забыл дерзости еврея Иосифа и, разумеется, вовсе не собирался простить ему его преступление. Но наказание нужно как следует обдумать. Ибо то, что еврей открыто и громогласно объявил войну ему, его миру и его богам,—этот чудовищный поступок он совершил, не только следуя порыву собственного сердца, но и как посланец своего бога. И то, что Луция уговорила его прийти на чтение, случилось не просто по злой ее воле, нет, за плечами императрицы, вероятно, неведомо для нее самой, стоял его заклятый враг — бог Ягве. Императора удивляет и озадачивает, даже вне всякого личного интереса к Луции,— как удалось Ягве привлечь эту женщину на свою сторону и от-

вернуть ее от Юпитера, которому она принадлежит в силу самого своего рождения. Он необыкновенно хитрый бог, этот Ягве, и Домициан должен с величайшей осмотрительностью рассчитать каждый свой шаг.

Он заранее отбрасывает всякое подозрение, что Луцию и еврея может связывать постель. Если бы тут была замешана плотская похоть, оба старались бы скрыть свои отношения. А вместо этого еврей, — несомненно, ослепленный своим богом, — перед всем Римом и с одобрения императрицы бросил ему вызов.

Проще всего, разумеется, было бы стереть в порошок всех: еврея Иосифа, его приплод — мальчишку Маттафия и Луцию вместе с ними. Но Домициан, к сожалению, слишком хорошо знает, что это простое средство действует совсем не так радикально, как можно было бы надеяться. Слишком многие отравлены ядом еврейского сумасбродства, и смерть нескольких отравленных остальных не пугает, напротив, делает их еще более жадными к яду. Суеверие, если за него умирают, приобретает не горечь, но сладость.

Как ему искоренить восточное безумие? Всякое средство сгодилось бы — лукавство, любовь, угрозы. Но где найти хоть какое-нибудь средство? Он не находит никакого!

Он собирается с мыслями, идет в домашнее святилище, он просит совета у своей богини, богини ясности, у Минервы. Он льстит ей, угрожает ей, снова льстит. Погружается в нее. Большими, выпуклыми, близорукими глазами он впивается в большие, круглые, совиные очи богини. Она не поддается, она не отвечает, безмолвно и мрачно смотрит она на него своими глазами хищной птицы. Но он молит снова, собирает все силы, заклинает ее. И наконец добивается своего, она отверзает уста, она говорит.

— О мой Домициан, — произносит она, — мой брат, мой самый любимый, моя забота, зачем ты заставляешь меня говорить? Ведь я должна сказать то, чего не хотела бы сказать ни за что, и сердце в груди у меня разрывается от боли. Но Юпитер и Судьба запрещают мне молчать. Итак, внемли и мужайся. Я должна покинуть тебя, я не могу больше давать тебе советы, мое подобие здесь, в твоём домашнем святилище, будет впредь пустою и мертвою оболочкой. О, как мне тяжело, Домициан, мой любимый. Но я должна быть вдали от тебя отныне, мне не дозволено больше заботиться о тебе.

У Домициана ослабели ноги, перехватило дыханье, все тело покрылось холодным потом, он прислонился к стене, чтобы не упасть. Он твердил себе, что это не был голос его

Минервы; его враг, бог Ягве, вещал из ее статуи — коварно, шероломно, чтобы запугать его. Это был сон наяву, наваждение вроде тех, что так часты в земле Ягве, — ему рассказывал о них его солдат Анний Басс. Но утешения не помогали, бледный, холодный страх не проходил.

Его ненависть к людям и подозрительность усилились. Он приказал своему гофмаршалу и своему префекту гвардии обставить доступ к нему всеми возможными препятствиями и еще строже обыскивать любого, кто входит во дворец. Он поручил своим архитекторам облицевать жилые покои и приемные залы на Палатине и в Альбанском имении металлическими зеркалами, чтобы отовсюду, где бы он ни стоял, прогуливался или лежал, видеть всякого, кто приближается к нему.

Так проводил император свои дни в Альбане, когда его навестил министр полиции. Он был рад увидеть Норбана. Он был рад вырваться из мира своих снов в мир фактов. С любопытством и благосклонностью, даже с некоторой нежностью глядел он в верное, грубое и хитрое лицо своего Норбана, и, по обыкновению, испытал удовольствие, увидев, как модные завитки иссиня-черных, густых волос небрежно и нелепо падают на лоб, венчающий это топорное лицо.

— Ну, а теперь, — усаживаясь поудобнее, обратился он к министру, — я хочу услышать во всех подробностях, что нового в Риме.

И Норбан исполнил желание своего господина, он сделал обстоятельный доклад о последних событиях в городе и в империи, и его твердый, сильный голос действительно развеивал пустые фантазии императора и возвращал его к трезвой реальности.

— А какие вести из Бай? — спросил император, помолчав.

Норбан заранее решил как можно меньше говорить о Луции, Иосифе и Маттафии, — пусть император нащупает связи сам.

— Из Бай? — переспросил он осторожно. — Императрица, насколько мне известно, чувствует себя хорошо. Охотно занимается спортом, плавает, хотя лето еще только началось; устраивает гребные состязания в заливе. Вокруг нее много людей, самых разнообразных людей, она интересуется книгами. — Он сделал коротенькую паузу, потом все-таки не смог удержаться и добавил: — Вот, например, еврей Иосиф читал ей вслух из своей новой книги. Мои люди доносят, что это пылкая защита еврейских суеверий, — причем, без малейшего нарушения дозволенных границ.

— Да,— откликнулся император.— Это сильная и очень патриотическая книга. Когда мой еврей Иосиф выступает так открыто, он мне больше по душе, чем когда проповедует свою римско-греко-иудейскую премудрую мешанину. А вообще,— размышлял он, точь-в-точь как раньше сам Норбан, — нет ничего удивительного, если мой еврей Иосиф проводит время в Байях,— ведь императрица взяла его сына к себе в свиту.— И так как Норбан молчал, он добавил: — Я слышал, что она очень довольна этим юным сыном Иосифа.

Норбан охотно высказал бы все, что думает об Иосифе и его юном сыне, но он решил не делать этого и остался верен прежнему решению. Он промолчал.

— А что еще? — спросил Домициан.

— Да, собственно, все,— отвечал Норбан.— Разве что вот... Я бы мог предложить владыке и богу Домициану маленькое развлечение. Ваше величество, вероятно, помнит, как во время одной забавной встречи с еврейскими богословами мы выяснили, что евреи видят в потомках некоего царя Давида кандидатов на вселенский престол. В ту пору мы составили список таких претендентов.

— Помню,— кивнул император.

— Ну, так вот,— продолжал Норбан,— губернатор Фалькон сообщает мне, что в его провинции Иудее осталось только двое этих «отпрысков Давида». В последние месяцы вокруг обоих началась подозрительная возня. Тогда Фалькон отправил их в Рим, чтобы мы здесь решили их судьбу. Вот я и хотел спросить владыку и бога Домициана, может быть, он пожелает позабавиться и взглянуть на обоих претендентов. Речь идет о некоем Иакове и некоем Михаиле.

Предложение Норбана,— именно так, как он рассчитывал и предвидел,— пробудило в душе Домициана бесчисленные думы, надежды и страхи, которые только того и ждали, чтобы их кто-нибудь пробудил. Домициан и в самом деле забыл, что страшный и презренный еврей Иосиф и его сын были в глазах известной группы людей потомством царя и, следовательно, ровнею ему, императору. Но теперь, когда Норбан освежил в его памяти ту примечательную беседу с богословами и выводы, которые были из нее сделаны, мысль, что этот Иосиф и его сын действительно претенденты, соперники, всплыла вновь с необыкновенною живостью. Как ни смешны притязания этих людей, они все же существуют и все же опасны. И совершенно очевидно, что потомки Давида именно теперь считают наиболее своевременным снова заявить свои притязания. Этими при-

тяжаниями, смысл которых ему открылся во время доклада Норбана, этим мнимым своим происхождением от древнего восточного царя — вот чем пленил Иосиф воображение Луции, вот как он добился того, что она взяла к себе на службу его юного и нелепого сына. И по той же причине, кичась правами царского отпрыска, он осмелился бросить ему в лицо свои стихи о мужестве. Значит, он, Домициан, был прав, чувствуя за всем этим своего великого врага — бога Ягве.

Раздумья императора не продолжались, впрочем, и пяти секунд. Правда, лицо его краснеет, как всегда, когда он бывает встревожен и растерян, но ничто в его поведении не выдает этой тревоги.

— Дельное предложение, — объявляет он весело. — Хорошо, покажите мне этих людей. И поскорее.

На следующей же неделе потомки Давида Иаков и Михаил были доставлены в Альбан.

Фельдфебель императорской гвардии ввел их в небольшой, роскошно убранный зал. Там они и остались ждать — коренастые, крепко сбитые, неуклюжие, посреди всего этого великолепия. То были люди крестьянской наружности, в длинной галилейской одежде из грубой ткани, большие бороды обрамляли их спокойные лица, Михаилу было с виду лет сорок восемь, Иакову — сорок четыре. Они говорили мало; непривычная обстановка внушала им, по-видимому, чувство неловкости, но не страха.

Деревянною походкой вошел император в сопровождении Норбана и еще нескольких господ, а также переводчика: оба «отпрыска» говорили только по-арамейски. Когда появился император, они что-то произнесли на своем тарабарском наречии. Домициан спросил, что они сказали; переводчик объяснил, что это приветствие. «Почтительное приветствие?» — осведомился Домициан. Переводчик чуть смущенно ответил, что это приветствие, с каким обыкновенно обращается равный к равному.

— Гм, гм, — пробормотал император.

Он обошел их кругом. Обыкновенные люди, крестьяне, грубого сложения, с крестьянскими лицами; и запах от них шел мужицкий, хотя, уж конечно, их вымыли, прежде чем допустить к нему.

Своим высоким, резким голосом Домициан спросил:

Так, значит, вы из рода Давида, вашего царя?

— Да,— отвечал Михаил бесхитростно, а Иаков пояснил:

— Мы в родстве с мессией, мы его правнучатные племянники.

Выслушав переводчика, Домициан непонимающе уставился на них выпуклыми близорукими глазами.

— Что они имеют в виду, эти люди? — повернулся он к Норбану.— Если они в родстве с мессией по нисходящей линии, то, очевидно, принимают за истину, что мессия уже давно пришел. Спросите их! — приказал он переводчику.

— Что это значит, что вы правнучатные племянники мессии? — спросил переводчик.

Михаил терпеливо пояснил:

— Мессия звался Иошуа бен Иосиф, он умер на кресте ради спасения человеческого рода. Он был Сын человеческий. У него был брат по имени Иуда. От этого брата мы и происходим.

— Вы всё понимаете, господа? — обратился Домициан к своей свите.— Мне это не вполне ясно. Спросите их,— приказал он,— наступило ли уже в таком случае царство мессии.

— И да и нет,— ответил Иаков.— Иошуа бен Иосиф умер на кресте, но воскрес, и это начало царства мессии. Но он воскреснет еще раз и только тогда явится во всей своей славе судить живых и мертвых и воздать каждому по делам его.

— Занятно,— сказал император,— очень занятно. А когда это будет?

— Это будет в конце времен, в день Страшного суда,— объяснил Михаил.

— Дата не слишком точная,— заметил император,— но, мне кажется, он хочет сказать, что это дело еще не завтрашнего дня. А кто будет править в царстве мессии? — продолжал он свои расспросы.

— Мессия, конечно,— ответил Иаков.

— Какой мессия,— спросил император,— мертвый?

— Воскресший, разумеется,— откликнулся Михаил.

— И он будет назначать губернаторов? — спрашивал Домициан.— Наместников? А кого он пригласит на эти должности? Без сомнения, своих родственников, в первую очередь. Скажите мне, что же это все-таки будет за царство?

— Насчет губернаторов мы ничего не знаем,— отклонил Иаков вопрос императора, но Михаил продолжал упорно:

— Это будет не земное, а небесное царство.

— Дурацкие фантазеры, — сказал император. — С ними невозможно разговаривать. Так, стало быть, вы из рода Давида? — пожелал он удостовериться еще раз.

— Да, из рода Давида, — подтвердил Иаков.

— Сколько вы платите налога? — спросил император.

— У нас маленький хутор, всего тридцать девять плетров, — дал точную справку Михаил. — На доходы с этой земли мы и живем. Мы возделываем ее с помощью двух рабов и одной батрачки. Твой мытарь оценил все имение в девять тысяч денариев.

— Невелики прибыли для потомков великого царя и претендентов на царства и провинции, — рассуждал Домициан. — Покажите-ка мне ваши руки, — приказал он вдруг. Они показали, Домициан внимательно их осмотрел — заскорузлые, мозолистые мужицкие руки. — Накормить их досыта, — объявил император свое решение, — и отправить обратно, но только на самом обыкновенном суде: смотрите — не избалуйте мне их.

Когда они ушли, он сказал Норбану:

— Что за нелепый народ эти евреи — видеть претендентов на престол в таких вот людишках! Не правда ли, оба были ужасно смешны в своей простодушной гордыне...

— Да, эти были смешны, — ответил Норбан, делая ударение на слове «эти».

Домициан густо покраснел, потом побледнел, потом снова покраснел. Ибо Норбан был прав: эти двое были смешны, но другие потомки Давида, Иосиф и его сын, отнюдь не смешны, и страх перед Иосифом и его богом Ягве вновь проснулся в душе императора.

До этих пор свидание с потомками Давида оказывало именно такое воздействие, какое предвидел Норбан. Но тут мысли императора приняли направление, отнюдь не желательное для министра полиции. Как всегда подозрительный, Домициан вдруг сказал себе, что Норбан, быть может — и скорее всего так оно и есть! — умышленно вызвал в нем эти опасения. Потому-то, видимо, Норбан с самого начала придавал столько значения этим потомкам Давида из Иудеи, хотя, конечно, так же точно, как он сам, с первого взгляда убедился, до чего они безвредны.

С другой стороны, Норбан, очевидно, с самого начала распознал, насколько опасен Иосиф, и, обратив внимание императора на опасность, он лишь выполнил свой долг преданного слуги, и, кстати говоря, выполнил с таким тактом, какого он, Домициан, не ожидал от этого неуклюжего человека. И все-таки трудно смириться с тем, что

Норбан так безошибочно угадал его думы; подданный дерзнул предписать думам бога Домициана их ход и движение — да это граничит с мятежом! Он чересчур близко подпустил к себе этого Норбана. Теперь на свете есть человек, который знает его слишком хорошо. Вот какого рода чувства волнуют императора; это еще не мысли, — он не дает своему замешательству зайти столь далеко и принять отчетливую форму, — но он не в силах сдерживать себя, и его взгляд, испытующе останавливаясь на лице министра полиции, выражает недоверие, чуть ли не страх. Впрочем, это длится лишь какую-то долю секунды; ибо лицо, на которое он смотрит, — энергичное, надежное, жестокое, — морда верного пса, — как раз такое, какое должно быть у его министра полиции.

Норбан доставил ему приятную забаву, привезя сюда потомков Давида, дал ему случай сделать утешительные наблюдения. Он признателен своему министру полиции и даже высказывает ему свою признательность, но отпускает его быстро, почти внезапно.

Он размышляет наедине с самим собой. Что делает его борьбу против Ягве такой невероятно трудной, так это полное одиночество в этой борьбе, — по сути дела, он никому не может довериться до конца. Норбан предан ему, но он слишком груб душой, чтобы до конца постигнуть нечто столь сложное и бездонное, как вражда этого невидимого, неосязаемого Ягве; да к тому же император и не позволит Норбану заглянуть в свое сердце еще глубже. Марулл и Регин, пожалуй, смогли бы понять, за что идет борьба. Но даже если бы он — ценою немалых усилий — сумел объяснить им все, что толку? Оба — старики, вялые, терпимые, снисходительные, совсем не борцы, каких требует эта борьба, борьба не на жизнь, а на смерть. Хорошим борцом был бы Анний Басс, но он, разумеется, слишком простодушен для столь хитрого и увертливого врага. Остается Мессалин. Этот достаточно умен, чтобы понять, кто враг и где он скрывается, достаточно мужествен и силен; и верен. Но память о той неприятной минуте, когда ему пришлось признать, что Норбан видит его насквозь, не покидает Домициана. Он обратится к Мессалину, однако лишь тогда, когда надежда найти выход без чужой помощи изменит ему окончательно.

Нет, он все-таки найдет выход. Он сидит за письменным столом, он достал навощенные таблички. Он мрачно раздумывает. Он пытается сосредоточиться. Напрасные усилия. Мысли разбегаются. Правда, острие стиля что-то чертит на

носке таблички, но это не буквы и не слова — только круги да круги механически выводит его рука. И он со страхом замечает, что это глаза Минервы; вот что выводит его рука — большие, круглые, совиные глаза, теперь пустые, потухшие, безучастные.

И вдруг он чувствует: угроза, так часто над ним сгушавшаяся, угроза гибели от рук заговорщиков, которую так часто предрекают ему его противники, — уже более не бесплотная абстракция, какую для цветущего человека его лет бывает смерть, ожидаемая в отдаленном будущем, но нечто осязаемое, конкретное, близкое. Страха он не испытывает. Однако его покинуло ощущение совершенной безопасности, наполнявшее его до сих пор, пока он знал, что находится под покровом и охраною своей богини. Смерть, столь далекая прежде, стала близкой, она требует внимания и раздумий.

Когда ему придется вознестись к богам, когда он исчезнет с лица этой земли, — он, эта плоть и эти кости человека по имени Домициан, — что станет тогда с его идеей, что станет с идеей Рима, которую он постиг глубже и отчетливее, чем его предшественники? Кому предназначено, когда его уже не будет, оберегать и нести дальше эту идею?

Идея Рима, как понимает ее он, Домициан, неотделима от господства Флавиев. В самой глубине души, втайне даже от самого себя, он все еще надеялся на потомство от Луции. Но цепляться за эту призрачную надежду и впредь, когда гроза уже собралась над его головой, было бы безумием. Долой надежду, прочь ее! Жалко, что он испугался дерзкого злословия своих недоброжелателей и не дал появиться на свет своему ребенку, которого носила Юлия. Как это было бы замечательно, если бы он мог назначить своим преемником сына, зачатого от его семени.

Но это невозможно. Судьба династии Флавиев зависит теперь от двух мальчиков, близнецов Константа и Петрона. По крайней мере, мальчики — чистокровные Флави и по отцовской и по материнской линии. И хорошо, что он пресек вредные влияния, которые могли бы испортить их обоих, что он казнил Клементу и сослал Домитиллу на Балеарские острова. Теперь его «львята» в надежных руках, они растут под присмотром истинного римлянина Квинтилиана и отторгнуты от бога Ягве.

Впрочем, совсем отторгнуть их от Ягве ему не удалось. На эти жаркие месяцы Луция взяла мальчиков к себе, в Байи, она не хотела, чтобы близнецы, потрясенные участью родителей, оставались в опустевшем доме, в доме убитого отца и сосланной матери, и он, Домициан, согла-

сил с нею. Как мог он согласиться? Разумеется, это снова коварная уловка бога Ягве, это он внушил Луции желание принять участие в сыновьях казненного Клемента. Как знать, не замешан ли тут и наш Иосиф, посланец Ягве. Уму непостижимо, как он не разгадал всего этого с самого начала! Правда, он двоюродный дядя этих мальчиков, он испытывает к ним родственную привязанность, он не хотел быть с ними чересчур строг — для него была важна, для него важна и теперь любовь близнецов. Но прежде всего — надо быть откровенным с самим собой! — он не хотел выглядеть слишком черствым и жестоким в глазах Луции.

Теперь он положит этому конец. И он уже знает как. Он осуществит свое давнее намерение усыновить близнецов. Он призовет их к своему двору, и тем самым они будут спасены от мглы, разливаемой Иосифом и его сыном Маттафием. Тогда он сделает все от него зависящее, чтобы оставить идее Рима новых защитников, если сам, покинутый Минервой, будет вынужден уйти из этого мира.

Нахмуренное лицо светлеет, он улыбается. Удачная находка. Когда он усыновит мальчиков, у него появится совершенно естественный повод призвать к себе и Луцию. А когда Луция будет здесь, рядом, многое станет яснее. Несмотря ни на что, несмотря на ослепление, которым поразила ее Ягве, она всегда его понимала, потому что она римлянка. Он, римлянин, будет говорить с римлянкой, он ощущает в себе силы отвоевать Луцию у врага.

Он улыбается. И, оставшись без защиты Минервы, он не признает себя побежденным. Нет худа без добра. Если бы опасность, которой грозит ему Ягве, не встала вновь с такой очевидностью, он откладывал бы усыновление еще и еще. А так, этим скорым усыновлением он достигает двух целей разом. Он не только опять оградит щитом будущее своей идее Рима, но и, по всей вероятности, отобьет у этого Ягве его недавно приобретенную союзницу — Луцию. Луция римлянка с головы до ног, Луция любит его — это бесспорно, — хотя и на свой гордый, строптивый лад. Бог Ягве затмил ее рассудок. Но ему, богу Домициану, удастся рассеять зловещий туман, которым окутал ее восточный бог, и она снова будет видеть так же ясно, как он сам.

Не откладывая, Домициан берется за работу, делает необходимые приготовления. И в тот же день пишет подробное письмо Луции. Он не диктует, он пишет собственной рукой, старается придать каждой фразе как можно более теплое, личное звучание. Ради продолжения династии, писал он, и поскольку теперь уже едва ли он может ждать

потомства от нее, Луции, он считал своим долгом усыновить детей Флавия Клемента, отца которых, к сожалению, вынужден был казнить. Близнецы дороги его сердцу, и он с удовольствием отмечает, что, по-видимому, и ей они небезразличны. Поэтому он надеется, что она одобрит это решение. Он медлил с ним непозволительно долго, зато тем скорее намерен теперь его исполнить. Одновременно с этим письмом он посылает указание Квинтилиану прибыть вместе с мальчиками к нему в Альбан. Он полагает целесообразным сразу же после усыновления облачить мальчиков в мужскую тогу, невзирая на их слишком юный возраст. Обе церемонии — усыновление и совершеннолетие — он желает справить с подобающей торжественностью. Пусть римляне твердо усвоят, что он прививает династии новые, свежие победы. И для него было бы большою радостью, если бы она согласилась поднять значение намечаемого акта своим присутствием.

Когда близнецы со своим наставником Квинтилианом приехали к Луции в Байи, они были в смятении и растерянности. Смерть отца, ссылка матери замкнули их открытые от природы лица, и Квинтилиану потребовалось немало бережной осмотрительности, чтобы провести их через это трудное время без тяжелых душевных травм. Теперь, у Луции, они стали понемногу успокаиваться, их робость исчезала. Перед отъездом на Балеарские острова Домитилла взяла с Луции слово, что она позаботится о ее сыновьях и постарается ослабить латинское влияние Квинтилиана. Луция обращалась с обоими мальчиками так, словно они были совсем взрослые, она была с ними деликатна, предупредительна, но не выказывала свое сочувствие слишком явно. Мало-помалу корка льда растаяла, и они снова сделались доверчивы и юны, как раньше, как всегда.

Главным образом, в этом была заслуга Маттафия. Между ним и обоими принцами быстро завязалась славная мальчишеская дружба. Близнецы были приятного, легкого нрава, сияние юной мужественности, исходившее от Маттафия, производило на них особенно сильное впечатление, они без всякой зависти признавали его превосходство. Рядом с ним они могли быть беззаботны и даже счастливы, как в прежние времена, вопреки страшным событиям, которые им пришлось пережить, могли забыть об интригах и борьбе, кипевших вокруг. С мальчишеским задором играли они в разные игры, боролись, дурачились.

Насмешки, которые вызывало еврейское происхождение их друга Маттафия, на мальчиков не производили никакого впечатления. Через родителей они познакомились с образом мыслей минеев и были неуязвимы для антисемитских нащепываний. Их отец принял смерть за свои симпатии к иудаизму, и защищать Маттафия было для них делом чести; они привязались к нему искренне и пылко.

Маттафию не просто нравились его новые товарищи — то, что оба принца, ближайшие родственники императора, так горячо ему преданны, возвышало его в собственных глазах. Однажды он услышал, как Цецилия спрашивала о нем у недавно купленного раба-египтянина и тот ответил: — Все три принца ушли ловить рыбу.

И от гордости у него словно крылья выросли за спиною.

Квинтилиана раздражала эта дружба. Он с самого начала сомневался, разумно ли отпускать принцев в Байи к императрице. Нет слов, характер у нее в высокой степени римский, и, однако, почти все, что бы она ни делала, читала или говорила, его беспокоило, ему было не по себе при мысли, что его воспитанники так долго дышат воздухом ее двора. А теперь они еще связались с этим молодым евреем. Квинтилиан, всегда стремившийся судить беспристрастно, отдавал Маттафию должное: в его поведении не было ничего, что грешило бы против римского духа. Поэтому он не ставил императора в известность о дружеской связи его воспитанников с сыном Иосифа и ограничивался лишь сдержанными предостережениями, которые, не оскорбляя Маттафия, в то же самое время не могли не быть поняты его, Квинтилиана, воспитанниками.

Так между ним, с одной стороны, и Луцией и Маттафием — с другой, шла упорная борьба за души близнецов. Она была бесшумной, незримой, глубинной, эта борьба. И лишь однажды вырвалась на поверхность, обнаружилась, стала явной.

Детское увлечение павлиньим садком, который Луция позволила Маттафию устроить у себя в поместье, передалось и его друзьям. Ежедневно навещали они втроем загон с павлинами, знали каждую птицу, часто приносили какую-нибудь из них к подъезду главного дома и любовались, как она, стоя на красивых, широких ступенях сияющего белизной здания, распускала хвост, словно веер, несущий прохладу залитому солнцем дворцу.

Как-то раз, когда у Луции гостил сенатор Осторий, знаменитый гурман, ему подали паштет из павлиньего мяса, — в отсутствие императрицы и мальчиков дворецкий

с поваром заставили несчастного сторожа выдать им шесть драгоценных, обожаемых птиц. Мальчики были вне себя от гнева. Квинтилиан пытался умерить их раздражение, свести его к разумным пределам. Наслаждение для вкуса, утверждал он, ничуть не ниже наслаждения для взора, а так громко выражать свою скорбь из-за каких-то зарезанных птиц, как это делают Маттафий и мальчики, — не по-римски, это восточная сентиментальность. Мальчики примолкли, но потом, в присутствии Луции и Иосифа, снова завели разговор о случившемся. Иосиф выразил изумление, как может римлянин без опаски употреблять в пищу мясо павлина, — ведь это священная птица богини Юноны. Нельзя путать внутреннее содержание вещи, идею вещи с самою вещью, объявил Квинтилиан, это свидетельствует о слабости чувства реального. Все равно как если бы мы стали почитать святыней бумагу — ради высоких мыслей, которые на ней записаны. Подобное отождествление совершенно чуждо римскому здравому смыслу. Великий оратор и превосходный стилист, Квинтилиан взял в споре верх над Иосифом прежде всего потому, что его противник был лишен возможности изъясняться на родном языке: он должен был отстаивать свои доводы на языке выученном, усвоенном искусственно.

После этого происшествия Квинтилиан задумался не на шутку: быть может, в конце концов, он просто обязан просить императора изъять его воспитанников из-под опасного для них влияния молодого еврейского господина; и он вздохнул облегченно, получив письмо императора с приказом прибыть на Палатин вместе с принцами, которых он, император, намерен усыновить.

И Луции решение Домициана усыновить близнецов доставило больше радости, чем огорчения. Разумеется, ей было грустно думать, что отныне мальчикам придется жить в жестокой и холодной атмосфере Палатина, постоянно разделяя общество изломанного и по-римски непреклонного Домициана. Но в то же время она была искренне рада за мальчиков, что DDD пожелал наконец осуществить свое намерение и решил вознести их так высоко.

А потом, совершенно разлучить близнецов с нею и Маттафием едва ли удастся даже на Палатине, — она и впредь будет делать все возможное, чтобы защитить близнецов от дерзкой латыни Квинтилиана. К тому же, надо надеяться, у нее будет хорошая помощница. Ибо, коль скоро Домициан назначает детей Домитиллы своими приемниками, он, вероятно, согласится вернуть из ссылки их

мать. Луция отнюдь не любила Домитиллу, наоборот, холодный жар, озлобленность Домитиллы были ей неприятны. Но Луции чужд присущий Риму Флавиев дух формального правосудия, ей не по душе запреты, ограничивающие свободу мнений, и она была возмущена учиненным над Домитиллою насилием. В чем, собственно, состоит ее преступление? Она увлекалась философией христиан — вот и все. Следовательно, она была изгнана единственно лишь по прихоти императора, одной из его самовластных, незапных прихотей. DDD должен вернуть Домитиллу, просто должен, она, Луция, склонит его к этому.

Она ощущала в себе силу уговорить, убедить его. Луция была на редкость честна по натуре и не умела притворяться. Ей ничего не удавалось добиться от DDD, когда она испытывала к нему неприязнь. Если же, напротив, ее тянуло к Фузану и она могла, не кривя душою, обнаружить перед ним свое чувство, тогда власть ее над ним была безгранична. В последнее время она враждебно замкнулась, его долгое молчание мало-помалу внушило ей страх, что, со своей обычной медлительностью и коварством, он готовит удар по Иосифу и Маттафию. Его письмо успокоило ее. Сказать по правде, характер Домициана всегда ей импонировал, его свирепая непреклонность, его невероятная гордыня, его извращенная, безрассудная, безудержная энергия — все это влекло ее с самого начала. К тому же она твердо знала, что он любит ее, по сути дела — только ее. Вот почему письмо согрело ей сердце, она радостно ждала встречи.

Оживленно готовилась она к поездке в Альбан. Полная радости предстоящего боя рисовала себе объяснение с Фузаном. Она непременно доведет до конца то, что задумала. Она хочет, чтобы путь к ней и к Маттафию и впредь оставался открытым для близнецов, она хочет, чтобы Домитилла вернулась из ссылки.

Первые три дня их новой совместной жизни с DDD прошли в торжественных церемониях усыновления. Это были, в первую очередь, религиозные торжества, и всякий мог видеть, как растроган и захвачен ими император. Семья была для него священным понятием, алтарь его домашних богов, очаг с неугасимым огнем в атрии были для него не пустыми символами, но чем-то живым, и теперь, готовясь привести пред лицо богов своей семьи два юных существа, которые будут чтить их и в грядущие годы, он испытывал глубочайшее волнение, — ведь боги живы лишь почитанием своих верных. И сам он в некий день станет одним из богов

своего дома, и, лишь утверждая почитание своего домашнего алтаря, утверждает он собственную долговечность. Да, это празднество было для него жизненно важным, чрез него он вступал в новое, живое соприкосновение со своими божественными предками. Древние слова священного обряда были для него полны глубокого смысла, и не пустую юридическую формальность, а нечто существенное, осязаемое исполнял он, принимая мальчиков под отцовскую опеку и нарекая их новыми именами — Веспасиан и Домициан. Этим актом он изменял их природу, наново преображал их сущность. Он и они несут теперь ответственность и обязательства друг перед другом, они скованы неразрывными узами.

С первого взгляда он понял, что Луция приехала к нему с открытым сердцем. Но, педантичный, как всегда, он отложил разговор, который должен был выяснить их отношения. Теперь, в эти дни торжеств, его мысли и чувства были поглощены важными, исполненными величайшего, символического значения действиями, не оставлявшими времени ни на что иное. То были счастливые, возвышенные дни, обретенные сыновья — «львята» — радовали его душу, и лишь одно в них внушало ему тревогу: слишком горячая привязанность к самому юному из адъютантов императрицы, к Маттафию Флавию.

Потом, когда официальные празднества окончились и бесчисленные гости разъехались, Домициан устроил обед в семейном кругу. Кроме близнецов и их наставника, за столом были только Луция и Маттафий.

Император полагал, разумеется, что самым правильным было бы расторгнуть связь между его новыми сыновьями и молодым евреем немедленно и бесповоротно. Почему он так не поступил, почему, напротив, включил Маттафия в этот тесный, избранный круг — он не мог бы точно объяснить. Самому себе он говорил, что хочет основательно прощупать сына Иосифа; ибо с первого же взгляда он убедился, что мальчик источает яркий свет и неотразимые чары и что, стало быть, изгладить его образ в сердцах близнецов не так-то просто. Тому, кто поставил себе целью этого достигнуть, нужно сперва как следует изучить молодого еврея. И затем — но своим дальнейшим соображениям он не позволил вылиться в отчетливую форму — он позвал Маттафия еще и потому, что не хотел с самого начала озлобить Луцию и мальчиков. Однако прежде всего то была военная хитрость. Он хотел усыпить бдительность Маттафия и скрывающегося за его спиной бога Ягве. Ибо

одно совершенно ясно. Кто поставил именно этого, наделенного таким неотразимым обаянием юношу на пути тех двоих, которых он, верховный жрец Рима, назначил будущими властителями империи? Конечно, коварный бог Ягве!

Маттафия трапеза за столом Домициана исполнила величайшим счастьем. Он твердо помнил слова матери, которые она часто повторяла, восхваляя Иосифа: «Твой отец — сотрапезник трех императоров». А теперь сотрапезник трех императоров — он, Маттафий, он, которому девочка Цецилия сказала, что его место на правом берегу Тибра и что он кончит лотком мелочного торговца.

От счастья Маттафий сиял еще ослепительнее, чем всегда. Он внушал симпатию самым существом своим, своим оживленным лицом, каждым своим движением; его юный и вместе с тем такой мужественный голос пленял всех, стоило ему только раскрыть рот. Император обращался к нему чаще, чем к остальным. Но противоречивы были мысли и чувства Домициана, когда он беседовал с юным любимцем Луции. Обаятельная непринужденность мальчика нравилась ему, он смотрел на Маттафия с таким же удовольствием, с каким разглядывал бы неуклюжего и потешного дикого зверька у себя в зверинце. И так как он был чутким наблюдателем, от него не укрылась горячая привязанность Маттафия к Луции, и он испытывал чрезвычайно острое — несмотря на всю его очевидную смехотворность — чувство торжества оттого, что именно он, Домициан, спит с этой Луцией, а не юный и прекрасный посланец бога Ягве.

Квинтилиан постарался продемонстрировать перед императором латинскую образованность своих воспитанников. Молодые принцы держались неплохо, но особых способностей не обнаружили. В ответах Маттафия тоже не было ничего замечательного, зато манера его речи была скромна и приятна, и он убедительно показал, что насквозь проникнут римскою образованностью.

— Умный сын умного отца, — признал Домициан, между тем как близнецы даже за столом не скрывали, что видят в Маттафии высшую, щедро одаренную натуру, и это только подтвердило мрачную догадку императора. Итак, страх его оправдан: чуждый бог Ягве с тонким коварством воспользовался этим Маттафием, чтобы, подобно червю, угнездиться в душах мальчиков.

Наконец обед кончился, и Луция осталась с императором наедине. Они были в его кабинете, который Домициан

приказал облицевать металлическими зеркалами. Она видела это новшество в первый раз.

Что у тебя за чудовищные зеркала? — спросила она.

Это для того, чтобы у меня были глаза и на затылке, — ответил император. — У меня много врагов. — Он помолчал, потом заговорил снова: — Но теперь мне больше нечего опасаться. Что бы со мною ни приключилось — все равно останутся «львята». Я рад, что усыновил мальчиков. Нужна была решимость, чтобы расстаться с надеждой иметь от тебя детей. Но мне легче на душе с тех пор, как я знаю, что мой очаг не погаснет.

— Ты прав, — понимающе сказала Луция. — Но, — устремилась она прямо к цели, — что меня смущает, так это мысль о Домитилле. Я не люблю эту сухую, напыщенную особу, но в конце-то концов обеих твоих «львят» родила она. Мне неприятно вспоминать, что она прозябает на бесплодном островке посреди Балеарского моря, а ты между тем собираешься вырастить ее сыновей властителями Рима.

Недоверчивость Домициана мигом пробудилась. Ага, она хочет приобрести союзницу, чтобы легче перетянуть близнецов на свою сторону! Он с удовольствием ответил бы ей резкостью, но она была так хороша и желанна, и он сдержался.

— Я попытаюсь, моя Луция, — начал он, — объяснить вам причины, по которым должен был удалить Домитиллу. Я не питаю к ней никакой вражды. Клемент и Сабин были мне ненавистны, я находил их лень, их косность, все их поведение неримским, омерзительным. Другое дело Домитилла. Она женщина, никто не требует от нее, чтобы она служила государству, и, кроме того, в ней есть какая-то жесткость, крепость, и это мне скорее по вкусу. К несчастью, в ее упрямой голове засели минейские суеверия. Само по себе совершенно безразлично, во что верит или во что не верит Флавия Домитилла, и я мог бы смотреть на это сквозь пальцы. Но встает вопрос о близнецах. Этих мальчиков должен воспитывать наставник, которого я им назначил, и никто более. Я не желаю, чтобы твердые, ясные принципы, которые мой Квинтилиан внушает мальчикам, расшатывались и затемнялись нелепыми, бабьими, суеверными рассказами о распятом боге. Все в этом учении, которому, к несчастью, следует Домитилла, — его отрешенность от мира, его отвращение к действительности, его равнодушие к государству, — все в нем опасно для таких юных существ.

Луция решила начать бой и сразу бросилась в атаку. С открытой угрозой обратив к императору смелое, ясное лицо, она спросила:

— А если мальчики общаются со мной, это, по-вашему, тоже опасно?

Император медлил с ответом. Ему следовало сказать «да», его долгом перед Юпитером и перед Римом было сказать «да». Но придвинувшееся к нему лицо женщины, которую он любил, путало его мысли, он колебался. Он хотел скрыться от ее лица, он отвел глаза, но в зеркальных стенах вокруг снова и снова встречало его лицо Луции. Видя его замешательство, она продолжала:

— Откровенно говоря, ваш Квинтилиан — страшный педант. Пусть мальчиков хоть иногда обдувает свежим ветром, мне кажется, это им совершенно необходимо.

Домициан наконец приготовил ответ.

— Разумеется, — сказал он галантно, — я ничего не имею против того, чтобы и мои «львята» наслаждались вашим обществом, моя Луция. Но я бы не хотел, чтобы их отравлял своими взглядами ваш Маттафий или же — в особенности! — еврей Иосиф своею сентиментальною болтовней насчет того, что, дескать, есть паштет из павлиньего мяса — богохульство.

Значит, гордому римлянину Квинтилиану не хватило достоинства промолчать, он должен был немедленно донести на Маттафия и его отца, словно последний согладала Норбана! Луция в ярости. Но слова DDD она принимает как уступку: по крайней мере, с нею самой близнецам не будет запрещено видаться.

— С твоей стороны очень любезно, — признала она, — что ты хотя бы мне не предписываешь, с кем я могу встречаться, а с кем нет. — Она не стала больше задерживаться на этой щекотливой теме; она подошла к нему вплотную, провела рукою по его редким волосам и сказала: — Должна сделать тебе комплимент, Фузан. Ты ничего не потерял оттого, что я долго тебя не видела, наоборот, ты гораздо симпатичнее, чем мне казалось издали.

Домициан жаждал ее прикосновения; он должен был сделать усилие, чтобы дыхание его не стало тяжелым и частым. «Она мне льстит, — подумал он, — она заискивает, я должен остаться тверд, я не дам себя уговорить».

— Благодарю вас, — ответил он чопорно.

Луция оставила его в покое, с прежней деловитостью она принялась рассуждать вслух:

— Неужели нет никакого иного средства уберечь мальчиков от этого учения? А что, если эта крайняя мера будет постоянно приковывать внимание близнецов к вине их матери, то есть как раз к тому, от чего их следует оберегать? И, кроме всего прочего, разве не покажется странным и столице и империи, что близнецов возносят на такую высоту, а мать по-прежнему держат на Балеарских островах? Разве это не нанесет ущерба престижу ваших «львят»? И не разовьет криводушия в самих мальчиках, которых вы, бесспорно, хотите видеть честными и прямыми?

— Я никогда не подозревал,— злобно сказал император,— что Домитилла имеет в вашем лице такого преданного друга.

— Домитилла мне совершенно безразлична! — раздраженно повторила Луция. Но тут же снова овладела собой, изменила поведку и тон.— Ведь я только ради тебя же самого советую помиловать Домитиллу, Фузан. Ведь и в прошлый раз вы заставили долго себя упрашивать, а потом все-таки вернули меня из ссылки,— пошутила она.— И разве вы в этом раскаиваетесь? Не унижайте себя самого,— попросила Луция.— Вы усыновили мальчиков, и это замечательно. Но если вы не дополните эту милость возвращением Домитиллы, вы лишите ее всякого эффекта. Никто лучше меня не знает, как часто и как жестоко заблуждаются люди на ваш счет. Берегитесь, как бы мысль о матери не заставила истолковать превратно благодеяния, оказанные детям. Верните Домитиллу!

Домициан уклонился от ответа. Своими близорукими глазами он осмотрел ее с головы до ног и сказал:

— Вам очень к лицу, моя Луция, когда вы горячитесь, заступаясь за кого-нибудь.

Но Луция не сдавалась.

— Неужели вы не понимаете, что я горячусь из-за вас? — сказала она негромко, настойчиво и нежно. Снова она была совсем рядом, обняв его за плечи, она попросила: — Пожалуйста, верните ее.

— Я подумаю,— недовольно вывернулся Домициан.— Обещаю вам тщательно все обдумать вместе с Квинтилианом.

— С этим педантом? — негодуяще отмела Луция великого стилиста.— Обдумайте со мной! — потребовала она.— Только не здесь! Здесь, среди ваших чудовищных зеркал, думать совершенно невозможно. Приходите ко мне. Поспите со мною ночь и все обдумаете.

И она вышла, не дав ему времени ответить.

Пусть ждет понапрасну, решил он. Он не пойдет. Она требует платы за то, что пускает его к себе в постель. Нет, детка моя, ничего не выйдет! Он тихонько насвистывает популярную в городе песенку:

И плешивому красотка не откажет нипочем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.

Норбан хотел было запретить эту песенку, но он не позволил. Нет, не пойдет он к Луции.

Полчаса спустя он лежал с нею рядом.

Но даже в постели она не смогла добиться от него безоговорочного обещания. Только если Домитилла откажется от ~~каких~~ бы то ни было попыток вмешиваться в воспитание мальчиков, только тогда он вернет ее; в этом Луция может быть уверена.

А вообще, лежа рядом с Домицианом, Луция испытывала такое чувство, словно изменяет Иосифу, — хотя или, может быть, как раз потому, что она воздерживалась от близости с Иосифом. Что это, влияние еврея? Так вот что такое «грех», о котором она столько слыхала! Она почти радовалась: теперь ей открылось и это, прежде непостижимое, — совесть, грех.

Когда Луция возвратилась в Байи, император заперся у себя в кабинете. Он хочет понять, что он отстоял и чем поступился.

Они теперь под его опекой и защитой, его новые сыновья, которым предстоит продолжить его род и сохранить для будущего его идею Рима. Но полностью от яда Ягве он их еще не обезопасил. Напрасно дал он Луции обещание вернуть Домитиллу, он не должен был этого делать. Хорошо еще, что он не совсем потерял голову и выговорил себе отсрочку. Он сдержит обещание, он, верховный жрец и хранитель клятв, верен своему слову. Но прежде пусть Домитилла выдержит испытание. Пусть прежде докажет, что хранит спокойствие и блюдет порядок, что не вмешивается в воспитание его «лввят». А для этого надобно время.

Луция требовала платы, он уплатил ей за ее ласки, это было малодушно, непристойно.

И плешивому красотка не откажет нипочем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой, —

яростно насвистывает он. И, однако, вне всякого сомнения — она любит его! Когда он думает о том, каким жаром

наполняют его ласки Луции, все остальные женщины кажутся ему бездарными шлюхами. А Луция кипит жизнью, она — палящая, жгучая, она — женщина под стать ему, богу, и она любит его.

Но даже такая, какая она есть, римлянка с головы до пят, она не сумела уберечь себя в целостности и неприкосновенности. Капелька яду этого Ягве бродит и в ее крови. Хотя она и посмеивается почти надо всем, что нашептывают ей Иосиф и его сын, остаться совершенно глухою к их речам она не смогла. Да, Ягве, этот хитрый, коварный, мстительный бог, подобрал себе таких посланцев, что лучше и не придумаешь! Этот мальчишка Маттафий!.. Домициан вызвал в памяти его образ, его горячие, быстрые и все же такие ясные и невинные глаза, услышал его юный, глубокий голос. Будь он, Домициан, мальчиком, он бы и сам попался на удочку этого Маттафия. Так что же сказать о близнецах!..

А впрочем, ни разу с тех пор, как они поселились в его доме, ни разу не заговорили они с ним о Маттафии. Но Домициан полон недоверия: вероятно, Луция внушила им, чтобы они пока даже имени Маттафия не упоминали. Ну, понятно, она рассчитывает восстановить прежнюю связь между его «львятами» и своим евреем, как только сама окажется снова вблизи принцев.

Луция очень к нему привязана, к этому своему адъютанту Маттафию Флавию. Едва ли в этой привязанности есть что-нибудь от нечистой страсти — император следил зорко. Просто Луцию притягивает блеск мальчика, она чувствует к нему нежность матери, старшей сестры.

Ну, а что связывает ее с Иосифом? Какой вздор! Иосиф давно выдохся, отцвел, он на пороге старости. Смешно, бессмысленно, невозможно себе представить, чтобы Луция, римская императрица, из объятий Домициана бросилась в объятия старого еврея! Между Луцией и этим Иосифом нет ничего, кроме чуть сентиментальной, отдающей снобизмом дружбы образованной дамы со знаменитым писателем.

Там взяла верх воздержность, обоюдная воздержность. А вот он, Домициан, выстоять не смог — алчность, плотская похоть предали его в руки Луций. Он позволил своей жене, императрице, римлянке, шлюхе выманить у него обещание вернуть Домитиллу. Он повинен перед своими новыми сыновьями, он не выполнил своего долга перед Юпитером и богами своего дома.

Он должен загладить свою вину. Он должен уничтожить врага и его отродье — Иосифа, который дерзнул

насмеяться над ним, швырнул ему в лицо стихи о мужестве, и этого Маттафия, Давидова отпрыска, притягивающего на вселенское царство, осененного покровом восточного бога.

Правда, с того дня, как мальчик обедал за его столом, задача представляется ему еще труднее. Он должен убрать мальчика с пути, но как это сделать, не навлекая на себя ответный удар восточного бога?

В эту пору императора посетил Мессалин, единственный, кто у него остался, единственный, чей слух и разум по-прежнему открыты для его, Домициана, забот и готовы их вместить.

Был первый по-настоящему жаркий день. Дул южный ветер, в воздухе стоял зной; изгнать его без остатка не удавалось даже из затемненных, искусственно охлаждавшихся покоев, где Домициан принимал Мессалина. Сквозь окна вливались густые ароматы сада, журчал фонтан, его шум ровно и ласково сопровождал беседу.

Император вспоминал о своем свидании с отпрысками Давида; тоном добродушной иронии рассказывал он подробности этого свидания.

— Нет,— заключил он,— не делают особой чести евреям их претенденты. Например, можешь ты себе представить, чтобы какой-нибудь старый, уже весь иссохший писатель, вроде нашего Иосифа, оказался хорош в роли мессии? Человек, который и говорить-то по-гречески чисто не умеет?

В тихое журчанье фонтана вплелся мягкий голос слепого:

— Но, по слухам, у этого Иосифа есть сын, красивой наружности, хорошо воспитанный и образованный.

Император испугался: значит, те же самые тревожные мысли, что у него самого, немедленно всплывают и у другого — стоит лишь завести речь на эту тему.

— Да, он смазливый мальчик, этот Маттафий,— согласился он неуверенно.

Со страхом он ждал ответа Мессалина. На какое-то краткое время — ему оно показалось долгим — в покоях был слышен только ровный шум падающих струек. Потом наконец, как всегда церемонно, тщательно взвешивая каждое слово, Мессалин сказал:

— Небеса лишили меня зрения. Но у владыки и бога Домициана острый взор, и он в силах судить, хватит ли этому мальчику Маттафию обаяния, чтобы коль скоро он в самом деле потомок Давида,— посягнуть на спокойствие и безопасность провинции Иудеи.

— Ты говоришь о вещах,— промолвил император, и резкий его голос понизился настолько, что почти утонул в плеске фонтана,— касаться которых небезопасно.— Он открыл рот, потом проглотил слюну, наконец решился и поведал слепому свою тайну.— У меня с богом Ягве заключено своего рода перемирие,—прошептал он.— Я не хочу вмешиваться в его решения. Я не хочу его озлоблять.— И громче, почти величественно добавил: — А потому да будет неприкосновенен всякий, кто избран богом Ягве и угоден ему.

Ну, вот он и высказался; сердце колотилось так неистово, что он боялся, как бы Мессалин не услышал — даже сквозь шум фонтана. Понял ли его Мессалин? Он страшился этого, и он этого хотел. Он жадно ждал ответа слепого.

И ответ последовал.

— Мысли владыки и бога Домициана,— промолвил Мессалин почтительно и вместе с тем чрезвычайно сдержанно, — столь возвышенны, что смертный не может постичь их до конца,— смертный может только догадываться. Мы видим лишь Иосифа Флавия и Маттафия Флавия, людей из плоти и крови. Бог Домициан распознаёт то, что стоит за ними.

Домициан был раздосадован, когда Норбан прочел его мысли; то, что его понимает Мессалин, доставило ему удовольствие. В конце концов слепой почти равен ему по духу. Как тонко облек он в слова его затаенные чувства. Да, постижения слепого близко подходят к тому, что для него, Домициана, действительность — высокая, скрытая от остальных.

— Ты очень мудр, мой Мессалин,— объявил он, и голос его звучит теперь громко и облегченно,— и ты мой друг. Собственно говоря, ты мой единственный друг. Может быть, это потому, что ты очень мудрый. Все обстоит именно так, как ты сказал. К сожалению, противники мои — не люди, мой противник — бог. Если бы только бог не стоял у них за плечами, я бы просто сдул их, как пылинку. Раз ты все так хорошо понял, мой Мессалин, ты, конечно, понимаешь меня и теперь. Подумай, как следует подумай и дай мне совет.

И снова — на сей раз уже долгое время — в покое слышится только шум фонтана. Тревожно ждет император, тревожно, но с надеждой. Он уверен, что добрый и верный друг найдет для него какой-нибудь выход. И Мессалин начал. Очень осторожно он уточнил:

— Это потомок Давида и потому твой противник. Но ты щадишь его и не питаешь к нему ненависти потому, что Давидов отпрыск находится под покровом бога Ягве, а ты не хочешь вступать в столкновение с этим богом Ягве. Верно ли я уловил мудрую мысль моего владыки и бога?

— Верно,— ответил Домициан.

— А что, если,— продолжал Мессалин,— что, если Давидов отпрыск посягнет на безопасность императора или же империи? Намерен ли ты, император Домициан, щадить его и тогда — только потому, что он потомок Давида?

Император выслушал эти слова с напряженным вниманием.

— Ты думаешь, тогда я мог бы его покарать? — спросил он.

— Преступление, состоящее в том, что он потомок Давида, ты карать не можешь,— отвечал Мессалин,— ибо это преступление бога Ягве, а с ним бороться ты не желаешь. Но любое иное преступление Иосифа или Маттафия ты мог бы покарать, ибо то было бы уже преступлением человека и не имело бы никакого касательства к твоей борьбе с богом Ягве. Это мнение обыкновенного смертного,— добавил он почтительно.— Воля бога Домициана судить, заслуживает оно внимания или же не заслуживает.

— Мой долг перед Ягве,— хрипло подвел итог Домициан,— не покушаться на жизнь и благополучие его Давидовых отпрысков. Но мой долг перед Юпитером — карать тех, кто нарушает его или мой закон. Ты очень умен, мой Мессалин. Ты высказал то, о чем я уже думал сам.

Слепой наклонил голову и вытянул шею, чтобы не проворонить ни звука из императорской речи. Почти сладострастное возбуждение охватило его. Мастерская работа! Можно быть слепым и все-таки видеть совершенно отчетливо, какой затвор надо открыть, чтобы вырвался на волю великий поток. Домициан вобрал, впитал его слова. Теперь великий поток бед обрушится на многих, а он, в своей тьме, будет радоваться, сознавая, что все это — дело его рук.

— Я благодарю владыку и бога Домициана,— сказал он благоговейно,— за то, что он дал мне заглянуть в глубину и многообразие своей мудрой, стройной и неустанно движущейся мысли.

— Ты не только мудрый, ты и верный человек, мой Мессалин,— ответил Домициан.— Ты достоин быть орудием моей мысли.

И, сама благосклонность, он отпустил слепого.

Вечером, когда сделалось прохладнее, император долго стоял перед клетками в своем зверинце. Хорошо, если бы мальчик Маттафий провинился! Хорошо, если бы у него, Домициана, нашелся повод покарать мальчика! Хорошо, если бы мальчика не было больше на этом свете! Воспоминание о грудном, низком голосе мальчика мучило императора сильнее, чем воспоминание о звеневшем металлом голосе брата — Тита.

Это был бы тяжелый удар для еврея Иосифа, если бы он потерял своего щедро одаренного сына. Он помчится к Луции, он будет выть и стонать. Император Домициан представляет себе, как будет выть и стонать еврей Иосиф. Приятная картина! Хорошо, что умелые руки уже плетут сеть для этого красивого, воспитанного мальчика Маттафия, Давидова отпрыска!

Император заметил, что звери томятся от зноя, и приказал принести им воды.

Случилось вскорости после этого, что Луция дала своему адъютанту Маттафию поручение, которое его очень обрадовало.

Город Массилия, чьей покровительницей была Луция, поднес ей редкой красоты и тончайшей работы коралловое украшение, и императрица хотела послать городу достойный ответный дар. Маттафию предстояло вручить этот дар и заодно исполнить еще несколько мелких поручений, какие обыкновенно возлагают лишь на близких, доверенных людей. Старик Хармид, глазной врач императрицы, по глубокой своей старости боялся поездки в Байи, и Маттафий должен был убедить его все же пуститься в путь. Потом он должен был раздобыть для Луции какие-то косметические средства, которые лишь в Массилии делали так, как того желала императрица. И, наконец, она дала ему письмо, чтобы через верного человека в Массилии он отправил его дальше, за Балеарское море.

Маттафий был счастлив и полон сознания собственной значительности. Больше всего его радовало, что путь лежит через море и что помчит его в Массилию личная яхта императрицы «Голубая чайка». Так как поручение было спешное и не терпело отлагательств, Маттафию пришлось попрощаться с отцом заочно, письмом, — чтобы его слишком долгое пребывание в Байях не вызывало кривотолков, Иосиф вернулся в Рим. Ответ отца пришел как раз перед

выходом яхты в море. Иосиф просил Маттафия поискать в Массилии как можно более верную копию «Океанографии» Пифея Массильского, которая обычно встречалась лишь в испорченных списках.

Итак, увидеть отца он уже не мог, но зато счастливая случайность позволила ему попрощаться с девочкой Цецилией. Маттафий давно не виделся с Цецилией. Разыскивать ее специально ему было бы неловко перед самим собой и все же он часто бродил по тем местам, где мог бы с нею встретиться; то же самое, впрочем, делала и она. Как бы то ни было, но оба просияли, когда накануне его отъезда они наконец столкнулись лицом к лицу. 1

Цецилия держалась резко и чуть насмешливо — как всегда.

— Так, значит, вы получили почетное поручение, мой милый Маттафий, — сказала она, — вы должны доставить госпоже Луции духи. Но мне кажется, ее личный парикмахер выполнил бы это поручение несколько не хуже, а может быть, даже и лучше.

Маттафий ласково взглянул на миловидное лицо девочки и сказал спокойно:

— Зачем вы говорите такой вздор, Цецилия? Вы же отлично знаете, что я еду в Массилию не только за духами.

— Я была бы немало изумлена, — воинственно настаивала Цецилия, — если бы дело и впрямь касалось чего-то более важного. Вы кое-чему научились от ваших павлинов и поднимаете страшный шум всякий раз, как представляется возможность покрасоваться.

Все с тем же спокойствием Маттафий отвечал:

— Неужели мне надо хвастаться перед вами, Цецилия? Надо бахвалиться перед вами тем, что пользуюсь благоволением императрицы? — Он подошел ближе к девочке; настойчиво глядя ей в лицо своими юными, глубокими, невинными глазами, он сказал: — Будь я полным ничтожеством, каким вы любите меня выставить, — разве вы сами проводили бы со мною время так часто? Поговорим серьезно, Цецилия. Дела в Массилии, пусть даже самые незначительные, разлучат нас надолго. Позвольте же мне увезти с собою образ той Цецилии, какою она бывает в свои лучшие часы. — И, подойдя совсем вплотную, приглушив свой низкий голос, он дал наконец волю горячему, бьющему через край чувству: — Ты прекрасна, Цецилия! Какое чудное у тебя лицо, когда его не искажает злоба и насмешка!

Цецилия разыграла недоверие.

— Это все одни слова,— сказала она кокетливо.— По-настоящему ты любишь только ее, императрицу.

— Ее невозможно не любить! — возразил Маттафий.— Но это не имеет никакого отношения к нам двоим. Я уважаю императрицу, я люблю ее, как люблю отца. То есть,— честно поправился он,— не совсем так же. Но наподобие этого. А тебя, Цецилия...

— Знаю, знаю,— ревниво и безрассудно перебила его Цецилия,— меня ты не уважаешь. Надо мной ты смеешься. Я маленькая глупая девчонка. Вы, евреи, все такие гордые и надменные. Гордость нищих!

— Оставим сейчас в покое евреев и римлян,— попросил Маттафий.

Он взял ее руку, белую, детскую ручку; он поцеловал руку, поцеловал открытое плечо. Она отбивалась, но он не унимался, он был много выше ее, он обнял ее, почти оторвал ее от земли, она пыталась вырваться, но потом вдруг сразу обессилела и вернула ему поцелуй.

— Не уезжай, Маттафий! — взмолилась она слабым, глухим голосом.— Пусть кто-нибудь другой поедет за этими духами! Пошли другого еврея!

— Ах, Цецилия! — только и смог ответить он и обнял ее еще крепче, еще жаднее. Сперва она не сопротивлялась, потом внезапно разняла его руки.

— Потом, когда вернешься... — пообещала она. И потребовала: — Возвращайся скорее!

Вскоре после этого Мессалин снова просил доложить о себе в Альбане. Он передал императору копию письма.

Письмо гласило:

«Луция — своей любезной Домитилле.

Вы скоро узнаете, моя дорогая, о счастье, которое выпало на долю Вашим замечательным сыновьям. Но, быть может, радость Ваша будет омрачена мыслью, что домом для мальчиков отныне станут лишь Палатин и Альбан. Пишу Вам, чтобы избавить Вас от этой заботы. В свое время я обещала Вам уберечь мальчиков от чрезмерного латинского влияния, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы суровый воздух Палатина не иссушил их сердец. Впрочем, дорогая Домитилла, я надеюсь — и не без оснований, — что после усыновления мальчиков Вы вскорости сможете вернуться и сами. Прошу Вас только об одном: откажитесь от каких бы то ни было попыток воздействовать с Вашего острова на судьбу детей. Лучше соблюдайте полное спокойствие, дорогая, не тревожьтесь о Ваших

сыновьях, хотя они и зовутся теперь Веспасианом и Домицианом.

Верьте Вашей Луции и прощайте».

Император прочел письмо медленно, внимательно. Нестерпимая ярость охватила его. И не потому бушевал в нем гнев, что Луция завязывает отношения с Домитиллой у него за спиной, — ничего другого он и не ждал и, может быть, даже хотел этого. Но та фраза о «сердцах, которые иссушает суровый воздух Палатина», — вот что возмутило его до глубины души! И это осмелилась написать Луция — Луция, которая его знает. Осмелилась написать после всех ночей, которые она с ним провела.

Он перечитал письмо несколько раз.

— Прочел ли владыка и бог Домициан послание? — спросил наконец своим мягким, спокойным голосом слепой.

В холодном бешенстве, не отвечая, император спросил в свою очередь:

— Зачем ты принес мне эту пакость? Хочешь очернить Луцию в моих глазах? Осмелишься уверять меня, что слова на этой вонючей бумажонке — слова моей Луции?

— Я принес вашему величеству эту копию, — проговорил своим ровным голосом Мессалин, — не для того, чтобы навлечь подозрения на лицо, которое написало или могло бы написать оригинал. Но ваше величество недавно удостоило меня некой беседы, и из нее я осмелился заключить, что владыка и бог Домициан в какой-то мере интересуется нарочным, принявшим поручение доставить тайком подлинник этого письма адресату.

Домициан стремительно шагнул к Мессалину и посмотрел ему в лицо таким настойчиво-вопрошающим взглядом, словно слепой мог увидеть этот взгляд. От радостного предчувствия захватило дух.

— Кто этот малый? — спросил он и услышал ответ Мессалина:

— Младший адъютант императрицы, Маттафий Флавий.

Домициан задышал шумно, с облегчением. И все же постарался не выдать своего глубокого, счастливого, позорного удовлетворения.

— Что вы сделали с оригиналом? — деловито спросил он Мессалина.

— Оригинал, — доложил слепой, — был у нас в руках всего полчаса — ровно столько, чтобы снять точную копию.

Потом мы снова подложили его юному Маттафию, так что тот ничего не заметил. Письмо, как и было задумано, отправилось по назначению с яхтой «Голубая чайка», теперь оно, видимо, на пути к Балеарским островам, а может быть, уже и прибыло туда.

Домициан — и на сей раз голос его дрогнул — спросил:

— А этот Маттафий? Если я верно осведомлен, императрица послала его в Массилию. Где же он теперь, этот Маттафий?

— Юного Маттафия Флавия, — сообщил Мессалин, — ее величество осчастливили множеством мелких поручений. Он должен разыскать для нее какие-то косметические средства, должен найти прославленного глазного врача Хармида и, если окажется возможным, привезти его с собою, — у него много всяких дел в Массилии. Я полагал, что дела императрицы требуют величайшей осмотрительности и добросовестности, и принял меры к тому, чтобы Маттафий Флавий задержался в Массилии подольше.

— Занятно, мой Мессалин, очень занятно, — сказал император каким-то отсутствующим, как показалось Мессалину, тоном, — Массилия... — продолжал он задумчиво, точно обращаясь к самому себе, и все тем же отсутствующим тоном произнес краткое, не имеющее прямого отношения к разговору слово о городе Массилии. — Занятная колония, пытливому юноше там есть что поглядеть, не мудрено, если он и задержится подольше. Мой добрый город Массилия, он насадил дух эллинства в Галлии. Два прекрасных храма — Артемиды Эфесской и Аполлона Дельфийского. Подлинный остров чистого эллинства посреди варварского мира. К тому же, если память мне не изменяет, там сохранились занятные старинные обычаи.

Так он болтал и болтал без всякой цели, а Мессалин молча слушал. Он знал наверное, что императору и не нужно никакого ответа, что императору нужно только скрыть свои мысли и что, конечно, не достопримечательными обычаями города Массилии заняты его мысли.

И правда, мысли императора, пока он произносил свое краткое слово о Массилии, были далеко от этого города. «Луция, — думал он, — Луция... Я стольким ради нее поступился, я согрешил перед Юпитером и перед моими новыми сыновьями, я обещал ей вернуть эту Домитиллу, и вот как она мне оплачивает за все. Палатин и близость ко мне иссушает сердца — вот что она написала». И вдруг совершенно неожиданно он оборвал себя и принялся тихонько насвистывать, очень фальшиво и немелодично, но

изумленный Мессалин все-таки узнал мелодию — это была популярная песенка из нового фарса:

И плешивому красotka не откажет нипочем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.

По-прежнему Мессалин не собирался нарушать ход мыслей императора, но Домициан вдруг очнулся от задумчивости. Он забылся, он дал себе волю. Хорошо еще, что слепой не может ничего прочесть по его лицу. Он взял себя в руки и, как ни в чем не бывало, словно не было ни отступления о Массилии, ни долгой паузы, спросил, возвращаясь к сути дела:

— Ты совершенно уверен в этих сведениях?

— У меня нет глаз, и я ничего не вижу, — отвечал Мессалин, — но, насколько может быть уверен слепой, я в них уверен.

Конечно, этот Мессалин понимает, как поразил он его, Домициана, своим сообщением; хоть он и слеп, он видит глубоко в сердце императора, глубже и опаснее, чем Норбан, но удивительное дело — к нему император не испытывает никакой ненависти, не чувствует себя униженным его пронизательностью. Наоборот, он ему благодарен, он ему искренне благодарен, и даже не скрывает этого.

— Прекрасно сработано, — говорит он, — благодарю тебя.

Радости Мессалина нет предела. Он удаляется. Домициан, в одиночестве, раздумывает над тем, что услышал. Удивительное дело — он не ощущает в себе настоящей злобы против Луции, напротив, он почти благодарен ей за то, что она сделала. Ведь теперь уже невозможно установить, вмешивалась или не вмешивалась Домитилла в жизнь его «львят», а он обещал отменить приговор об изгнании лишь в том случае, если будет представлено неопровержимое доказательство ее благонамеренности. Из письма с полной очевидностью явствует, что и сама Луция, покровительствуя Домитилле, все же считает ее способной оказывать на мальчиков нежелательное ему, императору и цензору, воздействие. Но тем самым он освобожден от своего обещания — перед Луцией, перед самим собой, перед богами. Что же касается самой Луции, он не забудет ей ее умыслов, он только не станет пока расследовать и выяснять обстоятельства дела. Луция — это Луция: она, если угодно, вообще не несет никакой ответственности за свои поступки. Более того, сознание, что он ее помиловал, что у него всегда, в любой момент будут наготове улики

против нее, доставляло ему какую-то радость. Нет, он ей не скажет того, что знает о ней. Он скроет все у себя в сердце. Никто не должен знать, как он, бог, был обманут этими троими — Луцией, Домитиллой и мальчишкой Маттафием, — обманут и предан, он, такой милосердный, такой великодушный. Достаточно и того, что слепой знает. Он питает к слепому глубокую симпатию. По сути вещей, Луция и слепой — единственные люди, которые ему дороги. Пусть же Луция и дальше тешит себя ложною, беспочвенною, наивною радостью, воображая, будто провела Домициана; на самом деле он проведет ее. И пусть слепой, преданнейший из слуг, которому он многим обязан, греется в своей ночи утешительной мыслью, что разделяет тайну с властителем мира.

Но как быть с двумя остальными — с Домитиллой и с юношей, который взял на себя тайком переправить письмо на Балеарские острова? Они должны исчезнуть с лица земли, это бесспорно, но возмездие пусть приступит к ним украдкой, из мрака, дабы ни одна душа не проникла в истинную связь событий.

Домитилла. Ссылная. Его отец Веспасиан однажды позволил уговорить себя и скрепя сердце вернул из ссылки одного ссыльного; то был Гельвидий Старший, отец. Но Веспасиану, всегда такому везучему и дальновидному, повезло и тут: весть о помиловании уже не застала Гельвидия в живых. Вот и он, Домициан, еще раз докажет свое везение и свою дальновидность. Он помилует Домитиллу, он во всеуслышание объявит об этом Луции и целому миру. Ну, а если бедная Домитилла уже не узнает о своем счастье — что ж поделаешь, он тут ни при чем.

И юного Маттафия тоже постигнет злая судьба, ни в коем случае не кара. Правда, Иосифу он, быть может, объяснит, что вынудило его расправиться с мальчиком: бог Ягве и его слугитель не должны думать, будто он поднял руку на мальчика без всяких оснований, только из вражды к Ягве. Но никто, кроме еврея Иосифа, Мессалина и его самого, не узнает истинной связи событий. Несчастный случай, который унес красивого пажу императрицы, — вот чем останется это для всех остальных.

Нептуналии не были празднеством первостепенной важности. Только государь, который так благоговейно чтит традиции, как Домициан, был способен, не щадя сил и трудов, сменить ради этого праздника прохладу своей летней резиденции на знойную духоту города.

Три дня справлял император священные обряды. Потом, на четвертый, он пригласил Иосифа на Палатин.

Словно громом поразило Иосифа приглашение императора. Если так много времени потребовалось ему, чтобы приготовить свою месть за то чтение — какую же страшной будет эта месть! Тяжелый час ждет Иосифа, все свое мужество должен он теперь собрать, из всех уголков души. Бывали времена, когда он жаждал гибели, когда он страстно желал собственной смертью засвидетельствовать нерушимость своего дела. Но оказаться повергнутым в самом расцвете счастья — эта мысль приводила его в трепет.

Впрочем, император встретил его с невозмутимым спокойствием, он не обнаружил ни гнева, ни той жуткой приветливости, которой все, кто его знали, боялись куда больше, чем ярости и бешенства. На этот раз он казался настроенным благодушно и несколько рассеянно.

— Ну, как ваш Маттафий? — спросил он спустя несколько времени.

Иосиф сообщил, что владычица и богиня Луция отправила мальчика в Массилию.

— Верно, — вспомнил император, — на яхте «Голубая чайка». Массилия... Красивый город... — И он снова принялся описывать достопримечательности Массилии и лишь с трудом сдержал себя, чтобы не пуститься в беспредметные разглагольствования, как недавно перед Мессалином. — Во всяком случае, мой Иосиф, — поймал он наконец прерванную мысль, — я рад, что вашему Маттафию представилась возможность повидать свет. И поручения, которые дала ему императрица, не слишком его обременят. Он должен купить ей духи и косметические средства и еще должен заманить на яхту врача Хармида. Важные поручения.

Иосиф не понимал, почему властелин мира так подробно осведомлен обо всех мелких обязанностях, возложенных на его Маттафия.

— Удивительно, с каким вниманием следит взор вашего величества за моим Маттафием, — пошутил он. — Это великая милость.

— Вы видели его перед отъездом? — спросил император.

— Нет, — ответил Иосиф.

— Вообще-то он должен был проехать через Рим и сесть на корабль в Остии, — заметил Домициан. — Но

императрица, как видно, считала свои дела в Массилии совершенно неотложными. Кстати, она очень привязана к вашему Маттафию, я сам тому свидетель. Он действительно славный мальчик с приятными манерами, он мне понравился. Должно быть, это у нас семейное, что мы, Флавии, и вы... что мы все вновь и вновь оказываемся так тесно связанными друг с другом.

И в самом деле, поразительно, до чего тесно связаны Флавии с Иосифом и его родом. Но он не знал, как должно ему понимать речи императора, не находил, что ответить, сердце его сжималось.

— Ты, конечно, очень любишь своего сына Маттафия? — продолжал император.

Иосиф коротко подтвердил:

— Да, я люблю его. — И добавил: — Я думаю, теперь он уже снова в море, на обратном пути в Италию. Я жду не дождусь, когда увижу его снова.

— Какая удача, — медленно проговорил император и своими выпуклыми глазами мечтательно взглянул в лицо Иосифу, — что мы как раз теперь справляли Нептуналии и что я сам принял участие в празднестве. Мы сделали, таким образом, все от нас зависящее, чтобы Нептун даровал ему счастливый путь домой.

Иосиф решил, что император шутит, и уже готов был усмехнуться, но император смотрел таким серьезным, почти мрачным взглядом, что смехок застрял у него в горле.

Впрочем, за столом император снова держал себя непринужденно и приветливо. Он заговорил о книге Иосифа «Против Апиона». Эта книга показывает, что Иосиф наконец расстался со своей лживой, напыщенной космополитской беспристрастностью по отношению к собственному народу.

Разумеется, — пояснил император, — все ваши доводы в пользу евреев так же бездоказательны и субъективны, как и все, что пишут против тех же самых евреев ваши ненавистные греки и египтяне. И все-таки поздравляю вас с этой книгой. Ваши прежние идеи слияния народов и всемирного гражданства — не что иное, как бессмыслица, мараж. Я, император Домициан, предпочитаю здоровый национализм.

Хотя высокомерно-снисходительные замечания императора звучали скорее издевкой, чем похвалой, они обрадовали Иосифа. Он с облегчением вздохнул, когда император заговорил о книгах, оставив в покое его сына.

Император продолжал разговор о литературе и после обеда. Лениво развываясь на диване, он изрекал свои мнения. Иосиф напряженно ждал. Чего, собственно, хочет от него император? Он говорил себе: коль скоро ты прождал столько времени, так уж, верно, сможешь подождать еще час, — но смятение все росло и росло. И тут наконец совсем неожиданно Домициан попросил, чтобы Иосиф еще раз прочел ему свою оду о мужестве.

Иосиф помертвел от страха. Сомнений не оставалось: император позвал его, чтобы отомстить за ту дерзость.

— Вы ведь понимаете, мой Иосиф, — пояснил император, — тогда я просто не ждал, что вы будете читать стихи. К тому же стихи несколько необычные, и с первого раза я не все понял. Вот почему я был бы вам признателен, если бы вы дали мне возможность услышать их еще раз.

Но все в Иосифе восстает против этого требования. Как бы ни замышлял поступить с ним этот римлянин, он, Иосиф, не хочет сейчас повторять свои стихи о мужестве. Он их не чувствует сегодня, сегодня они кажутся ему чужими, и вообще недостойно и подло играть шутовскую роль, которую навязывает ему теперь этот злой человек.

И он ответил:

— Ваше величество так явно показали мне тогда, что вам не нравится моя ода о мужестве. Зачем же снова тревожить слух вашего величества?

Но Домициан не уступал. Он твердо решил еще раз услышать наглые слова из уст этого раба Ягве; ведь то было объявление войны, вызов, брошенный богом Ягве владыке и богу Домициану, — ему надо было вспомнить текст дословно.

Нетерпеливо, упрямо он приказал:

— Прочти мне стихи!

Иосифу не оставалось ничего иного, как повиноваться. Он прочитал стихи — с яростью, но без всякого воодушевления, с неверием в сердце; теперь это были одни слова, пустые, лишенные содержания.

И я говорю:

Слава мужу, идущему на смерть

Ради слова, что уста ему жжет...

И я говорю:

Слава тому, кого не принудишь

Сказать то, чего нет.

Он видел устремленный на него взгляд императора, испытующий, задумчивый, злой; он хотел уклониться от

этого взгляда и тогда увидел собственное лицо в зеркальной облицовке стен, повсюду видел он собственное лицо и лицо императора, глаза императора и свой рот, то раскрытый, то сомкнутый. И он показался себе комедиантом на подмостках, и комедиантством показался ему его «Псалом мужеству». К чему возглашать истину перед миром, который не желает ее слушать? Тысячелетиями люди возглашают миру истину, и ничего в нем не изменили, и только наклика́ли беды на себя самих.

Домициан слушал до конца с неослабным вниманием. Потом проговорил мечтательно:

— Благо человеку, который возглашает истину. Как так: благо ему? Боги открывают истину только в мистериях, значит, им не угодно, чтобы истина возглашалась всегда и всем подряд. То, о чем ты вещаешь в своих стихах, мой любезный, звучит вполне мило и занятно, но если вдуматься поглубже, так это бессмысленная чушь.—Он окинул Иосифа пристальным взглядом, словно зверя в одной из своих клеток. —Странно,— проговорил он и покачал головой,— как могут прийти человеку такие вздорные идеи.—И он еще и еще раз медленно покачал головой. И вдруг: — Стало быть, ты любишь своего Маттафия? — вернулся император к прежнему разговору.

«Псалом мужеству»... Маттафий... Чудовищный страх стиснул сердце Иосифа.

— Да, люблю,— вымолвил он с усилием.

— И, конечно, надеешься вознести его высоко? — расспрашивал Домициан.— Полон честолюбивых надежд? Хочешь сделать из него большого, очень большого человека?

Иосиф отвечал осторожно:

— Я знаю, что недостойн милостей, которыми осыпали меня владыка и бог Домициан и его предшественники. Но жизнь бросает меня то вверх, то вниз. И сына мне бы хотелось от этого уберечь. Что бы мне хотелось оставить в наследство сыну — так это безопасность.

И он не лгал. Ибо мечты о блеске и славе, которыми он окутывал своего сына Маттафия, отлетели в эту жестокую минуту, и он хотел вернуть мальчика сейчас, немедленно, и немедленно увезти его прочь из Рима в Иудею, где безопасность и мир. И он возопил в душе к богу своему, да ниспошлет он ему силы в этот тяжкий миг, чтобы найти верные слова и спасти сына.

— Занятно, очень занятно,— продолжал между тем Домициан.— Вот, стало быть, о чем ты мечтаешь для своего Маттафия — о покое и безопасности. Но неужели ты думаешь, что учение при дворе — наивернейший путь к такой цели?

Иосифа поразило в самое сердце, что враг так безошибочно открыл его слабое место, его преступление. Да, ведь именно в том он и согрешил, что наставил сына на этот опасный путь. Он мучительно искал ответа.

— Императрице понравился мой мальчик,— нашелся он наконец.— Мог ли я сказать «нет», когда госпожа Луция предложила мне отдать сына к ней на службу? Я бы никогда не отважился на такую непочтительность.

Но Домициан, нащупав однажды слабое место своего врага — прислужника Ягве, уже не разжимал когтей.

— Если бы ты сам этого не хотел,— объявил он и укоряюще поднял палец, а в зеркальной обшивке стен поднялось множество пальцев,— ты бы нашел подходящие извинения. Но ты честолюбивый отец,— настаивал он,— признайся, будь откровенен.

— Конечно, каждый отец честолюбив,— согласился Иосиф и ощутил в себе слабость и пустоту.

— Вот видишь,— удовлетворенно сказал Домициан и запустил когти поглубже в рану.— Ты мне как-то говорил, что ты из рода Давида. Коль скоро ты сам признаешься в отцовском честолюбии, неужели тебе никогда не приходила мысль, что именно он, твой сын, мог бы оказаться избранником, вашим мессией?

У Иосифа побелели губы, пересохло в горле.

— Нет,— отвечал он,— об этом я не думал.

Объяснение с евреем представлялось сперва Домициану трудной задачей, задачей, которую он берет на себя лишь ради того, чтобы оправдаться перед Ягве. Но теперь, когда он видел лицо Иосифа, это худое, измученное лицо,—теперь тягостного бремени уже не было и в помине, наоборот, императора охватило огромное, дикое, свирепое желание увидеть, что станет делать этот человек, как поведет себя, как изменится в лице, какие слова он произнесет, когда узнает, что случилось с его сыном. Глаза императора жаждали это увидеть, его уши жаждали услышать вопль раненого врага, ненавистного врага, который бросил свои дерзкие речи прямо ему в лицо и полюбился его Луции.

И вот осторожно, вдумчиво, с удвоенной вкрадчиво-

стью и коварством, взвешивая каждое слово, он продолжал:

— Если ты никогда не внушал своему сыну мысль, что он может оказаться избранником вашего Ягве, ты, видно, каким-либо иным образом разжег в нем честолюбие, или же он тебя неверно понял, или же, наконец, ваш бог с самого начала наградил его очень честолюбивым сердцем.

Иосиф с мучительным волнением следил за словами императора.

— Видно, я очень глуп,— сказал он,— или, по крайней мере, сегодня туго соображаю, но я не могу понять, что имеет в виду ваше величество.

Все с тою же неумолимою вкрадчивостью Домициан заметил:

— Во всяком случае, хорошо, что именно покоя и безопасности просишь ты у небес для своего Маттафия.

Боль сдавила сердце и голос Иосифа, он взмолился:

— Я был бы бесконечно благодарен вашему величеству, если бы вы говорили с испуганным отцом такими словами, которые он способен понять.

— Ты очень нетерпелив,— упрекнул его Домициан, — ты настолько нетерпелив, что нарушаешь приличия, к каким обязывает тебя беседа с августейшим другом. Но я привык прощать, и, может быть, чаще других пользовался плодами моей снисходительности ты, пусть же будет так и на сей раз. Слушай, неугомонный! Вот в чем дело: твой Маттафий пустился в одно крайне честолюбивое предприятие. Я полагаю, я надеюсь, я вижу по твоему лицу, я убежден, наконец, что ты об этом ничего не знал. Рад за тебя. Ибо предприятие было очень опасное, и ему не повезло, твоему сыну. К сожалению, оно было не просто опасным, но и преступным.

— Сжальтесь! — молил Иосиф чуть слышно, в смертной муке. — Сжальтесь надо мною, владыка мой и бог Домициан! Что с моим Маттафием? Скажите мне! Умоляю вас!

Домициан следил за ним с тем серьезным, деловитым любопытством, с каким разглядывал зверей у себя в зверинце и растения у себя в оранжереях.

— Он выполнил в Массилии поручения императрицы — как ему и было наказано,— сказал император,— хорошо выполнил, даже слишком хорошо.

— А теперь он где? — спросил Иосиф не дыша. — Он уехал из Массилии?

— Он сел на корабль,— ответил император.

— А когда он вернется? — настаивал Иосиф.— Когда я снова его увижу? — И так как император только улыбнулся медленной, мягкой, сожалеющей улыбкой, Иосиф забыл о всякой почтительности, лишь чудовищный, бессмысленный страх говорил в нем.— Значит, он не вернется? — спросил он, не сводя с императора застывшего взора, и подступил к Домициану почти вплотную, так что даже коснулся императорского одеяния.

Домициан, который всегда брезгливо избегал чужих прикосновений, видя в них самую дерзкую и гнусную непочтительность, мягко отстранил его.

— Ведь у тебя есть еще дети,— сказал он,— не правда ли? Вот теперь и докажи, мой еврей, что твои стихи о мужестве — не пустой звук.

— У меня был только один сын, и его больше нет,— сказал Иосиф и с бессмысленным упорством повторил: — Значит, он не вернется?

Он так заикался, что едва можно было разобрать слова, но император все же разобрал, и наслаждением было для него видеть этого растоптанного противника.

— С ним приключилась беда,— сообщил он дружелюбным, сочувствующим тоном.— Он упал. Они стали играть с каким-то юнгой — состязались, кто скорее взберется на мачту, так мне помнится,— и он упал. А отходить его не смогли. Он сломал себе шею.

Иосиф стоял неподвижно, глаза его все с тем же напряжением были прикованы к губам императора. Император ждал вопля, но вопля не последовало, вместо этого лицо Иосифа внезапно обмякло, и он как-то странно зажевал губами, размыкая и снова смыкая челюсти, будто пытался заговорить и не мог вымолвить ни слова.

А Домициан упивался своим триумфом. Перед ним стоял человек, которого сразили боги, все боги, даже его собственный, даже его Ягве. А стало быть, он, Домициан, действовал правильно, он выиграл великую битву против бога Ягве — его же собственным оружием, хитростью, и вместе с тем безукоризненно честно, так что этот бог ни в чем не может его упрекнуть или же повредить ему. Доверительно и очень отчетливо, наслаждаясь каждым своим словом, он продолжал:

— Ты должен знать правду, мой Иосиф. Несчастье, которое приключилось с твоим сыном,— не случайность. Это наказание. Но я не злопамятен: теперь, когда его больше нет, я прощаю ему все. А потому пусть не узнает никто,

что он умер в искупление своей вины. Пусть все думают, будто с ним приключилось несчастье, с твоим красивым и юным сыном Маттафием Флавием. И чтобы окончательно убедиться в моей благосклонности — слушай дальше: пусть похоронят его так, словно он и в самом деле был избранныком, — как принца пусть похоронят его, словно в Риме правил ваш царь Давид.

Но убедиться, какое впечатление окажет на противника его гордыня и его великодушие, императору не довелось. Ибо Иосиф, по всей очевидности, уже не услышал его кротких и возвышенных слов. Пустым, бессмысленным взглядом упирался он в императора, губы его все жевали, а потом внезапно мешком осел на пол.

Домициан, однако, еще не кончил своих речей, а удерживать их про себя не мог, и так как сказать что бы то ни было Иосифу внемлющему было уже невозможно, он сказал обеспамятевшему.

— Твои богословы, — сказал он, — говорили мне, что день настанет. Но на моем и на твоем веку, мой Иосиф, он уже, наверное, не настанет, этот день.

Однажды вечером, вскоре после этого свидания с императором, короткий, мрачный и торжественный поезд прибыл к дому Иосифа. Он привез останки Маттафия Флавия, который погиб на службе императрице, по несчастной случайности сорвавшись с мачты на борту яхты «Голубая чайка». Искусство бальзамирования достигло высокого совершенства в городе Риме, и Домициан призвал лучших мастеров этого искусства. С помощью притираний, благовонных снадобий и, разумеется, грима они достигли того, что тело, привезенное в дом Иосифа, казалось красивым и почти вовсе не пострадавшим. Юная, с тщательно причесанными черными блестящими волосами, покоилась костистая голова — такая же, как прежде, и все же изменившаяся, ибо жизнь ей давали одни глаза, и глаза эти были теперь закрыты. И если красивая голова его мальчика, когда Иосиф в последний раз видел Маттафия живым, сидела на совсем еще детской шее, то теперь адамово яблоко выступало резче и мужественнее.

Иосиф собственной рукой опрокинул мебель в комнате сына и сам положил на погребальное ложе вернувшегося домой Маттафия. Там он и сидел при скудном свете одной-единственной лампы, а на перевернутой кровати лежал мальчик.

В счастии Иосиф сделался человеком беспечным, человеком, который, испытывая страх перед собственными глубинами, не хочет объясняться с самим собой. Теперь же все его глубины раскрылись настежь, сокрытое и сокровенное взывало к нему оттуда, и никаким уверткам уже не было места. Когда умер его сын Симон-Яники, он колебался меж противоположными чувствами — в нём говорили и скорбь, и раскаяние, и самообличение, но вместе с тем и самооправдание, и возмущение против бога и против мира. А теперь, у трупа его сына Маттафия, лишь одно чувство владело им — отвращение и ненависть к самому себе.

Он не испытывал ненависти к императору. Император просто-напросто устранил юношу, в котором видел нежелательного претендента, на то было его императорское право. Он даже действовал с известной деликатностью. Ведь труп мог бы и исчезнуть, император мог отдать его морю и рыбам, и, рисуя себе, как носился бы по не ведающим покоя волнам его мертвый сын, Иосиф леденел от ужаса. Но император был снисходителен, он отдал мертвого сына отцу, он даже красиво убрал его для отца и начинил благовоениями, снисходительный и бесконечно милосердный император. Нет, только одному человеку причитается ныне вся ненависть и все отвращение, и этот человек он сам, Иосиф бен Маттафий, Иосиф Флавий, дурак и хвостун, постаревший, но так и не набравшийся ума и толкнувший своего сына на путь к смерти. Теперь, у трупа Маттафия, внутреннее крушение Иосифа было куда опустошительнее, чем в те далекие дни, после гибели Симона-Яники. На этот раз ничего нельзя было исказить и вывернуть наизнанку, на этот раз всему причиной был он один. Если бы из чистой спеси, из духовного высокомерия он не признал своей принадлежности к роду Давида, Маттафий был бы жив. Если бы из одной лишь дурацкой отцовской гордыни он не оставил его подле себя, а отпустил с Марой в Иудею, Маттафий был бы жив. Если бы из пустейшего, суетного тщеславия он не отдал его на службу к Луции, Маттафий был бы жив. Его честолюбие, его суетность — вот что сгубило Маттафия.

Он был чудовищно, безумно самонадеян. Цезариона, того Цезариона, какого не смог сделать из своего сына великий Цезарь, задумал сделать из своего Маттафия он — жалкая обезьяна, сияющаяся уподобиться великому человеку. Что бы он в своей жизни ни затевал, все делалось из тщеславия, из суетности. Из суетности приехал он молодым человеком в Рим, из суетности разыграл пророка и предрек

Веспасиану власть над империей, из суетности взял на себя роль историографа Флавиев, из духовного высокомерия признал себя потомком Давида. Из суетности написал лживую, напыщенную беспристрастную «Всеобщую историю», из суетности — эффектно-пылкую апологию «Против Апиона». А теперь из суетности погубил своего сына Маттафия.

Как некогда любил Иаков мальчика Иосифа, так любил он мальчика Маттафия — слепой и глупой отцовской любовью. И как некогда Иаков подарил мальчику Иосифу блестящее облачение и тем пробудил у братьев зависть к нему, так и он облек своего Маттафия в блеск, чреватый возмездием. И как некогда возвестили Иакову: «Растерзан, растерзан твой сын Иосиф», — так и ему сообщил враг: «Твой любимый сын погиб». Но на праотце Иакове не было никакой иной вины, кроме слепой и глупой его любви, а он, Иосиф бен Маттафий, загажен грехом с головы до пят. И если тот мальчик, Иосиф, был все-таки жив, хоть и брошен один в пустыне, на дне глубокого колодца, его Маттафий лежит здесь перед ним — мертвый, восковой и загримированный, адамово яблоко четко выступает на шее, и ни единое дыхание жизни не колеблет его, и ни единой надежды нет.

Ночь миновала, короткая летняя ночь, а вместе с утром пришли бесчисленные посетители, чтобы в последний раз приветствовать мертвого Маттафия Флавия. Было известно, что император принял близко к сердцу этот несчастный случай, унесший любимца его Луции, по городу ходили романтические рассказы о жизни мальчика и его кончине, много говорили о его красоте и блеске. И вот бесконечной вереницею потянулись люди через комнату с перевернутою кроватью, на которой лежал мертвый Маттафий. Сочувствующие, любопытные, честолюбивые. Они пришли, не упуская ни малейшей возможности угодить императору, они пришли, чтобы поглядеть на труп, чтобы выразить свою скорбь, чтобы высказать свое участие. Весь Рим прошествовал мимо мертвого тела. Но Иосифа никто не видел: он заперся в самой дальней из комнат своего дома и сидел на полу, поджав ноги, босой, небритый, в разорванных одеждах.

Пришли Марулл и Клавдий Регин, пришел древний старец Гай Барцаарон и думал о том, что скоро вот так же будет лежать и он, пришел сенатор Мессалин и с выражением учтивого сочувствия долго стоял у трупа, и никто не мог угадать, что у него в душе, пришел и павлиний сторож

Амфион и зарыдал в голос, и пришла девочка Цецилия. Она тоже дала себе волю, и слезы залили ее лицо, всегда такое светлое и спокойное, и она раскаивалась, что так глупо мучила Маттафия и что сопротивлялась в тот день, и что отложила все до его возвращения.

Пришли и оба принца, Констант и Петрон, или, вернее, Веспасиан и Домициан, как звались они теперь. Они стояли у трупа, сосредоточенные и строгие, рядом со своим наставником Квинтилианом. Их пропустили вперед, однако позади ждала неисчислимая толпа, улица была запружена людьми, которые хотели взглянуть на мертвого. Но близнецы не торопились, и даже когда Квинтилиан в отменном учтивых словах напомнил им, что пора идти, они не двинулись с места. Не отрываясь смотрели они на мертвое лицо любимого друга. Они привыкли к смерти, несмотря на юные годы они знали многих расставшихся с жизнью, и мало кому из этих ушедших довелось мирно умереть в собственной постели. Кровавая кончина постигла их отца, кровавая кончина постигла их деда и дядю, и как бы покойно и мирно ни лежал на этой опрокинутой кровати их друг Маттафий, они догадывались, — а в глубине души твердо знали, — что и его сразила рука, хорошо известная им обоим. Вот о чем думали они, стоя подле перевернутой кровати, они не плакали, они казались очень зрелыми и взрослыми, и если не считать упорства, с каким они воспротивились намерению их увести, Квинтилиану не в чем было упрекнуть своих воспитанников. Только под конец, перед самым уходом, младший не смог удержаться от ребяческой и достойной осуждения выходки. Из рукава своей тоги он достал павлинье перо и вложил в руку мертвому, чтобы в подземном царстве ему было на что порадоваться.

Беда, постигшая Иосифа, испугала евреев города Рима, но чуть заметное чувство удовлетворения примешивалось к их испугу. То, что теперь сокрушило Иосифа, было заслуженной карой Ягве. Они предупреждали: нехорошо рваться вверх так дерзко и похваляться так неумеренно, как этот Иосиф. Да, они были многим ему обязаны, но он же причинил им и великий вред, он был двусмысленным, опасным человеком, он был для них чужим и зловеще-непонятным, и они смиренно славили справедливого бога, который так предостерег его и грозною десницей вернул в надлежащие пределы.

Они выказывали скорбь и участие, они послали ему, как то предписано законом, поминальное блюдо чечевицы в ивовой корзине. Они приходили утешить его, но он отказывался выйти, и они были довольны: ведь не что иное, как собственное высокомерие, мешает ему принять их утешительные слова. И в этом тоже была кара Ягве.

Весь этот день, когда Рим нескончаемой чередой проходил мимо мертвого тела его сына, Иосиф оставался взаперти и не виделся ни с кем — ни с евреями, ни с римлянами. День был очень длинный, и он с нетерпением ждал ночи, чтобы снова остаться с мальчиком наедине. Но к вечеру явился человек, с которым он не мог не увидеться,—главный императорский вестник, чиновник высшего ранга,—и потребовал свидания с Иосифом именем императора.

Владыка и бог Домициан желал удостоить Маттафия Флавия, который погиб во время путешествия по делам императрицы, самого почетного погребения. Он желал сложить ему погребальный костер, словно умерший принадлежал к его собственной, императорской, фамилии.

Сколь ни привычно было императорскому посланцу излагать в подобающих словах решения своего господина, на сей раз это оказалось для него нелегким делом — до такой степени изумил его вид этого Иосифа Флавия. Он видел его несколько дней назад, когда император вызвал Иосифа на Палатин. Тогда это был человек в расцвете сил, блестящий, выглядевший вполне достойно в залах и покоях императорской резиденции. А теперь перед ним стоял неопрятный, небритый, оборванный старый еврей.

Да, Иосиф стоял перед ним, постаревший и опустившийся, и тоже не находил слов. Ибо надвое раздирались его мысли. То, что учинял теперь над ним враг, было самым наглым, самым подлым глумлением, какое только можно себе представить. Но вместе с тем он ясно сознавал, что именно такое пышное погребение и подобало его Маттафию, любившему пышность и блеск, и что его возлюбленный сын не простил бы ему, если бы он отверг эту почесть. И он долго молчал, а когда чиновник наконец почтительно осведомился, что передать императору, он отвечал в уклончивых выражениях, которые не были ни согласием, ни отказом. Вестник оторопел. Что же это за человек?! У него хватает дерзости колебаться, когда владыка и бог Домициан уготовляет ему почесть, какой не оказывал еще никому.

Но именно оттого, что император пожелал удостоить Иосифа неслыханной почести, придворный не решился настаивать и отправился назад, полный тревоги и страхов, как бы император, раздосадованный непонятным поведением этого человека, не выместил досаду на нем, на вестнике.

А Иосиф, оставшись один, не находил верного пути. Голоса, звучавшие в его душе, были противоречивы. То он решался принять предложение императора. Потом говорил себе, что этим согласием он признает правоту римлянина и отречется от собственной правоты. Потом снова видел мертвое лицо своего мальчика, и ему чудилось, будто Маттафий жаждет этого огромного, почетного пламени, которое перед очами всего мира озарит его последний образ. Он не находил решения.

На другой день он допустил к себе самых близких друзей — Клавдия Регина и Иоанна Гисхальского. Он сидел на полу, поджав ноги, нечесанный, босой, в разорванной одежде, помрачившийся в уме и сокрушенный духом, и подле него сидели друзья. Если за ночь до того он был Иаковом, горюющим о своем любимом сыне, то теперь был он Иовом, которого пришли утешить друзья. Но хорошо, что все их утешение сводилось к практическому совету, — сочувствия, бесстыжей жалости он бы, наверно, не вынес.

Итак, обсуждалась только эта одна, чисто внешняя, задача, которую предстояло решить еще сегодня, — вопрос о погребении. Что делать Иосифу? Если он примет предложение императора, он нарушит один из главнейших законов, установленных богословами. Со времени патриархов, со времен Авраама, Исаака и Иакова, погребенных в пещере Махпела, евреям воспрещено было уходить к отцам своим иначе как через землю, и Иосифу казалось, что он бросит вызов собственному народу, разрешив предать сына огненному погребению. Если же он похоронит его по еврейскому обычаю и отвергнет костер, не навлечет ли он этим на себя гнев императора, и не только на себя одного?

Заговорил Клавдий Регин, сторонник трезвой реальности.

— Мертвый мертв, — сказал он, — и жгут его или зарывают, ему все равно. Огонь ли, земля ли — и то и другое печалит и радует его так же мало, как павлинье перышко, которое всунул ему в руку юный, хорошенький принц. Я не могу себе представить, что у его души есть глаза, чтобы

увидеть, или кожа, чтобы почувствовать, каким способом его погребают. Что же касается остальных ваших сомнений, так это одни сантименты. Я не еврей. Может быть, именно поэтому я и могу безошибочно судить, в чем выгоды для вашего народа и в чем невыгоды. Позвольте же вас предупредить, что этот ваш народ дорого заплатит — или уж, во всяком случае, упустит большую прибыль, — если вы пожелаете считаться со своими предрассудками и своей глупостью. Если же вы дадите себе труд задуматься об истинных интересах еврейства, то они требуют от вас принять предложение DDD. Блеск этого костра озарит все еврейство, а оно последнее время погружено во мглу, и такой блеск ему необходим.

— Да, необходим, — подтвердил Иоанн Гисхальский, устремляя на Иосифа хитрый взгляд своих серых глаз. — А что до ваших прочих сомнений, доктор Иосиф, я человек неученый, не как вы, и не знаю, чувствует умерший что-нибудь или же ничего не чувствует. Не могу сказать ни «да», ни «нет». Но если только вашему Маттафию, там где он сейчас, дано что-нибудь чувствовать, конечно, ему было бы приятно, если бы огонь, в котором сгорит его тело, обогрел все еврейство. И потом, я думаю, — и глаза его засветились еще лукавее и дружелюбнее, — что он и вообще порадовался бы блеску такого громадного пламени. Ведь он любил блеск.

Иосиф был растроган тем, что сказали оба гостя. Блеск, который предлагает ему император, будет на пользу еврейству, и он ничем не почтит память сына лучше, нежели этим блеском. И, однако, все его существо восставало против Домицианова костра. В конце концов, его Маттафий — не римлянин, он потому только и погиб, что римлянина хотели сделать из него люди.

И тут дерзкая мысль пришла ему в голову. Император желает почтить мертвого, стало быть, он чувствует себя виновным. Но коль скоро он в самом деле желает почтить мертвого, пусть сделает это не на собственный лад, а по обычаям самого мертвого. Маттафий должен лечь в иудейскую землю, как подобает каждому иудею, и все же пусть не будет погребение лишено того блеска, который император ему уготовил. Иосиф сам отвезет мертвого сына в Иудею — пусть император даст ему для этого средства. Пусть предоставит в его распоряжение одно из своих быстроходных судов, либурну, узкий военный корабль с отборными гребцами. Иосиф отвезет сына в Иудею и там похоронит.

Так сказал он друзьям. Они взглянули на него, и взглянули друг на друга, и не ответили ни слова.

Тогда снова заговорил Иосиф, и в голосе его звучали ярость и вызов:

— Вам, мой дорогой Клавдий Регин, удобнее всякого другого передать императору мое требование. Хотите вы это сделать?

— Нет, не хочу, — ответил Клавдий Регин, — поручение не слишком приятное. — И так как Иосиф, казалось, готов был вспыхнуть и что-то возразить, прибавил: — Но все-таки я это сделаю. Я уже много раз в жизни брал на себя по дружбе неприятные поручения. А вы никогда не были удобным другом, доктор Иосиф, — проворчал он.

Военный корабль «Мститель» принадлежал к быстроходным парусникам первого класса. Гребцы сидели в три ряда, судно было остроносое и низкое, легкое и стремительное — один удар весел посылал его вперед на два корпуса. Девяносто четыре таких корабля насчитывал императорский флот. «Мститель» был не из самых больших: водоизмещение — сто десять тонн, длина — сорок четыре метра, осадка — сто семьдесят сантиметров. Сто девяносто два раба составляли команду гребцов.

Со всей возможною быстротой, но вместе с тем заботливо и тщательно было приготовлено все необходимое для перевозки мертвого тела, на борт взяли даже бальзамировщика. Но его услуги не понадобились: погода благоприятствовала, дул свежий попутный ветер, ночи были прохладны. Тело держали на верхней палубе, днем закрывая от солнца тентом.

Иосиф сидел у трупа один. Лучше всего ему бывало ночами. Дул ветер, судно летело быстро, Иосифа знобило от холода. Небо было глубокое, с узким серпом народившегося месяца, вода была черная, и на ней слабо мерцали какие-то полосы. Иосиф сидел у трупа, и, как ветер, как волны, набегали и уходили мысли.

Это было бегство, и его противник — умный противник — дал ему свое самое быстроходное судно, чтобы он бежал побыстрее. Позорно, трижды позорно бежит он из города Рима, в чьи стены вступил впервые более тридцати лет назад — так дерзко, с твердой уверенностью в победе. Он прожил в Риме полжизни, полжизни боролся и все снова и снова верил, что уж на сей-то раз

твердо держит победу в руках. И вот — конец. Самое постыдное поражение и бегство. Бежит, удирает, улепetyвает, уносит ноги, поспешно, позорно, на судне, которое с учтйвой и презрительной готовностью предоставил ему враг. А рядом с ним лежит то, что он спас из этой битвы, длившейся полжизни: мертвый мальчик. Мертвого сына вынес он из битвы, это цена и награда жизни, полной гордыни, самопреодоления, страданий, унижения и ложного блеска.

Как оно летит, это судно с насмешливым названием «Мститель», доброе судно, быстрое судно, как танцует на волнах! «Мститель». Вот, стало быть, и несет Маттафия быстроходное судно, на каком он мечтал уплыть в Иудею, — быстроходнее и великолепнее, чем мог он когда-нибудь желать. Почестями был взыскан его мальчик, высокими почестями, и в жизни и в смерти. Высокую почесть оказал ему его друг, император. Для него, для Маттафия, сгибаются и разгибаются эти гребцы, прикованные к своим скамьям, — вперед-назад, вперед-назад, без конца; для него отбивает такт офицер; для него наполняются ветром умело прилаженные паруса, для него мчитсЯ корабль по черной воде, лучший корабль римского императора, блестящее достижение кораблестроительного искусства.

Почему все это? Кто может объяснить? И Маттафий задавал всегда тот же вопрос: почему? Своим низким, любимым голосом, совсем еще по-детски задавал он этот вопрос, и невольно Иосиф подражает низкому, любимому голосу, и в ночь, в свист ветра бросает он вопрос голосом Маттафия:

— Почему?

Есть ли какой-нибудь ответ? Только один — ответ богословов, который звучал, когда встречалась по-настоящему сложная проблема. Так и сяк рассуждали спорящие, и говорили без умолку, и испытывали и отвергали доводы, а потом, когда с величайшею жадностью ожидали решения, выслушивали приговор: проблема остается открытой, сложная, нерешенная, неразрешимая проблема — кашья.

Кашья.

И все-таки — нет, неверно! И все-таки ответ существует. Жил несколько сот лет назад человек, который нашел ответ, и потому не выносят они имени этого человека, и потому отказывались включить его книгу в канон Священного писания. Его ответ не гласит «кашья». Его ответ

ясен и недвусмыслен, это правильный ответ. Всякий раз, как Иосиф поистине в смятении, он наталкивается в глубине собственной души на ответ этого древнего мудреца, проповедника, Кохэлета; некогда запал он в глубину его души, там он и ныне, и это правильный ответ.

«И познал я: все, что ни делает бог, пребывает вовек. Ничего не прибавишь к тому и ничего не убавишь. Что было, то есть и теперь, и что будет, то давно уже было. И еще видел я под солнцем: место кротости, а там злоба, и место правды, а там неправда. И сказал я в сердце своем: это ради сынов человеческих так учинено богом, дабы видели они, что стоят не более скотов. Потому что участь сынов человеческих и участь скотов — одна участь. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и преимущества у человека пред скотом нет, и все суета. Все идет в одно место: все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли в небеса и дух скотов сходит ли вниз, в землю?»

Так чувствовал и сам он, так излилось это из глубин его собственной души, с тою же убежденностью, с какою, должно быть, в давние времена — у Кохэлета, так постиг он это, сидя у трупы своего сына Симона-Яники. А потом, позже, он захотел забыть, он взбунтовался против своего постижения и — забыл. Но теперь Ягве напомнил ему сурово, язвительно, жестоко и наказал его, нерадивого ученика. Теперь он может записать это в своем сердце, должен записать, десять раз, двадцать раз, как повелевает ему великий учитель. «Все суета и затеи ветреные». Записывай, Иосиф бен Маттафий, пиши своею кровью, десять раз пиши, двадцать раз, ты, не пожелавший это признать, ты, пожелавший исправить Кохэлета. Ты пришел и вознамерился опровергнуть древнего мудреца твоими делами и твоими книгами — твоей «Иудейской войной», и твоей «Всеобщей историей», и твоим «Апионом». А теперь ты сидишь на палубе, подобрав под себя ноги, на палубе судна, плывущего под быстрым ветром по ночному морю, и везешь с собою все, что у тебя осталось, — твоего мертвого сына. Ветер, ветер, затеи ветреные!

Узкий серп месяца поднялся выше, слабым, бледным сиянием светилось худое, подкрашенное гримом лицо Маттафия.

И что ему сказать Маре, когда теперь, во второй раз, он должен будет предстать перед нею и возвестить: «Сын, которого ты мне доверила, мертв»?

Чуть слышно, едва размыкая губы, в ночной ветер шепчет он свои жалобы:

Горе тебе, мой сын Маттафий, мой благословенный, мой повергнутый, мой любимец. Великий блеск окружал моего сына, и был он угоден в очах всех людей, и все люди любили его, язычники и избранники господни. Но я наполнил его суетностью и в конце концов погубил его — из суетности. Горе, горе мне и тебе, мой прекрасный, любимый, добрый, блестящий, благословенный, повергнутый сын Маттафий! Я дал тебе пышное одеяние, как Иаков Иосифу, и отправил тебя навстречу беде, как Иаков — своего сына Иосифа, которого он любил слишком большою, необузданною, суетною любовью. Горе, горе мне и тебе, мой любимый сын!

И он думал о стихах, которые он сочинил, — «Псалом гражданина вселенной», «Псалом «Я есмь», «Псалом о стеклодуе», «Псалом мужеству». И пустыми казались ему его стихи, и лишь одно казалось ему полным смысла — мудрость Кохэлета.

Но что пользы ему от этого знания? Пользы никакой, его боль не слабеет. И он воет, и вой его вливается в свист ветра и покрывает свист ветра.

Офицерам, матросам и гребцам этот человек, который везет за море труп, внушает зловещие предчувствия. Пакостное дело поручил им император. Они боятся, что еврей ненавистен богам, они боятся, как бы боги не наслали беду на их доброе судно. И они радуются, когда вдали возникает берег Иудеи.

Когда Луция узнала о смерти своего любимца Маттафия, она постаралась остаться холодной и спокойной, постаралась отогнать подозрение, которое тотчас же в ней поднялось. Сперва она решила немедленно ехать в Рим. Но она знала безудержность Иосифа: ничего не проверив и не взвесив, он, разумеется, увидит в случившемся вероломное убийство, а она не хотела заразиться неистовством его чувств. Она хотела сохранить трезвость разума и, прежде чем начать действовать, составить справедливое суждение. Она написала Иосифу письмо, полное скорби, сочувствия, дружбы и утешения.

Но гонец, которому наказано было доставить послание императрицы, вернулся с известием, что Иосиф повез труп мальчика в Иудею и корабль уже вышел в море.

Луцию несколько не задело, что этот человек в своем

несчастье, — которое как-никак было и ее несчастьем, — не обратился к ней, не позволил ей разделить с ним горе, более того, не нашел для нее ни единого слова. Но он сразу сделался ей чужд, этот человек, который отдается порыву так безраздельно, не знает ни границы, ни меры и в горе своем столь же эгоистичен, сколь и в счастье. Она уже не понимала, как могла допустить этого безудержного так близко. Их близость могла бы еще долго цвести, не осыпаясь, но теперь он все разрушил своим молчаливым отъездом в Иудею. Обреченный он человек, злосчастный в своей стремительности; его неистовство и его понятия о грехе притягивают беду. Она была почти рада, что он расторг, разорвал их отношения.

Совершил ли Домициан преступление? Она не решалась ответить на этот вопрос. Она была в Байях, он в Риме, она не хотела его видеть, пока не избавится от своих сомнений, она не хотела сказать ему ни единого необдуманного слова, чтобы не лишиться себя возможности твердо убедиться, виновен он или же невиновен. Если только он виновен, она отомстит за Маттафия.

Она получила от Домициана дружески сдержанное письмо. Домитилла, извещал он ее, уже долгое время не смущает покоя юных принцев. И потому, к своей радости, он в силах теперь исполнить желание Луции. Он поручил губернатору Восточной Испании объявить Домитилле о помиловании. Вскрости Луция сможет вновь приветствовать свою подругу в Риме.

Луция облегченно вздохнула. Она радовалась, что сгоряча не обвинила Фузана в убийстве Маттафия.

Две недели спустя секретарь, во время утреннего доклада о последних новостях, сообщил ей, что принцесса Домитилла погибла самым прискорбным образом. На своем острове она проповедовала Евангелие некоего распятого Христа — в согласии со взглядами минеев, одной из иудейских сект. В основном ее проповедь была обращена к аборигенам острова, а это полудикие иберийцы, чьи обиталища напоминают скорее звериные норы, нежели человеческие жилища. Однажды, когда она со своей служанкой возвращалась из какого-то иберийского поселения, шайка разбойного сброда подкараулила обеих женщин, напала на них, ограбила и убила. Это случилось, когда губернатор Восточной Испании уже отправил нарочного, чтобы известить ссыльную принцессу о помиловании. Император приказал: из племени, к которому принадлежат убийцы, каждого десятого распять на кресте.

Когда Луция услышала эту новость, ее ясное, смелое лицо потемнело; две глубокие поперечные морщины разрезали ее детский лоб, щеки пошли пятнами от гнева. Она прервала секретаря на полуслове. Без отлагательств отдала распоряжение готовиться к отъезду.

Она еще не знала, что будет делать. Знала только, что бросит прямо в лицо Домициану всю свою ярость. Как бы часто она им ни возмущалась, в ней всегда было что-то похожее на уважение к его бешеной, суровой натуре, никогда не угасала до конца любовь, которую некогда зажгло в Луции то неповторимое, что чувствовалось в нем, — его гордость, его сила, его одержимость. Теперь же она видела в нем одно лишь зло, только хищного зверя. Несомненно, это он убил Домитиллу, потому что обещал ей помилование, несомненно, это его неумолимые когти настигли мальчика — юного, сияющего, невинного. О да, у него снова найдется много высоких и гордых слов в свое оправдание! Но на этот раз он не одурманит ее своими речами. Он расправился с мальчиком за то доброе, что в нем было, просто за то, что мальчик был таким, каким он был, а может, только за то, что он, мальчик, полюбился ей, Луции. И Домитиллу он убил только для того, чтобы сделать больно ей, Луции, — так злой ребенок ломает игрушку, которая доставляет радость другому. Она выскажет ему все прямо в лицо; а если не выскажет, то подавится невыговоренным словом. Всю свою ярость, все свое отвращение бросит она ему в лицо.

Без отлагательств она выезжает в Рим.

Во время разговора с Иосифом Домициан испытывал чувство глубокого удовлетворения. И позже, когда Иосиф отверг его замысел устроить мальчику пышное погребение, он только усмехнулся. Дерзость Иосифа его не обидела; она лишь подтвердила, что он действительно ударил противника в самое уязвимое место. А когда затем Клавдий Регин передал ему дерзкую просьбу Иосифа, это было, пожалуй, вершиною его триумфа. Ибо теперь, сверх всего прочего, он мог проявить свое великодушие и показать, что не против бога Ягве были направлены его действия. Преступление мальчика Маттафия императору Домициану пришлось покарать; любимцу бога Ягве он оказывает высочайшие почести. И он усмехнулся многозначительной, радостной и недоброй усмешкой, когда узнал, что из всех быстроходных кораблей императорского флота к выходу

в море готов именно «Мститель», что «Мститель» доставит Иосифа и его мертвого сына в Иудею. Плыви, Иосиф, мой еврей, уплывай на моем славном, быстром судне. Попутного ветра тебе и твоему сыну, плыви, уплывай! Катилина бежал, скрылся, исчез.

Но чем дальше убегал враг, чем дальше от Рима была либурна «Мститель», уносившая на своей палубе мертвого и живого, тем быстрее угасала радость императора. Он сделался непривычно вял, инертен. Даже короткий переезд в Альбан вызывал в нем отвращение, он оставался в жарком Риме.

Мало-помалу возвращались прежние сомнения. Конечно, он поступил правильно, убрав с дороги Маттафия Флавия, — мальчик совершил государственную измену, и он, император, не только имел право, но был обязан его казнить. Но его противник, бог Ягве, — хитроумный, коварный бог. Человеческий ум против него бессилён. Он все равно сочтет себя оскорбленным тем, что римлянин похитил его Давидова отпрыска, его избранника. У Домициана много сильных доводов в свою защиту. Но захочет ли враждебный бог их принять? А ведь каждый знает, какой мстительный этот бог Ягве, и какой грозный, и как внезапно разит его рука.

В чем может упрекнуть его этот бог Ягве? Любимец Ягве, посланец Ягве — Иосиф — в присутствии целого Рима нагло бросил ему в лицо свою гнусную оду о мужестве. Тот же эмиссар Ягве завязал дружеские отношения с Луцией и тем провокационно заставил ее придать в глазах людей особую значительность ему самому и его миссии. Но не желание отомстить этим двоим побудило его, Домициана, убрать с дороги Маттафия. Он не хотел наносить удар этим двоим. То, что ему все же пришлось нанести им удар, — обыкновенная случайность, одна из тех, какими сопровождается исполнение священного долга, к сожалению, возложенного на него богами. Нет, он не питал злобы ни к Иосифу, ни к Луции; скорее напротив, он испытывал прямо-таки дружеские чувства к обоим. Это не он принес им несчастье — это сделали боги, а он, их друг, он искренне желал их утешить.

Однако затаенное чувство вины не покидает его, и, по своему обыкновению, он пытается переложить эту вину на кого-нибудь другого. С чего все началось? С того, что Норбан представил ему двух потомков Давида. Он сделал это с определенной целью. Император не знал, какие намерения преследовал Норбан, но одно было совершенно неоспо-

римо: Норбан намеренно вложил ему в руки первое звено цепи, последним звеном которой оказалась смерть мальчика Маттафия. Так что если и есть тут чья-то вина, так это вина Норбана.

Правда, доводить свою мысль до конца или делать из нее выводы Домициан остерегался. Когда он сидел, склонившись над навощенной табличкой, и думал о своем министре полиции, на табличке ни разу не появлялись буквы или слова, а неизменно только круги и завитки, и эти круги и завитки отвечали мыслям императора. Но когда он говорил о Норбане — с другими или же с самим собой, — то неизменно повторял: мой Норбан — вернейший из верных.

Незадолго до того, как Луция прибыла во дворец, Домициан заперся у себя в кабинете, приказав, чтобы его не беспокоили. Но Луция так настоятельно требовала допустить ее к императору немедленно, что гофмаршал Ксанфий в конце концов о ней доложил. Он ждал со страхом, что император вспыхнет гневом, но тот остался спокоен и, по-видимому, даже обрадовался встрече с супругой.

Конечно, Домициан опасался, что Луция догадается об истинных обстоятельствах гибели Маттафия и смерти Домитиллы. Но его Норбан еще раз доказал свою преданность, он поработал на славу: наготове были безупречные свидетельские показания, подтверждающие как несчастную случайность, которая стоила Маттафию жизни, так равно и убийство Домитиллы иберийскими троглодитами. И если Домициан мог оправдать себя в глазах людей, тем легче было оправдаться в собственных глазах. Маттафий, бесспорно, повинен в государственной измене, а убрать Домитиллу — в особенности после того изменнического письма — было необходимо, если он в самом деле печется о душах мальчиков.

И все же, едва только к нему ворвалась Луция, рослая, взбешенная, негодующая не только всею душой, но даже каждой складкой своей одежды, вся его уверенность исчезла без следа. Всякий раз ощущал он свое бессилие перед этой женщиной, вот и сегодня вся непоколебимость заранее припасенных доводов растаяла, как воск. Но эта слабость длилась лишь какую-то долю мгновения. В следующий миг он уже снова был прежним Домицианом, и в мягких, учтивых словах выражал свою

скорбь, сетуя на судьбу, отнявшую у него и у нее двух друзей. Но Луция не дала ему договорить.

— У этой судьбы, — мрачно сказала она, — есть имя. Ее зовут Домициан. Не надо, не лгите, молчите! Вы не у себя в сенате. Не пытайтесь оправдываться! Оправданий не существует. Я вам не верю — ни единой вашей фразе, ни единому слову, ни единому дыханию. Самому себе вы еще можете врать, мне — нет! А на сей раз вы не в силах одурачить даже самого себя. Вы поступили как трус, подлый и низкий трус! Мальчик понравился вам — но именно за это вы его и убили! Потому что даже вы видели, как он невинен и сколько в нем чистоты, и потому что вы не в силах терпеть ничего чистого рядом с собою! Это была мелкая ревность, и ничего больше. А Домицилла! Ведь вы сами говорили, что она не сделала вам ничего дурного. Какая же у вас грязная душа! Не подходите ко мне, не прикасайтесь! Я самой себе противна, когда думаю о том, что лежала рядом с вами в постели.

Домициан покорно отступил назад, оперся о письменный стол; капельки пота выступили на лбу.

— Однако это доставляло вам удовольствие, Луция, — ухмыльнулся он. — Или я ошибаюсь? По крайней мере, у меня довольно часто складывалось впечатление, что это занятие вам по сердцу.

Но красноречивое лицо Луции выражало бесконечное омерзение, и ухмылка медленно сползла с побагровевших щек Домициана; на миг он даже сделался мертвенно-бледен. Потом — не без труда — снова растянул губы в улыбке.

— Как видно, мальчик и в самом деле был вам очень близок, — подумал он вслух с учтивой, многозначительной иронией. — И, во всяком случае, занятно, очень занятно было услышать то, что вы мне открыли касательно истории наших отношений.

— Да, — отвечала Луция уже гораздо спокойнее, и благодаря этому спокойствию еще больше презрения звучало теперь в ее словах, — да, она очень любопытна, история наших отношений. Но теперь ей конец. Ради вас я бросила мужа, я любила вас. Десять раз, сто раз вы делали такие вещи, от которых вся душа во мне переворачивалась, и всякий раз я давала убедить себя, что я не права. Но теперь — кончено, Фузан, — и это «Фузан» звучало уже не шуткою, а злою издевкой. — Теперь — кончено, — повторила она с особенным ударением на слове «теперь». — Вы часто заговаривали мне зубы, вы упорны, я знаю, и нелегко отказы-

наетесь от своих планов. Но советую вам привыкнуть к мысли, что между нами все кончено. Мои решения приходят внезапно, но я от них не отступаю, вам это известно. Мои слова невозможно понять превратно, не то что ваши. Я даю вам отставку, Домициан. Вы мне противны. Я не хочу вас больше знать!

Когда Луция вышла, чуть смущенная, деланно ироническая ухмылка, за которую Домициан пытался скрыть свой гнев, еще оставалась некоторое время на покрасневшем лице императора. Его близорукие глаза смотрят вслед ушедшей, отзвук ее слов еще звенит в его ушах. Потом уголки губ медленно опускаются, он машинально насвистывает мелодию той песенки:

И плешивому красotka не откажет ничем,
Если он красотке деньги сыплет щедрою рукой.

Он садится за письменный стол, берет золотую палочку для письма и начинает царапать на вощенной табличке круги и завитки, завитки и круги.

— Гм, гм, — произносит он негромко, — занятно, очень занятно.

Стало быть, она его презирает. Многие говорили, что презирают его, но то были пустые слова, бессильные жесты; немыслимо, чтобы смертный презирал его, владыку и бога Домициана. В целом свете Луция единственная, чье презрение для него — не пустое слово.

На миг он осознал во всей полноте и ясности: итак, она ушла, разрешила то, что их связывало. Этот разрез причинял боль, холод лезвия проникал глубоко в душу. Но потом он встряхнулся, отогнал слабость, подумал о том, что решение ее бесповоротно и что, стало быть, нет никакого смысла оплакивать это безвозвратно ушедшее. Оставалось лишь одно — сделать выводы.

Луция отреклась от него, отказалась от его покровительства и защиты. Она больше не жена ему, она враг, изменница. Она хотела заставить его вернуть Домитиллу, хотя, разумеется, никто тверже ее не был уверен, что эта Домитилла постарается оказать пагубное влияние на его сыновей. Уже одно это было государственной изменой. А потом, вдобавок, она принялась плести интригу, пыталась обмануть его, обморочить лицемерным послушанием Домитиллы, чтобы той вблизи было проще и легче отвлечь его сыновей от государственной религии. Очевидная изме-

на. Луция — преступница, и он должен метнуть свою огненную стрелу.

Он остался в Риме.

И Луция осталась в Риме, хотя август в том году выдался необычайно жаркий. Может быть, она потому не возвращалась назад в Байи, что потеряла вкус к дому и саду, полным воспоминаний о Маттафии.

Принцы Веспасиан и Домициан нанесли ей визит в сопровождении своего наставника Квинтилиана. События последнего времени дали ему отличный повод тверже внушить мальчикам стоический образ мыслей. «Неомраченным храни в несчастьях дух». Впрочем, ему уже давно не приходилось делать внушения своим воспитанникам, они сохраняли спокойствие, они не жаловались, лица их были замкнуты и суровы. Они были скорее сыновья Домитиллы, чем Клемента, они были истинные Флавии. Еще так короток путь, который они прошли, но весь усеян мертвыми. Теперь им заменял отца человек, который их настоящего отца и, вероятно, их друга отправил в преисподнюю, а мать — в ссылку, в изгнание. Они должны жить бок о бок с этим человеком и только украдкой, только намеком могут поведать друг другу то, что лежит у них на сердце. Человек, назвавший их своими сыновьями, был самым могущественным на свете, их самих в будущем ждала безграничная власть и могущество. Но пока они были безвластнее рабов в рудниках: ведь рабы могут говорить, о чем хотят, могут жаловаться, меж тем как они, сыновья императора, ходят во мраке, который глубже мрака рудников и каменоломен, а издевательский блеск вокруг них — лишь скверная маскировка этого мрака, и даже во сне они не могут снять личину, которую им приказано носить.

Они узнали, что Луция снова в Риме, это было для них радостью и утешением. Но когда они встретились с нею в первый раз, присутствие Квинтилиана сковало их по рукам и ногам. Луция испугалась, увидев, как сильно переменились мальчишки. До чего же быстро переменились они здесь, на Палатине! Все здесь переменилось, а может быть, это она сама видела все до сих пор в ложном свете. Она толком не знала, что сказать мальчишкам, все трое с трудом подбирали слова, находчивому Квинтилиану часто приходилось заполнять мучительные паузы. Наконец Луция не выдержала.

— Подойдите ко мне, — сказала она, — не старайтесь быть взрослыми! Ты будь снова Константом, а ты Петроном, и поплачьте по Маттафию и по вашей матери.

И они обняли ее, и уже больше не обращали внимания на Квинтилиана, и предались сладким и горестным воспоминаниям о Маттафии и невнятным речам гнева.

После этого свидания Квинтилиан охотнее всего вообще запретил бы своим воспитанникам встречаться с императрицей. Но мальчики заупрямились. А Домициан, медлительный, как всегда, еще не решил, когда лучше метнуть в Луцию свою молнию, и потому не хотел доводить дело до открытого разрыва; было решено, что принцы будут посещать Луцию раз в шесть дней.

Глухая и опасная текла жизнь на Палатине, а тяжкий зной этого лета делал ее еще тяжелее, еще невыносимее.

И город тоже чувствовал, что облака сгущаются над Домицианом, римляне много говорили об участившихся в последнее время дурных знамениях. Однажды — грозы в том месяце гремели не умолкая — молния ударила в спальню Домициана, в другой раз буря сорвала с его триумфальной колонны мраморную доску с высеченной на ней надписью. Недовольные среди сенаторов позаботились о том, чтобы поднять вокруг этих знамений побольше шума; многие почитаемые астрологи заявляли, что император не доживет до следующей весны.

Молнию, которая ударила в его спальню, Домициан по всем правилам предал погребению, как того требовал обычай. Надпись с триумфальной колонны он приказал высечь на цоколе, так что впредь никакая буря уже не могла ее снести. Одного предсказателя Норбан арестовал; под пыткой он сознался, что один из сенаторов-оппозиционеров подбил его злоупотребить своим искусством и возвестить ложь. Сенатор был сослан, предсказатель — казнен.

Злые предзнаменования не уменьшили преданности масс императору. Они чувствовали себя уверенно под его рукою. Его сдержанная внешняя политика уже приносила свои плоды. Разорительные войны ради престижа больше не подрывали благосостояния страны, губернаторы грабили свои провинции сравнительно скромно и с опаскою. К тому же народ помнил пышные празднества, которые устраивал Домициан, и его щедрые раздачи. Но если массы были довольны его правлением, тем сильнее ненавидела его высшая аристократия и прослойка крупных богачей. Они горевали об утраченной свободе, возмущались деспотическим произволом, и были люди, у которых темнело в гла-

зах, когда они видели ненавистное, надменное лицо императора.

В числе этих людей был и старый сенатор Кореллий. С тридцати одного года он страдал подагрой. Строгая воздержанность какое-то время облегчала его страдания, но в последние годы недуг овладел всем телом, искривил его и изуродовал; Кореллий испытывал невыносимые боли. Он был стойким, был известен как человек мужественный, и друзья не могли понять, почему он не положит конец своим мукам.

— Знаете,— объяснил он однажды шепотом своему ближайшему другу Секунду,— знаете, почему я преодолеваю себя и терплю это ужасное существование? Я дал себе клятву пережить этого пса Домициана!

Домициан только посмеивался над дурными знаменаниями. Их ложно толкуют, они ничего не значат, достаточно открыть глаза, чтобы увидеть, как счастливо его правление, как растет благополучие и довольство народа. Но чувство реального у императора было слишком остро, чтобы не замечать, что за всем тем и ненависть вокруг растет и растет. И вместе с нею росли его человеконенавистничество и его страх.

Он страшно одинок, он кругом предан и продан. Вот и его Минерва ушла от него, и, наконец, даже Луция его предала. Кто же, собственно, еще остался?

Одно за другим он вызывает в памяти лица друзей — самых близких, самых доверенных. Марулл и Регин. Но они немощные старики, и вдобавок он не знает, насколько твердо можно на них положиться теперь, после смерти Маттафия. Потом — Анний Басс. Этот не так стар. И вполне надежен. Но он простой солдат, тупица, он бесполезен в запутанных делах, требующих особо тонкого понимания. Если даже Луция, несмотря на все его невероятные усилия, так и не смогла его понять, куда уж этому солдафону!.. Далее — Норбан. Но он очень глубоко заглянул в душу своего владыки и бога Домициана, глубже, чем дозволено человеку, слишком глубоко. К тому же именно Норбан вложил ему в руку первое звено этой опасной цепи. Норбан — вернейший из верных, но между ним и Норбаном тоже все кончено.

Остается, по сути вещей, один-единственный: Мессалин. Какая удача, что боги послали Мессалину слепоту! Мертвым глазам Мессалина владыка и бог Домициан может показывать свой лик без боязни, без стыда. Слепцу Мессалину дозволено знать то, чего никто иной знать не должен.

Есть на свете, по крайней мере, один человек, которому Домициан может сказать все, не опасаясь, что позже будет об этом сожалеть.

Домициан сидел, запершись в своем кабинете, но он был не один — с ним, вокруг него были его человеконенавистничество и его страх. Отчего все это? Отчего он так одинок? Отчего эта ненависть вокруг него? Его народ счастлив, Рим велик и могуществен, могущественнее и счастливее, чем когда-либо. Отчего же эта ненависть?

Существует лишь одна причина — вражда бога Ягве. Он отверг примирение, этот бог. Как ни умно остерегался он, император, а все-таки бог Ягве со своим восточным, адвокатским умом уж наверное отыскал в событиях, связанных с мальчиком Маттафием, нечто такое, что дает ему законное преимущество против римского императора. Да, конечно, месть бога Ягве — вот что лишило его покоя.

Но неужели нет никаких средств утишить ярость бога?

Средство есть. Он принесет в жертву богу человека, который подстроил убийство мальчика Маттафия, человека, который вложил ему в руки первое звено цепи, своего министра полиции Норбана. Это великая жертва, ибо Норбан — вернейший из верных.

Он склонился над табличкою для письма. Но на этот раз не круги и завитки появляются на ней, на ней появляются имена. Ибо если уж он посылает Норбана в подземное царство, он отправит в этот мрачный путь не одного: он пошлет и других вместе с ним.

Острые стили медленно вдавливаются в воск, аккуратно, одно под другим, ставит император имя за именем. Вот некий Сальвий, который дерзнул справить годовщину смерти своего дяди — императора Отона, врага Флавиев. С наслаждением вдавливают стили Домициана в воск имя Сальвия. Вот писатель Дидим: свою прославленную историю Малой Азии он пересыпал намеками, которые не понравились императору. Он ставит имя в список и — в скобках — помечает: «Издателя и писцов — тоже». Затем — и это имя он пишет очень быстро — следует Норбан. Он добавляет еще несколько совсем бесцветных. Затем, после очень краткого колебания, приписывает имя Нервы. Правда, этот господин уже в летах, — ему около семидесяти, — и к тому же сдержан, осторожен, его ни в чем не упрекнешь, но как раз потому, что он такой спокойный и рассудительный, вокруг него спланивается оппозиция. Домициан перечитывает имя, оно вполне на месте в этом списке. И лишь затем медленно, тщательно, замысловато-хитрыми буквами выво-

дит он имя Луции. Потом, чтобы не это имя стояло последним, он заключает список несколькими незначительными лицами.

Он с головой ушел в свою работу. Теперь, когда все собраны воедино, он вздыхает облегченно, поднимает глаза, у него такое чувство, словно одержана важная победа. Он встает, потягивается, усьмежается, и со всех сторон в зеркальной облицовке кабинета Домициан отвечает ему усмешкой. Если восточный бог отыскал законный повод выступить против него, то теперь римский император вырвал этот предлог из рук бога Ягве. Он приносит ему в жертву своего Норбана. Теперь бог должен быть доволен, теперь он должен оставить его в покое.

Под вечер Домициан обедал с обоими принцами. Они были совсем одни — Квинтилиан отправился к кому-то из друзей, на чтение. Все последнее время император даже с мальчиками был угрюм и раздражителен, но сегодня, за этой трапезой, их дядя и отец, владыка и бог Домициан выказывал доброе расположение духа. Он весело беседовал с обоими. Они и не догадываются, сколь многим ему обязаны, как много он сделал для того, чтобы облегчить бремя власти, которая их ожидает.

Лица мальчиков были хмуры. Но сегодня он не желал замечать их хмурости и их уныния. Верно, в эти недели они потеряли мать, но какая же тощая, сухая, бессильная, полубезумная была эта мать и какого великого, могущественного, царственного, божественного отца нашли они в нем, расстилающем под ноги им свою славу и свое богатство! Нечего сидеть с такими мрачными лицами, — и он старается подбодрить своих юных и не в меру молчаливых сотрапезников. Он всегда был склонен к грубому шутовству, разом и зловещему и привлекательному. Он делает над собой усилие, он становится подчеркнуто приветлив, он говорит с ними, как с детьми и вместе с тем как со взрослыми, теперь им легче проявить учтивость и поддержать беседу, и вот они уже отвечают на его шутки вежливой улыбкой.

Нет, он никак не был богом в тот вечер, он держался совсем по-человечески, по-дружески. Он осведомился об их увлечениях. Принц Домициан рассказал, между прочим, о павлиньем садке в Байях, сперва он говорил с большим увлечением, но, поймавши взгляд брата, вспомнил, как и тот, о Маттафии, стал скупее на слова и скоро совсем умолк. Однако император, казалось, ничего не заметил; он сделал пометку на своей табличке

для письма, а потом принялся рассказывать о собственных маленьких пристрастиях и слабостях.

Люблю,— доверительно говорил он им,— ошеломять людей неожиданностью, и доброю и дурною, безразлично. Люблю медленные решения и молниеносно следующие за ними действия. Ради такого сюрприза порою позволяю себе не щадить ни времени, ни трудов.

Мальчик Веспасиан сказал:

— И ваши сюрпризы всегда удаются вам, владыка мой и отец?

— Обычно да,— ответил Домициан.

Мальчик Домициан сказал:

— Вы говорите так, владыка мой и отец, словно готовите какой-то новый сюрприз.

— Может быть, и готовлю,— весело и охотно отозвался император.

Оба мальчика подняли глаза, в их взорах были страх, ненависть и любопытство, в то же время им, видимо, льстило, что владыка мира говорит с ними совсем запросто.

— Вот видите,— продолжал император, наслаждаясь выражением напряженного ожидания на их юных лицах,— вы изумлены, что ваш отец без обиняков рассказывает вам о сюрпризах, которые он готовит. А ведь то, что я задумал, напрашивается само собою. Когда дело будет сделано, все найдут, что его-то и следовало исполнить в первую очередь. И все-таки оно явится наподобие дельфина, который вдруг выскакивает из морской глади!

Тут старший из двух, Веспасиан, в приливе мрачного озорства, спросил:

— А люди погибнут от вашего сюрприза, владыка мой и отец?

Изумленный такой дерзостью, Домициан посмотрел на него подозрительно. Потом засмеялся,— разве не он сам вызвал этот дерзкий вопрос своими доверительными речами? — и полушутя объявил:

— Если мы, боги, шутим, тому, с кем мы шутим, иной раз приходится несладко.

Когда Домициан отпустил их, они сказали друг другу: «Он готовит новую бойню, палач...» — «Сюрприз и вместе с тем само собою напрашивается...» — «Кого же еще он может убить?...» — «Нас самих? Но это и не сюрприз, и не напрашивается само собою...»

Домициан удалился в свою спальню; теперь он часто уходил к себе сразу после обеда; императорские покои

остались в распоряжении мальчиков. Но император прямо-таки подбивал их разгадать его сюрприз, разве не так? Они сгорали от любопытства — кто будет следующей его жертвой? Они были Флавии, они были энергичны, мстительны и отчаянно дерзки.

Они пошли к кабинету императора. Вход охранялся капитаном и двумя солдатами.

— Пропустите нас, — попросил принц Веспасиан. — Мы хотим устроить императору сюрприз, мы заключили с ним пари. Если император проиграет, он только посмеется. А если пари выиграем мы, капитан Корвин, мы не забудем, что это вы нас пропустили. Так что вы-то в любом случае выигрываете, капитан Корвин.

Капитан колебался. Караульная служба во дворце всегда была ему не по душе: что ни сделай, куда ни повернись — все опасно. Офицеры гвардии часто острили: «Кому заступать в караул у императора, пусть сперва принесет жертву подземным богам». Если он не даст мальчишкам войти, это может кончиться плохо, пропустить их — тоже может кончиться плохо. Он их не пропускает.

Мальчики были Флавии, сыновья Домитиллы. Полученный отпор только прибавил им настойчивости. Они пошли к спальне императора.

Вход охранялся капитаном и двумя солдатами.

— Пропустите нас, — попросил принц Домициан. — Мы хотим устроить императору сюрприз, мы заключили с ним пари. Если император проиграет, он только посмеется. А если пари выиграем мы, капитан Сервий, мы не забудем, что это вы нас пропустили. Так что вы-то в любом случае выигрываете, капитан Сервий.

Капитан колебался. Если он не даст мальчикам войти, это может кончиться плохо. Он их пропускает.

Домициан лежал на спине, полуоткрыв рот; он спал. Он дышал медленно, равномерно, лицо с очень красными, морщинистыми веками в густой сети жилок выглядело чуть глуповатым, резко выпячивался живот... Одна рука бесильно и безжизненно вытянулась вдоль тела, другую он закинул за голову. Мальчики приблизились на цыпочках. Если он проснется, они скажут все как есть: «Мы хотели разгадать ваш секрет, владыка наш и отец Домициан».

Принц Веспасиан осторожно запустил пальцы под подушку. Он нашел табличку, они с братом прочли именина.

— Запомнил? — прошептал принц Веспасиан.

— Не все, только самые главные,— ответил принц Домициан.

Спящий шевельнулся, тихий всхрип вырвался из полукрытого рта.

— Назад! — прошептал Веспасиан.

Они снова сунули табличку под подушку и крадучись двинулись к двери. Офицер облегченно вздохнул, увидев, что они выходят.

— Мне думается, вы устроили свою судьбу, капитан Сервий,— сказал принц Домициан; он сказал это благосклонно, но с неумолимою твердостью, как подобает принцу.

— Ты заметил? — спросил Веспасиан.— Внизу он написал: «Принцам павлинов». Нас он не думал убивать, нам он хотел подарить павлинов.

И все-таки они решили, что один из них немедленно разыщет Луцию. Веспасиан взял это на себя. Он нашел ее, все рассказал. Она обняла его, поцеловала, горячо поблагодарила. И то был самый высокий час его жизни.

Еще до заката солнца Норбан был у Луции. Он был почти возмущен тем, как настоятельно и тайно вызвала его Луция. Что это еще за важные новости, которые она собирается ему сообщить? Наверно, какие-нибудь дурацкие любовные интриги.

Луция без обиняков рассказала ему о случившемся. Большой, нескладный человек слушал, не шевелясь; в продолжение всего рассказа он не сводил с нее своих карих глаз — злых и преданных, как у цепного пса. Он и после не отвел глаз, он молчал,— видимо, раздумывал,— он ей не верил.

Потом вместо всякого ответа он спросил — в упор, почти грубо:

— У вас было столкновение с владыкой и богом Домицианом?

— Да,— ответила она.

— А у меня не было,— сказал Норбан, и в вызывающем его тоне отчетливо звучало недоверие.— Я говорю с вами откровенно, госпожа моя Луция,— продолжал он.— У вас есть причины относиться ко мне враждебно, у императора — нет.

Но, может, вы слишком много о нем знаете? — предположила Луция.

Это вполне вероятно,— подумал Норбан вслух.— Но ведь допустимы и многие другие варианты. Могло,

например, случиться так, что принц Веспасиан, поддавшись юношеским фантазиям, усмотрел в гибели своего товарища Маттафия и своей матери не роковое стечение обстоятельств, а злой умысел императора?

— Да, не исключено,— в свою очередь, согласилась Луция,— что Веспасиан пришел ко мне именно поэтому и что он солгал. Но, по всей видимости, он не лжет. В глубине души, мой Норбан, вы знаете не хуже меня, что Веспасиан говорит правду, что на табличке написано и ваше имя и мое и что и вы, и я, и мальчик одинаково верно догадываемся, как это следует понимать.

— Охотнее всего я свернул бы ему шею, этому не в меру любопытному Веспасиану,— вдруг проворчал Норбан.

Модные локоны в нелепом беспорядке спадали на низкий лоб над грубым лицом; он выглядел несчастным — злой и верный пес, чей мир разбился вдребезги. При всем своем гневе, горе и озабоченности Луция едва сдержала улыбку, видя неуклюжую ярость злого пса.

— Крепко же вы привязаны к Фузану,— сказала она.— Вы, стало быть, только оттого так растеряны, что он и вам отказывает в доверии?

— Я храню верность,— с ожесточением объявил Норбан.— Но владыка и бог Домициан прав. Владыка и бог Домициан всегда прав. Даже если он хочет меня убрать, у владыки и бога, бесспорно, есть на то свои основания, и он прав. А с этим Веспасианом мы еще рассчитаемся! — бешено пригрозил он.

Но Луция вернула его к действительности:

— Не говорите глупостей, мой Норбан. Взгляните на вещи трезво, как они того заслуживают. Вы мне отнюдь не симпатизируете, да и я солгала бы, если бы стала вас уверять, будто испытываю к вам симпатию. Просто-напросто общая опасность делает нас союзниками. Мы должны опередить DDD, и нам надо торопиться. Всех имен в списке мальчики не запомнили, но некоторые Веспасиан называл. Вот они. Свяжитесь с теми из этих господ, которые могут быть вам полезны. Я позабочусь, чтобы Домициан провел эту ночь у меня. Об остальном позаботьтесь вы!

Норбан посмотрел на нее долгим и напряженным взглядом своих карих глаз, настороженных, но вместе с тем тупых.

— Я знаю,— сказала Луция,— о чем вы думаете. Вы спрашиваете себя, не пойти ли вам прямо к императору и не донести ли ему о том, что я вам сейчас предложила.

Это было бы неразумно, мой Норбан. Собственную казнь мы утним, правда, отсрочили бы, но — и только, не более. Ибо тогда вы будете знать об императоре еще больше, и чем сильнее это будет его мучить, тем настоятельнее будет необходимость вас убрать. Разве я не права?

— Правы, — согласился Норбан. — Ух, этот наглый проныра принц! — проворчал он, не в силах успокоиться.

— Вы бы предпочли ничего не знать и погибнуть, чем теперь, узнав, опередить императора, правда? — с любопытством спросила Луция.

— Да, — горестно подтвердил Норбан. — Мне очень тяжело, — сказал он, искренне сокрушенный. — А вы уверены, — спросил он под конец, снова дерзко и напрямик, — что уговорите императора провести с вами ночь после этой ссоры?

Вопрос не рассердил Луцию, скорее — позабавил.

— Уверена, — сказала она.

«Мой владыка и бог, Домициан, Фузан, DDD, не знаю, какой враждебный бог внушил мне такие дерзкие и глупые слова, которые я бросила вам тогда. Наверное, это Сириус, Звездный Пес, навел на меня слепоту. Но я знаю снисходительность и великодушие императора Домициана. Подумайте и вспомните о той нашей ночи на судне, когда мы плыли в Афины. Подумайте и вспомните о той ночи, когда вы оказали милосердие и вернули меня из ссылки. Простите меня! Придите ко мне и собственными устами скажите, что прощаете меня! Приходите сегодня ночью! Я жду вас. И потом, если вы придете, я уступлю вам строительный материал для вашей виллы в Селинунте за полцены. Ваша Луция».

Прочтя это письмо, Домициан ухмыльнулся. Подумал о своем списке. Подумал о Мессалине, с которым будет завтра обсуждать этот список. Но вспомнил и обе ночи, о которых писала ему Луция.

Домициану бывало приятно, когда те, кого ему предстояло казнить, убеждались, что эта казнь — справедливое наказание, необходимая мера. Он был рад, что Луция признает свою неправоту. В самом деле, как она могла его не любить, коль скоро он удостоил ее своей благоклонности?! Но в сути вещей это ничего не меняло. Преступление Луции не стало меньше оттого, что государственная изменница Луция — вдобавок еще и женщина, которая его любит. Он был по-прежнему тверд в своем

намерении, он даже не подумал о том, чтобы вычеркнуть ее имя из списка.

Но приглашение он все же примет. Она замечательная женщина. Когда он вспоминает о шраме под ее левой грудью, у него слабеют колени. Боги благосклонны к Домициану, если дают ему еще раз поцеловать этот шрам. Она изобильная женщина, женщина ему под стать и под силу. Жаль, что она государственная изменница и уже никогда больше не сможет написать ему такое письмо.

Итак, император пришел к Луции и спал с нею. После объятий его крупная голова тяжело лежала на ее плече. Но Луция не убирала руку. При тусклом свете масляной лампы она разглядывала спящую голову, под чертами одутловатого, обмякшего, усталого лица искала то, что увидела впервые еще тогда, когда все называли его «Фруктом» и он был настоящим никудышником, в которого никто не верил, никто, кроме нее. А теперь она не чувствовала к нему ни любви, ни ненависти, она не жалела о своем решении, но ничего не осталось в ней и от той жестокой радости, которую она испытала, поставив Норбана на службу себе и своей мести. Она ждала, и сердце ее, словно руку, придавленную спящею головой, томила тяжесть.

Наконец явился Норбан и его люди. Но проникнуть в спальню бесшумно, как они рассчитывали, им не удалось: Домициан, со своей неизменной подозрительностью, захватил с собою двух офицеров, которые встали на часах у входа. Поэтому, когда заговорщики появились в дверях, Домициан сел в постели.

— Норбан! — позвал он. — В чем дело?

Норбан надеялся захватить своего владыку во сне. Услышав его зов, он смешался и замер у двери.

Император уже совсем проснулся, он увидел людей за спиной у Норбана, увидел оружие, увидел лицо Норбана и его замешательство. Все понял. Вскочил с ложа, нагой, как был, попытался прорваться к выходу, бросился на людей, заслонявших ему дорогу, пронзительно закричал, призывая на помощь. Кто-то сделал выпад мечом, но промахнулся. Император отбивался, боролся, не умолкая кричал.

— Луция, ты, сука, помоги же мне! — крикнул он срывающимся голосом и обернулся к ложу.

Луция стояла на коленях, нагая по пояс, и тяжелым, печальным, напряженным взором следила за человеком, который пытался спасти свою жизнь.

— 'Это тебе за Маттафия, — сказала она, и голос ее звучал удивительно спокойно и обыденно.

И тут он понял, что это бог Ягве поднялся на него, и перестал сопротивляться.

Еще до света весь город знал об убийстве императора.

Первым движением Анния Басса, после того как он оправился от овладевшего им чудовищного и неистового страха, было провозгласить государями приемных сыновей убитого, принцев Веспасиана и Домициана. Офицеры и солдаты гарнизона были преданны Домициану, и с их помощью Анний мог бы заставить сенат признать новых императоров. Но у него не хватило бесцеремонности и проворства, чтобы представить сенату «своих» принцев, не сговорившись предварительно с Маруллом и Регином.

Когда же он наконец снесся и связался с обоими, было уже слишком поздно. Старый Нерва, глава сенатской оппозиции, которого Домициан включил в свой список, был извещен Норбаном о событиях еще до того, как они совершились, и немедленно созвал сенат. Если покушение окажется неудачным, сказал он себе, он вознесет богам благодарственную молитву за спасение императора, а если все сойдет удачно, он позволит своим друзьям выбрать себя преемником Домициана. И вот, едва рассвело, господа избранные отцы собрались, и к тому часу, как Марулл и Регин появились наконец в сенате, — Анний меж тем поднимал по тревоге гарнизон, — уже было внесено предложение память об умершем предать проклятию.

Едва представ перед коллегами, Марулл с возмущением приготовился возражать, но ему и еще нескольким верным Домициану сенаторам не дали сказать ни слова. Все наперебой, взхлеб поносили низвергнутого владыку. В неистовой спешке они принимали одно решение за другим, чтобы растоптать и опорочить самое имя Домициана. Они постановили, что по всей империи изображения его будут сброшены с цоколя, а доски с надписями в его честь разбиты или пущены в переплавку. А под конец Маруллу и его сторонникам пришлось стать свидетелями такого зрелища, какого никогда еще от основания города не являл собою римский сенат. В упоении вновь обретенною властью, полные черных воспоминаний о позоре, который они так долго терпели, о своих заседаниях, когда они сами, собравшись здесь же, приговаривали к смерти своих лучших, своих пожей, — сенаторы созвали мастеровых и рабов, чтобы

немедленно и зримо предать проклятию его память. Мало того — они сами приняли участие в этой работе. Собственными руками желали они истребить, стереть в прах наглого деспота. Неловкие в своих башмаках на толстой подошве, в своих пышных одеяниях, они хватали ломы, топоры и секиры, взбирались по лестницам и осыпали ударами бюсты и медальоны ненавистного врага. С наслаждением швыряли наземь статуи с надменным лицом умершего, дробили и корежили каменные и металлические руки и ноги, под дикие вопли сложили в вестибюле курии какое-то подобие костра и бросили в него изуродованные до неузнаваемости скульптуры.

Покочив таким образом с деспотией, с правлением одного, они заменили его режимом свободы — правлением шестидесяти самых влиятельных сенаторов — и выбрали императором Нерву.

У этого пожилого господина, человека высокообразованного, большого знатока права и искусного оратора, благожелательного, либерального, гуманного, выдался бурный день, бурная ночь и еще полдня, такие же бурные. Все последние месяцы его мучила тревога, как бы Домициан не расправился с ним, несмотря на всю его осторожность. Вместо этого он, на семидесятом году, не только пережил сорокапятiletнего императора, но и захватил его престол. Теперь, после треволнений и неожиданностей этих полутора суток, он — как и следовало ожидать — был совершенно обессилен, и радость от того, что он может отправиться домой, принять ванну, позавтракать, лечь в постель, была почти столь же велика, как и радость власти над целым миром.

Но вкусить желанного покоя так скоро ему не пришлось. Едва он добрался до дому, как во главе большого отряда войск и в сопровождении Маруллы и Регина появился Анний. Анний негодовал на собственную медлительность и слабодушие, — ведь приемным сыновьям его почитаемого владыки и бога это тугодумие стоило власти над миром, принадлежавшей им по праву. Он хотел спасти то, что еще можно было спасти. Он вломился к Нерве и произнес бессвязную речь, полную угроз; армия не потерпит, заявил он, чтобы Флавиев, покорителей Германии, Британии, Иудеи и Дакии, мошеннически лишили престола. Новый император был человеком благородных, сдержанных правил; громкий, грубый говор Анния нестерпимо его раздражал, и потом, многое в этой неуместной болтовне не выдерживало никакой критики с юридической точки зре-

ния. Но он очень устал, он чувствовал себя не в форме, и, наконец, у того было тридцать тысяч солдат, а у него за спиною — всего пятьсот сенаторов. И он предпочел до поры, до времени закрыть глаза на неподобающее поведение грубого генерала; он вежливо обернулся к двум остальным «гостям», которых знал за людей обходительных, и любезно осведомился:

— А вам что угодно, господа?

Оба господина, реалисты до мозга костей, хотя и не сомневались, что гарнизон столицы на их стороне, однако далеко не были уверены, останутся ли верны Флавиям армии в провинциях. С другой стороны, безобразное поведение сенаторов глубоко их возмутило. Вид этих немолодых людей, — то, как они в своих башмаках на толстой подошве и отороченных пурпуром одеждах, с трудом нащупывая ногой ступеньки, взбирались по лестницам, чтобы ударить в мраморное или бронзовое лицо человека, чью живую руку, всего только три дня назад, наперебой рвались облобызывать, — этот вид вызвал у обоих омерзение, тошноту. Теперь они, в свою очередь, желали устроить демонстрацию.

Новый император, начали они, юрист, не так ли? Пусть же он обратит острие закона против тех, кто предательски умертвил прежнего императора. Они вели беседу по всем правилам хорошего тона, они отнюдь не подчеркивали через каждое слово, — как грубиян-генерал, — что, дескать, за нашей спиною стоит армия. Они требовали немногого, они требовали лишь одного: наказания виновных. Но этого они требовали безоговорочно и в кратчайший срок, тут они были непреклонны. И Нерве пришлось — и то было первым решением, первым действием нового государя, в принципе человека справедливого, достойного и даже благожелательного — без прекословий выдать им головою зачинщика, Норбана — того, кому он был обязан своим престолом.

Сделав эту вынужденную уступку, Нерва понял, что должен, ни минуты не медля, принять необходимые меры предосторожности. Нет, ему еще нельзя опустить на подушку свою усталую, старую голову, если только он не хочет подвергать эту старую голову опасности оказаться в конце концов снесенной с плеч, на которых она сидит до сих пор. Прежде чем вернуться в спальню, нужно еще написать письмо. И старый император (каждая косточка у него ноет от усталости) диктует письмо. Он предлагает своему молодому другу генералу Траяну, главнокомандую-

щему армиями на германской границе, разделить с ним власть. И лишь затем ложится в постель.

А Марулл и Регин отправились к Луции. Они хотели спасти Луцию, и они хотели наказать ее.

— Я не стану обсуждать с вами мотивы ваших действий, владычица моя и богиня Луция, — начал Регин, — но было бы тактичнее и, пожалуй, умнее, если бы вы обратились не к Норбану, а к кому-нибудь еще, например к нам.

— Я верю, что вы мне настоящие друзья, вы, мой Регин, и вы, мой Марулл, — ответила Луция. — Но скажите по совести, если бы вам пришлось выбрать между Домицианом и мною, кого спасти — его или меня, — разве вы решили бы в мою пользу?

— Быть может, нашелся бы какой-то выход, — предположил Марулл.

— Нет, не нашелся бы. — В голосе Луции была усталость. — Моим естественным союзником оказался Норбан.

— Во всяком случае, — заключил Регин, — оба хорошеньких мальчика по вашей вине лишились престола, а вы, моя дорогая Луция, подставили под удар себя и свои кирпичные заводы.

— На вашем месте, дорогая Луция, — сказал Марулл, — я бы все же осведомлял о своих планах таких старых, добрых друзей, как мы, — настолько своевременно, чтобы, с одной стороны, ответными действиями они уже не могли повредить вам, а с другой — к примеру говоря — могли бы принести пользу юным принцам.

Луция задумалась. Потом сказала рассудительно:

— Да, тут вы правы.

— Жаль его, — сказал Регин, помолчав. — Люди часто бывали к нему несправедливы.

— Если вы метите в меня, — отозвалась Луция, — если хотите потребовать, чтобы я с вами согласилась, вы требуете слишком многого. Такой объективности не найдет в себе ни одна женщина, после того как на жизнь ее покушались и она была на волосок от гибели. И еще вспомните, пожалуйста, о моем Маттафии!

— И все-таки к нему часто бывали несправедливы, — упрямо повторил Регин.

— Оставимте приговор историкам и поэтам, — сказал Марулл примирительно. — Займемся-ка лучше вашим ближайшим будущим, Луция. У нас есть основания предполагать, что вам грозит опасность. Наш Анний Басс и его солдаты не очень-то к вам расположены.

— Вы уполномочены передать мне их требования? —

вызывающе спросила Луция. — За вашей спиной стоит армия? — продолжала она насмешливо.

— Да, за нашей спиной стоит армия, это верно, — мягко и терпеливо отвечал Регин, — но то, с чем мы пришли, вовсе не требования, а только советы.

— Что же вам угодно? — спросила Луция.

— Мы бы хотели, — четко определил Регин, — чтобы над телом Домициана был справлен погребальный обряд — достойным образом, в согласии с обычаем. Сенат предал проклятию его имя и память о нем, это вам известно. Публичные похороны могут привести к беспорядкам. А потому мы предлагаем: сложите Домициану костер как можно скорее, если не в самом Риме, то хотя бы поблизости, скажем — в вашем Тибурском парке.

Луция не испытывала больше ненависти к мертвому, но похороны всегда вызывали в ней отвращение, и это отвращение, как в зеркале, изобразилось на ее живом лице.

— Как страшно вы умеете ненавидеть! — сказал Марулл.

Но тут лицо ее разгладилось.

— Я не ненавижу Фузана, — сказала она внезапно изменившимся, очень усталым голосом; в этот миг она выглядела старухой.

— Мне кажется, — сказал Марулл, — было бы во вкусе DDD, если бы погребение ему устроили именно вы. Вспомните, что он, именно он сам желал похоронить Маттафия!

— И было бы разумно, — добавил Регин, — если бы именно вы исполнили погребальные обряды. Тогда, надо полагать, сразу умолкли бы слухи, будто вы каким-то образом замешаны в преступлении предателя Норбана.

— Предатель Норбан, — задумчиво повторила Луция. — У DDD не было человека более преданного.

— Но ведь и вы тоже, дорогая Луция, конечно, относились к нему без всякой ненависти, — пошутил Марулл, сделав выразительное ударение на слове «вы».

— Хорошо, — уступила Луция, — я его похороню.

Оказалось, однако, что останков Домициана на Палатине нет. Тело тайно унесла, невзирая на опасность, старая кормилица императора — Филлида.

Они отправились в дом Филлиды, простой деревенский дом в предместье Рима. Да, мертвое тело было там. Филлида — невероятной толщины старуха — не пожалела денег: труп был уже омыт, умащен, надушен благовониями, на-

ряжен и убран, самые дорогие косметисты, должно быть, потрудились над ним. Филлида сидела у погребального ложа, по ее обвислым щекам бежали слезы.

Мертвый Домициан был исполнен спокойствия и достоинства. Ничего не осталось от хвастливого величия, которое ему случалось судорожно разыгрывать при жизни и которым нередко бывал отмечен его облик. Брови, обыкновенно с угрозой сдвинутые, больше не хмурились, опущенные веки скрыли близорукие глаза, так угрюмо и жестоко смотревшие прежде, и ничто, кроме решительного подбородка, не напоминало теперь о бывшей через край энергии его лица. Лавровый венок покрывал облысевший череп, другие знаки власти старуха, к своему горю, раздобыть не смогла. Но мертвый казался красивым и мужественным, и Марулл с Регином нашли, что DDD выглядит теперь царственнее, чем во многих, столь многих случаях, когда он изо всех сил старался быть владыкою и богом.

Старуха уже сложила дрова для костра. Она сказала, что не даст Луции, убийце, присутствовать при сожжении. Оба господина снова отправились к Луции; они предлагали силой перевезти труп из дома Филлиды в Тибур, в поместье императрицы. Но Луция не согласилась. В глубине души она была рада поводу отказаться от демонстративного жеста, к которому ее принуждали Марулл и Регин. Она уже снова была прежней Луцией. Она любила Домициана, он делал ей добро и делал ей зло, и она отвечала ему добром и злом, — счета сведены, мертвый не вправе чего бы то ни было от нее требовать. Последствий своего поступка, Анния и его солдат она не боялась.

Итак, лишь Марулл, Регин и Филлида видели, как легло на погребальный костер тело последнего императора из династии Флавиев. Они открыли мертвому глаза, поцеловали его, потом, отвернув лица, разожгли костер. Благовония, которыми был напитан труп, разливали сильный аромат.

— Прощай, Домициан, — кричали они, — прощай, владыка и бог Домициан!

А Филлида выла, и голосила, и рвала на себе одежды, и раздирала ногтями свою жирную плоть.

Марулл и Регин смотрели, как догорает костер. Вероятно, никто — даже Луция — не знал лучше, чем они, слабостей умершего, но и достоинств его никто не знал лучше.

Потом, когда костер догорел, Филлида залила тлеющие

угли вином, собрала кости, смочила их молоком, вытерла льняною тканью и, смешав с душистыми мазями, положила в урну. Ночью, благодаря заступничеству Маруллы и Регины, ее тайно пропустили в фамильное святилище Флавиев. Там погребла она прах Домициана — смешала с прахом Юлии, которую тоже выкормила своею грудью; ибо негодующая старуха считала, что не Луции место рядом с Домицианом, но что четою и парюю ее орлу Домициану была и остается ее голубка Юлия.

На следующий день старый, скрюченный подагрой сенатор Кореллий, который до сих пор мужественно терпел невыносимые муки, вскрыл себе вены в присутствии своего друга Секунда. Он достиг цели, он увидел смерть проклятого деспота и возрожденную свободу. День настал. Он умер счастливый.

День настал. В своем рабочем кабинете сидел сенатор Корнелий, историк, и передумывал все случившееся. Резкие складки на мрачном, землистого цвета лице залегли еще глубже — то было лицо старика, хотя ему только недавно перевалило за сорок. Он вспоминал мертвых друзей — Сенециона, Гельвидия, Арулена; полный скорби, думал он о том, как часто и как тщетно призывал их к благоразумию. Да, в этом было все: высказывать благоразумие, высказывать терпение и таить злобу в сердце, пока не придет срок выпустить ее на волю. И срок настал. Пережить эру ужаса — вот что было главное. И он, Корнелий, ее пережил.

Благоразумие — отличное качество, но счастья оно не дает. Сенатор Корнелий не был счастлив. Он вспоминал лица своих друзей, ушедших из жизни, лица женщин, ушедших в ссылку. Непреклонные лица, и вместе с тем лица людей, которые смирились. Они были героями, а он — только человеком и писателем. Они были только героями, а он — человеком и писателем.

Он был историком. События следовало оценить с исторической точки зрения. Для времен основания государства, для времен республики были необходимы герои, для следующих веков, для империи требовались благоразумные люди. Основать государство мог только героизм. Утвердить его и охранить мог только разум. И все-таки хорошо, что они жили на свете — Гельвидий, и Сенецион, и Арулен. Герои нужны любой эпохе — чтобы сберечь героизм для тех времен, которые не смогут существовать без героизма.

И он радовался, что ему предстоит облечь в слова накопившуюся ненависть к тирану и полную любви, полную скорби память о друзьях. Он привел в порядок многочисленные заметки и зарисовки, которые прежде делал для себя одного, и принялся набрасывать введение — общую картину эпохи, которую должна была изобразить его книга. В мощных, сумрачных фразах, громоздившихся будто каменные глыбы, живописал он ужасы и преступления Палатина и находил для героизма своих друзей слова широкие и светлые, как небо раннего лета.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В этот свежий день, в самом начале весны, когда Иосиф с Иоанном Гисхальским шли по плантации шелковицы, никто бы не дал им — ни тому, ни другому — их лет. Семь десятков посеребрили сединой бороду Иосифа и изменяли его худое лицо, но теперь, под ветром, оно посвежело, и глаза смотрели оживленно. И если усы Иоанна стали совсем белые, то и на его смуглом, хитром и почти не тронутом временем лице играл румянец, а лукавые глаза смотрели совсем молодо.

Иосиф третий день гостил у Иоанна в Гисхале. Иоанн знал, что его гость довольно равнодушен к сельскому хозяйству, но не мог сдержать своей мужицкой гордости и, хоть сам над собою посмеивался, снова потащил Иосифа по всему обширному образцовому имению, а Иосиф должен был смотреть и восхищаться его замечательными давальными прессами, его винными погребами, его гумнами, в особенности же его посадками тутовых деревьев и его шелковыми мануфактурами.

Он смотрел и восхищался машинально, мысли его были далеко, он вкушал ту радость, которая охватила его, когда он вновь очутился в Галилее.

Вот уже почти двенадцать лет, как он жил в Иудее, вдали от Рима, нового и очень чуждого ему Рима солдатского императора Траяна. Нет, он нисколько не жалел об этом милитаристском, дисциплинированном, безукоризненно организованном и очень холодном Риме, Рим отвернулся от него, он был так же не способен найти общий язык с трезвым, практичным, светски безучастным римским обществом, как это общество — с ним.

Но и в Иудее он не обжился, не освоился. Иногда, правда, он пытался уговорить себя и своих друзей, что

ему хорошо в тишине его поместья Беэр Симлай. Достаточно долго был он одиночкой, исключением, теперь, в старости, он не ищет ничего лучшего, как раствориться во всеобщем. И все-таки, если быть совсем откровенным, в глубине души он чувствует себя неуютно в этой своей тишине.

Имение Беэр Симлай, которое он когда-то купил по совету Иоанна, процветало. Но в нем, в Иосифе, там никто не нуждался: его сын Даниил, теперь уже двадцатипятилетний молодой человек, вырос под присмотром старого Феодора в способного и увлеченного своим делом хозяина, и присутствие Иосифа было скорее помехой, нежели помощью. И вообще благополучие имения — насколько в силах предвидеть человек — казалось обеспеченным: вся окрестность Кесарии, столицы провинции, находилась под особым покровительством римских властей. Правда, земли эти были заселены главным образом сирийцами и выслужившими свой срок римскими солдатами, а немногочисленные евреи смотрели на Иосифа исподлобья и без конца злословили насчет расположения, которым он пользуется у римлян даже при новом императоре Траяне. Мара предпочла бы жить в «настоящей» Иудее, чем здесь, среди «язычников», и Даниил страдал от недоверия и насмешек еврейских соседей. Вместе с тем жене и сыну процветание поместья доставляло немало радости, конечно, гораздо больше, чем ему самому.

Мара встретила весть о гибели Маттафия спокойнее, чем он ожидал; она не прокляла мужа, не разразилась неистовыми укорами. Но узы, связывавшие их, распались. Внутренне она отреклась от него — от убийцы двух ее сыновей, не избранника божия видит она в нем теперь, но поверженного, — беда ползет по его следам! Впрочем, она так отдалилась от мужа, что уже и не говорит, не спорит с ним об этом. Они спокойно живут бок о бок — в дружеском отчуждении.

И отношения с сыном, с Даниилом, сложились не так, как следовало бы. Дело не только в том, что Даниила угнетает дурное мнение еврейских соседей о его отце, — до мозга костей он сын своей матери, он унаследовал ее уравновешенность, ее вежливую сдержанность. Он безупречный сын, но робеет перед своим безудержным и непонятным отцом, и все попытки Иосифа завоевать его доверие терпят неудачу.

Так и живет Иосиф — в полном одиночестве посреди размеренной и деятельной жизни своего поместья. Он пи-

шет, проводит много времени над своими книгами. Иногда навещает друзей: например, едет в Ямнию, к верховному богослову, или, как теперь, — в Гисхалу, к Иоанну. У него много друзей в этой стране, — после «Апиона» он пользуется уважением большинства евреев. Но уважение лишено теплоты — прежнего двуручничества ему не забывают. Он живет в Иудее чужеземцем среди собственного народа.

В последнее время им овладела странная непоседливость. Повинна в ней, как ему кажется, шаткость политического положения. Ибо большой восточный поход, который готовит воинственный император Траян, чреват новыми опасностями и для Иудеи. Но на самом деле то, что гонит Иосифа прочь из мира и тишины его поместья Беэр Симлай, сидит в нем самом. Как во времена его юности, в далекие времена, когда он писал:

Сорвись с якоря своего, — говорит Ягве, —
Не терплю тех, кто в гавани илом зарос,
Мерзки мне те, кто гниет среди вони безделья.
Я дал человеку бедра, чтобы нести его над землей,
И ноги для бега,
Чтобы он не стоял, как дерево на своих корнях.

Он не выдерживает в своем Беэр Симлае. Он пускается в путь, без всякой определенной цели странствует он по Иудее — туда-сюда; только в канун праздника пасхи, то есть не раньше чем через три недели, намерен он вернуться в свое поместье.

И вот он гостит у Иоанна. Иоанн переехал в Иудею гораздо позже, чем Иосиф. Иоанн не изменил прежнему решению и расстался с Римом и с делами в Риме лишь тогда, когда твердо уверился в собственном умении владеть своим пламенным сердцем патриота. И верно, все пять лет, что он живет в Иудее, он мужественно противится искушению помочь «Ревнителям дня». Эти годы он посвятил работам о том, чтобы заново — богато и пышно — отстроить свой родной город, древний горный городок Гисхалу, который был разрушен сперва в Великую иудейскую войну, а потом, еще раз, во время восстания «Ревнителей». А самое главное — он сделал из своего имения под Гисхалой образцовое хозяйство.

Они обходят поместье, два старика, и Иоанн показывает другу свои нововведения на тутовых, масличных и виноградных плантациях. Светит яркое, молодое и ласковое солнышко первых весенних дней, оба радуются его лучам. Но если не хочешь озябнуть, надо двигаться поживее. Они

идут быстрым шагом, Иосиф немного сутулясь, Иоанн — он ростом пониже — совсем прямой. Иоанн болтает без умолку. Он видит, что Иосиф его не слушает, но ему и не нужен внимательный слушатель, он просто радуется тому, что сделано и достигнуто, хочет выговорить свою радость и сам посмеивается над своею старческой болтливостью. Все же ему хочется вовлечь Иосифа в настоящий спор; с шутливой запальчивостью он начинает:

— Вы сами видите, дорогой мой Иосиф, моя недвижимость в хорошем состоянии, это то, что люди называют образцовым хозяйством. И, однако, это образцовое хозяйство не приносит мне никакого дохода, наоборот, я несу убытки, и если я не сбываю его с рук, так только потому, что оно доставляет мне удовольствие. Мне доставляет удовольствие производить отличное вино, отличное масло, отличный шелк. А теперь, прошу вас, продолжим наше рассуждение: если уж я, со всеми особыми льготами, которые мне предоставляют римские власти, не могу выжать из хозяйства никакой прибыли, как прикажете кормиться трудом своих рук обыкновенному крестьянину? Новые налоги и пошлины, которыми облагает восточные провинции министр финансов Траяна, попросту губят мелкого крестьянина. А ожидаемого результата, конечно, нет, потому что италийское вино даже и при таких условиях не становится лучше и спрос на него не возрастает. Не знаю, как в других местах, а у нас в Иудее все это ведет лишь к одному — к росту беспорядков в стране.

— К росту беспорядков? — переспросил Иосиф, теперь он был само внимание.

Иоанн искоса поглядел на него.

— Судя по моей Галилее,— сказал он и улыбнулся скорее удовлетворенно, чем злорадно,— нигде в Иудее крестьяне не могут быть особенно довольны новыми эдиктами. Нет сомнения, что «Ревнителю дня» повсюду поднимают голову. Возможно даже, что именно в этом и состоит главная цель, которую римляне преследуют своей странной финансовой политикой. Я вполне себе представляю, что до того, как Траян начнет Восточную кампанию, некоторые военные захотят навести порядок здесь, в Иудее, точнее говоря — то, что они называют порядком. А для этого есть ли средство лучше, чем спровоцировать восстание и, подавляя его, раз и навсегда покончить со всеми не вполне надежными элементами? Впрочем, дело не только в финансовой политике римлян,— продолжал он.— Да, хоть я по-прежнему стою на том,— он улыбнулся, дойдя до

предмета их вечного спора с Иосифом, — что при разумных ценах на вино и на масло не было бы ни Иудейской войны, ни второго восстания, я все-таки охотно с вами соглашусь, что в наших иудейских войнах дерутся не только за цены на масло, но и за Ягве. И то и другое должно стать проблемой — не только рынок, но и Ягве. А иначе настоящего накала не возникает.

— Значит, вы считаете, — спросил Иосиф, — что и Ягве теперь опять проблема?

— Тут, доктор Иосиф, — отвечал Иоанн, — слово за вами, не за мною. Но если вы желаете знать мнение обыкновенного помещика, который смотрит на своего Ягве не как богослов, а просто как человек, не лишенный здравого смысла, охотно вам отвечу. Идея Иоханана бен Заккаи заменить утраченное государство и утраченный храм Ямнией была превосходна, — в ту пору, после катастрофы, другого способа сохранить единство нации не было. Обряд и Закон действительно заменили тогда государство. Но постепенно, по мере того как подрастало новое поколение, не знавшее государства и храма, смысл обряда утрачивался, и сегодня Закон — это груда формул, обряд душит смысл, Иудея задыхается под властью книжников — пустое слово не может надолго заменить бога. Чтобы обрести значение и жизнь, богу нужна своя страна. Вот что и делает сегодня Ягве проблемой, понимаете? Истинно новую жизнь Ягве сможет обрести только тогда, когда Иудея из временного пристанища для его евреев снова сделается страной его евреев. Ягве нужно тело. Его тело — этот край, его жизнь — эти масличные рощи, виноградники, горы, озера, Иордан и море, и пока Ягве и эта страна оторваны друг от друга — оба мертвы. Не сердитесь, что я ударился в поэзию. Ведь простой старик помещик не может, конечно, выражать свои мысли так же ясно, как вы.

Иосифу было что возразить против такого языческого представления о божестве, но он промолчал. Не возражая Иоанну, он сделал вывод:

— Стало быть, если обе проблемы, Ягве и рынок, настоятельно требуют разрешения, вы находите, что и внешние и внутренние условия для восстания уже сложились? Вы считаете, что «Ревнителю грядущего дня» с полным правом могут сказать: «День настал»? Правильно я вас понимаю?

— Какой вы еще молодой в ваши семьдесят лет, — отозвался Иоанн, — и какой горячий! Но так просто вы меня в угол не загоните. Разумеется, пока оба эти во-

проса — Ягве и состояние рынка — не заострятся до предела, восстание невозможно. Это я действительно сказал. Но я не говорил, будто эти факторы — единственно необходимые предпосылки восстания. Если хотите знать мое мнение, то первое и важнейшее условие заключается в том, чтобы военные шансы такого восстания были не слишком плохи.

— Тогда все, что вы сказали, остается чистейшей теорией, — отозвался Иосиф разочарованно.

— Вы опять хотите загнать меня в угол, — шутливо упрекнул его Иоанн. — Можем ли мы сегодня предвидеть, каковы будут военные шансы «Ревнителю», когда этот Траян действительно начнет свою Восточную кампанию?

Тут Иосиф потерял терпение.

— Так вы осуждаете планы «Ревнителю дня», — спросил он, — да или нет?

— Я не занимаюсь политикой, — вывернулся Иоанн. — Как вы знаете, прежде чем покинуть Рим, я основательно покопался в своих чувствах и, только твердо уверившись, что мое сердце уже не сможет сыграть со мною никаких шуток, позволил себе вернуться в Иудею.

В раздраженном молчании Иосиф шагал рядом с Иоанном. Потом Иоанн заговорил снова:

— Впрочем, мое смирение — не препятствие для кое-каких мечтаний. Предположим, к примеру, что «Ревнителю» не так благоразумны, как мы с вами, и что даже при совсем ничтожных шансах они все-таки поднимают свое восстание. Могли бы вы представить себе большее счастье для нас обоих, чем увлечься их порывом? Вы только вообразите, как бы мы ожили и помолодели, мы, ветхие старики, которым нечего больше ждать от жизни! Я не люблю громких слов, но погибнуть на таком взлете — более замечательной кончины я не могу для себя придумать!

Иосифа поразило, что его собеседник столь беззащитно высказывает подобные чувства.

— Вы страшно эгоистичны, Иоанн, — сказал он. — Ведь это недопустимо, это просто неприлично в нашем возрасте вести себя так по-мальчишески безрассудно!

— А вы стали настоящим сухарем, — укоризненно покачал головой Иоанн. — Вы разучились понимать шутки. Конечно же, я только шутил. Но раз вы хотите судить совершенно трезво и быть до конца справедливым, согласитесь: если мечта о восстании согревает мне сердце, так это не один эгоизм. Вероятно, новое выступление

«Ревнителей» провалится так же быстро, как прежние. И все равно — бессмысленным оно не будет. Я думаю сейчас о проблеме Ягве. Восстание было бы предупреждением: не забывайте об Иудее, поглощенные обрядом и словом, не забывайте о стране. И это предупреждение необходимо. Человек забывает ужасающе быстро! Было бы совсем неплохо, если бы нашим евреям снова напомнили об их стране — о том, что это *их* страна. А в противном случае боюсь, как бы ученые окончательно не погубили Ягве, а Иудея не задохнулась в Ямнии.

— Скажите мне, — настаивал Иосиф, — военные приготовления уже начались? Вы знаете что-нибудь определенное о планах «Ревнителей»?

Иоанн поглядел на Иосифа с доверительной, лукавой и бесцеремонной усмешкой, молодившей его лицо.

— Может быть, и знаю кое-что, а может, и нет. Ничего определенного я знать не хочу, потому что в политику не вмешиваюсь. А все мои излияния — досужая болтовня. Так, видно, изливает душу перед другом всякий старик, когда снова приходит весна, и он пригрелся на солнышке, и у него развязался язык.

Но теперь Иосиф отвернулся, не на шутку раздраженный, и не сказал больше ни слова. Тогда Иоанн подтолкнул его локтем и промолвил с хитринкой в голосе:

— Но если даже я ничего не знаю, я достаточно хорошо знаю своих людей и кое-какие вещи угадываю чутьем, как угадываю погоду. А потому, мой дорогой Иосиф, примите один маленький совет. Если вы собираетесь путешествовать по Иудее именно теперь, то отправляйтесь сперва в Кесарию, и пусть вам в губернаторском дворце выдадут надежный документ, который мог бы удостоверить вашу личность при любых обстоятельствах. Я это только так... на всякий случай...

Назавтра Иосиф распрощался с Гисхалой. Иоанн проводил его далеко, и когда Иосиф, пустив коня вскачь, через некоторое время оглянулся, Иоанн все стоял на дороге и глядел ему вслед.

В Кесарии, куда Иосиф, следуя совету Иоанна, приехал за новым пропуском, он нанес визит губернатору. С тою подчеркнутой и отстраняющей учтивостью, какая была свойственна почти всем доверенным лицам императора Траяна, Лузий Квиет пригласил всадника Иосифа Флавия к ужину.

Сидя в окружении высших военных и гражданских властей провинции, Иосиф чувствовал себя здесь бесконечно чужим и одиноким. Вопреки нарочитой любезности господ собравшихся, он снова, уже в который раз, ощутил, что они принимают его далеко не безоговорочно. Он не принадлежал к их числу. Конечно, благодаря своему прошлому и своим привилегиям он был связан с ними теснее, чем кто-либо иной; но в конечном счете он оставался для них платным агентом — не более.

Говорили о надвигающихся событиях. По всей вероятности, если Восточная кампания действительно начнется, по всей Сирии, Иудее и Месопотамии вспыхнут волнения. Иоанн был прав. Господа за столом у губернатора почти не скрывали, что такое восстание было бы им на руку. Оно дало бы желанный повод основательно прочистить эту Иудею — территорию, где будут накапливаться войска и пройдут линии коммуникаций, — прежде чем армии выступят к отдаленным границам Востока.

Как расспрашивают самого сведущего эксперта, так снова и снова спрашивали Иосифа, можно ли предполагать, что «Ревнителю дня» все же воздержатся от восстания, сознавая его безнадежность. Иосиф разъяснял, что подавляющее большинство еврейского населения настроено совершенно лояльно и что «Ревнителю» мыслят достаточно здраво, чтобы не начинать восстания, не имеющего никаких видов на успех. Губернатор Квиет слушал внимательно, но, как показалось Иосифу, без всякого доверия.

Впрочем, и Иосиф говорил без присущей ему силы убеждения. Напротив, он был необычно рассеян. Дело в том, что с первой же секунды, едва переступив порог губернаторского дома, он высматривал повсюду одно лицо — лицо Павла Басса, человека, который лучше всех знал военную обстановку в провинции Иудее: губернаторы менялись, но полковник Павел оставался; собственно говоря, правителем Иудеи был он, и если губернатор давал прием, гости ожидали увидеть и Павла. А с другой стороны, разумеется, исключено, чтобы Павел появился здесь, зная, что встретит отца. И все же, как это ни глупо, отец не перестает искать его глазами.

На следующее утро Иосиф отправился в правительственное здание за паспортом. Чувство отчуждения и враждебности захлестнуло его, когда он вошел во дворец —

холодный, белый, роскошный, несокрушимый и грозный, символ Траянова Рима.

Ведомство, в которое ему надлежало обратиться, размещалось в левом крыле здания. Когда, быстро уладив дело, он, с новым паспортом за пазухой, пересекал большой зал, чтобы выйти через главные двери, в эти двери вошел какой-то офицер. Офицер, стройный господин с бледным, худощавым лицом, элегантный, подтянутый, свернул направо. Никто не мог бы сказать, заметил ли он, отвечая на приветствие часовых, подходившего слева человека. И никто не мог бы сказать, узнал ли Иосиф этого офицера. Но когда Иосиф вышел, он выглядел дряхлым и разбитым, на площади перед дворцом, такой просторной и такой пустой, не хватало воздуха для старика, жадно хватавшего ртом воздух, и тот, кто его увидел, подивился бы, что столь незначительное дело, как получение паспорта, до такой степени изнурило его и обессилило.

В свою очередь, офицер, свернувший в правую половину здания, был еще бледнее обычного, и его узкие губы были сжаты еще плотнее. Но затем, у порога канцелярии, лицо офицера приняло прежнее выражение. Да, Павел Басс, или, как его звали раньше, Павел Флавий, казался теперь скорее довольным, чем озабоченным. Так оно и было. Ему пришла в голову идея, одна идея, которую он уже давно искал и не мог найти.

В тот же день он говорил с губернатором Лузием Квиетом.

До кануна пасхи взял себе отпуск Иосиф, расставшись с поместьем Безр Симлай, с женою и сыном, до этого срока он свободный человек, может бродить по стране, куда бы ни повел его ветер и собственное сердце.

На горах была еще зима, но в долинах весна уже началась. Иосиф странствовал без усталости — то на муле, то на коне, а то и пешком. Он вспоминал те дни, когда впервые путешествовал по Галилее, знакомясь с ее обитателями. Вот и теперь ему бывало отраднее всего, пока он оставался никому не известным пришельцем, и если его окликали по имени, он задерживался ненадолго.

Но вместе с тем он разыскивал старых товарищей и людей, чей нрав и взгляды его интересовали. С этой целью приехал он и в Бене-Берак к доктору Акавье.

Иосиф довольно часто встречался с Акавьей; при полном несходстве их характеров и образа мыслей оба охотно

проводили время друг с другом. Бесспорно, наряду с Гамалиилом Акавьа самый значительный среди ученых. Так же, как Гамалиилу, ему лишь немного за пятьдесят. Но между тем как Гамалиилу с первых дней жизни все достается само собой, Акавьа выбился из низов, он был пастухом, свои знания и свое место в коллегии богословов в Ямнии ему пришлось завоевывать тяжким трудом и утверждать свое учение вопреки сотням препятствий. Учение, которое с диким и слепым упорством, но одновременно и с хитроумною, изощреннейшею методичностью отгораживает все еврейское от всего нееврейского, узколобое, фанатичное учение, которое противоречит всему, что Иосиф пережил в свои славные годы и возвещал в своих прославленных книгах. И все-таки даже Иосиф не мог не поддаться чарам, исходящим от доктора Акавьи.

Он пробыл в Бене-Бераке день, и другой, и третий. Потом пришел срок уезжать, если только он хотел вернуться к празднику пасхи в свое поместье. Но когда он стал прощаться, Акавьа удержал его.

— Как это так, доктор Иосиф, — сказал он, — разве вы не хотите провести со мною пасхальный вечер?

Иосиф изумленно посмотрел на него, как бы спрашивая, не шутит ли Акавьа. Большая голова Акавьи сидела на громоздком и мощном теле. Сквозь тускло-серебряную бороду свежо и розово просвечивали щеки, волосы низко сбегали на широкий, могучий, изрезанный морщинами лоб. Густые брови чуть заметно шевелились над карими глазами. Страстный, суровый огонь мерцал в этих глазах, заставляя забывать о приплюснутом носе. Впрочем, сегодня, в то мгновение, когда Акавьа предлагал Иосифу провести пасхальный вечер с ним, в его глазах, всегда таких диких и буйных, вспыхивали лукавые искорки.

В самом деле, поразительно, что пылкий националист Акавьа приглашает его, Иосифа, соглашателя, который всю свою жизнь старался примирить евреев, греков и христиан, приглашает его к себе на пасхальную трапезу — великий праздник национальных воспоминаний. Это и вызов и честь. На какую-то долю секунды Иосиф так ошеломлен, что не знает, как ему быть. Обычай требует, чтобы Иосиф, глава дома, провел этот вечер в своем поместье, в кругу своей семьи и своих рабов, чтобы он прочел им агаду — рассказ об избавлении евреев из египетской неволи. Но Иосиф говорит себе: жена и сын не будут слишком огорчены его отсутствием, скорее они порадуются, что Иосиф,

«предатель», именно в этот святой вечер гостит у Акавы, почтеннейшего из почтенных, в котором еврейские патриоты видят главного своего вождя. После первого изумления Иосиф почувствовал глубокую радость.

— Благодарю вас, доктор Акавя,— сказал он,— я принимаю ваше лестное приглашение, я остаюсь.

И они взглянули друг на друга и усмехнулись друг другу в лицо понимающей, воинственной и дружескою усмешкой.

В вечер рассказа о прошлом, в вечер агады, Иосиф занял почетное место — справа от хозяина — в доме доктора Акавы в Бене-Бераке. Счастливое изумление, охватившее Иосифа, когда Акавя пригласил его к пасхальной трапезе, не рассеялось — оно стало еще сильнее. Он словно витал над землей, этот вечер казался ему вершиной почета, вершиною более высокою, нежели тот час, когда в Риме император Тит увенчал лаврами его бюст, поставленный, по приказу Тита, в библиотеке храма Мира.

Ведь если вечер агады, столь недавно учрежденный, уже сегодня празднуется с такою теплотой и таким усердием не только евреями земли Израилевой, но и по всему миру, это в первую очередь заслуга доктора Акавы: он установил «чин» этого вечера, его «седер», он создал бóльшую часть по-детски трогательных, печальных, отмеченных могучею верой, и надеждой, и гневом молитв и обрядов этого вечера, которые именно теперь, в пору угнетения, с такою силой пробуждали в каждой еврейской душе память о жестоком бедствии и чудесном избавлении.

Из дорогого серебряного троедонного блюда, где лежали всевозможные кушанья — наивные и впечатляющие символы рабства и освобождения, Акавя взял лепешки из неквашеного теста, напоминавшие о поспешности, с какою евреи некогда покидали враждебную страну. Акавя разломил лепешки и показал гостям.

— Вот хлеб нищеты,— сказал он,— который отцы наши ели в Египте. Придите все голодные и вкушайте от него. Придите все обремененные нуждой и празднуйте с нами праздник пасхи. Нынешний год — здесь, следующий — в Иерусалиме. Нынешний год — рабы, следующий — свободные.

Повсюду на земле в этот миг повторяли евреи бесхитростные и убежденные слова Акавы, и повсюду — чувствовал Иосиф — звуки их возвышали сердца. Да, этот год — последний год угнетения, на следующий мы справим пасху в новом, чудом восставшем из руин Иерусалиме.

А Акавя продолжал; в чеканных простых и трогательных формулах излагал он историю избавления. Он с волнением следил за собственным рассказом, знакомым ему в мельчайших подробностях, он исполнял свою же заповедь: «Каждого еврея в этот вечер пусть осенит такое чувство, словно он сам избавился от рабства египетского».

Иосиф прислушивался к голосу Акавы. Голос был низкий, грубый, лишенный всякой мелодичности, но его пылкая, властная убежденность покоряла Иосифа. Все за столом пьянели от слов Акавы, точно от вина. Иные из гостей, как и сам Иосиф, еще видели собственными глазами блеск великого пасхального праздника в Иерусалимском храме, но не от боли сжимались их сердца в эту годину оскудения и гнета, вспоминая о паломниках, вспоминая о великолепии священников, — наоборот, гневные намеки на сегодняшний день, заключавшиеся в скромных и глубоко трогательных обрядах, делали еще хмельнее их гордость своим народом и своим всемогущим богом.

Иосиф думал о недавнем вечере в доме губернатора в Кесарии, об этих здравомыслящих офицерах и чиновниках, — уверенные в своей силе, исполненные холодного, сугубо реалистического высокомерия, они с презрением взирали на варваров-идеалистов, которые все снова и снова бросались в безнадежную битву за свою страну и своего бога. Нет, стократ скорее он на стороне этих, побежденных, чем тех — победителей!

А побежденные продолжали опьяняться воспоминаниями о былых своих победах и предвкушением грядущих. Они приготовили кубок пророку Илии, величайшему патриоту прошедших времен. Он непременно явится в эту праздничную ночь, предтеча мессии, посланец Ягве-мстителя, он явится и найдет чашу приветствия уже налитой до краев! Сомнений не было.

И они пели стихи из великого галлея — буйный, ликующий псалом, который восхваляет исход из Египта и мощь еврейского бога, сотворившего этот исход. «Море увидело его и побежало, — пели они, — Иордан обратился вспять. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, отчего ты побежало? И с тобой, Иордан, отчего обратился ты вспять?» Воображение уже рисовало им, как их бог Ягве истребляет и этих римлян. Воды сомкнутся над императором Траяном и его легионами и поглотят их, как некогда поглотили волны Чермного моря египетского царя — со всадником, и с конем, и с колесницами. Аллилуйя!

Обряды были исполнены, молитвы допеты. Спустилась ночь, и гости стали прощаться. Иосиф тоже хотел уйти, но Акавья все удерживал его, пока наконец они не остались впятером — Акавья, Иосиф и еще трое.

Искусство Акавьи состояло в том, что с помощью виртуозно разработанной методики он словами Писания мог объяснить все происходящее на земле. Писание все провидело, все, что было, и все, что будет, и кто умеет правильно толковать Писание, у того в руках ключ, открывающий смысл всех событий мировой истории. Между тем, что случилось тогда в Египте и что совершается теперь, при императоре Траяне, нет никакой разницы, и вполне понятно, если именно нынче евреи справляют пасху с таким гневным ликованием. Священный хмель и неистовство сегодняшнего вечера — не что иное, как предвосхищение яростного празднества победы над Римом.

Теперь уже Акавья обращался прямо к Иосифу, без околичностей бросил ему вызов. Моисей, а потом пророк Илия не чинились с богом, они просто заставили его выполнить их волю и явить чудеса. А значит, этого бог и хотел. Он хотел, чтобы его заставили. Он ждал, чтобы ему помогли. Кто заявляет, что время еще не пришло, для того оно не придет никогда! Нет, нужно верить, фанатически верить, что мессия, мессия во плоти, придет завтра! Еще нынешней ночью явится пророк Илия, предтеча, и осушит свой кубок! Кто в это верит, кто верит в это так же твердо, как в таблицу умножения, тот заставляет бога послать мессию завтра же!

Акавья любил держать себя как человек из народа. Перед Иосифом сидел исполинского сложения крестьянин, непоколебимый в своей вере, пересыпавший свою речь крепкими, вульгарными словечками. В конце концов он грубо набросился на Иосифа.

— Если все будут поступать, как вы — сложат руки да покорно согнут спины, — мы прождем до той поры, пока у нас трава изо рта не вырастет, а мессия так и не придет!

Язвительно и угрожающе слетали слова с его губ; резким движением он смахнул со своей тускло-серебряной бороды крошки неквашенного хлеба. Утонченный и хрупкий аристократ, сидел перед ним Иосиф; он не обиделся, не хотел портить себе этот великий вечер. Он отложил свой ответ и с головою погрузился в радость, зажигаясь фанатической верой остальных.

Ибо всё безудержнее отдавались они своим прекрасным

грезам. Впрочем, только ли грезам? Нет, это было нечто гораздо большее, это были планы — развернутые, далеко идущие. Когда речь зашла о ближайших семи неделях — о неделях искупления, неделях между пасхой и пятидесятницей, самый младший из оставшихся за столом, юный и красивый доктор Элеазар, окинул всех блаженным взглядом и спросил:

— Где, о отцы мои, мои учителя и друзья, где встретим мы этот праздник пятидесятницы?

Доктор Тарфон, чуть заметно кивнув головой в сторону Иосифа, бросил неосторожному Элеазару осуждающий взгляд. Но Акавья, словно сам только что не осыпал гостя грубостями, заметил:

— Друзья мои, неужели вы хоть сколько-нибудь опасаетесь человека, который написал «Апиона»?

Вопрос юного доктора Элеазара испугал Иосифа; разум подсказывал ему, что он должен восстать против отчаянного и совершенно безнадежного выступления, которое эти люди, по-видимому, назначают уже на ближайшие недели. Но сладостен был его испуг, а когда затем он услышал слова доверия из уст Акавьи, огромное счастье всколыхнулось в нем. Все живее поднимались старые соблазны в душе семидесятилетнего Иосифа, вместе с остальными он утопал в их святом опьянении. Теперь и он был твердо убежден, что еще этою ночью придет пророк Илия и осушит свой кубок.

Никогда прежде не наслаждался он так остро и полно этой «ночью попечения», когда господь принимает Израиля, свой народ, под особую свою защиту. Точно так же, как остальные, он с верою внимал диким и мудрым речам неуклюжего волшебника Акавьи, так же, как остальные, забывался в бессвязных и великолепных фантазиях о гибели врагов и возрождении Иерусалима.

Так, вместе с остальными, просидел он всю ночь. И вместе с остальными огорчился, когда пришли ученики и напомнили докторам, что время молитвы настало. Ибо наступило утро.

Два дня спустя, когда они были одни, Иосиф, откинув стеснение, спросил Акавью:

— Почему вы пригласили меня остаться на пасхальную вечерю?

Огромный Акавья сидел, спокойно скрестив ноги, уронив правую руку на колено, левой рукой облокотившись на спинку стула и подпирая голову. Вдумчиво глядел он небольшими карими глазами в худое лицо

Иосифа. Потом хладнокровно сказал — прямо ему в лицо:

— Мне просто хотелось поглядеть поближе, какие бывают предатели.

Иосиф отпрянул перед этим неожиданным оскорблением. Акавя удовлетворенно отметил, какое действие произвели его слова.

— Я всегда старался, — продолжал он, — внушить моим ученикам уважение к старости. Но и за всем тем, не теряя уважения к седой голове, я повторяю: вы предатель. Я признаю, что своими заслугами вы потом во многом возместили нанесенный вами ущерб. Сегодня вы предаете в первую очередь самого себя, собственную душу.

Акавя сидел громоздкий, неотесанный; сдержанность, которую он старался сохранить, делала особенно заметным его мужицкий выговор.

— То, что вы сказали, доктор Акавя, — отозвался Иосиф (не сознавая этого, он говорил с особою вежливостью и с особым произношением человека, некогда получившего почетное докторское звание в Иерусалиме), — то, что вы сказали, звучит слишком общо. Не будете ли вы так любезны разъяснить мне свою мысль подробнее.

Акавя засопел, подул в ладони, крепко потер их, словно готовясь поднять тяжелый груз. Потом сказал:

— Ягве назначил вам биться за его дело, за Израиля. Но вы, как только борьба потребовала труда и мужества, бросили ее. Вы улили в литературу и понесли космополитический вздор. Потом вам это надоело и вы вернулись на поле боя. Но борьба и на сей раз пришлось вам не по нутру, и вы снова сбежали — назад, к своей удобной и ни к чему не обязывающей писанине. Человек из народа, вроде меня, называет это предательством. Я говорю все напрямик, хотя и сейчас не теряю уважения к седой голове.

— Мне кажется, ваши обвинения по-прежнему слишком общи, — возразил Иосиф еще вежливее. — Быть может, правда, одна лишь моя старость повинна в том, что я не в силах усмотреть за ними ничего определенного.

— Что ж, — отвечал Акавя, — попытаюсь перевести свои нехитрые соображения на ваш ученый арамейский. Вы отлично видите, доктор Иосиф, чего требуют день и час. Но вы не хотите видеть. Вы предпочитаете закрыть глаза и «бороться» за некий идеал, хотя вам отлично известно, что он недостижим. Вы бежите от трудностей достижимого

и покойные мечтания о недостижимом идеале. Вы предаете сегодняшний и завтрашний день ради туманного будущего. Вы предаете мессию из плоти и крови, который, может быть, уже среди нас, ради призрачного, духовного мессии. Вы приносите еврейское государство в жертву космополитической утопии.

Ученые слова с натугою сходили с уст тяжелого, грубого человека.

— Чего вы, собственно, добиваетесь, говоря мне все эти неприятные вещи? — спросил Иосиф очень спокойно.

Спокойствие Иосифа произвело впечатление на Акавью, но вместе с тем и разозлило его.

— Мы не знаем, как к вам относиться, — с яростью проговорил он наконец, пропуская между пальцами пряди тускло-серебряной бороды. — Которую из ваших книг принимать в расчет? «Иудейскую войну»? «Всеобщую историю»? Или «Апиона»? Великий писатель, — загремел он, — должен, по крайней мере, уметь выражаться настолько ясно, чтобы народ его понимал. Я хоть и не великий писатель, — закончил он грубо, — а меня народ понимает.

— Я вас не понимаю, доктор Акавья, — мягко отозвался Иосиф, делая легкое ударение на слове «я». — Не понимаю, почему вы поддерживаете «Ревнителей дня». Вы знаете, что при нынешнем императоре Траяне число легионов возросло, что восточные легионы пополнены, что военные дороги и военное снабжение в таком образцовом порядке, какого еще никогда не бывало. Кто седлает льва, должен уметь на нем ездить. Вам как мужу Совета, известно, что ездить верхом на льве вы не сможете. Зачем же вы разжигаете мятеж? Вы говорите: День настанет? Прекрасно! Но судить, пришел он или нет, дано вам. И если вы подымете народ не вовремя, разве не погубите вы тогда День, разве не возложите тяжкую вину на себя самого?

— Бог, который велел мне оседлать льва, — сказал Акавья, — научит меня и ездить на нем. — Потом, сообразив, что эта звонкая фраза годится для народного собрания, но не для писателя Иосифа бен Маттафия, он снизошел до того, что позволил собеседнику глубже заглянуть в его мысли. — Не разум, — сказал он яростно, — может решить, настал ли День, но только инстинкт. Разум — ничто против бога, так было всегда и повсюду. Я говорю это не потому, что сумел избежать соблазнов разума. Я знаю радость логики и учености. Я изучал Писание и Закон всеми методами и ломал себе голову над философией язычников. Но выучил и усвоил я лишь одно: если дело

принимает серьезный оборот, помочь может только вера в бога Израилева, который превыше всякого разума, а не логика и не вера в неизменную последовательность причин и следствий. Я верю в Моисея и пророков, а не в Траяна и его легионы. Я хочу быть наготове, когда настанет перелом, когда настанет День. А День настает, истинно говорю вам — День настает! Законы и обычаи хороши и угодны богу, но они остаются праздною болтовней, если не служат приготовлением к независимому государству с полицией, с солдатами, с собственным правосудием. Нам может помочь только восстановление храма, настоящего храма, из камня и золота, и восстановление настоящего Иерусалима, города из кирпича и дерева, с неприступными стенами. И массы это понимают, доктор и господин мой. Нужно быть очень искусственным в греческой мудрости, чтобы этого не понимать.

Бессмысленно было бы выступать с доводами разума против фанатизма этого человека. Не то чтобы Акавье не доставало разума. Напротив, разумом он был, по-видимому, не слабее самого Иосифа. Просто-напросто вера Акавьи была достаточно сильна, чтобы одолеть его разум.

Сознание этой бессмысленности сковало Иосифу язык. А вслед за тем он и вовсе почувствовал себя карликом. Ибо вслед за тем Акавья встал, горою надвинулся на него, доверительно наклонил к нему свою огромную голову; маленькие глаза под широким, морщинистым лбом и густыми, косматыми бровями, смотревшие хитро и вместе одержимо, придвинулись совсем близко к его глазам. Грубый голос зазвучал приглушенно и таинственно:

— Знаете, почему я так горячо поддерживал Гамалиила, когда он включил «Песнь песней» в число священных книг? Потому что «Песнь песней» — это иносказание, это перекликаются жених-бог и невеста-Израиль. Но если Ягве — жених, он должен бороться за свою невесту Израиля, он должен платить. Какой трудной и горькой службой заставил он Иакова заплатить за невесту! Бог должен завоевать свою невесту, он должен заслужить свой народ. Ягве возложил на Израиля тяжелую миссию, и Израиль ее выполнит. Но Ягве тоже обязан выполнить договор, он обязан вернуть Израилю его силу, его государство. И не когда-нибудь, а в ближайшем будущем, теперь же! Вы, Иосиф бен Меттафий, хотите слишком облегчить богу его обязательства. Вы хотите отдать Израиля за бесценок. Я не так благороден. Я мужик и потому недоверчив. Я требую уплаты, коль скоро часть моей работы выполнена. Я

требую у Ягве,— поймите меня правильно: не прошу, а требую,— чтобы он вернул Израилю его государство и его храм.

Иосиф ужаснулся дикой страстности, с какой этот человек излагал свои дерзкие и хитрые требования; было очевидно, что он до мозга костей проникнут верою в их справедливость.

— Вы творите Ягве по своему подобию,— проговорил Иосиф негромко, озадаченно.

— Да,— признал Акавья откровенно, вызываяще.— Почему бы мне не творить его по моему подобию, ежели он сотворил меня по своему? — Но, сразу же возвращаясь из мистических сфер на землю: — Не бойтесь,— утешил он Иосифа; он улыбнулся и вдруг, несмотря на огромную, тусклого серебра бороду, показался очень молодым.— Я твердо обещал верховному богослову,— выдал он свой секрет,— не способствовать никаким мятежным вылазкам евреев, до тех пор пока Эдом, пока римляне не совершат нового злодеяния. — Улыбка стала хитрой и придала ему неожиданное сходство с Иоанном Гисхальским.— Правда,— продолжал он,— я с легким сердцем мог дать Гамалиилу такое обещание. Потому что римляне не заставят себя долго ждать, я в этом уверен. Римская мудрость — глупая мудрость, мудрость близорукая, без бога и без благодати. Римляне совершат злодеяние, я и «Ревнители» будем свободны от своего слова, и бог поможет нам, а не римлянам.

Встревоженный этим разговором, Иосиф отправился в Ямнию, чтобы обсудить с верховным богословом политическую ситуацию.

Гамалиил не только не завидовал Акавье, но, с мудрою осмотрительностью, делал все возможное, чтобы возвысить его авторитет. Ибо Гамалиил не смог бы удержать власть над евреями, если бы не имел на своей стороне пылкого бунтовщика Акавью. Когда Гамалиил учил: «Терпите, покоряйтесь римлянам!» — то Акавья добавлял: «Но лишь на краткий срок, а потом вы подыметесь и вцепитесь в глотку наглому врагу!» И каждый был доволен: верховный богослов — потому что народ не вынес бы бесконечного, изматывающего нервы ожидания, которого Гамалиил от него требовал, если бы не утешитель Акавья; Акавья — потому что рассудок его страшился авантюры, которой жаждало его сердце, и в глубине души он был рад, что осторожность

Гамалиила все вновь и вновь предотвращает ее и откладывает. И оба, терпимый, светский Гамалиил и фанатичный, неотесанный Акавья, при всем их несходстве любили, уважали и чтили друг друга.

Вскоре же после начала беседы Иосиф должен был признать, что верховный богослов гораздо лучше осведомлен о политическом положении страны, чем он, Иосиф, хотя он только что побывал у губернатора и у Акавии.

— Император Траян, — объяснил Гамалиил Иосифу, — не питает никакой вражды к евреям. Но его гигантской военной машине, чтобы гладко и без потерь прийти в действие, нужна еврейская земля как плацдарм. Поэтому евреи для него помеха, для него и для его губернатора Лузия Квиета. Впрочем, и губернатор сам по себе не враг евреям, он дорожит благополучием провинции и охотно воздержался бы от слишком крутых и опасных мер. К несчастью, в его ближайшем окружении есть человек, который именно о таких мерах и мечтает. А теперь, судя по достоверным данным, этот человек ловко использовал патриотические боевые настроения, которые рождены подготовкой к Восточному походу, и внушил губернатору свой взгляд на вещи.

Иосифу стоило немалого труда с полным вниманием следить за словами Гамалиила. Он знал: если верховный богослов говорит об этом опасном человеке из окружения губернатора лишь намеками, он просто щадит чувства Иосифа. Ибо этот опасный человек, чье имя лучше не называть, — не кто иной, как Павел Басс, его сын.

А Гамалиил рассказывал дальше, и Иосиф слушал, несмотря на бурю в сердце. И видит бог, сообщения верховного богослова этого заслуживали. Тот, «Безыменный», предложил поистине дьявольскую идею, губернатор — хотя и не слишком охотно — дал свое согласие, и теперь ждали только одобрения Рима, чтобы привести пагубный план в действие. Заключался же он в следующем: чтобы вернее отделить ненадежные элементы от надежных, предполагалось вновь ввести в провинции Иудее подушную подать.

Подушная подать. Две драхмы. Среди всех притеснений, какие придумали римляне, самое позорное. Если они действительно возобновят этот чрезвычайный налог, отмененный справедливым императором Нервой, это будет сигналом к восстанию, которого хочет Рим, но которого хотят, к сожалению, и «Ревнители дня». Вероятно, Акавья

тоже слышал о предполагаемом возобновлении подати, и, вероятно, это и есть «злодеяние», на которое он намекал.

Оцепенев, слушал Иосиф Гамалиила. Всегда такого быстрого и живого, его сковала оцепенением мысль, что не иной кто-либо, а именно Безыменный, именно его Павел избран божеством для того, чтобы навести новую беду на Иудею. О, какой же ты несчастный, Иосиф! Как вновь и вновь исходят несчастья от всего, что ты создавал, — от твоих сыновей, от твоих книг! Так сидел он неподвижный, словно одурманенный.

Пока наконец до сознания его не дошло, что Гамалиил уже давно замолчал. Он несмело поднял глаза. Тот ответил на его взгляд, и Иосиф понял, что Гамалиил отлично знает все, что происходит в нем в эту минуту.

— Спасибо, — сказал Иосиф.

— Если Кесария введет подушную подать, — продолжал Гамалиил, словно этого немного диалога и не было, — Акавья будет свободен от обещания, которое он мне дал. Возможно, впрочем, что он сохранит спокойствие. Он знает не хуже меня, что «злодеяние» Кесарии никакого реального преимущества против Рима Иудее не даст. У него сильный ум. Вопрос только в том, выстоит ли этот сильный ум против его еще более сильного сердца.

Он хмуро посмотрел прямо перед собой. Прежде он всегда казался Иосифу молодым. Теперь старый Иосиф увидел, что и Гамалиил уже немолод: темно-рыжая борода почти совсем поседела, выпуклые глаза потускнели, фигура и лицо потеряли свою внушительную подтянутость.

Вдруг верховный богослов выпрямился, и перед Иосифом снова был прежний Гамалиил.

— Я хочу просить вас об одной услуге, Иосиф, — сказал он тоном сердечным и вместе с тем властным. — Поезжайте на север. Поговорите еще раз с Иоанном Гисхальским. Если мне не удастся укротить Акавью, может быть, вам повезет — вы удержите Иоанна, тогда хоть север останется спокойным. Вы с ним дружны, он прислушивается к вашим словам. У него же такой ясный ум. Уговорите его внять совету разума.

— Хорошо, — ответил Иосиф. — Я побываю в Гисхале еще раз.

Со дня отъезда из поместья Безр Симлай Иосиф не знал покоя. Теперь его тревога стала еще сильнее. Поспешно двинулся он в дорогу и продолжал свое

путешествие все поспешнее. При этом он выбрал не кратчайший путь, а бороздил страну вдоль и поперек. Так он еще раз проехал большую часть Иудеи и Самарии, торопливо, словно боясь что-то пропустить, словно то, чего он сейчас не увидит и не вберет в себя еще раз, ему уже не увидеть никогда больше.

В Самарии он узнал, что губернатор издал эдикт, предписывающий вновь обложить подушной податью еврейское население провинции. И уже на следующий день, рассказывали Иосифу в маленьком селении Эсдраэла, начались серьезные волнения в Верхней Галилее. Никаких точных сведений ему сообщить не могли. Известно было только, что в нескольких галилейских городах и деревнях со смешанным населением евреи напали на римлян, греков и сирийцев. Римские вооруженные силы уже выступили из Кесарии, чтобы восстановить спокойствие. Вождем восстания молва называла Иоанна Гисхальского.

На этом, по всей очевидности, миссия Иосифа, в силу новых обстоятельств, заканчивалась, никакие дела на севере его больше не ждали. Самым разумным было бы, не медля ни часа, возвращаться в Беэр Симлай и там наблюдать за порядком, за Марой, за Даниилом.

Но, втолковывая себе это, он уже знал, что не поступит так, как велит разум. К страху, с которым он слушал вести о событиях в Галилее, с самого начала примешивалась великая сладость. С гордостью и стыдом он убеждался, что чувствует себя легко, свободно, счастливо. Он убеждался, что все последние годы в Иудее он жил только ожиданием этой минуты. Теперь эти годы получили смысл и оправдание. Потому что, если бы это известие застало его в Риме — потеряв свою свежесть, вдали от происходившего, — он бы пропустил, прозевал важнейшее событие своей жизни.

Как, он хочет вмешаться в восстание?! Но это же безумие, чистейшее безумие! Сначала будет несколько побед, полных блаженства и восторга, а за ними последует жестокое и окончательное поражение. Римляне достигнут своего — все, что еще остается у евреев от зрелой мужественности, от юности, от воли к борьбе, они растопчут и утопят в крови. Преступно и глупо прикладывать к этому руки.

Так, собравши все силы разума, он прогнал хмель, которым опьянила его весть о поднявшейся Галилее. Но — лишь на недолгие мгновения.

Ночью, на убогой постели, которую маленькое селение смогло ему предложить, хмель взял над ним полную власть, и защититься было уже нечем, и он сладострастно отдался опасному своему счастью. Он чувствовал себя так же, как в дни первой войны против римлян, когда, еще совсем молодым, командовал галилейскими отрядами, — он словно парил высоко в небе. Ах, еще раз испытать это жгучее веселье, с каким они шли тогда в битву! Это полное слияние друг с другом! Эту тысячу жизней в одной, несущейся неистовым потоком, ибо еще сегодня, быть может, она оборвется! Это великое упоение, в котором смешались благочестие, жажда насилия, страх, уверенность в себе и радость, без границ!

Он ворочался с боку на бок на своей постели. Стискивал зубы, бранил себя. Ну, не сходи же снова с ума на пороге могилы, Иосиф! Если молодой человек уступает подобному безумию, это еще может быть угодно богу, это может быть возвышенно. Но когда это делает старик вроде него самого, в таком пьяном старике нет ничего возвышенного, он просто смешон — и только.

Нет, он не смешон. Если спустя столько лет, после стольких испытаний голос в его сердце все еще звучит с такой силой, значит, голос этот не лжет! И если это голос безумия, — значит, безумие его от бога! Акавья прав. Кто дерзнет утверждать, будто Ягве — это логика и сухой рассудок? Рассудок ли вещал устами пророков? Или что иное? И если вам угодно с бесстыдным педантизмом называть это «иное» безумием, да будет оно благословенно, это безумие!

И старый Иосиф блаженно окунулся в безумие. Да, Иоанн Гисхальский прав, и Акавья прав, и «Книга Юдифь» тоже, и книга Иосифа бен Маттафия «Против Апиона», а верховный богослов не прав и не права «Всеобщая история» Иосифа Флавия.

Решившись наконец уступить безумию, он в ту же ночь покинул Эсдраэлу, чтобы пробиться на север, к Иоанну Гисхальскому.

Он нашел погонщика мулов, который доставил его в селение Атабир, лежавшее на склоне горы того же названия. Ехать дальше погонщик боялся. И жители селения тоже не советовали двигаться дальше. Потому что здесь начинался район военных действий.

И вот, запасшись провизией, Иосиф продолжал свой путь в одиночестве. Он избегал столбовых дорог, выбирая

пустынные, затерянные пастушьи тропы в ущельях и на высотах гор. Здесь он сражался когда-то, возводил укрепления; он хорошо знал эти места. Бесшумно, осторожно, со строго обдуманной поспешностью шагал он по тропе.

Занимается сияющий весенний день. Зима в этом году затянулась, на горах Верхней Галилеи еще лежит снег, он щедро питает ручьи, ручьи полны и весело шумят. Воздух живительно чист, дали прозрачны и близки. Иосиф взбирается все выше, он скликает свои воспоминания, и они послушны его зову; каждая вершинка, каждая долина ему хорошо знакомы.

Вперед нависал гребень горы. Отсюда ему должен открыться вид на озеро, на его озеро, Тивериадское озеро, Генисаретское озеро. А вот оно уже и сверкнуло внизу. Крохотные тучечки скользили по его глади; память Иосифа превратила их в красно-коричневые паруса рыбацких челнов.

Он перебрался через гребень и стал искать расщелину, в которой мог бы укрыться. Нашел. Присел на корточки. Беспокойство, которое мучило его все последнее время, наконец исчезло. Он мог передохнуть. Он устроился удобнее, разложил свои припасы — фрукты, немного мяса, хлеб, — поел, выпил вина.

Дул легкий, веселый ветерок. Иосиф расправил плечи. Овеянная волшебным светлым воздухом, перед ним, под его ногами, истинным садом божьим расстилалась Галилея — плодоносная, многоликая, со своими долинами, холмами, горами, со своим Генисаретским озером, рекою Иорданом и морским побережьем, со своими двумя сотнями городов. Чего Иосиф не видел, то он угадывал, то знала его память.

Он впивал в себя этот вид. Красновато-серыми были скалы, ярко-зелеными — рожковые деревья, серебряными — оливы, черными — кипарисы, а земля была коричневая. На равнине крестьяне — крошечные фигурки — опускались на корточки и нюхали землю, стараясь угадать погоду. Прекрасная, богатая, яркая, плодоносная страна. Теперь, весною, даже пустыни ее были покрыты серо-зелеными и фиолетовыми цветами.

Но стране не дают плодоносить. Может быть, она слишком тучна и обильна. Может быть, прав был тот, прежний Иоанн Гисхальский, и в конце концов именно цены на масло и на вино — источник бесконечной войны, которая бушует над этой страной. Как бы там ни было, но удобрена

она кровью. Может быть, так угодно божеству — чтобы кровью удобрялась земля Галилеи.

Иосиф отдыхал в своей расщелине. Вся его подавленность, весь душевный разлад ушли, исчезли. Мысли набегали и отступали, как волны, и ему было хорошо.

Им, евреям, отдал бог эту землю, текущую молоком и медом. И еще больше отдал им бог. «Не Сионом зовется царство, которое вам обещал я, имя его — вселенная».

Но господство над миром — вещь ненадежная, далекая. Ах, если бы хоть издали увидеть ее, страну его надежды, страну мессии, справедливости, разума!.. Но: «ты можешь прождать до той поры, покуда трава изо рта не вырастет». Иосиф засмеялся, вспоминая грубые слова Акавьи. Великолепный человек этот Акавьи!

И снова он глядит, наслаждается видом. Галилея... все-таки что-то ему осталось. Так много пришлось бросить в пути — из того, что держали его руки, лелеяли надежды, хранила вера, но Галилею он уже не бросит, он вцепился в нее, его пальцы не разжать.

Разум желал он проповедовать людям, возвестить царство разума и мессии. Слишком дорого обходится такое пророчество, мой любезный. Слишком многими лишениями платит тот, кто берется играть такую роль. Но сладостно и почетно проповедовать величие своего народа, своей нации и ничего больше. Такое пророчество питает и тело и душу. Оно приносит и славу, и внутреннее умиротворение.

Снизу издалека долетел шум. Иосиф знал, что там, невидимая его глазу, бежит дорога. Шум был похож на топот копыт. Невольно он забился поглубже в расщелину, которая его укрывала.

А собственно, зачем он здесь? Что ему нужно здесь, в Галилее, в гуще мятежа, в гуще войны — ему, старику? Он только себя погубит, а помочь — никому не поможет.

Какой вздор! Точно он когда-нибудь хотел кому-то помочь! Вот до каких лет должен был он дожить, чтобы понять, что никогда не хотел помочь другому, но всегда — лишь самому себе. Он хотел быть «Я», всегда только «Я», и из всего, что он думал, писал или же говорил самому себе, единственною правдой был псалом «Я есмь»:

Я хочу быть Я, Иссифом быть хочу,
Таким, как я выполз из материнского лона,
Не расщепленным в народах,
Принужденным искать, от тех или от этих мой род.

Юст — тот на самом деле хотел помочь другим, помочь далеким поколениям. Бедный, великий, рыцарственный Юст! Не вовремя появился ты на свет, не вовремя трудился, предтеча, провозвестник несвоевременной истины. Озлобленно и несчастливо прожил ты свою жизнь, озлобленным и несчастливым умер, твой труд забыт. Вот оно, воздаяние праведнику.

Мессианские чаяния должны существовать, спору нет, без них невозможно жить. И должны быть люди, возвещающие истинного мессию,— мессию не Акавы, а Юста. Эти люди — избранники, но избраны они для несчастья.

Я, Иосиф бен Маттафий, испытал это на себе. Подлинное мессианство, вся истина целиком открывались мне — и я был несчастен. Лишь отрекаясь от них, я вздыхал свободнее. А согласие с самим собою и счастье я узнал только однажды, когда поступил вопреки разуму. Славное и прекрасное время, когда я весь отдался своему порыву и писал книгу «Против Апиона» — самую глупую и самую лучшую из всего, что я написал. И, может быть, несмотря ни на что, самую угодную богу. Ибо кто решится судить, какой порыв, какое побуждение хорошо и какое дурно? И если даже было оно дурно, разве не гласит Писание: «Служи богу и дурным побуждением твоим»?

Он шире расправил плечи. Он чувствовал себя легко и бодро, легким было его дыхание, он был снова молод. Глупая, счастливая улыбка играла на его старых губах. Набраться мудрости настолько, чтобы забыть о мудрости,—без малого семьдесят лет ушло на это. Благословен ты, господи, боже наш, что дал мне дожить до нынешнего дня и снова даешь мне дышать сладким, чистым воздухом Галилеи и диким, пряным чадом войны.

В глубине души он знал, что это счастье будет недолгим, что впереди у него лишь несколько дней, а может, и несколько часов или даже всего несколько жалких минут. Жалких? Нет, несравненно прекрасных и счастливых!

Он снова двинулся в путь, начал спускаться. Он слышал шум и теперь удвоил осторожность. Он избегал широких троп, сгибался, если чувствовал, что может оказаться на виду, беззвучно ставил ногу. Но однажды он ступил неловко. Вниз покатился камень и упал так неудачно, что слышали на дороге. А по дороге ехали рим-

ские конники, они остановились и начали обыскивать склон горы.

Зрение Иосифа уже не было таким острым, как его слух; он долго не мог понять, что это за люди обыскивают склон,— свои или римляне. Потом они подошли ближе, и он увидел, что это римляне.

На мгновение дикий страх захлестнул Иосифа и смысл, унес всю его силу. Долгий путь прошел он сегодня, вверх, вниз, по крутым тропам, и вдруг от всей этой новой бодрости не осталось и следа. Опять он был стариком, сердце, которое до сих пор билось так легко, лежало в груди тяжелым, ноющим комом, ноги отказывались его держать, он опустил на землю.

Но мало-помалу слабость прошла, и к нему вернулось прежнее чувство огромного внутреннего покоя, и даже сверкнула радость: наконец-то он у цели. Ему бы погибнуть еще тогда — в первую войну, в расцвете молодых лет, в Галилее, а он увернулся от гибели и прожил на редкость бурную жизнь, и на свет появились его дети и книги, хорошие и плохие, и иные еще живут, а иные развеялись прахом, и он был источником и причиною многого зла, но также и толики добра, а теперь, с таким опозданием, ему выпадает случай наверстать непростительно упущенное тогда — умереть на войне, в Галилее.

И вот он сидит в легком, прозрачном воздухе и смотрит на людей, которые приближаются к нему, слабый телом, но свободный от страха и полный ожидания.

Солдаты подошли вплотную и увидели старого еврея. Они глядели на него с нерешительностью, а он на них — с любопытством.

— Пароль, еврей! — потребовал наконец старший.

— Я не знаю пароля,— ответил Иосиф.

— Зачем ты сюда забрался? — спросили солдаты.

— У меня много друзей в Галилее,— сказал Иосиф,— я тревожился за них и хотел их разыскать.

— И потому ты пробираешься тайными тропами, а не идешь по императорской столбовой дороге? — спросили они.

А он ответил:

— Я думал, что императорская столбовая дорога полна императорскими солдатами. Так что старому человеку лучше держаться окольных путей.

Солдаты засмеялись.

— Это ты хитро придумал,— сказал старший,— но теперь тебе, верно, придется сделать крюк побольше преж-

него. А вообще-то кто ты такой? Ведь ты не крестьянин и не галилеянин.

— Я Иосиф Флавий, римский всадник, — ответил Иосиф и показал свое золотое кольцо; он заговорил по-латыни, меж тем как до сих пор разговор шел по-арамейски.

— Вот оно что! — засмеялись солдаты. — Ты принадлежишь к знати второго ранга? Ну конечно, таким мы всегда и представляли себе римского всадника!

— Что ж, теперь вы видите, — сказал Иосиф дружелюбно, — что действительность иногда выглядит не так, как мы о ней думаем. Кстати, у меня с собой надежный документ.

И он протянул им удостоверение, которое ему выдали в Кесарии в канцелярии наместника.

Солдаты недолго рассматривали его документ.

— Этот клочок папируса нам не указ, — сказали они. — Здесь имеет силу только одна подпись — Павла Басса.

Иосиф задумчиво поглядел вдаль и промолвил:

— Вашего Павла Басса я отлично знаю, и он меня отлично знает.

Солдаты громко захохотали над этим евреем, над этим старым шутником, который хочет выдать себя за друга их командующего Павла Басса.

— Тогда почему же твой друг сам не сообщил тебе о предписании, которое он издал? Всякого еврея и вообще обрезанца, задержанного на дорогах Галилеи, если он не местный и не знает пароля, считать лазутчиком. Ты еврей? Ты обрезан?

— Да, — сказал старик.

Старший помолчал, потом медленно пожал плечами, это было почти как извинение.

— Та-а-ак! — сказал он. — Ты вроде бы человек толковый и, конечно, понимаешь, что если мы с тобой не церемонимся, так это не по злой воле, а по долгу службы.

— Скажи спасибо своему другу Павлу Бассу, — прибавил кто-то.

Иосиф внимательно оглядел солдат, одного за другим.

— Я бы охотно сказал, — ответил он спокойно, — и вы бы хорошо сделали, если бы дали мне такую возможность. Потому что я в самом деле римский всадник и в самом деле хорошо знаю вашего Павла Басса.

Его голос, взгляд, спокойствие, с каким он держался, произвели на солдат впечатление. И потом, он не был

похож на лазутчика, — едва ли на эту роль могли выбрать такого старого еврея с такой приметной внешностью. Но приказ есть приказ. К тому же они опаздывали: разведывательный рейд отнял больше времени, чем предполагалось вначале. Если они свяжутся с этим типом, то придут на место еще позже и получают головомойку по всем правилам; а прикончить его — дело вполне законное.

Но солдаты были неплохие ребята. Они принадлежали к числу тех, кто уже давно служит в этих краях, нередко имели дело с евреями и видели в них не только врагов.

— Предписание гласит: будьте гуманны постольку, поскольку это не противоречит военным нуждам, — вслух подумал один.

— Война есть война, — откликнулся другой.

— Послушай, ты, — предложил старший Иосифу, — нам нужно в Табару, и времени у нас в обрез, но мы попробуем взять тебя с собой. Галопом мы не поскачем, но и шагом ехать не будем. Мы уж и так опаздываем. Это как в цирке. Кое-кто остается жив. Мы даем тебе шанс на выигрыш. Мы привяжем тебя к лошади, и ежели ты выдержишь — стало быть, молодец. Ну, как, дельное предложение?

— По-моему, дельное, — отозвался тот, кто говорил первым, — и в духе приказа. Скажи сам, еврей, — потребовал он у Иосифа.

Иосиф посмотрел на него долгим, задумчивым взглядом.

— Ты прав, сынок, — сказал он. — Именно в духе приказа.

Они обыскали его. У него было несколько монет, остатки припасов, документ из канцелярии в Кесарии и на пальце золотое кольцо дворянства второго ранга.

— Это могут украсть, — решили они и все отобрали.

Потом они спустились на дорогу и привязали Иосифа к одному из коней. Конника звали Филиппом, он был добродушный малый.

— Я не буду слишком гнать, старина, — пообещал он и дал Иосифу вина, чтобы тот подкрепился.

Потом они тронулись.

Дул ветер, воздух был свежий и пряный, рысь не слишком скорая, и в первые минуты казалось вполне возможным, что старик выдержит. Его старые ноги бежали, он дышал равномерно, и они говорили:

— Смотри, главное — не сдавайся.

Но потом он стал задыхаться, потом споткнулся и упал. Платье его было разорвано, руки и лицо в крови; впрочем,

это были только ссадины, ничего серьезного. Скоро он поднялся и побежал дальше. Потом снова упал, на этот раз тяжелее, но изранил опять только руки и лицо. Филипп остановился, еще раз дал своему пленнику напиться и позволил ему минутку передохнуть. Но потом Иосиф упал в третий раз, и на этот раз конь поволок его за собой. Несмотря на весну, толстый слой пыли уже покрывал дорогу, и это обернулось удачей для Иосифа, но были, разумеется, и камни, и когда Филипп наконец остановился, старый еврей был весь в крови, глаза его закрылись, из груди вырывался противный, надсадный хрип. Филипп что-то крикнул остальным, и они собрались вокруг Иосифа.

— Как с ним быть теперь? — говорили они. — Дело ясное, ты проиграл. Прикончим его? — размышляли они. — Или бросим так? Прикончить тебя, еврей, или так бросить? — обратились они к нему самому. — Мы точно держались предписания, — объяснил еще раз старший, оправдываясь.

Иосиф слышал их, но не понимал. Они говорили по-латыни, но он, полиглот, понимал теперь только язык своей земли; и потом, он не мог произнести ни звука.

— На мой взгляд, — предложил наконец кто-то из них, — оставим его здесь одного. Пакостей он уже никаких не натворит.

Так они и сделали. Они подняли его и положили у обочины под какой-то желтый куст, лицом в тень. И ускакали.

А происходило все это на высоком плато, глухом и скудном, поросшем лишь редкими кустами, но теперь, весной, желтые цветы осыпали кустарник. Иосиф лежал в ясном и нежном солнечном свете и затуманивающимися чувствами впитывал обрызганную желтизной пустыню и это ласковое, веселое солнце.

Тот самый Иосиф, который приехал в Рим, чтобы Рим и весь мир пронизать духом иудаизма,

Иосиф, который приветствовал полководца Веспасиана именем месии,

Иосиф, который женился на Маре, наложнице Веспасиана, а потом на египетской гречанке Дорион,

Иосиф, который возглавлял силы евреев в Галилее, а позже из лагеря римлян вместе с победителями глядел, как горели Иерусалим и храм,

Иосиф, который был свидетелем триумфа Тита и склонил выю под иго в проеме его триумфальной арки,

Иосиф, который написал воинственную книгу о Маккавеях, и льстиво-примиренческую «Иудейскую войну», и космополитски вялую «Всеобщую историю», и пламенно патриотического «Апиона»,

Иосиф, который тщетно боролся за своего сына Павла и был виновником гибели своего сына Симона и своего сына Маттафия,

Иосиф, который ел за столом трех императоров, и за столом принцессы Береники, и верховного богослова Гамалиила, и буйного Акавы,

Иосиф, который постиг мудрость еврейских писаний, мудрость богословов, мудрость греков и римлян и который неизменно возвращался к последнему выводу Кохэлета, что все на свете суeta, и тем не менее никогда не следовал ему в своих поступках,

Этот Иосиф бен Маттафий, священник первой череды, известный миру под именем Иосифа Флавия, лежал теперь, умирая, на откосе у дороги, лицо и белая борода замараны кровью, пылью, слюной и конским навозом. Все пустое, обрызганное желтизной нагорье вокруг и ясное небоверху принадлежали теперь ему одному, горы, долины, далекое озеро, чистый оком с одинокими коршунами существовали только ради него и были лишь обрамлением для его души. Вся страна была полна его угасающей жизнью, и он был одно со страной. Страна принимала его, и ее он искал. Когда-то он искал целого мира, но обрел лишь свою страну; ибо слишком рано искал он целого мира. День настал. Другой день, не тот, о котором он грезил прежде, но он был доволен.

Прошло несколько недель; от Иосифа не было никаких вестей, и тогда Мара обратилась к губернатору в Кесарии и к верховному богослову в Ямнии.

Римские власти всполошились не на шутку: ведь речь шла о человеке, принадлежавшем к знати второго ранга, о человеке, которого знали в Риме и при дворе. Испуганный Гамалиил тоже делал все, чтобы найти Иосифа. Было обещано высокое вознаграждение тому, кто доставит его живым или мертвым. Но выяснить удалось только одно,— что в последний раз его видели в Эсдраэле. Дальше все следы терялись. Нелегко было разыскать пропавшего на земле, которую посетила война, ибо тысячами и тысячами трупов усеивало восстание эту землю.

Миновал месяц. Наступила пятидесятница, та пятидесятница, о которой грезил за столом у доктора Акавы, и кровавой была эта пятидесятница для Иудеи. И наступил

жаркий месяц таммуз, и годовщина дня, когда началась осада Иерусалима, и наступил месяц аб, и годовщина дня, когда сгорели Иерусалим и храм. А следы Иосифа бен Маттафия, которого римляне называли Иосифом Флавием, так и не были найдены. И пришлось признать его исчезнувшим без вести, и Гамалиилу пришлось расстаться с надеждой достойно похоронить крупнейшего из писателей, какой был у еврейства в этом столетии.

И тогда богословы решили: «Как сказано о Моисее, учителе нашем: «И никто не знает места погребения его даже до сего дня»...» И все согласились, что единственный памятник, который суждено иметь Иосифу,—это его труды.

КОММЕНТАРИИ

•

СЫНОВЬЯ

Работу над романом «Сыновья» Фейхтвангер начал непосредственно после завершения «Иудейской войны». Позже он писал: «Первоначально роман «Иосиф» должен был состоять из двух частей. Второй, завершающий том в 1932 году, ко времени опубликования первого тома, был до конца написан вчерне и в значительной части отделан. Но в марте 1933 года, когда национал-социалисты разграбили мой дом в Берлине, они уничтожили и готовую рукопись этого заключительного тома, и весь собранный научный материал. Восстановить погибшую книгу в ее первоначальном виде оказалось невозможно. Я узнал еще много нового; прямо касающегося темы «Иосифа», — национализм и мировое гражданство. Материал разорвал прежние рамки, и я вынужден был распределить его на три тома».

В этой второй редакции роман «Сыновья» и был впервые напечатан в 1935 году амстердамским издательством «Керидо». В русском переводе роман появился в журнале «Интернациональная литература» (1936, № 10—12); отдельное издание вышло в Гослитиздате в 1937 году, после чего роман был издан в составе 12-томного Собрания сочинений Л. Фейхтвангера (Т. 8. М., Изд. «Художественная литература», 1966 г.).

Стр. 7. *...император при смерти...* — Веспасиан умер 23 июня 79 г. н. э.

Стр. 11. *...тщательности, с какой обычно изготавливаются свитки священных еврейских книг...* — Свитки торы переписывались с соблюдением весьма многочисленных и сложных и чрезвычайно жестких правил. Регламентировано буквально все: материал для свитка, его размеры, цвет чернил, число букв в строке, ширина полей, промежутки между строками и между двумя смежными книгами и т. д. и т. п. Ничего нельзя писать на память, всякое слово следует сначала произнести и лишь потом изобразить на пергаменте. Прежде чем написать имя бога, писец всякий раз

говорит: «Я намерен написать святое имя». Нарушение любого из правил и ошибки переписчика делают свиток негодным для публичного чтения или даже запрещенным к употреблению. Но и такие свитки не выбрасывались, а сохранялись вместе с обветшавшими в особой кладовой — «генизе», а когда гениза наполнялась, все ее содержимое вывозили на кладбище и торжественно предавали земле.

Стр. 14. *Постыдный налог на евреев* — первый в истории специально еврейский налог, введенный Веспасианом после разрушения Иерусалима: все евреи империи должны были платить две драхмы в год (прежде взимавшиеся в пользу Иерусалимского храма) на нужды храма Юпитера Капитолийского в Риме.

Стр. 18. *Нардовый бальзам* — масло, добывавшееся из корней благовонного растения нарда и ценившееся очень высоко.

Вифиния — страна на северном побережье Малой Азии.

Стр. 20. *...мать и бабушка, чьи законченные... бюсты стоят в сенях...* — В атриуме (буквально это слово означает: «помещение, почерневшее от копоти»), то есть в первой от входа комнате дома — гостиной (в городских домах) или сенях (в деревне), висели на стене восковые маски заслуженных предков в назидание и в пример потомству. Их выносили в особо торжественных погребальных процессиях, надевая вместе с соответствующим костюмом, чтобы воочию представить знатную родословную умершего.

Стр. 21. *Но философов он выгнал из Италии.* — В 74 г. н. э. изгнаны были стоики и киники (циники), позволявшие себе резкую критику единовластия и личные выпады против императора.

Стр. 22. *Гельвидий Приск* — приверженец стоической философии и непоколебимый сторонник республики; за свои убеждения, которых он никогда не скрывал, он подвергался репрессиям еще при Нероне. Веспасиан отправил его в ссылку, а затем, убдившись, что Гельвидий не смирился, приказал казнить.

Сенецион Геренний — биограф Гельвидия Приска. Это биография, составленная уже в правление Домициана, стоила Сенециону жизни. Луций Юний Арулен Рустик — народный трибун 66 г. н. э. Он был казнен одновременно с Сенеционом, в 93 г. н. э., за то, что в своих сочинениях восхвалял Гельвидия Приска и его зятя, Тразея Пета, такого же твердого республиканца, как Гельвидий, покончившего с собою по приказанию Нерона (в 66 г. н. э.).

Стр. 25. *Асс, унция* — римские медные монеты. В сестерции было четыре асса, в ассе — двенадцать унций.

...плата, приготовленная для лодочника в царстве мертвых... — По верованиям древних греков и римлян, душам усопших по пути

в царство мертвых предстоит переправа через подземные реки, а лодочник Харон никого не перевозит даром.

Стр. 28. ...как однажды сказал про мою игру старик Сенека.—Отзыв Сенеки о Деметрии — вымысел Фейхтвангера.

Стр. 29. Таус — упоминается в римской литературе лишь однажды — у Тацита, в жизнеописании Агриколы (22); Тацит сам поясняет, что это название эстуария (воронкообразного устья реки, впадающей в море) где-то на севере острова Британия. Ученые нового времени считают, что «Таус» — ошибка переписчика и что следует читать «Тава».

Стр. 30. Коммагена — северная часть Сирии.

Стр. 34. ...Домициан бежал переодетый из осажденного Капитолия.— Когда восточные провинции провозгласили Веспасиана императором, его брат Флавий Сабин вместе с Домицианом повел в самом Риме борьбу с Вителлием, отнюдь не намеренным добровольно отказаться от власти. Уже незадолго до убийства Вителлия его приверженцы осадили на Капитолии сторонников Веспасиана. Капитолий был сожжен, Сабин убит толпой, а Домициану удалось бежать.

Стр. 41. Капитолийская троица — Юпитер, Юнона и Минерва. Центральная часть Капитолийского храма принадлежала Юпитеру, а боковые приделы, или часовни,—Юноне и Минерве.

Стр. 44. ...заканчивает шествие Веспасиан. Наш Деметрий Либаний.— Светоний («Веспасиан», XIX) сообщает, что на похоронах изображал Веспасиана, «подражая, как это заведено, поступкам и речам живого, главный мим Фавор».

Стр. 47. ...форума, носившего имя покойного императора.— Форум Веспасиана, или форум Флавиев,— пространство, окружавшее храм Мира и примыкающее к римскому Форуму. Храм богини мира был воздвигнут Веспасианом в 75 г. н. э. По словам одного из древних историков, это было самое огромное и самое прекрасное из зданий, которые украшали Рим. Здесь хранились многие из награбленных в провинциях драгоценностей, в том числе — священные сосуды и золотые предметы культа из Иерусалимского храма.

Публичные чтения — вошли в обычай при императоре Августе. Первоначально целью их было узнать мнение будущих читателей еще до выхода сочинения в свет, впоследствии они сделались для каждого автора обязанностью, нередко обременительной,— из выступлений в узком кругу друзей они превратились в своего рода общественное зрелище и устраивались в театрах, храмах, садах, банях, что требовало больших расходов.

Дион из Прусы (в малоазийской провинции Вифинии) — знаменитейший греческий оратор I в. н. э., получивший от современников прозвище Хрисостома (Златоуста). Он познакомил-

ся с Веспасианом во время его пребывания на Востоке и был приглашен в Рим, ко двору. Находился в дружеских отношениях с членами императорской фамилии, и когда Домициан, вступив в 81 г. н. э. на престол, стал расправляться со своими родственниками, Дион одним из первых подпал действию изданного новым императором закона об изгнании из Рима философов и учителей красноречия (82 г. н. э.). Четырнадцать лет он скитался по окраинам империи, проповедуя киническое учение о ничтожности земных благ и низости тирании и зарабатывая на пропитание работой на полях и виноградниках. Смерть Домициана восстановила Диона в правах. Его речь на тему «Греки и римляне» — вымысел Фейхтвангера.

Стр. 50. *Исократ* (436—338 гг. до н. э.) — один из крупнейших греческих ораторов. Он был приверженцем и поклонником македонского царя Филиппа II, не предвидя, что усиление Македонии может лишить независимости Афины и всю Грецию. Поэтому после битвы при Херонее, сделавшей Филиппа властелином Греции, Исократ покончил с собой.

...*Цицерон немислим без Демосфена, Вергилий — без Гомера.*— Сопоставление величайшего римского оратора Цицерона и величайшего оратора Афин Демосфена (384—322 гг. до н. э.) было обычно в древности (например, у Плутарха их жизнеописания даны параллельно). Основное произведение Вергилия (70—19 гг. до н. э.) «Энеида», ставшая национальным эпосом Рима, написана во многом в подражание поэмам Гомера.

Стр. 51. *Без Аристотеля, без греческой идеологии Александр был бы невозможен.*— Аристотель был приглашен Филиппом II ко двору для воспитания Александра и оставался при будущем покорителе мира целых восемь лет. В течение всей жизни царь сохранял уважение к греческой образованности и наукам, но политические его взгляды влиянием Аристотеля не отмечены.

Стр. 56. «*Аргонавтика*» — поэма о плавании греческих героев на корабле «Арго» в Колхиду за золотым руном. Латинская «Аргонавтика», дошедшая до нас в сильно искаженном виде, принадлежала Гаю Валерию Флакку, современнику Веспасиана (ему и посвящена поэма); с фейхтвангеровским сенатором Валерием он не схож ни в чем, кроме имени.

Стр. 57. *Кв. Туллий Валерий...*— Имя римлян состояло из трех частей: личное имя (оно дается обычно в сокращении), родовое имя и прозвище, позже ставшее также родовым именем. Фейхтвангеровский Валерий сочетает имена многих древних и знатных родов. Его личные имена: Кв.—Квинт, С.—Секст, Г.—Гай, Л.—Луций.

Стр. 62. ...*сказано в Писании.*— Исход, 20, 4.

Стр. 69. *Разве псалмы царя Давида хуже, чем оды Пиндара?* — Царю Давиду традиция приписывала авторство большей части библейской «Книги псалмов». По высокому пафосу, величественности образов, «парению мысли» и редкой напряженности чувства псалмы действительно отлично сопоставляются с одами великого греческого поэта Пиндара (522—442 гг. до н. э.).

Стр. 73. *Неаполь Флавийский* — римская колония, основанная после окончания Иудейской войны на месте древнего города Сихема (в центральной части Палестины — Самарии).

Стр. 74. *Минеи* (от е в р. «миним» — отщепенцы, раскольники) — так называются в истории религии иудеохристиане, то есть раннехристианские общины, которые состояли из евреев, принявших веру в мессию Иисуса, но сохранивших иудейский обряд обрезания.

Стр. 76. *Антий* — город к юго-западу от Рима, на берегу моря. *Альбанская гора* — большая гора к юго-востоку от Рима; на ее склонах и у подножия были расположены многочисленные усадьбы знати и богачей.

Стр. 82. *Фаида* — имя полулегендарной греческой гетеры (IV в. до н. э.), возлюбленной комедиографа Менандра. Она сопровождала Александра Македонского — также ее страстного поклонника — в его походе, а после смерти Александра была одной из наложниц Птолемея Лага, первого царя эллинистического Египта.

Стр. 95. *Назовите созвездие «Волосы Береники»!* — Судя по стихотворению римского поэта Катулла, представляющему собою перевод эпиллия (маленькой поэмы) александрийского поэта III в. до н. э. Каллимаха, созвездие было названо в честь другой Береники — супруги египетского царя Птолемея III Эвергета (247—222 гг. до н. э.). Коса, посвященная ею, по обету, в храм одной из богинь, таинственным образом исчезла, и придворный астроном, Конон Самосский, указав на созвездие, которого до сих пор не замечали, объявил, что божество перенесло волосы царицы на небеса.

Стр. 99. *Пантеон* — посвященный всем богам храм, круглое здание, выстроенное (вместе с банями) Марком Випсанием Агриппой, другом и зятем императора Августа в 28 г. до н. э. *Театр Бальба* — одно из самых больших и красивых театральных зданий в Риме, выстроенное в 13 г. до н. э. государственным деятелем и драматургом Луцием Корнелием Бальбом Младшим. *Театр Помпея* — первый римский постоянный театр на сорок тысяч зрителей для драматических представлений; воздвигнут Гнеем Помпеем Великим и открыт в 55 г. до н. э.

Стр. 106. *Новые бани* — гигантские термы (бани) Тита рядом с упоминаемым ниже Амфитеатром Флавиев.

Стр. 109. *В его памяти встали строки из Библии...*—Екклезиаст, 7, 26.

Стр. 113. *...в свой Амфитеатр.*— Имеется в виду «amphitheatrum Flavianum» («Амфитеатр Флавиев»), или «amphitheatrum colosseum» («исполинский Амфитеатр»); отсюда современное название остатков этого грандиозного сооружения на восемьдесят семь тысяч мест — Колизей.

Стр. 114. *...не имели на одежде полосы, свидетельствующей о римском гражданстве...*— Речь идет о верхней одежде (претексте), окаймленной широкой полосой пурпура. Такую тогу носили высшие должностные лица, а также дети обоего пола, родившиеся от свободных и полноправных римских граждан. ¹

Стр. 118. *...«Странствую также и я...»* — «Одиссея», XV, 272—276. Перевод В. А. Жуковского.

Стр. 125. *Академия* — философская школа, основанная Платоном в роще героя Академа близ Афин.

Стр. 141. *Субботний год* — каждый седьмой год пятидесятилетнего цикла. В этот год Библия требует дать отдых земле: никакие земледельческие работы не должны производиться, а плоды, родившиеся сами по себе, предоставляются в общее пользование всем желающим — не только людям, но и животным; долги, сделанные в предшествующие годы, в субботний год подлежат прощению. Законы о субботнем годе не соблюдались после возвращения из Вавилонского плена (т. е. с V в. до н. э.).

Стр. 141—142. *«Побежденные диктуют победителям свои законы».*— Эти слова Сенеки дошли до нас в цитате, которую приводит Блаженный Августин («О граде божием», 6, 10).

Стр. 144. *Большой судебный зал Юлия.*— Юлиева курия на римском Форуме: постройка ее была начата при Юлии Цезаре, но закончена лишь в правление Августа.

«Суд ста» — судебная коллегия, состоявшая из ста пяти, а позже — ста восьмидесяти судей, делившихся на несколько «сенатов» (Фейхтвангер называет их камерами).

Верховные судьи империи — преторы. Первоначально был один претор, потом два (один разбирал тяжбы между гражданами, другой — между гражданами и чужеземцами), потом, по мере возникновения постоянных судебных комиссий, ведавших разного рода уголовными преступлениями, число преторов, которым принадлежало председательство в этих комиссиях, увеличилось и при Нероне дошло до восемнадцати.

Стр. 146. *Кампанья* — приморская область в Средней Италии (ее главными городами были Капуя и Неаполь).

Стр. 148. *Оксибол* — военная машина, метавшая стрелы. *Петробол* — камнемёт (г р е ч.).

Стр. 154. «Ка». — По религиозным верованиям египтян, человек живет и в загробном мире в виде бога «ка», но лишь до тех пор, пока сохраняется его тело (отсюда — обычай мумификации).

«Книга мертвых» — папирус, обычно клавшийся в гробницу усопшего; содержала до двухсот отдельных глав, представлявших собой молитвы, магические формулы, славословия богам, а также мифы о загробном мире.

Стр. 156. «Тогда Сарра сказала Аврааму...» — Бытие, 21, 10, 11, 14 (цитата неточна). Так как Сарра состарилась, оставаясь бесплодной, она дала в жены Аврааму свою рабыню-египтянку Агарь. Агарь зачала и родила сына Измаила. Спустя четырнадцать лет Сарра родила сына Исаака, и в день, когда младенец был отнят от груди, Авраам устроил пир. На пиру Измаил насмехался над престарелой матерью и ее первенцем, и «тогда Сарра сказала...».

Стр. 159. *Иосиф и мальчик проводили ее на корабль.* — Корабли в Иудею уходили обыкновенно из Брундизия, порта в южной Италии, на Адриатическом море.

Стр. 160. «Ежедневные ведомости» — *acta publica* или *acta diurna*, то есть дневник городских происшествий, род ежедневной официальной газеты, содержащей и правительственные сообщения, и частные корреспонденции. Оригинал ее вывешивался, и с разрешения властей переписчики делали с него многочисленные копии как для самой столицы, так и для отсылки в провинции.

«Голубые» и «зеленые» — две соперничавшие группы наездников, каждая из которых имела множество «болельщиков».

...Трифон сослался на Священное писание... — По библейскому преданию, пророк Илия был унесен на небо живым на огненной колеснице, запряженной огненными конями (Четвертая Книга Царств, 2).

Стр. 163. *Со времен последней войны...* — Война в Британии велась с 77 г. н. э. непрерывно.

Стр. 164. Катулл — мимोगраф I в. н. э. Мим о разбойнике Лавреоле был написан и впервые поставлен незадолго до смерти Калигулы (41 г. н. э.). Драматург этот известен только по упоминаниям современников, ни одна строка его до нас не дошла. Римский мим представлял собою либо небольшие сцены (одноактные пьесы) с бытовым, часто сатирическим сюжетом, либо большие драматические произведения авантюрного жанра, где стихи чередовались с прозой, вокальными, танцевальными и акробатическими номерами.

Стр. 168. Квинтилиан (ок. 30—96 гг. н. э.) — знаменитый теоретик и преподаватель красноречия; его речи по делу Береники — вымысел Фейхтвангера.

Стр. 169. *Норны* — три богини судьбы в мифологии древних германцев, аналогичные римским Паркам.

Стр. 170. *Строгая глава из книги пророка Амоса* — глава 6. Цитата очень неточна. Амос — третий из двенадцати так называемых «малых пророков» Библии. Он жил в VIII в. до н. э. и пророчествовал о гибели Израильского царства (северного из тех двух государств, на которые распалось еврейское государство сразу же после смерти царя Соломона).

Стр. 174. *...Береника... властительница Халкиды и Киликии...* — Первым или вторым браком Береника была замужем за своим дядей, царем Иродом Халкидским (Халкида — город у подножия Ливана), а овдовев, вышла замуж за царя Киликии (области юго-восточной части Малой Азии), но вскоре оставила мужа, который ради нее принял иудейскую веру, и вернулась к брату, Агриппе.

Стр. 179. *«Утешайте, утешайте народ Мой».* — Книга пророка Исайи, 10, 1.

Стр. 194. *...Лия и Рахиль приводили своих рабынь к Иакову...* — В библейской «Книге Бытия» рассказывается, что Рахиль, видя свое бесплодие и завидуя Лии, дала в жены Иакову свою служанку Валлу, и та родила ему двоих сыновей. Затем ее примеру последовала переставшая рожать Лия, и ее служанка Зелфа тоже родила Иакову двоих сыновей.

Стр. 195. *Мардохей* — родственник библейской Эсфири (см. книгу Есфирь), удочеривший ее после смерти ее родителей; это он надумил Эсфирь просить царя Артаксеркса отменить указ об истреблении евреев и после позорной гибели царедворца Амана, ненавистника евреев, сделался первым царским советником.

Женитьба на вдове брата — так называемый левиратный брак. По древнееврейскому праву, бездетная вдова была обязана стать супругою деверя, брата своего умершего мужа, с тем чтобы старший сын от нового брака наследовал имущество умершего и его имя, то есть был бы продолжателем его рода. «Деверь» — по-латыни *levir*, отсюда название такого брака. Институт левирата, засвидетельствованный Библией (Второзаконие, XXV, 5—10), известен в различных формах многим народам, представляя собою очень характерный пережиток родового строя.

Законы двенадцати таблиц — запись римского обычного права, сделанная в середине V в. до н. э., основной источник римского права как публичного, так и частного (в области частного права они оставались основой законодательства вплоть до позднейших времен империи). Подлинный текст таблиц (еще в III в. н. э. стоявших на Форуме) до нас не дошел, сохранились лишь цитаты и извлечения в трудах древних юристов.

Стр. 198. *...подлинные римляне, потомки Энея...* — Римская аристократия возводила свое происхождение к легендарному герою Троянской войны Энею, сыну богини Афродиты, бежавшему после гибели Трои за море, в Италию.

...Сенека... искупивший свою распутную жизнь достойной смертью... — Современники и близкие потомки резко упрекали Сенеку за тщеславие и в особенности корыстолюбие, находившиеся в резком противоречии с его же собственными житейскими убеждениями и философскими взглядами.

Стр. 205. *Ферентин* — местность у восточного подножия Альбанской горы; Альбанское озеро лежало у юго-западного ее подножия.

Стр. 207. *«Прекрасное и доброе»* — *kalokagathia*, нравственный идеал греческой философии — сочетание высоких моральных качеств и физического совершенства.

Стр. 208. *Кохэллет* — еврейское название одной из книг Библии и упомянутое в первой фразе текста книги имя ее автора. Это слово, неправильно прочтенное и понятое греческими переводчиками, было истолковано как имя нарицательное, означающее «проповедующий перед народом», по-гречески — «екклесиастэс»; отсюда русское традиционное название этой книги — «Екклезиаст».

...Одиссей убивает всех женихов... но он щадит поэта. — Возвратившись на родину после десяти лет войны под Троей и еще десяти безвестного отсутствия, Одиссей застаёт в своем доме целую орду «женихов», нагло грабящих его имущество и требующих, чтобы его супруга Пенелопа выбрала в мужа одного из них, забыв пропавшего без вести Одиссея. Все они гибнут от руки Одиссея, только «славный песнями Фемий, всегда женихов на пирах веселивший пеньем», пощажен героем.

Стр. 212. *«И познал я...»* — Екклезиаст, 3, 14—21 (с небольшими пропусками).

«Нет иного блага для человека...» — Екклезиаст, 2, 22.

Стр. 213. *Все суета и затей ветреные* — рефрен, проходящий (иногда с незначительными изменениями) через всю книгу «Екклезиаст»; в этой форме впервые — 2, 11.

Как Иов, восставал он против бога и вызывал его на спор. — В своих испытаниях Иов твердо уверен, что он праведен и наказан богом без вины; он зовет бога на суд, хотя друзья лицемерно внушают ему, что бог без вины не карает и, стало быть, Иов грешен.

Стр. 215. *«Всему свой час, и время всякой вещи под небом...»* — Екклезиаст, 3, 1—9 (с незначительными пропусками и перестановками).

Стр. 226. *Зенон* из Китиона (на острове Кипр) — знаменитый философ IV—III вв. до н. э., основатель стоицизма. *Хрисипп*

из Сол в Малой Азии (ок. 280 — ок. 207 гг. до н. э.) — опора Стои, как называли его современники, замечательный диалектик, автор более чем семисот сочинений, ни одно из которых до нас не дошло. Гай Музоний Руф — римский стоик I в. н. э.; писал по-гречески, пользовался широкой популярностью. Нерон отправил его в ссылку, подозревая в причастности к заговору; напротив, Веспасиан, высылая из Рима философов, сделал исключение для одного лишь Музония. Сочинения его не сохранились.

Стр. 228. *Древние египетские стихи* — строки из поэтического диалога «Беседа разочарованного со своей душой», относящегося к периоду Среднего царства (XXII — XIX вв. до н. э.).

Стр. 232. *Обряд «меди и весов»* — акт так называемой мандипации (букв.: «взятия рукой»), представлявшей собой один из основных способов приобретения собственности в Древнем Риме. В присутствии пяти свидетелей из числа совершеннолетних и полноправных граждан и еще одного, державшего весы, приобретатель касался рукой приобретаемого предмета, одновременно ударяя кусочком меди или медной монетой, которую он держал другой рукой, о весы, а затем немедленно вручал медь уступавшему свое право владения (отчуждателю). По-видимому, в далеком прошлом, когда деньги отмерялись на вес, обряд этот был не формальным, а действительным актом купли-продажи.

Стр. 233. *Филон Александрийский* (ок. 20 г. — ок. 50 г. н. э.) — плодовитый философ; в своих сочинениях, написанных по-гречески (значительная их часть дошла до нашего времени, частично — в армянских переводах), он пытается, аллегорически толкуя Библию, совместить иудаизм с учением Платона и стоиков. Стараясь сблизить Восток и Запад, Филон никогда не разрывал со своим народом и в пору бедствий старался облегчить его страдания. Так, после страшного погрома 38 г. н. э. он отправился во главе делегации александрийских евреев в Рим просить защиты и правосудия у императора.

Стр. 234. *«Избранные отцы»* — титул сенаторов, *patres conscripti*, буквально: «отцы, внесенные в списки». Предполагают, что первоначально этот титул звучал *patres et conscripti*, то есть сенаторы из патрициев (исконные сенаторы) и сенаторы из сословия всадников, которыми после свержения в Риме власти царей (конец VI в. до н. э.) были пополнены поредевшие ряды сената.

Колоссальная статуя Нила — огромная мраморная группа, изображающая бога реки Нил, — он полулежит, опираясь одной рукой на сфинкса, а в другой держа рог изобилия, — в окружении шестнадцати детских фигур, символизирующих, как полагают, шестнадцать локтей (около восьми метров), на которые под-

нимается уровень Нила во время наводнений. Группа была найдена на месте, где стоял храм Исида и Сераписа (недалеко от форума Веспасиана и храма Мира); ныне находится в Ватиканском музее. *Обвитый змеями Лаокоон* — одна из знаменитейших скульптур древности, принадлежавшая резцу родосских скульпторов Александра, Полидора и Афинодора (время жизни неизвестно). «Лаокоон» украшал дворец Тита на Палатине и был найден в 1506 г. под его развалинами; ныне — также в Ватиканском музее. *Картина, изображающая битву Александра Великого с персидским царем Дарием*, — шедевр греческого искусства, по словам римского ученого I в. н. э. Плиния Старшего. Ее создатель — Филоксен из Эретрии (на острове Эвбея), живший во второй половине IV в. до н. э. Судьба ее неизвестна; некоторые исследователи высказывают предположение, что одна из открытых в Помпеях мозаик выполнена по картине Филоксена.

Стр. 235. *Дежурный консул*. — Консулы исполняли свои обязанности не совместно, а поодиночке, чередуясь ежемесячно.

Стр. 236. *Лабейон* — Квинт Антистий Лабейон, знаменитый римский юрист времен Августа, автор более четырехсот сочинений по различным отраслям правоведения, дошедших до нас в виде цитат и переложений позднейших юристов.

Стр. 244. *Нис* и *Эвриал* — персонажи «Энеиды» Вергилия (кн. IX поэмы), неразлучные друзья, вместе совершившие подвиг и вместе погибшие.

Ионафан — сын царя Саула, связанный с Давидом дружбою, которая не ослабела даже после того, как Саул сделался злейшим врагом Давида.

Стр. 245. *Аррия* — супруга Цецины Пета, причастного к заговору против императора Клавдия (42 г. н. э.). Заговор был раскрыт, все попытки Аррии спасти мужа потерпели неудачу, ему оставалось только покончить с собой, и тут, видя, что он колеблется, Аррия вонзила кинжал себе в грудь, а затем протянула его Пету со словами, которые приводит Фейхтвангер.

Гений — по римским верованиям, лучшая часть человеческой личности, человеческой души; гений сопровождает человека и хранит его от бед в течение всей жизни. В каждый из радостных для себя дней (день рождения, свадьбы и т. п.) римлянин приносил жертву своему гению. После смерти человека гений остается на земле, чаще всего — подле могилы умершего.

Стр. 246. «*Мало того, что ты просветишь сынов Иакова...*» — Книга пророка Исайи, 49, 6 (цитата неточна).

...волки будут лежать рядом с агнцами и земля будет полна мирной мудростью, как море — водою. — Книга пророка Исайи, 11, 6, 9.

Стр. 249. *«Ибо мои мысли не ваши мысли и ваши пути не мои пути».*— Книга пророка Исаии, 5, 8.

Стр. 250—251. *...он процитировал Горация...*— «Оды», I, 4, 1—2. Перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского.

Стр. 252. *«Как единоплеменник ваш...»* — Левит, 19, 34.

Стр. 253. *Эбиониты* (от евр. «эбион» — «неимущий») — иудеохристианская секта, отрицавшая божественность Христа, но принимавшая наряду с обрезанием обряд крещения и верившая в истинность земной жизни Иисуса. У эбионитов было свое Евангелие, близкое к Евангелию от Матфея.

Известный Матфей — евангелист Матфей, один из двенадцати апостолов, бывший мытарь (сборщик налогов).

«На путь к язычникам не ходите...» — Евангелие от Матфея, 10, 5—6.

...город самарянский...— Самария — центральная область Палестины; она была населена потомками колонистов из разных областей Ассирийской державы, смешавшихся с остатками евреев, которые уцелели на территории Израильского царства, после того как оно было разгромлено ассирийцами, а население уведено в плен. Несмотря на то что и самаритяне исповедовали иудаизм, отношения между ними и евреями были враждебными.

Стр. 254. *Иафет* — по Библии, один из трех сыновей патриарха Ноя, родоначальник народов, обитающих к северу от земли Израиля, в том числе — греков.

Стр. 258. *...мы должны превзойти Антиохию.*— Антиохия на реке Оронт была столицей провинции Сирии. Это был один из самых значительных городов эллинизированного Востока.

Десятиградие — союз автономных городов в заиорданской части Северной Палестины, возникший в середине I в. до н. э. *Авранитида* — область, примыкавшая к Палестине с северо-востока.

Стр. 259. *Название этой страны означало: «край язычников»; она долго противилась господству иудеев...*— После гибели Израильского царства и насильственного переселения евреев в Ассирию, Галилея (Гелиль; это слово означает по-еврейски «круг») получила название Гелиль-га-гоим, то есть Земли народов, или Земли язычников. Впрочем, и до того число евреев в Галилее было невелико. Только в последние два века до нашей эры там образовалось устойчивое еврейское большинство.

Стр. 260. *...даровало... права колоний.*— Речь идет о так называемом «италийском праве», которое начиная с первых лет империи получали некоторые провинциальные города. Это право предоставляло горожанам возможность самоуправления, свободу от подушной и поземельной податей и другие льготы.

Стр. 261. *...священные сосуды, которые его пращур зарыл на священной земле Гаризим.*— Гора Гаризим, с вершины которой Моисей повелел призвать благословения на весь народ, когда евреи наконец достигнут Земли обетованной, особенно чтилась самаритянами, которые воздвигли здесь храм (вероятно, в конце V в. до н. э.), три века спустя разрушенный еврейским князем-первосвященником Иоанном Гирканом. О священных сосудах этого храма и говорится здесь.

Стр. 267. *Вся страна уже была однажды эллинизирована...*— Речь идет, по-видимому, о политике насильственной эллинизации, которую проводили сирийские цари Селевкиды (нач. II в. до н. э.— 141 г. до н. э.).

В горах Ефремовых — на территории, которую некогда занимало «колено (племя) Ефремово»; это была гористая местность в срединной части страны.

Стр. 272. *«Люби ближнего, как самого себя».*— Левит, 19, 18.

...любить, как самого себя, надо не только ближнего, но и врага, и если тебя ударят по одной щеке, подставить и другую.— Евангелие от Матфея, 5, 43—47 и 38.

Стр. 279. *Свинья из эпикурова стада.*— Гораций, «Послания», I, IV, 16.

Назорей.— В Ветхом завете назореями называются люди, посвятившие себя богу. Значение этого слова в Новом завете, где оно применяется к Иисусу, до сих пор точно не установлено. Известно лишь, что существовала иудеохристианская секта с таким названием.

Стр. 280. *Аримафея* — город в Палестине; точное местонахождение его неизвестно.

Благая весть — по-гречески «эуангелиа», отсюда — Евангелие.

Стр. 281. *Осанна* — искаженный на греческий лад еврейский молитвенный возглас, означающий «спаси же!».

Дарик — персидская золотая монета.

«Помыслы сердца человеческого греховны от юности его».— Бытие, 8, 21. *«Во грехе я был рожден и в скверне зачат матерью»* — псалом 50, 7.

Стр. 293. *Здесь некогда властвовали наместники фараонов, затем князья иебуситов...*— На месте будущего Иерусалима еще в XV — XIV вв. до н. э. стоял укрепленный город, принадлежавший даннику египетского фараона. В более позднюю эпоху здесь находился город ханаанейского племени иебуситов.

Безмерные жалобы Иеремии — Плач Иеремии, 1, 1—2; 4, 15; 2, 16 (цитата неточна).

Стр. 294. *«Да и да, согрешил я...»* — слова из торжественной литургии в Судный день (день очищения).

Стр. 296. «Сын учить отца имеет право розгой».—А р и с т о-
ф а н. «Облака», 1339—1340:

...нравственно и правильно
Родному сыну избивать родителя.

(Перевод А. И. Пиотровского)

Стр. 299. *Диаспора* — рассеяние (греч.), слово, которое соответствует еврейскому слову «галут» (изгнание), применявшемуся к евреям, живущим вне Палестины.

Стр. 305. «Сверх всего этого, сын мой, прими наставление...» — Екклесиаст, 12, 12.

Стр. 306. ...изгнал торговцев жертвенными предметами.— На первом (внешнем) дворе храма продавали жертвенных животных и сидели менялы. Особенно оживленными торговля и размен денег бывали в предпраздничные дни.

...согласно словам пророка...— В «Евангелии от Матфея», 21, 13, сказано, что Христос, изгоняя торгующих из храма, привел слова Исаии (6, 7): «Дом Мой дом молитвы наречется».

Стр. 307. *Христос* — греческий перевод еврейского слова «мессия» (точнее — «машиах»), «помазанник», то есть «царь».

Стр. 309. *Ездра* — священник, переселившийся в середине V в. до н. э. из Вавилона в Палестину и возглавивший борьбу против ассимиляции, растворения в среде соседних народов, окружавших немногочисленную еврейскую общину Палестины. В частности, он требовал расторжения всех смешанных браков и изгнания иноплеменных жен и детей-полукровок. *Неемия* — приближенный персидского царя Артаксеркса I, назначенный наместником Иудеи и всемерно поддерживавший Ездру.

Стр. 310. ...некий Павел.— Святой Павел, «апостол язычников»; судя по Новому завету, он был самым ревностным из ревнителей раннего христианства и смелее всех шел на открытый разрыв с иудаизмом.

Стр. 325. *Руфь* — героиня одноименной книги, входящей в канон Ветхого завета. После смерти свекра, мужа и брата мужа, переселившихся в Моав (страна к востоку от Мертвого моря) из Ханаана, моавитянка Руфь, не желая расставаться со свекровью, возвращающейся на родину, попадает в Вифлеем. Благодаря своей скромности и трудолюбию она «приобретает благоволение» Вооза, родственника своего свекра, и становится его женой. Родившийся у нее сын был дедом царя Давида.

Ягве... разгневался на Иону и наказал его...— Не желая проповедовать в ассирийском городе Ниневин, как повелел ему бог, пророк Иона бежал из Палестины морем, но по пути поднялась страшная буря, корабельщики бросили жребий, чтобы узнать, на кого из находящихся на борту гневается бог, жребий

пал на Иону, и его бросили в море. Буря утихла, а пророка проглотил огромный кит и носил его в своей утробе три дня и три ночи, пока Иона не обратился к богу с молитвой и с обещанием исполнить его волю. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Этот забавный и отдающий неверием миф о капризном пророке составляет предмет «Книги пророка Ионы», также входящей в библейский канон.

Стр. 329. *Молоко волчицы.*— По преданию, младенцы-близнецы Ромул и Рем, будущие основатели Рима, были вскормлены волчицей; поэтому волчица считалась чем-то вроде эмблемы Римского государства.

...здесь же оскудело даже молоко и мед.— В Библии Палестина, обещанная богом в наследие народу Израиля, неоднократно называется «землею, где течет молоко и мед» (например, Исход, III, 8).

Стр. 334. *...число молений не доходит до восемнадцати, а это, как известно, священное число жизни.*— Число восемнадцать обозначается двумя буквами — «хет» и «йод». Сочетание их образует слово «хай», что значит «жизнь». Поэтому число восемнадцать и поныне считается счастливым у евреев.

Стр. 335. *«Молитва лучше жертвы».*— Мысль эта выражена во многих местах Библии. См., например, Первая Книга Царств, 15, 22, Книга пророка Исаи, 1, 11—17, Книга притчей Соломоновых, 21, 3.

Стр. 340. *...некоего Савла, или Павла...*— Апостол язычников, кроме «языческого» (римского) имени «Павел» имел и еврейское — Савл (Саул).

Стр. 347. *...разве в «Персах» у Эсхила нет такого места?* — В трагедии Эсхила «Персы» рассказывается о знаменитом морском сражении при Саламине (480 г. до н. э.), в котором афиняне одержали блестящую победу над персами.

Стр. 357. *...Ягве послал... крошечное насекомое, чтобы погубить Тита.*— Легенда заимствована Фейхтвангером из Талмуда.

Стр. 375. *«Не уподобляйтесь отцам вашим», сказано в Писании.*— Вторая книга Паралипоменон, 30, 7.

Стр. 381. *Корей* — левит, взбунтовавшийся против Моисея.

Стр. 384. *...царство Израиль... и царство Иудея, и второе царство Иудея...*— После смерти царя Соломона единое государство, созданное Давидом, распалось на царство Израиль в северной Палестине, со столицей Самария, и царство Иудея на юге, со столицей Иерусалим; Израиль пал в 722 г. до н. э. от руки сирийского царя Саргона II, Иудея — в 597—586 гг. до н. э. под ударом Навуходоносора. Второе царство Иудея — государство, созданное Маккавеями в борьбе с Селевкидами, эллинистическими царями Сирии (130 г. до н. э.) и завоеванное Помпеем в 63 г. до н. э.

Стр. 392. *Колосс* — гигантская статуя Нерона (около 33 м высотой), стоявшая у самого Амфитеатра Флавиев (Колизея). Веспасиан посвятил ее Аполлону и заменил голову Нерона головой бога. Статуя же Веспасиана высотой в 23 м находилась подле храма Мира.

Стр. 394. *Целла* — ниша в римском храме, где стояло изображение божества.

Стр. 403. *Силий Италик* Гай (ок. 25 — ок. 100 гг. н. э.) — автор эпической поэмы «Пуника», сохранившейся, но не имеющей никакого литературного значения. Уже современники относились к этому поэту достаточно критически. *Стаций* — Публий Папиний — талантливый поэт второй половины I в. н. э., льстец и любимец Домициана. Сохранились две его эпические поэмы — «Фиванда» и неоконченная (точнее — только начатая) «Ахиллеида», ныне интереса не представляющие, а также «Сильвы» («Леса») — интересный сборник стихотворений, большей частью написанных на случай, или даже импровизаций.

Стр. 409. *Медный змий*. — В четвертой книге Моисеева Пятикнижия, «Числах» (гл. XXI), рассказывается, что народ роптал на Моисея, и бог в наказание послал на Израиль ядовитых змей, так что многие умерли, а оставшиеся в живых раскаялись, и тогда Моисей, по повелению бога, сделал медное изображение змеи, и всякий ужаленный, взглянув на это изображение, исцелялся. *Золотой бык* — идол, которого, по неотступному требованию народа, сделал Аарон, когда Моисей поднялся на гору Синай, чтобы получить от бога скрижали закона, и слишком долго, по мнению народа, не возвращался. За такое малодушие и отступничество бог был готов истребить весь Израиль, до последнего человека, и от одного Моисея произвести новый народ, который будет многочисленнее и сильнее истребленных; но Моисей умолил его пощадить провинившихся (Исход, 32).

Стр. 412. *...он прочел у Ливия...* — Кн. III, гл. 28.

Стр. 416. *И как он говорил вечером: «О, если бы наступило утро!»* — Ср. Второзаконие, 28, 67.

Стр. 419. *«Как прокляну...»* — Числа, 28, 8—10; 24, 5, 9, 17 (цитата неточна).

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Третья книга трилогии об Иосифе, написанная в эмиграции, впервые появилась в 1942 году в Нью-Йорке, в английском переводе под названием «Josephus and the Emperor» — «Иосиф и император» (издательство «The Viking Press»). По-немецки роман вышел только в 1945 году, в стокгольмском издательстве

Берман-Фишера, под названием, принятым ныне. В 1952 году, в первом полном издании всей трилогии (Frankfurter Verl. Anst.), роман получает название «Земля обетованная». Однако в Собрании сочинений, выпущенном издательством «Aufbau» и положенном в основу настоящего Собрания, вновь принято название «Настанет день». В русском переводе роман был опубликован впервые в 1966 г. (Л. Фейхтвангер. Собрание сочинений в 12 тт. Т. 9. Изд. «Художественная литература»).

Стр. 425. ...*Саул, хотя его и предупреждали, что он умрет... все же решительно пошел в бой.*— Библейская «Первая Книга Царств» (главы 28 и 31) рассказывает, что первый царь Израиля Саул (современная наука датирует его правление XI в. до н. э.), боясь войны с филистимлянами, вызвал дух умершего пророка Самуила, некогда помазавшего его на царство. Самуил возвестил ему, что он более не угоден богу и что «Господь предаст Израиля вместе с тобою в руки филистимлян». Следующая ниже цитата из Флавия — «Иудейские древности», VI, 14, 4 (Фейхтвангер называет это сочинение «Всеобщей историей иудейского народа»).

«Ревнители грядущего дня» — zeloty, самая радикальная политическая группировка в Палестине I в. н. э. В первом романе об Иосифе Флавии они названы «Мстителями Израиля».

Стр. 427. *Кислев* — третий месяц еврейского календаря; соответствует концу ноября — началу декабря.

Стр. 429. *Даки перешли Дунай и вторглись в пределы империи.*— Дакийское царство находилось на нижнем Дунае. В правление Домициана даки неоднократно вторгались в римские владения. Мирный договор с ними был заключен в 89 г. н. э. ценою значительных уступок со стороны Рима.

Стр. 432. ...*триумфальное одеяние Юпитера*...— Триумфатор въезжал в Рим на позолоченной колеснице, запряженной четверкою белых коней, в таком же точно одеянии, в каком изображали верховного бога Юпитера: затканная пальмами (символ победы) туника, расшитая золотом тога, на голове лавровый венок.

Стр. 434. *Двойная драхма* — дидрахм, монета достоинством в две драхмы (драхма — греческая серебряная монета, имевшая хождение и в Римской империи и по стоимости равная римскому денарию).

Стр. 441. *Фронтин* — Секст Юлий Фронтин (ок. 40 — ок. 106 гг. н. э.), римский государственный и военный деятель, автор дошедшего до нас сочинения «Военные хитрости». В 75—78 гг. н. э. он командовал римским войском в Британии. В романе Фейхтвангер допускает неточность: известно, что во времена

Домициана Фронтин держался вдали от двора и ни в каких делах участия не принимал.

...торжественно надел тогу взрослого гражданина.— Дети полноправных римских граждан носили белую тогу с широкой красной каймой, а достигая совершеннолетия, меняли ее на гладкобелую. Торжественная церемония, связанная с совершеннолетием, изображается во второй части романа.

...посещать один из греческих университетов.— Речь идет о школах красноречия и философии, которые держали в Риме приезжие риторы-греки.

Диурпан (или Диурпаней) стоял во главе даков на ранней стадии войны с римлянами, затем его сменил Децебал, и все, что говорится здесь и далее о Диурпане, следует относить к Децебалу. Однако это не просто ошибка Фейхтвангера: долгое время ученые считали, что Децебал — это прозвище Диурпана.

Стр. 445. *...в Германии, в Британии.*— При Домициане был проведен успешный поход против германского племени хаттов и создана система крепостей, надежно охранявшая римские территории по Рейну. В Британии римляне под командованием Юлия Агриколы покорили больше половины острова.

Стр. 448. *...его прадед держал откупную контору...*— Прадед Домициана был мелким начальником в войске Помпея. После победы Цезаря и гибели Помпея «он вернулся домой, добился прощения и отставки и занялся сбором денег на распродажах» (С в е т о н и й. Жизнь двенадцати Цезарей, Божественный Веспасиан, I. Перевод М. Л. Гаспарова).

Гельвидия Старшего убрал еще старик Веспасиан.—См. коммент. к с. 22 (Гельвидий Приск).

Стр. 449. *...он устранил ее любимца Париса и... заставил сенат сослать ее на остров Пандатарю.*—Луция Домиция Лонгина находилась в связи с танцовщиком по имени Парис. Домициан казнил артиста и развелся с женой, но, как сообщает Светоний («Домициан», III), «не вытерпел разлуки с нею и спустя недолгое время, якобы по требованию народа, снова взял ее к себе». Домиция была удалена от двора (видимо, в 82—84 гг. н. э.), но ссылка на Пандатарю — вымысел Фейхтвангера. Пандатария — небольшой островок у западного берега средней Италии.

Стр. 450. *...со знаками императорской власти.*— К их числу принадлежали: расшитая золотом тога или пурпурный плащ, лавровый венок (позднее сменившийся золотой диадемой), а также постоянный почетный эскорт из двадцати четырех служителей-ликторов.

У ног его вытянулся волк, дятел... уселся на... щит.— Волк был священным животным, а дятел священной птицей римского бога войны Марса.

Великий Александр — Александр Македонский.

Стр. 454. *Так как он состоял в родстве с поэтом Катуллом...*— Действительно, слепого доносчика, «главного клеветника» при Домициане, звали Катулл Мессалин. Но был ли он в родстве с великим римским поэтом Валерием Катуллом (ок. 84—54 гг. до н. э.), никто не знает.

Стр. 456. *...тени высокопоставленных изгнанниц... Агриппины, Нероновой Октавии, Августовой Юлии.*— Агриппина Старшая (17 г. до н. э.— 33 г. н. э.) — внучка императора Августа, супруга знаменитого полководца Германика, племянника императора Тиберия. Германик, пользовавшийся громадной популярностью в войске и в народе, был отравлен (возможно, с согласия Тиберия). Оппозиционно настроенные сенаторы демонстративно скорбели об умершем и столь же демонстративно выражали уважение и сочувствие его вдове. Тиберий сослал Агриппину на остров Пандатария, где она и умерла. Октавия (42—62 гг. н. э.) — дочь императора Клавдия и супруга императора Нерона, с которой он развелся, чтобы жениться на Поппее. Нерон приказал вскрыть Октавии вены, и она умерла на Пандатарии. Юлия (39 г. до н. э.— 14 г. н. э.) — дочь императора Августа, уличенная в супружеской неверности и грубейшем разврате. Она провела на Пандатарии пять лет.

Стр. 459. *Стаций.*— См. коммент. к с. 403. Ниже Фейхтвангером приводятся строки из его сборника «Леса».

...несло благовониями, словно от погребального шествия какого-нибудь вельможи.— Мертвое тело перед сожжением обильно напивывали благовониями.

Стр. 460. *...зловную шутку, которую недавно позволил себе император...*— Эта шутка описана Ювеналом в сатире четвертой.

Стр. 461. *Палатинские игры.*— Игры с таким названием среди римских празднеств неизвестны.

Стр. 465. *Меценат* Гай Цильний (69—3 г. до н. э.) — приближенный Августа, друг и покровитель Горация, Вергилия и других поэтов. Его имя стало нарицательным.

Стр. 471. *Публий Корнелий* — великий писатель и историк Древнего Рима Публий Корнелий Тацит (ок. 55 — ок. 120 гг.).

Стр. 479. *...Домициан приказал отпереть храм Януса...*— Янус — италийское божество, бог-покровитель всякого начала. Согласно Плутарху («Нума», XX), в Риме Янусу был воздвигнут храм, который называли «Вратами войны», ибо во время войны двери в нем держали отворенными, а во время мира — запертыми.

Стр. 483. *Великий галлель.*— Галлель (букв. «хвала»; ср. «аллилуйя», что значит «хвалите Господа») — название, данное в Талмуде псалмам 113—118, восхваляющим бога за избавление от опасностей. Другая группа псалмов носила название «вели-

кий галлель», но какие псалмы входили в эту группу, не установлено.

Стр. 486. *«Убивайте врагов, где бы вы с ними ни встретились...»* — Таких слов в «Книге Юдифь», разумеется, нет: это «псевдоцитата». «Книга Юдифь» — один из библейских апокрифов (т. е. сочинений, не вошедших в еврейский канон, но христианскою церковью признанных за священные или полусвященные), дошедший до нас в греческом переводе. Ее тема — нашествие врагов на Иудею и чудесное спасение страны благодаря храбрости вдовы Юдифи, которая под видом перебежчицы проникла в стан противника, очаровала полководца Олоферна и убила его. Факты и хронология перепутаны до крайности (скорее всего умышленно). Невозможно даже понять, кто враги иудеев: в Палестину вторгается войско Навуходоносора (первая половина VI в. до н. э.), который назван, однако, царем Ассирийским (вместо Вавилонского), а командует войском Олоферн, военачальник персидского царя Артаксеркса III Оха, возглавлявший поход 350 г. до н. э. против Финикии и Египта. Вполне возможно, что во время этого похода персы побывали и в Иудее. Написана книга, вероятно, во II в. до н. э.

«Горе народам, восстающим против рода моего...» — Книга Юдифь, 16, 17.

Стр. 487. *В седую старину существовала у его народа героиня Иаиль...* — В библейской «Книге судей Израилевых» (гл. 4—5) рассказывается о пророчице Деборе, которая возглавила борьбу евреев против ханаанского военачальника Сисары. После битвы Сисара бежал к шатру некоего Хевера и просил спрятать его. Жена Хевера Иаиль накрыла беглеца ковром, а когда он уснул, взяла кол от шатра и молот и пригвоздила голову Сисары к земле. Дебора сложила в честь победы восторженную песнь, где в особенности прославлялась Иаиль. Песнь Деборы считается одною из древнейших частей Ветхого завета и одним из лучших образцов древнееврейской торжественной лирики. Наука датирует Дебору примерно XIII в. до н. э.

Он... тоже рассказывал о своем историческом труде об этой Иаили. — См. «Иудейские древности», V, 6.

Стр. 488. *«Вот голова Олоферна...»* — Книга Юдифь, 13, 15.

«Не от юношей пал сильный их...» — Книга Юдифь, 16, 6.

Стр. 489. *...провозгласили императором в четырнадцатый раз.* — Первоначально слово «император» обозначало звание главнокомандующего, облеченного высшей военной и судебной властью, а также титул, дававшийся полководцу солдатами после большой победы. Впоследствии этот титул стал исключительной принадлежностью государя, главы Империи.

Стр. 490. *Себаста* — древняя Самария, столица Израильского царства. Переименовал ее Ирод Великий — в честь императора Августа, подарившего ему этот город («*Sebaste*» по-гречески — то же, что «*Augusta*» по-латыни: «достойная благоговения»).

Стр. 495. *Веспасиан разрушил второе царство...*— Хотя Иудея потеряла политическую самостоятельность задолго до Веспасиана — в 63 г. до н. э., во время восточных походов Помпея, — номинально ею продолжали управлять цари, потомки и наследники Ирода Великого.

Стр. 497. *Он хитростью принудил их проклясть в молитве самих себя...*— См. с. 333 и далее.

Стр. 499. *...это тень Ваала, которая всегда продолжала жить в Иудее.*— Слово «Ваал» (Баал, Бел) было у древних евреев общим именем для различных древнесемитских богов, которым поклонялись их соседи и чей культ получил распространение и среди самих евреев, когда они приобрели оседлость в Палестине. Борьба против Ваалов — одна из главных тем проповеди пророков.

Стр. 501. *...нужно быть кроткой, как голубь, и мудрой, как змий.*— «Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» — из наставлений Христа своим апостолам (Евангелие от Матфея, 10, 16).

Стр. 506. *...Домициан ужинал лишь в обществе Юпитера, Юноны и Минервы.*— Такие угощения богов назывались лектистерниями и устраивались регулярно особой, специально для этого выбранной, коллегией. Люди в этих пиршествах участия не принимали.

«*Черепаха*» (*testudo*) — особый боевой порядок в римском войске: солдаты шли на приступ тесно сомкнутым строем, держа сдвинутые щиты над головой и таким образом защищая себя от стрел и камней, которые сыпались на них со стен осажденной крепости.

Стр. 507. *...вернул ей совиные очи...*— Сова была священной птицей Афины (у римлян Минервы), а первоначально тотемом, с которым человеческий облик богини всегда оставался связанным неразрывно. Недаром одним из постоянных прозвищ Афины было «Совоокая».

Изобретательница звучных флейт.— Среди прочих божественных обязанностей Афины-Минервы было покровительство музыкантам. Греки считали ее изобретательницей духовых инструментов.

Стр. 513. *...народ Израиля вынесет третий переход через пустыню...*— Первый переход — исход из Египта; под вторым подразумевается возврат евреев на родину после «Вавилонского пленения».

Стр. 521. «*Рапакс*». — Рарах по-латыни: «Хищный» (или «Неудержимый»). Это имя носил Двадцать первый легион, сформированный еще в правление императора Августа.

Стр. 527—528. ...*который из трехсот шестидесяти пяти запретов был этой поездкой нарушен и каким из двухсот сорока восьми повелений они вынуждены были пренебречь*. — См. т. 4, с. 368 (коммент. к словам: *шестьсот тринадцать заповедей Моисея*).

Эдом. — В Талмуде это слово обозначало Рим. См. также коммент. к этому слову в т. 4, с. 471.

Стр. 531. *В том царстве, которое он должен основать*... — Реминисценция из пророка Исаяи (Книга пророка Исаяи, 2, 4 и 11, 6—18).

Стр. 532. «*Будет некогда день, и погибнет священная Троя*» — Гомер. «Илиада», VI, 448. Перевод Н. И. Гнедича.

Стр. 533. «*От Сиона выйдет закон, и слово Господне — из Иерусалима*...» — Книга пророка Исаяи, 2, 3—4.

«*Мало того, что ты будешь рабом моим*...» — Книга пророка Исаяи, 9, 6.

«*И будет Он судить многие народы и обличит многие племена в дальних странах*» — Книга пророка Михея, 4, 3.

А как же понять слова о Гоге и Магоге... — См.: Книга пророка Иезекииля.

Стр. 540. ...*что вы... думаете о судьбе Цезариона, сына Юлия Цезаря и Клеопатры*. — В 30 г. до н. э. Октавиан (будущий император Август) взял Александрию, последний оплот сопротивления Марка Антония. Среди захваченных в плен сторонников Антония был Цезарион, которого Октавиан приказал казнить.

Стр. 541. *Примерно в эпоху Троянской войны*... — В действительности Троянская война датируется концом XIII в. до н. э., а правление Давида — концом XI в. до н. э.

А наша, римская, начинается только с бегства Энея из горящей Трои. — См. коммент. к с. 198.

...он и сам немножко похож на того Давида, который играл на арфе царю Саулу... — Библейская Первая Книга Царств (гл. 14—23) повествует, что Саула «возмущал злой дух от Господа», и царь приказал своим слугам найти человека, «искусного в игре на гуслях», чтобы он успокаивал его своею игрой. К нему привели юношу Давида, «и когда дух от Бога бывал на Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, — и отраднее и лучше становилось Саулу, и дух злой отступал от него».

Стр. 542. ...*как мог сенат оставить его убийцу Эпафродита безнаказанным*. — Эпафродит был вольноотпущенником Нерона и его секретарем. Он оставался верен своему бывшему хозяину до конца, и когда тот, сознавая безвыходность своего положения,

решился наконец убить себя, Эпафродит помог ему вонзить меч в горло. При Домициане Эпафродит занимал должность императорского советника по делам прошений. Незадолго до собственной гибели Домициан приказал казнить его, «чтобы дать понять... что даже с добрыми намерениями преступно поднимать руку на патрона» (Светоний. «Домициан», XIV. Перевод М. Л. Гаспарова).

Стр. 544. ...и еще в писаниях минеев...— Эпизод с искушением Христа «от диавола» — Евангелие от Матфея, 4, 1—11, и Евангелие от Луки, 4, 1—13. Греческое слово *diabolos* означает «клеветник».

Стр. 548. ...сплав, возникший при сожжении города Коринфа...— Во время покорения Греции римляне разрушили и сожгли дотла город Коринф, а всех жителей продали в рабство (149 г. до н. э.).

Стр. 549. Пола — важный торговый порт на Адриатическом море; ныне Пула в Югославии.

...из шести весталок...— Коллегия весталок, девственных жриц богини домашнего очага Весты, состояла из шести человек: две младшие весталки проходили своего рода стажировку, две другие исполняли обряды, а две старшие обучали первых и наблюдали за действиями вторых. Служба богине начиналась в очень раннем возрасте (шесть — десяти лет) и длилась тридцать лет. Затем весталке предоставлялось право начать частную жизнь и выйти замуж.

...после отнюдь не блестящего Сарматского похода? — Война с даками названа Сарматским походом потому, что союзниками даков, часто тревожившими римские владения по Дунаю, были соседние племена сарматов, занимавшие земли от Дуная до Дона.

...после мятежа Сатурнина...— В 89 г. н. э. войско провинции Верхняя Германия провозгласило императором наместника (легата) Антония Сатурнина. Мятеж успеха не имел, но Домициан поспешил воспользоваться им как предлогом для репрессий против недовольных в самом Риме.

Стр. 550. Пифия — жрица-прорицательница в святилище Аполлона в Дельфах. Опыняясь ядовитыми испарениями, выходящими из расселины скалы, она впадала в экстаз и выкрикивала бессвязные слова, которые затем толковались другими жрецами как изъявление воли бога.

Стр. 553. Она была дочерью того самого Пета...— Тразея Пет, убежденный стоик и республиканец, демонстративно покинул заседание сената, когда сенаторам предстояло одобрить новое злодеяние Нерона — убийство матери. Нерон приказал Пету умереть (66 г. н. э.).

Дециан — лицо историческое; ему посвящена вторая книга эпиграмм Марциала, восхваляющего его осторожность и умеренность его стоических принципов.

Стр. 554. *...на празднике Доброй Богини...*— Эта богиня (Вона Деа) была, по-видимому, древним италийским божеством плодородия. Настоящее ее имя, так же как и мало-мальски достоверные сведения об ее культе, до нас не дошли: и то и другое было тайной, известной только женщинам. Ежегодное празднество в ее честь справлялось в доме одного из высших должностных лиц — консула или претора — под руководством хозяйки дома и при участии всей коллегии весталок.

...в моем сочинении...— Книга Тацита, изображавшая правление Флавиев, называлась «История». К сожалению, сохранилась лишь первая ее треть — описание гражданских войн после убийства Нерона.

Стр. 557. *...в колонном зале Минуция...*— Имеется в виду Минуциев портик, стоявший к западу от Капитолийского холма, недалеко от реки, и возведенный в конце II в. до н. э.

Стр. 559. *...вода и огонь Италии были ему запрещены.*—Так звучала традиционная формула приговора к изгнанию.

Стр. 560. *...к Коллинским воротам...*— Эти ворота в стене Сервия Туллия, возведенной в VI в. до н. э., назывались еще Квиринальскими и находились на северо-восточной окраине города, у подошвы Квиринальского холма.

Стр. 561. *Так же поступил некогда и Клодий...*— В декабре 62 г. до н. э. Публий Аппий Клодий Пульхр, в скором будущем знаменитый смутьян, а тогда известный всему Риму прожигатель жизни, пробрался, переодевшись женщиной, в дом Цезаря, где справлялся праздник Доброй Богини (Цезарь был претором того года). Он был схвачен, уличен в кощунстве и попал под суд, но народ единодушно поддерживал Клодия, и процесс приобрел политическую окраску. Судьи, боясь гнева толпы, оправдали Клодия.

Стр. 568. *Палладий* — изображение божества — хранителя города.

Стр. 571. *...решила, что это уцелевшая амазонка.*—Название мифического племени амазонок, состоящего из одних женщин-воительниц, греки толковали как «безгрудые»: по преданию, амазонки выжигали девочкам левую грудь, чтобы удобнее было стрелять из лука.

Стр. 572—573. *...как некогда удалось весталке Тукции...*—По преданию, сохраненному несколькими римскими авторами, весталка по имени Тукция (вторая половина III в. до н. э.) была ложно обвинена в нарушении обета целомудрия. Она молила о защите самое Весту, и богиня сотворила чудо: в подтверждение

своей невинности Тукция зачерпнула решетом воду из Тибра и принесла в храм.

Стр. 573. *...первого марта, обновляя огонь богини.*—Как обновлялся или возобновлялся вечный огонь в святилище Весты, сведения не сохранились.

Стр. 574. *...ему, новому Прометею...*—Титан Прометей, по одному из вариантов мифа о нем, был создателем человеческого рода (вылепил первых людей из глины).

Стр. 578. *...цитировал Горация.*—Г о р а ц и й. «Оды», IV, 5, 21—24. Перевод Г. Ф. Церетели.

Стр. 580. *Юбилейные игры* — так называемые сеулярные (от «saeculum» — столетие), или столетние, игры. Они справлялись каждые сто — сто десять лет с величайшей торжественностью и продолжались три дня и три ночи. Начинались они праздничным шествием, за ним следовали состязания в цирке, гладиаторские бои и травля диких зверей. Днем и ночью приносились жертвы на алтарях различных богов. Заключением игр был «юбилейный гимн», исполнявшийся хором из двадцати семи мальчиков и двадцати семи девочек в храме Аполлона на Авентинском холме. Домициан отпраздновал столетние игры в 88 г. н. э.

Стр. 581. *Возле курии...*—Курией называлось здание, где заседал сенат.

Стр. 585. *...во время постановки «Гекубы» Еврипида...*—Тема трагедии «Гекуба» (точнее «Гекаба»), впервые поставленной в Афинах около 423 г. до н. э., — страдания троянской царицы, которую война лишила всех ее детей. Цитированный стих относится к дочери Гекубы, Поликсене, принесенной ахейскими вождями в жертву тени Ахилла.

«*Парис и Энона*». — Гекубе, супруге троянского царя Приама, приснилось, будто она родила огонь, который спалил всю Трою. Вскоре она родила сына Париса, и по совету прорицателей мальчик был брошен на соседней с Троей горе Иде, но, хранимый богами, не погиб; его выкормила своим молоком медведица, а потом подобрал и вырастил пастух. Пася стада на Иде, Парис женился на Эноне, дочери речного бога, а затем расстался с нею, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Светоний («Домициан», X) сообщает, что пьеса «Парис и Энона» принадлежала Гельвидию Младшему, который и оплатил за нее жизнью.

Стр. 592. *...несколько речей по такому же поводу...*—Имеются в виду знаменитые пять речей Цицерона против Верреса — наместника Сицилии, с крайней жестокостью управлявшего этой провинцией и дотла ограбившего ее.

Стр. 600. *Понт* (или Понт Эвксинский) — греческое название Черного моря.

Стр. 602. *Гем* — древнее название Балкан. По этой горной цепи проходила граница между провинциями Фракией и Нижней Мезией.

Стр. 608. ...*загадочные прорицания Сивилл*.— Сивиллами древние греки и римляне называли вещих женщин, прорицательниц будущего; как правило, они бродили с места на место, нигде не оставаясь подолгу и всюду встречая чуть ли не божеские почести. Веру в святость и пророческую силу сивилл сохраняли и ранние христиане, как это явствует хотя бы из сочинений отца западной церкви святого Иеронима (IV — V вв.). Даже в знаменитом католическом гимне «*Dies irae*» («День гнева»), сложенном в XIII в., одним из двух главных свидетельств неизбежности Страшного Суда назывались прорицания сивиллы.

Стр. 612. *Виа Домициана* (Via Domitiana) — Домицианова дорога, проходившая почти строго с севера на юг вдоль западного берега Италии.

Стр. 614. ...*прочитывал он слова Ахилла у Гомера*.— «Одиссея», XI, 489—491. Перевод В. А. Жуковского.

«*Нет, не весь я умру!*» — Г о р а ц и й. «Оды», III, 30, 5—9. Перевод А. П. Семенова-Тян-Шанского.

Стр. 617. *Брундизий* — порт в южной Италии, на Адриатическом море. Путешествие из Италии в Иудею начиналось обычно отсюда.

Стр. 624. ...*это его камень в праще, камень, которым маленький Иосиф свалит гиганта Домициана*.— Намек на библейское предание об отроке Давиде, который вступил в единоборство с филистимским великаном Голиафом и сразил его камнем, пущенным из пращи (Первая Книга Царств, 17).

Стр. 626. *Уже больше года назад Маттафий отпраздновал бар-мицва*...— «Бар-мицва» (буквально: «сын заповеди» или «сын обязанностей») называют мальчика, достигшего совершеннолетия (тринадцати лет), а затем и самый обряд вступления в число взрослых и полноправных членов еврейской религиозной общины. Обыкновенно в первую субботу после дня рождения нового «сына заповеди» его вызывают к амвону синагоги читать главу из Писания, приходящуюся на эту неделю, и, между тем как он читает, отец произносит следующее словословие: «Благословен тот, кто снял с меня ответственность за это дитя». Что бар-мицва отмечался уже в I в. н. э., сомнений не вызывает, но каким образом это происходило, судить трудно. Надо иметь в виду, что достижение тринадцатилетнего возраста означало полную дееспособность не только религиозную, но и юридическую и гражданскую.

Стр. 633. ...*ваша книга не горяча и не холодна, это теплая книга*...— Намек на знаменитые два стиха (III, 15—16) из новоза-

ветной книги «Откровение святого Иоанна Богослова» («Апокалипсис»), современницы событий, изображаемых в романе. «Знаю твои дела — ты ни холоден, ни горяч! О, если бы ты был холоден или горяч! Но смотри: ты теплый — ни холодный, ни горячий, — и я извергну тебя из уст моих».

Стр. 637. *Он прочел ей историю Иаили, Иезавели, Гофолии.*— Об Иаили см. коммент. к с. 487. Иезавель, дочь царя финикийского города Сидона, была супругою израильского царя Ахава (конец X — нач. IX в. до н. э.). Библия (Третья Книга Царств, 16, 31; Четвертая Книга Царств, 11, 9) изображает ее страшной преступницей, врагом бога и справедливости, гонительницей великого пророка Илии. По приказу пророка Елисея, преемника Илии, она была выброшена из окна царского дворца, и тело ее растерзали и сожрали псы. Гофолия (IX в. до н. э.) — мать иудейского царя Охозии. Узнав о смерти сына и всех его единокровных братьев — сыновей умершего ее супруга от разных жен и наложниц, — она решила сама завладеть престолом и для этого истребила всех из царского рода, кто мог бы притязать на власть, в том числе и собственных внуков. Один из них, однако же, был тайно спасен; шесть лет жрецы прятали его в Иерусалимском храме, а на седьмой провозгласили царем, и Гофолия была убита (Четвертая Книга Царств, 11).

...о необузданных, гордых и честолюбивых женщинах, которые окружали Ирода и от одной из которых происходил он, Иосиф.—Царь Ирод I Великий, правивший Иудеей с 40 по 4 г. до н. э., был вторым браком женат на Мариам (Мариамне), внучке князя-первосвященника Гиркана (из рода Хасмонеев). Он так любил свою жену, что, дважды отлучаясь из Иерусалима по спешным делам, тайно приказывал умертвить Мариам, в случае если бы он не вернулся. Тем не менее сестра Ирода Саломея, ненавидевшая невестку, сумела ее оклеветать, и Мариам была казнена. Был казнен и муж Саломеи, которого она обвинила перед Иродом в связи с Мариам, и другой ее муж — тоже по ее доносу. Когда же возмужали сыновья Ирода от Мариам, Саломея принялась интриговать и против них; в результате оба были убиты отцом. Не менее опасной, хотя и менее удачливой интриганкой была теща Ирода, мать Мариам. С династией князей-первосвященников Хасмонеев Иосиф Флавий был в родстве с материнской стороны.

Стр. 639. *В его доме не было алтаря домашних богов...*— Домашние боги римлян — это лары, покровители дома и всех его обитателей, и пенаты, семейные боги.

...не носил на шее золотого амулета...— Речь идет о так называемой «булле», плоском золотом медальоне, который сперва носили только знатные, а потом и все свободнорожденные дети

в Риме. При достижении совершеннолетия «булла» вместе с детскою тогой посвящалась богам.

...посетил храм Юности...— Римская богиня юности звалась Ювента и отождествлялась с греческой Гебой, дочерью Зевса; на пирах богов она обносила небожителей-олимпийцев нектаром и амвросией.

Стр. 642. *...свет, как известно, светит во тьме, и мгла не обумет его.*— Евангелие от Иоанна, 1, 5 (цитата не вполне точна).

...книга под названием «Иудейская война».— Как в точности назывался несохранившийся труд Юста об Иудейской войне, неизвестно.

Стр. 652. *...философ Дион был предан суду...*— См. коммент. к с. 47.

«Если он чувствовал угрозу...» — «Иудейские древности», XVI, 11, 8 (цитата не вполне точна).

Стр. 656. *...рассказал ей про Апиона, великого египетско-еврейского толкователя Гомера.*— Апион — греческий грамматик I в. н. э., автор лекций о Гомере и антисемитского сочинения «Египетская история». Последнее известно лишь по написанному Иосифом Флавием опровержению «Против Апиона». «Еврейским» Апион мог быть назван только в насмешку. Правда, как сообщает Иосиф Флавий, какая-то болезнь заставила Апиона в конце жизни подвергнуться обрезанию, которое он так злобно осмеивал.

Стр. 658. *...этих огречившихся египтян, Манефонов...*— Манефон — жрец и писатель III в. до н. э., автор многих не дошедших до нас сочинений. Извлечения из его «Истории Египта» приведены в памфлете Иосифа «Против Апиона».

За тысячу лет до Гомера и Троянской войны у него уже был свой великий законодатель.— Речь идет о Моисее, которому традиция приписывала авторство первых пяти книг Библии. Современная наука датирует Гомера VIII в. до н. э. Троянскую войну — рубежом XIII и XII, а исход евреев из Египта — примерно XVI в. до н. э.

...мы составили канон...— Библейский канон содержит двадцать четыре книги. Время заключения канона точному установлению не поддается. Число двадцать два действительно названо Иосифом в памфлете («Против Апиона», I, 8); то же число называют и некоторые раннехристианские авторы, ссылаясь на евреев, которые указывают, что число книг Библии равно числу букв в еврейском алфавите. Противоречие объясняется скорее всего тем, что во времена Иосифа формирование канона еще не завершилось.

Стр. 659. *...как некогда Геродот читал грекам в Олимпии свою «Историю».*— Многие древние писатели сообщают, что «отец исто-

рии» с громадным успехом читал свое сочинение в разных местах Греции, и в том числе — перед участниками и зрителями Олимпийских игр. На одном из таких чтений якобы присутствовал второй великий историк Греции, Фукидид, в ту пору еще совсем юный.

Стр. 661. *И если Иаков подарил своему сыну пышное облачение...*— «Израиль (другое имя Иакова.— С. М.) любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его; и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно» (Бытие, 37, 3—4). Позже, окончательно ожесточившись, братья продали Иосифа в рабство в Египет.

Стр. 663. *...на плечах вышколенных носильщиков-каппадокийцев.*— Рабы из Каппадокии, горной области в центре Малой Азии, славились выносливостью и храбростью.

...от второго мильного камня...— Мильные камни на римских дорогах соответствуют нашим километровым столбам. Римская миля — тысяча (mille) двойных шагов, 1478,7 метра.

Стр. 679. *...всего тридцать девять плетров...*— Плетр — греческая мера площади, равная примерно 0,1 гектара. Впрочем, современник Иосифа Флавия, Плутарх, называет плетром римский югер, равный примерно четверти гектара.

...девять тысяч денариев.— См. выше, коммент. к с. 434.

Стр. 686. *...очаг с неугасимым огнем в атрии...*— Атрий — часть римского дома, первое помещение после входа. В императорскую эпоху это была парадная приемная, часто роскошно отделанная, но в старинном доме атрий представлял собою крытый по краям внутренний двор с очагом и почернелыми от копоти стенами (отсюда его название: ater по-латыни «черный»). Священный очаг и часовенка ларов сохранялись в атрии и в позднейшее время.

Стр. 697. *Город Массилия* — ныне Марсель.

Стр. 698. *Пифей Массильский* — греческий путешественник и писатель IV в. до н. э. Ему принадлежали два не дошедших до нас сочинения — своего рода путевые заметки, — одно из которых носило название «Об Океане».

Стр. 703. *Нептуналии* — праздник в честь римского бога морей Нептуна; его справляли в конце июня.

Стр. 704. *Остия* — морская гавань Рима в устье реки Тибр.

Стр. 707. *Боги открывают истину только в мистериях...*— Мистериями назывались тайные религиозные обряды; в них могли принимать участие только посвященные, которые клялись не разглашать того, что происходило во время мистерий. Самыми

знаменитыми в древности мистериями были Элевсинские (Элевсин — городок близ Афин), связанные с культом Деметры и Персефоны. Считалось, что те, кто посвящен в таинства, находятся под особым покровительством божества. Важной составной частью мистерий было изъяснение вновь посвященным (неофитам) «подлинного», «сокровенного» смысла священных сказаний о божестве.

Стр. 711. *Иосиф собственной рукой опрокинул мебель в комнате сына...*— Очень древний еврейский обычай предписывал переворачивать кровати в доме умершего и так спать в течение семи траурных дней.

Стр. 713. *И как некогда возвестили Иакову...*— Продав Иосифа купцам, которые держали путь в Египет, братья «взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымарали одежду кровью; и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: «Мы это нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет». Он узнал ее и сказал: «Это одежда сына моего. Хищный зверь съел его; верно, растерзан Иосиф» (Бытие, 32—33).

Стр. 716. *Со времени патриархов... погребенных в пещере Махпела...*— По библейскому рассказу, Авраам после смерти своей супруги Сарры купил в земле Израиля (которая тогда звалась Ханааном) пещеру против знаменитой дубравы Мамре (в своем шатре под сенью этой дубравы Авраам принимал троих вестников божьих — сюжет иконы «Троица»). Пещера Махпела стала местом погребения всех патриархов; даже останки Иакова, умершего в Египте, его потомки, спасенные от египетского рабства, принесли с собою и положили рядом с костями Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки. В средние века возникла легенда, что в Махпеле похоронены и Адам с Евою.

Стр. 719. *...для него отбивает такт офицер...*— На каждом судне был особый начальник над гребцами, который регулировал равномерность движения весел либо голосом, либо ударами деревянного молотка.

Стр. 720. *...ответ этого древнего мудреца, проповедника, Кохэлета.*— См. коммент. к с. 208. Название библейской книги «Кохэлет» (по имени автора) было неправильно прочтено и понято греческими переводчиками: они решили, что это имя нарицательное, означающее «проповедующий перед народом» — по-гречески «екклесиастэс». Отсюда и русское название этой знаменитой книги — «Екклезиаст». Эта книга, приписываемая традицией царю Соломону, была создана, вероятно, в начале II в. до н. э. Канонизация ее была предметом долгих споров между богословами и имела место не раньше 120 г.

«И познал я...» — Цитата из «Екклезиаста» — комбинированная («сборная») и местами неточная.

Стр. 724. *Катилина бежал, скрылся, исчез.*— Луций Сергий Катилина (108—62 гг. до н. э.) — римский сенатор; авантюрист и преступник, он дважды организовал заговор против государства, демагогическими лозунгами привлекая на свою сторону как разорившихся и честолюбивых аристократов, так и низшие слои населения — от городской и сельской бедноты до отъявленных головорезов. Главным противником Катилины был Цицерон, занимавший в 63 г. до н. э. должность консула. Ему и принадлежат приведенные выше слова — из второй речи против Катилины (I, 1), произнесенной на форуме перед народом 9 ноября 63 года до н. э., когда Катилина вынужден был бежать из Рима и от подпольной деятельности перейти к прямому мятежу.

Стр. 728. *«Неомраченным храни в несчастьях дух».*—Г о р а ц и й. «Оды», II, 3, 1—2.

Стр. 731. *...императора Отона, врага Флавиев.*— Марк Сальвий Отон — один из императоров эпохи гражданской войны 68—69 гг. н. э., отделяющей конец династии Юлиев-Клавдиев (смерть Нерона) от начала правления Флавиев. Отона провозгласили императором преторианцы в Риме, и в тот же день (15 января 69 г. н. э.) были убиты законный, утвержденный сенатом император Гальба и его приемный сын. Но еще до того легионы в Верхней Германии выбрали собственного императора — Авла Вителлия. Войска обоих претендентов встретились в битве при Бедриаке (близ Кремоны) 14 апреля 69 г. н. э., Отон был разбит и покончил с собой. Таким образом, строго говоря, он не может быть назван врагом или конкурентом Флавиев, потому что Веспасиан был провозглашен императором только 1 июля 69 г. н. э.

Стр. 734. *...пусть сперва принесет жертву подземным богам* — то есть богам преисподней, чтобы они приняли благосклонно его тень.

Стр. 737. *...Сириус, Звездный Пес, навел на меня слепоту.*— Звезда Сириус называлась по-латыни: «*Canicula*» («Собачка») и входила в созвездие Большого Пса. Многие древние писатели говорят о злом, болезнетворном влиянии Сириуса на людей.

Селинунт — городок на юго-западном берегу Сицилии.

Стр. 743. *...в вашем Тибурском парке.*— Тибур — маленький город в нескольких десятках километров к востоку от Рима. В окрестностях Тибура, очень живописных и богатых проточной водой, многие знатные римляне держали летние дома.

Стр. 748. *...большой восточный поход, который готовит воинственный император Траян...*— Марк Ульпий Траян, преемник Нервы, правивший империей с 98 по 117 г., после разгрома и присоединения к Риму Дакии (106 г.) стал готовиться к походу на Парфию. Военные действия начались в 113 г. и успешно длились до 116 г.

Стр. 749. *...италийское вино даже и при таких условиях не становится лучше...*— Политика покровительства италийскому сельскому хозяйству продолжалась и при императорах новой династии.

Стр. 754. *...к доктору Акавье.*— Создавая этот образ, Фейхтвангер прибегнул к приему, которым он часто пользуется в своих исторических романах: он взял малоизвестную фигуру и наделил ее чертами и свойствами других лиц из других времен, равно как и вымышленными чертами. После возвращения евреев из Вавилонского пленения их древний писанный закон начинает обрастать устными толкованиями. Из Талмуда известен таннай (т. е. учитель устного закона первого поколения), Акавья бен Махалалель, живший между 10 и 80 гг. н. э. Он отличался необыкновенной твердостью убеждений: подвергшись отлучению за недостаточно уважительное высказывание о двух великих богословах прошлого, он отказался покаяться и взять свои слова обратно и так и умер отлученным от общины. От исторического Акавии Фейхтвангер берет упорство, граничащее с фанатизмом. Рисуя великого ученого, идейного вдохновителя близкого восстания, Фейхтвангер, по-видимому, видел перед собою и крупнейшего из таннаев, рабби Акибу бен Иосифа (ок. 50 — ок. 132 гг.), предтечу последнего восстания евреев — восстания Бар-Кохбы (132—135 гг.). Пламенный и в высшей степени конкретный политический мессианизм фейхтвангеровского Акавии принадлежит Акибе, провозгласившему Бар-Кохбу мессией. От исторического Акибы досталось персонажу романа и незнатное происхождение, и профессия пастуха в молодости, и многое в мироощущении и нравственном облике.

Стр. 755. *...прочел им агаду...*— Агада (по-еврейски: «рассказ») составляла основную часть пасхального ритуала. Ее читал хозяин дома в ответ на четыре вопроса, которые задавал младший за столом (первоначально четверо младших, изображавшие четырех сыновей — мудреца, нечестивца, простака и невежду). Обычай такого чтения-рассказа восходит, видимо, еще ко времени существования Иерусалимского храма.

Стр. 756. *...это в первую очередь заслуга доктора Акавии...*— В действительности составление «молитвенного чина» пасхального вечера традиция приписывает Гамалиилу (Гамалиилу II Ямининскому).

...«чин» этого вечера, его «седер»...— Еврейское слово «седер» означает: «строй», «порядок».

...где лежали всевозможные кушанья...— Кроме опресноков, обязательными компонентами пасхальной трапезы были: «харосет», то есть густая смесь из тертых яблок, толченого миндаля, орехов, инжира — в память о глине, из которой евреи-рабы лепи-

ли кирпичи в Египте, лук и горькая трава — в память о горести рабства, салат, вареное яйцо, изжаренное на углях куриное крылышко. И еде и питью — чуть ли не каждому глотку за пасхальным столом — был придан символический смысл.

...напоминавшие о поспешности, с какою евреи некогда покидали враждебную страну.— Когда фараон отказался освободить евреев от рабства и выпустить их из Египта, бог стал насылать на страну «казнь» за «казнью». Но фараон все упорствовал. Лишь после десятой «казни» — истребления первенцев, «от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника в темнице», «встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет; и сделался великий вопль в земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего...» И понуждали египтяне сынов Израилевых, чтобы скорее выслать их из земли той. Ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их... И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки...» (Исход, 29—39).

Стр. 757. *Они приготовили кубок пророку Илии, величайшему патриоту прошедших времен.*— Пророк Илия назван патриотом потому, что боролся против культа Ваала, который насаждала царица Иезавель (см. коммент. к с. 637). В начале нашей эры сложилось твердое представление об Илие-пророке как о предтече и провозвестнике мессии. Он появится за три дня до пришествия мессии, разъяснит все трудные места в Писании и разрешит все противоречия в законе, так что все споры и несогласия сразу утихнут. В первый день он будет оплакивать запустение в земле Израиля, во второй и третий — утешать народ. За пасхальной трапезой посреди стола ставят большой бокал с вином для пророка Илии, потому что Пасха — не только напоминание о былом избавлении, но и предвестие грядущей свободы в царстве мессии. Когда ужин окончен, участники трапезы встают со своих мест, открывают дверь на улицу и произносят приветствие Илии, словно он входит в дом в этот миг. Происхождение обычая и время его возникновения неизвестны.

Стр. 758. *Моисей, а потом пророк Илия не чинились с богом.*— Действительно, судя по Библии, и Моисей, и особенно Илия говорили с богом достаточно вольно и бесцеремонно. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исход, 11). «Моисей сказал ему: «Если не пойдешь Ты Сам с нами, то и не выводь нас отсюда» (там же, ст. 15). А Илия прямо укоряет бога, когда у вдовы, приютившей его, умирает сын: «И воззвал к Господу и сказал: «Господи, Боже мой!

Неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» (Третья Книга Царств, 14, 20). Бог услышал этот призыв и возвратил жизнь умершему.

Стр. 759. *...неделях между пасхой и пятидесятницей...*— Пятидесятница (по-еврейски: «шабуот», то есть «праздник неделя») — один из главных еврейских праздников, справлявшийся через семь недель, то есть на пятидесятый день после Пасхи. Первоначально это был земледельческий праздник жатвы пшеницы, но со временем трансформировался в праздник дарования Израилю божественного закона после исхода из Египта.

Стр. 762. *Какой трудной и горькой службой заставил он Иакова заплатить за невесту!* — Иаков служил за свою невесту Рахиль у ее отца Лавана семь и еще раз семь лет (Бытие, 29).

Стр. 776. *Таммуз* — десятый месяц еврейского календаря, соответствует июню — июлю. *Аб* — одиннадцатый месяц еврейского календаря, соответствует июлю — августу.

«И никто не знает места погребения его...» — Второзаконие, 34, 6.

С. Маркиш

СОДЕРЖАНИЕ

СЫНОВЬЯ

Перевод В. Станевич

Книга первая. Писатель	7
Книга вторая. Муж	99
Книга третья. Отец	190
Книга четвертая. Националист	252
Книга пятая. Гражданин Вселенной	353

НАСТАНЕТ ДЕНЬ

Книга первая. Домициан. <i>Перевод В. Станевич</i> .	425
Книга вторая. Иосиф. <i>Перевод С. Маркиша</i> .	616
<i>Комментарии С Маркиша</i> . .	779

Фейхтвангер Л.

- Ф36** Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 6. Кн. 3: Сыновья: Роман; Настанет день: Роман: Пер. с нем./ Редкол.: А. Дмитриев, Д. Затонский, Н. Литвинец и др.; Коммент. С. Маркиша.— М.: Худож. лит., 1994.— 813 с.

ISBN 5-280-01861-9 (Т. 6. Кн. 3)

В третью книгу шестого тома Собрания сочинений Лиона Фейхтвангера входят романы «Сыновья» (1935) и «Настанет день» (1942—1945) — вторая и третья часть «Трилогии об Иосифе».

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 6-ТИ ТОМАХ

ТОМ ШЕСТОЙ

Книга третья

Оформление переплета **И. Сальниковой**

Редактор **Е. Маркович**

Художественный редактор **Л. Калитовская**

Технический редактор **Л. Витушкина**

Корректор **О. Наренкова**

ИБ № 6514

Издат. лицензия ЛР № 010153 от 27 декабря 1991 г. Подписано к печати 28.10.93. Формат 84 × 108¹/₃₂. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 42,84. Усл. кр.-отт. 43,26. Уч.-изд. л. 48,72. Тираж 60 000 экз. Изд. № VI-3978. Заказ № 612. «С» — 213. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19. ГПП «Печатный Двор». 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.

